ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 4 · 1

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ

ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

39-40

А. И. ГЕРЦЕН
I

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1 · 9 · МОСКВА · 4 · 1

ОТ РЕДАКЦИИ

Роль Герцена в истории русской культуры выяснена в настоящее время достаточно полно. В известной статье Ленина «Памяти Герцена», а также в многочисленных замечаниях о Герцене, разбросанных в других сочинениях Ленина, значение Герцена как одного из самых выдающихся представителей первого — «дворянского» — периода русского революционного движения раскрыто с замечательной глубиной; с образцовой четкостью проанализированы его сложные и противоречивые идейные искания, завершившиеся обращением к Интернационалу — боевому революционному центру международного пролетариата, созданному и руководимому Марксом.

Эти ленинские указания являются руководящими в научно-исследовательской работе над Герценом. В частности, особенно важно применить их к изучению Герцена как художника, ибо эта сторона его исключительно богатой и многогранной деятельности до сих пор остается сравнительно слабо освещенной. Этой задаче и посвящены печатаемые в настоящем томе статьи Я. Эльсберга и А. Лаврецкого. Цель первой, как она сформулирована автором статьи, — «охарактеризовать художественное творчество Герцена как исторически обусловленное явление в развитии русской и мировой литературы и показать Герцена-художника в его связи с родственными ему литературными течениями и традициями». Вторая статья анализирует литературно-эстетические взгляды Герцена, показывая его как яркого представителя теоретической и критической мысли в области литературы и эстетики.

Литературное наследство Герцена, несмотря на наличие фундаментального двадцатидвухтомного собрания его сочинений, выпущенного в 1915—1925 гг. под редакцией М. Лемке, во всем своем объеме до сих пор не опубликовано. Некоторые материалы, не учтенные в этом издании или напечатанные по завершении его, зарегистрированы в обзоре Н. М. Мендельсона «Судьба литературного наследства Герцена», помещенном в № 7—8 «Литературного наследства» (1935). В той же книге воспроизведен ряд статей Герцена из зарубежных изданий, пропущенных в издании, редактированном М. Лемке, неизвестные письма Герцена к Гервегу (в отрывках), Моисею Гессу (с обратными письмами), Гарибальди.

Документальный раздел настоящего тома открывается неизданной заметкой Герцена «Вместо предисловия или объяснения, к сборнику», подтверждающей что «уже в начале 1849 г., в Париже, у Герцена сложился ясный план печатания русских книг за границей и нелегальной доставки их в Россию». Следующая публикация, также содержащая неизданные герценовские тексты, связана с культурной работой Герцена в период его вятской ссылки.

Значительный материал удалось собрать в области эпистолярного наследства Герцена. Всего в настоящем томе публикуется 55 его писем, адресованных

следующим 13 корреспондентам: И. С. Аксакову, Т. Н. и Е. Б. Грановским, М. И. Жихареву, Г. И. Ключареву, М. Р. Леверсону, А. Маццини, в редакцию газеты «Le Nord», Б. И. Ордынскому, Д. В. и Е. В. Пассекам, Е. В. Салиас-де-Турнемири к неизвестному. Разумеется, не весь этот материал равноценен; но если в известной своей части публикуемые письма имеют лишь узко-биографический интерес, то некоторые из них важны, вместе с тем, для характеристики идейной жизни и идейных позиций Герцена.

Расширяют и уточняют наши представления о западно-европейских связях и знакомствах Герцена публикуемые письма к нему Прудона, Мишле, Виктора Гюго и Луи Блана.

Считаем нужным подчеркнуть, что и после опубликования перечисленных материалов, литературное наследство Герцена остается, к сожалению, далеко еще не исчерпанным. Оставшаяся недоступной нам часть его архива, переданная в свое время старшей дочерью Герцена, Натальей Александровной М. П. Драгоманову, а позднее поступившая в хранилища Праги и Варшавы, до сих пор планомерно не разрабатывалась и не изучалась. Единичные отрывочные публикации материалов этого фонда позволяют предполагать, что по богатству своему он представляет исключительную ценность.

Вновь обнаруженные в последнее время письма Герцена позволяют установить ряд неизвестных прежним исследователям его статей в различных западно-европейских изданиях; так, например, упоминавшиеся выше, напечатанные в № 7—8 «Литературного Наследства» статьи Герцена «Из воспоминаний о прошлом годе одного русского», «Царь Александр II» извлечены: первая — из газеты «Der Kosmos», вторая — из журнала «Pensiero ed Azione». С уверенностью можно предполагать наличие статей Герцена в ряде других журналов и газет. Отсутствие комплектов их в крупнейших библиотеках Москвы и Ленинграда лишило нас возможности продолжить начатые поиски.

В ближайшем окружении Герцена первое место принадлежит, бесспорно, Огареву, его достойному спутнику и соратнику в революционной борьбе. С публикацией литературного наследства Огарева дело обстоит значительно хуже, чем с публикацией литературного наследства Герцена. Только поэтические произведения его собраны в настоящее время с достаточной полнотой; его же очень многочисленные публицистические работы остаются рассеянными в различных редких и труднодоступных изданиях. Печатаемые в настоящем томе публицистические тексты Огарева, а также разнотипные и разнохарактерные материалы, извлеченные из его записных книжек, обогащая облик Огарева-публициста рядом дополнительных черт, еще раз со всей остротой выдвигают вопрос о необходимости сведения его публицистических работ воедино и об издании такого свода их.

Едва ли не центральное место в настоящем томе занимает исключительно содержательная подборка неизданных писем Огарева к Герцену, состоящая из 151 письма, охватывающих период 1856—1870 гг. Тематика писем: совместная издательская деятельность Герцена и Огарева, их отношения с «молодой эмиграцией», их семейная жизнь. 48 писем Огарева к П. Л. Лаврову существенно корректируют традиционное представление об Огареве последних лет его жизни как о человеке полностью отошедшем от революционной работы, целиком замкнувшемся в рамки личной жизни. Раздел, посвященный эпистолярному наследству Огарева замыкается его письмами к Т. П. Пассек (9 писем), А. П. Плаутиной (8 писем), А. В. Голов-

нину, А. А. Тучкову, И. И. Кельсиеву, А. А. Герцену, неизвестному (по одному письму).

Обширный и разнообразный документально-текстовой материал, рисующий сложную и запутанную историю отношений Герцена и Огарева с младшим поколением русских революционных эмигрантов, представлен в публикации «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция», открывающей второй выпуск настоящего тома. Известно, что уже с начала 1860-х гг. между издателем «Колокола», с одной стороны, и революционной молодежью, с другой, намечаются более или менее серьезные расхождения, с течением времени все более углубляющиеся и обостряющиеся и ко второй половине этого десятилетия приводящие к полному разрыву. Совершенно очевидно, что в нападках «молодой эмиграции» на Герцена было много верного и справедливого. «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму», — писал по этому вопросу Ленин. Но представители «молодой эмиграции» не всегда понимали, что при всех колебаниях Герцена «демократ все же брал в нем верх»; отсюда допущенные ими грубейшие ошибки в оценке общего исторического значения Герцена, их попытки начисто зачеркнуть заслуги Герцена в истории русского революционного движения. Лишь после смерти Герцена в отношении к нему младшего революционного поколения наступает известный перелом, и его деятельность получает новое объективное осмысление и объективную оценку. В вводной статье Б. Козьмина к настоящей публикации предпринята попытка впервые систематизировать и обобщить все относящиеся сюда факты.

Группа материалов из литературного наследства Н. И. Сазонова воскрешает в значительной мере забытую и мало изученную фигуру этого представителя ранней русской эмиграции. Правда, те черты, которые находил Сазонов у Герцена, — «небрежность и дилетантизм обеспеченного человека», — в его собственном социально-психологическом облике занимали неизмеримо большее место и сыграли, в конечном счете, роковую роль в его судьбе. Жизнь Сазонова, не лишенная внешнего блеска, прошла буквально впустую, при всей незаурядности интеллектуальных дарований и возможностей этого человека; он умер, не оправдав ни одной из возлагавшихся на него надежд, не оставив по себе никакого следа в истории своего времени. При всем том, фигура Сазонова несет на себе какой-то знак исторической характерности и, в этом смысле, естественно включается в орбиту научного исследования. Наибольший интерес представляет здесь работа Н. И. Сазонова «Правда об императоре Николае I», во многом родственная известным памфлетам П. В. Долгорукова. Существенное значение имеют также публикуемые здесь письма Сазонова, при всей их количественной скудности.

Важным документом по истории русского общественного движения и русской эмиграции 1860-х гг. является «Исповедь» В. И. Кельсиева, неизвестная до сих пор русскому читателю и впервые публикуемая здесь по подлиннику, хранящемуся в Архиве Революции (Москва). Представляющая собою акт ренегатства, отступничества «Исповедь», вместе с тем, характеризуется довольно объективным (насколько объективность была доступна Кельсиеву в его положении «кающегося грешника») изложением собственной революционной работы автора — путаной и не лишенной привкуса авантюризма — и, что еще важнее, чуждым какого-либо злопыхательства отношением автора к своим прежним единомышленникам. Разумеется, ошибочно было бы

с полной доверчивостью относиться ко всем свидетельствам Кельсиева, а тем более к высказываемым им оценкам отдельных исторических лиц и эпизодов. Но, при крайней скудности мемуарного материала, относящегося к данной эпохе, фактический материал, сообщаемый в «Исповеди», безусловно заслуживает внимания.

Ряд новых документов, впервые вовлекаемых в научный обиход, содержится также в разделе сообщений. Известный до сих пор фонд писем Витберга к Герцену обогащается еще одним письмом, являющимся ответом на сообщение Герцена о его женитьбе на Н. А. Захарьиной. Три новых письма Л. Н. Толстого к Герцену публикуются в составе работы Н. Н. Гусева, представляющей собою исчерпывающий, с фактической стороны, обзор связей и отношений этих двух деятелей. Письмо П. А. Бахметева к Герцену связано с возникновением так называемого «бахметевского фонда». Две телеграммы сына Герцена, Александра Александровича, связанные с психическим заболеванием Натальи Александровны Герцен, служат добавочным штрихом к обрисовке трагической обстановки последних дней жизни Герцена. Содержательно впервые публикуемое письмо Н. А. Серно-Соловьевича к Огареву.

Работа покойного М. М. Клевенского, близкое сотрудничество которого в настоящем томе редакция считает нужным отметить здесь, представляет собою опыт био-библиографического свода сотрудников Герцена по его издательской работе, охватывающего свыше ста имен. Работа эта, предпринятая впервые, ценна тем, что не только подводит итог всем до сих пор производившимся в этой области разысканиям, но и представляет собою результат самостоятельных исследований автора, вводя в научный обиход ряд новых фактических данных.

Основное ядро иллюстративного фонда тома составляет иконография самого Герцена, отраженная в томе с наибольшей полнотой. Далее, на ряду с портретами лиц, примыкающих к ближайшему окружению Герцена (и Огарева), представлены в томе изображения «герценовских мест» в России и заграницей, хотя бы они и не были непосредственно связаны с содержанием текстовой части тома, иллюстративные материалы, связанные с историческими событиями той эпохи и т. д.

Часто встречающиеся в томе ссылки на полное собрание сочинений Герцена под ред. М. К. Лемке, даются сокращенно: Герцен, том, страница.

Том подготовлен к печати Б. П. Козьминым и И. В. Сергиевским.

МАРКС — ЭНГЕЛЬС — ЛЕНИН О ГЕРЦЕНЕ

Статья Д. Чеснокова

1

Александр Иванович Герцен, — великий революционер, глубокий мыслитель, первоклассный художник и замечательный публицист, — оставил неизгладимый след в истории русского революционного движения. Лучший представитель поколения дворянских революционеров, он глухой ночью николаевской реакции будил народ, призывал его к борьбе. От непоследовательной идеологии дворянского революционера Герцен пришел к революционному демократизму восставшего мужика.

Следующим шагом духовного развития Герцена должен был бы явиться переход на позиции «суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбы пролетариата» [1]. Революционер-демократ Герцен, порывая с неисправимым индивидуалистом-анархистом Бакуниным, уже обратил свои взоры к Коммунистическому Интернационалу, во главе которого стоял Карл Маркс. К сожалению, этот новый этап мировоззрения Герцена не получил развития. В 1870 г., незадолго до провозглашения Парижской Коммуны, Герцен скончался.

Огромная роль, которую играл Герцен в истории русской революции, должна была привлечь внимание классиков марксизма-ленинизма к своеобразной фигуре этого общественного деятеля. И гениальные современники Герцена — Маркс и Энгельс, и продолжатель их дела — Ленин, оставили многочисленные высказывания о Герцене.

Сведение этих высказываний в единое целое и обобщение их является основной задачей настоящей статьи.

С работами Герцена Маркс и Энгельс познакомились после революции 1848 г. Повидимому, впервые имя Герцена Маркс услышал от русских эмигрантов. Так, Сазонов в письме к К. Марксу от 2 мая 1850 г., перечисляя возможных сотрудников будущего трехмесячного журнала, писал: «Имеется еще Герцен, брошюру которого «Vom andern Ufer» вы, быть может, читали. Он скорее человек увлечения, чем убеждения и человек воображения больше, чем знания, впрочем, очень преданный и очень способный» [2]. Однако, не исключена возможность того, что Маркс до получения каких бы то ни было отзывов о Герцене уже читал некоторые из его работ, например, «С того берега». Несомненно одно: в начале 50-х годов Маркс и Энгельс были хорошо информированы о социально-политических взглядах Герцена, по крайней мере постольку, поскольку эти взгляды были изложены в произведениях Герцена «С того берега» и письмах к Линтону («Старый мир и Россия»).

Примерно с 1863 г. Маркс и Энгельс начинают внимательно следить за литературной и публицистической деятельностью Герцена и отмечают каждый значительный шаг, сделанный им на поприще публицистики. Выступления Герцена на митингах, полемика Герцена с его противниками, издание «Полярной Звезды», публикация «Голосов из России», пропаганда «Колокола» находили непосредственные откли-

ки со стороны Маркса и Энгельса, отклики, чаще всего зафиксированные в их переписке.

Философские и общественно-политические взгляды Герцена к 50-м годам прошлого столетия достигли значительной зрелости. Духовное развитие Герцена, как, впрочем, развитие большинства революционеров 40-х годов, сжато воспроизвело путь, проделанный философией в Западной Европе: от философии французских просветителей к диалектическому идеализму немецких мыслителей (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) и от последнего к материализму (Фейербах)[3]. К середине 40-х годов Герцен прошел весь этот путь и прочно стал на материалистические позиции. Больше того, овладев революционной диалектикой Гегеля, Герцен стремился материалистически ее интерпретировать.

Герцен вплотную подошел к философии диалектического материализма («Письма об изучении природы», 1844—1845 гг.). В этой области Герцен, следовательно, поднялся на такую высоту, что в некоторых отношениях превзошел даже материализм Фейербаха.

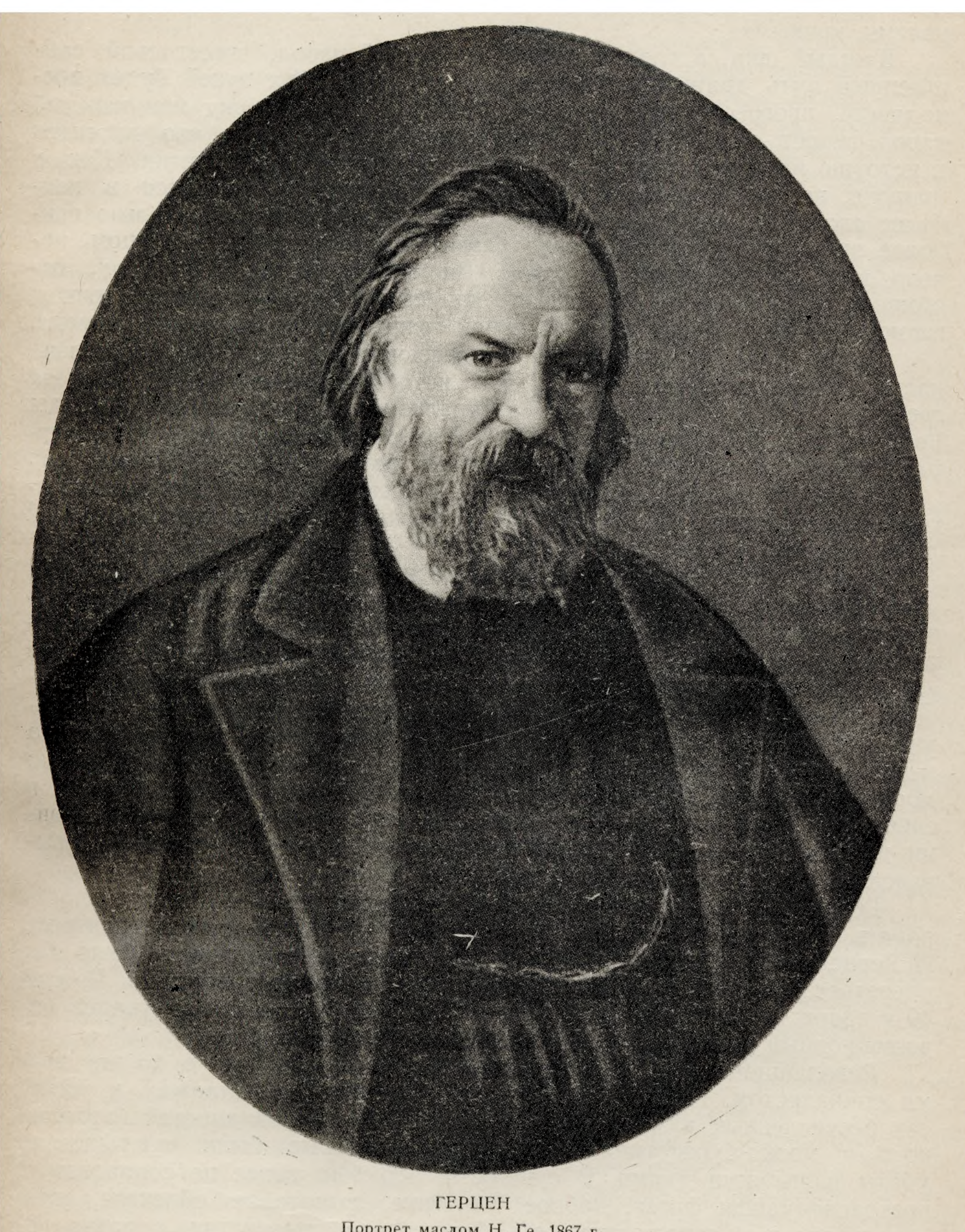
Но Герцен, так же как и Фейербах, не сумел достроить материализм до верху, не сумел возвыситься до материалистического понимания истории. Лучше даже сказать, что Герцен, живший в условиях крепостной России, не мог этого сделать, несмотря на всю свою одаренность. Величайшие гении человечества Маркс и Энгельс, к этому моменту уже хорошо изучившие особенности капиталистического строя и выявившие всемирно-историческую роль рабочего класса, только завершали обоснование нового, материалистического взгляда на историю (работы «Святое семейство» 1843 г., «Немецкая идеология» 1844—1845 гг.). Герцен, мировоззрение которого несло на себе след исторической отсталости России, конечно, не мог сделать того, что сделал Маркс и Энгельс; он не мог преодолеть обычного просветительского взгляда на историю и остановился перед историческим материализмом.

Материалист Герцен правильно отмечал единство человека с природой. Но это единство он усматривал преимущественно в отношении познающего человека к природе, как к объекту познания. Наука выступает и в качестве средства и в качестве мерила этого отношения. Это типично просветительская точка зрения. Принятие такой точки зрения не спасает от идеализма в истории, ибо при такой постановке вопроса место материального производства занимает наука. С другой стороны, Герцен не преодолел и элементов натурализма в своих исторических взглядах. Правильно подчеркивая единство человека с природой, Герцен, остановившийся перед историческим материализмом, не мог выяснить специфичности общественно-исторических закономерностей.

В произведениях Герцена часто можно встретить сравнение истории народа с историей вида животных: как история животного царства осуществляется разными видами, так и история человечества делается разными народами.

История похожа «на тяжелый дилижанс, который тащат в гору разные кляченки, одна посильнее, другая послабее, одна моложе, другая старше, но каждая тащит постромку. В числе лошадей, употребляемых на историческую гоньбу, есть добрые кони, но ни одного, который бы не имел своих пороков, ни одного, который бы в одиночку вытащил старый рыдван»[4]. Как изменчив каждый вид, так изменчива и судьба каждого народа. «Мы не верим ни призванию народов, ни их предопределению; мы думаем, что судьбы народов и государств могут по дороге меняться, как судьба всякого человека»[5].

В природе и в истории нет проторенных маршрутов, но развитие



ГЕРЦЕН
Портрет маслом Н. Ге, 1867 г.
Третьяковская галерея, Москва

может пойти по самым разнообразным направлениям: «природа постоянно идет этими путями — развиваясь в разные стороны лучами, диагоналями, кривыми».

Каждый вид, а следовательно и каждый народ, имеет свой собственный путь движения. Общим же для всех этих путей будет восходящий, прогрессивный характер развития. Каждый вид или каждый народ вносит свою лепту в исторический прогресс. То, что вносится в историю народом, совсем не зависит от уровня его развития. Как в природе, не обязательно наиболее развитый вид превращается в наиболее сложный, так и в обществе, думает Герцен, не обязательно наиболее экономически и культурно развитый народ явится творцом нового, наиболее совершенного строя. Вполне возможно, что народ, отставший в своем развитии, может, идя своим особым путем, притти к гармоническому общественному строю ранее более развитого народа.

Такого рода высказывания, встречающиеся у Герцена довольно часто, свидетельствуют о том, что исторические воззрения Герцена грешили самым неприкрытым натурализмом. Исторические взгляды Герцена еще раз подтверждают правильность того тезиса, что натурализм и идеализм прекрасно уживаются друг с другом у просветителей.

Переходя от философии истории Герцена к его социально-политическим взглядам, мы прежде всего должны отметить революционный демократизм Герцена.

В своих произведениях, печатавшихся в «Отечественных Записках» и «Современнике» в 40-х годах, Герцен на необычайную высоту поднимает принципы гуманизма, революционного гуманизма, воспитывающего ненависть к угнетателям. И в «Сороке-воровке» и в романе «Кто виноват?» Герцен объясняет трагедию русской женщины наличием в России уродливого крепостного строя. О бесправном положении русского крестьянина Герцен не мог говорить в печати, но его дневник дает яркие штрихи, дополняющие образ великого демократа: «Бедный, бедный русский мужик!» — не раз восклицает Герцен в своем дневнике и показывает, как самодержавный спрут всеми своими щупальцами — дворянами, попами, чиновниками и купцами — всасывался в тело русского крестьянина.

Герцен прекрасно понимал, что негодовать мало, что надо действовать. Подлинный демократ не может не быть революционером. И Герцен напряженно искал силы, на которую ему можно было бы опереться. Не вина Герцена, а беда его, что он не увидел в России 40-х годов революционного народа. Когда в 60-х годах он увидел революционный народ, он безбоязненно стал на его сторону.

Революционный демократ-просветитель, Герцен был в то же время социалистом. Правда, «социализм» Герцена «принадлежал к числу тех бесчисленных в эпоху 48-го года форм и разновидностей буржуазного и мелко-буржуазного социализма, которые были окончательно убиты июньскими днями. В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которое облекала свою т о г д а ш н ю ю революционность буржуазная демократия, а равно невысвободившийся из-под ее влияния пролетариат» [6].

Герцен уже понимал, что только социализм уничтожит эксплоатацию человека человеком, обеспечит всестороннее и гармоническое воспитание личности, подлинную эмансипацию женщины. Но, как просветитель, Герцен думал, что основным средством для перехода к социализму является развитие наук и искусств. Демократ-социалист Герцен потому-то и стал «западником», что в развитии наук, развитии социалистических теорий на Западе видел основной залог победы социализма в России. Зная Европу по книгам, Герцен до своего отъезда

за границу идеализировал ее. Он думал, что Европа — это французские просветители и французские революционеры, социалисты-утописты и корифеи немецкой классической философии. Выезжая за границу, Герцен ожидал встретить на Западе, если не реализацию идей Сен-Симона, то, по крайней мере, реализацию идей французских просветителей. Герцен не подозревал того, что царство разума, провозглашенное просветителями, было, по словам Энгельса, всего лишь «идеализованным царством буржуазии, что вечная справедливость осуществилась в виде буржуазной юстиции; что равенство свелось к равенству граждан перед законом, а самым существенным из прав человека объявлено было право буржуазной собственности» [7].

Увидев в Европе воочию оборотную сторону капиталистической цивилизации, Герцен не смог и не захотел примириться с царством буржуазной ограниченности, как до того не захотел примириться с царством самодержавно-полицейского произвола. С первых же дней жизни за границей ему бросился в глаза капиталистический (по терминологии Герцена «мещанский») характер европейской культуры. Психология банкира, купца, фабриканта была сразу понята и должным образом оценена Герценом. Растущий собственник, этот разбухающий денежный мешок, потерявший всяческий человеческий облик, был глубоко ненавистен демократу-революционеру, гуманисту Герцену. В этой ненависти иногда проскальзывает пренебрежительно-высокомерное отношение барина к богатому лавочнику, но суть дела не в этих нотках. Герцен ненавидит буржуа прежде всего как демократ-революционер, жаждущий социального переустройства общества. В своих «Письмах из Франции и Италии» (1847 г.) он с глубочайшей симпатией и восхищением живописует Париж «за цензом стоящий», Париж рабочих и мастеровых. Колючий сарказм герценовских острот, направленных против «цензового Парижа», сменяется теплым лиризмом, как только Герцен заговаривает о «блузниках». Простоту, непосредственность, жизнерадостность, гуманность и десятки других симпатичных черт с любовью отмечает Герцен в парижском пролетарии, противопоставляя его тупому, скаредному и вульгарному буржуа. В каждой строке герценовских писем чувствуется демократ, искренне сочувствующий труженикам и глубоко ненавидящий буржуа.

От проницательного взора Герцена не укрылась прямая противоположность буржуа и «блузника», непримиримость их интересов и их взаимная борьба. С глубоким вниманием следит Герцен за этой борьбой и с необычайным оптимизмом расценивает шансы пролетариата: «Борьба началась; кто победит, не трудно предсказать; рано или поздно per fas et nefas победит новое начало. Таков путь истории. Вопрос тут не в праве, не в справедливости, а в силе и в современности» [8].

Таким образом, Герцен определенно начинает склоняться к той мысли, что основной силой, способной создать социализм, является пролетариат. Однако груз буржуазных иллюзий в социализме, который еще нес в себе Герцен, мешал ему понять все значение «суровой непреклонной, непобедимой классовой борьбы пролетариата» в деле создания социалистического общества. Этот груз мешал Герцену раскрыть действительное содержание буржуазно-демократической революции 1848 г.

Маркс, характеризуя смысл февральских и июньских событий 1848 г., писал: «Февральская республика была завоевана рабочими при пассивной поддержке со стороны буржуазии. Пролетарии справедливо считали себя победителями в февральской борьбе и предъявляли высокомерные требования победителя. Надо было победить их в уличной борьбе, надо было показать им, что они осуждены на поражение,

как только они сражаются не в союзе с буржуазией, а против нее... С оружием в руках буржуазия должна была отвергнуть требования пролетариата. Настоящая колыбель буржуазной республики не февральская победа, а июньское поражение»[9].

Раскрывая буржуазно-демократическое содержание революции 1848 г., показывая, что предпосылки для победоносного социалистического переворота еще не созрели, Маркс в то же самое время вскрыл всемирно-историческое значение событий 1848 г. для грядущей социалистической революции. «Итак, только июньское поражение создало те условия, при которых Франция может взять на себя инициативу европейской революции. Только окунувшись в кровь июньских инсургентов, трехцветное знамя превратилось в знамя европейской революции — красное знамя.

И мы восклицаем: Революция умерла! Да здравствует революция!»[10].

Совершенно иначе воспринял июньские события Герцен. Первую крупную вспышку пролетарского негодования он принял за разгорающееся зарево социалистического переворота. По мнению Герцена, революция в Париже открыла новую эру в мировой истории: не эру господства буржуазной республики, а эру социализма.

Но вместо социалистического переворота, на улицах Парижа прозвучали зловещие выстрелы, провозгласившие победу контрреволюции. Ненавистный Герцену буржуа торжествовал победу, а парижский пролетариат потерпел поражение. Иллюзии Герцена о немедленном наступлении социалистического царства рассеялись в прах. Они были убиты июньскими днями, как были убиты все формы буржуазного и мелкобуржуазного социализма.

Герцен потерял точку опоры. Демократ Герцен с отвращением отвернулся от контрреволюционного либерализма, запачкавшего руки в крови рабочих. Герцен проклинает либерализм, не умея понять его классовой природы. И в то же время Герцен смутно чувствует, что сила пока на стороне этого контрреволюционного либерализма; Герцен смутно осознает, что рабочий класс еще не созрел для совершения победоносной социалистической революции. Но сделать правильные выводы из всего этого Герцен, остановившийся перед историческим материализмом, не мог. Как мы уже отмечали, Герцен в вопросах истории не сумел преодолеть идеализма и натурализма. Подходя к оценке послереволюционной Европы с позиции идеалистических и натуралистических, Герцен делает целый ряд ошибочных выводов. Вместо того, чтобы выяснить во всем объеме вопрос о том, какое влияние на судьбы рабочего класса оказало июньское поражение, вместо того, чтобы, убедившись в незрелости пролетариата, поставить вопрос: когда рабочий класс созреет для революции, Герцен решительно заявляет: европейские народы, развиваясь к социализму своим особым путем, потерпели неудачу на этом пути. Правда, Герцен к концу своей жизни снова стал считать рабочий класс силой, способной привести Европу к социализму, но в период своего духовного краха, наступившего после поражения революции 1848 г., Герцен неоднократно говорил даже о вырождении европейских народов («С того берега»).

Не трудно заметить, что все рассуждения Герцена о неудаче попыток европейских народов притти к социализму, в конечном счете, обусловлены его натурализмом. Мы уже говорили о том, что, по мнению Герцена, каждый народ имеет свою судьбу, имеет свой собственный путь развития. Если один народ или группа народов потерпели неудачу на одном из путей, то, может быть, успех улыбнется другим народам, идущим другими путями.

КОЛОКОЛЪ

ПРИБАВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КЪ ПОЛЯРНОЙ ЗВѢЗДѢ.

VIVOS VOCO!

Выходитъ ежемѣсячно въ Лондонѣ, — цѣна 6 пенсовъ. Получается въ Вольной Русской Типографіи — 2, Judd Street, Brunswick Square., *W. C.*

No. 1.
1 Іюля 1857.

У Трюбнера & Co. въ книжной лавкѣ, 60, Paternoster Row., и у Тхоржевскаго, 30, Rupert Street, Haymarket, London. Price six-pence.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Россія тягостно молчала,
Какъ изумленное дитя,
Когда неистово гнетя
Одна рука ее сжимала;
Но тотъ, который что есть силъ
Ребенка мощнаго давилъ,
Онъ съ тупоуміемъ капрала
Не зналъ, что передъ нимъ лежало,
И мысль его не поняла
Какая есть въ ребенкѣ сила:
Рука—ее не задушила,
Сама съ натуги замерла.

Въ годину мрака и печали,
Какъ люди русскіе молчали,
Гласъ вопіющаго въ пустынѣ
Одинъ раздался на чужбинѣ;
Звучалъ на почвѣ не родной—
Не ради прихоти пустой,
Не потому, что изъ боязни
Онъ укрывался бы отъ казни;
А потому, что здѣсь языкъ
Къ свободномыслію привыкъ
И не касалася окова
До человѣческаго слова.

Привѣта съ родины далекой
Дождался голосъ одинокой,
Теперь юнѣй, сильнѣе онъ...
Звучитъ, раскачиваясь, звонъ,
И онъ гудѣть не перестанетъ,
Пока—спугнувъ ночные сны—
Изъ колыбельной тишины
Россія бодро не воспрянетъ
И крѣпко на ноги не станетъ,
И непорывисто смѣла—
Начнетъ торжественно и стройно,
Съ сознаньемъ доблести спокойной,
Звонить во всѣ колокола.

Полярная Звѣзда выходитъ слишкомъ рѣдко, мы не имѣемъ средствъ издавать ее чаще. Между тѣмъ событія въ Россіи несутся быстро, ихъ надобно ловить на лету, обсуживать тотчасъ. Для этого мы предпринимаемъ новое повременное изданіе. Не опредѣляя сроковъ выхода, мы постараемся ежемѣсячно издавать одинъ листъ, иногда два, подъ заглавіемъ Колоколъ.

О направленіи говорить нечего; оно тоже, которое въ Полярной Звѣздѣ, тоже, которое проходитъ неизмѣнно черезо всю нашу жизнь. Вездѣ, во всемъ, всегда, быть со стороны воли—противъ насилія, со стороны разума — противъ предразсудковъ, со стороны науки — противъ изувѣрства, со стороны развивающихся народовъ — противъ отстающихъ правительствъ. Таковы общіе догматы наши.

Въ отношеніи къ Россіи, мы хотимъ страстно, со всею горячностью любви, со всей силой послѣдняго вѣрованія, — чтобъ съ нея спали наконецъ ненужные старые свивальники, мѣшающіе могучему развитію ея. Для этого мы теперь, какъ въ 1855 году (*), считаемъ первымъ необходимымъ, неотлагаемымъ шагомъ:

освобожденіе слова отъ цензуры!
освобожденіе крестьянъ отъ помѣщиковъ!
освобожденіе податнаго состоянія отъ побоевъ!

Не ограничиваясь впрочемъ этими вопросами, Колоколъ посвященный исключительно русскимъ интересамъ, будетъ звонить чѣмъ бы ни былъ затронутъ — нелѣпымъ указомъ или глупымъ гоненіемъ раскольниковъ, воровствомъ сановниковъ или невѣжествомъ сената. Смѣшное и преступное, злонамѣренное и невѣжественное, все идетъ подъ Колоколъ.

А потому обращаемся ко всѣмъ соотечественникамъ, дѣлящимъ нашу любовь къ Россіи и просимъ ихъ не только слушать нашъ Колоколъ, но и самимъ звонить въ него!

Появленіе новаго русскаго органа служащаго дополненіемъ къ 'Полярной Звѣздѣ' не есть дѣло случайное и зависящее отъ одного личнаго произвола, а отвѣтъ на потребность; мы должны его издавать.

Для того чтобы объяснить это, я напомню короткую исторію нашего типографскаго станка.

Русская Типографія, основанная въ 1853 году въ Лондонѣ, была запросомъ. Открывая ее, я обратился къ нашимъ соотечественникамъ съ призывомъ, изъ котораго повторяю слѣдующія строки:

"Отчего мы молчимъ?
Неужели намъ нечего сказать?
Или мы молчимъ только оттого, что мы не смѣемъ говорить?"

(*) Программа Полярной Звѣзды.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО НОМЕРА «КОЛОКОЛА»

И Герцен бросается в поиски новых народов, способных притти к социализму, и новых путей, ведущих к социализму. Здесь две страны прежде всего останавливают на себе внимание Герцена: Америка и Россия. К Америке Герцен всегда относился с глубоким сочувствием. Страна широкой индустриальной деятельности и значительных демократических свобод, могла рассчитывать на полное сочувствие Герцена. Еще в 30-х годах Герцен отмечал огромное будущее, которое ожидает американский народ. В статьях «С того берега» Герцен «умирающей» Европе противопоставляет расцветающую Америку и серьезно обсуждает вопрос о переселении за океан.

Но в то же время Герцен не мог не видеть, что и Америка заражена столь ненавистным ему «мещанством», что капитализм и там является господствующим способом производства, что государственный аппарат и в Америке приобретает все более и более черты бюрократически-милитаристической машины. Если Европа — царство, в котором уже господствует «мещанин» (капиталист), то Америка — страна, где «мещанин» быстро растет. Герцен, с ненавистью относящийся к буржуазии, переносит свои взоры с буржуазной Америки на Россию.

Дворянская Россия Николая I и его опричников была глубоко чужда Герцену. Но кроме дворянской России, была Россия крестьянская, был многомиллионный русский народ, который Герцен горячо любил и в великое будущее которого он твердо верил. Крестьянская Россия слабо была затронута процессами, протекающими на Западе; тлетворный дух «разлагающейся Европы» ее не коснулся, черт столь ненавистного для Герцена мещанства она не успела принять. Не может ли эта крестьянская Россия открыть новую эру в истории человечества? Вот мысль, которая все больше и больше начинает занимать Герцена.

Вспомним учение Герцена о том, что отсталые народы могут обогнать передовые при благоприятных условиях своего развития; вспомним разочарование Герцена в способности западных народов быстро притти к социализму; вспомним его утверждение, гласящее, что третий том всемирной истории откроет новый варварский или отсталый народ; вспомним, наконец, горячую любовь Герцена к своему народу и его непоколебимую веру в великое будущее русского народа, и мы поймем, почему Герцен с новой надеждой устремляет свои взоры на Восток.

В тяжелые годы, наступившие после поражения революции 1848 г., рассеялись мелкобуржуазные иллюзии Герцена в социализме. Претерпели коренное изменение его взгляды на силу и значение Запада; все глубже и глубже безнадежный пессимизм охватывал Герцена. Остановившись перед историческим материализмом (следовательно перед научным коммунизмом), Герцен не видел выхода из своего «духовного краха». Только «вера в Россию», как не раз впоследствии вспоминал он, спасла его. «Европа, умирая, завещевает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития, социализм. Славяне an sich имеют во всей дикости социальные элементы»[11].

Сочетание этого социального элемента с духовным завещанием Европы (теорией социализма) и дает базу для развития нового общества. Новый народ получает по завещанию наследство Европы и, используя свою естественную склонность к социализму, быстро приходит к последнему. «Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются другие страны», — пишет Герцен[12]. Из этих других стран наиболее подходящей является Россия. Так как каждый народ имеет свою особую судьбу, свою закономерность движения, то и Россия пойдет к социализму своим особым путем. Россия совсем не обязана повторять фазы европейского развития. Она начи-

нает с того, к чему подошла Европа, — с социализма. Россия может миновать капиталистический путь развития, может избежать пролетаризации крестьянства. Социализм в России будет создавать не безземельный пролетарий, а владеющий землею мужик. «Человек будущего в России — мужик, точно так же как во Франции работник»[13].

Как же мужик может создать социализм, какие элементы крестьянской России создают благоприятные предпосылки для строительства социализма? Отвечая на этот вопрос, Герцен прежде всего указывает на общину. Крестьянская община, коллективное право на землю в сочетании с социалистическими идеями, сложившимися в Европе, послужит отправным пунктом для развития нового социалистического общества. Уместно заметить, что Герцен стал приписывать такую роль общине только после поражения революции 1848 г. О самом существовании общины Герцен знал очень давно. В своих спорах со славянофилами Герцен не раз упоминал об общине. В его дневнике за 1843 и 1844 гг. мы находим такие места: «Барон Гакстгаузен и Козегартен, путешественники из Пруссии, занимающиеся исследованиями славянских племен и в особенности бытом и состоянием крестьян в Европе. Я имел случай говорить с Гак[стгаузеном]; меня удивил ясный взгляд на быт наших мужиков, на помещичью власть, земскую полицию и управление вообще. Он находит важным элементом сохранившуюся из глубокой древности общинность, ее-то надобно развивать сообразно требованиям времени»[14].

Как видим, Герцен сочувственно цитирует Гакстгаузена, но при этом Герцен далек от того, чтобы в общине видеть основу социализма. Герцен знал, что все народы в древности имели общинные землепользования и поэтому Герцен совершенно правильно в своем дневнике от 12 января 1844 г. замечает, что расцвет общины относится к эпохе величайшей неразвитости. Герцен критикует славянофилов за то, что последние восхваляли различные архаические элементы, изжитые другими народами, но сохранившиеся в России. 24 января 1844 г. Герцен заносит в свой дневник: «Главная ошибка их [т. е. славянофилов. — *Д. Ч.*], что веря (и не без основания) в огромное будущее славян, как того именно племени, которое имеет призвание своей непосредственностью соответствовать высшему, логическо-историческому вопросу, выработанному Европой, они хотят и в самом младенчестве его видеть что-то высшее европейского развития, как будто возможность будущего значит превосходство и над действительностью, развитою, и осуществившею свое призвание»[15].

«Славяне в будущем, вероятно, призваны ко многому, но что же они сделали в прошедшем со своим стоячим православием и чуждостью от всего человечества?»[16]

Итак, Герцен знал о существовании общины в начале 40-х годов, признавал ее огромную роль в развитии славянских племен, но прежде всего подчеркивал необходимость приобщения славян к европейской культуре для того, чтобы они могли притти к социализму. Герцен временами колебался, отказываясь прямо ответить на вопрос: славяне омолодят Европу или же Европа приобщит славян «к поюневшей жизни своей». Чаще всего Герцен склонен был думать, что именно «Европа приобщит нас к поюневшей жизни своей».

В начале 50-х годов Герцен, не отрицая значения западной культуры в деле создания социализма, якорем спасения для России начинает считать общину. Исключительность русского развития уже не беда России, а ее счастье. Благодаря сохранению общины, Россия, по мнению Герцена, в короткий срок может пробежать расстояние, отделяющее ее от социализма.

«Артель лучшее доказательство того естественного, безотчетного сочувствия славян с социализмом, о котором мы столько раз говорили»[17]. Артель — этот зародыш социализма, можно и нужно развить. И тогда Россия сразу окажется социалистической страной. «Я не говорю, что это необходимо, но это возможно. Ничего нет необходимо-нужного. Будущность не бывает неизменяемо решена вперед»[18].

Поскольку община представляет исключительно благоприятные возможности для быстрого перехода к социализму, неиспользование этих возможностей было бы не только глупостью, но и преступлением.

Таковы конкретные выводы о судьбах Европы и России, сделанные Герценом в период своего духовного краха и развитые им в пятидесятых годах прежде всего в двух работах: «С того берега» и «Старый мир и Россия».

С этими выводами Герцена были хорошо знакомы Маркс и Энгельс. Как же они относились к этим выводам? Несомненно, — резко отрицательно. Творцы материалистического понимания истории всегда боролись с идеалистическим и натуралистическим пониманием истории. Историческая концепция Герцена, своеобразно сочетавшая идеализм с натурализмом, решительно отвергалась и высмеивалась основоположниками марксизма.

Так, например, Ф. Энгельс в письме к И. Вейдемейеру от 12 апреля 1853 г. писал: «Дворянско-буржуазная революция в Петербурге с последующей гражданской войной внутри страны вполне возможна. Г-н Герцен весьма облегчил себе задачу,... гарантировав себя от неудач тем, что по-гегелевски сконструировал демократически-социальную, коммунистически-прудонистскую русскую республику под главенством триумвирата Бакунин — Герцен — Головин»[19].

Подчеркивая идеалистичность такого рода конструкций, основоположники марксизма одновременно решительно критиковали натуралистический характер исторической концепции Герцена. Маркс в письме к Энгельсу от 13 февраля 1855 г. заявлял: «Я с Герценом не хочу никогда и нигде фигурировать вместе, так как не держусь того мнения, будто «old Europe» может быть обновлена русской кровью»[20].

Этих высказываний достаточно для того, чтобы выяснить основное направление, по которому критиковали Маркс и Энгельс Герцена. Как видим, основоположники марксизма прежде всего показывали несостоятельность идеалистических и натуралистических моментов, столь щедро представленных в исторической концепции Герцена.

Столь же решительно выступили Маркс и Энгельс против теории «русского» социализма, созданной Герценом. Теоретические счеты со всеми формами буржуазного и мелкобуржуазного социализма они закончили еще в «Манифесте Коммунистической партии», написанном накануне революции 1848 г. «Русский» социализм Герцена, созданный после революции 1848 г., был так же архаичен и несостоятелен, как и все прежние формы домарксовского социализма.

Если Маркс и Энгельс сравнительно много внимания уделяли критике теории «русского» социализма, то это объяснялось не столько новизной и оригинальностью доводов, выставленных Герценом в ее защиту, сколько сознанием того, что в такой крестьянской стране, как Россия, еще возможно широкое распространение мелкобуржуазных форм социализма.

Как известно, эти предположения Маркса и Энгельса оправдались. Именно поэтому и после смерти Герцена Энгельс считал нужным продолжать свою борьбу с его народнической теорией (см. например, статью Энгельса: «Социальные отношения в России»).

Однако теорию «русского» социализма Маркс и Энгельс находили опасной и вредной не только потому, что она могла поставить на ложный путь многих русских революционеров, но и потому, что она была на руку панславистам.

Известно, что в XIX столетии русский царизм с усиленным рвением выполнял свои функции жандарма Европы. Самодержавие не только превратило Российскую империю в тюрьму народов, но и помогало



ГЕРЦЕН

Бюст работы Я. Траупянского, 1900 г.

Институт литературы, Ленинград

реакционным правительствам Пруссии и Австрии подавлять революционные движения в этих странах. (Например, с помощью русских войск, посланных Николаем I, австрийскому правительству удалось подавить революцию в Венгрии в 1848 г.)

В этих условиях всякое укрепление самодержавия означало усиление реакционных сил тогдашней Европы. Идеалы панславистов, рассчитанные на создание единого славянского государства под эгидой «самодержца всероссийского» являлись реакционными, так как вели к еще большему укреплению самодержавия. Не случайно поэтому царское правительство оказывало всемерную помощь панславистской агитации в странах юго-восточной и центральной Европы.

Как Герцен относился к панславизму? Герцен резко отмежевывался от представителей полицейского и полу-полицейского панславистских направлений. Начиная с своих ранних выступлений против «славянобеснующихся» — этой «гадкой котерии, стоящей за правительством и церковью» — и кончая «Письмами к противнику», Герцен решительно заявлял о своем несогласии с панславистами. Так же решительно Герцен отмежевывался от теории «избранных народов».

И все же Герцен своей теорией «русского социализма, своим учением об особой предрасположенности славян к социализму, своими утверждениями о старческом одряхлении Европы невольно содействовал распространению предрассудков панславизма. Вот почему Маркс и Энгельс, последовательно разоблачавшие реакционный характер панславизма, должны были резко выступить и против Герцена.

Пожалуй, наиболее резкое из печатных выступлений основоположников марксизма против Герцена содержится в примечании Маркса к первому изданию первого тома «Капитала» (глава о первоначальном накоплении). Это примечание гласит: «Если на европейском континенте влияние капиталистического производства, которое подрывает род людской..., будет развиваться, как это было до сих пор, рука об руку с конкуренцией в отношении величины национальных армий, государственных долгов, налогов, элегантных приемов военных действий и т. д., — то, пожалуй, в конце концов станет действительно неизбежным омоложение Европы при помощи кнута и обязательного вливания калмыцкой крови, о чем столь серьезно пророчествует полуроссиянин, но зато полный московит Герцен (заметим, между прочим, что этот беллетрист сделал свои открытия относительно «русского» коммунизма не в России, а в сочинении прусского регирунгсрата Гакстгаузена» [21].

В письме в редакцию «Отечественных Записок» Маркс писал о том, что в руках Герцена «русская община служит лишь аргументом для доказательства того, что старая, гнилая Европа должна быть возрождена победой панславизма» [22].

И в примечании к «Капиталу» и в письме в редакцию «Отечественных Записок» Маркс подчеркивает связь теории «русского» социализма с панславизмом и прежде всего поэтому критикует теорию «русского» социализма Герцена. До 80-х годов прошлого века этот пункт был центральным объектом критики со стороны Маркса и Энгельса. К 80-м годам положение несколько изменилось: теория, созданная Герценом, была подхвачена народниками и получила широкое распространение. Марксистам, боровшимся за создание марксистской теории в России, пришлось выдержать упорную борьбу с народниками: «Только разбив идейно взгляды народников, можно было расчистить почву для создания марксистской рабочей партии в России» [23].

В борьбе с народниками русским марксистам большую помощь оказал Энгельс. Критикуя русских народников, Энгельс, естественно, должен был остановиться на критике родоначальника народничества — Герцена. Здесь Энгельс должен был основной упор сделать на разоблачении мнимой социалистичности теории «русского коммунизма». В связи с этим Энгельс во всем объеме ставит вопрос об общине: «Общинная собственность русских крестьян была открыта в 1845 г. прусским правительственным советником Гакстгаузеном, и он раструбил о ней на весь мир, как о чем-то совершенно изумительном, хотя в своем вестфальском отечестве Гакстгаузен мог бы еще найти не мало ее остатков, а в качестве правительственного чиновника он даже обязан был знать о них в точности. Герцен, сам русский помещик, узнал впервые от Гакстгаузена, что его крестьяне владели землей сообща, и воспользовался этим для того, чтобы изобразить русских крестьян

истинными носителями социализма, прирожденными коммунистами в противоположность рабочим стареющей, загнивающей Западной Европы, которым приходится лишь искусственно выжимать из себя социализм. От Герцена эти сведения перешли к Бакунину, а от Бакунина — к г. Ткачеву»[24].

Концепцию Герцена Энгельс решительно отверг: «русская община просуществовала сотни лет, и внутри нее ни разу не возникало стремления выработать из самой себя высшую форму общественной собственности, точно так же, как ничего подобного не происходило ни в германской марке, ни в кельтском клане, ни в индийских и иных общинах с первобытно-коммунистическими порядками»[25].

Община, сохранившаяся в России, только тогда может послужить отправным пунктом для коммунистического преобразования, если подобную инициативу проявит революционный рабочий класс.

«Победа западно-европейского пролетариата над буржуазией и связанная с этим замена капиталистического производства производством, которым управляет общество, — вот необходимое предварительное условие для подъема русской общины на такую же ступень развития»[26].

В этой связи Энгельс подробно развивает вопрос о возможности сокращенного пути развития для стран, находящихся на докапиталистической ступени развития, выставляя в качестве обязательного предварительного условия победу социализма в развитой в промышленном отношении стране. Эти доводы Энгельса нанесли сокрушительный удар народническим утверждениям о возможности миновать капиталистическую стадию развития без помощи со стороны рабочего класса.

Таким образом, мы видим, что борьба Маркса и Энгельса с Герценом своим основным объектом имела теорию «русского» социализма Герцена. Основоположники марксизма считали своим долгом со всей решительностью выступить против родоначальников этой несостоятельной и вредной теории.

Отрицательное отношение Маркса и Энгельса к общесоциологическим взглядам Герцена и особенно к его теории русского социализма заставляло их недоверчиво относиться к «революционной честности» Герцена. Личные связи Герцена — мы имеем в виду дружбу Герцена с Фогтом и Бакуниным — отнюдь не способствовали устранению этой недоверчивости.

Известно, что Фогт в своей общественно-политической деятельности выставлял программу, полностью совпадающую с программой бонапартистов. С другой стороны Фогт был одним из тех «разносчиков дешевого материализма», к которым с таким презрением относились Маркс и Энгельс. Все это должно было привести к резким выступлениям Маркса и Энгельса против Фогта («Господин Фогт»).

Герцен не разделял философских воззрений Фогта. Он не был детально знаком с его общественно-политической деятельностью; он настолько плохо знал эту деятельность, что считал несправедливым упреки в бонапартизме, адресованные Фогту. Герцен, вообще, смотрел на Фогта, как на ученого, но не как на общественного деятеля. Уже по одному этому он был склонен проходить мимо философских и общественно-политических взглядов Фогта. Но Герцена связывали с Фогтом даже не общие научные интересы, а исключительно личные отношения. В период тяжелых личных переживаний Герцена, вызванных его семейной драмой, Фогт проявил отеческую заботу о Герцене и оказал ему моральную поддержку. Фогту поручил Герцен воспитание своего единственного сына. Признательность Герцена Фогту была исключительно велика. Маркс и Энгельс, конечно, не могли знать все подробности этих взаимоотношений, поэтому к дружбе Герцена с Фогтом они дол-

жны были относиться настороженно, имея основания подозревать Герцена в сочувствии взглядам Фогта.

С другой стороны, личное общение Герцена с Фогтом содействовало появлению у Герцена ложного представления о Марксе. Некоторые заявления Герцена, направленные им против Маркса, были позаимствованы у клеветника Фогта (например, глава «Немцы в эмиграции» в «Былом и думах» [27]). Таким образом, дружба Герцена с Фогтом должна была усилить и усилила отчужденность между Марксом и Герценом. Примерно такую же роль сыграла дружба Герцена с Бакуниным. Мелкобуржуазный индивидуалист-анархист Бакунин являлся притягательным центром для антимарксистских элементов. Общеизвестно, какую реакционную роль сыграл Бакунин и бакунисты в истории I Интернационала. Бакунистов Маркс и Энгельс считали злейшими врагами марксизма. Герцена же они рассматривали как учителя и друга Бакунина. В «конфиденциальном сообщении» о событиях, происходивших внутри Интернационала, Маркс, между прочим, заявляет, что Бакунин после смерти Герцена отрекся «от своего старого учителя и друга» [28].

Это позволяет думать, что Маркс и Энгельс не знали о разногласиях между Бакуниным и Герценом, в частности, не знали о разрыве между ними («Письма к старому товарищу», 1869 г.). Маркс и Энгельс не знали также, что, порывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры к Интернационалу, созданному и руководимому Марксом. Поэтому Маркс и Энгельс очень часто ставили Герцена рядом с Бакуниным (см., например, письмо Энгельса Бекеру от 14 июня 1872 г.) [29].

К этому следует добавить, что полемика между Герценом и Марксом на страницах «Morning Advertiser», вызванная необоснованными нападками Герцена, еще более способствовала отчуждению между ними.

Разумеется, не дружба Герцена с Фогтом и Бакуниным, не полемика его с Марксом играли решающую роль во взаимоотношениях Герцена с основоположниками марксизма. Все эти моменты только усиливали их критическое отношение к Герцену. Центральным же пунктом являлась резко отрицательная оценка Марксом и Энгельсом теории «русского» социализма, созданной Герценом. Поэтому глубоко ошибался Г. В. Плеханов, который пытался объяснить расхождения между Марксом и Герценом недоразумением. Как мы видели, эти расхождения имели под собой принципиальную почву.

Но при всем своем отрицательном отношении к герценовской теории социализма, Маркс и Энгельс отдавали должное Герцену, как демократу и революционеру. В Герцене они видели борца с крепостным правом. За всеми герценовскими изданиями, в которых пропагандировалась идея освобождения крестьян, Маркс и Энгельс тщательно следили. Значение борьбы с крепостным правом они подчеркивали неоднократно. Так, например, Маркс в письме к Энгельсу от 29 апреля 1858 г. писал: «Движение в пользу освобождения крепостных в России кажется мне важным потому, что оно знаменует собою начало в стране внутренней истории, которая может встать поперек дороги ее традиционной внешней политике. Герцен, разумеется, еще раз сделал «открытие», что свобода переселилась из Парижа в Москву» [30]. Несмотря на полемический выпад против Герцена, Маркс со всей силой подчеркивает значение движения в пользу освобождения крепостных и тем самым признает важность общественно-политической деятельности Герцена, который стоял во главе этого движения. Издания Герцена — «Голоса из России», «Колокол» Маркс и Энгельс рассматривали, как самые объективные источники, дающие информацию о том, что происходит в России. Энгельс в письме к Марксу от 21 октября 1858 г. настоятельно просит прислать ему герценовские издания: «Русская ис-

тория идет очень хорошо. Теперь у них и на юге беспорядки... Не можешь ли достать мне у Тхоржевского или кого-нибудь, кто состоит теперь агентом Герцена, некоторые из его последних изданий? У них кое-что должно быть, например, его «Голоса из России» или «Колокол». Там, может быть, можно найти материал — вряд ли много, но все же кое-где в корреспонденциях и т. д.»[31].

Показательно, что у Маркса и Энгельса нет критики этих герценовских изданий. Борясь с теорией «русского» социализма, Маркс враждебно отнесся к попытке Герцена заняться издательской деятельностью (см. насмешливое замечание Маркса о намерении Герцена издавать «Полярную Звезду»[32]). Тем не менее, ни одного отрицательного отзыва о «Полярной Звезде» или «Колоколе» мы у Маркса и Энгельса не находим.

Следует помнить, что внимательно следя за общественно-политической деятельностью Герцена, Маркс и Энгельс сразу реагировали на его ошибочные шаги. Было бы, конечно, натяжкой утверждать, что отсутствие в высказываниях Маркса и Энгельса критики данных изданий можно рассматривать как молчаливое одобрение ими предприятий Герцена. Однако обходить этот факт молчанием, пренебрегать им тоже нельзя.

Можно привести другой пример, подтверждающий признание Марксом и Энгельсом «революционной честности» Герцена. Когда в 1863 г. произошло восстание в Польше, все панслависты и либералы заняли шовинистическую позицию поддержки царского правительства.

Маркс и Энгельс начали пристально следить за тем, какую позицию займет Герцен. В письме к Энгельсу от 13 февраля 1863 г. Маркс писал: «Что ты скажешь по поводу польской истории? Ясно одно:

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА

НА

1855

ТРЕТНОЕ ОБОЗРѢНІЕ ОСВОБОЖДАЮЩЕЙСЯ РУСИ

ИЗДАВАЕМОЕ

ИСКАНДЕРОМЪ

КНИЖКА ПЕРВАЯ

"...Да здравствуетъ разумъ!.."

А. ПУШКИНЪ.

ЛОНДОНЪ

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ КНИГОПЕЧАТНЯ

82 JUDD STREET, BRUNSWICK SQUARE.

1855

ОБЛОЖКА ПЕРВОЙ КНИЖКИ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

в Европе опять более или менее широко открылась эра революций. И общее положение дел хорошее... «Герценовские» солдаты действуют как обычно. Но отсюда еще нельзя сделать выводов ни о массах в России, ни даже о главной массе русской армии. Мы знаем, что проделывали «интеллигентные штыки» французов и даже наши собственные рейнские бродяги в 1848 г. в Берлине. Но ты должен теперь внимательно следить за «Колоколом», ибо теперь Герцену и К° представляется случай доказать свою революционную честность, хотя бы в той мере, в какой она совместима со славянскими симпатиями» [33].

Известно, что Герцен в период событий 1863 г. блестяще доказал свою революционную честность. «Колокол» занял революционно-демократическую линию поведения в польском вопросе. Польские революционеры сами не раз отмечали, что поведение Герцена в польском вопросе было безупречным. Вполне естественно поэтому, что в переписке Маркса и Энгельса, посвященной польскому вопросу, мы не находим ни одного упрека, адресованного Герцену.

Приведенные нами примеры говорят о том, что Маркс и Энгельс при всем своем критическом отношении к Герцену видели в нем демократа и революционера. Поэтому не случайно во втором издании первого тома «Капитала» Маркс устранил полемический выпад против Герцена. Маркс сделал это тем более охотно, что убедился в том, что большинство русских революционеров 60-х годов признавали исключительность русского исторического развития и, тем не менее, являлись революционерами и демократами. Герцен, следовательно, не составлял исключения, и к нему нельзя было предъявлять требования более строгие, чем к остальным русским революционерам.

Анализ отношений Маркса и Энгельса к Герцену показывает, что они впервые познакомились со взглядами Герцена в период его «духовного краха», когда, растерявшись после поражения революции 1848 г., Герцен пытался опереться на свою теорию «русского» социализма. Эта теория и явилась основным объектом критики со стороны Маркса и Энгельса. Только в отдельных случаях говорится о публицистической и общественной деятельности Герцена, направленной на поддержку польских революционеров или содействующей расширению борьбы за освобождение крестьян. Но в таких случаях Маркс и Энгельс положительно относились к деятельности Герцена. В частности, Маркс и Энгельс положительно оценивали деятельность «Вольной Русской Типографии в Лондоне».

Высказывания Маркса и Энгельса не содержат всесторонней характеристики мировоззрения Герцена и определения его места в истории русской революции. Анализ всех особенностей мировоззрения Герцена и оценка его исторического значения даны в работах В. И. Ленина.

2

Помимо отдельных гениальных замечаний о Герцене, имеющих глубоко принципиальное значение, у Ленина имеется специальная статья «Памяти Герцена», написанная к 100-летию со дня его рождения. Эта блестящая статья величайшего гения социалистической революции словно могучим прожектором осветила все извилистые закоулки сложного герценовского мировоззрения.

С исключительной ясностью и непревзойденной глубиной Ленин охарактеризовал особенности и противоречия философских взглядов Герцена, раскрыл подлинное содержание его «духовной драмы».

Значение Герцена в освободительном движении Ленин устанавливает с помощью классического анализа этапов революционной борьбы

русского народа. Революционно-освободительная борьба в России XIX в. прошла несколько этапов: 1825—1861 г. (период дворянский); 1861—1895 г. (период «разночинский» или буржуазно-демократический); наконец, период пролетарский — с 1895 г.[34]

Смена одной эпохи другой сопровождалась резким изменением классового состава участников движения. Эпоха крепостная — полное преобладание дворянства. «Это — эпоха от декабристов до Герцена. Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли разбудить народ.

Эпоха разночинца или буржуазно-либеральная... — дворяне уже составляют меньшую часть среди участников освободительного движения. Но если прибавить к ним духовенство и купечество, то получаем 49%, т. е. почти половину. Движение еще наполовину остается движением привилегированных классов: дворян и верхов буржуазии. Отсюда — бессилие движения, несмотря на героизм одиночек»[35].

Подчеркивая огромное значение последнего из перечисленных этапов революционного движения, Ленин одновременно отмечает крупную роль, которую сыграли в подготовлении этого этапа деятели предшествующих эпох. «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря. Буря — это движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году»[36].

В этих строках Ленин предельно четко определяет место Герцена в истории русского революционного движения. Герцен — деятель, выступивший на грани двух эпох: эпохи преобладания дворян в революционном движении и эпохи движения разночинцев. Герцен — единственный представитель дворянского периода в освободительном движении, который сумел преодолеть ограниченность дворянского революционера и подняться до демократизма восставшего мужика. Революционная агитация Герцена, подхваченная революционерами 60-х годов, дала богатую жатву: мощное народное движение в предреволюционные (1901—1903) и революционные (1905—1908) годы. Деятельность Герцена — яркий пример того, что «беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы»[37].

Правда, в своей революционной пропаганде Герцен не всегда был последователен. Некоторые черты дворянского революционера сохраняются у него до конца жизни. Кроме того, Герцен покинул Россию в период жесточайшей реакции. «Он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к «верхам»[38].

Начиная агитацию за освобождение крестьян, Герцен «первое слово» обращает к дворянам. В статье «Юрьев день! Юрьев день!», адресованной русскому дворянству, Герцен говорил:

«Первое вольное русское слово из-за границы пусть будет обращено к вам. В вашей среде развились потребность независимости, стремление к свободе и вся умственная деятельность последнего века. Меж-

ду вами находится то самоотверженное меньшинство, которым искупает Россия свои грехи в глазах других народов и в собственных своих. Из ваших рядом вышли Муравьев и Пестель, Рылеев и Бестужев. Из ваших рядов вышли Пушкин и Лермонтов. Наконец, и мы, оставившие родину для того, чтобы хоть вчуже раздавалась свободная русская речь, вышли из ваших рядов. К вам первым мы и обращаемся!»[39]

С такого рода обращениями мы встречаемся у Герцена неоднократно.

Герцен пишет открытые письма императрице, в которых дает ей советы, как лучше воспитать наследника. После вступления на престол Александра II, Герцен свои призывы обращает к нему. В целом ряде статей, опубликованных в «Колоколе», Герцен отстаивал преимущества постепенного преобразования общества. Даже в своих знаменитых «Письмах к старому товарищу», в которых Герцен круто поворачивает к коммунизму, он повторяет старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с «проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину»[40]. Но, несмотря на все отступления Герцена от демократизма к либерализму, несмотря на известные колебания между либерализмом и демократизмом, «демократ все же брал в нем верх»[41].

В той самой статье, которую Герцен начал своим обращением к дворянству («Юрьев день!»), он прямо угрожает дворянам обратиться через их голову к крестьянству. Герцен угрожает призвать крестьян к революции, если дворяне добровольно не освободят крестьян. Он угрожает растолковать крестьянам слабость дворянства, указать им средства, о которых они не догадываются, сказать им: «Ну, братцы, к топорам теперь! Не век вам быть в крепости, не век ходить на барщину да служить во дворе; постоимте за святую волю, довольно натешились над нами господа, довольно осквернили дочерей наших, довольно обломали палок об ребра стариков... Нутка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз»[42].

Герцен пугает дворянство призраком пугачевщины. «Страшна и пугачевщина, но скажем откровенно: если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно недорого куплено»[43]. Когда Герцен убедился в том, что ни его просьбы, ни его угрозы не подействовали на дворян, он через голову царя и его сатрапов обратил свои призывы к крестьянству. Герцен горячо оправдывал поступки крестьян, взявшихся за топор. Герцен призывал крестьян к революции. Откликаясь на события в селе Бездна, он с пламенным призывом обращается к крестьянству: «О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской!... как я научил бы тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом и немецким царем... Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя и архирея... не верь им! Царь с ними, и они его. Его ты видишь теперь — ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в Пензе»...[44].

Так называемое «освобождение» крестьян не обмануло Герцена. Правда, в первые дни после февральского манифеста, Герцен, увлеченный своей идеей о социалистичности общинного землепользования, довольный, что крестьян освободили с землей, не разглядел всего грабительского характера реформы. Но первые же уроки проведения реформы показали Герцену ее истинный смысл.

Откликаясь на крестьянские волнения, которыми «облагодетельствованные» крестьяне встретили свое «освобождение», Герцен писал: «Крестьяне не поняли, что освобождение — обман, они поверили слову царскому; царь велел убивать их, как собак; дела кровавые, гнусные совершились»[45]. Отсюда понятно, почему Герцен после реформы не



АПОФЕОЗ «КОЛОКОЛА» И «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

Картина маслом А. Боголюбова, 1860 г.

«Говорят, что картина превосходная. Русские художники хотят поднести ее мне. Средняя фигура очень грациозна. Внизу Александр II, генералы в масках, попы и народ, слушающий звон». (Из письма Герцена к сыну Александру от 13 февраля 1860 г.)

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

только не ослабил, но усилил борьбу за действительное освобождение крестьян. Но теперь Герцен исключительно обращается к крестьянству. Герцен поднял знамя революции.

Совершая крутой поворот от мнимой «надклассовости» буржуазного просветительства к классовой позиции революционного крестьянства, Герцен развертывает непримиримую борьбу с либерализмом. Герценовский «Колокол» одним из первых ставит вопрос «о различии интересов либеральной буржуазии и революционного крестьянства в русской буржуазной революции; иначе говоря, о либеральной и демократической, о «соглашательской» (монархической) и республиканской тенденции в этой революции. Именно этот вопрос поставлен «Колоколом» Герцена, если смотреть на суть дела, а не на фразы, — если исследовать классовую борьбу как основу «теорий» и учений, а не наоборот»[46].

Ставя этот вопрос, Герцен, в конце концов, решал его, как демократ. Не случаен тот факт, что Герцен, к концу своего жизненного пути, окончательно порывает с либералами Аксаковым, Самариным, Кавелиным. В статье «Аксаков в гостях у Каткова» Герцен показывает родство либерала с приспешником жандармского управления, Герцену становится совершенно ясным, что любой либерал становится в конечном счете подголоском реакции. И Герцен со всей силой своего сарказма обрушивается на людей — «траву», на людей — «слизняков», обрушивается на всех представителей либерального хамства. Окончательно порывая с либералами-славянофилами и либералами-западниками, отрекаясь от неисправимого анархиста Бакунина, Герцен, с одной стороны, дает восторженные оценки представителям революционной крестьянской демократии: Н. А. Серно-Соловьевичу, Добролюбову, Чернышевскому[45], а с другой стороны, устремляет свой взор на Интернационал, созданный великим Марксом.

Выясняя огромную роль, сыгранную Герценом в истории революционного движения, Ленин особенно подчеркивал значение Герцена в истории бесцензурной революционной печати. В статье «Из прошлого рабочей печати в России» Ленин писал: «Самыми выдающимися деятелями дворянского периода были декабристы и Герцен. В ту пору, при крепостном праве, о выделении рабочего класса из общей массы крепостного, бесправного, «низшего», «черного» сословия не могло быть и речи. Предшественницей рабочей (пролетарски-демократической или социал-демократической) печати была тогда обще-демократическая бесцензурная печать с «Колоколом» Герцена во главе ее. Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству»[48].

«Колокол» Герцена не только содействовал пробуждению разночинной интеллигенции. Он сыграл гигантскую роль в борьбе за освобождение крестьян. «Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его великая заслуга. «Полярная Звезда» подняла традицию декабристов. «Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено»[49]. Как мы уже отмечали, эта борьба за освобождение крестьян не прекратилась и после реформы 1861 г.

Наконец, огромную роль сыграла «Вольная Русская Типография» в борьбе с самодержавием. «Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом»[50]. Таковы огромные заслуги великого демократа Герцена перед русской революцией, отмеченные Лениным.

Рассмотрим теперь ленинскую оценку философских взглядов Герцена. Ленин говорит: «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя «алгебру революции». Он пошел дальше Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. Первое из «Писем об изучении природы» — «Эмпирия и идеализм», — написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом»[51].

Приведем примеры, поясняющие и подтверждающие ленинскую оценку. В 1842—1843 гг. Герцен пишет свои статьи «О дилетантизме в науке», в которых показывает себя крупным мастером диалектики.

Герцен рассуждает следующим образом: жизнь всегда сочетает в себе борющиеся противоположности; их борьба — живое биение пульса вселенной; противоречие — источник и основа движения и развития.

Эти противоречия жизни отчетливо выступают не только в истории природы, но и в истории человечества: «В каждой стране, в каждой эпохе, в каждой области борьба монополии и масс выражается иначе, но цехи и касты беспрерывно образуются, массы беспрерывно их подрывают и, что всего страннее, масса, судившая вчера цех, сегодня сама оказывается цехом, и завтра масса степенью общнее поглотит и побьет ее в свою очередь. Эта полярность — одно из явлений жизненного развития человечества, явление в роде пульса, с той разницей, что с каждым биением пульса человечество делает шаг вперед»[52].

Источником движения, источником развития является противоречие. Сложность и противоречивость действительности все время подчеркивается Герценом. Неправильные или устаревшие концепции он рассматривает как ограниченные выражения отдельных сторон сложной действительности. Поэтому Герцен критикует эти направления и указывает на те стороны, которые отброшены данными теориями. С этой точки зрения критикует Герцен «классиков» и «романтиков», «формалистов» и «буддистов». Эта критика показывает нам мыслителя, прекрасно овладевшего гегелевской диалектикой.

Но особенно глубокие выводы делает Герцен в теории познания. Процесс познания, с точки зрения Герцена, есть сложный, исторически развивающийся, противоречивый процесс, находящий свое завершение в практике. В ходе познания нет ничего абсолютного и незыблемого. «В развитии науке не на что опереться... одно спасение в быстром, стремительном беге». Люди, цепляющиеся за односторонние определения, принимаемые за полные определения предмета, могут быть уподоблены путнику, принявшему промежуточную станцию за конечный пункт. Если условно говорить о конечном пункте познания, то таковым является деятельность человека. «Всякое положение отрицается в пользу высшего и... только в преемственной последовательности этих положений, борений и снятий проторгается живая истина»[53].

Только анализ этапов развития дает нам понимание того или иного результата. Наука есть итог, сумма, вывод из истории человеческого познания. Теория и история совпадают. «Наука — живой организм, которым развивается истина. Истинная метода одна: это собственно процесс ее органической пластики; форма, система предопределены в самой сущности ее понятия и развиваются по мере стечения условий и возможностей осуществления их»[54]. Наука, метод и теория познания совпадают. Герцен в данном случае метко схватил суть ди-

алектики: «диалектика и есть теория познания Гегеля и марксизма», — говорит Ленин. В той мере, в какой эта характеристика Ленина относится к Гегелю, она относится и к Герцену (мы говорим о статьях «Дилетантизм в науке,», в которых Герцен еще оставался идеалистом). Разумеется, это не значит, что мы можем отожествить точку зрения Гегеля — Герцена с марксизмом. Но нас в данном случае интересует диалектическая постановка вопроса о Герцене. В статьях о дилетантизме Герцен умело пользуется острым оружием революционной диалектики.

В «Письмах об изучении природы» Герцен идет уже далее Гегеля, к материализму, вслед за Фейербахом. Несмотря на некоторую непоследовательность, Герцен уже материалистически разрешает основной вопрос философии — вопрос об отношении мышления к бытию. Он прямо говорит, что «история мышления — продолжение истории природы», что природа и общество — две фазы единого процесса развития, две главы одного романа.

Материалистически разрешая основной вопрос философии, Герцен пытался синтезировать материализм с диалектикой. Материальный мир Герцен рассматривал в движении, в развитии. «Бытие живо движением. С одной стороны, жизнь есть не что иное, как движение беспрерывное, не останавливающееся, деятельная борьба и, если хотите, примирение бытия с небытием, и чем упорнее, злее эта борьба, тем ближе они друг к другу, тем выше жизнь развиваемая ими; это беличье колесо жизни. Животный организм представляет постояннную борьбу со смертью, которая всякий раз восторжествует; но торжество это опять в пользу определенного бытия, а не небытия» [55].

Считая борьбу противоположностей источником движения, Герцен прекрасно понимал важность остальных законов диалектики. Так, о законе перехода количества в качество, в последнем письме об изучении природы говорится: «Количественные определения чрезвычайно важны, почти всегда неразрывны с качественными; изменение одних связано с изменением других».

Эти примеры убеждают в том, что, переходя на материалистические позиции, Герцен продолжал оставаться диалектиком. Герцен, действительно, вплотную подошел к диалектическому материализму. Отсюда видно, между прочим, насколько ошибался Плеханов, когда заявлял, что Герцен в «Письмах об изучении природы» оставался «идеалистом чистейшей воды» и что «диалектика плохо давалась Герцену» [56].

Заканчивая раскрытие ленинского определения философских взглядов Герцена, мы должны, наконец, отметить революционный характер его мировоззрения в целом. Герцен понял, что диалектика есть «алгебра революции». Из своей философии он делал революционные выводы.

Герцену была ясна органическая связь философии с политикой, он понимал, что деятельность философа находит свое завершение в деятельности революционера. «Человек призван не в одну логику, а еще в мир социально-исторический, нравственно-свободный и положительно-деятельный» [57]. Историческое призвание человека — в его деятельности. Деятельность же Герцен понимает, как просветитель-гуманист и революционер-демократ. Философ должен итти в гущу страданий и борьбы, любви и ненависти, «в мир социально-исторический и нравственно-деятельный», должен использовать свои знания для революционного преобразования действительности.

Перейдем теперь к анализу оценки Лениным герценовского социализма. Ленин, с одной стороны, указывает на связь социалистической теории Герцена с теориями социалистов-утопистов, а с другой стороны, выявляет то своеобразное, что дали Герцен и Чернышевский. В ра-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВТОРОЙ КНИЖКИ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА

НА

1856

ИСКАНДЕРОМЪ

КНИЖКА ВТОРАЯ

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ ПЕРЕСМОТРѢННОЕ АВТОРОМЪ

Да здравствуетъ разумъ!

А. ПУШКИНЪ.

LONDON

TRÜBNER & Co., 60, PATERNOSTER ROW.

1858.

боте «Что такое друзья народа» Ленин показывает, что восприятие социалистических идей, которые Франция «разливала по всей Европе» в первой половине XIX в., «давало в России теории и учения Герцена, Чернышевского» [58]. Являясь мечтателями и утопистами, Герцен, Чернышевский и другие верили «в особый уклад, в общинный строй русской жизни», они верили «в возможность крестьянской социалистической революции» [59]. В этом состояло существо «русского крестьянского социализма».

Несмотря на то, что социализм этот был утопичен, он сочетался у Герцена, а особенно у Чернышевского с революционным демократизмом. Герцен и Чернышевский были идеологами крестьянской революции, в этом их основная заслуга. Действительное существо «социалистической» теории Герцена было мелкобуржуазным, утопическим. «Не поняв буржуазно-демократической сущности всего движения 1848 года и всех форм домарксовского социализма, Герцен тем более не мог понять буржуазной природы русской революции. Герцен — основоположник «русского» социализма, «народничества». Герцен видел «социализм» в освобождении крестьян *с землей*, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю». Свои излюбленные мысли на эту тему он развивал бесчисленное количество раз. На деле в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве — вплоть до полинявшего народничества теперешних «социалистов-революционеров» — нет *ни грана* социализма. Это такая же прекраснодушная фраза, такое же доброе мечтание, облекающее *революционность* буржуазной крестьянской демократии в России, как и разные формы «социализма 48-го года» на Западе. Чем больше земли получали бы

крестьяне в 1861 году и чем дешевле бы они ее получили, тем сильнее была бы подорвана власть крепостников-помещиков, тем быстрее, свободнее и шире шло бы развитие капитализма в России. «Идея «права на землю» и «уравнительного раздела земли» есть не что иное, как формулировка революционных стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения» [60]. Ленин говорит о том, что теория «русского социализма» Герцена не содержала в себе ни грана социализма. Таким образом, Ленин, как и Маркс, резко отрицательно относился к теории «русского» социализма, как социалистической теории. Но в то время как Маркс и Энгельс делали упор на разоблачении мнимой социалистичности этой теории, Ленин подчеркивал ее революционно-демократическое содержание, облеченное в форму социалистического мечтания.

Почему Маркс и Энгельс, с одной стороны, Ленин, с другой, делали упор на разных моментах одной и той же теории? В 50-х годах прошлого века, когда Маркс и Энгельс давали первую оценку герценовской теории, они прежде всего имели в виду тот резонанс, который эта теория должна была найти в Европе. Как говорит Ленин, в то время «революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе)» [61]. Для Европы буржуазно-демократическая революционность Герцена была в значительной степени пройденным этапом. Социалистическая же форма этой революционности представлялась совсем архаическим явлением. Помимо того, теория «русского социализма» Герцена вопреки его субъективным намерениям оказывала поддержку панславистскому движению. Все это вынуждало Маркса и Энгельса сделать упор на выявление слабых сторон герценовской концепции.

Позднее, в 90-х годах прошлого века, когда Энгельсу снова пришлось много внимания уделять Герцену, обстановка партийной борьбы в России требовала основательного выявления несостоятельности теории «русского» социализма. Народники, с которыми марксисты вели упорную борьбу, ухватились за социалистические фразы герценовской теории, изменив ее содержание. «Из политической программы, рассчитанной на то, чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества, выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, «улучшить» положение крестьянства при сохранении основ современного общества» [62]. Вполне естественно, что в этих условиях нужно было решительно громить теорию «русского» социализма, показывать всю ее несостоятельность.

Ленину приходилось давать общую оценку роли, сыгранной Герценом в истории освободительного движения в связи с анализом этапов революционного движения в России. Ленин показывает, что Герцен выступил в тот исторический период, когда происходило размежевание между либералами и демократами, когда только еще подготовлялась буржуазно-демократическая революция в России. Буржуазно-демократическая революционность Герцена была единственно возможной формой революционности в России того времени. Можно упрекать Герцена за то, что он не был так последователен в рамках этой революционности, как, например, Чернышевский. Ленин писал, что «Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы» [63]. Но что Герцен был революционером-демократом, стоящим на уровне революционных задач

своей эпохи, в этом не может быть сомнения. Форма, в которую он облекал свою революционность, не соответствовала ее содержанию.

Ленин, так же как и Маркс, показывает это несоответствие, вскрывает всю несостоятельность претензий буржуазного революционного демократа на звание социалиста, утверждает, что такой «социализм» неизбежно превращается в «прекраснодушную фразу», «доброе мечтание» и т. д. Но в то же время Ленин показывает, что облачение буржуазно-демократических взглядов в «социалистическую» форму неизбежно на определенных этапах развития революционного движения, показывает, что это облачение не мешало деятелям этой эпохи проводить революционно-демократическую линию.

Таким образом, ленинская оценка теории «русского социализма» не расходится с той оценкой, которую давали этой теории Маркс и Энгельс. Ленин, как и Маркс, основную заслугу Герцена видел не в его «социализме», а в его революционно-демократической деятельности.

В заключение несколько слов о ленинском анализе «духовной драмы» Герцена. На эту тему писали представители самых различных партий и общественных групп, представленных в царской России. Много пошлости наговорили в связи с этим как «рыцари российского либерального языкоблудия», так и махровые реакционеры.

Много изучал Герцена Г. В. Плеханов. Он ближе подошел к решению этой задачи. «Теоретическая драма Герцена, — писал Плеханов, — заключалась в том, что он, чувствуя несостоятельность исторического идеализма, не мог сделаться историческим материалистом» [64].

Теоретические истоки духовной драмы Герцена Плеханов установил совершенно правильно. Именно остановка перед историческим материализмом вызвала духовный крах Герцена после поражения революции 1848 г. Но подчеркивая теоретические моменты, Плеханов совершенно опустил социально-политические условия, породившие духовную драму Герцена. Всей ее глубины, самого существа герценовского скептицизма Плеханов не понял и до конца разобраться в нем не смог.

Только ленинский анализ в полной мере раскрыл нам подлинную суть этого явления. «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела... У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» [65].

Вдумаемся в эти замечательные слова. Революционный демократ Герцен попадает в Европу тогда, когда революционность буржуазной демократии уже умирала. События 1848 г. показали, что в Европе отчетливо наметился переход буржуазных демократов к либерализму, — «к тому холуйскому, подлому, грязному и зверскому либерализму, который расстреливал рабочих в 48 году, который восстановлял разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III и который проклинал, не умея понять его классовой природы, Герцен» [66].

Герцен должен был разочароваться и разочаровался в революционности буржуазного демократизма. Но Герцен, остановившийся перед историческим материализмом, не мог сразу перейти на позиции пролетарской классовой борьбы, когда еще не созрела революционность рабочего класса. Отсюда глубокий пессимизм и скептицизм Герцена. Но этот скептицизм был для него формой перехода на позиции классовой борьбы социалистического пролетариата.

Ленин пишет: «Герцен рвет с анархистом Бакуниным. Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласие в тактике, а не пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с «проповедью, равно обращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину». «Но все же-таки, разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к Интернационалу, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс, — к тому Интернационалу, который начал «собирать полки» пролетариата, объединять «мир рабочий», «покидающий мир пользующихся без работы»[67].

Как видим, вопрос о духовной драме Герцена, над которым тщетно ломали голову буржуазные писатели, вопрос, который не сумел разрешить Плеханов, с предельной ясностью и глубиной был разрешен только Лениным.

Внутренние противоречия мировоззрения Герцена отражали противоречивые условия его эпохи. При всех недостатках и всей незавершенности своего материализма Герцен был материалистом в основном вопросе философии; при всех колебаниях между либерализмом и демократизмом Герцен в конечном итоге становился на позиции демократизма. Материалистические взгляды в области философии, революционно-демократические устремления Герцена в области политики росли и крепли на всем протяжении его жизненного пути.

Работы В. И. Ленина выявляют все стороны герценовского мировоззрения, все особенности его общественно-политической деятельности. В статье «Демократия и народничество в Китае» Ленин говорит о «далеком и одиноком предтече» русской буржуазной демократии, «дворянине Герцене»[68]. В статье «О народничестве» Ленин говорит о Герцене, как родоначальнике народничества[69].

В статье «Памяти Герцена» Ленин подчеркивает революционный демократизм Герцена, значение его для русской революции. «Чествуя Герцена, — пишет Ленин, — пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории»[70]. С исключительной силой эта же мысль выражена в работе Ленина «Что делать»: «Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский...»[71].

Герцен-дворянин и Герцен-демократ, народник и предшественник русской социал-демократии — в этих ленинских определениях схвачены разные стороны многогранного мировоззрения Герцена. Характеризуя все эти стороны, Ленин показывает, какие из них доминировали у Герцена и обеспечили ему почетное место в ряду предшественников русской революционной социал-демократии.

Сложность герценовского мировоззрения, наличие у Герцена слабых сторон на ряду с сильными пытались использовать в своих интересах реакционные классы и партии. Сам Герцен всю жизнь находился в гуще партийной борьбы; после смерти Герцена вокруг его духовного наследия разгорелась ожесточенная борьба различных партий и групп.

Монархисты, питавшие к Герцену при его жизни самую лютую ненависть, всячески клеветавшие на него, после смерти Герцена захотели «подработать» на его авторитете. Они заговорили «о великой индивидуальности», «не нашедшей пути», о «религиозных исканиях Герцена», о его «ненависти к Западу». Золотушные либералы, которые не раз испы-

тывали на себе всю остроту герценовского сарказма, изъявили желание признать Герцена «своим». Народники и эсеры истошно кричали об «истинно русском социалисте» Герцене. Монархисты и либералы, народники и псевдомарксисты — все искажали духовный облик Герцена.

Все величие Герцена, его силу, как и его слабость, сумел оценить только пролетарский революционер Ленин. Он не только правильно оценил роль Герцена в истории революционного движения, не только поставил наследие Герцена на службу социалистической революции, но и отстоял это наследие от посягательств врагов рабочего класса, врагов всех трудящихся.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
[2] Герцен, т. V, стр. 545.
[3] Отдельные деятели 40-х годов в ходе своего духовного развития не отобразили всей истории немецкой классической философии; так, например, Белинский последовательно находился под влиянием Шеллинга, Фихте, Гегеля, Фейербаха, но почти не испытал влияния со стороны Канта. Герцен находился под влиянием Шеллинга и Гегеля, но не Канта и Фихте.
[4] Герцен, т. IX, стр. 71.
[5] Герцен, т. X, стр. 246.
[6] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
[7] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XV, стр. 508.
[8] Герцен, Сочинения, т. V, стр. 524.
[9] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 22—23.
[10] Там же, стр. 26.
[11] Герцен, т. V, стр. 244.
[12] Там же, стр. 333.
[13] Там же, стр. 303.
[14] Герцен, т. III, стр. 110—111.
[15] Герцен, т. VI, стр. 450.
[16] Герцен, т. III, стр. 118.
[17] Герцен, т. VII, стр. 277.
[18] Там же, т. VIII, стр. 38.
[19] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXV, стр. 184.
[20] Там же, т. XXII, стр. 86.
[21] Там же, т. XVI, ч. II, стр. 396.
[22] Там же, т. XV, стр. 375.
[23] История ВКП(б) под ред. комиссии ЦК ВКП(б), стр. 25—26.
[24] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XV, стр. 259.
[25] Там же, т. XVI, ч. II, стр. 391.
[26] Там же, стр. 392.
[27] Следует подчеркнуть, что Герцен при жизни не опубликовал эти выпады против Маркса. Соответствующая глава «Былого и дум» была опубликована после его смерти.
[28] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIII, ч. I, стр. 366.
[29] Там же, т. XXVI, стр. 267.
[30] Там же. XXII, стр. 337.
[31] Там же, стр. 364.
[32] Там же, стр. 91.
[33] Там же, т. XXIII, стр. 134.
[34] Ленин, Сочинения, т. XVII, стр. 341; см. также т. XVI, стр. 575.
[35] Там же, т. XVI, стр. 575—576.
[36] Там же, т. XV, стр. 468—469.
[37] Там же.
[38] Там же, стр. 466—467.
[39] Герцен, т. VII, стр. 248—249.
[40] Герцен, т. XXI, стр. 449.
[41] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 467.
[42] Герцен, т. VII, стр. 253.
[43] Там же, стр. 252.
[44] Герцен, т. XI, стр. 194.
[45] Там же, стр. 196.
[46] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 466.
[47] Герцен, т. XI, стр. 366; т. XVIII, стр. 163.

[48] Ленин, Сочинения, т. XVII, стр. 341.
[49] Там же, т. XV, стр. 466.
[50] Там же, стр. 469.
[51] Там же, стр. 464—465.
[52] Герцен, т. III, стр. 193—194.
[53] Там же, стр. 224.
[54] Там же, стр. 207.
[55] Герцен, т. IV, стр. 56.
[56] Плеханов, Собрание сочинений, т. X, стр. 239, 241.
[57] Герцен, т. III, стр. 222.
[58] Ленин, Сочинения, т. I, стр. 164.
[59] Там же.
[60] Там же, т. XV, стр. 466.
[61] Там же, стр. 465. Подчеркнуто Лениным.
[62] Там же, т. I, стр. 165. Подчеркнуто Лениным.
[63] Там же, т. XVII, стр. 342.
[64] Плеханов, Собрание сочинений, т. XXIII, стр. 407.
[65] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
[66] Там же.
[67] Там же.
[68] Там же, т. XVI, стр. 26—27. Подчеркнуто мною. — *Д. Ч.*
[69] Там же, стр. 283; см. также т. XV, стр. 466.
[70] Там же, т. XV, стр. 469.
[71] Там же, т. IV, стр. 380—381.

ГЕРЦЕН-ХУДОЖНИК И ЕГО МЕСТО В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Статья Я. Эльсберга

Основная задача настоящей статьи — охарактеризовать художественное творчество Герцена, как исторически обусловленное явление в развитии русской и мировой литературы и показать Герцена-художника в его связях с родственными ему литературными течениями и традициями.

Ключом к такому исследованию творчества Герцена естественно является методология и выводы классической работы В. И. Ленина о Герцене. Ряд указаний В. И. Ленина вскрывает глубочайшую сущность и корни художественного творчества Герцена. Статья В. И. Ленина самым своим построением говорит о том, по каким направлениям должно двигаться исследование идейного содержания, тематики и стилистики Герцена-художника.

В статье В. И. Ленина мировоззрение Герцена дается все время в своем сложном единстве, на фоне развития классовой борьбы и идейной жизни и в России и в Западной Европе. Историческое место Герцена устанавливается, с одной стороны, в соотношении с декабристами, с революционерами-разночинцами, с либералами, а с другой, в соотношении с западно-европейским утопическим социализмом и буржуазным демократизмом до и после 1848 г., и в соотношении с учением Маркса.

Исследователь художественного творчества Герцена должен стремиться показать идейное и тематическое содержание художественных произведений Герцена и их стиль в этой глубокой перспективе, привлекая для сопоставления крупнейшие явления художественной жизни России и Западной Европы, так или иначе связанные с охарактеризованной В. И. Лениным идейной борьбой.

Художественное творчество Герцена, так же как и его политические писания, могут быть правильно поняты лишь в таких сопоставлениях, ибо этот великий русский писатель и идейно, и тематически, и стилистически вырос под сложными, перекрещивающимися влияниями русской и западно-европейской жизни и литературы.

Поэтому наше исследование должно итти по следующим двум основным направлениям: с одной стороны, нашей задачей является показать Герцена, как последнего великого представителя пушкинского периода русской литературы и непосредственного предшественника художественной литературы русской революционной демократии 60-х годов; с другой стороны, мы должны охарактеризовать Герцена, как писателя, глубоко и ярко отразившего переходную всемирно-историческую эпоху революции 1848 г. и идейную жизнь того времени и занимающего в этом отношении в мировой литературе место рядом с Гейне.

I. ГЕРЦЕН КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПУШКИНСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ТРАДИЦИИ ЭПОХИ ПУШКИНА И ДЕКАБРИСТОВ И ПУШКИНСКОЙ ЭСТЕТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРЦЕНА

Указания В. И. Ленина: «Герцен принадлежит к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века» и «Декабристы разбудили Герцена» [1], имеют громадное значение при анализе художественного творчества Герцена.

Сам Герцен остро чувствовал свою связь с традициями эпохи Пушкина и декабристов, и эта связь не сводилась только к ощущению политической преемственности. Юные годы Герцена были вдохновлены и овеяны поэзией Пушкина и его эпохи. Мироощущение и эстетика Пушкина оказали громадное влияние на Герцена-художника. Пушкин и его эпоха определили собою самые яркие, непреходящие и пленительные впечатления отрочества и юности Герцена. Поэтому образы, мысли, сарказмы Пушкина так легко и органически, в виде эпиграфов, цитат и упоминаний, вплетаются в ткань художественных и публицистических произведений Герцена, его писем и дневников, служа пламенным лозунгом, яркой иллюстрацией той или иной герценовской характеристики, ироническим выпадом, лирическим аккомпанементом к собственным раздумьям.

В «Письмах к будущему другу» Герцен говорит: «Жизнь моя сложилась рано, и я долго оставался молод. Воспоминания мои переходят за пределы николаевского времени; это им дает особый fond, они освещены вечерней зарей другого торжественного дня, полного надежд и стремлений. Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед... В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками... Я помню появление первых песен «Онегина» и первых сцен «Горя от ума»... Я помню, как, перерывая смех Грибоедова, ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир...

И вся эта передовая фаланга, несшаяся вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла...

Я четырнадцатилетним мальчиком плакал об них и обрекал себя на то, чтоб отомстить их гибель...» [2].

Герцен говорит о «золотом поле иконописи», о героях и святых, потому что он сам вырос в ту эпоху, когда сформировалось п е р в о е п о к о л е н и е русских революционеров, и русские передовые люди впервые оказались способными на оганизованное революционное выступление, когда «царем-властителем литературного движения» [3] был великий Пушкин, «наиболее полный представитель широты и богатства русской натуры» [4], в творчестве которого «цивилизованная часть русской нации нашла... в первый раз дар поэтического слова» [5], когда атмосфера эпохи была наэлектризована «волнениями национальной войны» [6] 1812 г.

Добролюбов писал о Пушкине: «не должно казаться странным, что о ч а р о в а н и е нашим бедным миром так сильно у Пушкина, что он так мало смущается его несовершенствами». Великий критик объяснял это тем, что Пушкин первый «присмотрелся к русской природе и жизни и нашел, что в них есть много истинно хорошего и поэтического», первый открыл этот мир и первый поэтически изобразил его.

Великий критик отнюдь не упрекал Пушкина в идеализации действительности, в забвении ее «несовершенств». Наоборот, Добролюбов

подчеркивает, что Пушкин открыл «действительный русский мир», что «Пушкин откликнулся на все, в чем проявлялась русская жизнь; он обозрел все ее стороны...». Добролюбов в том и видел «великое значение поэзии Пушкина: она обратила мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежде поэты находили идеал красоты и всякого совершенства». Только после Пушкина и на основе его творчества могло наступить «время строгого разбора», «самого горького негодования» и изобличения «несовершенства»[7] окружающей действительности.

Своеобразие исторических условий позволило Пушкину представить русскую жизнь в таких образах красоты, которые отнюдь не были ложной идеализацией, не вступали в противоречие с пушкинской сатирой и иронией и не были подточены последними.

Эти эстетические особенности творчества Пушкина оказали громадное влияние на Герцена. Это влияние сказывается наиболее отчетливо в тех частях «Былого и дум», которые посвящены России.

Два раза в своей жизни Герцен возвращался к воспоминаниям детства, отрочества и юности, и оба раза с одним и тем же чувством.

Находясь во владимирской ссылке, в «грустную, томную, бесцветную эпоху жизни», Герцен в 1838 г берется за автобиографическую работу, впоследствии частично опубликованную в виде «Записок одного молодого человека», и во вступлении так характеризует, вызванные образами прошлого, ощущения: «...мало-по-малу образы давно-прошедшие наполнили душу, окружили радостной вереницей, — мне жаль стало расстаться с ними, и я решился писать, для того, чтобы остановить, удержать воспоминания, пожить с ними подольше; мне так хорошо было под их влиянием, так привольно... едва написал страницу, как мне стало легче; тягость настоящего делалась менее чувствительна; моя веселость возвращалась; я оживал сам с прошедшим: расстояние между нами исчезало»[8].

В лондонском одиночестве 1852—1853 гг., пережив тягчайшую общественную и личную драму, Герцен приступает к «Былому и думам». Герцен писал в мае 1854 г., рассказывая, как он начинал тогда работу над своими записками: «...одно воспоминание вызывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся как вешние грозы, освещая и укрепляя своими ударами молодую жизнь»[9].

Первые главы «Записок одного молодого человека», так же, как и первые части «Былого и дум», — это те произведения Герцена, в которых «очарование нашим бедным миром» сказывается наиболее ярко.

Для Герцена «рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были... моей Илиадой и Одиссеей»[10]. Общественный подъем эпохи 1812 г., восстание декабристов, поэзия Пушкина являлись для Герцена священным, дорогим и близким воспоминанием, а не фактом далекого исторического прошлого.

Для Герцена декабристы были героическим и непосредственным примером. Они встают перед Герценом, как образы великой красоты. Недаром В. И. Ленин цитировал герценовскую характеристику декабристов из «Концов и начал», как «фаланги героев»[11]. Героическое содержание принимает и форму эстетического совершенства.

Над герценовскими образами декабристов, «фаланги героев, вскормленной, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя...»[12], так же как и над пушкинской революционной лирикой («Кинжал», «Андрей Шенье»

и др.), витают эстетические традиции античной героики, воспринимаемые и как революционные традиции 1789 г. Вспомним, что Пушкин писал о «великолепной, классической, поэтической Греции..., где все дышит мифологией и героизмом»[13], а Герцен называл древнюю историю «эстетической школой нравственности», дающей «уроки гражданских добродетелей»[14].

Герцен чувствовал себя участником — и совершенно справедливо — того исторического движения, когда, после политического подъема, ведшего к 14 декабря, после триумфа русской культуры и искусства в лице Пушкина, русская философская мысль достигла замечательных успехов. «В крепостной России 40-х годов XIX в. он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени», — писал В. И. Ленин[15] о Герцене. Называя себя и своих друзей детьми декабристов, Герцен говорит, что «этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя»[16]. Об этих «детях», о кружках 30—40-х годов Герцен и рассказал в «Былом и думах». Так рассказ о годах детства и отрочества, о годах, принадлежащих эпохе Пушкина и декабристов, естественно связывался с повествованием о передовых людях 30—40-х годов и о себе самом, сохранившем и за рубежом верность русской революционной традиции. Поэтическим, эмоциональным центром русских частей «Былого и дум» является рассказ о круге русских передовых людей 30—40-х годов, о самом себе, как одном из них, об очаровании этих людей, сумевших в окружавшей страшной атмосфере сохранить человеческое достоинство, достоинство передовой, несгибающейся мысли и вступивших в борьбу с царизмом и крепостничеством.

В «Былом и думах» Герцен вернулся «к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости», он изобразил «святые минуты», проведенные в вятской ссылке с «подснежными друзьями моими», «смелые беседы» с ними, «чистое и грациозное явление» — Н. А. Захарьину, «ясное, славное время... дружного труда... согласного строя и мужественной борьбы», «художественную сторону жизни», «полную гармонию» в кругу друзей, «изящную, возмужалую и деятельную полосу нашей московской жизни»[17].

Своеобразие Герцена-художника, его поэтическая направленность сказывается, например, в характерном для него переходе от XV главы «Былого и дум», содержащей резкую и беспощадную характеристику русского чиновничества, бюрократической машины самодержавия, к XVI главе, посвященной Витбергу: «Середь этих уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и сцен... вспоминаются мне печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью». А рассказав о тяжкой судьбе Витберга — «мученика», Герцен любовно рисует «роскошь и богатство его артистической натуры», «пластичность и ... изящный колорит»[18] его чувств и мыслей.

Герцен отнюдь не идеализировал по своему произволу прошлое. Герцен имел право так рассказать об этом времени потому, что философская и политическая мысль людей 40-х годов, и в первую очередь Герцена и Белинского, была явлением громадного исторического значения, потому что Герцен своей жизнью и поступками доказал верность своим убеждениям, выработанным в кружках 30—40-х годов, потому что он начал за рубежом открытую борьбу с самодержавием.

Эта проверка жизненным опытом, ощущение себя представителем русского революционного движения в Западной Европе, служила твердым обоснованием поэтическому и правдивому рассказу Герцена. Это было то обоснование, которого нехватало Герцену в 40-х годах в Рос-



ГЕРЦЕН

Портрет маслом А. Збруева, 1832 г.

Музей революции, Москва

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПОРТРЕТА ГЕРЦЕНА РАБОТЫ А. ЗБРУЕВА
С НАДПИСЬЮ Б. ПАССЕКА

Музей революции, Москва

сии, для того, чтобы написать тогда такое же светлое произведение о себе и своих друзьях. Тогда Герцен искал, как мы увидим дальше, образы светлой красоты в утопической мечте о «новом человеке».

Как у Пушкина, так и у Герцена «очарование нашим бедным миром» не было односторонним, идеализирующим действительность. И Герцен умел класть суровые краски, и Герцен рисовал страшные картины. Как и Пушкин, Герцен мог сказать о себе: «Умел я презирать, умея ненавидеть»[19]. Вспомним в «Былом и думах» дикую кровавую расправу с «поджигателями», свидетелем которой Герцен был в полиции; еврейских детей восьми, десяти, тринадцати лет, которых этапом гонят сотни верст для того, чтобы отдать их в солдаты — «ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст»[20]; эпизоды «Былого и дум», рисующие русское чиновничество, «сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых»[21]; различные типы губернаторов-тиранов; характеристики Николая I, представляющие собой цепь жалящих эпиграмм; помещичьи злодеяния, по поводу которых Герцен саркастически говорит: «а тут чувствительные сердца и начнут удивляться, как мужики убивают помещиков с целыми семьями...»[22]. Герцен имел право сказать в «Колоколе»: «Мы — крик русского народа, битого полицией, засекаемого помещиками»[23].

Поэтический рассказ о русских передовых людях 30—40-х годов, о себе самом как представителе поколения дворянских революционеров, органически, «по-пушкински» был связан у Герцена с гневным, полным сарказма и иронии отрицанием самодержавия, бюрократии и крепостников.

Отрицание старой России Герценом было отрицанием демократа, но принадлежащего к поколению дворянских революционеров и отражающего в своем художественном творчестве все идейное, эмоциональное и бытовое своеобразие этого поколения.

2. ПОЭЗИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДРУЖБЫ У ПУШКИНА И ГЕРЦЕНА

Поэзия радостного ребячества и юности, веселого дружеского круга передовой молодежи, светлых мечтаний и надежд, дорогих на всю жизнь героических традиций и заветов, легендарных рассказов и воспоминаний — такова поэзия «Детской и университета», в дальнейшем течении повествования все более нарушаемая суровыми ударами жизни, но не покидающая Герцена на протяжении всех русских частей «Былого и дум».

Герцен называл первые части «Былого и дум» — «светлыми сенями» своих записок. Герцен в 1852—1853 гг. приступил к выполнению того плана, который он еще в 1836 г. характеризовал в следующих словах: «От 1812 до 1825 ребячество, бессознательное состояние, зародыши человека... Перед 1825 годом начинается вторая эпоха: важнейшее происшествие ее — встреча с Огаревым... Эта эпоха юности своим девизом будет иметь дружбу»[24]. Поэзия дружбы, «страстной дружбы»[25], действительно овевает собой эти светлые, гордые, юные страницы «Былого и дум».

Герцен подчеркивал при этом идейное содержание этой страстной дружбы, очень далекой от «пустого товарищества»; дружба эта была спаяна «нашей общей религией», нашедшей свое полное энтузиазма выражение в отроческой клятве «пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу»[26].

Это идейное и эмоциональное содержание «Детской и университета» великолепно оценил Н. Г. Чернышевский, который в сентябре

1856 г., под видом рецензии на стихотворения Н. П. Огарева, напечатал, в сущности, рецензию на эту часть «Былого и дум», помещенную в «Полярной звезде» на 1856 г.

«Знали ли вы когда-нибудь восторженную дружбу? — спрашивает Чернышевский. — Если не владело вами это чувство, хотя в поре молодости, вы, быть может, улыбнетесь. Но нет, не спешите смеяться: смеяться и мы любим, но не над тем, что было необходимо и оказалось благотворно в историческом развитии».

Для Чернышевского «восторженная дружба», «восторженные чувства знаменуют собой определенную и уже прошедшую эпоху в развитии русской передовой революционной интеллигенции: «двадцать лет тому назад энтузиазм этот был очень сильным деятелем в нравственном развитии нашего общества, или, чтобы выразиться точнее, лучших его представителей...» [27]. И хотя тут же Чернышевский бегло очерчивает образ того нового революционно-демократического поколения, собирание и воспитание которого и было исторической задачей великого революционера и просветителя, констатация исторической прогрессивности «восторженной дружбы», этой своеобразной формы собирания передовых сил дворянской интеллигенции в 1830—1840-х годах, остается непоколебленной.

Той поэзии, которой насыщены «Былое и думы», не знают ни Л. Толстой, ни С. Аксаков. В «Детстве», в «Отрочестве» и в «Детских годах Багрова внука» поэзия детства не ведет к революционным мотивам герценовского отрочества. Вырастая, герой Л. Толстого, так же как и С. Аксакова, становится и все более одиноким, и печальным. Уходя за пределы тесного семейного круга, он грустно спрашивает себя: «Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и силы веры, которыми обладаешь в детстве?» [28]. Не то у Герцена. Его детство не противостоит юности. Ребенком автор «Былого и дум» уже чувствует отчужденность по отношению к отцу, в доме которого он свое «ложное положение» ощущает с ранней чуткостью. «Невыносимая скука нашего дома росла с каждым годом, — читаем мы в «Былом и думах». — Если-б не близок был университетский курс, не новая дружба, не политическое увлечение и не живость характера, я бежал бы или погиб» [29]. А осознав свою враждебность застойному барскому быту, вырвавшись из его оков вместе с друзьями-единомышленниками, Герцен находит подлинно родную, близкую себе среду, из которой и вырастает поэзия революционной дружбы. Это не поэзия бездумного детства, ласки родных и домашнего уюта, вдохновлявшая Л. Толстого и С. Аксакова.

Зато невольно вспоминается Пушкин:

«Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья...
. . . .
. . . . с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!»
(«В альбом И. И. Пущину» [30])

Подобно тому, как Герцен говорит о своей дружбе с Огаревым, что «ничего в свете ни очищает, ни облагораживает так отроческий возраст, ни хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий

интерес» [31], так Пушкин обращается к Чаадаеву, своему «неизменному другу», с такими словами:

Твой жар воспламенял к высокому любовь... [32]

А Чернышевский, писавший о «восторженной дружбе» Герцена и Огарева, характеризуя Пушкина, говорит об его «горячем сердце, жаждущем любви, жаждущем дружбы, способном привязываться к человеку всеми силами души...» [33].

Революционная дворянская молодежь не порывала с бытовыми привычками барской среды, но в самых ее шалостях, ее пиршествах, ее откровенном, порой разгульном веселье, был элемент, враждебный дворянскому обществу с его ханжеской моралью, лицемерной благопристойностью и продажными наслаждениями; за дружескими пирами господствовал дух вольномыслия и свободолюбия. Вот эта-то обстановка и этот дух молодого веселья ярко встает перед нами в «Былом и думах» Герцена так же, как и в лирике Пушкина. Герцен говорит, что год, который «торжественно заключил первую юность... был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновения, разгула...» [34]. Но «шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание... общие вопросы, гражданская экзальтация спасали нас; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интерес» [35].

И самый тон Герцена, весь его рассказ о задорных веселых днях своей молодости (VII глава «Детской и университета») опять-таки напоминает знаменитые пушкинские строки:

И черни презирай ревнивое роптанье,
Она не ведает, что можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под легким покрывалом
И ум возвышенный и сердце можно скрыть.
(«К Каверину») [36]

Если Пушкин пишет про «праздность вольную, подругу размышленья» («Деревня» [37]), то Герцен, говоря о том, что Огарева порой упрекали в праздности, пишет: «знают ли, сколько во всем сделанном мною отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам, или еще более п р а з д н о проводили за бокалом вина» [38].

Такие стихотворения Пушкина, как «Воспоминания», «К Пущину» или послание Я. Н. Толстому, восстанавливают перед нами ту же поэтическую атмосферу дружеских пирушек передовой дворянской молодежи, которая зарисована в «Былом и думах» и в «Последнем празднике дружбы» [39], одном из ранних набросков герценовских воспоминаний, лишь по цензурным соображениям не опубликованном в составе «Записок одного молодого человека».

Пушкина и Герцена не раз обвиняли в «аристократизме». На деле этот «аристократизм» не барская спесь, а гордость дворянского революционера, выступающего против самодержавия и его знатных холопов, против крепостников. Герцен писал в 1849 г. в статье «Россия»: «Между высшею знатью, которая обитает почти исключительно в Петербурге, и д в о р я н с к и м п р о л е т а р и а т о м чиновников и беземельных дворян лежит весьма значительный слой среднего дворянства, нравственным центром которого является Москва. Несмотря на общую нравственную порчу и этого слоя, надо признать, что в нем, именно, таятся зародыши и умственный центр будущей революции» [40]. Пушкин же говорит: «И на кого журналисты наши нападают? Ведь не на новое дворянство, получившее свое начало при Петре I и импе-

раторах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую и могущественную аристократию — pas si bête! Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности. Они нападают, именно, на старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного состояния, коему принадлежит и большая часть наших литераторов»[41]. Пушкин и Герцен (последний, примерно, до начала 60-х годов) верят в то, что передовому дворянству принадлежит ведущая роль в русском общественном и революционном движении.

Пушкин и Герцен рано ощутили себя защитниками и представителями угнетенных народных масс. В «Сороке-воровке» Герцен создал поэтический образ сильной и гордой крепостной русской женщины, борющейся против давящего ее угнетения и сознательно идущей навстречу гибели в этой неравной борьбе. В образе этой женщины, «великой русской актрисы»[42], предпочитающей смерть позору и покорности холопства, вера Герцена в силы русского народа нашла свое замечательное художественное воплощение. Но, как говорит В. И. Ленин: «Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах»[43]. Поэтому в борьбе одиночек из народа Герцен видел т о г д а и героизм и неизбежность гибели. Это ощущение вызывало горькое чувство, столь сильное в «Сороке-воровке». Но горечь эта не могла уменьшить того восхищения, с которым Герцен приветствовал борьбу своей героини и поэтически рассказал о ней.

Изображение бунтарей из народа, как людей сознательно и гордо идущих навстречу гибели, также роднит Герцена с Пушкиным. Сказка об орле и вороне, которую Пугачев «с каким-то диким вдохновением» рассказывает — прообраз судьбы не только Пугачева, но и героини «Сороки-воровки»: «чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!»[44]. Не случайно Герцен, желая охарактеризовать в письме к Мишле русский национальный характер, прибег к помощи народной сказки, содержащей ту же мысль: «лучше раз протянуться в волюшку, да умереть»[45]. И теми же чувствами проникнута та «простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице»[46], которую Гринев слышит в стане Пугачева.

А. Гршкин в статье «Образ народного героя в творчестве Пушкина» («Пушкинский временник», т. III) уже сопоставлял Архипа из «Дубровского» и камердинера из VIII главы «Былого и дум» в сценах пожара.

Но, конечно, проблема взаимоотношений народа и дворянской интеллигенции является для Герцена несравненно более трудной и спорной, чем для Пушкина. В своих заметках по русской истории XVIII века, написанных в 1822 г., Пушкин указывал, что неудачи попытки «аристократии» ограничить самодержавие избавили Россию от «чудовищного феодализма» и «существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян». Пушкин считал, что «нынче... политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла...».

Герцен же, издатель и редактор «Колокола», должен был, в конце концов, на опыте политической борьбы 60-х годов, убедиться в том, что у народа, у передовых людей «трое врагов: правительство, журналистика и дворянство, — Государь, Катков и Собакевич». И тогда же Герцен понял историческую роль нового революционного поколения, гораздо более близкого к народу, чем поколение дворянских революционеров.

3. ГЕРЦЕН КАК ПИСАТЕЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД РУССКОЙ ПРОЗОЙ ПУШКИНЫМ

Н. Г. Чернышевский писал: «у нас до сих пор литература имеет какое-то энциклопедическое значение, уже утраченное литературами более просвещенных народов...» И далее Чернышевский противопоставляет развитие русской мысли и литературы «Германии, Англии, Франции, где умственная жизнь развилась уже на множество отдельных самостоятельных отраслей... Поэт и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто, кроме поэта, говорил России о том, что слышала она от Пушкина. Кто против романиста говорил в России о том, что слышала она от Гоголя»[47].

Литературная деятельность Герцена возникла и развивалась именно в расцвет «энциклопедического значения» русской художественной литературы, впервые сказавшегося в творчестве Пушкина. Поэтому сочетание в Герцене великого художника и публициста, замечательного философа, блестящего критика и историка литературы — не только результат счастливой многосторонности таланта. Это своеобразие писательского образа Герцена сказывается, в частности, в том, что и во всех его нехудожественных произведениях в той или иной мере, — то ли в виде отдельных художественных зарисовок, то ли в силу эмоционально-лирического стиля его публицистики, то ли по богатству образных сопоставлений — явственно ощущается перо художника. В виду этого, кстати сказать, мы привлекаем при анализе нашей темы, в той или иной мере, и такие произведения Герцена, которые, в целом, не могут быть отнесены к разряду художественных.

И про Герцена можно сказать, что то, что он говорил своими художественными призведениями, не говорил никто другой. Нельзя себе представить Герцена-мыслителя лишенным художественного дара. Конечно, Герцен и сам сделал чрезвычайно много для самостоятельного развития русской философии и публицистики. Но Герцен и в этом смысле принадлежит переходному периоду. Гигантская роль, сыгранная Чернышевским как публицистом, свидетельствовала о тех новых формах, которые начала принимать русская умственная жизнь. (Не приходится сомневаться в том, что, несмотря на весь свой беллетристический талант, Чернышевский, имей он возможность остаться на публицистической трибуне, едва ли бы нашел время для написания созданных им в заточении романов — недаром Чернышевский в «Литературной собственности» мечтал уже и о той эпохе, когда «тот, кто делается нынче литератором-публицистом, — превратится в оратора; он вступит на свою истинную дорогу...»[48], т. е. мечтал обратиться к народным массам с живым словом политического вождя, вышедшего из подполья и покинувшего стены журнальной редакции.) В 60-х годах Герцена уже не раз упрекали в том, что он в политике слишком художник. Так, критиковавший Герцена слева, А. Серно-Соловьевич писал в своем памфлете «Наши домашние дела»: «Вы — поэт, художник, артист, рассказчик, романист... только не политический деятель»[49].

В этой связи очень глубоко и остроумно замечание Н. В. Шелгунова в статье 1870—1871 гг. о том, что «тридцать лет назад и Добролюбов и Писарев сделались бы романистами; в наше время они стали критиками-публицистами»[50].

У Герцена же художественная форма изложения обладала действительно «энциклопедической» широтой, в той или иной мере обнимая все жанры его творчества. Еще в 1836 г. Герцен в письме к Сазонову и Кетчеру указывал на свое стремление «в форме повести перемешать науку, карикатуру, философию, религию, жизнь реальную, мистицизм...»[51].

Литературная деятельность Герцена начала развиваться, как бы отвечая потребности, возникшей в пушкинскую эпоху и лучше всего сформулированной самим Пушкиным. Великий русский поэт много думал о создании русской прозы, остро ощущая слабость ее развития по сравнению с поэзией. Пушкин писал: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат»... При этом Пушкин не проводил резкой грани между прозой художественной и теоретической. Русским беллетристам он ставил в пример Вольтера, как «лучший образец благоразумного слова», и так характеризовал Бюффона: «слог его цветущий, полный, всегда будет образцом описательной прозы»[52]. Особенно подчеркивал Пушкин, что «ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует»[53].

Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Предприми постоянный труд... образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах»[54]. Пушкин в своей прозе себе эту задачу не ставил, Вяземский же с ней не справился, его пугал «дремучий бор Германской метафизики»[55], он не сумел овладеть глубокой философской мыслью и выразить ее средствами своей тонкой и остроумной эпистолярной прозы.

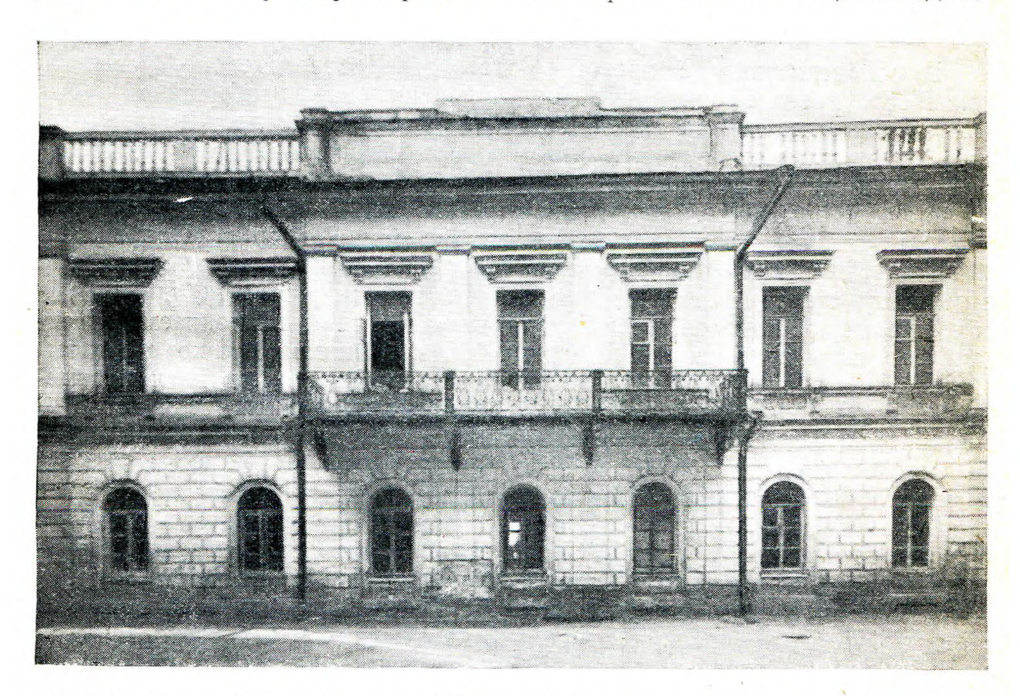
«Метафизического языка» не боялся В. Ф. Одоевский. Но он, как мыслитель, был лишь эпигоном реакционного шеллингианства. Недаром Белинский говорит, что Фауст, которому Одоевский в «Русских ночах» поручает высказать многие свои мысли, принадлежит к «робким умам». Белинский в своей, по форме очень мягко написанной, статье напоминал Фаусту, а в сущности Одоевскому, что не только Шеллинга, но и Гегеля «далеко обогнали им же вызванные на труд и дело новые поколения»[56]. Язык и мысль Одоевского навсегда остались «робкими», эпигонскими.

Ту прозу, о которой думал и писал Пушкин, пытались создать, каждый по-своему, Марлинский и Сенковский. Но оба они не справились с этой задачей именно потому, что им нехватало «мыслей и мыслей». Это великолепно поняли и оценили Белинский и Чернышевский. Белинский писал об авторе «Ревельского турнира»: «Это... поэзия не мысли, а блестящих слов...»[57]. О Сенковском Белинский писал: «его повести и рассказы местами невольно заставляют читателя смеяться; в них много блесток и порывов ума. Если бы в этих сатирических очерках было больше определенности в мысли, больше глубины и дельной злости,—их литературное значение имело бы бо̀льшую важность»[58]. Аналогично судил о Сенковском Герцен, характеризуя его, как писателя, «исполненного ума... но без всяких убеждений»[59]. Чернышевский указывал, что у Марлинского «самый внимательный розыск не откроет ни малейших следов принципов, которые, без сомнения, были дороги их автору, как человеку»[60]. Говоря о Сенковском, как о «человеке замечательного ума», Чернышевский, вместе с тем, характеризует его литературное творчество, как «лилипутские забавы»[61].

О замечательной же прозе Лермонтова можно сказать словами Белинского о «Герое нашего времени», что, «поражая удивительным единством *ощущения*», она «нисколько не поражает единством *мысли*» (В. Г. *Белинский*. Полн. собр. соч., т. V, стр. 369). По идейной целеустремленности и интеллектуальной ясности проза Лермонтова уступает его поэзии, в которой «быстрота и разнообразие ощущений покорены единству мысли» (В. Г. *Белинский*, т. VI, стр. 313).

Герцен, «первый русский мыслитель» (А. М. Горький), является в русской литературе тем именно писателем, который *впервые все виды художественной прозы* — *автобиографию*, по-

весть, рассказ, очерк, фельетон, памфлет — пронизывает передовой и ясно осознанной философской мыслью. Впервые в русской литературе художественная проза и философия выступают рука об руку. Герцен вместе с Белинским создал русский философски-публицистический язык и свободно владел им. По сравнению с ними Хомяков и И. Киреевский бедны мыслью. Этим Герцен выполняет историческую задачу, сформулированную Пушкиным. Недаром Белинский писал Герцену: «У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку» [62], и говорил, что его слог исполнен «ума, мысли, юмора и остроумия» [63]. А в силу охарактеризованного Чернышевским «энциклопедического значения» русской художественной литературы той эпохи, на всех работах Герцена лежит отпечаток его художественной индивидуальности.



ДОМ И. А. ЯКОВЛЕВА В МОСКВЕ, В Б. ВЛАСЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ, ГДЕ ЖИЛ ГЕРЦЕН В ДЕТСТВЕ
Фотография
Институт литературы, Ленинград

Могут возразить, что художественная проза Пушкина очень мало похожа на прозу Герцена, что последняя не отвечает пушкинскому требованию — «точности и краткости». Но пушкинская проза в ее подчеркнутой сдержанности и лаконичности может быть понята лишь как **часть** творчества Пушкина и только в соотношении с пушкинской поэзией, с ее неисчерпаемым богатством чувств, мыслей и средств художественного выражения. Очень верна следующая характеристика Вяземским Пушкина-прозаика: «Сдается, что Пушкин будто сторожил себя; наложенною на себя трезвостью, он будто силился отклонить от себя и малейшее подозрение в употреблении поэтического напитка. Прозаик крепко-накрепко запер себя в прозе так, чтобы поэт не мог и заглянуть к нему» [64]. Лирика интеллекта, философский лиризм нашли себе место не в прозе, а в поэзии Пушкина. Герцен же, выпол-

няя задачу, поставленную Пушкиным, воспринял, как мы увидим, и ряд существенных стилистических традиций пушкинской поэзии. И затем основное: Пушкин указывал важнейшее требование, предъявляемое им к той русской прозе, которая должна была быть создана, но, конечно, он не мог и не думал предугадывать характер художественной индивидуальности того писателя, который эту задачу осуществит. Герцен дал русской прозе «мысли и мысли», но его художественный талант окреп в эпоху, которую Пушкин уже не увидел, под воздействием и таких литературных влияний, которые для Пушкина существенного значения не имели.

4. ВЛИЯНИЕ ПУШКИНСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО И ЭПИСТОЛЯРНОГО СТИЛЯ НА ГЕРЦЕНОВСКУЮ ПРОЗУ

В сопоставлении с прозой Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова, проза Герцена производит впечатление необычайной, блестящей нарядности. Эта проза насквозь лирична, она пропитана чувствами и настроениями самого автора, высказываемыми с откровенностью, присущей только большой духовной силе, все равно, будь то в гордом ликовании, непринужденной веселости, в страстном негодовании или горьком познании собственных ошибок. Герцен в «Поврежденном», описывая средиземноморское побережье, говорит: «Досадно, что я не пишу стихов. Речи об этом крае необходим ритм так, как он необходим морю, которое мерными стопами во веки нескончаемых гекзаметров плещет в пышный карниз Италии. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство — еще не мысль... В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шопот фантазии» [65]. Но именно проза Герцена порою так гибка, так богата оттенками и теми «высокими» образами, которые обычно кажутся дарованными лишь поэзии, что в этом сожалении чувствуешь желание средствами прозаика передать «лепет сердца», «шопот фантазии». Недаром Достоевский говорил о Герцене, как о «поэте по преимуществу» [66].

Герцен в следующих словах характеризовал русский язык, и эти слова могут быть в первую очередь отнесены к его собственному стилю и языку: «... главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легости, с которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть» [67]. М. Горький писал, что язык Герцена «исключителен по красоте и блеску» [68].

Л. Толстой, говоривший об «удивительном языке» Пушкина, «который он так смело и свободно поворачивает, куда ему угодно, и всегда попадает в самую точку», в таких выражениях сопоставлял Пушкина и Герцена: «Герцен не уступит Пушкину... Где хотите откройте, везде превосходно» [69].

Когда наше литературоведение обогатится исследованиями фразеологии и стилистики великих русских писателей, параллель между лексикой поэзии Пушкина и прозы Герцена можно будет развить широко. Сейчас мы ограничиваемся немногими сопоставлениями.

Пушкин говорит о «снах задумчивых души» [70] («Презрев и толки укоризны...»), Герцен в «Былом и думах» о «ребяческом сне моей души» [71]. Пушкин пишет об Испании, о «неге той страны, где небо вечно ясно, где жизнь ленивая проходит сладострастно» [72] («К вельможе»), Герцен рассказывает об Италии, об этом «сладострастном береге», где «жизнь — нега, наслаждение, что-то ослабляющее, страстное» [73]. Повествуя о своей дружбе с Огаревым, Герцен указывает: «мы

смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные»[74]. В посвящении «Кавказского пленника» Н. Н. Раевскому, читаем: «под тучи вражьих стрел, младенец избранный, ты гордо полетел»[75]. В «Евгении Онегине» Ольга «цвела как ландыш потаенный»[76]. Герцен же вспоминает о своей Гаэтане, о Людмиле Пассек: «Когда же ландыши зимуют?»[77]. Пушкин говорит о «прелести важной простоты»[78], которую сумел сохранить в своих песнях Ленский, Герцен о «великой простоте»[79] Гарибальди, Пушкин о «мраморной красе»[80] Нины Воронской, Герцен о «мраморной... красоте»[81], которой себя окружал Юсупов. «Оставь меня пустыням и слезам»[82] восклицает Пушкин в «Элегии», а Герцен рассказывает о Жеребцовой: «вместе с старостью началась для нее пустыня...»[83]. У Пушкина пленник говорит про «душу сирую мою»[84], — Герцен о Печорине, как о «сиром русском человеке»[85].

Такие выражения, как «дубравные жители»[86], «упиваясь красотой»[87], «увенчанные лаврами»[88], «я с умилением взглянул»[89], «старец»[90], «благоуханна»[91], нередко встречающиеся у Герцена (так же, как и у Пушкина), оттеняют своеобразно лирический, поэтический колорит герценовской прозы.

Нам отнюдь не существенны более или менее точные совпадения между Пушкиным и Герценом. Автор «Былого и дум», цитировавший Пушкина в своих произведениях более двухсот раз, слишком хорошо знал и любил Пушкина для того, чтобы допускать заимствования. И если прямые или почти прямые совпадения встречаются (а встречаются они больше всего, и не случайно, именно в первых частях «Былого и дум»), то это лишь демонстрирует лексическое родство между поэтическим стилем Пушкина и прозаическим Герцена. Аналогичные параллели можно было бы провести и между прозой Герцена и творчеством некоторых других поэтов, так или иначе связанных с поколением дворянских революционеров, но это лишь подтвердило бы нашу мысль о стилевой и особенно лексической связи прозы Герцена с поэзией пушкинской эпохи.

Другой, очень важный оттенок герценовской прозы, ее шутливость и ироничность, также вызывает сопоставления с поэтическим и эпистолярным стилем Пушкина. Пушкин любил поэзию «не только в обширных созданиях драмы и эпопеи», но и в «игривости шутки, и в забавах ума, вдохновленного веселостью»[92]. Как указывает Г. О. Винокур («Культура языка», стр. 294), в письмах Пушкина разбросаны «многочисленные эпиграммы в прозе». Глубокое очарование жизнью и веселым дружеским кругом передовых людей порождает и у Герцена «игривость шутки» и «забавы ума». Герцен умел, по собственному выражению, находить «комический бортик к трагическим событиям», и недаром в одном из писем к Огареву он привел следующие слова дочери Лизы о «Былом и думах»: «Тебе свойственна манера весело рассказывать...»[93]. «Действительно, смех имеет в себе нечто революционное...»[94] — писал Герцен, ссылаясь на Вольтера, и глубоко чувствовал всю революционную действенность пушкинского смеха. Пушкинские эпиграмматические, иронические и саркастические характеристики и выпады легко и естественно привлекаются Герценом для иллюстрации своих мыслей. Так, в мачехе «корчевской кузины», представляющей собою «полный, совершенный тип петербургской институтки»[95], Герцен, цитируя пушкинские слова, отмечал черты, свойственные «семинаристу в желтой шали»[96]. Пушкинский сарказм — «холоп венчанного солдата»[97] открывает собою в «Былом и думах» характеристику Аракчеева[98]. Пушкин сказал о Каченовском, что он

Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки[99].

А Герцен заявлял в 1865 г., что передовые «Московских Ведомостей» — это статьи, «писанные чернилами III отделения

с слюною бешеной собаки,

т. е. Каткова»[100]. Характеризуя реакцию 60-х годов, Герцен изобличал «неокрепостников, всех этих Коцебу с пушкинской рифмой...»[101].

Если Зарецкий у Пушкина — «трибун трактирный»[102], то «хористы революции» у Герцена — «трибуны кофейных и клубов»[103], а образ Зарецкого служит Герцену для характеристики эмигранта Курнэ[104].

Разумеется, что использование Герценом тех или иных пушкинских цитат, и, в частности, эпиграмматических характеристик, не может само по себе служить доказательством близости стилей Герцена и Пушкина. Но такое использование иллюстрирует существенную особенность художественной формы герценовского юмора, склонность Герцена к сжатой, острой, то шутливой, то саркастической характеристике, к эпиграмме, а также к каламбуру. Ведь, например, характеристики Николая I на протяжении «Былого и дум» являются, в сущности, цепью жалящих эпиграмм: «взлызистая медуза с усами»[105]; «явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом»[106]; Николай I «отдал Полежаева в солдаты за стих, Костенецкого с товарищами — за прозу, уничтожил Критских за бюст, отправил нас в ссылку за сен-симонизм...»[107]. «... Николай издал целый том церковных фасадов, высочайше утвержденных... ему бы издать собрание высочайше утвержденных мотивов»[108].

И Пушкин и Герцен хорошо сознавали свою склонность к стилю, насыщенному шуткой, каламбурами. Пушкин писал П. А. Вяземскому: «В первый раз улыбка читателя me sourit * (Извини эту плоскость: в крови!..)»[109]. Под «плоскостью» Пушкин явно понимал здесь каламбур. А Герцен писал сыну: «А ты, милый Саша, пожалуйста, не пиши в твоих письмах каламбуров — зачем перенимать одно дурное? Пиши просто, это всего лучше»[110].

Черты эпиграмматичности и каламбурной шутливости, присущие стилю, воображению и уму и Пушкина и Герцена, вызывают у них частые совпадения и проявления сходства, отнюдь не требующие объяснения прямыми влияниями.

Так, Пушкин пишет Нащокину: «страховать жизнь еще на Руси в обыкновение не введено, но войдет же когда-нибудь; покамест мы не застрахованы, а застращены»[111]. А Герцен пишет в «Былом и думах»: «Плантаторы обыкновенно вводят в счет страховую премию рабства, т. е. содержание жены, детей помещиком и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет... но страховая премия сильно понижается премией страха телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания»[112]. Пушкин спрашивал, «что Журнал Анахарсиса Клоца Кюхли?»[113]. А Герцен говорит о «Марке Туллии-Ламартине»[114]. В обоих случаях и Пушкиным и Герценом применен аналогичный метод псевдо-торжественного пародирования имени людей, дающих к тому основание некоторыми чертами своего поведения, причем, однако, дружеская шутка Пушкина сменилась у Герцена саркастической издевкой. Если Пушкин определял гр. А. Н. Панина, отличавшегося необычайно высоким ростом, как «дубину в 800 верст длины»[115], то Герцен говорил об его брате, гр. В. Н. Панине, обладавшем тем же свойством, как о «шесте с шляпой» и упоминал об его «мачтовой красоте»[116]. Острота Герцена, харак-

---

* мне улыбается

ДОМ В ПЕРХУШКОВЕ — ПОДМОСКОВНОМ ИМЕНИИ А. А. ЯКОВЛЕВА
Фотография
Литературный музей, Москва



теризовавшая посетителей салона В. Ф. Одоевского, как «полужандармов и полулитераторов, совсем жандармов и вовсе не литераторов» [117], по принципу своего построения напоминает известную эпиграмму Пушкина против Воронцова:

Полугерой, полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут однако ж есть надежда,
Что полный будет наконец. [118]

Пушкинское четверостишие «Золото и булат», являющееся переводом французской эпиграммы, служит Герцену, в прозаической перефразировке, для сжатой и иронической характеристики, рассказанного в «Былом и думах», столкновения между вятским полицмейстером и купцом Машковцевым:

«— Ну, это еще посмотрим!» — сказало злато.

— Ну, и увидите, — сказал булат» [119].

И Пушкину и Герцену свойственно создание каламбура по созвучию. Так, например, Пушкин пишет о Дельвиге: «... шпионы-литераторы заедят его как Барана, а не как Барона» [120]. А Герцен гневно и саркастически спрашивает в одной из своих заметок из «Колокола»: «за что же, несмотря на мощную протекцию Каткова, государь охладел к кату?..» [121]. У Герцена, так же, как и у Пушкина, встречается и каламбурная игра французскими словами. Так, Герцен пишет дочери Ольге и М. Мейзенбуг, что посылает им «les mémoires qui naissent de M-me Quinet» [122]. Каламбурный, точно державшийся произношения слов и передающий упоминаемую фамилию «по смыслу», перевод этой фразы гласил бы: «мемуары, которые родились от госпожи, которая рожает».

В этой связи отметим, что если Герцен легко и смело вводил галлицизмы в свою прозу (галлицизмы Герцена ждут еще своего исследователя), то еще Пушкин выступил принципиальным их защитником, видя во французском языке «язык мыслей», а в галлицизмах один из путей, ведущих к созданию «русского метафизического языка». Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы» [123]. А вместе с тем, у Герцена, так же как и у Пушкина, галлицизмы сочетаются с «просторечием», со словами, взятыми из «разговорного языка простого народа» [124]. Так, элегическое воспоминание об Оуэне прерывается фразой: «В самом деле, Оуэн, чай (разрядка наша. — *Я.* Э.), был ровесником Веллингтона...» [125]; Герцен употребляет такие слова, как «корноухий» [126], «гунявый», «под микитки» [127], «сивушный» [128], «чирий» [129] и т. п.

Для стиля герценовского юмора характерна также большая роль, которая отведена в «Былом и думах» анекдоту. Сам Герцен это хорошо сознавал. Так, он писал в 1854 г. М. К. Рейхель: «Я приготовляю теперь к печати томик... — «Тюрьма и ссылка» со всеми анекдотами о Тюфяеве и о прочем» [130]. Герцен ценил в бытовом и историческом анекдоте «эксцентричность» рассказываемых в нем фактов, но он умел выбирать такие анекдоты, которые в «Былом и думах» превращались в яркие иллюстрации к большим и значительным обобщениям. И эта черта герценовского стиля родственна Пушкину. Можно сказать, что Герцен превратил в элемент стиля своей художественной прозы анекдоты, которые Пушкин собирал в «Table-talk» и дневниках.

Наконец, близки по своему стилю лаконичные и афористические, по большей части, саркастические и иронические заметки Пушкина в «Смеси» «Литературной газеты» и Герцена в «Смеси» «Колокола».

5. СОЧЕТАНИЕ В ГЕРЦЕНОВСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ТРАДИЦИЙ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ С ВЛИЯНИЯМИ ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г.

Во всеобъемлющем творчестве Пушкина находятся истоки творчества ряда великих русских писателей, и среди них одним из наиболее близких Пушкину по духу и стилю был Герцен. На связь, существующую между Пушкиным и Герценом, в следующих словах указывает в одном из своих писем А. М. Горький. «Он [Пушкин. — *Я.* Э.] у нас начало всех начал, — в том числе и Герцена» [131].

Но характеризуя на предыдущих страницах проявления пушкинской традиции в художественном творчестве Герцена, мы сознательно допускали абстрагирование этих элементов герценовского творчества и стиля от других, связанных с иными идейными и литературными влияниями, абстрагирование неизбежное на данном этапе анализа.

Красота пушкинских образов овеяна традициями двух периодов идейной борьбы буржуазной демократии в Западной Европе против феодализма и крепостничества, — эпох ренессанса и просвещения. Национальный, политический и культурный подъем эпохи 1812 г. и, в частности, движение декабристов впервые создали в России твердую почву для классического и гениального выражения таких идей, чувств и традиций, во всем национальном своеобразии русской культуры. Эту величайшую историческую задачу выполнила пушкинская поэзия. Герцен ощущал себя и был преемником революционной традиции пушкинского времени. Он продолжал борьбу Пушкина и декабристов против самодержавия и крепостничества, своими философскими работами 40-х годов он совершал дело, аналогичное поэтическому творчеству Пушкина. Но вместе с тем, между мировоззрением и стилем Пушкина, с одной стороны, и Герцена, с другой, лежит грань, поставленная исто-

рическими условиями. Сознательная жизнь Герцена только начиналась в пушкинскую эпоху. На Герцена громадное влияние оказали идеи утопического социализма. Герцену пришлось пережить, притом в Западной Европе, эпоху революции 1848 г., которую Пушкину не суждено было вовсе узнать.

Мировоззрение Пушкина неотделимо и от идейных традиций эпохи просвещения и от исторического опыта революции 1789 г. Величие Пушкина сказывается в том, что, не теряя исторического оптимизма, он уже видел противоречия буржуазного развития. Пушкин и в этом отношении несравненно выше громадного большинства поколения дворянских революционеров.

Так, например, Бестужев-Марлинский в «Ревельском турнире», рисуя столкновение феодального рыцарства с буржуазией, характеризует купцов, как «класс, самый деятельный, честный и полезный изо всех обитателей Ливонии» [132], одевает купца в рыцарские доспехи и заставляет его на турнире завоевать себе в жены дочь рыцаря. Пушкин же, разрабатывая в «Сценах из рыцарских времен» очень близкую, даже сюжетно, тему, не только выступает против романтической идеализации средневековья, говоря о рыцаре, как о «воплощенной посредственности» [133], но и подчеркивает ограниченность буржуазии. Мартын говорит: «А мне чорт ли в истине, мне нужно золото»; Франц: «Виноват ли в том, что... честь для меня дороже денег» [134]. Героем Пушкина является не идеализированный Марлинским купец, завоевывающий себе в жены дочь рыцаря, а враждебный и буржуазному укладу главарь народного восстания против феодального господства рыцарей.

Герцен также никогда не опускался до романтизма Марлинского, который то восхищался средними веками — «этим веком набожности и любви, рыцарства и разбоев», когда якобы католическое духовенство показало «победу духа над грубой силой», то идеализировал буржуазию. Но Герцен до 1848 г. находился еще под влиянием романтизма, навеянного утопическим социализмом, и его мечтами о «новом человеке». И Пушкин смотрел вперед, он верил в будущее и будущего человека, но мудро понимал, что перед этим будущим стоят еще громадные исторические препятствия, и не предавался иллюзиям легкого и быстрого обновления мира. Пушкин сумел передать и красоту настоящего и его суровые противоречия, и не стремился создавать отвлеченную утопию. Он верил в будущее «племя младое», приветствовал его, но мирился с тем, что для него оно останется «незнакомым» [135]. Герцен же до 1848 г. все надежды возлагал именно на будущего и отвлеченного «нового человека», на быстрое его появление и хотел его предугадать своей фантазией, видя в нем образ совершенной красоты.

В конце же 40-х годов проблема господства буржуазии встала перед Герценом с такой всепоглощающей остротой, с какой она никогда не вставала перед Пушкиным. Пушкин, отмечая «отвратительный цинизм» и «нестерпимое тиранство» американского буржуазного общества и притеснение им индейских племен, вместе с тем, как просветитель, заключает: «так или иначе, через меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон» («Джон Теннер») [136]. Перед Пушкиным, смело и проницательно вскрывающим язвы буржуазного развития, вовсе не встает самый страшный и мучительный для Герцена вопрос: действительно ли этот «неизбежный закон» ведет человеческое общество к прогрессу, человеческую личность к расцвету всех заложенных в ней возможностей? Не оста-

новится ли человечество на буржуазной эпохе, не погрузится ли оно в мертвый покой?

Герцен увидел не героизм и красоту борьбы буржуазной демократии периода расцвета ее революционности, а наоборот, умирание этой революционности. Пушкину чужд был вывод Горцена в «С того берега»: «демоническое начало истории нахохоталось над... наукой, мыслью, теорией» [137].

В художественном творчестве Герцена образы героизма и красоты, образы декабристов, Пушкина, русских передовых людей 30—40-х годов, светлые традиции возрождения и просвещения столкнулись с мрачным опытом 1848 г., выпятившим все противоречия буржуазного развития. Правда, что самое «пушкинское» свое произведение — первые, русские части «Былого и дум», Герцен написал вскоре после событий 1848 г. в лондонском одиночестве начала 50-х годов. Но тому был ряд причин. Став эмигрантом, преследуемым царским правительством, Герцен тогда, впервые нашел ту твердую жизненную базу для гордого рассказа о кружках передовых русских людей 30—40-х годов и о себе самом, которую он мечтал найти еще для своих первых автобиографических опытов.

Герцен, ненавидя господство буржуазии, остро и болезненно ощущая уродование человеческой личности в западно-европейском буржуазном обществе, напряженно искал в 50-х годах для России другого социального пути. Герцен, страстный борец против русского самодержавия и русских помещиков, мечтал о том, что Россия не пойдет по буржуазной дороге. Если в области теории Герцен в 50-х годах искал «выход» в народнической утопии, то в его художественном творчестве эта утопия сыграла очень небольшую роль, ибо ее иллюзорность и отвлеченность обусловили невозможность найти для нее опору в реалистических наблюдениях и зарисовках. Герцен-художник шел по другому пути. Он дал такое изображение русских передовых людей 40-х годов, которое ведет к гордому вызову, брошенному в лицо западно-европейской буржуазной демократии, пережившей июньские дни 1848 г.: «Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны?» [138] Герцен не предвидел, что ряд его друзей 40-х годов вскоре пойдут по пути западно-европейских либералов, но исторически он дал верное изображение русских передовых кружков 40-х годов. Очарование упорным, глубоким и блестящим развитием русской мысли, неустанным ее борением, давшим в 40-х годах, в «Письмах об изучении природы», в статьях Белинского такие великолепные итоги, пронизывает первые части «Былого и дум». Это очарование порождает у Герцена, подобно Пушкину, образы светлой поэтичности, в которых мужество переплетается с нежностью, шутливость с раздумьем, блеск стиля и формы с глубиной содержания, и большая духовная сила выступает в одеянии эстетической законченности.

Но и на «пушкинские» части «Былого и дум» порой падают чуждые Пушкину, темные тени глубокого пессимизма, тяжелых сомнений в будущем, тени времени, когда «все рухнуло: общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье». Тени эти бессильны, однако, изменить доминирующий тон первых частей «Былого и дум» — ясный, юный, радостный; одно из замечательных свойств Герцена-художника и заключается в умении вызывать эти образы во всей их рельефности, так что читатель ощущает их не как воспоминания о чем-то далеком и безвозвратном, а как воспроизведение цельного и своеобразного мира, волей великого

художника приобретшего эстетическую реальность и жизненность. И тем не менее, грозное настоящее прорывается иногда и в этот мир и заставляет, например, Герцена, рассказывающего в «времени дружного труда», сказать, что в эти годы «мы были юны в последний раз». Герцен вынужден противопоставлять «светлую часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли, с отроческого обручения на Воробьевых горах» и заканчивающихся «изящным сновидением» мартовских и апрельских дней 1848 г. в Риме — «неумолимому Макбету действительной жизни»[139], убившему этот сон. Так порой герценовские образы красоты приобретают оттенок красоты утраченной. В этом отличие их эстетического звучания от тех пушкинских образов, которым они близки.

Другие произведения, и особенно «С того берега», еще гораздо более резко подчеркивают историческую грань, отделяющую Герцена от Пушкина. Сам Герцен видел ее: «Пушкин знал все страдания цивилизованного человека, но у него была вера в будущее, которой человек Запада уже лишился»[140]. Герцен же оказался и в положении «человека Запада», точнее в положении демократа и утопического социалиста, свидетеля событий 1848 г., порой впадавшего в безнадежный пессимизм.

Пушкин умел в своих стихах передать «страдания цивилизованного человека», но никогда Пушкин не терял исторического оптимизма, веры в светлое будущее человечества, в его красоту. Всегда Пушкин верил в будущее «перерождение земли», в то, что «...ложная мудрость мерцает и тлеет — пред солнцем бессмертным ума», в «грядущее поколение»[141], в народ, которому дорог будет поэт, восславивший свободу («Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»).

Не только в содержании, но и в форме, в жанре художественного творчества Герцена легко указать черты, чуждые пушкинскому стилю. Особенности наиболее характерного для Герцена жанра тесно связаны с своеобразием его историзма. Историзм Герцена продолжает собою историзм Пушкина и русских передовых людей пушкинской эпохи,



МОСКВА. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ И ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАРЫ

Акварель К. Кадоля, 1825 г.

Исторический музей, Москва

которых события отечественной войны заставили по-новому задуматься об исторических судьбах России в сопоставлении с Западной Европой. Исторические и политические взгляды и оценки Пушкина, так же как и Герцена-юноши, характеризуются живым ощущением эпохи Великой французской революции, этой, по выражению Пушкина, «огромной драмы»[142], этого «великого разрушения»[143]. Интерес к мемуарам эпохи революции и империи, к историческим работам Тьерри и Гизо — общий для Пушкина и Герцена.

Но Пушкин в отличие от Герцена оставался верен историческому оптимизму просветителей. Пушкин так оценивал историческое прошлое. «Гизо объявил одно из событий христианской истории: европейское просвещение. Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие и, отклоняя все отдельное, все постороннее, случайное, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, тяжелые и порой рассветающие века»[144]. Исторический оптимизм, вера в прогресс, сочетающиеся с таким пониманием противоречивости исторического развития, которое, однако, не принимает трагически мрачных оттенков, характеризуют взгляды Пушкина. В художественном творчестве Пушкина этим воззрениям соответствуют историческая повесть и драма, эпически изображающие развертывание исторических событий. Именно эта эпичность роднит Пушкина и Вальтер-Скотта, которого великий русский поэт ставил так высоко. Пушкин эпически подводил итоги всемирно-исторической эпохи, центральным конфликтом которой он воспринимал борьбу между буржуазией и феодализмом, участие в этой борьбе крестьянских масс, борьбу за «просвещение». При этом своеобразие условий творчества Пушкина было таково, что эпическое подведение итогов этой эпохи, ведущей к событиям Великой французской буржуазной революции, открывающей собою новую историю, гармонически сочеталось со светлым лиризмом русских передовых людей, впервые в России организованно вступивших на тот же путь борьбы против самодержавия и крепостничества и ощущавших себя продолжателями традиций западно-европейских просветителей и борцов против феодализма. «Андрей Шенье», «Деревня», сцены из рыцарских времен, «Дубровский», «Капитанская дочка», намечавшееся Пушкиным историческое исследование о Великой французской революции, как и ряд других произведений, показывают гармоническое единство лирической и эпической трактовки Пушкиным одной и той же великой темы.

Иное положение у Герцена. Традиции французской революции 1789 г., традиции Пушкина и декабристов были дороги Герцену. Но Герцен складывался уже в иную эпоху. Энгельс писал про Англию и Францию, что «с 1830 г. в обеих этих странах рабочий класс, пролетариат, признан был третьим борцом за господство»[145]. Герцен ощущал себя уже не столько в течении эпохи борьбы за «просвещение», сколько в преддверии нового исторического периода, характер которого Герцен напряженно стремится предчувствовать, предугадать, в будущих, решающих событиях которого он надеется принять активное участие. Перед Герценом-художником стоит задача не столько эпического подведения итогов эпохи, тенденции развития которой определились с полной ясностью, сколько отражения кризисного, промежуточного, переходного, еще ясно не осознанного времени, лирического и публицистического его истолкования и комментирования.

Ближе всего Герцен к Пушкину, естественно, в трактовке русских тем именно потому, что в этой области содержание идейной и политической борьбы с 20-х до 40-х годов решающим образом не изменилось, и Герцен является последним великим представителем того же революционного поколения и того же литературного периода, что

и Пушкин. Именно в первых русских частях «Былого и дум» повествование носит наиболее стройный и ясный характер. Но и здесь лиризм и автобиографичность Герцена выражают то, наиболее характерное для него, стилевое устремление, в такой своей исключительности чуждое Пушкину, для которого лирика и автобиография были лишь одним из многих жанров и путей его литературной работы. Герцен же стремился передать великие исторические события прежде всего через лирический рассказ о своих чувствах и мыслях, встречах и наблюдениях, ожиданиях и сомнениях, предчувствиях и разочарованиях.

Герцен стремился к автобиографической литературе, которая тесно была бы связана с «биографией человечества», с бурными политическими событиями эпохи. И Герцен ясно понимает, что такая литература может быть создана лишь на основе жизни передового человека, достойной отразить в себе историю, жизнь человечества.

Но в жизни Герцена доминируют не оптимистические переживания великих, поступательно развивающихся революционных событий или событий, сопутствующих национальному подъему, а сначала трепетное ожидание их, а потом глубокое разочарование, сомнения в будущем, переоценка прошлого. Эта историческая обстановка так же, как и влияния, оказываемые на исторические воззрения Герцена учениями утопических социалистов и философией истории Гегеля, способствовали тому, что в герценовском творчестве картины «гражданской истории» отступают перед отражением идейной жизни эпохи, перед философской и публицистической лирикой передового человека. Для Герцена очень характерно, что в своей ранней статье о Гофмане (1834) он с юношеской запальчивостью критикует Вальтер-Скотта, находя в его манере рассказа «какую-то апатию»: «он иногда походит на секретаря уголовной палаты, который с величайшим хладнокровием докладывает самые нехладнокровные происшествия... его психология слаба, и все внимание сосредоточено на... поверхности души... Не ищите у Вальтер-Скотта поэтического провидения характера великого человека...» [146]. Герцен критикует здесь Вальтер-Скотта с позиций утопического социалиста, не удовлетворенного эпичностью повествования, стремящегося к тому, чтобы личность автора получала непосредственное и откровенное отражение в его художественном творчестве, к постановке этических проблем, к «провидению» «нового человека».

Так в мироощущении, творчестве и стиле Герцена сочетаются и сливаются две линии идейных и литературных традиций и влияний. В Герцене-художнике живо ощущаются черты, которые можно охарактеризовать собственными герценовскими словами о Пушкине: «он ясен, светел, сверкающ, жаждет наслаждений, душевных волнений... Природа Пушкина была пантеистическая, эпикурейская — греческих поэтов...» [147]. Это — традиции пушкинской эпохи национального, политического и культурного подъема. Они сочетаются с бурной, чаще всего скорбной поэзией, порожденной переходным временем, эпохой поражения революции 1848 г., июньскими днями. Страдание передовой мысли, борющейся в противоречиях, кажущихся ей порой неразрешимыми, но преодолевающей свои сомнения и разочарования, и неустанно стремящейся вперед к решению вопросов, поставленных появлением на исторической сцене революционного пролетариата, насыщает собой эту поэзию. Можно указать такие произведения Герцена, в которых преобладает одно из этих двух течений. Но в живой ткани герценовского художественного слова эти течения переплетаются неразрывно, неотделимо, сливаясь в новом синтезе.

II. ГЕРЦЕН-ХУДОЖНИК И РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60-х ГОДОВ

1. ИДЕЙНОЕ ВЛИЯНИЕ ГЕРЦЕНА НА РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 60-х ГОДОВ И КРИТИКА ГЕРЦЕНА РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ-РАЗНОЧИНЦАМИ

Герцен, продолжавший и развивавший пушкинскую традицию в своем творчестве, жил, в отличие от Пушкина, в эпоху резкого размежевания либерализма и демократии, и в этой борьбе стал на сторону последней.

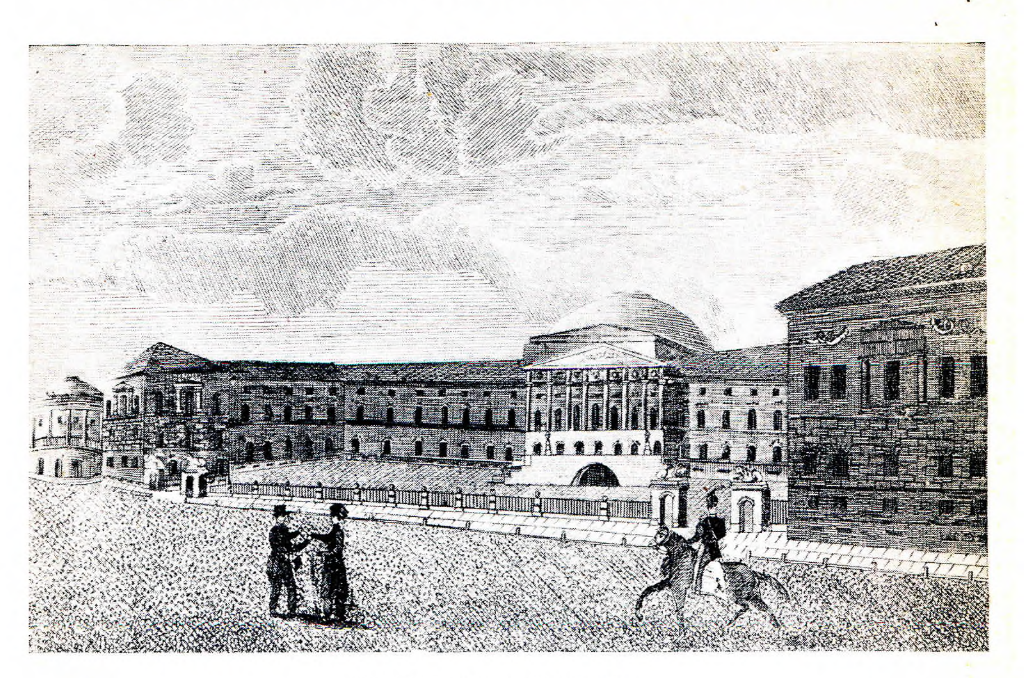
В этом отношении очень остроумно предположение А. В. Луначарского о возможных идейных путях Пушкина: «Может быть... мы увидели бы Пушкина на путях герценовских» [148].

В 1845—1846 гг. появляется «Кто виноват?». Белинский определил «задушевную мысль Искандера» во всем его творчестве и в этом произведении, как «мысль о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, невежеством, и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным добровольным искажением самого себя» [149]. «Кто виноват?» показывает неизбежность угнетения и унижения человека в николаевской крепостнической монархии. Герцен выступает здесь как законченный враг самодержавия и крепостничества. Если сравнить «Кто виноват?» с публиковавшимися одновременно «Записками охотника» И. С. Тургенева и с написанным в 1850 г. «Месяцем в деревне», то становится ясным, насколько Герцен острее и резче характеризовал социальные противоречия, нежели Тургенев. У Герцена нет того сочувственного интереса к типам разоряющегося дворянства, который характерен для Тургенева в его знаменитых очерках. Внешне взаимоотношения действующих лиц в пьесе Тургенева во многом напоминают первую часть «Кто виноват?» (супруги-помещики, бедная воспитанница, разночинец-учитель), но социальная коллизия затушевана у Тургенева сложным переплетением и столкновением личных чувств, опоэтизированным изображением дворянской усадьбы.

Роман Герцена знаменовал политически заостренный подход художника к явлениям действительности. По резкости своей основной тенденции «Кто виноват?», так же как и «Доктор Крупов», был предвестником революционно-демократической литературы 50—60-х годов. Но роман показывал также, насколько в поисках своего героя Герцену трудно было выйти за пределы передовой, революционно настроенной дворянской интеллигенции и какие, вместе с тем, сомнения уже возбуждал в Герцене герой этого круга. Бельтов — талантливый и яркий, но лишенный целеустремленности и глубины человек. Он бесплоден не только в практике, но и в теории. Бельтов не сумел подойти к разрешению тех основных философских проблем, над которыми работали Герцен и его друзья, «тех вопросов, ...от разрешения которых зависит все остальное» [150].

И все же Белинский отметил, что «в последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшей, гениальной натурой, для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща...» [151]. Некоторая снисходительность Герцена к Бельтову, вовсе чуждая плебею Белинскому, вытекала из горького сознания того, что ранее, в 20—30-х годах, «мы... сами росли в лишних людей» [152].

Образ Бельтова показывает, насколько для Герцена вопрос о положительном герое, о передовом человеке своей эпохи стоял болезненнее и труднее, чем для Пушкина.



МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Гравюра, 1820-е гг.

Герцен был прав, когда писал, что «брать Онегина за положительный тип умственной жизни двадцатых годов... совершенно ошибочно... Тип того времени, это — декабрист, а не Онегин» [153].

Это, конечно, ясно видел и превосходно понимал Пушкин. О том свидетельствует с особенной рельефностью реконструкция отрывков X главы. Недаром Пушкин сказал в «Евгении Онегине»:

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной... [154]

В Онегине Пушкин с поразительной прозорливостью изобразил черты, которые чем дальше, тем больше становились типичными для дворянской интеллигенции, но, конечно, не Онегин был для Пушкина «положительным типом умственной жизни». Онегина Пушкин изобразил более иронически, чем Герцен Бельтова. Трудность же положения Герцена заключалась именно в том, что декабрист уже принадлежал прошлому, дорогому и священному, а новый образ революционера уже по тому одному не мог быть создан в литературе, что и в жизни он еще не выявился в полной законченности и определенности. Ведь в 40-х годах собственный пример и пример своих друзей не удовлетворял Герцена. Белинского же Герцен в 40-х годах воспринимал только как одного из участников своего кружка и лишь в 50-х увидел в нем раннего представителя нового революционного поколения.

Именно поэтому разночинец Круциферский не сохранил за собой в «Кто виноват?» центральной роли, постепенно превратился в относительно второстепенную бытовую фигуру и уступил свое место в романе дворянскому интеллигенту Бельтову. Герцен не мог еще изобразить Круциферского как представителя поколения, идущего на смену дворянской интеллигенции. А вместе с тем, изображение социального конфликта, намеченное Герценом в первой части «Кто виноват?» (разночинец в помещичьем семействе), оказало свое влияние на рево-

люционно-демократическую литературу, углубившую и заострившую эту сюжетную ситуацию. В «Противоречиях» М. Е. Салтыкова (1847) герой повести Нагибин, выходец из бедных, мелкопоместных дворян, поступивший учителем к помещикам Крошиным, унаследовал от Бельтова черты «лишнего человека», но по своему социальному положению и по своим взглядам Нагибин уже разночинец, подчеркивающий свою отчужденность от дворянской интеллигенции и ищущий иного пути. А в «Мещанском счастье» Н. Г. Помяловского (1860) разночинец в лице Молотова выступает уже как вполне определившийся представитель демократии, оставивший Бельтовых далеко позади себя. Таким образом, дальнейшее развитие социального конфликта, обрисованного Герценом, превратило Круциферского в Молотова и вовсе вытеснило Бельтова.

С другой стороны, образ Любови Круциферской, этой, по выражению А. М. Горького, «первой женщины, в русской литературе, поступающей, как человек сильный и самостоятельный», предвещает женские образы Чернышевского, Слепцова.

Влиянием «Кто виноват» отнюдь, конечно, не исчерпывается воздействие Герцена-художника на позднейшую революционно-демократическую литературу. Некоторых сопоставлений между произведениями Герцена, с одной стороны, Чернышевского и Щедрина, с другой, мы еще коснемся ниже. В «Концах и началах» (1862—1863) Герцен, отправляясь от полемической переписки с Тургеневым, создал замечательный, иронически освещенный образ русского либерала, уже предвещающий гораздо более резкие характеристики Щедрина и Некрасова.

Герцен говорит, что теперь, в 60-х годах, повторение западнической фразеологии 40-х отражает лишь усталость, равнодушие либерала-эстета. «Итак, любезный друг, ты решительно дальше не едешь, тебе хочется отдохнуть в тучной, осенней жатве, в тенистых парках». Русский либерал, несмотря на все свои оговорки и фразы, идеализирует западно-европейский буржуазный порядок, он стремится к тому «обеспеченному покою», к тому «художественному и эпикурейскому комфорту», которые «берегутся сильными полицейскими плотинами, покоятся на невежестве масс и защищаются церковью, судом и казармами». Либерал 60-х гг. — не западник 40-х, он состарился и обрюзг, стал «поправленным господином», презрительно говорит о «народе, ничего не сделавшем» [155], и бранит революционную молодежь.

В целом художественное творчество Герцена вместе с его политическими и философскими работами оказало очень большое влияние на дальнейшее развитие русской общественной мысли и, в первую очередь, на Чернышевского. Об этом свидетельствует не только оценка Чернышевским уровня философской мысли, достигнутого Герценом, — «тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли на ряду с мыслителями Европы...» [156]. Те страницы [157] «Очерков гоголевского периода русской литературы», которые рассказывают об идейной жизни 40-х годов, о борьбе вокруг истолкования философии Гегеля, не могли бы быть написаны в том виде, в каком мы их знаем, если бы Чернышевский не имел в своем распоряжении первой книжки «Полярной Звезды» (1855), в которой помещены соответствующие отрывки из «Былого и дум». Для Чернышевского художественная автобиография Герцена представляла собою исторический и художественный документ исключительной актуальности, причем, что особенно важно, в понимании идейной борьбы 30—40-х годов, различий между Чернышевским и «сильнейшими из друзей г. Огарева» [158], т. е. Герценом, нет. Так история развития русской философ-

ской мысли 40-х годов, в художественной форме изложенная в «Былом и думах», влияла на новое революционное поколение.

Рассмотрение герценовского художественного творчества и оказанного им влияния иллюстрирует слова В. И. Ленина: «Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы...»[159]. Но влияние Герцена-художника сочеталось с критикой Герцена революционерами-разночинцами. В. И. Ленин писал: «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму»[160].

Мы уже цитировали слова Чернышевского, указывавшего в своем завуалированном отзыве о «Детской и университете» на историческую прогрессивность «восторженной дружбы», «восторженных чувств», т. е. того передового человека, который обрисован в этих главах герценовских воспоминаний. Чернышевский говорил здесь о том, что чувства и настроения, характеризующие «Былое и думы», были благотворны «в историческом развитии» (подчеркнуто нами. — *Я. Э.*), но тут же указывал, что ждет «человека, который становится во главе исторического движения с свежими силами», «человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышалась бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями»[161].

Чернышевский писал эти строки в 1856 г. А чем дальше, тем больше автор и герой «Былого и дум» должен был вызывать среди революционеров-разночинцев острую критику. «Колокол», начавший издаваться в 1857 г., обнаруживал колебания Герцена к либерализму, а одновременно все более отчетливо складывался тип революционера-разночинца, как представителя нового революционного поколения, гораздо более последовательного и более тесно связанного с народом, чем дворянские революционеры. В «Что делать?» Чернышевский, сопоставляя людей такого типа, как Лопухов и Кирсанов, с предшествующим поколением, т. е. именно тем поколением, к которому принадлежал Герцен, говорит: «Каждый из них — человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело... каждый из них человек безукоризненной честности, такой, что даже и не приходит в голову вопрос: «можно ли положиться на этого человека во всем безусловно?»... Недавно зародился у нас этот тип. Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями, и как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными, и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то есть не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности. То были люди, хоть и той же натуры, но еще не развившейся до этого типа, а он, этот тип, зародился недавно»[162]. Чрезвычайно резко выступал против Герцена А. Серно-Соловьевич. Он подчеркивал только разногласия нового революционного поколения с Герценом. Он видит в Герцене «человека, подходящего к тому недоразвившемуся типу людей, о которых Чернышевский говорит в своем «Что делать?». «Самообожание — вот ваше главное несчастие», — пишет Серно-Соловьевич и характеризует Герцена, как представителя «громко ругавшегося и много пившего» поколения, как человека, «который говорит лишь слова, неподтверждаемые жизнью», занимается «непозволительными воспоминаниями» и рассказывает «сплетни и грязные анекдоты о своих бывших друзьях»[163]. Серно-Соловьевичу был

чужд весь эмоциональный и бытовой облик Герцена, как дворянского революционера, весь облик героя «Былого и дум», весь стиль Герцена.

В 60-е годы лишь такие глубокие умы, как Чернышевский и Добролюбов, воспринимали Гоголя и гоголевское течение русской литературы в его исторической преемственности, в его связи с пушкинским периодом и понимали все колоссальное значение деятельности величайшего русского поэта. Очень же многие представители нового революционного поколения видели в пушкинском наследии, в сопоставлении с Гоголем и литературой 60-х годов, лишь «чистое искусство», чему способствовала реакционная дворянская поэзия, не имевшая права, но претендовавшая на это наследие. Аналогичной критике подвергся и Герцен-художник. Так, Серно-Соловьевич упрекал Герцена в том, что «русское правительство начинает понимать безвредность вашей поэзии» [164].

Новое революционное поколение видело у Гоголя и Чернышевского гораздо более суровое изображение «несовершенств» жизни; светлый герценовский рассказ о себе и о своих друзьях воспринимался в 60-х годах как «самообожание», как отражение узости передового круга 30—40-х годов, как непонимание того, что теперь нужны совсем другие люди — Рахметовы. Чернышевский же прекрасно видел свою преемственную историческую связь с Герценом, он призывал новое революционное поколение чтить своих предшественников, но примером Герцен ему уже служить не мог, он ощущал себя человеком другого революционного поколения, перед которым стояли новые и великие задачи. Чернышевский желал прежде всего внедрить молодому революционному поколению сознание величия и трудностей предстоящей борьбы и относительной незначительности уже достигнутого. Чернышевский обладал таким несокрушимым историческим оптимизмом, которого Герцен не знал, и именно поэтому автор «Что делать?», зовя к тому будущему, к которому вела борьба революционной демократии, преднамеренно критически говорил об уже достигнутых успехах, о своем поколении и даже о себе самом. Вспомним разницу в характеристиках Кирсанова, Лопухова, Волгина, с одной стороны, Рахметова, Левицкого, с другой. Рахметов, Левицкий для Чернышевского революционные деятели, которым принадлежит будущее. Герцен же, после 1848 г., так болезненно сомневавшийся в будущем и лишь медленно приближавшийся к историческому оптимизму, прежде всего хотел любовно рассказать о передовых людях своего поколения, о своих друзьях, которых не сломил гнет царизма.

Чернышевский был гораздо более решительным сторонником беспощадной революционной ломки, чем Герцен. Поэтому Чернышевский и писатели, выросшие и созревшие под его идейным влиянием, изображали настоящее в значительно более суровых тонах, чем Герцен.

Сатирические, обличительные страницы и главы в русских частях «Былого и дум» не составляют такой всепоглощающей и мрачной картины, какую мы видим у Гоголя в «Мертвых душах» или тем более у Щедрина. Нет у Герцена и такого могучего художественного воплощения светлой мечты о будущем, каким является «Что делать?»

Герцен понимал различие между своим мироощущением и взглядами нового, разночинского революционного поколения. Порой он пытался утешить себя тем, что «имея много ненавидеть и презирать», новому поколению «почти нечего было любить и уважать» [165]. Герцен тут был не прав. Достаточно вспомнить, как Чернышевский любил Белинского, Гоголя, Добролюбова. Но эта любовь демократов-разночинцев 60-х годов к родине и ее передовым сынам принимала другую, более

суровую и непримиримую форму, им приходилось прежде всего «ненавидеть и презирать» для того, чтобы бороться за победу этой «любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения» [166] (В. И. Ленин). Недаром Герцен называл Некрасова «поэтом очень замечательным — своею демократическою и социалистическою ненавистью» [167]. Именно Некрасов сказал о поэте — «обличителе толпы»:

Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья [168].



ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Речь Шевырёва в защиту Чивилева

Карикатура из альбома А. Елагиной

Литературный музей, Москва

Революционеры-разночинцы обладали глубоким ощущением красоты жизни, но они понимали, что в условиях окружающей действительности это чувство должно прежде всего выражаться в суровой борьбе за светлое будущее. Знаменательны слова Рахметова: «обстоятельства-то такие, человек с моею пламенною любовью к добру не может не быть «мрачным чудовищем», а кабы не это, так я бы, может быть, целый день шутил да хохотал, да пел, плясал» [169].

Поэзия нового революционного поколения — это поэзия некрасовской, щедринской ненависти к старой России и поэзия веры в будущее русского народа, нашедшая свое выражение в образах «новых людей», в стремлении соединить, сблизить народ и передовую мысль, пронизывающем творчество Некрасова и Щедрина. И Герцен на собственном

примере должен был убедиться в исторической правоте нового революционного поколения. В 1868 г. в письме к Огареву Герцен, характеризуя себя и своего друга, как ранних «сеятелей» революционных идей, говорит: «Есть молодежь, так глубоко, так бесповоротно преданная социализму, столь богатая смелой логикой, столь сильная научным реализмом и отрицанием во всех областях клерикального и правительственного фетишизма, что бояться нечего — идея не погибнет» [170].

А вместе с тем, по мере того, как последовательная критика герценовских ошибок и колебаний теряла свою политическую актуальность, оставшиеся на литературной арене революционные демократы-шестидесятники все яснее сознавали громадное положительное значение герценовского идейного и художественного наследия. В статье о сборнике герценовских произведений, вышедшем в Москве в 1870 г., Н. В. Шелгунов писал: «автор — человек без ярлычка... он в сороковых годах — человек сороковых годов, в шестидесятых — шестидесятых и в наше время — человек нашего поколения; он всегда наш, всегда с молодыми, только умейте понимать его и не кивайте на Петра, когда вам следует заглянуть в себя» (Соч., т. II, стр. 428).

В VI части «Былого и дум» Герцен называл революционеров-разночинцев «молодыми штурманами будущей бури» [171], т. е. будущего движения масс в России, будущей революции (очень существенно, что эту герценовскую характеристику В. И. Ленин цитирует в «Памяти Герцена» [172]). Герцен признает здесь, что последовательность, резкость этих людей только естественны, а вместе с тем Герцен еще слишком много внимания уделяет мелким эмигрантским дрязгам и личным обидам, горячится и раздражается, и доходит, несмотря на ряд оговорок, до характеристики некоторой части молодых революционеров как «Собакевичей и Ноздревых нигилизма».

В VII же части «Былого и дум», которая представляет собой переоценку многих прежних ценностей, в главке «Цветы Минервы» Герцен радостно, поэтически и безоговорочно приветствует молодых русских революционеров, перекликаясь с изображением «новых людей» Чернышевским.

2. ГЕРЦЕН И ГОГОЛЬ И СООТНОШЕНИЕ ИХ ВЛИЯНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 60-х ГОДОВ

Невозможно точно определить историческое место Герцена-художника в развитии русской литературы 40—60-х годов, не учтя его позиции по отношению к творчеству Гоголя. Когда мы выше говорили, что Герцен-художник выполняет задачи, поставленные перед русской прозой Пушкиным, то в такой оценке роли Герцена можно было бы усмотреть умаление значения Гоголя. Но этот упрек был бы неоснователен. Гоголь выполнил в историческом развитии русской литературы другую великую задачу, которая тоже была намечена Пушкиным (в «Истории села Горюхина», в тех сюжетах, которые Пушкин дал Гоголю), но осуществлена в другое время — в «гоголевский период», по определению Чернышевского. Этой задачей было изображение «несовершенства» русской жизни той эпохи. Белинский охарактеризовал основную тему Гоголя, как «изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической». Белинский говорил о «мелочности и обыкновенности описываемых автором происшествий» [173]. Сам Гоголь писал в «Мертвых душах», что он изобразил «страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная,

подчас горькая и скучная дорога...»[174]. По словам Добролюбова «очарование нашим бедным миром так сильно у Пушкина, что он так мало смущается его несовершенствами»[175]. А Гоголь риторически спрашивал в «Мертвых душах»: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что́ ж делать, если уже таковы свойства сочинителя и, заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни...»[176]. Именно эти слова Гоголя цитировал Чернышевский, характеризуя «Мертвые души»[177]. В произведениях Гоголя изображение «несовершенства нашей жизни» впервые выступило на первый план русской литературы. Нельзя, разумеется, абсолютно противопоставлять формирование русского «метафизического языка», создание прозы, насыщенной «мыслями и мыслями» у Герцена — изображению «потрясающей тины мелочей», «несовершенства нашей жизни» у Гоголя. Легко отметить гоголевские влияния в «Кто виноват?», «Долг прежде всего». Несомненна также идейная глубина творений Гоголя. Но в творчестве Герцена изображение «тины мелочей», «повседневных характеров», «несовершенства нашей жизни» не является чертой, определяющей основную цель писателя. Это отметил Белинский еще при анализе «Кто виноват?», т. е. как раз того герценовского произведения, которое, в относительно наибольшей степени, испытало на себе гоголевские влияния. Белинский причислял Герцена к тем писателям, которые «не понимают наслаждения представить верно явление действительности для того только, чтобы верно представить его... Для них важен не предмет, а смысл предмета...» Искандер, по словам Белинского, «изображает с поразительной верностью сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произвести суд»[178]. У Герцена глубокая мысль философа и политика смело и легко входит в его художественные произведения, она ощущается, как естественный и обязательный элемент их. Мысль играет в произведениях Герцена, то получая ясное, осознанное и адэкватное художественное выражение, то вырываясь наружу в виде философского и публицистического комментария к художественным зарисовкам. Эта интеллектуальная насыщенность герценовской прозы роднит ее с той литературой, которую Бальзак назвал «литературой идей»[179], т. е. с писателями французского просвещения, из опыта которых прежде всего отправлялся Пушкин, заявляя, что проза «требует мыслей и мыслей». Гоголь же принадлежит к тем писателям, у которых, по словам Белинского, «ум уходит в талант, в творческую фантазию»[180]. Мысль Гоголя в его художественном творчестве лишена независимого и самостоятельного существования; она заключена в гениально правдивом и глубоком изображении действительности и, насыщая его, как бы растворена в нем; когда же мысль Гоголя пытается отвлечься от изображения действительности, она теряет глубину, силу, оригинальность. Поэтому Чернышевский писал, что Гоголь «до конца жизни остался верен себе, как художник, несмотря на то, что, как мыслитель, мог заблуждаться», и указывал, что «в некоторых произведениях последующих писателей мы видим залоги более полного и удовлетворительного развития идей, которые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий»[181].

И Гоголь и Герцен отправляются от творческого опыты Пушкина — еще Белинский сказал, что «без Онегина и Горя от ума Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины»[182]. При этом, если

Герцен заключает собою пушкинский период развития русской литературы, так же как он является последним представителем поколений дворянских революционеров, то Гоголь открывает собой новый период литературного развития. Ранняя смерть Гоголя, с одной стороны, расцвет политической деятельности Герцена в 50—60-х годах, с другой, вызывают обман зрения — Гоголь кажется гораздо старше, гораздо более далеким предшественником современности, чем Герцен. Между тем, такое представление требует серьезной поправки. Ведь Гоголь родился в 1809 г., всего на три года раньше Герцена. Невнимательному взгляду кажется, что литературные взаимоотношения Гоголя и Герцена только и могут сводиться к влиянию, оказанному первым на второго. На самом деле литературная деятельность Герцена, начавшаяся в 1834 г., т. е. года на четыре позже, чем работа Гоголя, развивается некоторое время параллельно творчеству последнего. До появления «Мертвых душ», т. е. до 1842 г., Гоголь упоминается в произведениях, письмах и дневниках Герцена всего один раз. — Герцен пишет Н. А. Захарьиной о «Невском проспекте»: «поверишь ли, что повесть эта меня тронула, несмотря, что она написана смешно» [183]. Пушкин, Гейне, Шиллер имеют для идейного и художественного роста Герцена тех лет несравненно большее значение, — они, а не Гоголь, указывают ему путь.

В 1838—1841 гг., т. е. до появления «Мертвых душ», Герцен издает «Записки одного молодого человека», произведение, приводящее в восторг Белинского и, хотя далекое от полной художественной зрелости, но уже ясно отражающее стилистическое и жанровое своеобразие Герцена-художника, стремящегося к автобиографической и лирической прозе и примыкающего к традициям Пушкина и поколения дворянских революционеров.

Гоголь же не был связан с поколением дворянских революционеров; своим глубоким и правдивым изображением повседневности и прозы жизни, сосредоточением внимания на ее «несовершенстве» он впервые создает и пропагандирует такое восприятие действительности, которое сыграло громадную роль при выработке мировоззрения следующего революционного поколения, поколения революционеров-разночинцев. Именно поэтому Гоголь ощущается, особенно в 50-х годах, как величайший новатор, и Чернышевский говорит о гоголевском периоде русской литературы.

В 1842 г. появление «Мертвых душ», этой «удивительной книги» [184], производит и на Герцена колоссальное впечатление. Гоголь оказывает теперь на Герцена очень большое влияние, и «Кто виноват?» Чернышевский с полным основанием относит к гоголевскому направлению русской литературы именно потому, что в этом романе изображение житейской обыденности и повседневности, «несовершенства» жизни заняло очень значительное место.

Гоголевское влияние в «Кто виноват?» и в «прерванной» повести «Долг прежде всего» было настолько сильно, что до некоторой степени даже заглушило в этих произведениях своеобразие Герцена. Но одновременно, в 40-х и в начале 50-х годов, Герцен создавал «Доктора Крупова», «Сороку-воровку», «Письма об изучении природы», «С того берега», «Письма из Франции и Италии» и приступал к «Былому и думам». В этих произведениях блестящая оригинальность Герцена, его стиль достигают полного цветения. Уроки, взятые у Гоголя, не прошли для Герцена даром, но в целом творчество Герцена занимает в русской литературе 40—60-х годов своеобразное место, оказывая особое, отличное от Гоголя, влияние на новое революционное поколение.

Органически связанный с поисками положительного героя, рассказ

о себе и своем круге, хранящем традиции декабристов и живо чувствующем очарование пушкинской эпохи, интеллектуальный лиризм, передающий радости и боли передового сознания и связывающий воедино элементы философской статьи, памфлета и фельетона с художественными зарисовками замечательных событий и портретами «эксцентрических» [185] людей, — все эти особенности герценовского стиля далеко отодвигают на задний план изображение «тины мелочей» и «повседневных характеров». Становится ясным, что жанр и бытовой материал «Кто виноват?» и «Долг прежде всего» сковывал указанные стилевые



ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Слева направо: Крюков, Нахимов, Парийский, Чивилев, Редкин. Спит попечитель московского учебного округа гр. Строганов.

Карикатура из альбома А. Елагиной

Литературный музей. Москва

особенности автора «С того берега». Это подтверждают и отзывы самого Герцена и фельетонно-публицистическая замена окончания в «Долг прежде всего».

В 1856 г. Герцен, рассматривая литературные новинки, упорно ищет «нового направления» и, не находя его в произведениях Тургенева, Григоровича и Островского, указывает: «Комедии Островского принадлежат к тому же сознательно-гоголевскому направлению» [186]. А несколько раньше Герцен говорит по поводу «Не в свои сани не садись»: «...язык этот à la «Женитьба» надоел, как горькая редька» [187]. Герцен в своем собственном творчестве явно не хотел видеть «сознательно-гоголевского направления», он мечтал о «новом направлении».

Принципиально отличен и стиль юмора у Герцена и Гоголя. Белинский писал о Гоголе: «Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком... автор не позволяет себе никаких сентенций, никаких нравоучений; он только рисует вещи так, как они есть...»[188]. Юмор Гоголя выступает, по преимуществу, в форме комизма и нелепости самого изображаемого быта, автор, прикидываясь, по словам Белинского, «простачком», как бы только наивно воспроизводит этот комизм самой действительности и изображаемых им людей.

Наоборот, у Герцена, следующего и в этом отношении за некоторыми сторонами пушкинского стиля, юмор почти всегда выступает в форме острой и насмешливой мысли передового человека, находящего в действительности смешное и уродливое и подчеркивающего эти черты эпиграммами, сарказмами, каламбурами, анекдотами. Это своеобразие герценовского юмора тесно связано с лиризмом его стиля, с ощущением личности автора, как героя его художественного творчества.

Подчеркиваем, что говорим здесь именно и только о форме юмора и сатиры. И Гоголь и Герцен, с теми или иными индивидуальными особенностями, глубоко и ясно видели отвратительные, уродливые и комические черты действительности и правдиво изображали их. Но художественная форма этого изображения позволяет проводить указанное различие между Гоголем, с одной стороны, Герценом, с другой.

Между восприятием революционерами-разночинцами влияний Гоголя и Герцена имелось принципиальное различие. Чернышевский указывал, что «мы не считаем сочинения Гоголя безусловно удовлетворяющими всем современным потребностям русской публики...», но вместе с тем всячески подчеркивал «столь громадное значение» деятельности Гоголя: «Гоголевское направление до сих пор остается в нашей литературе единственным сильным и плодотворным»[189]. Дело Гоголя, с точки зрения Чернышевского, надо было продолжать и углублять, причем в наследии Гоголя-художника не было элементов, вызывавших со стороны нового революционного поколения в 50-х годах острой полемики; реакционные ошибки Гоголя-мыслителя, разоблаченные Белинским, были слишком очевидны, и именно поэтому, потеряв злободневность, они далеко отступили на задний план перед великим положительным значением его художественных произведений.

Художественное же творчество Герцена вызывало у революционеров-разночинцев, как мы видели, гораздо более острую критику, несмотря на то, что именно в 60-х годах, под значительным влиянием Герцена, происходит подлинный расцвет революционно-демократической «литературы идей». Но литература эта отличается от произведений Герцена тем, что мысль просветителя и демократа, ее пронизывающая, гораздо более сурова, последовательна и не знает колебаний, разочарований и индивидуалистических мотивов Герцена.

Мысль Чернышевского и Щедрина пристально, глубоко и точно изучила все язвы русской действительности, и именно поэтому эта художественная «литература идей» отправляется от «гоголевского», по своей традиции и стилю, изображения России.

Щедрин, создавая «рассказ о положении минуты и общих тонах современной русской жизни», показывая образы «человека стадного, вырванного из толпы»[190], исходил из гоголевской традиции изображения «тины мелочей» и «повседневных характеров», но у Щедрина «го-

голевский» быт предельно насыщается злободневным политическим содержанием и нередко становится эзоповской формой политической темы.

И Герцен всегда помнил о «несовершенстве» жизни, но для него, как художника, первостепенным было не столько его изображение, сколько рассказ о радостях и болях передового сознания, его победах и поражениях в борьбе с этим «несовершенством». Поэтому мысль Герцена не нуждается в колоссальном типическом, бытовом, экономическом и политическом материале, собранном Щедриным, она интересуется по преимуществу культурой, историей, искусством, острейшими политическими и идейными коллизиями; проявления же политики в повседневном быту «стадного человека», политика в ее хозяйственных связях почти всегда остаются за пределами внимания Герцена. Но так как и Герцен и Щедрин, несмотря на все их индивидуальные особенности и отклонения, стояли оба на позициях революционной демократии, то в конечных выводах их художественно претворенной мысли, в заострениях их сатирического взгляда эти столь различные художники обнаруживают, при всех их отличиях, существенное сходство.

Так, напрашивается параллель между «Доктором Круповым» и «Aphorismata» Тита Левиафанского, с одной стороны, и «В больнице для умалишенных» Щедрина, с другой. Герцен говорит о «всемирном хроническом сумасшествии», о людях, как «повально поврежденных», о том, что «официальные, патентованные сумасшедшие, в сущности, и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее...» [191].

Этому соответствует щедринское изображение «хронических» сумасшедших, как способных нормально отправлять свои общественные обязанности, и в частности, «редактировать какую угодно газету», определение сумасшествия, как «продолжения обыденной человеческой жизни», «полнейшего ее откровения». [192]. Но опять-таки, если у Герцена сатирическая гипербола дана как восприятие и мысль старого скептика или его реакционного истолкователя — Левиафанского, то у Щедрина она приобретает бытовую конкретность и вещественность, созданную средствами сатирической и реалистической фантастики.

Можно провести целый ряд отнюдь не случайных параллелей между трактовкой морально-этических проблем и, прежде всего, проблемы «высокого эгоизма» [193] в «Капризах и раздумье» Герцена и в «Что делать?» Чернышевского. Герцен пишет в первой части «Капризов и раздумья», в «Новых вариациях на старые темы» (1847): «Человек, дошедший до сознания своего достоинства, поступает человечески потому, что ему так поступать естественнее, легче, свойственнее, приятнее, разумнее... моралисты... отделываются доблестным негодованием против всего эгоистического; ...вместо того, чтоб именно на эгоизме... создать житейскую мудрость и разумные отношения людей, они стараются всеми силами уничтожить, замарать эгоизм... и сделать из человека слезливого, сентиментального, пресного добряка, напрашивающегося на добровольное рабство... жертва никогда не бывает наслаждением, — я, по крайней мере, не знаю радостных жертв, потому что радостная жертва — вовсе не жертва» [194].

Очевидна близость этики, развиваемой Чернышевским и его героями в «Что делать?» к этим мыслям Герцена. Напомним лишь полемику Чернышевского против «любителей прекрасных идей и защитников возвышенных стремлений, объявивших материалистов людьми низкими и безнравственными», т. е. против идеалистов и моралистов, слова Лопухова о «стремлении каждого к своей пользе», о том, что

«жертва — сапоги всмятку... как приятнее, так и поступаешь»[195]. Так же, как у Чернышевского, этическая теория ищет у Герцена конкретного применения и получает его в виде художественных иллюстраций. Такова трактовка проблемы ревности и положения женщины в семье в «По поводу одной драмы» и особенно в V части «Былого и дум». Но по своему стилю и жанру эти художественные иллюстрации резко отличаются у Герцена и Чернышевского.

История своей семейной драмы изложена Герценом в виде лирического рассказа передового человека, чувствующего себя глубоко одиноким. Этот человек стремился построить свою жизнь, как пример поэзии и красоты, но потерпел в этой попытке поражение. В V части «Былого и дум» бытовыми, типическими фигурами являются только Гервег и его жена, представляющие собою западно-европейское «мещанство» и «растление»[196]. Герцен и Наталия Александровна встают перед читателем как лирические и драматические образы, далекие от бытовой обыденности; сила их не в том, что они принадлежат к типу «новых людей», а только в индивидуальной и исключительной силе и красоте их мыслей и чувств. Их одиночество и является отражением того, что вокруг себя они не видят «нового человека», как тип.

Чернышевский же подчеркивает, что в лице Лопухова и Кирсанова он изобразил «обыкновенных порядочных людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни»[197]. Сила их — сила нового, создающегося типа передового человека. И даже «особенный человек», Рахметов, представляет собой «цвет лучших людей... соль соли земли»[198], высшее выражение нового типа, а не нечто индивидуально-обособленное и одинокое. Рассказ Чернышевского проникнут не драматическим лиризмом, передающим интеллектуальную и эмоциональную драму исключительного и одинокого человека, а выдержан в тонах спокойного, но полного сдержанного пафоса, повествования. Мысли и чувства передовых людей даны в обыденной, бытовой обстановке, обрисованной в тонах гоголевской традиции. Этот «гоголевский» быт имеет в романе и свою непосредственную представительницу — Марью Алексеевну.

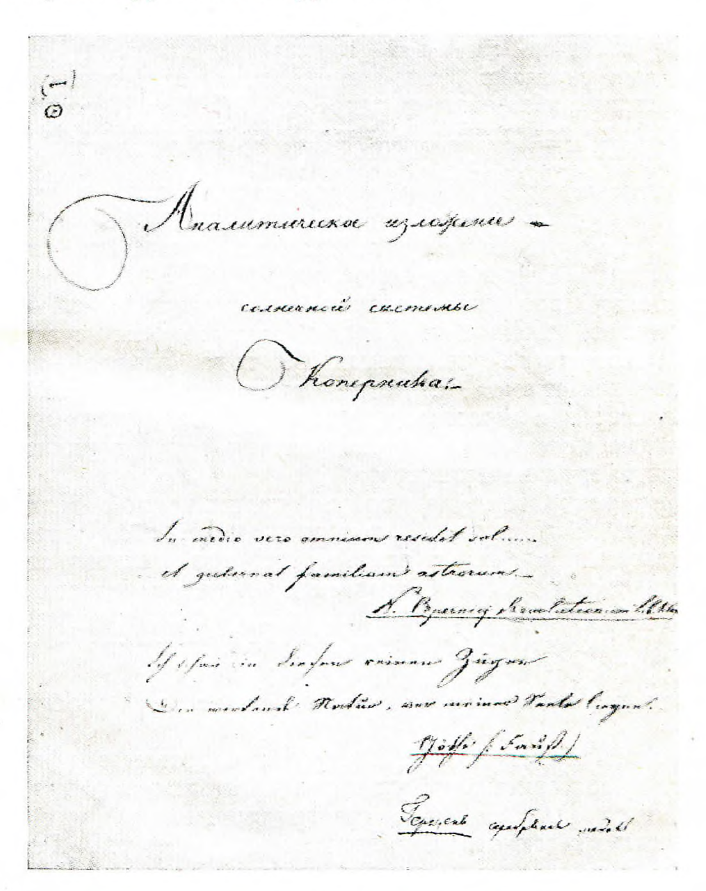
Автор-герой «Былого и дум», принадлежащий к очень узкому кругу дворянских революционеров, стоит как бы над гоголевским типическим социальным бытом и вне его. Типические же герои Чернышевского, принадлежащие уже к более близкому к народу кругу революционеров-разночинцев, смело даны в «Что делать?» на фоне этого обыденного быта. Они растут из него, вместе с тем преодолевая его. Политика получает широкую, бытовую опору. Быт насыщается политикой. Герцен долгое время хотел в своей жизни видеть революционизирующий пример, Чернышевский ставил уже вопрос о широкой переделке людей и быта, «обстановки», окружающей Марью Алексеевну и даже ее самой.

Эти сопоставления показывают, что мы должны говорить о параллельных, притом различных по своему удельному весу влияниях Герцена и Гоголя на революционно-демократическую литературу 60-х годов. Герцен рядом с западно-европейскими просветителями и сатириками (Вольтер, Годвин, Раблэ и др.), рядом с Жорж Занд и с Пушкиным является одним из тех писателей, которые оказали наибольшее влияние на создание идейно-целеустремленной, интеллектуально насыщенной революционно-демократической прозы. Гоголь же представляет собою учителя этой литературы в области точного, исторически конкретного, сатирического изображения «несовершенства жизни» в ее повседневности, опутавшей ее «тины мелочей».

III. ГЕРЦЕН, КАК ПИСАТЕЛЬ ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г., ЗАНИМАЮЩИЙ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ МЕСТО РЯДОМ С ГЕЙНЕ

1. МЕЧТЫ ГЕРЦЕНА О «НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ», КАК ОБРАЗЕ КРАСОТЫ, И КРУШЕНИЕ ЭТОЙ МЕЧТЫ ПОСЛЕ ИЮНЬСКИХ ДНЕЙ 1848 г.

Отражение эпохи революции 1848 г. в художественном творчестве Герцена не может быть правильно понято, если не представить себе, каков в 30—40-х годах был тот герценовский идеал нового человека, который потерпел крушение в буре 1848 г.


Аналитическое изложение

солнечной системы

Коперника.

In medio vero omnium residet sol...

et gubernat familiam astrorum.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУКОПИСИ ГЕРЦЕНА
«АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ КОПЕРНИКА»
Литературный музей, Москва

Герцен писал о годах, предшествовавших ссылке: «мы проповедывали декабристов и французскую революцию, потом проповедывали сенсимонизм и ту же революцию»[199]. Этот, отмеченный Герценом, переход очень знаменателен. После разгрома декабристов и подавления польского восстания, после того как «мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно»[200], после того как появились глубокие сомнения в «идеях просвещенного либерализма, идеях прогресса»[201], революционные надежды искали нового обоснования.

Уже не было той политической и идейной обстановки, в которой сложилось творчество Пушкина. Лермонтов, созревший в годы реакции, упорно и сосредоточенно искавший, но не нашедший нового пути, по словам Герцена, «никогда не учился надеяться... Он влачил тяжесть скептицизма во всех своих фантазиях и наслаждениях... Мужественная, грустная мысль никогда не покидала его чела...» [202].

Герцен, вокруг которого собиралась новая дружеская, идейная, передовая среда, почти вовсе неизвестная Лермонтову, нашел в утопическом социализме, и именно в сен-симонизме, новое обоснование веры в будущее, в передового человека, носителя революционных идеалов.

Энгельс, говоря о появлении учений великих утопистов, писал: «...возникшие вслед за «победой разума» политические и общественные учреждения оказались самой злой, самой отрезвляющей карикатурой на блестящие обещания философов XVIII в. Недоставало только людей, способных констатировать всеобщее разочарование, и эти люди явились с началом нового столетия» [203].

Герцен говорит в «Былом и думах»: «Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс... Они поразили нас... Они возвестили новую веру...» [204].

Сен-симонизм возвещал «новую органическую эпоху» [205], т. е. эпоху творчества, созидания. Герцен писал: «Мы чувствуем,... что мир ждет обновления... революция 89 года ломала — и только» [206]; «...обновление неминуемо» [207]. Герцен видел в современности «поразительное сходство... с предшествующими Христу годами» [208] — «пора явиться религии, которая на хоругви своей поставит уничтожение беззаконных привилегий меньшинства» [209].

Сен-Симон резко выступал против традиционной религии, против духовенства, он саркастически говорил о «небесном рае», о «мистических и суеверных идеях» и призывал «в этой жизни своим трудом способствовать возрастанию благосостояния человеческого рода» [210].

Эта сторона учения Сен-Симона открыла Герцену «целый мир новых отношений между людьми, — мир здоровья, мир духа, мир красоты» [211].

Сен-симонизм много говорил и поэтическому воображению Герцена.

Сен-симонизм видел в поэтах людей, которые воспитывают «новые чувства, порожденные их увлекательным жаром», и зовут «массы к осуществлению... воспеваемого ими грядущего» [212].

Сен-симонизм вдохновлял художественные поиски Герценом того «нового человека», который явится живым воплощением грядущего социального и философского этапа. Социальная и философская проблемы сочетались для Герцена с задачей эстетической — показать «нового человека», как образ красоты.

В эволюции образа «нового человека» находит отражение развитие социальных, философских и литературных воззрений Герцена, его путь от недолгого увлечения «идеями мистически-социальными» и литературой романтиков, от философии Шеллинга к Гегелю, Фейербаху, художественному реализму.

В статье «О месте человека в природе» (1832) Герцен говорит, что «из развалин» материалистического XVIII в., «века анализа и разрушения», окончившегося «колоссальным огненным извержением», т. е. французской буржуазной революцией, «возник новый человек, стряхнул с себя пыль и, благодаря предшественников, начал новое здание...» [213]. В общем контексте статьи этот «новый человек» обрисовы-

вается как последователь Сен-Симона и Шеллинга, как человек созидания, синтеза и высокой одухотворенности, для которого «грубый материализм» и «разрушение» — преодоленное прошлое.

В «Лицинии» (1838), который по первоначальному плану входил в «фантазию» «Палингенезия»[214], «новый человек» приобретает еще более романтический колорит. По словам самого Герцена, в «Лицинии» и «Вильяме Пене» «ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно перерабатывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм»[215]. Герцен пользуется излюбленной им исторической аналогией и переносит читателя в «Рим во времена Нерона»[216]. «Лициний — мой герой; он еще не имеет понятия об учении христовом, но веяние духа современности раскрыло в нем вопросы, на которые, кроме евангелия, не было ответа. Отсутствие религии, неудовлетворительность философии, наконец, очевидное разрушение Рима сломили его для того, чтобы он воскрес новым человеком». Лицинию, как носителю «романтического воззрения», противопоставлен Мевий — «классик со всем реализмом древнего Рима», похожий на «греческого бога». Для Лициния с его «болезненно-страдальческим выражением» «вся жизнь... страдание от двух противоположных влечений» — тела и духа[217].

Но в «Последнем празднике дружбы» (1838), гораздо более реалистическом и менее тенденциозном, Герцен и его друзья за веселой пирушкой, в парках и дворцах Архангельского, «довольные восторженностью, чистотой, в какую их привело созерцание изящного», более походят на Мевия и на юношу, встающего в пушкинской лирике, чем на Лициния. Это чувствует сам Герцен, когда говорит здесь, что в Архангельском «им всё нравилось, даже на этот раз романтизм их не возмущался против подстриженных деревьев»[218].

«Последний праздник дружбы» интересен также тем, что в нем ясно выражена попытка перейти от отвлеченного «нового человека» к автобиографическому портрету положительного героя, — герценовскому «я». Но в обстановке николаевской России эта попытка не имела еще под собою твердого жизненного фундамента.

По мере того, как в философских взглядах Герцена все более укрепляются элементы «реализма» (так Герцен не раз обозначает материалистическую философию[219]), соответственно все более меняется образ «нового человека».

В своем дневнике 1842 г., сопоставляя греков и иудеев (иудаизм — одно из обычных для того времени воплощений спиритуализма), Герцен замечает: «удивительно, насколько греки б о л ь ш е люди»[220]. В статьях «Дилетантизм в науке» читатель найдет светлые, поэтические характеристики «греко-римского мира» и «нового мира» эпохи Возрождения. Романтизм воспринимается теперь «с своей великой истиной и с своей великой односторонностью»[221], причем все больше подчеркивается последняя. Наконец, в «Капризах и раздумье» Герцен создает образ «натуры реальной», «натуры действительной», противопоставленной и «плоской натуре» — ограниченному эмпирику-буржуа, и «старому юноше»[222] — реакционному романтику. Кончает Герцен эту статью очень любопытным сопоставлением Ленского и Татьяны. Герцен говорит о том, что романтики хороши только в юности: «доживи Макс Пикколомини до генерал-аншефов, Дон-Карлос — до смерти Филиппа II, они пережили бы себя...». «Так, как они есть, они высоко художественны, но для того, чтобы их оставить такими, надобно было их спасти смертной казнью. Таков наш соотечественник Владимир Ленский — и Пушкин расстрелял его. Не такова Татьяна, — и она осталась, слава богу, здорова»[223].

Герцен мечтал о создании в искусстве образов пушкинской красоты и о претворении их в жизнь, в существенно иных, по сравнению с пушкинской эпохой, исторических условиях.

Герцену эта реалистическая красота казалась естественным и необходимым итогом его философских, политических и художественных исканий. К ней должен был привести синтез «эмпирии» и «идеализма» — в философии, насильственного разрушения старого, в духе французской буржуазной революции, и созидающего сен-симонистского «нравственного воспитания»[224] человечества — в политике, классицизма и романтизма — в литературе.

Герцену казалось, что сен-симонизм открывает человечеству быстрый путь к идеалу «нового человека», сочетающего красоту античности, глубину передовой философской и политической мысли XIX в., одухотворенность романтизма.

Герцен критиковал просветителей за то, что они «хотели все вывести из разума» и «пренебрегали завещанием прошедшего...»[225]. Но если Герцен стремился к прошлому приложить историческую мерку, то будущее и будущего «нового человека» он, вслед за великими утопистами, изобретал чисто теоретическим путем. Статьи «Дилетантизм в науке» кончались торжественным апофеозом: «Из врат храма науки человечество выйдет с гордым и поднятым челом... на творческое создание веси божией... Примирение науки (т. е., по герценовской терминологии, точных наук. — *Я. Э.*) с ведением (т. е. идеалистической германской философией. — *Я. Э.)* сняло противоречие. Примирение в жизни снимет их блаженством... Когда настанет время, молния событий раздерет тучи, сожжет препятствия, и будущее, как Паллада, родится в полном вооружении...»[226]. Сравнение с Палладой очень характерно для эстетического представления Герцена о мгновенно рождающемся грядущем и о будущем человеке, счастливом, мудром, красивом и не знающем тяжких жизненных противоречий. Здесь сказывается та особенность историко-философских воззрений Герцена, которую исследователь «Писем об изучении природы» Д. Чесноков характеризует в следующих словах: «Взаимодействие теории и практики, по Герцену, совершается не в процессе самой практической деятельности человека. Уже созданная теория выходит за свои пределы и обращается к практике. Действие есть применение теории к практике. Значения практики для «получения» теории Герцен не видит...»[227]. Герцену казалось, что «натуре реальной», в силу своего, выработанного теоретически, без всякой проверки практикой, мировоззрения, не придется пережить мучительных жизненных испытаний — «натура реальная почти не имеет способности стареться, — она по преимуществу душа живая»[228].

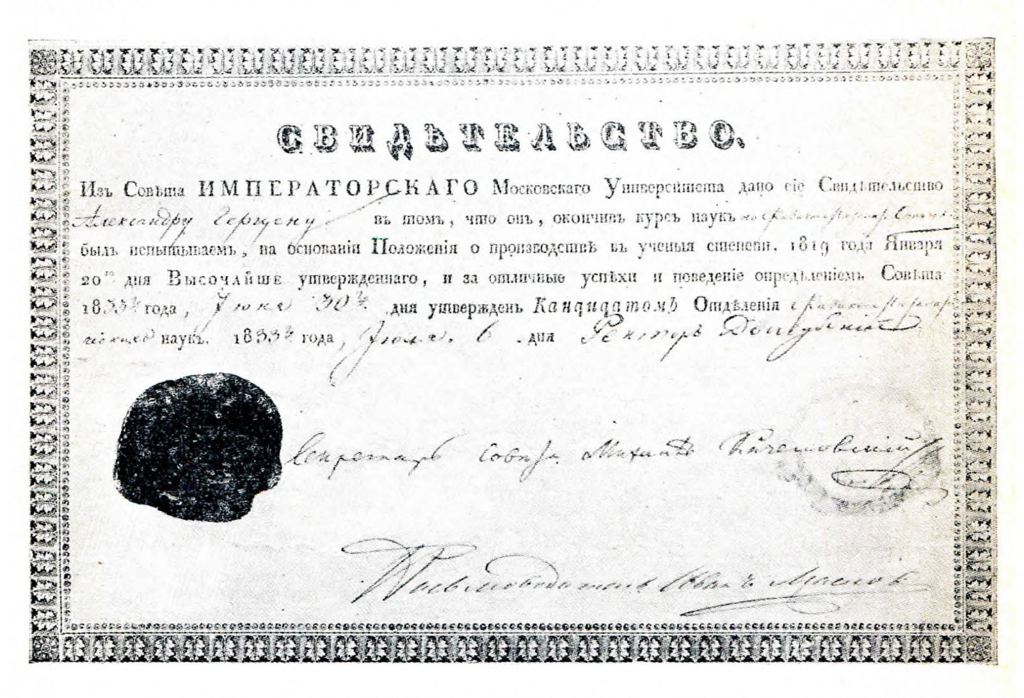
Герцен в эти годы не понимал еще всего значения социальной практики, он не знал еще подлинной суровой правды классовой борьбы, он еще не видел громадных трудностей, стоящих на пути к созданию таких исторических условий, в которых действительно могла бы произойти переделка людей, в которых вырос бы новый человек. Герцен совершенно не представлял себе еще, как много мрачного, трагического, жестокого, подлого, кровавого ему эта действительность покажет в ближайшие годы, в какой мере она разобьет его иллюзии.

Подобно тому, как Герцену до 1848 г. казалось, что «обновление» действительности может быть принесено человечеству «вдохновенной личностью одного или вдохновением целых ассоциаций пропагандистов», так и в области морали и этики пример немногих, создающих самой своей жизнью идеал личного поведения, казался Герцену явлением, коренным образом меняющим привычные устои морали и быта.

Коренного изменения «частного быта», «гармонии» Герцен хотел добиться разумными усилиями отдельных людей. «Поднимаясь, развиваясь в сферу разумную и вечную всеобщего», Герцен мечтал выйти из «темного лабиринта случайностей», избавиться от власти «исключительно личного» [229], от власти страстей («По поводу одной драмы»). В этих своих мечтах Герцен исходил из утопического представления о «всеобщем», которое представлялось ему в виде скорого и легкого «обновления мира»; Герцену «случайность» казалась чем-то чуждым историческому развитию, он не понимал, что «где на поверхности господствует случайность, там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной внутренним, скрытым законам. Все дело в том, чтобы открыть эти законы» (Энгельс [230]). Герцен же в эти годы не столько стремился открыть исторические законы, определяющие будущее развитие, сколько фантазировал о нем.

Герцен-художник должен был убедиться в том, что мечта о «новом человеке» не может найти в его творчестве полнокровного художественного воплощения. Продолжение ранних романтических литературных опытов не увлекало Герцена, становившегося все более зрелым художником. Реалистический фон «Кто виноват?», «Сороки-воровки», «Доктора Крупова» закрывал двери утопии, но не мог ее разбить, не мог ее опровергнуть. Подлинное и жестокое столкновение утопии и действительности произошло для Герцена на западно-европейской почве. Только крушение утопии в передовой стране, в стране надежд и упований, на родине сен-симонизма приобретало для Герцена характер роковой и неминуемый, только здесь Герцен с неумолимой ясностью ощутил столкновение «мысли теоретической» с «фактом современного мира» [231].

Герцен покинул Россию в феврале 1847 г. В. И. Ленин так сформулировал взгляды Герцена в этот период: «Он был тогда демокра-



СВИДѢТЕЛЬСТВО.

Изъ Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета дано сіе Свидѣтельство Александру Герцену въ томъ, что онъ, окончивъ курсъ наукъ [illegible] былъ испытываемъ, на основаніи Положенія о производствѣ въ ученыя степени, 1819 года Января 20 дня Высочайше утвержденнаго, и за отличные успѣхи и поведеніе опредѣленіемъ Совѣта 183[illegible] года, Июля 30 дня утвержденъ Кандидатомъ Отдѣленія [illegible] наукъ. 183[illegible] года, Июля 6 дня

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ ГЕРЦЕНОМ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Литературный музей, Москва

том, революционером, социалистом. Но его «социализм» принадлежал к числу тех бесчисленных в эпоху 48-го года форм и разновидностей буржуазного и мелко-буржуазного социализма, которые были окончательно убиты июньскими днями. В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание...»[232].

Впечатления от итальянских революционных событий еще усилили герценовские иллюзии и подавили тот скептицизм, который уже чувствовался в «Перед грозой». В Италии «многие упования снова воскресли в душе; я увидел одушевленные лица, слезы, я услышал горячие слова. Бесконечная благодарность судьбе за то, что я попал в Италию в такую торжественную минуту ее жизни, исполненную... изящным величием»[233]. Но впечатления от «светлого воскресения» Италии[234] оказались недолговечными.

Свое отчаяние после событий 1848 г. Герцен наиболее полно и страстно выразил в «С того берега».

Если раньше Герцену казалось, что «новый человек», воплощавший собою «религию красоты», будет естественным и легким следствием «нравственного воспитания» человечества и «обновления мира», то теперь Герцен перестает порой вовсе верить в то, что красота, поэзия станут достоянием человечества. Он начинает думать, что громадное большинство людей должно погрязнуть в тине буржуазной духовной и физической посредственности. Герцен для иллюстрации своей мысли пользуется таким сопоставлением: «Краса какой-нибудь арабской лошади, воспитанной двадцатью поколениями, нисколько не дает права ждать от лошадей, вообще, тех же статей... Посмотрите на мещан, толпящихся в воскресенье на Елисейских полях или на скачках в Эпсоме, и вы ясно убедитесь, что природа людская вовсе не красива»[235]. Если раньше Герцен себя и своих единомышленников и героев сопоставлял с первыми христианами, с первыми пропагандистами нового учения, то теперь, наоборот, он сравнивает себя со скептическими «римскими философами в первые века христианства»: «их положение имеет много сходного с нашим: у них ускользнуло настоящее и будущее, с прошедшим они были во вражде»[236].

Теперь Герцен спрашивает: «отчего... верить в царство небесное глупо, а верить в земные утопии умно?»[237]

Но пессимизм Герцена не был бесплоден. Это сказывается в его художественном творчестве, так же как в его политических и философско-исторических воззрениях.

2. СВОЕОБРАЗИЕ ГЕРЦЕНОВСКОГО СКЕПТИЦИЗМА И ПЕССИМИЗМА ПОСЛЕ 1848 г. ОБРАЗ СКЕПТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕРЦЕНА

Подлинная суровая правда классовой борьбы, нашедшая свое наиболее резкое и беспощадное выражение в июньских днях, этой, по выражению Маркса, «первой великой битве между обоими классами, на которые распадается современное общество»[238], произвела на Герцена потрясающее и не изгладившееся до конца жизни впечатление.

Те «Письма из Франции и Италии», которые написаны после июньских дней, «С того берега» и V часть «Былого и дум», а также некоторые рассказы Герцена с громадной силой отражают в себе противоречия сознания Герцена и вместе с тем противоречия той всемирно-исторической эпохи, о которой в «Памяти Герцена» говорит В. И. Ленин. Эти произведения насыщены жгучей ненавистью к буржуазии, они пропитаны закалившейся в событиях 1848 г. преданностью революции и народу.

В этих произведениях мы чувствуем и даже — такова сила гер-

ценовского лиризма — видим страдание мысли, остановившейся пред историческим материализмом и поэтому бьющейся в противоречиях, кажущихся ей почти неразрешимыми, но не уходящей в усталь и оппортунизм и стремящейся вперед. Эта борьба мысли определяет собою скорбную, бурную и пронизанную силой передового ума поэзию этих произведений Герцена.

В. И. Ленин писал: «Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме...» [239].

Это своеобразие герценовского пессимизма получило свое художественное выражение в конфликте между мироощущением самого Герцена и образами тех его скептических персонажей, которым он любил доверять некоторые, но отнюдь не все свои мысли.

В «Докторе Крупове», этом блестящем памфлете против «сумасшествия» крепостнической России и буржуазного мира, написанном еще в 1848 г., гротеск и сарказм сочетаются с веселой иронией, с улыбкой исподтишка, здесь чувствуется еще неразбитая июньскими днями уверенность в том, что это сумасшествие общественного строя может быть побеждено. Доктор Крупов приходил к выводу — «история — горячка», но в объяснительном прибавлении от автора указывалось, что «местами воздух становится чище, болезни душевные укрощаются». Герцен шутил, сообщая о том, что уже найдены «возможности химически улучшить и видоизменить духовную сторону», и ссылался при этом на то, что «...прилично употребленное лечение шампанским располагает человека к дружбе, к доблести» [240].

Между «Доктором Круповым» и «С того берега» лежит такая страшная для Герцена грань, что в этом последнем произведении он роль скептического доктора берет самому себе, рассказывает случаи из медицинской практики, уподобляет беспощадность своего отрицания хирургическим операциям и т. п. Но исторический пессимизм Герцена и здесь не безысходен. Герцен теряет порой надежду установить законы исторического развития — «в истории все — импровизация», но подлинным содержанием его пессимизма является отказ от рационалистически-просветительских, утопически-социалистических и буржуазно-демократических представлений об историческом прогрессе, стремление глубоко понять действительность в ее противоречиях, в острейших схватках классовой борьбы. Поэтому скептицизм «доктора» в «С того берега», т. е. скептицизм самого Герцена, в гораздо большей степени насыщен страстью, болью за судьбы революции, лиризмом мучительных переживаний, чем безнадежный скептицизм ряда им созданных персонажей. Особенности скептицизма Герцена в «С того берега» могут быть правильно поняты, притом лишь в сопоставлении с характером и взглядами его оппонента, портрет которого был написан с И. П. Галахова.

Герцен называет его «милым мечтателем и идеалистом», и действительно со страниц замечательного диалога, созданного Герценом в главах «Перед грозой» и «Vixerunt», встает мягкий образ русского мечтательного и увлекающегося, но бессильного дворянского интеллигента 40-х годов с его наивной верой в утопический социализм, прогресс и Францию. Герцен — великий художник, и поэтому в «С того берега» спорят не только две философские и политические концепции, но и два живых человека.

В первом разговоре («Перед грозой» — датировано декабрем 1847 г.) собеседник Герцена обвиняет его в «равнодушии». Герцен в конце 1847 г. не предвидел тех острейших схваток классовой борьбы, свидетелем которых он скоро должен был стать, но политика и быт

июльской монархии навели его на скептические раздумья, которые затем, правда, на недолгий срок, были рассеяны итальянскими событиями. В этот период Герцен уже усомнился в том, что пропаганда утопического социализма может дать практические результаты. Герцен говорит, что «тут толкуют о фаланстерах, демократиях, социализме», а буржуазный мир «слушает и ничего не понимает». Поэтому Герцен и разрушает наивную веру своего собеседника, вызывая с его стороны упрек: «вы заставили меня сомневаться во многом, у меня оставалось будущее, — вы отнимаете его...». Ведь «милый идеалист» в этом будущем мечтал увидеть «пристань», отдых от суровой политической борьбы...

Но роли собеседников существенно меняются после июньских дней 1848 г. Как ни потрясен Герцен, как ни глубок его пессимизм, он попрежнему зовет «к знанию, к изучению» действительности, он предлагает заниматься «историей, как действительно объективной наукой». У его же собеседника былой легковесный оптимизм сменился полным и безысходным отчаянием, даже равнодушием к перспективам революции. В начале 1848 г. ему «все лучшие упования, все задушевные надежды» казались уже «исполняющимися», а после июня он считает, что «будущее водворяемое погибнет вместе с дряхлым, отходящим». И теперь уже Герцен говорит этому отчаявшемуся человеку: «Будущее, которое гибнет, не — будущее... тогда вы возражали мне, а теперь согласились через край. Вы не жизнью, не мыслью дошли до вашего нового взгляда, ...вы дошли до него... от минутного отчаяния, которым вы наивно... прикрыли прежние надежды» [241].

Скептицизм Герцена в «С того берега» насыщен страстью революционного мыслителя, болью за судьбы революции в отличие от бесплодного скептицизма «милого мечтателя и идеалиста».

В «Поврежденном» (1851) Евгений Николаевич привлекает автора «независимой отвагой больного ума». В этом его преимущество перед спутником-врачом с его банальными, ходячими мнениями ограниченного эмпирика. Но Герцен дает пессимистическую точку зрения поврежденного в таком нарочитом заострении, что выясняется невозможность с нею до конца согласиться. Поврежденный проповедует отказ от всякой общественной активности: «полно строить и перестраивать вавилонскую башню общественного устройства» [242]. Рассказом Спиридона о катастрофе в личной жизни поврежденного Герцен указывает на личные, частные корни его больного пессимизма.

Критическое отношение Герцена к пессимизму «поврежденного» еще более резко подчеркнуто в седьмом письме «Концов и начал», где Евгений Николаевич, в противовес Герцену, высказывает убеждение, что «люди... несутся в болото» [243], и смеется над всякого рода поисками светлых «начал», над стремлением остаться верным «лучшим мечтам, ...святейшим стремлениям» [244].

А в повести «Доктор, умирающие и мертвые», написанной в том же 1869 г., как и охарактеризованные В. И. Лениным «Письма к старому товарищу», безнадежно скептический доктор оказывается уже человеком, принадлежащим политическому прошлому, и ему противопоставляются «новые силы и люди» [245], знаменующие подъем революционного движения во Франции накануне Парижской Коммуны.

Образ скептика представлял очень большую притягательность для Герцена. В нем Герцен нашел такой угол зрения, который выпячивает и с особенной резкостью освещает все мучительные противоречия действительности и в силу крайней своей односторонности вызывает с самых различных сторон ожесточенную полемику. Каждое его слово влечет споры, возражения. Притом образ скептика отнюдь не от-

влеченный, рационалистически сконструированный характер. По своему значению, по художественному методу его создания герценовский тип скептика может быть сопоставлен с племянником Рамо у Дидро. Общее в том, что в этих произведениях определенное явление интеллектуальной жизни берется в крайнем заострении и вместе с тем дает угол зрения для резко полемического обозрения действительности. С замечательным остроумием, последовательностью и тактом художника Герцен, мастер интеллектуальной характеристики, гротескно и саркастически заострил и довел в этом типе до крайней односторонности то умонастроение, которое после июньских дней 1848 г. окрашивало взгляды многих людей, притом различных политических ла-



ЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА, ГДЕ ПРОИСХОДИЛИ ДОПРОСЫ ГЕРЦЕНА В 1834 г.
Фотография
Литературный музей, Москва

герей. Это умонастроение — разочарование в прежних идеалах, теориях и мечтах утопического социализма и буржуазной демократии, наполнялось различным содержанием. С неподражаемым юмором подчеркнул это очень существенное обстоятельство Герцен, заставив представителя тупой, реакционно-семинарской мысли Тита Левиафанского рукоплескать Крупову, «углублять» его мысли и видеть благо в «великом и покровительствующем безумии, хранящем и утешающем»[246]. Герцен гротескно, но отчетливо подчеркнул здесь те реакционные выводы, которые могли быть сделаны из разочарования в идеях буржуазной демократии. В других случаях, в Евгении Николаевиче из «Поврежденного», в докторе из «Доктора, умирающего и мертвых» и из «Скуки ради» заострение менее резко, менее карикатурно, но реакционность или отсталость развиваемых этими персонажами взглядов также очевидны.

Герцен создавал образ скептика, взвешивал его воззрения, сопо-

ставлял их с действительностью, а в конечном счете давал понять, что согласиться с ними невозможно. Образ же самого Герцена, встающий из «С того берега», последних «Писем из Франции и Италии» и западно-европейских частей «Былого и дум», конечно, не может быть заключен в узкие рамки такого скептицизма, Герцен не знает холода остановившейся, застывшей, самоуверенно не прислушивающейся к ходу событий мысли. Проклятия буржуазному миру, скептический взгляд на будущее сочетаются у Герцена с напряженнейшими поисками таких фактов и явлений, которые обещают новый подъем революционной волны, с тщательнейшей фиксацией и обдумыванием противоречий действительности, разрешить которые Герцен еще бессилен, но которые он в поисках этого решения постоянно сопоставляет, меняя постепенно свои оценки и выводы. Именно поэтому герценовский скептицизм, по гениальному определению В. И. Ленина, был «формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» [247].

Для Герцена очень характерно, что «дорисовывая» в «Западных арабесках» картину конца мира и цивилизации, созданную Байроном в «Тьме», он заканчивает ее мыслью, вовсе чуждой беспощадному пессимизму английского поэта: «и место расчищено для новой жизни» [248]. У Байрона же в финале стихотворения слышится лишь безысходно мрачный аккорд: «И весь мир был пуст...». Тьма «была повсюду» [249].

Именно потому, что скептицизм и пессимизм Герцена не был капитуляцией, либеральным примирением с реакцией, Герцен в характеристиках событий 1848 г. является художником-реалистом, вскрывающим иллюзии утопического социализма и буржуазной демократии. В гневных и саркастических зарисовках событий 1848 г., в мучительных философски-лирических раздумьях Герцена — перед читателем встает правдивое, яркое отражение целой исторической эпохи и идейной жизни ее политических деятелей и мыслителей, ряда важнейших эпизодов политической борьбы.

Умение верно и живо передать яркие краски действительности, ум и остроумие Герцена, способность его художественными методами показать смешное, отсталое и отмирающее в идейной жизни и политике, превращают многие его зарисовки политической жизни Франции и лондонской эмиграции в художественные иллюстрации к оценкам этих людей и событий Марксом и Энгельсом.

Герцен с многими из деятелей буржуазной демократии поддерживал лично близкие отношения. Поэтому в ряде портретов принципиальная критика политических воззрений сочетается с тоном дружбы и личной симпатии. Герцен говорил: «сердце отстает, потому что любит, и когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощает» [250]. И тем не менее реализм Герцена оказывается сильнее личной симпатии. Сквозь снисходительность к людям и улыбку проступает глубокое понимание идейной слабости характеризуемых политиков.

Поэтому Бакунин назвал ту главу «Былого и дум», которая была посвящена его характеристике, — «пасквилем» [251]. Со своей точки зрения Бакунин был прав, ибо в этом очерке дружеская, улыбающаяся ирония — лишь форма суровой и принципиальной критики.

И аналогично мягкий тон характеристики Луи Блана, одного из «почетных друзей кипучей юности», только оттеняет решающий и резкий вывод о «мозговой религиозности» этого деятеля, который был «японски неподвижен во всем общем» и принадлежит «истории другого десятилетия, которая окончена до последнего листа, до переплета» [252].

С другой стороны, Герцен до конца 60-х годов совершенно не по-

нимал исторической роли Маркса и Энгельса, как вождей рабочего класса и единственных мыслителей, сумевших дать последовательную до конца критику буржуазной демократии. Больше того, именно идейная непримиримость Маркса и Энгельса отпугивала Герцена, склонного видеть в этой идейной беспощадности и последовательности основоположников научного социализма лишь пристрастные оценки какой-то группки немцев-эмигрантов, которых Герцен огульно не прочь был считать обывателями, филистерами.

В очерке «Немцы в эмиграции» Герцен возводил на Маркса совершенно неосновательные обвинения, и не случайно, что в художественном отношении эта глава — самое слабое звено «Былого и дум». Художественного портрета Маркса здесь нет вовсе. При этом не надо забывать, что сам Герцен при своей жизни этот очерк в состав «Былого и дум» не ввел, — оценки деятельности Маркса, данные в документах последних лет жизни Герцена, явно противоречат выводам этой главы.

В целом же галлерея портретов лондонских эмигрантов, созданная Герценом, проникнута выстраданным убеждением в несостоятельности идей и верований буржуазной демократии и утопического социализма, упорным и страстным стремлением найти новые пути познания и переделки действительности, а порой сомнениями в успешности этих поисков.

3. ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г. У ГЕРЦЕНА И ГЕЙНЕ

В. И. Ленин говорит о «духовной драме Герцена», что она была «порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела» [253].

Глубокое и острое ощущение противоречий эпохи революции 1848 г. и охарактеризованная выше противоречивость собственного мировоззрения роднят Герцена с Гейне.

Нет, разумеется, точного совпадения в этапах и хронологии идейного развития у Герцена и Гейне в эпоху 1848 г. Гейне гораздо более длительно наблюдал жизнь Франции и начал свои наблюдения еще с 1831 г. Поэтому скептические ноты и критика мелкобуржуазной демократии появляются у него значительно раньше, чем у Герцена, как то́ ясно показывают статьи, входящие в «Лютецию» (1840—1843). Вообще, весь этот процесс, вся эта смена взглядов и оценок происходит у Герцена более резко и бурно, чем у Гейне, каждый этап этого развития у Герцена более резко отграничен от следующего. Герцен очень скоро после своего приезда в Западную Европу был поставлен лицом к лицу с наиболее решительными и грозными событиями эпохи. Переход от иллюзий к глубокому пессимизму произошел чрезвычайно стремительно. У Гейне этот процесс развивался более постепенно, с бо́льшими колебаниями. Притом лучшие произведения Герцена, посвященные западно-европейским темам, написаны после 1848 г., Гейне же после 1848 г. писал мало. Поэтому у Герцена именно события 1848 г., а затем их последствия и уроки получают наиболее полное художественное отражение, в то время как у Гейне, в его французских очерках, отражены в большей мере тенденции, ведущие к событиям 1848 г., и предчувствие надвигающейся бури. Гейне писал в 1854 г. в предисловии к «Лютеции»: «Я описал не грозу, но грозовые тучи, которые носили ее в своем лоне и надвигались, пугающе-мрачные» [254].

Но эти различия обстоятельств и форм идейного развития Герцена и Гейне в эпоху 1848 г. и отражения событий этой эпохи в их худо-

жественном творчестве тем более подчеркивают громадное сходство основных и принципиальных черт этого развития и художественного отражения у обоих писателей.

Иллюзии Гейне до событий эпохи 1848 г. чрезвычайно походят на мечты Герцена 30—40-х годов. Июльскую революцию они встретили одинаково восторженно. Ссылаясь на известные строки гейневских писем с Гельголанда, вошедших в книгу о Берне, Герцен говорит: «Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати»[255]. Гейне так же, как Герцен, увидел в 30-х годах в сен-симонизме новую веру. Анфантену Гейне посвящает в 1835 г. первое французское издание своей книги о Германии. Тогда сен-симонисты были для Гейне «наиболее передовой партией освобождения человечества»[256]. В предисловии 1834 г. к «Путевым картинам» Гейне, подобно Герцену, сопоставляет традиции французской буржуазной революции с сен-симонизмом, «период отрицания» с «положительными устремлениями» и говорит: «Наш старый боевой клич против жречества равным образом заменен лучшим лозунгом. Речь больше не идет о насильственном ниспровержении старой церкви, но о создании новой, и далекие от желания уничтожить жречество, мы хотим теперь сами стать жрецами»[257]. Мировоззрение сен-симонизма Гейне называл «прекрасным»[258] и так же, как и Герцен, видел в нем религию жизни и красоты: «Человечеству приелись все святые дары... Человечество держится теперь земной системы полезности... мы... требуем нектара и амброзии, пурпурных одежд, драгоценных благоуханий, неги и роскоши, смеющейся пляски нимф, музыки и веселых комедий». В этой связи Гейне говорит: «отчасти это поняли и собирались осуществить сен-симонисты»[259].

Гейне так же, как и Герцен, мечтал об «улажении борьбы между идеализмом и материализмом», о «реабилитации материи... ее примирении с духом»[260], о «гармоническом смешении» спиритуализма и искусства, иудаизма и мироощущения древних греков[261].

И у Гейне, и у Герцена в эпоху 1848 г. ненависть к тому миру, в котором господствует буржуазия, глубокое и бесповоротное разочарование в политических методах и идеях буржуазной демократии и утопического социализма сочетается с неумением понять и осмыслить до конца правильно историческую роль рабочего класса. Отсюда страстное стремление буржуазный мир уничтожить, понимание того, что с этой задачей может справиться лишь революция народных масс, готовность такую революцию приветствовать и вместе с тем испуг перед суровостью таких классовых битв, как битва июньских дней, испуг перед грядущей революцией, как перед концом цивилизации или, во всяком случае, тягчайшим ее потрясением. Не дойдя до исторического материализма, Герцен и Гейне, выросшие на теориях просветителей и утопических социалистов, не представляли себе, каким образом народ, не приобщенный к мировой культуре, яркими и блестящими представителями которой они были сами, сумеет справиться со своей созидательной задачей, сумеет построить светлую и красивую жизнь. И тем не менее, оба они приветствовали будущую революцию народных масс.

Знаменитое предисловие к «Лютеции» 1855 г. является документом идейной противоречивости, аналогичной той, какую отражают «С того берега» и другие герценовские произведения конца 40-х годов. Тогда грядущая революция, возглавляемая пролетариатом, представлялась Герцену порой «не судом, не расправой, а катаклизмом, переворотом», который совершат «эти варвары»[262], гибелью цивилизации, торжеством коммунизма, как «социализма мести»[263]. Но, невзирая на



ГЕРЦЕН

Портрет итальянским карандашом А. Витберга, 1835 г.

Местонахождение оригинала неизвестно

все сомнения, оговорки, колебания, Герцен приветствовал будущее грозное восстание народа: «Париж расстреливал без суда... Что выйдет из этой крови? — кто знает, но что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему — и это прекрасно, а потому да здравствует хаос и истребление!

Vive la mort!

И да водрузится будущее!» [264]

А Гейне писал в предисловии к «Лютеции»: «Это признание, что будущее принадлежит коммунистам, я сделал с бесконечным страхом и тоской, и увы! это отнюдь не было притворством. Действительно, только с отвращением и ужасом думаю я о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут власти: грубыми руками беспощадно разрушат они все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они разобьют все те фантастические игрушки и безделушки искусства, которые так любил поэт... И все же, честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти своих чар, которым я не в силах противиться... я восклицаю: «Приговор давно уже произведен, оно обречено, это старое общество! Да свершится правосудие! Да будет он разрушен, этот старый мир, где невинность погибала, где благоденствовал эгоизм, где люди эксплоатировали друг друга!» [265].

Мрачное стихотворение Гейне «В октябре 1849 г.» насыщено такой же горькой скорбью о поражении революции и гибели друзей и такой же ненавистью к победившей реакции, как и «Западные арабески» Герцена.

Эти важнейшие черты сходства между Герценом и Гейне в восприятии революции 1848 г. ведут, естественно, к ряду более частных параллелей. И для Герцена и для Гейне традиции Великой французской революции были бесконечно дороги. Герцен писал в «Концах и началах» о том, что «есть еще в здешней жизни великий тип для поэта, тип вовсе непочатый... Тип этот — тип Дон-Кихота революции, старика 89 года, доживающего свой век на хлебах своих внучат, разбогатевших французских мещан...» [266]. Этот тип давно привлекал Герцена. Эскизная зарисовка Сержана в «Письмах из Франции и Италии», теоретический экскурс в «Концах и началах» позже привели в «Докторе, умирающем и мертвых» к образу старика-якобинца Ральера И аналогичное идейное и поэтическое содержание, презрение к прозе современного буржуазного общества и грустное воспоминание о славных, но уже принадлежащих прошлому революционных традициях, вложено Гейне в трогательный и гордый образ французского барабанщика мосье Ле Гран. Подобно тому, как суровый и угрюмый старик Бушо привил Герцену за уроками французского языка веру в правоту революции, казнившей короля, так и Ле Гран научил Гейне понимать лозунги Великой французской революции, восхищаться «старыми боями за свободу» [267]. Правда, на образе Ле Грана лежит тень вовсе чуждого Герцену культа Наполеона I, но следует помнить слова Гейне: «безусловно люблю я его (Наполеона. — *Я. Э.*) только до восемнадцатого брюмера — в тот день он предал свободу» [268]. Вспомним также у Гейне старого гренадера Рику, мечтания и воспоминания которого противопоставлены в их поэтичности «умственной трезвости побеждающего буржуазного сословия», и «одного старого человека», сражавшегося в 1832 г. на улице Сен-Мартен вместе с революционной молодежью и одетого в куртку, «выкроенную по последней моде 1793 г.» [269].

Ненавидя буржуазию, ее идейную ограниченность, убожество ее морали, видя деградацию человеческой личности и искусства в буржуазном обществе, Герцен и Гейне, вместе с тем, не закрывали глаза на реальную власть и силу буржуазии. Именно поэтому очень близки друг к другу образы Ротшильда в «Лютеции» и в V части «Былого и дум». И тут и там Ротшильд обрисован со сдержанной иронией, но так, что сила тех денег, которыми распоряжается «император Джемс Ротшильд» [270] (Герцен), выступает явственно, «ибо деньги — бог нашего времени, а Ротшильд — пророк его» [271] (Гейне). И особенно любопытно, что у Герцена Ротшильд дан в сопоставлении с «тугим на уплату петербургским 1-й гильдии купцом Николаем Романовым» [272], а у Гейне со «всеми европейскими монархами, делавшими займы через его посредство», мраморные бюсты которых Ротшильд «из благодарности» [273], якобы, собирается заказать для украшения своего дома.

Разочарование в мировоззрении буржуазной демократии, критика ее политической деятельности (ср., например, характеристики Луи Блана в «Былом и думах» и в «Лютеции») и своеобразно-обособленное положение Герцена и Гейне в политической жизни 40-х годов вызвали против них аналогичные по тону и содержанию нападки. Зольгер у Герцена, так же как и Берне у Гейне, увидели лишь индивидуализм, аристократизм и неустойчивость художника. Буржуазно-демократические критики Герцена и Гейне не были в состоянии понять основного содержания взглядов их противников.

На самом деле известная обособленность и даже одиночество Герцена и Гейне, получившие свое художественное выражение в лирико-публицистическом и автобиографическом жанре их писаний, отражали своеобразие их идейной позиции: острейшее осознание противоречий исторического развития и переходности, кризисности переживаемой эпохи, разрыв с мировоззрением буржуазной демократии, еще смутное ощущение громадной исторической роли, принадлежащей пролетариату, порой и сомнения в творческих силах народа. Но эта кризисность, этот переходный характер идейной позиции Герцена и Гейне ставят *их не ниже*, а **выше** идеологов буржуазной демократии той поры.

Насколько острое и мучительное ощущение противоречий действительности, идейной жизни эпохи и собственного сознания у Герцена и Гейне было оправдано, показывают следующие вдохновенные слова К. Маркса, сказанные в речи на юбилее «The people's paper» в 1856 г.: «Налицо великий, характерный для XIX столетия факт, которого не посмеет отрицать ни одна партия. С одной стороны, пробуждены к жизни такие промышленные и научные силы, о каких даже подозревать не могла ни одна из предшествовавших эпох истории. С другой же стороны, обнаруживаются признаки упадка, далеко превосходящего все занесенные в летописи ужасы последних времен Римской империи. В наше время каждая вещь как бы чревата своей противоположностью. Мы видим, что машина, обладающая чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приводит к голоду и истощению. Новоизобретенные источники богатства благодаря каким-то роковым чарам становятся источниками лишений. Победы искусства куплены, повидимому, ценой потери морального качества. В той же самой мере, в какой человечество становится властелином природы, человек попадает в рабство к другому человеку или становится рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, повидимому, сиять иначе, как только на темном фоне невежества. Результат всех наших открытий и всего нашего прогресса, очевидно, тот, что материальные силы наделяются духовной жизнью, а человеческая жизнь

отупляется до степени материальной силы... Мы... безошибочно узнаем в этом печать того лукавого духа, который постоянно проявляется во всех этих противоречиях. Мы знаем, что для того, чтобы направить новые силы общества, необходимо, чтобы ими овладели новые люди, — и люди эти — рабочие»[274].

И Герцен, и Гейне мечтали найти «новых людей», но они еще лишь постепенно приближались к выводу, что «люди эти — рабочие», что только народ, во главе с рабочим классом, сумеет построить мир подлинной красоты, и иногда вовсе лишались надежды на то, что такой мир будет построен. Они порой терялись в окружавших их противоречиях, но не останавливаясь на порожденном последними пессимизме, и упорно и пытливо искали в действительности залогов светлого будущего.

4. ОТ РОМАНТИЧЕСКОЙ МЕЧТЫ О «НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ» К РЕАЛИСТИЧЕСКОМУ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМУ РАССКАЗУ.— ИЗМЕНЕНИЯ ГЕРЦЕНОВСКОГО «Я» В «БЫЛОМ И ДУМАХ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ГЕРЦЕНА В 40—60-х ГОДАХ

Мечты Герцена о быстром и коренном изменении социальных порядков рухнули в 1848 г. Но, разуверившись в осуществимости быстрой и широкой переделки действительности, в появлении нового, гармонического человека, Герцен пытался хотя бы «лично начать новую жизнь, отступить в себя»[275].

Герцен в период написания «С того берега» хотел построить свою жизнь, как явление одинокой и скорбной красоты. Отказавшись в своем художественном творчестве от утопической и романтической попытки создать образ отвлеченного «нового человека», Герцен переходит к автобиографическому лирическому рассказу, но сначала пытается — в «С того берега» — придать изображению своего «я» идеализирующие, романтические черты. Герцен впоследствии так характеризовал в V части «Былого и дум» настроения, получившие свое выражение в «С того берега»: «Утратив веру... в канонизированное человечество... я верил в несколько человек, я верил в себя». С такими верованиями «моя лодка должна была разбиться о подводные камни и разбилась...». Но Герцен был слишком живым человеком, слишком борцом, преданным революции и народу, для того, чтобы «отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться...»[276]. Образ Герцена, отошедшего в сторону от жизни в «безмолвное величие скорби» и напоминающего «мудрейших из римлян»[277], не получил даже в «С того берега» сколько-нибудь яркого художественного выражения — слишком надуманной была эта позиция.

Еще в 1851 г. в «Письмах из Франции и Италии» Герцен, упоминая о своей попытке «лично начать новую жизнь», пишет: «Невозможно: будь хоть один человек возле вас, с которым вы не порвали все отношения, через него воротится старый мир, порочный и распутный»[278]. Герцен имел в виду Гервега и свою семейную драму, о которой он рассказал в V части «Былого и дум». И к этому тяжкому конфликту Герцен подходил сначала с утопической и идеалистической меркой; он хотел в себе и своей жене видеть людей, сумевших прожить идеальную «поэтическую жизнь», а в Гервеге — представителя «западного растления» и «выжившей цивилизации», гнусно обманувшего «нашего брата степняка»[279]. Герцен хотел себя убедить в том, что он сам выше обычных страстей и ошибок, что его поведение явится небывалым примером нового разрешения семейной драмы. В то время,

как Маркс «новых людей» видел в рабочих, Герцен мечтал о том, что он и его жена представят собой пример «новой жизни». Так сказывались непреодоленные еще влияния утопического социализма и художественной литературы, развивавшейся под его влиянием, в частности таких произведений, как «Жак» Жорж Занд.

Но, работая в 1853—1860 гг. над пятой частью «Былого и дум», Герцен нашел в себе смелость и правдивость для того, чтобы сознаться, что «со всем развитием, со всей гуманностью, я в припадке бешенства и ревности мог терзать несчастную женщину», что «я сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве»[280]. Еще раз были разбиты иллюзии. Герцен «узнал... свой собственный предел»[281]. Личная драма неразрывно переплелась для Герцена с драмой общественной. Недаром Герцен говорит, что Гервег сгубил «в частном быте еще



КРУТИЦКИЕ КАЗАРМЫ В МОСКВЕ, ГДЕ СОДЕРЖАЛСЯ АРЕСТОВАННЫЙ ГЕРЦЕН В 1834 г.
Гравюра 1820-х гг.
Исторический музей, Москва

более, чем черные июньские дни — в общем»[282]. Теперь Герцен понимает, в какой теснейшей зависимости личная жизнь даже самого передового человека находится от жизни общественной, что мечта хотя бы свою жизнь построить, как эстетический идеал, независимо и в стороне от исторической драмы — утопия.

В V части «Былого и дум» перед нами встает не отвлеченный образ «нового человека» и не искусственный и идеализированный образ человека «независимого», пытающегося уйти от общественной катастрофы в гордое одиночество. В пятой части «Былого и дум» мы видим живой, полнокровный, реалистический образ Герцена в 1848—1852 гг., со всеми его мучительными сомнениями, раздумьями и исканиями, мы видим тяжкие поражения, выпавшие на его долю и вместе с тем ощущаем неустанное борение его мысли, в этих поражениях закаляющейся. Герцен смело и страстно рассказывает о своих ошибках и иллюзиях, и именно поэтому все лучше учится разоблачать их. Правда, Гер-

цен порой теряется в том хаосе противоречий и случайностей, в каком теперь перед ним предстает окружающий мир, он порой вовсе не видит закономерностей исторического развития, но его глубокий пессимизм отражает, прежде всего, разрыв со старыми утопическими верованиями.

Герцен писал V часть «Былого и дум» в Лондоне в 1853—1860 гг., но, великий художник, он сумел себя изобразить таким, каким он был в 1848—1852 гг. Герцен же лондонского периода встает перед нами в VI части (мы указываем нумерацию частей по изданию под ред. М. К. Лемке) «Былого и дум». Герцен говорит, что, перебирая в лондонском одиночестве свои воспоминания, он переживал не только тяжелые, но и «другие, не радостные, но мужественные»[283] минуты. «Не радостным, но мужественным» можно было бы назвать образ Герцена в шестой, лондонской, части «Былого и дум», которая сочетает воспоминания о недавних встречах с рассказом о настоящем. «Положительный герой» этого произведения отказался теперь от многих прежних притязаний. Поэзию, красоту своей жизни, светлую юность Герцен оставил в прошлом, о котором он рассказал в первых частях «Былого и дум». «Положительный герой» «Былого и дум» в VI их части уже не рассказывает о своем «частном быте», он не пытается «лично начать новую жизнь», могущую служить поэтическим примером. Мы видим теперь Герцена постаревшего, много испытавшего, отрекшегося от многих иллюзий, мечтаний и надежд, но также отошедшего от настроений тех лет, когда он в порыве страстной скорби переживал их крушение. Теперь в образе Герцена больше сдержанности, спокойствия; бурная скорбь уступила место — печали, сарказмы отчаяния — иронии.

В шестой, лондонской части «Былого и дум» Герцен противопоставлял себя, русского революционера, идейно возглавляющего борьбу против самодержавия и крепостничества на своей родине, мыслителя, ясно видевшего идейную и политическую несостоятельность западноевропейской буржуазной демократии — утопическим социалистам и демократам, живущим в лондонской эмиграции, ничему не научившимся после 1848 г., бессильным перед господством буржуазии, а вместе с тем попрежнему предававшимся иллюзиям, людям политического прошлого.

В VI части «Былого и дум» меняется не только образ самого Герцена, но и его представление о мире. Достаточно сравнить «Западные арабески» V части с главами о книге Дж. Ст. Милля и о Роберте Оуэне VI части, для того чтобы понять тенденции развития герценовской мысли. В окружающей действительности Герцен видит теперь не только хаос противоречий и случайностей, он упорно ищет «всходы новой силы»[284], он, все еще не порывая со своим пессимизмом, призывает в «Роберте Оуэне» изучать исторические закономерности для того, чтобы на этой основе найти путь к революционной активности. Но дальнейшее развитие исторических событий в Западной Европе и России должно было заставить Герцена гораздо решительнее пересмотреть свои старые взгляды и самооценки.

О том особенно резко свидетельствуют некоторые дневниковые записи и письма Герцена 1863—1869 гг. и последняя, VII часть, «Былого и дум».

Дневниковые записи и письма этих лет тесно связаны с теми тяжелыми осложнениями и раздорами, которые внесли в семью Герцена его отношения с Н. А. Огаревой, но раздоры эти не были фактами только «частной», личной жизни Герцена. Проблема ошибок и неудач «частной жизни» переросла в вопрос о типических недостатках того революционера и мыслителя, который рисовался как положительный

герой «Былого и дум», о тех недостатках, которые все более явственно обнаруживались в условиях резкого политического размежевания в России, измены былых друзей, роста русского революционно-демократического движения в России и рабочего движения в Западной Европе.

Уже в феврале 1863 г. Герцен, в краткой записи, называет свой дневник «книгой стона» [285]. В августе того же года мы встречаем в дневнике следующие строки: «Кара! Кара! Мысль эта не идет у меня из головы... отрицать легко в теории и ужасно трудно на практике. Частной жизнью не много сделаешь, ее нельзя выдавать за норму. Теорию с практикой в деле отрицания примиряет революция. В ней отрицание не личное, не исключительное, не на выбор, не уклонение, а открытое противодействие старому и водворение нового. Старая добродетель объявляется пороками, нелепостью и пр. Все это невозможно для отдельного лица и для домашнего употребления и всего невозможнее, когда оно идет от эстетических целей» [286].

В 1866 г. Герцен записывает в свой дневник такие строки: «Гордый дух, живший в нас, сознание таланта, силы, может, превосходства, заставляли нас думать, что все сойдет с рук безнаказанно... Неестественная высь, по которой мы шли, сделалась невозможной от нарушенного равновесия; мы срывались, шли, как лунатики, по краю крыши, падали и воображали, что все еще парим в выси... это говорит против среды и времени нашего развития. Мы не подчиняемся собственному разуму... так же, как собственной эстетике... и оттого беспрерывно просыпаемся то в ручье, то с разбитым сердцем... И я и Огарев пришли к темному окончанию» [287].

Герцен всю свою жизнь мечтал о расцвете человеческой личности, о новом, свободном и красивом человеке. Он пытался своей собственной жизнью дать пример такой гармонии и красоты, но чем дальше, тем больше стал приближаться к пониманию того решающего значения, которое имеет для создания условий, ведущих к такому расцвету человеческой личности, массовое революционное движение, революция народных масс, возглавленные рабочим классом. Герцен опровергает в этих записях свои прежние мысли и хочет сказать, что его гордые и исключительные надежды на самого себя были не обоснованы, что построить «новую жизнь» можно только, опираясь на исторический опыт народа, опыт масс, что нельзя было свою жизнь выдавать за норму, нельзя было надеяться только на усилия и стремления немногих передовых людей. Для нас, изучающих Герцена-художника, особенно существенно указание на то, что эти его попытки, «все это... всего невозможнее, когда оно идет от эстетических целей» (разрядка наша. — *Я. Э.*). Герцен остро чувствовал, что он сам, его биография являются сюжетом его литературной работы. Поэтому можно сказать, что построение своей жизни было для Герцена задачей не только жизненной практики, но и задачей эстетической, оно в какой-то мере шло «от эстетических целей». Герцен хотел свою жизнь сделать красивой, достойной эстетического изображения, и показать ее такой в своем творчестве. Как мы видим, это удалось Герцену в первых частях «Былого и дум», когда он, отправляясь от пушкинских традиций, писал о 30—40-х годах в России. Когда же стало складываться новое революционное поколение, гораздо более тесно связанное с народом, когда появилась «новая Россия», которую, по словам Герцена, «не тяготит ни родовое имущество, ни родовое воспоминание... в ней... вовсе нет привязанности к существующему... Она стоит свободная от обязательств и исторических пут» [288], то «высь», по которой одиноко шел Герцен, должна была казаться особенно «неестественной». Герцен-по-

литик вызывал критику слева, он, в значительной мере, терял право на роль «положительного героя» «Былого и дум».

Так подготавливался и создавался новый по содержанию, а в известной мере и по форме, характер заключительной части «Былого и дум», печатавшейся в 1867—1869 гг. Образ автора, рассказывающего о себе, отодвинулся далеко назад, он очерчен лишь немногими штрихами, как образ человека, глубоко одинокого, который может «умереть, пожалуй, и никто не помешает»[289].

Тон Герцена в VII части «Былого и дум» не раз окрашивается скорбью, но скорбь эта сдержанная, в ней чувствуется большая сила и, в резкое отличие от V части «Былого и дум», — исторический оптимиз. Не следует думать, что Герцен просто скрывал от читателя горькие и безжалостные самоупреки, звучащие в дневнике, т. е. говорил полу-правду. В дневнике 60-х годов Герцен отправлялся, главным образом, от фактов своей «частной жизни», он давал волю горечи ощущения своих ошибок, разбитых мечтаний, особенно своего одиночества в старости. Но Герцен не предавался бесплодному самобичеванию и отчаянию. Его мысль не переставала бороться. Он все яснее видел новые, растущие революционные силы. Он чувствовал, что дело его жизни растет и ширится, хотя сам он уже отходил на задний план, хотя он вызывал критику со стороны нового революционного поколения. Герцен понимал историческое значение и плодотворность своей деятельности. Отсюда возникало объективно оправданное чувство внутренней удовлетворенности, заглушавшее боль и горечь. Герцен, обращаясь к Огареву, писал в 1868 г.: «Мы с тобой принадлежим к тем старым пионерам, к тем «сеятелям», которые вышли рано поутру, лет сорок назад, чтобы распахать землю, по которой пронеслась дикая николаевская охота на людей, раздавив все — плоды и почки. Семена, которые достались в наследство небольшому числу наших друзей и нам от наших великих предшественников, мы бросали в новые борозды, и ничто не погибло... Новое поколение идет своим путем, оно не нуждается в наших словах, оно достигло совершеннолетия и знает это. Другим нам нечего сказать»[290]. Мысль и ощущение, продиктовавшие Герцену эти строки, насыщают внутренней, сдержанной и спокойной силой VII часть «Былого и дум», и дают автору право, не нарушая жизненной и художественной правды, не говорить о себе. Герцен понимал, что тяжелое чувство, получившее наиболее резкое выражение в дневнике, «касается только нас лично», как он говорит в том же обращении к Огареву. Мы же, изучающие Герцена-художника, не могли обойти отражения этого чувства, ибо оно объясняет почти полное исчезновение художественного образа герценовского «я» из последней части «Былого и дум». Зато здесь ясно выступили вперед те люди и явления, в которых Герцен видел обещание будущего.

С первого взгляда кажется, что VII часть «Былого и дум» останавливается лишь на эпизодах небольшого значения, что больших вопросов Герцен здесь касается только краем, только вскользь. На самом же деле на этих небольших эпизодах, на этих только вскользь затронутых вопросах Герцен дает ответ на все важнейшие проблемы его идейной эволюции.

Герцен осторожно, но уже оптимистически подводит итог 1848—1867 гг.

«Странное дело: с 1848 года мы все пятились да отступали, все бросали за борт да ежились, а кой-что сделалось, и все исподволь изменилось. Мы ближе к земле, мы ниже стоим, т. е. тверже, плуг глубже врезывается, работа не так казиста, чернее, — может, оттого, что это — в самом деле работа...»[291].



ГЕРЦЕН

Портрет итальянским карандашом А. Витберга, 1836 г.

Третьяковская галлерея, Москва

Герцен приходит к выводу о неизбежности буржуазного развития — по крайней мере, в политической области — и для России, и, что особенно важно, не пугается теперь этого.

«Представительная система в ее континентальном развитии, действительно, всего лучше идет, когда нет ничего ясного в голове или ничего возможного на деле. Это — великое покамест, которое перетирает углы и крайности обеих сторон в муку и выигрывает время. Этим жерновом часть Европы прошла, другая пройдет и мы, грешные, в том числе. Чего Египет — и тот въехал на верблюдах на представительную мельницу, подгоняемый арапником»[292].

На ряду с этим Герцен на протяжении всей VII части подчеркивает, не понимая еще всего громадного значения этого своего вывода, особое положение и революционную роль пролетариата. Он пристально присматривается к «резкому, как альпийский воздух виду... работничьего населения»[293] Турина. О положении во Франции при Наполеоне III Герцен пишет: «...беззубая оппозиция подняла свою лысую голову и затянула старую фразеологию сороковых годов; работники не верили им, молчали и слабо пробовали ассоциации и кооперации»[294].

Герцен отчетливо понимает, что перед рабочими встала новая борьба, «другие заботы»[295], новые задачи, что пролетариат осознал обособленность своего пути от «беззубой оппозиции», от «радикальной партии».

А в Латинском квартале Парижа, в кругах революционной интеллигенции Герцен, накануне Парижской Коммуны, уже видит, пусть кажущиеся ему еще слабыми, «светлые точки» — «там мечтают о будущей «веси человеческой», там известны «те новые вопросы, т. е. экономические»[296], которые чужды и неинтересны «Даниилам»[297], людям, остановившимся на верованиях утопического социализма и зовущим теперь вспять.

Так, VII часть «Былого и дум» своими художественными эскизами предвещает заключительный этап идейной эволюции Герцена, сказавшийся в охарактеризованных В. И. Лениным «Письмах к старому товарищу» (1869), в которых Герцен приближается, несмотря на колебания и непоследовательность, которые ему до конца так и не удалось изжить, к пониманию исторической роли рабочего класса, массового революционного движения и правоты Маркса. Теперь «новый водворяющийся порядок», движение масс, возглавляемое могучей «македонской фалангой работников», «международными работничьими съездами»[298], представляется Герцену уже «не только мечом рубящим, но и силой хранительной»[299], громадной творческой силой человечества.

5. ЖАНР ГЕРЦЕНОВСКОЙ ПРОЗЫ И ЕГО СВЯЗЬ С ЭПОХОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г.

Герцен хорошо сознавал органическую зависимость наиболее характерного для него литературного жанра от особенностей эпохи 1848 г. и ее идейной жизни. В статье «Западные книги» (1857) Герцен писал: «Обрыв, к которому пришло человеческое разумение и который обличился после 1848 г., сбил с толку умы слабые и обратил сильные умы на внутреннюю работу». Для умственной жизни эпохи характерно «раздумье человека, который, прошедши пол-дороги, начинает догадываться, что он ошибся, и вследствие того перебирает свое прошедшее, близкое и далекое, припоминает былое и сличает его с настоящим. В литературе, действительно, все поглощено историей и социальным романом. Жизнь отдельных эпох, государств, лиц, с одной стороны, и с другой — как бы для сличения с былым, исповедь современного чело-

века под прозрачной маской романа или просто в форме воспоминаний, переписки»[300]. Далее Герцен говорит о ряде исторических работ и мемуаров политических и военных деятелей, но очевидно, что охарактеризованное им своеобразие литературы эпохи «обрыва» 1848 г. определяет собой и жанр «Былого и дум». Так, в предисловии к этому своему великому произведению, Герцен писал: «Это — не столько записки, сколько исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из былого, там-сям остановленные мысли из дум». Свою исповедь Герцен также ставит в связь со стремлением «современного человека» по-новому, после катастрофы 1848 г., оценить историческое прошлое, извлечь из него уроки для настоящего. Герцен писал, что «Былое и думы» — «не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге»[301]. Глубокий, осознанный историзм, стремление в рассказе о своей жизни, о встреченных им людях, о своих мыслях и переживаниях отразить большие исторические события и обдумать их закономерности — одна из самых существенных черт стиля Герцена-художника. Тот жанр исторический, а вместе с тем автобиографический и лирически окрашенной прозы, легко вмещающей и философские и публицистические отступления, в котором написаны «Былое и думы», тесно связан с условиями идейной, литературной жизни в эпоху революции 1848 г. Но классовые, бытовые и идейные конфликты этого времени назревали еще с 30-х годов настолько явственно, что Гейне, например, смог описать в 30—40-х годах «грозовые тучи», предвещавшие грозу 1848 г.

Аналогично, еще «перед грозой», постепенно складывались и литературные формы, наиболее соответствующие своеобразию этой эпохи. Герцен не внезапно «нашел» жанр «Былого и дум». Жанр этот формировался в его творчестве в процессе упорных и трудных исканий, жизненных и литературных*.

В введении к «Запискам одного молодого человека» Герцен впервые выступил с публичным обоснованием своего «права» на автобиографию. Отвечая на мыслимое возражение: «но скучна будет Илиада человека обыкновенного, ничего не совершившего...», Герцен пишет: «Я не верю этому... Кто жил умом и сердцем, кто провел знойную юность, кто человечески страдал с каждым страданием и сочувствовал каждому восторгу, кто может указать на нее и сказать: «вот моя подруга», на него и сказать: «вот мой друг», — тот совершил кое-что. «Каждый человек», говорит Гейне, «есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история», и история каждого существования имеет свой интерес... Интерес этот состоит в зрелище развития духа под влиянием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нормальное общее направление»[302]. «Зрелище развития духа под влиянием времени...» — такова ранняя, еще не устоявшаяся, не проверенная опытом творчества формулировка целеустремленности герценовской автобиографии, по существу, несомненно, близкая к вышецитированному позднейшему определению «Былого и дум».

Если сам Герцен чувствовал, что жанр художественной автобиографии наиболее соответствует его литературному таланту, то, с присущей ему гениальной прозорливостью и тонкостью эстетического чувства, понял это В. Г. Белинский на основе знакомства с «Записками

---

* Истории этого формирования мы в настоящей статье, из-за недостатка места, не даем. Ее мы касались в других работах, она освещена также в работах других авторов.

одного молодого человека». В 1863 г. Герцен, говоря о «Былом и думах», указывает — «это мой настоящий genre, и Белинский угадал это...». В апреле 1846 г. Белинский в письме к Герцену дал следующую замечательную характеристику его таланта: «...у тебя при уме живом и осердеченном есть своего рода талант; в чем он состоит, не умею сказать, но дело в том, что я глупее тебя на много раз, искусство (если не ошибаюсь) мне сроднее, чем тебе, фантазия у меня преобладает над умом и, кажись, по всему этому, такому своего рода таланту скорее следовало бы быть у меня, чем у тебя..., а вот у меня такого своего рода таланта ни больше, ни меньше, как настолько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и полюбить твой талант. И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных. Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, ты — большое имя в нашей литературе, и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества. Как Нос, в гоголевской повести того же имени, ты можешь сказать о себе: «Я сам по себе!» Деятельные идеи и талантливое живое их воплощение — великое дело, но только тогда, когда все это неразрывно связано с личностью автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь...»[303].

Белинский особенность «своего рода таланта» Герцена видит в том, что художественное дарование последнего подчинено его «натуре». Литературная деятельность Герцена для Белинского — больше чем литература, Герцен для него — больше чем только писатель. Белинский так же, как и сам Герцен, воспринимает литературную работу последнего прежде всего, как отпечаток его жизни и личности. Произведения Герцена возникли на основе его жизни, но, так возникнув, они сами стали частью этой деятельной жизни. Герцен живет именно так, как он о том рассказывает в своих произведениях, и художественное отражение его личности — «великое дело». Такой своей литературной работой Герцен войдет не только в историю русской литературы, но и в политическую историю России.

Но именно это своеобразие художественного таланта Герцена не могло полностью проявиться в обстановке николаевской России. Только отъезд за границу, только положение революционера-эмигранта разбивают путы, сковывавшие и стремление к политической деятельности и художественное дарование Герцена. Течение событий, в особенности июньские дни, обнажившие все противоречия эпохи, насыщают бурным драматическим содержанием тот литературный жанр, к которому дарование Герцена-художника стремилось долгие годы. В 1848—1851 гг. Герцен-художник нашел себя, нашел свою тему и оказался достойным ее великих исторических масштабов.

Теперь переживания и мысли потаенных дневников и писем, представлявших собою, по словам Герцена, «движущуюся и раскрытую исповедь»[304], могли высказываться открыто. Не было нужды рисовать «вымышленных» героев, вроде Трензинского в «Записках одного молодого человека» и Анатоля в «Долг прежде всего», раз можно было изображать Чаадаева и Печерина, в той или иной степени послуживших прототипами для этих литературных персонажей. Не нужно было создавать Бельтова, раз можно было говорить о Сазонове и Энгельсоне и им противопоставлять самого себя. Общественная драма 1848 г. могла быть теперь показана в сочетании с драмой семейной, личной. Факты прошлого и путевых наблюдений стали отправной точкой для

РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ 40-х гг.
БУДОЧНИК
Рисунок из альбома П. Челищева
Литературный музей, Москва



«теорий», для широких историко-философских и политических обобщений. Исполнилось пожелание, высказанное Герценом еще в 1844 г.,— «пора иронию возвести в чин» [305] — герценовская ирония могла теперь непосредственно атаковать царизм, так же как и западно-европейский буржуазный строй. И все это объединилось личностью автора, историческая роль которого выяснялась в развертывании его автобиографии, отражающей «биографию человечества».

В основу герценовской автобиографии лег теперь крепкий фундамент активной политической деятельности, большого жизненного опыта, полной художественной зрелости. В «Былом и думах» перед нами в неразрывном единстве встают и эстетика, и философия истории, и политическое credo Герцена.

Тот жанр, к которому Герцен пришел, совсем не поддается упрощенным определениям — «автобиография», «мемуары», и эти термины мы употребляем лишь условно. Вообще, когда произведение автобиографического характера является подлинно художественным, когда оно становится явлением художественной литературы, то такое произведение оказывается в сложном, но несомненном родстве со всем творчеством данного писателя и впитывает в себя жанровые особенности всей работы последнего. Так, например, «Пошехонская старина» Щедрина, несмотря на свою автобиографичность, — произведение очерковое, и личность и переживания рассказчика отступают в нем на задний план перед систематически-очерковым описанием крепостного быта в духе всего творчества великого сатирика.

Именно потому, что «Былое и думы» — великое художественное произведение, в нем, на основе автобиографического повествования, органически сочетаются все характерные для творчества Герцена и уже ранее выделявшиеся в нем элементы: воспоминания о про-

шлом и думы о будущем, художественные зарисовки и лирическая публицистика, эпиграмматические характеристики и философские обобщения, анекдоты и исповедь.

Поэтому, когда *И. С. Тургенев*, впервые ознакомившись с отрывками из «Былого и дум», написал Герцену — «решительно оказывается, что собственное твое призвание — писать такого рода хроники. — Это в своем роде стоит Аксакова»[306], то Герцен с ним не согласился и ответил: «Я не думаю, чтобы ты был прав, что мое призвание писать такие хроники, а просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой формы, не стесняясь, en abusant de la parenthèse... * Это просто ближайшее писание к разговору: тут и факты, и слезы, и хохот, и теория, и я, как Коссидьер на изнанку, делаю из беспорядка порядок единством двух-трех вожжей, очень длинных...»[307]. Согласиться с Тургеневым Герцен не мог потому, что «Былое и думы» для него были чем-то гораздо бо̀льшим, чем только рассказом о себе, чем только мемуарами, потому что он не видел в своей новой работе нечто такое, что резко противостояло бы его предшествующей литературной деятельности.

Особенностью Герцена-художника является то, что в его творчестве именно автобиографическое повествование дало возможность наибольшего и наиболее яркого проявления всех особенностей его идейных устремлений и художественного таланта.

Так органически создается новый жанр, наиболее благоприятствующий тому живому воплощению в литературе личности Герцена и его идей, которое Белинский охарактеризовал, как определяющую особенность его художественного таланта. «Былое и думы» явились высшей и представляющей собой новое качество, но подготовленной всем предыдущим развитием, ступенью литературного пути Герцена.

Герцен сказал, что он случайно оказался на дороге истории. Но не случайно Герцен на этой дороге увидел все то, что встает перед нами в художественных образах «Былого и дум» и других произведений.

Герцен обладал таким глубоким и тонким чувством истории, таким острым ощущением исторических сдвигов, таким богатством эмоций и мыслей, такой способностью лирически, как свою собственную судьбу, отражать исторические судьбы человечества, что, пережив с горечью и болью события 1848 г., он имел право сказать: «Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы — его похмелье, мы — его боли родов»[308].

Отражение истории в художественном творчестве Герцена выступает по преимуществу как история идейной жизни эпохи, как история идейных исканий человека, идущего к научному социализму; красоту мысли этого человека Герцен дал глубоко ощутить.

Сочетание глубокого мыслителя, замечательного публициста и великого художника позволило Герцену создать произведения, поражающие совершенно своеобразным интеллектуальным лиризмом, произведения, в которых ход мысли, иллюстрируемый блестящими уподоблениями, выступает в такой теснейшей связи со всей духовной жизнью автора-рассказчика, с его настроениями, чувствами, переживаниями, в таком психологическом окружении и обрамлении, что развитие мысли становится предметом художественного ав-

---

* злоупотребляя вводными, вставными предложениями.

тобиографического рассказа, приобретая чувственную, образную рельефность.

Идейная борьба мыслителя, идущего по пути к научному социализму, стремящегося к переделке действительности, остро ощущающего все исторически обусловленные противоречия переходной, кризисной эпохи, порой смятенного ими и разочарованием в собственных иллюзиях, но упорно приближающегося к правильному уяснению исторических закономерностей,—таков пафос автобиографического творчества Герцена.

Художественное творчество Герцена, как по своему содержанию, по характеру своего историзма, так и по своему стилю и жанру, глубоко и ярко отразило духовную драму мысли, разочаровавшейся в утопическом социализме, но еще не дошедшей до социализма научного, духовную драму переходной эпохи, «когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела» (Ленин[309]).

Художественное выражение герценовского историзма приобретало форму автобиографической, лирико-философской прозы именно потому, что в условиях переходного, кризисного времени Герцен, еще только преодолевая промежуточность, переходность собственного мировоззрения, не мог отразить эпоху, ее течение, события и людей в какой-либо художественной форме, связанной с эпической традицией. В окружающей его действительности Герцен видел «концы» старого, обреченного мира, «начала» же будущего долго представлялись ему неясными, неопределившимися, стоящими даже, быть может, перед угрозой гибели. Для Герцена, после 1848 г., центральной проблемой был вопрос о закономерностях исторического развития, о том, обусловлено ли исторически наступление светлого будущего, наступление социализма. Для Герцена-художника наиболее интересны были люди, идеи, факты, представляющие собой живые свидетельства по этому вопросу. Но все эти образы связываются воедино собственными герценовскими сомнениями, раздумьями и еще очень осторожными выводами — переходность мировоззрения Герцена, его колебания, невозможность фиксировать эти образы в их законченно-типическом виде, вызывали необходимость такого лирического комментария. Автобиографический лиризм Герцена является подлинным «отражением истории в человеке». Это не уход от истории, уход в себя, а стремление и способность через собственный жизненный опыт, через свои мысли и чувствования дать ощутить развитие исторических судеб. Особенности переходной эпохи 1848 г. и мировоззрения Герцена давали ему право на такой лирически и автобиографически выраженный историзм, но вместе с тем обусловливали некоторое отдаление автора «Былого и дум» от широкого исторического опыта народных масс и преимущественное сосредоточение на идейных интересах узкого круга передовых людей того времени.

Герценовский историзм ставит «Былое и думы» на совершенно особое место среди великих художественных произведений мировой литературы, созданных на автобиографическом материале. В таких замечательных автобиографических произведениях эпохи просвещения, как «Исповедь» Руссо и «Письма к Софи Воллан» Дидро, которые их автор называет «своим дневником»[310] и художественный характер которых несомненен, не могло быть заостренного уроками 1789 и 1848 гг. и глубоко осознанного герценовского историзма. Герцен ставил своей задачей показать «отражение истории в человеке» и все свои «частные» беды он осмысливал, как отклики «общих» катастроф. Руссо изображает жизнь и страстное духовное развитие плебея, человека из народа, он рассказывает о «несчастиях моей жизни» и связывает их с господствующим «порядком вещей»[311]. Но Руссо не ставит вопроса об

исторической обусловленности этого порядка, перед ним осознанно не стоит задача изучения движущих сил истории. Дидро пишет Софи Воллан о Гольбахе: «Барон изводит себя чтением истории, что только вредит уму и ожесточает сердце»[312], и эта фраза соответствует почти полному выключению общеисторических фактов из автобиографических писем Дидро.

Дидро и Руссо — великие художники-реалисты: в «Письмах к Софи Воллан», в «Исповеди» они рисовали человека «во всей правде его природы»[313], но это был человек эпохи просвещения по своей интеллектуальной жизни столь отличный от человека эпохи революции 1848 г., встающего перед нами в «Былом и думах».

«Былое и думы» по своему историзму отличаются и от автобиографических произведений Гёте. Гёте уже узнал уроки Великой французской революции, он восклицает: «каким циклом трагедий угрожало нам бушующее движение мира!». Но своеобразие немецких условий до 1848 г. и идеологические традиции просвещения ведут к тому, что и Гёте стремится занять положение «поэта, который по природе своей внепартиен»[314]; политические проблемы Гёте пытается разрешить в эстетическом плане. Политическая и идейная борьба эпохи, крупнейшие события приглушенно и смягченно отзываются в «Поэзии и правде». А в «Былом и думах», в классическом произведении эпохи 1848 г., автор сознательно и целеустремленно стремится к тому, чтобы увидеть в своем «я» непосредственное «отражение истории» и ее бурных сдвигов.

Но, с другой стороны, у Герцена не было и не могло быть того историзма, который впервые в мировой литературе, в творчестве Горького, превратил автобиографическое повествование в непосредственное воплощение исторического опыта народа, проникнутое вместе с тем передовой мыслью.

6. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИДЕЙНОЙ ЖИЗНИ И ЛЮДЕЙ МЫСЛИ ГЕРЦЕНОМ

С охарактеризованными выше особенностями герценовского автобиографического жанра тесно связаны художественные методы изображения идейной жизни и людей мысли, свойственные Герцену.

В «Письмах к будущему другу» Герцен говорит: «Каждая эксцентрическая жизнь, к которой мы близко подходили, может дать больше отгадок и больше вопросов, чем любой герой романа, если он несуществующее лицо под чужим именем. Герои романов похожи на анатомические препараты из воска. Восковой слепок может быть выразительнее, нормальнее, *типичнее*: в нем может быть изваяно все, что знал анатом, но нет *того, чего он не знал*, нет дремлющих в естественном равнодушии, но готовых проснуться ответов, — ответов на такие вопросы, которые равно не приходили в голову ни прозектору, ни ваятелю. У слепка, как у статуи, все снаружи, ничего за душой, а в препарате засохла, остановилась, оцепенела сама жизнь со всеми случайностями и тайнами... Кстати, вторые лица, едва набросанные, стоящие на дальнем плане, нравятся нам обыкновенно больше героев просто оттого, что автор не дает себе труда их изобретать. Это — все соседи, приятели, слуги, путешествующие incognito». Герцен и считал своей задачей как художника «снимать маски и портреты»[315] с «эксцентрических» людей.

А в статье «Еще раз Базаров» Герцен писал: «Типы легко схватывают различия; для резкости в них увеличивают углы и выпуклости, обводят густой краской пределы, обрывают связи, переливы теряются...



ГЕРЦЕН С СЫНОМ АЛЕКСАНДРОМ

Портрет маслом неизвестного художника, 1839 г.

Литературный музей, Москва

К тому же мы грузим на плечи типов больше, чем они могут вынести...»[316].

Герцен не столько интересовался историей и закономерностями становления и существования буржуазного общества, сколько моментами и эпизодами переломными, кризисными, революционными, ведущими к иному будущему. Подобно этому его привлекали не столько законченные, резко выраженные типы людей, являющихся наиболее адэкватным выражением существующих порядков, сколько люди мысли, своими сомнениями, колебаниями, ошибками, разочарованиями, «переливами» отражающие переходный характер эпохи. Герцен упорно искал в действительности ростки нового, сам не зная, какими они окажутся, и, в связи с этим, — особенно жадно присматривался к «эксцентрическим» людям, надеясь у них найти «готовые проснуться ответы» все на те же, так волновавшие его вопросы. Ведь Герцен ясно замечал типическое в жизни — типичных буржуа, типичных идеологов буржуазии: «люди нынче выделываются гуртовые, оригиналов в Европе нет»[317], писал Герцен в «Оба лучше», деля всех этих «гуртовых» людей на два разряда: Барнумов (Барнум — знаменитый делец-антрепренер, опубликовавший свои воспоминания), олицетворяющих практику, прозу буржуазного века, и Орасов (Орас — герой одноименного романа Жорж Занд), представляющих идеологию, риторику и «поэзию» буржуазии. Герцен хорошо понимал, что «главный балласт всех эмиграций, особенно французской, принадлежит буржуазии...», но детальное изображение одного или нескольких из этих гуртовых людей его не привлекало, им он уделяет лишь обобщающую характеристику и переходит затем к людям «эксцентричным, сорвавшимся с своей торной, гуртовой дороги»[318]. И даже Орас появляется в творчестве Герцена в таком своем «эксцентрическом» выражении, как Гервег.

Именно потому, что главное внимание Герцена-художника было обращено к людям мысли, к историческому развитию передовой мысли, он в «эксцентрических» людях-мыслителях различных эпох и периодов искал не столько типовые различия, сколько связующую их преемственность идей. Такому подходу соответствовало и идейно-политическое положение самого Герцена, ощущавшего и свою принадлежность к поколению дворянских революционеров и свою идейную связь с новым русским революционным поколением. Герцен спрашивал: «...не интереснее ли, вместо того, чтобы стравлять Базарова с Рудиным, разобрать, в чем красные нитки, их связующие...»[319].

Отражая эпоху переходную, не умея еще ясно указать закономерностей, ведущих к возникновению будущего, Герцен, естественно, особенное внимание должен был уделить изображению своего «эксцентрического», контрастного, индивидуального, «случайного», потому что в этом, кажущемся лишь случайным, могли обнаружиться признаки закономерного приближения будущего. Герцен даже несколько опасался резкой, законченной типизации.

Но подобно тому, как автобиографизм и лиризм герценовской прозы принципиально чужд субъективизму позднейшей деградирующей западно-европейской литературы, так и стремление Герцена изображать «эксцентрических» людей не имеет ничего общего с искусственным, антиисторическим эксцентризмом, свойственным героям этой литературы, боящейся подлинной действительности и ее типических явлений.

Герцен не стремился создавать заостренно-типические образы, но он был таким большим и правдивым художником, он так великолепно

умел отделять исторически-значительное от внешнего и второстепенного, что «эксцентрическое», случайное, оригинальное выступает в создаваемых Герценом портретах в сложных и органических связях с характером эпохи и национального уклада, с особенностями того или иного периода истории, культуры, идеологии.

Герцен был великим мастером портретных зарисовок. Он, по большей части, очень лаконичен: сжато охарактеризованный интеллектуальный и житейский, бытовой облик того или иного «эксцентрического» современника, несколько ярких эпизодов, порой анекдотов и диалогов, переданных со всей живостью разговорных интонаций — таков обычно самый портрет в узком смысле слова.

Но это немногое дано с таким глубоким и блестящим остроумием, с такой сжатой и сконцентрированной выразительностью, с такими содержательными и эффектными сопоставлениями, что рисунок этот, в котором существенна каждая черточка, пронизывается пафосом истории и становится отправной точкой для больших и глубоких обобщений, для характеристики целых эпох и идейных поколений.

Так из облика Бакунина, как взрослого ребенка, «большой Лизы», вырастает обобщающая характеристика демагога-заговорщика, который «тяготился долгим изучением» [320] действительности и ничему не научился после 1848 г. А указание на «колоссальную, импозантную фигуру» — Ледрю Роллена, которую «ненадобно разбирать en détail» [321], служит ироническим преддверием к диалогу, ярко показывающему всю тщету иллюзий этого героя фразы, типичного для мелкобуржуазной демократии своего времени.

Еще в 1845 г. Белинский сказал о Герцене: «Автор повести «Кто виноват?» как-то чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица» [322]. В этих немногих словах В. Г. Белинский указал на одну из самых существенных особенностей художественного воображения, художественной фантазии Герцена. Употребление понятия «художественная фантазия» по отношению к творчеству Герцена может удивить людей, привыкших абсолютно противопоставлять воображение знанию действительности и не понимающих поэтому, как можно говорить о художественной фантазии писателя-мемуариста, заявлявшего притом, что изображение подлинно существующих людей его привлекает гораздо больше, чем создание типов.

Укажем поэтому на характеристику художественной фантазии, даваемую Гегелем. «Эта творческая деятельность, — пишет Гегель, — предполагает, как свое условие, прежде всего дар и склонность к схватыванию действительности и ее форм, благодаря которым обладающий ими человек, внимательно вслушиваясь и всматриваясь, запечатлевает в своем духе многообразнейшие образы существующего, а также и цепкую память, сохраняющую в себе пестрый мир этих многообразных форм... С точным знанием внешнего мира он [художник. — *Я. Э.*] должен соединить такое же близкое знание и понимание внутренней жизни человека.., а к этому двойному знанию должно еще присоединиться знакомство с характером выражения внутренней жизни духа в реальном мире... Но... фантазия не останавливается на этом голом восприятии внешней и внутренней действительности...». Как выражается Гегель, художественное произведение требует, чтобы в нем «достигла внешнего проявления сама по себе сущая истина, разумность действительного... художник должен продумать это существенное и истинное во всем его объеме и всей его глубине... задача фантазии состоит... в том, чтобы осознать эту внутреннюю разумность не в форме всеобщих положе-

ний и представлений, а в конкретном облике и индивидуализированной действительности»[323].

Если отвлечься от идеалистических предпосылок и терминологии Гегеля, то в этих строках мы найдем замечательную характеристику художественной фантазии, как сочетания многостороннего, точного и конкретного знания действительности со способностью глубоко обдумать, осмыслить и обобщить это знание, отделить в описываемых явлениях существенное и решающее от внешнего и второстепенного, причем и это осмысление должно принять форму не отвлеченной мысли, а «индивидуализированной действительности».

Герцен обладал громадной, удивительной и точной художественной памятью. Свои детские, отроческие и юношеские годы он сумел спустя 20—30 лет описать в «Былом и думах» с поражающей конкретностью. Это не были притом воспоминания об отдельных, пусть многочисленных случаях и фактах, которые может восстановить и нехудожник, обладающий хорошей памятью. Память Герцена была органической частью его творческой фантазии. Герцен, вспоминая о прошлом, творчески создал в «Былом и думах» целый мир, обладающий для читателя эстетической реальностью существования и глубоко отражающий факты подлинной действительности.

Образы и портреты, созданные Герценом, были итогом глубокого, художественного обдумывания жизненных наблюдений, свидетельством того, как художественная фантазия автора «Былого и дум» умела отвлечься от всего мелкого и внешнего. Вспомним образ Белинского в «Былом и думах» — несомненно, лучшее в русской литературе художественное реалистическое изображение этого великого деятеля. С немногих герценовских страниц перед нами встает «мощная, гладиаторская натура» этого «сильного бойца»[324]. Читатель чувствует пафос исторической борьбы Белинского и ощущает его, как предвестника нового революционного поколения. А до какой степени даже очень большой писатель мог засорить эти великие черты мелкими, внешними черточками, показывают «Воспоминания о Белинском» И. С. Тургенева, написанные с целью противопоставить Белинского — революционному поколению 60-х годов. В этих воспоминаниях Тургенев приходил к выводу, что для политической деятельности у Белинского «не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента»[325].

Герцен великолепно видел, чувствовал, знал идейную жизнь эпохи, искания и борение передовой мысли. Жизнь идей Герцен умел изображать, как художник, «в конкретном облике и индивидуализированной действительности». Громадное количество сравнений и сопоставлений были одним из средств этого художественного изображения мысли, служа конкретным уподоблением отвлеченным понятиям. И в мире идей Герцен всегда умел отделить главное от второстепенного. Мысль, в художественном изображении Герцена, неразрывна со всем внешним и внутренним обликом того человека, которому она принадлежит. Герцен пристально внимателен к форме высказываний и мышления, к оттенкам взглядов изображаемого им деятеля, к зигзагам его мыслей, к колебаниям его настроений, с подлинной глубиной показывая вместе с тем то общее, что при всех индивидуальных отличиях объединяет его с людьми того же идейного склада.

Напомним один из самых замечательных портретов, созданных Герценом, — портрет П. Я. Чаадаева.

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возве-

щало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно, надобно было проснуться. Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление.

I.

ИЗЪ СОЧИНЕНІЯ ДОКТОРА КРУПОВА

«О ДУШЕВНЫХЪ БОЛѢЗНЯХЪ ВООБЩЕ И ОБЪ ЭПИДЕМИЧЕСКОМЪ РАЗВИТІЯ ОНЫХЪ ВЪ ОСОБЕННОСТИ.» (*)

Отъ автора.

Много и много лѣтъ прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ я постоянно посвящаю время, отъ леченія больныхъ и исполненія обязанностей остающееся, — на изложеніе *сравнительной психіатріи* съ точки зрѣнія совершенно новой и мнѣ принадлежащей; но недовѣріе къ силамъ, скромность и осторожность доселѣ воспрещали мнѣ всякое обнародованіе моей теоріи. Нынѣ дѣлаю первый опытъ, побуждаемый предчувствіемъ скораго перехода

(*) Предлагая отрывокъ изъ записокъ почтеннаго и вѣроятно очень искуснаго доктора Крупова, мы никакъ не думаемъ, чтобъ оригинальное мнѣніе его, явнымъ образомъ превратившееся въ помѣшательство, въ *idée fixe*, могло кого-нибудь оскорбить. Человѣкъ, считающій исторію — хроническимъ безуміемъ, считающій всѣхъ людей на земномъ шарѣ (кромѣ себя!) за помѣшанныхъ, простеръ нелѣпость своего мнѣнія до той всеобщности, гдѣ она становится безличною; можно хохотать надъ нимъ, а сердиться нельзя; самое же лучшее можно и должно ему сказать: *Medice, cura te ipsum.*

ИСКАНДЕРЪ.

10 февраля 1846.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА СТАТЬИ ГЕРЦЕНА «ИЗ СОЧИНЕНИЯ ДОКТОРА КРУПОВА» В «СОВРЕМЕННИКЕ», 1847, № IX

Между ними десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай... Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое lasciate ogni speranza...* Долго оторванная от народа часть России прострадала молча, под самым прозаиче-

* Оставьте всякую надежду.

ским, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было что-то на сердце, и, все-таки, все молчали; наконец, пришел человек, который по-своему сказал, что. Он сказал только про боль; светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. «Письмо» Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?.. Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской high life *. Я любил смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его; он одевался очень тщательно; бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто, из воску или из мрамора; «чело, как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе; тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он, сложа руки, где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой» [326].

В этих строках поражает прежде всего органическое слияние портрета Чаадаева с характеристикой его знаменитого «Письма». Сущность этого выступления и идейной позиции Чаадаева отражается во всем его облике, в выражении, в чертах его лица, гениально схваченных Герценом-художником. Соответствие это передано изумительно тонко, изящно, мягко, легкими штрихами и оттенками, без малейшего нажима и надуманности. Притом и самое «Письмо» и произведенное им впечатление охарактеризованы рядом ярких, проникнутых сильным чувством образов — «выстрел, раздавшийся в темную ночь»; «безжалостный крик боли и упрек», «страсть под ледяной корой» и т. д. Мысль Чаадаева стала здесь предметом художественного изображения, она неразрывно сплетена со всем обликом и характером ее носителя.

Чаадаев написан Герценом на конкретном бытовом фоне московского дворянского общества, но фон этот не заслоняет, а подчеркивает историческую роль Чаадаева, как представителя «долго оторванной от народа части России», как выразителя накопившейся боли передовой интеллигенции. Художественная проникновенность сочетается у Герцена с исторической точностью.

В своей лирической публицистике Герцен не только высказывает отвлеченную мысль, но тут же художественными средствами изображает ее психологическое действие, показывает ее в связи с вызванными ею эмоциями, реминисценциями и ассоциациями, создавая подлинную лирику интеллекта.

В «С того берега» («После грозы») Герцен так говорит о необходимости порвать с прежними буржуазно-демократическими верованиями после кровавых июньских дней 1848 г.: «После таких потрясений живой человек не остается по-старому. Душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования, находит в самой безнадежности утешение, и человек вновь зеленеет, обожженный грозою, нося смерть в груди, — или он, мужественно и скрепя сердце, отдает последние упования, становится еще трезвее и

* Высшего общества.

не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер. Что лучше? Мудрено сказать. Одно ведет к блаженству безумия, другое — к несчастию знания. Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все; другое ничем не обеспечено, зато многое дает. Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белу свету, — но с корнем вон детские надежды, отроческие упованья! Все их под суд неподкупного разума! Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тенвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову, обживается, и вдруг какой-нибудь дикий удар будит оплошный суд, дремлющего палача, и тогда начинается свирепая расправа, — малейшая уступка, пощада, сожаление ведут к прошедшему, оставляют цепи. Выбора нет: или казнить и итти вперед, или миловать и запнуться на полдороге.

Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования и как она захватывала потом более и более и дотрогивалось до святейших достояний души? Это-то и есть страшный суд разума. Казнить верования не так легко, как кажется: трудно расстаться с мыслями, с которыми мы выросли, сжились, которые нас лелеяли утешали; пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но в такой среде, в которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство и, если революция, как Сатурн, ест своих детей, то отрицание, как Нерон, убивает свою мать, чтоб отделаться от прошедшего. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвав перед ее суд церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, стремятся спасти клочки, отрывки старого. Отказываясь от христианства, берегут бессмертие души, идеализм, провидение. Люди, шедшие вместе, тут расходятся: одни идут направо, другие налево; одни замирают на полдороге, как верстовые столбы, показывая, сколько пройдено, другие бросают последнюю ношу прошедшего и идут бодро вперед. Переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою» [327].

Духовная драма, переживаемая Герценом, встает перед нами в образах двух противоположных друг другу идейных путей, причем каждый из них дан в связи с чертами вступившего на него человека, с его переживаниями, сомнениями, колебаниями, решениями. Необходимость разрыва со старыми взглядами подтверждается здесь не теоретическим доказательством, а художественным сравнением этих двух путей, каждый из которых отражен в ряде уподоблений. Мы видим эти пути и людей по ним идущих. Герцен рисует мысль, интеллектуальный процесс, как жизнь сердца, жизнь души, как «логический роман». Приведенная страница — художественный, лирический рассказ о борении передовой мысли. Прав был Шелгунов, сказав, что «душевный анализ» Герцена, это — «живой процесс, совершаемый человеком над самим собой». (Соч., т. II, стр. 420).

7. СТИЛЬ И ЖАНР ГЕРЦЕНА И ГЕЙНЕ-ПРОЗАИКА

Органическое стремление и умение лирически переданными впечатлениями, чувствованиями, идеями отразить переходную всемирно-историческую эпоху революции 1848 г. и ее мучительные противоречия роднит Герцена с Гейне. Еще в «Путевых картинах» мы читаем: «... великая мировая трещина прошла по моему сердцу, и именно поэтому знаю я, что великие боги милостиво отличили меня среди

многих других и признали меня достойным мученического чина поэта»[328].

В этом же произведении Гейне, о влиянии которого на «Записки одного молодого человека» говорил сам Герцен, он мог найти следующие строки, вполне соответствующие его собственным мыслям. Гейне писал, что французам «стоит только рассказать, что видели они и проделали за последние тридцать лет, как у них получится такая прожитая, из жизни взятая литература, какой не создал еще ни один народ, ни одна эпоха» и противопоставлял французским мемуарам немецкую литературу, герои которой «существуют только в нашем воображении»[329].

Мемуары Гейне до нас, как известно, дошли лишь в небольшом отрывке, но характеристика автором задания, поставленного себе в этом произведении, безусловно совпадает с теми словами Герцена об «отражении истории в человеке...», которыми он определил содержание «Былого и дум». «Мемуары» должны были, по мысли Гейне, «охватить всю современную историю, которую я сопереживал в ее величайших эпизодах... наиболее оригинальных людей моего времени, всю Европу... мои мысли и желания»[330].

Гейневская традиция герценовского стиля резко бросалась в глаза современникам. Сам Герцен указал на «след Гейне»[331], чувствовавшийся в «Записках одного молодого человека». Обращаясь к московским друзьям, Герцен называет свои первые заграничные письма «шалостью à la «Reisebilder» Гейне»[332]. Уже в 40-х годах один из немецких критиков сопоставил «С того берега» и «Письма из Франции и Италии» по их «ослепительным краскам» и «поразительной образности» с путевыми записками Гейне[333]. А в некрологе «Times» в 1870 г. было дано такое поясняющее сопоставление: «Вообразите себе Гейне, со всем его сентиментализмом и сарказмом, приведенного в ожесточение всеми особенностями русской атмосферы, — и вы получите хорошее приблизительное представление о том, кем был Герцен»[334].

Если Герцен сознавался в «Кто виноват?», что «я не умею писать повестей»[335], то Гейне заметил по поводу «Бахарахского раввина» — «у меня совсем нет таланта рассказывания»[336]. Характерным для Гейне прозаическим жанром становится произведение, соприкасающееся с фельетоном, с очерками и воспоминаниями, точнее, включающее в себе элементы художественной литературы, автобиографии и публицистического выступления, но вместе с тем представляющее собой особое, новое качество, произведение, героем которого становится личность писателя, конечно, своеобразно преломленная. «Мемуары» Гейне должны были синтезировать различные течения гейневского творчества подобно «Былому и думам» Герцена. Здесь должны были слиться воедино «путевые картины», публицистика, философская и эпистолярная проза.

Если Герцен, автор различного рода «писем», сказал, что для «всякой всячины» — «форма письма самая широкая, она свободна, как женская блуза: нигде не шнурует и нигде не жмет»[337], то Гейне заявил, что «письма только форма для того, чтобы с наибольшим удобством сказать все, что я хочу»[338].

Герцен, начиная печатать V часть «Былого и дум», говорил, что «я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, подстрочных к ним рассуждений». Но этому отсутствию строгого «внешнего единства» Герцен противопоставляет внутреннюю цельность, и, сравнивая «Былое и думы» с «картинами из мозаики в итальянских браслетах», он говорит: «все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками»[339].

А Гейне писал в «Путевых картинах»: «Путешествие по Гарцу» — отрывок и отрывком останется. Пестрые нити, столь красиво вплетенные, с тем, чтобы слиться в одно гармоническое целое, перерезаются внезапно, как бы ножницами непреклонной парки... Пусть отдельные произведения остаются отрывками, лишь бы они вместе составили одно целое» [340].



ГЕРЦЕН

Портрет карандашом К. Рейхеля, 1842 г.

Местонахождение оригинала неизвестно

Но, конечно, было бы неправильно на основании всех этих черт сходства говорить о каком-либо тождестве стиля Герцена и Гейне или хотя бы о тождестве отдельных его элементов.

Так, например, естественно сопоставить сверкающее изобилие сравнений и метафор у Герцена и Гейне. Но сопоставление это покажет нам и существенные черты отличия. В сравнениях и метафорах Гейне ярко проявляется черта, характеризующая всю гейневскую поэтику: преодоление романтики изнутри; юмористическое столкновение мечтательных романтических образов с земной реальностью; сложное и тонкое переплетение этих двух художественных рядов. То у Гейне самое обыденное, повседневное явление или свойство иллюстрируется романтическим или лирическим сравнением. Так Гейне говорит о портновском

подмастерье «до того тощем, что лучи звезд могли проникать его, как облачных духов Оссиана» [341]; о Франции 40-годов Гейне пишет: «Все тихо, как в снежную зимнюю ночь. Только тихое, однообразное падение капель. Это проценты непрестанно капают в капиталы, которые все время разбухают» [342]. То Гейне, наоборот, традиционный высокий образ снижает юмористическим сопоставлением: «Слово Гослар, — пишет Гейне, — ... вызывает столько воспоминаний о древней империи, что я надеялся увидеть внушительный, величавый город». А на самом деле Гослар — «город запущенный и душный, мостовые ухабистые, как берлинские гекзаметры», а изваяния немецких императоров в Госларе похожи «на зажаренных университетских педелей» [343]. Иногда Гейне использует образ, который, вырванный из контекста, мог бы показаться традиционным, соответствующим духу немецкой сентиментальной романтики; Гейне пишет о «красивом личике» — «это было нежное и тончайшее воплощение свежести летнего вечера, лунного света, соловьиной песни и аромата роз» [344]. Но в улыбающемся рассказе о похищенном поцелуе этот образ теряет романтическую приподнятость и отражает лишь веселый востор автора, указывая вместе с тем на преодоленную литературную традицию. Самая привычка нарочито, в прихотливой игре художественного воображения, сталкивать явления и образы различных рядов и плоскостей ведет Гейне, например, к такому шутливому сравнению: «молодой коммерсант, долговязый рвотный порошок в коричневом костюме» [345].

Сравнения и метафоры Герцена, по большей части, менее эмоциональны, менее рассчитаны только на чувственное восприятие, они чрезвычайно интеллектуальны, в значительной мере требуют они от читателя мобилизации определенных знаний и ассоциаций, требуют работы и воображения, и мысли, способной к теоретическому обобщению.

Так, например, совещание отца с Голохвастовым характеризуется как «семейное Кампоформио» [364], Екатерина II — «леди Макбет без раскаяния» и «Лукреция Борджио без итальянской крови» [347]; «философия Гегеля — алгебра революции» [348], «православные славянофилы» — «сочетание Гегеля со Стефаном Яворским» [349]. Прудон в гневе напоминает «сердящегося Лютера или Кромвеля, смеющегося над Крупионом» [350]. Значение Зонненберга в воспитании Огарева характеризуется как «роль Бирона» [351]; французских эмигрантов Герцен называет «последними т а м п л и е р а м и и классиками французской революции» [352].

И у Гейне имеются сравнения и метафоры такого «интеллектуального» порядка. Так, например, Луи Блан характеризуется как «новый Ликург» [353], Луи Филипп, как «Наполеон мира» [354]. Но не такие сравнения определяют художественное своеобразие Гейне. Когда же Гейне, иронизируя над рационализмом доктора Ашера, упоминает про его «абстрактные ноги» и «тесный трансцендентально-серый сюртук» [355], то опять ощущается выше охарактеризованная художественная игра, основанная на столкновении разнокачественных понятий и образов, тесно связанная с романтической иронией и с иронией над романтикой.

И у Герцена можно указать на высокие и снижающие, притом непосредственно чувственно воспринимаемые сравнения и метафоры: «Гарибальди... так простодушно, так чисто велик, как описание Гомера, как греческая статуя» [356]. Характеризуя свое отношение к умиранию тех революционных идей, которые господствовали до событий 1848 г., Герцен пишет, давая развернутое сопоставление: «Звуки церковного колокола тихим утром праздничного дня, литургическое пение и теперь потрясают душу, но веры все же в ней нет!» [357]. Канцелярия министра внутренних дел, — пишет Герцен, — относилась к канцелярии вятского губернатора, как сапоги вычищенные относятся к невычищен-

ным; та же кожа, те же подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком»[358].

Но Герцен, умея, как мы уже отмечали, находить «комический бортик к трагическим событиям», не играл, подобно Гейне, на столкновениях высоких и снижающих образов. Герценовский юмор более интеллектуален, сдержан, ясен и не оперирует романтическими образами, хотя бы и в целях их преодоления.

Эти различия между Герценом и Гейне находят достаточное объяснение в том, что Герцен отправлялся от литературных традиций Пушкина и Гейне, менее всего заимствуя у последнего его романтические мотивы. Сам же Гейне вырос, правда, в борьбе и полемике, из немецкой романтики и Жан-Поля; недаром Гейне называл себя «последним и о т р е к ш и м с я [выделено мною. — *Я. Э.*] сказочным королем... тысячелетнего царства романтики»[359]. Герцен был связан с эпохой такого национального подъема и такого гордого роста освободительного движения, которого не знала немецкая действительность. Герцену, идущему вслед за Пушкиным, остались чужды те мотивы ухода от действительности в мир романтической грезы, которые характерны для немецких романтиков, мотивы, изнутри преодоленные Гейне. Что же касается «явного влияния школы Гюго и новых французских романистов»[360], чувствующегося, по словам Герцена, в его письмах вятского периода и его ранней беллетристике, то оно оказалось для Искандера быстро преходящим. А при всех отмеченных отличиях сравнений и метафор у Герцена и Гейне-прозаика творчество обоих характеризуется таким широким применением этого стилистического приема, которое остается чуждым Пушкину. Насыщенность герценовской и гейневской прозы сравнениями и метафорами коренится в ее лирическом характере; сравнения и метафоры являются одним из важнейших элементов того лирико-публицистического комментария, тех «подстрочных... рассуждений», которые у Герцена и Гейне сопутствуют описываемым фактам, встречам и рассказываемым впечатлениям.

8. ТВОРЧЕСТВО ГЕРЦЕНА И ГЕЙНЕ-ПРОЗАИКА, КАК ТЕЧЕНИЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЕРЕДИНЫ XIX В.

При всех индивидуальных особенностях Герцена и Гейне-прозаика в творчестве этих двух великих писателей западно-европейская жизнь середины XIX в. (у Герцена жизнь 40—60-х годов, у Гейне 20—50-х годов), в особенности политическая жизнь Франции, получают столь схожее как по содержанию, так и по форме отражение, что, применяя масштабы мировой литературы, мы вправе говорить об их творчестве как о ц е л о м т е ч е н и и в мировом литературном развитии. Своеобразие и закономерная обусловленность места, занимаемого этим течением в мировой литературе, выступает особенно ясно в сопоставлении с творчеством Бальзака, создавшего подлинную художественную энциклопедию французской жизни от первой империи до 40-х годов.

Центральная тема Бальзака в его «Человеческой комедии» — это становление и неудержимое развитие буржуазного уклада во Франции, торжество буржуазных начал во всех областях жизни, в экономике, политике, литературе и семье. В творчестве Бальзака впервые в мировой литературе развитие буржуазных порядков в этот период дано, как громадный исторический процесс, размах и закономерность которого подчеркнуты самой систематичностью и энциклопедичностью построения «Человеческой комедии», обилием действующих лиц, заостренной типичностью. Объективное, глубокое, точное и тем самым беспощадное и изобличающее изображение буржуазного уклада, в силу

присущего Бальзаку историзма, в силу вскрытия им внутренних противоречий буржуазного строя, ставило вопрос о будущем этого порядка. Но тема борьбы против буржуазного строя занимает в творчестве Бальзака сравнительно второстепенное место и объяснение тому в особенностях эпохи, изображаемой великим французским писателем. Ибо в этот период тема эта могла быть дана, главным образом, как тема идейной борьбы. Бальзак-мыслитель сам отдавал дань утопическим мечтаниям, но, как художник, он так остро чувствовал экономическую и политическую практику в ее наиболее массовых, типических проявлениях, что изображение того, как «идеи поступают в обмен и продажу»[361], безусловно доминировало в его творчестве над рассказом об идейных исканиях передовых людей. Бальзак изображал и идейных врагов существующего порядка, он даже восхищался ими, но не мог отвести им значительного и действенного места в «Человеческой комедии». Это или «бедный сен-симонист, достаточно наивный для того, чтобы верить в свою доктрину»[362], или Мишель Кретьен, напоминающий «героев античности»[363] и гибнущий на баррикадах 1832 г., или Даниель д'Артез, «уединенный труженик, чуждый реальной жизни» в котором «даже и в наше время прекрасный характер соединяется с прекрасным талантом»[364], но нашедший «выход» только в глубоком одиночестве, а потом в иллюзии личного счастья. Этому содержанию бальзаковского творчества соответствовала его форма: роман, центральными действующими лицами которого являются, с одной стороны, наиболее активные, хищные деятели буржуазного общества, рабы своих страстей к деньгам, к власти, а с другой — жертвы этих хищников и страстей. Судьбы всех этих людей выступают сквозь все случайности, как типический результат исторически и закономерно сложившихся социальных порядков и обстоятельств, изображаемых с громадной глубиной и поразительной точностью.

Герцен и Гейне ощущали все своеобразие художественного метода Бальзака. Еще в своей ранней статье о Гофмане Герцен говорит, что в произведениях Бальзака, Сю, Жанена «явились эти анатомические разъятия души человеческой, тут-то стали раскрывать все смердящие раны тела общественного...»[365]. Гейне в «Лютеции» сопоставляет, по частному поводу, художественный метод Бальзака с тем, как «натуралист описывает породу животных или патолог — болезнь...»[366]. Герцен термин «социальная патология» относит к творчеству Диккенса, представляющему собой английскую параллель «Человеческой комедии». Но художественный метод «социальной патологии» не привлекал к себе Герцена и Гейне. Правда, Герцен призывает исследовать «свое положение, свои вопросы так, как... патолог — болезнь»[367]. Но призыв этот относится к исследованию болезней передовой мысли, своего мировоззрения. К изображению же буржуазного порядка в Западной Европе Герцен и Гейне подходили совсем иначе, чем Бальзак. Они видели тот же процесс развития буржуазного общества, который описывал Бальзак, они также испытывали к буржуазному строю глубокое отвращение. Герцен писал, что «человек de facto сделался принадлежностью собственности... Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки: редакции журналов, избирательные собрания, камеры»[368]. Но Герцен и Гейне чувствовали себя по отношению к процессам развития буржуазного общества в Западной Европе гораздо «свободнее», чем Бальзак. Герцен и Гейне были передовыми писателями отсталых (хотя и в разной степени) стран. Правда, оба они во многом черпали свои наблюдения из жизни Франции, т. е. той передовой страны, в которой, по словам Ф. Энгель-

са, «историческая борьба классов больше, чем в других странах, доходила каждый раз до решительного конца» [369]. Но эти наблюдения органически связаны и для Гейне и для Герцена с проблемами общественной жизни родины.

Ленин писал: «В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданного, дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области» [370].



ГЕРЦЕН

Авторская [?] перерисовка с портрета К. Рейхеля, 1842 г.
с дарственной надписью Герцена Н. Х. Кетчеру
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

Творчество Герцена, если иметь в виду эпоху с 40-х до 60-х годов, является живой художественной иллюстрацией к этим ленинским словам.

Интернационализм герценовской тематики, легкость перехода Герцена от изображения жизни одной страны к зарисовкам быта другой, любовь к сопоставлениям и сравнениям различных национальных укладов, характеров и типов мышления являются художественным выражением охарактеризованного В. И. Лениным стремления русской передовой мысли вглядываться в революционный, политический опыт различных стран, делать выводы из этих наблюдений, выводить уроки для борьбы с царизмом.

Как раз отсталось России и Германии давала Герцену и Гейне своеобразную свободу по отношению к изображению буржуазных порядков передовых стран. Особенно это ясно на примере Герцена. Автор «Былого и дум» не увидел буржуазной России и «не мог понять буржуазной природы русской революции» (В. И. Ленин)[371], и это обстоятельство позволяло ему в теории проповедовать народнические взгляды, а в своем художественном творчестве противопоставлять буржуазному порядку Западной Европы — русских передовых людей и их идейные искания и не столько детально изображать этот порядок, которого Россия, по его мнению, не должна была узнать, не столько исследовать, как патолог, его болезни, сколько клеймить его уродства и ставить вопрос о будущем, которое не будет знать торжества буржуазии.

Важно отметить в этой связи, что до конца 60-х годов, т. е. до кануна смерти Герцена, тема русской пореформенной буржуазии, вообще, не встает в русской художественной литературе, а зачинателем ее является Щедрин в произведениях самого конца 60-х годов, особенно же в «Дневнике провинциала» (1872).

Тургенев и Гончаров совсем не знают этой темы (Адуев и Штольц — дельцы дореформенной складки), и ближе всего к ней подходит лишь Чернышевский в «Прологе», рисуя Рязанцева, правда, дворянского либерала, но несомненного предшественника тех «пенкоснимателей», о которых Даниэльсон писал в январе 1873 г. Марксу, посылая «Дневник провинциала»: «вы найдете здесь характеристику типа, который вы уже знаете, но который у нас появляется лишь сейчас, — типа умеренного либерала пенкоснимателя».

Буржуазный порядок был для Герцена и Гейне несомненным фактом, но их интересовала не столько его история и закономерности его развития, сколько переломные, кризисные моменты его существования, новая переходная эпоха, которая должна закончиться, по мнению Герцена, или гибелью буржуазного порядка или всеобщим мертвым застоем. «Мы в междуцарствии»[372], — писал Герцен, и это ощущение кризисного характера переживаемой эпохи насыщает все его творчество.

Гейне же в своей прозе стремился дать «верное изображение таинственного перехода кризиса»[373].

На Герцена и Гейне идеи утопического социализма оказали несравненно более сильное влияние, чем на Бальзака. Для Герцена и Гейне Франция была сначала страной надежд, овеянных традициями Великой французской революции, мечтами сен-симонистов. Потом в конце 40-х годов они именно во Франции увидели кровавое торжество контрреволюционной буржуазии. Но чем дальше, тем больше (эта эволюция особенно отчетливо и более резко отграниченными этапами протекала у Герцена, пережившего Гейне на 15 лет) Гейне и Герцен, несмотря на сомнения и колебания, стали приближаться к пониманию исторической, революционной роли пролетариата. В этом смысле Гейне и Герцен уже выходят за пределы той эпохи, которую изображал и величайшим писателем которой был Бальзак. Бальзак, с одной стороны, Гейне и Герцен, с другой, видели, изучали и изображали одно и то же буржуазное общество. Но Бальзак берет наиболее типические процессы развития этого общества в их наиболее объективном выражении. А Герцен и Гейне не стремились к позиции, занятой Бальзаком: «историком было французское общество, мне оставалось лишь быть секретарем»[374]. И Герцена и Гейне больше всего интересовало столкновение этого быта и «факта современного мира» с «мыслью... теоретической... которая точно так же разви-

лась и сложилась исторически, но сознательно»[375], с «идеалом общественности» и «началами революционными»[376]. Воспитание на идеях просветителей, утопических социалистов и гегелевской философии истории, Гейне и Герцен плохо понимали и мало интересовались экономической жизнью с ее внутренними закономерностями и противоречиями, которую с такой силой воплотили в своих художественных образах создатели старика Грандэ и мистера Домби, исходившие при этом не из тех или иных теорий, а из гениального ощущения социальной практики. Для Гейне и Герцена первостепенными были не образы и темы экономики, повседневного быта и типической буржуазной политики, а образы и темы культуры и идейных, политических исканий передовых людей.

Гейне говорил о том, что писатели молодой Германии «не хотят различать жизнь от писательства и... одновременно являются художниками, трибунами и апостолами»[377]. Так «исповедь» передового человека стала основным жанром художественного творчества Герцена и Гейне, а духовная драма этого человека, отражающего своими переживаниями и мыслями противоречия исторического развития и мучительно ищущего в самой действительности залога лучшего будущего, — содержанием и движущей силой этого литературного жанра.

Если представить себе, что Бальзак написал бы произведение, по характеру и жанру напоминающее «Былое и думы», то в центре его должны были бы стоять не поступки и страсти Вотрена, Нюнсинжена, кузины Бетты, Люсьена Рюбампрэ, Кревеля и т. п., а идейные искания и переживания Даниель д'Артеза и Мишеля Кретьена.

Жанр, созданный Бальзаком, был наиболее адэкватной и целесообразной литературной формой для того, чтобы на языке художественных образов выразить вывод, который в уже вышецитированных словах Маркса сформулирован так: «человек попадает в рабство к другому человеку или становится рабом своей собственной подлости... человеческая жизнь отупляется до степени материальной силы». С этим выводом, характеризующим европейскую жизнь середины XIX в., были полностью согласны Герцен и Гейне, но они не остановились на нем. Их творчество на языке художественных образов подчеркивает другую мысль: необходимость поисков новой силы, которая сумеет изменить существующие порядки. Правда, Герцен и Гейне сомневались и колебались в этих своих выводах, они никогда не смогли их выразить с такой ясностью, как это сделал Маркс: «Мы знаем, что для того, чтобы направить новые силы общества, необходимо, чтобы ими овладели новые люди, — и люди эти — рабочие»[378]. Но поиски их шли в этом же направлении. Именно поэтому Герцен и Гейне сумели сказать свое новое слово в мировой художественной литературе, даже по сравнению с таким их современником, как Бальзак, они сумели отразить такие стороны и явления европейской жизни, которые мало затронуты у автора «Человеческой комедии». Герцен и Гейне неслучайно сумели создать гораздо более конкретный, хотя и лирический образ передового человека, чем Бальзак.

И Герцен пытался в «С того берега» отойти в сторону от жизни, подобно тому, как это сделал д'Артез, и Герцен, в порыве отчаяния, думал о том «выходе», который Бальзак нашел для Мишеля Кретьен: «Зачем не взял я ружья у работника и не остался за баррикадой? Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собою в могилу еще два-три верования?»[379].

Но Герцен и Гейне в упорных идейных исканиях нашли новый

путь, и хотя они по нему шли колеблясь и оступаясь, они именно на этой основе сумели создать реалистический, исторически обоснованный рассказ о передовом, глубоко и ярко мыслящем и чувствующем человеке переходной эпохи, идущем к научному социализму.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель, живущий в великую сталинскую эпоху, с особым чувством вдумывается в образы Герцена-художника. Ведь именно те вопросы, которые больше всего мучили Герцена, которые ему даже порой теоретически представлялись неразрешимыми — разрешены в наше время в СССР на практике.

Герцен болезненно остро ощущал «разрыв» между «высшей мыслью своего времени» и «мыслью всех», он писал: «Якобинцы и, вообще, революционеры принадлежали к меньшинству, отделившемуся от народной жизни развитием»[380]. В наше же время, в СССР «сблизились и соединились в одно целое две великие силы: народ и коммунизм» (В. М. Молотов)[381].

Герцен воспринимал «преемственный быт» и «начала революционные»[382] как силы, находящиеся в состоянии резкого конфликта. А «у нас социализм не просто строится, а уже вошел в быт, в повседневный быт народа» (И. Сталин)[383].

Герцен ненавидел буржуазное общество, но до последних лет жизни не был вполне уверен в том, что этому обществу придет конец. Герцен всю свою жизнь боролся с самодержавием и помещиками, но дожил только до эпохи нового подъема реакции в России. А на наших глазах на территории бывшей царской империи построено социалистическое государство, в котором уничтожена эксплоатация человека человеком, строится и растет социалистическая культура. Герцен приветствовал революцию народных масс, возглавленных пролетариатом, но опасался порой, не принесет ли эта революция разрушение культурных ценностей прошлого, не заключит ли она человеческую личность в серое и бедное однообразие. Однако, Герцен сам опроверг эти свои опасения. В «Письмах к старому товарищу» мы читаем: «Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании и только в пропитании». Герцен тут же прибавлял: «Но этого и не будет»[384].

На мучительные опасения и еще не лишенный сомнений оптимизм Герцена ответила социалистическая действительность. «Правда» в передовой от 20 сентября 1937 г. говорит: «Массовое изменение людей происходит в активном процессе социалистического строительства. Переделывая одну шестую часть мира, рабочие — ведущий класс нашей страны — переделывают не только самих себя, но и крестьянство, интеллигенцию, воспитывают в трудящихся новые, социалистические качества, новое отношение к труду, к государству, коллективу, обществу... Коммунизм несет с собой не аскетизм, а жизнерадостность, бодрость, разносторонность духовных интересов, расцвет свободной личности».

Творчество же Герцена в образах, полнокровных, живых и сейчас, расказывает нам о важном историческом этапе идейной борьбы за это радостное настоящее.

Именно в наше время популярность Герцена-художника и роль его творений в культурной жизни необычайно возросли и должны вырасти еще в гораздо большей степени, так же как и влияние автора «Былого и дум» на развитие советской художественной литературы.

Чернышевский и Добролюбов прекрасно понимали силу Герцена-мыслителя и философа и глубоко чувствовали очарование созданных им художественных образов. Но Чернышевский и Добролюбов должны были, как мы указывали выше, делать упор на критике предшествовавшего им дворянского поколения передовой интеллигенции, в том числе и Герцена. Народники же пошли назад от того уровня развития философской мысли, который был достигнут в произведениях Герцена и Чернышевского. В Герцене им оказывалась близка лишь одна из



Н. А. ГЕРЦЕН С СЫНОМ АЛЕКСАНДРОМ

Акварель К. Горбунова, 1841 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

наиболее слабых сторон его мировоззрения — его народническое учение, в котором, по словам В. И. Ленина, «нет ни грана социализма»[385].

Впервые историческое место Герцена — «писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции»[386] — было определено Лениным. Впервые после Великой Октябрьской социалистической революции произведения Герцена, ранее запрещенные или изуродованные царской цензурой, стали доступны народным массам.

Судьба Герцена и его творчества в наши дни во многом напоминает судьбу пушкинского наследия. Аналогия эта, конечно, не может быть полной. Герцен-художник сосредоточивается на отражении интеллектуальной жизни передового человека. Но так же, как и творчество Пушкина, так и наследие Герцена по-новому особенно полнокровно воспринимается теперь. Советский читатель ясно видит «предел», поставленный мировоззрению и художественному творчеству Герцена: некоторую обособленность человека сильной мысли, образ которого

встает в творчестве Герцена, от жизни и исторического опыта народных масс и связанные с этим индивидуалистические мотивы; попытки создать положительный образ отвлеченным, теоретическим путем; — сомнения и в творческих силах народа, и в исторической эффективности работы передовой мысли... Но также очевидна и историческая обусловленность этих черт и глубочайшее, органическое стремление Герцена эти черты преодолеть. Жизнь передового ума в его творческой борьбе и упорном труде Герцен передает с такой глубиной, с таким истинным и сдержанным пафосом, с такой лирической силой, с таким напряженным и неустанным стремлением к тому будущему, в котором передовая мысль найдет пути практического осуществления своих идеалов, победит свои колебания и сомнения и соединится с народом, что это содержание герценовского творчества с предельной ясностью и полнотой и с недоступным ранее чувством интеллектуального и эстетического наслаждения и удовлетворения раскрывается именно в наше время. Только в советском обществе, в котором происходит массовая социалистическая переделка людей, живая непреходящая прелесть и красота герценовской мысли встает озаренная лучами той победы, в подготовке которой участвовал и Герцен.

Герцен многому учит советских писателей: глубокому и блестящему художественному изображению идейной жизни прошедших эпох и современности; созданию прозы, которую «осердеченный ум» превращает в лирику интеллекта; мастерству литературного портрета, сочетающего тонко и остроумно подмеченные детали и шутливо рассказанные анекдоты с широким и глубоким обобщением; органическому интернационализму тем, сопоставлений и сравнений; умению мыслить и чувствовать масштабами всемирно-исторических эпох; удивительно гибкому, всегда находящему для данной мысли и чувства нужный оттенок, смелому и энергичному, то шутливому, то страстному герценовскому языку.

Герцен писал в «Былом и думах»: «Поэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера...» [387].

Эти слова в полной мере могут быть отнесены к самому Герцену. Клеветнически характеризовал автора «Былого и дум» Достоевский, когда писал о нем, как о «русском бариче», как о человеке, который воплощает собой лишь «разрыв с народом» и стал социалистом «от сердечной пустоты на родине» [388].

На самом же деле этот действительно существовавший «разрыв» был вынужденным историческими условиями; вспомним слова В. И. Ленина: «Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах» [389]. Герцен звал народ к революции, а не к рабьей покорности, подобно Достоевскому, для которого «единение» с народом и означало проповедь этой покорности.

А. М. Горький писал о Герцене: «Для нас он интересен как некая правдивая мысль, коя на протяжении почти сорока лет отмечала и оценивала все разнообразие явлений рус[ской] жизни».

Герцен стремился писать так, чтобы «провести черту по сердцу читающих» (письмо к М. К. Рейхель от 23 декабря 1857 г.). Это удалось ему. Тургенев говорил, что IV часть «Былого и дум» написана «слезами, кровью: — это горит и жжет», и указывал на «мужественную и безыскусственную правду всего этого произведения».

Герцен народен, ибо он оставил за собой глубочайший след в раз-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РОМАНА ГЕРЦЕНА «КТО ВИНОВАТ?»

КТО ВИНОВАТЪ?

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ

ИСКАНДЕРА.

«А случай сей за неоткрытіемъ виновныхъ предать волѣ божіей, дѣло же, почисливъ рѣшеннымъ, сдать въ архивъ.»

Протоколъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА.

1847.

витии русской передовой культуры и литературы. Как сказал Горький, Герцен «представляет собою целую область, страну, изумительно богатую мыслями».

Герцен народен, ибо все его художественное творчество — великий, исторический памятник передовой мысли русского народа в эпоху 30—60-х годов XIX в., произведения Герцена отражают эту мысль со всей ее глубиной, красотой, пытливостью, неустрашимостью и преданностью революции, со всеми перенесенными ею муками и страданиями и неустанным стремлением к победе.

«Чествуя Герцена, — говорит В. И. Ленин, — пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории; — учится понимать, что беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы...» [390].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 464 и 468.

[2] Герцен, т. XVII, стр. 97.

[3] Герцен, т. II, стр. 391.

[4] Герцен, т. V, стр. 356.

[5] Цитируем здесь и в дальнейшем «О развитии революционных идей в России» по изданию: А. И. Герцен, Избранные сочинения, ГИХЛ, 1937 г., стр. 393, так как тут дан исправленный перевод гл. IV—VI этого произведения.

[6] Там же, стр. 389.

[7] Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, ГИХЛ, т. I, 1934 г. стр. 115.

[8] Герцен, т. II, стр. 380.

[9] Герцен, т. XII, стр. 6.

10 Там же, стр. 18.
11 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 464.
12 Герцен, т. XV, стр. 280.
13 Цитируется по изданию: «Пушкин о литературе», Academia, 1934 г., стр. 23.
14 Герцен, т. II, стр. 399.
15 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 464.
16 Герцен, т. XIII, стр. 30.
17 Герцен, т. XII, стр. 305, 424; т. XIII, стр. 85, 91, 99, 101.
18 Герцен, т. XII, стр. 294 и 304.
19 Пушкин, Полное собрание сочинений в 9 томах, Academia, т. II, стр. 23. Далее цитируется по этому изданию.
20 Герцен, т. XII, стр. 253.
21 Там же, стр. 271.
22 Герцен, т. XIII, стр. 75.
23 Герцен, т. IX, стр. 53.
24 Герцен, т. I, стр. 302—303.
25 Герцен, т. XII, стр. 75.
26 Там же, стр. 73—74.
27 Н. Г. Чернышевский, Сочинения, т. II, Литиздат НКП, стр. 534.
28 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. И. Д. Сытина, т. I, стр. 52.
29 Герцен, т. XII, стр. 79.
30 Пушкин, т. I, стр. 247.
31 Герцен, т. XII, стр. 73.
32 Пушкин, т. II, стр. 23.
33 Н. Г. Чернышевский, Сочинения, т. I, стр. 257.
34 Герцен, т. XII, стр. 141.
35 Там же, стр. 143 и 149.
36 Пушкин, т. I, стр. 221.
37 Там же, стр. 281.
38 Герцен, т. XIII, стр. 5.
39 Герцен, т. II, стр. 479.
40 Герцен, т. V, стр. 356.
41 Пушкин, т. IX, стр. 150.
42 Герцен, т. V, стр. 190.
43 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 468.
44 Пушкин, т. VII, стр. 548.
45 Герцен, т. VI, стр. 461.
46 Пушкин, т. VII, стр. 510.
47 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, Госиздат, М.—Л., 1930 г., стр. 345—346.
48 Н. Г. Чернышевский, Сочинения, т. IX, 1-я нум. стр. 172.
49 Цитируется по комментарию М. К. Лемке к т. XIX сочинений Герцена, стр. 295.
50 «Литературное Наследство», № 25—26, стр. 404.
51 Герцен, т. I, стр. 338.
52 Цитируется по изданию «Пушкин о литературе», стр. 16—17.
53 Там же, стр. 60.
54 Пушкин, Письма, т. I, Госиздат, 1926 г., стр. 35.
55 П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, СПб., 1879 г., т. II, стр. 72.
56 В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. IX, стр. 21.
57 В. Г. Белинский, Сочинения, т. V, стр. 152.
58 В. Г. Белинский, Сочинения, т. X, стр. 112.
59 Герцен, Избранные сочинения, Гослитиздат, 1937 г., стр. 402.
60 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, стр. 227.
61 Там же, стр. 57.
62 В. Г. Белинский, Письма, т. III, стр. 108.
63 В. Г. Белинский, Сочинения, т. XI, стр. 135.
64 П. А. Вяземский, Сочинения, т. II, стр. 375.
65 Герцен, т. VII, стр. 469.
66 Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, ГИЗ, 1930 г., стр. 259.
67 Герцен, т. XIII, стр. 13.
68 А. М. Горький, Неопубликованная работа об А. И. Герцене. «Известия ЦИК и ВЦИК», 28 марта 1937 г., стр. 3.
69 Н. Н. Гусев. Толстой и Пушкин. «Октябрь» № 1, 1937 г., стр. 242 и 248.
70 Пушкин, т. II, стр. 135.
71 Герцен, т. XII, стр. 54.
72 Пушкин, т. II, стр. 358.
73 Герцен, т. VI, стр. 36.

74 Герцен, т. XII, стр. 73.
75 Пушкин, т. IV, стр. 124.
76 Пушкин, т. V, стр. 55.
77 Герцен, т. XII, стр. 430.
78 Пушкин, т. V, стр. 48.
79 Герцен, т. XIV, стр. 546.
80 Пушкин, т. V, стр. 214.
81 Герцен, т. XII, стр. 80.
82 Пушкин, т. I, стр. 200.
83 Герцен, т. XIII, стр. 59.
84 Пушкин, т. IV, стр. 142.
85 Герцен, т. XIV, стр. 455.
86 Там же, стр. 467.
87 Герцен, т. XIII, стр. 86.
88 Герцен, т. XVII, стр. 97.
89 Герцен, т. XII, стр. 479.
90 Герцен, т. XIV, стр. 473.
91 Герцен, т. XII, стр. 75.
92 Пушкин, т. XI, стр. 302.
93 Герцен, т. XXI, стр. 277.
94 Герцен, т. VI, стр. 20.
95 Герцен, т. XII, стр. 60.
96 Пушкин, т. V, стр. 82.
97 Пушкин, т. I, стр. 278.
93 Герцен, т. XIII, стр. 75.
99 Пушкин, т. II, стр. 161.
100 Герцен, т. XVIII, стр. 199.
101 Там же, стр. 201.
102 Пушкин, т. V, стр. 149.
103 Герцен, т. XIII, стр. 317.
104 Герцен, т. XIV, стр. 232.
105 Герцен, т. XII, стр. 49.
106 Там же, стр. 98—99.
107 Там же, стр. 99.
108 Там же, стр. 303.
109 Пушкин, Письма, т. I, стр. 129.
110 Герцен, т. VI, стр. 419.
111 Пушкин, Письма, т. III, стр. 27.
112 Герцен, т. XII, стр. 36.
113 Пушкин, Письма, т. I, стр. 66.
114 Герцен, т. XIII, стр. 497.
115 Пушкин, Письма, т. II, стр. 78.
116 Герцен, т. X, стр. 237, т. XV, стр. 30.
117 Герцен, т. XIII, стр. 23.
118 Пушкин, т. II, стр. 112.
119 Герцен, т. XII, стр. 277.
120 Пушкин, Письма, т. II, стр. 121.
121 Герцен, т. XVII, стр. 264.
122 Герцен, т. XXI, стр. 111.
123 Пушкин, Письма, т. I, стр. 141.
124 Цитируется по изданию «Пушкин о литературе», стр. 217 и 239.
125 Герцен, т. XIV, стр. 473.
126 Герцен, т. XIII, стр. 150.
127 Герцен, т. XIV, стр. 394.
128 Там же, стр. 389.
129 Герцен, т. XVIII, стр. 202.
130 Герцен, т. VIII, стр. 10.
131 М. Горький, О Пушкине, под ред. С. Д. Балухатого, изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1937, стр. 94.
132 А. А. Марлинский, Собрание сочинений, 1914 г., стр. 347.
133 Пушкин, т. VI, стр. 270.
134 Там же, стр. 274, 301.
135 Пушкин, т. III, стр. 124.
136 Пушкин, т. VIII, стр. 234, 235.
137 Герцен, т. V, стр. 401.
138 Герцен, т. XIII, стр. 36—37.
139 Там же, стр. 101, 297, 298, 300.
140 Герцен, Избранные сочинения, 1937 г., стр. 394.
141 Пушкин, т. II, стр. 173, 193; т. III, стр. 118.
142 Пушкин, т. IX, стр. 147.

143 Там же, стр. 278.
144 Там же, стр. 190.
145 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 669.
146 Герцен, т. I, стр. 143—144.
147 Герцен, Избранные сочинения, стр. 393.
148 А. В. Луначарский, Классики русской литературы, ГИХЛ, 1939, стр. 119.
149 В. Г. Белинский, Сочинения, т. XI, стр. 113.
150 Герцен, т. IV, стр. 284.
151 В. Г. Белинский, Сочинения, т. XI, стр. 115.
152 Герцен, т. XVII, стр. 97.
153 Герцен, т. XXI, стр. 230.
154 Пушкин, т. V, стр. 40.
155 Герцен, т. XV, стр. 242, 243, 300, 302.
156 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, стр. 255.
157 Там же, стр. 245—255.
158 Там же, стр. 249.
159 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 468.
160 Там же, стр. 467.
161 Н. Г. Чернышевский, Сочинения, т. II, стр. 538.
162 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. V, стр. 159.
163 А. Серно-Соловьевич, Наши домашние дела, Vevey, 1867 г., стр. 17. Частью цитируются по комментарию М. К. Лемке к т. XIX сочинений Герцена, стр. 295, 297.
164 Цитируется по комментарию М. К. Лемке к т. XIX сочинений Герцена, стр. 296.
165 Герцен, т. XVII, стр. 99.
166 Ленин, Сочинения, т. XVIII, стр. 81.
167 Герцен, т. VIII, стр. 517.
168 Н. А. Некрасов, Полное собрание стихотворений, изд. 7-е, ГИХЛ, 1934 г., стр. 52.
169 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. V, стр. 229.
170 Герцен, т. XXI, стр. 187.
171 Герцен, т. XIV, стр. 411.
172 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 468.
173 В. Г. Белинский, Сочинения, т. II, стр. 217, 218.
174 Гоголь, Собрание сочинений в одном томе, ГИХЛ, 1937 г., стр. 513.
175 Н. А. Добролюбов, Сочинения, т. I, стр. 115.
176 Гоголь, Собрание сочинений в одном томе, стр. 572.
177 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, стр. 11.
178 В. Г. Белинский, Сочинения, т. XI, стр. 112, 135.
179 Бальзак, Анри Бейль, — «Литературный критик», № 1, 1936 г., стр. 49.
180 В. Г. Белинский, Письма, т. III, стр. 108.
181 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, стр. 9 и 12.
182 В. Г. Белинский, Сочинения, т. XII, стр. 84.
183 Герцен, т. I, стр. 169.
184 Герцен, т. III, стр. 29.
185 Герцен, т. XVII, стр. 96.
186 Герцен, т. VIII, стр. 292.
187 Герцен, т. VII, стр. 323.
188 В. Г. Белинский, Сочинения, т. II, стр. 226, 227.
189 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, стр. 4, 8, 9.
190 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, ГИХЛ, т. X, стр. 530 и 532.
191 Герцен, т. V, стр. 93, 94 и 104.
192 Щедрин, Сочинения, т. X, стр. 589 и 600.
193 Герцен, т. V, стр. 23.
194 Там же, стр. 21, 22, 23.
195 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. V, стр. 90, 95, 115.
196 Герцен, т. XIII, стр. 498.
197 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. V, стр. 229.
198 Там же, стр. 215.
199 Герцен, т. XIII, стр. 575.
200 Герцен, т. XII, стр. 151.
201 Герцен, Избранные сочинения, стр. 405.
202 Там же, стр. 404, 405.
203 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 260.
204 Герцен, т. XII, стр. 151.
205 «Изложение учения Сен-Симона», ГИЗ, 1923 г., стр. 256.
206 Герцен, т. I, стр. 117.
207 Герцен, т. III, стр. 319.

208 Там же, стр. 318.
209 Там же, стр. 342.
210 Анри де Сен-Симон, Собрание сочинений, ГИЗ, 1923 г., стр. 133—134.
211 Герцен, т. XII, стр. 152.
212 «Изложение учения Сен-Симона», стр. 13 и 274.
213 Герцен, т. I, стр. 82.
214 Герцен, т. II, стр. 223.
215 Там же, стр. 206
216 Там же, стр. 205.
217 Там же, стр. 212—214.
218 Герцен, т. II, стр. 172, 173.
219 См., например, Герцен, т. IV, стр. 162 и след.
220 Герцен, т. III, стр. 26.
221 Там же, стр. 182, 183, 186.
222 Герцен, т. IV, стр. 405—406.
223 Там же, стр. 406.
224 «Изложение учения Сен-Симона», стр. 169.
225 Герцен, т. IV, стр. 178.
226 Герцен, т. III, стр. 233.
227 Д. Чесноков, Герцен и его «Письма об изучении природы», «Под знаменем марксизма», № 2, 1938 г., стр. 56—57.
228 Герцен, т. IV, стр. 405.
229 Герцен, т. III, стр. 257—258.
230 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 667.
231 Герцен, т. V, стр. 401.
232 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
233 Герцен, т. VI, стр. 9.
234 Там же, стр. 10.
235 Герцен, т. V, стр. 459.
236 Там же, стр. 468.
237 Там же, стр. 467.
238 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 23.
239 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
240 Герцен, т. V, стр. 105, 106, 107.
241 Там же, стр. 398, 400, 431, 433, 435, 442.
242 Герцен, т. VII, стр. 476, 480.
243 Герцен, т. XV, стр. 297.
244 Там же, стр. 299.
245 Герцен, т. XXI, стр. 485.
246 Там же, стр. 223.
247 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
248 Герцен, т. XIII, стр. 388.
249 Байрон, Избранные произведения в одном томе, Гослитиздат, М., 1935 г., стр. 155.
250 Герцен, т. XIII, стр. 492.
251 «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева, 1896 г., стр. 325.
252 Герцен, т. XIV, стр. 201, 204, 205.
253 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
254 Генрих Гейне, Полное собрание сочинений, Academia, т. IX, стр. 19.
255 Герцен, т. XII, стр. 125.
256 Генрих Гейне, Сочинения, т. VII, стр. 373 и 374.
257 Генрих Гейне, Сочинения, т. IV, стр. 608.
258 Генрих Гейне, Сочинения, т. VI, стр. 369.
259 Генрих Гейне, Сочинения, т. VII, стр. 74, 77.
260 Там же, стр. 65, 75.
261 Цитируется в переводе по Heinrich Heines sämtliche Werke, herausg. v. Ernst Elster, т. VII, стр. 53.
262 Герцен, т. V, стр. 426.
263 Герцен, т. VI, стр. 117.
264 Герцен, т. V, стр. 417—418.
265 Генрих Гейне, Сочинения, т. IX, стр. 8—10.
266 Герцен, т. XV, стр. 258—259.
267 Генрих Гейне, Сочинения, т. IV, стр. 233.
268 Там же, стр. 334.
269 Генрих Гейне, Сочинения, т. VI, стр. 323, 151.
270 Герцен, т. XIII, стр. 398.
271 Генрих Гейне, Сочинения, т. IX, стр. 147.
272 Герцен, т. XIII, стр. 405.
273 Генрих Гейне, Сочинения, т. IX, стр. 148.

[274] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XI, ч. I, стр. 5—6.
[275] Герцен, т. VI, стр. 125.
[276] Герцен, т. XIII, стр. 493—494.
[277] Герцен, т. V, стр. 475.
[278] Герцен, т. VI, стр. 125.
[279] Герцен, т. XIII, стр. 498—499, 529.
[280] Там же, стр. 521, 571.
[281] Там же, стр. 499.
[282] Там же, стр. 496.
[283] Герцен, т. XIV, стр. 166.
[284] Там же, стр. 227.
[285] Герцен, т. XVI, стр. 44.
[286] Там же, стр. 463.
[287] Герцен, т. XIX, стр. 141—142.
[288] Герцен, т. XVII, стр. 299.
[289] Герцен, т. XIV, стр. 691.
[290] Герцен, т. XXI, стр. 188.
[291] Герцен, т. XIV, стр. 701.
[292] Там же, стр. 731.
[293] Там же, стр. 700.
[294] Там же, стр. 749.
[295] Там же, стр. 779.
[296] Там же, стр. 759, 761.
[297] Там же, стр. 756.
[298] Герцен, т. XXI, стр. 438, 439, 445.
[299] Там же, стр. 438.
[300] Герцен, т. IX, стр. 65—66.
[301] Герцен, т. XII, стр. 5; т. XIII, стр. 283.
[302] Герцен, т. II, стр. 381.
[303] В. Г. Белинский, Письма, т. III, стр. 109.
[304] Герцен, т. X, стр. 32.
[305] Герцен, т. III, стр. 317.
[306] «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», Женева 1892 г., стр. 94.
[307] Герцен, т. VIII, стр. 379.
[308] Герцен, т. XIII, стр. 388.
[309] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
[310] Дени Дидро, Собрание сочинений, т. VIII, Academia, 1937 г., стр. 87.
[311] Жан-Жак Руссо, Исповедь, т. I, Academia, 1935 г., стр. 62, 120.
[312] Дени Дидро, Сочинения, т. VIII, стр. 158.
[313] Жан-Жак Руссо, Исповедь, т. I, стр. 3.
[314] Цитируется в переводе по Goethes Werke. Verlagshaus Bong. 19 Teil, S. 150.
[315] Герцен, т. XVII, стр. 96.
[316] Герцен, т. XXI, стр. 229—230.
[317] Герцен, т. VIII, стр. 345.
[318] Герцен, т. XIV, стр. 212.
[319] Герцен, т. XXI, стр. 229.
[320] Герцен, т. XIV, стр. 423, 429.
[321] Там же, стр. 177.
[322] В. Г. Белинский, Сочинения, т. X, стр. 113.
[323] Гегель, Сочинения, т. XII, стр. 289—290.
[324] Герцен, т. XIII, стр. 24.
[325] И. С. Тургенев, Сочинения, т. XI, ГИХЛ, 1934 г., стр. 407.
[326] Герцен, т. XIII, стр. 125—128.
[327] Герцен, т. V, стр. 414—415.
[328] Генрих Гейне, Сочинения, т. IV, стр. 368.
[329] Там же, стр. 186.
[330] Цитируется по комментарию к т. VII сочинений Г. Гейне, ред. Е. Elster, стр. 454.
[331] Герцен, т. XII, стр. 7.
[332] Герцен, т. V, стр. 178.
[333] Цитируется по комментарию М. К. Лемке, к т. V сочинений Герцена, стр. 543.
[334] Цитируются по комментарию М. К. Лемке, к т. XXII сочинений Герцена, стр. 185.
[335] Герцен, т. IV, стр. 203.
[336] Цитируется в переводе по Heines Briefe, herausg. v. H. Daffis, Berlin, 1906 г., стр. 203.
[337] Герцен, т. XVII, стр. 75.
[338] Цитируется в переводе по Heines Briefe, herausg. v. H. Daffis, стр. 293.

339 Герцен, т. XIII, стр. 283.
340 Генрих Гейне, Сочинения, т. IV, стр. 150.
341 Там же, стр. 96.
342 Генрих Гейне, Сочинения, т. IX, стр. 227.
343 Генрих Гейне, Сочинения, т. IV, стр. 107—108.
344 Там же, стр. 110.
345 Там же, стр. 127.
346 Герцен, т. XIII, стр. 166.
347 Герцен, т. XII, стр. 124.
348 Герцен, т. XIII, стр. 16.
349 Там же, стр. 21.
350 Там же, стр. 458.
351 Герцен, т. XII, стр. 73.
352 Герцен, т. XIV, стр. 211.
353 Генрих Гейне, Сочинения, т. IX, стр. 118.
354 Там же, стр. 113.
355 Генрих Гейне, Сочинения, т. IV, стр. 112.
356 Герцен, т. XIV, стр. 170.
357 Там же, стр. 185.
358 Герцен, т. XIII, стр. 42.
359 Генрих Гейне, Сочинения, т. XII, стр. 82—83.
360 Герцен, т. XII, стр. 443.
361 Бальзак, Шагреневая кожа, Собрание сочинений, т. XV, ГИХЛ, стр. 36.
362 Там же, стр. 40.
363 Бальзак, Тайна княгини Кадиньян, Собрание сочинений, т. IX, стр. 70.
364 Там же, стр. 63, 73.
365 Герцен, т. I, стр. 145.
366 Генрих Гейне, Сочинения, т. IX, стр. 43.
367 Герцен, т. IX, стр. 68, т. XIV, стр. 211.
368 Герцен, т. XIII, стр. 392.
369 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. I, стр. 189.
370 Ленин, Сочинения, т. XXV, стр. 175.
371 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 466.
372 Герцен, т. XIV, стр. 205.
373 Генрих Гейне, Сочинения, т. XI, стр. 420.
374 Цитируется по «Литературным манифестам французских реалистов». Изд-во писателей в Ленинграде, стр. 53.
375 Герцен, т. V, стр. 401.
376 Герцен, т. IX, стр. 66.
377 Генрих Гейне, Сочинения, т. VII, стр. 271.
378 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XI, ч. I, стр. 5, 6.
379 Герцен, т. XIII, стр. 492.
380 Там же, стр. 384, 385.
381 В. М. Молотов, Речь об образовании правительства СССР. — «Известия», 20 января 1938 г.
382 Герцен, т. IX, стр. 66.
383 И. В. Сталин, Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа гор. Москвы, Госполитиздат, 1937, стр. 8.
384 Герцен, т. XXI, стр. 438.
385 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 466.
386 Там же, стр. 464.
387 Герцен, т. XIII, стр. 29.
388 Ф. М. Достоевский, Дневник писателя за 1873 и 1876 годы, Госиздат, М.—Л., 1929 г., стр. 7.
389 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 468.
390 Там же, стр. 469.

ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ГЕРЦЕНА

Статья А. Лаврецкого

Формирование литературных симпатий и вкусов Герцена, его взглядов на роль литературы в общественной жизни, как и всего мировоззрения этого «дворянского революционера» вообще, тесно связано с 14-м декабря. «Декабристы разбудили Герцена». Эти слова Ленина [1] применимы к Герцену в самом конкретном их смысле. И первые литературные впечатления Герцена не отделимы от впечатлений политических.

Литературное движение вначале слилось для него с декабристским и в дальнейшем продолжало сливаться с другими общественными движениями. Развитие литературы совпадало с эволюцией революционных идей. Но это не значит, что для Герцена не существовало специфики искусства. Это значит только, что эту специфику он воспринимал не как эстет, отрешенный или пытающийся отрешиться от жизни, а как человек, бурно реагирующий на все впечатления бытия, жадный к этим впечатлениям, воспринимающий жизнь с редкой полнотой, стремящийся проникнуть в нее как можно глубже, охватить ее во всей широте. Эстетика Герцена — эстетика жизни, действительности, и это чрезвычайно сближает его с эстетикой разночинцев. Не лишен значения и тот факт биографии Герцена, что в развитии его литературных вкусов и симпатий сыграл, несомненно, значительную роль учитель-разночинец, увлеченный идеями «дворянских революционеров».

Иван Евдокимович Протопопов «стал носить мне,—пишет Герцен,— мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина: «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева...» [2].

«Отрицательное преподавание» Ивана Евдокимовича пришлось по душе юноше-ученику — «отрицательное» в том смысле, что учитель привил мальчику дух критики и презрения к старым авторитетам, к «официальной» литературе и науке и увлек его всем новым, революционным и в жизни и в литературе. Отроческие годы развитого не по летам мальчика прошли под знаком той литературной революции, которая связана с декабристским движением.

В «Записках одного молодого человека» Герцен сам рассказал об этом: «... поклонение юной литературе сделалось безусловно, — да она и могла увлечь именно в ту эпоху, о которой идет речь. Великий Пушкин явился царем-властителем литературного движения, каждая страница его летала из рук в руки; печатные экземпляры «не удовлетворяли», списки ходили по рукам. «Горе от ума» наделало более шуму в Москве, нежели все книги, писанные по-русски, от «Путешествия Коробейникова по святым местам» до «Плодов чувствований» князя Шаликова. «Телеграф» начал энергически свое поприще и неполными угловатыми знаками своими быстро передавал европеизм; альманахи с прекрасными стихами, поэмы сыпались со всех сторон... во всем, у всех

была бездна надежд, упований, верований горячих и сердечных. Что за восторг, что за восхищение, когда я стал читать только что вышедшую первую главу «Онегина»! Я ее месяца два носил в кармане, вытвердил на память. Потом, года через полтора, я услышал, что Пушкин в Москве. О, боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я выросту, поумнею, поглядевши на него. И я увидел, наконец, и все показывали с восхищением, говоря: «вот он, вот он»...[3].

Пробуждение сознания Герцена совпало с началом новой русской литературы. Он был свидетелем ее первых успехов, он принадлежал к первым восторженным читателям ее великих произведений. Поэзия пушкинской эпохи была основным фактором в истории литературного развития Герцена.

1

Как и все сторонники нового литературного движения, пробужденного декабризмом, Герцен называл себя романтиком. Однако если это был романтизм, то романтизм революционный. Ничего общего не было у него с теми упадочническими настроениями ухода от жизни, которые обычно обобщают под именем романтизма. В романтизме юного Герцена сочетаются мотивы немецкого Sturm und Drang'а с могучим революционным протестом Байрона, со страстным вольнолюбием Пушкина и поэтов-декабристов. Искусство ощущается подобными романтиками как протест, как освобождающая сила и признается «романтическим», т. е. подлинным искусством лишь постольку, поскольку является ею.

Одним из величайших представителей этого «романтизма» был для Герцена Шиллер. В его поэзии видел Герцен выражение революционных идей предыдущего века. Имя Шиллера сплелось для него неразрывно с дорогим ему именем Рылеева.

Рассказывая об одной торжественной минуте своей жизни, Герцен вспоминает:

«Я вынул Шиллера и Рылеева. Как ясны и светлы в эти минуты казались нам эти великие поэты! Мы читали одного и понимали глубокую, мечтательную поэзию его; читали другого и понимали его самоотверженную, страдальческую душу. Звучный, сильный язык Шиллера подавлял нас. «Как ярящийся поток из расщелин скал, льющийся с грохотом грома, подмывая горы и унося дубы», певец Войнаровского смотрел на меня и мне говорил:

Ты все поймешь, ты все оценишь[4]».

Отрывок, из которого заимствована эта цитата, написан Герценом в 1833 г.

Через два десятилетия Герцен писал:

«Шиллер остался нашим любимцем, лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя... Мой идеал Карл Мор, но я скоро изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда торжеством; неужели это русский склад фантазии, или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?»[5].

Отрывок этот чрезвычайно характерен для Герцена. В нем отразилась его судьба «дворянского революционера», во многом ушедше-

го дальше от декабристов, во многом преодолевавшего ограниченность дворянской революционности, но колебавшегося между Карлом Мором и маркизом Позой. Не раз Поза в Герцене признавал утопистом Мора, чтобы заменить бунтарскую утопию последнего своей — либеральной — утопией. Не раз Герцен сознавал это, понимал глубокую правду Мора, как врага собственнического общества, и вместе с тем — безысходность его пути...

«Дворянскому революционеру» — Герцену не было доступно понимание ограниченности Шиллера, отказавшегося от «бунтарства» своих «Разбойников» и пытавшегося найти примирение с немецкой действительностью его времени. Недостатки Шиллера не воспринимались, особенно в молодые годы; зато достоинства получали особое значение в данных исторических условиях. Шиллер удовлетворял ту потребность в оптимизме, которой так противоречила вся окружавшая молодого Герцена действительность. Оптимизм здесь совпадал с верой в человека, в то, что он раньше или позже восторжествует над варварством, над деспотизмом, что человеческий героизм жив и никогда не иссякнет. Именно Шиллер, столь близкий по своим умонастроениям дворянскому революционеру, мог быть таким источником оптимизма. Он вдохновлял на революционную борьбу, как греческие и римские герои — французских революционеров XVIII в. У Герцена образы греческой и римской истории сливались с образами Шиллера.

Здесь мы подходим к одной важной особенности эстетических взглядов Герцена. Воспринимая революцию во всём ее многообразии, Герцен воспринимал ее и эстетически, а в эстетику умел вдохнуть революционный дух. Красота всегда неотделима у него не только от идеи человеческой свободы, но и от реального процесса освобождения человечества.

Он пишет о великих людях Греции и Рима, которые, как известно, служили революционеру прошлого идеальными образцами, что они «имеют в себе ту поражающую пластическую, художественную красоту, которая навек отпечатлевается в юной душе. Оттого-то эти величественные типы Фемистокла, Перикла, Александра провожают нас через всю жизнь так, как их самих провожали величественные образы Зевса, Аполлона». Великие люди древности напоминают ему «светлый мир греческого зодчества». «Та же ясность, гармония, простота, изящество, благодатное небо, чистая детская совесть; даже черты лица плутарховых героев так же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, как фронтоны и портики Парфенона... Пусть же встречают эти высокоизящные статуи юношу при первом шаге его в область сознания, с высоты величия своего вверят ему первые уроки гражданских добродетелей...»[6].

Шиллер убеждал его в том, что красота человеческого подвига не исчезла с древне-римским миром; что и тот мир, в котором он живет, «не изъят доблестного и великого». «Открытие это сделало переворот в моем бытии», — пишет Герцен[7].

С этой особенностью Шиллера — с гуманистическим оптимизмом, внушавшим уверенность в существовании героических сторон в человеке и в осуществлении лучших его возможностей, — Герцен снова встретился в 40-х годах.

Читая «Письма об эстетическом воспитании», Герцен отмечает в своем дневнике: «Великое и пророческое творение: оно, как Лессингово воспитание человечества, предупредило многим свое время»[8].

В «Письмах об эстетическом воспитании» нашла свое философское оправдание вера в то, что человек свободен и благороден по самой своей природе, — та вера, которая составляет пафос шиллеровской по-

эзии. Несмотря на то, что одновременно «Письма» — своего рода эстетическая утопия, отражающая неверие Шиллера в освобождение человека путем революционной борьбы, — несмотря на это, они в восприятии Герцена являлись оправданием этой борьбы.

Объективно Шиллер всегда, во все периоды своего творчества, выражал для Герцена революционно-романтическую мечту о будущем, которая не отрывала от настоящего, а постоянно возвращала к нему с обновленными силами, воодушевляла на работу над ним.



ГЕРЦЕН
Портрет карандашом К. Рейхеля, 1842 г.
Местонахождение оригинала неизвестно

Недаром говорит Герцен о сочетании в Шиллере мечты о будущем, любви к людям и «симпатии к современности».

Эта черта, связывающая революционный романтизм с реализмом, особенно дорога Герцену.

Именно отсутствие этой симпатии долго отталкивало молодого Герцена от Гёте, гениальность которого он умел ценить лучше многих восторженных поклонников великого поэта-мыслителя.

О своем сложном отношении к Гёте Герцен рассказывал так выразительно, что лучше всего предоставить слово ему самому:

«Я боялся Гёте; он оскорблял меня своим пренебрежением, своим несимпатизированием со мною — симпатий со вселенной я понять тогда

не мог... Гораздо после мощный Гёте увлек меня. Я тогда еще не вполне понял его, но почувствовал его морскую волну, его глубину, его пространство» [9]...

Герцен прекрасно сознает, что недооценка Гёте свидетельствует об ограниченности юношеского опыта.

Но и уразумев то, что раньше было ему недоступно, Герцен не отказался от того счета, который предъявлял Гёте в юности.

Преклоняясь перед гением Гёте, Герцен всегда считал серьезным недостатком, обедняющим его реализм, отсутствие в Гёте того, что мы называем революционным романтизмом. Это лишало симпатию Гёте ко вселенной одного из наиболее существенных элементов, ибо революционные устремления человека, может быть, одно из наиболее важных явлений этой вселенной. Герцена отталкивал объективизм Гёте, отталкивал именно потому, что не являлся выдержанной до конца объективностью. На то, что нарушало покой его созерцаний, Гёте реагировал отнюдь не беспристрастно. И это в глазах Герцена унижало могучий гений Гёте.

Два раза: во «Встречах» (1836) и в «Годах странствований» (1838) возвращается Герцен в одних и тех же словах к одной и той же теме: Гёте на историческом испытании. Происходят величайшие всемирно-исторические события, и Гёте, чуждый «симпатий к современности», оказывается не выше, а ниже ее. Больше того, он унижает свой гений до памфлета против Французской революции — «до маленькой насмешки над громадным явлением» — и испытывает по заслугам «участь журналиста, попавшего не в тон» [10]. Заранее предвидя возражения, Герцен, в лице героя повествования, предупреждает возможные недоразумения:

«Не политики, — симпатии всему великому требую я от гения. Великий человек живет общею жизнью человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных, — они должны на него действовать, в какой бы то форме ни было» [11].

Молодой Герцен здесь уже достаточно ясно формулирует ту идею «субъективности» художника, но отнюдь не «субъективизма», к которой величайший наш критик — В. Г. Белинский — пришел гораздо позднее после мучительных исканий.

Эта «субъективность» не только не враждебна объективному познанию, но предполагает его и означает вмешательство художника в жизнь во имя наиболее прогрессивных — т. е. и наиболее правильных в данное время — идей. Эта субъективность враждебна той мнимой всеобъемлемости, тому эгоистически-филистерскому спокойствию, которое далеко от понимания действительности, ее движущих сил и разумного воздействия на нее.

Это спокойствие, которое кажется «олимпийским», представляется Герцену апофеозом эгоизма, мещанского равнодушия к интересам человечества.

Подобное «олимпийство» само обличает себя, не гарантируя от пособничества наиболее далеким от истины и справедливости силам и пренебрежения, если не враждебности, к передовым.

«Гёте, — писал Герцен позднее, — который, по превосходному выражению Боратынского, умел слушать, как трава растет, и понимать шум волн, был туг на ухо, когда дело шло о подслушивании народной жизни, скрытой, неясной самому народу, не обличавшейся официальным языком» [12].

Короче, в отношении Герцена к Гёте выразился наиболе передовой для своего времени взгляд на искусство. Исходя из него, Герцен

различает в Гёте титана поэзии и придворного поэта, «по заказу составляющего оды на приезды и отъезды». Герцен преклоняется перед творцом «Фауста», но понимает того, кто готов «раззнакомиться с тайным советником Гёте, который пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографией человечества, беспрерывно занимаясь своею биографиею»[13].

В подходе Герцена к Гёте немало общего с подходом Маркса и Энгельса. Это прежде всего — эстетическая оценка революционера, оценка мыслителя, убежденного в том, что «субъективность» искусства эстетически необходима.

«Мы не упрекаем Гёте, — писал Энгельс, — как это делают Берне, Менцель, за то, что он не был либералом, а за то, что временами он мог быть филистером; мы не упрекаем его и за то, что он не был способен на энтузиазм во имя немецкой свободы, а за то, что свое эстетическое чувство он приносил в жертву филистерскому страху перед всяким современным великим историческим движением; не за то, что он был придворным, а за то, что в то время, когда Наполеон очищал огромные авгиевы конюшни Германии, он мог с торжественной серьезностью заниматься ничтожнейшими делами и menus plaisirs ничтожнейшего немецкого двора. Мы, вообще, не делаем упреков ни с моральной, ни с партийной, а разве лишь с эстетической и исторической точки зрения; мы не измеряем Гёте ни моральным, ни политическим, ни «человеческим» масштабом»[14].

Несомненно, что наиболее справедливое в герценовской оценке напоминает эти замечательные по широте и глубине строки Энгельса.

Однако Герцен далек был от того диалектического понимания трагедии Гёте, которое выражено в цитированной статье Энгельса.

Герцен не видит внутренней борьбы в Гёте и социально-исторических причин этой борьбы.

Враждебную отчужденность придворного поэта и веймарского министра от «великого современного исторического движения» Герцен распространяет и на Гёте-гения, Гёте титана.

Но, как указывает Энгельс, «Гёте в своих произведениях двояко относится к немецкому обществу своего времени. Он враждебен ему; оно противно ему, и он пытается бежать от него, как в «Ифигении» и, вообще, во время итальянского путешествия; он восстает против него, как Гетц, Прометей и Фауст, осыпает его горькой насмешкой Мефистофеля. Или он, напротив, дружит с ним, примиряется с ним, как в большинстве его «Кротких ксений» и во многих прозаических произведениях, прославляет его, как в «Маскараде», защищает его от напирающего на него исторического движения, особенно во всех произведениях, где он говорит о французской революции. Дело не в том, что Гёте признает будто бы лишь отдельные стороны немецкой жизни в противоположность другим сторонам, которые ему враждебны. Часто это только проявление его различных настроений; в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и опасливым сыном франкфуртского патриция, либо веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключить с ним перемирие и привыкнуть к нему. Так, Гёте то колоссально велик, то мелочен; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то остроумный, всем довольный, узкий филистер. И Гёте был не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества (misère) над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что «изнутри» его, вообще, нельзя победить»[15].

Противоречия жизни и творчества Гёте объясняются тем, что «его

темперамент, его силы, все его духовное направление толкали его к практической жизни, а практическая жизнь, которая его окружала, была жалка» [16].

В своем развитии Герцен шел к подобному подлинно реалистическому пониманию противоречий творчества, хотя и не дошел на этом пути до конца.

Во всяком случае, в своих взглядах на искусство Герцен эволюционировал от революционного романтизма к революционному, во многом революционно-демократическому, реализму. Закономерность этого пути в том, что он отражал процесс развития всей современной Герцену литературы, что в самом его романтизме, как мы видели, были уже предпосылки реализма. Революционный романтизм не уходит от действительности, а призывает к ее изменению. Он идеализирует не самую действительность, а возможности этого изменения. Он может быть реалистически чуток к тому, что в действительности подлежит отрицанию. В период революционно-романтического понимания искусства Герцен мог оценить реалистические элементы в творчестве таких художников, которые составляют уже переход к реализму. В своей первой печатной статье — в статье о Гофмане — Герцен чрезвычайно тонко характеризует юмор Гофмана: «У него юмор артиста, падающего вдруг из своего Эльдорадо на землю, артиста, который среди мечтаний замечает, что его Галатея — кусок камня, артиста, у которого в минуту восторга жена просит денег детям на башмаки» [17].

Революционный романтизм мог позднее легко включиться в реализм и тем самым получить более глубокое обоснование.

Уклонением от этой прогрессивной линии развития можно считать кратковременное увлечение мистицизмом. Однако это увлечение не следует переоценивать. Оно началось у Герцена с сен-симонизма, вызвавшего его охлаждение к Полевому. Романтизм последнего был чужд того революционного духа, которым проникнут романтизм Герцена; сен-симонизм же углубил этот революционный дух, обогатив Герцена идеей не только политического, но и общественного преобразования, хотя одновременно и внес в миросозерцание Герцена 30-х годов элементы мистицизма. Они усилились во время перенесенных им испытаний и особенно благодаря общению с выдающимся художником-архитектором Витбергом. Но мистицизм этот в самом себе заключал уже момент своего преодоления и не мог скоро не отпасть как ненужная шелуха.

В «Былом и думах» Герцен говорит, что сен-симонистское «очистительное крещение плоти (подчеркнуто Герценом) есть отходная христианства; религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало в свою очередь и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных материалов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез».

«Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворились ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном» [18].

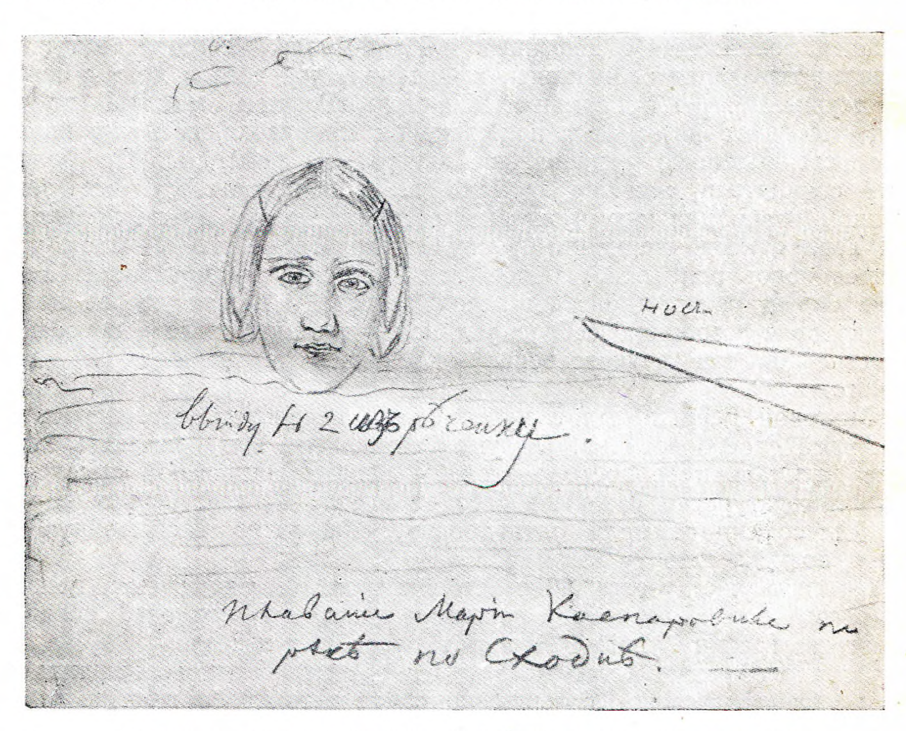
В известном смысле сен-симонизм являлся подъемом на высшую ступень идейного развития Герцена, возвышавшуюся уже над «барским либерализмом 1826 года».

Что касается общения с Витбергом, то здесь имело значение обаяние крупной художнической индивидуальности.

«Влияние Витберга поколебало меня, — рассказывает Герцен в «Былом и думах». — Но реальная моя натура взяла все-таки верх. Мне

не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земным человеком. От моих рук не вертятся столы и от моего взгляда не качаются кольца. Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии» [19].

Общение с Витбергом, в конце концов, содействовало развитию реалистического взгляда. Судьба этого высокоодаренного архитектора, «задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью», заставила Герцена задуматься над судьбой художника в крепостническом обществе. Эти размышления отразились впоследствии в художественном творчестве самого Герцена — в рассказе о крепостной актрисе («Сорока-воровка»), где Герцен является уже представителем нового, проникнутого революционной тенденцией реализма.



«ПЛАВАНИЕ МАРИИ КАСПАРОВНЫ [РЕЙХЕЛЬ] ПО РЕКЕ ПО СХОДНЕ»

Рисунок с автографом Герцена, 1845 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

Но и в период мистических увлечений искусство для Герцена являлось «службой роду человеческому» — службой средствами, искусству свойственными.

2

Таковы взгляды на искусство у Герцена 30-х годов, до возвращения из ссылки. В дальнейшем элементы реализма в его эстетических воззрениях могли только углубиться и окрепнуть. Изучение Гегеля быстро освободило Герцена от остатков навеянного мистицизма и религиозности вообще. В философии Фейербаха нашли осуществление материалистические тенденции, присущие мышлению Герцена и раньше. Факты литературного развития, гениально истолкованные реалистической критикой Белинского, также не могли не оказать своего влияния, и влияния решающего.

Реализм Герцена прежде всего выразился в понимании зависимости искусства от общественной жизни, в признании обусловленности его направлений социально-историческими условиями. Историзм Гегеля нашел здесь достаточно подготовленную почву. Уже в упомянутой нами статье своей о Гофмане, написанной еще до ссылки — в 1834 г., Герцен, процитировав слова Гофмана о его равнодушии к политике, замечает:

«Должно ли после того удивляться, что Шлегель и Вильмен разно понимают литературу, что один дал ей самобытный полет, чтоб не заставить ее делить скучный полет своей родины, а другой приковал ее к обществу, чтобы ускорить развитие литературы, сообщил ей быстрое движение гражданственности. Шлегель и Вильмен — это Германия и Франция: Германия, мирно живущая в кабинетах и библиотеках, и Франция, толпящаяся в кофейных и Пале-Рояле; Германия, внимательно перечитывающая свои книги, и Франция, два раза в день пожирающая журналы». Но и Германия меняется. «Гофман, занятый до того концертами, что не заметил приближения Наполеона, есть тип прошедшего, сверх-земного направления литературы немецкой. По большей части сочинители, жившие до 1813 г., воображали, что все земное слишком низко для них, и жили в облаках; но это им не прошло даром. Теперь, когда Германия проснулась при громе Лейпцигской битвы, явилось новое поколение, более земное, более национальное. Теперь Гейне бичует своим ядовитым пером направо и налево старое поколение, которое разобщило себя с родиной,— прошлую эпоху, которая так колоссально, так величественно окончилась в Веймаре 22 марта 1832 года». [20]

Молодой Герцен был в курсе самых передовых литературоведческих идей своего времени. Он умел самостоятельно применять теории m-me де Сталь и ее последователей — теории социальной обусловленности литературного развития. Пройдя школу Гегеля, Герцен 40-х годов философски осмыслил эти теории, обнаружив необычайную для своего времени широту взгляда.

Он был уже убежденным сторонником реализма, как наиболее плодотворного направления литературы своего времени, когда по приезде за границу увидел Рашель в расиновых пьесах.

Друг и соратник Белинского сумел оценить гонимого великим критиком «псевдоклассика» совершенно самостоятельно и извлечь из этого художественного опыта выводы общего значения.

Неправомерно суждение о художественном произведении, если оно рассматривается вне его собственной почвы, — исторической, национальной — это Герцен мог узнать и от m-me де Сталь, и от Шлегелей, и от Вильмена.

Но не впасть при этом в релятивизм, увидеть абсолютное, непреходящую ценность, оставленную человечеству относительным, преходящим — Герцен смог лишь на основе гегелевского историзма.

«Входя в театр, когда дают Расина, вы должны знать, что с тем вместе вы входите в и н о й мир, имеющий свои пределы, свою ограниченность, но имеющий и свою силу, свою энергию и высокое изящество в своих пределах» [21].

Это конкретное, целостное восприятие и понимание искусства. «Абсолютное» не может быть понято без и вне относительного ограниченного, «вечное» и преходящее, достоинства и недостатки неотделимы, обусловливают друг друга. Мы признаем — и справедливо признаем — греческое искусство нормой красоты. Но не надо забывать, что «торжество меры, торжество равновесия, торжество красоты» достигнуты здесь потому, что «требование было бедно, потому что эти

олимпийцы удовлетворялись немногим... Для греков мы сделали почетное исключение, мы их судили, как греков, в их сфере, будем так же судить Расина, Корнеля, — обогатимте себя и ими!»[22].

Герцен здесь исходит из того факта, объяснение которого дал Маркс в введении — «К критике политической экономии».

Связанные с известными формами общественного развития, произведения искусства «еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца»[23].

Маркс показал, что именно в связи с теми общественными условиями, среди которых произведения искусства возникали, в самой неповторимости отраженных в них условий и заключается их обаяние. Конечно, это относится не ко всякой среде, не ко всяким формам общественного развития. Маркс имеет в виду, как мы знаем, гомеровскую Грецию. К ней относятся его слова: «И почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень?»[24]. Но здесь конкретно указана диалектическая связь абсолютного и относительного в искусстве.

Герцен чувствовал эту связь, хотя не мог объяснить ее с такой глубиной, как Маркс. «Человечество своим образом, — писал Герцен, — перечитывает целые тысячелетия Гомера, и это для него оселок, на котором оно пробует силу возраста»[25]. «Абсолютное», «вечное» в искусстве принадлежит «истинным и необходимым моментам развития духа человеческого во времени»[26].

Чуждый релятивизма историзм Герцена побуждает его искать соответствующего обоснования тому реалистическому воззрению на искусство, которое сложилось у него к 40-м годам. Это воззрение было частным приложением того, в основе своей материалистического, учения, которое уже достаточно определилось тогда у Герцена при всех его колебаниях в сторону идеализма. Любопытно, что в своих философских статьях той поры наш писатель пользуется терминами из области искусства для обозначения своих философских взглядов: «реализм», «романтизм», «классицизм» и т. п.

Это показывает, насколько близки ему были вопросы литературы и какой широкий смысл умел он придавать литературным спорам своего времени.

Классицизм, романтизм и реализм рассматриваются в связи с общечеловеческим развитием. Первые два — пройденная ступень, они должны уступить третьему, синтетическому направлению. Классицизм, в широком смысле слова, совпадает для Герцена с эмпиризмом и утилитаризмом; романтизм — с отвлеченным идеализмом и мистицизмом.

Так, классики, «осыпаемые проклятиями романтиков, отвечали громко то парадоксами, то железными дорогами, то целыми отраслями науки, вновь разработанными... Романтики смотрели с пренебрежением на эти труды, унижали всеми средствами всякие практические занятия, находили печать проклятия в материальном направлении века и проглядели, смотря с своей колокольни, всю поэзию индустриальной действительности, так грандиозно развертывавшейся, например, в Северной Америке»[27].

Романтизм, как наследие средневековья, как особая форма мироощущения, характеризуется Герценом в другой статье так: «... Для романтиза нет счастья выше несчастия, нет радости выше скорби и грусти: все человеческое получило тогда судорожно болезненное направление... Мир действительный был в пренебрежении: жили в мечтах,

отрекались от действительных влечений и водворяли вместо их новые, порожденные от беззаконной смеси крови и духа: таково понятие чести, доведенное до безумного себяоботворения; такова платоническая любовь, натянутое одухотворение истинной любви. Словом, романтическое воззрение представляет... весь мир вверх ногами. С таким настроением души, при вечном разрыве с истинной жизнью, страсти получили тем ужаснейшее развитие, что они были неестественны» [28].

Как относился Герцен к натурам романтическим, в этом смысле слова, можно видеть из его характеристики Вертера: «Сколько сумасшедшего и эгоистического в нем, при всей блестящей стороне, которую всегда придает человеку сильная страсть. Не должно ошибаться: это блеск очей лихорадочного; он имеет в себе магнетическое, притягивающее, а между тем он выражает не огонь жизни, а пламя, разрушающее ее. При всех поэтических выходках Вертера, вы видите, что эта нежная, добрая душа не может выступать из себя; что, кроме маленького мира его сердечных отношений, ничто не входит в его лиризм!.. Жаль его, — а ведь пустой малый был Вертер!» [29].

Романтический характер — это прежде всего для Герцена эгоистический, замкнутый в себе, чуждый общественных интересов характер. Романтизм исключает гражданственность.

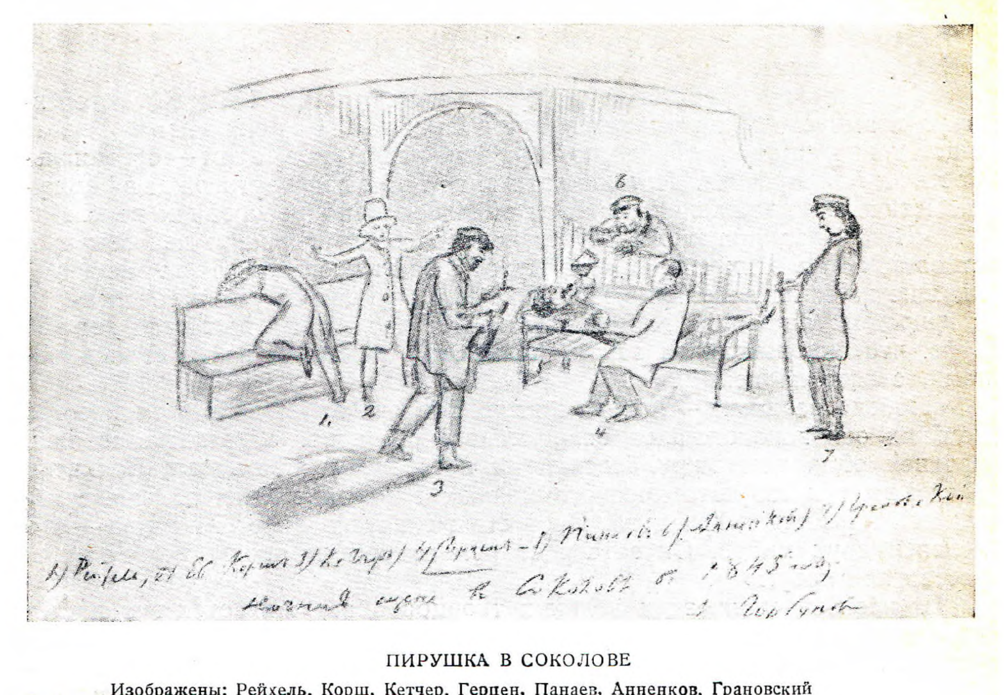
Сводя так счеты с романтизмом, Герцен, конечно, не имел в виду того, что мы называем революционным романтизмом. Ему он оставался верен и не отделял его от реализма. Герцен здесь ставил крест над своим романтизмом эпохи ссылки, вообще, над тем, что он называл «неоромантизмом», т. е. над романтическим движением начала XIX в. Оно представлялось Герцену результатом двух разных причин: с одной стороны, разочарования, после Французской революции, в просветительских идеалах, в силе разума и с другой — национального подъема в Германии, вызванного наполеоновскими войнами.

«Что сделал патриотизм в Германии, то совершила апатия во Франции, и их руками растворились обе половинки дверей романтизму. Удушающее чувство равнодушия и сомнения и пылкое чувство народной гордости располагали, особенно, душу к искусству, полному веры и национальных сочувствий» [30].

И хотя человечество «вошло в такую эпоху совершеннолетия, что просто смешно сделалось притязание обратить его в классицизм или романтизм», неоромантизм мог иметь успех вследствие указанных причин. «Но так как чувства, вызвавшие неоромантизм, были чисто временные, то судьбу его можно было легко предвидеть». Время романтизма прошло давно, и тщетны попытки возродить его. «Представьте вы себе вместо изящного образа рыцаря Тогенбурга, закованного в железо, с крестом на груди, представьте господина Тогенбурга в пальто и резиновых калошах, проводящего жизнь где-нибудь в Париже, Лондоне, Брюсселе на улице, дожидаясь «как стукнет окно» и вам сделается ужасно смешно...» [31]

Направлением, удовлетворяющим сознание возмужавшего человечества, может быть только реализм.

«Пока классицизм и романтизм воевали — один, обращая мир в античную форму, другой — в рыцарство, — возрастало более и более нечто (подчеркнуто Герценом) сильное, могучее; оно прошло между ними и они не узнали властителя по царственному виду его; оно оперлось одним локтем на классику, другим на романтику и стало выше их, — как «власть имущее»; признало тех и других и отреклось от них обоих»... [32] Это то стремление к синтезу во всех областях жизни, которое Белинский в своих статьях о Пушкине еще называл «современным



ПИРУШКА В СОКОЛОВЕ

Изображены: Рейхель, Корш, Кетчер, Герцен, Панаев, Анненков, Грановский

Рисунок карандашом К. Горбунова, 1845 г.

Литературный музей, Москва

романтизмом», но которое является революционным реализмом, показавшим пример синтеза с самого себя, вобравшим все лучшее, все живое из отрицаемого им старого.

«Это была внутренняя мысль, живая Психея современного нам мира» [33].

Отношение между новым направлением, одним из проявлений которого был реализм в литературе, и старым Герцен формулирует так:

«Мечтательный романтизм стал *ненавидеть* новое направление за его *реализм*.

Щупающий пальцами классицизм стал *презирать* его за идеализм» [34].

В одинаковой мере реализм далек и от идеалистического извращения действительности и от поверхностного ее упрощения. Плоскому эмпиризму, вульгарному материализму, «щупающему пальцами», но неспособному к синтезу, к обобщению, к познанию закономерностей действительности, далек и чужд реализм, проникнутый революционной идейностью.

Первых представителей этого реалистического синтеза Герцен видит в Гёте и Шиллере. Они «представляют великий образ, как должны быть приемлемы романтические и классические элементы в нашем веке. Конечно, Шиллер более Гёте имел симпатии к романтическому, но главная его симпатия была к современности, и последние, самые зрелые его произведения чисто *гуманические*.... а не романтические. И разве для Шиллера было что-нибудь чуждое в классическом мире,— для него, переводившего Расина, Софокла, Виргилия? А для Гёте разве было что-нибудь недоступное в глубочайших тайниках романтизма? В этих гигантах борющиеся и противоположные направления соединились огнем гения в воззрение изумляющей полноты» [35].

Еще с большим основанием, чем Шиллера, Герцен мог бы назвать нашего Пушкина.

Обоснование реализма не ограничивается у Герцена гегелевским примирением противоречий: классицизма и романтизма. Герцен ищет конкретного исторического обоснования, и в этом — оригинальность его построения. Истоки реализма в том жизнеутверждающем гуманистическом движении, которое началось в конце средних веков.

«Humanitas, humaniora раздавалось со всех сторон, и человек чувствовал, что в этих словах, взятых от земли, звучат vivere memento, идущие на замену memento mori, что ими он новыми узами соединяется с природой; humanitas напоминало не то, что люди сделаются землей, а то, что они вышли из земли, и им было радостно найти ее под ногами, стоять на ней» [36].

Победа реализма — победа жизни. Это она побеждала в творчестве великих основоположников современного реализма. «Сервантес со злой иронией объявляет миру бессилие и несвоевременность его; Боккачио раскрывает жизнь католического монаха; Рабле идет еще дальше с отважной дерзостью француза. Протестантский мир дает Шекспира — это человек двух миров. Он затворяет романтическую эпоху искусства и растворяет новую» [37].

В произведениях этих великих творцов обнаруживается гуманистическое происхождение и гуманистическая природа реализма.

«Гениальное раскрытие субъективности человеческой во всей глубине, во всей полноте, во всей страстности и бесконечности, смелое преследование жизни до заповеднейших тайников ее и обличение найденного не составляет романтизма, а переходит его» [38]. В посюстороннем, в человеческом, в груди человеческой находит Шекспир ту бесконечность, которую средневековый романтизм и «неоромантики» позднейшего времени искали в потустороннем. Это бесконечное — человеческая личность. «Живая индивидуальность — вот порог, за который цепляется ваша философия, и Шекспир, бессомненно, лучше всех философов, от Анаксагора до Гегеля, понимал своим путем это необъятное море противоречий, борений, добродетелей, пороков, увлечений, прекрасного и гнусного — море, заключенное в маленьком пространстве от диафрагмы до черепа и спаянное неразрывно в живой индивидуальности...» [39].

Цитируя известное изречение Гейне: «Под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история», Герцен замечает:

«Это понимали Шекспир, Вальтер-Скотт, Теньер, вся фламандская школа». Интерес художника-реалиста «состоит в зрелище развития духа под влиянием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нормальное общее направление» [40].

Герцен был законным наследником и продолжателем этой гуманистической тенденции. Она соответствовала его собственному жизнеощущению, которое исчерпывающе выражено им в блестящих строках:

«...Жизнь — мое естественное право; я распоряжаюсь хозяином в ней, вдвигаю свое «я» во все окружающее, борюсь с ним, раскрываю свою душу всему, всасываю ею весь мир, переплавляю его как в горниле, сознаю связь с человечеством, с бесконечностью — и будто история этого вырабатывания от ребяческой непосредственности, от этого покойного сна на лоне матери, до сознания, до требования участия во всем человеческом, до самобытной жизни — лишена интереса? Не может быть!» [41].

Итак, в 40-х годах у Герцена формируется реалистическое воззрение на искусство, являющееся одной из сторон его общего миросозер-

цания. В основе реализма Герцена — признание действительности и утверждение чувственного мира, как основного предмета человеческого интереса, отрицание всего потустороннего, трансцендентного, мистического. Реализм этот оптимистичен; он любит землю, земную жизнь, видит в ней единственный источник красоты и отвергает эстетику бестелесную, платоническую. Вместе с тем, реализм этот далек от упрощенчества, от вульгарного ограничения физиологическими процессами. Вся многообразная душевная жизнь, вырастающая на материальной основе, должна быть охвачена реалистическим художником, его ясным взглядом и симпатией ко всему человеческому. Реализм Герцена требует от искусства воспроизведения жизни во всей ее противоречивой сложности, воспроизведения ее как конкретного процесса, как развития. Живую историю противопоставляет он книжной теории. Он отвергает схематизм одностороннего теоретизирования, как своего рода филистерскую ограниченность, он погружен в практику, отнюдь не теряясь в ней.

Содержанием этого реализма в 40-х годах является личность, конечно, не абстрагированная, не замкнутая в себе, а экспансивная, как сам Герцен, индивидуальность во всех ее многообразных связях и взаимоотношениях со средой. Но гуманизм Герцена, столь тесно связанный с его реализмом, даже совпадающий с реализмом, ограничен еще проблемой личности, ее освобождения, ее прав.

Вопрос об отношении к Европе решается тогда Герценом с точки зрения судеб личности и решается в положительном для Европы смысле. Положительно оценивается и современная культура Европы, ее, современная Герцену, литература.

Герцен еще во власти буржуазно-демократических иллюзий.

3

Революция 1848 г. освободила Герцена от этих иллюзий. Они так органически срослись с ним, что осознание их означало для Герцена крушение целого мира, к которому он так страстно стремился с юных лет. «Смерть в литературе, смерть в театре, смерть на трибуне, ходячий мертвец Гизо, с одной стороны, и детский лепет седой оппозиции — с другой, это грустно!»[42].

Умирала вера в буржуазную демократию, вера, расстрелянная в июньские дни. Место самоотверженных борцов за республику и свободу заняло торжествующее буржуазное хамство; покрытый кровью июньских жертв мещанин — вот кто представляет теперь для Герцена ту Европу, о которой он так страстно мечтал.

Он видит в Европе своеобразную борьбу «отцов и детей», борьбу старого, революционного поколения с новым, вскормленным реакцией, мещански-прозаическим и корыстным.

В «Концах и началах» есть страницы, замечательные по глубине мысли и художественной выразительности, о последних могиканах буржуазных революций, о новых Дон-Кихотах, затерянных среди того мещанского мира, который они, не зная о том, создавали. «Дон-Кихот революции не идет у меня из головы... Титаны, остающиеся после борьбы, после поражения, при всех своих титанических стремлениях, представителями неудовлетворенных притязаний, делаются из великих людей печальными Дон-Кихотами... Фанатики земной религии, фантасты не царства божия, а царства человеческого, они остаются последними часовыми идеала, давно покинутого войском, они мрачно и одиноко стоят полстолетия, бессильные изменить и все ожидающие пришествия республики на земле; грунт возле понижается, понижается — они

этого не хотят видеть... Бедный король Лир в демократии, куда ни обращает он угасающий взгляд свой к своим, к присным, везде его встречает непонимание, безучастье, осужденье, полускрытый упрек, мелкие счеты и мелкие интересы. Его якобинских слов боятся при посторонних, ему просят прощение, указывая на изредевшие волосы...» Сын «старше его осторожностью, благоразумием, разочарованием», еще «старше» — внук, который мечтает «о том, как бы лукнуть в субпрефекты» [43].

Буржуазная мысль настолько пала после 1848 г., её возможности настолько сузились, что и, подойдя к этой теме, она оказалась не в силах понять ее.

«Не странное ли дело, что в длинном ряду «несчастных», вызванных В. Гюго, являются и старики... а несчастный старик по преимуществу отодвинут на задний план, пропущен? Гюго едва заметил, что возле мучительного сознания виновности есть другая пытка — мучительное сознание ненужной правоты своей, сознание своего бесплодного превосходства над слабостью всего близкого, молодого, переживающего... Великий ритор и поэт, между скорбными существованиями французской жизни чуть коснулся величайшей скорби в мире — старца, юного душою, окруженного больше и больше мельчающим поколением» [44].

Измельчание буржуазной культуры — результат закономерного процесса. «Цивилизация, последовательно развивавшаяся на безземельном пролетариате, на безусловном праве собственника над собственностью» [45] — буржуазная цивилизация не может не притти к такому концу. Все, связавшее свою судьбу с этой цивилизацией, обречено историей на гибель. То время, когда буржуазия, выполняя свои классовые задачи, служила всему человечеству, сокрушая феодализм, — прошло безвозвратно. Ее передовые борцы, которые совершенно искренне и с полным правом посвящали себя человечеству и представляли общечеловеческие идеи, — теперь превратились в тех Дон-Кихотов революции, о которых мы только что говорили. Никакого положительного идеала буржуазия не принесла с собой; она была сильна только отрицанием. Те общечеловеческие идеи, под знаменами которых она сражалась, превратились для нее в пустую форму: её основанное на эксплоатации бытие не могло наполнить их положительным содержанием; отрицательное же содержание иссякло вместе с объектом отрицания. Мало того. Сама буржуазия даже и к отрицанию не оказалась способной. В своей ненависти к буржуазии Герцен «отчуждает» от последней ее вождей и героев.

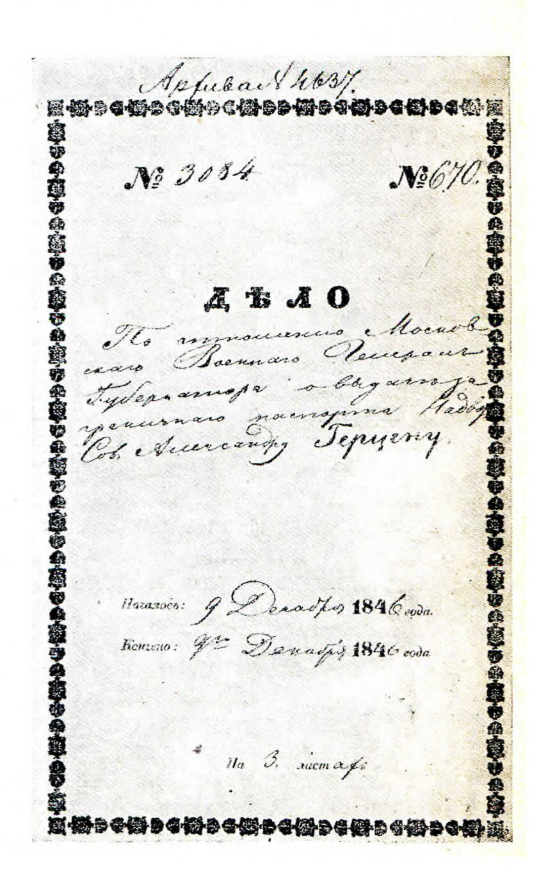
«Отрицание мира рыцарского и католического было необходимо и сделалось не мещанами, а просто свободными людьми, т. е. людьми, отрешившимися от всяких гуртовых определений. Тут были рыцари, как Ульрих фон Гуттен, и дворяне, как Арует Вольтер, ученики часовщиков, как Руссо, полковые лекаря, как Шиллер, и купеческие дети, как Гёте. Мещанство воспользовалось их работой и явилось освобожденным не только от царей, рабства, но и от всех общественных тяг, кроме складчины для найма охраняющего их правительства» [46].

То соотношение вечного и временного, абсолютного и относительного, которое было так проницательно уловлено Герценом в истории искусства, не понято им в истории культуры вообще. В данном случае он противопоставляет «мещанство», т. е. буржуазию, передовому отряду гуманистов, делом которых она «воспользовалась». Как «дворянский революционер» Герцен останавливается на общечеловеческом, минуя классовое, когда имеет в виду подъем культуры. Он не знает их единства. Классовое в истории культуры замечается им

лишь тогда, когда данная культура деградирует, когда создавший ее класс становится из прогрессивного реакционным.

Пока буржуазия не стала господствующим классом, пока она «соединялась с светлой закраиной аристократии для защиты своей веры, для завоевания своих прав», она сияла заимствованным у первой светом. — «Светлая закраина» — это носители общечеловеческих идеалов; союз с ней открыт для всех, эти идеалы разделяющих. — «Но этого стало ненадолго, и Санчо-Пансо, завладев местом и запросто развалясь на просторе, дал себе полную волю и потерял свой народный юмор, свой здравый смысл; вульгарная сторона его натуры взяла верх» [47].

Герцен иллюстрирует свою мысль, используя один из замечательнейших образов буржуазного театра — образ Фигаро Бомарше. Уже в «Письмах из Avenue Marigny» он указывал, что «буржуазия явилась на сцене самым блестящим образом в лице хитрого, увертливого, шипучего, как шампанское, цырюльника и дворецкого. Словом, в лице Фигаро. А теперь она на сцене в виде чувствительного фабриканта, покровителя бедных и защитника притесненных. Во время Бомарше Фигаро был в н е з а к о н а, в наше время Фигаро — з а к о н о д а т е л ь; тогда он был беден, унижен, стягивал понемногу с барского стола и оттого сочувствовал голоду, и в смехе его скрывалось много злобы; теперь его бог благословил всеми дарами земными, он обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называет ее ленью и бродяжничеством. У обоих Фигаро общее, собственно, одно — лакейство, но из-под ливреи Фигаро-старого виден человек, а из-под черного фрака Фигаро-нового проглядывает ливрея, и, что хуже всего, он ее не может сбросить, как его предшественник. Она приросла к


Архива № 4637.

№ 3084 №670.

ДѢЛО

По отношению Московского Военного Генерал Губернатора о выдаче заграничного паспорта Надвор. Сов. Александру Герцену.

Началось: 9 Декабря 1846 года.

Кончено: 9го Декабря 1846 года.

На 3. листах.

ДЕЛО О ВЫДАЧЕ ГЕРЦЕНУ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА

Литературный музей, Москва

нему так, что ее нельзя снять без его кожи»[48]. Бомарше сменил Скриб, у которого мы и находим преображенного Фигаро. Он «на все дал ответ. Он надругался над мечтами юноши, чувствующего художественное призвание, и окружил его уважением и счастьем, когда он сделался конторщиком, он к земле преклонил голову бедного и отдал его во власть хозяина, которого воспел за то, что он любит, чтоб работник повеселился в воскресный день. Он даже вора умел поднять за то, что он, разбогатевши, дает кусок хлеба сыну того, которого ограбил, и так это ловко представил, что хочется пожурить сына за то, что отец был неосторожен и плохо деньги берег. Казалось бы, воровство — страшнейшее из всех преступлений в глазах буржуазии... но Скриб и тут знал, с кем имеет дело: вор — негоциант, — уменье хорошо нажиться и хорошо вести свой дом смывает все пятна. А как позорно всякий раз наказана у Скриба женщина за каприз, за минуту увлеченья, даже за шалость!.. Буржуа — деспот в семье: тиран детей, тиран жены»[49].

Так далеко ушел Скриб от своего предшественника — просветителя Бомарше, у которого «мысль реабилитации женщины — одна из любимых... рядом с негодованием, насмешкой против аристократии и тогдашнего состояния».

«Среднее сословие» понимается теперь Герценом буквально: оно становится синонимом всего посредственного, обезличенного: «в мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главное: главное—товары, дело, вещь, главное — собственность».

Эстетика революционера не приемлет «мещанина», не приемлет той атмосферы всеобщего обезличения, которую он создает. Эта атмосфера, губительная для человечности, пагубна для искусства. Искусству необходимо положительное содержание, положительный образ. Может ли это дать ему мещанство?

То, что буржуазные писатели, вроде Скриба, находят положительным, достаточно говорит за себя. Искусство же антибуржуазное, как, например, искусство Жорж Санд, сильно лишь тогда, когда обличает, создавая такие образы, как образ Ораса. К Орасу Герцен неоднократно возвращался. Еще до отъезда за границу он оценил этот типический характер и дал ему чрезвычайно меткую характеристику. Отличительная черта его — черта, достойная мещанина в понимании Герцена.

Орас жаждет «сильных потрясений за дешевую цену. Он не может выйти из себя, он не способен к сильной страсти, потому что не способен жить другою, в другом...[50]. После опыта революции 1848 г. Герцен открывает в образе Ораса новые стороны. Он видит его на новом историческом фоне. В статье «Оба лучше» он характеризует Ораса как мещанина, который вошел в революцию, внося с собой весь багаж мещанства. Характеристика Ораса в статье «Оба лучше» дана не только на основе романа Жорж Санд: в ней нетрудно узнать черты живого лица, одного из деятелей 1848 г. — Гервега. Здесь художественное произведение комментируют и дополняют впечатления жизни. «В беде и счастьи он отыскивает одну сценическую сторону, упивается действием, которое производит на других. У него совсем нет сердца к чему-нибудь вне его самого, но есть поверхностное понимание страстей, ни к чему его не обязывающее, ему нравится их накожное раздражение, их действие на зрителей, он сам себя уверяет в них, т. е. лжет себе самому, но... как только зыбь становится непокойною, опасной, он выходит спокойно сухой на берег и идет себе домой»[51].

Роль этого аффектера и фразера, этого самовлюбленного карьериста ужасна. Воплощая в себе буржуазное себялюбие под личиной на-

родолюбия, неразоблаченный Орас губит те благородные движения, в которые втирается. Он знаменует собой вырождение буржуазной демократии. Вот почему, по мнению Герцена, «Орас — главный виновник бедствий, обрушившихся на Европу в последнее время. Он увлек своими фразами массы так, как увлек Марту в романе, чтоб предать их при первой опасности»[52].

Жорж Санд знает цену своему Орасу: она разоблачает его, а не возводит на пьедестал. Другие писатели, хотя и далекие от Скриба, но органиченные точкой зрения буржуазного общества, пытаются найти положительные характеры. Но что они находят? Гюго нашел свой идеал в Жан Вальжане и в Жавере своих «Отверженных». «Жавер для нас просто отвратителен. Вероятно, Гюго не думал, чертя эту совершенно национальную фигуру шакала порядка, какое клеймо он выжег на плече своей «прелестной Франции». В Жан Вальжане нам только понятна его внешняя борьба доброго, несчастного зверя, травимого целым гончим обществом. Внутренняя борьба его для нас остается посторонней; этот сильный мышцами и волей человек, в сущности, чрезвычайно слабый характер. Святой каторжник, Илья Муромец из тулонских галер, акробат в пятьдесят лет, и влюбленный мальчик чуть ли не в шестьдесят, он исполнен суеверья. Он верует в клеймо на плече; он верует в приговор; он верует, что он отверженный человек, оттого, что тридцать лет тому назад украл хлеб, да и то не для себя. Его добродетель — болезненное раскаяние; его любовь — старческая ревность. Натянутое существование его подымается до истинно трагического значения только в конце книги, от бездушной ограниченности Козетина мужа и безграничной неблагодарности ее самой»[53].

Буржуазное общество неблагоприятно для искусства, потому что оно обезличивает человека, и тем самым изгоняет «художественный элемент в самой жизни». Там, где нет этого «художественного элемента», не может быть положительного содержания в искусстве. «...И искусство имеет свой предел. Есть камень преткновения, который решительно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец... этот камень преткновения — м е щ а н с т в о. Художник, который превосходно набрасывает человека совершенно голого, покрытого лохмотьями, или до того совершенно одетого, что ничего не видать, кроме железа или монашеской рясы, останавливается в отчаянии перед м е щ а н и н о м в о ф р а к е... — дело в том, что весь характер мещанства, с своим добром и злом, противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре, и только всему человеческому присущие страсти могут, изредка врываясь в мещанскую жизнь или, лучше, вырываясь из ее чинной среды, поднять ее до художественного значения»[54].

Что остается искусству? Ему остается, по Герцену, область карикатуры, которой оно издевается над столь враждебным ему миром. «Робер Макер, Прюдом — великие карикатуры, иногда гениально верные, верные до трагического у Диккенса, но карикатуры; далее Гогарта этот род итти не может»[55].

В лучшем случае искусство буржуазного мира может только протестовать против его растлевающего влияния, но бессильно найти положительное содержание, которого нет в той жизни, из которой оно черпает свой материал. Но даже в самом своем протесте оно отравлено ядом буржуазного мира. Его порочность присуща даже гениальным представителям его искусства. Ее очень почувствовал Герцен, хотя понял только после революции 1848 г.

Уже во «Встречах» Герцен писал, что «Гёте понял ничтожность века, но не мог стать выше его: он осудил и век и себя, сказав:

«Древние искали факт, а мы эффект; древние представляли ужасное, а мы ужасно представляем», — тут все выражено... мы слишком авторы, чтоб быть людьми»[56].

В этих словах еще смутное предчувствие того противоречия искусства и жизни, о котором писал Герцен впоследствии как о противоречии, неизбежном в буржуазном обществе. Противоречие это является роковым для искусства, когда переходит в оторванность от жизни: разойдясь с жизнью, лишившись жизненных соков, искусство должно захиреть, исчерпать себя, опустошиться. В «Былом и думах» этот мотив звучит в приговоре Герцена над всей немецкой литературой его времени, которая «т е о р е т и ч е с к и освобождала отечество и в сферах чистого разума и искусства покончивала с миром преданий и предрассудков. Гейне было противно на ярко освещенной морозной высоте, на которой величественно дремал под старость Гёте, грезя не совсем складные, но умные сны второй части Фауста — однако, и он ниже книжного магазина не опустился, это все еще академическая aul[a], литературные кружки, журнальные приходы с их сплетнями и дрязгами, с их книжными Шейлоками в виде Готы или Гофмана и Кампе, с их геттингенскими архиереями филологии и епископами юриспруденции в Галле или Бонне. Ни Гейне, ни его круг народа не знали, и народ их не знал. Ни скорбь, ни радость низменных людей не подымалась на эти вершины — для того, чтоб понять стон современных человеческих трясин, им надобно было переложить его на латинские нравы и через Гракхов и пролетариев добраться до их мысли»[57].

Страх Гейне перед социальной революцией, перед социализмом, все то, что было пределом и для этого столь смелого ума, Герцен объясняет этой оторванностью от жизни и мысли народных масс. Он возмущается ограниченностью демократизма Гейне, в которой сказалась своеобразная кастовость «аристократа духа», он возмущается его брезгливостью по отношению к тому, что выходит за пределы касты людей книги.

«Он не мог переварить, что рабочие сходки не представлялись в чопорной обстановке кабинета и салона Варнгагена, «фарфорового» Варнгагена фон Энзе, как он его сам назвал»[58].

Непримиримый противник «мещанства», Герцен умел проследить его тлетворное влияние и там, где оно никем не подозревалось.

Не являясь питательной средой для искусства, противореча поэзии всей своей практикой, буржуазное общество вызывает тем самым оторванность поэзии от жизни.

Гуманистическое самосознание индивидуальности оно превратило в бесчеловечный эгоизм. Эта, по Герцену, сущность мещанского духа отяготела и над искусством.

Размышляя о двух величайших представителях литературы периода господства буржуазии, — о Гёте и Байроне, — Герцен видит и на них этот роковой отпечаток.

В «Концах и началах» он говорит о двух эгоизмах: о «колоссальном эгоизме Гёте, его покойном безучастии, его любознательности естествоиспытателя в делах человеческих»; о «гложущем себя колоссальном эгоизме Байрона»[59].

Когда Герцен говорит об эгоизме как о сущности «мещанства», то эта этическая категория является у него одновременно и эстетической. Эгоизм означает сужение человека и человечности, обезличение человека, он сковывает его собственностью, подчиняет дух вещи, выгоде, ограничивает способность жить в другом, воспроизводить довлеющую себе другую жизнь. Свобода духа и красота подвига изгоняются из искусства.

Конечно, гениальные представители искусства умели и в буржуазном обществе творить *вопреки* господству так понятого Герценом мещанского эгоизма. Но это *вопреки*, эта постоянная борьба гения против того, что на каждом шагу его отрицает, не могла не иметь своих последствий даже и для них. Именно таков смысл высказываний Герцена о Гёте и Байроне.



ГЕРЦЕН

Литография К. Горбунова, 1845 г. с дарственной надписью Герцена С. Н. Кетчер

Собрание М. Барановской, Москва

Чтобы убедиться в справедливости сказанного по отношению к Гёте, достаточно вспомнить приведенные в предшествующем изложении суждения Герцена о величайшем немецком поэте. Суждения эти чрезвычайно устойчивы: преклонение перед гением, обида за него, когда он превращается в чиновника, в министра и придворного — это отношение к Гёте характерно для Герцена, начиная от 30-х годов до конца.

Еще сложнее у Герцена его восприятие Байрона.

Творчество Байрона дорого Герцену как самый мощный в поэзии

протест против буржуазного общества. Он ценит в Байроне индивидуальность, не способную приспособиться к этому обществу.

«Представьте себе оранжерейного юношу... представьте его себе лицом к лицу с самым скучным, с самым тяжелым обществом, лицом к лицу с уродливым минотавром английской жизни... Если бы он умел приладиться к той жизни, он вместо того, чтоб умереть в тридцать лет в Греции, был бы теперь лордом Пальмерстоном или сэром Джоном Росселем. Но так как он не мог, то ничего нет удивительного, что он с своим Гарольдом говорит кораблю: «Неси меня куда хочешь — только вдаль от родины». Но что же ждало его в этой дали? Испания, вырезываемая Наполеоном, одичалая Греция, всеобщее воскрешение всех смердящих Лазарей после 1814 года». Однако, этот «оранжерейный юноша», далекий от суровой действительности, от народной жизни, «не мог удовлетвориться немецкими теориями sub specie aeternitatis, ни по-французски политической болтовней, и он сломился, но сломился как грозный Титан, бросая людям в глаза свое презрение, не золотя пилюли» [60].

Герцен видит в Байроне своего предшественника. Герцену близка в Байроне бесстрашная честность мысли, решительно порвавшей с буржуазным миром еще до того, как обозначились явственно его ужаснувшие Герцена черты.

«Разрыв, который Байрон чувствовал, как поэт и гений, сорок лет тому назад, после ряда новых испытаний, после грязного перехода с 1830 г. к 1848 г. и гнусного с 1848 г. до сегодняшнего дня, поразил теперь многих. И мы, как Байрон, не знаем куда деться, куда приклонить голову» [61].

Герцен «ценит так высоко мужественную мысль Байрона» потому, что «он видел, что в ы х о д а н е т, и гордо высказал это» [62].

Байрону чуждо гётевское примирение с действительностью; «в отвлеченных сферах его люциферское отрицание глубже мефистофелевского», но и оно лишено положительного содержания: оно «спокойно влечет к убийству, тянет к себе, к преступлению — той непонятной силой, которой зовет человека в иные минуты стоячая вода, освещенная месяцем, ничего не обещая в безотрадных, холодных, мерцающих объятиях своих, кроме смерти» [63].

Признавая байроновскую «Тьму» эпилогом всего творчества Байрона, Герцен так дорисовывает эту потрясающую картину мирового катаклизма, в которой он видит предчувствие катаклизма социального:

«Два врага, обезображенные голодом, умерли, их съели какие-нибудь ракообразные животные... корабль догнивает — смоленый канат качается себе по мутным волнам в темноте, холод страшный, звери вымирают, история уже умерла, и место расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится в четвертую формацию, т. е. если новый мир дойдет до того, что сумеет считать до четырех» [64].

Такова эта байроновская «поэзия презрения», противостоящая гётевской «поэзии созерцания»: «плач, смех, гордое бегство и отвращение от современного мира — возле гордого довольства в нем» [65]. В сознании безвыходности — величие Байрона, но в этом же предел и наиболее далеких от мещанства творцов искусства буржуазного общества. Это общество наложило и на столь враждебную ему поэзию свою печать. Зависимость от буржуазного мира сказалась здесь в том, что, отвергнув мнимое «примирение», она не идет дальше протеста, что протестом она ограничена как своей высшей ступенью, что и ей чуждо положительное содержание, составляющее непременное условие полноценного искусства, которое соответствовало бы эстетическому идеалу Герцена. Этого содержания нет вне здоровой связи сознания с бытием.

Такой связи лишен Байрон и его герои. И над ними отяготел эгоизм буржуазного мира: это — «эгоисты и аскеты, готовые на жертвы, которых не умеют принести». «В байроновских героях недостает объективного идеала, веры». А мечта самого поэта, «отвернувшись от бесплодной, отталкивающей среды, была сведена на лиризм психических явлений, на внутрь вошедшие порывы деятельности, на больные нервы, на те духовные пропасти, где сумасшествие и ум, порок и добродетель теряют свои пределы и становятся привидениями, угрызениями совести и, вместе с тем, болезненным упоением» [66].

Больное искусство Байрона своеобразно отражает больное, на гибель обреченное общество. Его гениальность в том, что он ощутил смертельный недуг задолго до того, как обнаружились его признаки, но он не увидел нового мира. Этим новым миром для Герцена была Россия.

4

Одной из первых работ Герцена о поднимающемся на Востоке новом мире была брошюра «Развитие революционных идей в России». Здесь Герцен выступил со своей концепцией русского исторического процесса, русской культуры, русской литературы. На русскую историю взглянул он с точки зрения революционера, конечно, «дворянского революционера». Для последнего момент политический, взаимоотношение так называемого «общества» с властью, имел в ней преобладающее значение. Классовая природа исторических явлений учитывалась мало или даже умалялась в своей роли. Из политики выхолащивалась ее классовая сущность. Не прикрепленная к определенным классам, политика могла становиться революционной там, где меньше всего можно было этого ожидать. Так, Петр I «был истинным представителем революционного принципа, скрытого в русском народе» [67]. Этот «самодержец всея России, Белой и Червонной, Великой и Малой» был для Герцена «по существу и якобинцем, когда еще не было якобинства во Франции, и террористом» [68]. Последствия революционного дела Петра растянулись на целое столетие.

Петр I совершенно отделил дворянство от народа, и это имело громадное значение. Это — зло, но такое, которое является необходимым условием добра. «С петровского разрыва на две Руси, — писал Герцен в 1847 г., возражая славянофилам, — начинается наша настоящая история; при многом скорбном этого разъединения, отсюда — все что у нас есть: смелое государственное развитие, выступление на сцену Руси как политической личности и выступление личностей в народе, русская мысль приучается высказываться, является литература... народная поэзия вырастает из песен Кирши Данилова в Пушкина» [69].

Не будь отрыва, прежде всего для Герцена, — культурного отрыва дворянства от народа, русская личность не могла бы выработаться, выйти из общинной непосредственности. Она потонула бы в бессознательной общинной жизни. Дворянство и представляет по отношению к общине «индивидуальный принцип». Создавая его в русской жизни, власть являлась носительницей революционной идеи, шла вместе с мыслью, с цивилизацией. Все лучшие элементы дворянства, его «светлая закраина», поддерживали власть, которой были обязаны своим существованием. В дворянстве сосредоточивалось все умственное и политическое движение. «История России со времени реформы Петра Великого... является историею лишь русского правительства и русского дворянства», — пишет Герцен.

Это совершенно ложное представление, игнорирующее роль масс в историческом процессе, связано с тем, что в понимании Герцена русское дворянство отличается от западного отсутствием кастового духа. В помещичьем классе преобладает для Герцена сословный, юридический признак над классово-экономическим. «...Дворянство, учрежденное Петром I, — не замкнутая каста; напротив того, оно беспрестанно вбирает в себя все, что выходит из демократической почвы, и возобновляется в своем основании... Было бы нелепо искать какого бы то ни было единства в классе, включающем в себя и бывших солдат, подьячих и поповских сыновей до собственников сотен тысяч крестьян» [70].

Конечно, — «было бы нелепо» при той постановке вопроса, которую дает «дворянский революционер». В сословном конгломерате исчезает у него помещичий класс. Сословие в целом является носителем надклассовой культуры и прогресса. «Революция 48 года показала нам, что самые откровенные и последовательные демократы — те, которые по роду и воспитанию принадлежали к аристократии, как Де-Флор, как граф Ворцель. Точно так же не было у нас свирепейших защитников дворянских прав, как их управляющие, которые обыкновенно не отличаются столбовым происхождением» [71].

Это не значит, что Герцен не знал цены помещичьему классу, когда подходил к нему конкретно. Но «светлая закраина» его праведников перевешивала всех его грешников. «Казалось бы, что могло зародиться, вырасти, окрепнуть путного на этих грядах между Аракчеевыми и Маниловыми? Что воспитаться этими матерями, брившими лбы, резавшими косы, колотившими прислугу, этими отцами, подобострастными перед всем высшим, дикими тиранами со всем низшим? А именно между ними развились люди 14 декабря, фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Оно им пошло впрок! Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия. Но кто же их-то душу выжег огнем очищения, что за непочатая сила отреклась в них-то самих от своей грязи, от наносного гноя и сделала их мучениками будущего?..

Она была в них — для меня этого довольно теперь...» [72].

Этими лучшими представителями дворянства завершается эпоха Петра и начинается новая эпоха. Если первую характеризует разрыв дворянства с народом во имя цивилизации и связанного с нею развития личности, то последняя определяется разрывом с властью во имя цивилизации и личности же. Испугавшись французской революции, власть отказалась от своей культурной миссии. Из просветительской она стала мракобесной. Тогда столкновение между цивилизацией и абсолютизмом, переставшим быть просвещенным, стало неизбежным. «Первый бой между ними произошел 14 декабря» [73]. Он кончился поражением цивилизации: порвав с деспотизмом, она оставалась оторванной от народа, погруженного в свой вековой сон. «С тревогой стали замечать отсутствие народа. Увидели, что все здание русской цивилизации как бы висит в воздухе...» [74]. Высший подъем дворянской революции был и ее концом. «Дворянским революционерам» следующего поколения, к которому принадлежал и сам Герцен, пришлось искать других путей, не ограничиваясь пределами своего класса.

Такова историческая концепция Герцена.

Какое же место отводится ею литературе? Литература чрезвычайно точно отражает взаимоотношения власти и «цивилизации». Насильствен-

но насаждая цивилизацию, власть вводит литературу как особого рода государственную службу... Но чуждая вначале народной жизни, народной поэзии, «эта искусственная литература, пересаженная с Запада и подкрашенная немецкой настойкой... пустила очень живучие корни в каменистую, твердую, прикрытую грязью почву и развивалась там болезненно, но упорно, пока не почувствовала себя сколько-нибудь свободной от педантов-наставников»[75]. Пока власть шла по пути культуры,



Н. А. ГЕРЦЕН С ДОЧЕРЬЮ ОЛЬГОЙ

Дагерротип, 1851 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

литература была с ней, направляя все свои стрелы против косной среды, по существу, враждебной культуре, искажающей ее. «Начинавшая распускаться под эгидою правительства цивилизация оставалась еще у ступенек трона с искренним поклонением перед Петром Великим и всяким государем... Сродство литературы с правительством стало еще более явным при Екатерине II. У нее свой поэт — поэт с большим талантом, — он по влечению и любви обращается к ней с посланиями, одами, гимнами и сатирами: он на коленях перед нею, у ее ног, но он не низок душою, он не раб»[76].

Но культурный человек XVIII в. не мог не ощутить свое одиночество в окружавшей его варварской среде, все уродство поверхностного европеизма, смешения плохо усвоенных внешних форм цивилизации с исконным варварством.

Если русская литература в лице Державина «воспела» казовую сторону петровской реформы, то в лице Фонвизина и др. она коснулась обратной стороны медали. Самое историческое положение вызывало необходимость сатирического направления, которое в дальнейшем могло только расширяться и укрепляться. Оторванная от народа, литература должна была обратиться к «патологическому вскрытию» последствий того отрыва привилегированной верхушки от массы, который был вызван реформой. Подлинные носители просвещения не могли не ужаснуться этих последствий. Фонвизин «был первый автор, в писаниях которого прорезывался демонический принцип сарказма и негодования, принцип, который должен был с тех пор пройти через всю русскую литературу и стать в ней господствующим... Этим смехом мы порываем с общностью между нами и этими пресмыкающимися, которые не умеют ни сохранить варварство, ни усвоить цивилизацию и которые одни только выплывают на официальную поверхность русского общества. Неутомимый протест шаг за шагом обличает эту аномалию. Протест был горячий, безостановочный» [77].

Литература, по Герцену, становится выше своего класса. Она в оппозиции к нему во имя подлинной культуры, которая для Герцена имеет надклассовый характер.

Когда литература выбилась из-под правительственной опеки, когда она в своем неудержимом развитии пошла дальше, чем хотелось покровительствовавшей ей власти, последняя заключает против нее союз с косной, варварской средой.

Этот обратный процесс начался еще при Екатерине, напуганной доносившимися до нее раскатами революционной грозы. Радищев «написал серьезную, печальную, полную слез книгу. Он осмелился поднять голос в защиту несчастных крепостных. Екатерина II сослала его в Сибирь, сказав, что он опаснее Пугачева. Насмехаться было безопаснее: крик ярости принял личину смеха, и вот из поколения в поколение стал раздаваться зловещий и безумный смех, который силился разорвать всякую солидарность с этим странным обществом, с этой нелепой средой, и который, боясь быть смешанным с ней, указывал на нее пальцем» [78].

Этот «крик ярости, принявший личину смеха» раздался во всей своей силе уже после того, как дело Петра завершилось, когда насажденная властью цивилизация обратилась против власти, когда эта цивилизация, созданная в отрыве от народа, стала искать путей к нему, чтобы просветить его и укрепиться самой, наполниться живым содержанием национальной жизни.

В период общественного подъема, декабристского движения, создается национальная литература. Она становится органом дворянской революции. Ею жив бессмертный смех грибоедовской комедии. Герой последней — «Чацкий — это декабрист, это человек, который завершает эпоху Петра I» [79].

Неоднократно Герцен указывает на связь литературной традиции с традицией декабристской.

«Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед... В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками... я помню появление первых песен «Онегина» и первых сцен «Горе от ума» ...я помню, как, перерывая смех Грибоедова, ударяя словно

колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева звал на бой и гибель, как зовут на пир...»[80]

От декабристов считает Герцен не только «героическую генеалогию» русской революции, но также и славную генеалогию русской литературы.

Среди декабристов «была юность, ширь, поэзия, Пушкин, рубцы 1812 года, зеленые лавры и белые кресты» [81].

В установлении теснейшей связи между творчеством Пушкина и делом русской революции — большая заслуга Герцена. Он чувствует в Пушкине «негодование от полноты сил»[82]. В самой пушкинской поэзии, даже независимо от ее темы, было освобождающее, революционное начало. Пушкин из раба делал свободного духом человека, пробужденное достоинство которого противилось неволе, унижению, муштре. Это чувствовала реакция, и ей нельзя было отказать в проницательности. Она боялась Пушкина, ненавидела его и из-за угла убила поэта. Но и после своей гибели его бессмертная муза продолжала свое дело. Когда в глухую ночь николаевской реакции чувство безысходности овладело мыслящими людьми, «одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему. Поэзия Пушкина была залогом будущего и утешением»[83].

Вслед за Пушкиным — Герцен особенно настаивает на этом — «вся литература времен Николая была оппозиционной литературой, непрекращающимся протестом против правительственного гнета, подавляющего всякое человеческое право. Подобно Протею, эта оппозиция принимала всевозможные формы и говорила на всевозможных языках. Слагая песни, она разрушала; смеясь, она подкапывалась» [84].

В глухое время николаевской реакции литература первая опомнилась от удара, пришла в себя. «Философическое письмо» Чаадаева разбудило общество, прервало его десятилетнюю летаргию. Недаром Герцен сравнивал впечатление, произведенное им, с выстрелом, раздавшимся в темную ночь. Чтобы прервать тяжелый сон, нужны были сильные средства. И таким средством был чаадаевский пессимизм, чаадаевское отчаяние. Опровергнуть его можно было только изменением существующего порядка. Внушив это сознание, «Философическое письмо» явилось революционизирующим актом большого значения.

Аналогичное, но еще более глубокое действие на общество произвело творчество Лермонтова, непримиримое к окружающей действительности, полное ненависти к настоящему во имя недавнего прошлого. Отчаяние, безнадежность Лермонтова была также формой протеста человека внутренно свободного, который не может быть рабом и жить среди рабов.

«Он всецело принадлежит к нашему поколению. Мы все, наше поколение, были слишком юны, чтобы принимать участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы видели только казни и ссылки. Принужденные к молчанию, сдерживая слезы, мы выучились сосредоточивать, скрывать свои думы, и — какие думы! То не были уже идеи цивилизующего либерализма, идеи прогресса, то были сомнения, отрицания, злобные мысли. Привыкший к этим чувствам, Лермонтов не мог спастись в лиризме, как Пушкин. Он влачил тяжесть скептицизма во всех своих фантазиях и наслаждениях. Мужественная, грустная мысль никогда не покидала его чела, — она пробивается во всех его стихотворениях. То не была отвлеченная мысль, стремившаяся украситься цветами поэзии, нет, рефлексия Лермонтова — это его поэзия, его мучение, его сила» [85]. Ибо только через рефлексию, через

углубленное размышление о своем положении, через беспощадный анализ, не останавливающийся ни перед какими безотрадными выводами, можно было притти к новому подъему.

В эти годы реакции, когда пессимизм и отчаяние были единственными симптомами жизни пробуждающегося сознания, особый характер получил смех, это испытанное оружие независимой, прогрессивной мысли. Смех этот становится, как мы уже цитировали, «личиной ярости». «Не существует, кажется, другого народа в мире, который вынес бы это, и литературы, которая дерзала бы на это». Нет более последовательного в своем отрицании смеха: «великий смех Байрона и горькая насмешка Диккенса имеют предел, наша же неумолимая ирония, наш страстный самоанализ ни перед чем не останавливается, все разоблачает без всякого страха, так как у него нет ничего святого, что он мог бы профанировать»[86].

В этом смехе Герцен видел проявление столь дорогой ему свободы русского человека, — той свободы от предрассудков и традиций многовековой культуры, которые на западе мешают строительству новой культуры, нового мира.

Говоря о смехе, яростном до безумия, Герцен прежде всего имеет в виду Гоголя.

Вместе с Белинским он чувствует объективную правдивость творчества Гоголя, справедливость его суровой сатиры. Крепостническая действительность иного не заслуживала. Это была здоровая реакция придавленной, но упорной жизни народа.

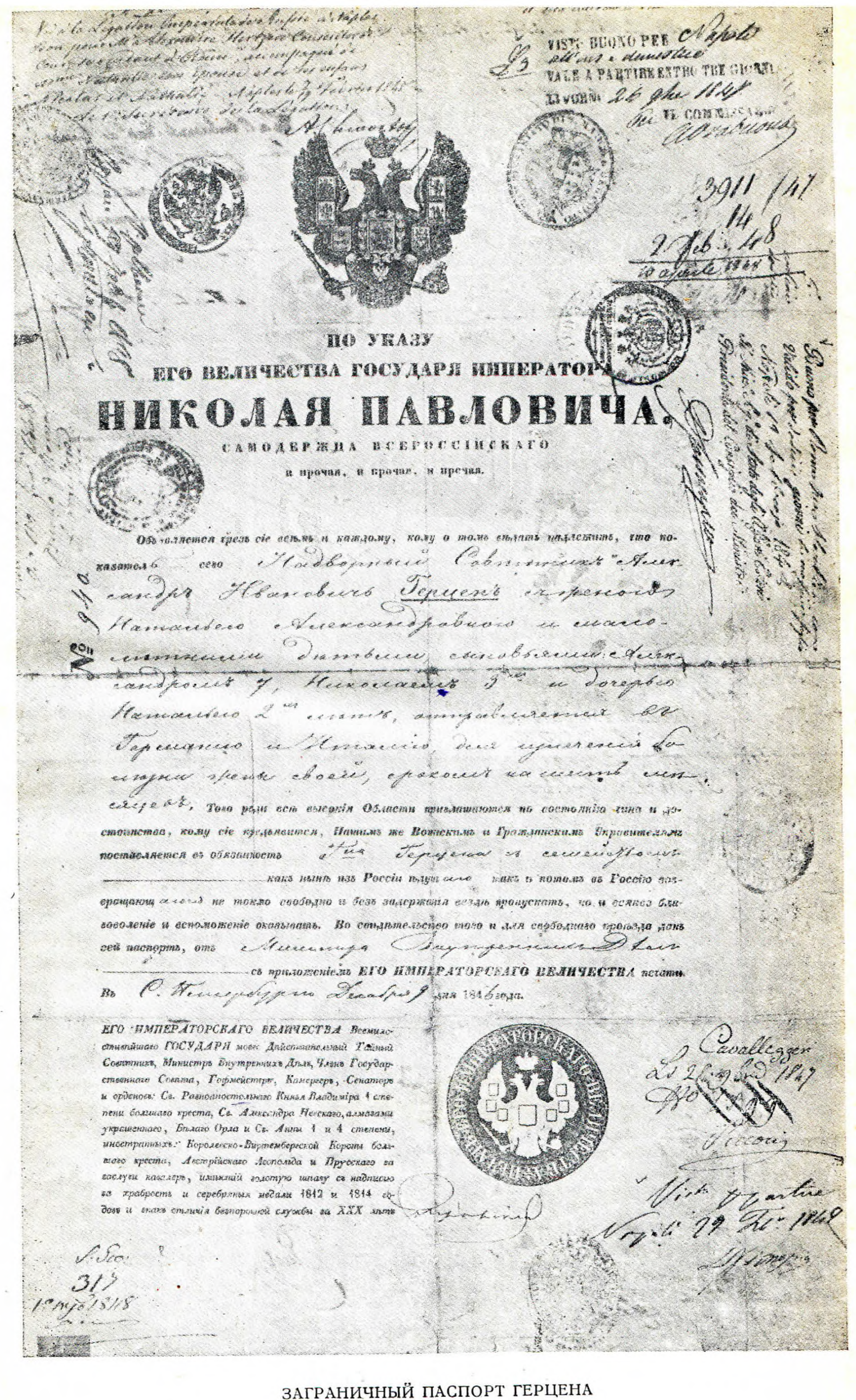
Фиксируя первое впечатление от «Мертвых душ» в своем дневнике, Герцен отмечает, что в них «жизнь сохранена во всей полноте»[87]. Книга ясно говорит о том, «в каком рве ада находимся...» Но объектом этого беспощадного смеха не является народ: «не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti — вот мертвые души», и показаны они без всякого преувеличения, без всякого шаржа: «мы их встречаем на каждом шагу»[88]. Так воспринимали Гоголя его лучшие современники, располагавшие достаточными основаниями для признания его реализма. Это верное и здоровое восприятие гоголевского творчества глубоко отлично от позднейшего — декадентского — отрицания его реализма. Для мыслителей-революционеров 40-х годов подобное отрицание свидетельствовало бы или о незнании действительности или о примирении с ее ужасами и злом.

Герцен видит революционность сатиры Гоголя, направленной против чиновника и, особенно, против дворянства, как господствующего класса.

«После «Ревизора» Гоголь обратился к поместному дворянству и выставил на показ... эту Россию дворянчиков... Благодаря Гоголю мы, наконец, увидели их выходящими из своих дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными и обжирающимися: рабы власти без достоинства и тираны без сострадания своих крепостных, высасывающие жизнь и кровь народа с тою же естественностью и наивностью, с какой питается ребенок грудью своей матери. «Мертвые души» потрясли всю Россию»[89].

Это обличение паразитизма господствующего класса, это, до известной степени, самообличение и, выражаясь в терминах Герцена, «искупление» его было необходимо и целебно.

«Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который испускает человек, унизившийся до пошлой жизни, когда вдруг он замечает в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы такой крик мог раздаться из чьей-либо груди, нужно, чтобы были и здоровые части, и большое



VISTO BUONO PER Napoli
VALE A PARTIRE ENTRO TRE GIORNI
IL GIORNO 26 ... 1847
IL COMMISSARIO

ПО УКАЗУ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА,
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО
и прочая, и прочая, и прочая.

№ 940

Объявляется чрезъ сіе всѣмъ и каждому, кому о томъ вѣдать надлежитъ, что показатель сего Надворный Совѣтникъ Александръ Ивановичь Герценъ с женою Натальею Александровною и малолѣтними дѣтьми сыновьями: Александромъ 7, Николаемъ 3 и дочерью Натальею 2 лѣтъ, отправляется въ Германію и Италію, для излеченія болѣзни жены своей, срокомъ на шесть мѣсяцевъ. Того ради всѣ высокія Области приглашаются по состоянію чина и достоинства, кому сіе принадлежитъ, Нашимъ же Военнымъ и Гражданскимъ Управителямъ повелѣвается въ обязанность Г-на Герцена съ семействомъ какъ нынѣ изъ Россіи выпускать, такъ и потомъ въ Россію возвращающихся не токмо свободно и безъ задержанія вездѣ пропускать, но и всякое благоволеніе и вспоможеніе оказывать. Во свидѣтельство чего и для свободнаго проезда данъ сей паспортъ, отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ съ приложеніемъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА печати. Въ С. Петербургѣ Декабря 9 дня 1846 года.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Всемилостивѣйшаго ГОСУДАРЯ моего Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Членъ Государственнаго Совѣта, Гофмейстеръ, Камергеръ, Сенаторъ и орденовъ: Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 1 степени большаго креста, Св. Александра Невскаго, алмазами украшеннаго, Бѣлаго Орла и Св. Анны 1 и 4 степени, иностранныхъ: Королевско-Виртембергской Короны большаго креста, Австрійскаго Леопольда и Прусскаго за заслуги кавалеръ, имѣющій золотую шпагу съ надписью за храбрость и серебряныя медали 1812 и 1814 годовъ и знакъ отличія безпорочной службы за XXX лѣтъ

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ ГЕРЦЕНА
Первая страница
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва



N 2056

Visto al Consolato Generale Pontificio
Buono per Civitavecchia o Roma
Genova li 24 Novembre 1847.
Il Consol Generale

Auf Befehl
Sr. Kaiserlichen Majestät
Nicolai des Ersten,
Selbstherrschers aller Reussen,
x. x. x.

Allen und jeden, denen daran gelegen, wird hiemit kund und zu wissen gethan, daß Vorzeiger ——— dieses

der Gesellschaft Alexander Herzen, nebst Gemahlin Natalie und minderjährigen Kindern, den Söhnen Alexander 7, Nikolai 3 und Tochter Natalie 2 Jahre alt, ... nach Deutschland und Italien reist.

Es ergehet deshalb an alle löbe Mächte, und an alle und jede, welchen Standes und welcher Würde sie auch seyn mögen, denen dieses vorzuzeigen ist, das Ersuchen, unsern Kriegs- und Civil-Beamten aber wird zur Pflicht gemacht, gedachten Hr. Gertzen mit d. Familie sowohl auf ihrer gegenwärtigen Hin- als Rückreise nach Rußland nicht nur frei und ungehindert passiren, sondern auch allen geneigten Willen und Beistand wiederfahren zu lassen. Urkund dessen und zu ihrer freien Reise, ist ihnen dieser Paß durch den Minister des Innern unter Seiner Kaiserlichen Majestät Insiegel ertheilet worden.

St. Petersburg den 2/14 Dezember 1846

Seiner Kaiserlichen Majestät, meines Allergnädigsten Herrn, Wirklicher Geheimer-Rath, Minister des Innern, Mitglied des Reichsraths, Hofmeister des Kaiserlichen Hofes, Kammerherr, Ingenieur und Ritter des Ordens des St. Wladimir 1. Klasse Groß-Kreuz, des St. Alexander-Newski mit Brillianten, des weißen Adlers, und der St. Anna 1. und 4. Klasse, so wie auch Ritter des Groß-Kreuzes des Ordens der Königlich Würtembergischen Krone, des Oesterreichischen Leopold- und Preußischen Verdienst-Ordens, Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift für Tapferkeit, der silbernen Medaillen für die Jahre 1812 und 1814 und des Ehrenzeichens für XXXjährigen tadellosen Dienst

unterzeichnet Peroffsky

N 476
3 Febraro 1848

N. 17 Rome le 23 Janvier 1848
3 Fevrier
Vu à la Légation ... pour M. Alexandre Herzen avec sa épouse ... se rendant à Naples.
Le secrétaire de la Légation

Roma 3. Febb. 1848
Visto alla Legazione di Sua Maestà Siciliana buono per Napoli ...

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ ГЕРЦЕНА
Вторая страница
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва


BUREAU DES PASSEPORTS
PREFECTURE DE POLICE
Paris le 14 Octobre 1847
GRATIS
Buono per Genova

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ ГЕРЦЕНА

Третья страница

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва



ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ ГЕРЦЕНА

Четвертая страница

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

стремление к реабилитации. Кто откровенно сознается в своих слабостях и пороках, тот чувствует, что они не составляют сущности его самого... что он способен еще искупить прошедшее...» [90].

В статье «Новая фаза русской литературы» Герцен еще раз возвращается к мысли, что в основе горького гоголевского смеха — здоровое начало. «Поэзия Гоголя, его скорбный смех, это — не только обвинительный акт против подобного нелепого существования, но и мучительный вопль человека, старающегося спастись прежде, чем его заживо похоронят в этом мире безумных. Подобный вопль мог вырваться из груди лишь при условии, если у человека... сохранилась громадная сила возрождения. Гоголь чувствовал и многие другие чувствовали с ним позади мертвых душ живые» [91].

Смысл этих высказываний довольно сложен. Гоголь служит Герцену залогом нравственного очищения, искупления целого класса, из которого вышел, искупления, понятого как отказ от своего привилегированного положения. Эта характерная для дворянского революционера иллюзия сказалась особенно сильно в обращении Герцена к русскому дворянству («Юрьев день! Юрьев день!»).

Он пишет здесь:

«Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которым искупается Россия в глазах других народов и в собственных своих.

Из ваших рядов вышли Муравьев и Пестель, Рылеев и Бестужев.

Из ваших рядов вышли Пушкин и Лермонтов» [92].

В своей речи по поводу XXIII годовщины польского восстания он говорит о дворянстве как о среде, «носящей в груди своей рядом с растлением и возмутительным подобострастием жгучие, сосредоточенные революционные страсти. Из нее вышли: Пестели, Муравьевы, Петрашевские, Бакунины» [93].

Сатира Гоголя выжигала в этой среде «растление и возмутительное подобострастие», будила революционные страсти или, по меньшей мере, чувство вины перед народом.

Но, с другой стороны, она подымала веру в народ.

Герцен воспринимает Гоголя как народного писателя, несмотря на дворянские элементы его творчества:

«Гоголь принадлежал к народу по своим вкусам и по складу своего ума... Он больше сочувствовал народной жизни, чем придворной...». Прежде чем сосредоточиться на «двух своих самых заклятых врагах: на чиновнике и помещике», Гоголь в своих украинских повестях дал ряд «наивных и прелестных образов», «картин... полных веселости, грации, движения и любви» из жизни народа.

Но и когда позднее Гоголь «оставляет в стороне народ» и сосредоточивается на своих отрицательных типах, Герцен чувствует в его творчестве дыхание океана народной жизни. Народ судит господствующие классы устами Гоголя.

«Грустно в мире Чичикова так, как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue, а имеет реалистическую основу: кровь как-то хорошо обращается у русского в груди» [94]. Такое же впечатление должна была, как увидим, производить на Герцена песня Кольцова.

Завершая цикл своего развития, русская литература дворянского периода упирается в проблему народа. Только в нем надежда на будущее, на выход русской жизни из того тупика, куда завела ее реакция после поражения дворянской революции.

Но эта литература, народная по своим идеалам, по своей критике

той среды, из которой вышла, так же «страшно далека от народа», как и дворянские революционеры.

«Внутри совершалась великая работа, — работа глухая и безмолвная, но деятельная и беспрерывная: всюду росло недовольство, революционные идеи за эти двадцать пять лет распространились сильнее, чем за целое столетие, которое им предшествовало, и все же они не проникли до народа»[95].

А судьба декабристов показала, что при безучастии народа революционное движение обречено на гибель. Только народ мог дать силу революционному делу.

5

Чтобы поднять народ, лучшие люди дворянства, его «светлая закраина», должны были объединиться с людьми, более близкими народу, которые вышли из его среды (или из среды, более тесно связанной с ним), но остались ему верны всеми своими чувствами и помышлениями.

Такое сближение началось еще в дворянский период истории русской революции. В литературе оно непосредственно отразилось такими явлениями, как поэзия Кольцова и критика Белинского.

Герцен чрезвычайно высоко ценил Кольцова. Два поэта, которые представляют для Герцена новую эпоху русской поэзии после Пушкина, это Лермонтов и Кольцов. «То было два сильных голоса, шедших с двух противоположных концов»[96].

Кольцов был дорог Герцену как живое свидетельство духовной силы народа. Мало того, как первый ответ народа на творческие усилия интеллигенции, как отклик его на поэзию Пушкина, как живой залог того, что лучшие люди дворянской интеллигенции и народа сойдутся и образуют «светлую закраину» не только одного класса, но всей великой страны.

«Новые песни вышли из самых недр деревенской России... Кольцов был всецело сыном народа... он написал народные песни, не много числом, но каждая из них — образцовое произведение. Это, действительно, — песни русского народа. В них меланхолия, составляющая их отличительное свойство, надрывающая душу грусть, удаль молодецкая[97]. Кольцов показал, сколько поэзии скрыто в душе русского народа и что после долгого и тяжкого сна в его груди что-то шевелится» (т. VI, стр. 375).

И тем еще ценней был для Герцена этот залог сближения «цивилизации» с народом, что Кольцов не оставил народа, не перешел к высшим классам, а остался до конца среди него, таким же человеком народа, каким начал свой творческий путь.

Представителем другого, более близкого к народной массе слоя, чем дворянская интеллигенция, был для Герцена В. Г. Белинский, который, по словам Ленина, еще при крепостном праве являлся «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении»[98].

Белинский шел тогда в одних рядах с лучшими представителями дворянской интеллигенции, но уже в 40-х годах Герцен почувствовал в нем революционного идеолога нового типа. Недаром Герцен называл Белинского «самой революционной натурой николаевского времени»[99].

Он видит в Белинском наиболее внутренне свободного человека среди деятелей той поры. То, что он пришел из более близкой народу среды, чем его друзья, обеспечило ему большую независимость от влияний дворянской культуры, от ее принятых на веру традиций и

мнимых истин, запечатлевшихся с детства в памяти, но не проверенных разумом. Он не отделял теории от практики, и тем серьезнее была его теоретическая мысль: «для него истины, выводы не были ни отвлеченностями, ни игрой ума, но вопросами жизни и смерти». Его анализ не ограничивался миром идей, а проникал во все области действительности.

Ни среда, ни положение не располагали его в какой-либо мере к ограничению критической мысли, и он «совершенно естественно восстал против половинчатых решений, робких заключений и малодушных уступок»[100]. Его «выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы», его «неустрашимая последовательность», его «живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными» — все это возвещало новую эпоху в истории русской литературы, как и новый период в истории русской революции. «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом»[101]. Дворянская революционность сменялась «мужицким демократизмом».

Конец «дворянского периода» в русской литературе Герцен почувствовал еще в начале 50-х годов. В «Развитии революционных идей в России» он указывает на социалистические тенденции новейшей литературы. Протест «против существующего строя общества с точки зрения более широкой, чем чисто-политическая», он видит в «Бедных людях» Достоевского[102].

Несколько позднее, в статье «О романе из народной жизни в России», он констатирует, что «Золушка вступает в бальную залу». Он объясняет этот факт тем, что «течение снизу стало брать верх»[103]. Рассказы из народной жизни Тургенева и Григоровича свидетельствуют о силе этого напора снизу.

Тургенев воссоздал в «Записках охотника» жизнь русского дяди Тома такими художественными средствами, которые помогли им пройти даже двойную цензуру, но заставили читателя дрожать от гнева изображением страшных, нечеловеческих страданий, в которых одно поколение за другим никнет без надежды, не только с оскорбленной душой, но и с изувеченным телом.

Впечатление от «Антона-Горемыки» Григоровича, прочитанного Герценом в Италии, было не менее сильно. «Я чувствовал угрызения совести: мне было стыдно находиться там, где я находился. Крепостной мужик, прежде времени изможденный, бедный, добрый, кроткий, невиновный и все же бредущий с цепями на ногах в Сибирь, неотступно преследовал меня»[104].

О той же победе «течения снизу» свидетельствовал роман того же автора «Рыбаки».

«Это жизнь мужика в неравной борьбе с помещиком... или злостными притеснениями... Это жизнь крестьянина *сама по себе*».

Однако, возвещая о конце дворянского периода литературы, эти и подобные им произведения еще не означали наступления нового периода.

До конца 50-х годов революционные элементы в русской общественности, — те элементы, которые не могли не выдвинуть социальные проблемы во весь рост и на первый план, еще не порывают с дворянским либерализмом.

В литературе эта ситуация отражалась тем, что дворянские художники и художники-демократы уживались еще в недрах одной «натуральной школы», в «сознательно-гоголевском направлении», к которому Герцен относил и «превосходные рассказы охотника» Тургенева, и произведения Григоровича, и комедии Островского. Но ни в них, ни в произведениях молодого Толстого, о даровании которого Герцен от-

зывается восторженно, он не видит еще «нового направления»[105]. Исключение, пожалуй, составлял для Герцена только Некрасов, которого он, при всей личной неприязни, умел высоко ценить как поэта, «очень замечательного своею демократическою и социалистическою ненавистью»[106]. Но и Некрасов в 1856 г., когда были написаны эти строки Герцена в письме к М. Мейзенбуг, еще шел рука об руку с дворянскими художниками. Все же время разрыва близилось. Чернышевский и Добролюбов поставили вопрос о дальнейшей судьбе русской литературы со всей свойственной им остротой. Для Герцена как «дворянского революционера» это было серьезным испытанием.

Положение Герцена между его сверстниками и «новыми людьми», которые во многом обязаны были ему своим развитием, исчерпывающе охарактеризовано Лениным в его знаменитой статье.

«...Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к «верхам»... Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму. Однако, справедливость требует сказать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх»[107].

Проследим эти колебания на его отношении к новой, революционно-демократической литературе и критике.

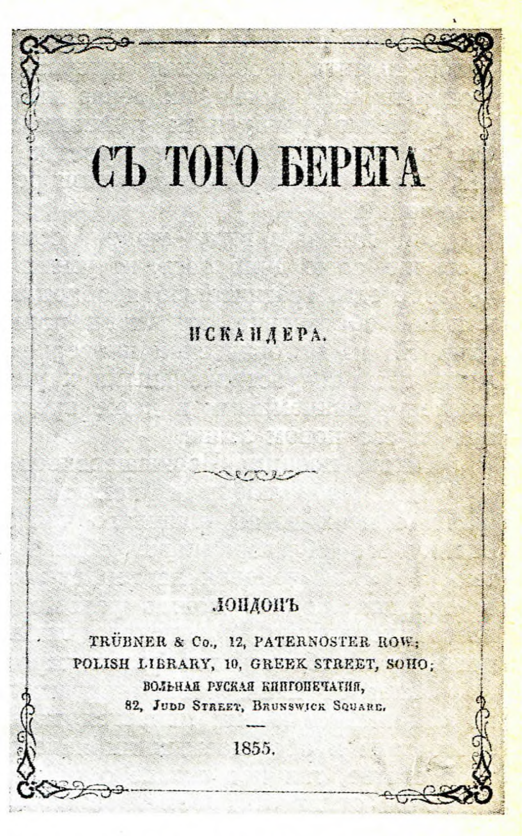
Когда «Современник» стал громить либеральное крохоборство в литературе, Герцен резко выступил против журнала. Отожествляя «гражданское направление нашей литературы» с либеральным «обличительством», смешивая с ним революционно-демократическое обличение Щедрина, Герцен своей грубо ошибочной и несправедливой статьей «Very dangerous!!!» оказал большую услугу врагам революционной демократии и нанес ущерб своему же делу. Здесь Герцен — незаметно, может быть, для себя самого — сближает «реальную критику» Чернышевского и Добролюбова с теорией... «чистого искусства». Упрекая Добролюбова за высокую оценку Обломова, Герцен пишет: «Суровая картина какого-нибудь «Перевоза», с телегами в грязи, с разоренными мужиками, смотрящими с отчаянием на паром и ждущими день, и другой, и третий, — вас не может столько занять, как длинная Одиссея какой-нибудь полузаглохшей, ледящейся натуры, которая тянется, соловеет, рассыпается в одни бесчисленные подробности. Вы готовы сидеть за микроскопом и разбирать этот гной (лишь бы не с патологической целью, — это противно чистоте искусства, искусство должно быть бесполезно, иногда может быть немного вредно, но подлая утилитарность его убивает)»...[108]

Это резкое расхождение Герцена и Добролюбова в оценке «Обломова» объясняется тем, что полемика с «Современником» осложнилась с самого начала для Герцена вопросом о «лишних людях».

Для Добролюбова Обломов был итоговым обобщением русской литературы, ее основного до сих пор типа «лишнего человека». Роман Гончарова был для революционно-демократического критика тем зеркалом, в котором должны были узнать себя все «лишние люди». С этим Герцен согласиться не мог. В статье «Very dangerous» Герцен впервые выступает со своей защитой «лишнего человека», которую продолжит в статьях «Лишние люди и желчевики», «Еще раз Базаров» и др.

«Мы, — пишет он, возражая Добролюбову, — совсем напротив, без зевоты и отвращения не можем следить за физиологическими опи-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ГЕРЦЕНА «С ТОГО БЕРЕГА»



саниями каких-то невских мокриц, переживших тот героический период свой, в который их предки — чего нет — были Онегины и Печорины»[109].

Для Герцена Обломов — не итог, не обобщение; это не отражение сущности «лишнего человека», а вырождения, разложения его.

«Лишний человек» николаевской эпохи совпадает для Герцена с человеком вообще. В эту эпоху тот, кто развил в себе гуманное начало, не мог не быть лишним. «Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет лишних людей, теперь, напротив, к этим огромным запашкам рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле пустой человек, свищ или лентяй. И оттого, очень естественно, Онегины и Печорины делаются Обломовыми»[110], но, вопреки Добролюбову, не были Обломовыми.

«Дворянский революционер» Герцен страстно защищал «лишних людей» против «желчевиков» — революционных демократов.

Мы сейчас можем объективно отнестись к спору и к предмету спора.

Речь шла о том, кому должна была принадлежать гегемония в освободительном движении — дворянам или революционным разночинцам. В этом споре последние были беспощадны, и не могли не быть беспощадны. Отмена крепостного права была тем пределом, дальше которого дворянский либерализм не шел по пути социального преобразования. Рассчитывать на его помощь революционные демократы не могли. Мало того, они не могли не предвидеть, что дворянский либерализм скоро станет им враждебен, соединится с их врагами. Об этом надо было сказать «молодому поколению». Указывая ему на новый, революционный путь, надо было оттолкнуть его от старого, лишить

обаяния тех представителей «старого», которых идеализировала со всей силой таланта дворянская литература. Надо было показать, насколько чужда их психология, их образ мыслей новой силе русской революции.

Конечно, нападая на «лишних людей», Чернышевский и Добролюбов не имели в виду декабристов, не имели в виду Герцена и всех тех, кто и в эпоху николаевской реакции умели держать высоко знамя революции.

Они имели в виду людей, обнаруживших в эпоху реакции свое бессилие, свою дряблость, но умевших из самых своих пороков сделать добродетель, трагическую необходимость, трагическую жертву. Теперь, в новой обстановке, эти люди подняли голову и пытались что-то делать. Но на исторической проверке они оказались дюжинными либералами, весьма чувствительными к ущемлению своих привилегий и совершенно никчемными и даже вредными для освободительного движения на его новом этапе.

Такова позиция Чернышевского и Добролюбова.

Если Добролюбов с исключительной силой публициста-сатирика писал о психологии «лишнего человека», то Чернышевский дал переоценку его «благородного» образа мыслей. Читая его известную статью «Русский человек на rendez-vous», нетрудно убедиться в том, что в «лишних людях» вождь революционной демократии громит прежде всего идеологию дворянского либерализма, показывает ее чуждость, даже враждебность интересам народа.

Отказ от наследства «лишних людей», от всякой преемственности по отношению к ним является последовательным выводом из анализа этого типа и обобщаемых им явлений действительности, данного как в этой статье, так и в статье о «Губернских очерках» Щедрина и др.

Этот отказ от преемственности классически выражен Чернышевским в следующих словах о «лишнем человеке»:

«Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него было бы нам хуже. Все сильней и сильней развивается в нас мысль, что это мнение о нем — пустая мечта, мы чувствуем, что недолго уже остается нам находиться под ее влиянием, что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить...» [111].

Приведенные строки написаны в 1858 г., и, ознакомившись с ними, Герцен мог понять, насколько противоположна была позиция руководителей «Современника» его позиции.

Герцен противопоставляет «лишнего человека» его среде, Чернышевский и Добролюбов отожествляют. Герцен в то время еще не отказался от надежды на дворянство, на его лучших людей, — Чернышевский считает, что выше ограниченного либерализма не могут подняться и эти «лучшие люди», если они не порвали со своим классом.

Чернышевский и Добролюбов видят в «лишних людях» и разночинцах представителей двух классов, интересы которых непримиримы. Для Герцена — это представители двух поколений, из которых старшее связует младшее с великим поколением декабристов.

«...Писарев представляет генеалогическое дерево Базарова: Оне-

гины и Печорины родили Рудиных и Бельтовых, Рудины и Бельтовы — Базарова. (По воле или поневоле выпущены декабристы, не знаю)» [112].

Чернышевский и Добролюбов подчеркивают со всей силой таланта то, что отделяет их от «лишних людей», Герцен то, что сближает.

Герцен взывает к объективности. В пылу ожесточенной социально-политической борьбы он спрашивает с недоумением и укором: «Неужели за одной природой остается право, что ее фазы и ступени развития, отклонения и уклонения... изучаются, принимаются, обдумываются sine ira et studio, а как дойдет дело до истории — тотчас в сторону метод физиологический, и на место его уголовная палата и управа благочиния» [113].

Но и он далек от объективности, перенося на «лишних людей» как типичное явление те черты, которые ему дороги и близки, и отвлекаясь от их отрицательных черт.



ДОРОЖНЫЙ ДИЛИЖАНС
Рисунок из альбома М. Ховриной
Литературный музей, Москва

Беря под защиту «лишних людей», он отожествляет их с собой. В статье «Еще раз Базаров» он готов доказать герою «Отцов и детей», «что у Рудиных и Бельтовых иной раз бывает и воля, и настойчивость, и что, видя невозможность деятельности, к которой они стремились по внутреннему влечению, они бросали многое, уезжали на чужбину и заводили... русскую книгопечатню и русскую пропаганду» [114].

В четвертом «Письме к будущему другу» Герцен, вспоминая об Орлове и Чаадаеве, замечает: «Орлов и Чаадаев были первые лишние люди, с которыми я встретился» [115].

Таким образом, родоначальники «лишних людей» для него — уцелевшие обломки великого поколения дворянских революционеров, которым действительно нечего было делать в подавленном, терроризированном обществе.

И в них — первых — и в последовавших за ними «лишних людях»

он видит общую черту, которая заставляет его солидаризироваться и с последними: трагизм цивилизации, оторванной от порабощенного народа, и тем самым порабощенной и подавленной. Отрыв от народа обрекает ее представителей на жестокие нравственные страдания.

«Цивилизация и рабство, — пишет Герцен по поводу Онегина, даже без всякого «лоскутка» между ними, который помешал бы, чтобы нас размололо изнутри или внешним образом между этими двумя крайностями, насильно сближенными. Нам дают обширное образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира и нам кричат: «Оставайтесь рабами, немыми, бездеятельными — или вы погибли». В награду нам оставляют право сдирать шкуру с крестьян и спускать на зеленом сукне или в кабаке собираемые нами с них подати кровью и слезами» [116].

Несомненно, что в «дворянских революционерах» последекабристской эпохи была эта трагическая черта, несомненно, что культура, оторванная от народа и противопоставленная деспотизму, была обречена на бессилие; Ленин писал о революционерах герценовского типа: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа» [117]. И этот отрыв от народа их «узкого круга» порождал в них черты, общие «лишним людям». Герцен мог почувствовать себя уязвленным критикой их со стороны революционных демократов, хотя меньше всего она была направлена против людей, подобных ему. Герцен требовал амнистии для «лишних людей» в прошлом, исторической справедливости. Он различал «два разряда лишних людей, между которыми сама природа воздвигала Обломовский хребет, а генеральное межевание истории вырыло пограничную яму, именно ту, в которой схоронен Николай» [118]. Он соглашался осудить тех, кто не перестал быть «лишним» и за пределами николаевской эпохи.

Но для Чернышевского и Добролюбова меньше всего дело шло о прошлом. Их больше беспокоили претензии Бельтовых, нашедших теперь свое место в лагере дворянского либерализма и окруженных ореолом благородных жертв деспотизма. Их-то они, прежде всего, и хотели развенчать.

6

Если полемика Герцена с Чернышевским и Добролюбовым о «лишних людях» была одним из его отступлений от «демократизма к либерализму» и могла быть использована последним в его борьбе с революционной демократией, то этого никак нельзя сказать о его выступлениях по тому же вопросу в изменившейся политической обстановке. После 1862 г., когда реакция в союзе с либералами выступала единым фронтом против революционного движения, самое признание исторической преемственности наиболее ненавистного для его врагов явления — «нигилизма», органической связи его с самыми лучшими идеями, традициями, людьми прошлого — было уже чрезвычайно прогрессивным актом.

«Декабристы, — говорит Герцен, — наши великие отцы, Базаровы — наши блудные дети» [119].

«Блудные» в том весьма ограниченном смысле, что по своей молодости и неопытности вдаются в совершенно ненужную утрировку того глубоко-истинного и справедливого, что унаследовано ими от «отцов».

Это унаследованное — тот самый н и г и л и з м, который так бесил реакцию.

«Нигилизм» — это столь дорогая Герцену «совершеннейшая сво-

бода от всех готовых понятий, от всех унаследованных обструкций и завалов, которые мешают западному уму итти вперед с своим историческим ядром на ногах...» [120].

Базаровщина являлась для Герцена одним из подтверждений его философско-исторической концепции.

Взяв у Тургенева слово «нигилизм», он вскрывает его истинное содержание, противоречащее этому имени, которое так использовала реакция.

«Нигилизм не превращает что-нибудь в ничего, а раскрывает, что ничего, принимаемое за что-нибудь, оптический обман, и что всякая истина, как бы она не перечила фантастическим представлениям — здоровее их и во всяком случае обязательна» [121].

Такое понимание «молодого поколения» совпадало с пониманием лучших его друзей и защитников, как, например, Салтыкова-Щедрина, высказывавшегося в своих общественных хрониках той поры в том же духе.

В своей оценке тургеневского романа Герцен поднялся и над близорукой критикой Антоновича, и над наивно-реалистическим взглядом Писарева.

Он правильно подметил тенденциозность «Отцов и детей», направленную против революционной демократии и ограничившую реализм великого художника.

Если в «Накануне» Тургенев был увлечен «прогрессивным потоком», то в «Отцах и детях», «подхваченный противоположным течением, Тургенев... хотел дать головомойку молодому поколению, постоянно противопоставляя ему поколение предшествующее... которое, однако, не отличалось, вообще, ничем, кроме своего пассивного ничтожества и своей хлопотливой бесполезности».

«Время, тип, все было выбрано неудачно. Роман, появление которого совпало с возникновением реакции, обрушивался на тех же самых лиц, что и она, высмеивал те же самые идеи и те же ошибки, так же преувеличивая их, наконец, употреблял то же слово нигилизм, которым пользовались [вернее было бы сказать: воспользовались! *А. Л.*] московские реакционеры... А между тем этот термин в применении к молодым людям, преданным своему делу, т. е. науке, был лишен всякого смысла» [122].

И вместе с тем Герцен далек от того, чтобы увидеть в «Отцах и детях» лишь клевету на «молодое поколение». Для него это произведение «величайшего современного русского художника» полно глубокого смысла, как хотя и одностороннее, но замечательное по своему значению отражение действительности.

«Тургенев был больше художником в своем романе, чем думают, и оттого сбился с дороги, и по-моему очень хорошо сделал — шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую» [123].

«Странные судьбы отцов и детей! Что Тургенев вывел Базарова не для того, чтобы погладить его по головке — это ясно, что он хотел что-то сделать в пользу отцов — и это ясно. Но в соприкосновении с такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирсановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и вместо того, чтоб посечь сына, он выпорол отцов. Оттого-то вышло, что часть молодого поколения узнала себя в Базарове» [124].

Художественным дефектом тургеневского романа, объясняющимся ограниченностью мировоззрения автора, было, с точки зрения Герцена, то, что Тургенев не сумел сопоставить с Базаровым достойных представителей «старого поколения». Но при таком сопоставлении и самого романа «Отцы и дети» не было бы, а было бы нечто другое.

Тургеневские «лишние люди» далеко не всегда совпадают с «лишними людьми» в представлении Герцена: «Зачем у меня нет такого таланта, как у И. Тургенева, — пишет Герцен в «Письмах к будущему другу», — какую бы я составил группу праздных и затерянных людей, чтоб помирить детей с отцами»[125].

Тургенев обидел «отцов», отделив их непроходимой пропастью от «детей», и потому не понял и «детей», органически связанных с «отцами», — не Кирсановыми, конечно. Неверно представляя себе прошлое, он не сумел проследить истории нигилистов, вернее, истории революционного разночинца.

«Что за задача — раскрывать истину с терпением Агассиса, наблюдающего день и ночь зародыш черепахи, улавливать связь, существующую между горечью сына и лихоимством, неизбежным воровством отца, исследовать, как слезы матери превращаются в социалистические мечты! Да, подобная задача стоила труда. Но для этого надо было быть независимым от каких бы то ни было влияний.

А Тургенев сделал из своего нигилиста «буку-племянника», наделенного кучею всяческих пороков, какие только мы знаем, пороков, которые он боится исследовать глубже их наружного покрова»[126].

Оценка этих «пороков» была бы иной, если бы Тургеневу не изменило чувство исторической перспективы, если бы он понял ту роль, которую разночинцы уже сыграли в истории страны.

Ни до, ни после «Отцов и детей», как показывают воспоминания Тургенева о Белинском, он этой роли не понимал.

Разночинцы для Тургенева были без роду и племени. «Нигилизм» был для него именно новым «веянием», вдруг пронесшимся в воздухе. Это веяние глубоко чуждо «отцам». Именно потому «отцы» и оказались у Тургенева такими жалкими.

Для Герцена же «нигилисты» — продолжатели славной исторической традиции, подлинные преемники Белинского, которого лучшие из либералов, как Тургенев, пытались от них оторвать.

В сознании Герцена «сын мелкого чиновника, не желающий служить, как Белинский, сын священника, который становится светским деятелем, как Чернышевский, наконец, бедный провинциальный дворянчик, барин-пролетарий, как Гоголь», глубоко связаны друг с другом и открывают новую главу русской истории и литературы. Уже в 40-х годах представляемый ими слой заменяет дворянство, как «живая среда, которая набирала свою силу и снизу, и сверху. И чем дальше мы подвигаемся, тем больше убеждаемся, что именно этот неустойчивый слой, занимающий промежуточное положение между растущей бесплодностью верхов и некультурной плодовитостью низов, призван спасти цивилизацию для народа»[127].

К тому времени, когда писались эти строки, от прежнего недовольства Герцена «желчевиками» остался лишь упрек:

«Эти новые люди внесли в литературные формы некоторую жестокость, раздражение, нечто резкое, неумолимое; им недостает снисходительности и иногда изящества»[128].

Сам во многом предшественник демократической литературы (не только как публицист, но и как автор романа «Кто виноват?» и других беллетристических произведений), Герцен если не по своим эстетическим взглядам, то по литературным вкусам, мог расходиться с разночинцами. Это сказалось, например, в его отзыве на «Что делать?» Чернышевского. Признавая этот роман «очень замечательной вещью», находя в нем «бездну хорошего», Герцен считал, что он «писан языком ученой передней... Что за представители семинарии и Васильевского острова!»[129].

Но если подобные высказывания нельзя игнорировать, то и переоценивать их не следует. Когда мы имеем дело с такими высокоинтеллектуальными натурами, как Герцен, то не должны забывать, что вкусы — это еще не убеждения. Убеждения Герцена заставляли его в последний период деятельности преодолевать свои несогласия с революционной демократией. Вкусы и на них основанные оценки были у Герцена остаточными переживаниями, пережитками старого барства [130].

И какое значение имели они перед сознанием, что разночинцы спасли цивилизацию для русского народа! Это сознание имело совершенно конкретный исторический смысл. Именно разночинцы вывели Россию из тупика николаевской реакции, выручили русскую культуру после поражения дворянских революционеров.

Все попытки николаевской реакции подчинить себе русскую культуру (литературу и преподавание) разбились о глухое сопротивление. «Кто же сделал это? Это сделал новый кряж людей, восставший внизу и вводивший исподволь свои новые элементы в умственную жизнь России. Он приобретал больше и больше права гражданства в ней в продолжение того времени, как Николай сбивал верхушки и грубыми ударами уродовал оранжерейные и нервно-развитые организации» [131].

Признав, как мы видели раньше, что революционные разночинцы имеют свою историю, что преследуемый реакцией «нигилизм» продолжает развивать лучшие идеи 40-х годов, Герцен идет, таким образом, еще дальше. *Уже в прошлом* за разночинцами имеются величайшие исторические заслуги. «Аристократическая Россия отступала на второй план, ее голос стал слабеть; может она, как Николай, была

ПИСЬМА

ИЗЪ

ФРАНЦІИ И ИТАЛІИ

ИСКАНДЕРА.

(1847—1852)

Изданіе Второе Н. Трюбнера

LONDON,

TRÜBNER & Co., 60, PATERNOSTER ROW.

1858

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ГЕРЦЕНА «ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ»

сконфужена событиями 1848 года... Другая сила шла на смену, другая шеренга становилась на место истощившихся вождей и борцов.

Еще в людских устах раздавался звук погребальной проповеди Чаадаева, которая, шевеля многое в груди, не давала ничего, кроме утешений на том свете какого-то далекого будущего, а уже светлые звуки малороссийского напева неслись издали вместе с жартами и смехом, если не добродушным, то смехом здоровой груди, а уж в стертой журналистике, скучной в Москве и истасканной в Петербурге, вырезывались сильнее и ярче черты настоящего представителя молодой России, действительного революционера в нашей литературе»[132].

Это замечательное признание. Смысл его: уже в 40-х годах знамя революции перешло от дворян к разночинцам. Перешло потому, что в них наиболее полно выразилась дорогая Герцену черта русского народа, русской культуры — черта, которую он так ценил в Белинском и «в самом талантливом из преемников Белинского» — Чернышевском — свобода от фетишей, властных над теми, кто так или иначе связан с собственностью и оберегаем крепостническим государством.

В этой зависимости была причина слабости дворянства даже в наиболее революционную его эпоху. Герцен понимал это. Дворянство представляется ему в виде колеблющейся массы, сжатой между мужицким морем и царским деспотизмом, «боящимся снизу жакерий, сверху — ссылки в каторжную работу»[133].

О лучших людях дворянской интеллигенции Герцен еще до столкновения с «желчевиками» высказался, может быть и противореча себе тогда, так:

«Наши друзья представляют несчастное застрадавшееся, затомившееся благородное поколение, но не свежую силу, не надежду, не детский звонкий привет будущему»[134].

В 60-х годах, когда демократ взял в Герцене верх, он совершенно отказался от надежд на дворянство. Признание исторической преемственности между ним и новой Россией нисколько не означает тогда утверждения его роли в освободительном движении в дальнейшем.

Последний «дворянский революционер», Герцен признал крестьянскую демократию законной наследницей декабристов, всего лучшего в своем классе. Декабристы оставили наследство «... той среде, с которой подымается и растет на свет новая Россия, крепко подкованная на трудный путь, закаленная в нужде, горе и унижении, тесно связанная жизнью с народом, образованием — с наукой... Ей достается великое дело развития народного быта из неустроенных элементов его зрелой мыслью и чужим опытом. Она должна спасти народ русский от императорского самовластия и от него самого. Ее не тяготит ни родовое имущество, ни родовое воспоминание, в ней мало капиталов и вовсе нет привязанностей к существующему. Она стоит свободная от обязательств и исторических пут.

Предшественником ее был плебей Ломоносов, могучий объемом и всесторонностью мысли, но явившийся слишком рано... Она становится во весь рост только в Белинском и идет на наше русское крещенье землею, на каторгу, в лице петрашевцев, Михайлова, Обручева, Мартьянова и пр. Ее расстреливают в Модлине и разбрасывают по России в лице бедных студентов, ее, наконец, эту новую Россию, Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор... Удар за ударом бьет эту среду, она побита на голову, но дело не побито, оно меньше побито, чем 14 декабря, — плуг пошел дальше и глубже...

Для этой новой среды хотим мы писать и прибавить наше слово дальних странников к тому, чему их учит Чернышевский с высоты

КНИГА ЖОРЖ САНД «HISTOIRE DE VERITABLE GRIBOUILLE» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ГЕРЦЕНА Е. К. СТАНКЕВИЧ

Историческая библиотека, Москва

царского столба, о чем им говорят подземные голоса из царских кладовых, о чем денно и нощно проповедует царская крепость — наша святая обитель, наша печальная Петропавловская лавра на Неве.

Середь ужасов, нас окружающих, середь боли и унижений нам хочется еще и еще раз повторить им, что мы с ними (до сих пор подчеркнуто везде Герценом. — *А. Л.*), что мы живы духом и не хотим больше ни исправлять неисправимых, ни лечить неизлечимых, а хотим вместе с ними работать над отысканием путей русского развития, над разъяснением русских вопросов» [135].

Так 1 июля 1864 г. заканчивал Герцен свою статью, посвященную семилетию «Колокола». Этими словами полного отказа от либеральных иллюзий и полной солидарности с революционной демократией подводится итог и нашей статье.

Одна из выдающихся заслуг Герцена в том, что он один из первых у нас поставил вопрос о связи эстетики и революции; что он, человек 40-х годов, несмотря на все разногласия с шестидесятниками, отрицал, иногда вопреки им самим, их отрыв от предшествующего, «дворянского периода» русской культуры в его высших достижениях; что он понял великое значение поэзии Пушкина для русской революции, мыслил ее в неразрывной связи с декабризмом. Историко-литературная концепция Герцена в той последней редакции, которая дана ей в 1863 г., в статье «Последняя фаза русской литературы», была полным признанием того, что разночинная литература — необходимый и плодотворный результат всего предшествующего литературного развития. В понимании ее исторических связей, ее обусловленности всем лучшим в литературе дворянского периода, в понимании народности полученного от нее наследства — во всём этом Герцен опередил свое время.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 468.
[2] Герцен, т. XII, стр. 57.
[3] Герцен, т. II, стр. 390—391.
[4] Герцен, т. I, стр. 112. Подчеркнуто нами. В дальнейшем в цитатах из Герцена будут оговорены лишь подчеркивания оригинала.
[5] Герцен, т. XII, стр. 76.
[6] Герцен, т. II, стр. 399.
[7] Там же.
[8] Герцен, т. III, стр. 126.
[9] Герцен, т. I, стр. 400. Подчеркнуто Герценом.
[10] Там же, стр. 293—294.
[11] Там же, стр. 295.
[12] Герцен, т. VI, стр. 31.
[13] Герцен, т. I, стр. 297.
[14] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 143. Подчеркнуто нами.
[15] Там же, стр. 142.
[16] Там же, стр. 143.
[17] Герцен, т. I, стр. 147.
[18] Герцен, т. XII, стр. 152.
[19] Там же, стр. 304.
[20] Герцен, т. I, стр. 140—141.
[21] Герцен, т. V, стр. 150.
[22] Там же, стр. 151.
[23] Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XV, ч. I, стр. 203.
[24] Там же, стр. 204. Подчеркнуто нами.
[25] Герцен, т. II, стр. 401.
[26] Герцен, т. III, стр. 189.
[27] Там же, стр. 180.
[28] Там же, стр. 264—265.
[29] Там же, стр. 262.
[30] Там же, стр. 190.
[31] Там же, стр. 265.
[32] Там же, стр. 180—181.
[33] Там же.
[34] Там же, стр. 181. Подчеркнуто Герценом.
[35] Там же, стр. 189. Подчеркнуто Герценом.
[36] Герцен, т. IV, стр. 125. Подчеркнуто Герценом.
[37] Герцен, т. III, стр. 187.
[38] Там же. Подчеркнуто Герценом.
[39] Герцен, т. II, стр. 465. Подчеркнуто Герценом.
[40] Там же, стр. 381. Подчеркнуто Герценом.
[41] Там же. Подчеркнуто Герценом.
[42] Герцен, т. VI, стр. 1.
[43] Герцен, т. XV, стр. 260—261, 264.
[44] Там же, стр. 263. Подчеркнуто Герценом.
[45] Там же, стр. 256.
[46] Герцен, т. XIII, стр. 395.
[47] Там же, стр. 392.
[48] Герцен, т. V, стр. 132.
[49] Там же, стр. 134—135.
[50] Герцен, т. III, стр. 37.
[51] Герцен, т. VIII, стр. 348.
[52] Там же, стр. 398—399.
[53] Герцен, т. XV, стр. 263—264.
[54] Там же, стр. 247.
[55] Там же, стр. 216.
[56] Герцен, т. I, стр. 216.
[57] Герцен, т. XIV, стр. 701—702.
[58] Там же, стр. 703.
[59] Герцен, т. XV, стр. 254.
[60] Герцен, т. XIII, стр. 387.
[61] Там же.
[62] Герцен, т. XIII, стр. 389.
[63] Там же, стр. 388.
[64] Там же.
[65] Герцен, т. XV, стр. 254.
[66] Там же. Подчеркнуто Герценом.
[67] Герцен, т. VI, стр. 325.

68 Там же, стр. 345.
69 Герцен, т. V, стр. 123.
70 Герцен, т. VI, стр. 330—331.
71 Герцен, XVII, стр. 37.
72 Герцен, т. XV, стр. 280. Подчеркнуто Герценом.
73 Герцен, т. VI, стр. 349.
74 Герцен, т. XVII, стр. 226.
75 Там же, стр. 220.
76 Герцен, т. VI, стр. 342.
77 Там же.
78 Герцен, т. XVII, стр. 223. Подчеркнуто Герценом.
79 Там же, стр. 225.
80 Там же, стр. 97.
81 Герцен, т. XV, стр. 176.
82 Герцен, т. XI, стр. 95.
83 Герцен, т. VI, стр. 365.
84 Герцен, т. XVII, стр. 234.
85 Герцен, т. VI, стр. 374.
86 Герцен, т. XVII, стр. 224.
87 Герцен, т. III, стр. 29.
88 Там же, стр. 35.
89 Герцен, т. VI, стр. 378.
90 Там же, стр. 378.
91 Герцен, т. XVII, стр. 232. Подчеркнуто Герценом.
92 Герцен, т. VII, стр. 248—249.
93 Герцен, т. VI, стр. 362.
94 Герцен, т. III, стр. 29.
95 Герцен, т. VI, стр. 362.
96 Там же, стр. 372.
97 Русская народная песня являлась для Герцена выражением протеста и тоски угнетенной в народе личности, а не болезненного стремления к чему-то потустороннему (т. VI, стр. 339). В самой ее печали есть здоровое начало. «Русская песнь вызывает в степи живого человека, тоскует по нем, ждет его» (т. XI, стр. 75).
98 Ленин, Сочинения, т. XVII, стр. 341.
99 Герцен, т. XVII, стр. 278.
100 Герцен, т. VI, стр. 384.
101 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 468.
102 Насколько можно судить по сохранившимся высказываниям Герцена о Достоевском, он видел в нем лишь автора «Бедных людей» и «Записок из мертвого дома». Достоевский оставался для него петрашевцем. Реакционная идеология Достоевского, достаточно определившаяся уже в 60-е годы, осталась вне поля зрения Герцена. Он пишет о «Записках из мертвого дома» как о «страшной книге.., которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как известная надпись Данте над входом в ад»; «Мертвый дом» Достоевского — это «страшное повествование, относительно которого автор, вероятно, и сам не подозревал, что, очерчивая своей закованной в кандалы рукой фигуры своих сотоварищей-каторжников, он создавал из нравов одной сибирской тюрьмы фрески à la Буонаротти» (т. XVII, стр. 258).
103 Герцен, т. IX, стр. 98.
104 Там же, стр. 100.
105 Герцен, т. VIII, стр. 282.
106 Там же.
107 Герцен, т. XV, стр. 466—467.
108 Герцен, т. X, стр. 13. Выше речь идет о рассказе Селиванова «У перевоза».
109 Там же.
110 Там же, стр. 14. Подчеркнуто Герценом.
111 Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, Гослитиздат, М.—Л., 1934 г., стр. 511.
112 Герцен, XXI, стр. 226.
113 Там же, стр. 229.
114 Там же, стр. 228.
115 Герцен, т. XVII, стр. 98. Подчеркнуто Герценом.
116 Герцен, т. VI, стр. 356.
117 Ленин, т. XV, стр. 468.
118 Герцен, т. X, стр. 413—414.
119 Герцен, т. XXI, стр. 234.
120 Там же, стр. 236.
121 Там же, стр. 237.
122 Герцен, т. XVII, стр. 255—256.

[123] Герцен, т. XXI, стр. 228.

[124] Там же.

[125] Герцен, т. XVII, стр. 100. Подчеркнуто Герценом.

[126] Там же, стр. 258.

[127] Там же, стр. 256—257. Цитируемая статья напечатана в 1864 г. Написанные позднее (в 1868 г.) статьи о Базарове были задуманы во время чтения только что вышедшего собрания сочинений Писарева. Герцен даже считал, что Писарев заставил его «иначе взглянуть на роман Тургенева и Базарова» (письмо Огареву от 8 января 1868 г., т. XX, стр. 130). Замечание это, свидетельствующее о большой щепетильности Герцена по отношению к вопросу об оригинальности своих идей, однако, совершенно неверно. Все основные мысли об «Отцах и детях», о Базарове, развитые как в статье «Новая фаза русской литературы», так и в работе «Еще раз Базаров», были набросаны Герценом в 1862 г., тотчас же по прочтении «Отцов и детей», в письме к Тургеневу. Процитируем одно место из этого замечательного письма, которое может послужить комментарием к статье «Еще раз Базаров»:

«Мне кажется, что ты... остановился на дерзкой, желчевой наружности, на плебейско-мещанском обороте и, приняв это за оскорбление, пошел далее. Но где же объяснение, каким образом сделалась его молодая душа черствой снаружи, угловатой, раздражительной, что воротило в нем назад все нежное, экспансивное?

Вообще, мне кажется, что ты несправедлив к серьезному, реалистическому, опытному воззрению и смешиваешь с каким-то грубым хвастливым материализмом, но, ведь, это — вина не материализма, а тех «неуважай-корыто», которые его скотски не понимают. Идеализм их так же гадок» (т. XV, стр. 109).

[128] Герцен, т. XVII, стр. 256—257.

[129] Герцен, т. XIX, стр. 410, 427.

[130] Как Герцен умел преодолевать эти вкусы, показывает, например, его отношение к рассказам Марко Вовчок, которую он защищает от нападок либеральной и реакционной прессы, упрекавшей ее в тенденциозном сгущении красок:

«В петербургских болотах, в московской пыли не растут такие дубравные цветы; тут все чисто и здорово, неистощенная земля, непочатое сердце; тут веет полем после весеннего дождя, веет и проклятьем русского поля — господским домом; шум листьев, лепет, жужжанье не заглушают ни плач «девчонки», оторванной на веки-веков грубым насилием у матери, ни вопль «псаря», стегаемого zu unesthätisch... Украинец-рассказчик не брезглив...».

И заканчивается эта блестящая защита писательницы, давшей «слишком неэстетичное» изображение крепостнической действительности, выражением веры в силы народа, напоминающим то, что на эту же тему напишет Добролюбов несколько позднее в статье о той же Марко Вовчок («Черты для характеристики русского простонародья»):

«А сказать вам, отчего он не стыдится? Оттого, что в этих девчонках, в этих псарях он почуял именно сердцем, которое вытравляют столичные доктринеры, заморенную силу, близкую, понятную кровную нам. Оттого-то и слезы его не наполняют душу одним безвыходным, поедающим горем, а дрожат, как утренняя роса на сломанных и истоптанных цветах; их не воскресят они, но другим возвещают зарю!» (т. X, стр. 312).

[131] Герцен, т. XVI, стр. 184.

[132] Там же, стр. 185. Подчеркнуто Герценом.

[133] Герцен, т. VII, стр. 396.

[134] Там же, стр. 325.

[135] Герцен, т. XVII, стр. 299—300.

«ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ИЛИ ОБЪЯСНЕНИЯ К СБОРНИКУ»

НЕИЗДАННАЯ ЗАМЕТКА ГЕРЦЕНА

Предисловие редакции

Публикация и комментарии А. Иващенко

В своем обращении «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. — Братьям на Руси», датированном 21 февраля 1853 г., Герцен писал между прочим: «Еще в 1849 году я думал начать в Париже печатание русских книг, но, гонимый из страны в страну, преследуемый рядом страшных бедствий, я не мог исполнить моего предприятия»[1]. Каких-либо других свидетельств, которые позволили бы яснее и точнее осветить этот первый замысел Герцена организовать за границей вольную русскую печать, до сих пор не было известно, если не считать некоторых косвенных и не вполне определенных замечаний Герцена в письмах и статьях. Так, например, в письме к Т. Н. Грановскому, Е. Ф. Коршу и другим московским друзьям от 27 сентября 1849 г. Герцен говорит: «Никогда не было время лучше для того, чтоб поднять русскому голос»[2]. Но далее Герцен рассказывает о своих издаваемых в иностранных переводах книгах и, таким образом, не ясно, имеет ли Герцен в данном случае в виду и печатание за границей на русском языке. В статье, датированной 1 марта 1849 г., которая должна была служить предисловием к русскому изданию «С того берега», осуществившемуся лишь в 1855 г., Герцен писал, обращаясь к русским друзьям: «Я здесь — бесцензурная речь ваша»...[3]

Значение публикуемого ниже документа, предисловия Герцена к предполагавшемуся тогда сборнику его произведений, и заключается прежде всего в том, что он подтверждает вышеприведенные строки из «Братьям на Руси» и свидетельствует о том, что уже в начале 1849 г. в Париже у Герцена сложился ясный план печатания русских книг за границей и нелегальной доставки их в Россию. Герцен уже тогда стремился печатать для русских в России и готов был стать издателем присылаемых из России рукописей.

Дата документа: 1 мая 1849 г., объясняет и условия возникновения этого плана и неизбежность его неудачи в этот период. Хотя Герцен и тогда страстно и глубоко переживал крушение своих надежд и верований после июньских дней 1848 г., тем не менее до 13 июня 1849 г., т. е. демонстрации Горы, Герцен считал не исключенной возможность жизни и работы в Париже. Тогда еще многие политические друзья Герцена, принадлежащие к кругам международной демократии, жили в Париже и не разразилась еще семейная драма Герцена, которая с особенной остротой заставила его и в «частном» пережить то, что он испытал в июньские дни 1848 г. в «общем». В ближайшие дни после 13 июня 1849 г. Герцен покидает Париж. В сентябре Герцен пишет московским друзьям: «...Блинда схватили, Руге спасся бегством... Тюрьмы во Франции страшны, беззаконие еще страшнее — я решился убраться тем более, что для меня 13 июня — день презрительный и глупый. Я сделал очень хорошо, ибо на другой день после отъезда моей жены явились жандармы к моей матери, захватили все, что было письменного... и, ничего не найдя, донесли русскому посольству»[4]. Больше об организации вольной русской печати в Париже, естественно, не приходилось думать. Однако, как видно из публикуемого документа, и в мае 1849 г. Герцен уже допускал возможность того, что вольная русская печать будет организована не в Париже, а в Лондоне.

Хотя в нашем распоряжении имеется лишь копия публикуемого документа, тем не менее содержание его, упоминание состава предполагавшегося сборника и стиль делают принадлежность его Герцену несомненной.

Нахождение документа в собрании Т. Н. Грановского, так же как и его содержание, косвенно указывает на адресата этой статьи-письма. Обращение «любезнейший

друг» и «ты» употребляется Герценом в этот период в письмах к Т. Н. Грановскому и Н. П. Огареву (ср. издание «А. И. Герцен. Новые материалы». Труды Публичной библиотеки им. В. И. Ленина. М. 1927, стр. 69).

Для пояснения состава этого сборника укажем лишь, что «статьи, писанные в 48 году и в начале нынешнего», явно представляют собою те главы «С того берега» (название это и притом в немецком переводе упоминается Герценом впервые в сентябре 1849 г.), которые были написаны до мая 1849 г. Указанный же Герценом очерк под названием «Крайности сходятся» остается до сих пор неизвестным, если только произведение это не было впоследствии опубликовано Герценом под другим названием. Однако отнести это заглавие к одной из известных вещей Герцена, носящих характер очерка или рассказа, представляется затруднительным.

Таково в самых общих чертах значение и особенности публикуемого документа, имеющего существенное значение для биографии Герцена и истории вольной русской печати за границей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Герцен, т. VII, стр. 187.
2 Герцен, т. V, стр. 289.
3 Там же, стр. 390.
4 Там же, стр. 285.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ИЛИ ОБЪЯСНЕНИЯ К СБОРНИКУ

Любезнейший друг! Не смотря на все твои возражения, я не перестану повторять, что печатать в России всегда было трудно. В то время, как везде писатель старался всего более о том, как яснее изложить мысль свою — у нас приходилось делать обратное: затемнять ясность на столько, на сколько [это было возможно] * это нужно, чтоб пропустила цензура. Тем не менее мы писали, скрепя сердце, на столько, на сколько это было возможно. С детства привычные скрывать половину всего, что волнует душу, что занимает ее, мы кой-как ладили с Петербургской цензурой, которая, при всей привязчивости и строгости, была умнее, человечественнее, нежели дикая цензура в Москве, подобострастно и тупо вымарывавшая все в чем находила след независимой мысли. Мы знали наши пределы: знали, что об офицерах ничего нельзя говорить; знали за то, что гражданские чиновники до начальников [отделения] департамента были преданы литературе, мы знали, что иногда дозволялось хлеснуть и помещиков, когда еще верили, что правительство подаст руку помощи несчастному народу, отданному на грабеж дворянству. Теперь и это скудное поприще, предоставленное слову, сделалось невозможным. После февральской революции испуганное правительство придумало еще цензуру над цензурой, цензуру контроля, надзора, и в этой цензуре сидят уже не цензора, а генералы, адъютанты и министры [1]. С тех пор ровно уже ничего нельзя печатать. Журналистика, этот важный орган образования, у нас сделался до того бесцветным, что нельзя читать; литература приостановлена. Страсть к цензуре развилась у нашего правительства в последнее время до того, что оно завело цензуру в Букаресте, в Яссах; гнать мысль и слово — превратилось в болезнь, в мономанию. Как ни нелеп этот бой с мыслию, мы не будем порицать Русское правительство; оно поступает точно так, как и все правительства, не исключая [и] мещанской республики: у него только больше средств в руках — оно их употребляет — вот и все различие; дух, стремленье — одни и те же. Их можно до некоторой степени оправдать — это дело самосохранения; но у нас свое дело и мы не можем остаться в этой немоте, мы не должны замолчать оттого, что нам не позволяют

* В квадратных скобках, здесь и дальше, — слова, в оригинале зачеркнутые.

Вмѣсто предисловія или объясненія къ сборнику.

Любезнѣйшій другъ, не смотря на всѣ твои возраженія, я не перестану повторять, что печатать в Россіи всегда было трудно. Въ то время, какъ писатель вездѣ старался всего болѣе о томъ, какъ яснѣе изложить мысль свою — у насъ приходилось дѣлать обратное: затемнять ясность на столько, на сколько ~~это было возможно~~ это нужно, чтобъ пропустила цензура. Такъ не мало ли мы писали, скрѣпя сердце, на столько, на сколько это было возможно. Съ дѣтства приучившись скрывать половину всего, что волнуетъ душу, что занимаетъ ее, мы кой-какъ ладили съ Петербургской цензурой, которая, при всей привязчивости и строгости, была умнѣе, человѣчественнѣе нежели дикая цензура в Москвѣ, подобострастно и тупо вымарывавшая все в чемъ находила слѣдъ независимой мысли. Мы знали наши предѣлы: знали, что объ офицерахъ ничего нельзя говорить; знали за то, что гражданскіе чиновники до начальниковъ ~~отдѣленія~~ департамента были преданы литтературѣ; мы знали, что иногда дозволялось хлеснуть и помѣщиковъ, когда еще вѣрили, что правительство подаетъ руку помощи несчастному народу, отданному на грабежъ дворянству. Теперь и это скудное поприще, предоставленное слову, сдѣлалось невозможнымъ. Послѣ февральской революціи испуганное правительство придумало еще цензуру надъ цензурой, цензуру контроля, надзора, и въ этой цензурѣ сидятъ уже не цензора, а генералы, адъютанты и министры. Съ тѣхъ поръ ровно уже ничего нельзя печатать. Журналистика,

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ ЗАМЕТКИ ГЕРЦЕНА «ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ИЛИ ОБЪЯСНЕНИЯ К СБОРНИКУ»

Исторический музей, Москва

говорить. — Какие бы меры правительство ни употребляло — оно может заставить нас молчать только до тех пор, пока желание высказаться будет слабо, или сама мысль, которую хотим высказать, будет слаба. Возмужалую мысль, окрепнувшую волю удержать невозможно: она или сломит препятствия или ускользнет от преследования и, изгнанная в одном месте, вовсе нежданно является в другом. Новая ц е н з у р а в ц е н з у р е заперла мне все журналы — я ей от души благодарен: она освободила меня от всякой цензуры, я буду печатать в Париже, в Лондоне. Увеличение цензурных гонений в России показывает, что пришла пора начать заграничную Русскую литературу; и в самом деле у порядочных людей нет больше мыслей, которые бы могли процедиться сквозь цензуру в квадрате, — те же мысли, которые могут пройти, не принадлежат литературе.

Правительство напоминает нам, что время гласности для нас настало; покажем ему, что мы не хотим ни подчиняться тупой тяжелой цензуре, ни болтать бесцветный вздор,—что мы не хотим более ни молчать, ни притворяться. Пора нам стереть с себя позорное обвинение в страдательной выносимости — мы выносили от незрелости, от молодости, — мы выносили от того, что ничего не было готового. Я думаю, что это время проходит, и потому считаю необходимым, чтобы где-нибудь раздалось свободное русское слово; как бы слабо оно ни было на первый случай — оно получает особое значение, и вы увидите: мой опыт найдет последователей. — Для всего мира наступает новая эпоха; — в ней Русь призвана играть новую роль: не быть чужой как до Петра, ученицей — как после него, врагом — как теперь. Старые государства Европы начинают чувствовать, что для них настает дряхлость, что у них нет ни достаточно сил, ни достаточно энергии, чтоб стать на высоту новой общественной жизни; они берегут приобретенное и хотят обмануть смерть; они слабеют, не умея сладить ни с свободой, ни с рабством, ни с республикой, ни с монархией; они теряются сокрушенные внутренней борьбой. — Франция (вечно впереди!) дает печальный пример борьбы против великих судеб своих; испуганная будущим, она, в каком-то тяжелом опьянении, отказывается от всего приобретенного кровью и трудами семидесяти лет. И чем ближе подступает роковое будущее, чем неотразимее оно — тем болезненнее поднимается грудь старых народов, трепещущих за нажитое благо, за свою цивилизацию, тем чаще и чаще обращают взгляды на эту загадочную страну, называемую Россией. Мнения Франции относительно России и русских много изменились с Февральского переворота. С одной стороны, все ложные поклонники свободы, вся эта либеральная толпа, которая играла в оппозицию, испуганная близким восстанием пролетариата — смотрит на Россию, как на единственный оплот п о р я д к а; они нашли в душе своей настолько совести, или настолько утратили стыд, что не толкуя больше о Русском деспотизме — они завидуют ему — с уважением склоняются перед этим колоссальным рабством. Тьер, в народном собрании, поставил в образец Франции Русское правительство — этот идеал d'un gouvernement fort *. Они нас считают консерваторами, а нам и беречь то нечего, кроме общинного сельского быта и самих себя. Европейцы не понимают, что весь императорский период в России не имеет в себе ничего прочного, окончательно установившегося; это революционная диктатура во имя самодержавия: он держится террором без всяких законов, без всяких прав. Может быть этот период был нужен для скрепления в одно государство сильное и сосредоточенное всей [России] Руси; но все же это не нормальное состояние, не statu[s] quo, а кризис,

* Твердой власти.

Искателю-Грановскому и коленопреклонённ...

О ПУБЛИЧНЫХЪ ЧТЕНІЯХЪ Г-НА ГРАНОВСКАГО.

(Письмо второе) (*).

(Сообщено).

Публичныя чтенія Грановскаго кончились: въ ушахъ моихъ еще раздается дрожащій отъ внутренняго волненія, глубоко потрясенный отъ сильнаго чувства, голосъ, которымъ онъ благодарилъ слушателей, и дружный, громкій, продолжительный отвѣтъ, которымъ аудиторія прогремѣла ему свою благодарность. — »Благодарю еще разъ, благодарю тѣхъ, которые, сочувствуя мнѣ, раздѣлили добросовѣстность моихъ ученыхъ убѣжденій, благодарю и тѣхъ, которые, не раздѣляя ихъ, съ открытымъ челомъ, прямо и благородно высказывали мнѣ свою противуположность!« Этими прекрасными словами заключилъ Грановскій свой курсъ. Вы помните, что, послѣ перваго чтенія, я рѣшился назвать событіемъ замѣчательнымъ этотъ курсъ, — теперь я имѣю нѣкоторое право сказать, что не ошибся. Участіе къ чтеніямъ Г-на Грановскаго безпрерывно возрастало, его каѳедра была постоянно окружена тройнымъ вѣнкомъ дамъ, и за всѣмъ тѣмъ, доцентъ читалъ свой предметъ со всею важностью науки, не разсыпая ненужныхъ цвѣтовъ, не жертвуя глубиною для *пріятной легкости*. Мнѣ кажется, ничѣмъ не могъ онъ болѣе выразить своего уваженія и благодарности слушательницамъ, посѣщавшимъ его чтенія, — и онѣ были ему признательны. Слава Богу, проходитъ время того оскорбительнаго вниманія къ женщинѣ, когда для нея, рядомъ съ дѣльнымъ изложеніемъ науки, излагали предметъ намѣренно-искаженнымъ образомъ, считая одинъ мужеской умъ способнымъ къ глубокомыслію.

Московское общество узнало, сидя на Университетскихъ скамьяхъ, новое увлекательное и сильно-занимающее

(*) 1-е Первое было помѣщено въ 142 № Московскихъ Вѣдомостей 1843 года.

СТРАНИЦА БРОШЮРЫ «ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ГЕРЦЕНА Е. Б. ГРАНОВСКОЙ: «ЕЛИЗАВЕТЕ БОГДАНОВНЕ С КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕМ»

Исторический музей, Москва

переворот, осадное положение, suspention des droits de l'homme * 93 года.

С другой стороны, демократы и социалисты примирились с Русью по частным, личным столкновениям с Русскими. По счастию, в последнее время вывелись все эти карикатурные русские туристы, о которых мещанские журналы, бледнея от зависти, повествовали, сколько они проиграли в карты, сколько бросили золота лореткам. Шари простился с ними прекрасной карикатурой Гаварни: «le dernier Prince Russe à Paris» **. Париж после революции не так забавен—они предпочитают теперь минеральные воды. [Париж после рев.] За то имя Русских повторяется при всяком общем деле. Я вас спрашиваю, было ли что-нибудь подобное не только в первую революцию, но и после 30 июля? — За несколько дней до 24 февраля министры Людвига-Филиппа выгнали из Парижа Русского за то, что, в смелой речи к Полякам, он показал, что Русские вовсе не делют кровавых пятен своего правительства [2]. Брюссельские демократы с радостью приняли изгнанника на короткое время, пока французский народ в свою очередь прогнал министров и их короля. — Русские подали первую мысль Европейского демократического клуба, убитого реакцией после июльских дней; Русский был избран президентом его [3]; Русский представлял республиканскую сторону на славянской диэте в Праге; Русский, призванный свидетельствовать в Буржскую инквизицию, стал за 15 мая [4]. Русские участвовали во всех демократических складчинах. В июльские дни схватили бумаги одного русского [5], думая найти, что он агент Пита и Кобурга, и тихо возвратили их, убедившись, что он больше республиканец, нежели полиция Кавеньяка.

Все это вместе имеет в моих глазах некоторую важность; кто сколько-нибудь приучил свой глаз к наблюдательности, — тот согласится со мною, что такого рода явления не бывают без корней; недоставало одного — печатать по-русски заграницей. Я это делаю теперь, и охотно берусь быть издателем рукописей, которые мне доставят. Но для кого мы будет печатать по-русски? Я знаю, что не только книгу в России запретят, но что учредят особый пограничный кордон ad hoc и новое ведомство предупреждения и пресечения ввоза мятежной книги— и все-таки печатаю ее для Русских в России. Мы посмотрим, кто сильнее — власть или мысль. Мы посмотрим, кому удастся — книге ли пробраться в Россию или правительству не пропустить ее.

Да здравствует свобода книгопечатания!

Париж
1 мая 1849

NB Сборник, предлагаемый теперь, составлен из статей, писанных в 48 году и в начале нынешнего. Я присовокуплю к ним маленький очерк: «Крайности сходятся», не пропущенный цензурой, и небольшую статью «Москва и Петербург», написанную очень давно, и которая имела некоторый успех (разумеется в рукописи). Наконец я тут же поместил первую часть повести: «Долг прежде всего». Я не могу теперь ее продолжать и вообще не знаю, когда возвращусь опять к ней. Другие занятия, другая жизнь отвлекли меня от чисто-литературной деятельности. Следующая книжка будет заключать в себе, сверх продолжения Парижских писем, ряд статей о значении России, о ее отношениях к Европе, о ее внутреннем быте.

* Разгром прав человека.
** Последний русский князь в Париже.

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуемый выше документ выявлен в собрании Т. Н. Грановского, хранящемся в архиве Государственного Исторического музея в Москве. Представляет он собою рукопись на шести страницах писчей бумаги в четверку, исписанных мелким, убористым почерком неизвестной рукой. О принадлежности документа Герцену см. в предисловии.

[1] После Февральской революции 1848 г. в Европе для усиления цензурного режима в России была создана особая комиссия под председательством А. С. Меньшикова, с участием М. А. Корфа, гр. А. П. Строганова, Д. П. Бутурлина и Л. В. Дубельта. Вскоре она была преобразована в известный своей расправой над печатью «Бутурлинский комитет».

[2] Речь идет здесь об М. А. Бакунине.

[3] Здесь имеется в виду эмигрант Н. И. Сазонов, организовавший в 1848 г. в Париже международный клуб.

[4] В марте 1849 г. в Бурже состоялся верховный суд над группой французских революционеров — участников майских выступлений 1848 г. Всем обвиняемым были вынесены суровые приговоры — до десятилетнего тюремного заключения. В числе свидетелей, допрошенных по этому процессу, был эмигрант И. Г. Головин.

[5] Герцен имеет в виду самого себя.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ГЕРЦЕНА В ВЯТКЕ

Публикация П. Луппова

2 мая 1835 г. в г. Вятке был открыт Губернский статистический комитет. Этому комитету, согласно утвержденному правительством 20 декабря 1834 г. Общему положению о Губернских комитетах, предстояло заняться «собиранием точнейших и подробнейших сведений о состоянии всех частей управления и, вообще, всех предметов, принадлежащих министерству внутренних дел» на территории Вятской губернии. Правителем дел статистического комитета того же 2 мая был назначен вятский губернский прокурор Мейер. В помощь ему председатель комитета (он же и губернатор) в сентябре 1835 г. к ведению всей деловой переписки по комитету привлек сосланного в Вятку Герцена, который, по мнению губернатора, «знал статистическую часть в совершенстве».

Первым делом, которое пришлось выполнять Герцену по статистическому комитету, было подготовление проекта распределения между правительственными учреждениями Вятской губернии статистической работы для губернского статистического комитета. Герцен составил[1] по этому вопросу следующую записку.

О СОБИРАНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ

Сведения, необходимые для произведения статистических работ по плану оных, изданному Министерством внутренних дел, должны быть частию истребованы от разных мест и от разных лиц, частию должны быть выработаны собственными трудами производителей статистических работ.

I. СВЕДЕНИЯ, ТРЕБУЕМЫЕ ОТ РАЗНЫХ МЕСТ И РАЗНЫХ ЛИЦ

1. Из канцелярии его превосходительства господина гражданского губернатора

1) О составе нынешнего управления губернии, числе чиновников в губернских местах, подведомых Министерству внутренних дел, количество разрешаемых ежегодно бумаг, число решенных и нерешенных (из годового отчета).

2) А) О числе ежегодно случающихся пожаров, в течение 10 последних лет: a) в городах, b) в селениях, c) в лесах; 1) от неосторожности, 2) от дурного устройства печей и труб, 3) от поджога, 4) от молнии, 5) по временам года. В) Число пожаров, прекращаемых в самом начале. С) Число пожаров, остановленных на одном сгоревшем доме. D) Число пожаров далее распространившихся. E) О потерях, чрез пожары понесенных, об имениях застрахованных, о суммах, выданных в пособие погоревшим, и о других мерах призрения пострадавших (из ведомостей).

3) О чрезвычайных по губернии происшествиях: А) грабежах и разбоях, В) самоубийствах, С) скоропостижно умерших, D) умерших от пьянства, E) умерших от угара, F) замерзших, G) утонувших, H) об

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА СОСТАВЛЕННОЙ ГЕРЦЕНОМ ЗАПИСКИ О СОБИРАНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ ПО ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

Областное архивное управление, Киров

убийствах — a) умышленных, b) неумышленных; I) кораблекрушениях, K) действиях бури, L) градобитии, M) пожарах, N) скотских падежах (из ведомости).

4) О справочных ценах, существующих по губерниям: a) на разные роды хлеба и другие жизненные припасы, b) на дрова, c) на сено и солому, d) на содержание одной лошади, e) на пуд сальных свеч, f) о плате работникам — плотникам и каменщикам.

2. Из губернского правления

1) Распределение и число жителей по состояниям и в особенности: A) число дворян — a) потомственных, b) личных, c) беспоместных, d) имеющих право участия в выборах, e) не имеющих сего права.

2) Число чиновников.

3) Изменения, происшедшие в составе управления губернии со времени ее учреждения.

4) Число городов заштатных безъуездных и пригородов.

5) Причины упразднения старых и открытия новых городов (губ[ернский] архив).

6) О числе чинов и лиц губернской полиции, как градской, так и земской.

7) О числе наказанных по особым распоряжениям начальства или по требованиям помещиков.

8) О числе дворян, за мотовство, распутство, за жестокость и дурное обращение взятых под опеку или присмотр правительства.

9) О числе бродяг по губернии и уездам.

10) О мерах к предупреждению и пресечению нищенства по губернии.

3. Из Казенной палаты

1) О числе поселян казенных, разных наименований, помещичьих, свободных.

2) О состоянии и количестве всех по губернии казенных и земских сборов, податей и повинностей, а равно и недоимок в оных и причине сих недоимок.

3) Сколько населено и обработано земель, дотоле впусте лежавших, и не сделано ли от казны на сей предмет ссуд и на какую сумму.

4) Об улучшениях по части земледелия и скотоводства.

5) О числе уволенных из крепостного сословия людей — a) дворовых, b) поселян.

6) Об имениях, состоящих под запрещением по искам казенным и частным.

7) О состоянии разных отраслей народного хозяйства.

8) a) Число рекрут, поставленных губерниею из всех податных состояний как городских, так и сельских в течение последних 10 лет; b) число представленных в рекрутское присутствие, но обращенных назад по телесным недостаткам; c) сумма денежных взносов, вместо поставки рекрут натурою — сделанных губерниею — также в течение 10 лет.

9) О мерах правительства по споспешествованию и улучшению народного хозяйства.

10) Отношение народонаселения губернии к пространству земли, состав оного, разноплеменность, возрастание или уменьшение племен из 10-летней сложности. Отношение народонаселения мужеска пола к женскому.

4. Из палаты гражданского суда

1) Число уволенных из крепостного сословия людей — a) дворовых, b) поселян.

2) Об имениях, состоящих под запрещением по искам казенным и частным.

5. От г. губернского прокурора

Об отношении числа преступников к общему числу жителей губернии.

6. Из Комиссии народного продовольствия

О распоряжениях и мерах правительства по народному продовольствию и призрению: A) О числе хлебных магазинов в городах и селе-



ВЯТКА
Рисунок карандашом А. Витберга, 1840-е гг.
Институт литературы, Ленинград

ниях, о количестве хлебных запасов. B) О денежных, для обеспечения продовольствия, капиталах, и сколько именно сумм в наличности. C) О числе людей, имевших надобность в ссуде хлебом из магазинов, и о количестве четвертей выданного им хлеба. D) О количестве сумм, выданных в течение года в пособие из капитала продовольствия, и о числе людей, получивших сие пособие. E) О состоянии торговли хлебом на всех хлебных торгах и рынках. F) О важнейших пунктах сбыта хлебного. G) О количестве потребляемых хлебных и других жизненных припасов.

7. Из Комиссии Податей и Сборов

1) Сумма денежных земских повинностей, несомых селениями: A) Общих поселянам с городскими податными обывателями. B) Частных платимых одними поселянами: a) или всеми, вообще, сельскими обывателями всех наименований, b) или одними казенными крестьянами, c) или одними помещичьими. C) Ежегодных особо. D) Единовременных особо.

E) Сумма сбора каждого рода сих повинностей означается отдельно и именно: a) повинность почтовая, b) повинность подводная, c) дорожная, d) этапная, e) воинская. F) Содержание правительственных мест. G) Пособие городам и проч. сверх того. H) Мирские частные или сельские повинности.

2) Сумма воинских земских отправлений натуральных повинностей и большее или меньшее количество оных.

8. Из Приказа общественного призрения

1) Об имениях помещичьих, заложенных в Опекунском совете или в Приказе общественного призрения с показанием числа заложенных душ. 2) По предмету общественного призрения: A) О числе и составе благотворительных или богоугодных заведений — a) казенных, b) частных. B) О числе людей призренных, с показанием числа умерших и выздоровевших в сих заведениях — a) в больницах, b) в домах, c) в домах умалишенных, d) в богадельнях, e) в домах сиротских и воспитательных, f) в домах работных и ремесленных, g) в домах трудолюбия и призрения, h) в училищах детей канцелярских служителей и других учебных заведениях. C) Об отношении числа призренных к общему числу жителей. D) О степени смертности в заведениях, в казенных и частных, в каждом порознь. E) О сумме капиталов Приказов общественного призрения: a) о капиталах собственных, b) о вкладах судебных и частных, c) о ссудах. F) Об источниках доходов Приказа и о количестве дохода каждого рода порознь. G) О сумме расходов. H) О постепенном приращении или уменьшении доходов и о причинах оного.

9. Из Врачебной управы

По предмету сохранения народного здравия статистическое отделение должно иметь подробные сведения:

1) О болезнях общих или спорадических.

2) О болезнях эндемических или местных, каждой губернии порознь.

3) О болезнях эпидемических и о числе умерших от оных.

4) О болезнях по времени года.

5) О числе медицинских учебных заведений и о числе воспитанников, ежегодно из оных выпускаемых.

6) О числе врачей по губернии: a) состоящих в коронной службе, b) вольнопрактикующих — 1) в городе, 2) в уезде; c) акушеров и повивальных бабок, d) ветеринарных врачей.

7) О числе детей, коим привита оспа, и оспопрививателях.

8) О числе вольных аптек и находящихся при них аптекарей, провизоров и гезелей.

9) О числе казенных аптек и аптечных магазинов и о числе служащих при них аптекарей, провизоров и гезелей.

10) О числе аптекарских садов и о количестве собираемых в оных лекарственных растений, и во что обходится содержание сих садов.

11) О сборе дикорастущих лекарственных растений.

12) О количестве материалов, медикаментов и разных медицинских припасов, ежегодно заготовляемых для армии и флота.

13) О суммах, употребляемых на покупку иностранных и на заготовление отечественных лекарственных материалов.

14) О минеральных водах, искусственных и натуральных и о числе людей, оными пользующихся.

11. Из Удельной конторы*

Об удельных крестьянах.

12. От гг. земских исправников и городничих

1) О числе рождающихся обоего пола — a) законных, b) незаконных, c) подкидышей.

ПРИБАВЛЕНІЕ

КЪ ВЯТСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

Часть не Оффиціальная.

№ 1.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Во исполненіе Высочайшей воли будутъ издаваться во всѣхъ Губерніяхъ съ 1-го Января 1838 года Губернскія Вѣдомости. — Эти вѣдомости раздѣляются на двѣ части и имѣютъ двоиное назначеніе: *во первыхъ*, быстрое сообщеніе и обнародованіе распоряженій Начальства — это оффиціальная часть газеты; *во вторыхъ*, приведеніе въ извѣстность состоянія Коммерціи, Хозяйства и вообще внутренняго быта Губерніи — это предметъ прибавленія не оффиціальной части. Такимъ образомъ Статистическіе Комитеты, Губернскія выставки и прибавленія къ вѣдомостямъ, идя разными путями къ одной цѣли, раскрываютъ всѣ начала дѣятельности и жизни края. Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ, включая въ себѣ свѣдѣнія о движеніи торговли, о цѣнахъ на главные предметы ея и сверхъ того разные Статистическіе факты, представляютъ большую важность особенно въ Вятской Губерніи, сообщая жителямъ оной, по большей части занимающимся торговлею, свѣдѣнія близкія къ кругу ихъ занятій и при томъ съ непреложной достовѣрностью. — Редакція съ своей стороны, понимая въ полной мѣрѣ благодѣтельныя попеченія Правительства, употребитъ всѣ старанія, чтобъ листкамъ прибавленій придать всю занимательность и пользу какой отъ нихъ ожидать можно.

Вотяки и Черемисы. (*)

Изслѣдованіе о Вотякахъ и Черемисахъ должно обратить на себя большое внима-

(*) Изъ первой тетради Статистической Монографіи Вятской Губерніи состав. А. Герценомъ.

СТАТЬЯ ГЕРЦЕНА «ВОТЯКИ И ЧЕРЕМИСЫ» В «ПРИБАВЛЕНИЯХ К ВЯТСКИМ ГУБЕРНСКИМ ВЕДОМОСТЯМ», 1838 г., № 2

2) О числе умирающих — a) детей в первые два года жизни, b) детей от 2 до 5 лет, c) с пятилетнего возраста чрез каждые 5 лет, d) по различию полов, e) по народам, f) по вероисповеданиям, g) по сословиям, h) по временам года.

3) Распределение жителей по племенам, особо мужеский и женский пол, и число жителей каждого племени порознь.

4) Число иностранцев — дворян, купцов, ученых и художников.

---

* Этот отдел должен был бы иметь порядковый номер 10 (у Герцена ошибочно поставлено 11).

5) Движение торговых оборотов на ярмарках и еженедельных торгах.

6) Число трактиров, ресторации, харчевен, питейных домов и общественных гульбищ и в какие особенно дни в городе бывают гулянья.

7) Объяснение отличительного быта посадов, слобод и местечек, т. е. какими ремеслами и фабриками поддерживаются они преимущественно — или торговлею, или же земледелием — и указания, точно ли они остаются и ныне в том значении и на том основании, как узаконено указом 1807 августа 10, или изменились, и отчего.

8) а) Общее число селений и в них обывательских дворов, b) число селений, имеющих свыше 100 дворов, с) свыше 50 дворов, d) от 10 до 50 дворов, е) менее 10 дворов.

9) Число селений, выстроенных по высочайше утвержденным вновь правилам 1817 г. декабря 13 и 1830 г. октября 27.

10) О разных отраслях народного хозяйства; описываются в следующем порядке: 1) хлебопашество, 2) скотоводство, 3) садоводство и огородничество, 4) пчеловодство, 5) виноделие, 6) птицеводство и птицеловство, 7) звериные промыслы, 8) рыбные промыслы.

2)* При описании земледельческой промышленности сравнительные показания: а) о пространстве пахотных земель, в указных десятинах, b) о пространстве лугов и вообще сенокосных мест, с) о пространстве лесов, d) о пространстве огородов, е) пастбищ, f) выгонов, g) о пространстве земли под строениями, огородами, гуменниками, h) о пространстве земель, занятых болотами, степями, и вообще всех земель, неспособных к хлебопашеству.

3) В описании хлебопашества — 1) число рук, употребленных на земледелие, 2) на количество штук скота рабочего в поле, 3) орудия, употребляемые для обрабатывания земли, 4) время посева и жатвы, 5) количество засеваемого и собираемого хлеба разных родов поименно: а) ржи, b) пшеницы, с) овса, d) ячменя, е) гречи, f) проса, g) картофелю, h) кукурузы, i) конопли, k) льна, l) гороха, m) хмеля, n) и других родов, где какие засеваются.

4) Количество посева и сбора по роду земель — а) помещичьих, b) духовенству принадлежащих, с) крестьян разных наименований отдельно.

5) Где введена многопольная система обработания земли и приняты в употребление лучшие орудия и машины земледельческие.

6) Количество хлеба, употребляемого на продовольствие по 10-летней сложности.

7) Остаток или недостаток хлеба для продовольствия.

8) Сколько вывозится хлеба в другие губернии и куда именно, или сколько привозится из других губерний и откуда?

9) Число крестьян, занятых перевозкою хлеба сухим путем и водою.

10) Число в губернии мельниц водяных и ветряных с показанием числа поставов и сколько вымалывается на них хлеба.

11) Число лесопильных мельниц и сколько выпиливается лесу, брусьев, досок и пр.

12) Сколько обращается четвертей хлеба на винокурение и пивоварение.

13) Сведения о скотоводстве: 1) разведение рогатого скота, количество штук оного, меры улучшения иностранными породами и число скота: а) употребляемого в пищу, b) для извоза, с) выгоняемого на продажу в другие губернии и на какую сумму, или d) пригоняемого из

* Так в оригинале.

других губерний и на сколько. 2) Коневодство — количество лошадей: a) обыкновенных, b) заводских и число конских заводов, c) выгоняемых в другие губернии и за границу или пригоняемых оттуда и на какую сумму. 3) Овцеводство: A) Количество штук сих животных: a) простых, b) тонкошерстных. B) Число овчарных заводов и ярмарок для торга овечьей шерстью.

14) О садоводстве и огородничестве: a) число садов и огородов, b) пространство земли, занимаемой садами и огородами, c) роды плодовитых деревьев и овощей, d) доход от продажи плодов и овощей, e) число людей, живущих от садоводства и огородничества.

15) Означение земель, где происходят звериные промыслы, исчисляя: 1) число и роды ловимых зверей, 2) орудия, употребляемые на сих промыслах, и народы, преимущественно теми занимающиеся.

16) Рыбные промыслы с показанием: родов рыб озерных, речных.

17) Раздача медалей и других наград отличившимся деятельностью и улучшением на поприще сельского хозяйства.

18) Состояние дорог больших и малых, мостов и гатей, перевозов, судоходных каналов и станционных домов всех разрядов.

19) Устройство пожарной части по губернии, число пожарных инструментов и лошадей.

20) Описание городов: 1) время основания и образ происхождения оных, 2) распределение их на классы: a) по степени населения, b) по важности их в ремесленном, мануфактурном и коммерческом отношениях, c) по количеству городских доходов, d) по составу полицейского в них управления. 3) Число жителей — мужеского пола, женского. 4) Число живущих в городе дворян, служащих и не служащих, чиновников не из дворян, служащих и отставных, и людей всех других состояний, окладных и не окладных. 5) Число почетных граждан, потомст-

КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ.

Я нижеименованный обѣщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ предъ Святымъ Его Евангеліемъ въ томъ, что хочу и долженъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному и природному ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕМУ ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССІЙСКОМУ, и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Всероссійскаго Престола Наслѣднику, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ЦЕСАРЕВИЧУ и ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, вѣрно и нелицемѣрно служить и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего до послѣдней капли крови, и все къ высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержавству, силѣ и власти принадлежащія права и преимущества, узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумѣнію, силѣ и возможности предостерегать и оборонять, и при томъ по крайней мѣрѣ стараться споспѣшествовать все, что къ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вѣрной службѣ и пользѣ Государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ. О ущербѣ же ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ скоро о томъ увѣдаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мѣрами отвращать и не допущать тщатися, и всякую ввѣренную тайность крѣпко хранить буду, и повѣренный и положенный на мя чинъ, какъ по сей (генеральной, такъ и по особливой) опредѣленной и отъ времени до времени ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Именемъ отъ предуставленныхъ надо мною Начальниковъ, опредѣляемымъ Инструкціямъ и Регламентамъ и Указамъ, надлежащимъ образомъ по совѣсти своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать, и такимъ образомъ себя вести и поступать, какъ вѣрному ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подданному благопристойно есть и надлежитъ, и какъ я предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ Господь Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Въ заключеніе же сей моей клятвы цѣлую слова и крестъ Спасителя моего. Аминь.

«КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ» ГЕРЦЕНА-ЧИНОВНИКА

Литературный музей, Москва

венных и личных особо. 6) Число домов в городе: а) казенных — каменных, деревянных, b) частных — каменных, деревянных. 7) Число площадей в городе, мостов, перевозов, пристаней, состояние мостовых, число фонарей и способы освещения улиц. 8) Число квартирующих в городе войск, при чем означается, какая с сим соединяется повинность для жителей, сколько домов каменных и деревянных занято постоем; натурою или деньгами отправляется сия повинность. 9) Число богоугодных заведений.

21) Число взятых полициею за нищенство.

22) Число магометанских мечетей и прочих молитвенных собраний.

13. Из уездных судов

1) О числе преступлений по роду каждого особо.

2) О числе случаев, в коих виновные открыты, и тех, в коих следствие не имело успеха.

3) О числе преступников, обличенных судом: а) по различию пола, b) по различию возраста, с) по различию состояния, d) по различию веры.

4) О числе людей сужденных, но по суду оправданных.

14. Из магистратов

1) О числе банкротств по губернии: а) несчастных, b) злонамеренных.

2) Об имениях лиц разных сословий, проданных по решению конкурса с публичного торга.

15. Из градских дум

1) Число почетных граждан: а) потомственных и b) личных.

2) Число купцов: 1) первой гильдии, из них первостатейных, 2) второй гильдии, 3) третьей гильдии.

3) Число мещан.

4) Состояние народной промышленности вообще и в особенности тех промыслов, которые составляют главнейшее занятие жителей и дают им значительные доходы.

5) Число купцов по каждой гильдии порознь и крестьян, торгующих в городе по свидетельствам первых двух родов.

6) Какие в городе ремесла и рукоделия, откуда заимствуются для того первые материалы и куда производится отправка изделий.

7) Число ремесленников по каждому рукоделию.

8) Число лавок.

9) Число фабрик и какие именно.

10) Количество и пространство принадлежащих городу садов, полей, лугов, выгонов, лесов дровяных и строевых, пустопорожних мест, болот, ни к чему негодных мест, рыбных ловль, мельниц водяных и ветряных и всякого рода оброчных городских статей.

11) Количество капиталов и доходов из каждого источника особо, употребление сумм городских, избыток или недостаток в доходах и количество недоимок, где оные есть.

16. От духовного ведомства

1) О числе браков, ежегодно заключаемых и расторгаемых.

2) Число духовных: а) белого духовенства, b) монашествующего.

3) Распределение числа жителей по разным исповеданиям, к коим они принадлежат.

4) Число храмов каждой религии порознь: a) число греко-российских церквей — 1) приходских, 2) бесприходных, 3) домовых, b) монастырей: 1) мужских, 2) женских.

17. Сведения о духовенстве магометанском Омаровой и Алиевой секты должно требовать из оренбургского магометанского собрания.

18. Губернские землемеры обязаны давать все нужные сведения Статистическому комитету по своей части правилами министром изданных [изданные?].

Собственному труду производителей статистических трудов предстоит сверх приведения в систему выше изложенных сведений, следующее: 1) раскрытие законов народонаселения и смертности, 2) разности числа умерших с числом родившихся, 3) раскрытие отношения населения губернии по пространству земли, возрастание и уменьшение разных племен оной, выводимое из 10-летней сложности, 4) раскрыть степень народного образования, господствующие нравы, обычаи и поверья, общие многим губерниям или же только одной или части оной.

Сверх сего нужно для соображения потребовать таблицы, по коим собирали статистические сведения для г. Арсеньева и по коим собирает ежегодно сведения Казенная палата, и исторические сведения, требованные при путешествии его императорского величества Александра I.



ВЯТКА

Литография 1850-х годов

Институт литературы, Ленинград

Этой записке делопроизводителем комитета губернским прокурором Мейером была придана форма журнала Губернского статистического комитета, для чего на полях записки был сделан ряд изменений.

С этими изменениями записка Герцена превратилась в постановление комитета, которое было подписано губернатором Тюфяевым, вице-губернатором Афанасьевым, ректором семинарии, губернским прокурором, инспектором Врачебной управы, управляющим Удельной конторой и директором училищ [2].

Какова дальнейшая судьба этого постановления Вятского губернского статистического комитета?

В апреле 1836 г. оно было представлено министру внутренних дел, а в те учреждения Вятской губ., которые по плану Губернского статистического комитета предположено было привлечь к доставлению статистических сведений, были посланы извлеченные из постановления комитета перечни статистических вопросов. Министр, утвердив представленных комитетом членов-корреспондентов, по существу статистической программы Вятского комитета не высказал никакого суждения, равно не выслал в Вятку и форм статистических таблиц.

Лишь через 10 месяцев (15 февраля 1837 г.) из министерства внутренних дел вятскому губернатору были присланы печатные статистические описания двух уездов — Рославльского Смоленской губернии и Усманского Тамбовской губернии, в качестве образца, причем министр писал губернатору, что если бы все уезды Вятской губ. были описаны по этому образцу, то Вятская губ. могла бы похвалиться полнотой своей статистики. Таким образом, в то время министерство еще не ставило в

задачу губернских комитетов описание каждой губернии в целом и мечтало пока об описаниях отдельных уездов.

Вопросы Вятского губернского статистического комитета, разосланные по уездам без всяких руководственных указаний, при полной неподготовленности чиновников к статистическим работам, естественно, возбудили на местах разного рода недоумения. Разрешение их выпало на долю Герцена, который вел сношения с учреждениями от имени губернатора, как председателя комитета. Во второй половине 1836 г. губернатор предположил было командировать Герцена во все уездные города Вятской губ. для непосредственного инструктирования в деле составления статистических отчетов. Но министр внутренних дел не утвердил этого предположения, опасаясь, очевидно, вредного политического влияния Герцена на уездных чиновников. Таким образом, Вятскому губернскому комитету остался один лишь способ руководства составлением статистических сведений уездными городами, т. е. чисто канцелярский.

Было ли что-либо сделано Герценом по обработке статистических материалов Вятской губ.? Из архивных дел статистического комитета видно, что в декабре 1837 г. Герцен представил в Комитет свою «первую тетрадь статистической монографии о Вятской губернии». Тетрадь эта не сохранилась до настоящего времени, но один отрывок из нее был тогда же напечатан в «Прибавлениях к Вятским Губернским Ведомостям» (1838 г., №№ 1 и 3) в виде статьи под заглавием «Вотяки и черемисы» [3]. Судя по этому отрывку, надо думать, что первая тетрадь Герцена имела скорее историко-этнографическое содержание, извлеченное не из статистических отчетов, а из печатной литературы, и частью из довольно беглых личных наблюдений Герцена над бытом народностей Вятской губ. Эта первая тетрадь, повидимому, не имела продолжения. После отъезда из Вятки Герцену было невозможно писать о Вятской губ. без вятских материалов; при том же, во Владимире он достаточно сильно был нагружен работой по новой своей должности.

В статье «Культурная деятельность А. И. Герцена в провинции» [4] говорилось, что все анонимные статьи в «Вятских Губернских Ведомостях» за 1838 и 1839 гг. по истории и этнографии Вятской губ. принадлежат А. И. Герцену. Но это не верно: как видно из сохранившейся переписки по Вятскому губернскому статистическому комитету, авторами этих анонимных статей были другие лица, а не Герцен. Принадлежащей Герцену можно считать лишь одну анонимную статью, помещенную в «Прибавлении» к № 7 «Вятских Губернских Ведомостей» за 1838 г. под заглавием «Русские крестьяне Вятской губернии»: она по содержанию аналогична упомянутой выше статье Герцена «Вотяки и черемисы»; и та и другая статья говорят о народностях Вятской губ., стиль обеих статей более или менее одинаков. Вторая статья взята, повидимому, из той же первой тетради статистической монографии Герцена; только редакция «Вятских Губернских Ведомостей» упустила из виду сделать соответствующую отметку в примечании к этой статье. Приводим эту статью.

РУССКИЕ КРЕСТЬЯНЕ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

Русское население в Вятской губ. имеет весьма резкую характеристику, отличающую его от прочих губерний. Новгородская колония, поселившаяся около XIII столетия на берегах Вятки, управляемая почти без всякой зависимости от Москвы, отделенная татарами и финскими племенами от Новгорода и от соотчичей вообще, осталась как бы забытая в своих дремучих лесах [5] и образовала свой быт — смесь быта древнего с влиянием местности. Наречие вятских крестьян удивительным образом напоминает язык старинных летописей. Их спряжение глаголов, ударение на словах, певучее произношение, самое заменение буквы «Ц» буквою «Ч» — все это древне-славянское, в чем еще более можно убедиться, рассматривая новые слова, составляемые ими, которые совершенно сообразны с гением языка славянского.

Архитектура изб — другой факт, ясно говорящий о различии быта вятских крестьян от прочих русских. Они строят, вообще, избы высокие двухэтажные с большими сенями, с крышами очень плоскими. Двор, обнесенный обыкновенно бревенчатым забором, покрывается глухим навесом, под которым находятся амбары для хлеба и скотный двор, и идет от самой избы. Заметно, что лесистость губернии дозволила со всею волею развернуться потребностям быта. Какой же результат изба крестьянина? Это — крепость, отовсюду предохраненная

от набегов разбойников и диких зверей. Ясно, что такой образ построения введен тогда, когда они жили отдельными семьями по огромным лесам; ясно также, что время, в которое они не безопасно жили в этих лесах, еще не очень отдалено. Вятские крестьяне любят плотничать, и это ремесло не прямое ли наследство от Новгородцев, которых страсть строить послужила к известной насмешке киевлян. *

Третье различие еще ярче. Это страсть вятских крестьян к переселениям на новые места. Тогда как во внутренних губерниях одна власть помещика может заставить крестьянина расстаться с местом его жительства и он оставляет его со слезами, несмотря на выгоды переселения; вятский крестьянин поступает совсем иначе: истощение земли, малейшее неудобство — и он готов итти со своим семейством во глубину леса, расчистить там поле, поставить избу и жить без соседей. Может быть, эта привычка вкоренилась от самых древних времен, когда без надзора они селились, где хотели и как хотели, а может быть, это прямое следствие колонизации. Колония, однажды решившаяся оторваться от родины, едва ли имеет привязанность к земле, на которой живет.

Занятия вятских крестьян — хлебопашество, пчеловодство, скотоводство и обыкновенные работы сельского быта. В особенности же они хорошо выделывают все деревянное, отдавая тем дань и своей страсти и богатым лесам.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Хотя в делах вятского Губернского статистического комитета нет прямого указания на автора записки, но несомненно, что она написана Герценом: почерк в записке сходен с почерком в черновых бумагах по вятскому Губернскому статистическому комитету за то время, когда Герцен заведывал перепиской по этому комитету.

[2] Постановление это находится в деле вятского Губернского статистического комитета за 1836 г. № 6 (в Историческом архиве г. Кирова).

[3] Герцен, т. XII, стр. 381—382.

[4] «Русская Мысль», 1900 г., № 2.

[5] Взгляд на Вятку как новгородскую колонию, возникшую около XIII века и управлявшуюся вначале независимо от Москвы, был подсказан Герцену, очевидно, «Повестью о старине Вятской», признававшейся в то время очень древним и достоверным памятником. Позднее такая оценка «Повести» была пересмотрена.

---

* См. Историю государства Российского, т. II, стр. 11-я [Примечание Герцена].

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА ГЕРЦЕНА

I. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА Е. В. и Д. В. ПАССЕКАМ. ПУБЛИКАЦИЯ М. ФИНКЕЛЯ и А. БЕЛЕЦКОГО.—II. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА Т. Н. и Е. Б. ГРАНОВСКИМ. ПУБЛИКАЦИЯ О. ПОПОВОЙ.—III. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА Г. И. КЛЮЧАРЕВУ. ПУБЛИКАЦИЯ М. КЛЕВЕНСКОГО.—IV. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА М. И. ЖИХАРЕВУ. ПУБЛИКАЦИЯ О. ШЕРЕМЕТЕВОЙ.—V. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА РАЗНЫМ ЛИЦАМ. ПУБЛИКАЦИЯ В. ГОЛОВЧИНЕР, М. ДЬЯКОНОВА, Б. КОЗЬМИНА.

I. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА Е. В. и Д. В. ПАССЕКАМ

Публикация М. Финкеля и А. Белецкого

Публикуемые письма Герцена братьям Евгению и Диомиду Пассекам, хранящиеся в Харьковском Областном Государственном Архиве, относятся к периоду окончания Герценом Московского университета (1833 г.).

Несмотря на то, что Герцен в это время, как видно из писем, деятельно готовился к выпускным университетским экзаменам, он все же не прекращал своих самостоятельных философских и исторических занятий, связанных с вопросами, волновавшими его университетский кружок. «Ты не можешь себе представить, какая деятельность опять у меня, — писал Герцен Огареву 19 июля 1833 г., — так кровь и кипит. Учиться, учиться, а потом писать». Отражение этой интенсивной теоретической деятельности Герцена мы находим в его письмах к братьям Пассекам.

С семейством Пассеков Герцена связывала его близкая дружба с одним из братьев Пассеков — Вадимом. Позже эти связи с семьей Пассеков еще больше укрепились, став связями родственными: кузина Герцена, Татьяна Петровна Кучина, вышла замуж за Вадима Пассека. О своем отношении к семье Пассеков, к братьям Евгению и Вадиму Герцен писал Огареву: «Много часов провожу у Пассеков, и это есть самое приятное время... Там отдыхаю от бурных порывов фантазии дикой и вольной, там не гроза, а небо чистое, голубое. Сколько я обязан этому семейству. Вадим уехал с женой, Евгений здесь. Но это не Вадим!.. Далеко отстал».

Вадим Васильевич Пассек был одним из самых деятельных членов герценовского университетского кружка. «В Вадиме для нас было много нового,— вспоминал о нем Герцен в «Былом и думах», — мы все с небольшими вариациями имели сходное развитие, т. е. ничего не знали, кроме Москвы и деревни, учились по тем же книгам и брали уроки у тех же учителей... Вадим родился в Сибири, во время ссылки своего отца, в нужде, в лишениях. Его учил сам отец, он вырос в многочисленной семье братьев, сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле... Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была иная, не наша, богатырская... Человек, родившийся в Сибири и, притом, в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири. Вадим, по наследству, ненавидел от всей души самодержавие и крепко прижал нас к своей груди, как только встретился».

После ареста Герцена и Огарева Вадим Пассек не допущен был к занятию профессорской кафедры в Харьковском университете. Позднее он отошел от герценовского круга и эволюционировал к правому славянофильству. Но в то время, когда писались публикуемые письма, он был одним из самых близких Герцену людей. В цитированном уже письме к Огареву от 19 июня 1833 г. Герцен писал: «Ты, Вадим и я — мы составляем одно целое. Будем же жить чисто умственной жизнью. Науки — (ты понимаешь, я говорю в обширном смысле), науки пусть займут всю жизнь (жаль, что Вадим не обеспечен материально, а деятельным я возьмусь его сделать)».

Какие же науки «в широком смысле» увлекали тогда Герцена. Известное представление об этом дают письма этого периода. «Я теперь крепко занимаюсь политическими науками... ты прав, Saint-Simonisme имеет право нас занять. Мы чувствуем, что мир ждет обновления, что революция 89 года ломала и только... что надо другие основания положить обществам Европы, более права, более нравственности»,

Именно с этой точки зрения Герцен подошел к осмыслению русского исторического процесса в статье о Петре I, посвященной Диомиду Пассеку и комментированной Вадимом Пассеком.

Деятельный, энергичный, с удовлетворением оглядывающийся на пройденный университетский этап своей жизни («Методу я там приобрел, а метода важнее всякой суммы познаний... Друзья, я вас там приобрел»), полный планов творческой деятельности — таким встает перед нами облик Герцена в письмах к братьям Пассекам, написанных за год до его ареста.

1

Любезные друзья, Евгений [1] и Диомид [2]!

Ваше письмо и приписку имел счастье получить. Все у нас здоровы, как нельзя более, напрасно ты хлопочешь об этом, исключая Тани [3], которая оправляется мало, по-моему. Диомид, стыдно думать, что я сержусь, что вы не писали. Я уверен, что я не забыт. Когда у вас будет Савич [4], поцелуйте его за меня и скажите что он (и вы) получите от меня большую хартию [5], но теперь я окончу, засвидетельствовав ему мою искреннейшую, домогильную дружбу. Прощайте, Огарев [6] кланяется.

Александр Герцен

15 января [1833 г.]

[1] Пассек Евгений Васильевич (1802—1842). После смерти отца Василия Васильевича Пассека на него как на старшего брата пали заботы о материальном обеспечении и образовании младших братьев. Поэтому он часто вынужден был бывать в харьковском имении Пассеков, селе Спасском, по различным хозяйственным делам. В Петербургский университет он поступил позже своих младших братьев Диомида и Леонида. С Герценом Е. В. Пассек познакомился через своего брата Вадима Васильевича.

[2] Пассек Диомид Васильевич (1807—1845). Окончил в 1830 г. Московский университет. В 1830—1833 гг. был в приятельских отношениях с Герценом. В одном



Д. В. ПАССЕК

Литография, 1840-е годы

Институт литературы, Ленинград

из писем этого периода к Татьяне Кучиной Д. В. Пассек писал: «Скажи Александру [Герцену], что в нем я нашел человека цельного, с быстрым проницательным взглядом и умом... Наконец, я нашел вне нашего семейства могучего человека и этот человек — Александр» (цитируем по воспоминаниям Т. В. Пассек «Из дальних лет»); цитируемые письма относятся к тому периоду, когда в отношениях между Герценом и Диомидом Пассеком наступило некоторое охлаждение, которое позже, с 1834 г., разрослось в полную размолвку. Диомид Пассек стал офицером. После окончания в 1837 г. Военной академии и службы в генеральном штабе он, в чине генерал-майора, принимал участие в кампании кавказской армии против Шамиля. При взятии Дарго Д. Пассек был убит. В воспоминаниях современников отмечается популярность Диомида Пассека, как одного из наиболее смелых и энергичных генералов кавказской армии. В «Былом и думах» Герцен писал о смерти Диомида Пассека: «он умер блестяще окруженный признанием врагов, средь успехов, славы, хотя и не за свое дело сложил голову».

[3] Пассек Татьяна Петровна (урожд. Кучина) — кузина Герцена и жена Вадима Пассека. Т. П. Кучина была товарищем детства и юности Герцена. В «Русской Старине» с 1872 г. печатались ее воспоминания, посвященные, в значительной степени, Герцену. Эти воспоминания вышли потом дважды отдельным изданием, в 1878—1879 гг. и 1905—1907 гг. — «Воспоминания Т. П. Пассек (Из дальних лет)», тт. I—III.

[4] Савич Алексей Николаевич. Окончил Московский университет в 1829 г. Был участником герценовского университетского кружка. Герцен называл его «представителем материализма XVIII в.». Отъезд в Дерптский университет в конце 1833 г., после получения степени магистра астрономических наук, оборвал связь его с Герценом. Савич стал выдающимся русским астрономом. В 1862 г. он был избран действительным членом Российской Академии наук.

[5] Имеется ввиду статья Герцена о Петре I, посвященная Диомиду Пассеку (Герцен, т. I, стр. 85).

[6] Огарев Николай Платонович был знаком с братьями Пассеками и переписывался с ними.

2

Братьям Евгению и Диомиду.

Я чуть было не сделал глупости, но надейся всегда на мою увертливость. Получил от тебя 125 рублей, послал за ними на почту. Я уже сказал об этом маменьке твоей[1], но поправил после, сказав, что 100 р[у]б[лей] принадлежат Носкову[2], и так все сделал по твоему велению.

От Диомида с нетерпением жду письма, он скуп ко мне и, кажется, мы с ним симпатизируем, как нельзя более, впрочем, что за счеты.

Доша[3], у меня еще прибавилось несколько мыслей к моей статье и, может быть, я в скорости буду писать вторую часть, т. е. что сделала Россия от Петра до наших дней; вопрос огромный, но иногда в юности, и без фактальных сведений, взор орлиный, ежели юноша орленок. Не думаю, чтобы я это говорил в уверенности своего достоинства, но просто хочу попытать[4].

Евгений, мне приятно очень известить тебя, что Вячеслав[5], кажется менее шалит, впрочем, вряд должно ли употреблять коэрзитивные[6] меры. Больше убеждением, ибо это порок, а не шалость.

Прошу теперь передать Носкову.

Мишка,

Как поживаешь, друг умнейший, в Петербурге. Часто ли вспоминаешь о друге Герцене и о прочих московских друзьях. Не забывай, с этими воспоминаниями связано все высокое, все благородное, если не в наших действиях, то в наших желаниях.

С большим огорчением, ежедневно, Петров[7] меня спрашивает о Пуансоне [8] и посему я хочу адресоваться к твоему Дорофею.

Ежели ты здесь увидишь Смирнова, то скажи, что я его не забыл, тем более потому, что на днях от Г. М. Н. мне доставили от него грамотку.

Савич кланяется всем. Прощайте братья и друзья.

Весь Ваш Александр Герцен

8 марта [1833 г.]
Златоглавая Москва

[1] Пассек Екатерина Ивановна — мать братьев Пассеков: Евгения, Диомида, Вадима, Леонида, Помпея и Вячеслава.

[2] Носков Михаил [Александрович?] — один из первых среди близких Герцену людей увлекся идеей трактовки христианства, как социального учения о справедливости. В письме 1833 г. к Огареву Герцен писал: «Предмет мой хри-



ДОМ ПАССЕКОВ В МОСКВЕ, НА ОСТОЖЕНКЕ
Фотография
Литературный музей, Москва

стианская религия. Носков говорит, что это его поэзия. Мы не умели понимать Носкова».

[3] Пассек Диомид Васильевич.

[4] В первой части своей статьи о Петре I Герцен отвечал на вопрос: «Явился ли сей гигант [Петр I] вопреки всем историческим законам столь самобытный, столь заключенный в самом себе, что, с одной стороны, в нем не было исторической необходимости, с другой, что без него Россия осталась бы в том состоянии, в котором была до него». Вторая часть, замысел которой сообщает Герцен в этом письме, должна была отвечать на следующий вопрос: «после устремления России к европеизму, в чем и как успела она до нашего времени».

[5] Пассек Вячеслав Васильевич — младший из братьев Пассеков.

[6] Принудительные.

[7] Возможно, что имеется в виду Павел Яковлевич Петров, окончивший Московский университет в 1833 г., ставший впоследствии известным ориенталистом, профессором по кафедре санскрита в Казанском, а потом Московском университетах.

[8] Имеется в виду распространенный тогда учебник по механике французского математика Луи Пуансо «Элементы статики».

3

Диомид!

Когда приедешь в Москву, не забудь привезть мою статью о Петре I, или копию с нее пришли Муравьевым.

Берег, берег, наконец-то он виден после 4-летнего плавания по ручью университета.

Удивляюсь, что Носков не был у вас.

Евгения обнимаю.

Александр Герцен

Отправляются письма к Вам, Диомид и Евгений, и я спешу напомнить вам о том молодом человеке, который совсем растерялся, но, все-таки, ваш неизменный друг и добрый малый.

Ваш Н. Огарев.

Апреля 29 [1833 г.].

Это — приписка к письму Вячеслава Пассека к братьям Евгению и Диомиду. Вячеслав сообщает о благотворном влиянии на него Тани, невесты Вадима Пассека. Сверху, над письмом Вячеслава Пассека, приписка Огарева.

4

Друзья Евгений и Диомид!

Получил я еще 140 рублей, которые все по назначению употребил, что же касается до ежедневных прогулок, то едва ли это может сделаться теперь, ибо дороги ужаснейшие, ни в санях, ни на дрожках, впрочем, по утрам морозы и в это время я советую... [слово не разобр.] гулять пешком.

От Доши каждый день жду письма, но от него, как от козла, ни шерсти, ни молока. Он, говорят, хочет приехать в Москву в мае, ради бога [хоть?] только не в мае и июне. В конце будут экзамены, и я

ПИСЬМО ГЕРЦЕНА К Е. В. и Д. В. ПАССЕКАМ ОТ 15 ЯНВАРЯ 1833 г.

Архив древних актов, Харьков



Е. В. ПАССЕК
Портрет маслом неизвестного художника, 1830-е годы
Литературный музей, Москва

не смогу видеться с тобой. Ради дружбы и...[слово не разобр.] не приезжай раньше 28 июня.

Прощайте, остальное все имеет принадлежать Носкову.

Александр Герцен

Душа Носков!

Приближается время выхода из университета. Многим, очень многим обязан я ему; науками, сколько в состоянии был принять и сколько он в состоянии был мне дать. Но главное методу я там приобрел, а метода важнее всякой суммы познаний. Друзья, я вас там приобрел, и это приобретение оживило всю мою душу. Вы поняли меня и ответили дружбой, в то время, как прежде мертвый эгоизм обдавал меня своим холодом. Решительно могу сказать, что все сладкое, что было в моей юности, произошло от друзей и от наук. Словом, благословляю университет.

Мишка! [1] Теперь на время отлагаю все мечты и планы, я предался двум занятиям: 1) приготовляюсь к экзаменам, 2) хочу золотой медали. Официально еще не задали, но известно, что задаст Д[митрий] Матв[еевич] [2]. И о чем же! О Коперниковой системе в философском и астрономическом отношении. Вот предмет, который я надеюсь превосходно обработать. Употребляю все и желаю, либо получить золотую медаль, либо — ничего [3].

(Будь сказано сие не во зло некоторым кавалерам с серебряной медалью).

Прощай, друг, обнимаю тебя.

Александр Герцен

P. S. Ты, может, удивишься, что я не прошу тебя писать к себе. Но я знаю, что это тебе напоминать не нужно.

Огарев всем кланяется.

[Начало мая 1833 г.].

[1] Носков.

[2] Перевощиков Дмитрий Матвеевич — в период с 1819 по 1851 гг. профессор Московского университета. Читал курсы астрономии и математики.

[3] Названная тема действительно была дана на выпускном экзамене, но Герцен за свое сочинение на эту тему (см. Герцен, т. I, стр. 91) получил лишь вторую серебряную медаль. Золотую медаль получил Драшусов, студент посредственных способностей. По этому поводу Герцен писал Огареву: «Обижаться ли мне этим? Нет, это уж что-то слишком глупо. И мне ли состязаться с... Драшусовым» (там же, стр. 114).

5

[25 мая 1833 г.].

Евгений и Диомид, здравствуйте. Вы, как немые, ни строки ко мне, а я грешный, теперь в скуке большой, готовлюсь к экзаменам. Как ты нашел Мур[авьева]? Я мало его знаю, но знаю с хорошей стороны. Что Носков? Его молчание меня удивляет. Забыть друзей он не может. Писать разучиться тоже не может. Не понимаю.

Александр Герцен

Это — приписка к письму матери братьев Пассеков — Екатерины Ивановны Пассек — к сыновьям — Евгению и Диомиду.

6

[Июнь 1833 г.].

Спасибо тебе, Евгений, что наконец вспомнил, что я существую во времени и пространстве. Касательно твоих опасений, насчет моего здоровья, извещаю, что я весьма здоров [слово не разобр.].

А. Герцен

На обороте:

А propos, на небо я еще не взят, но с дня на день дожидаюсь лошадей. Вот ты мне не хотел давать доверенности, а тебе [слово не разобр.].

А. Герцен

7

[Конец июня или начало июля 1833 г.].

Благодарю тебя, Доша, за твою критику на мою статью, она очень хороша, но ты напрасно думаешь, что опровергаешь мою мысль о Петре, мы согласны. Жалею очень, что ты не будешь долго сюда. Дружба наша была кратковременной, переписки у нас нет и потому, может случиться, что мы очужнеем. Это горько и обидно [нам?] будет.

Я кандидат и волен от университета, дай знать об этом Носкову, и он не пишет ко мне, и он.

Прощай.

Александр Герцен

P. S. Твоя статья о женщинах не нравится мне, в ней ничего не доказано, это какое-то умственное [слово не разобр.]. За мной пишет Савич от того, что ему нечего писать.

Это — приписка к письму Вячеслава Пассека к братьям Диомиду и Евгению. После текста Герцена приписка Савича следующего содержания:

И в самом деле важных любопытных известий нет у меня, но написать тебе несколько слов, для того, чтоб напомнить о себе, для меня приятно, и потому пишу к тебе. Александр Иванович забыл написать тебе, что ему назначена за диссертацию медаль. Что тебе сказать об университете? Право не знаю. Ученые его записки выйдут в первых числах августа. Я видел, что в ученых этих записках есть много переводных статей. Это ли называется издавать свои записки? Прощай, не забывай преданнейшего тебе

А. Савича

II. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА Т. Н. и Е. Б. ГРАНОВСКИМ

Публикация О. Поповой

I

Если хотите ехать в сад после обеда, то приезжайте или обедать или не позже 6-ти часов. Берите только своего обыкновенного извозщика. Место будет [1]. Дай знать Кетчеру [2]. Боткин [3] едет и Языков [4] с женой.

А. Герцен

29 мая 1843 г.



Е. Б. ГРАНОВСКАЯ
Фотография, 1850-е гг.
Институт литературы, Ленинград

Лизавета Богдановна, через час я зайду за вами и мы пойдем вместе или поедем к Ф[лите?]ровским [5].

На обороте рукою Герцена:

Кетчеру, а его прошу переслать Грановскому.

Записка написана, повидимому, в первой половине 1843 г., до отъезда в Петербург Н. Х. Кетчера, выехавшего из Москвы 23 октября 1843 г., и до получения В. П. Боткиным 8 августа 1843 г. заграничного паспорта. В 1844 г. Языков с женой жили в Петербурге, о чем свидетельствуют неоднократные приветствия ему Герцена, передаваемые через Кетчера (см., например, письма Герцена к Кетчеру от 17 января 1844 г., 1 марта 1844 г. и др., — Герцен, т. III, стр. 382, 387).

[1] Речь идет о поездке в один из увеселительных садов Москвы.
[2] Кетчер Николай Христофорович.
[3] Боткин Василий Петрович.
[4] Языков Михаил Александрович (1811—1885) — был директором императорского стеклянного завода, в 70-х годах управлял акцизной палатой в Калуге, потом в Новгороде, где основал общественные библиотеки. Принимал участие в «Современнике» и был близок к писательским кругам, в особенности — к Белинскому, позднее — к Гончарову.
[5] Ф[лите?]ровские, — установить не удалось.

2

Сегодня в половине седьмого вечером карета будет ожидать Лизавету Богдановну[1] и Юлию[2], чтобы препроводить их в назначенное место, в сопровождении сытого кавалера[3]. Для безопасности просят покорно пригласить еще кого-нибудь с своей стороны, впрочем, до сих пор сытой кавалер еще трезв!

Посылаю сонату в четыре руки и прошу передать мне забытого мною Вашингтона Ирвинга[4]. Ложа — 5 номер. Бенуар.

На обороте:

Ее высокоблагородию Лизавете Богдановне Грановской. На Маросейке, в доме г-на Боткина[5].

Записка не датирована. С наибольшей вероятностью может быть отнесена к 1843—1844 гг.

[1] Грановская Елизавета Богдановна, урожд. Мюльгаузен (1824—1857) — жена Т. Н. Грановского.
[2] Мюльгаузен Юлия Богдановна — младшая сестра Е. Б. Грановской, о которой А. В. Щепкина пишет: «В приемные дни помогала Е. Б. младшая сестра ее Юлия Богдановна, всегда с любовью за ней ухаживавшая, разделяя и все хлопоты по хозяйству» («Воспоминания Александры Владимировны Щепкиной», Сергиев Посад, 1915 г., стр. 177).
[3] «Сытой кавалер» — сам Герцен.
[4] Вашингтон Ирвинг (1783—1859) — американский писатель, произведения которого в 20—30-х годах пользовались большим распространением в России и, в частности, оказали некоторое воздействие на литературную манеру самого Герцена в его ранних беллетристических вещах. Факт знакомства Герцена с его произведениями документально устанавливается здесь впервые.
[5] В своих воспоминаниях А. В. Щепкина пишет, что Грановские квартировали «...в доме Боткиных, на Маросейке, в нижнем этаже очень большого дома отца В. П. Боткина, близкого кружку Грановского. В бельэтаже жила многочисленная семья Боткиных. Все они относились к Грановскому очень радушно. При доме был большой сад, в котором обе семьи встречались на прогулках» (Цит. соч., стр. 169).

3

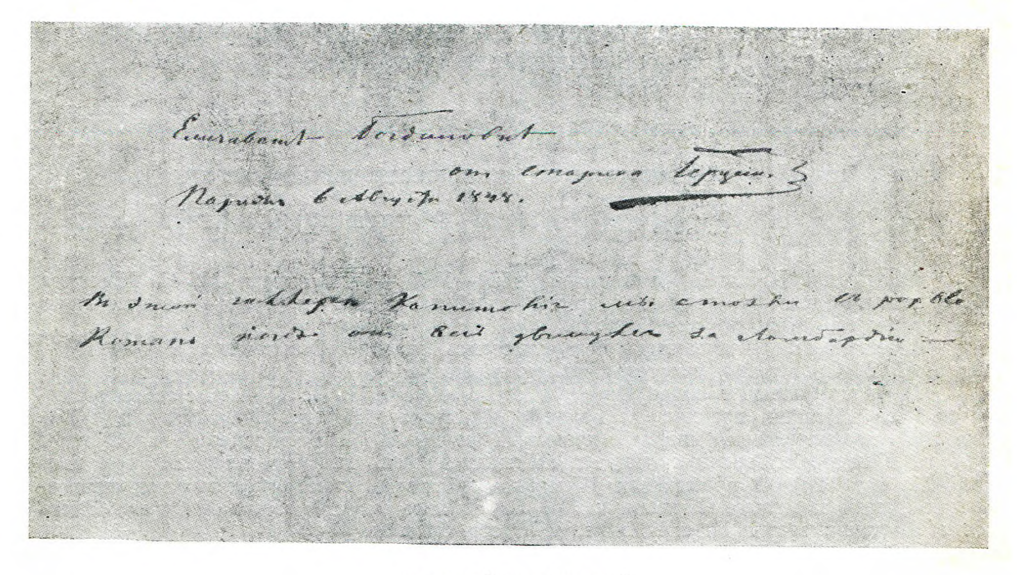
Елизавете Богдановне[1] от старика[2] Герцена.

Париж, 6 августа 1848 г.[3]

В этой галлерее Капитолия мы[4] стояли с popolo romano, когда он весь двинулся за Ломбардию[5].

Эта надпись сделана Герценом на обороте рисунка (маслом), изображающего Капитолий.

[1] С возвращающимися в 1848 г. из Парижа в Россию Н. А. и Е. А. Тучковыми и М. Ф. Корш Герцен послал в подарок своим друзьям несколько своих статей, карикатуры, «чрезвычайно замечательные №№ журналов» и «ворох картин» («Герцен, Новые материалы. К печати приготовил Н. М. Мендельсон. Труды Публичной библиотеки СССР имени В. И. Ленина». М., 1927 г., стр. 48, 49 и 57). Среди них был и рисунок Капитолия, посланный Е. Б. Грановской.
[2] Герцену в это время было 36 лет; называя себя стариком, он говорит о значительном политическом и жизненном опыте, полученном им с момента отъезда из России.
[3] Выехав из Рима 13 апреля, Герцен приехал в Париж 5 мая (см. Герцен, т. XXII, стр. 244).



Елисавете Богдановне
от старика Герцена.
Париж в Августе 1848.

РИМСКИЙ КАПИТОЛИЙ

Этюд маслом неизвестного художника с дарственной надписью Герцена Е. Б. Грановской на обороте

Исторический музей, Москва

[4] В конце марта 1848 г. Герцен, вместе с женой Натальей Александровной, М. Ф. Корш и Н. А. и Е. А. Тучковыми был свидетелем народного энтузиазма в Риме при объявлении войны Австрии. В «Западных арабесках» Герцен посвятил этому моменту следующие строки: «Посол явился успокоить народ и подтвердить весть о войне; слова его приняты с исступленной радостью. Чичероваккио (Антонио Брунетти — герой римской республики, расстрелянный в 1849 г. австрийцами. — *О. П.)* был на балконе, сильно освещенный факелами и канделябрами, а возле него осененные знаменем Италии четыре молодые женщины, все четыре русские — не странно ли? Я, как теперь, их вижу на этой каменной трибуне и внизу колыхающийся бесчисленный народ, мешавший с криками войны и проклятиями иезуитам громкое «Evviva le donne forestiere» *. (Герцен, т. XIII, стр. 299—300).

[5] Война Италии за Ломбардию, в силу реакционной политики неаполитанского короля Фердинанда II, папы Пия IX и Карла-Альберта, возглавлявшего войска Пьемонта, была проиграна. 5 августа 1848 г. Карл-Альберт бежал из столицы Ломбардии — Милана, в которую вошли войска австрийского фельдмаршала Радецкого.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМО Н. М. ЩЕПКИНА [1] А. В. ЩЕПКИНОЙ [2]

20 июня 1857 г., Лондон [3]

Вчера в 11-ть часов ночи я приехал в Putney [4] к Герцену, где и поселился. Я жив и совершенно здоров. Герцен с детьми [5] и Огаревы тоже здоровы. Ты разумеется можешь представить себе, как я рад видеть Герцена. А какие у него славные дети, какие хорошенькие и милые. От тебя поклон к Нат[алии] Алек[сеевне] [6] передал — она жалеет, что ты не приехала. Дети Герцена ждали встретить по крайней мере Володю [7] — русского мальчика. Приеду в Париж в четверг к ночи. Будь здорова, поцелуй детей и скажи Коке [8], что у Герцена есть девочка Оля, которую бы он непременно полюбил.

Ну прощай — будь здорова.

Приписка рукою Герцена:

Позвольте вам поклониться не имея чести лично вас знать.

А[лександр] Г[ерцен]

[1] Щепкин Николай Михайлович (1820—1886) — сын актера М. С. Щепкина, общественный деятель, издатель, много содействовавший народному образованию Был, как и его отец, другом Герцена.

[2] Щепкина Александра Владимировна, урожд. Станкевич (1824—1917) — сестра Н. В. Станкевича, писательница, мемуаристка.

[3] В биографической канве Герцена, составленной М. К. Лемке, ошибочно значится, что Щепкин приехал к Герцену 22 июня 1857 г. (Герцен, т. XXII, стр. 286), на основании, видимо, письма Герцена к М. Е. Рейхель от 18 июня 1857 г., в котором Герцен сообщает: «Щепкин пишет, что приедет через три дня» (т. VIII, стр. 523). О пребывании Щепкина у Герцена имеется следующая лаконическая запись в письме Герцена к М. Е. Рейхель от 29 июня 1857 г.: «Здесь гостит Щепкин; завтра он едет...» (т. VIII, стр. 547).

[4] Putney (Путней) — предместье Лондона на берегу Темзы, где жил Герцен.

[5] Дети Герцена: сын Александр Александрович (1839—1906) и дочери: Наталия Александровна (1844—1936) и Ольга Александровна (р. 1850).

[6] Тучкова-Огарева (1829—1913).

[7] Щепкин Владимир Николаевич (1849—конец 1880-х гг.)—магистр политических наук. В 1875 г. был привлечен по делу 193-х о революционной пропаганде.

[8] Щепкин Николай Николаевич (1854—1919) — впоследствии городской и земский деятель, член центрального комитета к.-д. партии.

Публикуемые выше материалы хранятся в архиве Государственного Исторического музея, в Москве, в составе собрания Грановских.

* Да здравствуют иностранные дамы.

III. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА Г. И. КЛЮЧАРЕВУ

Публикация М. Клевенского

Печатаемые 35 писем Герцена, не опубликованные до сих пор, все адресованы одному лицу — Григорию Ивановичу Ключареву. Ключарев, мелкий московский чиновник, заведывал денежными делами И. А. Яковлева, отца Герцена, был одним из душеприказчиков его и Л. А. Яковлева, его брата. Свои обязанности поверенного по денежным делам он сохранил и после смерти И. А. Яковлева, когда в права наследства вступил его сын. Уезжая за границу, Герцен поручил ему надзор за своим костромским имением, московским домом и прочими хозяйственными статьями. Когда правительство задумало наложить руку на состояние Герцена, то за всеми сведениями о положении его имущественных дел III Отделение естественно обратилось к Ключареву. После царского объявления о наложении запрещения на имение Герцена и об изгнании его Ключарев прервал с ним сношения, о чем и уведомил его мать, и передал генерал-губернатору Закревскому имевшиеся у него наличные деньги Герцена, в размере 6065 руб. серебром, равно как и все денежные документы Герцена, а также и письма к нему Герцена и его матери. Закревский приказал Ключареву и впредь доставлять ему все письма, получаемые им от Герцена и Л. И. Гааг.

Письма Герцена относятся к первым годам его пребывания за границей, охватывая время с марта 1847 г. до февраля 1850 г. Только к концу этого периода для Герцена выяснилась неизбежность перехода на положение эмигранта. До того же времени Герцен постоянно пишет Ключареву о своем намерении вскоре возвратиться в Россию, что, конечно, вполне соответствовало действительности.

Тем положением, в каком стоял относительно Герцена Ключарев, объясняется специальный характер писем Герцена: они касаются, главным образом, имущественных дел Александра Ивановича, выясняют экономическую базу его существования. В этом смысле они драгоценны для будущей полной биографии Герцена. Особенно важны, например, письма №№ 10, 18, 25, где Герцен очень точно говорит о том, из каких статей слагались его доходы, какова была сумма его нормальных доходов и нормальных расходов в год.

Письма к Ключареву хорошо рисуют ту особенность положения Герцена, вследствие которой он, всячески сочувствуя широкому распространению революционного движения в Европе, в то же время не мог не тревожиться за судьбу своих капиталов в процессе развития революции.

Интересно изложенное Герценом его «нравственное правило», на счет своего состояния, которое он дает в письме от 8 сентября 1848 г.: «Я получил почти случайно довольно много, — никогда не имел я ни жажды стяжания, ни любви к безумной роскоши. У меня есть дети — полученное мною я им *передам* [подчеркнуто Герценом]. Увеличить состояние я не чувствую ни охоты и, наконец, не вижу необходимости. Доход мой имеет три назначения: доставить мне с семейством прожиток; доставить средства на самое развитое воспитание детей, доставить возможность не отказывать в иных случаях приятелям и знакомым». В дальнейшем Герцен пишет о том, что в тот момент, когда капиталы прячутся вследствие революции, выгоды, приобретаемые на наличные деньги, превосходят вероятие; что «здесь можно делать теперь удивительные спекуляции», что его сильно соблазняют торговые сделки. Совершив при посредстве Ротшильда выгодную операцию с частью своего капитала, Герцен в письме от 15 февраля 1849 г. задает вопрос: «... Для чего я не увеличу его [т. е. доход] там, где это легко, где стоит нагнуться, чтобы поднять? Вот главные правила, от них я не отступаю, и не имею повода раскаиваться. Увеличение средств позволяет в иных случаях протягивать руку с существенной помощью друзьям — а без этого и совесть нечиста».

Герцен недаром часто упоминает о помощи друзьям: письма к Ключареву лишний раз показывают на широкие пределы этой помощи. Через несколько лет Герцен нашел для своих избытков еще и другое употребление: он создал на свои средства русскую заграничную прессу, имевшую громадное общественное значение и сыгравшую громадную историческую роль.

Помимо своей основной темы, письма Герцена к Ключареву дают и еще некоторые детали относительно первых лет его заграничной жизни. В частности, они существенны в том отношении, что позволяют несколько уточнить итинерарий Герцена и пр. Очень ценно то, что одно из писем дает разъяснение по поводу его произведения «На пароходе».

Письма Герцена даются по подлинникам, хранящимся в Рукописном отделе Всесоюзной библиотеки им. Ленина. Там отсутствуют только два письма, обозначенные у нас №№ 28 и 35. Копия письма № 28, которое, очевидно, было приложением к письму № 27, была любезно предоставлена редакции «Литературного Наследства» Н. Л. Бродским. Письмо № 35 печатается по подлиннику, хранящемуся в собрании Г. А. Волкова, которому приносим благодарность за его предоставление.

1

13/1 марта 1847, Кельн

На это и на письмо от 16 марта
ответствовано 3 апреля.
Письмо послано через контору
Ценкера [1] 7-го апреля через Егора Ивановича [2]

Отложивши такую большую долю нашего пути, почтеннейший Григорий Иванович, я, наконец, исполняю давнишнее желание и пишу к вам, хотя, впрочем, я несколько раз сообщал вам о нашем пути через Егора Ивановича. В Берлине пробыл я три недели [3]; советовался там с докторами насчет жены и насчет Коли [4], ей советуют морские ванны и главное пожить в здоровой полосе не очень южной, но теплой; что касается до Коли, я почти не имею надежды, чтобы он излечился, разве сама природа переработает впоследствии, я буду еще в двух местах советоваться — но это в очистку совести. — Из Берлина мы перенеслись в Гановер по железной дороге в несколько часов, — потом тащились шагом до Елберфельда, от Елберфельда в два часа езды приехали в вагоне сюда. Нельзя ездить удобнее и покойнее, как по железным дорогам, порядок удивительный, вагоны отделаны с роскошью, обширны, светлы и так высоки, что в них ходить можно. Мы брали везде целое купе (6 мест) и были очень довольны. Я нанял себе расторопного и хорошего камердинера в Кенигсберге, и также горничную, которую маменька увезла с собой в Штутгарт, она отправилась еще прежде нас из Берлина по железной дороге и представьте, что мы имели от нее письмо через день из Веймара. Вот все касающееся до нас. Теперь пойдут распросы, на которые надеюсь получить ответ через Ценкера и Турнейсена [5]. Когда возвратился к вам Зоненберг [6], который был, впрочем, совершенно бесполезен на дороге, а с ним Татьяна — кормилица, если она в Москве и у нас в доме, поручите ей от Наташи 1-ой и 2-ой [7], а равно и от меня поклониться. Отдан ли дом в наймы, кому и как? — И, вообще, примите на себя труд обо всем меня известить.

Дмитрию Павловичу [8] не забудьте передать мое почтение и скажите, что я сижу теперь в Belle vue перед самым Рейном и перед кельнским собором.

Егору Ивановичу я сегодня не пишу и, вероятно, отсюда писать не буду, сообщите ему при случае, что дети и мы совершенно здоровы и до Кельна нужды не терпим.

Прошу вас, поклонитесь от меня Прасковье Андреевне [9] и Вере Артамоновне [10], а потом и всем, да кстати напишите, как себя ведут живущие в доме. Я во всем надеюсь на вас, как на каменную стену, Григорий Иванович. — Как идут денежные получения, т. е. что Дм[итрий] П[авлович] оставил у себя 10/т[ысяч] или нет?

Жена моя усердно вам кланяется.

Прощайте, будьте здоровы, мы вероятно 15/2 марта будем опять в дороге.

Весь ваш А. Герцен

Я письмо не франкирую, где это можно, потому что нефранкированные письма вернее доходят, а то трактирные слуги и комиссионеры забывают отправлять, когда им даешь деньги при письме.

[1] Ценкер — владелец банкирской конторы в Москве.

[2] Герцен Егор Иванович (1803—1882) — старший брат Герцена от другой матери.

[3] В своей «Канве биографии Герцена» М. К. Лемке отводит на пребывание Герцена с семьей в Берлине всего дня 3 (с 27 февраля по 1 марта). Уже Н. М. Мен-



ГЕРЦЕН

Литография Л. Ноэля 1847 г. с дарственной надписью Герцена М. Ф. Корш

Музей Революции, Москва

дельсон (А. И. Герцен. Новые материалы, М., 1927 г., стр. 30—31) указал, что пребывание Герцена в Берлине должно было быть более продолжительным. Это вполне подтверждается прямым указанием Герцена на трехнедельный срок.

4 Николай Герцен (1843—1851) — сын А. И. Герцена, глухонемой от рождения. Погиб при кораблекрушении в Средиземном море 16 ноября 1851 г. вместе с матерью Герцена.

5 Турнейсен — парижский банкир.

6 Зоненберг Карл Иванович (умер после 1862 г.) — бывший гувернер Н. П. Огарева, потом живший при отце Герцена и исполнявший разные его поручения.

7 Жена и старшая дочь Герцена.

8 Голохвастов Дмитрий Павлович (1796—1849) — двоюродный брат Герцена, автор нескольких исторических статей и издатель материалов по русской истории. Служил в коллегии иностранных дел, был при Строганове помощником попечителя Московского учебного округа, в 1847 г. был назначен попечителем.

9 Эрн Прасковья Андреевна (ум. 1849 г.) — мать Марии Каспаровны Эрн. Познакомилась с Герценом в Вятке в 1835 г. В 1837 г. переехала в Москву и поселилась в доме И. А. Яковлева по предложению последнего. Была как бы членом семьи Герцена.

10 Вера Артамоновна — бывшая няня Герцена.

2

Париж, 1847, 28/16 марта

Вчера получил ваше письмо, почтеннейший Григорий Иванович, от 19 февраля, оно пришло поздно, потому что я пробыл несколько лишних дней в Бельгии. Теперь позвольте сказать поскорее о делах. 1-е. Всех денег с процентами до марта, принадлежащих костром[ским] кр[естьянам][1], 3.060 руб. ас[сигнациями]; они имеют полнейшее право на них, но я об одном попрошу вас, отдавая им эти деньги, принять меры, чтобы они достигли своей цели, и обязать Шульца[2] строгой ответственностью, особенно сына, — он отвечает своим лицом; не мешало бы иметь от них мирской приговор, что они доверяют это дело Шульцову сыну с кем-нибудь еще — если Егор Ив[анович] не отдаст теперь этих денег, то попросите их у Дм[итрия] Павл[овича] в счет будущих процентов; наконец, ежели в случае надобности вы истратите свои деньги, я с благодарностью возвращу их немедленно. 2-е. Неужели Огарев до сих пор не высылал вам доверенности на получение 6 или 7/т[ысяч] ас[сигнациями] в казенной палате? И неужели г. Корш[3] не требовал по огаревск[ому] делу для Петерб[урга] 2 500 ас[сигнациями]? мне никто ничего не пишет. Вы пишете, что у вас остается 701 руб. сер[ебром], поберегите эти деньги до объяснения по этому, а я вместе с этим напишу к Огареву и к Коршу, и если и тут случится добавить, до 2 500, я вас попрошу — с тем вместе я напишу к Огареву, чтобы прислал к вам деньги на мой расход, но для этого я подожду вестей от вас.

3. Я всем людям от Таургена выдал особо награждение и каждому на руки деньги на харчи, я им дал так много, что не ожидал новых требований, тем паче явного обмана, а поэтому полнейший отказ. 4. Солдата отпустите, Кузьму оставьте, впрочем, в этих делах, сделайте одолжение, поступайте как вы лучшим найдете. 5. Хотя я верно и не знаю, но по мелкости требований попрошу вас отдать Андрею и Панкрату, а с тем вместе Андрея и отпустить. 6. Татьяны паспорт тогда же отдан в ордонанс-гауз и был заменен дозволением ехать на три месяца — у меня его нет, да нельзя ли ей подать просьбу, что потеряла, во всяком случае помогите ей. Пусть она еще поживет у нас, дайте ей 5 ас[сигнаций] от имени Наташи — которая здорова, а была и больна в Генте[4]. Я слышал, что она что-то не ладит с Праск[овьей] Андреев[ной] — охота им — а, впрочем, я ею остался весьма доволен, — а потому она заслуживает снисхождения.

*6. Относительно дома, хоть я и удивляюсь, что его так обижают, но прошу уменьшить цену — если за этим дело, насколько вам покажется справедливым. А то я рассержусь и уступлю его Егору Ивановичу с руками и ногами.

7. Уведомьте меня, отдал ли Кувшинников[5] остальные деньги, а если он не отдал, то сообщите ему, что его поступок странен, буде же в этом виноват Захар Серебряков, то я попрошу вас постращать их, властию Дм[итрия] Павл[овича] над их землею.

Засим прощайте. Все мои кланяются вам, я кланяюсь Карлу Ивановичу — он пишет, что я ему должен 131 р[уб.] 9 к[оп.] ас[сигнациями], а Егор Ив[анович] пишет, что отдал ему 100 руб., стало за мной 31 [руб.] 9 к[оп.] вручите ему. — Далее ни Данила[6], ни Гаврила[7], ни кто другой не имеют никаких прав ни на что, жалов[анье] за месяц вперед я им отдал сам.

Простите за все хлопоты, доставляемые вам, Григорий Иванович.

Весь ваш А. Герцен

С боку приписка:

Я полагаю, что осенью буду просить Дм[итрия] Павл[овича] о уплате 10/т[ысяч], напишите пожалуйста, можно ли надеяться.

[1] Крестьяне имения в Чухломском уезде Костромской губ., принадлежавшего Герцену.

[2] Шульц — вероятно управляющий в костромском имении.

[3] Корш Евгений Федорович (1810—1897) — журналист и переводчик, член московского кружка западников, редактор «Московских Ведомостей» (1843—1848) и журнала «Атеней» (1858—1859), в 40-е годы — одно из близких к Герцену лиц в Москве.

[4] В «Канве биографии Герцена» Лемке не отмечено пребывание Герцена в Генте в марте 1847 г.

[5] Кувшинников и Захар Серябряков — повидимому, крестьяне.

[6] Данила — кучер И. А. Яковлева, отца Герцена.

[7] Найденов Гавриил Семенович — крепостной Яковлева.

3

5 июня 1847 г., Париж

Почтеннейший Григорий Иванович!

Письмо ваше, вложенное в письмо Егора Ивановича, я имел удовольствие получить — и снова должен много и много благодарить вас за ваше участие и помощь в моих делах. Из письма Егора Ив[ановича] я заметил, что оно писано в каком-то состоянии меланхолии и раздражения, а потому не счел нужным на него отвечать. Итак, скончалась и княгиня Мария Алексеевна[1] — нет теперь ни одного представителя старейшин, встретивших нашу жизнь—грозное напоминание нам. Пишу к вам теперь именно с целью. Я просил вас вручить 200 руб. ассиг[нациями] Сергею Ивановичу Астракову[2], но ныне попрошу вас, буде ему нужно, вручить ему до 1.000 руб асс[игнациями], т. е. 800 р[уб.] сверх прежних. Этим вы меня премного обяжете.

Если вы находитесь в сношениях с Никол[аем] Платоновичем, то сообщите ему, что я отдал Мар[ье] Касп[аровне][3] проценты за 2.000 сер[ебром] от апреля за год, и за полгода от 6 сентября за билет в 3.000 сер[ебром]. Он может вам прислать эти деньги, если они у него под рукой.

Мы живем здесь тихо и хорошо. Жена моя опять было сильно расхворалась, простудившись в Сен-Дени. Теперь ей лучше, однако, я собираюсь в октябре переехать в Палерму, а оттуда к карнавалу в Рим. Маменька и Мар[ия] Касп[аровна] в Лондоне. Примите на себя

* Так в оригинале.

труд передать от меня и от моей жены усердный поклон Дмитрию Павловичу и Надежде Владимировне [4] — что б им прогуляться сюда, пространства нынче почти не существует. Маменька вечером поехала отсюда в Лондон, ночевала в Абевиле и утром на другой день была в Лондоне.

От Зоненберга получил грамотку, за которую благодарю — что-то он очень напугал бездной перестроек, построек, переделок и приделок. Впрочем, если все делается с вашего благословения, так лучше и не надо. Когда будете в наших краях, поклонитесь Вере Артамоновне — да напишите мне, что ее здоровье, я твердо жду, что она меня встретит при возвращении. Говорят, Кузьма очень хорошо себя ведет, за что ему очень благодарен. Про Панкратовы деньги должен был знать Лавр[ентий] Журавлев [5]. Я знаю, что часть денег ему отдана, но какая? в этом случае лучше в другой раз отдать. — За сим еще и еще дружески и усердно благодарю вас, остаюсь душевно и искренно преданный А. Герцен.

Я может быть съезжу один в Мадрид [6] в Августе месяце на недельку — письма постоянно буду просить до зимы адресовать на Турнейсена.

Что Серебряков и украденные им 500 руб.? для меня этот вопрос не столько денежный, как нравственный, если я кому-нибудь в жизни сделал добро, так это его семье, и такой гадкий поступок, хоть бы он для очистки себя старался уплатить.

На 4-й странице настоящего письма приписка другим почерком:

По сему письму тысячу рублей ассигнациями получил кандидат Московского университета Сергей Астраков 1847 г. Июля 7 дня.

[1] Хованская Марья Алексеевна кн., урожд. Яковлева (1755—1847), жена кн. С. Ф. Хованского, сестра И. А. Яковлева. В ее доме воспитывалась Н. А. Захарьина, бежавшая оттуда перед своей свадьбой с Герценом. О Хованской много говорится в «Былом и думах».

[2] Астраков Сергей Иванович (1817—1867) — преподаватель математики в Москве, приятель Герцена и Огарева.

[3] Эрн Мария Каспаровна, в замужестве Рейхель (1823—1916) — одно из самых близких Герцену лиц. Жила в Москве в доме И. А. Яковлева, по переезде Герцена в Москву поселилась у последнего и была воспитательницей его детей и близким другом его семьи. Вместе с Герценом выехала за границу. В 1849 г. вышла замуж за музыканта Адольфа Рейхеля; после этого жила в Париже, Дрездене и Берне. Была советницей Герцена в самых разнообразных делах; оказала ему громадную помощь в деле создания русской заграничной прессы.

[4] Голохвастова Надежда Владимировна — жена Д. П. Голохвастова.

[5] Лаврентий Журавлев — бывший крепостной слуга Герцена.

[6] Эта поездка не состоялась.

4

Гавр де Грас 26 августа 1847

Давно я не писал к вам, почтеннейший Григорий Иванович, и давно не имел вестей от вас прямо, хоть имел косвенную от Астракова. Усердно благодарю за исполнение моей просьбы.

Мы теперь все в рассыпной. Маменька, Марья Каспар[овна] и Коля в Берне, Наташа маленькая в Париже, жена, я и Саша [1] на берегу моря. Здоровье Саши заставило меня отложить прежде предположенные поездки, жене моей советовали морские ванны, действительно ей здесь было удалось, — но как на зло Саша занемог сначала лихорадкой; потом она заменилась воспалением в кишках, и мы наше пребывание, на чрезвычайно живописных берегах Нормандии, провели самым печальным образом, — теперь Саше гораздо лучше, и я полагаю, что в конце недели или к 1 сентября уедем отсюда. Сюда мы приехали на том самом пароходе (Норманди), на котором везли от Гавра до Руана

наполеоново тело. — Из писем Огарева я вижу, что он сильно и действительно принялся за хозяйство [2] — с чем от души его поздравляю, он часто беспокоит и вас, позвольте и мне с своей стороны поблагодарить вас за одолжение ему, могу вас уверить, что это человек благороднейший и заслуживающий истинного уважения. — Я ему писал, что он мне задолжал тысячи около четыре асс[игнациями], и напоминал о долге Соф[ьи] Фед[оровны] Каппель [3], если она требует уплаты, то потрудитесь сообщить мне, я готов перевести вексель на себя и сбавить в пользу Огар[ева] 2 пр[оцента]. Марье Каспар[овне] я здесь отдал проценты, что ее билет все еще в залоге? Если у вас к новому



ВАНДОМСКАЯ КОЛОННА В ПАРИЖЕ

Гравюра, 1840-е гг.

Музей изобразительных искусств, Москва

году не будет большой суммы, то я все же попрошу перевести тогда всю на дом Турнейсена, мне до февраля (здешнего), вероятно, хватит, но маменьке будет нужно, может быть. Впрочем, мелкие билеты, тысяч в пять, я могу через здешнего банкира в случае нужды разменять.

Что касается до меня, я как всегда здоров, больше занимаюсь глазами, т. е. смотрю, однако, иногда занимаюсь пером. Полагаю, что в Окт[ябрьской] книжке «Современника» вы прочтете письма отсюда [4].

Передайте усердное почтение Дмитрию Павловичу и Надежде Владимировне. От Егора Ивановича я тоже давно не получал — передайте ему дружеский поклон. Он, кажется, пишет к нам только тогда, когда в дурном расположении духа.

Что делается в доме под бдительным глазом Карла Ивановича? Прасковье Андреевне кланяюсь. Здесь носились слухи о том, что Елена Ал., отданная Алек. Ал. [5], очень дурно содержана и что даже Вера Артамоновна не пользуется всеми удобствами, которые она, без сомнения, заслужила. Я вполовину верю только — но тем не менее

счел нужным сообщить вам об этом. Вере Артамоновне поклон. Желаю от всей души, чтобы письмо это вас застало и всех ваших близких здоровыми, и в заключение, как всегда, дружески благодарю за все хлопоты и безмерные одолжения.

А. Герцен

Нат[алья] Ал[ександровна] кланяется вам и Саша.

Григорий Иванович, сделайте одолжение, записывайте в расход цену за письма, ибо я их никогда не франкирую из удобст отсылки, но не хочу никого вводить в траты. Также и ко мне не франкируйте.

P. S. Я сейчас, прогуливаясь по Гавру, нашел в лавке чашки и ложки деревянные, раскрашенные, спрашиваю, откуда, купец мне говорит, что это отличная посуда «архангельская», самая маленькая стоит 50 сантимов. Вот вам и редкость здесь. А зато мы едим здесь удивительные устрицы по 40 сантимов дюжина, в Москве таких вовсе нет, а если бы были, то верно стоили 4 р[уб].) сер[ебром]. — Если бы не болезнь Саши, было бы очень хорошо здесь, перед глазами Ла Манш, сотни кораблей и пароходов, отсюда теперь отправляются пароходы в 12 дней до Нью-Йорка. Железная дорога оживила край — только очень страшные тунели, минуты четыре неслись в полнейшем мраке — под горой или даже под городом, именно под Руаном. — Так думать страшно, а едешь — ничего. Удобства удивительные, везде отели отличные, и, словом, при не очень больших деньгах — можно не заметить, что в дороге. Лето было очень переменчиво, но вообще до сих пор погода мягкая, я купаюсь в море всякий день.

[1] Саша — сын Герцена Александр (1839—1906).

[2] О хозяйственной деятельности Огарева см. его письма в сборнике «Помощь голодающим» (М., 1892 г.) и в «Звеньях» (сб. 1, 1932 г.), а также статью М. Гершензона об Огареве-помещике в «Истории молодой России».

[3] Каппель Софья Федоровна (род. в 1790 г.) — дочь Иоганна-Фридриха Каппеля, бывшего врачом во Владимире. Сестра ее, Юлия Федоровна, была замужем за владимирским губернатором, позже сенатором И. Э. Курутой. Герцен сошелся с Юлией Федоровной и ее сестрой во время своего подневольного пребывания во Владимире. Софье Федоровне был должен по векселю Огарев.

[4] В октябрьской книге «Современника» напечатаны первые три «Письма из Avenue Marigny» (с подписью «И»).

[5] Неясное место. Алек. Ал. — Может быть, Алексей Александрович Яковлев («химик», ум. в 1868 г.), брат по отцу Н. А. Захарьиной и двоюродный брат Герцена. Нам неизвестно, кто такая Елена Ал. и не одно ли это лицо с Еленой, о которой идет речь в письме № 30.

5

16 октября 1847. Париж

Письмо ваше от 11 сентября, почтеннейший Григорий Иванович, я получил давно, благодарю вас за него и поздравляю от души с орденом, тем более поздравляю, что глубоко уверен в истинной и благородной пользе, которую вы приносите вашими занятиями — это не фраза.

Я совершенно готов к отъезду в Италию. Доктора никак не советовали ни Нат[алье] Алекс[андровне], ни Саше, который был очень болен в Гавре, я просто уверен, что у него была холера, — долее здесь оставаться. Мы едем сначала в Ниццу, потом в Рим — так как по этой дороге дилижансы скверные, то я купил коляску подержанную, но со всеми дорожными принадлежностями, и у кого же — у испанского министра Нар... [неразб.] — смешное столкновение одного с севера, другого с юга придает коляске интерес.

Вы пишете, что у вас собралось денег до 6.400 руб., если вы еще не распорядились с ними, то их можно положить на имя маменьки в опекун[ский] совет, вы знаете, что она дала свои деньги для перевода Ценкеру, — а если положено на мое, и то не беда. Уезжая в Италию, я боялся остаться там без денег и без знакомых банкиров, а потому отдал Турнейсену билет Москов[ской] сохр[анной] казны в 5.000 руб. и взял за него кредит на имя Торлонио[1] в Рим — стало быть посылать денег теперь не нужно; у меня остается от прежних тысячи две сереб[ром], а потому до лета будет довольно, жизнь же в Италии дешевле.

Сегодня едет отсюда почтенный и преблагородный негоциант наш Николай Петрович Боткин[2], я просил его свезти вам два портрета — из коих один позвольте поднести вам, а другой попрошу вас вручить Егору Ивановичу — это не чета прежнему портрету, который бросьте в печку. Если вам угодно будет заехать за ними, то он остановится в собственном доме на Маросейке, через двадцать дней от нынешнего числа он приедет. Сверх того он вручит вам 1.500 франков, взятые им у меня — вы их примите труд приобщить к прошлым. Я очень благодарен Дмитрию Павловичу за уплату, вероятно и проценты по прежним векселям он присылает вам с той истинно удивительной точностью, с которой мне присылал. Кажется еще за Егором Ивановичем была недоимочка. Я очень рад, что дом нанял Аксаков — семейство предпочтенное и преблагородное.

Вероятно, с тех пор вы уже имели случай послать что-нибудь Петруше[3].

Прощайте, Григорий Иванович, от души желаю, чтобы письмо мое вас нашло здоровым. — Поклонитесь Егору Ивановичу — я уезжая отошлю ящик с моими портретами в Петербург, а оттуда попрошу контору Языкова переслать Егору Ивановичу, а его попрошу их покамест поберечь у себя, впрочем, предоставлю 10 экземпляров в распоряжение Егора Ивановича сверх того, который ему доставит Боткин; Карлу Ивановичу усердно кланяюсь, Вере Артамоновне тоже.

До 15 ноября ст. ст. вы можете продолжать адресовать письма к Турнейсену, он перешлет в Ниццу. Но с 15 ноября лучше писать такому-то à Rome (Italie). Confiée aux soins de Monsieur Torlonia.

Я еду 20 — сегодня 16, до Буржа по железной дороге, потом в Лион, Авиньон и Ниццу. Сообщите адрес и Егору Ивановичу.

Осень здесь стоит удивительная, теперь по вашему 4 октября, а погода точно в июле, теплые ночи и ясные дни.

Что, как идет домостроительство Егора Ив[ановича].

Жена моя кланяется вам, и Егору Ивановичу напишет, как только приедем в Италию.

[1] Торлони[о]а — римский банкир.

[2] Боткин Николай Петрович (1813—1869) — брат В. П. и С. П. Боткиных. Герцен был знаком с ним еще в Москве. О нем см. М. К. Рейхель. Отрывки из воспоминаний, М., 1909 г., стр. 46.

[3] Захарьин Петр Александрович — брат Н. А. Герцен. Впоследствии был фотографом и работал у С. Л. Львова-Львицкого, двоюродного брата Герцена.

6

20 ноября 1847. Ницца

В то время, как я писал к Егору Ивановичу, принесли мне ваше письмо от 2-го ноября, оно несколько опоздало оттого, что съездило прежде в Париж. Весьма благодарен вам, почтеннейший Григорий Иванович, за все сообщения, 1-е. Что касается до билета Марии Каспар[овны], то потрудитесь его взять из казенной палаты, этот билет вов-

се не зависит от 2.000 сер[ебром], взятых Н. П. Огаревым у нее, след[овательно] взявши его, записка Огар[ева] останется у вас. 2-е. Билет перекладывать не стоит; я отмечу долг на Огар[ева] в 480 сер[ебром] в дополнение к другим. 3-е. Когда проценты от Дм[итрия] Павл[овича] вы получите, то из них на 10/т[ысяч] сереб[ром] от 1 февраля 1847 до уплаты принадлежит маменьке; я просил Егора Иванов[ича] отдать из моих Вере Артам[оновне], да еще следует дрова и Карлу Иванов[ичу], также мам[енька] желает из этих денег поземельные за свою долю отдать и все траты по дому, небольшой подарок к новому году Якову, Егору и пр. 4-е. Я попрошу вас, Григорий Иванович, принять на себя труд некоторой ревизии: Зоненберг еще не совсем надежен в денежных делах, и я опасаюсь его сильного желания переправок. По крайней мере, чтобы он вам доставлял все счета. — Я надеюсь, что костромские крестьяне не изменяют своей аккуратности и высылают в срок свой оброк, если же нет, вы примите на себя труд им подтвердить, деньги эти я попрошу также положить в Опекунск[ий] сов[ет] хоть на имя мам[еньки], она не желает или на неизвестного или [как] лучше найдете. — Проценты, когда вы получите от Дм[итрия] Павл[овича] и буде вам напишет из Шацка Аксинья Ивановна[1] насчет выдачи замуж ее дочери, то я вас попрошу препроводить ей 6.000 р[уб.] ассигнац[иями], которые Нат[алья] Ал[ександровна] назначила ей в приданое. Вероятно, послать придется через того же Протопопова. — Буде же письмо от них придет до получения от Дм[итрия] Павл[овича], то вы возьмете у него тогда. — Дело их задерживать я бы не хотел.

Я, кажется, вам писал, что вместо присылки денег я предпочел отдать билет Сохранной казны г. Турнейсену в 5.000 сер[ебром] — этого мне еще станет на несколько месяцев и с мам[енькой].

Дмитрия Павловича поздравляю с дочерью Натальей, нашего полку прибыло, у меня все Натальи да Александры. — Дети здоровы, но Нат[алья] Ал[ександровна], — которая усердно вам кланяется, — была здесь все время больна несмотря на то, что климат удивительный, — теперь цветут на воздухе розы, — оливы и алое совершенно зелены, одни каштаны начинают желтеть. — Мы едем отсюда 22-го, если хорошо будет, т. е. не бурно море, то мы поедем на пароходе в Геную, где пробудем дней 5, отсюда в Ливорно, оттуда по железной дороге через Пизу во Флоренцию — оттуда или сухим путем в Рим или морем в Чивиту-Веккию. В Риме вероятно останемся до июня.

Пишите, пожалуйста, о новостях, обо всем, все нам интересно, особенно, что касается до вас. Я продолжаю время от времени напоминать о себе моим приятелям и через печать. Скажите Дмит[рию] Павл[овичу], что я здесь написал небольшую шутку под заглавием «На пароходе»[2] — и помянул в ней бычка — полагаю, что «его не возмущу я нрава» этими итальянскими воспоминаниями.

А уж как здесь климат хорош, этого сказать нельзя. Вчера была гроза, сегодня посвежее.

Маменька и Марья Каспаровна вам свидетельствуют свое почтение.

Весь ваш А. Герцен

Потрудитесь переслать прилагаемую записку по адресу — по почте.

К вашему новому году мы в Риме.

Пишите на имя Torlonio. Только вы меня искренно обяжете не франкируя письма и платя за мои из расхода — иначе буду писать на имя Егора Ив[ановича]. — Вероятно, Боткин уж вручил портрет.



ПАРИЖСКИЙ БУРЖУА
Акварель из альбома П. Челищева
Литературный музей, Москва

[1] Захарьина Аксинья Ивановна — мать Н. А. Герцен, бывшая крепостная Александра Алексеевича Яковлева. Неизвестно, о какой ее дочери идет здесь речь. Кроме Натальи Александровны, известны три дочери Аксиньи Ивановны: Анна Александровна, уже в половине 30-х годов бывшая замужем за Орловым и жившая в Петербурге; Екатерина Александровна, в 1843 г. вышедшая замуж за А. И. Селина, который в 1845 г. занял кафедру словесности в Киевском университете; Софья Александровна, бывшая гувернанткой в помещичьей семье Семичевых и вышедшая замуж за хозяйского сына. Ни к одной из них слова Герцена не могут относиться. Очевидно у А. И. Захарьиной были еще дочери или, по крайней мере, одна дочь, жившая с матерью в Шацком уезде, куда Алексей Александрович Яковлев после смерти отца отвез всех его многочисленных «незаконных» детей.

[2] Какое свое произведение имел здесь в виду Герцен? В книге «А. И. Герцен. Новые материалы» (М., 1927 г.) покойный Н. М. Мендельсон, комментируя письмо Герцена от 31 декабря 1847 г., дал следующее объяснение: Статейка «На пароходе» — «Перед грозою (Разговор на палубе)». Помечено: Roma, Via del Corso, 31 декабря 1847 г. и вошло в книгу «С того берега» (стр. 44). Это — абсолютно неприемлемое толкование. Прежде всего, что такое упоминаемый Герценом «бычок»? Из «Былого и дум» и «Записок» С. М. Соловьева (стр. 42) видно, что это имя знаменитой в свое время лошади Д. П. Голохвастова, неоднократно бравшей в Москве призы на бегах. В той главе «С того берега», на которую сослался Н. М. Мендельсон, ни словом не упоминается о «Бычке» — да и не может упоминаться: это диалог на философско-исторические темы, с которыми никак не вяжется «Бычок». Кроме того, «Перед грозою» — произведение очень серьезное и даже печальное, а вовсе не «шутка». Дело уясняется, если вспомнить те самые строки из письма Герцена к Боткину от 31 декабря 1847 г., которые комментировал Мендельсон. Там говорится: «Тем не менее я написал 1-е письмо с Via del Corso и доволен им (что значит в твоем переводе, что оно скверное). Статейку «На пароходе» не могу писать. Я ее поправлял, поправлял да и испортил, а сначала было очень смешно, да и черновую имел глупость бросить в Ницце. Может и налажу. Я читал исправленное Ал[ексею] Ал[ексеевичу], он смеется крепко» (стр. 41). Совершенно очевидно, что в книгу «С того берега» Герцен включил очерк «Перед грозой (Разговор на палубе)», который он окончил в Риме 31 декабря 1847 г. и содержанием которого остался доволен. По содержанию этого очерка над ним никак нельзя было «крепко смеяться». Небольшое же произведение «На пароходе», исполненное юмора и упоминавшее както о голохвастовском «Бычке», было написано в первоначальном виде в ноябре 1847 г. в Ницце. Герцен потом «испортил» его (по его мнению) поправками, потерял черновик — и в конце концов оставил его незавершенным. Произведение это не увидело света и не дошло до нас.

7

Рим, 4 декабря 1847

Вот мы и в Риме. Несколько дней провели в Генуе, оттуда на пароходе отправились в Ливурну, там мы пробыли несколько часов, я успел съездить в это время в Пизу по железной дороге и вечером поплыли в Чивиту-Веккию. — Погода была превосходная, теплые летние ночи; в Рим мы приехали 28 ноября [1], на дороге из Чивиты-Веккии застал сильный дождь — результатом этого было то, что на другой день после нашего приезда у нас сделался лазарет, все дети больны, а у Наташи лихорадка. В Ницце я имел от вас письмо — и тогда же отвечал на него через Егора Ивановича. Это письмо вам доставит Н. П. Огарев. Он просит меня дать ему взаймы 25/т[ысяч] сереб[ром] по 8 пр[оцентов] на два года, для оборота — и под залог пензенского имения. Я нахожу это дело выгодным, лично вполне и безусловно верю Огареву, и для того намерен просить вас принять на себя труд и получить от меня доверенность по размену главного билета моего от 17 июня 1846 № 18.034 сер[ия] 388 в 100.100. Остальные деньги я попрошу переложить на десятитысячные билеты, даже полагаю лучшим на имя неизвестного. Это удобнее, а № вы сообщите искренно уважаемому мною Данилу Даниловичу Шумахеру [2], которому при свидании сожмите и за меня покрепче руку. Так как дело такой важности требует все гарантии, то я попрошу вас все акты составить с соблюдением всех форм, расходы все падают на Огарева.

Если даже он не захочет денег, то я попрошу все же разменять билеты на десятитысячные, — и во всяком случае вы примите на себя труд остальные билеты переслать мне например через Ценкера на Торлониа, я здесь пробуду до вашего 15 апреля, — отсюда поеду во Флоренцию. Адрес мой: Conf[iée] aux soins de monsieur Torlonia à Rome или еще проще Via del Corso 18. Secundo piano.

Я доверенность пришлю на ваш адрес, а билеты через Ценкера, если найду это нужным. Во всяком случае попрошу вас тотчас меня уведомить в получении.

Все вам кланяются.

Что Дмитрий Павл[ович] не собирается ли платить капитал — или проценты? Да кстати и с 10/т[ысяч]следует (Sic!) проценты, из которых 6 заплочены.

За сим от всей души вам кланяюсь и желаю весело встретить новый год. — Здесь лето вполне — прелесть да и только.

[1] В первом письме с Via del Corso Герцен называет днем приезда в Рим 30 ноября (см. Герцен, т. VI, стр. 575). На этом основании и Лемке в «Канве биографии Герцена» поставил 30 ноября.

[2] Шумахер Даниил Даниилович (1819—1908) — чиновник финансового ведомства и общественный деятель, близкий знакомый Герцена, свояк Т. Н. Грановского (был женат на Ю. Б. Мюльгаузен). В 1839 г. окончил юридический факультет Московского университета. Долгое время был управляющим Московской сохранной и ссудной казной. В 1873 — 1876 гг. был московским городским головой. В 1876 г. уволен от общественной и государственной службы из-за участия в банковских аферах (дело Струсберга). Был отдан под суд, судом оправдан, но его карьера была навсегда кончена.

8

Рим, 11 декабря 1847

Вероятно, вы уже получили, почтеннейший Григорий Иванович, письмецо мое, вложенное в письмо г. Огарева. С тех пор я передумал разменивать большой билет и посылаю два в десять тысяч сер[ебром]

каждый, вместе с доверенностью. Огарев занимает, кажется [?], для покупки фабрики, предоставляю совершенно вашим распоряжениям все насчет закладной, пусть она останется у вас. — Снова и снова прошу вас не досадовать на хлопоты, которые я вам доставляю — может в продолжении времени судьба позволит мне чем-нибудь доказать вам истинную признательность. Если Огар[ев] непременно будет просить пополнить сумму до 25 т[ысяч], то вы потрудитесь додать ему из положенных вами в Восп[итательный] дом 5.000; но если можно обойтись без этого, то я попрошу вас перевести сюда 3.000 р[уб.] серебр[ом через] Ценкера, для маменьки, вы можете перевести их на дом Torlonia и вексель на мое имя переслать ко мне; Torlonia берет дорого, хорошо если бы Ценкер там взял деньги за пересылку или если по расчету выйдет, что три месяца от вручения денег падут не далее, как в конце марта стар[ого] стиля — тогда за перевод они бы взяли проценты; сверх того, если он переведет на скуди, то опасно, чтоб не надули там, а на франки — надуют здесь, а потому все это предоставляю тоже вашему решению. — Я в предпрошлом письме писал к вам насчет 3.000 ассиг[нациями] для невесты в Шацке; если потребуют их, потрудитесь послать. Вам еще придется получить оброк костром[ской], остальные проценты с Дмит[рия] Павлов[ича] и прошлые проценты с Огарева — стало на всякий случай запас будет, сверх того Аксаков. Сделайте одолжение известите меня поскорее о получении билетов, я предупредил Шумахера, но все для спокойствия лучше знать адрес мой: Roma (Italia) такому-то и всего вернее Confiée aux soins de monsieur Torlonia.

Семья моя вся без исключения подверглась здесь гриппу, кроме меня, жена (которая дружески напоминает вам о себе) была очень больна, и теперь нездорова, лихорадкой, которая здесь поддерживается климатом. Доселе, т. е. 29 ноября вашего ст[иля], здесь настоящее лето, иногда протапливается камин вечером, но днем дамы гуляют в соломенных шляпах и кисейных платьях. Говорят, что в феврале полная весна — когда же зима?

Не нужно ли на прежних огаревских закладных сделать надписи по миновании года?

Они у меня здесь.

Кланяйтесь Егору Ивановичу: скажите, чтоб через Париж не писал, письма опаздывают пятнадцатью днями. — Получили ли вы мои портреты и довольны ли ими?

Маменька и Марья Каспар[овна] кланяются.

Что Вера Артам[оновна] и все наши домашние? Прощайте.

Сделайте одолжение, портовые деньги за это письмо не платите из своих, оно огромно и притом с документ[ами]. Расходы по закладной падают на Огарева.

9

31 января 1848, Рим

Письмо ваше, почтеннейший Григорий Иванович, от 23 декабря я получил, оно мне доставило искреннейшее удовольствие не подробным отчетом о делах, за который дружески и много благодарю вас, а каким-то теплым чувством участия, которое я очень дорого ценю в людях, которых привык уважать — впрочем, я дурно выразился, привычка ничего, а которых я хочу уважать, потому что знаю, за что. Я вам очень благодарен за последнее письмо. — Новость, о назначении Дм[итрия] Павлов[ича] попечителем, я узнал прежде, мне захотелось по этому поводу написать к нему письмо — может я это и исполню со временем. Поздравлять ли с этим или нет, не знаю, место это бойкое,

на нем труднее составить имя, нежели потерять [1], — есть общественное мнение, которого прежде не было, образовались нравы, которых оскорблять нельзя. Я уверен не только в полнейшей благонамеренности, но и в способности Дмит[рия] Пав[ловича] — но не уверен, что он попадет на верный тон, а от тона все зависит. Может нигде формализм не бывает так вреден, как в деле ученом — Дм[итрий] Павлов[ич] приобрел уважение многих, любви ни от кого [2]; знаете ли вы, сколько копий я переломал за него — но в иных случаях нечего было делать, что, напр[имер], за цензурный комитет в Москве [3]. — Графа [4] мне ужасно жаль, быть его преемником усложняет еще более затруднительное положение — наконец, истинное несчастие, что многие хотят итти в отставку, чтоб не служить с Крыловым [5]. Дай бог, чтоб Дм[итрий] Пав[лович] нашелся, — представьте себе одно издание «Московских Ведомостей», такое, как было при Шаликове [6] в то время, как теперь вся Россия привыкла читать грамотную газету; представьте какую-нибудь отвратительную тварь — на месте Платона Ст[епановича] [7] — этого достаточно будет, чтоб нанесть страшный удар репутации Дмит[рия] Павл[овича] — Егор Иван[ович] подает в отставку — наконец-то, — любопытно посмотреть, как он отделал свой дворец [8]; что, кстати, исправил он свою бумагу, положенную в Опекунский совет? Проценты я с маменькой разочту, в вашем счете я одного не понял. В приходе записано, что от Огар[ева] получено 328 р[уб.] 60 [коп.] сер[ебром]. А в расходе, что за него истр[ачено] 496 р[уб.] 43 к[оп.] сер[ебром] — следует ли вычесть эти 328 или нет из 496?

Рейхель [9] мне должен ровно 5.000 ассиг[нациями] — возьмите их поскорее, Григорий Иванович, с Эрна [10], потому что они могут у него испариться на треть или половину. — Если же он не будет отдавать, то я попрошу сказать об этом Пр[асковье] Анд[реевне], да сверх того Боткину — который знаком с Рейхелем и может ему написать. Вы видите, я не хочу требовать денег с Рейхеля, но если он сам отдает, то не вижу причины, чтоб их задержал Гав[риил] Касп[арович].

Зоненберг сильно не нужен — потрудитесь при свиданьи сказать Егору Ивановичу, что я не намерен более платить ему с своей стороны 100 сер[ебром]. — Не желает ли он что дать, а Карлу Ивановичу как ни больно — а могу только предложить от 1 марта 1848 — от меня 50 руб. сер[ебром] в год и от маменьки 50 сер[ебром]; если ему угодно на этом основании остаться — я хоть не рад, но рад, — если же нет, что делать. Впрочем, я уверен, что Егор Иванович согласится — за что же он ничего не будет ему платить? Пошлите, сделайте одолжение 50 руб. сер[ебром] Петру Александровичу в подарок от меня к празднику, зачем он ничего не пишет, я просил ему в Петер[бург] доставить 50 сер[ебром] — до конца марта он может писать ко мне в Рим — пожалуй так: Via del corso 18 или «Confiée aux s. de Monsieur Torlonia». Душевно рад, что вам Боткин понравился, это отличнейший человек и прелестнейший.

Я попрошу вас влагаемое письмо принять на себя труд и отослать поскорее и с верным человеком, даже по адресу; — попрошу также, как это письмо очень вальяжно (sic!), записать портовые деньги в расход — вы меня этим обяжете. Об огаревском деле — жду с часа на час от него письма. — Еще и еще раз благодарю вас за тысячу и тысячу одолжений, я без вас был бы как без рук. Моя жена (которая здесь постоянно больна) кланяется вам, а равно маменька. Будьте здоровы и не ленитесь иной раз взять перо в руки, чтоб дать нам вести из Москвы. — Сегодня ровно год, как мы поехали — начнем через несколько месяцев подумывать о возвращении.

Совершенно независимо от всех прочих расчетов, если Огарев, на мои поручения, попросит у вас денег, то я попрошу — вручите ему полученные от Эрна — хоть все, если нужно. Это вовсе не для него. Если получу еще от вас письмо — тотчас буду отвечать.

Прощайте.

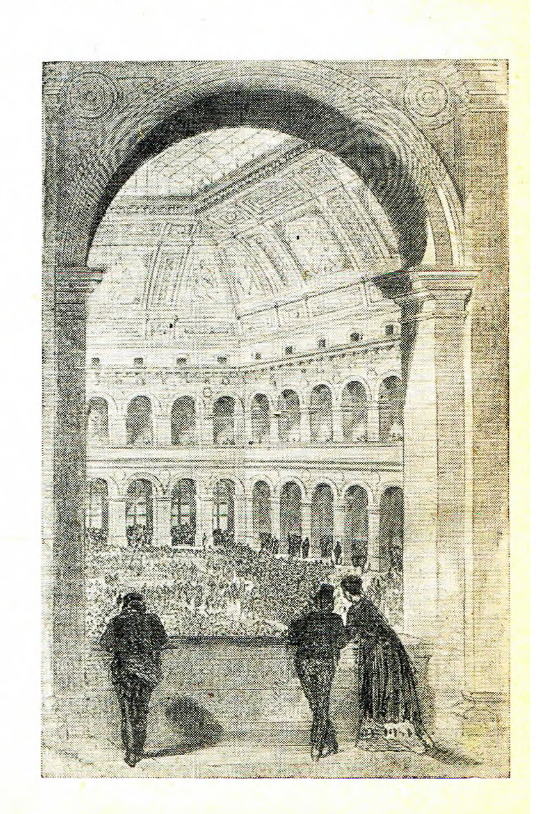
Всем домашним поклон. Вере Артамоновне — два.

Векселя я получил, оно хоть и не совсем ладно со стороны Ценкера, да я привык к банкирским проделкам. Один Турнейсен в Париже поступил без прижимок. Во-первых, он деньги перевел на Париж, а не на Рим (хорошо, что Торлони аксептирует на Турнейсена, но тоже не без магарыча, да и два раза промен[ял] — раз с рублей на франки, да раз с франков на скуди, — а во-вторых, когда векселя дают для получения через три месяца, тогда они ничего не берут за перевод, кроме процентов. Впрочем, Ценкер — в прошедшем году обсчитал меня на курсе, как я после убедился в Париже. — Если Огареву будет особенно нужно на [письмо надорвано], то буде Эрн не отдаст, я попрошу дать сколько случится моих денег, сверх имеющих [заклеено сургучом; может быть: «особое»] назначение.

[1] Герцен был прав в своих опасениях: по словам С. М. Соловьева, Голохвастов на посту попечителя «умел заслужить самое невыгодное о себе мнение в университете и обществе московском» («Записки», стр. 40).

[2] Об этой стороне личности Голохвастова Соловьев говорит там же: «Это был человек знающий, умный, честный и любивший честность в других, но ум этого человека отличался особенным складом, именно удивительною форменностью». Бездушная, формальная логика Голохвастова делала его совершенно нестерпимым для других.

[3] При Строганове Голохвастов был председателем цензурного комитета и проявил себя здесь как крайний реакционер и непримиримый враг сколько-нибудь свободной мысли.



ВНУТРЕННИЙ ВИД ПАРИЖСКОЙ БИРЖИ

Гравюра М. Коста по рисунку М. Морена из «Paris guides», 1867 г.

[4] Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — попечитель московского учебного округа с 1835 г. до 1847 г. На этом посту он заслужил известное сочувствие со стороны московской интеллигенции. Герцен писал о нем в 1842 г.: «Доселе из всех аристократов, известных мне, я в нем одном встретил много человеческого». В 1859 г., когда прошел слух о назначении Строганова на место Ростовцева председателем комиссии по крестьянскому делу, Герцен поместил в «Колоколе» заметку «Ростовцев и Строганов», где писал о Строганове: «Мы не забыли того времени, когда мы вас лично знали. В вас было много благородного, вы любите Россию; покажите, граф, что майорат в сорок тысяч душ не перетянет». Строганов не был назначен на место Ростовцева, но в качестве члена государственного совета проявил себя, как испугавшийся общественного движения богатый помещик, и Герцен в «Колоколе» не раз выступал против него с резкими обличениями. В 70-е годы Строганов был полным сторонником Д. А. Толстого и вполне поддерживал реакционную политику последнего относительно народного просвещения.

[5] Крылов Никита Иванович (1807—1879) — профессор римского права Московского университета, цензор. Способный и талантливый человек, умевший делать свои лекции очень интересными для студентов, он в то же время отличался большим невежеством вне своей узкой специальности и стоял весьма невысоко в моральном отношении.

В 1847 г. его жена, сестра Е. Ф. Корша, ушла от него вследствие очень жестокого обращения с нею (он тащил ее за волосы по улице); в то же время поднялся вопрос о его взяточничестве. Профессора Корш, Кавелин, Грановский и Редкин подали попечителю университета просьбу об удалении Крылова из университета, заявляя, что иначе они сами уйдут. Грановского министерство не отпустило. так как он еще не отслужил обязательного срока после посылки за границу; остальным трем профессорам была дана отставка.

[6] Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852) — бездарный поэт ультрасентиментального направления и крайний реакционер, предмет постоянных насмешек для современников, был назначен редактором «Московских Ведомостей» вскоре после 1812 г. и оставался в этой должности 25 лет.

[7] Нахимов Платон Степанович — брат известного защитника Севастополя адмирала Нахимова, был при Строганове инспектором студентов Московского университета. По своей доброте и человечности он пользовался большой популярностью среди студенчества.

Имя его часто встречается в мемуарной литературе, см., например, воспоминания Б. Н. Чичерина «Москва сороковых годов» (М., 1929 г., стр. 32—33). Выводится Нахимов и в романе Писемского «Взбаламученное море» при описании студенческих годов Бакланова.

[8] Е. И. Герцен служил в одном из московских архивов и имел по службе казенную квартиру.

[9] Рейхель Александр Казимирович — приятель Герцена, чиновник Новгородской казенной палаты, художник. Герцен сошелся с ним во время своей новгородской ссылки. Н. А. Герцен писала о нем в ноябре 1841 г. своей приятельнице Ю. Ф. Куруте: «...Рейхель — неоцененный человек, — художник, юноша в 50 лет, неограниченной доброты, путешествовавший лет 20 и неистощимый в рассказах, с большим образованием и познаниями; он посещает нас почти ежедневно, и для бедного Александра это истинный клад» («Русская Мысль», 1889 г., VI, стр. 17).

[10] Эрн Гавриил Каспарович — старший брат М. К. Эрн. Сошелся с Герценом в Вятке, где он состоял при губернаторе чиновником особых поручений. В начале 40-х годов, по рекомендации Герцена, служил в имении Огарева. 17 октября 1848 г. Герцен писал Огареву: «Signor Эрн (хорошего управляющего я тебе рекомендовал!) получил 5.000 моих денег да с ними как в воду канул». (А. И. Герцен. Новые материалы, стр. 63).

10

Неаполь, 12 февраля 1848 г.

Обращаюсь к вам, почтеннейший Григорий Иванович, с новыми хлопотами и чрезвычайно важными. У меня пропал портфель[1] со всеми моими документами и документами Луизы Ивановны — обронил ли я его или украли — все равно, его нет, в нем билеты и векселя. — Вместе с письмами я отправляю объявление в Опекунский Совет, а вас прошу пожалуйста дайте знать Шумахеру и помогите предупредить всякого рода фальшивую подпись — надписей на билетах решительно нет.

Вот №№, числа и суммы.

Мои 1) 1846 июнь 17 № 18.034 в 100.000. —
2) 1847 январь 14 № 25.000 в 10.000. —
3) — — № 25.001 в 10.000. —
4) Заемные письма Дмитрия Павл[овича] — два заемных письма от 10 мая 1840, каждый [Sic!] в 15.000.
5) Заемное письмо Ник[олая] Пл[атоновича] Огарева в 10.000 от 12 августа 1846.
6) Его же 28 октяб[ря] 1846 в 5.000.

Луизы Ивановны

1828 августа 1 Моск[овской] сохр[анной] казны № 75986 на имя Ив[ана] Ал[ександровича] — 60.000 ассигнац[иями].

1846 июня 17—№ 18.031 именной, положенный Григор[ием] Ив[ановичем] в 106.000. —

Но всего важнее векселя и кредитив, так как кредитив из Парижа, то это я беру на себя. Векселя же от Ценкера.

1) Присланные вами два в 11.760 на имя Турнейсена.

2) Присланный Ценкером помнится в октябре — на имя Турнейсена в 1.940 франков, посланный г. Мельгуновым.

К Турнейсену я сейчас напишу, но мне необходимы секунды.

Наконец, при всем этом я могу, пока дело приведется в ясность, остаться совершенно без гроша, а потому попрошу вас, как только получите это письмо, переслать из моих денег 12.000 ассигнац[иями] — переведите их на Торлония в Рим. Да, бога ради, тотчас напишите о получении письма и о том, как в воспитательном доме. — Сегодня 12 февраля, т. е. 1-е; почта ходит дней двадцать пять, да 21 день назад — около 28 марта я попрошу вас писать ко мне в Рим, опять на имя Торлония, и для верности застраховать. Пожалуйста потрудитесь как можно скорее дать ход этому делу — я посылаю теперь объявление в Сохранную казну, а вслед за тем пришлю доверенность на получение билетов. — Если, хотя я не жду, документы отыщет полиция здесь, я тотчас напишу. —

Письмо ваше я получил в Риме — но отвечать на него право теперь не могу, голова идет кругом, еду сейчас к префекту полиции. —

Весь ваш Ал. Герцен

В Рим поеду отсюда дней через десять. Я вам пришлю доверенность на получение билетов. Сделайте одолжение справьтесь, получен ли мой пакет в воспит[ательном] доме и предупредите Шумахера и Лазарева. Жду ответа. Ценкер пусть пришлет вторые на все три векселя.

[1] Историю о том, как в Неаполе пропал портфель и как затем вернулось почти все его содержимое, Герцен рассказал в «Письмах из Франции и Италии», письмо 7 (см. Герцен, т. VI, стр. 42—49). Несколько иначе рассказала этот случай М. К. Рейхель («Отрывки из воспоминаний», стр. 58—60). См. еще «Воспоминания Н. А. Огаревой-Тучковой», М., 1903, стр. 47—50.

11

14 февраля 1848. Неаполь

Я писал к вам, почтеннейший Григорий Иванович, третьего дня о том, что у меня пропали все важные документы, бывшие со мною, как мой, так и маменькины билеты, кредитив и векселя от Ценкера

на Турнейсена: 1) в 1.940 от октября 1847, посланный Мельгуновым, 2) в 5.000 и 3) в 6.760, присланные вами.

Я отправил объявление в воспит[ательный] дом, это важнейшее дело, предупредите пожалуйста, Григорий Иванович, что я никаких надписей не делал, — если нужно, публикуйте в газетах, я, как обдосужусь только, пришлю доверенность на получение новых билетов, да нельзя ли мой капитал весь разбить на десятитысячные билеты.

Векселя Дмит[рия] Павлов[ича] и Огарева тоже пропали — а вместе с ними и вексель Рейхеля; не следует ли написать новые — что для этого нужно? Я напечатал в здешней и в римской газете о потере, предупредив разных банкиров — объявил награду и пр., но не думаю, чтоб было возможно найти. — Пожалуйста сообщите тотчас в Рим, куда я еду дней через десять Адресуйте на Торлонио. Если будут какие-нибудь сильные затруднения, я готов приехать сам. Да дело, впрочем, простое, если бы воспит[ательный] дом ни в коем случае не выдавал по билетам моим и Луизы Ивановны.

Засим прощайте, письмо это назначено только для того, чтоб сообщить вам в случае потери первого письма о несчастном случае и попросить узнать, получено ли мое объявление в Сохранную казну и буде нет, нельзя ли вам сообщить.

Жду ответа с нетерпением.

Еще попрошу съездить к Ценкеру и сказать ему о векселях и о публикации; вы мне пришлите вторые векселя — и во всяком случае пришлите тысяч пятнадцать или двенадцать франков, ибо я совершенно без денег.

Меня этот случай расстроил и раздосадовал, а то здесь было бы превосходно, погода удивительная.

Прощайте, Григорий Иванович, — отдал ли Эрн 5.000 за Рейхеля?

Душевно преданный А. Герцен

Пожалуйста портовые деньги записывайте в мой расход.

12

19 февраля 1848. Неаполь

Спешу уведомить вас, почтеннейший Григорий Иванович, что вчера лацарони принес мои билеты Моск[овской] сохр[анной] казны в нашу миссию для получения объявленной мною награды, но так как они надеялись получить деньги по иностранным документам — то их не возвратили, — я постращал лацарони, поехал опять к префекту графу Тофало (порядки у них теперь учреждены препротивные), — и мне доставили в тот же день три векселя Ценкера на Турнейсена; стало быть, недостает — одного кредитива, да и его надеюсь получить. — Гора с плеч долой. А вам доставил я хлопоты — даром и попустому, право надобно иметь всю снисходительность вашу, чтоб терять столько времени, при всех ваших занятиях, — я могу только сказать, что истинно и глубоко благодарен за вашу помощь. — Прилагаю при сем объявление в Сохранную казну, мне кажется оно необходимо. Если вы перевели деньги, беды нет, надобно же когда-нибудь было опять потребовать. Жду теперь, что скажет Торлонио насчет кредитива, кажется, я успел предупредить всех банкиров во время. — В прошлом письме вы спрашивали меня насчет того, посылать ли Петруше деньги и в Шацк — я прошу вас об этом и очень, даже если бы случилось нужно послать и несколько побольше — я вполне буду согласен со всеми вашими распоряжениями.

Все наши здоровы, на дворе тепло, и теперь я пишу к вам перед открытым балконом, под ногами море, вдали Везувий. Мы всходили на него, и, притом, во время небольшого извержения.

Со мною в одном отеле стоит Алексей Ал[ексеевич] Тучков[1], узнав о потере билетов, он тотчас отправил письмо к своему родственнику г. Михайлову, служащему в Воспитательном доме директором; когда вы будете в Сохранной казне, куда препровождаю бумагу — потрудитесь ему дать знать о прекращении действия по делу о потерянных билетах.

Никакому сомнению не подлежит, что бумаги не потеряны, а были украдены — но если бы я здесь стал отыскивать их, как украден-



ПАРИЖСКАЯ БИРЖА

Гравюра, 1860-е гг.

Музей изобразительных искусств, Москва

ные, никогда бы не нашел. — Не могу, впрочем, довольно нахвалиться содействием всех, к кому я обращался с просьбой.

Прощайте, Григорий Иванович, весь ваш А. Герцен.

Егору Ивановичу поклон.

Заемные письма Дм[итрия] Пав[ловича], Огар[ева] и Рейхеля тоже найдены.

[1] Тучков Алексей Алексеевич (род. в 1800, умер около 1879) — помещик Пензенской губ., предводитель дворянства Инсарского уезда, бывший в близких отношениях с Герценом и Огаревым. На одной его дочери женился Огарев, на другой Н. М. Сатин. В декабре 1847 г. Тучков со своими двумя дочерьми, тогда еще девушками, встретился с Герценами в Риме и с тех пор почти не разлучался с ними. Из Рима Тучков уехал несколько раньше Герцена, но потом они опять съехались в Париже и вместе переживали июньские дни. В феврале 1850 г. Тучков был арестован одновременно с Огаревым и Сатиным по подозрению в принадлежности к «секте коммунистов». В результате этого дела по решению Николая I Тучков был лишен звания предводителя дворянства, выслан из Пензенской губ. и отдан под надзор полиции.

13

6 апреля 1848, Рим

Почтеннейший Григорий Иванович,

Ваше письмо от 4/16 марта я получил вчера. Прежде еще получил от Колли и Редлиха[1] векселя на 13.320 фр[анков]; но вашего письма от 26 февраля я не получал, — если в нем было что-либо важного, примите на себя труд еще раз сообщить; да недурно и в почтамте справиться. Впрочем, оно и здесь могло затеряться — мы были десять дней отрезаны от всякого сухопутного сообщения с Европой войною в Ломбардии. — Много и дружески благодарю за все хлопоты по пустой тревоге насчет портфеля. Деньги, вами присланные, истинное благодеяние — их, т. е. векселя, принял Торлониа — а то представьте забавное положение: у меня на кредитиве 8.500 фр[анков] и на векселе от декабря месяца 5.600 фр[анков], в обыкновенное время Торлониа не говоря ни слова выплатил бы и взял с Турнейсена деньги. Но теперь банкиры, сконфуженные революцией и упадком кредита, не секонтируют иначе, как по билетам или векселям, которых срок так долог, что они могут быть возвращены к пославшему (т. е. к Колли) — я вступил поэтому в сношения с Турнейсеном и жду его ответа; как дождусь, уеду отсюда (между 20 и 25 апреля). Поеду сначала во Флоренцию, а там, смотря по обстоятельствам, через Милан или через Сардинию в Германию. Подождите нового адреса, но если будет что-нибудь нужное для сообщения, то я попрошу послать письмо все же на имя Торлония, прибавляя En priant de faire parvenir à M-r Herzen. — Если Аксаковы захотят нанять дом еще на год, пожалуйста отдайте — или отдайте кому-нибудь другому; возвращение наше я еще так определенно назначить не могу, впрочем, думаю, если не будет особых причин, то все же до конца года я пробуду где-нибудь в умеренном климате. Здоровье жены начало несколько поправляться, очень важно дать ей еще более окрепнуть.

Мне жаль, что Карл Иван[ович] не согласился сам в справедливости уменьшения жалования, тем более имея еще от Егора Ивановича — и не имея особенно важного занятия. — Когда будете в нашей стороне, поклонитесь от меня Прасковье Андреевне — да кстати, что же Гаврил Касп[арович] и 5.000 от Рейхеля? Право их не мешало взять, благо тот отдает. Да, вот что бы мне хотелось еще: нельзя ли узнать, что поступил ли в университет сын нашего власьевского священника, молодой человек, очень застенчивый; если будет случай, передайте ему мой поклон и искреннее желание, чтоб он твердым шагом продолжал избранный путь.

Вы наверное, позволите вам прислать небольшой римский гостинец; здесь гостинцы, как и всё, из камня — я приобрел мозаику хр[ама] св. Петра работы Кав. Барбери, крышкою табатерка. Явится она к стопам вашим при первом случае. Вы ее примите от меня и маменьки, как дружеское внимание.

Говорят, что Погодин назначен помощником попечителя[2]. Жаль, ужасно жаль университет — да жаль и Дмитрия Павловича. Поклонитесь ему от меня. А что 4.000 остав[шихся] по сохранной записке? Да хорошо, если б Дм[итрий] Пав[лович] и капитал большого долга начал уплачивать. Если Огар[ев] адресуется за 5.000 ас[сигнациями], я попрошу вас ему их выдать.

Прощайте. Сегодня мне 36 лет. Старость не радость. При свидании поклонитесь Егору Ив[ановичу] — говорят, он переходит в чертоги свои.

Всегда ваш А. Герцен

Маменька и жена много и много кланяются, равно и Марья Каспаровна.

Сейчас получил от Егора Иван[овича] письмо от 3/15 марта с подробной описью всех умерших в Москве — за письмо я его благодарю, хотя некрологические списки и лишены для меня особого интереса. Он пишет, между прочим, о земле при доме, насчет сего скажите Егору Ив[ановичу] при свидании все, что ему угодно и кажется удобно, я с своей стороны — совершенно согласен, пусть он межует, ставит столбы и разводит сады. Если бы он хотел купить самый дом, я ему бы охотно продал со всею мебелью и со всеми агрементами за 11.000 сер[ебром], и купчая его. — Вероятно, и маменька не постоит за свой. — Спросите его, при каких он мыслях насчет чухломского именья — при тех ли, при каких был, т. е. даст ли 50/т[ысяч], например [?], сереб[ром]. — Прасковья Андреевна пишет о каком-то женихе Елены Андреевны — если это что-нибудь путное, мы готовы помочь несколько. Что Протопоповы просили у вас деньги для шацкой невесты?

Вере Артамоновне поклон.

[1] Колли и Редлих — московский банкирский дом.
[2] Слух оказался неверен.

14

25 апреля 1848

Вот я опять с хлопотами, почтеннейший Григорий Иванович, право и совестно и досадно, да делать нечего. Смутные дела во всей Европе поставили меня в прекурьезное положение относительно денег: 1) Вексель в 5.760 франков, данный Ценкером и Колли на Турнейсена, возвращен мне от Ротшильда с известием, что Турнейсен лопнул, между тем, пока [посылали,] вексель просрочился. Торлони говорит, что Ценкер и Колли, наверное, не воспользуются таким случаем и поступят, как простая честность говорит, то-есть заплотят деньги — которых я не получил. Так как на векселе написано, что деньги посланы вами — то вы имеете полное право требовать возвращения денег. Я посылаю не только вексель с надписями, но и официальный акт, присланный из Парижа; отдавая его Колли, я посоветую, буде он затруднится в уплате — взять с него записку в получении обоих документов. Если же он согласится (на что я думаю есть и закон) заплатить, то через него же надобно будет снова перевести деньги — но об этом после. 2-ое) Торлони принял один из трех векселей, посланных Редлихом и Колли, но два остались на Фульде[1]. Фульд не платит, я пошлю к нему векселя и буде он не заплатит, я их возвращу Колли, срок их далеко не пришел. 3-е) О 8.500 сер[ебром], находившихся на кредитивном письме, Турнейсен пишет мне, что он не отрекается их заплатить — но не теперь, а по приведении к концу всех дел, то-есть, может быть, через год. Результат всего этого, что я при деньгах — без денег. — После завтра оставляю я Рим и еду во Флоренцию, оттуда собираюсь в Турин; маменька собирается через свою родину — Штутгардт — в Париж; там она по доверенности моей будет хлопотать о получении денег. Торлони дает от себя письмо — но при всем этом и она и я, мы можем остаться без денег, а потому я вот о чем попрошу вас. Если Ценкер и Колли возвратят 5.760 фр[анков] по векселю, то потрудитесь к ним прибавить еще от 6 до 7.000 франков, как будет возможно (кстати, может Дмитрий Павлович отдал остальное по сохранной записке и проценты, а может и Эрн внес рейхелев долг, я писал вам, что не получил одного из ваших писем).

Деньги эти я попрошу вас переслать, во-первых, на ответственность Колли и Редлиха, всего лучше на имя одного из главных лондонских банкиров, или как они знают. Отправьте их в письме, адресуя его на имя маменьки в Париж: à M-me Louise Haag de Würtemberg à Paris — confiée aux soins de M-rs Rotschild et C[ie] — а всего лучше пусть Колли и пошлет по этому адресу, — а вам даст секунду. Письмо мое придет к вам около 15/3 мая; стало быть, полагая дней пять на всякие потери, маменька получит ответ в Париже около 2 июня/20 мая — я в это время буду где-нибудь в Пиэмонте, куда посылают доктора Наташу и куда я стремлюсь сам отдохнуть от души. Все, что вам угодно сообщить мне, пишите и маменьке — она мне сообщит письмо. А как я где-нибудь оснуюсь, так напишу еще письмо с адресом, но для перевода денег не ожидайте, пожалуйста, ничего, а то мы попадем на Антониеву пищу. Если вы поручите переслать векселя Колли, то для большей достоверности я попрошу принять труд и сообщить особым письмом, и упомянуть на кого векселя и число, на имя же маменьки — просто à Paris — poste restante.

Простите, простите и дайте вашу руку — что делать, такие обстоятельства в сто лет не случаются. В первый праздник видел я, как Пий девятый благословлял народ с балкона в храме Петра, а потом удивительную иллюминацию — которая делается до сих пор по чертежу и плану Бонаротти. Сегодня должна быть знаменитая Жирандоль с крепости св. ангела, но за дождем отменена. — Итальянская жизнь мне ужасно нравится; лето началось еще в марте, теперь настоящий рай. Жду бездну новых наслаждений во Флоренции, но в жары советуют приблизиться к Альпам; на нас, северных жителей, жары лета действуют, говорят, плохо, особенно при здоровьи Наташи и Саши. —

Все кланяются вам. При свиданьи передайте поклон Егору Ивановичу — вот ему доказательство, что домá отстраивать легче, нежели путешествовать и переводить [клочок письма вырван; повидимому: деньги].

Затем много и много кланяюсь вам, жму вашу руку крепко и усердно.

А. Герцен

Понравилась ли вам моя «Сорока-воровка» [2]? Не была ли послана «секунда» векселя в 5.760 в письме, которое пропало? — Впрочем, и по ней нельзя получить, ибо теперь на Турнейсена никто платить не будет, да и виноват окажется тот банкир, который отдает.

Я переменил адрес и прошу послать письмо на имя Ротшильда в Париж.

[1] Фульд — банкир.

[2] Повесть Герцена «Сорока-воровка» напечатана в «Современнике», 1848 г., № 2 (с подписью «Искандер»).

15

Ливорно 1848. Апрель 29

Почтеннейший Григорий Иванович, — сейчас маменька садится на пароход, а я с детьми на паровоз [1] и едем в две разные стороны: она прямо в Марсель — а я поезжу по Тоскане, а потом отправлюсь в Шамбери, где снова съедемся с маменькой. — Я писал к вам на днях — но, боясь неаккуратности почт в Ломбардии, пишу здесь и отдам письмо маменьке, чтоб она его отправила из Марселя. В прошлом письме я послал к вам вексель от Колли на Турнейсена в 5.760 франков, который Ротшильд воротил из Парижа с протом, засвидетельствованным нотариусом. Если Колли порядочный человек, он понимает,



ПАРИЖСКИЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
И БЕСПРИЗОРНЫЕ
Гравюра П. Гаварни
Литературный музей, Москва

что ему нельзя не платить вам по векселю, а, впрочем, если следует на него жаловаться и пр., то все сие вполне поручаю вам. Торлони — взял с меня прегнусную расписку, что я отвечаю в случае остановки платежа у Колли даже за те векселя, по которым он прежде мне выдал. Без этого он не хотел меня снабдить 5.000 по одному фулдовскому векселю. — Получили ли вы мое письмо — оно было застраховано и послано дней пять тому назад из Рима. — Вашего письма, о котором вы писали, я все-таки не получал. —

Теперь у меня на кредитиве	8.500	фр[анков]
На двух векселях Колли на Фулда	8.300	
	16.800	

Если к ним прибавить тысячи две наличных денег, да вексель посланный к вам — этого было бы довольно на окончание путешествия и возвращение в Москву, но, в сущности, я имею только 2.000 фр[анков], ибо Фулд в ликвидации, по его векселям не платят. Торлони адресовал в Париж к какому-то знакомому. Я уговорил маменьку отправиться за деньгами, не заезжая в Штутгарт — ибо под конец мы пришли бы к совершенно затруднительному состоянию. Думаю, что с Турнейсена сантимов 70 или 75 за франк получу по кредитиву.

Если вы не получили, Григорий Иванович, моего прошлого письма с векселем, то примите на себя труд известить об этом долге Колли — который и без векселя имеет все средства убедиться в том, что долг Турнейсена в фальите[2], и что я по векселю не получал от других банкиров, иначе бы я ему прислал вексель с надписью — он дан им от (нашего, кажется) 23 февраля. А потому, если он хочет, я ему вышлю копию с прота через Ротшильда; сверх того, я попрошу вас ему сказать, что, как только Фулд откажется платить (Марья

Каспаровна отошлет вам векселя) — я с него потребую деньги, ибо тут и срок не прошел: 26 февраля/9 марта на три месяца.

Если есть возможность с совершенной верностью и на страх Колли и Редлиха перевести 3.000 сер[ебром], вы меня обяжете. Ибо при нынешних обстоятельствах, я не могу надеяться даже на Ротшильда — и если мне по векселям не заплатят, я насижусь без гроша. Все же Ротшильд парижский или кто-нибудь из лондонских банкиров верен — вексель пришлите, как я вам писал в прошлом письме, на имя маменьки — Madame Louise Haag de Würtemberg. — Confiée aux soins de Monsieur Rotschild à Paris. Это гораздо вернее, нежели послать в Шамбери, я же буду делать разные экскурсии. Мария Каспаровна тотчас известит вас о получении письма — а мне его доставит. —

Засим прощайте, Григорий Иванович. Простите за хлопоты, доставляемые вам в таком обилии. Мы все здоровы, насколько кто может; Наташа была сильно больна морской болезнью при переезде из Чивиты-Веккии в Ливурну, ветер был ужасный, мы ехали на большом сардинском пароходе, и несмотря на его величину его бросало на стороны как маленький челнок.

Все желающие ко мне писать пусть пишут на адреса маменьки и Ротшильда, т. е. теперь, ибо через несколько времени я пришлю настоящий адрес. Пусть Зоненберг съездит сказать об этом кому-нибудь из наших близких знакомых. Мне бы очень хотелось знать, когда бедный Грановский повезет свою жену, которая так страдает, в Германию, и куда именно ее посылают доктора; я думаю, любезнейший пастушок Зоненберг все это обделает.

Все наши кланяются вам. — Прощайте еще раз. — С дороги что-то нескладно пишется, до сих пор все еще кажется, что качает на пароходе.

Весь Ваш А. Герцен

[1] Точное обозначение времени пребывания в Ливорно отсутствует в «Канве биографии Герцена» Лемке.

[2] В ликвидации (французское faillite — ликвидация, банкротство).

16

Париж, 1848 июля 8

Денежные хлопоты и переговоры с Турнейсеном и с Фулдом заставили меня, вопреки моему плану, возвратиться сюда, где я и получил письма ваши, адресованные к маменьке; посланное же от 27 мая получено вчера. Ваш отчет снова заставляет меня самым искренним, самым душевным образом вас благодарить — я очень понимаю, что это больше, нежели я заслуживаю, но думаю, что вы не сомневаетесь в том, что я понимаю и ценю вашу дружескую готовность одолжать всех нас — и что я это говорю и повторяю не потому, что ваша помощь мне теперь необходима — а потому, что я так понимаю умом и сердцем. Теперь и я с своей стороны дам вам отчет. 1-е. Фулд отдал мне по двум векселям Колли и Редлиха 8.000 фр[анков]. 2-е. Вексель, присланный домом Колли через Петербург на 280 фунтов стерл[ингов] на Лондон, Ротшильд послал к акцептированию. 3-е. Вексель на сумму 5.700 фр[анков] возвратил от Турнейсена с протестом, я еще не получал. А по вашему письму я было взял и копию с протеста. — 4. Что касается до 8.500, оставшихся на Турнейсена, — это дело затянулось, он хоть и уверяет меня, что отдаст по расчету — но не знаю, получу ли с него все; в конце июля он должен платить или объявить себя банкротом; я продавал мое право за 7.000 фр[анков] — но у меня не купили, это мне не подает больших надежд. — Колли и

Редлих поступили, как благородные и честные люди. Турнейсен на словах не позволяет сомневаться — я буду дожидаться назначенного ему срока.

Доверенность я еще не написал. Но это более дело формы. Скажите Егору Ивановичу, что дом его, деньги пусть он отдаст, когда я пришлю доверенность. Потрудитесь их положить в Опекунс[кий] совет на два билета на неизвестного. — Когда я возвращусь, буду себе искать дом в гористых частях города, напр[имер], на Маросейке, на Покровке и притом такой, который бы давал доход. Егора Ивановича с покупкой поздравляю. Вы пишете, что он посылает письмо — ни маменька ни я письма не получали. Что касается до костромского имения — время терпит, можно в Москве на досуге переговорить, если же придумаю что-нибудь, то напишу Егору Ивановичу. —

Табакерки вы потому не получили, что она у меня в шкапе, я не хотел рискнуть ею при теперешних делах — ее вам доставит один мой знакомый в конце августа. — Мне очень хотелось бы знать, отдал или нет Рейхель деньги, дело в том, что я у него не просил и не торопил его, зная его дела, на нем я могу и подождать — но если он их передал Эрну, то поступок последнего был бы из рук вон странен. Вероятно, Прасковья Андреевна знает. Кстати, прошу ей и всем домашним передать поклон. Пожалуйста относительно прислуги, если кого надобно поощрить или наградить, распоряжайтесь, как только вам заблагорассудится.

За сим мне остается пожать вашу руку — так как письма ваши дошли очень исправно, то и не для чего менять адрес. В газетах пишут, что в Москве снова холера — дай бог, чтоб она миновала вас всех. —

Окончивши дела с Турнейсеном, я отправлюсь в Лондон и оттуда уже начну обратный путь — хотя определенно времени назначить не могу. Будьте здоровы и прощайте.

Я полагаю, что еще получим письмо Егора Ив[ановича]. Тогда я и мам[енька] будем писать к нему особо.

Потрудитесь приложенную записку доставить по адресу, хоть через Кузьму или Зоненберга.

17

Августа 6 1848, Париж

Почтеннейший Григорий Иванович

Я снова пишу к вам о деньгах.

Вы пишете в последнем письме, что у нас осталось 2.640 р[уб.] сер[ебром], я попрошу перевести их сюда на мое имя — но только прошлый перевод был очень не выгоден для меня. Я полагаю, что Колли может прямо послать на Ротшильда парижского — никакого близкого кризиса не ожидают, я, с своей стороны, советую так послать, прошлый раз за 2.000 сер[ебром] — т. е. 8.000 фр[анков] я получил 7.060, след[овательно] 940 фр[анков] стоила пересылка из Москвы в Петербург, перевод из Петер[бурга] на Лондон и из Лондона на Париж. Это ужасно дорого. — С Турнейсеном делать нечего, он объявил, что уплатит в продолжение двух с половиной лет. Я продаю его обязательство, у меня покупают, но хотят, чтоб я уплатил более 25 процентов. Между тем, я уплатил из своих денег маменьке в счет 10.000 сер[ебром], которые я взял отправляясь в путь, 12.000 фр[анков] асс[игнациями] — из этого вы видите, что траты не очень велики; у меня теперь еще цел вексель в 5.000 ф[ранков] — но про запас считаю полезным снова просить вас о присылке 2.500 сер[ебром], а

если у вас теперь более денег, не принадлежащих собственно в капитал (как, напр[имер], с Егора Ив[ановича] за дом я считаю в капитал) — то переведите, чем больше, тем лучше. На днях вы будете иметь живую весть об нас: Марья Федоровна едет прямо в Москву, она вручит вам табакерку, примите ее в знак дружбы и благодарности от маменьки — я признаюсь очень буду рад, если она вам понравится, я ее заказывал на свой вкус.

Доверенность я еще не засвидетельствовал, если не успею сегодня, то пришлю ее с Мар[ией] Фед[оровной].

Я дождусь здесь денег, потом сообщу вам, когда и как мы думаем ехать. Что это у вас холера все шутит шутки нехорошие? Насмотрелись и мы здесь ужасов довольно в июньские дни.

Егор Иванович пишет, что перебрался уже в новый дворец свой. — Прощайте, почтеннейший Григорий Иванович. Жена моя усердно вам кланяется. Маменька также, она собирается по получении денег ехать в Швейцарию. —

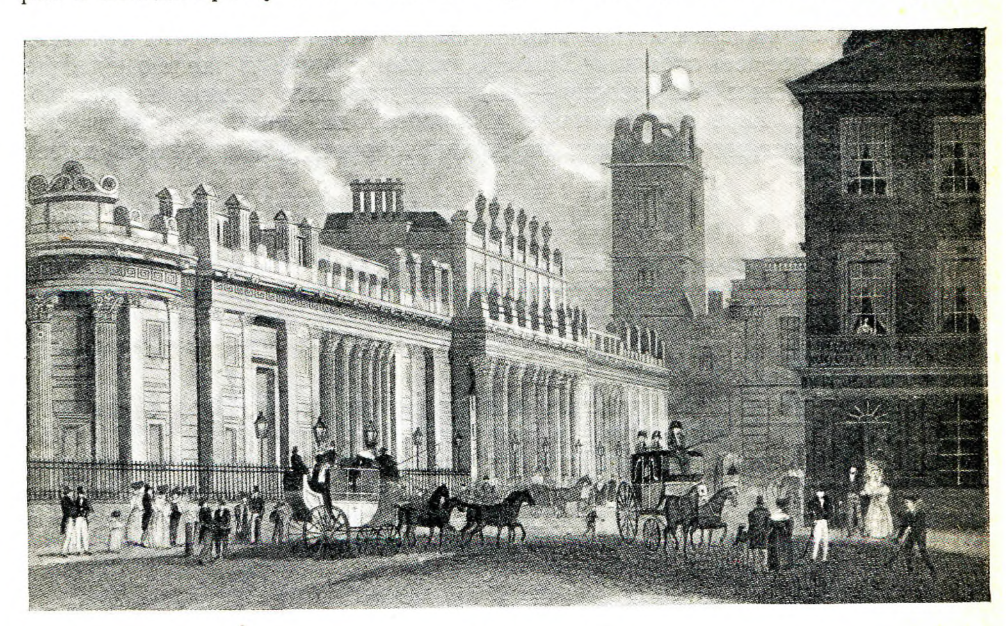
Весь Ваш А. Герцен

18

8 сентября 1848, Париж

Письмо ваше, почтеннейший Григорий Иванович, от 24 ав[густа] я получил и особенно тороплюсь отвечать на него, чтоб доказать вам, вас от всей души поблагодарить за ваши замечания, для меня в их откровенности лежит лучшее доказательство дружеского расположения вашего к нашему семейству. Очень и очень благодарю вас. Может быть, писавши к вам, я по рассеянности написал что-нибудь неверно — теперь, за ваше замечание, я осуждаю вас прочесть целую страницу оправданий. — Во-первых, скажу вам мое нравственное правило насчет состояния. Я получил почти случайно довольно много, — никогда не имел я ни жажды стяжения, ни любви к безумной роскоши. У меня есть дети, — полученное мною я и м п е р е д а м. Увеличить состояние я не чувствую ни охоты, и, наконец, не вижу необходимости. Доход мой имеет три назначения — доставить мне с семейством прожиток, доставить средства на самое развитое воспитание детей, доставить возможность не отказывать в иных случаях приятелям и знакомым. — Капитал, доставшийся мне, состоял без малого из 200.000, доходу по 4 пр[оцента] 8.000, костром[ское] имение доходу 2.000 — вот нормальный доход. — Прошлый год был особенно дорог, путь, переезд в Италию, даже непривычка к путешествиям сделали то, что от 1 января 1847 до 1 янв[аря] 1848 истрачено 12.000. — Это превышает, по крайней мере, 3.000 сер[ебром] мною намеченную смету. Но и тут я не вышел из доходу, ибо на 35 т[ысяч] получались проценты от Дм[итрия] Павл[овича] и на 15/т[ысяч] от Огарева (если он и не платил их, то они только остались в его руках, а не исключились из моего капитала). — Нынешний год я никак не проживу 10/т[ысяч], от 1 января до 1 июля с переездом из Италии издержал я 15.000 франков, да разными переводами и быстрыми понижениями и повышениями курса я потерял сверх того около 1.500 фр[анков]. Не предвижу, чтоб мне было нужно больше до 1 января 1849, что и составит до 33.000 фр[анков], что гораздо меньше 10/т[ысяч]. Но к этому присовокупляется расход в Москве, такие непредвиденные случаи, как напр[имер], приданое, посланное в Шацк (зато я не считал доход с дома) и пр. — При всем этом вас, мне кажется, удивляет, что вы денег посылаете гораздо больше, нежели я издерживаю. — Пожалуйста не забывайте, что я поехал за границу не взявши никаких денег кроме

маменькиных. — Когда она истратила взятые ею 5.000, я стал ей уплачивать из взятых мной у нее 10.000, из них до сего числа я уплатил 4.500 руб. Да из тех, которые получу через Ротшильда, уплачу 1.000. Наконец, не забудьте и того, что Турнейсен в ликвидации и у него моих денег остается более 6 000 фр[анков]. Да в наличности у меня теперь от прежних тоже около 6/т[ысяч] — остальной дефицит в долгах. Он очень, впрочем, не велик и вряд дойдет ли до 1.500 сер[ебром]. — Я вижу беспрестанно перед глазами примеры путешествующих русских, которые пишут о деньгах, когда уже придется худо, и принуждены занимать здесь у ростовщиков — вот причина, по которой я всегда прошу о высылке их заранее. Итак, заключение мое будет,



БРИТАНСКИЙ БАНК В ЛОНДОНЕ

Гравюра, 1860-е гг.

Музей изобразительных искусств, Москва

что я не издерживаю больше доходу. Вы вспомните, что проценты по всем билетам — вознаграждают взятое из капитала. Теперь, когда я получу 3.000, о которых вы пишете, и отдам маменьке 1.000 — у меня будет 13.000 фр[анков] и надежда на Турнейсена, стало быть от 1 сентяб[ря] — если не будет ничего особенного — до 1 января моя жизнь обеспечена, а в декабре я опять прибегну с просьбой о деньгах на 49 год. —

Довольны ли вы, почтеннейший Григорий Иванович, полной реляцией и отчетом, в котором могут быть небольшие ошибки, но сущность которого верна. Цель моя удержать полученное в целости, не откажусь его увеличить — но целью этого увеличения поставить не могу. Думаю, что без особенных несчастий я не утрачу ничего из капитала. — В заключение еще и еще благодарю вас за советы и замечания. Делайте их от души и с тою откровенностью, которую вам дали многие права.

Вероятно, когда вы получите это письмо, вы уже виделись с Марией Федоровной — и она передала вам и поклоны, и вести, и табатерку. — К Огареву я прилагаю записку, потрудитесь, если его нет, ото-

слать ее к нему в Пензу. — Егору Ивановичу усердный поклон; вероятно, дом уже теперь законно принадлежит ему, деньги я просил вас уже принять на себя труд и положить в совет на имя неизвестного. —

В Шацк я попрошу вас посылать по прежнему и Петру Алекс[андровичу] тоже. Если не достанет моих денег, вы меня душевно обяжете ссудив. Я писал, сверх того, о Мар[ии] Фед[оровне] и просил вас в случае необходимости снабдить ее деньгами. Я так много обязан этой женщине за все ее попечения, что с радостью готов для нее сделать все, тем более, что ее поездка с нами не принесла ей никакой выгоды.

Маменька [вырвано] и Марья Каспаровна вам кланяются. Да сделайте одолжение, узнайте от Прасковьи Андреевны, что же наконец Рейхель заплатил деньги или нет. Я сильно подозреваю, что тут есть что-то неладное со стороны Эрна. В таком случае я желаю сделать судьею Праск[овью] Андреевну — а денег для него терять не желаю.

Прощайте, Вере Артамоновне кланяюсь, не ленитесь и напишите письмецо с вестями обо всех, на чужой стороне всякая весть имеет большую цену.

Всегда ваш А. Герцен

Жена моя усердно кланяется, ее здоровье опять чего-то попортилось от всех сует и неприятностей здешней жизни. Дети здоровы. — Думаем, может к зиме перебраться куда-нибудь. Но адрес пока до перемены остается тот же. На мое имя или же маменьки и Confiée aux soins de Messieurs Rotschild à Paris.

Огарев мне должен, рассчитывая проценты до октября с разными комиссиями, 2.875 сер[ебром], в том числе не выплачены 328 р[уб.] 60 к[оп.], о которых вы пишете, их надобно стало вычесть. Я ему пишу, если он уехал, положите в пакет записку и потрудитесь ему ее послать — если он желает, можно взять с него новую расписку в должной сумме — впрочем, он мог тратить по моему назначению.

19

13/2 октября 1848. Париж

Ваше письмо, почтеннейший Григорий Иванович, от 18/30 сентября я получил сегодня утром. Чрезвычайно рад, что табатерка вам нравится, работа в самом деле замечательная, особенно мозаика, что делал знаменитый мозаист Caval. Michelangelo Barberi в Риме, и у меня есть его руки свидетельство. — Векселя я получил уже давно. Потеря очень большая при переводе — но необходимости надобно покориться. Маменька, кажется, не поедет без нас — а мы, может быть, принуждены будем зимовать здесь (т. е. остаться до конца февраля) — на чем окончательно остановимся, сообщим вам тотчас. — Душевно рад, что мой финансовый отчет принят вами так, как я его писал. Вы очень хорошо сделали, пославши Ак[синье] Ив[ановне] 100 сер[ебром], вообще, в таких случаях я прошу вас поступать совершенно самовластно, я знаю ваши чувства — и знаю, что они никогда не разойдутся с главными моими желаниями. Насчет Эрна я добиваюсь одного — отдал деньги Рейхель или нет. Я не могу представить, чтоб бесстыдство и наглость могли итти до такой степени, в то время, как я для Эрна прежде кой-чем был полезен. Обязанность Праск[овьи] Анд[реевны] была бы ему представить всю гнусность такого поступка. Если г-жа Каппель будет приставать, то я попрошу отдать ей проценты — к Огареву я буду писать сегодня, если еще больше будет приставать, то я попрошу вас написать к Ник[олаю] Пл[атоновичу], чтоб он

прислал вексель на мое имя в сумме должной им Каппель, и переписать мой вексель. Но чего же ей лучше, как получить 8 проц[ентов] с Огарева? — Я буду просить вас переслать прилагаемое письмо через верного человека Мар[ье] Федор[овне], она мне забыла написать свой адрес, да сверх того, не франкированные письма доходят гораздо аккуратнее, а мне не хочется ее вводить в траты, вы будете, верно, так добры, что запишете в мой расход это тяжелейшее письмо. — В случае, если бы Мар[ия] Фед[оровна] после обратилась к вам за деньгами, я попрошу сколько возможно, напр[имер], с 300 сер[ебром] ей предложить — я ею бесконечно обязан.

О Сергее Львовиче[1] знаю только, что он здесь и здоров.

При свидании кланяйтесь Егору Ив[ановичу], которому я уже писал. Пусть он перестраивает и устраивает.

К зиме не худо бы было от Дм[итрия] Павл[овича] взять 4.000 сер[ебром] остальные. Кажется, он не должен затрудняться в таких случаях.

[1] Львов-Львицкий Сергей Львович — двоюродный брат Герцена, фотограф.

20

26 октября 1848. Париж

Письмо ваше, почтеннейший Григорий Иванович, от 14 октября я получил очень скоро, а именно 25, и спешу отвечать на него.

Хотя я никак не считаю действительно выгодным давать деньги взаймы, тем не менее, этот случай составляет полное исключение. Огарев принадлежит к самым близким людям, мы с ним росли вместе, и не только материально вместе — но и душевно. В нем я совершенно уверен. Если я затруднялся и приискивал обеспечение в такой значительной сумме — это единственно в одном несчастном предположении смерти Огарева, ибо его наследнику я не верю, племянники несовершеннолетни, а Плаутин[1] сам не может, я думаю, внушить доверие даже своей жене. — Видя теперь и из вашего письма и из письма Огарева, что деньги ему необходимы на оборот, я решаюсь их ему дать. Пусть Маршев *[2] с своей стороны подпишет (как вы лучшим найдете), пусть будут соблюдены все возможные формы — кроме залога имения, что оказывается невозможным. — Я очень желал бы, чтоб вы приняли на себя труд заметить Огареву, что мне очень хотелось бы на всякий случай, чтоб он особенно поручил этот долг и прежний во внимание своих наследников.

У вас доверенность на получение денег есть, но, кажется, она была недостаточна — для того, впрочем, чтоб это не могло вас остановить, попросите Егора Ивановича взять из его денег — и отдайте ему пока мои билеты, я усердно Егора Ивановича об этом прошу, при том он ни процентами и ничем не потеряет ни одной копейки — билеты мои останутся у него, я умру, наследников моих он знает.

Разумеется, чем меньше, тем лучше. Лучше 20/т[ысяч], нежели 25 — но если им непременно нужно 25, я согласен, проценты за один год вперед, по прошествии года можно будет вексель протестовать и тогда он пойдет еще на год. — Не лучше ли заемное письмо совершить от крепостных дел? —

Если можно по старой доверенности, то не сможет ли Данила Данилович, ведь сомнения истинного у них быть не может. — Дело все в том, что я писал под «залог имения», я вижу сам, что это

* Вы может знаете, что это побочный сын Платона Богдановича.

глупо, мне следовало бы просто писать «на известное вам употребление». Но я полагаю, Егор Иванович не затруднится. Кстати, чтоб не писать ему особого об этом письма, я попрошу вас передать ему, что мне нет никакой крайности, чтоб он тотчас, по совершении купчей, заплатил деньги, пусть купчая совершится, а он вам вручит заемное письмо, или что хочет и как хочет; но только мне бы не хотелось ни дома брать назад — ни платить поправки.

Теперь о прежних счетах с Огаревым, я действительно писал ему о разных важных тратах — ему стоит только сказать, сколько потрачено им за меня. Всего за ним было к 1 янв[арю] 1848—1.975 руб. сер[ебром], сверх того, по заемному письму одному от августа, другому от октября следовало за год 900 руб. сер[ебром]. — Да от авгусг[а] нынеш[него] год[а] и октября за год вперед опять 900. — Это составляет 3.775 сер[ебром]. Если же Н[иколай] Пл[атонович] не отдал деньги Мар[ье] Касп[аровне], не по билету, а взятые в апреле 46 года — то я отдам ей еще 160 сер[ебром], что и составит 3.935 руб., из которых пусть Огар[ев] вычтет уплаченное за меня — остальное, если не встретите особых препятствий, можно вычесть с процентами. — Я прилагаю, между прочим, письмецо к нему (оно не готово, и я посылаю без него). Мне, право, совестно, что я доставляю вам такое множество хлопот, но делать нечего, кроме благодарить судьбу, что она меня сблизила с таким человеком, как вы, почтеннейший Григорий Иванович, на которого содействие, дружеский совет и теплую готовность помочь я считаю как на каменную гору. —

По окончании этого дела вы, верно, будете так добры, что напишете мне — и если все окончите, то недурно разом прислать тысячи три денег серебр[ом]. Денег у нас до февраля довольно и с маменькой, но так как векселя пишутся на три месяца, то потеря очень велика, когда берешь до срока. —

Все, что найдете полезным в этом деле — приказывайте и делайте и требуйте — хотел сказать — так, как я сам бы делал, но вспомнил, что вы все это сделаете гораздо лучше.

Дружески жму вашу руку.

Жена благодарит, что вы вспомнили 22 октября[3].

[1] Плаутин Сергей Федорович — полковник, муж сестры Огарева — Анны Платоновны.

[2] Маршев Иван Иванович — побочный брат Н. П. Огарева, сын его отца и крепостной крестьянки, купец второй гильдии. В конце 1848 г. стал компаньоном Огарева по приобретению Тальской писчебумажной фабрики в Симбирской губ. Вел себя в этом деле совершенно недобросовестно относительно Огарева.

[3] 22 октября — день рождения Н. А. Герцен (род. в 1817 г.).

21

Париж. Ноября 24 1848

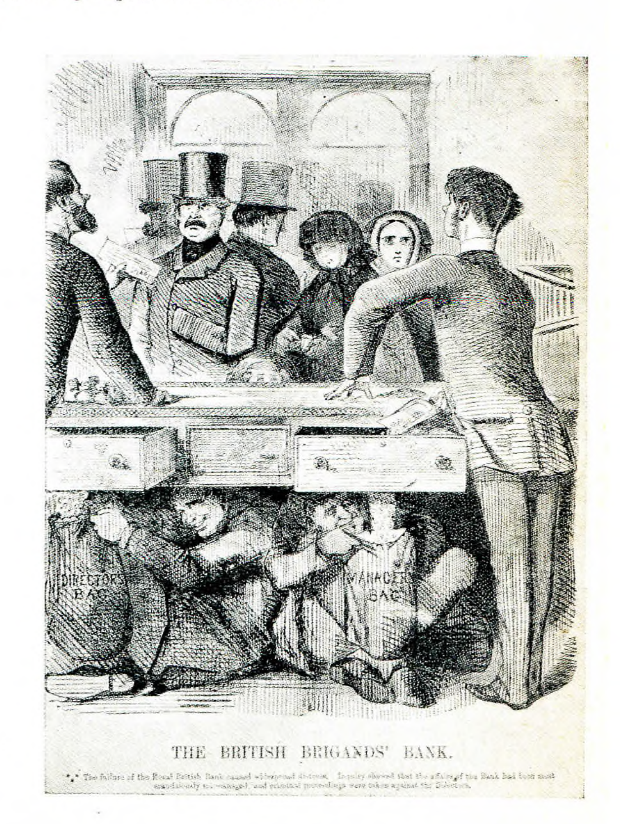
Ожидая от вас, почтеннейший Григорий Иванович, ответа на мое последнее письмо насчет ссуды Николаю Платоновичу (о которой он писал опять ко мне из Саранска), я вздумал — вот уже наверное не догадаетесь — сам вступить в небольшое торговое дело. Выгоды, приобретаемые теперь здесь на наличные деньги, превосходят вероятие. Я отдал чрез посредство дома Ротшильда, и с его гарантией в отношении к фонду, 10/т[ысяч] билетами Сохранной казны — риск не велик, все, что я могу потерять, это рублей 700 невыгодного промена, да рублей 100 за перевод. — Я тороплюсь потому уведомить вас об этом, чтобы вы не удивились, когда билет представится, и не считали бы, что я издержал эти деньги или взял их на расход. Мне очень хо-

чется быть под вашим контролем — и, след[овательно], давать вам отчет во всех финансовых делах.

Если Егор Иванович отдал за меня Ник[олаю] Пл[атоновичу] своих 20/т[ысяч], я тотчас ему пришлю доверенность на билеты, находящиеся у вас. Жду только вашего сообщения. Вероятно, костромские крестьяне и нынешний год пришлют так же исправно оброк, как всегда, — деньги на прожиток становятся нам нужны, жду присылки от вас, чем больше, тем лучше, потому что менее хлопот, а расход от этого не увеличивается. Наша жизнь идет теперь так правильно в отношении к расходам, что все вертится около одних и тех же цифр. Мы издерживаем от 2.300 фр[анков] до 2.500 в месяц, редко переходим фр[анков] 100 эту сумму. Маменьке я остался должен 14.000 франк[ов] и выплачиваю по 1.500 фр[анков] в месяц (она из этих денег посылает иногда своим родным в Штутгард), стало быть, очень легко нас и усчитать и определить, на сколько станет денег, к здешнему новому году останется у нас обоих около 3.000 фр[анков], а поэтому я попрошу, если вы не посылали еще денег, послать их. Данные же Ротшильду совсем не надобно вводить в счет, они через год снова воротятся в Московскую Сохранную казну — которая представляет теперь единственный верный банк в Европе. Из Петербурга мне пишут, что Петруша что-то хил и очень нуждается, если вы сочтете нужным, то я попрошу вас послать ему рублей 30 сер[ебром] к новому году без всяких отношений к получаемым им деньгам. Ну, что Егор Иванович с моим домом, он обещает давненько описать, но ничего не пишет.

Прощайте, почтеннейший Григорий Иванович. Душевно желаю, чтоб письмо застало вас в добром здоровьи.

Маменька, жена моя и дети усердно кланяются.



«БАНДИТЫ БРИТАНСКОГО БАНКА»

Карикатура из журнала «Punch»

От Эрна, вероятно, не добились ответа, он имеет свои причины проходить молчанием дело рейхелевых денег. Если мое подозрение справедливо, то это свидетельствует о глубочайшем разврате — я не знаю, чему тут больше дивиться, гнусной неблагодарности или краже. Но до окончательного осуждения надобно знать, так ли. Хотя уже и то худо, что можно подозревать.

22

4 декабря 1848. Париж

Почтеннейший Григорий Иванович, пишу к вам небольшое письмо, главная цель его просьба принять на себя труд вручить Марии Федоровне Корш 200 руб. сереб[ром] из моих денег, если же вы их все отправили ко мне, то ссудите мне до получения от Дмит[рия] Павл[овича]. — Но это еще не все, я попрошу вас заставить ее взять эти деньги, если она будет отказываться. Я знаю, что они в крайности, — я знаю, как я был обязан ей, и это какая-то ходячая гордость.

Последнее время я провел очень тревожно. У Наташи (маленькой) было воспаление в мозгу, ноябрь месяц страшным образом несчастен для меня. Помните в 46 году, именно в день моих именин занемогла Лиза[1]; в 45 в тот же день сделался у Саши коклюш; в 47 — моя жена была в горячке (в Риме). Нынче этот случай. Кажется, можно достоверно сказать, что опасность прошла, но лихорадка продолжается. Все это вместе, разумеется, расстроило опять здоровье Наташи. Я вас попрошу при свидании прочесть письмо это и Егору Ивановичу — особо писать некогда, он из него узнает все, что было.

Ваше письмо я получил — или, кажется, я вам уже об этом писал — если Огареву деньги не нужны, то всего лучше мои билеты оставить у Егора Ив[ановича], а его деньги в ту же сумму положить на мелкие билеты (напр[имер], на 4) на имя неизвестного для легости. То же попросил бы я вас сделать и с деньгами, которые отдает Дми[трий] Павл[ович]. Нумера будущие известны Дан[илу] Дан[иловичу]. — Егор Ив[анович] очень благодарен за его готовность. Об доме все как он хочет; деньги я жду, теперь у нас еще есть и до половины января может станет (с маменькой), чем больше вы пришлете, тем более не будет хлопот. Расходы у меня идут так правильно, что я не жду ни особых трат — ни особой экономии.

Позвольте вас еще раз попросить деньги за письма взять из расходных моих, поэтому я и позволяю вкладывать еще письмо.

Если бы для Мар[ии] Фед[оровны] было нужно сверх этих денег до 1.000 ас[сигнациями], вы меня одолжите, давши ей.

Меня сильно соблазняют торговые сделки, о которых я вам писал в прошлом письме. Богатеть я особенного желания не имею — но иметь больше средств и помочь и обязать иной раз — дело важное. —

Я, разумеется, был бы очень рад, если б Дми[трий] Пав[лович] отдал долг. — Во всяком случае, вероятно, остальные по сохранной записке он отдаст, я вам тогда ее пришлю, написав, что получил.

Прощайте. Дружески и с искренней благодарностью жму вашу руку.

Жена и все наши вам кланяются. —

Здесь погода стоит удивительная, настоящее лето.

Приписка в конце письма, написанная другой рукой:

По сему письму получила 200 руб. серебром.

Марья Корш

[1] Лиза — дочь Герцена. Родилась 30 декабря 1845 г., умерла 27 ноября 1846 г.

23

21/9 декабря 1848. Париж

Ваше письмо, почтеннейший Григорий Иванович, от 26 нояб[ря] 16 дек[абря] я получил вчера, а прежде еще вексель от Ценкера на Ружмона. Все, что вы сделали с займом Огарева, очень хорошо, только я думаю, что мне не приходилось получить с него сполна 3.935 — впрочем, в этом беды нет, я писал к нему, чтоб он вас известил, что он считает за мной, но он видно не написал. Мы с ним сочтемся. — Вы спрашиваете насчет 25 сер[ебром], данных вами Фролову, мне остается вас дружески благодарить, подобными вещами вы показываете не только доверие ко мне, но то, что вы сочувствуете и разделяете мой взгляд на предметы этого рода. Всегда, во всех случаях, где ваше прекрасное сердце вам посоветует сделать снова что-нибудь подобное — нисколько не задумываясь, исполните и будьте вперед уверены, что я дружески сожму вашу руку. Меня беспокоит Петруша, он хочет в Москву, не мог ли бы ему на время дать приют Егор Иванович? Я пишу к нему с этой же почтой и попрошу г. Панаева ему доставить рублей 200 асс[игнациями]. Насчет костромского оброка — конечно, лучше его перевести сюда, вероятно, и курс поправится, так, по крайней мере, ждут — денег у нас теперь к 1 январю до 12/т[ысяч] фр[анков] — да у Турнейсена 5/т[ысяч], которые неизвестно когда он отдаст; стало быть, на три месяца мы обеспечены с маменькой — но так как банкиры векселя переводят тоже на три месяца, то полагаю лучше их прислать, особенно же воспользоваться курсом, здесь последний курс идет так: рубль сер[ебром] — 3 фр[анка] 84 сантима.

Если по делу о билетах для возврата Егору Ив[ановичу] что нужно будет, я тотчас пришлю. — Касательно уплаты Дм[итрия] Пал[овича] я писал в прошлом письме, — положить их покамест на имя неизвестного в Опекунский совет. Здесь можно делать теперь удивительные спекуляции. Я писал к Огареву насчет того, чтоб переписать векселя не протестованные, если вы будете иметь какое-нибудь с ним сношение, напомните ему.

Портрет Веры Артамоновны очень желаю видеть — хотя надеюсь в будущем году увидеть и оригинал.

Поздравляю вас с новым годом, истекающий не был беден всякого рода событиями. Очень радуюсь, что вы весело попировали 25 нояб[ря], я в самый этот день получил письмо от Егора Ив[ановича], но оно нас застало в страшной тревоге, у маленькой Таты была тифозная горячка, были минуты, в которые мы отчаивались — это чрезвычайно расстроило нас. Теперь она оправляется. Если увидите, почтеннейший Григорий Иванович, Марию Федоровну, то сообщите ей эту весть. Много похлопотали мы, и я думаю это обстоятельство имело опять дурное влияние на здоровье жены. —

Сегодня 21. Первый морозец, градуса полтора, до 20 было так тепло, как у нас в начале сентября. —

Кланяйтесь Егору Ивановичу — и всем нашим. Прасковье Андреевне и Карлу Ивановичу.

Прощайте и будьте здоровы.

Жена и все кланяются вам и поздравляют с новым годом.

Я просил вас, Григорий Иванович, и опять прошу, если вы еще не сделали, вручить 200 сер[ебром] Марии Федоровне, кстати, если по болезни Петруши что будет очень нужно, помогите ему. Да нельзя ли ему у маменьки в доме остановиться, верно есть комнатка — в ее дозволении я не сомневаюсь.

Прощайте, мой адрес тот же: Confiée aux soins de Messieurs de Rotschild à Paris.

24

12 февраля 1849. Париж

Давно я не писал к вам, почтеннейший Григорий Иванович, между прочим потому, что я через Егора Иванов[ича] уведомлял вас о получении вашего письма. — Я знаю, что вы имеете ко мне много дружбы, но теперь я попрошу вас прибавить несколько доверия. Могли ли вы только подумать, что я пущусь в такие обороты, как Сергей Львович? Я до такой степени неповоротлив в этом отношении, что без полного обсуждения дела, без взвешивания всех шансов за и против, я не стал бы рисковать долею капитала — который считаю, как писал вам, достоянием детей. Опыт на первый случай подтвердил мои соображения, весь капитал, употребленный мною, уже возвратился и третьего дня Ротшильд сообщил мне, что капитал к моим услугам, но только вместо 20/т[ысяч] возвратились 25/— из Нью-Йорка. Этот капитал я отправлю впоследствии через Колли и Редлиха в Московскую сохранную казну. Будьте же уверены, Григорий Иванович, что я только в том случае предпринимаю что-нибудь финансовое, когда просто совестно не понять выгоду. Дело все в том, что здесь именно теперь наличные капиталы спрятались или на время увязли. Такие люди, как Ротшильд, не занимаются мелкими (с их точки зрения) оборотами — а те, которые занимались ими — у тех капиталы компрометированы.

Теперь попрошу вас насчет векселей Дмитрия Павловича. Вы писали мне, что он весною намерен уплатить их, потрудитесь спросить Дм[итрия] Пав[ловича], не позволит ли он в том случае, если он не заплатит до мая месяца (и это положительно), передать вексель Егору Ивановичу, разумеется, если Егор Иванович согласится тотчас выплатить, о чем я попрошу вас и у него спросить, выгода для него очевидная в увеличении процентов. Мне хочется иметь в распоряжении эти деньги, если Егор Ив[анович] не согласится, я передам маменьке, просто можно бы переписать векселя, скоро будет им десять лет. Скажите Егору Ивановичу, что я сочту за истинное одолжение, если он это сделает, — с его стороны, а равно и со стороны Дмитрия Павловича. Жду от вас ответа на это предложение и прошу не очень медлить, ибо у меня еще есть разные проекты.

Егор Иванович все покупает домы. Я очень был бы не прочь купить в Москве — вместо моего бывшего дома — новый. На всякий случай, если что-нибудь представится, то отметьте пожалуйста. Я полагаю непременно, если не к началу, то к концу лета, пуститься в обратный путь. Главное условие, во-первых, что я дороже 25/т[ысяч] серебр[ом] дома не куплю — и это уже самая высокая цена, второе, дом должен быть непременно на высоком месте, с садом. Я помню возле дома Боткина на Маросейке удивительные дома. Кстати, что Егор Иван[ович] чинит с моим домом, попросите его кончить купчую; маменька желает теперь уступить ему и Тучковский — не лучше ли было бы процесс об земле вести Егору Ив[ановичу] от своего имени, потом какая же перемена для дела, кому принадлежит дом. Я бы очень желал покончить это. Что отвечает вам департамент внешних сношений насчет доверенности из Рима? Если есть затруднение, пришлите билеты сюда, застрахованные и на имя Ротшильда с передачей мне. Кстати, скажите Данилу Даниловичу при свидании, что Рот[шильд] мне говорил, что у них затрудняются второй (французской) надписью, но она необходима, без нее билет если б пропал, то его предъявили бы как неизвестный, а потому им невозможно не гарантировать себя.

Кстати, попрошу вас, Григорий Иванович, прислать денег, т. е. идущих в расход. Вероятно, аккуратнейшие костромские крестьяне выслали сполна оброк, да и с Дмит[рия] Пав[ловича] следует уже теперь довольно получить. Чем больше, тем лучше. Когда вам случится писать в Кострому, потрудитесь прибавить, что я крестьянам и Шулцену [1] кланяюсь и желаю, чтоб их бог попрежнему миловал.

Если случится нужной помощь Петру Алекс[еевичу] или кому-нибудь из них, пожалуйста поступайте так, как ваше преблагороднейшее чувство вам подскажет.



ХРАМ СВ. ПЕТРА В РИМЕ

Акварель из альбома Ховриных

Литературный музей, Москва

Прощайте, Григорий Иванович, буду ожидать ответа. Если вы будете посылать билеты, то уже вместе приложите и заемное письмецо Огарева.

Жена моя вам дружески кланяется, а равно маменька и Мария Каспаровна. На сию минуту дети здоровы. Зимы здесь совсем не было, и мы в генваре ходили в одном пальто; вторую зиму я не вижу снегу.

Жму дружески вашу руку А. Герцен

Примите на себя труд отправить прилагаемую записку к Мар[ии] Фед[оровне].

[1] Очевидно — Шульц, управляющий костромским имением (см. прим. к письму 2).

25

15 февраля 1849. Париж

Я писал к вам, почтеннейший Григорий Иванович, дня четыре тому назад, но снова берусь за перо, получив ваше письмо от 2 фев[раля] — и перед тем вексель от Редлиха и Колли в 300 фун[тов] стерлингов. Оставя в стороне всякого рода фразы, я не знаю, как мне благодарить вас за ваше дружеское внимание, за вашу аккуратность, я знаю, как много вы заняты и притом успели составить и мой отчет — и с такой подробностью, что я бы сам не составил за год. — Благодарю и душевно благодарю вас. Что касается до моих расходов (ибо я считаю себя повинным доносить вам и о своих издержках) — они идут совершенно правильно — т. е. я издерживаю с семьей 2.500 фр[анков] в месяц и плачу маменьке в уплату занятых 10/т[ысяч] сер[ебром] 1.500 фр[анков], иногда у меня остается фр[анков] 200, иногда передерживается, а к концу года все-таки вышло так.

Пожалуйста не беспокойтесь насчет того капитала, который я взял, вы знаете очень хорошо, я не спекулятор, не мот и не игрок; вы знаете тоже очень, что очертя голову я бы не поступил. Кажется, многим, которые судят по наружности, что я поверхностно занимаюсь финансовыми делами — но ведь это неправда, и вы сами, я уверен, в своем сердце найдете доверие ко мне и в этом отношении. Я только не придаю этим делам той важности и не так много об них говорю, да и по совести, должен сказать — что я их и не считаю первой и существенной статьей в жизни. — Таким образом, я мог бы уэкономить что-нибудь из проживаемых мною 30/т[ысяч] фр[анков]; но я думаю, теперь живется еще, семейная жизнь моя идет так покойно и так счастливо, как десять лет тому назад, когда я венчался, дети — когда здоровы — приносят с своей стороны что-то благодатное и покойное — я не хочу стеснять, стягивать эту жизнь, я не хочу из нее делать прилавка, конторы, я иногда думаю, кто знает, что будет впереди, для чего я буду копить; но для чего, с другой стороны, я выйду из пределов дохода, для чего не увеличу его там — где это легко, где стоит нагнуться, чтоб поднять. Вот главные правила, от них я не отступаю, и не имею повода раскаиваться. Увеличение средств позволяет в иных случаях протягивать руку с существенной помощью друзьям — а без этого и совесть нечиста.

Итак, об уплате от Дм[итрия] Павл[овича] и думать нечего теперь, потрудитесь ему сказать, что я бы желал или чтоб он переписал заемные письма на Егора Ив[ановича], если он заплатит, или на маменьку, которая согласна заплатить, если ему это покажется удобнейшим, то я здесь сделаю надпись и засвидетельствую у консула. Егору Ив[ановичу] было бы всего удобнее — оно же ему представляет значительное приращение дохода. Если он желает купить тучковский дом за ту цену, в которой он тогда пошел — то я вас попрошу мне опять прислать форму доверенности. Маменька соглашается.

Относительно Петра Александ[ровича] и Шацка я попрошу вас, Григорий Иванович, без каких-нибудь особенных случаев на 49 год Петру Александ[ровичу] переслать до будущего января не более 150 руб. сер[ебром] и столько же Акс[инье] Ив[ановне] — в случае крайности можно Ак[синье] Ив[ановне] прибавить еще 50 сер[ебром]. Я потому упоминаю об этом, что я Петру Ал[ександровичу] сверх того раза три имел случай посылать денежные гостинцы. — Костромские крестьяне опять отличились своей аккуратностью. Я было писал к Егору Ив[ановичу] насчет продажи их, но решительно передумал. Это именье я ни за что не продам — я имею насчет его совсем иные виды. — Маменька позволяет Петру Ал[ександровичу] жить

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ГЕРЦЕНА Г. И. КЛЮЧАРЕВУ ОТ 13 МАРТА 1847 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

в ее доме (пока он ее), да нельзя ли сладить, чтоб он был на хлебах у Праск[овьи] Андреевны, — все это в предположении, что ему действительно нужно для здоровья жить в Москве.

Вере Артамоновне потрудитесь от меня подарить 5 руб. сер[ебром] на чай. А маменька просит, буде ей что нужно (да, кажется, она получает какой-то оклад), записать в ее счет.

Я недавно купил здесь очень хорошие виды Москвы. Здания напомнили многих — между прочим, и вид Девичьего монастыря и ворота, в которые мы с вами тогда шли за покойником [1] — и так живо припомнилась прошлая жизнь, со всеми подробностями и с Верой Артамоновной... время идет, идет.

Прощайте, почтеннейший Григорий Иванович, жму дружески вашу руку.

Весь ваш А. Герцен

Егору Ивановичу передайте поклон. — Я не помню, что при продаже дома картину Айвазовского и несколько вещей из мебели, выговоренной прежде из огаревской — на каком основании оставил. Потрудитесь мне написать несколько слов на этот счет. Я даже не знаю (это оттого, что в прошлом году в Неаполе при потере портфеля у меня пропали записки), за все ли Егор Иванович мне заплатил — т. е. всю ли сумму за купленные им при моем отъезде вещи — мебель, карету и пр., или нет. Все-то вместе (?) это не очень важно — но для порядка. В заключение примите (и вы меня глубоко оскорбите, если не примете в подарок такой безделицы, в сравнении с тем, что вы для меня делаете) от меня ящик с серебром, который стоит в железном сундуке, там дюжина приборов, разливательная ложка и чайные ложечки, кажется, они в ящике — примите этот незначительный подарок, как дружеское внимание от нас. Маменька и жена много кланяются.

[1] Герцен имеет в виду похороны своего отца. И. А. Яковлев умер 6 мая 1846 г., похоронен 8 мая.

26

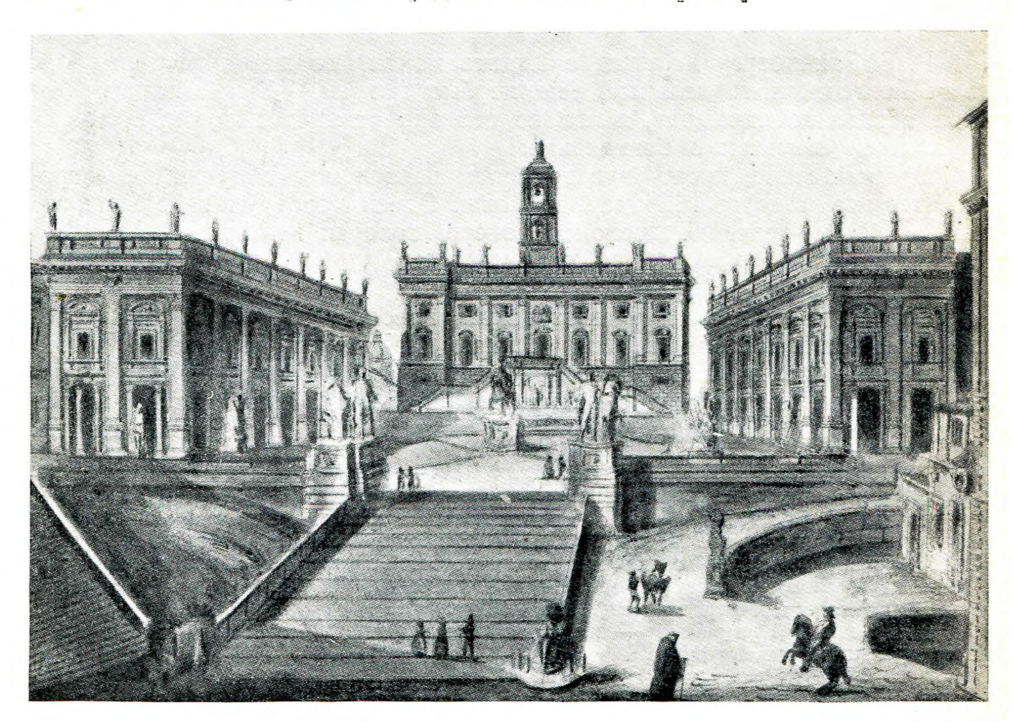
20 марта 1849. Париж

Письмо ваше от 22 февраля, почтеннейший Григорий Иванович, я получил и по обыкновению тотчас принимаюсь за ответ.

Первое, с чего начну, это с замечания Дмитрия Павловича — мне было больно его прочесть, не потому только, что оно основано на недоразумении, а потому, что показывает не полную доверенность ко мне, доверенность, которая очень естественно мне принадлежит по всем действиям предшествующим. Дм[итрий] Пав[лович] не хотел вникнуть, что я говорил о форме, что мне не уплата нужна, а свободный капитал для оборота. Передавая Луизе Ивановне заемные письма, ничего не изменяется, я предлагал и Егор Ив[ановичу] точно с такою же мыслью; но не хотел этого сделать не предупредивши Дм[итрия] Пав[ловича]. Вопрос мой чрезвычайно ясен: заемные письма писаны в 1840 и протестованы в 1841 — я желал знать (основываясь на прежних ваших письмах), что лучше для Дм[итрия] Пав[ловича] — заплатить капитал теперь мне или оставить его за собой на имя Луизы Ив[ановны] или Егора Ив[ановича]. — Из ответа видно, что Дм[итрий] Пав[лович] предпочитает остаться должным, я передам вексель — возьму у Луизы Ив[ановны] деньги, и, в сущности, все останется как было. Но вот главный вопрос. По прошествии десятилетия — следует переписать, и что для этого нужно, прислать ли вам заемные письма и доверенность от Луизы Ивановны — напишите об этом строчку. —

Сохранную записку посылаю. — При всем этом, пожалуйста, удостоверьте Дмитрия Павловича в моем искреннем уважении и в том, что я прошу его считать во всяком случае, на меня — хоть в половину столько, сколько я считаю на него. Я уверен, что нам не придется раскаиваться. Впоследствии я еще яснее докажу необходимость мной предложенных мер.

Прилагаю доверенность на дом. Скажите Егору Ивановичу, что хотя маменька и согласна, и я также на его цену 11.500 ас[сигнациями], — но что я не могу не заметить, что уменьшение это не совсем справедливо, Егор Ив[анович] не считает сделанных поправок. Впрочем, я считаю это дело конченным и прошу вас полученные деньги положить в Воспит[ательный] дом — на неизвест[ного].



РИМСКИЙ КАПИТОЛИЙ
Цветная литография
Музей изобразительных искусств, Москва

Я попросил бы вас принять на себя труд спросить у Егора Ив[ановича], сколько именно всего дано было Вере Арт[амоновне] из денег, которые он мне был должен. Ибо это делается на счет маменьки. Остальные деньги 2.900 ас[сигнациями] все равно пусть останутся у Егора Ивановича до особенной в них нужды. — Об картине, я совсем забыл и потому спрашивал, пусть она останется пока у г-жи Астраковой [1].

Маменька желает знать насчет новой мебели в тучковском доме, берет ли ее Егор Иванович. — Да кажется и в моем бывшем доме коечто оставалось из мебели — Егор Ив[анович] может взять по собственной оценке и по соглашению с вами все, что угодно.

Отпускную племяннице Савелия Гаврилова [2] потрудитесь велеть написать, разумеется, безденежно. Это ему будет последняя награда за прежнюю службу. Да вот еще важная просьба — потрудитесь мне

прислать, на всякий случай, форму доверенности для заклада костромского имения в Опекун[ский] совет. — Не забудьте, пожалуйста.

Насчет новобрачной Елиз[аветы] Ив[ановны] я считаю, что я все сделал, что можно было из внимания к ее положению — но далее я решительно отказываюсь мешаться в их хозяйственные дела. Зачем они истратили деньги, — я сдержал свое обещание. —

Если Петр Алекс[андрович] не пишет — то, мне кажется, можно так и оставить. —

Прощайте, почтеннейший Григорий Иванович, много и много благодарю вас за все одолжения и дружески жму руку. —

Все наши кланяются вам.

А. Герцен

P. S. Зоненбергу жалованье выдать можно, но никак не более, как за те полгода, пока дом мой еще не был продан. — Ему следовало бы быть несколько скромнее, я его не столько оставил при месте, сколько призрел его, как в богадельне.

В заключение, прошу вас написать, на все мои докучливые вопросы ответьте поскорей. Будьте здоровы. Здесь весна удивительная, до мая останусь — если не прогонит холера, которая показалась.

Приписка рукой Герцена, но другими чернилами:

Сейчас спрашивал я у посольских, говорят, что тысячу раз проще переписать векселя на имя Луизы Ив[ановны], о чем и прошу Дм[итрия] Пав[ловича], все расходы на мой счет — только, сделайте одолжение, не откладывайте дела в долгий ящик. Если надпись сделана не по форме, то просто уничтожить эти, и написать другие.

[1] Астракова Татьяна Алексеевна (1814—1892) — вдова Н. И. Астракова, приятельница Герцена и Огарева. Несколько занималась литературной деятельностью, сотрудничая в «Москвитянине», «Современнике», «Русских Ведомостях». Оказывала Герцену помощь при увозе им в 1838 г. Н. А. Захарьиной из дома княгини Хованской. Одна, из очень немногих бывших московских друзей Герцена, сохранила к нему неизменное дружеское расположение до самой его смерти. См. ниже упоминания о ней в письмах Огарева к Герцену (стр. 395, 433).

[2] Савелий Гаврилов — крепостной отца Герцена, староста в его подмосковном имении Покровском.

27

21 апреля 1849, Париж

Письмо ваше, почтеннейший Григорий Иванович, я получил третьего дня вечером, вчера написал доверенность и в ожидании ее возвращения от консула принимаюсь за ответ. Насчет мебели большого дома — я совершенно согласен все отдать Егору Ив[ановичу] — как было писано; но там оставались две-три вещи, которые когда-то выговаривал из своей мебели Огар[ев] (кажется, письменный стол, кресла — вообще очень немного), об них я спишусь с ним. Остальное, разумеется, не считая книг и каких-нибудь вещиц — все к услугам, вечному и потомственному владению Егора Ив[ановича]. Он писал мне насчет мебели Галахова [1], я полагаю, что ее можно оценить, а так как Галахов живет в Ницце, я напишу к нему, вероятно, он будет даже благодарен за продажу; к его мебели принадлежит большой шкаф с стеклами, который, я думаю, дорого ему стоил и который стоял наверху у нас. Портрет его матери — я попрошу Егора Ивановича где-нибудь велеть прибрать. — Мне кажется, что цена, назначенная за дом, 2.000 руб. сер[ебром] в год, очень высока. Я нанял здесь на лето небольшой отель с садом за 2.000 фр[анков] в полгода — он на краю

Елисейских полей, но в центре Парижа можно найти великолепную квартиру за 6.000 фр[анков], если же заплатить 8.000 фр[анков] равному (sic!) нашим 2.000 сер[ебром], то она будет меблирована, покрыта коврами, зеркалами и. пр. Притом надобно знать, что здесь называется меблировать, — сервиз, хрусталь, туалеты, кухонная посуда, постели, шелковые занавески, одеяла. — Правда, что цены в последнее время на все понизились, жить здесь для привычного дешево, потому же почти никакой прислуги не надобно.

Мои дела и финансовые обороты до сих пор идут превосходно — посмотрите, я к вам явлюсь банкиром, хотя и не думаю, что это так скоро будет, как я предполагал: впрочем, мне без нужды торопиться не для чего, до тех пор пока вы сохраните прежнюю дружбу и готовность меня обязывать; я часто с искренней благодарностью говорю с женой о всех трудах ваших в нашу пользу. Я могу повторить в десятый раз, что вы можете быть уверены в моей полной, искренней признательности. Мы с вами странным образом во многом сочувствуем, хотя может и не из одних начал — вы, мне кажется, имеете доверие ко мне, как к человеку, который всю жизнь постоянно шел одним путем — сохраните его. Это будет еще дар от вас, и мне легче будет принимать ваши одолжения, знаю это. —

Я вас попрошу, что касается до доверенности, начать действовать поскорее, мне помнится, что в Костроме служил в удельном ведомстве Голубев, женатый на дочери Александра Лаврентьевича (кстати, напишите мне, что его дела и его семьи), еще есть капитан Клыков, знакомый Кетчеру, не могут ли они ускорить ход дела в гражданской палате.

Доверенность от маменьки я пришлю. Так, Егор Ив[анович] и тучковский дом перестраивает. Да уж не у себя ли он и зимний сад собирается сделать? Я собираюсь ему послать план и фасад, с первым пароходом через Гавр.

Здесь сильная холера. — Прощайте, будьте здоровы. Все наши вам кланяются. Марья Каспаровна, вероятно, на распев, потому что она сделалась такой кантатрисой, что учитель не нарадуется.

21 апреля[2]. Письмо залежалось целый день. Прибавлю одно, что консул сказал, что они копию и доверенность пошлют прямо в минист[ерство] иностр[анных] дел, а потому если Опекунс[кому] совету нужно, то он должен сам обратиться в канц[елярию] министр[а].

Прощайте.

[1] Галахов Иван Павлович (1809—1849) — член кружка Герцена и Огарева, очень любимый ими обоими.

В 1847 г. виделся с Герценом в Париже и в Италии. Свою беседу с ним Герцен положил в основу очерка-диалога «Перед грозой (Разговор на палубе)», вошедшего в книгу «С того берега», где он датирован 31 декабря 1847 г.

[2] Повидимому — описка вместо: «22 апреля».

28

Милостивый Государь

Григорий Иванович!

Действительный статский советник и кавалер Дмитрий Павлович Голохвастов состоит должен из нас Герцену по двум заемным письмам, писанным 1840 года мая 10 дня, по каждому 15.000 сер[ебром], а по обеим серебром тридцать тысяч рублей, по коим расчет в процентах учинен по 10 января сего года. Ныне я Герцен право получения по тем заемным письмам капитала и с 10 января сего года процентов передал из нас г-же Гаак. Я же Гаак желаю, чтоб те заемные письма

были от г. Голохвастова написаны на мое имя прошу вас на означенных заемных письмах, которые уже доставлены к вам, сделав надпись, что по оным платеж получен сполна мною, Гаак, и возвратив оные г. Голохвастову с наддранием взять от него, г. Голохвастова, вновь в ту же сумму тридцать тысяч рублей сер[ебром] — три заемных письма по десяти тысяч рублей сер[ебром] — каждое, сроком на один год с засвидетельствованием у маклера, которые и оставить вам у себя вперед до моего востребования, и в известные вам сроки получая проценты употреблять по моему назначению. Во всем оном мы вам вполне верим и что вы по сему законно учините, впредь спорить и прекословить не будем. Остаемся с истинным почтением и преданностью

Милостивый государь

вашими

Покорными слугами

Рукой Л. Гааг: Луиза Гаак

Рукой А. И. Герцена: Александр Иванович Герцен, надворный советник

Париж апреля 9/21. 1849

Другой рукой:

Что сие верящее письмо собственноручно подписали г-жа Луиза Гаак и надворный советник Александр Иванов сын Герцен в том свидетельствует Российско-императорское генеральное консульство в Париже апреля 9/21 дня 1849 года.

Генеральный консул Шпис

№ 4877

Приложена печать
Российско-императорского
генерального консульства
во Франции

Между подписью генерального консула и печатью приписка рукой Герцена:

Сие верящее письмо принадлежит надворному советнику и кавалеру Григорию Ивановичу Ключареву.

29

12 июля 1849. Женева

Вероятно, почтеннейший Григорий Иванович, вам Егор Ив[анович] сообщил, что мы оставили Париж, зараженный страшной холерой, и хотим провести несколько времени в Швейцарии. В Цюрихе есть доктор, особенно занимающийся глухонемыми, мы хотим сделать опыт и полечить Колю, ему шестой год, это, говорят, время самое удобное. Перед отъездом денег у нас было немного, а так как надобно было снабдить маменьку и взять про запас, то Ротшильд мне дал 15.000 фр[анков] (с такой предупредительностью и без всяких условий), что самое и заставляет меня желать как можно скорее с ним расплатиться. Я ожидал от вас присылки, да, вероятно, вы уже и отправили мне или маменьке что-нибудь. Как получу, я извещу вас. Но притом все же попрошу переслать на имя братьев Ротшильд через Колли деньги по двум небольшим билетам в 2 и 6/т[ысяч] — пусть они пошлют прямо к Ротшильду в открытый счет мой с ним. — Это удобнее даже, нежели послать сюда, я с ними в сношениях, а здешних банкиров не знаю. Впрочем, если вы прежде что-нибудь послали, то это всё равно. — Все денежные обороты до сих пор принесли мне самые хорошие результаты, доход, полученный мною, я снова употребил в оборот.

Я здесь на родине всевозможных часов, при первом случае вы мне позволите прислать вам образчик или если скоро соберемся, привезть с собою.

Прощайте, почтеннейший Григорий Иванович, пишите пожалуйста, адрес мой:

A Genève (en Suisse), hôtel des Bergers.

Ежели бы я и уехал куда-нибудь в горы, то все же возвращусь в Женеву. — Егору Ив[ановичу] пришлю отсюда коллекцию швейцарских видов.

Что продажа имения Дмитрий Павл[овича], я почти уверен, что он не продаст — а будет дорожиться. —



ПЬЯЦЦО ДЕЛЬ ПОПОЛИ В РИМЕ

Акварель Раделя

Эрмитаж, Ленинград

Потрудитесь доставить приложенное письмо Мар[ье] Фед[оровне], я обременяю вас этой просьбой, потому что не имею понятия о их адресе. —

Жена моя много кланяется вам. —

30

17 июля 1849. Женева

Спешу уведомить вас, почтеннейший Григорий Иванович, что я вчера получил ваше письмо от 18/30 июня, вексель получен маменькой в Париже, — и стало все дело будет в исправности, я очень рад, что мог так скоро заплатить Ротшильду деньги, данные им вперед. Впрочем, если вы переведете еще денег на Рот[шильда], это будет скорее хорошо, нежели нет, у меня же с ним открытый счет (Conpe [неразб.]) и разные дела. Деньги, переведенные по последнему векселю, должны итти 1) на уплату мам[еньке] за долги 3/т[ысячи], 2) на уплату Ротш[ильду], данных им вперед 8/т[ысяч] фр[анков], да 3) к оборотам у него, чтоб не брать из капитала 7/т[ысяч] фр[анков], затем, мне останется тысячи три франков. Маменьке я уплатил теперь сполна 10/т[ысяч], взятых на дорогу. Вообще, я делами больше доволен, нежели нет. Очень благодарен вам за окончание переписки векселей — их можно прислать тогда на мое имя, застраховавши письмо. Нат[аша] сама пишет в Шацк, я никак не намерен Гри[горию] Емельян[овичу] [1]

еще платить, тут нет здравого смысла — я не верю, чтобы он истратил свои деньги, но если бы — кто же поручал, дозволял ему или прочим? Моя жена писала ему, что мы даем 3.000 — их он или молодые и получили. До нас доходят часто слухи — о том что Медведевы [2] очень теснят Елену — гадко с их стороны, жаль, что Егор Иванович допускает, вот почему я всегда был против всех полувоспитаний, полуисправлений быта и пр. Егор Ив[анович] ее выписал, он вступил в ее положение — для того, чтобы сделать горничную Медведевых или отдать им в кабалу. Право, не знаю, как помочь этому, разве вы посоветуетесь с Егор Ив[ановичем] и придумаете что-нибудь.

Здесь жить чрезвычайно привольно, климат и природа изящны, нравы простые, чистые — Париж под конец мне был скучен.

Прощайте, желаю, чтоб письмо мое вас застало в лучшем здоровье.

Жена моя свидетельствует вам дружеский поклон.

[1] Григорий Емельянович — неизвестное нам лицо.

[2] Медведевы — по всей вероятности, имеется в виду Прасковья Петровна Медведева (умерла в 1860 г.), жена, потом вдова чиновника. Герцен познакомился с нею в Вятке в 1835 г. и вступил с нею в связь. В январе 1836 г. она овдовела, оставшись с тремя детьми. Уехав из Вятки, Герцен нашел для Медведевой работу сначала во Владимире, затем в Москве, куда она переехала осенью 1839 г. Кто такая Елена, которую Егор Иванович Герцен устроил в семье Медведевых, нам неизвестно.

31

16 августа 1849. Женева

Почтеннейший Григорий Иванович! С неделю тому назад писал я к Егору Ив[ановичу] об одной денежной и притом очень легкой операции, если он послал деньги, то не проще ли всего дать ему доверенность получить от вас костромские деньги? Между тем, так как мне было необходимо доставить деньги Ротшильду, я просил Луизу Ивановну внести за меня билет (именной, на имя покойника Ивана Алексеевича) — билет этот был раз посылаем в Опекунс[кий] совет, но он отказал в уплате, говоря, что в завещании были условия — условия вам известны: два года не брать капитал от 9 мая 1846 — примите на себя труд предупредить, что если Ротшильд пришлет билет, то чтоб не делали второй раз затруднений. Если бы можно было ускорить костромское дело, очень бы было хорошо. Я, впрочем, Луизе Ивановне дал заемное письмо в сумме, внесенной за меня Ротшильду. Нельзя без дальних хлопот передать право на получ[ение] денег из совета поверенному Лу[изы] Ив[ановны] в Москве? Напишите, пожалуйста, поскорее. Кстати, из прежних денег, я вручил маменьке 3.075 р[уб.] и отдам оставшиеся на мне по прежнему займу 700 р[уб.]. Таким образом, уплатил все 10.000 р[уб.], полученные при отъезде. Вообще, что касается до финансовых дел, они идут так себе, кругом меня теряют люди беспрерывно, потому что непременно хотят, чтоб каждый рубль им приносил бог знает какие проценты. — Пример опасности представляет Серг[ей] Льв[ович], он был у мамен[ьки] перед ее отъездом из Парижа, едет домой, заводит какую-то фабрику новоизобретенных свеч, на которую уже имеет привилегию.

Прощайте, пожалуйста пишите, да нельзя ли как-нибудь ускорить костр[омское] дельце, — вероятно, заем[ные] письма Дм[итрия] Пав[ловича] давно переписаны и скреплены. —

Я писал в прошлом письме насчет наличных денег (или тех, которые в маленьких билетах) — и теперь думаю, что если курс мало-маль-



ГЕРЦЕН

Рисунок карандашом Н. Ге, по литографии Л. Ноэля, 1850-е гг.

Третьяковская галерея, Москва

ски поднимется, то всего лучше их переслать к Ротшильду, с которым у меня открытый счет. Лишь бы только я знал, сколько и когда послано.

Адрес мой до перемены: à Genève (Suisse) Hôtel des Bergers.

P. S. Я слышал, что Дм[итрий] Пав[лович] идет в отставку[1].

Прилагаю две записочки от Наташи, которые она просит, усердно вам кланяясь, переслать одну в Шацк, а другую Мар[ье] Фед[оровне].

[1] Голохвастов вышел в отставку по болезни в сентябре 1849 г.

32

15 сентября 1849. Женева

Если я уже не уведомлял вас, почтеннейший Григорий Иванович, в прошлом письме о получении векселей от Колли — то уведомляю теперь, Ротшильд мне переслал их сюда. — Мы продолжаем здесь жить довольно хорошо, делаем разные путешествия по Швейцарии, погода стояла удивительная, и для здоровья моей жены горный воздух много сделал пользы. Я всходил в Нижнем Валлисе на одну из самых высоких гор и встретился там с нашей русской зимой. — Маменька и Марья Каспар[овна] уехали в Цюрих, там есть знаменитый доктор по части глухоты, мы, вероятно, на днях тоже побываем там, но так как мы ездим, а маменька постоянно остается в Цюрихе, то я советую адресовать письма на ее имя: à Zürich (Suisse) Poste-rest.

Если Петруша настолько здоров, то я попрошу его сыскать в моей библиотеке сочинения Пушкина все томы, соч[инения] Лермонтова, 1 и 2 части и Кольцова, Мертвые души Гоголя и все его сочинения, сделать из этого тюк, свозить в таможную и отправить в Цюрих к маменьке. Или нельзя ли отправить через книгопродавца?

Я очень бы желал, чтобы эта комиссия обошлась без больших хлопот. Петрушу (или кто за это возьмется) попрошу только потом оставить книги также в заколоченных ящиках. — Кроме детских, которые все без исключения пусть Петруша пошлет — Марье Федор[овне]. Если ему или вам что нужно из книг, прошу взять. Я полагаю, ящики мои не теснят Егора Ивановича.

Мы ожидаем от вас скорого уведомления насчет костромского дела. Я имею разные хозяйственные проекты в голове, о которых напишу к вам подробно по получении от вас письма.

Кстати, попросите Егора Ивановича как-нибудь похлопотать насчет моего портрета; он засел года полтора тому назад у таможенного начальника Языкова[1] потому что я надписал «в контору г. Языкова», т. е. в контору агентства в Петерб[урге]. — Нельзя ли это кому-нибудь поручить?

Засим прощайте, почтеннейший Григорий Иванович, моя жена писала к Прасковье Андреевне, которой усердно кланяюсь, чтоб она продала ее шубу и деньги вручила бы Петруше, я полагаю, что это ему будет достаточно на очень долгое время, а потому я не думаю, чтоб нужна была еще помощь.

Я давно что-то не слыхал о Вере Артамоновне.

Душевно желаю, чтоб письмо мое вас нашло в добром здоровьи.

Нат[алья] Ал[ександровна] и дети кланяются.

Примите на себя труд переслать прилагаемое письмецо.

P. S. Если нет в моих книгах последней части Лерм[онтова], то я попрошу купить.

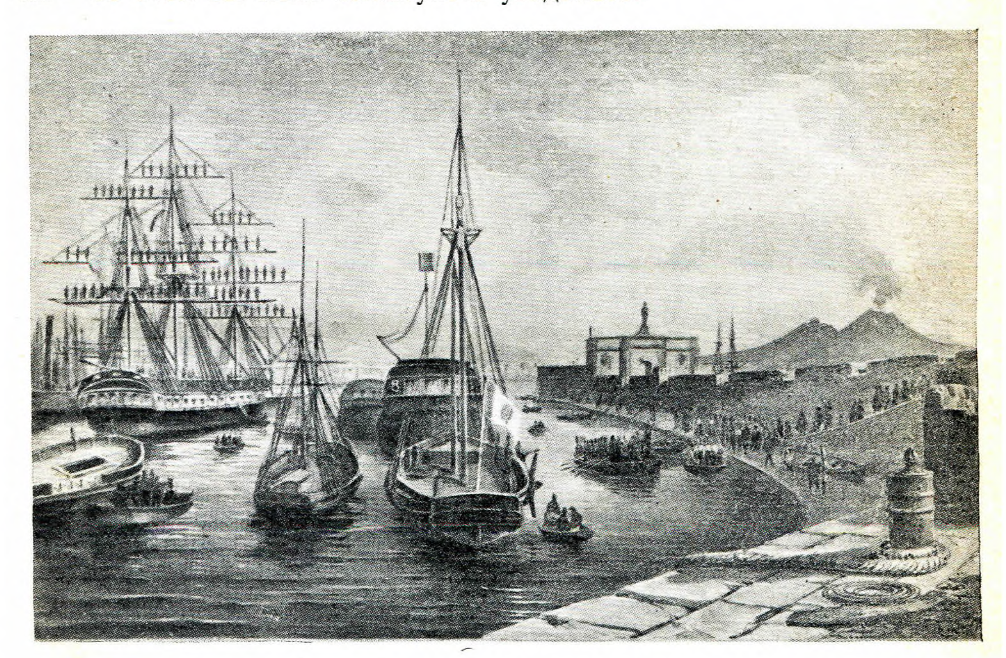
[1] Языков Михаил Александрович — близкий со многими членами кружка западников 40-х годов; в 1847 г. вместе с Н. Н. Тютчевым открыл в Петербурге комиссионную контору, о которой здесь и упоминается.

33

12 ноября 1849 г.

Спешу по просьбе банкира, пересылавшего мне деньги, отправить к вам, почтеннейший Григорий Иванович, два заемных письма г. Огарева — я прилагаю расписку, ибо третьего заемного письма у меня нет, оно в моих бумагах в Москве. Успокойте их и извините меня небрежностью. Пожалуйста устройте все это к лучшему.

Все, посланное вами через Ротшильда, я получил и за все усердно благодарю. Я думаю и еще вас обеспокоить насчет моего долга, который вы знаете, Луизе Ивановне, она желает непременно уплаты, но уплатить такой суммы не легко, не продав что-нибудь из недвижимого имения. Мне кажется, что заемные письма мои уже не представлены ли — об этом вы меня пожалуйста уведомьте.



ПОРТ В НЕАПОЛЕ
Акварель Ульриха
Эрмитаж, Ленинград

Марья Каспар[овна] спрашивает о своих 2.000 сер[ebром], пусть бы кто-нибудь написал ей об этом, узнавши от Ник[олая] Пл[атоновича], напр[имер], Тимоф[ей] Ник[олаевич] [1] — который, вообще, я думаю с большой готовностью сделает все нужное по этим делам. Вы меня очень обяжете, написавши ответ. Проценты маменьке и костромские 2.000 сер[ебром] пришлите на имя парижского Ротшильда, я с ним в постоянных сношениях по акциям и разным делам. Письма адресуйте к нему или в Цюрих. Только пожалуйста не медлите с ответом.

Егору Иванов[ичу] поклон и даже много. Мне очень досадно, что он тогда не исполнил моей просьбы, дело было бы проще. —

Жена моя и дети кланяются вам, я истинно не знаю, как еще вас благодарить за все одолжения ваши.

Прощайте. Будьте здоровы.

А. Герцен

[1] Тимофей Николаевич — Грановский.

34

21 ноября 1849

Вчера получил я письмо от Егора Ивановича, в котором он, между прочим, извещает о кончине вашей матушки. Я знаю, почтенный Григорий Иванович, всю пошлость утешений, я знаю, что лета вашей матушки, ее долгая болезнь вас приготовили к несчастию, — но я непременно хотел написать вам несколько строк. Я по себе знаю, как приятно в минуты невзгоды, в горькие минуты жизни слышать тотчас голос друзей и близких нам. В эти минуты им именно и надобно отзываться так, как солдаты отзываются на перекличке — дозвольте вы и мне сказать мое «здесь» и дайте вашу руку.

Так как я очень недавно писал к вам об делах, то, собственно, делового ничего сообщить не могу. Я послал вам векселя и расписку, мне очень хотелось бы от вас узнать несколько подробнее дело насчет Ник[олая] Пл[атоновича] и денег, и так ли я сделал. Для меня это дело становится особенно важно. Также желал бы я знать подробнее насчет Чухломы [1]. На досуге потрудитесь написать хоть к маменьке, так как я все разъезжаю и собираюсь не на шутку зимовать в Лондоне — впрочем, еще не так скоро, моя жена опять больна.

35

6 февраля 1850. Париж

На днях я был поражен новостью, которую никак не ожидал. «Север[ная] Пчела» говорит о кончине Дмитрия Павловича [1]. Все уходит и уходит преждевременно, сколько здоровья и сил было в нем в начале 1847. Что Надежда Владимировна и, наконец, вообще сообщите мне несколько подробностей о его кончине и о его детях. — Я сам начинаю сильно хворать и теперь приехал месяца на два сюда, чтоб полечиться у Андраля [2], ничтожная сначала болезнь в почках приняла вдруг такие размеры и к тому же с нервными болями, что я испугался, теперь, кажется, получше, но все эти болезни убийственны продолжительностью. Мам[еньку] я оставил здоровой, она беспокоится об своих делах, между прочим, и о векселе Дмитрия Павловича. Напишите ей строчку, сделайте одолжение, да, кстати, будьте так добры и справьтесь у Данила Даниловича, посланы ли деньги от них по требованию Ротшильда и Гассера [3] и если нет, то за чем дело. Письмо послано еще в конце декабря, — и деньги Ротшильдом отданы вперед. Если же нет, то что нужно сделать. Вообще, она, да и мы все, теперь не при больших деньгах, ждем кое-какие присылки из Чухломы, от Павлова [4], от Дм[итрия] Пав[ловича] и очень были бы рады их видеть поскорее — а то придется должать, Ценкер или Колли могут прямо перевести на Ротшильда (на его имя можно и писать), у меня с ним разные счеты по торговым делам.

Одну приятную новость я могу вам сообщить, Коля начинает говорить и очень явственно, хотя слуху нет и следа, он меня обрадовал до слез при свиданьи.

За сим прощайте. Будьте добры ко мне, как всегда, наконец, нас, старых знакомых, становится так мало, так мало, что надобно беречь те дружеские связи, которые проводили через всю жизнь. Если подумать о всех потерях с кончины Льва Алексеевича [5] — то становится жутко.

Жена моя дружески кланяется вам. Пожалуйста Григорий Иванович, не медлите очень с ответом. Кстати, что Ог[аревское] дело.

Мам[енька] с своей стороны, я думаю, сделала бы много уступок Над[ежде] Вл[адимировне], если бы можно было воротить капитал — поговорите с нею.

Еще раз прощайте. Что Егор Иванович? Он тоже собирался прислать 200 руб. за картину Айвазовского, [если она] продана.

Пишите к маменьке или к Ротш[ильду], он перешлет, если я и уеду.



НЕАПОЛИТАНСКИЙ ЗАЛИВ

Акварель из альбома Ховриных

Литературный музей, Москва

[1] Д. П. Голохвастов умер 28 декабря 1849 г.

[2] Андраль, Габриэль (1797—1876) — известный врач в Париже, профессор общей патологии и терапии.

[3] Карл Гассер — банкир в Петербурге, был представителем фирмы Ротшильда. В качестве такового он требовал выдачи ему из Опекунского совета 106 тыс. руб. серебром, принадлежавших матери Герцена. Царское правительство очень хотело конфисковать этот капитал, но в виду заявления министра юстиции, что законных оснований к задержанию денег не имеется, а главное в виду того, что приходилось иметь дело с такой могущественной силой, как Ротшильд, — пришлось выдать деньги Гассеру. Свою борьбу за этот капитал Герцен рассказал в XXXIX главе «Былого и дум».

[4] Павлов Николай Филиппович (1805—1864) — известный журналист и беллетрист, близкий знакомый Белинского, Грановского, Герцена, Огарева, Сатина и др. В 1849 г. он вместе с Сатиным принял участие в фиктивной покупке у Огарева его имения «Старое Акшино». В связи с этим он принял на себя обязательство выплачивать ежегодно определенную сумму Герцену, снабдившему Огарева своими деньгами. Павлов, страстный картежный игрок, очень плохо выполнял свое обязательство.

[5] Яковлев Лев Алексеевич — брат отца Герцена, умер 19 января 1839 г.

IV. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА М. И. ЖИХАРЕВУ

Публикация О. Шереметевой

1

5 мая [1860 г.]

Очень жаль, что вы не застали меня вчера. Завтра в воскресение, я с 5 часов дома и буду рад вас видеть и с вами обедать и потолковать. С нашими переездами и отъездами — мы все в хлопотах. Пишу вам от Тхоржевского.

А. Герцен

2

7 мая [1860 г.]
Parkhouse. Fulham

Никак не думаю, чтобы удалось урваться к вам. Итак, прощайте, — благодарю вас за доброе посещение, желаю, однако, чтобы вы на будущее наше посветлее взглянули, а настоящее я вам отдаю с руками, Паниными и ногами.

Прощайте. А. Герцен

3

8 марта 1863 г.
Orsett house, Westbourne terrace

Благодарю вас от всей души за присылку рисунка. Кн[язь] и отец Гагарин книгу мне прислал. В «Русском Вестнике» была (кажется в декабрьской книжке) статья о П. Я. Чаадаеве — Лонгинова, так себе, статья почтительная, но хорошо, что позволяют говорить. Какие события! Раскачивается трон и тает ледяной дом на Неве. Получаете ли вы в Риме «Колокол» и не прислать ли вам. Усердно кланяюсь

Ваш А. Герцен

Огарев благодарит за память.

Эти письма связаны с изданием литературного наследства П. Я. Чаадаева. Последний, как известно, не выступал в печати с 1836 г. Но мысль о напечатании своих сочинений не покидала его и после катастрофы «Телескопа». Есть сведения, что в 1849—1850 г. Чаадаев пытался поместить в «Москвитянине» свою «Проповедь сельского священика», причем давал ее не под своим именем, а от имени брата, Михаила Яковлевича Чаадаева, так как сам не решался нарушить тяготевшее над ним запрещение. Однако и эта попытка не имела успеха и он невольно обращался мыслью к изданию своих сочинений за границей. Еще в 1839 г., в последний приезд в Москву кн. И. С. Гагарина, Чаадаев передал ему часть своих сочинений, в числе которых были философические письма и копия письма к Шеллингу. Возможно, что впоследствии он переслал ему еще что-либо из изданного потом в Париже, через своих друзей А. И. Тургенева, С. С. Хлюстина или семьи Сиркур. Поручения такого рода бывали и раньше; так в письме Жюльвекура от 1834—1835 г., хранящемся в архиве Чаадаева в Рукописном отделе Публичной библиотеки им. Ленина, говорится о посылке такого рода. Хлюстин же сам собирался печатать сочинения Чаадаева еще в 1834 г.[1] Однако вопрос о печатании сочинений Чаадаева за границей при жизни Чаадаева остался открытым. Печатать — значило нарушить обязательства и стать в оппозицию с правительственными кругами. Этого боялся Чаадаев, откровенно заявивший Жихареву, возмущенному письмом Чаадаева к А. Ф. Орлову — «Mon cher on tient à sa peau». Поэтому-то выполнение этой заветной мысли Чаадаева, несомненно внушенной самим Чаадаевым, пало после смерти последнего на долю его племянника и наследника его рукописей М. И. Жихарева.

Михаил Иванович Жихарев, издатель и один из первых биографов Чаадаева, родился в 1820 г. Он был сыном тамбовского помещика Ивана Матвеевича Жихарева и Софьи Матвеевны Спиридовой, сестры декабриста Михаила Матвееви-

ча Спиридова, и внуком Ирины Михайловны Щербатовой, старшей сестры матери Чаадаева.

Детство Жихарев провел в деревне, затем поступил в Московский университетский пансион. В 1838 г. он был на первом курсе юридического факультета Московского университета. В 1843 г. он на четвертом курсе, но университета он, повидимому, не окончил. По крайней мере, в его архиве нет никаких данных, подтверждающих окончание его; напротив, в письме этого времени его товарища А. С. Коренева имеется указание на то, что высшее образование его не было закончено. Как бы то ни было, но в 1845 г. М. И. Жихарев в чине губернского секретаря состоит «при делах московского гражданского губернатора». С начала 1840-х гг. Жихарев постоянный посетитель понедельников, а потом и сред Чаадаева и один из самых близких к нему людей. Перед смертью Чаадаев завещал ему свою библиотеку и свои рукописи. После кончины Чаадаева в апреле 1856 г., Жихарев начинает энергично хлопотать об издании сочинений дяди. В 1859 г. он предлагал редактору журнала «Современник» И. И. Панаеву сочинения Чаадаева, но переговоры эти, как мы видим



П. Я. ЧААДАЕВ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ

Акварель Ш. Бодри

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

из письма Панаева от 2 апреля 1859 г., не привели ни к чему. Потерпев неудачу в России, Жихарев отправился в 1860 г. за границу. Поездка эта имела две определенные цели: увидеться в Париже с И. С. Гагариным, передать ему материалы и договориться об издании их, и в Лондоне — с Герценом, которого Жихарев знал еще по Москве.

Отношения Чаадаева и Герцена известны. В 40-х годах, во время пребывания Герцена в Москве, он был очень близок с Чаадаевым. Доказательства этой близости мы находим и в «Былом и думах», и в постоянно полных симпатии отзывах Герцена в других его сочинениях, и в свидетельствах его современников в письмах того времени. Но если Герцен относился к Чаадаеву всегда с чувством горячей привязанности, «...Я его [Чаадаева] всегда любил и уважал и был любим им...» говорит Герцен в «Былом и думах», — то отношение Чаадаева к Герцену очень двойственное. С одной стороны в письме от 26 июля 1851 г. Чаадаев заверяет Герцена в своей любви, которая сохранится в нем даже в загробном мире, с другой стороны, в письме того же лета 1851 г. к А. Ф. Орлову, он называет Герцена «наглым беглецом, гнусным образом искажающим истину и кидающим на наше имя свой собственный позор». (Сочинения и письма Чаадаева, изд. под ред. Гершензона, 1913 г., т. I, стр. 299).

Письмо это производит на читателя чрезвычайно тяжелое впечатление и хорошо охарактеризовано словами Жихарева, что оно — est une bassesse gratuite. Но Герцен ничего не знал об этом письме, так как Жихарев ничего не сказал ему о нем[2].

Путешествия Жихарева легко проследить по хранящимся в его архиве заграничным паспортам этих лет.

В конце марта 1860 г. Жихарев был в Париже, где встретился с Гагариным, а 4 мая он в Лондоне посещает Герцена, но не застает его дома. В связи с этим Герцен пишет ему первое письмо (от 5 мая). 6 мая состоялось свидание Жихарева с Герценом, о чем есть несколько заметок в написанной Жихаревым биографии Чаадаева. 7 мая Жихарев уезжает обратно в Париж, а оттуда — в Россию.

Прощаясь с Жихаревым, Герцен пишет ему второе письмо. По этому письму мы можем судить, о чем еще говорили накануне Герцен и Жихарев. Из биографии Жихарева мы знаем, что разговор, главным образом, касался Чаадаева; из письма же видим, что помимо этого говорили и о предполагаемой крестьянской реформе, и о разочаровании, вызванном в русском обществе, а особенно в самом Герцене, назначением на место недавно умершего Я. И. Ростовцева гр. В. Н. Панина, пользовавшегося определенной репутацией реакционера.

В 1862 г. Жихарев опять поехал за границу. На этот раз он побывал во Франции и Италии. Как раз в начале 1862 г. Гагарин выпустил в Париже «Oeuvres Pierre Tchaadaïef». Вероятно, поездка Жихарева и была вызвана появлением на свет этой книги. Тотчас же после ее выхода Гагарин, по поручению Жихарева, послал экземпляр Герцену. О получении этой книги Герцен сообщает Огареву 14 апреля 1862 г. из Ventnor: «Князь и иезуит Гагарин прислал письмо с большими симпатиями и пишет, что отправил ко мне Чаадаева избранные сочинения. Это Жихаревские бумаги вероятно. Получил ли ты?» (Герцен, т. XV, стр. 210).

Приехав за границу, уже в 1863 г. Жихарев послал Герцену, повидимому, копию с картины Бодри «Кабинет Чаадаева» и одновременно осведомился, получил ли он «Oeuvres choisies» от Гагарина. Ответом на это послание и служит последнее письмо. Герцен упоминает в нем о первой биографии Чаадаева, написанной М. Н. Лонгиновым («Русский Вестник», т. 42, 1862 г.)[3].

В то время, как Герцен писал последние письма, вся Европа, а особенно Герцен, лихорадочно следил за все разраставшимся еще, бывшим в апогее, польским восстанием. Герцену казалось, что самодержавие начало сдавать и повеяло новой русской весной. Эти надежды и проскальзывают в последних фразах письма. Мы не знаем, что ответил на это Жихарев. Повидимому, он просил прислать «Колокол». По крайней мере, 6 апреля 1863 г. Герцен пишет дочери: «Вот что ты можешь сделать: отошли «Кол[окол»] 64, Via della Vita; у Signora Diotalevi живет племянник Чаадаева, Жихарев, он просил меня прислать, но Тхорж[евский] говорит, что не доходят» (Герцен, т. XVI, стр. 203).

Любопытна судьба этих писем в рукописном отделе Ленинской библиотеки до разбора архива Жихарева в 1937 г. Письма хранились в архиве Жихарева среди писем неустановленных лиц. Повидимому, так хотел сам Жихарев, так как при передаче в 1869 г. первой части своего архива в Публичный румянцевский музей, он в описи, составленной довольно наскоро, упоминает почти всех адресатов, но не называет Герцена. Письма Герцена было, повидимому, неудобно давать на хранение в музей, так как имя Герцена было одиозно, а сохранить письма Жихареву хотелось, и он прибег к этой мере. Письма пролежали среди неустановленных без малого 70 лет. Находятся они в папке 1033а архива Жихарева.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 24 октября 1834 г. «Скажи ей [Анастасии Семеновне Сиркур, рожденной Хлюстиной], что брат ее, Хлюстин, здесь служит при Блудове и смотрит вдаль, но еще несколько педантоват, хотя умен и не без европейского просвещения. Собирается печатать мистику московского графа Мейстера...» (Остафьевский архив, т. I, стр. 162).

[2] «После его [Чаадаева] смерти, мне очень хотелось письмо показать Герцену. Случайное и может быть предопределенное обстоятельство тому помешало: как не заботился я, уезжая из России, взять его с собой, однако же забыл у себя под замком в деревне. Сказывать же про него Герцену, не имея неопровержимого доказательства, не посмел, будучи уверен, что он отнесся бы ко мне с презрительным недоверием и, судя по всему вероятию, заподозрил бы в низкой клевете. Таким образом, Герцен и умер не испытав этого разочарования, может быть не самого легкого из всех бесчисленных его постигших» («Вестник Европы», 1871 г.).

[3] Эта биография вызвала впоследствии жихаревскую биографию Чаадаева, написанную в 1865 г. и напечатанную только в 1871 г. в «Вестнике Европы».

V. ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА РАЗНЫМ ЛИЦАМ

Публикация В. Головчинер, П. Дьяконова, Б. Козьмина*

1. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА Б. И. ОРДЫНСКОМУ

Душевно рад быть посредником между вами и «Современником». Присылайте статьи об Аристофане, переводы и разборы. — Я все отправлю и по мере напечатания вы будете получать от меня от 150 до 175 р[ублей] ассигн[ациями] с печатного листа (несравненно меньшего против «Отечественных Записок»).

Главная мысль ваша чрезвычайно важна, именно: трагическое столкновение гениально развитой натуры, которая вместо деяния, вместо свободного развития, борется внутри с предрассудками; тут источник и отчаяния и злейшей иронии.

Вероятно, Краевский оттого не поместил вашей статьи, что он из нее впервые узнал об Аристофане, об Афинах и т. д.

Я на днях приехал из Петербурга, где видел новую редакцию «Современника». Она дает большие надежды.

Душевно уважающий вас А. Герцен

11 ноября 1846 г.
Москва. Сивцев вражек.

Настоящее письмо было впервые опубликовано более 35 лет тому назад, но в собрании сочинений Герцена под ред. М. Лемке оно оказалось пропущенным и, таким образом, до сих пор оставалось неучтенным никем из занимавшихся изучением биографии и литературного наследия Герцена.

Письмо это адресовано Борису Ивановичу Ордынскому (1823—1861). Адресат письма в 1840—1844 гг. был студентом словесного отделения философского факультета Московского университета и специализировался по греческому языку и литературе. В 1844—1847 гг. он состоял преподавателем греческого языка в гимназии в Ярославле, а с 1847 г. — в 3-й гимназии в Москве. В 1854 г. защитил магистерскую диссертацию о «Поэтике» Аристотеля и был назначен адъюнктом римской словесности Казанского университета. В 1861 г. он был избран профессором Харьковского университета, но извещение об этом избрании было получено им за несколько дней до смерти.

Кроме специальных филологических изданий, Ордынский сотрудничал в ряде общелитературных журналов: «Отечественные Записки», «Современник», «Москвитянин» и др. Его перу принадлежит ряд статей по истории греческой литературы, рецензий на книги по тому же предмету, а также неудачный перевод на русский язык «Илиады» Гомера.

В бытность учителем в Ярославле, Ордынский написал свою первую статью, посвященную Аристофану, и послал ее в «Отечественные Записки». Однако, Краевский вернул эту статью автору, пояснив, что ранее напечатания ее, необходимо было бы в ряде статей ознакомить читателей с домашнею жизнью древних греков, а также с древнегреческим театром. Тогда, зная, что Герцен собирает статьи для «Современника», издание которого с начала 1847 г. переходило в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, Ордынский обратился по поводу своей статьи к Герцену, — возможно, при посредничестве Т. Н. Грановского, который в то время протежировал Ордынскому.

Ответом Герцена на это обращение и было настоящее письмо.

Была ли послана Ордынским его статья в «Современник», неизвестно. Однако, в этом журнале она не появлялась и была напечатана лишь в 1849 г. в тех же «Отечественных Записках» (т. LXII), которые отвергли ее в 1846 г. Это объяснялось тем, что с 1847 г. Ордынский становится постоянным сотрудником журнала Краевского.

Письмо Герцена было впервые опубликовано проф. Е. А. Бобровым, в написанной им биографии Ордынского («Варшавские Университетские Известия», 1903 г., № 8, стр. 14—15). Автограф хранился в бумагах Б. И. Ордынского в Казани. Местонахождение оригинала этого письма в настоящее время неизвестно.

---

* Комментарии к письму № 2 принадлежат В. Головчинер, к письму № 5 — П. Дьяконову, к письмам №№ 1, 3, 4, 6 и 7 — Б. Козьмину.

2. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА М.-Р. ЛЕВЕРСОНУ

3 Mars [1858]. Putney.
Laurelhouse

Mon cher Monsieur Leverson,

Un Monsieur que je connais beaucoup s'offre à faire l'essai de m'injecter la langue anglaise — en conséquence je vous prierai de ne plus vous occuper de la recherche.

Pensez-vous qu'on poursuivra le pauvre Thorjevski (le libraire de 39 Rupent Str.) — dans ce cas je voudrais savoir ce qu'il doit faire. Mais quelle rage de persécution s'est donc emparée de vos gouverneurs?

Derby proposera donc la «murder» — illégalité et avez-vous vu le honteux fait d'un Belge amené ici pour témoigner contre Bernard — qui n'a pas le droit de lire le Times. Mais Palmerston a très bien préparé l'inauguration de l'Empire.

Il y a un article dans le Times qui demande de confondre dans une seule proscription les réfugiés et les filles publiques.

Est-ce que la Daily-News — ou une autre feuille — voudrait répondre.

Adieu. Tout à vous

A. Herzen

Перевод:

3 марта [1858] Путней.
Лорельхаус

Любезный г. Леверсон,

Один господин, с которым я хорошо знаком, предлагает свои услуги, чтобы попробовать привить мне английский язык — поэтому я попрошу вас не заниматься более поисками.

Думаете ли вы, что бедного Тхоржевского — книготорговца с улицы Рупент 39 — будут преследовать? В таком случае я хотел бы знать, как ему поступить. Но что за страсть преследований овладела вашими правителями?

Итак Дерби предложит считать это за «Murder» * и обратили ли вы внимание на позорный факт доставления сюда одного бельгийца для показаний против Бернара, которому не разрешено читать «Times». Однако Пальмерстон прекрасно подготовил торжественное открытие Империи.

В «Times» есть статья, требующая объединить в одном проскрипционном списке эмигрантов и публичных женщин.

Не захочет ли «Daily News» или какая-нибудь другая газета отозваться?

Прощайте. Весь Ваш А. Герцен

Настоящее письмо Герцена, оригинал которого хранится у автора публикации, печатается впервые.

Письмо адресовано английскому журналисту Леверсону, сотруднику газеты «Daily News» в пятидесятых годах прошлого века. О нем упоминает Герцен в письмах к М. Мейзенбуг из Putney от 7 января 1858 г.: «Статья лондонского «Daily News» написана Леверсоном» (Герцен, т. IX, стр. 113). Не имея возможности ознакомиться с этой статьей за отсутствием полного комплекта газеты в доступных нам хранилищах, трудно утверждать, что написана она именно о Герцене, но во всяком случае, судя по тону письма к Мейзенбуг, несомненно, что она была благоприятна для него.

По данным каталога библиотеки Конгресса Соединенных Штатов в Вашингтоне видно, что, кроме газетных статей, Монтенгью-Ричард Леверсон (род. в 1830 г.) является также автором ряда брошюр по вопросам права, политической экономии и народного образования, изданных в период с пятидесятых до девяностых годов в Лондоне и в Нью-Йорке. Одна из его работ публицистического характера («Билль реформатора о реформах») издана в 1866 г. Трюбнером, издателем сочинений Герцена в Лондоне.

Можно предположить, что в шестидесятых годах Леверсон переселился из Лондона в Америку, о чем говорит место издания его книг. Подробных сведений о

---

* Убийство.

работе Леверсона в Лондоне разыскать не удалось; как корреспондент Герцена, он нигде пока не учтен, да и фамилия его в обширной переписке Герцена, опубликованной до сегодняшнего дня, упоминается лишь в указанном случае.

Правда, в письме к той же М. Мейзенбуг от 27 марта 1858 г. есть такая фраза: «Бойля я не дам, можно получить у Трюбнера и Левессона» (Герцен, т. IX, стр. 175). Принимая во внимание, что буквы r и s в скорописи Герцена почти совпадают, можно предположить, что и здесь речь идет о том же журналисте Леверсоне; если считать это вероятным, то упоминание его имени рядом с Трюбнером и по такому поводу наводит на мысль, что Леверсон довольно часто общался с Герценом в Лондоне.

Письмо послано Герценом из Putney, предместья Лондона, где он жил в Laurelhouse со своей семьей и с приехавшими к нему в Лондон Огаревыми с 10 сентября 1856 г. до 24 ноября 1858 г. (Герцен, т. XXII, стр. 282; т. IX, стр. 395).

В начале письма речь идет о поисках преподавателя английского языка для Герцена. Живя в Лондоне с 1852 года, Герцен, хотя и с перерывами, но упорно занимался изучением английского языка (см. Герцен, т. IX, стр. 172, 526).

Центральной темой письма являются высказывания Герцена о реакционных мероприятиях, проведенных и вновь намечавшихся английским правительством в связи с покушением Орсини.

Непосредственно после ареста Орсини, который, по выражению Герцена, «на английской почве обдумывал свои гранаты» («Былое и думы», гл. LV), премьер-министр Пальмерстон под давлением Наполеона III внес в парламент билль о тайных обществах (Conspiracy Bill), направленный против эмигрантов и фактически ставивший их под угрозу расправы со стороны заинтересованных правительств. (Подробно о Bill'е см. в письме Маркса к Энгельсу от 7 мая 1870 г. в т. XXIV сочинений, стр. 331—332).

Подготовлявшийся грандиозный митинг рабочих в Hyde Park'е заставил большинство членов парламента вотировать против билля Пальмерстона — и 19 февраля 1858 г. он вынужден был подать в отставку. Надо заметить, что к этому моменту по его распоряжению был уже арестован ряд лиц, заподозренных по делу Орсини, в том числе французский эмигрант С. Бернар, о котором Герцен говорит в письме и о процессе которого Герцен подробно рассказал в «Былом и думах», в главе LV.

Преемник Пальмерстона на посту премьер-министра, Дерби не только не ослабил пальмерстоновского сервилизма по отношению к Наполеону III, но еще усилил его. Он применил на практике отвергнутый парламентом билль своего предшественника и выступил с требованием рассматривать участие эмигрантов в заговорах, как убийство («murder») и измену («felony»), т. е. как уголовное преступление.

Еще более усилились его репрессии против эмигрантов с того момента, когда в Лондоне распространилась выпущенная от имени Революционной коммуны брошюра Феликса Пиа, в которой оправдывался поступок Орсини.

Хотя брошюра эта не представляла собой ничего значительного, а тем более опасного (о ней именно в таком смысле отзываются Маркс в письме к Энгельсу от 2 марта 1858 г., — Сочинения, т. XXII, стр. 312 — и Герцен в письме к М. Мейзенбуг, — т. IX, стр. 171), однако Дерби в палате лордов торжественно заявил, что коронным адвокатам поручено начать против виновных судебный процесс. Вслед за правительством травлю эмигрантов начала и официозная пресса, причем особенной разнузданностью отличались статьи «Times» и бельгийской газеты «Le Nord» (см. № 8 «Колокола» от 1 февраля 1858 г.).

Именно эти факты, связанные с моментом усиленных репрессий со стороны правительства Дерби, и нашли отражение в письме Герцена к Леверсону — вот почему оно безошибочно должно быть отнесено к 1858 г. (в подлиннике указаны только месяц и число — 3 марта).

Герцена беспокоила не только судьба Бернара, сидевшего в то время в тюрьме, но и возможность ареста близкого и преданного ему человека — эмигранта Тхоржевского, который издал брошюру Пиа. Действительно, Тхоржевский 25 марта 1858 г. был арестован и предан суду. Процесс Тхоржевского описан Герценом в вышеуказанной главе «Былого и дум».

Заключительная фраза письма может быть понята, как обращение к содействию Леверсона в деле активизации лондонской прессы для протеста против репрессий, стеснивших свободу печати и личности.

Письмо, несмотря на лаконичность, очень интересно своей экспрессивностью, тонкостью политического чутья и меткостью прогноза. Это один из тех трепещущих живой мыслью листков Герцена, которыми он обменивался со своими единомышленниками на ходу, откликаясь на волнующие его факты сегодняшнего дня, один из тех документов, которых так мало еще собрано за период его жизни в эмиграции.

3. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА И. С. АКСАКОВУ

День № 2

Помочь, помочь! а если помощи нашей принять не захотят? Раздумье меня взяло и о предыдущих посланиях (ведь до дюжины набралось), и об отзывах о Дне — если они соверш[енно] беспомощны, то не лучше ли опять отстраниться и отклониться?..

Однако, 2-й № неожиданно во многом меня утешил, и я делаю еще попытку.

(Очень уважаю я ту pietas, которая заставила вас поместить и пр., но спеша тогда, я не успел достаточно мотивировать мой отзыв. Его бы не было, если бы это был частный случай, без связи с предыд[ущим] и — боже избавь — послед[ующим].

В 1858 году я писал вам [1], что в течение царствования Николая, тогда как другие восстали против него (чем заслужили любовь, уважение ничем не изгладимое и известность даже у запад[ных] славян), славянофилы проповедывали (по кр[айней] мере печатно, за исключением весьма немногих) смирение и покорность (помните «копырность»); мало того, подчинение всех славян могуществу и влиянию российского орла (не говоря уж о православии и русс[ком] языке, см. передов[ую] статью Погодина. «Москв[итянин]» 51, сентябрь) [2].

Вы мне отвечали тогда, что это яко бы клевета, пущенная в ход западниками.

Потому-то чрезвычайно горько было встретить все это в 1 №, первом № Дня... И горько, и даже странно после... Потому-то и не мог я пройти молчанием.

Далее желательно было бы знать, сколько именно подписчиков у Дня из упомянутых рыбинских и др. купцов (а также и из духовенства)? И сколько из западных славян примкнули к под[обному] направлению?.. И что если бы вы попробовали сказать им, что ваше христианство не поповское, что вообще оно не окаменело, а способно к развитию *...... понимании и толковании св. писания мы можем итти вперед сравнит[ельно] с прежними толкователями? Они бы отплюнулись... Верно потому-то вы этого и не говорите в ущерб истине и неформальной вере?... Нет, уж если робеть, то пусть лучше невежество робеет пред знанием, пред стремлением к истине, чем наоборот! Я ведь только на этом и настаивал.

«Поклонение богу как кумиру, силой божьего слова служение своей кор[ыстной] цели, грубое презрение к науке, любовь немоты и мрака...» [3] прекрасно!.. Это трудно понять иначе, как намеком на касту клерикалов. Он отчасти прилагается и к другой касте. Но ведь вы не ограничитесь намеками? Ведь вы честно желаете разорвать с ними?.. О, если бы!.. (то что она названа «иноземной» я не без гордости, совсем, впрочем, не личной, себе приписываю...) Но сказать всенародно слово «покайтесь», ведь, еще не пришло время? [4] Зачем же подражать клерикалам, безвременно и понапрасну приводящим тексты.

Вяземский за свою служебно-цензурную ревность и т. п. не нашел бы себе нигде приюта [5] — кроме, к сожалению, славянофильского органа. Вот это-то и есть ошибка, вроде той, что вы сечь не хотели, а дали приют розгам и т. п. [6], впрочем, сами увидите. (Ради бога только Крылова [7] опять не допустите, да еще в самую подписку...)

Статья Ю. Самарина произвела на меня такое же впечатление, как ст[атья] Хомякова [8]. Если бы и другими с[лавяно]филами это было

---

* Далее вырвано.

выдержано, то служило бы ответом тем, кот[орые] уверяют, что попадись власть в руки с[лавяно]филов, то у них была бы драконовская, или лучше — монашеская цензура.

Да, невежество просто остается во мраке и лжи, а знание, хоть кривым иногда путем, должно вывести к истине. В том-то его вечное преимущество, потому-то оно имеет право на свободу. Почаще о свободе науки!..



И. С. АКСАКОВ
Фотография, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва

Из Каширы — может будет дельнее; а для начала, жаль, общие места слабо выраженные [9]. Зато из Хар[ьковской] губ[ернии] — соверш[енно] дельно, живо и интересно. Подобно и из Макарьева.

Но что особенно меня утешило — так это ваше «от редакции» [10] (...«Апология взяток...») к Чернигову. Это будет иметь заслуженный успех, будет перепечатано. Если бы во всех вопросах веры был у с[лавяно]филов этот же тон ненавязыванья и свободы, которому нельзя достаточно сочувствовать... (Но чуть коснется запад[ных] славян — они тотчас его теряют! Отчего?)

Слав[янский] отдел хорош, по кр[айней] мере, для начала. Система, полнота и др. усовершенствования, однако, желательны и возможны. Но ваше «от редакции» к Бельзу [11] (написанное энергически и

страстно — вы кажется против страстности?) удивит, и удивит весьма неприятно, не меня одного. Назвать всех поляков трижды безумными (безмозглыми?) почти презренными (в * . . . . . . оправдания (!!), но и его недостойными) — как это — необдуманно... как по-братски, по-славянски!... И это в Дне, наследнике Паруса [12], и по несчастью чуть не в 1 №!...

Разве все поляки думают? Вот вам факт: даже г-н Падалица положительно говорит, Спб. Вед[омости] № 170, стр. 965, окончание 5-го столбца: «с удивлением спрашиваем в своем кружке друг друга, кто же посреди нас обращает — Русь в Польшу и снимает с нее ее родовое название? Отнюдь не мы!» и еще «такое притязание вымышленно, никто из нас не простирает его к русинам [13]».

Да, идея владеть полякам Смоленском, Черн[иговом], Киевом, Волынью, Галицией — до того нелепа, до того смешна **, что страстно воевать против нее значит, право, воевать с крыльями ветряной мельницы. Ее — осмеять! А такие — tranchons le mot — ругательства, в то время, как весь народ с таким единодушием и любовью к родине (вы сами должны были признать: ...разговор при Павлове [14]...) приносит жертвы, с таким мужеством борется не для нелепого завоевания поляками Руси, а для того, чтобы хоть немного освободить себя из-под лапы Спбургского правительства — удивительно всему [неразобр.] вредны...

И тут я считаю своей обязанностью помочь вам. Тут доказать ваше слав[янское] сочувствие — внутренняя правда.

P. S. От статьи Ламанского ожидал я гораздо большего [15]. Столько повторений и противоречий себе: так сбивчиво и слабо ничего доказывать невозможно. И недобросовестно так робеть перед «Основой» за то самое, за что называет «Совр[еменник]» лжецом, обманщиком! Зачем и допускать такие ругательства? За них воздадут семирицею...

(P. S. P. S. Как жаль, что Пушкин, сближаясь под конец с народностью, в то же время сближался и с правительством!) [16].

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ГАФКЭ (фонд № 199, № 10).

Еженедельник «День» издавался И. С. Аксаковым с октября 1861 г. в Москве. № 2 «Дня» вышел 21 октября. Таким образом, письмо датируется ноябрем 1861 г.

До сих пор были известны восемь писем Герцена к И. С. Аксакову. Три из них относятся к 1858 г., одно — к 1859 г. и четыре (из которых одно написано совместно с Н. П. Огаревым) — к 1860 г. (см. т. IX, стр. 122—123, т. X, стр. 42—43 и 202—203, т. XXII, стр. 114—115, 120—122, 126—127, 128 и «Мурановский Сборник», в. I, 1928 г., стр. 202).

Уже из этих писем было ясно, что в годы, к которым они относятся, взаимоотношения Герцена с И. Аксаковым, несмотря на серьезные теоретические расхождения, существовавшие между ними, были весьма дружественными, более дружественными, чем со многими бывшими товарищами Герцена по кружку западников 40-х годов. Герцен был даже склонен преувеличивать степень своей близости к славянофилам. В письме от 31 января 1860 г. он писал И. С. Аксакову: «Если теперь славяне не видят, что мы представляем разное, но родственное с ними направление, а с западниками — разное и враждебное, — не наша вина» (Герцен, т. X, стр. 202).

Публикуемое нами письмо Герцена, написанное в форме отзыва о № 2 «Дня», показывает, что его переписка с И. С. Аксаковым была более оживленной, чем можно было думать по ранее известным нам его письмам, и что она не закончилась в 1860 г., а продолжалась и в следующем. Обращаясь к Аксакову, Герцен мечтал добиться того, чтобы славянофилы отказались от наиболее неприемлемых для Герцена сторон своего миросозерцания: узкого национализма, преклонения перед официальной церковью и склонности поддерживать абсолютизм. Аксаков, как показывает публикуемое нами письмо Герцена, со своей стороны, в какой-то мере рассчитывал на помощь и поддержку своего лондонского корреспондента. Нет сомнения в том, что свой отзыв о «Дне» Герцен писал по просьбе Аксакова. Было ли публикуемое нами письмо последним письмом Герцена к Аксакову или же вслед за

* Далее вырвано.
** Это слово в оригинале подчеркнуто дважды.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К И. С. АКСАКОВУ ОТ НОЯБРЯ 1861 г.

Государственный архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

ним последовали и другие, нам до сих пор неизвестные? Ответить на этот вопрос мы не имеем возможности. Однако нельзя не вспомнить, что, когда в 1862 г. «День», одновременно с «Современником» и «Русским словом», был приостановлен правительством, Герцен на страницах «Колокола» предложил редакции этой газеты (как и редакции «Современника») перенести издание его в Лондон, обещая свою поддержку на этот случай. Аксаков, конечно, не пошел на это предложение. Он предпочел добиваться у правительства досрочного разрешения на возобновление выхода своей газеты. Враждебная полякам позиция, занятая «Днем» во время польского восстания 1863 г., воочию обнаружила перед Герценом ту пропасть, которая отделяла его, революционного демократа, от славянофилов, и убедила в наивности каких бы то ни было надежд на союз с Аксаковым и его газетой.

Однако, и в 1861 г., когда Герцен писал публикуемое нами письмо, твердой веры в возможность воздействовать на Аксакова у него не было. Это и заставляло его колебаться, прежде чем взяться за перо. Уже в передовице № 1 «Дня» И. С. Аксаков совершенно отчетливо наметил знамя, под которое станет основанная им газета. Это — «знамя русской народности, понятой и определенной Киреевскими, Хомяковым, Аксаковым Константином и всей, так называемой, славянофильскою школою». Таким образом, у Герцена не могло быть сомнений в том, что газета Аксакова будет ортодоксальным славянофильским органом. Особенное же впечатление на Герцена произвела, как видно из печатаемого нами письма, панславистская программа, развернутая Аксаковым в «Славянском отделе» № 1 «Дня». «Освободить из-под материального и духовного гнета народы славянские и даровать им дар самостоятельного духовного и, пожалуй, политического бытия под сенью могущественных крыл русского орла — вот историческое призвание, нравственное право и обязанность России», — писал Аксаков. Странная противоречивость такой постановки вопроса («самостоятельность» — с одной стороны, «под сенью» царского орла — с другой) не могла не вызвать возражений со стороны Герцена. Он понимал, что неясность аксаковской формулировки открывала широкие двери захватническим поползновениям русского правительства. Этим и объясняются те сомнения в целесообразности продолжать переписку с Аксаковым, о которых говорит Герцен.

[1] Это письмо Герцена И. С. Аксакову до сих пор не опубликовано.

[2] Герцен имеет в виду статью «Об общеславянском литературном языке», напечатанную Погодиным в № 18 «Москвитянина» за 1851 г. В этой статье Погодин отстаивал необходимость принятия славянскими народами русского языка, в качестве общелитературного, и православия, в качестве объединяющей всех славян религии.

[3] Слова, заключенные Герценом в кавычки, не являются дословной цитатой из «Дня». В передовой статье № 2 Аксаков писал: «Что видим мы хоть в нашей литературе?.. С одной стороны — ложь разрушения, с другой — ложь созидания, с одной стороны — неверие, поклоняющееся как богам людским временным кумирам, с другой — мнимая вера, поклоняющаяся богу как кумиру и силою божьего имени служащая своим корыстным целям и выгодам! Тут раболепство перед каждым последним словом науки; там грубое презрение к науке, к мысли, к подвигам разума и духа! Тут злоупотребление, нечестное обращение со словом; там преследование слова, любовь немоты и мрака».

[4] Передовая статья Аксакова в № 2 «Дня» заканчивалась словами: «Но еще не наступила пора [пробуждения русского народного сознания]. И хотя мы почти уверены, что голос наш раздается напрасно, но применяясь к предмету настоящей речи нашей, скажем мы: «Г л а с в о п и ю щ е г о в п у с т ы н е, у г о т о в а й т е п у т ь г о с п о д е н ь... П о к а й т е с я!..» (подчеркнуто Аксаковым).

[5] В № 2 «Дня» было напечатано стихотворение П. А. Вяземского «Вечер».

[6] Намек на напечатание в славянофильском «Сельском Благоустройстве» (№ 9 за 1858 г.) статьи кн. В. А. Черкасского «Некоторые общие черты будущего сельского управления», в которой он высказывался за оставление за дворянами, после отмены крепостного права, права подвергать крестьян телесным наказаниям. Эта статья вызвала большой литературный скандал. И. С. Аксаков считал напечатание этой статьи нетактичностью и ошибкой редакции «Сельского Благоустройства».

[7] Н. И. К р ы л о в — профессор римского права Московского университета, человек талантливый и, в то же время, лишенный нравственных устоев, а к концу жизни совершенно отставший от науки и опустившийся. В №№ 1 и 2 славянофильского журнала «Русская Беседа» за 1857 г. он поместил «Критические замечания» на диссертацию Б. Н. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII в.», в которых упрекал автора диссертации в том, что он взглянул на древнюю Россию с чисто отрицательной точки зрения и игнорировал положительные стороны ее жизни. Эта статья Крылова вызвала оживленную полемику в прессе того времени. Оппоненты Крылова установили не только его невежество в области русской истории, но и незнание им ряда фактов из истории Рима, бывшей его специальностью.

[8] Герцен имеет в виду статьи А. С. Хомякова «Об общественном воспитании в России» (№ 1 «Дня») и Ю. Ф. Самарина «Письма о материализме к Н. П. Гилярову-Платонову» (№ 2 «Дня»). Авторы этих статей высказывались за свободу

слова, мысли и критики. Хомяков писал о необходимости «свободы преподавания наук», хотя бы их выводы находились в противоречии с библией. Самарин же, отмежевываясь от материализма, высказывался, однако, против преследования его. «Безрассудно и грешно, — писал он, — убивать мысль, потому что через это мы мешаем ей совершить над собою самоубийство, предопределенное всякой лжи».

[9] Герцен имеет в виду кореспонденцию из Каширы, подписанную Н. Б. Эта корреспонденция, автором которой был Н. М. Павлов, действительно не содержала в себе почти никакого конкретного материала и сводилась к общим рассуждениям славянофильского типа.

[10] В корреспонденции из Чернигова сообщалось, что местное губернское по крестьянским делам присутствие разослало сельским крестьянским властям распоряжение «наблюдать за строгим соблюдением крестьянами ежегодной исповеди и причащения св. тайн». В заметке «От редакции» Аксаков выразил возмущение этим распоряжением, находя недопустимым вмешательство органов администрации в дела религии. При этом Аксаков писал: «Если бы полицейскими мерами заставлять веровать в бога и каким бы то ни было принудительным способом гонять людей в церковь, не было ли бы это только поводом к незаконным денежным поборам». Вслед за этим Аксаков указывал, что «если сельское «начальство»... на беду будет так бескорыстно, что и деньгами от него не откупиться», то посещение церкви превратится в пустую формальность. Эти слова Аксакова и дали повод Герцену иронически упомянуть об «апологии взяток».

[11] Герцен имеет в виду корреспонденцию «Из Бельза», помещенную в № 2 «Дня» и сопровождавшуюся заметкой «От редакции». В корреспонденции и заметке речь шла об организованных поляками митинге и демонстрации в Городле в память польско-литовской унии. Собравшимися была принята резолюция, требовавшая включения в пределы будущей свободной Польши воеводств Киевского, Черниговского, Смоленского, Галицкого и др. Отзываясь на эту резолюцию, Аксаков писал: «Киев, Волынь, Чернигов, Смоленск!!! Безумные поляки! Как спешите вы проиграть ваше дело... Неужели вы так глухи, так слепы, неужели вы думаете, что в пространной русской земле... найдется хоть один русский, который бы не загорелся весь самым жгучим огнем негодования при таких лживых и наглых ваших притязаниях!.. Несчастные, несчастные, безумием как божьей карой пораженные поляки!»

[12] «Парус» — еженедельная славянофильская газета, выходившая в Москве, в 1859 г. под редакцией И. С. Аксакова. Уже передовая статья № 1-го этой газеты, написанная самим Аксаковым, привлекла внимание цензуры. Главное управление цензуры констатировало, что редактор «Паруса» «обнаружил предосудительное направление, издеваясь над цензурой, возбуждая открыто ей сопротивление и доказывая необходимость свободного обсуждения существующих у нас учреждений, недопускаемого нашими законами». По выходе № 2-го, «Парус» был закрыт правительством за напечатание статьи М. П. Погодина «Прошедший год в русской истории», содержавшей в себе, по мнению цензурного ведомства, «едкое унижение нашей иностранной политики и непозволительное вмешательство частного лица в виды и соображения правительства» (См. Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XVI, стр. 305—361).

[13] В № 170 «С.-Петербургских Ведомостей» за 1861 г. была перепечатана из «Виленского Вестника» статья Тадеуша Падалицы (псевдоним Фиша Зенона-Леонарда, польского писателя), автор которой доказывал добровольность присоединения Литвы к Польше на Люблинском сейме 1596 г. и защищал «исторические права» Польши на Киевскую и Волынскую область. В № 1 «Дня» были напечатаны возражения М. Кояловича на эту статью Падалицы.

[14] Трудно определить с точностью, о каком именно Павлове говорит Герцен. Вероятно это — Платон Васильевич Павлов, профессор Петербургского университета, в 1862 г. высланный за речь по поводу тысячелетия России. Во время своих поездок за границу Павлов посещал Герцена и мог встретиться у него с Аксаковым.

[15] Герцен имеет в виду критический разбор статьи Н. Г. Чернышевского «Национальная бестактность» («Современник», 1861 г., № 7), напечатанный известным славистом В. И. Ламанским в № 2 «Дня». Спор между Ламанским и Чернышевским сводился к тому, какой язык надлежит принять галицийским русинам в качестве литературного: украинский, как это полагал Чернышевский, или ту фальшивую подделку под русский литературный язык, на которой в 1861 г. начал печататься выходивший во Львове русинский журнал «Слово» и которую отстаивал Ламанский. Полемизируя с Чернышевским, Ламанский допустил ряд грубых выпадов по отношению к своему противнику, обвиняя его во «лжи и обмане» и заявляя, что его статья представляет собою «любопытный пример сочетания слабости мышления с крайним самодовольством и самомнением». В то же самое время Ламанский выражал свое «сочувствие и уважение» украинскому журналу «Основа», выходившему в то время в Петербурге, несмотря на то, что в вопросе об языке русинов этот журнал стоял на той же точке зрения, что и Чернышевский.

[16] В № 2 «Дня» П. И. Бартенев опубликовал, полученный им от С. А. Соболевского, набросок программы журнала, составленный А. С. Пушкиным в 1832 г. Учитывая невозможность организовать в России того времени независимый политический журнал, Пушкин ввел в свою программу пункт, гласивший: «Журнал мой предлагаю правительству — как орудие его действия на общее мнение». К этому пункту Аксаков сделал примечание: «Странно!.. Это требовало бы объяснения...».

4. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «LE NORD»

Orsetthouse, Westbourne terrace

London [декабрь 1861 г.]

Monsieur le rédacteur

. . . .

. . . .

Cette dame (M-me Bernov) affirme que les fragments des mémoires de son pére A. Mikhailovski-Danilevski sont faux. Ici je n'ai que ma parole d'honneur que le texte imprimé est exactement conforme au texte que nous avons reçu de Saint-Pétersbourg. Reste à faire une enquête sur les sources. Nous la ferons, et, quel qu'en soit le résultat, nous ne doutons pas un instant que vous mettrez, M. le rédacteur, autant d'empressement à le publier que vous en avez montré, en insertant la lettre de M-me Bernov.

Recevez, M. le rédacteur, etc.

Al. Herzen.

P. S. Je vous prie d'insérer cette lettre dans votre prochain numéro.

A. H.

Перевод:

Орсетхаус, Уетборн-Террас, Лондон

[Декабрь 1861 г.]

Господин редактор...

Особа эта (г-жа Бернова) утверждает, что воспоминания ее отца, А. Михайловского-Данилевского подложны. В настоящее время я могу лишь дать слово, что напечатанный текст в точности соответствует тексту, полученному нами из С.-Петербурга. Остается только расследовать источники получения рукописи. Мы это расследуем и ни минуты не сомневаемся, что, какой бы ни был результат, вы, г. редактор, опубликуете его столь же охотно, как опубликовали письмо г-жи Берновой.

Примите, г. редактор, и пр.

Ал. Герцен

P. S. Прошу вас напечатать это письмо в ближайшем номере вашей газеты.

А. Г.

Настоящее письмо Герцена, не вошедшее в полное собрание его сочинений, было опубликовано в субсидируемой русским правительством брюссельской газете «Le Nord» в № 343 от 9 декабря 1861 г. Поводом к написанию его послужили следующие обстоятельства.

Во второй книжке, издававшегося Герценом «Исторического сборника вольной русской типографии», вышедшей в 1861 г., были напечатаны «Некоторые выписки из бумаг» А. И. Михайловского-Данилевского (1790—1848), известного военного деятеля и историка, автора ряда работ по истории русско-французских войн во времена Наполеона I, в которых Михайловский-Данилевский принимал личное участие. Опубликование этих выписок вызвало протест со стороны дочери Михайловского-Данилевского, А. А. Берновой, направившей в редакцию «Le Nord» следующее письмо, опубликованное в № 336 этой газеты от 2 декабря 1861 г.:

«Одно из изданий г. Герцена («Исторический сборник», № 2) содержит в себе статью, приписываемую генералу Михайловскому-Данилевскому.

Как дочери и единственной наследнице рукописей генерала Михайловского-Данилевского, мне принадлежит исключительное право распоряжаться ими. До сих пор я этим правом не пользовалась. Я отрицаю, чтобы эти возмутительные страницы вышли из-под пера моего отца.

Считаю долгом, во имя истины и чести уважаемого имени, протестовать против этой публикации, на которую я указываю, как на подложную и оскорбительную для памяти верного и преданного слуги своего повелителя.

Антонина Бернова, урожденная Михайловская-Данилевская».

Герцен счел нужным ответить Берновой. При публикации его письма, редакция «Le Nord», к сожалению, выпустила начало, заменив его двумя строками точек, и сопроводила ответ Герцена заметкой от редакции, гласившей:

«Г-жа Бернова, дочь генерала Михайловского-Данилевского, обратилась к нам, чтобы отвергнуть принадлежность ее отцу, единственной наследницей рукописей которого она себя называет, статьи, приписанной в одном из изданий г. Герцена покойному генералу; мы не нашли лучшего ответа на ее обращение, как опубликование ее письма. Это письмо было напечатано в номере нашей газеты от 2 декабря. Мы получили сегодня ответ г. Герцена с просьбой напечатать его. Мы не откажем в этом, как не отказали г-же Берновой. Однако, г. Герцен, без сомнения, поймет, что если мы всегда готовы открыть столбцы нашей газеты для оправдания и защиты, мы никогда не откроем их для атаки и нападения. Он не должен быть в претензии на нас, если мы опубликуем его письмо только в части, относящейся к инкриминируемому факту».

Эпизод с протестом Берновой нашел отражение в переписке Герцена с его корреспондентами. Герцен был убежден в том, что опубликованные им записки Михайловского-Данилевского не подложны. «Видел в «Норде», как дочь Михайловского обругала за отца? а записки то настоящие», — писал Герцен 2 декабря 1861 г. И. С. Тургеневу (Герцен, т. XI, стр. 355). Тем не менее он считал нужным расследовать вопрос об авторстве Михайловского и для этой цели воспользовался возвращением в Россию, бывшего в то время в служебной командировке в Лондоне, Н. М. Владимирова, позднее привлекавшегося по делу Н. А. Серно-Соловьевича и приговоренного к ссылке в Сибирь на поселение (пользуемся случаем указать неизвестную до сих пор дату смерти Н. М. Владимирова: он умер в 1914 г. в Риме). В письме от 5 декабря, давая Владимирову различные поручения в Россию, Герцен между прочим писал: «Нельзя ли узнать достоверно: отрывки из записок Мих[айловского]-Данилев[ского], бывшие в «Истор[ическом] сбор[нике]» (книж[ка] II), — настоящие или нет? Я уверен, что они настоящие, но его дочь с преднамеренной грубостью отреклась в «Le Nord» (Герцен, т. XI, стр. 360).

Кто же был прав: Бернова ли, считавшая напечатанные Герценом выдержки из мемуаров Михайловского-Данилевского подложными, или Герцен, уверенный в их подлинности?

Разрешение этого вопроса затрудняется тем, что воспоминания и записки Михайловского-Данилевского до сих пор полностью не опубликованы. При этом отрывки, напечатанные в «Историческом сборнике», относятся как раз к неопубликованным частям этих мемуаров. Исключением является отрывок четвертый, в котором говорится о восстании декабристов. Его можно сопоставить с напечатанным в № 11 «Русской старины» за 1890 г. рассказом Михайловского-Данилевского о восшествии на престол Николая I. Полного текстуального совпадения между двумя этими публикациями не имеется; однако содержание их во многом совпадает, и это делает несомненным, что публикация «Исторического сборника» действительно заимствована из какой-то рукописи, несомненно принадлежащей Михайловскому-Данилевскому. Если принять во внимание, что публикация «Русской старины» делалась, как это видно из оговорки редакции, по черновым наброскам автора, то расхождение ее текста с текстом «Исторического сборника» становится понятным.

Таким образом, подлинность публикации «Исторического сборника» подтверждается, а обвинение, брошенное Герцену дочерью Михайловского-Данилевского, отпадает. Бернова или не знала о существовании того варианта воспоминаний ее отца, выдержки из которого сообщил Герцену его, неизвестный нам, корреспондент, или же сознательно лгала из желания ослабить впечатление, произведенное публикацией мемуаров ее отца, сообщающего не мало фактов и рассказов, компрометирующих «особ» русской династии.

5. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА Е. В. САЛИАС-ДЕ-ТУРНЕМИР

23 июня [1863 г.]

Что это как я давно вам не писал, мой старый друг, индо грустно и совестно. Пожалуй, вы подумаете что я на вас за что нибудь зол; ей же ей — нет. Если вы за что нибудь негодовали то, я думаю, и у вас это уже прошло; а я и не думал негодовать. А не писал, потому что все день от дня откладывалось, за кучей дела. Времена тяжкие; но близкие к развязкам. Разложение, смерть и роды совершаются с болью, но чем сильней разложение — тем с одной стороны ближе смерть, а с другой роды. Процесс этого разложения не весел, спору нет: скорбь, негодование, минутные отчаяния и незыблемая вера — бродят в мозгу и не дают покоя. Но надо выдержать. Жаль, если силы не допустят дожить до конца и начала. Чего доброго! Я в продолжи-

тельность собственного организма мало верю, т. е. не думаю, чтоб долго прожилось; от этого на последях так усиленно, мучительно хочется работать, — что едва успеваешь сладить со своим материалом, который хотелось бы привести в приблизительный порядок. Это одно из главных препятствий личной переписки; от этого так долго не писалось к вам.

Но вот я накануне переезда на новую квартиру: Elmfield house Teddington. Это 9 миль от Лондона (минут 30 желез[ной] дороги). Туда я ухожу завтра. Ухожу — потому что железная дорога становится для меня совершенно невыносима и каждый поезд повергает меня в мучительную пытку, хуже всякого телесного наказания. Если вы соберетесь к нам, то вы нас застанете, следственно, деревенскими жителями. Я долею рад, что буду не в городе; все ненужное отвалится, все нужное найдет нас и за городом. Если вы соберетесь, ведь вы и Дженни привезете? Он написал повесть, и я ее не читал, ибо не имею журнала, где она помещена. Пришлите мне ее. Где же Маша? Где же все? — Пожалуйста, не помня лиха, отвечайте мне тотчас же по новому адресу. Семья моя уже в Теддингтоне. Все процветают. Маленькие начинают говорить; Лиза перестает умолкать. Она остается моим фаворитом. Это, говорят, не хорошо, но это факт... Ну — прощайте пока, стало до свиданья. Я окружен ящиками и укладываюсь до проклятия жизни, осужденной на перемещения. Крепко жму вам руки. —

Приведенное письмо Герцена, оригинал которого хранится у автора публикации, адресовано известной писательнице Елизавете Васильевне Салиас-де-Турнемир (1815—1892); печатается впервые.

Письмо написано на четвертушке почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков; свернутое пополам, при отправке сложено было конвертом и запечатано сургучной печатью с инициалами Герцена. Три странички письма заполнены полностью мелким убористым почерком; последняя строка, не поместившаяся на третьей странице, написана в верху четвертой страницы и там же, ниже, отдельной строкой приписано: «Старому другу».

На письме нет ни подписи, ни адреса, ни даже полной даты. Однако, как почерк письма, так и его содержание не оставляют ни малейшего сомнения в принадлежности письма Герцену.

Годовая дата письма устанавливается вполне точно на основании упоминания Герценом о предстоящем переезде в Elmfild house, Teddington. Переезд этот, как видно из письма А. И. Герцена к дочерям (см. Герцен, т. XXI, стр. 373), состоялся 28 июня 1863 г. Таким образом, точная дата публикуемого письма — 23 июня 1863 г.

Личность адресата, в письме не указанная, определяется также без труда, на основании содержания письма и сравнения его с другими письмами Герцена, адресованными Е. В. Салиас-де-Турнемир.

Небезынтересно происхождение письма. Оно было приобретено нами в свое время у Петрово-Соловово, ближайших родственников Елизаветы Васильевны Салиас, в составе пачки неопубликованных бумаг, принадлежавших когда-то, судя по всему, ее сыну — известному историческому романисту — Евгению Андреевичу Салиас-де-Турнемир (1840—1908). В одной пачке с письмом Герцена находились еще: письмо Е. В. Салиас сыну от 5 марта 1881 г. (текст его приводим ниже), автограф одного ее неопубликованного беллетристического произведения и несколько рукописей Е. А. Салиаса-сына. В числе последних — фрагмент (начало) воспоминаний Е. А. Салиаса под заголовком «Мое Былое», предварительный набросок программы этих воспоминаний и рукопись неизданной сатирической «баллады» В. С. Курочкина на Е. А. Салиаса, переписанной самим Салиасом («Новый Пантелей-Целитель. Фельетонная баллада»).

Чем объяснить нахождение письма Герцена Елизавете Васильевне Салиас в пачке бумаг ее сына? Очень может быть, что Е. А. Салиас намеревался использовать его содержание в своих, так и оставшихся ненаписанными мемуарах (если не считать воспоминаний, озаглавленных «Семь арестов», помещенных в №№ 1—3 «Исторического Вестника» за 1898 г.). С другой стороны, возможно, Е. А. Салиас, чтивший память Герцена и Огарева, приветливо встретивших его первые литературные шаги, хранил письмо Герцена, в котором имеется упоминание его имени и его литературного дебюта, как своего рода реликвию, как дорогое для него воспоминание.

Публикуемое письмо Герцена Е. В. Салиас — седьмое по счету из известных нам писем Герцена, адресованных ей, хронологически же — второе. Самое раннее пись-

мо Герцена Салиас датировано 21 августа 1862 г., затем следует, почти что через год, публикуемое нами письмо, самое большое по размеру из всей переписки и самое значительное по содержанию, и, наконец, пять коротких писем, написанных Герценом Е. В. Салиас в 1864 г. Особняком стоит приписка Герцена в письме Огарева к Е. В. Салиас (о ней — ниже).

Между публикуемым нами письмом Герцена от 23 июня 1863 г. и предшествовавшим ему более ранним письмом от 21 августа 1862 г., большое, прежде всего даже чисто внешнее сходство. Оба письма без подписи Герцена и не называют адресата. Очевидно, письма свои Герцен посылал Е. В. Салиас «по оказии». Так же поступала и Е. В. Салиас. «Оба Ваши письма мне доставлены» (подчеркнуто нами. — *П. Д.)* — писал Герцен ей в письме от 21 августа 1862 г.

Эта осторожность — понятна. Е. В. Салиас в эти годы проживала за границей. Положение ее было очень щекотливым. Как видно из опубликованных ныне документов (см. Герцен, т. XI, стр. 353—354), в связи с общественно-политической деятельностью Е. В. Салиас, а главное, в связи с прикосновенностью ее к студенческим беспорядкам 1861 г. в Москве, III отделение ставило вопрос о возможном ее удалении из Москвы. Ее выезд за границу 25 ноября 1861 г. предпринят был, очевидно, из опасений высылки. Вероятно и за границей Е. В. Салиас чувствовала себя в поднадзорном положении и предпочитала поддерживать лишь негласную связь с Герценом.

О студенческих беспорядках 1861 г., послуживших косвенно причиной выезда Е. В. Салиас за границу, она, между прочим, писала в «Колокол» (лист № 113 от 22 ноября 1861 г., стр. 942—944). Авторство Салиас (имя корреспондента в «Колоколе», естественно, не указано) устанавливает Е. М. Феоктистов. («За кулисами политики и литературы. Воспоминания Е. М. Феоктистова», Л., 1929, стр. 368.)

Годы 1861—1864 были, очевидно, временем наибольшей идейной близости Е. В. Салиас к Герцену и тесных дружеских отношений. И письмо Герцена от 21 августа 1862 г., опубликованное М. К. Лемке, и ныне нами публикуемое письмо Герцена к ней свидетельствуют об этом. С такой степенью откровенности Герцен мог писать, конечно, только своей единомышленнице, в сочувствии которой к нему и его взглядам он был уверен. Период этой политической близости длился, однако, по всей вероятности, недолго. Тон писем Герцена к «Русской Жорж Занд» (так называли тогда Е. В. Салиас), писанных в 1864 г., уже заметно суше. В этом году, в ноябре — декабре, Герцен и Салиас жили одновременно в Париже. Между ними происходили встречи, и Герцен возможно уже в это время смог заметить симптомы назревавшей перемены политических взглядов Е. В. Салиас. Вскоре Е. В. Салиас вернулась в Россию. С этого момента ее крутой политический крен вправо стал очевиден для всех. «От прежнего ее увлечения демократическими идеями не осталось и следа» — свидетельствует все тот же, близко знавший ее Е. М. Феоктистов (цит. соч., стр. 371). «Все это совершилось во время пребывания ее в Париже»,—добавляет он тут же, приводя кроме того, слова И. С. Тургенева: «Вы не узнали бы графиню, давно ли она, надев на голову красный чулок, пела марсельезу, а теперь только и мечтает, что о восстановлении Франции Бурбонов и пишет Vive le roy по-старинному с «у» на конце» (там же).

Реакционные взгляды Е. В. Салиас с годами усиливались. В 1881 г., в период разгула помещичье-дворянской реакции, последовавшей за 1-м марта, реакционная, ультра-монархическая позиция бывшего «друга Герцена» сказалась особенно ярко. 6 марта 1882 г. М. Е. Салтыков-Щедрин писал И. С. Тургеневу о сближении между собой крупных деятелей реакции, об образовании новой влиятельной группировки «в верхах» (в составе Воронцова-Дашкова, Тертия Филиппова и М. Н. Островского), добавляя: «А Аспазия у них Феоктистиха и старая бандерша Евгения Тур» (М. Щедрин, Сочинения, т. XIX, стр. 267). Печатаемое ниже письмо Е. В. Салиас к сыну Е. А. Салиасу от 5 марта 1881 г., интересное главным образом с историко-литературной и биографической стороны, также содержит исключительно яркое свидетельство ультра-консервативных взглядов Е. В. Салиас в эти позднейшие годы ее жизни.

Переходим к некоторым деталям публикуемого письма Герцена к Е. В. Салиас: Герцен упоминает в письме три имени: Лизы, Маши и Дженни.

Лиза — это, как видно из самого письма, любимая дочь Герцена от второго брака его с Н. А. Тучковой.

Маша — это дочь Е. В. Салиас — Мария Андреевна, незадолго до того (в 1861 г.) вышедшая замуж за И. В. Гурко.

И, наконец, Дженни — это сын Е. В. Салиас — Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир, будущий писатель, которому в 1863 г. было 22—23 года. Герцен просит в письме прислать ему только что напечатанную Дженни повесть, которую он еще не читал. Это — первый литературный опыт Е. А. Салиаса — рассказ «Искра божия», напечатанный в 1863 г. в 1 и 2 книжках «Библиотеки для чтения» (в период редакторства Писемского). Повесть появилась в печати под измененным по требованию цензуры заглавием: «Ксаня чудная» (подлинное заглавие было восстановлено Е. А. Салиасом впоследствии).

Несколько позже другая вещь Е. А. Салиаса — повесть «Тьма», напечатанная

в «Современнике» Некрасова, привлекла внимание и Герцена и Огарева. «Тьма», повесть в «Современнике», Женни?», — писал Н. П. Огарев Е. В. Салиас. «Мне чудится, что вы говорили, что он подписывается «Вадим», а Герцен мне сказал, что он видел эту рукопись у Женни на столе». «Я беру из рук Огарева письмо, — приписывал на том же письме Герцен, — только для того, чтобы прибавить от себя, что «Тьма» — чудесная вещь, и если в ней есть недостатки, то это недостатки молодости. Если это писал ваш сын, как мы выдумали сами, то я поздравляю обеих матерей, т. е. вас и Россию, с новым талантом» (см. А. А. Измайлов, «Литературный Олимп». М. 1911, стр. 417—418; в собрание сочинений Герцена под редакцией М. К. Лемке не включено).

Пиэтетом к памяти Герцена (и Н. П. Огарева) объясняется то, что, задумав издавать в 1881 г. журнал, Е. А. Салиас назвал его в память Герцена и Огарева «Полярной Звездой» («Полярная Звезда». Ежемесячный литературно-исторический журнал. Издатель-редактор граф Е. А. Салиас-де-Турнемир; вышло: в 1881 г. №№ 1—6, в 1882 г. — №№ 1—12). В первом номере журнала за 1881 г. (стр. 221—228) находим заметку Е. А. Салиаса, под названием «Калейдоскоп», подписанную его литературным псевдонимом «Вадим». Заметка посвящена памяти Герцена и Огарева, имена которых, однако, по цензурным соображениям, нигде не названы. Салиас вспоминает в ней о встречах с Герценом в Женéве, о беседах, о том, что Герцен уверял молодого Салиаса, что «у него есть дарование».

В связи с изданием в 1881 г. «Полярной Звезды», Е. А. Салиас обратился к матери — Е. В. Салиас с просьбой о материалах для журнала. Точнее, — речь шла о написании Е. В. Салиас для журнала своих воспоминаний: о Н. И. Надеждине, с которым Е. В. Салиас в годы юности была близка, с одной стороны, и о Герцене и Огареве — с другой. Мы помещаем ответное письмо Е. В. Салиас, интересное, во-первых, потому что в нем упоминаются Герцен, его жена и ряд друзей, во-вторых, оно с предельной яркостью характеризует бывшую корреспондентку Герцена, в 1881 г. целиком перешедшую в лагерь реакции, и ее отношение к событию 1 марта.

5 марта 1881

Я в себя не приду. Получила от тебя письмо (без числа, как всегда) с вопросами, и ни слова о том несчастии, которое случилось, а я знаю, что ты любил покойного императора. Слов нет, чтобы изобразить ужас и потрясение произведенное известием этим здесь. На панихиде в Кремле тысячи народа присутствовали и окружали соборы во время богослужения, но уныние было таково, что толпа не шелохнулась и молчание царствовало глубокое. С тех пор живем как в страшном сновидении. Дай бог молодому царю силу, волю, разум высший, чтобы править царством находящимся в столь печальном положении. Можно сказать все понимают трудное его положение и молятся за него. Манифест его всем нравится. Действительно тяжкое бремя взял он на себя, и смерть его отца милостивого и доброго должна была потрясти его до глубины души. Да поможет ему бог направить русскую погибающую нацию на путь истинный. Газет читать нельзя — до того они красны, невежественны и ведут нас к пропасти. Эта пресса вся красная, без всякого элемента консервации!

Что отвечать тебе на твои вопросы. Я воспитана иначе и до сих пор держусь старых понятий и с ними умру. Во 1) о живых не пишут и их жизнь не разоблачают, это и нравственно и законами запрещается. 2) Писем и после смерти моей (или чьей либо) печатать без согласия главного члена семьи нельзя. 3) Над свежей могилой святотатственно не разоблачают тайн семейных. Все это рекламы à la Mr Суворин, Град[овский] et Compagnie. Это люди, воспитавшиеся в кабаках и трактирах — им все ни почем — но ты уважать себя должен и для рекламы не можешь кидаться на семейные скандалы. Уж не печатать ли имена любовников Огаревой? Или его истории с первой и второй женами? Кого это интересует. Никого. C'est l'intérêt du scandale, как франц[узский] Фигаро. Если ты это делаешь для своего журнала, поверь, что все порядочные люди ахнут и отвернутся. Надо чтобы журнал был занимателен (первая книга всем нравится), а не скандалезен. А то уж лучше печатать памфлеты и libelles, они раскупаются, но ведь это позор (считался позором и всегда будет считаться). Не забудь, ради бога, что ты родился не в избе, не у пономаря, не у чиновника, а от старых родов. Не лезь в журнальную грязь. Умоляю тебя. Уже по поводу твоих публикаций об журнале слышала отвсюду: «Гр[афу] Салиас писать рекламы? Как это возможно? Это надо предоставить газетчикам. Они же теперь ниже всякой грязи!» Это отвсюду, даже мне в глаза говорили, и мне было стыдно, я не знала, как защитить [тебя], ибо сознавала правду. История денег Огаревой темная. Украдены они не были, а задержаны на время, а пока она умерла в нищете. Лицо задержавшее еще живо. Н. Ф. Павлов не при чем. Гран[овский] не при чем. Он из всех друзей Огарева к его жене был гуманнее других. Герцен и его жена были беспощадны. Жена Гер[цена] честолюбивая, не могла вынести светской женщины, рожденной Рославлевой, племянницы пензенского губернатора (автократа в Пензе, как Закревской позднее в Москве) и ненавидела ее с женской ненавистью. Всего этого печатать нельзя. Бакунина

прибил Катков потому, что они любили (были страстно влюблены) в М. Л. Огареву, а Бакунин сказал это и друзьям и мужу. Катков был влюблен, молод, и не имел связи с нею, и когда пошла эта огласка, он Бакунину дал пощечину. Этого писать нельзя. Нельзя позорить умерших и вводить на сцену еще живущих. Катков тоже не простит, что отпечатают его юношескую любовь. А друзья Бакунина тоже озлятся. Может завязаться полемика — из ней не вылезешь. Бакунина мы все знали, и ты сообрази сам, в какую беду попасть можно, кроме неприличия и грязи таких историй.

Воспоминания Пассек, вялы, ничтожны. Петер[бург] ими интересуется может быть, а в Москве мало. Ты не отвечал могу ли я на 100 руб. книг купить на лето и осень. Я тебе напишу 4 статьи еще. Нравы Директории готовы (мало известные вещи), но есть книга: нравы республики 1-ой и их надо написать прежде Директории. Все это буду писать летом. Целую тебя. Повременил бы статью о Надежд[ине], — так мне она тяжка.

По свидетельству Е. М. Феоктистова (цит. соч., стр. 367), Салиас одно время (еще в 60-х гг.) задумала писать свои мемуары; однако, по словам ее дочери, М. А. Гурко, все написанное ею она впоследствии сама уничтожила. Единственным, повидимому, мемуарным произведением Е. В. Салиас явилась статья ее «П. Н. Кудрявцев» в «Полярной Звезде», 1881, кн. III и отдельно: Евгения Тур «П. Н. Кудрявцев. Воспоминания», М. 1891.

Причина резко отрицательного отношения друзей Огарева к его первой жене М. Л. Огаревой, о котором свидетельствует и Е. В. Салиас в публикуемом нами письме к сыну, заключалась в характере ее. Это была женщина, любившая удовольствия, увлекавшаяся своими успехами в «свете» и чуждая идейных интересов своего мужа и близких ему людей. Огарева упрекала последних в том, что они разрушают ее семейное счастье, стараясь оттолкнуть от нее ее мужа. Это породило ряд тяжелых минут в жизни Огарева, что вынужден признать сам Герцен. «Огарев страдал,— пишет он. — Его никто не пощадил: ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали грудь его (как он сам выразился в одном письме) «полем сражения» и не думали, что тот ли, другой ли одолевает, ему равно было больно» (Герцен, т. XIII, стр. 7). Как известно, брак Огаревых кончился полным разрывом. При этом Огарев обеспечил М. Л. в материальном отношении. Однако, ее деньги были присвоены А. Я. Панаевой и ходатаем по делу Огаревой Шаншиевым, которым М. Л. вполне доверяла. Об этих деньгах и упоминает Салиас в своем письме.

Об отношениях Каткова к М. Л. Огаревой и об эпизоде столкновения Каткова с Бакуниным (в квартире Белинского) существует ряд свидетельств современников. И то и другое особенно подробно освещено в письмах Белинского к Боткину (см. В. Белинский, Письма. СПб. 1914, т. II, письмо от 16 декабря 1839 года, стр. 12—20 и письмо от 12—16 августа 1840 года, стр. 145—149). В последнем письме Белинский дал подробное описание столкновения, не указывая, однако, его причины. Первоначально существовавшая в литературе версия (см. И. И. Панаев «Литературные воспоминания». СПб. 1876) объясняла его разногласиями идеологического порядка. Публикация в 1914 г. полного текста писем Белинского к Боткину рассеяла в этом отношении все сомнения: личная подоплека события стала совершенно очевидна, хотя непосредственный повод к ссоре оставался неизвестен. Письмо Салиас впервые точно указывает причину ссоры.

Воспоминания Т. П. Пассек о Герцене и Огареве печатались в «Полярной Звезде» 1881 г. Этим обстоятельством и объясняется наличие отзыва о них в письме Е. В. Салиас. Следует, впрочем, отметить, что отдельное (трехтомное) издание мемуаров Т. П. Пассек вышло в свет еще в 1878—1879 гг.

Воспоминания Е. В. Салиас о Н. И. Надеждине, повидимому, написаны не были. «Неравному» браку юной Е. В. Сухово-Кобылиной (впоследствии по мужу Салиас-де-Турнемир) воспротивились все ее родные и прежде всего ее мать и брат (драматург А. В. Сухово-Кобылин). История этого неудачного романа подробно описана Н. К. Козьминым («Н. И. Надеждин», СПб. 1912) и Л. П. Гроссманом («Преступление Сухово-Кобылина», 1926). Об этом романе есть также упоминание в «Былом и думах» (Герцен, т. XIII, стр. 208—209).

6. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА А. МАЦЦИНИ

[Женева, май 1866 г.]

...Nous nous réunissons même de loin autour des tombes de nos amis. Votre article sur Venturi nous a frappés. Pauvre Emilie! Les souvenirs de mes premières années de Londres ('52—'53) sont tellement attachés à mes propres malheurs, à Madame Venturi et à tout votre cercle d'alors, que le coeur m'a saigné en lisant vos lignes. Vos douleurs à vous, sont sans consolations; elles se cicatrisent, et voila tout. Mais ce n'est pas pour discuter,

cher ami, que j'ai prix la plume; c'est pour vous serrer la main et vous prier de dire à Madame Venturi que je lui serre aussi la main en ami. Peut-être que le mouvement qui commence absorbera une partie de ses douleurs...

Перевод:

...Даже издалека собираемся мы вокруг могил наших друзей. Ваша статья о Вентури потрясла нас. Бедная Эмилия! Воспоминания о первых годах моей жизни в Лондоне ('52—'53) так связаны с моими личными невзгодами, с г-жою Вентури и со всем вашим тогдашним кружком, что сердце у меня обливалось кровью, когда я читал ваши строки. Ничто не может утишить наши страданья; они зарубцовываются — вот и все. Но не для рассуждений, любезный друг мой, взялся я за перо, а для того, чтобы пожать вам руку и просить вас передать г-же Вентури мое дружеское рукопожатие. Быть может, начинающееся движение отчасти поглотит ее скорбь...

В четырехтомном издании «Mazzini's Letters to an english family 1861—1872» собраны письма известного деятеля итальянского национально-освободительного движения Дж. Маццини к членам семейства английского адвоката В. Ашерста (W. Ashurst). В этом семействе, эмигрировавший после подавления революции 1848 г. в Лондон, Маццини, по выражению М. Мейзенбуг («Воспоминания идеалистки», М., 1933 г., стр. 405), «нашел вторую родину и был любим и почитаем почти как святой». В третьем томе названного издания (London, 1922, р. 119) помещено письмо Маццини к дочери Ашерста — Эмилии. Эмилия Ашерст, по первому мужу Гокс, в 1861 г. вышла вторично замуж за итальянского эмигранта гарибальдийца Карла Вентури. В 1866 г. Вентури умер. В связи с этим Маццини и написал его вдове только что упомянутое письмо (от 28 мая 1866 г.). В нем он, между прочим, приводит выдержку из полученного им (до сих пор неопубликованного) письма Герцена, которым тот отозвался на написанный Маццини некролог Вентури. Выше мы приводим эту выдержку.

Герцен познакомился с Маццини в 1849 г., когда оба они были вынуждены спасаться бегством в Швейцарию — Герцен из Парижа, где он принимал участие в революционном движении, Маццини из Рима, после падения провозглашенной в 1848 г. Римской республики, правительство которой возглавлялось Маццини. Характеризуя в 1853 г. революционную деятельность Маццини, К. Маркс писал: «Он ожидает наступления ее [революции в Италии] не от благоприятной конъюнктуры в ходе европейской смуты, а от частного выступления итальянских заговорщиков, которые нападают на врага врасплох» (Маркс и Энгельс, Сочинения, т. IX, стр. 561). Энгельс считал характерной чертой Маццини, как революционера, его «абстрактную страсть к восстаниям» (Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXI, стр. 459). Действительно, Маццини не понимал ни значения массового революционного восстания, ни необходимости учета, как благоприятствующих, так и препятствующих успеху революционного движения факторов. Свои надежды на освобождение Италии от иноземного ига и на объединение ее разрозненных в то время в политическом отношении частей он возлагал на заговорщическую деятельность создаваемых им тайных революционных организаций. В этом сказывалась теоретическая слабость революционной позиции Маццини, но как раз этими-то чертами его деятельности он и привлекал к себе симпатии Герцена, в течение ряда лет поддерживавшего с ним дружеские отношения. Рассказывая в XXXVII главе «Былого и дум» о своем знакомстве с Маццини, Герцен отмечал, как наиболее привлекательные для него черты личности этого революционера, его «непреклонное постоянство», его «веру, идущую наперекор фактам», его «неутомимую деятельность, которую неудача только вызывает и подзадоривает»; во всем этом Герцен усматривал «что-то великое и, если хотите, что-то безумное». (Герцен, т. XIII, стр. 338).

Что касается семейства Ашерст, то с ним Герцен сошелся вскоре после переселения своего в 1852 г. в Лондон. Фамилия Ашерста, как и Стансфильда, члена английской палаты депутатов, женатого на сестре Эмилии Вентури Каролине Ашерст, нередко встречается в письмах Герцена. Ашерсты и Стансфильды принадлежали к числу немногих английских семей, с которыми Герцен поддерживал знакомство во время своей жизни в Лондоне.

Точная дата письма Герцена к Маццини неизвестна. Приходится датировать его приблизительно, исходя из даты письма Маццини к Эмилии Вентури.

7 ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА НЕИЗВЕСТНОМУ

Je propose à la rédaction des fragments du IV volume de mes mémoires. Il a paru en russe à Genève il y a deux ans. Des fragments en trad. française ont été insérés dans le «Kolokol» de 1868. —Les trois prem. volumes ont été traduits par H. Delaveau et publiés par Dentu.

Je propose à la rédaction
des fragments du IV volume de
mes mémoires. Il a paru en russe
à Genève — il y a deux ans. Des
fragments (en trad. française) ont été insérés dans
le „Kolokol" de 1868 — Les trois prem.
volumes ont été traduits par H. De
laveau et publié par Dentu.

Le volume comprend 1847—1855.

Des fragments de mes lettres sur
l'Italie et la France (1847—1852)

J'ai une petite série de nouvelles
non politiques, moeurs russes etc
et en outre la traduction de qq
articles politiques ou plutôt sociaux
sur la Russie

Il m'est très facile de faire par
mes amis / une correspondance de la Russie
sur les affaires de l'intérieur.

NB Les fragments imprimés dans le
Kolokol sont en partie nécessaires
La correction de langue

ПИСЬМО ГЕРЦЕНА К НЕИЗВЕСТНОМУ

Государственный архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

Ce volume comprend 1847—1855.

Des fragments de mes lettres sur l'Italie et la France (1847—1852).

J'ai une petite série de nouvelles — non politiques, moeurs russes etc. et en outre la traduction de 99 articles politiques ou plutôt sociaux sur la Russie.

Il m'est très facile de faire (avec mes amis) une correspondance de la Russie sur les affaires de l'intérieur.

NB. Les fragments imprimés dans le Kolokol sont en partie nécessaires.

La correction de langue.

Перевод:

Предлагаю редакции отрывки из IV тома моих воспоминаний. Этот том вышел на русском языке в Женеве два года тому назад. Некоторые отрывки переведенные на французский язык были помещены в «Колоколе» (франц.) 1868 г. — Первые три тома были переведены Делаво и опубликованы Дантю.

Этот том включает 1847—1855 гг.

Отрывки из моих писем об Италии и Франции (1847—1852).

У меня есть маленькая серия новелл — не политических, а русские нравы и т. д. и кроме того перевод 99 политических, или скорее социальных, статей о России.

Мне очень легко (при помощи моих друзей) составить корреспонденцию из России о внутренних делах.

Отрывки напечатанные в «Колоколе» частично необходимы.

Правильность языка...

Воспроизводится по черновому автографу, хранящемуся в Архиве феодально-крепостнической эпохи. Написано, как видно по содержанию, в 1869 г. в связи с хлопотами Герцена об издании его сочинений — и в частности «Былого и дум» — на французском языке.

В 1860—1862 гг. парижский издатель А. Дантю издал три тома «Былого и дум», переведенных на французский язык Ип. Делаво, под «скверным», по выражению Герцена, заглавием «Le Monde Russe et la Révolution. Mémoires de A. Hertzen». Издание это имело большой успех и быстро разошлось, под влиянием чего Герцен начал искать издателя для четвертого тома. В 1867 г. он обратился с этой целью к бельгийскому издателю А. Лакруа, предлагая ему принять на себя издание не только IV тома «Былого и дум», но и сборника своих повестей и статей («Звенья», т. VI, М. — Л. 1936 г., стр. 328—329). Однако это обращение не увенчалось успехом. Поэтому Герцену пришлось ограничиться переводом лишь отрывков из IV тома, помещенных им в 1868 г. во французском «Колоколе». Основываясь на сообщении Г. Н. Вырубова о том, что эти отрывки «в молодом Париже большую сенсацию сделали» (Герцен, т. XXI, стр. 277), Герцен в апреле 1869 г. решил обратиться к Вырубову с просьбой оказать содействие изданию собрания его сочинений, состоящему из 5 или 6 томов «Былого и дум», сборника повестей и 2 томов «политических и социальных статей» (там же, стр. 359), а вслед за этим отправляясь в августе в Париж, решил сам заняться хлопотами, обратившись для этой цели к упомянутому выше Лакруа и в редакцию журнала «Revue des Deux Mondes». Однако переговоры как с Лакруа, так и с руководителями «Revue des Deux Mondes» Бюллозом и Ш. Мазадом остались безрезультатными. Повидимому, в связи с этими переговорами Герценом и было написано настоящее письмо. Возможно, что оно предназначалось редакции «Revue des Deux Mondes».

ФРАНЦУЗСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ГЕРЦЕНА

ПИСЬМА ПРУДОНА, МИШЛЕ, ВИКТОРА ГЮГО И ЛУИ БЛАНА

Публикация Наталии Эфрос

«...Жаль, что не много писем уцелело у меня. Моя жизнь прибивала меня к разным берегам, к разным слоям, и я со многими входил в сношения, но три полицейских нашествия — одно в Москве и два в Париже — отучили меня от хранения всякого рода писем», — вспоминает Герцен в «Былом и думах». А в письме к Мишле от 13 апреля 1853 г., прося извинение за затерянный рисунок художника Прео, присланный ему французским историком, пишет: «Ради бога, извините меня перед г. Прео. Вы не представляете себе нашего бродячего существования, как мы скитаемся из страны в страну, оставляя повсюду половину книг, вещей и проч.»[1]. Приведенные цитаты очень ярко характеризуют состояние архива Герцена. Это ценнейшее собрание, включающее письма и другие документы самых выдающихся представителей русской и европейской литературы, науки, политики и содержащее материалы, отражающие крупнейшие общественные и культурные события эпохи, до сих пор остается разбросанным по разным странам, полностью не выявлено и не соединено воедино. Правда, вопреки утверждению, что «он отучился хранить письма», Герцен многое сберег и частично сам опубликовал. Многое было собрано и дополнительно обнародовано его наследниками, а затем исследователями его жизни и творчества. И все же, несмотря на наличие двадцатидвухтомного собрания сочинений, подготовленного Лемке, и новейших русских и иностранных трудов и публикаций, пропуски в переписке, отсутствие ряда документов, с чем постоянно приходится сталкиваться всем, имеющим дело с архивами Герцена, указывают на то, что работа по собиранию этого архива отнюдь не может считаться законченной. Поиски в государственных и частных собраниях у нас и в особенности за границей сулят неожиданные и интересные находки. Наша публикация служит этому хорошим подтверждением. Помещаемые ниже письма французских писателей к Герцену были обнаружены нами в Историческом музее в Москве, среди бумаг А. И. Барятинского, в принадлежавшей последнему коллекции автографов различных знаменитых людей, преимущественно французов. Наиболее ранний документ коллекции датируется концом XVIII в., наиболее поздний — 60-ми годами XIX в. Каким образом письма к Герцену оказались в этой коллекции, установить не удалось. Никаких сведений о личных связях Герцена с фельдмаршалом кн. А. И. Барятинским (1815—1879) не сохранилось. Можно поэтому предположить, что письма оказались в собрании Барятинского в результате простого собирательства. Это подтверждается и тем, что ни одного письма кого-либо из знаменитых современников к самому князю это его собрание не содержит. С 1860-х гг. Барятинский большей частью жил за границей, в Англии, Франции, Италии[2]. Тогда-то, вероятно, и составилась его коллекция автографов, куда окольными путями проникли и письма из герценовских фондов.

Писем французов к Герцену у Барятинского только шесть. Но эта небольшая пачка представляет несомненный и значительный интерес. Она объединяет не только наиболее блестящие, но и наиболее дорогие для Герцена имена его французских современников: Прудона, Мишле, Виктора Гюго, Луи Блана. Отношение Герцена к этим людям известно. Образы и характеристики их с исключительным, «герценовским» мастерством даны на страницах «Былого и дум» и других сочинений Герцена. С ними связано появление таких крупнейших работ Герцена, как «Россия (письмо к Гервегу)», «Донозо Кортес», написанных для прудоновской газеты «Voix du Peuple» — «Русский народ и социализм», являющейся ответом Мишле на его характеристику русского народа, и др. Герцена связывала со всеми ними крепкая личная симпатия, несмотря на серьезные принципиальные расхождения по ряду поводов, обнаруживавшиеся не раз за долгие годы их дружбы. Сам Герцен объединял имена этих людей, с которыми его роднила также общность изгнаннической судьбы[3]. Именно они пришли ему на помощь в ответственнейший момент его деятельности — организации

первого вольного русского печатного органа. «Я никогда не забуду, — писал он Маццини, — того сердечного участия, с которым вы и другие выдающиеся люди как Виктор Гюго, Мишле, Прудон, Луи Блан протянули мне руку в 1855 году и старались вселить в меня мужество, когда я начинал в Лондоне свой русский журнал „Полярную Звезду"». — «Нет, вы не хотели понять поэзии и смысла этих имен — имен Прудона, Маццини, Гюго, Луи Блана, Мишле, Лелевеля, пришедших на закладку свободного русского дела», — говорит он в другом месте[4]. К двум из этих людей — Мишле и Прудону — Герцен обращался со своей личной драмой, ища у них сочувствия и поддержки против Гервега.

Со своей стороны, знаменитые друзья платили Герцену той же данью уважения и симпатии. Они постоянно присоединяют к его имени лестные эпитеты, называя его то «лучшим сердцем и благороднейшим умом», как Виктор Гюго, то «голосом сотен миллионов людей», «великим представителем славян», как Мишле, то «чистосердечнейшим из людей, прекрасной личностью, самым бескорыстным революционером и выдающимся русским» — как Прудон[5]. Все они с интересом следят за его литературными выступлениями, очень высоко оценивая его как писателя. «Я прочитал вашу красноречивую брошюру, — пишет Луи Блан по поводу «La France ou l'Angleterre» — в ней есть страницы, которые я хотел бы считать своими»[6]. Гюго цитирует отрывки из «Былого и дум» в своей статье «Les Tyrans» («Тираны»)[7]. Мишле отзывается о них как о книге «трепещущей жизнью», «все, что исходит из-под вашего пера, — говорит он Герцену по прочтении «Былого и дум», — носит на себе яркую печать оригинальности, остроумной и красноречивой»[8]. Аналогичных цитат можно было бы привести множество. Даже сам скупой на похвалы Прудон находит «Развитие революционных идей в России» — превосходной работой, а «Ответ Мишле» — очень хорошим[9]. Французские друзья считались с мнением Герцена как читателя и критика. Они постоянно посылают ему свои новые произведения с просьбой высказаться, а иногда, как это делали Мишле и Прудон, с просьбой оказать содействие распространению книг в Англии, Америке, России.

Содержание публикуемых нами писем не разочаровывает. Они достойны имен, которыми подписаны. Они затрагивают дела и события равно значительные и для адресата и для корреспондентов. Все письма оставались до сих пор неопубликованными и не были использованы ни в русской, ни в иностранной литературе.

1. ПИСЬМА ПРУДОНА А. И. ГЕРЦЕНУ

«Между социалистическими писателями, Герцен больше всего сочувствовал Прудону...», влияние Прудона на Герцена «огромно» — говорит Плеханов[10]. И действительно, начиная с 1843 г. имя Прудона не сходит со страниц дневников, сочинений и переписки Герцена. Это, пожалуй, наиболее часто цитируемый и упоминаемый им автор. В 1847 г. Герцен лично познакомился с Прудоном, и это знакомство переходит затем в прочную, дружескую связь. Однако отношения Герцена к Прудону вовсе не следует представлять себе, как нечто неизменное, раз и навсегда установившееся. Напротив, они претерпели очень большую и глубокую эволюцию. Первое знакомство с сочинениями Прудона вызвало у Герцена восторг, и, по свидетельству современников, он утверждал, что «только две стоящие книги вышли в XIX в. — это «Сущность христианства» Фейербаха и «Система экономических противоречий или философия нищеты» Прудона»[11]. Наибольшей силы увлечение Прудоном достигло у Герцена в революционый период 1848—1850 гг., в связи с выступлениями Прудона в Национальном Собрании и его борьбой одновременно и с республиканцами, и с Луи Бонапартом. В те годы Прудон для Герцена «действительная глава революционного принципа во Франции... новейший Самсон, который из своей тюрьмы заставляет дрожать европейское здание»[12]. Позднее, после выхода в свет книги Прудона «О справедливости» и еще более, когда обнаруживается позиция Прудона в национальном вопросе, в частности польском, наступает охлаждение, мучительный и болезненный для Герцена процесс отхода от Прудона. Он проводит резкую грань между Прудоном того времени, «когда он еще сидел в St.-Pélagie», издавал «La Voix du Peuple», был в открытой войне с государственной несправедливостью и не писал ни «De la Justice» ни «De la Cuerre»[13], -и тем, который эти книги написал. Он называет теории общественного переустройства, предлагаемые Прудоном, «почтенным убожеством по Прудону», которого «решительно не хотят народы». С горечью говорит об «ужасном бесчеловечьи», с которым Прудон «упрекал Польшу, что она не хочет умирать»[14]. Герцен перестает теперь видеть в Прудоне главу революционного и социалистического движения. Он считает, что у Прудона «нет положительных выводов, а только критика» (Плеханов). «Прудон не разрешил великих вопросов, не снял страшных сомнений, не основал школы, но оставил диалектический таран. Может быть он и думал, что умеет лечить, но сила его была не в лечении, а в рассечении трупов», — писал Герцен в некрологе Прудона (1865 г.). Впрочем это не помешало ему все же назвать некролог горстью, брошенной «на гроб учителя»[15].

Идеологические расхождения сказались и на личных отношениях. Правда, никакого разрыва, конфликта между ними не происходит. Герцен сохраняет к Прудону симпатию и уважение, о чем свидетельствует хотя бы упомянутый некролог Прудона, весь проникнутый горячим сочувствием к человеку, чью жизнь он называет «подвигом». Но если ранее они встречаются, переписываются, привлекают друг друга к литературному сотрудничеству, обмениваются своими новыми произведениями, то после 1859 г. они уже ни разу не видятся, а с 1861 г. обрывается и их переписка. Лишь в последний год жизни Прудона, летом 1864 г., Герцен посылает ему медаль, выбитую в честь десятилетия вольной русской печати, которую он послал также Маццини, Гюго и другим друзьям «вольного русского дела». Но случайно или нарочито, Герцен направляет свой подарок не непосредственно Прудону, а Громору,



ПРУДОН

Портрет, сделанный в Консьержери в 1851 г.

Местонахождение оригинала неизвестно

«для передачи Прудону» и хотя «с величайшим респектом», но без всякого сопроводительного письма[16]. Наконец, в ноябре того же 1864 г., за два месяца до смерти Прудона, Герцен передает ему поклон через Самарина.

Выше мы привели несколько выдержек, характеризующих оценку Герцена Прудоном как революционера, человека и писателя. Число таких положительных высказываний Прудона о Герцене можно было бы значительно увеличить. Они встречаются как в непосредственных обращениях к Герцену, так и в письмах к близким и к общим знакомым. В течение ряда лет Герцен входил в небольшую группу избранных лиц, составлявших ближайшее окружение строгого и разборчивого на людей Прудона. «С 1846 г. около Прудона, — пишет Сент-Бев, — мало-помалу образовывается кружок новых друзей, из числа людей, которые были увлечены его системой и

идеями, и которых в то же время притягивала к себе его сильная и обаятельная личность (Даримон, Ланглуа, Дюшен, Шоде, Матэ, Кретен, Шарль Эдмон, Герцен, Массоль, Ролла и Делгас)»[17]. Отношение Прудона к Герцену отличалось искренностью, отзывчивостью, постоянством. Прудон горячо откликнулся на постигшее Герцена семейное горе — гибель сына и матери, поддерживал его попытку разоблачения Гервега.

Идеологические и политические разногласия между Герценом и Прудоном, обозначившиеся в 1860-х гг., приводят также и Прудона к иным, чем ранее, оценкам друга. Заявив себя противником всяких национально-революционных движений, противником польского восстания, Прудон не мог не осудить деятельности Герцена того периода. У него срываются теперь по адресу Герцена ворчливые замечания вроде следующего, которое мы находим в письме к Шоде от 1 июля 1862 г.: «Все, что в течение двух-трех лет делают все эти Гарибальди, Мерославские и даже сам Герцен, мне глубоко антипатично. Это все тот же старый стиль на манер Робеспьера, все то же пустозвонство, все тот же маккиавелизм под маской суверенитета народа и свободы наций»[18]. Отходу от Герцена способствует, по всей вероятности, и сближение в те годы Прудона с журналистом и агентом русского правительства Шедо Феротти (Фирксом), сумевшим втереться в доверие к Прудону. Шедо становится теперь вместо Герцена корреспондентом и информатором Прудона по русским вопросам[19]. Точку зрения Прудона на русские и польские дела и на роль Герцена вскрывает во всей обнаженности опубликованное письмо его к Самарину от 3 ноября 1864 г.[20]: «...Приношу вам мои беспредельные поздравления с тем, что вам довелось поработать над истинным освобождением польского народа. Надеюсь, что теперь этой ненавистной аристократии пришел конец. Вот уже более тысячи лет, как она томит и скандализует Европу. Я изучил ее историю и решительно не могу сказать, в какую эпоху она являла себя наиболее гнусной. Преступно было со стороны ваших царей, что они терпели так долго ее существование». Затем Прудон переходит к Герцену, которому посвящена остальная часть письма. «Что бы я дал, чтобы подробно переговорить об этом с нашим добрейшим Герценом!» — восклицает он: «Как глубоко я сожалею о том, что он поставил себя между русским национальным чувством, с одной стороны, и строптивой спесью поляков, с другой. Как желал бы я, чтобы с того дня, как Александр II вступил на широкий путь эмансипации, Герцен заставил замолкнуть свой «Колокол»... Бороться с Николаем — это было доблестно, но продолжать, не видоизменяя, ту же политику в отношении Александра — это уже неловкость или, во всяком случае, важное неудобство!». И, как бы смущенный своей защитой деспотизма, Прудон добавляет: «Знаю хорошо, что автократ все же останется автократом, но в данном случае отношение к императору должно было отодвинуться на второй план — на первом же стоять уважение к самому русскому народу». Понятно, что с таким Прудоном у Герцена общего языка быть не могло. Ведь именно к Герцену 60-х годов относятся слова Ленина: «Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидел его в *60-х* [подчеркнуто в тексте], он бесбоязненно встал на сторону революционной демократии, против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем»[21]. Но если цитированное письмо Прудона показывает всю глубину принципиальных расхождений между ним и Герценом, оно свидетельствует и о том, что личные симпатии к Герцену он сохранил. Из письма явствует, что Герцен направляет Самарина к Прудону и что рекомендации Герцена, а, может быть, даже простой ссылки на него достаточно, чтобы открыть Самарину доступ к тяжело больному, почти умирающему Прудону. Не будучи в состоянии говорить с Самариным из-за приступа болезни, он заверяет его, что если бы не болезнь, он принял бы его с той же «готовностью, с какой бы я принял самого друга моего Герцена».

Таковы, в самых общих чертах, взаимоотношения Герцена и Прудона. Переписка их давно уже стала достоянием печати. Сам Герцен в «Полярной Звезде» опубликовал в выдержках некоторые письма к нему Прудона. Четыре письма вошли в издание «Correspondance» Прудона 1875 г. — два из них тогда же, правда с купюрами из-за цензурных рогаток, появились на русском языке в «Вестнике Европы»[22]. В собрании сочинений Герцена Лемке поместил 6 писем Герцена к Прудону и 7 писем последнего к Герцену, а также приписку Прудона, адресованную Герцену в письме Шарля Эдмона. Одно письмо Прудона к Герцену, сохранившееся в копии, опубликовано в «Литературном Наследстве» № 15. Часть писем Прудона в изданиях Лемке известна лишь в русских переводах. Рауль Лабри нашел и опубликовал в своей книге оригиналы двух таких писем Прудона, помещенных Лемке по-русски и с купюрами[23]. И все же, переписка Герцена с Прудоном, несмотря на весь ее интерес, до сих пор остается неполной и ждет еще своего настоящего издания. Недохватка нескольких писем совершенно очевидна. Наши письма не принадлежат к таким явным пропускам и свидетельствуют, что ненайденных писем Прудона больше, чем то предполагали, и что нашей находкой число их едва ли исчерпывается.

Оба публикуемые письма Прудона к Герцену охватывают существенные факты жизни и деятельности обоих писателей. Первое связано с субсидированием Герценом

газеты Прудона «Voix du Peuple», выпущенной, как известно, на средства Герцена, в которой он сотрудничал и которой придавал такое большое значение. Второе касается книги Прудона «О справедливости», нанесшей, как мы видели, первый удар увлечению Герцена идеями Прудона, и новой попытки Прудона привлечь Герцена к совместной журнальной работе.

Вот текст первого письма:

Conciergerie, 13 Août 1849

Monsieur Herzen, présentement à Genève.

La personne qui vous remettra la présente est M. A. Guillemin, mon ami et compatriote, administrateur de l'ancien journal le Peuple, supprimé par suite de l'état de siége.

M. Guillemin est autorisé par moi à négocier auprès de vous un emprunt de 24.000 fr., dans les conditions au projet ci-inclus en double exemplaire, comme aussi à modifier ou réduire les dites conditions, selon que vous l'aurez d'un commun accord jugé utile, et pourvu que les dites modifications ne changent point l'esprit et l'ensemble du traité.

Regrettant fort de ne pouvoir vous présenter moi-même mes amitiés, et surtout de jouir des agréments du voyage, je vous prie, Monsieur, d'accueillir M. Guillemin, comme vous auriez pu faire moi-même, ou plutôt M. Charles Edmond, avec lequel je me suis entendu pour le départ de mon ami.

Dans l'impatience de recevoir bientôt de vos bonnes nouvelles, je vous présente, Monsieur, mes salutations fraternelles.

P.-J. Proudhon

Перевод:

Консьержери, 13 августа 1849 г.

Господину Герцену, находящемуся в настоящее время в Женеве.

Лицо, которое передаст вам настоящее письмо, г. А. Гильмен — мой друг и соотечественник, администратор выходившей ранее газеты «Le Pauple» и закрытой вследствие осадного положения.

Господин Гильмен уполномочен мною вести с вами переговоры относительно займа в 24.000 франков на условиях, проект которых в двух экземплярах при сем прилагается, а равно уполномочен изменять, пополнять или сокращать вышеуказанные условия, в случае, если по обоюдному соглашению вы найдете это нужным и при условии, чтобы вносимые изменения не нарушили основного духа и характера договора.

Очень сожалея, что не могу лично засвидетельствовать вам своих дружеских чувств, в особенности же, что лишен возможности совершить это приятное путешествие, прошу вас, милостивый государь, принять г. Гильмена так, как приняли бы меня самого или вернее г. Шарля Эдмона, с которым я договорился относительно поездки моего друга.

С нетерпением ожидая от вас в скорости добрых вестей, шлю вам, милостивый государь, братский привет свой.

П.-Ж. Прудон

Герцен в «Былом и думах» останавливается на эпизоде издания «Voix du Peuple», но опускает детали и излагает лишь в общих чертах ход переговоров с Прудоном, подчеркивая, главным образом, принципиальную сторону дела. Лемке и Лабри дополнили рассказ Герцена документальными данными, восстановившими некоторые интересные моменты, отсутствующие у Герцена. Наше письмо позволяет восстановить еще одно звено развития событий. Оно является первым, или одним из первых непосредственных обращений Прудона к Герцену по поводу газеты «Voix du Peuple», а если не считать приписки к письму Шарля Эдмона — то и вообще первым из обнаруженных до сих пор писем его к Герцену.

Написано это письмо из тюрьмы Консьержери, где Прудон отбывал в то время наказание за свои статьи против Луи Бонапарта, в которых суд Республики усмотрел оскорбление президента и возбуждение классовой розни. Газеты, редактировавшиеся Прудоном, «Le Représentant du Peuple», а затем «Le Paupl«», были закрыты после ряда преследований. Для возобновления своего органа Прудону необходимо было внести залог в 24 тысячи франков, установленный законом о печати после июньских

дней 1848 г. В поисках этих денег Прудон через общих друзей, Шарля Эдмона и Сазонова, обратился за средствами к Герцену. Последний, находившийся в то время в самом разгаре увлечения Прудоном, с одной стороны, и искавший трибуны для обращения к западным читателям, с другой, — ответил согласием. «Участвовать в восстановлении такого органа как «Peuple», говорит Герцен, стоило пожертвований». «Я написал Сазонову и Хоецкому, что готов внести залог» [24]. Публикуемое письмо послано, по всей вероятности, вскоре после того как Прудону стал известен этот ответ Герцена. Однако, несмотря на всю готовность помочь изданию газеты, Герцен обусловливал дачу денег требованием представить ему в газете заметную роль. Очень возможно, что Прудон, отправляя Гильмена с проектом договора в Женеву, уже знал об этих желаниях Герцена и несколько опасался их. На эту мысль наводят слова публикуемого письма, оговаривавшие право Гильмена соглашаться на изменения и дополнения договора лишь постольку, поскольку это не нарушит его духа и характера. К сожалению, при письме не сохранился упоминаемый в нем проект договора, о существовании которого до сих пор вообще ничего не было известно. Сопоставление этого, составленного Прудоном, первоначального проекта с дефинитивным договором, текст которого опубликован [25], лучше всего вскрыло бы сущность разногласий Герцена с Прудоном. Как бы то ни было, но Герцен не согласился с присланным ему проектом, и герценовские притязания, видимо, превысили полномочия Гильмена. Герцен составил свой контр-проект соглашения и 19 августа 1849 г. направил его Прудону. Указание на это встречается в письме Прудона к Герцену от 23 августа 1849 г. [26]. Письмо Герцена от 19 августа не сохранилось, но сам Герцен в «Былом и думах» рассказывает о своем желании показать в нем Прудону, что деньги он дает не из преклонения перед ним, как великим человеком, не из революционного дилетантизма, не из хвастовства и не потому, что считает газету Прудона серьезным помещением денег. «Я хотел, — говорит Герцен, — иметь положительное влияние на журнал и требовал, во-первых, права помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права заведывать всей иностранной частью, рекомендовать редакторов для нее, корреспондентов и проч.» [27]. Со своей стороны Прудон, принимая деньги, менее всего готов был поступиться чем-нибудь существенным из того, к чему, он полагал, обязывало его звание редактора. Задачу своей газеты он видел в руководстве начатой им «битвы труда с капиталом... кампанией против собственнического режима» [28]. Естественно поэтому, что требования Герцена, которого он к тому же тогда еще мало знал как человека и совсем не знал как писателя, «покоробили», по герценовскому выражению, Прудона. Простая формальность подписания условий на денежную сумму превратилась, таким образом, у этих людей, хорошо знавших, чего они хотят, и не привыкших в вопросах убеждения итти на уступки, в принципиальный спор. В результате они все же сговорились на компромиссе. Прудон принял контр-проект, предложенный Герценом, сообщив ему в указанном письме от 23 августа, что он просто переписал присланный ему текст соглашения, не вызывающий у него возражений, и ограничился некоторыми изменениями, уточняющими смысл. Судя по дальнейшему тексту письма, эти уточнения не были, однако, так несущественны, как их склонен был рассматривать Прудон. Выразив согласие принимать без всякого контроля статьи Герцена, Прудон оговорил свое право вето в тех случаях, когда редакцию обязывало к этому «уважение к своим мнениям и страх судебной ответственности» [29]. Повидимому, к этому и сводились исправления, внесенные Прудоном в соответствующие параграфы договора. Конечно, все это не более как наше предположение, поскольку черновик контр-проекта Герцена нам также не известен и его нельзя сопоставить с окончательным текстом договора, который представлял собой контр-проект Герцена, отредактированный Прудоном, то есть третий по счету вариант соглашения. Любопытно, что договор в своем дефенитивном виде сохранил дату 14 августа, очевидно — дату первоначального проекта, посылавшегося Герцену с Гильменом при публикуемом письме.

Получив письмо Прудона от 23 августа, Герцен подписал условия и внес залог. Первый номер «Voix du Peuple» вышел 20 сентября 1849 г. Герцен был очень доволен газетой. «Журнал, по его словам, пошел удивительно... Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром» [30]. Газета очень хорошо расходилась, и ежедневно продавалось от 35.000 до 40.000 экземпляров. Особенно интересные номера печатались тиражом в 50—60 тысяч. Но просуществовала «Voix du Peuple» не долго. После ряда преследований и штрафов, в мае 1850 г. газета была закрыта. Прудон, еще не отбывший срока своего заключения, подвергся новому судебному преследованию. Залог, внесенный Герценом, пропал. Герцен поместил в «Voix du Peuple» несколько статей, вошедших потом в книгу «С того берега». Очень большой успех имела напечатанная в газете статья его «Ответ Донозо Кортесу». Своими редакторскими правами, так ревностно отстаиваемыми, Герцен почти не воспользовался. Большую часть времени, пока существовала «Voix du Peule», он провел вне Парижа. Руководить иностранным отделом со стороны было трудно, и отдел, в отсутствии Герцена, по его просьбе вел Шарль Эдмон.

Второе публикуемое письмо Прудона к Герцену написано спустя 11 лет после первого. Эти 11 лет включают и годы наибольшей близости, и начальный период

расхождения писателей. Поводом обращения к Герцену послужило предпринятое Прудоном новое издание его книги «О справедливости», впервые вышедшей в свет в 1858 г. [31]. Новое издание было переработано, печаталось отдельными выпусками, с приложением к каждому обзора современных политических событий. Прудон рассчитывал на сотрудничество Герцена в этом отделе текущей политики, а также на отклик «Колокола». Книга «О справедливости», как уже указывалось, нанесла первый и сильный удар увлечению Герцена Прудоном. «Читаю теперь 3-й том» [«О справедливости»]..., — писал Герцен Мальвиде Мейзенбуг 4 июня 1858 г. — «Человек, который мог написать целый том (двести страниц с лишним) чисто римско-католической клеветы против женщины — не свободный человек». А через несколько дней в письме к ней же от 9 июня 1858 г., он снова возвращается к книге «О справедливости». «Давно мне не было так невыразимо больно, как при чтении книги Прудона. Умирает римский мир и эта книга — его надгробный камень. Весь третий том, за исключением главы о прогрессе, печален, печален. Это старик, диктующий свое завещание» [32]. Позднее, в «Былом и думах», Герцен высказывается еще суровей: «Прудон издал свое большое сочинение о справедливости в церкви и революции. Книгу эту, за которую одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы, прочитал я внимательно и закрыл третий том, задавленный мрачными мыслями. Тяжелое, тяжелое время! Разлагающий воздух его одуряет сильнейших!» [33]. Злыми, ироническими словами характеризует Герцен основные положения Прудона. Он называет его теорию о справедливости «старыми, изношенными пугалами из гегелианизма правой стороны». Считает, что требования Прудона пожертвовать всем для воплощения идеи справедливости, «вздор». С горечью отмечает, что Прудон в этом своем сочинении защищает в сущности то, с чем боролся всю жизнь. «Прудон, говорит Герцен, освобождаясь от всего, кроме разума, хотел остаться не только мужем, вроде Синей бороды, но и французским националистом с литературным шовинизмом и безграничной родительской властью и потому, вслед за крепкой, полной сил мыслью свободного человека, слышится голос свирепого старика, диктующего свое

ПИСЬМО ПРУДОНА ГЕРЦЕНУ ОТ 13 АВГУСТА 1849 г.

Исторический музей, Москва

завещание и хотящего теперь сохранить своим детям ветхую храмину, которую он подкапывал всю жизнь»[34]. Знал ли Прудон о жестокой оценке, которую получила его книга у Герцена — неизвестно. Весьма правдоподобно, что критика Герцена до него не дошла. К моменту, когда сочинение «О справедливости» вышло в свет, они не виделись уже почти восемь лет (последнее их свидание произошло в июне 1850 г. в Консьержери, где Герцен посетил Прудона) и не переписывались около трех (по крайней мере, никаких следов их переписки с 1856 по 1858 г., как и за последующий 1859 г., не сохранилось). «Полярная Звезда», в которой, в № 5 за 1859 г., появилась герценовская характеристика книги «О справедливости», была для Прудона недоступна. Отношения возобновились после свидания в Брюсселе в октябре 1859 г. Встреча носила дружеский характер и прошла в оживленной беседе на острые политические темы. По всей вероятности, обсуждения уже не нового к тому времени сочинения «О справедливости» не было. Во всяком случае, Прудон, отметивший посещение Герцена в своем дневнике, об этом не упоминает»[35]. Вот почему Прудон, приступая к выпуску в свет 2-го издания книги «О справедливости», спокойно просил у Герцена содействия этому, столь строго порицаемому Герценом произведению. Прудон писал Герцену по поводу этого нового издания дважды. Наше письмо является вторым из этих писем. Вот текст письма:

Ixelles-les-Bruxelles, rue du Conseil, 8

30 mars 1860

Cher Monsieur Hertzen,

J'ai reçu votre seconde et encourageante lettre. Je ne doutais pas de votre bonne volonté pour mon oeuvre, qui est la vôtre; je vous remercie de vos bonnes et affectueuses paroles.

Vous avez dû recevoir un exemplaire de la I-re livraison de ma 2-e Edition.—Vous y trouverez mon Programme de philosophie populaire, et à la fin du volume, sous la rubrique Nouvelles de la Révolution, un début assez faible, dans la politique périodique.

La lecture du Programme vous fera comprendre ce que je fais et où je veux aller. Lisez le paragraphe relatif à la Propagande; celui sur la Situation; et vous verrez comment j'entends travailler à la réforme de l'opinion, ou par suite au progrès de la révolution.

Dans ma 1-re livraison, j'ai voulu saisir les esprits d'une idée, que les sociétés ne vivent que par les principes: que sans les principes, elles tombent en dissolution, témoin le gouvernement de Napoléon III, témoin la France.

Dans la 2-e livraison qui paraitra sous quelques jours, mon article Révolution roulera sur la Dignité des nations. Ce sera d'un goût plus relevé, et que je vous recommande.

Envoyez-moi de votre côté tout ce qui vous semblera utile.

Si l'exemplaire dont je vous parle ne vous était pas parvenu malgré la diligence que j'y ai mise, faites-le moi savoir, et je renouvellerai l'envoi.

Tout votre
P.-J. Proudhon

Перевод:

Иксель-Брюссель, ул. Совета, 8

30 марта 1860 г.

Любезный Герцен,

Я получил ваше второе и ободряющее письмо. Я не сомневался в вашем сочувствии моему делу, которое является и вашим. Благодарю вас за хорошие, сердечные слова. Вы должны были уже получить экземпляр первого выпуска моего второго издания. Вы найдете там мою «Программу популярной философии» и в конце тома, в разделе «Новости революции», довольно слабый дебют в области текущей политики. Чтение «Программы» даст вам представление о том, что я делаю и куда иду. Прочтите параграф, относящийся к «Пропаганде», и вы увидите, как я мыслю работать над реорганизацией взглядов, а следовательно, и над развитием Революции.

В первом выпуске я стремился увлечь умы той мыслью, что общества живы только **принципами** и что при отсутствии **принципов** они разлагаются. Свидетельство тому — правление Наполеона III, свидетельство тому — Франция.

Во втором выпуске, который выходит из печати в ближайшие дни, в «Новостях революции», есть моя статья о «Достоинстве наций». Эта вещь более высокого уровня и я рекомендую ее вашему вниманию.

Посылайте мне со своей стороны все, что вам кажется полезным.

Если несмотря на все приложенные мною старания книга, о которой я говорю, до вас не дошла — уведомите меня и я вышлю вам вторично экземпляр.

Весь ваш П.-Ж. Прудон

Письмо является ответом на письмо Герцена от 23 марта 1860 г., в свою очередь написанное в ответ на прудоновское от 15 марта 1860 г. А это последнее было вызвано получением Прудоном только что вышедшего французского издания



МИШЛЕ

Фотография, 1860-е гг.

«Былого и дум». Книга была послана Герценом в начале того же марта 1860 г. при письме, которое до нас не дошло. Вот почему Прудон говорит, что получил «второе» письмо Герцена. Содержание публикуемого документа тесно связано с предшествующей перепиской писателей. В письме от 15 марта Прудон, сообщив Герцену, что он сдал в печать исправленное и дополненное издание книги «О справедливости», просил Герцена процитировать ее в «Колоколе», обещая, со своей стороны, помещать в своем издании цитаты из Герцена. «Мы оба, писал Прудон, служим одному делу и работаем, хотя каждый по-своему, для одной цели. Пока государи заводят разную кутерьму и упражняются в резне, дадим нашей мыслью начало европейской федерации. Мы найдем корреспондентов немецких, голландских, фламандских и др. При небольшом усердии мы могли бы в течение 6 месяцев охватить всю Европу нашей сетью... Прочтите мою книгу без предвзятой мысли. Обратитесь только к вашему сознанию и обдумайте, что можете сделать в ответ на мой призыв»[36]. Герцен, у которого еще не было в тот момент политических разногласий с Прудоном, так резко обозначившихся в следующем, 1861 г., горячо откликнулся, и недаром Прудон называет его письмо «ободряющим». Он обещал поговорить об издании в «Колоколе» и просил поместить свое имя и имя Огарева в список сотрудников, если таковой

будет печататься. Что касается непосредственного участия в качестве автора, то, ссылаясь на чрезмерную занятость, Герцен предложил Прудону приспособленный для французской публики перевод своей серии писем о «России и Польше», которые в то время печатал, перечислив Прудону основные положения писем. Из всех этих обещаний осуществленным оказалось только одно: в № 71 «Колокола» от 15 мая 1860 г. появилось извещение о выходе в свет 2-го издания книги «О справедливости» и обращалось внимание «почитателей великого диалектика социализма» на этот новый его труд. «Письма о России и Польше» в выпусках Прудона не появились. Неведение того, что ответил Прудон на предложение Герцена, допускало предположение, что быть может тема, намеченная Герценом, была встречена не вполне сочувственно[37]. Наше письмо рассеивает все сомнения на этот счет. На сей раз, не так, как во времена «Voix du Peuple», Прудон был готов безоговорочно принимать все, что Герцен нашел бы нужным поместить в его выпусках. «Посылайте мне со своей стороны все, что вам кажется полезным», — так лаконически сформулировал он свои редакторские пожелания к Герцену. Причину несостоявшегося сотрудничества Герцена в издании Прудона нужно, следовательно, искать в другом, но она остается неясной. Никаких указаний на то, следил ли Герцен за статьями раздела текущей политики, добавляющими 2-е издание книги «О справедливости», как он оценивал эти статьи, и не они ли заставили его воздержаться от совместных печатных выступлений с Прудоном — нет. Впрочем, мало вероятно, чтобы Герцен, внимательно читавший все выходившее из-под пера Прудона, сделал исключение для книги «О справедливости», предполагая, к тому же, печататься в ней. Вполне возможно поэтому, что Герцена останавливали все же политические разногласия. В период выхода в свет второго издания книги «О справедливости» формировались те взгляды Прудона на национальный вопрос и на роль войны, которые уже в начале 1861 г. вызовут самый решительный отпор Герцена. Эти неприятные Герцену тенденции проскальзывают в высказываниях Прудона на страницах нового издания книги «О справедливости». Так, в статье, помещенной в IV выпуске, Прудон выступает сторонником выдвинутого венским конгрессом принципа «европейского равновесия» и, следовательно, сторонником неприкосновенности Австрии со всеми вытекающими отсюда выводами в отношении угнетаемых ею национальностей. В выпуске XII издания Прудон в ироническом, пренебрежительном тоне, так возмущавшем Герцена, говорит о начавшейся в Польше борьбе[38]. Разбираясь в причинах отсутствия статей Герцена в новом издании книги «О справедливости», нужно также иметь в виду, что это издание, по форме и содержанию, мало походило на международный политический журнал, участвовать в котором приглашался Герцен. Прудон, как указывает Р. Лабри, сам вскоре охладел к идее создания международного органа и возможно, что он не настаивал на выполнении Герценом обещания о сотрудничестве.

2. ПИСЬМО МИШЛЕ А. И. ГЕРЦЕНУ

В противоположность отношениям к Прудону, отношения Герцена к Мишле носили спокойный, ровный характер. Знакомство с знаменитым историком, за сочинениями которого Герцен следил еще в России (в дневниках 1833 г. уже встречаются записи о чтении книг Мишле), произошло летом 1851 г. в Париже. Между ними сразу завязывается оживленный обмен мнений. Мишле посвящает только что вышедшей тогда «Истории развития революционных идей в России» сочувственные строки, а Герцен публикует вскоре свой «Ответ Мишле» на печатавшуюся в 1851 г. «Pologne et Russie. Légende de Kozstiouzko», пишет для Мишле биографию Бакунина, пересылает ему статью русского эмигранта В. А. Энгельсона о Петрашевском. Одновременно возникает и растет дружба писателей, остававшаяся ничем не омраченной в продолжении почти двадцати лет, до смерти Герцена, которого Мишле пережил. Герцена прежде всего пленила в Мишле «искренность и простота», свойственные, по его словам, «только людям страстно любящим истину»[39]. Исключительная сердечность, проявленная Мишле во время постигших Герцена семейных несчастий, его симпатия к Н. А. Герцен и Бакунину, сблизили их крепко и навсегда. Чувство «искреннего уважения», которое вначале внушает к себе Мишле, переходит вскоре у Герцена в подлинную привязанность. Мишле становится для него настолько своим, что в одном из писем к Огареву он в шутку говорит, словно речь идет о ком-нибудь из интимных русских друзей: «Завтра с утра поеду в Замоскворечье к Мишле»[40]. Герцен не забывает посылать Мишле иностранные издания своих сочинений, дарит ему портреты (свой, Огарева, Бакунина, Чаадаева). Неизменно остается и герценовское восхищение Мишле-историком. В 1868 г., за два года до смерти, когда столько прежних увлечений было им подвергнуто жестокой критике и безжалостно отвергнуто, Герцен пишет Мишле: «нынешнюю осень я перечел вашу «Историю революции» от 21 января до конца. Боже, какие страницы, какие главы! Это самая поэтическая и самая целомудренная история великого катаклизма. Не сердитесь на меня, что я так от-

Paris r. de l'ouest, 44 18 oct. 56

Cher monsieur

je reviens d'un long voyage en Suisse qui ne m'a guère servi pour ma santé, et ma première pensée est de vous rappeler deux choses :

Ne m'avez-vous pas fait espérer que, si vous le pouviez, vous passeriez à Paris ? je serais bien heureux de vous serrer la main et de rompre le pain avec vous.

Vous m'aviez dit aussi que vous m'enverriez vos Mémoires. Je ne parle pas l'anglais, mais je le lis. Si vous aviez besoin de la publicité française, j'ai quelques amis dans la presse. Je serais charmé d'aider à répandre votre livre.

Où dois-je vous envoyer La Ligue qui paraît en novembre, c'est le dernier des quatre qui contiennent l'histoire du XVI siècle. L'ouvrage comme vous pouvez le croire, a été l'objet d'une proscription croissante de la part du clergé. Il y a des libraires qui n'osent le vendre. D'autant plus il m'importe de le répandre dans les pays protestants. Je vous prierai, si vous n'êtes plus à Londres, de m'indiquer auquel de vos amis je pourrai adresser La Ligue, pour qu'elle soit annoncée en Angleterre, en Amérique et en Russie. — J'en dis autant de L'oiseau, livre innocent qui doit entrer en Russie sans difficulté. Nous y avons parlé (ma femme a fort travaillé aussi à ce livre) des écoles de Rossignols qui existent dans quelques maisons russes. —

Je vous serre la main affectueusement

J. Michelet

ПИСЬМО МИШЛЕ ГЕРЦЕНУ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 1856 г.

Исторический музей, Москва

кровенно высказываюсь. Я плакал, читая последние страницы о смерти Дантона и его друзей. Недавно я закончил том о последних монтаньярах. Как ваше прошлое велико!» [41].

Не менее устойчивы и отношения Мишле к Герцену. Во всех высказываниях о нем, начиная с первого, по поводу «Развития революционных идей в России» и кончая некрологом Герцену [42], Мишле постоянно отдает дань «очаровательному уму» Герцена, его писательскому таланту, его патриотизму, признает, что от Герцена впервые узнал о «настоящей России» и научился правильному ее пониманию. Мишле всегда осведомлялся о судьбе герценовских изданий, радовался их успехам, огорчался их неудачам. Исчезновение «Колокола» расценивается им, как «бедствие для всей Европы» [43].

В дневниках Мишле сохранились две записи его о Герцене: от 5 апреля 1854 г.— «братство с Бакуниным и Герценом» и от 14 сентября 1871 г. под заголовком «Мои друзья различных национальностей». В этом сделанном им для себя интимном перечне после имени Мицкевича стоит имя Герцена [44].

Переписка между Герценом и Мишле началась с первых же месяцев их знакомства, после вынужденного отъезда Герцена из Парижа. Герцен поместил отрывки из письма к нему Мишле в «Полярной Звезде» (1856). Г. Моно опубликовал 29 писем Мишле и 6 писем Герцена в «La Revue» (№№ 10, 11, 1907). Лемке пополнил эту переписку 24 письмами Герцена, а 27 писем Мишле, соответствующие текстам «Revue», даны им в русском переводе и частично в извлечениях. О существовании позднейших публикаций нам ничего неизвестно. Можно, однако, с уверенностью сказать, что указанным числом переписка писателей не ограничивалась [45]. Как в переписке с Прудоном, тут также налицо явные пропуски. Публикуемое нами письмо не имеет адресата. Однако и общее его содержание и отдельные детали не оставляют сомнения в том, что им мог быть только Герцен. Текст письма следующий:

Paris, r[ue] de l'Ouest, 44
18 oct[obre 18]56

Cher monsieur,

Je reviens d'un long voyage en Suisse qui ne m'a guère servi pour ma santé, et ma première pensée est de vous rappeler deux choses:

Ne m'aviez-vous pas fait espérer que, si vous pouviez, vous passeriez á Paris? Je serais bien heureux de vous serrer la main et de rompre le pain avec vous.

Vous m'aviez dit aussi que vous m'enverriez vos *Mémoires*. Je ne parle pas l'anglais, mais je le lis — si vous aviez besoin de la publicité française, j'ai quelques amis dans la presse — je serais charmé d'aider à répandre votre livre.

Où dois-je vous envoyer *La Ligue* qui paraît en novembre. C'est le dernier des quatre qui contiennent *l'Histoire du XVI*[e] *siècle*. L'ouvrage comme vous pouvez le croire, a été l'objet d'une proscription croissante de la part du clergé. Il y a des libraires qui n'osent le vendre. D'autant plus il m'importe de le répandre dans les pays protestants. Je vous prierai, si vous n'êtes plus à Londres, de m'indiquer auxquels de vos amis je pourrai adresser *La Ligue*, pour qu'elle soit annoncée en Angleterre, en Amérique et en Russie. — J'en dis autant de *l'Oiseau*, livre innocent, qui doit entrer en Russie sans difficulté — nous y avons parlé (ma femme a fort travaillé aussi à ce livre) des *écoles de Rossignol* qui existent dans quelques maisons russes.

Je vous serre la main affectueusement.

J. Michelet

Перевод:

Париж, Западная ул., 44
18 октября 1856 г.

Милостивый государь,

Я только что вернулся из длительного путешествия по Швейцарии, не принесшего никакой пользы моему здоровью. Ведь вы обнадежили меня как будто, что,

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ БРОШЮРЫ ГЕРЦЕНА «РУССКОЙ НАРОД И СОЦИАЛИЗМ. ПИСЬМО К И. МИШЛЕ»

РУССКОЙ НАРОДЪ

и

СОЦIАЛИЗМЪ

ПИСЬМО КЪ И. МИШЛЕ

ИСКАНДЕРА.

Переводъ съ Французскаго.



ЛОНДОНЪ

ТРЮБНЕРЪ, 60, PATERNOSTER ROW.

1858.

если окажется возможным, приедете в Париж. Я был бы счастлив пожать вам руку и преломить с вами хлеб.

Вы говорили также, что пришлете мне свои «Воспоминания». По-английски я не говорю, но читать—читаю. Если вы нуждаетесь во французской прессе, то у меня есть несколько друзей в литературном мире. Я был бы очень рад содействовать распространению вашей книги.

Куда следует мне послать вам «Лигу», которая выйдет в свет в ноябре? Это последний из четырех томов, содержащих историю XVI в. Работа, можете поверить этому, явилась предметом все возраставших нападок со стороны духовенства. Есть книготорговцы, не решающиеся ее продавать. Тем более важно для меня распространить ее в протестантских странах. Я просил бы вас, если сами вы больше не в Лондоне, указать мне, кому из ваших друзей мог бы я направить «Лигу», чтобы о ее выходе стало известно в Англии, Америке и России. Равным образом, имею я в виду и книгу «Птица», сочинение совсем невинное, которое должно получить беспрепятственный доступ в Россию. Мы (моя жена также очень много потрудилась над этой книгой) рассказываем в ней о соловьиных школах существующих в некоторых русских домах.

Сердечно жму вашу руку
Ж. Мишле

Основная тема письма — просьба содействовать распространению его нового произведения и предложение сделать это со своей стороны для сочинений Герцена, характерна для писем Мишле к Герцену. Аналогичные просьбы и предложения встречаются в его переписке и более раннего и более позднего периода. Они находили обычно у Герцена, чрезвычайно высоко ценившего Мишле как писателя, живой отклик, и он с готовностью организовывал прессу для Мишле. В частности, это было сделано им для «Истории XVI века». Первый том истории, вышедший под названием «Возрождение (Renaissance), произвел на Герцена громадное впечатление: «После дивного сочинения Фейербаха («Wesen des Christent.») я не знаю ни одной книги, которая более могла бы способствовать отрезвлению людей от богословия», — писал

он Мишле по прочтении книги. «Еще раз спасибо, спасибо за ваши дивные, бессмертные страницы»[46]. И вот на простой запрос историка, в какие английские газеты и журналы следовало бы ему направить первый том «Истории XVI века», Герцен развивает целую программу охвата прессы и не только английской, но также американской, немецкой и пр. Он берет на себя выполнение этой программы и через своих английских, американских, итальянских и иных друзей связывается с несколькими крупными периодическими органами, в которых появляются статьи о новой книге Мишле. Что касается русского читателя, то он был оповещен самим Герценом, посвятившим «Возрождению» большую и восторженную статью в первой книжке «Полярной Звезды» и охарактеризовавшим его как «одно из самых поэтических и глубокомысленных исторических сочинений, когда-либо вышедших во Франции... как поэму, картину, философию эпохи, простой рассказ и вместе огненную полемику и страшный удар католицизму»[47]. С интересом Герцен следит и за последующими томами «Истории XVI века». «Мы все с нетерпением ждем вашей Réforme», пишет он Мишле 8 июля 1855 г.[48].

Встретив такую дружественную поддержку со стороны Герцена, Мишле, естественно, торопится посылать ему новые томы своей истории по мере выхода их в свет. О появлении «Лиги», о которой говорится в нашем письме, он извещает Герцена еще 9 сентября 1856 г. «Тысяча благодарностей за статьи ваших друзей о «XVI веке», — пишет он, — «Лига» появится 1 ноября. Сообщите куда вам послать ее и кому ее дать в Лондоне в ваше отсутствие»[49]. Но книги Мишле доходили до Герцена с опозданием. Книгоиздатели задерживали отправку. В сентябре 1856 г. Герцен сменил свою лондонскую квартиру на другую, что, вероятно, осложнило доставку ему корреспонденции. В письмах 1856 г. Мишле постоянно тревожится за судьбу направленных Герцену книг. «Лигу» Герцен получил, повидимому, только в конце декабря 1856 г. или в начале января 1857 г., так как в письме 16 декабря 1856 г. он просит М. К. Рейхель передать Мишле благодарность за книги (имея в виду «Лигу» и «Птицу»), о которых тот ему писал, но которых он еще не получил[50].

Непосредственное суждение Герцена о «Лиге» нам не известно, но нет никакого основания думать, что он исключил ее из общей оценки «Истории XVI века» Мишле, которую называл «дивной, поэтической, художественной» и в которой, как мы видели, он особенно ценил ее антиклерикальный характер. Неизвестно также, какие шаги предпринял Герцен для пропаганды «Лиги». О том, что Герцен ответил на публикуемое письмо, можно заключить на основании письма Мишле от 20 декабря 1856 г., однако, этот ответ не сохранился. Косвенные указания на то, что Герцен и на этот раз помог распространению книги Мишле, есть. Так, в упомянутом письме от 20 декабря 1856 г. Мишле благодарит Герцена за труд, который он берет на себя, рекомендуя «Лигу». 18 января 1857 г. Герцен просит И. С. Тургенева передать Мишле, что «если он [Мишле] не получил статьи об его «Лиге», помещенной через меня и написанной Пульским, то скажи, что он получит»[51]. Наконец, 25 мая 1857 г., узнав от издателей Мишле о выходе в свет дальнейшего тома «Истории Франции», Герцен сообщает Мишле, в какие редакции английских журналов и газет он намерен дать на отзыв его новую книгу, вспоминая при этом об отзывах о «Лиге». «Не присылайте более пяти экземпляров, — пишет он, — (быть может хватит даже четырех): один для Пульского, два для «Atheneum'a» и «Leader'a», хотя я очень не доволен статьею «Leader'a» относительно «Лиги»[52]. Выполнив просьбу Мишле о поддержке его книги в протестантских странах, Герцен исполнил его просьбу и относительно России. Не ограничившись цитированной статьей о «Возрождении» в «Полярной Звезде», он возвращается к «Истории XVI века» в V книжке «Колокола» и снова говорит о ней в самых хвалебных выражениях. Благодаря таким положительным отзывам столь популярных в то время герценовских изданий, книги Мишле должны были широко привлечь к себе внимание русских читателей. В 1860—1862 гг. «История Франции» появляется в русском переводе[53] и возможно, что Герцен, спрашивая Мишле, знает ли он, «что его книга о Ренессансе и следующая напечатаны в России, в Петербурге» (письмо от 1 февраля 1862 г.), как бы подводил итоги затраченным на их пропаганду усилиям[54].

Второе сочинение «Птица» (L'Oiseau), о котором говорится в нашем письме, принадлежит к группе естественно-исторических трудов Мишле и является первой его работой в этой области. «Птица» упоминается в нескольких письмах Мишле к Герцену в марте — декабре 1856 г. С доставкой ее особенно не повезло, и Мишле вынужден был повторять свои распоряжения издателям о высылке ее и запрашивать Герцена о получении. Как отнесся Герцен к дебюту Мишле в новой для него области — неизвестно. Оценка «Птицы» была, вероятно, дана в не дошедшем до нас ответе на публикуемое письмо или еще в каком-нибудь не сохранившемся его письме к Мишле. Трудно предположить, что Герцен просто прошел мимо этой книги, в особенности учитывая интерес, проявленный им к другому сочинению Мишле того же жанра — «Насекомому». «Не только я уже прочел «Насекомое», но даже и моя дочь, которой двенадцать лет. Я же перечитываю и перечитываю его. Быть может вы не знаете, что вся наша семья состоит из пламенных натуралистов», — писал он

Мишле 12 ноября 1857 г.[55] Впрочем, позднее он отзывается уже иначе об этом произведении, присоединяя сюда и занимающую нас «Птицу»: «Сегодня я увижусь с женою Мишле, а может быть и с насекомым и птицею тоже» — сообщает он Мейзенбуг 4 июня 1867 г. «Я не люблю его жену (ни описанную, ни пишущую)», что означало, повидимому, что он не любит книг Мишле, продиктованных чувством к жене («Любовь», «Женщины») и книг, совместно с нею написанных («Птица», «Насекомое»)». В этих сочинениях Герцену, вероятно, не нравились их морально-философские тенденции, ибо несколько ранее (1-го июня 1866 г.) он писал сыну: «Мишле как историк хорош, но как философ никуда не годится»[56].

Никакими данными о том, что Герцен сделал что-либо для пропаганды «Птицы» в европейской прессе, мы не располагаем. Не упоминается книга и в изданиях Герцена.

Но если Герцен так энергично помогал пропаганде книг Мишле, то и последний, со своей стороны, делал то же в отношении сочинений Герцена. В 1852 г. он, как уже говорилось, хвалит в печати «Развитие революционных идей в России» и содействует появлению в периодической прессе обширных выдержек из письма к нему Герцена («Русский народ и социализм»). В 1858—1859 гг. при его содействии во французской прессе появляются статьи об изданных Герценом записках Екатерины II. Его суждения о сочинениях Герцена не менее восторженны, чем суждения Герцена о его собственных. Цитированные выше хвалебные слова по адресу Герцена-писателя можно было бы значительно увеличить. «Воспоминания», о которых Мишле упоминает в публикуемом письме, которых ждет от Герцена и которым предлагает поддержку — это появившееся в октябре 1855 г. английское издание «Тюрьмы и ссылки». Герцен выслал ему книгу, очевидно, вскоре после получения нашего письма, так как 15 ноября Мишле уже пишет ему, что «не знает ничего интереснее его воспоминаний»[57]. Здесь же, как и в письме от 20 декабря 1856 г., он сообщает о предпринятых им шагах для осуществления французского издания «Тюрьмы и ссылки», о чем, вероятно, просил его Герцен в не сохранившемся ответе на публикуемое письмо. Несмотря на настойчивость Мишле, хлопоты его не увенчались успехом, — он объяснял это неблагоприятно сложившейся политической конъюнктурой. Намечавшееся сближение французского правительства с русским внушало французским издателям опасение, как бы книга Герцена не была обречена на «заточение на полках магазина». Герцен так писал об этом Тургеневу (25 декабря 1856 г.): «Вот бы ты с Виардо издал мои «Записки». А то Delavaux их перевел и меня все попрекает, что нет едитера. Уж и Мишле хлопотал»[58].

План увидеться с Герценом, о котором пишет Мишле, на этот раз также не осуществился. Летом 1856 г., желая побывать в Париже и повидать своих парижских друзей, Герцен возбудил ходатайство перед французским правительством о разрешении поехать в Швейцарию через Францию, но ходатайство это получило категорический отказ со стороны французского правительства. Герцен и Мишле встретились снова лишь в 1864 г.

3. ПИСЬМО ВИКТОРА ГЮГО А. И. ГЕРЦЕНУ

Взаимоотношения Герцена и Гюго до самого последнего времени оставались очень мало освещенными. Их бегло касались исследователи Герцена и совсем не касались исследователи Гюго. Лишь в появившейся три года назад работе М. П. Алексеева «Гюго и русские люди»[59] этому вопросу уделено должное внимание. Собранный автором материал, где знаменитые строки Герцена о Гюго дополнены забытыми и неизданными документами, вскрывает дружеские, полные общественно-политической значимости отношения писателей. Герцен очень любил Гюго как художника — «социалиста-художника» по его выражению. В молодости он зачитывался «Собором парижской богоматери», в 1862 г. с неменьшим увлечением читает «Отверженных», хотя теперь иногда и подсмеивается над литературной манерой Гюго, называя ее «печатными фейерверками». Не считая Гюго «в настоящем смысле слова политическим деятелем, главой партии», Герцен уважает в нем его непреклонность, искренность его убеждений, преданность идеям гуманности и демократизма. Гюго также следит с большим интересом за литературной и общественной деятельностью Герцена. «Былое и думы» производят на него глубокое впечатление. Он не только внимательно читает их, но и, как указано, цитирует. Он с готовностью откликается на призыв Герцена поддержать «Полярную Звезду», в обращениях к Герцену постоянно называет его «братом по борьбе и испытаниям», «единомышленником», восхищается его умом, сердцем. И все же между Герценом и Гюго нет той близости, которая характеризует отношения Герцена к Прудону, Мишле и Луи Блану. Объясняется это, вероятно, в значительной степени тем, что они лично мало знали друг друга. Когда точно произошло их знакомство — не установлено, но, повидимому, не ранее 1860-х гг. Встречи были редки и случайны. Переписка началась раньше. Можно думать, что она возникла в 1855 г. в связи с обращением Герцена к Гюго с просьбой поддержать своим сотрудничеством издание «Полярной Звезды». В указан-

ной статье М. П. Алексеева собраны и прокомментированы все разбросанные прежде в различных изданиях письма Гюго к Герцену. Таких писем семь. Но если публикации переписки Герцена с Прудоном и Мишле страдают, как говорилось, рядом крупных недочетов, то еще в худшем состоянии находится публикация писем к нему Гюго. Все письма Гюго известны только в русском переводе. Ни сам Герцен, напечатавший в «Полярной Звезде» и «Колоколе» несколько писем к нему Гюго, ни Гершензон, ни Лемке, имевшие в руках подлинники, их не дают. Несколько писем приводятся только в выдержках, другие напечатаны с купюрами. Статья М. П. Алексеева не оставляет сомнений в том, что часть писем Гюго к Герцену утеряна и что действительное число их не исчерпывалось семью опубликованными в переводе и одним нами найденным. Что касается писем Герцена к Гюго, то ни одно из них до сих пор не появлялось в печати и судьба их неизвестна.

Поскольку письма Гюго к Герцену известны в русской литературе лишь в переводах, они оставались совершенно вне поля зрения французских исследователей и не вошли ни в одно издание сочинений и переписки Гюго. Только теперь, после появления в свет работы М. П. Алексеева, письма эти, как сообщает M-me Сесиль Добре [60], один из редакторов выпускаемого Сорбонной нового собрания сочинений Виктора Гюго, — они будут включены в издание по обратным переводам на французский язык текстов, помещенных в статье М. П. Алексеева, если только предпринятые во Франции по следам этой статьи поиски подлинников не увенчаются успехом. Ведутся также, давшие уже некоторый положительный результат, поиски в архиве Гюго материалов, освещающих отношение Гюго к Герцену. Материалы эти должны будут занять свое место в новом издании «Actes et paroles» Гюго. Как бы то ни было, но публикуемое нами письмо является не только неизвестным, но остается пока единственным письмом Гюго к Герцену, найденным в подлиннике. Текст его таков:

Hauteville house
11 octobre 1857

Il n'y a pas un coeur plus grand ni un plus noble esprit qu'Alexandre Herzen. Je suis heureux de tous les témoignages sympathiques qui me viennent de lui. J'applaudis au succès de l'étoile polaire que malheureusement je ne puis lire, et j'ai le même regret pour les généreux vers du poète russe inconnu.

Je prie mon courageux et cher compatriote d'exil de lui transmettre mes profonds et respectueux remerciements.

Fraternel serrement de main
Victor Hugo

На конверте:

London
Alexandre Herzen
Putney near London

Почт. штемпели:

Ghernsey Oc[tobre] 12 1857
London Oc[tobre] 13, [18]57

Перевод:

Отвиль Хаус 11 октября 1857 г.

Нет более возвышенного сердца и более благородного ума, чем Александр Герцен. Я счастлив теми свидетельствами симпатии, которые от него получаю. Я рукоплещу успеху «Полярной Звезды», которую, к несчастью, не могу читать, и подобное же сожаление испытываю я в отношении исполненных великодушия стихов неизвестного русского поэта.

Прошу моего мужественного и дорогого соотечественника по изгнанию передать ему мою глубокую сердечную благодарность.

Братское рукопожатие.
Виктор Гюго

На конверте:

Лондон Александру Герцену
Путней близ Лондона

Почт. штемпели:

Герней Окт[ября] 12 1857
Лондон Окт[ября] 13 [18]57

Написано это письмо с острова Герней, где Гюго провел бо́льшую часть своего многолетнего изгнания. Поводом к письму послужило получение от Герцена двух посвященных Гюго стихотворений: «Пророчество» и «Русскому народу». Стихотворения были помещены в 4-й книжке «Голосов из России» под общим заголовком:

«Современные отголоски» и с эпиграфом из Виктора Гюго: «Et j'ajoute à ma lyre une corde d'airain» [и медную струну к своей прибавил лире]. Стихи были напечатаны анонимно. Вот почему Гюго называет их автора «Неизвестным русским поэтом». В действительности же они принадлежали П. Л. Лаврову, на что последний указал в своей автобиографии и в них чувствуется влияние политической поэзии Гюго [61].

Герцен исполнил просьбу Виктора Гюго и передал русскому поэту через «Колокол» (№ 6 от 1 декабря 1857 г.) благодарность поэта. Однако из естественной скромности, а может быть, смущенный словесной пышностью письма Гюго, Герцен не опубликовал его целиком, ограничившись лишь кратким извещением, что стихи были Виктору Гюго доставлены и что он благодарит за них. Аналогичным образом Герцену не раз случалось поступать с письмами своих знаменитых друзей. Так



ВИКТОР ГЮГО

Гравюра Е. Жервэ с фотографии, снятой на острове Джерси в 1853 г.

Частное собрание, Москва

он поступил с другим письмом Виктора Гюго от 25 июля 1855 г., которое поместил в «Полярной Звезде», «значительно смягчив» — по выражению Гершензона — «его необузданную риторичность» [62]. То же было с письмом Мишле. Герцен признается историку, «что не мог подавить в себе чувства», которое тот не осудит, и, «переводя его письмо для «Полярной Звезды», опустил две или три фразы», слишком лестные для него, которые хочет «сохранить для себя как подарок» [63]. Если Герцен думал сохранить для себя и публикуемое нами письмо Гюго, то желание его не осуществилось. Как мы видели, письмо ушло из герценовского архива, попало в частную коллекцию собирателя автографов и было совершенно забыто. В итоге, эпизод посылки Гюго стихотворений Лаврова оставался неясным, а сухая благодарность, напечатанная в «Колоколе», вызывала недоумение. Теперь мы видим, что в действительности дело обстояло иначе: Гюго горячо откликнулся на стихи, хотя они и были написаны на недоступном ему языке. Письмо Герцена, сопровождавшее посылку стихов, до нас, к сожалению, не дошло. Нужно думать, однако, что Герцен ознакомил в этом письме Гюго с содержанием посылаемых стихов, и, возможно, дал их оценку.

4. ПИСЬМА ЛУИ БЛАНА А. И. ГЕРЦЕНУ

«...Барбес, Луи Блан, Ведь это все старые друзья, почетные друзья кипучей юности. «Histoire de dix ans», процесс Барбеса перед камерой перов — все это так давно обжилось в голове, в сердце, со всем этим мы так сроднились...», — писал Герцен в посвященной Луи Блану в «Былом и думах» характеристике [64]. Лично с автором «Истории десяти лет» Герцен познакомился, видимо, в один из первых своих приездов в Париж, ибо в августе 1848 г. Луи Блан уже бежал из Франции и, таким образом, только к периоду 1847—1848 гг. могут относиться слова Герцена: «Каюсь, что и я сначала был увлечен и думал, что поговорить в кафе с историком «Десяти лет» или у Бакунина с Прудоном — некоторым образом чин, повышение» [65]. Они снова встречаются уже в Лондоне и тогда-то между ними устанавливаются близкие, дружеские отношения. «Я знал, — говорит Герцен, — Луи Блана почти больше всех французских изгнанников» [66]. Дружба эта очень мало освещена биографами Герцена, а в биографиях Луи Блана, в тех, по крайней мере, что были доступны нам, имя Герцена, вообще, не упоминается. Когда точно, при каких обстоятельствах произошла встреча Герцена с Луи Бланом — неизвестно. Впервые имя Блана появляется в письмах и произведениях Герцена лондонского периода в ноябре 1854 г., а в 1855 г. Луи Блан, судя по тону, которым говорит о нем Герцен, уже совсем свой человек в герценовском доме. «Едем в Кью с Людовиком Белым» [Луи Бланом], — пишет Герцен М. К. Рейхель 14 июля 1855 г.[67] К тому же времени относятся указания М. Мейзенбуг, что Луи Блан бывал у Герцена «часто и совсем запросто» [68]. Личным связям не препятствовала та суровая критика, которой подвергал, как известно, Герцен революционную деятельность Луи Блана. Отдавая дань «неподкупной честности», «неукоризненной чистоте мнений» Луи Блана, его смелости, строгости его жизненных правил, исключительному трудолюбию, отмечая любовь, которой он пользовался среди рабочих, Герцен не щадит Луи Блана-политика. Лишенный всякого чувства преклонения перед авторитетом, свободный в своих суждениях, Герцен очень скоро разглядел слабость и вредность защищаемых Луи Бланом позиций. Уже в «Письмах из Франции и Италии», на ряду с прочувствованными строками, посвященными роли и поведению Луи Блана в Люксембургской комиссии, мы находим обвинение его, как и других французских республиканцев и социалистов, в недостатке «нерва революционного, который был у роялиста Мирабо и у монтаньяра Дантона... Беспокойного духа, подрывающего старое, ломающего без оглядки, дерзкого в отношении к прошедшему» [69]. Несколько позже (сентябрь 1849 г.) в письме к Грановскому, Герцен дает совсем уничтожающую оценку деятельности Луи Блана: «Пустым людям, как Ледрю-Роллену и Луи Блану, не может удасться революция», — говорит он [70]. Наконец, в цитированном отрывке «Былого и дум» Герцен причисляет Луи Блана к «истории другого десятилетия, которое окончено до последнего листа, до переплета» [71]. Эти суждения не были, вероятно, тайной для Луи Блана. Между ним и Герценом, по свидетельству Мейзенбуг, часто происходили горячие споры и, наверное, Герцен не скрывал своих точек зрения, хотя, надо думать, и облекал их в более мягкие формы, чем в приведенных отзывах. Отголоски этих споров слышатся и в письмах Луи Блана к Герцену [72]. Блан иногда обижался, Герцену приходилось объясняться с ним.

Но неизменно дружеский, сердечный тон писем Блана свидетельствует, что близости между ним и Герценом разногласия не нарушали. Выше мы говорили о сочувствии, которое встретило у Луи Блана обращение Герцена по поводу издания «Полярной Звезды» и приводили его высокую оценку «France ou l'Angleterre» Герцена.

До сих пор известно пять писем Луи Блана к Герцену. Все они напечатаны только в русском переводе [73]. Публикуемые нами два письма Луи Блана являются, таким образом, не только неизвестными, но, как и письмо Виктора Гюго первыми письмами Луи Блана к Герцену, печатающимися в подлиннике. Ни одно письмо Герцена к Луи Блану опубликовано не было и уцелели ли эти письма, вообще, — неизвестно.

Трудно предположить наличие между Герценом и Луи Бланом обширной переписки. Многолетнее пребывание писателей в одном городе, постоянное личное общение исключало необходимость в частых письменных обращениях. И все же едва ли их переписка была столь ограничена, и мало вероятно, чтобы Герцен и Луи Блан совсем не писали друг другу во время длительных отлучек Герцена из Лондона и, наконец, после его окончательного отъезда оттуда. Любопытно, что все опубликованные письма Луи Блана относятся только к 1857—1860 гг. и написаны в короткие промежутки между лондонскими встречами. Наши письма принадлежат к тому же периоду. Как и ранее напечатанные письма Луи Блана к Герцену, они вводят нас, по словам Гершензона, «в интересы и печали той эмигрантской массы, среди которой Герцен жил в Лондоне» [74].

Вот текст первого письма:

ПИСЬМО ВИКТОРА ГЮГО ГЕРЦЕНУ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1857 г.

Исторический музей, Москва

6 Juin 1858

Mon cher Hertzen,

Que je suis désolé! Quand je vous ai rencontré hier, je vous ai dis que j'irais diner chez vous jeudi, sans me rappeler que ce jour-là ma journée était prise toute entière. Je vous mande ceci en toute hâte, espérant que vous serez à temps pour prévenir votre ami. Voulez-vous pour mardi prochain?

Tout à vous

Louis Blanc

Перевод:

6 июня 1858 г.

Дорогой Герцен,

Как я огорчен! Встретив вас вчера, я сказал, что приду к вам обедать в четверг, совсем запамятовав, что этот день у меня целиком занят. Тороплюсь сообщить вам об этом, надеясь, что вы успеете предупредить своего друга. Хотите условимся на ближайший вторник?

Весь ваш Луи Блан

Записка характерна для взаимоотношений Герцена и Блана. Частый гость в доме Герцена, Луи Блан приглашался и на торжественные празднества, и на встречи с приезжавшими в Лондон русскими и иностранными друзьями Герцена. Так, в 1861 г. Луи Блан вместе с Маццини, Саффи и другими иностранцами присутствует на собрании у Герцена по поводу освобождения крестьян. В 1862 г. Луи Блан встречается у Герцена с Бакуниным. Блан, со своей стороны, связывает Герцена с французской эмиграцией. В 1856 г., например, он приводит к Герцену Барбеса. С кем из друзей Герцена должен был увидеться у него Луи Блан во время несостоявшегося свидания, о котором идет речь в публикуемой записке — неясно. Это мог быть немецкий поэт Фрейлиграт или венгерский революционер Георг Клапка, находившиеся около этого времени в Лондоне и посещавшие Герцена[75]. Вполне возможно также, что это был кто-нибудь из русских, наплыв которых в Лондон в конце мая — начале июня 1858 г. отмечает Герцен в своих письмах[76]. В частности, в Лондоне гостили тогда В. П. Боткин и В. Ф. Корш.

Текст второго письма Луи Блана к Герцену таков:

Le 27 fevrier 1859

Mon cher ami,

La mort de notre pauvre camarade d'exil, le citoyen Guérin, vous laissant sans tailleur, permettez-moi de vous recommander le mien. C'est un ex-dèlégué du Luxembourg, un patriote, un républicain, un bon et laborieux ouvrier, un père de famille, et qui pour vivre, a besoin de travailler.

Salut cordial

Louis Blanc

Vos enfants se portent-ils bien, et... suis-je oublié? Je n'ose en dire davantage

4 av. Compton. Lon[don].

Перевод:

27 февраля 1859 г.

Дорогой друг,

Смерть нашего бедного товарища по изгнанию, гражданина Герена, лишила вас портного. Разрешите же рекомендовать вам своего. Это бывший делегат Люксембургской комиссии, патриот, республиканец, хороший, трудолюбивый работник, наконец, отец семейства, нуждающийся в работе, чтобы существовать.

Сердечный привет

Луи Блан.

Здоровы ли ваши дети и... забыт ли я? Не смею ничего прибавить...

4, авеню Комптон Лон[дон]

Письмо не имеет адресата, но что им является Герцен, за это прежде всего говорит содержание документа. Просьба о материальной поддержке нуждающимся французским эмигрантам обычна в обращениях Луи Блана к Герцену: из пяти ранее

известных писем Блана, в трех — речь идет об оказании помощи товарищам по изгнанию. Другим аргументом в пользу того, что письмо адресовано к Герцену, служит приписка Луи Блана с вопросом о здоровье детей. Такой вопрос естественен со стороны человека, часто и запросто бывавшего в доме. Кроме того, известно, что Луи Блан был в особой дружбе с маленькой дочкой Герцена, Ольгой, что служило даже предметом шуток окружающих... «Младшая дочь Герцена, — рассказывает Мейзенбуг, — из-за его [Луи Блана] маленького роста принимала его за товарища, и он пользовался у нее заметной милостью. Это Луи Блану так нравилось, что он тотчас как приходил, спрашивал о девочке и часто по получасу играл с ней в волан и другие игры»[77]. Герцен, в письме к М. К. Рейхель, пишет: «На днях Луи Блан (вы знаете, что она [Ольга] влюблена в него, потому что считает его за мальчика) был у нас дома и, говоря со мной, забыл ее. Она так обиделась, что



ЛУИ БЛАН

Гравюра Ребеля, 1851 г.

весь вечер потом не хотела с ним говорить»[78]. Наконец, нахождение письма в коллекции Барятинского вместе с другими письмами, адресованными Герцену, также служит доказательством того, что оно адресовано, именно, к последнему.

Публикуемое письмо очень характерно для Луи Блана. Все его биографы отмечают его постоянную заботу о товарищах по изгнанию[79]. В течение ряда лет Луи Блан был председателем лондонского «Братского общества социалистов-демократов», ставившего себе задачей оказание помощи нуждающимся французским эмигрантам[80].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] **Герцен**, Собрание сочинений под ред. М. Лемке, т. X, стр. 31; т. VII, стр. 331. Далее всюду сокращенно: Герцен, том, страница.

[2] Ср. А. Л. Зиссерман, Фельдмаршал, кн. Барятинский, М., 1891 г., т. III, стр. 370.

[3] Исключение составляет один Мишле, не подвергавшийся изгнанию в буквальном смысле слова, как Виктор Гюго, и не вынужденный бежать из Франции, как Луи Блан и Прудон. Однако и он после государственного переворота 1851 г. был лишен кафедры в Collège de France, а в 1852 г., за отказ от присяги на вер-

ность второй империи, должен был оставить свою многолетнюю службу в Архивах и переселиться в Нант.

[4] «Письмо к Д. Мацции о современном положении России» 1857 г. Герцен, т. VIII, стр. 409; «Ответ» [на письмо, с замечаниями по поводу первой книги «Полярной Звезды»], Герцен, т. VIII, стр. 294.

[5] Некролог Герцена, написанный Мишле. Герцен, т. XXI, стр. 562; письмо Прудона к Герцену от 23 июля 1855 г. Correspondance de P.-J. Proudhon. Paris, 1875, t. VI, pp. 220, 222.

[6] Письмо к Герцену от 21 апреля 1858 г. Герцен, т. IX, стр. 221.

[7] См. М. П. Алексеев, Гюго и русские люди. «Литературное Наследство», 31—32, «Русская культура и Франция», т. II, стр. 836 и 857.

[8] Письмо к Герцену от 4 июня 1861 г. Герцен, т. XI, стр. 131.

[9] Письма Прудона к Шарлю Эдмону от 28 августа и 25 ноября 1851 г. Correspondance de P.-J. Proudhon, t. IV, pp. 90, 130.

[10] Г. Плеханов, Герцен-эмигрант. Сочинения, ГИЗ, 1926 г., т. XXIII, стр. 433—434.

[11] A. Darimon, A. travers une révolution, Paris, 1884, p. 180. Цитирую по сочинениям Герцена, т. V, стр. 293.

[12] Письмо к Т. Н. Грановскому, Е. Ф. Коршу и др. Герцен, т. V, стр. 288—289. «Развитие революционных идей в России», Герцен, т. VI, стр. 389.

[13] «Концы и начала». Герцен, т. XV, стр. 269.

[14] «Концы и начала». Герцен, т. XV, стр. 273. «Порядок торжествует». Герцен, т. XIX, стр. 113.

[15] Герцен, т. XVIII, стр. 35.

[16] Письмо к С. Тхоржевскому от 27 июля 1864 г. Герцен, т. XVII, стр. 311.

[17] Sainte-Beuve. P.-J. Proudhon, sa vie et sa correspondance. 1838—1848 (3 éd.) 1873, p. 192—193; см. также Л. Плещеев, Жизнь и переписка Прудона, — «Отечественные Записки», 1873 г., ноябрь, стр. 76.

[18] P.-J. Proudhon, Correspondance, 1857, t. XIV, p. 229.

[19] Cp. Raoul Labry «Herzen et Proudhon». Paris, 1928, p. 207—208.

[20] «Русь», 1883 г., № 2, стр. 31—32. Напечатано в подлиннике и в переводе.

[21] Ленин, Памяти Герцена, Сочинения, т. XV, стр. 468.

[22] Д-ев [П. Боборыкин]. Пьер-Жозеф Прудон в письмах, — «Вестник Европы» 1875 г., октябрь, стр. 552—553. 1878 г., июнь, стр. 535—537.

[23] Привожу перечень опубликованных писем Прудона к Герцену:

1) Приписка в письме Шарля Эдмона (не позднее начала августа 1849 г.), известна только в русском переводе. Герцен, т. V, стр. 293; Р. Лабри пишет, что его попытки разыскать подлинник в архиве семьи Герцена в Лозанне и в Москве не увенчались успехом. Цит. соч., стр. 87—88.

2) Письмо от 23 августа 1849 г. В цитатах по-русски в переводе Герцена с датировкой 29 августа, «Полярная Звезда», кн. V. Герцен, т. XIII, стр. 454. Р. Лабри опубликовал это письмо в оригинале, сообщенном ему дочерью Прудона, г-жой Эннеги (M-me Catherine Proudhon Enneguy), цит. соч., стр. 91—92.

3) Письмо от 15 сентября 1849 г. Опубликовано в выдержках, в переводе Герцена, «Полярная Звезда», кн. V. Герцен, т. XIII, стр. 455—456.

4) Письмо от 27 ноября 1851 г. опубликовано в сокращенном переводе Герцена, «Полярная Звезда», кн. V. Герцен, т. VI, стр. 536—538. Р. Лабри опубликовал письмо в оригинале, полученном от дочери Герцена, Н. А. Герцен, цит. соч., стр. 122—124.

5) Письмо от 7 августа 1852 г. «Correspondance de P.-J. Proudhon», t. IV, p. 317. В русском переводе «Вестник Европы», 1875 г., октябрь, стр. 552—553. В цитатах по-русски: Герцен, т. VII, стр. 125.

6) Письмо от 23 июня 1855 г. Опубликовано Герценом в его сокращенном переводе «Полярная Звезда», кн. I. Герцен, т. VIII, стр. 199. В оригинале в «Correspondance de P.-J. Proudhon», t. VI, pp. 219—222, и в русском переводе в «Вестнике Европы», 1878 г., июнь, стр. 535—537.

7) Письмо от 15 марта 1860 г. «Correspondance de P.-J. Proudhon», t. IX, p. 347—350. По-русски: Герцен, т. X, стр. 267—269.

8) Письмо от 11 апреля 1861 г. Опубликовано по копии, хранящейся в Институте литературы Академии Наук СССР, в Ленинграде, «Литературное Наследство», 1934 г. № 15, стр. 284. (Там же, стр. 285, напечатано письмо Герцена к Прудону от 21 ноября 1861 г., не вошедшее в собрание сочинений Герцена).

9) Письмо от 21 апреля 1861 г. «Correspondance de P.-J. Proudhon», t. XI, pp. 21—24 и в русском переводе: Герцен, т. XI, стр. 86—88.

Кроме перечисленных, Раулю Лабри известно также одно неопубликованное письмо Прудона к Герцену, хранившееся у г-жи Эннеги. Письмо касается дела Гервега и относится к лету 1852 г. Цит. соч., стр. 132.

[24] Герцен, т. XIII, стр. 453.

[25] Герцен, т. V, стр. 293—295.

[26] Р. Лабри, цит. соч., стр. 91. См. выше прим. 23, п. 2.

[27] Герцен, т. XIII, стр. 454.

[28] Из письма Прудона к Бергману от 24 октября 1847 г. «Correspondance de P.-J. Proudhon», t. II, p. 272.

[29] Герцен, т. XIII, стр. 454.

[30] Герцен, т. XIII, стр. 456.

[31] De la Justice dans la révolution et dans l'église. Nouveaux principes de philosophie pratique, adressés à son Eminence Monseigneur Mathieu, cardinal-Archevêque de Besançon. Par P.-J. Proudhon, Paris 1858, tt. 1—3. Новое издание «De là Justice dans la Révolution et dans l'église» par P.-J. Proudhon. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Bruxelles, 1860, выходило под общим заголовком «Essais d'une phliosophie populaire», №№ 1—12.

[32] Герцен, т. IX, стр. 251—252, 253.

[33] Герцен, т. XIII, стр. 458—459.

[34] Герцен, т. XIII, стр. 460, 461, 463. К своей характеристике «О справедливости» Герцен в 1866 г. сделал помету: «Я долею изменил свое мнение об этом сочинении Прудона». Однако в чем именно изменился его взгляд, Герцен не говорит. Таким образом, это замечание в очень слабой степени смягчает суровую оценку книги.

[35] Прудон записал содержание своей беседы с Герценом. Запись эта была обнаружена Раулем Лабри в бумагах Прудона, сохранившихся у г-жи Эннеги и воспроизведена в цитированной книге Лабри, стр. 185. Привожу перевод текста: «4 октября 1859 г. Визит Герцена. Он думает покинуть Лондон и перебраться в Брюссель. По его мнению с движением в России все обстоит превосходно; отныне оно неудержимо: Александр II думает теперь только об одном: дать делу освобождения свое имя. Герцен убежден, что если бы, вследствие измены дворянства, Александр погиб, — все дворянство было бы вырезано.

Объявит ли император войну Италии, чтобы поддержать Папу? Воспротивятся ли англичане его влиянию в Италии? Принцип ссоры: оба императора против итальянцев и против англичан.

Если Наполеон III не будет воевать с Англией, к ним в гости пожалует социальная республика. Надо, как говорит Герцен, чтобы очаг английского ростовщичества был рассеян. Надо чтобы Мальтус оказался побежденным. Я не понимаю политики «Débats» [газеты «Journal des Débats»], ставшей после Виллафранкского мира противницей Англии; это — кость от кости, плоть от плоти орлеанизма.

Впрочем, большое удовлетворение доставляет наблюдать:

Орлеанизм, готовый поссориться с Англией.

Англию, ссорящуюся с Австрией.

Императора французов, обращающегося против итальянцев, которых он освободил, и протягивающего руку Францу-Иосифу.

Пруссию, разлучающуюся с Австрией и раскалывающую германскую конфедерацию.

Россию, протягивающую руку Бонапарту и ненавидящую Австрию.

Наполеона III, совершающего в Англии дело социальной революции и приводящего к простейшему виду: Наполеона, Александра, Франца-Иосифа и Папу, объединяющихся на основе деспотизма и божественного права.

Англию, Пруссию и Италию, объединяющихся на основе протестантизма и конституционного порядка.

И тех и других, заключающих союз против социальной революции.

Народы, не согласные со своими правительствами».

[36] Герцен, т. X, стр. 269.

[37] Ср. Р. Лабри, цит. соч., стр. 98: «По причинам нам неизвестным, — пишет Рауль Лабри, — этот проект [т. е. сотрудничество Герцена] не осуществился. Мы не знаем, что ответил Прудон на предложение Герцена по поводу статей о России и и Польше».

[38] Привожу перевод этой заметки Прудона: «В Варшаве, в Литве, в герцогстве Познанском происходят волнения. Польша, подобно Италии, желает возродиться. В ее ли это силах? Обладает ли она идеей, которая заставит ее жить? Представляет ли она что-нибудь собою? Польша убила себя собственными руками. Она умерла в прошлом столетии, совершив самоубийство. По какому праву, на каком основании, ради какой цели думает она вернуться к жизни? Не желает ли она преподнести нам конституционную монархию собственного образца? Откровенно говоря, это дело не стоящее труда. Продолжайте же спать, поляки, раз вы способны быть лишь золотой серединой. Боитесь вы, что ли, что кости ваши не отыщутся, когда грянет суд?» «De la Justice dans la révolution et dans l'église», par P.-J. Proudhon, Bruxelles, 1861, No. 12, p. 185. Герцен не был одиноким в своем возмущении отношением Прудона к Польше. Маркс говорил, что в выступлениях против Польши Прудон «в угоду царю обнаруживает цинизм кретина». О Прудоне. Письмо к Швейцеру, Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XIII, стр. 29.

[39] Примечание Герцена к статье «Renaissance», par J. Michelet. Герцен. VIII, стр. 216.

40 Герцен, т. XVIII, стр. 32.

41 Письмо от 3 февраля 1866 г. Герцен, т. XX, стр. 157—158.

42 Герцен, т. XXI, стр. 562—563. Напечатан в русском переводе.

43 Письмо Мишле от 14 февраля 1869 г. Герцен, т. XXI, стр. 273—274.

44 Привожу перевод второй записи:

Мои друзья различных национальностей.

Мои воспитатели: итальянцы: Виргилий, Вико, Амари, Орландо. Немцы: Гримм, Ганц, Бетховен, Песталоцци, Фребель, г-жа де Маренхольц.

Сыновья: венгры, семья Жерандо, и т. д.

Друзья: даже англичане: Эдвардс, Шекспир.

Друзья: славяне, поляки: Мицкевич и русские: Герцен.

Америка: моя жена [по происхождению креолка].

Многие теперь умерли, я перечисляю всех, живых и мертвых. Gabriel Monod, Jules Michelet. Etudes sur sa vie et ses oeuvres, Paris, 1905, p. 36, 37. Jean-Marie Carré, Michelet et son temps, Paris, 1926, p. 131—132.

45 Помимо опубликованных писем Мишле к Герцену, существуют указания еще на восемь писем историка, судьба которых неизвестна. См. Герцен, т. VI, стр. 531; т. VII, стр. 5, 330; т. VIII, стр. 164; т. IX, стр. 48; т. XIX, стр. 330; т. XXI, стр. 400—401.

46 Письмо к Мишле от 2 марта 1855 г. Герцен, т. VIII, стр. 156.

47 «Renaissance» par J. Michelet, Герцен, т. VIII, стр. 207.

48 Герцен, т. XIII, стр. 192.

49 Герцен, т. VIII, стр. 375.

50 Герцен, т. VIII, стр. 373.

51 Герцен, т. VIII, стр. 392.

52 Герцен, т. VIII, стр. 511.

53 «История Франции в XVI веке (Эпоха Возрождения). Соч. Мишле», СПб, 1860 г. «Реформа (из истории Франции в XVI веке). Соч. Мишле», СПб, 1861 г.

54 Герцен, т. IX, стр. 48.

55 Герцен, т. IX, стр. 49, 56.

56 Герцен, т. XIX, стр. 343, т. XVIII, стр. 416.

57 Герцен, т. VIII, стр. 375.

58 Герцен, т. VIII, стр. 380.

59 «Литературное Наследство», № 31—32, 1937 г., стр. 823—837.

60 В письме в редакцию «Литературного Наследства».

61 «П. Л. Лавров о самом себе» — «Вестник Европы», 1910 г., кн. X, стр. 96—97. Ср. цитированную статью М. П. Алексеева, Гюго и русские люди.

62 М. Гершензон, Образы прошлого, М., 1912 г., стр. 247.

63 Письмо к Мишле от 8 июля 1855 г. Герцен, т. VIII, стр. 192.

64 Герцен, т. XIV, стр. 204.

65 Герцен, т. XIII, стр. 582.

66 Герцен, т. XIV, стр. 200.

67 Герцен, т. VIII, стр. 195.

68 М. Мейзенбуг, Воспоминания идеалистки, изд. «Academia», 1933 г., стр. 268.

69 Герцен, т. VI, стр. 82.

70 Герцен, V, стр. 286.

71 Герцен, т. XIV, стр. 205.

72 Ср., например, письмо Луи Блана от 31 октября 1860 г. М. Гершензон, Цит. соч., М. 1912 г., стр. 250.

73 Вот перечень этих писем: 18 и 20 февраля 1857 г. Герцен, т. VIII, стр. 506—507; 21 апреля 1858 г., Герцен, т. IX, стр. 221; 1 июня 1858 г., Герцен, т. XIV, стр. 564—547; 31 октября 1860 г., Гершензон, цит. соч., стр. 250.

74 М. Гершензон, цит. соч., стр. 249.

75 «Возможно, что в субботу Клапка и Фрейлихрат будут у нас обедать», — писал Герцен Мейзенбуг 27 мая 1858 г., Герцен, т. IX, стр. 239.

76 Письма к М. Мейзенбуг и М. К. Рейхель, Герцен, т. IX, стр. 237 и 253.

77 М. Мейзенбуг, цит. соч., стр. 268.

78 Письмо от 21 ноября 1854 г., Герцен, т. VIII, стр. 118.

79 Л. Ульбах приводит любопытное письмо к нему Луи Блана, вскрывающее отношение последнего к рядовой эмигрантской массе: «Таким изгнанникам как я, — пишет Луи Блан, — которым не приходилось страдать ни от одиночества, ни от голода, ни от мучительной необходимости нуждаться в чьей-то помощи — выполнение долга было, в конце концов, легко и я не вижу с нашей стороны никакой в том заслуги. Но для безвестных солдат нашего дела, для бедных солдат, для солдат в рубищах, одной сознательности было мало. Им, чтобы примириться с изгнанием, нужен был героизм». Louis Ulbach, Louis Blanc, Souvenirs 1883, p. 146.

80 Ср. Edouard Renard, Louis Blanc, sa vie — son oeuvre, Paris, 1922.

ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н. П. ОГАРЕВА

I. СТАТЬЯ «ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ПЕТР ВЕЛИКИЙ?». ПУБЛИКАЦИЯ С. ПЕРЕСЕЛЕНКОВА.— II. ЗАПИСКА О ТАЙНОМ ОБЩЕСТВЕ. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА.— III. СТАТЬЯ «НУЖДЫ НАРОДНЫЕ». ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА.— IV. ПРОЕКТ АДРЕСА ЦАРЮ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА.— V. СТАТЬЯ О РУССКОМ ДУХОВЕНСТВЕ. ПУБЛИКАЦИЯ С. ПЕРЕСЕЛЕНКОВА.—VI. О «ПИСЬМАХ К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ» А. И. ГЕРЦЕНА. КОММЕНТАРИЙ Я. ЭЛЬСБЕРГА.— VII. ЗАПИСИ СНОВ. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА.— VIII. ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА.

Вступительная статья Б. Козьмина

В настоящем номере «Литературного Наследства» читатели найдут ряд впервые публикуемых публицистических статей и заметок Огарева, а также ряд его не переиздававшихся до сих пор прокламаций. Все эти статьи и прокламации относятся ко времени с середины 50-х до начала 70-х годов, т. е. к годам пребывания Огарева в эмиграции.

Началом публицистической деятельности Огарева надо считать 1856 г., тот год, когда он, покинув пределы родины, решил осуществить свою давнишнюю мечту — навсегда расстаться с «тюрьмой народов», какой в то время была Россия, и, присоединившись к своему другу Герцену, перейти на положение эмигранта. Если до своей эмиграции он и выступал изредка в русской легальной прессе с заметками публицистического характера, то это было сравнительно редким явлением. При этом, в силу цензурных условий, в которых находилась тогда русская печать, публицистические выступления Огарева не могли иметь такого значения, какое принадлежит его публицистической деятельности в годы эмиграции.

В настоящей статье мы имеем в виду познакомить читателей с деятельностью Огарева как публициста и проследить эволюцию его политических взглядов в годы эмиграции.

Что нужно осуществить, для того чтобы обеспечить русскому крестьянину безбедное существование и избавить его от притеснений, испытываемых им со стороны помещиков и чиновников? — этот вопрос являлся центральным в публицистике Огарева. В статьях, печатаемых в «Колоколе» и в других зарубежных изданиях, а также в своих прокламациях, Огарев касался самых разнообразных проблем, выдвигаемых развитием русской общественно-политической жизни того времени. Он писал и о судебной реформе, и о введении земства, и о финансовом положении России, и о преследовании правительством старообрядцев и сектантов и т. д. и т. д. Однако, какую бы проблему ему ни приходилось обсуждать, основным для него всегда оставался вопрос о крестьянстве. К самым разнообразным явлениям тогдашней политической жизни Огарев подходил с точки зрения интересов крестьянской массы; оценивая эти явления, он прежде всего задавался вопросом о их соответствии с интересами населения русской деревни. Поэтому можно сказать, что все многочисленные публицистические статьи Огарева объединяются единством темы и цели. Тема их — жизнь русского крестьянства во всех ее проявлениях, а цель — защита интересов мужика. Все, что не было связано с жизнью деревни, все, что стояло вне круга интересов и нужд русского крестьянства, — все это не привлекало к себе внимания Огарева и как бы не существовало для него.

Огарев был горячим и убежденным противником крепостничества. По его собственному выражению, он вырос на чувстве «ненависти крепостного человека к барству»[1]. Болезненно воспринимая наблюдаемые с детских лет проявления дворянского самоуправства и самодурства, сын крупного феодала-аристократа, Огарев, под влиянием этих наблюдений превращался в кающегося дворянина, сознающего всю возмутительность крепостного права. Мысль о необходимости освобождения крепостных руководила всей деятельностью Огарева как в России, так и в эмиграции. И тогда, когда в студенческие годы он вместе со своими друзьями мечтал о революции, в целях ограничения власти царя, для него на первом плане стоял вопрос

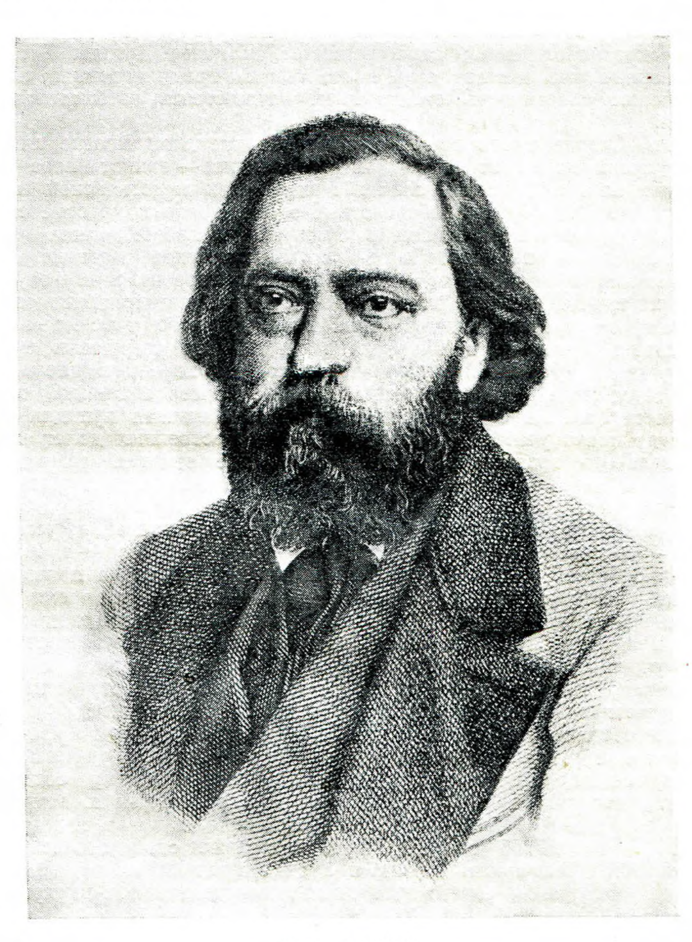
крестьянский. И тогда, когда он увлекался идеями утопического социализма, и тогда, когда он погружался в недра германской метафизики, стремясь выработать себе философское миросозерцание, могущее служить прочной основой практической деятельности, и тогда, когда он стремился построить свою собственную жизнь «адэкватно истине», — он не упускал из вида основной и важнейшей для него задачи — устройства на правильных и справедливых началах жизни своих крепостных. Интересы крестьянства двигали им и тогда, когда он отпускал на волю крепостных своего богатейшего имения Белоомут, и тогда, когда отдавался «индустрии», пытаясь наладить в своих имениях фабрики, основанные на применении вольнонаемного труда, и тогда, когда он вырабатывал проект устройства политехнический школы, приноровленной к потребностям и бытовым условиям крестьян. Уже в одной из первых своих публицистических статей Огарев доказывал необходимость установления «нормального, правильного отношения работника к собственнику, в котором обеспечивалась бы непринужденность найма и ограждались работник и его труд от излишних притязаний»[2]. (Читатели, привыкшие к языку тогдашней сдавленной цензурой легальной прессы, понимали, что Огарев имеет в виду отмену крепостного права.) Об отмене крепостного права Огарев заговорил и тогда, когда эмиграция дала ему возможность свободно излагать на бумаге свои мысли. В ряде статей Огарев разрабатывал принципы, долженствующие, по его мнению, лечь в основу этой необходимейшей для России реформы. В ряде статей он подробно разбирал правительственные и дворянские проекты «освобождения» крестьян, вскрывая, как далеко расходятся они с правильно понятыми интересами крестьянства. Истинный смысл реформы 19 февраля 1861 г. не скрылся от Огарева. Вскоре после опубликования столь превозносимых тогдашними либералами «положений о крестьянах», вышедших из крепостной зависимости», Огарев на страницах «Колокола» дал подробный разбор их, констатировав — кратко, но выразительно, — что «старое крепостное право заменено новым», что «народ царем обманут»[3]. Естественно, что при такой оценке реформы 19 февраля вопрос о судьбах русского крестьянства продолжал и после проведения этой реформы в жизнь оставаться для Огарева важнейшим и наиболее неотложным среди всех многочисленных проблем, выдвигаемых русской жизнью. В том же 1681 г., отвечая на вопрос: «что нужно народу?» — Огарев в следующих словах сформулировал самую сущность своей социально-политической программы: «Очень просто, народу нужна земля да воля»[4]. И в последующих своих статьях Огарев неустанно твердил о том, насколько нуждается народ в «земле», и доказывал, что русский крестьянин не может существовать без «воли». До конца своей литературной деятельности Огарев боролся за интересы русского крестьянства, отстаивая необходимость реального, а не фиктивного освобождения его из-под власти не только помещиков, но и чиновников.

Это придавало известную односторонность всей публицистической деятельности Огарева. Он очень мало интересовался тем, что происходило на Западе. Крайне редко он откликался в своих статьях на политические события западной жизни и если и ссылался на них, то приводя их лишь в качестве примеров того, что надо избегать России. В этом отношении он далеко уступал своему другу Герцену, который не только всегда находился au courant политической жизни Запада, но и жил столько же, если не больше, его интересами, как и России.

Да и в самой России Огарев не видел ничего, о чем стоило бы серьезно разговаривать, кроме крестьянства, с одной стороны, и его угнетателей в лице дворянства и правительства — с другой. В этом мы убедимся, когда познакомимся ниже с отношением Огарева к русскому купечеству и мещанству и с его взглядом на роль городов в исторической жизни России.

Огарев приехал в Лондон, когда политический путь, избранный Александром II, незадолго до того вступившим на трон, далеко еще не определился. Пойдет ли он по стопам своего «незабвенного» родителя, или же необходимость заставит его решиться на реформы, диктуемые насущными потребностями экономического развития страны, — весной 1856 г., когда Огарев уезжал из России, оставалось еще неясным. Для людей осведомленных не было тайной, что при жизни своего отца Александр II выступал как решительный противник отмены крепостного права, видя в нем надежнейший оплот монархической власти. С другой стороны, кое-какие шаги нового правительства, вроде облегчения доступа в университеты, некоторого ослабления цензурных тисков и т. п., давали основание предполагать, что печальный урок Крымской войны не прошел бесследно и что мысль о необходимости реформ не вполне чужда правящим кругам. Как ни робки и нерешительны были эти шаги по пути к обновлению строя русской жизни, они внушали либеральной части тогдашнего общества надежду на близкое осуществление ее политических мечтаний. Огарев в это время вполне разделял такую надежду. Это совершенно очевидно из первой же статьи, напечатанной им за границей; мы имеем в виду статью «Русские вопросы», появившуюся во второй книжке «Полярной Звезды». Огарев говорил в ней о неотложности отмены крепостного права. При этом он указывал на невозможность освобождения крестьян без земельного обеспечения их и на необходимость сохранения крестьянской общины. «Мы уверены, — писал он, — что император Александр

освободит крепостных людей в России. Их нельзя не освободить, не подвергнув государство финансовому разорению, или дикой пугачевщине, или и тому и другому разом». «Русский народ, — продолжал Огарев, — не может отделить себя от земли, землю от общины. Община убеждена, что известное количество земли принадлежит ей... Эта нераздельность человека и земли, общины и почвы — факт... В понятии русского народа иное устройство невозможно». К этому Огарев добавлял, что освобождение крестьян без земли явилось бы в сущности «введением в России пролетариата, который до сих пор у нас неизвестен, тогда как легко можно избегнуть его и всех его последствий».



Н. П. ОГАРЕВ

Литография, 1850-е гг.

Уже из этих слов Огарева совершенно ясно, насколько пугала его мысль, что русская общественная жизнь может развиваться в том же направлении, в котором она развивалась на Западе. «О, моя Россия! — восклицал Огарев. — Дорого бы я дал, чтобы ты была избавлена от всех страданий западного развития, бесплодных кровопролитий, раздробления собственности, нищенства, пролетариата, формально законных и человечески несправедливых судов, притеснений, позорного мещанского тиранства, лицемерия, и развивалась бы ты мирно, путем вечно юной реформы».

Хотя Огарев, как видно из приведенных выше его слов, и высказывал уверенность, что Александр II понимает потребности народа и потому освободит крепостных, многое смущало его в поведении правительства и заставляло восклицать: «Страшно мне за тебя, моя Россия!» Он думал, что если новый царь еще не заявил о своем намерении отменить крепостное право, то в этом виноваты окружающие его люди, которые привыкли смешивать личные выгоды с интересами государства. Необходимо, чтобы царь нашел себе новых советников и помощников, способных

отрешиться от своекорыстных поползновений. «Для нового вина, — писал он, — надо мехи новые; страшная истина! Горе, если император Александр не поймет ее». Что же мешает ему понять эту истину и окружить себя «людьми с свежим умом и чистыми намерениями»? Только одно — это табель о рангах. «Чин, — писал Огарев, — эта немецко-китайская язва в России, может помешать ее будущему развитию и всякому благому намерению молодого государя» [5].

В статье «Русские вопросы» Огарев кратко набросал почти все те основные мысли, которые он развивал впоследствии в своих статьях, написанных до реформы 19 февраля 1861 г., а отчасти и в позднейших: западный путь развития гибелен для России; освобождение крестьян с землею и с сохранением общины открывает возможность избежать эту опасность; путь мирных реформ предпочтительнее пути, связанного с «кровопролитием»; царь понимает истинные нужды России, но своекорыстное чиновничество мешает ему в его благих преднамерениях; на «образованных» людях лежит обязанность помочь царю осуществить необходимые для России преобразования.

Как видим, Огарев в это время еще вполне разделял многие либеральные иллюзии и был очень далек от мысли, что революция — единственное средство разрешить больные вопросы русской жизни в интересах крестьянской массы. Но это еще не значит, что Огарев был либералом. Его отношение к крестьянству проводило резкую грань между его воззрениями и буржуазным либерализмом.

Огарев исходил из признания того, что историческое развитие России искони шло совершенно иными путями, чем развитие западноевропейских государств. В основе истории последних лежит факт завоевания, порабощения одного племени другим; история же русского народа шла путем мирного заселения никем не занятых земельных пространств. На Западе завоеватели разрушали существовавший до их прихода общинный строй, отбирали землю у покоренных племен и обращали их в рабов. «Факт завоевания» породил на Западе «право земельной собственности»; на этом был основан весь его экономический быт. Развивая принцип собственности, Запад дошел «до права участия собственников в общественных делах и, следственно, до представительного правления», получившего свое высшее развитие в Англии. Таким образом, в основу всего западного развития лег факт юридический — право личной собственности.

Иначе развивалась, по мнению Огарева, русская жизнь. «Русское начало, — писал Огарев, — совершенно не юридическое, русское начало — экономическое, начало земельной собственности общественной и права каждого на пользование землей. От этого Россия была равнодушна к форме правления, и в то время, когда Европа выработала себе выборные начала для представительства в законодательных собраниях, оставив центральному правительству администрацию и назначение судей, тоже ограниченных учреждением присяжных, — русский народ в своем обычае сохранил выборную администрацию и мирской суд, не подумав об остальном отношении к центральной власти». Западноеврепейские понятия собственности и политические порядки Запада остались совершенно чуждыми русскому народу. «Народ, бессознательно участвуя в образовании сильной державы, подчинился управительству, но не подчинился ни внешней форме образа жизни, ни европейскому содержанию, т. е. еврепейскому пониманию права собственности. Прикрепленный к земле, ... он стал молча отстаивать свое общинное право землевладения и право каждого на пользование участком в артельной земле... Народ сохранил свой взгляд вопреки всем вторжениям управительственного начала и с вида подчиняясь ему. В этом безмолвном, но упорном сохранении своего понимания заключалась вся внутренняя народная жизнь от реформы Петра I» [6].

Начало личной собственности является основной причиной всех бедствий, переживаемых Западом. «Мне странно, — говорит Огарев, — что серьезные люди не хотят обратить внимания на то, что Европа гибнет не от революций и не от Наполеонидов, а от частного землевладения» [7]. Западный мир «дошел до такой формы земельной собственности, из которой он, задыхаясь, не может выпутаться» [8].

Личная земельная собственность гибельна независимо от того, сосредоточивается ли она в руках немногих, как в Англии, или дробится между многочисленными мелкими собственниками, как во Франции. Политическая свобода, которой славится Англия, не прельщает Огарева; он понимает, что эта свобода не для всего народа, а лишь для материально обеспеченного меньшинства. Для людей же, лишенных собственности, она сводится к «полной свободе... умереть с голоду» [9]. Положение народа в Англии настолько невыносимо, что рано или поздно это государство, «если не исправится путем реформы, то... лопнет как кратер». Не менее тяжело положение и французского народа. Именно в этом и лежит причина судорожно повторяющихся во Франции бесплодных кровавых революций, приносящих «вместо гражданской свободы, позорный деспотизм» [10]. Тупик, в который зашла Европа, сознается лучшими представителями ее общественной мысли. «Западная наука..., — говорит Огарев, — так поняла невозможность дальнейшего экономического развития Европы, невозможность выйти из заколдованного круга юридических понятий о собственности, что с ужасом бросила камень в собственную цивилизацию» [11]. Однако, если Европа додумалась до

социализма, то осуществить его у нее, как показал опыт 1848 г., нехватаѐт сил: «история слишком истощила ее почву, зерно нейдет в рост и все живое каменеет в известной форме собственности» [12].

Исходя из только что изложенного, Огарев делает два вывода применительно к России, а именно: слепое подражание Западу было бы для нее гибельно, — это, во-первых, а во-вторых, социализм имеет больше шансов на осуществление в России, чем на Западе.

«Общая задача наша, — пишет Огарев, — поставлена: сохраняя все то общечеловеческое образование, взятое с Запада, которое действительно привилось к нам и, следственно, должно итти нам в рост, — удалить все то, что не привилось, что составило нарост ложных учреждений и ложных юридических понятий и следственно освободить народное начало общественного права собственности и самоуправления так, чтоб оно могло развиваться без препятствия на свободе». Одним же из таких болезненных наростов, долженствующих «отвалиться», является правительственная система, принявшая в России чуждую народу и несоответствующую экономическому началу русской народной жизни «латино-германскую форму» [13].

Таким образом, все усилия должны быть приложены к тому, чтобы экономическое начало, лежащее в основе русской жизни, было сохранено и получило возможность свободного развития. Принадлежность земли народу и общинное пользование ею должны стать краеугольным камнем будущности русского народа.

Огарев — горячий панегирист общинного землевладения. Он приводит в пользу сохранения его почти все те аргументы, какими впоследствии пользовались народники-семидесятники.

Характерно, что в 40-е годы, когда Огареву в его хозяйственной деятельности приходилось вступать в непосредственное соприкосновение с крестьянской общиной, его отношение к ней отличалось гораздо более реалистическим характером, чем в эмигрантский период его жизни. Тогда он умел разглядеть в общинных порядках наличность ряда темных сторон и подметил, что то равенство, которое существует в общинном быту, — равенство только формальное. «Я не знаю, — писал он в то время, — как иначе назвать равенство подати при неравенстве сил, равенство земель при неравенстве трудов и капиталов. Наша община есть равенство рабства» [14]. Тогда, в 40-х годах, он находил возможным говорить об «упорном неразумии общины, которое оскорбляет на каждом шагу» [15]. Тогда он умел подмечать факты, решительно расходящиеся с идеальной мирской справедливостью, которой, по его позднейшим воззрениям, проникнуты взаимные отношения членов общины [16].

За границей, под влиянием, с одной стороны, впечатлений от английской жизни с ее обнаженными классовыми противоречиями, а с другой — идей Герцена, давно уже выступавшего поклонником общинного строя русской деревни, отношение Огарева к общине совершенно изменяется. Он начинает признавать, что в ней заключены задатки справедливейшего строя общественной жизни. Общинные порядки, по мнению Огарева, гарантируют право каждого на пользование землею. Община обеспечивает всем своим членам источники существования [17]. При общинном владении землею немыслимо возникновение пролетариата [18]. Сохранение общины дает возможность мирного преобразования общественных отношений на началах справедливости и равенства. Артельное устройство всей экономической жизни страны является прямым выводом из существования общинного владения землею [19].

Исходя из этого, Огарев дает решительный отпор противникам общинного землевладения, доказывая, что их аргументы против него совершенно неосновательны.

Ненавистники общины утверждают, что экономическая отсталость России является следствием общинного землевладения и связанной с ним неуверенности в сохранении за хозяином обрабатываемого им участка при земельных переделах. Это неверно, отвечает Огарев: «дурное земледелие» — результат не общинного устройства, а недостаточности сбыта, крепостного права и притеснений администрации. Говорят, что общинное устройство подавляет личную свободу. Это тоже неверно, отвечает Огарев: «Личность подавлена, помимо общины, помещиком, администрацией, бессудием» [20].

Защита Огаревым крестьянской общины не означала того, что он считал ее реально существующую форму за образец наилучшего общественного устройства. «Нисколько не видя в русском общинном быте идеала общественной жизни, — писал он, — мы не можем не видеть в нем зародыша ее более спокойного, рационального и гуманного развития» [21].

Огарев сознавал, что «идеал общественности, к которому стремится Европа, совсем не то, что общинное землевладение у наших крестьян». Но он высоко ценил заложенную, по его мнению, в русской общине возможность дальнейшего ее развития. «Гораздо легче, — писал он, — идеал общинности развить из формы общинного землевладения, чем из форм собственности совершенно противоположных. На основании противоположных форм землевладения стремление к общинности может итти только посредством насильственных кризисов, потому что надо ломать существующее, между тем как при общинности землевладения надо только оставить это

начало свободно, беспрепятственно и естественно развиваться без всяких общественных потрясений»[22].

Другими словами, Огарев верил в то, что общинное землевладение русских крестьян открывает им возможность скорейшего и более легкого перехода к социалистическому строю, чем частное землевладение, господствующее на Западе. «В форме общинного землевладения, — писал Огарев, — социализм становится на почву, потому что при наследственном землевладении почва для него невозможна».

Естественно, что при таком взгляде на общинное землевладение Огарев должен был решительно высказаться против всяких попыток безземельного освобождения крестьян. Освобождение без земли приведет к тому, что Россия пойдет путем западноевропейского развития или, другими словами, что в ней интересы деревни будут принесены в жертву буржуазии.

«Если крестьян отпустят без земли, — писал Огарев еще в 1856 г., — дворянство, вместо роли образованного класса в государстве, разыграет роль западного мещанства, разовьет право собственности до варварства, как в Англии, разовьет угнетение и нищенство крестьян и даст повод к смутам, которых жестокость будет страшная!.. Если крестьян отпустят без земли, эти свободно-бездомные люди станут нанимать землю. Кто же установит цену этих наймов? Буржуа-помещик. Из-за чего трудиться изменять крепостное состояние русского на крепостное состояние западное, может быть, еще более тяжелое? Из чего трудиться, чтобы перейти из рабства к рабству? А ведь можно перейти от рабства к действительной свободе». Для этого, по мнению Огарева, достаточно предоставить крестьянам ту землю, которой они уже пользуются[23]. Он верит, что тогда «Россия оживет и разбогатеет»[24].

Если в идеале Огарев мечтал о переходе всей земли во владение крестьянских общин, если он признавал, что «лучше устроить так, чтобы не было ни единого человека в России, который бы не имел своего земельного участка в общине»[25], — то на практике, считаясь с противодействием, которое такой план неизбежно должен был вызвать со стороны дворянства, Огарев, не желая осложнять дело отмены крепостного права, соглашался на оставление за помещиками той части принадлежащих им земель, которая не находится в непосредственном пользовании крестьян и на которой помещики ведут свое собственное хозяйство[26].

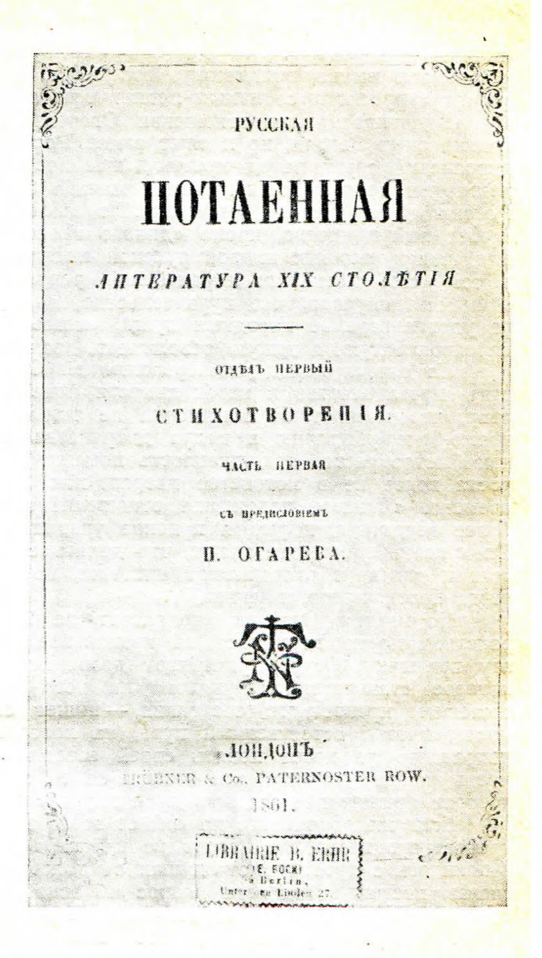
Тем же стремлением облегчить и ускорить освобождение крестьян объяснялось согласие Огарева на выкуп земли, долженствующей отойти от помещиков к крестьянам. Он признает, что никаких юридических оснований для этого выкупа нет и что по справедливости помещики должны были бы бесплатно отдать крестьянам земли, находящиеся в пользовании последних. Но на этом настаивать он не решается, «потому что дворянства не вычеркнешь; оно также представляет известную силу в государстве, известную функцию в развившейся формуле». «При борьбе двух сословий, — говорит Огарев, — выкуп за землю обойдется крестьянам д е ш е в л е, чем бунтовать»[27].

Таким образом, не какие-нибудь принципиальные мотивы, а только соображения целесообразности заставляли Огарева высказываться за выкуп земли. Сообразно с этим он решительно отстаивал право государственных крестьян на бесплатное получение земельных наделов от казны. В данном случае не было оснований опасаться возникновения взаимной борьбы двух общественных классов, избежать которую всячески стремился, как мы убедимся в этом ниже, Огарев в годы подготовки крестьянской реформы.

Допуская выкуп помещичьей земли, Огарев неоднократно подчеркивал, что этот выкуп должен быть обязательным как для помещиков, так и для крестьян. «Только при обязательном выкупе правительство может установить общий метод, общую финансовую меру выкупа и явиться порукою за крестьян ради успокоения помещичьей стороны[28]. На возможность полюбовных сделок между крестьянами и помещиками Огарев не рассчитывал. Исходя из этого, он еще в 1858 г. составил детальный проект выкупа крестьян через посредство Опекунского совета и послал его великому князю Константину Николаевичу, слывшему сторонником отмены крепостного права[29].

Неоднократно Огарев высказывался и за то, что все крестьяне должны получить свободу одновременно и немедленно, без всяких «переходных положений». Правда, вначале он допускал, что отмена крепостного права должна быть проведена с «некоторой постепенностью для предотвращения потрясений, никому не полезных»[30]. Однако очень скоро он убедился, что «потрясениями» грозит не немедленность освобождения, а его постепенность, и начал доказывать несовместимость общего выкупа с постепенностью[31] и отвергать «странную мысль», что крестьянин не способен вдруг начать жить свободно, а должен [по первоначальному правительственному проекту реформы. — *Б. К.*] двенадцать лет постепенно отвыкать от барщины»[32]. Огарев доказывал, что отказ от срочно-обязанного положения крестьян устранит много «смут, судебных и не судебных распрей и даже несчастий». «Переходное положение, — пишет Огарев, — поставит крестьян на ножи. Крестьянин думал, что он будет вольный, а на деле увидит, что нет... Играть народным терпением опасно»[33].

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX СТОЛЕТИЯ»



РУССКАЯ

ПОТАЕННАЯ

ЛИТЕРАТУРА XIX СТОЛѢТІЯ

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ

Н. ОГАРЕВА.

ЛОНДОНЪ

TRÜBNER & Co. PATERNOSTER ROW.

1861.

Огарев не только старался запугать правительство и дворянство угрозою мужицкой революции, он сам в это время боялся ее и желал во что бы то ни стало ее предупредить. В период, предшествовавший реформе 19 февраля, Огарев выступает в роли мирного реформатора и убежденного противника насильственных методов борьбы.

В этом, прежде всего, сказалось влияние западноевропейского опыта и, в частности, неудачного исхода революции 1830 и 1848 гг.

В «Письме к издателю», помещенном в № 1 «Колокола», Огарев, обращаясь к Герцену, писал: «Из ваших сочинений можно заключить, ...что вы не кровавый революционер, а что последние годы вас выучили не верить революциям, по крайней мере, политическим революциям, которые ставят короля-банкира на место короля-барина, императора-плута на место короля-банкира; но что в сущности эти революции не составляют реформы, перемены, что перемена лежит в экономических данных государства, какое бы правительство ни было, и что вы готовы ужиться со всяким правительством, лишь бы оно стояло на высоте экономических изменений в государстве. Дело не в перемене правительства, а в перемене, которая улучшила бы положение людей. Вот, в чем ваш, так называемый, социализм, с которым всякое разумное правительство, которое не хочет погибнуть, должно быть заодно» [34].

«Мы не друзья крутых, кровавых переворотов, — писал Огарев в другом месте; — они не достигают цели, если смысл их еще не ясен в сознании народном; а если смысл переворота ясен в сознании народном, то и самый переворот может осуществиться без потрясений и кровопролитий» [35].

Отрицая насильственную революцию, Огарев должен был с недоверием относиться к заговорщической деятельности тайных обществ. Их деятельность, указывает он, никогда не достигает прямой цели. Значение тайных обществ, по мнению Огарева, заключается в совершенно другом, — в их нравственном влиянии на людей, в том, что они воспитывают общественное мнение в известном направлении [36]. В этом отношении чрезвычайно характерна записка о тайном обществе, публикуемая в настоящем номере «Литературного Наследства». Она была составлена Огаревым, по-

видимому, в 1860 г. Вся деятельность проектируемого Огаревым тайного общества рассчитана не на подготовку восстания, а на мирную пропаганду необходимости реформы русского социально-политического строя.

В отрицательном отношении Огарева к кровавой революции играл роль не только опыт Запада, но и опыт самой России. В Огареве в это время был жив еще дворянский страх перед крестьянским восстанием, перед «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным». Таким именно бунтом представлялась ему возможная в России крестьянская революция. По мнению Огарева, из восстания крестьян не может выйти ничего, кроме «дикого кровопролития», опасного, в первую очередь, для немноголюдных кадров русской интеллигенции. Огарев высказывал уверенность в том, что «элементов европейской революции в России нет». Однако вместе с этим он допускал, что правительство, в том случае, если оно не решится пойти на удовлетворение народных нужд, «может наткнуться на иную революцию, совсем не европейскую, а дикую революцию, враждебную образованности» [37].

Из страха перед этой революцией Огарев прилагал все старания, чтобы убедить правительство в необходимости отмены крепостного права и доказать дворянству, что крепостные отношения не только невыгодны для него самого, но даже прямо-таки убыточны и ведут дворянство к неизбежному разорению. Огарев знал, как быстро растет задолженность помещичьих имений, и понимал, что причина этого роста вовсе не в мотовстве дворян, как полагали многие близорукие люди того времени. «Ложное положение отношений помещиков и крестьян, — писал Огарев, — более вероятная, коренная причина упадка дворянских имений. А упадок страшный! Опекунские советы не знают, что делать с огромным количеством имений, поступающих к описи, и отсрочивают платежи, не имея возможности продать с публичного торга просроченные имения» [38].

По мнению Огарева, «не расчет, не боязнь потери и разорения заставляет дворянство упорно держаться за крепостное право, — а привычка». Чтобы преодолеть эту привычку, Огарев указывает дворянству на блестящее экономическое будущее, которое становится доступным для него после падения крепостничества. «С уничтожением крепостного состояния, — пишет он, — дворянство ринется в промышленность, в этот естественный путь, на котором оно найдет себе исход. Если теперь дворянство не хочет понять своей естественной сферы деятельности, то необходимость скоро заставит его понять ее и свое великое назначение — быть средою, которая оживит все богатые производительные силы России» [39].

Если же дворянство не поймет этого и будет продолжать упорствовать в защите крепостного права, то России не избежать кровавой смуты. «Слишком много желчи накопилось в крестьянских душах от долговременного помещичьего насилия, слишком громко поставлен на ноги вопрос об освобождении, чтобы спокойствие сохранилось, если помещики станут упорствовать» [40].

Мы уже указывали, что под влиянием либеральных иллюзий Огарев искренне считал Александра II человеком, преданным народному освобождению и заботящимся о наиболее выгодном для крестьян устройстве их будущего. Не раз заявлял он свое убеждение, что царь необходимо должен стать во главе общественного развития. Только своекорыстие чиновников и тупоумие дворянства задерживают, по мнению Огарева, нормальный ход реформаторской деятельности правительства.

Не найдя в манифесте, изданном по случаю окончания Крымской войны, ни слова об освобождении крестьян, Огарев объясняет это не нежеланием Александра II, который, «говорят, ...человек благонамеренный и добрый», а интригами высшей бюрократии. «Александра, — пишет он, — еще окружают николаевские люди, люди раболепия и неправды, люди корыстные, люди, скрывающие под видом важности ограниченность и невежество, фельдфебели в чине государственных сановников, люди, которым кажется преступлением все, что честно, благородно и разумно». «Государь! — пишет Огарев обращаясь к царю, — освободите сами себя и освободите Россию» [41].

Мысль о том, что и чиновничество, и правительство, и сам царь — не что иное как агентура господствующего помещичьего класса, была совершенно чужда Огареву. В его глазах дворянство — стена, отделяющая народ от царя. Оно враждебно тому и другому. «Дворянство, — писал Огарев, — естественный антагонист и правительства и народа, ибо arrière-pensée и цель всякого дворянства невольно есть олигархия» [42]. Что же касается крестьянского вопроса, то в нем дворянство, вследствие его своекорыстия и неразумия, играет роль тормоза и «мешает правительству действовать разумно и благородно». Под влиянием такого взгляда на роль дворянства, Огарев был готов видеть борьбу между министерством внутренних дел и дворянством там, где в действительности происходило столкновение различных групп внутри самого дворянства, и признавал, что «министерство внутренних дел играет в этом случае благородную роль» [43].

В течение ряда лет, употребленных правительством на подготовку реформы 19 февраля, Огарев внимательно следил за всем происходящим в правительственных сферах и отмечал все колебания в курсе правительственной политики, радостно

приветствуя все заявления правительства, свидетельствующие об его решении отменить крепостное право, и впадая в отчаяние при каждой вести, обнаруживавшей, что интересы дворянства правительству ближе, чем интересы многомиллионной массы крепостного крестьянства.

Известно, с какой горячностью приветствовал Герцен ноябрьские рескрипты 1857 г., которыми Александр II впервые заявил публично о своем решении принять меры к улучшению быта помещичьих крестьян. С неменьшей горячностью отозвался на них и Огарев. Отмечая издание этих рескриптов, как «великое событие», Огарев писал: «Мы начинаем 1858 г. приветствием Александру II за начало освобождения крепостного состояния. Мы убеждены, что он неравнодушно примет это горячее приветствие людей, которые для себя лично от него ничего не ждут и ничего не просят, приветствие свободных русских людей — царю, уничтожающему рабство»[44].

Таким образом, в деле отмены крепостного права, Огарев рассчитывал отнюдь не на активность самого крестьянства, а на благие намерения царя и правительства. Крестьяне, по мнению Огарева, вследствие своей неразвитости, забитости, привычки к повиновению и страха перед всем, что им кажется силою, неспособны отстаивать свои интересы и сознательно добиваться улучшения своей участи. Крестьяне понимают необходимость отмены крепостного права, но не сознают, какими средствами можно и должно добиться осуществления этой реформы. «Народ, — писал Огарев, — плохо может высказать понятие, находящееся у него скорее в степени инстинкта, чутья, а не ясной мысли»[45].

На кого же в таком случае может правительство опереться в своей реформаторской деятельности? Кто поможет ему выработать и провести в жизнь такое сложное и многотрудное дело, как отмена крепостного права, являвшегося одним из основных устоев существующего политического и общественного порядка?

В начале Огарев возлагал все свои надежды на содействие правительству среднего дворянства, обладающего высшим образованием и, в то же время, благодаря своей жизни в деревнях, знакомого с нуждами и потребностями народа. «Эти люди, — писал в 1856 г. Огарев, — остались самобытны и независимы, следственно добросовестны. В этих людях в настоящую эпоху выражается высшее развитие русской мысли; они могут быть советниками и помощниками»[46].

Однако работа дворянских комитетов по крестьянскому делу убедила Огарева в том, что среднее дворянство далеко не так бескорыстно и добросовестно, как он думал. Под влиянием этого Огарев начинает говорить уже не об этой группе дворянства, а об «образованном меньшинстве» вообще. «Наше образованное меньшинство, — писал он в 1858 г., — не принадлежит исключительно дворянству. Оно состоит из тех немногих, — из какого бы сословия они ни происходили, — которые учившись, приняли науку и нераздельное с ней понятие справедливости к сердцу. Только эти немногие составляют передовой отряд русского движения, с которым народ может всегда сочувствовать и на который правительство может положиться во всех случаях, когда оно хочет сделать шаг вперед для общего блага. — Большинство же помещиков может только мешать народному развитию»[47]. Таким образом, ход крестьянского дела открывал Огареву глаза на многое, чего раньше он не замечал, и, в конце концов, он должен был признать, что «несостоятельность дворянства», так ярко обнаружившаяся при обсуждении крестьянской реформы в губернских комитетах, «заставляет умы в иной сфере искать элементов для живого русского развития»[48]. Ниже мы увидим, где он нашел эти элементы, но он нашел их только после обнародования реформы. Теперь же он продолжал строить свои расчеты на образованном меньшинстве дворянства. Особенно ярко это проявилось в 1860 г., когда Огарев выдвинул и развил явно утопический план освобождения крестьян помимо правительства и независимо от него.

Согласно этому плану, образованное меньшинство должно само договориться с крестьянами о выкупе земли и открыть для этой цели подписку для организации специального, независимого от правительства, выкупного банка. Огарев был убежден, что крестьяне охотно пойдут на такой выкуп по соглашению; они поймут, что он «обойдется обеим сторонам дешевле, чем распри и настоящий бой». Но где гарантия, что крестьяне будут исправно выполнять принятые ими на себя обязательства? «Крестьяне станут платить, — отвечает на этот вопрос Огарев. — Они поверят вашему честному слову; вы поверите их слову. Обмана не будет, и характер народный очистится».

Если меньшинство дворянства энергично примется за это дело, то и большинство его, по мнению Огарева, будет вынуждено примкнуть к нему, потому что «иначе народ его перевешает». Дворянство должно же понять, наконец, что спасение его «в союзе с народом», иначе оно «будет задушено или народом, или правительством». Таким образом, если прежде Огарев возлагал надежды на правительство в целях преодоления косности, своекорыстия и неразумия дворянства, то теперь он начинает ориентироваться на дворянство, в целях борьбы с правительством, не понимающим истинных интересов страны. Эти колебания и переломы в расчетах крайне характерны для Огарева и показывают, как медленно и с каким трудом преодолевал он свои иллюзии.

Однако возникает вопрос: призна́ет ли правительство проектируемый Огаревым выкупный банк. Пусть не признает, отвечает Огарев: «Никто не может мешать вашим векселям за поручительством служить законным документом и пользоваться кредитом по мере того доверия, которое вы вызовете вашей круговой порукой, вашим умением, вашей деятельностью и личным благородством».

Огарев сознается, что его проект можно упрекать в утопичности, но это не смущает его. «Вся история, — говорит он, — идет этим путем: человечество живет утопией, стремится к мечтательному общественному устройству, а по дороге достигает существенных преобразований».

«Да попробуйте же, прежде чем говорить, что невозможно!» — заявляет Огарев своим предполагаемым оппонентам [49].

Огарев придавал громадное значение проекту создания независимого от правительства общественного банка, видя в нем не только путь к ликвидации крепостного права, но и средство для борьбы с чиновничеством, которое в глазах Огарева, являлось на ряду с крепостничеством, главной причиной всех бедствий, переживаемых Россией. Бесправие населения и произвол администрации в России гнетущим образом действовали на Огарева. Его до глубины души возмущала «наглость обращения всякого мало-мальски высшего с низшим».

«Ни единый человек, выше тебя поставленный, — писал он, — не постыдится оскорбительно и нахально переступить порог твоего дома, особенно, если этот дом — изба. Понятие чести замерло перед этим нахальством. Личность не выработалась для самостоятельности и несмотря на нашу храбрость в бою, гражданская трусость сделалась нашим отличительным свойством. Всякая защита своего права и правды у нас считается бунтом; а подлость, если не доблестью, то, по крайнем мере, делом естественного порядка вещей. Крепостное право и чиновничество стерли неприкосновенность собственности. Судят и осуждают людей втихомолку, основываясь на подкупе, лицеприятии и притеснении. Мнению высказаться вслух нельзя, и на устах русского лежит печать молчания. Какие постановления делает администрация, какие распоряжения, куда девают все суммы, не мытьем, так катаньем собираемые с народа, — никому неизвестно, как будто никто этим не заинтересован, как будто России дела нет до того, что с нею делают. Даже само правительство по большей части не знает, что делает администрация, и не имеет никакой путеводной нити для поверки отчетов, потому что действительная поверка и гласность нераздельны. Наша наука отстала, наша промышленность и особенно наше земледелие в совершенном младенчестве» [50].

Эта печальная картина доказывает необходимость срочно принять меры к обузданию произвола и алчности чиновничества и прекратить тот грабеж народа, которым занимается вся администрация, начиная с земской полиции и кончая губернаторами. Мы видели уже выше, что Огарев считал неотложным обновление состава администрации и привлечение в ее ряды «свежих» людей, преданных интересам народа. Только тогда, когда в ряды чиновничества вольются новые люди, оно оздоровится и перестанет «отгораживать» народ от правительства и «заслонять» их друг от друга [51].

«Во имя народа и образованного меньшинства, — писал Огарев, — мы невольно побуждены сказать правительству: берите людей новых; с вашими старыми правителями губерний вы ни до чего не дойдете, кроме смут, которые и вам, и нам, и всякому здравомыслящему и честному русскому хотелось бы отвратить от отечества» [52].

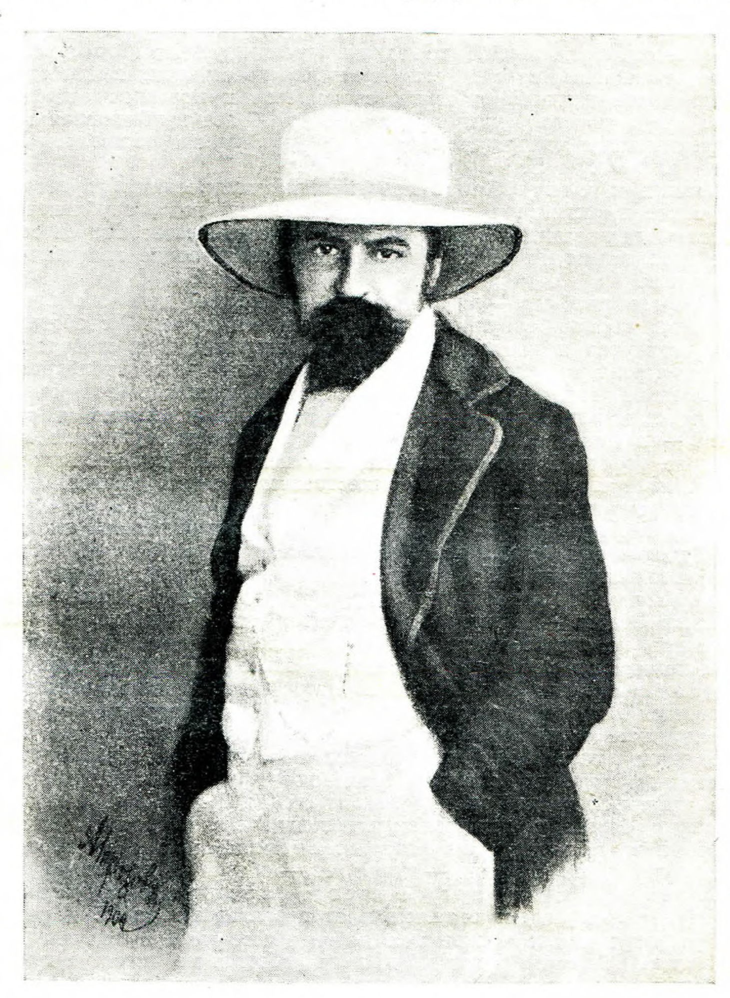
Но привлечение свежих людей в ряды администрации затрудняется существованием иерархической системы, которую представляло собою русское чиновничество. «Правительству надо уничтожить чин, чтоб иметь возможность окружить себя порядочными людьми». Табель о рангах, по словам Огарева, стоит преградой между правительством и честными, даровитыми и образованными людьми, привлечение которых на административную службу представляется насущной необходимостью [53].

Однако очень скоро Огарев убедился, что одним обновлением состава чиновничества делу помочь нельзя и что необходимы иные меры, которые приблизили бы администрацию к народу. Главной из этих мер он считал выборность администрации населением. По его мнению, необходимо предоставить селам, волостям и городам свободно выбирать подотчетных населению и сменяемых по его указанию начальников. Однако в это время Огарев еще не настаивал на полном уничтожении администрации, назначаемой правительством. На ряду с выборными властями продолжают существовать и коронные чиновники. В каждую губернию правительство назначает губернатора, прокурора, казначея и следователя (судьи избираются населением). Что касается губернатора, то на обязанности его лежит объявлять населению распоряжения правительства и требовать их исполнения. При этом, если население находит то или иное правительственное распоряжение неправильным, нецелесообразным и нуждающимся в «улучшении», оно входит с представлением об этом через губернатора к царю, от которого зависит окончательное решение дела [54]. Таким образом, неограниченная власть царя остается в неприкосновенности. Подобно славянофилам,

Огарев предоставляет народу только «свободу мнения», не покушаясь на прерогативы монарха.

Однако и на такой точке зрения Огарев удержался недолго. Мы видели уже, как ход крестьянской реформы освобождал его постепенно от либеральных иллюзий и как он начал понимать безнадежность расчетов, которые он раньше связывал с благими намерениями правительства и царя.

Если раньше он призывал «образованных людей» итти на государственную службу, чтобы помогать правительству в его реформаторской деятельности, то теперь



ГЕРЦЕН

Портрет итальянским карандашом А. Морозова, 1904 г., с утраченной фотографии 1850-х гг.

Литературный музей, Москва

он обращается с призывом ко всем «честным людям» действовать помимо правительства, не считаясь с ним и даже бойкотируя его.

«Что правительство будет против нас, я в этом уверен, — писал Огарев в 1860 г., развивая известный уже нам проект выкупа помещичьей земли помимо правительства; — бессмыслие людское велико... А потому образованное меньшинство должно оставлять гражданскую службу; польза, которую оно приносит на этом поприще — вред... Уж если нужда служить, то лучше служить в военной службе, по крайней мере, в войске прибавится масса образованных офицеров, которые не допустят солдат ни стрелять по народу, ни устраиваться Польше как знает».

Свой проект общественного выкупа земли и учреждения выкупного банка Огарев рассматривает как начало создания общественной организации, которая при

благоприятных обстоятельствах может заменить правительственный аппарат. В осуществлении этого проекта он видит учреждение «de facto, на деле, помимо правительства, того общественного устройства, которое со временем заменит настоящее положение».

Крайне характерно, что в связи с этим у Огарева впервые появляется мысль о непосредственном обращении к народу.

«Надо, — пишет он, — готовить учителей, проповедников науки для крестьян, странствующих учителей, которые из конца в конец России могли бы разносить полезные и прилагаемые знания. Общественный кредит может подготовить их и пустить в ход»[55].

Таким образом, выясняется, что задачи проектируемого Огаревым общественного банка не ограничиваются содействием выкупу крестьянами земли от помещиков, а приобретают более широкое значение, сводящееся к коренному изменению всего политического строя страны. Другими словами, чем более приближался момент обнародования крестьянской реформы, тем меньше у Огарева оставалось надежд на правительство Александра II.

Изменившиеся к концу 1860 г. политические настроения Огарева нашли себе чрезвычайно яркое выражение в его статье «На новый год», опубликованной в номере «Колокола», датированном 1 января 1861 г. В этой статье Огарев ставит вопрос о том, какие последствия повлечет за собою подготавливаемое правительством освобождение крестьян.

«Какое бы оно ни было, — пишет Огарев, — в первый день оно примется с восторгом. Не один шкалик откупного вина разопьется в честь свободы... Но день пройдет, все оглянутся и увидят, что и вино поддельное, и свобода поддельная. Наступит пора страшного молчания, от которого много лиц побледнеет; а потом люди очнутся, жизнь взойдет в свои права и станет искать себе выхода».

И крестьяне, и помещики, и чиновники, и купцы, и мещане, и ремесленники, и духовенство, — словом все население Российской империи будет, по мнению Огарева, недовольно реформой и придумавшим ее «немецким правительством», которое «сосредоточено из всего бездарного, невежественного, своекорыстного и непонимающего ни русской жизни, ни русских потребностей».

Таким образом, правительство окажется в положении полной изолированности, против него будет стоять «всё... вся Русь». «Очевидно в с ё, т. е. Россия, должны перетянуть официальный мир». Но, может быть, правительство соединится со «всеми» и признает необходимым удовлетворить потребности народа? «Это было бы дело великое, — пишет Огарев, — но оно не соединится ни с кем, потому что оно не только иностранно, но оно бездарно». Самое большое, оно сделает кое-какие уступки. «Их нужно принять, ими необходимо воспользоваться, но цели из виду не терять».

Если правительство не сможет понять потребностей страны, «тактика остается одна: отстраняться от официального мира, выходить из чиновничества, оставлять в нем одну бездарность и недобросовестность; и усиливать число людей для образования банков, число людей в промышленности, число людей в литературе и, наконец, число образованных русских офицеров, так чтобы правительственная бездарность не могла бы опираться на штыки и рассчитывать на пушки».

Предстоящая борьба с правительством принимается Огаревым как печальная необходимость, помимо которой не остается никаких иных средств для спасения страны. «Поневоле и со скорбью, — пишет он, — общество придет к заключению: «О т п р а в и т е л ь с т в а ж д а т ь н е ч е г о; с т а н е м т е н а с в о и н о г и». И общество будет «вынуждено отделиться от правительства и не допускать, чтобы оно мешало развитию тех общественных данных, которые существуют, сознаются и вошли в движение. Общество будет вынуждено работать не вместе с правительством и покорить его власть власти общественной. Общество вынуждено составлять свои центры действия... Образуются ли эти центры понемногу и тихо, или быстро и явно, — это зависит от силы обстоятельств, от силы людей, от силы их сближения и согласия. Как бы они ни образовались, но они по необходимости должны образоваться: иначе нельзя итти вперед, а остановиться невозможно».

Говоря об общественных «центрах действия», Огарев не имел в виду создание тайных обществ в обычном смысле этого слова. Несмотря на уроки жизни, он еще не утратил надежды на возможность мирного исхода. Если он раньше рассчитывал на то, что правительство поймет нужды страны и сознает свою обязанность удовлетворить их, то теперь он надеется, главным образом, на то, что правительство поймет свою изолированность и под воздействием общественного мнения вынуждено будет капитулировать. План действий, предлагаемый Огаревым, был в его глазах «единственным средством избегнуть кровопролития, сделать помещиков сговорчивыми, дать возможность начать рациональное экономическое преобразование и сберечь силы на остальное». «Все должно быть употреблено для мирного и прочного развития жизни», — говорит Огарев[56].

Организацию «центров действия» Огарев пропагандировал не только в печати, но и в переписке со своими знакомыми. В письме к П. В. Анненкову от 24 августа 1860 г. он писал: «Без групп и клубов общественное мнение не образуется;

а группы составляются явно или тайно, смотря по внешним обстоятельствам; главное, чтоб были группы с известной задачей и с известной дисциплиной в работе, а беда не велика, если при официальной группе к делу прибавится и немного болтовни... Метода совершенно зависит от внешней обстановки, — только группы необходимы» («Звенья», кн. III — IV, стр. 413). Из этого письма ясно, что основная задача проектируемых Огаревым «центров» или «групп» — организация общественного мнения. Вопросу о том, будут ли это тайные или легально существующие объединения, Огарев не придавал особой важности. Форма объединения определится внешними условиями. Однако Огарев не мог не понимать, что русские политические условия не дают простора для легальной оппозиции и что поэтому проектируемые им «центры» поневоле должны будут принять характер тайных обществ.

Статья «На новый год» показывает, что к 1861 г. у Огарева не оставалось уже надежд, что правительство сможет разрешить крестьянский вопрос в благоприятном для крестьян смысле.

Изучение опубликованных правительством «положений» об отмене крепостного права окончательно убедило Огарева в том, что объявленная «свобода» не имеет ничего общего с той «волей», которую ожидало русское крестьянство, что не только экономическая, но даже юридическая зависимость крестьян от помещиков не уничтожена, что поэтому реформа не удовлетворит крестьянства и не принесет успокоения в деревню, что, наконец, правительственные «положения» являются не чем иным, как «уставом нового рабства».

«Старое крепостное право, заменено новым, — писал Огарев. — Вообще крепостное право не отменено. Народ царем обманут»[57].

Особенно сильное впечатление, отразившееся на всех последующих выступлениях Огарева, произвели на него сведения о жестоком подавлении крестьянских волнений, вспыхнувших в России, и о расстрелах безоружных крестьян. «Неужели в минуты уединения и раздумия он никогда не подумал, что он убийца и палач?» — писал про Александра II Огарев, добавляя, что царю нужно «просить у народа прощения»[58].

Под впечатлением разочарования, доставленного ему реформой, Огарев заявляет, что в нем вера в правительство «рушилась окончательно» и что «разрыв с этим правительством для всякого честного человека становится обязательным». Огарев не теряет веры в то, что освобождение крестьян не ограничится реформой 19 февраля; он верит, что оно будет развиваться и пойдет «помимо правительства»[59].

Урок 1861 г. имел громадное значение для Огарева: он заставил его внимательно пересмотреть свое отношение к основным вопросам русской политической жизни. Пути предстоящего развития России стали теперь представляться ему иначе, чем прежде. Если компромиссная реформа 19 февраля дала, как известно, могучий толчок развитию революционного настроения в стране, то и на Огареве она отразилась революционизирующим образом. Однако и теперь он не мог еще вполне отделаться от «наследия прошлого»; оно висело над ним, и это, как мы увидим, сказалось на многих политических проектах и начинаниях Огарева, относящихся к эпохе, о которой нам придется теперь говорить.

Надо сказать, что от основных своих взглядов на русскую жизнь Огарев не отказался и после 1861 г. Наоборот, теперь он подробнее изложил свой идеал общественного устройства России и даже пытался дать ему теоретическое обоснование. Обоснование это показывает, как далек был Огарев от тех достижений, к которым в его время пришла передовая общественная политическая мысль Западной Европы.

Характерно, что Огарев категорически отрицал трудовую теорию ценности и в этом отношении делал шаг назад даже по сравнению с передовыми буржуазными экономистами его времени. По Огареву «ценность равна труду и вещи». «Приписать ценность тому или другому порознь, — утверждает Огарев, — невозможно... Труд без материала не только не имеет ценности, но не имеет существования. Истинная ценность лежит в соединении труда и материала». Отсюда Огарев делал вывод, что то и другое, т. е. материал и труд, должны находиться в одних руках. В частности это относится к земле, ибо «в материале основа основ почва»[60]. Социализм может быть достигнут только при условии «общественного, народного владения почвой», т. е. при том условии, которое отсутствует на Западе и, по мнению Огарева, имеется в наличности в России.

В этом — основа всех особенностей русской истории; в этом — залог неизбежности и близости лучшего будущего для России. В этом же — и причина слабости социализма на Западе.

«Если мы на европейском Западе, — писал Огарев, — встречаемся с специальными теориями, которые разрастаются в книге и не вырастают в жизни, то мы не можем не обратить внимания на то, что они и не находят себе корня в жизни, положительного общего принципа и являются как отрицание, как противоречие существующему злу, а не как развитие положительно существующего начала. Россия, напротив того, дает социализму положительное начало, самый общий принцип — заменою de facto (на две трети протяжения) личного наследственного права

на недвижимую собственность — правом пол̆зования из общественной собственности»[61].

Таким образом, только в России вопрос об осуществимости социализма поставлен «не теоретически, а исторически». «Если Россия не достигла до мысли об общинном труде над общинным владением, то это... потому, что обстоятельства правительственно так устроились, что мешают ей, — естественно же она не может не притти к этому результату... Из общинного владения легче дойти до общинного труда, чем наоборот, потому что основа реальнее»[62].

Ликвидация частной земельной собственности необходимо является, по Огареву, началом социального преобразования, а земледельческая артель — его отправной точкой. Для ликвидации же земельной собственности необходимо прежде всего позаботиться об организации народного поземельного кредита в целях выкупа частной и казенной земли в общественную собственность[63]. Последовательность в развитии общественных преобразований представляется Огареву в следующем виде:

«Для нас ожидание на первом плане — это учреждение народного кредита. Что же касается до ожиданий в дальнейшем времени, это —

1) организация земледельческой артели (общинного земледелия),

2) организация на ее основании ремесленной общины (промышленной артели),

3) на основании обоих — организация торговой артели»[64].

Итак, вся земля должна быть обращена в собственность общественную, земскую Отсюда необходимо вытекает ликвидация помещичьего землевладения. «Мы должны помнить, что в России один настоящий помещик-землевладелец — это сельский мир, и других помещиков нам не надо»[65]. Дворяне должны поступиться всей своей землей в пользу общую, а сами, наравне с крестьянами, получить в общинах земельный пай[66].

Однако Огарев предвидит все трудности такого решения вопроса и, вследствие этого, изъявляет готовность итти на компромисс. Вот что он писал в статье «Ход судеб»:

«Вот самый тяжелый вопрос в земле. Трудно им [дворянам-помещикам] землей поступиться; привыкли жить по-белому. Тут по самой правде следовало бы все земли к селам прирезать и выдать дворянам тягловый пай; но до сущей правды дойти мудрено; если — грех пополам — на мировую пойти, то пусть оставят крестьянам всю землю, какой они теперь владеют, а если где помещик по корысти мало давал, по общему соседскому присуду из помещичьей земли к крестьянской прирезать; а за то, что земля за ними считаться не будет, пусть казна из податей выдаст им по скольку они с казной условятся... А покамест они приписываются к селам и волостям и несут земскую повинность по раскладке. Иные из них и пораспродадут земли то селам в мир, то другим крестьянам или купцам, так что, если не мы, то дети наши промеж себя так перемешаются, что и не узнаешь, кто из дворян, кто из крестьян, кто из разночинцев. Только что иной будет побогаче, другой победнее, а все же единый народ русский; его мужское дело смотреть за тем, чтоб богатство бедности не заедало и у каждого человека была бы земля и пристанище»[67].

Однако осуществление такого плана невольной самоликвидации дворянского землевладения грозило затянуться на неопределенно долгое время; это и побудило Огарева выдвинуть мысль об организации народного кредита в целях безболезненного и безобидного для помещиков выкупа их земель.

С вопросом о ликвидации частной поземельной собственности для Огарева был неразрывно связан и вопрос об уничтожении сословий. «Коренное деление людей на сословия, — писал Огарев, — при существовании земской поземельной собственности стирается невозможностью отдельным лицам скупить землю и отнять у небогатого ту почву, на которой он ставит свой дом и свою усадьбу, и то поле, с которого он снимает жатву для своего прокормления»[68].

Ликвидация сословий, по мнению Огарева, облегчается в России тем, что принцип сословности чужд русскому народу. В отличие от Запада, в России сословия возникли не самостоятельно, в силу определенных исторических условий, а были созданы искусственно, «по наказу» государственной властью[69].

Большим преимуществом России по сравнению с Западом, по мнению Огарева, является отсутствие в ней буржуазии в западноевропейском смысле этого слова. «Наше среднее сословие, — писал Огарев, — само не знает, насколько оно относится к высшему сословию, насколько оно народ. Все, что оно знает, что оно не имеет и не может иметь никакой самостоятельности. Его маленькое меньшинство, обогатившееся в торговле, стремится слиться с высшим сословием; даже новейшие реформы скорее усилили, чем ослабили это направление. Его большое большинство — бедное торгующее мещанство и крестьянство — нисколько не отделилось от народа. Поверить в самостоятельное гражданское состояние нашего среднего сословия — или дело предположения, натягивающего нашу жизнь по европейскому образцу, или просто забава воображения»[70].

При слабости русской буржуазии, дворянство и чиновничество являются единственными силами, могущими задержать те преобразования, которые Огарев

считал необходимыми для России. При этом характерно, что Огарев, раньше противопоставлявший дворян чиновничеству, теперь приходит к мысли, что в сущности это — одно и то же. Русское дворянство, по его мнению, значительно отличается от западноевропейского. Последнее возникло как особое сословие, естественным путем, независимо от государства; в России же дворянство было искусственно создано государственной властью. В России значение дворянства расценивается не по старине рода и не по особенности прав, а по чину и по месту, занимаемому на государственной службе. Неслужащее родовое дворянство и родовое дворянство в маленьких чинах по своей роли в жизни государства ничем не отличается от мелкого чиновничества и разночинства. «Русское дворянство, — говорит Огарев, — не более как сословие чиновничества». Оно выражает не какой-либо самостоятельный интерес, а только «интерес казенной службы»[71].



ПОЖАР АПРАКСИНА РЫНКА В ПЕТЕРБУРГЕ В МАЕ 1862 г.

Цветная литография

Публичная библиотека, Ленинград

Огарев не рассчитывает на то, что ликвидация дворянства произойдет быстро и путем какой-либо единовременной меры. Эта ликвидация представляется ему более или менее медленным, постепенным процессом рассасывания дворянства в народе. Огарев полагал, что реформа 19 февраля, даже в том виде как она была проведена правительством, наносит смертельный удар дворянскому землевладению, ибо она создает в деревне «ряд таких сбивчивых отношений, что ни помещики, ни крестьяне не будут в состоянии ни одной минуты жить спокойно». «Кроме запутанной определенности, вводимой в хозяйства и тех и других — никому нет ни малейшей выгоды», — писал Огарев[72]. Огарев не понимал того, что отмеченная им запутанность отношений — на руку помещикам, всегда встречающим в администрации опору своим интересам. Не понимал он и того, насколько прав был Александр II, заявивший при обсуждении крестьянской реформы в Государственном Совете, что правительство, разрабатывая эту реформу, сделало «все, что можно было сделать для ограждения выгод помещиков»[73]. Он думал, что при дороговизне вольного труда помещикам не удастся наладить свое хозяйство и оно неминуемо придет в упадок[74]. «При огромных долгах, лежащих на дворянских имениях, — писал Огарев, — только небольшое меньшинство дворянства выдержит на-

стоящее положение». Большинство же будет вынуждено продавать свои имения [75]. При таких условиях дворянству, по мнению Огарева, выгодно теперь же отказаться от земли в пользу народа, получив за нее известное вознаграждение [76].

Огарев указывает, что из среды дворянства уже выделились люди, понявшие, что «пора перестать управляться чиновниками». «Народ мало-помалу опознает, что это его люди, сердцем искренние и мыслью праведные». Такие люди сознательно идут на отказ от своих привилегий в целях сближения с народом. Их Огарев называет «помещиками, переходящими в крестьянство», в народ, в земство. Число их еще не велико, но постепенно оно должно увеличиваться. С течением времени к ним примкнет и большинство дворянства, состоящее из «междоумков, не знающих как им быть и куда пристать». При упадке помещичьего хозяйства «поневоле придется и междоумкам пристать к людям искренним и просто стать наравне и заодно с народом» [77].

Таким образом, дворянство постепенно растворится в народе и сольется с ним, перестав существовать как обособленное сословие с интересами, противоположными крестьянским.

Как же представлял себе Огарев политический строй будущей народной, земской России?

Огарев — убежденный противник правительственной централизации. По его мнению, централизация — «это постоянная классификация географическая, юридическая, административная, с исключительной точки зрения управления, стремление привести все народное содержание в графы, по которым можно было бы управлять. Очевидно, графы выйдут искусственные... Как живая природа совокупностью своих многообразных признаков не взойдет в рамку классификации по одному отдельному признаку, — так и живой народ с совокупностью своих многогранных потребностей не подойдет под распорядок единственно ради управления» [78].

Вред централизации ярко обнаружился, по мнению Огарева, во Франции. Несмотря на ряд кровавых революций, Франция не сумела добиться ничего иного, кроме замены одного деспотизма другим. Причина этого печального явления кроется в нежелании отказаться от принципа централизации [79].

Административной централизации Огарев противопоставляет народное самоуправление. В его представлении идеальное государство должно быть не «отвлеченной целостью, подчиняющей себе части», а «живым соединением самобытных сельских миров». Россия имеет все данные для того, чтобы сделаться таким идеальным государством, — «государством без пугала отвлеченной целости и верховного средоточия, какое бы это средоточие ни было — царь или сословие, словом к образованию союза самобытных сел» [80].

Как мы говорили уже выше, в период, предшествовавший опубликованию крестьянской реформы, Огарев готов был оставить в неприкосновенности верховную центральную власть и соглашался на сохранение известной доли местного управления в руках коренной администрации. Теперь он начинает настаивать на том, чтобы начало выборности всех властей народом было проведено, начиная с низов и кончая самыми верхами правительственного аппарата. «Европа, — писал он, — очень хорошо чувствует все зло, гнетущее ее потому, что выборное начало, даже с suffrage universel, падает только на депутатов в парламенте, о которых масса населения не имеет понятия и выбирает их равнодушно или при подкупе, выбирает не зная для чего, с неопределенною целью, — между тем, как администрация и суды зависят от правительства и наблюдают не интересы общественные, а интересы правительства. Пора сознать, что выбор хорош только местный, потому что тут всякий знает, кого и зачем выбирает. Община знает своего старосту; город знает, кого выбрать для смотрения за порядком и чистотой; выборные от общины, волостей и сословий, сходясь на областные выборы, будут знать, кто способен наблюдать за порядком в области, кто способен рассудить уголовное дело, кто способен распоряжаться общественными работами. Но далее размера областей, управление ускользает от непосредственного выбора; ни личность, ни круг действия избираемого неизвестны массам. Для масс доступен выбор только местного управления. Выбор центрального управления возможен только через посредство выборных областных» [81].

Так представлял себе Огарев организацию выборной администрации в 1861 г. Позднее он внес некоторые поправки в этот план. Во-первых, став на точку зрения необходимости уничтожения всех сословных различий, он устранил всякое участие в управлении общественными делами выборных от сословий, ограничившись выборными от территориальных единиц. Во-вторых, он признал возможным установить прямые выборы не только для местных властей, но и для центральной — в лице общегосударственной земской думы или земского собора, как он начал именовать это учреждение [82].

Чрезвычайно большое значение Огарев придает правильному разделению государства на области и широкому самоуправлению областей.

«Соединение в области, — писал он в 1861 г., — становится необходимой задачею, без разрешения которой управление, ускользая от выборности и ответственности, всегда будет уродливым, всегда впадет в ложное соединение разнородных ча-

стей и, создавая ненужное соединение огромного пространства под одну власть, пожертвует этому огромному призраку свободой и благосостоянием народонаселения».

Деление на области должно производиться на основании географических и промышленных условий, а также по этнографическому признаку[83]. Европейскую Россию Огарев предполагал разделить на 8 или 10 областей: 1) Беломорская, 2) Прибалтийская, 3) Белорусская, 4) Литва, 5) Средняя или Кровная Великороссия 6) Уральское Заволжье, 7) Прикаспийская, 8—10) Донское казачество, Малороссия и Новороссия — одна или три Черноморские области. Что касается Сибири, то она «громоздится в свои области». Польшу Огарев оставляет в стороне, так как признает ее право на полное самоопределение. «Устроив областные самоуправления, — пишет Огарев, — все увидят необходимость пожать друг другу руку на общие интересы и соединиться в федерацию, в общий союз славяно-русских областей, в котором области управлялись бы каждая сама собою, на основании выборного самоуправления, наделения землею всех и каждого, с своим областным банком, а для общих дел союза каждая область присылала бы своих выборных для соглашений в устройстве путей сообщений, общих расходов и, наконец, для составления общего банка союза, управляемого выборными от всех областных банков»[84].

Образовавшаяся путем соединения областей федерация возглавляется, по проекту Огарева, общесоюзной думой, которая занимается «рассмотрением и утверждением междуобластных потребностей и расходов». Управление же делами союза лежит на правительстве; последнее не может привести в исполнение ни одного закона, не утвержденного государственной союзной думой, и не в праве вступать с иностранными державами ни в какие секретные переговоры. «Дипломатические отношения, — говорит Огарев, — подлежат той же гласности, как и внутреннее управление»[85].

Как же образуется это правительство? И кто возглавляет его? Огарев не был безусловным сторонником республики. Политические формы, сами по себе взятые, мало интересовали его, так как он не придавал им серьезного значения[86]. Поэтому он соглашался на то, чтобы глава будущей России носил попрежнему название царя. Александра II он отвергал не как царя вообще, а как царя «петербургского, немецкого, дворянского, чиновничьего, — а не русского, не земского царя». Земским царем является только царь, свободно избранный народом. «Никогда не сможет быть земским царем, — писал Огарев, — царь, народом не выбранный, народных условий не принимавший, а поставленный корыстно выдуманным законом о престолонаследии и царствующий по одному произволу, а не по совету выборных от земства. Таким образом, наследственность царской власти Огарев отрицает. Права этой власти он суживал до управления государством под контролем земского собора. Обязанность царя — исполнять «то, что земской собор обсудил и решил»[87].

Как видно из этого, в политических построениях Огарева царь является не более, как выборным старшиною, возглавляющим земский союз и несущим за свои действия ответственность перед высшим правительственным органом этого союза — земским собором.

Какими же путями рассчитывал Огарев добиться осуществления своих политических планов и преобразовать Россию из дворянско-чиновничьего государства в «земский союз»? Прежде, чем мы ответим на этот вопрос, нам необходимо ознакомиться с тем, как после 1861 г. Огарев относится к революционным методам борьбы.

Мы уже знаем, что в период, предшествовавший крестьянской реформе, Огарев был готов отрицать революцию на том основании, что насильственные перевороты не достигают цели, если народное сознание не уяснило необходимости реформ, а если оно уяснило это, то можно добиться желаемого мирным путем.

Теперь, после 1861 г., Огарев решительно оспаривает этот взгляд, как бы забывая, что он сам придерживался его ранее. В письме к видному деятелю тайного общества «Земля и воля» А. А. Слепцову Огарев в 1863 г. писал:

«Вглядываясь в историю, вы находите, что кровавые перевороты были бесплодны, если мысль не дозрела, а если мысль дозрела, то не нужно было кровавых переворотов. Вглядитесь еще побольше в смысл этих слов и вы увидете, что и это — абстрактный силлогизм, о котором история не спрашивает, и что вы в истории его оправдания не получите. Вы найдете, что английская революция кровавая увенчалась успехом, французская idem привела к централизации. Гораздо труднее уже отыскать реформу мирную с дозревшею мыслью. Где? когда? и как? Дело сводится на механику: невтерпеж пришлось, с одной стороны, упорство — с другой; вот и столкновение, не обращающее внимания на зрелость или незрелость мысли»[88].

Таким образом, элемент сознательности утрачивает в глазах Огарева то значение, которое он ему прежде придавал. Революция становится делом не столько сознания, сколько аффекта, независимого от дозрелости мысли.

Значит ли это, что Огарев сделался безусловным сторонником революции? Значит ли это, что он понял, что русское крестьянство мирным путем не может добиться осуществления своих чаяний и обеспечения своих нужд?

Свое понимание революции и отношение к ней Огарев развил в статье «Революция и реорганизация», напечатанной в 1864 г. в «Колоколе». Как видно уже из названия статьи, Огарев противопоставляет революции понятие реорганизации.

Революцией (или переворотом), по его пониманию, является «всякая резкая перемена правительственных лиц или формы правительства, откуда бы ни взялась эта перемена, какая бы ни была ее цель, даже если бы эта перемена была совсем бесцельна».

Реорганизация же (или пересоздание) состоит в «новой постановке отношений между теми данными, теми элементами, которые существуют в самой народной жизни». Таким образом, переворот может быть произведен из-за отвлеченной мысли или даже из-за каприза одного сильного человека; а пересоздание есть обновление живой жизни и выражает рост самого народа. Переворот может быть произведен и сверху [89]; пересоздание вырастает снизу и поэтому охватывает весь экономический и социальный строй народа.

Как революция, так и реорганизация, по мнению Огарева, могут осуществиться двумя путями: или при помощи бунта (восстания), или же мирным путем. «Это,— пишет Огарев, — совершенно зависит от обстоятельств и не составляет сущности дела. Обычно понятие революции смешивают с понятием восстания. Перевороты редко обходились без крови... Но чтоб переворот непременно совершался путем кровавым — это вовсе не необходимое условие. Реорганизация точно так же мало исключает возможность восстания, как и революция, и еще меньше ставит его необходимым условием своего осуществления. Дело не в восстании, а в реорганизации. Тут все зависит от дальнейшего хода обстоятельств. Упорство казенщины может привести к восстанию; быстрое ослабление ее, уступчивость и согласие на созыв земского собора — могут дать реорганизации мирный исход» [90].

Зная, какое малое значение придавал Огарев форме правления, мы заранее можем догадаться, что отношение его к тому, что он называл революцией, было резко отрицательным. Но этого мало — он считал, что в России речь может итти только о реорганизации, а не о революции.

«Революция ради революции, — писал он, — т. е. бунт только для того, чтобы бунтовать — в России невозможен. Русская революция может быть только реорганизацией, т. е. мирным путем или бунтом пойдет Россия, но она не успокоится пока не будут восстановлены все те элементы народного землевладения, суда и самоуправления, которые существуют, несмотря ни на какое задушение их, и способы к дальнейшему стройному развитию. Одна перемена правительства никого не увлечет... Наша революция — реорганизация или, по-русски сказать, наш бунт — народное самоустройство» [91].

Итак, по мнению Огарева, предстоящая России «реорганизация» может мыслиться в двух формах: или в виде бунта, или же в виде мирного преобразования. Симпатии Огарева всецело принадлежат этому последнему исходу, и он готов многим пожертвовать, чтобы только спасти Россию от потрясений гражданской войны. В 1862 г. он писал:

«Перед тем как Христос был схвачен воинами кесаревыми, он молился: «Господи! да мимо меня идет чаша сия». Молимся и мы с народом русским: да мимо идет чаша крови! А пройдет она мимо или нет, кто знает! Ход судеб вырастает из дел людских и обстоятельств. Его не остановить!» [92]

Исходя из этого, Огарев сурово обвиняет русское правительство, которое своим упорством ведет Россию к кровавому исходу.

«Мы хотим, — писал он в 1863 г., — не беспорядочного взрыва и ненужно пролитой крови; мы хотим, чтобы народ собирался и собрался бы в крепкий и разумный строй... Но царь подымает пугачевщину. Так что ж? Дело придет к тому же концу, к которому мы стремимся, только что много ненужной и неповинной крови прольется, за которую он ответ и даст» [93].

Итак, по Огареву, сам царь виноват в том, что он поднимает народ на восстание, тогда как при добром его желании все могло бы обойтись мирно.

«Чего бы лучше, — мечтал Огарев в 1861 г., — если бы петербургский царь понял, что России нужно сельское и областное самоуправление, что это ее естественный склад (constitution), что для этого необходима основа народного землевладения. Если б он понял это, он отказался бы от власти уродливой и, пожалуй, сохранил бы династическое существование в союзном правлении. Но ведь он этого не поймет» [94].

Чем дальше, тем яснее становилось для Огарева, насколько лишены всякого основания надежды на реформаторскую деятельность правительства. Реакция, открыто восторжествовавшая в правительственных кругах России в 1863 г. во время восстания, вспыхнувшего в Польше и Литве, не оставляла места каким-либо сомнениям относительно действительных намерений правительства и избранного им пути.

Сильное самодержавие, — писал Огарев в июне 1863 г., — никакой освободительной реформы создать не захочет, а бессильное самодержавие никакой освободительной реформы создать не может... Оно должно отречься от своего существования или пасть под нажимом общественных сил» [95].

Если в эпоху «смуты» начала XVII в. Россию спас земский собор, избравший на престол Михаила Федоровича Романова «на конституционных условиях», то новый земский собор, в неизбежность которого Огарев твердо верил, также найдет средство спасти Россию, но, добавляет Огарев, «только уж Романова на престол не выберет» [96].

Итак, по мнению Огарева, для России остались два выхода: или пугачевщина, или предупреждающее ее самоотречение существующего правительства и созыв земского собора. Огарев предпочитал второй из них. Однако для него было ясно, что добровольно, без крайней необходимости, царское правительство на самоликвидацию не пойдет. Как же и при помощи каких средств можно принудить его «отречься от своего существования»? Отвечая на этот вопрос, Огарев намечал ряд мер, которые, по его мнению, могут привести к желанному для него результату.

В первую очередь он выделил подачу царю адресов и челобитных с изложением народных нужд и требований. Он сам лично составил два проекта всеподданнейшего адреса царю о созыве земского собора и о признании всей земли народной [97]. Эти адреса были рассчитаны на «образованное меньшинство», расположенное к народу. Предполагалось собирать под ними подписи, а затем подать царю. На ряду с этим, Огарев считал нужным, чтобы крестьянство со своей стороны само заявило правительству о своих нуждах.

«Уж, конечно, не господа с чиновниками народные дела устроят, — писал Огарев в 1862 г.; — пора народу самому о себе подумать как устроиться, да просить царя, чтоб приказал все порядки учредить по-народному. Надо просить царя, чтобы было все сделано по правде, земля была бы взаправду отдана земству и люди были бы взаправду освобождены от господ и чиновников... Когда всюду народ миром заговорит и станет подавать челобитные о том, что ему нужно и как ему устроиться, тогда царь и выслушает как надо, по правде, если он народ любит» [98]. В связи с этим им и был составлен тот проект адреса государственных крестьян царю, который мы печатаем в настоящем томе.

Огарев рассчитывал, что весной 1863 г., в связи с истечением срока на введение в действие уставных грамот, определяющих отношения между крестьянами и их бывшими владельцами, в деревне, окончательно убедившейся к тому времени в неосновательности надежд на получение от правительства «настоящей воли», — «возобновятся смуты», «повторятся бездненские дела» [99]. Этот момент он считал решающим для будущих судеб России, и к этому моменту, по его плану, должна была быть приноровлена кампания подачи царю челобитных с изложением народных требований. Огарев надеялся на то, что под натиском общенародных волеизъявлений правительство будет вынуждено капитулировать. Конечно, Огарев при этом понимал, что оно капитулирует не сразу, а лишь после того как убедится, что другого выхода для него не остается. К этому надо готовиться, заранее принимая меры, чтобы правительство не могло насильственно ликвидировать движение, начавшееся в народе.

Сильнейшая опора царя заключается в войске, с помощью которого он подавил движение крестьян, вспыхнувшее весной 1861 г., под влиянием недовольства крестьянства декретированной сверху реформою. Надо подготовить войско к тому, чтобы оно в 1863 г. не сыграло той же печальной для народа роли, как в 1861 г. В статье «Что надо делать войску», написанной осенью 1861 г. Огаревым совместно с Н. Н. Обручевым и Н. А. Серно-Соловьевичем и отпечатанной не только в «Колоколе», но и в виде прокламации, предназначенной для широкого распространения по России, — в этой статье говорится о своеобразной солдатской забастовке. Надо добиться того, чтобы в решительный момент солдаты отказались стрелять в народ. Если это удастся, тогда успех мирного исхода дела обеспечен. «Если войско не пойдет против народа, воля и земля достанутся народу без резни, без капли крови, спокойно... Если солдаты, без всякого бунта, мирно и твердо скажут: «Не возьмем греха на душу, не пойдем против народа», — все будет спасено, и спокойствие России, и воля народная, и достояние народное. Ведь наказать одного солдата за пьянство — легко; а наказать сто человек за любовь к народу — мудрено, а тысячу — и того мудренее, а сто тысяч и шестьсот тысяч — и способу нет» [100].

Поэтому Огарев обращается к крестьянам с призывом при отправке рекрутов на военную службу брать с них присягу «никогда по народу не стрелять и лучше самому живота лишиться, чем по народу стрелять» [101]. С другой стороны, большую роль в подготовке солдат к отказу от участия в подавлении народных волнений может сыграть и интеллигенция. Она должна бросить государственную службу и итти в войска. Огарев доказывает, что соединить службу в должности правительственного чиновника с оппозиционной деятельностью невозможно, что «чиновничество может быть только или правительственно, или немощно». «Пополняя ряды казенного чиновничества, — пишет Огарев, обращаясь к людям, преданным делу народа, — вы только поддерживаете учреждение, которое должно вымереть, которое чем скорее вымрет, тем лучше. Иное дело — служба в войсках. Новый свежий воздух повеет в войске с вашим приходом. Вы примкнете себя к солдату, вы примкнете войско к крестьянству — а в этом одна из главных задач» [102].

Другая задача, не менее важная для подготовки успеха дела, заключается, по Огареву, в разъяснении интеллигенции и народу общественных условий, целей и потребностей земли русской. А для этого необходимо создание общества, объединяющего в своих рядах людей, «которые, сохраняя совокупность постановки, разветвлялись бы на мыслящих и действующих, пишущих и проповедующих, военных и ходоков».

Для подготовки успеха народного дела необходима громадная подготовительная работа, как в центре, так особенно на местах, в провинции. Интеллигенция не должна преувеличивать свои силы.

«Будьте страшно искренни с самими собою, — писал Огарев, — и не представляйте себе своих сил в какую бы то ни было минуту сильнее, чем они на самом деле... Помните, что приготовительная работа — это рост в силу; рядом с ним идет соответственное принижение врага до бессилия. Следственно, на этой работе и этом росте основано возможное устранение кровавых дел и превращение восстания в стройную организацию снизу, в самоустройство, из народа растущее» [103].

Такая подготовительная работа может растянуться на долгое время. Это стало ясно Огареву после того, как весна 1863 г. не оправдала надежд, которые возлагал на нее как он сам, так и большинство тогдашних русских революционеров; известно, что вопреки их ожиданиям в 1863 г. волна крестьянского движения начала спадать и деревня обнаружила тенденцию примениться к новой социально-политической обстановке, сложившейся в России после реформы 19 февраля, и открытые выступления сменить мало заметной, но тяжелой и упорной борьбой за свои нужды на почве повседневных отношений своих к помещикам.

«Вероятнее всего, — писал в это время Огарев, — что дело земли и воли русского народа придется подготовлять еще не один день, что русская деятельность еще не на один день обречена на работу, терпеливую, неутомимую, которая гораздо тяжелее и требует гораздо больше преданности и труда, чем просто итти на сражение... Жить в постоянном труде приготовления строя на борьбу, никогда не теряя времени и никогда не хватая очертя голову, никогда не уставая, не унывая при неудаче, не зазнаваясь и не останавливаясь при успехе, — это задача тяжелая, а *теперь это ваша* задача, друзья-юноши!» [104]

Для той большой работы, которая должна обеспечить безболезненный исход преобразования Российской империи в «Земский союз», необходимо, по мнению Огарева, сплочение всех общественных сил, настроенных враждебно по отношению к существующему правительству. Огарев понимал, что «образованное меньшинство», которое играло видную роль в его политических расчетах, не представляет собою однообразного целого. По его мнению, это меньшинство подразделяется «на чисто-народное и на меньшинство с помещичьим оттенком». «Первое идет на конституцию в смысле общественного склада, т. е. на устройство сельского самоуправления и самобытности областей; вторе на конституцию в обычном смысле, т. е. ограничение царской власти, с большими льготами для народа и еще с большими для помещичьего значенья». Симпатии Огарева лежали на стороне первой из этих групп, но он считал, что в интересах дела, эти группы могут действовать совместно: «Расходиться с самого начала было бы для обеих сторон бестактным поступком». При этом Огарев был уверен, что в процессе борьбы разногласия, разделяющие эти две группы, сгладятся, и помещичья интеллигенция, силою хода событий, будет приведена к необходимости признать народные интересы в той форме, в какой они представлялись Огареву [105].

Признавая насущной необходимостью сплочение всех оппозиционных элементов страны, Огарев горячо приветствовал факты, свидетельствующие о том, что эта необходимость начинает находить себе признание в России. Таковым фактом в его глазах было, например, появление летом 1861 г. первых печатных прокламаций («Великорусс») или приезд в Лондон представителей петербургской радикальной интеллигенции (Н. А. Серно-Соловьевича, Н. Н. Обручева и др.) для переговоров относительно организации тайного общества. Когда Серно-Соловьевич напечатал в «Колоколе» статью, в которой доказывал, что пришло время объединить усилия всех врагов существующего правительства для борьбы с ним, Огарев сопроводил эту статью примечанием от редакции, в котором «от души приветствовал этот живой призыв на живое дело». «Мы давно думали, — писал Огарев, — о необходимости органического сосредоточения сил, но считали, что не от нас должна выйти инициатива, не из-за границы, а из самой России» [106].

В каких же чертах рисовалось Огареву тайное общество и какие цели он ставил перед ним?

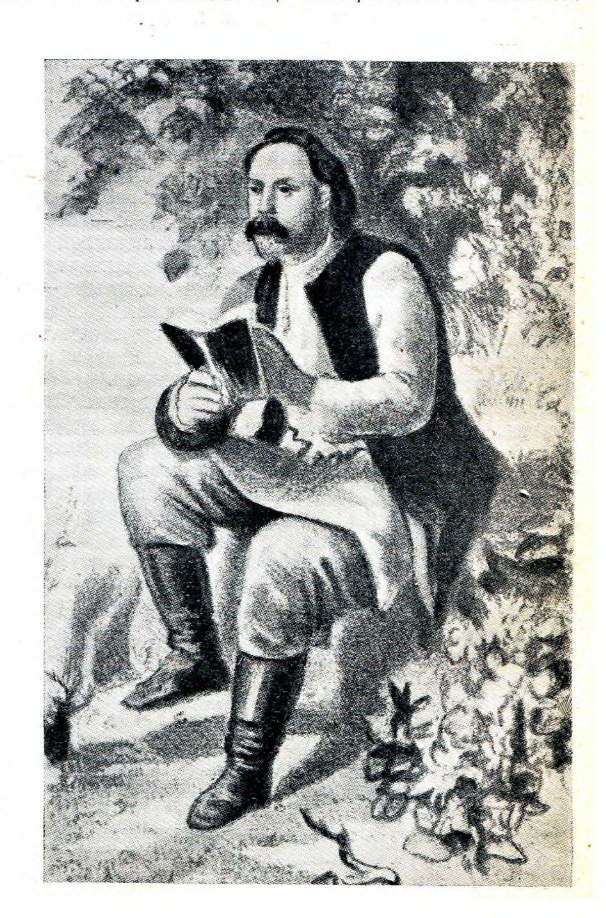
Прежде всего необходимо отметить, что, враг всякой централизации, Огарев предпочитал, чтобы создание такого общества исходило не из столицы, а из провинции. «Меньшинство столичное, — писал Огарев, — всегда будет говорить только друг с другом; у него нет народа, с которым приходилось бы договариваться... Для того, чтобы делалось дело, надо, чтобы типографии [нелегальные] заводились по областям, потому что там меньшинство *не может не говорить* с народом». Тайные общества, возникшие по областям, неизбежно будут, по мнению Огарева,

стремиться к соединению, вследствие чего со временем естественным путем создастся центр, объединяющий деятельность отдельных организаций, координирующий и направляющий ее.

Организаторы областных обществ должны, по мнению Огарева, поставить своею ближайшею задачею работу среди интеллигенции, ибо именно она нуждается в сплочении; народ же и без того составляет «естественное сплошное общество». «Народ, — писал Огарев, — собирать нечего, он собран; ему надо только понять, что делать в данную минуту — и делать... Следственно, собрать остается меньшинство» [107].

Считаясь с наличностью в рядах «образованного меньшинства» различных течений, Огарев находил нужным, чтобы программа общества была составлена в расчете на объединение как можно более широкого круга людей, недовольных существующим в России порядком; поэтому она должна отличаться умеренностью, чтобы не отпугивать от тайного общества элементы, которые могли бы оттолкнуться от него в том случае, если б его программа носила более крайний характер. Другими словами, программа тайного общества должна быть приемлема и для «меньшинства с помещичьим оттенком». Этим объясняется, что написанная в 1861 г. Огаревым совместно с Серно-Соловьевичем и Обручевым статья «Что нужно народу», которая рассматривалась как программа будущего тайного общества, ограничивалась требованиями передачи крестьянским общинам, за определенное вознаграждение, помещичьей земли в размерах, достаточных для пропитания членов общины, замены правительственных чиновников выборными властями, привлечения представителей народа к определению и раскладке податей и повинностей и, наконец, сокращения расходов на войско и царский двор.

Аналогичными соображениями руководствовался Огарев и тогда, когда высказывался за ведение пропаганды с осторожностью и известной постепенностью. В составленном им в 1862—1863 гг. проекте устава тайного общества, он писал: «Мы просим университетскую молодежь не преповедовать никаких абстрактных понятий о свободе и противоцаризме, а только — необходимость земского собора, который бы основал поземельное народное владение, сельское, волостное и областное самоуправление, свободу веры — и (попозже проповедовать) избранного земского



ГЕРЦЕН
В НАЦИОНАЛЬНОМ ШВЕЙЦАРСКОМ КОСТЮМЕ

Обложка «Портретной Галлереи» Мюнстера, 1859 г.

царя». «Если, — добавлял к этому Огарев, — первый земский собор будет иметь силу заменить это имя [т. е. «царя» — *Б. К.*] другим, тем лучше, а если не будет, — беда не велика, лишь бы избрание было на ограниченное число лет»[108].

Наконец — и это весьма характерно для Огарева, — основная задача тайного общества должна, по его мнению, заключаться не в подготовке восстания, а в действиях, рассчитанных на предотвращение восстания. «Работа, — писал Огарев в том же проекте, — должна состоять в соединении меньшинства в общество, изучающее и уясняющее народные интересы, выставляющее народные требования, проповедовающее паче всего земский собор». Такая постановка вопроса о задачах тайного общества не должна удивлять нас после того, как мы ознакомились выше с отношением Огарева к насильственным способам борьбы.

Если Огарев и считал нужным объединить все враждебные царскому престолу общественные элементы того времени, вплоть до людей «с помещичьим оттенком» то, в основном, расчеты его строились, однако, не на помещичьей, а на мелкобуржуазной интеллигенции, на так называемых «разночинцах». Огарев одним из первых заговорил в печати о том, что в России возникла эта новая интеллигенция, начинающая играть всё более заметную роль в общественной жизни страны.

«Из духоты семинарий, — писал он в 1863 г., из-под гнета духовных академий, из бездомного чиновничества, из удрученного мещанства — она вырвалась к жизни и взяла инициативу в литературе». Ошибкой Огарева была уверенность его в антибуржуазности разночинной молодежи. «Этой молодежью, — продолжал он, — Россия совершает свое отречение от буржуазии... и опять-таки приходит к понятию действительной бессословности... Отрицая дворянство и отрекаясь от буржуазии, она из города и помещичьей усадьбы уходит на село, примыкает к крестьянству, идет в народ. Она должна собрать себя в общество; она должна умножить, вырастить это общество в силу, пополняя свои ряды из, так называемого, низшего слоя — солдатами, дворовыми, мужиками. Вот где вам людей искать надо»[109].

В другой статье Огарев указывал, что в России «с понижением дворянства — силою, умственной силою становятся разночинцы»[110]. К числу разночинцев Огарев относит: среднее купечество, мещанство, «не попавшее в рясу духовенство и меньшинство действительного духовенства». Разночинцы всеми условиями своей жизни связаны с народом; их интересы, по мнению Огарева, влекут их в деревню. «Они не могут, — писал Огарев, — иначе выдвинуться вперед, как не по теории, а по жизни, соединясь в свои артели и опираясь не на города, а на народ, который им представляет основание своего элемента земства, всюду живущего и неискоренимого». Если у разночинцев и есть сходство с французским третьим сословием, то, по мнению Огарева, это сходство, главным образом, формальное[111].

Таким образом, если в начале своей литературной деятельности за границей Огарев не видел в России никаких общественных сил, которые могли бы взять на себя проведение преобразований в интересах народа, кроме среднего дворянства, то теперь — после политических уроков 1861—1863 гг. — он выдвигает на первый план новый общественный слой в лице разночинной интеллигенции и мечтает о том, что эта интеллигенция будет пополняться выходцами из класса, занимавшего низшую степень в тогдашней общественной иерархии, — из крестьянства. Эта новая интеллигенция, в противоположность дворянской, будет интеллигенцией народной, как по происхождению своему, так и по своим стремлениям и деятельности. Представители разночинной интеллигенции составят главные кадры того тайного общества, создание которого Огарев считал необходимым.

Вместе с этим изменилось и отношение Огарева к самому крестьянству. Волнения, которыми оно ответило в 1861 г. на правительственную реформу, убедили Огарева в том, что русское крестьянство представляет собою более активную политическую силу, нежели он предполагал ранее. Из этого Огарев сделал вывод, что русские эмигранты, располагающие вольным печатным станком, должны теперь обращаться не только к интеллигенции, но и к народу. Поэтому с 1861 г. он начинает помещать на страницах «Колокола» ряд статей («Что нужно народу», «Ход судеб» и др.), рассчитанных на читателя из низов и написанных на доступном для него языке. На ряду с напечатанием в «Колоколе», эти статьи выпускались в виде прокламаций в расчете на широкое распространение их в России. Можно догадываться, что Герцен неохотно открывал доступ таким статьям на страницы «Колокола», так как они существенно изменяли характер этого органа, рассчитанного на читателей из интеллигенции. Под влиянием этого, у Огарева появляется мысль об издании, на ряду с «Колоколом», особых прибавлений к нему, предназначенных специально для читателей из народа. Такое прибавление начало выходить в 1862 г. под названием «Общее Вече».

В предисловии «от издателей», помещенном в № 1 «Общего Веча» и написанном, несомненно, Огаревым, прямо говорилось о том, что в «Колоколе» «убеждения, так называемых, низших сословий не высказывались» и что это обстоятельство и заставило издателей начать выпуск «Общего Веча», на страницах которого могут «иметь голос все страдания, жалобы, убеждения по вере и потребности житейские самого народа». «На «Общее Вече» издатели приглашали всех: старо-

обрядцев, людей торговых и мастеровых, крестьян и мещан, дворовых людей, солдат и разночинцев». При этом издатели выражали уверенность, что между русскими неучеными людьми, людьми низших сословий, уж, конечно, не меньше, а может найдется и побольше людей даровитых, чем между самыми учеными, высшими сословиями. Цель издателей — соединить всех даровитых, честно благу народа преданных людей всех сословий и всех толков на одно «Общее Вече»[112].

Таким образом, Огареву принадлежала инициатива первого русского нелегального органа, рассчитанного на читателя из крестьянства и городского мещанства. И не его вина, если по политическим условиям того времени издание этого органа не привело к тем результатам, о которых мечтал Огарев, и оказалось весьма недолговечным. В 1864 г. «Общее Вече» перестало выходить.

Реакция, восторжествовавшая в России после подавления польского восстания 1863 г., болезненно переживалась Огаревым. Хотя он и продолжал сохранять веру в конечное торжество своих идеалов, надежд на близкое осуществление их становилось все меньше. Огарев знал, что революционные организации, существовавшие в России в годы политического подъема, были теперь или ликвидированы правительством, или ликвидировались сами, убедившись в невозможности продолжать свою деятельность. Он знал, что тайное общество «Земля и Воля», на работу которого Огарев возлагал много надежд, перестало существовать. Знал он и о том, что широкие круги интеллигенции, поддерживавшие революционные организации, все более и более отходили от участия в политической жизни. Призывы Огарева бросать чиновничью службу и итти или на общественную работу, или в войска, остались неуслышанными. Местные центры общественной деятельности, о создании которых, как мы знаем, мечтал Огарев, не возникали. Либеральная часть общества все более открыто начинала высказываться за поддержку правительства и за необходимость сработаться с ним, чтобы предупредить возможность повторения того широкого народного движения, которое начиналось в 1861 г., но было приостановлено жестокими мерами правительства. О степени изменения общественных настроений в России Огарев мог безошибочно судить по судьбе «Колокола». Это издание, широко распространявшееся в былые годы по России и пользовавшееся там громадным влиянием, теперь почти не находило себе доступа в пределы Российской империи. Спрос на него, как и на нелегальную литературу вообще, пал катастрофически. Под влиянием этого Герцен все чаще и чаще стал заговаривать о необходимости отказаться, хотя бы на некоторое время, от издания «Колокола». Огарев решительно противился этому намерению своего друга, но не мог не сознавать полной основательности руководивших им соображений.

Не радовали Огарева и отношения его и Герцена с остальной русской эмиграцией той поры, недоверчиво и враждебно настроенной к руководителям «Колокола».

Итак, ни связей с Россией, ни дружеской близости с товарищами по эмиграции у Огарева во второй половине 60-х годов не было. А между тем к концу этого десятилетия в России обнаружились некоторые признаки приближения к концу того политического затишья, которое сменило бурное общественное движение начала 60-х годов. Особенно симптоматическое значение имели в этом отношении студенческие волнения, вспыхнувшие в Петербурге в марте 1869 г. С глубоким интересом присматривался Огарев к событиям в России и с жадностью ловил те скудные слухи, которые доносились о них до русской эмиграции. В такие минуты он особенно остро и болезненно переживал свою оторванность от родины.

При таких условиях вполне понятно, что Огарев с восторгом встретил приехавшего весной 1869 г. в Швейцарию С. Г. Нечаева. О связях его с последним подробно говорится в помещаемой во втором выпуске настоящего тома «Литературного Наследства» статье о взаимоотношениях его и Герцена с молодой эмиграцией. Поэтому мы можем ограничиться лишь указанием, что статьи и прокламации, написанные Огаревым в связи с агитационной кампанией, организованной им вместе с Нечаевым и Бакуниным в 1869—1870 гг., показывают, что в конце 60-х годов в политических воззрениях Огарева произошли серьезные изменения. В этом отношении особенно интересна прокламация «Будущность», изданная Огаревым в 1870 г. и посвященная памяти Герцена.

Вспоминая, что со времени появления № 1 «Колокола» прошло 13 лет, Огарев констатировал, что за это время «много совершилось печального». «Перемены сверху оказались ложью; остается только делать перемены снизу», — писал Огарев. «Перемену или, лучше сказать, переворот может сделать только тот, кто его в самом деле хочет, кому он в самом деле составляет потребность, т. е. народ, большинство, масса. Иначе — это выйдет обман».

Итак, теперь, по мнению Огарева, народу нечего ждать помощи сверху. Ни царь, ни помещики, ни чиновники, ни буржуазная интеллигенция не спасут его. За устройство своей судьбы он должен взяться сам. Освобождение народа должно стать делом самого народа.

Это — первый вывод, сделанный Огаревым из политического опыта прошлых лет. Был и второй, не менее важный. К концу своей жизни Огарев приходит к заключению, что мирным путем положение крестьян улучшить нельзя. Только рево-

люция может спасти русское крестьянство. Среди неопубликованных рукописей Огарева, печатаемых в настоящем томе «Литературного Наследства», есть незаконченный отрывок, озаглавленный «От дедушки к внучку». В нем Огарев набросал свои мысли о народной революции в России. Революция эта, по мнению Огарева, должна начаться в восточной части Европейской России: население восточных губерний Огарев считал наиболее оппозиционно настроенным и наиболее легко возбудимым. С востока революционная волна будет двигаться по направлению к западу.

О том, как тщательно продумывал Огарев план будущей русской революции, свидетельствует то, что он предусматривал в нем необходимость заблаговременного принятия такой, например, меры, как разрушение железнодорожных путей (по его мнению достаточно разобрать одну колею), в целях воспрепятствования подвоза правительственных войск к местностям, охваченным восстанием. Подчеркивает Огарев и необходимость озаботиться устройством правильных рынков в местностях, захваченных повстанцами.

Все это показывает, как искренне верил Огарев в революционные планы, которые развивал перед ним Нечаев. Тем большим ударом для Огарева был разрыв, произошедший весной 1870 г. между ним и Бакуниным, с одной стороны, и Нечаевым, с другой.

Совместная работа с Нечаевым была для Огарева последней попыткой активного политического выступления. После неудачи ее Огарев уклоняется от всякой практической революционной деятельности, даже литературной. Однако ни старость, ни болезнь не мешали ему попрежнему глубоко интересоваться всем происходящим на его горячо любимой им родине, что, между прочим, ясно видно из его переписки с П. Л. Лавровым, публикуемой в настоящем томе «Литературного Наследства».

Эмигрант В. Черкезов, познакомившийся с Огаревым незадолго до его смерти, передает, как искренно, по-детски радовался Огарев при рассказах о том, что в России в революционных организациях «дети народа — рабочие» работают рука об руку с интеллигентами. «Он говорил отрывочно, часто терял нить разговора, — пишет В. Черкезов, — но когда напал на вопрос об участии рабочих в последнем движнии «в народ» [имеется в виду движение 1874 г. — *Б. К.*], он с горячим любопытством стал расспрашивать меня о количестве рабочих в рядах современных пропагандистов, о степени их развития и умелости. Выслушав меня внимательно, насколько это для него возможно, старик взял «Вперед» и, найдя список разыскиваемых, с особенною любовью и торжественностью прочел имена крестьян и рабочих, преследуемых русским правительством за пропаганду. Когда он кончил чтение и обратился ко мне, его доброе, кроткое лицо было оживлено улыбкой и слеза радости медленно скатилась по его осунувшейся щеке» [113].

Мы видели, как сильно владели Огаревым либерально-дворянские иллюзии и как медленно и с трудом освобождался он из-под их власти. К чести Огарева следует признать, что к концу его жизни он сумел окончательно избавиться от них. В 1869 г., в одной агитационной брошюре, Огарев писал: «Все люди уважавшие народ, хотя бы сами происходили из барства и чиновничества, должны были начать с отречения от этого барства и чиновничества» [114]. Эта программа самоотречения была выполнена им самим до конца. С молодых лет Огарев сознавал лежащий на нем гнет барства и испытывал потребность освободиться от него.

Еще в 1845 г. Огарев писал Герцену:

«Друг! Чувствуешь ли ты когда-нибудь всю тяжесть наследного достояния? Был ли у тебя когда-нибудь горек кусок, который ты кладешь в рот? Был ли ты унижен перед самим собою, помогая бедным — на чужие деньги? Как глубоко чувствуешь ты, что только личный труд дает право на наслаждение?.. Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе задохнешься» [115].

Эта мысль — о необходимости «уйти в пролетарии» — не была у Огарева результатом минутного увлечения и быстро проходящего настроения. Эту же мысль он повторял в письме к другому своему другу, Н. Х. Кетчеру, и развивал в разговорах с приятелями [116].

«Уйти в пролетарии» для «кающегося дворянина» Огарева значило полностью и навсегда порвать все связи, крепко соединявшие его с тем классом, к которому он принадлежал по происхождению. В России сделать это ему не удавалось. Переселение за границу означало для Огарева исполнение его мечты об уходе в «пролетарии» в том смысле, в каком он понимал это слово.

Когда Огарев в 1856 г. покинул пределы России, он был еще дворянским революционером, не сумевшим до конца освободиться из-под власти иллюзий, свойственных его классу. Но жизнь и политическая практика многому научили Огарева. Мы видим уже как с течением времени изменялось отношение его к ряду вопросов, связанных с развитием революционного движения в стране. Мы видели, как постепенно гасли в нем надежды на правительство и образованное меньшинство дворянства, как он приходил к мысли о том, что крестьянство должно быть не объектом просвещенного и благожелательного воздействия на него людей, преданных его интересам, а самостоятельной, активной политической силой, как рушились все его мечты о возможности мирным путем разрешить больные вопросы русской жизни.

Несмотря на то, что политические взгляды Огарева пережили значительную эволюцию, основной пункт его миросозерцания оставался неизменным. Этим пунктом являлась его теория «русского социализма», т. е. учение о том, что крестьянская Россия по условиям своего политического бытия представляет собою особую общественную формацию, отличную как от феодальной, так и от капиталистической, и способную развиваться по направлению к осуществлению социализма. С этим связан ярко выраженный антиурбанизм Огарева.

В России, по мнению Огарева, «село — главное основание государства, государство — это сумма сел; устройте село, и вы устроите государство»[117].

Если на Западе города возникли и развивались естественным путем, то в России они были искусственно созданы государственной властью. Что представляют собою русские города? «У нас, — пишет Огарев, — город значит грабящее присутственное место, около которого собралось несколько купцов, старающихся нажиться»[118]. «Большая часть наших городов, — писал Огарев в другой статье, — насильственная случайность. Это не центры, последовательно выращенные развитием местной общественной жизни; это административные центры, навязанные народонаселению правительством ради своих целей управления»[119]. «Города представляют ничтожность, равно по числу народонаселения, по развитию промышленности, по образованности большинства и по сосредоточению денежных капиталов»[120].

Если на Западе города одержали победу над селами, то в России борьба между ними «решается в пользу сел, потому что наши города только правительственная фантазия, а в действительности они не имеют ни значения, ни силы». «Торговля наша, — говорит далее Огарев, — производится посредством подвижных рынков (ярмарок), которые удесятерятся с развитием железных дорог. Зачем нам города? Вся наша жизнь в селах[121]. Если в России будет упразднено чиновничество, отпадет всякая надобность и в городах. «Для того, чтоб известные селения становились торговыми центрами, нет никакой надобности переводить общины на городское положение... Лишь бы правительство не мешало, торговые центры образуются естественно, вследствие местных условий и потребностей»[122].

Итак, с точки зрения Огарева, в городах нет никакой необходимости; они должны быть упразднены или отомрут сами собою после ликвидации чиновничества. Но этого мало, — Огарев боится не только городов, но и пролетариата, живущего в них. Если Герцен под конец своей жизни, по выражению В. И. Ленина, «обратил свои взоры... к Интернационалу»[123], то Огарев, в отличие от него, и Интернационалом интересовался так же мало, как и, вообще, западной жизнью.

Отрицая города, Огарев боялся и городской революции. В 1866 г. он писал: «Я боюсь встретить в наших социалистах выставление вперед исключительно городского образованного пролетариата и приведение его в центр всех социальных стремлений, в особого рода сословие... И это в то время, когда в России существует историческое основание сельского строя,... к которому должен примыкать городской образованный пролетариат»[124].

Характеризуя общественно-политические взгляды Герцена, В. И. Ленин указывал на мелкобуржуазный характер его социализма. «В сущности, — писал Ленин, — это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза, доброе мечтание, в которую облекала свою т о г д а ш н ю ю революционность буржуазная демократия»[125]. Эта характеристика вполне приложима, конечно, и к Огареву. Он сам чувствовал, что о его и Герцена социализме можно говорить только условно. Выше мы приводили уже цитату из «Письма к издателю», напечатанного Огаревым в № 1 «Колокола». Говоря, что Герцен является сторонником не перемены правительства, а «перемены, которая улучшила бы положение людей», Огарев, как мы видели, добавлял: «Вот в чем ваш, т а к н а з ы в а е м ы й, с о ц и а л и з м».

Как и у Герцена, у Огарева социализм был только «добрым мечтанием, облекающим революционность буржуазной крестьянской демократии» (Л е н и н).

С позиций этой демократии Огарев и критиковал западный капиталистический строй. Но в его критике капиталистических отношений в той форме, в какой они сложились на Западе, не было и не могло быть полного отрицания капитализма. Не так теоретик «русского социализма» важен и интересен для нас Огарев, а как непоколебимый сторонник крестьянской демократии и убежденный противник феодально-крепостнического строя. Для нас теперь совершенно ясно, что если бы политические мечтания Огарева осуществились, если бы на смену дворянской России пришла Россия крестьянская, «земская», развитие в ней капиталистических отношений не прекратилось бы, но оно совершалось бы в иных формах, чем в странах Запада. В России восторжествовал бы американский путь развития капитализма. Характерно, что Огарев неоднократно заявлял свои симпатии к Соединенным Штатам Северной Америки. Эта страна, в его глазах, на ряду с Россией, была страной будущего. Ее, как и Россию, он постоянно противопоставлял Западной Европе. По мнению Огарева, только в России и в Соединенных Штатах социальный вопрос поставлен «не теоретически, а исторически». Обе эти страны представляют собою «не начало з а х в а т а, а начало з а с е л е н и я. Отсюда их огромная разница от европейской цивилизации»[126].

Теория «русского социализма» Огарева складывалась и развивалась под несомненным влиянием идей Герцена. Последний, еще до приезда Огарева в Лондон и до начала его публицистической деятельности сформулировал основные догматы своей веры в русскую общину, как в исходную точку социального преобразования. Однако, это не отнимает еще у публицистической деятельности Огарева самостоятельного значения, так как доктрина «русского социализма» была гораздо подробнее изложена и обоснована им, чем его другом. В этом отношении статьи Огарева, несомненно, были существенным дополнением к произведениям Герцена. Что же касается политической позиции Огарева и его отношения к текущим вопросам русской политической жизни, то в этом Огарев безусловно представляет самостоятельный интерес: весьма часто он проявлял значительно бо́льшую политическую активность и толкал своего друга на такие шаги, на которые он без давления со стороны Огарева, быть может, и не решился бы. Характерно, что по свидетельству Н. А. Тучковой-Огаревой, мысль об издании «Колокола» исходила от Огарева[127]; он же, как мы уже знаем, был и инициатором органа, рассчитанного на низового читателя («Общее Вече»).

Уже одно это составляет громадную заслугу Огарева перед русским революционным движением. Как бы ни были слабы с теоретической стороны социально-политические взгляды Огарева, его преданность делу освобождения крестьян и его многолетняя борьба против деспотизма дают ему почетное место в рядах русских революционеров.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. Огарев, Записки русского помещика, — «Былое», 1925 г., № 27—28, стр. 15.

[2] Статья эта, напечатанная Огаревым в 1847 г. в «С.-Петербургских Ведомостях», перепечатана в сборнике «Звенья», т. 2, 1933 г., стр. 358—362.

[3] «Разбор нового крепостного права», — «Колокол», 1861 г., № 101, стр. 848.

[4] «Что нужно народу?» — «Колокол», 1861 г., № 102, стр. 853.

[5] «Полярная Звезда», 1856 г., кн. 2, стр. 268—270.

[6] «Письма к соотечественнику», — «Колокол», 1860 г., № 77—78, стр. 641—642.

[7] «Письмо к издателю», — «Колокол», 1857 г., № 1, стр. 5.

[8] Письмо и ответ, — «Колокол», 1859 г., № 57—58, стр. 475.

[9] Правительственные распоряжения, — «Колокол», 1858 г., стр. 62. Еще в самом начале своего пребывания в Лондоне Огарев следующим образом описывал в письме к Астракову свои впечатления от английской жизни: «По судам встречаются случаи, что работники убивают своих детей, нет возможности содержать разом себя и их. Приюты для бедных не принимают бедных не своего прихода, хотя бы кому пришлось провести ночь и на улице. Есть квартиры за несколько пенсов, где человек, не имеющий квартиры, нанимает место уснуть на один час стоя, держась за веревочку». Т. Пассек, Из дальних лет. — «Полярная Звезда», 1881 г., № 3, стр. 65.

[10] Там же, стр. 60.

[11] «Письма к соотечественнику», — «Колокол», 1860 г., № 77—78, стр. 642.

[12] Предисловие Огарева к «Думам» Рылеева. Лондон, 1860 г., стр. X.

[13] «Письмо соотечественнику», — «Колокол», 1860 г., № 77—88, стр. 642 и 643.

[14] Приведенная цитата заимствована из написанного Огаревым плана устройства народной политехнической школы. М. О. Гершензон, История молодой России, М.—П., 1923 г., стр. 285.

[15] См. его письмо к Е. Ф. Коршу от 28 июня 1847 г. Сборник «Помощь голодающим», М., 1892 г., стр. 521.

[16] См. «Письмо из провинции», написанное Огаревым еще в 40-х годах, а опубликованное (под псевдонимом: Антон Постегайкин) в 1857 г. в кн. 3 «Полярной Звезды». В нем Огарев рассказывает, между прочим, историю одного крестьянина, которого его односельцы хотели сослать в Сибирь на поселение за проигранное им — без всякой вины с его стороны — общественное тяжебное дело (стр. 189—190).

[17] Письмо к автору «Возражения на статью «Колокола», помещенного в 18 листе, — «Колокол», 1859 г., № 38, стр. 310.

[18] «Русские вопросы», — «Колокол», 1858 г., № 8, стр. 61.

[19] Там же, стр. 62.

[20] Там же, — «Колокол», № 9, стр. 70—71, 73.

[21] «Правительственные распоряжения», — «Колокол», 1858 г., № 7, стр. 55.

[22] «Русские вопросы», — «Колокол», 1858 г., № 8, стр. 64.

[23] «Русские вопросы», — «Полярная Звезда», кн. 2, стр. 270—271.

[24] «Еще об освобождении крестьян», — «Колокол», 1858 г., № 14, стр. 111.

[25] «Русские вопросы», — «Колокол», 1858 г., № 9, стр. 73.

[26] «Примечания к главным основаниям, принятым московским комитетом по крестьянскому делу», — «Колокол», 1858 г., № 30—31, стр. 242—243; «Еще об освобождении крестьян», — там же, № 14, стр. 112.

[27] «Письмо к автору «Возражения...», — «Колокол», 1859 г., № 38, стр. 309; «По поводу правил Муравьева-вешателя», — там же, 1860 г., № 80, стр. 663.

[28] «Комиссия для составления положений о крестьянах», — «Колокол», 1859 г., № 51, стр. 416.

[29] Проект этот изложен Огаревым в статье «Еще об освобождении крестьян», опубликованной в № 14 «Колокола» за 1858 г.

[30] «Русские вопросы», — «Полярная Звезда», кн. 2, стр. 268.

[31] «Еще об освобождении крестьян», — «Колокол», 1858 г., № 14, стр. 112.

[32] «Комиссия для составления положений о крестьянах», — «Колокол», 1859 г., № 51, стр. 415.

[33] То же, 1860 г., № 62, стр. 507, 511.

[34] «Колокол», 1857 г., № 1, стр. 4.

[35] Разбор книги Корфа «14 декабря 1825 г. и император Николай. По поводу книги бар. Корфа». Лондон, 1858 г., стр. 306—307.

[36] Там же, стр. 229.

[37] «Правительственные распоряжения», — «Колокол», 1857 г., № 3, стр. 19.

[38] «Русские вопросы», — «Полярная Звезда», кн. 2, стр. 273.

[39] «Правительственные распоряжения», — «Колокол», 1858 г., стр. 53.

[40] Там же, стр. 52.

[41] «Разбор манифеста 26 августа 1856 г.», — «Полярная Звезда» кн. 3, стр. 19.

[42] «Еще об освобождении крестьян», — «Колокол», 1868 г., № 14, стр. 111.

[43] «Правительственные распоряжения», — «Колокол», 1857 г., № 7, стр. 52.

[44] Там же, стр. 51.

[45] «Русские вопросы», — «Полярная Звезда», кн. 2, стр. 274.

[46] Там же, стр. 274—275.

[47] «Московский Комитет», — «Колокол», 1858 г., № 30—31, стр. 241.

[48] «Письмо к автору «Возражения...», — «Колокол», 1859, № 38, стр. 307.

[49] «Письма к соотечественнику», — «Колокол», 1860 г., № 77, стр. 644—646.

[50] «Русские вопросы», — «Колокол», 1858 г., № 8, стр. 62.

[51] «Русские вопросы», — «Колокол», 1858 г., № 9, стр. 72; № 12, стр. 91.

[52] «Правительственные распоряжения», — «Колокол», 1857 г., № 7, стр. 52.

[53] «Правительственные распоряжения», — там же, 1857 г., № 3, стр. 19.

[54] «Русские вопросы», — «Колокол», 1858 г., № 12, стр. 96—97.

[55] «Письма к соотечественнику», — «Колокол», 1860 г., № 77—78, стр. 645—646.

[56] «Колокол», 1861 г., № 89, стр. 745—752.

[57] «Разбор нового крепостного права», — «Колокол», 1861 г., № 101, стр. 845—848. Подчеркнуто Огаревым.

[58] То же, № 103, стр. 862.

[59] То же, № 101, стр. 845. Подчеркнуто мною. — *Б. К.*

[60] «Частные письма об общем вопросе», — «Колокол», 1866 г., № 211, стр. 1726.

[61] «По поводу письма Искандера к государю», — «Колокол», 1865 г., № 200, стр. 1641. Подчеркнуто Огаревым.

[62] «Частные письма об общем вопросе», — «Колокол», 1866 г., № 211, стр. 1727.

[63] То же, — «Колокол», 1867 г., № 237, стр. 1937—1938; № 239, стр. 1951.

[64] «Настоящее и ожидания», — «Колокол», 1867 г., № 244—245, стр. 1995.

[65] «Второе письмо к иноку», — «Общее Вече», 1863 г., № 24, стр. 120.

[66] «Куда и откуда», — «Колокол», 1862 г., № 134, стр. 1112.

[67] «Ход судеб», — «Колокол», 1862 г., № 122—123, стр. 1016.

[68] «Расчистка некоторых вопросов», — «Колокол», 1862 г., № 138, стр. 1147.

[69] «Голод и новый год», — «Прибавление к «Колоколу», 15 февраля 1869 г., стр. 246.

[70] Там же, стр. 245.

[71] «Расчистка некоторых вопросов», — «Колокол», 1863 г., № 166, стр. 1367.

[72] «Разбор нового крепостного права», — «Колокол», 1861 г., № 103, стр. 863.

[73] П. П. Семенов-Тяншанский, Эпоха освобождения крестьян в России. т. IV, П., 1916 г., стр. 389.

[74] «Письмо к одному из многих», — «Колокол», 1864 г., № 189, стр. 1551.

[75] «Расчистка некоторых вопросов», — «Колокол», 1863 г., № 166, стр. 1367.

[76] То же, — «Колокол», 1862 г., № 137—138, стр. 1147.

[77] «Ход судеб», — «Колокол», 1862 г., № 122—123, стр. 1014—1015; «Куда и откуда», — там же, № 134, стр. 1110.

[78] «По поводу проекта положения о присяжных поверенных», — «Колокол», 1861 г., № 97, стр. 815.

[79] «Расчистка некоторых вопросов», — «Колокол», 1862 г., № 137, стр. 1135—1136.

[80] «Разбор нового крепостного права», — «Колокол», 1861 г., № 105, стр. 881.

[81] «На новый год», — «Колокол», 1861 г., № 89, стр. 748.

[82] «Что надо делать народу», — «Общее Вече», 1862 г., № 2, стр. 10. По проекту Огарева выборные каждого уезда намечают трех кандидатов по каждому уезду в члены центральной думы, а затем из этих трех избирается один депутат посредством прямых выборов, в которых участвует все население данного уезда.

[83] Огарев давно уже интересовался вопросом о правильном районировании России. Еще в 1847 г. он опубликовал статью «Опыт статистического распределения Российской империи» (перепечатана в сб. «Звенья», т. 2, стр. 49—58).

[84] «На новый год», — «Колокол», 1861 г., № 89, стр. 748—749.

[85] Там же, стр. 751.

[86] В «Ответе на ответ Великоруссу» («Колокол», 1861 г., № 108) Огарев писал: «Мы были бы совершенно равнодушны к форме правительства и династическому интересу царя, если б самодержавие не мешало народному устройству. Но оно положительно мешает, и потому на первом плане стоит необходимость его устранения».

[87] «Что-то будет?», — «Общее Вече», 1863 г., № 15, стр. 74; «Письмо к иноку», — там же, № 22, стр. 103.

[88] Герцен, т. XVI, стр. 91.

[89] Как на пример революции (переворота), произведенной сверху, Огарев указывает на реформу Петра I, которая, по мнению Огарева, не была реорганизацией политического и социального строя.

[90] «Колокол», 1864 г., № 176, стр. 1446—1448.

[91] «Расчистка некоторых вопросов», — «Колокол», 1864 г., № 175, стр. 1441.

[92] «Ход судеб», — «Колокол», 1862 г., № 122—123, стр. 1017.

[93] «Грехи и безумие», — «Общее Вече», 1863 г., № 17, стр. 82.

[94] «Ответ на ответ Великоруссу», — «Колокол», 1861 г., № 108.

[95] «Расчистка некоторых вопросов», — «Колокол», 1863 г., № 166, стр. 1366.

[96] То же, № 174, стр. 1430; «Выклинанье духов», — «Общее Вече», 1863 г., № 16, стр. 78.

[97] Об этих адресах см. Герцен, т. XV, стр. 480—500; здесь опубликованы оба варианта, составленного Огаревым адреса.

[98] «Что надо делать народу?» — «Общее Вече», 1862 г., № 2, стр. 9; срав. там же, № 28, стр. 126.

[99] «Что надо делать духовенству», — «Общее Вече», 1862 г., № 2, стр. 35; «Ответ на ответ Великоруссу», «Колокол», 1861 г., № 108.

[100] «Колокол», 1861 г., № 111. Статья эта перепечатана полностью в т. XI сочинений А. И. Герцена, стр. 314—320.

[101] «Тысячелетие России», — «Общее Вече», 1862 г., № 4, стр. 26. Статья эта не подписана, но принадлежность ее Огареву находится вне всяких сомнений.

[102] «Надгробное слово», — «Колокол», 1863 г., № 162, стр. 1334—1335.

[103] Там же, стр. 1335—1336.

[104] Там же, стр. 1334.

[105] «Ответ на ответ Великоруссу», — «Колокол», 1861 г., № 108.

[106] «Ответ Великоруссу», — «Колокол», 1861 г., № 107.

[107] «Ответ на ответ Великоруссу», — «Колокол», 1861 г., № 108.

[108] Проект Огарева см. Герцен, т. XVI, стр. 93—95.

[109] «Надгробное слово», — «Колокол», 1863 г., № 162, стр. 1335—1336.

[110] Письмо к «Одному из многих», — «Колокол». 1864 г., № 189, стр. 1553.

[111] То же, № 190, стр. 1561—1562; № 196, стр. 1605—1606.

[112] «Общее Вече», 1862 г., № 1, стр. 1. Подчеркнуто здесь и выше автором предисловия «от издателей».

[113] В. Черкезов, Николай Платонович Огарев, — «Община», 1878 г., № 3—4, стр. 19.

[114] Н. Огарев, В память людям 14 декабря 1825 г., стр. 5.

[115] «Каторга и Ссылка», 1933 г., № 9, стр. 126.

[116] Кетчеру Огарев писал: «Что сделает тот, кто насквозь прочувствует всю скорбь наследного достояния, а не труда? Он пойдет в пролетарии, барон. Замотай это слово себе на память, потому что я не шучу». — П. В. Анненков, Литературные воспоминания, СПБ, 1909 г., стр. 142. И. И. Панаев в своих воспоминаниях приводит следующие слова Огарева: «Чтобы сделаться вполне человеком, я чувствую, что мне необходимо сделаться пролетарием». — И. И. Панаев, Литературные воспоминания», Л., 1928 г., стр. 442.

[117] «Русские вопросы», — «Колокол», 1858 г., № 12, стр. 95.

[118] «Письмо к иноку», — «Общее Вече», 1863 г., № 22, стр. 103.

[119] «Письмо к «Одному из многих», — «Колокол», 1864 г., № 196, стр. 1605.

[120] «Расчистка некоторых вопросов», — «Колокол», 1863 г., № 175, стр. 1440.

[121] «Комиссия для составления положения о крестьянах», — «Колокол», 1859 г., стр. 417.

[122] «На новый год», — «Колокол», 1861 г., № 89, стр. 750.

[123] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.

[124] «Частные письма об общем вопросе», — «Колокол», 1866 г., № 220, стр. 1801.

[125] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.

[126] «Частные письма об общем вопросе», — «Колокол», 1866 г., № 211, стр. 1727.

[127] Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, Л., 1929 г., стр. 169—170.

НЕИЗДАННЫЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ Н. П. ОГАРЕВА

I. СТАТЬЯ «ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ПЕТР ВЕЛИКИЙ?»

Публикация С. Переселенкова

История нейдет ни по плану Боссюэта, ни по плану Гегеля. Если б человечество развивалось по предназначенному плану — нам можно бы скрестить руки в приятной праздности: что ни делай — все пошло бы как по-писанному. Но в действительности история представляет отсутствие плана; происшествия могут случаться, могут и не случаться — смотря по тому, какие для чего есть данные; такое или иное общественное условие, явление такого-то или иного лица — меняет факты, меняет жизнь. От того именно, что вещи могут быть и не быть — всякий порядочный человек страстно принимает участие в деле общественном и по мере сил старается, чтобы вышло то, что он считает полезным, справедливым, нравственным. От этого бывает так больно, когда что идет навыворот. От этого — при известных данных, когда государство ждет какой-то новой будущности, когда люди жаждут преобразования — так мучительно хотелось бы появления человека такого, какого мы встречаем великим деятелем в прежнем веке, но при подобных же условиях — потребности и необходимости государственных перемен. Пусть условия нашего века иные, но хотелось бы, чтоб в эти новые условия опять вошла могучая личность с ясным умом и неуклонным преследованием своей цели. Хотелось бы для России опять Петра Великого.

Живо воскресает в воображении исполненное благородной силы лицо великого царя-революционера.

Застает он Россию в смутном положении, — нечто в роде христианской Азии, где московский хан, разогнавши мелких узденей, сосредоточил власть, но посредством и под влиянием холопей, называемых боярами. Они окружают царя и сводят государственные интересы на низкую степень холопских интересов, — на местничество и грабеж. Россия, разделенная на воеводства, то же что пашалыки, отдана им на разграбление. Войско не устроено. Церковь, хотя имеет власть, но несмотря на недавние нововведения патриарха Никона, ни сама она, ни раскол, возникший как противоречие ее нововведениям, — не вносит в народную жизнь никакого живого начала. Народ переходит с места на место, без всякой выгоды для себя, без настоящей промышленной деятельности, без всякого понятия правосудия, вечно бродящий и везде притесненный и ограбленный царскими пашами. Россия велика, но в ней нет порядка; власть Московского царя сосредоточена, а государство не сильно и перед другими народами не имеет ни голоса, ни значения; русская торговля ничтожна.

Однако, Петр Великий гениальным чутьем понимает, что Россия — не Азия, что формы азиатского царедворства и полу-татарские нравы не составляют ее конечной цели, что русский ум ясен и боек, что русский человек ловок и предприимчив, что надо государство поставить на иную ногу. Что же делать? Надо противопоставить азиатской косности — европейское образование, праздношатанию — порядок, бессудию — правильный суд, местничеству — понятие государственной службы; надо вызвать промышленность и торговлю, надо войти в соприкосновение с другими образованными государствами, надо правильное войско, надо создать сильное государство, которое бы стало

на ряду с другими европейскими народами и имело бы с ними сношения, как сильный с сильным, равный с равным. Цель ясно понятна; он всем для нее жертвует. Долой китайский халат царя, взлелеянного холопами; он является царем-диктатором в одежде образованного человека, ищет окружить себя умными людьми, какого бы звания и происхождения они ни были, и не хочет праздных бояр и холопей; от бояр-холопей он хочет, чтобы они переоделись, пересоздались сообразно с его требованиями, чтобы они делали дело, если хотят быть чем-нибудь, или оставались бы ничем. Он гонит татарское направление, он бреет боярам бороду во имя просвещения, чтобы сбросить долой азиатское невежество, гуртовое невежество целого класса, владычествующего в народе. Это не то бритье бород, которое было в прошлое царствование и происходило из противоположного направления, из трусости перед просвещением, из трусости, подозревавшей либерализм в самой невинной бородке, из направления, которое встретить в ком-либо из современных наших правителей было бы для нас так прискорбно, что вот так бы, кажется, схватил бы его за руку и сказал бы: «Что вы делаете? Срамитесь и отрекаетесь от живой струи русского развития ради какой-то тупой привычки к капральству. Это вас недостойно». Петр Великий занят исключительно русским развитием, он не имеет династического интереса; казнь сына была, конечно, для него не наслаждением, а жертвою, принесенной великим диктатором народному развитию.

Для достижения своей цели, т. е. умственного и материального развития России, он делает все и делает неутомимо. Для этого он учится за границей и переносит в Россию все, что находит полезного в Европе. Он возбуждает дух промышленности и ради торговли и европейских сношений берет берег Балтики и строит новый город. Он заставляет народ быть оседлым, потому что без этого не было бы ни промышленности, ни государства. Он создает правильное войско. Он учреждает Сенат и правильные суды. Он учреждает Синод, т. е. подчиняет самую церковь живому началу государства. Он окончательно рушит холопское управление бояр и вводит правильную администрацию. Он учреждает Академию и полагает основание наук в России.

Россия уже не азиатское племя, а государство. Петр перестает быть ханом-царем и делается императором — в первоначальном, доблестном значении слова, т. е. вождем.

Полтора века прошло с тех пор, и Россия опять в смутном состоянии и при такой же напряженности вопросов, когда государственная перемена становится необходимостью. В продолжение этого времени движение в России было большое; но движение никогда не совершается прямо, по направлению одного толчка и одной силы; оно всегда идет по диагонали, путем, по которому толкает совокупность сил. Государство, хотя и создалось, но не шло прямо по направлению, данному Петром Великим; не шло сообразно с действительным значением его мысли. Его учреждения уклонились от стези, им предполагаемой... стези развития образованности.

Что̀ же бы он застал в России теперь и что̀ бы он там стал делать?

Он вводил в народ оседлость и дух промышленности. Промышленность и начала развиваться, но, с другой стороны, оседлость развила до уродливости крепостное право, помещичье и государственное, которое душит промышленность. Народ задавлен или ограблен, или и то и другое разом. Правильное войско, которое должно было стать благородным оплотом государства, чтобы всякий знал, что государство сильно, — войско имеет только наружный вид силы, а в самом деле

пришло в уныние под влиянием капральства и военно-чиновничьего грабежа. Рекрутство только бесплодно истощило народ и, при жеребьевой системе, дало новый повод чиновничеству грабить его безнаказанно.

Правильные суды, под влиянием общей организации чиновничества, стали формальными присутственными местами, где продается правосудие. Сенат сделался ссылочным местом для превосходительных неспособностей и превосходительных лихоимств.



НИКОЛАЙ I ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ ПЕТРУ I

Карикатура П. Домье

Музей изобразительных искусств, Москва

Администрация образовалась в правильную систему грабежа, которая давит все классы народа и грозит правительству финансовым разорением.

Наука склонила голову под ярмом многочисленных цензур, штатских и жандармских.

Всюду татарское местничество преобразилось в немецкую чинопостепенность.

Торговля страдает от бессудия, административной продажности и административного нахальства.

Синод и духовенство с своими консисториями преследуют мирных раскольников, то подводя их под наказания и ссылки, то отбирая у них книги, — для них священные, с тем, чтобы потом опять продавать им эти книги за невероятные цены, и воспитывают в своих семинариях то невежественных попов, которые полагают, что их мнимая ученость для того создана, чтобы дать им право увеличивать плату за церков-

ные требы до крайнего притеснения народа, то идущих умножать собою и без того многочисленное чиновничество — с целью нажития всеми неправдами.

И все это страдает безгласно, потому что правительство, вместо того, чтобы сделаться вождем России, сделалось главой немецкой бюрократии, давящей Россию, и боится гласности, и, не слыша голоса действительных потребностей государства, само мчится бессознательно и влечет ее за собою к гибели.

Вот как бы застал Россию теперь Петр Великий. Но опять он бы не усомнился ни на минуту, что, несмотря на это положение, жизненные силы России велики, что от его первого толчка она сделала огромные успехи в образовании, не потому чтобы ей помогали на пути развития, а вопреки всем препятствиям, которыми ей заграждали этот путь. Он орлиным взором увидел бы, что теперь крепостное право, местничество и грабеж в форме немецкой бюрократии и безгласный хаос, над которым носится дух жандармской, составляют язвы государства. Как во время оно он вырвался из азиатских объятий холопского боярства, так и теперь он снова почувствовал бы себя вождем — императором России, а не главой холопского, немецко-татарского чиновничества, и снова со всей силой ясного ума и неуклонной воли стал бы всем жертвовать для блага отечества.

Он уничтожил бы крепостное право, — посредством ли всеобщей финансовой меры или бы заставил помещиков и крестьян выбрать между собою посредников для освобождения крепостных людей с частью земли на полюбовных условиях, но положил бы срок для окончания этого полюбовного освобождения, строго наблюдая, чтобы в назначенный срок его воля была исполнена. Так или иначе, но он не отдохнул бы, пока бы не сделал этот первый необходимый шаг русского развития.

Он увидел бы, что равно судебную и административную власть пора преобразовать, но не посредством случайного уменьшения штатов и частного мнимого преследования мелких грабителей (я говорю: мнимого, потому что преследование своего своим не может быть не мнимым), а посредством коренного изменения всего состава чиновничества. Он бы уничтожил чин, который во время оно казался ему нужным и который теперь только мешал бы ему вызвать порядочных людей к государственной деятельности. Как гениальный человек, он был бы чужд мелкого самолюбия и легко бы сознавался в своих ошибках для того, чтобы исправить их. Он понял бы, что немецкая бюрократия так же вредна, как и азиатское местничество, и ясно увидал бы, что кроме правительственных контор, т. е. министерств и губернаторств, — естественное и действительно разумное влечение русских людей — от крестьянской общины до благородного дворянства, — иметь судей и администрацию выборную, которая давала бы избирателям отчет в своих действиях — на миру, т. е. гласно. Раз увидав и убедившись в этом, — переход от убеждения к исполнению у него шел бы быстро, со всей быстротой любви к отчеству, не терпящей неправды. Да! Петр Великий скорбел от неправды, от этого-то он так неутомимо быстро и действовал.

Он не смотрел на свой престол, как на кресло, в котором ловко отдохнуть, и не смотрел на Россию, как дитя на учебную книгу, которую ему хочется не читать, а изрезать на игрушки. Он был одушевлен своим неутомимым умом и любовью к народу. От этого он и был великий человек. Уничтожив чин, учредив суд и администрацию на иных основаниях, он окружил бы себя людьми достойными, к какому бы сословию они ни принадлежали. Так он делал и во время оно, когда

возле него стоял Меньшиков (не тот, который был морским министром); табель о рангах его почти предсмертная ошибка. Он умел бы выбрать людей. Дозволив всем говорить гласно, т. е. сняв с печати тяжеловесную, многочисленную цензуру, он избрал бы тех людей, которые всего более напечатали бы правды и всего яснее бы ее высказали. Петр Великий был ловец людей в смысле Евангелия, а не в смысле жандармского полковника.

Он перестал бы гнести народ ненужным рекрутством и, держа войска не более, чем сколько необходимо, возвысил бы его нравственное значение, избавив его от военных игрушек, театральных костюмов, а также и от начальников невежественных и грабящих.

Он перестал бы гнать раскольников, видя и в них таких же русских людей, как и прочие, да еще и очень полезных промышленников. Он обратил бы внимание и на семинарии, эти школы, существующие вне министерства народного просвещения и выпускающие законоучителей, неспособных научать народ никакой, не только евангельской истине.

В духовенстве и войске, администрации и суде, в народе и дворянстве, — везде он преимущество дал бы науке. Он стал бы не теснить, а увеличивать университеты и давал бы ход их воспитанникам во всякой государственной деятельности, — втолкнул бы науку в практику, приложил бы знания к делу.

Для достижения своей цели он необходимым условием поставил бы гласность, потому что ему самому нужны были бы и уши, и язык; он очень бы хорошо понял, что если он себе зажмет уши, а людям зажмет рот, — то Россия погибнет.

Да! В наше время Петр Великий с неутомимой деятельностью и гениальной быстротою — уничтожил бы крепостное право, преобразовал бы чиновничество и возвысил бы значение науки.

Тогда бы Россия отдохнула и ожила бы к новой, великой умственной и промышленной деятельности, а правительство блистательно стало бы в уровень с современной задачей русского развития.

Печатается с копии, снятой мной в 1901 г. с подлинника, хранившегося в то время в архиве А. А. Герцена в Лозанне. Тогда же мне удалось ознакомиться с черновиком и, повидимому, с первоначальным, кратким планом этой статьи. Черновик ничего существенного собой не представляет, но план заслуживает внимания по причине, о которой скажу ниже. Привожу его целиком:

«1) Обстоятельства — личности. Одинакие личности при разности цивилизаций сохраняют свой характер. 2) Что значит государственная цель и достижение оной. 3) Фигура Петра Великого. 4) Положение вещей при Петре Великом и современное. 5) Крепостное состояние при П[етре] В[еликом] и современное. 6) Как бы шел П[етр] В[еликий] к решению современной задачи крепостного состояния. 7) Эмансипация и образованность. 8) Чиновничество при П[етре] В[еликом] — Перенесение местничества родового в местничество правительственное. 9) Как бы предпринял П[етр] В[еликий] вопрос чиновничества в наше время. Администрация и избирательство. 10) Юридическая Россия при П[етре] В[еликом] и современная. 11) Просвещение при П[етре] В[еликом] и современное. 12) При П[етре] В[еликом] правительство выше науки; при Николае ниже науки. 13) Теперь требуется правительство выше науки. 14) Шаткость и решительность. 15) Что опасно и что нет. 16) Воззвание к правительству».

Статья «Что̀ бы сделал Петр Великий» относится к 1856 г. или к первой половине 1857 г., так как находится в тетради, где помещены другие работы Огарева, заведомо относящиеся к этому времени.

Достаточно было, в самом начале царствования Александра II, правительству сделать несколько робких шагов в сторону перемен и ослабления николаевского режима, чтобы большая часть не только умеренно-либеральных, но и радикально настроенных представителей тогдашней интеллигенции поверила, что молодой царь, убедившийся на горьком опыте в несостоятельности внутренней политики своего отца, решил изменить ее на другую, соответствующую требованиям времени и более или менее удовлетворяющую общественным запросам лучших людей настоящего и недавнего прошлого. Огарев в этом отношении не избежал участи большинства своих современников. Полный надежд на будущее, он приветствовал в «Полярной Звезде» на 1857 г. правительство за то, что оно «начинает преследовать своих привилегированных гражданских воров, печатает о них в газетах, послабляет цензуру, покровительствует университетам, задавленным прежним царствованием; требует себе чиновников, образованных в высших учебных заведениях; опять в гражданском деле, как в военном, требует науки, мысли, образования. Оно видит, что преследованием мысли оно само бы у себя отняло средства действовать, что по николаевской системе ему долее нельзя жить»[1]. От внимания его, правда, не ускользнуло, что правительство действовало в данном случае «шатко, неполно, нерешительно, даже неловко», но происходило это, по его мнению, так потому, что царя «еще окружают николаевские люди, люди раболепия и неправды, люди корыстные; люди, скрывающие под видом важности ограниченность и невежество, фельдфебели в чине государственных сановников; люди, которым кажется преступлением все, что честно, благородно и разумно»[2]. О молодом царе тогда ходили слухи, как о «человеке благонамеренном и добром», Огарев охотно верил им. «Стоит только, — говорил он, — вспомнить удаление Клейнмихеля и Дубельта, стоит только взглянуть на портрет Александра II, чтобы убедиться в этом!»[3]. А если так, то пагубному влиянию на царя старых и своекорыстных вельмож николаевского времени необходимо противопоставить свободный, неподкупный голос людей, не развращенных старым режимом. «Теперь более, чем когда-нибудь, — писал Огарев, — обязанность русской вольной книгопечати сказать слово правды, которую долее вполне высказаться правительство еще боится дозволить»[4], и он, не покидая поэтического творчества, выступил в роли публициста. В то же время у него явилась мысль, как это видно из приведенного выше плана статьи, обратиться при посредстве вольной печати с программой обновления России к Александру II в форме, которую тридцать лет тому назад использовал Пушкин, когда обращался к Николаю I. «Доброму и благонамеренному», но не покончившему еще до конца с отжившими традициями и постоянно колеблющемуся царю Огарев в этом обращении ставил в пример Петра, изображая его таким, каким он представлялся людям сороковых годов.

Почему же статья не получила окончательной отделки согласно с намеченным первоначальным планом и не была напечатана в свое время?

Почти с уверенностью можно сказать: потому, что оптимизм Огарева не имел под собой прочных оснований. Действия правительства в то время не отличались ни последовательностью, ни строгой определенностью. Сплошь и рядом благие начинания его сменялись такими выступлениями, которые не могли не приводить Огарева в уныние. Особенно тяжелое впечатление на Огарева произвела изданная с «высочайшего соизволения» в начале 1857 г. книга К о р ф а «Восшествие на престол императора Николая I», в которой оскорблена была память декабристов, против чего горячо протестовали в вольной печати он сам и Герцен. Естественно, что надежды, которые первое время он возлагал на новое правительство, стал подрывать скептицизм, а при таком настроении странно было бы обращаться к Александру II в той форме, в какой задумано было обращение. Потеряло значение это предполагаемое обращение и как журнальная статья после того, как напечатан был в «Полярной Звезде» и «Колоколе» ряд публицистических произведений Огарева, посвященных подробному разбору современных общественных вопросов.

Интересно, что около того же времени, в 1856 или в 1857 гг., Огарев в стихах, посвященных Анненкову, произнес суровый приговор Пушкину за его «Стансы», адресованные Николаю I[5].

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Полярная Звезда», 1857 г., кн. 3. — «Русские вопросы», статья II.
2 «Разбор манифеста 1856 года», т а м ж е.
3 Т а м ж е.
4 «Русские вопросы», статья II, т а м ж е.
5 Н. П. О г а р е в. Стихотворения и поэмы, Л., 1937, т. I, стр. 166.

II. ЗАПИСКА О ТАЙНОМ ОБЩЕСТВЕ

Публикация Б. Козьмина

Может ли в наше время тайное общество быть полезно и, если может, какая должна быть его цель и организация? — Это приводит к еще более общему вопросу: что значит полезное в общественном смысле? Я смело отвечу: все, что клонится к свободе личности и к равному распределению ее в общественном устройстве, словом, все, что может хотя приблизительно примирить несгнетаемую независимость лица и его действий с необходимостью рода людского, лежащею in natura rerum, жить стадом. Я думаю, это самое общее выражение смысла полезного. Но теперь спрашивается: что же делает личность внутренне свободною? — Ясность мысли и адекватность поступка с мыслью. Что делает личность независимою? — Немешание окружающей среды ясно мыслить и действовать. Итак, полезное в общественном смысле — это знание[1*], т. е. наука, и отстранение препятствий, мешающих человеку ясно мыслить и[2*] действовать. Или скажем определеннее: собирание полезных[3*] элементов для популяризации науки[4*] и гражданская реформа[5*].

Было ли когда-нибудь и может ли быть теперь тайное общество, которое имело бы в своей власти[6*] эти два средства общественной пользы? — Без сомнения, было. Христианство было такое тайное общество; реформация имела свое такое же тайное общество; революция имела свои тайные общества, сделавшиеся впоследствии явными клубами, потому что все же цель тайного общества:

Was im Kämmerlein
Still und fein gesponnen —
Muss das endlich auf einmal
Kommen an die Sonnen.

Положимте, что христианство распространяло не знание, а только мнение, но это мнение в глазах тогдашнего человека равнялось знанию; а распространение этого мнения было совершено посредством тайных обществ. Гражданские реформы, т. е. приобретение права гражданства христианскому мнению совершилось все под тем же влиянием тайных обществ, действовавших равно на народы и на правительства, пока мы, наконец, видим, что христианский епископ коронует франкского короля — и тайное общество переходит в явную церковь, т. е. явную власть. Я не говорю теперь о пользе или вреде христианства и церкви, но вот метод, достигший цели. Кто же нам мешает употребить тот же метод для распространения положительной науки[7*] и приобретения гражданских[8*] реформ, сообразных с нашими понятиями?

Да! тайное общество полезно, возможно и необходимо[9*].

Должно ли быть это общество исключительно русское или повсеместное? Последнее увлекательно широкостью своей задачи, но чем более думаю, тем более вижу, что «Jérôme Paturot à la recherche d'une

---

[1*] После «знание» Герценом вписано карандашом: «окружающего».
[2*] После «и» вписано «последовательно».
[3*] После «полезных» вписано «желательных истинно».
[4*] Слово «науки» зачеркнуто Герценом и заменено «знаний».
[5*] Слово «гражданская» заменено «общественная».
[6*] Слово «власти» заменено «цели».
[7*] Слова «положительной науки» переделаны Герценом: «положительных знаний».
[8*] Слово «гражданских» переделано в «общественных».
[9*] Следующий абзац зачеркнут карандашом, повидимому, Герценом.

position sociale» до такой степени сидит во всяком европейском деятеле, что искреннего центра общества с европейцами не составишь в настоящее время. Искренни, может быть, только итальянцы в вопросе национальной независимости; в остальном общее служит людям только как средство к достижению частных, корыстных или тщеславных целей. Вдобавок исключительно русское общество для нас возможнее и потому начинать надо с него.

Но как начать?

Центр, зерно общества, не имеет нужды в многолюдстве; он нуждается только в искренности и понимании своих членов. Центр должен быть искренен, как бы одно лицо, а его понимание вещей должно быть энциклопедическим; это conditio sine qua non, когда дело идет о положительной науке 1* и практических гражданских 2* реформах. Центр должен иметь свой орган в печати, где бы его понятия высказывались как можно более цельно. Центральное издание должно высказывать направление, теорию, гипотезу применений, исполнение которых падет на периферию общества. Чем далее в периферию, тем более потребуется специальностей, как бы малы они ни были, так чтобы всякий человек мог найти свое дело, и общество имело бы, наконец, бессознательных агентов, т. е. агентов, действующих в смысле общества, не имея нужды знать о его существовании. Периферия должна иметь в печати свои специальные органы 3*. Конечно, общество не может ограничиться одним способом действия — книгопечатанием, и чтобы не потерять ни одного интереса из виду, должно иметь своих агентов и в государственной деятельности, и в промышленной деятельности; от этого, тем паче, лежит на центре обязанность быть энциклопедистом и составиться из членов, которые бы совокупно выражали энциклопедизм научного понимания.

О власти центра над обществом и организации этой власти я не стану говорить 4*.

Порядок подчинения иезуитского общества для нас слишком ненавистен, чтобы мы могли создать нечто подобное. К тому же такой порядок годится только для отстаивания падающего начала. Наш центр 5* должен быть нравственной силой без всяких quasi-правительственных форм. Центробежная сила убеждения и центростремительная сила доверия должны зависеть от искренности понимания и деятельности центральных членов, без всякой формальной иерархии 6*. Повиновение агента 7* должно иметь основание в его внутреннем согласии с поручением, и только; от этого две выгоды: во-первых, что члены общества будут действовать согласно с собственным ясным убеждением и, следственно, будут нравственные люди; а бессознательные агенты, работающие под их влиянием, будут также действовать согласно со своим убеждением, следственно, охотно и не лениво. Правда одно 8*: чем специальнее дело, тем менее агент должен знать о существования общества (это единственное условие, которого требует самосохранение общества). При этом, кажется, порядок прост и ясен: добровольное соглашение члена или агента действовать в известном деле и известным образом 9*.

1* Слова «положительной науке» Герцен заменил «положительных знаний».
2* Слово «гражданских» заменено «общественных».
3* Следующая фраза зачеркнута карандашом, повидимому, Герценом.
4* То же две следующие фразы.
5* Перед «наш центр» Герценом вписано: «Конечно, прежде всего».
6* Последние 4 слова зачеркнуты карандашом, повидимому, Герценом.
7* После «агента» Герценом вписано: «прежде всего».
8* Слова «правда одно» заменены Герценом: «Но».
9* Следующие три абзаца зачеркнуты карандашом, повидимому, Герценом.

Для нецентральных членов, — если нужно заглавие, — общество может начинаться под названием — общество научных приложений или общество научных приложений и гражданских улучшений. Для центра девиз его без сомнения остается: социальная реформа. Я думаю, что в этом с виду анархическом устройстве будет не менее порядка, чем в монашеском или масонском ордене. Там нужны были формальности, потому что они были религиозные общества; а мы не должны забывать, что работаем в пользу положительного здравого смысла, враждебного формальностям. Даже и заглавие — общество людей здравого смысла было бы дурно.

Но довольно о схеме. Надо более уяснить самые понятия, которые мы хотим популяризировать, реформы, на которые метим и, наконец, самый ход наших действий.

Положим, что центр общества составлен. Члены его должны выражать три отрасли знания: естествознание (от математики до медицины и техники), экономическую науку и юриспруденцию. Это нужно как для того, чтобы знать, что мы хотим популяризовать, так и для того, чтобы знать, против чего мы станем бороться и какие средства для борьбы мы можем употреблять, имея всегда за себя положительное основание в государственном законодательстве. Англия доказывает, что последнее условие для постепенной реформы необходимо; а Франция доказывает, что непостепенная реформа невозможна. Центр же общества должен содержать все реформы в возможности. С реформами необходимо связывается популяризация науки; следственно, центр должен иметь теорию науки, т. е. свой взгляд на предметы, и усвоить себе метод, как и кому сделать науку доступной частью и в целом.

Без сомнения для нас теперь главная задача общественная реформа — это уничтожение крепостного сословия[1*]. Следственно, центр предлагает задачу и группирует около нее членов общества. Задача уничтожения крепостного сословия[2*] имеет свои соприкосновенные задачи; следственно, центр обязан вызвать членов общества на специальную разработку их[3*] и дать цельности этого труда место в центральном издании, между тем, как каждые специальности должны быть печатаны во всех существующих повременных и новых изданиях.

Задача эта ставится таким образом:

А) Финансовый оборот для выкупа крепостных людей с землею.

1) Настоящее положение крепостных людей, оценка крепостного труда, крестьянское и помещичье землевладение в статистическом и экономическом смысле.

2) Разбор государственных кредитных учреждений исторически.

3) Возможность основать на них выкуп.

4) Современное значение, назначение и состав дворянства и его возможная будущность.

5) Современное состояние, значение и будущность крестьянской общины.

Это приводит к задаче о крестьянах вообще и, следственно, к вопросу о государственных крестьянах.

В) Государственные крестьяне.

1) Статистика земель государственных крестьян и государственных пустопорожних земель.

1* Слово «общественная» вписано Герценом, последние 4 слова зачеркнуты карандашом.

2* Перед «Задача» Герценом вписано «Главная»; последние 3 слова зачеркнуты карандашом.

3* Далее все зачеркнуто карандашом до пункта С включительно.

2) Народонаселение, его местные способы существования, т. е. промышленность, его общинное юридическое и административное устройство.

3) Налоги; принятая в России теория оных, способы взимания, недоимки и причины оных.

4) Возможная новая метода податей и взимания оных.

Тут мы переходим к чиновничеству и к промышленности.

C) Чиновничество.

1) Его современная организация, подробная статистика числа чиновников, их жалований, дел, производимых ими по количеству и по содержанию, образование чиновников и влияние их.

2) Как изменить чиновничество?

D) Промышленность.

1) Статистика земледелия и торговли земледельческими произведениями.

2) Статистика заводской и фабричной промышленности и ее торговля.

3) Современные и предполагаемые пути сообщения.

4) Промышленное отношение разных частей России между собой и к иностранному миру.

Это наталкивает нас на вопрос народного образования и на торговое, т. е. среднее сословие государства.

E) Народное образование.

1) Его современное положение.

2) Какие сведения надо прежде всего сделать народными?

3) Устройство школ и издание книг.

4) Приготовление учителей.

5) Технические примерные орудия и препараты при школах.

6) Средства к их содержанию.

С вопросом народного образования связан вопрос о

F) Духовенстве.

1) Его современное образование, положение, нравственность и число.

2) Изменение или лучше уничтожение семинарий или присоединение оных к общей системе университетского преподавания.

3) Отношение народа к духовенству, количество духовных лиц на число душ и на какие средства содержать их.

G) Среднее сословие.

1) Его численность (т. е. купцов и мещан), нравы, занятия.

2) Средства к образованию.

3) Его отношение к народу и к администрации.

4) Средства не дать ему консолидироваться в касту.

Тут мы переходим в общие экономические и государственные вопросы:

H) Значение капиталов в России, их количество, ценность, оборот. Отношение к массам потребителей и производителей. Будущность капитала и труда в России при освобождении крепостных людей, преобразовании чиновничества и системы налогов. Отношение земельной собственности к капиталу. Отношение денежного капитала к иным движимым и недвижимым имуществам.

I) Юридическое состояние государства и изменение его.

K) Племенное, физиологическое и патологическое состояние народонаселения.

L) Геолого-метеорологическое состояние государства и его отношение к растительности.

Частные вопросы:

M) Винные откупа и соляные сборы и их реформа.

N) Рекрутство.

O) Удельные имения.

P) Посессионные имения.

Q) Казенные оброчные статьи.

R) Организация армии.

S) Тарифы.

Конечно, это далеко не все, но вот вопросы, которые центральное общество должно:

1) Уяснить себе.

2) Сделать популярным для большинства посредством печати и представить в более серьезном виде для воспитанников высших учебных заведений, сохраняя везде свою теоретическую точку зрения.

3) Проводить по всем вопросам решение по государственным постановлениям через влияние членов общества и бессознательных агентов.

Центральное общество должно работать, чтобы в периферии готовились для печати и издавались — с нашей точки зрения и без всякой точки зрения (социальной) — специальные сочинения, наивозможно популярнее, а именно:

1) Учебники.

2) Отчеты по трудам Академий всех стран.

3) Отчеты технических и других открытий.

4) Отчеты и разбор экономических сочинений.

5) Отчеты и разбор исторических сочинений.

6) Как можно более собственных литературных произведений с нашей точки зрения.

7) Простонародная литература, сказки, картинки и пр.

8) Как можно более сочинений насчет всяких случайностей, или лучше по поводу случайностей в правительственной России.

Центральное общество для изданий, разъездов, пересылок и вспомоществований предлагает известное годовое пожертвование с каждого члена и общества и обязано учредить отчетность в деньгах так, чтобы члены были уверены в хорошем употреблении оных.

Центральное общество обязано устроить по возможности быструю и постоянную корреспонденцию, чтобы всегда быть au courant des choses — по всем отраслям.

Общество должно иметь членов и агентов в мире промышленном, так чтобы и в промышленности ощущалась популяризация науки и требование государственных реформ.

[На отдельном листке]

Цель: популяризация знаний и общественная реформа.

Дело теперь, кроме печатания книг, —

Путешествующие учители, их тема — популяризация геологии и, вообще, теории мироздания и естественных наук и их приложений к земледелию и промышленности.

Путешественники по России для собирания статистических сведений об административных и судебных злоупотреблениях. Необходима выписка всех губернских ведомостей, и каждое дело, которое в них покажется сомнительным, должно быть следимо путешественником по России и сообщаемо.

Путешественники за границу.

Воспроизводится по записной книжке Огарева № 22, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

Настоящая записка чрезвычайно характерна для политических настроений Огарева накануне отмены крепостного права. Разуверившись в реформаторской деятельности правительства, Огарев еще не решается безоговорочно вступить на революционный путь. Признавая необходимость организации в России тайного общества, он в то же время ставит ему столь широкие и всеобъемлющие задания, что основная цель этого общества — подготовка переворота — затушевывается и отодвигается в неопределенную даль. Тайное общество, проектируемое Огаревым, не боевая революционная организация, подготавливающая восстание, а просветительная ассоциация, занятая распространением знаний, и притом не только общественных, но и естественных наук, как среди интеллигенции, так и в среде народа, в целях организации общественного мнения и подготовки его к коренному изменению основ социально-политического быта страны.

Печатаемую нами записку можно датировать 1860 г. Именно в этом году Огарев под влиянием разочарования в реформаторской деятельности правительства стал усиленно доказывать необходимость организации общественных сил, в целях выработки мощного общественного мнения, и обратился к интеллигенции с призывом выделять из своей среды «странствующих учителей» — «проповедников науки для крестьян».

III. СТАТЬЯ «НУЖДЫ НАРОДНЫЕ»

Публикация Б. Козьмина

Народу житье плохое. Крестьяне бывшие барские — нето остались крепостными, нето нет. Барщину еще справляют, оброки им скорее повысили, чем понизили, землю у них урезали, да и за ту заставляют выкуп платить и подписывать кабальные записи, называемые уставными грамотами. Казенным (государственным) крестьянам хотят ихние мирские земли, которыми они искони владеют даром, распродать насильно или же каждому в раздел, в одиночку, за деньги. Дворовым людям вовсе никакой земли не дали, пустили по миру безземельными, да еще и за то, что по миру пустили, заставляют господам выкуп платить. Городские крестьяне, — то-есть мещане, — уж и говорить нечего — всякими приписями, да поборами, повинностями, да постоями, торговыми свидетельствами, да паспортами так разорены, так в долгу, как в шелку, что просто выходит голь кабацкая.

Что же тут делать? Как горю пособить? Уж конечно, не господа с чиновниками народное дело устроят, надо народу самому о себе подумать, как устроиться, да просить царя, чтобы приказал все порядки учредить по-народному.

Начал царь освобождать народ, так уж надо и покончить, надо, чтобы воля была настоящая, а не то что теперь, полукрепость, полукабала, надо, чтоб земля была не урезана и не продана, а отдана народу, потому что она не барская и не казенная, а народная, мирская, земская. Прежние цари и императоры народные земли пораздавали было помещикам, да отписали было в казну; а нынешний царь хотел ее опять народу отдать, только оно не так выходит на самом деле, как следует. Надо просить царя, чтоб было все сделано по правде, земля была бы взаправду отдана земству и люди были бы взаправду освобождены от господ и от чиновников.

Для этого надо народу по волостям и городам, по селам и деревням сходиться и столковываться и просить миром царя, чтоб не верил своим генералам военным и штатским, которые в Петербурге указы и приказы пишут, а собрал бы земский собор из выборных от всего земства людей и с ними столковался бы, как учредить порядки, какие по правде следует.

Чтобы выборные эти не назначались и не утверждались губернаторами и господами, а были бы выбираемы волостями и городами поголовно, без различия по сословию, дворянин ли, мужик ли, куда приписан — к волости или к городу, голос бы подавал, что один, что дру-

гой наравне; а чиновники всякие, уездные, и губернские и петербургские, вовсе бы в выборы не вмешивались.

Чтобы все вместе без различия, как есть народ, в уездах по селам, деревням и городу выбрали бы людей, которые уже промежду себя выбрали бы троих на уезд и спросили бы по селам, деревням и городу, кого из троих послать посланцем на земский собор: кого из троих народ признает — того и послать.

Чтобы на этом земском соборе было положено следующее:

1. Чтоб земля русская была признана земским достоянием.

ЮРЬЕВЪ ДЕНЬ! ЮРЬЕВЪ ДЕНЬ!

РУСКОМУ ДВОРЯНСТВУ.

Первое вольное Руское слово изъ за границы, пусть будетъ обращено къ вамъ.

Въ вашей средѣ развилась потребность независимости, стремленіе къ свободѣ и вся умственная дѣятельность послѣдняго вѣка.

Между вами находится то самоотверженное меньшинство которымъ искупается Россія въ глазахъ другихъ народовъ и въ собственныхъ своихъ.

Изъ вашихъ рядовъ вышли Муравьевъ и Пестель, Рылѣевъ и Бестужевъ.

Изъ вашихъ рядовъ вышли Пушкинъ и Лермонтовъ.

Наконецъ и мы оставившіе родину, для того чтобъ хоть въ чужѣ раздавалась свободная Руская рѣчь, вышли изъ вашихъ рядовъ.

Къ вамъ первымъ мы и обращаемся.

Не съ словами упрека, не съ невозможнымъ на сію минуту зовомъ на бой, а съ дружескою рѣчью объ общемъ горѣ, объ общемъ стыдѣ и съ братскимъ совѣтомъ.

Горестно, стыдно быть рабами, но всего горестнѣе и больнѣе сознавать что рабство наше необходимо, что оно въ порядкѣ вещей, что оно естественное слѣдствіе.

На нашей душѣ лежитъ великій грѣхъ, мы его [illegible] и въ этомъ невиноваты, но мы удерживаемъ [illegible] доденное, оно стягиваетъ насъ какъ тяжелый камень на дно и съ нимъ на [illegible] мы не всплывемъ.

Мы рабы—потому что наши предки продали свое человѣческое достоинство за нечеловѣческія права, а мы пользуемся ими.

Мы рабы—потому что мы господа.

Мы слуги—потому что мы помѣщики и помѣщики, безъ вѣры въ наше право.

Мы крѣпостные—потому что держимъ въ неволѣ нашихъ братій равныхъ намъ по рожденію, по крови, по языку.

Нѣтъ свободы для насъ, пока проклятіе крѣпостнаго состоянія тяготѣетъ надъ нами, пока у насъ будетъ существовать гнусное, позорное, ничемъ неоправданное рабство крестьянъ.

Съ Юрьева дня начнется новая жизнь Россіи, съ Юрьева дня начнется наше освобожденіе.

Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть дворовыхъ людей купленныхъ какъ товаръ, продаваемыхъ какъ стадо.

Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть право сѣчь мужиковъ и посылать дворовыхъ на съѣзжую.

Нельзя даже говорить о правахъ человѣческихъ будучи владѣльцемъ человѣческихъ душъ.

Развѣ Царь не можетъ сказать: "Вы хотите быть свободными съ какой стати? Берите оброкъ съ вашихъ крестьянъ, берите ихъ трудъ, берите ихъ дѣтей во дворъ, обмѣривайте ихъ землею, продавайте ихъ, покупайте, переселяйте, бейте, сѣките ихъ—а если устали, посылайте ко мнѣ въ полицію, я охотно буду сѣчь за васъ. Мало вамъ этого, что ли? надобно честь знать. Предки наши уступили вамъ часть нашего самодержавія, какая вамъ свободныхъ людей, [illegible] отрѣзало полу [illegible] багряницы своей и бросили ее на бѣдность вашихъ [illegible], вы не [illegible] отъ нее, вы покрываетесь ею, [illegible] не можетъ быть между нами рѣчи о свободѣ. Оставайтесь крѣпкія царю, пока православные крѣпки вамъ. [illegible] помѣщикамъ быть свободными людьми?"

И Царь будетъ правъ.

Многіе изъ васъ желали освобожденія крестьянъ, Пестель и его други считали освобожденіе ихъ своимъ первымъ дѣломъ. Спорили съ начала о томъ съ землею или безъ земли дать волю? Потомъ всѣ увидѣли нелѣпость освобожденія въ голодъ, и

Б

ПРОКЛАМАЦИЯ ГЕРЦЕНА «ЮРЬЕВ ДЕНЬ, ЮРЬЕВ ДЕНЬ! РУССКОМУ ДВОРЯНСТВУ», 1853 г.

Институт Маркса — Энгельса — Ленина, Москва

2. Чтобы села, деревни и города в своей меже землею распоряжались миром, как знают: хотят владеть подворно в раздел, как и на какие сроки, так бы по мирскому приговору и владели; хотят владеть землею потягольно, в переделы, так, как обычно, по мирскому приговору, и владели бы. Хотят пахать всю землю сообща и делиться урожаем, — так по мирскому приговору и владели бы и никто бы им в этом не препятствовал.

3. Бывшие соседи-помещики, чтобы в миру, если хотят, свой земельный пай наравне со всеми по мирскому приговору получили бы, а особой лишней земли себе не брали бы.

4. А помещикам за утрату земель и людей, прежними царями и

императорами неправедно пожалованными, — было бы дано денежное пособие, на сколько лет и по скольку в год как земский собор признает, так и было бы.

5. А платить это пособие из числа обычных податей, полагая подать с души не выше того, что теперь платят государственные крестьяне.

6. Да и вся подать и все казенные доходы были бы на земском соборе пересмотрены, и положено бы, сколько на общие нужды казне расходовать, чтобы ни лишних трат, ни лишних поборов с народа не было бы.

7. Чтобы землю, где для мира окажется лишняя, которую разрабатывать миру не под силу, никто бы в потомственную собственность не брал и не покупал, а оставалась бы она для выселков из малоземельных сел и городов. А если под выселки земли не требуется, то отдавалась бы лишняя земля в наем на сроки, от всех волостей и города в уезде по общему приговору, и деньги шли бы на пополнение и на замен податей и повинностей по уезду.

8. А если есть лишние, пустопорожние земли, которых еще ни один человек не пахал, и они под выселки еще не требуются, то отдавать их внаймы от той области, к чьей меже принадлежат, по общему областному приговору, и деньги обращать на пополнение и замен податей и повинностей по всей области.

9. А если незаселенные земли такие дальние, что и не знаемо, к какой области межа принадлежит, а под выселки еще не требуются, то отдавать их внаймы по приговору земского собора и деньги обращать на замен податей и повинностей в общую государственную казну.

10. Чтобы городу перед волостью никаких особых прав и преимуществ не было, и волен был бы равно каждый горожанин и каждый селянин торговать беспрепятственно, чем хочет, по волостям и по городам, по селам и деревням, и на вывоз в чужие земли, насколько у кого хватит достатка и умения, без всяких гильдий и без всяких паспортов, которые мошенников не останавливают, а только честных людей теснят и разоряют.

11. Души считать и вершить раскладку податей и повинностей сумеет всякий сельский мир и всякий город сам, и мирского сбора или городского не упустит и без паспортов и человека не обидит. Стало надо, чтобы народная перепись и раскладка податей мирских и государственных была предоставлена на ответственность волостного и городского мира.

12. Чтобы селам и деревням, посадам и городам собираться в волости предоставлена была свобода, куда которое село или деревня, посад или город потянет, и в выборы, по селам и деревням, посадам и городам, судей и старшин и иных должностных людей и полицейских блюстителей — никакие бы посторонние власти не вмешивались бы.

13. Чтобы волостям, посадам и городам предоставлена была свобода соединяться в одну межу, в уезд, куда кого потянет, и выбирать уездного голову и уездную думу.

14. Чтобы уездам была предоставлена свобода соединяться в одну межу, в область, куда который уезд потянет, и выбирать областного голову и областную думу.

14. [sic!] Чтобы делами всех областей вместе заведывал земский собор, по своим приговорам и с согласия царева.

15. Чтобы, затем, всякое особое казенное чиновничество, волостями и городами, уездами и областями невыбранное, было упразднено, и всякое сословие, дворянское или купеческое, отменено, а было бы еди-

ное земство, единый народ и единый царь, через земский собор ведающий народные нужды и по приговору земского собора решающий, что полезно и что надо исполнить.

16. Чтобы, затем, никаких преследований за веру не было бы. Вера дело совести, а в чужую совесть вступать значит людей смущать. И потому, чтобы никакая власть не вмешивалась, — где каких ставленных священников народ в свой приход призывает и избирает, где как браки совершаются и как детей учат. Всякое гонение ведет к смуте, только свободные переговоры словом убеждения ведут к правде.

17. Также, чтобы никакие власти не вмешивались бы в рекрутство — где по жеребью, или по очереди, или по найму рекрут ставлен; лишь бы был годен на службу, а как справлять рекрутство — это дело мирское. А сколько рекрут надо и сколько лет человеку служить, это пусть решит земский собор с согласия царева.

18. Также, чтоб никакие власти ни посторонние, ни выборные драться не смели, а чтоб не смели драться власти, надо начинать с того, чтобы прекратить мирские приговоры к наказанию розгами.

Обо всем этом подумать и столковаться по волостям и городам, по селам, деревням и посадам — народу давно пора, иначе зла не выведешь и добра не придумаешь.

А столковавшись, надо не отлагая просить царя, чтобы созвал земский собор и по всем сказанным нуждам и иным, которые к слову придут, были бы на соборе поставлены приговоры и царь приговоры те утвердил бы на благо всех областей и всего народа.

Статья эта печатается по черновику, сохранившемуся в записной книжке Огарева 1862 г., находящейся в настоящее время в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (записная книжка № 9).

Несомненно, что статью «Нужды народные» следует датировать 1862 г. Об этом свидетельствует не только нахождение ее в записной книжке именно этого года, но и самое содержание статьи. Ясно, что она была написана в 1862 г., когда Огарев был увлечен планом развернуть в России широкую агитацию по сбору подписей под адресом царю с требованием созыва Земского собора. Политическая программа, намеченная в статье «Нужды народные», полностью соответствует той политической программе, которую Огарев развертывал и обосновывал в своих статьях и прокламациях 1862 г.

IV. ПРОЕКТ АДРЕСА ЦАРЮ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН

Публикация Б. Козьмина

Государь,

Верные твои подданные N-ой губернии, N-го уезда, N-ой волости, села М., села В., деревни Р., деревни О., — государственные крестьяне прибегают к тебе с всепокорнейшей просьбой, как к царю своему, отцу и покровителю, правосудия воздаятелю, правды божией и прав человеческих блюстителю.

Великое дело совершил ты, государь наш, уничтожил богопротивную власть помещиков, крепостным людям отдал волю и землю, дозволил им владеть ею как собственностью общины, по обычаю предков и русскому разуму, дозволил им управляться и судиться своими выборными перед миром ответчиками. За это, государь, весь народ русский благословил имя твое. Людям обиженным и в грязь затоптанным, но которые не хуже других служили царю и отечеству, платя подати и проливая кровь свою и на поле ратном, отдал ты, наконец, право дышать свободно и жить по-человечески, и за это весь народ русский благословляет имя твое во веки веков.

С радостью искренней видим мы освобождение нашей братии, под крепостным игом так долго страдавшей, и не ради корыстной зависти на них глядя, просим мы за себя самих, государь, а ради правомерия. Не могут же разум и сердце царево ведать одних свободными, а других угнетенными.

Дай ты нам, государь наш, права такие же, как и людям из крепости вышедшим, чтоб и мы не за них одних, а и за самих себя, и за детей наших и правнуков, стали благословлять имя твое.

А в чем эти права должны состоять, об этом здесь и писано.

1. Дай ты нам в нашу собственность землю, какая к какому селу или какой деревне прирезана, так, чтоб приходилось не менее 4-х и не более 15-ти десятин на душу. Лишки же сверх 15-ти десятин, где таковые есть, пусть идут малоземельным в заселение. Земли наши зовутся государственными, но принадлежат они искони общинам. Как их не назови, а они наши; мы же знаем и понимаем, что мы все люди русские государственные, и коли понадобится, не только труд наш, и домы наши, и земли, но и самую жизнь нашу ради святой Руси отдадим беспрекословно. Но во времена мирные, когда не излишние жертвы, а только исполнение государственных повинностей с нас требуется, пусть же, государь, земли общинные принадлежат общинам, чтобы общины и в самом деле были их владельцами и могли ими распоряжаться по своему усмотрению, где нужно миром прикупить или принанять к ним земли соседние, где обменяться землею с соседями, или какую землю уступить за деньги в наем или в куплю. Мир своих выгод не упустит, власть распоряжаться во зло не употребит, а все устроит к нашему общему довольству и обогащению, ибо каждый из нас в мире участвует и все каждому дадут, что ему приходится.

2. Владеть нашими землями мы станем миром. Распоряжаться наделом потягольных земель пахотных, лугов и выгонов, огородов и коноплянников из иных угодий станем на миру, на сходе по доброй совести, никому из нас не в обиду. За лесными дачами станем присматривать и на миру сколько кому в выдачу или в продажу обозначать, всегда в виду имея сохранение, а не истребление лесов наших. А где найдутся на землях наших выстроенные какие заведения, мельницы и тому подобное, или где таковые выстроить будет удобно, станем мы оные с мирского согласия в арендное содержание отдавать, выручаемые деньги миром распределять всем на прибыль, каждому в пособие.

3. Если ж у нас в каком селении земли было мало и промысла недостаточно, то вольны мы целою общиной или частью оной сообща выселиться на купленную или обмененную, или вновь, по твоему, государь, приказу, в малолюдных местах отведенную землю. Если бы переселялась, таким образом, целая община, то вольна она свою землю, с которой сходит, продать иной общине или же частному покупщику и деньги, продажею вырученные, миром распределить для пособия при переходе и устройстве на новых местах. Если же только часть людей сообща переселяется, то земля остается во владении остающейся общины, а она должна по возможности выселяющимся дать на выселок пособие, за то что она их надел за собою оставляет.

4. Если же кто один сам по себе или с семьей из общины выбыть хочет, находя себе иной промысел или иную жизнь сподручнее, то мир ему не мешает, лишь бы на нем не лежало ни мирских, ни государственных повинностей, а все бы они им были выполнены или выплачены. И волен он из общины выписаться, свою движимость взять с собой или продать; а надел его и усадебное место останутся в общинном владении безвозмездно.

5. В запасные магазины сколько нужно хлеба мы распределим на миру, и раздачу его в голодные годы, а также продажу лишнего или старого зерна для замещения новым, и употребление вырученных денег также определим миром. А особую запашку для запасных магазинов мы, государь, просим тебя отменить, потому что оная только уменьшает тягольный надел, а запасы выходят или недостаточные, или ненужные, и это больше отнимает у нас времени и земли, чем доставляет пользы.

6. Церковь приходскую содержать, поддерживать и подновлять мы станем миром и буде мир на то согласен, священника и причет церковный содержать станем от мира, с тем, чтобы все требы церковные справлялись без особой платы.

7. Если же между нами найдутся раскольники, отдельно или целым селением, то мы сами, строго соблюдая православие, им по ихней совести верить и по своему обряды исполнять не препятствуем, лишь бы житие их было мирно и честно, и повинности мирские и государственные были ими своевременно выполнялись [sic!].

8. Раскладку всяких повинностей и податей, сколько чего на какое тягло придется, мы станем делать на миру, по совести и с общего согласия.

9. Миром мы выберем себе старшину, который бы наблюдал, чтобы в селении все было спокойно, понуждал бы домохозяев к исправному содержанию дворов и домов, печей и труб, чтобы никакой по чьей небрежности не произошло беды, смотрел бы за выполнением всех мирских и государственных повинностей и за уплатой податей. В собранных же деньгах он должен ежегодно давать миру отчет. За лесными дачами должен он наблюдать, чтобы не было своевольных порубок или выдачи, или продажи лесу, миром неразрешенных. Разрешенные же миром выдачи леса должен производить он, а равно и продать участок на сруб с мирского разрешения его дело. Также выдачу или продажу хлеба из магазинов, с мирского разрешения, производит он и во всем оном дает миру ежегодный отчет.

10. Жалованье ему и деньги на содержание писаря и ведение книг назначается от мира, смотря по числу душ.

11. Также он должен смотреть, чтобы никто чужого надела не запахивал, и всякое воровство преследовать.

12. Заведения и участки в арендное содержание с разрешения мира должен отдавать он, плату принимать и в употреблении вырученных денег миру дать отчет.

13. Если же в общине более 300 душ, то мир, кроме старшины, выбирает сборщика, который обязан помогать старшине в сборе податей, хранить мирские деньги за своим ключом и печатью в правлении и своевременно взносить подать в казначейство.

14. Старшина, в случае несостоятельности какого-либо тягла, обязан созвать сход, на котором мир разложит между собой недоимку и решит, как и когда взыскать с незаплатившего подать в мир или простить неплательщику в уважение к бедности или несчастию.

15. Старшина может собрать мир, когда сочтет нужным, для предложения какого-нибудь хозяйственного дела, купли, продажи, найма или удобного способа выполнения земских повинностей, и в каждом случае по его разумению важном.

16. Старшина принимает предложения местного уездного или губернского управления и дает начальнику надлежащий отчет. В случае притеснения со стороны начальства приносит куда следует жалобу по установленному порядку.

17. Старшину выбирает одно село, если вся община состоит из

одного села, или несколько сел и деревень, согласившихся вместе составить один мир в пределах, назначенных для освобожденных от крепостного ига крестьян.

18. На тех же основаниях, как и освобожденные крепостные крестьяне, если несколько общин соединились в один общий мир, то и они на общем сходе определяют все, кроме земельного надела по тяглам, которым распоряжается мир каждой общины отдельно, если все общины не согласились соединить все свои земли в одну межу и считать себя в общем пользовании землею, несмотря на то, что поселены не в одном месте.

19. Известно, что земля остается в общем пользовании и принадлежит миру; но движимая собственность каждого домохозяина и каждого лица должна переходить в наследство по заведенному у нас обычаю, а не по своду законов.

20. Если из-за какого-нибудь имущества или иной причины произойдет ссора, то поссорившиеся могут выбрать себе одного или трех человек рассудить их между собой, и как тот или те, на кого они добровольно полагались, рассудят, так тому и быть.

21. Но если споры произойдут по наследству, то, смотря по желанию спорящих, их должен разобрать или мир, или добросовестные.

22. Добросовестных мир выбирает числом, сколько миру кажется нужным. Они разбирают споры по наследству, и когда старшина сзывает их для суда над виноватым человеком или неисполняющим мирских и земских повинностей, или попавшимся в воровстве или буйстве, или неповинователем законным приказаниям старшины, то они разбирают дело, и если найдут человека виновным, то присуждают его к штрафованию или наказанию работою или арестом, которых исполнение принадлежит старшине. Телесные же наказания розгами, побоями и плетьми мы, государь, просим тебя отменить, как наказания человеку обидные и богу противные.

22. [sic!] В важных случаях старшина сбирает на суд — мир и исполняет его решения.

23. Старшину и сборщика мир избирает на три года и может избрать или же не избрать их вновь; добросовестных же он избирает каждый год.

24. При важном проступке старшины или сборщика мир может позвать их перед мирской суд и, если не оправдаются, отрешить их от должности и до истечения трех лет выбрать других.

25. Рекрутская повинность разлагается миром по очереди.

26. Начальство же, поставленное над нами, от министерства государственных имуществ, мы, государь, просим тебя отменить; стоит оно тебе дорого, а нас оно грабит и, как ты крестьян освободил от помещиков, так и нас освободи от волостных голов, окружных палат, министерства и министра. Дай нам возможность дышать свободно и жить по-человечески. Мы управимся и сами. Подати в казначейство будем вносить правильно, чего мы с волостными головами и окружными не могли, потому что наши трудовые деньги шли им на разграбление, а не в уплату податей. Земские повинности станем исправлять правильно и законным предписаниям начальства повиноваться, рекрутство исправлять, преступников преследовать. Нам легче исполнять законные требования земской полиции, чем биться как рыбы об лед между барином, т. е. окружным, который нас грабит и сечет, с одной стороны, и становым приставом, который нас грабит и сечет, с другой стороны. Если же земские, уездные и губернские власти будут с нас что требовать незаконно, — повиноваться мы будем, но укажи нам, государь, куда нам на их незаконные требования жаловаться и где



АФИША ОРГАНИЗОВАННОГО ГЕРЦЕНОМ В ЛОНДОНЕ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО МАНИФЕСТУ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 г.

Собрание С. Бернацкой, Москва

получить правосудное удовлетворение? Этим, государь, ты спасешь нас от разорения и гибели.

27. Если ты дал крепостным более прав, чем нам, додай нам, чего недостает; если дашь нам более, чем им, додай им, чего у них недостает. Тогда, при одинаких правах для всех, мы соединились бы по нескольку деревень в один мир, без чересполосицы, не различая, какая община была государственная, какая помещичья. Везде русский народ был бы одинаково свободен и одинаково послушен тебе, и благословлял бы тебя, понимая, что на святой Руси едино стадо и един пастырь.

Печатается по черновику, записанному Огаревым в одной из его записных книжек, хранящихся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (записная книжка № 34).

В напечатанной выше статье «Нужды народные» Огарев, увлеченный планом организации кампании подачи адресов Александру II с требованием созыва Земского собора и других реформ, высказывает мысль о необходимости привлечь к участию в этой кампании не только оппозиционно настроенную интеллигенцию, но и крестьянство. Эта мысль, повидимому, настолько увлекла его, что он составил настоящий проект адреса царю от имени государственных крестьян с изложением их нужд и пожеланий. Этот проект был набросан Огаревым приблизительно в то же время, что и статья «Нужды народные», т. е. в 1862 г. или в начале следующего года.

V. СТАТЬЯ О РУССКОМ ДУХОВЕНСТВЕ

Публикация С. Переселенкова

C'est une tâche bien difficile de répondre aux questions de Mr. P[enisi] car ce qui est le plus confus, ce sont les données statistiques par rapport au clergé russe, ou plutôt elles manquent complètement. J'ai employé huit jours à trouver les quelques résultats qui suivent et on: Pinesi peut en disposer a son gré, seulement je le prie de ne pas mentionner mon nom en citant les choses.

N. Ogareff.

Le clergé russe se divise en clergé noir et blanc, c'est à dire en clergé composé de moines des couvents et en clergé composé de prêtres, diacres, sacristains etc. mariés et vivant en famille près de leurs paroisses.

Le clergé noir, c'est à dire les moines peuvent arriver au rang d'archimandrites, évêques, archevêques, métropolitains, enfin au rang du haut clergé ou rang des prélats, auxquels sont soumis les simples moines de couvent, le petit clergé blanc tel que: prêtres, oberprêtres, diacres, sacristains etc...

Chaque département a son evêque ou archevêque, accompagné d'un consistoire composé de quelques membres cléricaux et laïques désignés par l'Etat (l'administration départementale).

L'évêque ou archevêque secondé du consistoire, dirige les affaires du clergé du département (d'après la loi de 1863, Mai 24), le préfet est le membre d'un comité départemental spécial pour les secours à donner au clergé départemental dont la majeure partie se trouve dans la misère. Vous voyez donc que l'église est tout à fait sous la dépendance de la préfecture, c'est à dire de l'État, non seulement d'après la valeur des rangs, mais par la force des choses; le chef de l'église départementale tenant à son procureur du consistoire et celui-ci ne pouvant être admis à son poste sans le consentement de M^{r} le Préfet. L'ensemble de l'Église orthodoxe greco-russe est dirigé par le Saint Synode, résidant a St. Petersbourg et composé de membres ecclésiastiques et du procureur, tous dési-

gnés par l'Empereur, ce qui prouve encore une fois que l'Église orthodoxe greco-russe est complètement dépendante de l'État. Même les petits détails des décisions du St Synode ne peuvent passer sans la sanction de Sa Majesté l'Empereur lui-même. Encore un détail peut il passer, si ce n'est qu'une question théorique de religion; mais s'il s'agit du sort d'un individu de la race ecclésiastique, la sanction de l'Empereur est indispensable d'après la loi. Ici, je ne puis me dispenser d'une observation: Est-ce mieux pour le peuple russe que sa hiérarchie et son administration du clergé soient sous la dépendance de l'État, ou serait-ce mieux qu'elles soient sous la dépendance d'un patriarche (comme dans les temps anciens) ou sous la dépendance d'un pape (comme dans l'orthodoxie occidentale).

Pour ma part, j'aime mieux qu'elles soient sous la dépendance de l'État, car enfin si dans l'Europe occidentale deux géants l'Église et l'État se souffrent poliment, munis de pouvoirs indépendants, et si, au contraire chez nous, ces deux géants à bout de patience viennent à se heurter de front à la renverse — c'est alors que le peuple russe sera libre. Vous voyez d'après ce qui a été dit que le clergé noir, c'est à dire les moines, ont la prérogative sur le clergé blanc, c'est à dire le clergé des paroisses, où les prêtres, diacres, etc. ne peuvent être admis à l'office sans le consentement de l'évêque du département, comme aussi sans son consentement personne ne peut entrer dans la fraternité des moines. On pourrait croire pour un instant que l'Église greco-russe soit soumise à une administration quasi-papale, entièrement plénipotentiaire, mais il s'en faut de beaucoup. Personne même; d'après la loi, ne peut prendre l'ordre monacal, sans le permis de l'administration à laquelle il appartient.

Donc, pour qu'un homme se fasse moine, il faut que la commune lui en donne le permis, que les administrations départementales et gouvernementales lui en donnent le permis, dans les cas plus graves audessus du simple paysan, l'affaire doit monter à la décision du ministère de l'intérieur. Nous avons eu donc pleine raison de dire que l'Église en Russie est tout à fait sous la domination de l'État. La division de la Russie en diocèses n'est pas faite d'après les vues ou besoins de l'Église, mais d'après la division impériale de la Russie en départements (préfectures).

Ceux qui sont élevés au pouvoir de prélats, ne le sont donc aussi qu'avec l'agrément de l'État, de l'Empereur, du gouvernement, de l'administration, enfin de tous les pouvoirs séculiers. Cette loi se rapporte de même aux monastères de femmes, où les abbesses sont désignées par la volonté de l'Evêque, de concert avec le pouvoir séculier. Les positions font que plus l'évêque est un homme d'esprit, plus il est l'ennemi acharné du préfet.

Ce qui souffre entièrement sous la double dépendance des deux pouvoirs, c'est à dire du pouvoir des prélats et du pouvoir de l'administration départementale, c'est le clergé blanc des paroisses qui doit se nourrir aux frais du peuple, en lui demandant pour le rituel ordinaire, pain, lait, beurre, eau de vie et tout ce qui est possible à demander.

Encore il faut ajouter que la prêtraille craignant ses chefs, tant ecclésiastiques que laïques, est toujours disposée à faire l'espion de la police secrète de l'État. Aussi le peuple russe s'est-il formé l'idée que la rencontre d'un prêtre est un signe de malheur.

Ce dernier fait preuve que le peuple russe n'est pas du tout si religieux qu'on le suppose et qu'une révolution, qui doit être amenée par les circonstances, ne reculerait pas devant la destruction générale de la prêtraille, soit noire ou blanche, comme elle ne reculerait pas davantage devant la destruction générale des pouvoirs administratifs. Ceci n'est que la diagonale des deux opposés, car si l'État et l'Église ne se heurtent pas à la renverse — le peuple, c'est à dire le mouvement de la diagonale, qui tient des deux et d'aucun, le peuple devra les renverser l'un et l'autre.

Et quels que soient les préjugés religieux du paysan russe, ce n'est pas à ces préjugés qu'il tiendra, il tiendra à sa terre comme propriété communale, à sa liberté de transmigration, à son administration communale élective, tout celà choses qui datent depuis des siècles, et que rien na pu renverser, ni l'autocratie, ni l'aristocratie, ni la plutocratie, ni le fonctionnarisme, ni l'Église.

Le nombre de la prêtraille en Russie n'est pas déjà si grand, qu'il ne puisse s'effacer à l'heure voulue. D'après les dernières recherches, il consiste en 294.465 individus mâles et 326.589 femmes, total 621.054 individus. Cela fait environ neuf ecclésiastiques sur mille hommes de la population. Comme nous n'avons pas les données statistiques pour séparer le clergé blanc du clergé noir, nous n'avons pas le moyen d'en fixer le chiffre; mais la conclusion que nous pouvons en tirer sans faute, c'est que le clergé blanc, c'est à dire le clergé des paroisses, revient par rapport au nombre des paroissiens en une bien moindre proportion que neuf ecclésiastiques sur mille hommes de la population. Cette déduction approximative ne peut être que parfaitement juste.

Nous allons terminer notre revision du clergé russe par quelques considérations tirées de la législation même. Par exemple art. 259, complément du code 1863. Les moines n'ont pas le droit d'acquérir des biens immeubles (comme les individus qui se sont dédit du monde, art. 267). Art. 266. Il n'est pas défendu aux moines de placer leur argent dans les banques de l'État.

Si ces trois articles du Code qui coexistent, mais ne peuvent pas coïncider, vous font rire, tant mieux.

Quant à moi je ne cherche pas le tragique, je me contente depui longtemps d'en rire. Il est vraiment difficile de trouver quelque chose de plus ridicule (loi d'avril 1863).

Les ecclésiastiques blancs (c. à. d. des paroisses) peuvent acquérir des biens immeubles, où il y a une population de paysans, si ces ecclésiastiques proviennent de familles nobles ou portent une croix qui donne la noblesse.

Celà c'est un soufflet donné au clergé par le gouvernement, que le clergé ne voudra pas souffrir longtemps.

Dans ces derniers temps (26 mai 1869) le gouvernement a essayé de détruire le clergé comme caste. Un décret de l'Empereur donne le droit a tous les fils du clergé de prendre une autre carrière.

Mais, malgré celà, les académies cléricales (au nombre de quatre) et les séminaires continuent d'exister. Quant aux écoles primaires, le gouvernement s'efforce de les placer sous la surveillance du clergé comme la chose la plus utile pour conserver les préjugés.

Vous voyez qu'il ne manque pas de contradictions en Russie.

La prêtraille catholique occidentale dans les provinces polonaises se trouve aussi sous la domination du gouvernement. Nous ne pouvons rien dire contre. Tout ce que nous désirons, c'est que les deux géants se heurtent a la renverse.

Fin.

Перевод:

Очень трудная задача ответить на вопросы г. П[инези], так как статистические данные, относящиеся к русскому духовенству, слишком неясны или, вернее сказать, они совершенно отсутствуют. Я потратил восемь дней, чтобы прийти к кое-каким, следующим ниже, результатам, которыми г. Пинези может распоряжаться по своему усмотрению; только я прошу его, ссылаясь на факты, не называть моего имени.

Н. Огарев

Русское духовенство делится на белое и черное, т. е. духовенство, состоящее из монахов, проживающих в монастырях, и на духовенство, состоящее из священников, дьяков, пономарей и т. д. женатых и живущих со своими семьями при своих приходах.

Черное духовенство, т. е. монахи, может достигать сана архимандритов, епископов, архиепископов, митрополитов, словом — сана высшего духовенства, или духовных сановников, которым подчинены простые монахи и незначительное белое духовенство, как то: священники, протоиереи, дьяконы, пономари и т. д.

Каждый округ имеет своего епископа или архиепископа и консисторию, в состав которой входит несколько членов, духовных и светских, назначаемых государством (окружной администрацией).

Епископ или архиепископ, с помощью консистории, ведает делами окружного духовенства (по закону 1863 г. мая 24). Начальник округа состоит членом особого окружного комитета, оказывающего помощь окружному духовенству, бо́льшая часть зависит от светской администрации, т. е. от государства, и не только благодаря значению рангов, но и в силу обстоятельств; глава окружной церкви находится в зависимости от секретаря консистории, а последний не может быть допущен к своему посту без согласия г. начальника области.

Греческо-русская православная церковь в целом возглавляется святейшим синодом, находящимся в С.-Петербурге и состоящим из духовных членов и прокурора, назначаемых императором, что еще раз доказывает, что греческо-русская православная церковь полностью зависит от государства. Даже решения святейшего синода по незначительным делам не могут пройти без личной санкции его императорского величества. Решение по какому-нибудь мелкому вопросу еще может пройти, если обсуждается лишь вопрос теоретический, касающийся религии, но если идет речь о судьбе какого-нибудь лица духовного звания, санкция императора по закону необходима.

Здесь я не могу воздержаться от одного замечания: лучше ли для русского народа, что иерархия и администрация духовенства находится в зависимости от государства или им было бы лучше зависеть от патриарха (как в прежние времена) или от папы (как в западном католичестве)?

С своей стороны, я предпочитаю, чтобы они находились в зависимости от государства, так как если в Западной Европе два исполина — церковь и государство, обладая независимой властью, вежливо терпят друг друга, то у нас, наоборот, эти два исполина совершенно выйдут из терпения и свалят друг друга — тогда русский народ станет свободным.

Теперь вы видите, что черное духовенство, т. е. монахи, имеет преимущество



КАРИКАТУРА НА «ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ» ИЗ ЖУРНАЛА «PUNCH»

«Я посылаю «Пунш» с необычайно красивой картиной русской тройки. Мне даже жаль с ней расстаться, но у вас коллекция»,— писал Герцен старшим дочерям 21 апреля 1867 г.

над белым духовенством, т. е. духовенством приходов, в которых священники, дьяконы и т. д. не могут быть допущены к богослужению без согласия окружного епископа, так же, как без его согласия никто не может вступить в братство монахов. На первый взгляд может показаться, что греческо-русская церковь подчинена чуть ли не папской власти, совершенно полномочной, но на деле далеко не так. Даже вступить в братство монахов, по закону, никто не имеет права без согласия той администрации, от которой он зависит.

Значит, чтобы человек пошел в монахи, надо, чтобы община дала бы ему на то разрешение, чтобы окружная и общегосударственная администрация также дали бы ему свое разрешение; а в более важных случаях, когда вопрос касается лиц, в сословном отношении стоящих выше простого крестьянина, дело должно доходить до разрешения министра внутренних дел.

Итак, мы имеем право сказать, что в России церковь всецело находится под властью государства.

Деление России на епархии не вытекает из желаний или требований церкви, а из императорского деления России на округа (области).

Те, которые возвышаются до власти духовных сановников, делаются таковыми только с согласия государства, императора, правительства, администрации, словом — всех светских властей. Этот закон относится также и к женским монастырям, где игуменьи назначаются епископом в согласии со светскою властью. Положение таково, что чем умнее епископ, тем он является более озлобленным врагом начальника края. Кто больше всего страдает под двойным игом двух властей, т. е. власти архиереев и власти окружной администрации, так это приходское духовенство, которое кормится на средства народа, требуя от него за обычное богослужение хлеб, молоко, масло, водку и все, что только возможно требовать.

Надо еще прибавить, что поповщина, которая боится своего начальства, как духовного, так и светского, всегда готова стать шпионом государственной тайной полиции. Отсюда убеждение русского народа, что встреча со священником предвещает несчастье.

Этот последний факт доказывает, что русский народ вовсе не такой религиозный, как о нем думают, и что революция, которая должна быть вызвана естественным ходом вещей, не остановится перед полной ликвидацией поповщины, белой и черной, так же, как она не остановится перед полной ликвидацией административных властей.

Это лишь сила, по величине равная равнодействующей двух сил — церкви и государства, но противоположного ей направления, ибо если церковь и государство не свалят друг друга, то народ — эта равнодействующая, которая зависит от обоих, но не совпадет ни с одной из них, должен будет опрокинуть того и другого.

И какие бы ни были религиозные предрассудки русского крестьянина, он не будет за них держаться; он будет держаться за свою землю, как за мирскую собственность, за свою свободу переселения, за свою общинную выборную администрацию, за все то, что насчитывает за собой столетия и чего ничто не могло опрокинуть, ни самодержавие, ни аристократия, ни плутократия, ни бюрократия, ни церковь.

Число поповщины в России не так велико, чтобы оно не могло быть уничтожено в нужное время.

По последним данным оно выражалось в 294 465 мужчин и 326 589 женщин, т. е. в общем в 621 054 человека, что составляет приблизительно девять духовных лиц на 1000 человек населения. Так как у нас нет статистических данных, чтобы отделить белое духовенство от черного, мы не имеем возможности определить число того и другого; но мы безошибочно имеем возможность прийти к заключению, что белое духовенство, т. е. приходское духовенство, по отношению к числу прихожан выражается в гораздо меньшей пропорции, чем девять духовных лиц на 1000 человек населения. Этот приблизительный вывод совершенно правилен.

Мы закончим наши рассуждения о положении русского духовенства несколькими соображениями, заимствованными из самого законодательства.

Например: Ст[атья] 259, дополнение к кодексу 1863 г. Монахи не имеют права приобретать недвижимую собственность (как люди, отрекшиеся от света, ст[атья] 267). Ст[атья] 266. Монахам не запрещается вкладывать свои деньги в государственные банки.

Если эти три статьи кодекса, которые единовременно существуют, но не могут совпадать, вас рассмешат, тем лучше!

Что же касается меня, который не гонится за трагическим, то я уже давно довольствуюсь тем, что над ними смеюсь. Действительно, трудно найти что-либо более глупое.

Апрельский закон 1863 г. Лица, принадлежащие к белому, т. е. приходскому духовенству, могут приобретать недвижимую собственность там, где имеется крестьянское население, если эти духовные лица дворянского происхождения или если у них есть орден, дающий право на дворянство.

Это не что иное, как пощечина правительства духовенству, которую последнее не станет долго терпеть.

В последнее время (25 мая 1869 г.) правительство сделало попытку уничтожить духовенство как касту. Императорский указ дает право всем сыновьям духовенства избирать себе и недуховную карьеру. Однако, несмотря на это, духовные академии (числом их четыре) и семинарии продолжают существовать. Что же касается начальных школ, то правительство старается поставить их под наблюдение духовенства: наиболее годное средство для сохранения предрассудков. Вы видите, что нет недостатка в противоречиях в России.

Западная католическая поповщина в польских провинциях находится также под властью правительства. Мы ничего не можем сказать против. У нас только одно пожелание — чтобы эти два исполина свалили друг друга.

Конец.

Записка эта подвергалась корректуре со стороны Бакунина, как это видно из следующего письма Огарева к последнему:

«Милый Бакунин, еще раз тревожу тебя моим отчетом Пинези[1]. Он был для меня важен, п[отому] ч[то], вероятно, перейдет на фр[анцузский] язык. Он еще не окончен, не достает статистических цыфр. Но прочти, что есть, и исправь французский слог сейчас же. Я думаю, что статья будет небезинтересна. Тебе это всего полчаса и тотчас пришли мне обратно, ибо мне ждать некогда»[2].

Мы публикуем ее с автографа — беловой, написанной без поправок. Составлена она, по всей вероятности, летом 1869 г. По крайней мере в письме Герцена к Огареву от 30 июня этого года имеются такие строки: «Не забудь послать Саше ответ для Penisi, сделай его не пространным»[3].

Первая встреча Герцена с Пенизи произошла во Флоренции. Вот что он по этому поводу писал Н. А. Огаревой от 2 февраля 1867 г.: «Я здесь познакомился с одним молодым человеком из Сицилии; он очень богат и граф или что-то такое. У него, когда ему было 4 года, была скарлатина, бросилась в глаза, и он совершенно ослеп и слепой жил в деревне у своего дяди; ему лет 25. Слушай же: он компонист, играет превосходно на фортепиано и поэт. Говорит, сверх своего языка, совсем свободно по-французски, по-немецки и по-английски, пишет (т. е. диктует) стихи и статьи, знает все на свете: естественные науки, историю и пр. Я еще такого чуда не видывал»[4].

Вскоре Пенизи стал близким человеком в семье Герценов, а два года спустя разыгралась тяжелая драма, которая обнаружила полнейшую моральную несостоятельность его и завершилась временным психическим заболеванием старшей дочери Герцена — Наталии Александровны.

Сам Огарев, повидимому, лично не был знаком с Пенизи и записку составил по просьбе Герцена. Как всегда в аналогичных случаях, Огарев и на этот раз с большим вниманием и тщательностью отнесся к делу. Вопросы о положении русского духовенства привлекали его внимание еще в 1862 г., когда он напечатал в «Общем Вече» (№ 5, от 22 октября) статью «Что делать духовенству». Статья эта и легла в основание записки. Тем не менее Огарев, по собственному его признанию, потратил восемь дней для того, чтобы пополнить ее новыми фактическими данными, почерпнутыми из первоисточников, и соответствующими им выводами.

Главнейшим отличием статьи 1862 г. от настоящей записки является то, что в первой, по тактическим ли соображениям или в силу каких-либо других причин, нет отрицательного отношения к духовенству как таковому. Наоборот, ему предлагается «принять живое участие в общем деле — со всеми другими сословиями просить царя о созвании Земского Собора, потому что Земский Собор один может рассудить и решить, как устроиться русскому народу и как устроить самое духовенство, чтоб оно могло жить по-человечески, не унижаемое людьми власть имущими, не теснимое черноризною корыстью, не презираемое народом, не разжалованное из пастырей в чиновники, имея возможность честной и чистой жизни, приют на старости лет и средства достойно воспитывать своих сыновей и дочерей».

Выяснить, использовал ли Пенизи записку Огарева, нам не удалось.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Так ошибочно называл Огарев Пенизи.
2 Герцен, т. XXI, стр. 518.
3 Там же, стр. 402.
4 Там же, т. XIX, стр. 204.

VI. О «ПИСЬМАХ К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ» ГЕРЦЕНА

Публикация Я. Эльсберга

[Зачеркнутая страница]

...случаев (не лишенного своего особенного объяснения) — тут нечего заподозревать друг друга (на манер преимущественно русских, но также и иных писателей) в преднамеренности, в фальши, в предательстве и т. д. — Я не приступлю здесь ни к какому развитию этого вступления, потому что, по моему предположению, эта записка должна быть чрезвычайно коротка — и приступаю прямо к делу.

I

Прежде всего обращусь к тебе, Герцен, как моему не только первому, но единственному другу и к твоей статье «Между старичками», которой ты меня попрекаешь, что я ее нашел замечательной, а в сущности, с ней несогласен. Я и теперь, по прошествии времени, достаточно для того, чтобы человек мог одуматься, я и теперь нахожу ее замечательной, но это нисколько не обязывает меня соглашаться с тобой или с Бак[унины]м. Мало ли что на свете замечательного, что останется вне того направления, которое вырабатывается в моем мозгу. Поэтому позволь мне, оставляя в стороне всех литературных мулов, обратиться именно к тем пунктам в твоей статье, которых я не могу принять за непогрешительность, т. е. за истину. Ты говоришь:

[зачеркнутое закончено]

«Экономические промахи не то, что промахи политические — они ведут прямо к разорению, к застою, т. е. к голодной смерти. Серое время наше — именно время изучения и поверки; оно совершенно естественно предшествует работе осуществления — как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием и отвагой, шли зря или на авось — куда дошли ты знаешь. Мы видели своими глазами грозный пример кровавого восстания, бессмысленно сошедшего на площадь, в минуту отчаяния и гнева — и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени. Такого восстания больше не будет, и если новые люди снова будут итти с боем против препятствий, они идут, зная, куда идут, зная, что ломают и что сеют».

Что ты называешь экономическими и что политическими промахами — я этого в смысл не могу взять. Когда это политические промахи не вели к экономическому разоренью? Такого примера ты в целой истории не отыщешь — возьми какое время хочешь: наполеоновские ли неудавшиеся войны, глупая ли оппозиция Англии против освобождения Северной Америки, избрание ли диктатора в Риме, междоусобия ли славянских князей и пр., и пр. — все вело к остановке экономического развития и к экономическому разорению, — разница промахов может быть только квантитативна, т. е. разорение было побольше или поменьше, смотря по общественному значению политического промаха. Где же, наконец, эта граница между политическими и экономическими промахами? Община пренебрегла запасами для посева — следствие: голод; тут промах экономический. Община пренебрегла выборами своих старост и десятских, —

все работы стали от дурного заведывания, дурного распределения труда и материала — опять голод; тут промах политический. Как же в вопросе экономического построения общества, который включает в себе все интересы хозяйственные и все отношения общественной жизни, как же тут разграничить экономическую и политическую задачу, которые неизбежно одна в другую переливаются и которых разделение немыслимо?

Нельзя же для разрешения реальной общественной задачи брать основание, которое только вертится на неопределенных словах.

Наконец, чтоб окончить эту маленькую (но, в сущности, очень великую) тему — что такое теперь политическое построение? Это сословное построение, т. е. совершенный экономический промах. Что такое теперь экономическое построение? Это — идеал будущего, это народное, бессословное построение. Где же ты тут найдешь реальную, т. е. разумную границу между этими двумя задачами? Они нераздельны. Только для постановки экономического дела надо, чтоб это политическое построение сошло с места и оставило жизнь вырабатывать политическое построение новое, экономическому делу сообразное. Ты же становишься на точку зрения С[ен]-Симона, Овена, Фурье, которые требуют теории и потом ее осуществления, наподобие тому, как теория паров предшествовала железным дорогам.

Ты забываешь, что теории паров предшествует их существование, точно так же как действительному общественному экономическому отношению, т. е. политическому экономическому отношению должна предшествовать возможность существования экономического отношения. Заметь, что пары и общественное отношение — дело немножко специально различное. Поэтому, когда факт не существует, т. е. экономическое построение общества, то извлекать из него теорию и прилагать ее к новому политическому построению общества нельзя. Требуется, прежде всего, разрушение существующего политического построения: иначе экономическое основание политического (т. е. общественного) построения не может иметь места. Заметь также, что то, что мы страшно неопределенно привыкли называть социальным и преклоняться перед названием, — оно-то и есть политическое построение на экономическом основании. Заключение ясно: прежде разрушения старого политического построения, основанного на сословности (т. е. на экономическом промахе*, — как ты очень хорошо выразился, новое политическое построение на экономическом основании — невозможно.

Какой будет ход Истории — этого я не знаю, да едва ли кто и знает больше моего. Будет ли это постепенность, которая приведет к политической организации на экономическом основании через 5000 лет, или революции за революцией, которые обработают это дело лет в 200 — этого мы ничего не знаем. Я знаю одно, что со стороны оной постепенности я стать не могу, потому эта постепенность могла бы быть в самом деле чем-нибудь, если бы она явилась в форме математического (арифметического) расчета, в форме вычисления ежегодного приращения некоторых развитий — положим даже, порядком геометрической прогрессии, — которое должно дать через столько-то лет такой-то результат. Но мы по такой методе еще не умеем рассматривать даже историю прошедшего, и уже истории будущего и коснуться не можем. Поэтому вся точка зрения постепенности приводит нас только к абсурду. Да, я и не знаю, Герцен, когда ты был ее сторонник?

---

* Рукою Герцена: «Нет, сословность не промах, а возраст. Первые зубы — не промах, а выпасть должны».

Во всей истории прошедшего (есть постепенность или нет ее — все равно) революция оказывается постоянным явлением, так что можно на целую историю взглянуть как на ряд неудавшихся революций. Следственно, заключение одно, что это явление имеет свою causa sufficiens в жизни. И действительно, мы видим, что обычно революция выражает собою не то, чтобы люди знали, куда они идут; это так же невозможно, как какое бы то ни было предсказание: но люди положительно знают, откуда уходят, и сознают, что обстоятельства сложились так, что уход становится необходимостью. Этот-то уход от прежнего, от существующего в иное отношение и есть революция; укорять ее тем, что она не удалась, нельзя; тут слишком много факторов по плюсу и по минусу, чтобы сразу верно поставить формулу. Между тем, ждать осуществления теории, ничего не делая и ничем не рискуя, тем больше нельзя, что самая теория, если она не осуждена остаться в форме фантазии, может только явиться, когда уход совершился, когда революция совершилась, и обстоятельства требуют постановки новых отношений между людьми, на новом основании, но на этот раз возможных уже не в форме фантазии, а в форме результата совершившихся обстоятельств.

Я думаю, далее теперь распространяться нечего. Мы расходимся немного, Герцен: вся разница, что ты требуешь выжидания осуществления идеала; а я требую результата совершившихся движений.

2

Теперь обращусь к тебе, Бакунин, чувствуя, что расхожусь с тобою совершенно противоположным образом.

Ты в «Постановке революционного вопроса» хочешь навязать народу движения, которых нет, движения, которые являются, как* частные уходы от бед и преследований, и от этого и в прежней России не удались, что не могли никогда дойти до ношения в себе общего дела, общего вопроса, общей переделки. Также не могут удасться и в современной России. Удасться могут только движения, которые пойдут не в лес, а на сельские площади, которые будут знать чего требуют, которые, даже если пострадают, то зная за что. Времена кочевья, разбоя и т. д. проходят. Если в России требуются переселения, то они не выражают ни кочевья, ни разбоя; они требуют осуществления новой народной свободы и нового экономического построения. Кочевье осталось в Азии, как форма степной жизни; разбой остался в России, как частный случай. Чего же ты хочешь от подобных форм? Они вне народных требований.

Ты говоришь: «Мы, разумеется, стоим за народ». Кто это мы? Прежде всего надо, чтобы народ нас признал за своих.

Народ не требует разбоя. Это неправда. Правда тут только, что народ покровительствует преследовавшимся**. Народ требует права переселений, которое действительный результат его экономических понятий, и большее их расширение. Право переселения постановляет не частную поземельную собственность и продажу земель (что до сих пор утверждало правительство), но постановляет общественную поземельную собственность и меновую единицу поземельного владения. (На сию минуту эту тему развивать некогда; через неделю или две подготовлю. Были бы силы, я охотно пошел бы с мужиками на переселение куда бы то ни было; но не на основании братства, которое мне

---

* Два последние слова вписаны карандашом рукою Герцена.

** Фраза вписана карандашом рукою Герцена, последнее слово неясно.

уже надоело своею неосуществимостью в христианском мире; а на основании переустройства поземельного владения, которое гнездится в русском понятии, потому что так земля сложилась.

На чем же мы сойдемся, мои старички? Если уже ни на чем нельзя, то на том, чтоб оставить каждого делать по-своему без всякой вражды и притязания. Кто прав — покажет неотдаленная будущность.

МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ

(Второй ответ старому другу)
Allez en avant et la foi vous viendra.
D'Alambert (cité par Cournot dans
«L'origine et les limites de la correspondance
entre l'algèbre et la géometrie»)

Без сомнения, твой эпиграф из Бентама совершенно верен: «Одни мотивы, как бы они ни были достаточны, не могут быть действительны без достаточных средств». Следственно, весь вопрос в том, каким образом приобретаются средства?

Далее ты говоришь, что «экономически социальный вопрос становится теперь иначе, чем он был двадцать лет тому назад. Он пережил свой религиозный и идеальный возраст — так же как возраст натянутых опытов и экспериментаций в малом виде...».

Эти два положения совершенно нераздельны. Именно, когда идеальный возраст прошел, именно тут-то и требуется приобретение средств к практическому созданию экономически-общинного (социального) положения, которое не то чтобы было следствием одних мотивов, одной предначертанной теории, а напротив того — само ставило бы мотивы, которых произведением, которых результатом была бы новая общественность.

«Следует ли толчками возмущать творческую тишину внутренней работы, инкубации, беспрерывной, неуловимой?»

Я не вижу в историческом ходе рода людского этой беспрерывной, неуловимой инкубации. История шла гораздо больше борьбой и прыжками, чем творческой тишиной внутренней работы.

Контовское деление на эпоху теологическую, эпоху метафизическую и эпоху позитивную (положительного знания или понимания) может нам очень нравиться, но если ты на историю взглянешь совсем позитивно — где ты найдешь по части сознания «от начала века» что-нибудь кроме перемешанных теологий и метафизик рядом с общественностями, едва с ними связанными — то пережившими старую мысль, то недожившими до новой. Позитивное знание только теперь начинается и должно вести к своей особой, так сказать, небывалой методе, которая и теперь еще не ясно установилась.

Где ты найдешь хотя в древнем мире что-нибудь, кроме перемешанных теологий и метафизик? Гомеровские боги, существующие рядом с развитием — аристотелевская метафизика! Римское право ты, конечно, не примешь за положительную философию. Оно представляет самую сложную и сухую метафизику.

Возьми эпоху пообширнее, т. е. древний мир и христианский мир. Что же вносит после аристотелевской метафизики и метафизики римского права — христианство? Новую теологию — и только. До чего же это доработалось человечество в несметном количестве веков? Maximum — до немецкой метафизики и, наконец, до метафизики Конта, которая только приводит к тому, что основы положительной науки находятся в опыте и изучении природы. Это один из ее действитель-

ных результатов. Но самые основы этой положительной науки едва-едва постановлены, едва начинают быть возможными, потому что опытному изучению еще далеко до ясности. Решительно положительная постановка вопросов едва начинается, а в прошедшей истории есть везде только ее зародыши, специальные попытки, за которые общество казнило специальных тружеников (и то я говорю только о математиках и естествологах, т. е. о людях, которые невольно гнут к атеизму в противоположность богословию — сюда я причисляю и астрономов, начиная с Коперника — а вовсе не говорю о политиках, которые всегда танцовали между некоторыми убеждениями и невольно добирались до идеала Маккиавелли и Талейрана — из которых ничего нельзя вывести; это люди, отделяющие понятие от дела, мысль от поступка, общественную цель от современного положения — до такой параллельности, что, оставайся сила в их руках, — положение данного времени никогда не могло бы измениться и приблизиться к новой цели).

Но общественность не могла не иметь целей, и положение данного времени не могло не изменяться. Каким же образом вырывалась сила из рук этих людей, которые не хуже других понимали общественные цели, но удерживали положение данного времени? Вызывалась ли она, достигнувшим до возможного предела развитием сознания (или, проще сказать, знания или понимания) или противуставящейся иной силой, которая, если брала верх, то ставила новые общественные отношения и складывалась в новую общественность? Будь то Петр или Конвент, а все же не тишина внутренней творческой работы.

Я не вижу в истории ни одного примера такого развития понимания, которому властвующее меньшинство уступало бы добровольно. Подвинулись ли мы в 1869 г. настолько, чтобы развитие народного понимания могло итти, как координата с народным терпением? Или прежде должно лопнуть народное терпение (не дошедши еще до совершенного понимания нового общественного склада), но приобретая силу в борьбе — чтобы поставить обстоятельства народного склада в новые отношения, или уже «de facto» создать из них новое общественное устройство?

Избежна эта метода исторического развития, которую ты можешь проследить от начала века, или еще неизбежна? That is the question.

В конечных целях мы расходиться не можем, как ты сам это сказал. А конечная цель развития человеческой общественности — это именно прийти к тому положению, к тем отношениям, где движение развития могло бы совершаться так, чтобы сознание, и вследствие оного изменение в отношениях, могли бы итти как координаты. Дошли ли мы в 1869 г. до такого развития? Нет! Следственно, мой «That is the question» остается в полной силе.

Я думаю, что ответ, который я теперь предложу, не будет иллогичен. Какие бы ни были вспышки, каждая вспышка станет новым запросом на пересоздание общественности, который без этой вспышки, хотя бы вспышка и рухнула, не проснулся бы. Может надо для достижения результата — число вспышек, которого мы определить не в состоянии; но помешать им мы не можем, так как не можем помешать необходимости, опытом нами изученной в историческом ходе судеб. Что же нам остается делать? Помогать им по мере сил.

Это мы обычно и делали. В юности лет именно потому, что die zerstörende [?] Lust ist ein schaffende Lust; в старости лет — потому, что мы исторических пружин стереть не в состоянии; мы не в состоянии своротить ход исторического развития исключительно на научное развитие, которое одно и может выражать ту тишину творческой работы, о которой ты говорил. Если человечество когда-нибудь может

достигнуть этого предела своего развития, где знание и общественность получат движение координат, то его спокойная творческая работа только начнется с оной минуты, но теперь оно его еще не достигло. Сила знания и сила выжидания остаются раздельны. Наука не составляет такой повсеместности, чтобы движение общественности мог-



ГЕРЦЕН

Офорт В. Панова, 1868 г.

Литературный музей. Москва

ло совершаться исключительно на ее основании; наука не достигла той полноты содержания и определенности, чтобы каждый человек невольно в нее уверовал. Между тем сила ожидания исчезает в общественном страдании и общественное движение становится необходимостью. Что же делать?

Естественный путь: общественные движения, общественные перевороты, на некоторый процент изменяющие общественные отношения, и даже если переворот не удается, все же он изменяет отношения настолько, что самую науку общественности ставит на новую почву и дело подвигается. — Вы меня спросите куда? Да во-первых, все к той

же общей цели: достижения предела развития, где знание и общественность могли бы стать в отношение координат и где становится возможна спокойная внутренняя работа человеческого движения. «Allez en avant et la foi vous viendra».

К сожалению, все перевороты в роде человеческом были и могут быть только местные; общий переворот в роде человеческом немыслим; общий переворот может только обозначать сумму местных переворотов. В этом факте своя огромная доля неудачей [sic]. Но вместе с тем, в этом факте заключается условие, вследствие которого местный удачный переворот может в данное время выработать только свою местную новую общественность. Поэтому социализм теоретичный, социализм всеобъединяющий, будь он Фурье или Гракха Бабефа — неприложим. Реальная почва только и может быть выдвинута посредством реального движения, покамест общая цель, о которой я говорил, не достигнута. Реальное движение может быть только местное, и в случае удачи социализм, созданный на новых реальных отношениях, на новой реальной почве, может быть только своеобразный, а нисколько не единый. Дело науки будет принять сумму и сопостановку различных общин, построившихся на различных реальных почвах, под свое ведение.

Мне кажется, что из этого достаточно ясно следует, что никакая предвзятая социология не построит никаких местных общин и никакой социальной общественности.

Я заключу на этот раз тем, что я нисколько не думаю, чтобы какая-нибудь предвзятая социология могла построить общины — будь-то в России, где их корень в крестьянстве, будь-то на Западе, где их корень в городских кооперациях. Реформа постепенная остается неудачною — или потому, что она восходит из предвзятых социологий, или потому, что она неискренна и ведет не к цели народных желаний, а к целям правительственного меньшинства. Это сказалось при всех русских реформах (о чем я писал, начиная с разбора манифеста об освобождении крестьян), — да и в других странах оказывалось подобное. Таким образом, неудача постепенных реформ — вызывает революцию, как неизбежность. Революция, смотря по обстоятельствам, действует или путем сделки, или путем террора. Возможны ли в современных движениях пути сделки или нет — это уже доказывают гревы; но во всяком случае террор является не побуждением мести, а невольным делом перестройки.

Тут я также не могу не прибавить, что во всяком случае, в русском деле и в западном, революция нето что уничтожит всякое право собственности (даже на штаны) и нето что уничтожит всякое право на наследство (хотя бы, штанов) — а поставит по-своему отношение личности к коллективности, из которой постановки определятся, количественно и качественно, иначе права передачи вещей одним лицом другому. Предначертать этого при современном постоянно задерживающем строе невозможно. Поэтому постепенная реформа является de facto постоянным вызовом на революцию.

ТРЕТЬЯ СТАТЬЯ

(1). Вместо продолжения контроверзы с студентами делаю самые искренние подстрочные примечания к твоему 3-му письму.

Нет! Я не понимаю, что называется политическим и что социальным элементом, потому что я получаю ненависть к слову: социальный, социализм и пр. — Спроси себя и отвечай себе искренно: ты сам-то понимаешь, что такое значит «социальный элемент»? — Может быть,

это слово очень хорошо для того, чтобы создать новую религию, но для того, чтобы понять в чем дело — оно невозможно. Если я его употреблял или употребляю по привычке, — я каюсь в этом и прошу прощения. Это слово именно приводит к неопределенности личности и ее отношения к коллективности. Я скорее, т. е. яснее, понимаю слово община, и потому яснее понимаю переворот русский, чем европейский, а потому остаюсь исключительно преданным русскому вопросу. Поэтому также я не могу согласиться с тобой о ненужности революции и не могу согласиться с юношами об исключительности революции. Я вижу, что без революции общинный элемент поддержать нельзя и он будет мало-помалу раздавлен; а забывая при революции, что община тот элемент, которому следует сохраниться и достигнуть своего разумного преобразования, — можно испортить дело революции. Следственно, равно нельзя сказать, чтоб можно было обойтись без революции — посредством никак еще неопределимого развития, как, с другой стороны, нельзя сказать, чтоб революция могла обойтись без сохранения какого бы то ни было уже существующего в жизни элемента. Ты видишь, что я не могу не спорить на обе стороны. Для меня революция представляет средство уничтожения сословных элементов, которые мешают развитию именно того общинного элемента, которого сохранение составляет для революции цель; и чем скорее может сложиться революция, тем лучше, тем прочнее этот общинный элемент может войти в свои права и приступить к своему развитию. Почему я говорю — прочнее, да именно потому, что иначе он будет задавлен влиянием и силой высших сословий и правительства, которое прикидывается, будто его поддерживает, а на самом деле везде старается его разрушить; в доказательство приведу, хотя бы, один последний указ о казачестве (кроме множества других распоряжений, которые, пожалуй, соберу).

(2). Также еще раз я не могу согласиться с сравнением зоологического и исторического развития. Что каждое есть Naturproduct — об этом, конечно, я спорить не стану, но в каждом из обоих Naturproduct'ов — свои приемы, свои особенности, своя метода. Зоология строит свои ряды из окончательности форм отдельных организмов (муравей, жук, лягушка, обезьяна, человек), между тем, как человеческая общественность (т. е. историческое развитие) меняет свои формы безокончательно, без постоянства и ограничения общественных форм *.

Я никогда не говорил, чтоб современный государственный быт был только политическим, без экономических оснований; я, напротив того, говорил, что резких пределов между политическими и экономическими основаниями нет и что оба вопроса всегда присущи человеческой общественности. Но если современный государственный быт представляет политические и экономические формы до того устаревшие, что они к дальнейшему общественному построению неприложимы, что же с этим делать? Это факт, который, пожалуй, назовем историческим Naturproduct'ом.

Этот Naturproduct произведен целой цепью обстоятельств, толчков и насилий, сложившихся в сословности, которые теперь держаться не могут ни в своих политических, ни в своих экономических формах, и если держатся, то только посредством продолжения насилий.

Что же ты им противупоставишь? Обстоятельства ли, которые мы

* Ведь если Саша прав и обезьяна переродилась в человека, тем не менее обезьяна в природе не умерла, а исторические общественные формы, отживши, вымирают. Римская республика исчезла в итальянском феодализме. Итальянские республики никогда не имели того же построения, а республиканский Рим больше не существует. Разница между общественностью и зоологией — огромна.

определить не можем? Науку ли, которая нам неясна? Или толчки, которые точно так же будут историческим Naturproduct'ом? Рассуди сам.

(3). Я, действительно, говорил (и продолжаю поддерживать), что математических рядов исторического развития мы не знаем (да мы не знаем и математических рядов геологического и зоологического развития, мы знаем только математические ряды абстрактные). И именно поэтому, что мы не знаем их, мы не вправе мешать ни постепенным, ни толчковым (революционным) рядам исторического развития. Заметь, что ведь никто из нас и не мешает постепенному ряду развития, и если б он был осмыслен, сознателен для своих деятелей, прозрачен, — то толчковые (революционные) ряды неизбежны, и нам остается не останавливать их, а содействовать им.

(4). Насчет приложения «пугачевского террора» к западной или к восточной цивилизации, ты сам упоминаешь, что я говорил о его бесплодности, но я, если ты хорошенько вспомнишь, говорил о его бесплодности не вследствие его уважения к массам, а именно потому, что такой террор (будь он в России или в Европе в форме наполеоновского) ставит влияние личности выше всякого уважения к массам и берет себе в основание не вопрос народного общественного строя, а само влияние личности, эксплуатирующей в свою пользу народные бессознательности и традиционные предрассудки: наш Пугачев действовал во имя царизма, а Наполеон во имя французского национализма. Но возьми историю наших декабристов (и это я тебе скажу с книгой в руках, в которой ты так горячо их отстаиваешь). Наши декабристы решились действовать на основании такого же террора, но уже не во имя влияния личностей, но во имя нового народного общественного строя. Положим, что их ошибка в том, что их понимание нового общественного строя (или лучше сказать понимание этого строя им современным миром) не имело существенного основания в том общинном элементе народной жизни, который революция обязана сохранить для развития будущего; но их ошибка нисколько не состояла в пропаганде путей террора. Не заяви они во всех своих соображениях и поступках искания новой общественности, искания, которое должно было осуществляться путем террора (при чем все же исчезало уважение перед влиянием личности и возникало уважение — зачем же говорить: идолопоклонство? — перед массами), не заяви они этого, — может мы до сих пор не пришли бы к пониманию, что в России есть элемент общинной народной общественности, который революция обязана сохранить для развития будущего.

Террор, предполагавшийся декабристами, был беспощаден; пути его, сообразно с духом времени, были пути исключительно военные, Почему же тебе их пути не казались страшными? А как скоро эти пути переходили в террор крестьянский и работничий — они тебе кажутся страшными, несмотря на то, что они вводят в жизнь элемент общинной народной общественности, т. е. тот элемент, который революция обязана сохранить для развития будущего и который следственно ставит революцию на реальную почву.

(5). Может быть, я где-нибудь неясно высказался. В сущности, я думал и хотел сказать следующее: мы можем рассчитывать (даже не приблизительно) пути революции, но знать их не можем. Легко может случиться, что слагающийся террор не достигнет своей цели и перейдет в промежуточные формы общественного устройства; также легко может случиться, что слагающиеся промежуточные формы — именно по своей слабости — приведут прямо к террору. Ничего этого останавливать мы не только не вправе, но не в состоянии. А помогать можем и тому и другому, потому что и то и другое составляют воз-

можности. Объяснюсь примером: правительство вводит новые судебные учреждения; мы этому мешать не вправе; но мы узнаем, что новые учреждения довольно призрачны и, возбудив ожидание и не давая удовлетворения, всего больше способны вызвать террор, чем что другое; как же мы будем останавливать террор? Если Тьер только через 40 лет догадался, что экономический террор неизбежен, то зачем же нам непременно откладывать в себе понимание этого на неопределенное время? А прожить-то придется недолго; зачем же именно умереть в непонимании того, что готовится?

(6). Насколько террор может или не может иметь успех — для этого расчета у меня опять нет данных. Быть может террор должен будет повторяться *n* раз и удастся только в *n*-ный раз; но вызван он всегда будет неудачею постепенных реформ, которые уже должны быть неудачны по своей неосмысленности и по своей неискренности.

(7). Ты все пугаешься перед словом разбой или грабеж (и даже коммунизм). Но я уже давно говорю, что разбой или грабеж, который обыкновенно всегда является временно, при всякой вспышке (даже 14 дек[абря] предлагалось разбить кабаки, а южное общество шло еще решительнее), — я давно говорю, что разбой может быть и не быть, может явиться как частный случай восстания — ради его спасения — но главное дело в неизбежном восстании, которое и должно стать началом. Сколько бы вызовы ни были ошибочны, сколько бы они ни хватали далеко, — они не обойдут простого местного восстания, о котором я и говорил в другой статье, что его начало может иметь своею местностью только русский восток.

Кажется, что я сказал все, что мог, хотя вопрос не из легких. Если думаешь, что нужно продолжать, я с моим удовольствием готов. Но также скажи — какую форму дать всему вместе. В этом виде оно кажется только удобно для личных разъяснений.

Публикуемый материал, печатающийся по автографу, находящемуся в записной книжке Огарева (№ 23), хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, представляет собой нечто вроде обширного письма Огарева к Герцену по вопросам, затронутым в «Письмах к старому товарищу», т. е. к Бакунину. Письмо это близко по характеру к теоретической статье, но в таком виде, по выражению Огарева, «кажется только удобно для личных разъяснений».

Материал этот помогает уяснению позиции Герцена, занятой в «Письмах к старому товарищу». Огарев затрагивает в своем письме все основные теоретические вопросы, волновавшие в то время Герцена. Начиная с третьего письма, Герцен отвечает не только Бакунину, но и Огареву, на что указывает начало этого письма: «Нет, любезные друзья, мозг отказывается понимать многое из того, что вам кажется ясным...» [1]. Только после опубликования этого материла становятся вполне понятными ответные реплики-замечания Герцена, помещенные М. К. Лемке вслед за «Письмами к старому товарищу» [2].

Наконец, публикуемый материал бросает свет на философские, теоретические воззрения Огарева, которые в такой развернутой форме не были им высказаны в его публицистике.

Содержание материала определяется следующими проблемами, на которых мы последовательно вкратце и остановимся: 1) проблема закономерностей исторического развития, 2) роль экономики в истории общества, 3) роль государства в революции, 4) отношение к международному рабочему движению, 5) революционная тактика.

1. По вопросу о закономерностях исторического развития Огарев выступает с отрицанием возможности их познания. Огарев пишет: «...математических рядов исторического развития мы не знаем (да мы не знаем и математических рядов геологического и зоологического развития, мы знаем только математические ряды абстрактные)...». В другом месте Огарев заявляет: «... я не могу согласиться с сравнением зоологического и исторического развития». Последнее, по мнению Огарева, «меняет свои формы... без постоянства и ограничения общественных форм». Наконец, Огарев пишет: «Мы можем рассчитывать (даже не приблизительно) пути революции, но знать их не можем». «...Какой будет ход истории — этого я не знаю, да едва ли кто и знает больше моего...»

Все эти возражения направлены против точки зрения Герцена, который, проходя трудный идейный путь от социализма утопического по направлению к социализму

научному, заявлял: «Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем, для того, чтоб знать, как итти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной, не могут итти»[3]. Герцен требовал научного подхода к изучению истории, ибо «наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия... наше время — именно время окончательного изучения, того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления так, как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря на авось; мы на авось не пойдем»[4]. Герцен упорно стремился к познанию закономерностей исторического развития. Герцен приближался к пониманию того, что «...наука об истории общества, несмотря на всю сложность явлений общественной жизни, может стать такой же точной наукой, как, скажем, биология...»[5]. Герцен стремился уяснить себе диалектику смены общественных форм, он писал: «Собственность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными формами человеческого освобождения и развития; мы выходили из них по миновании надобности... Каждый восходящий или воплощающийся принцип в исторической жизни представляет высшую правду своего времени, и тогда он поглощает лучших людей, за него льется кровь и ведутся войны; потом он делается ложью и, наконец, воспоминанием»[6].

2. При этом Герцен прближался и к пониманию того, что «...ключ к изучению законов истории общества нужно искать не в головах людей, не во взглядах и идеях общества, а в способе производства, практикуемом обществом в каждый данный исторический период, — в экономике общества»[7].

Черты исторического идеализма еще были присущи мировоззрению Герцена, но он шел к выводу об определяющей роли экономики в истории общества. Герцен говорит: «Тогда как все другие перевороты постоянно оставались одной ногой в фантазиях, мистицизмах, верованиях и неоправданных предрассудках патриотических, юридических и пр., экономические вопросы подлежат математическим законам»[8]. Герцен спрашивает Огарева: «Стало, ты полагаешь, что современный государственный быт был политический без экономических оснований?», считая, что такое утверждение «противно... самой действительности»[9]. Огарев же, стоя полностью на теоретических принципах утопического социализма, полагал, что «старое политическое построение» основано на «экономическом промахе». Вообще, Огарев под «экономическим построением» понимал лишь «идеал будущего», экономические порядки социализма, в настоящем же классовом строении общества, в «сословности» он видел только «экономический промах», Герцен и отвечал ему: «Нет, сословность — не промах, а возраст. Первые зубы — не промах, а выпасть должны»[10]. И напрасно Огарев ссылался на употребление Герценом выражения «экономический промах». Герцен писал про возможные последствия июньского восстания 1848 г., считая, что у этого движения не было «ни одной построяющей, органической мысли...»: «что было бы, если б победа стала на сторону баррикад?.. экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут в разорению, к застою, к голодной смерти»[11]. Герцен разумел здесь под «экономическими промахами» не экономику общества, а экономическую политику, которая проводилась бы, «если б победа стала на сторону баррикад».

Спор Герцена и Огарева напоминает уничтожение и, конечно, в отличие от критики Герцена, исчерпывающие существо вопроса и до конца последовательные замечания К. Маркса в конспекте «Государственности и анархии» Бакунина. Маркс писал: «Ученический вздор! Радикальная социальная революция связана с определенными историческими условиями экономического развития; последние являются ее предпосылкой... Он [Бакунин — Я. Э.] абсолютно ничего не смыслит в социальной революции, знает о ней только политические фразы. Ее экономические условия для него не существуют»[12].

3. В. И. Ленин в своей предельно глубокой характеристике «Писем к старому товарищу» говорит: «Герцен рвет с анархистом Бакуниным»[13]. Одним из важнейших расхождений между Герценом и Бакуниным был вопрос о роли государственных форм в революции. Герцен писал: «Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с обстоятельствами и прилаживается к потребностям. Из того, что государство — форма преходящая, не следует, что эта форма уже прошедшая. С какого народа, в самом деле, может быть снята государственная опека, как лишняя перевязка без раскрытия таких артерий и внутренностей, которые теперь наделают страшных бедствий, а потом спадут сами. Да и будто какой-нибудь народ может безнаказанно начать такой опыт, окруженный другими народами, страстно держащимися за государство, как Франция, Пруссия и проч. Можно ли говорить о скорой неминуемости безгосударственного устройства, когда уничтожение постоянных войск и обезоружение составляют дальние идеалы?... Государство не имеет собственного определенного содержания; оно служит одинаково реакции и революции, тому, с чьей стороны сила; это сочетание колес около общей оси; их удобно направлять туда или сюда, потому что единство движения дано,

потому что оно примкнуто к одному центру. Комитет общественного спасения представлял сильнейшую государственную власть, направленную на разрушение монархии»[14]. Точка зрения Герцена противостоит анархистской «проповеди о неминуемом распущении государства в федерально-коммунную жизнь»[15]. Огарев же, поддерживая Бакунина, только недоуменно спрашивал: «...если современный государственный быт представляет политические и экономические формы до того устаревшие, что они к дальнейшему общественному построению неприложимы, что же с этим делать?». Огарев, в отличие от Герцена, вовсе не представлял себе необходимости «временного использования орудий, средств, приемов государственной власти против эксплуататоров»[16].

4. Как говорит В. И. Ленин, «...разрывая с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к Интернационалу, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс...»[17]. «Письма к старому товарищу» проникнуты глубоким ощущением того, что международное рабочее движение, возглавленное Интернационалом, означает собой новую всемирно-историческую эпоху. Именно этого не видит Огарев. Огарев говорит, что не понимает выражения «социальный элемент», и продолжает так: «Я скорее, т. е. яснее понимаю слово община и потому яснее понимаю переворот русский, чем европейский, а потому остаюсь исключительно преданным русскому вопросу».

5. С первого взгляда может показаться, что Огарев стоит выше Герцена, критикуя заявление последнего о том, что нужна «проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину»[18], те заявления Герцена, которые Ленин назвал «старыми буржуазно-демократическими фразами»[19]. Но дело в том, что Огарев и этим воззрениям Герцена может противопоставить только анархистское вспышкопускательство, игнорирующее объективное соотношение классовых и политических сил и изучение исторических закономерностей.

Огарев пишет: «Какие бы ни были вспышки, каждая вспышка станет новым запросом на пересоздание общественности, который без этой вспышки, хотя бы вспышка и рухнула, не проснулся бы. Может надо для достижения результата — число вспышек, которого мы определить не в состоянии... Что же нам остается делать? Помогать им по мере сил». Огарев прямо признает «невозможным», чтобы в революции «люди знали, куда они идут».

Притом Герцен, как это уже явствует из его вышеприведенной оценки роли государства и революции, отнюдь не был противником революционного насилия, но боролся против анархистского путчизма. Герцен считал, что «... угроза при бессилии вредна. Подавленный взрыв двинет назад». Он не хотел «входить в рукопашную, пока нет ни единства убеждений, ни сосредоточенных сил». Герцен отнюдь не пропагандировал фаталистического, объективистского подхода к истории: «Пути вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманием, с личной энергией. Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать; тут — взаимодействие»[20]. Под «постепенностью» в «Письмах к старому товарищу» Герцен понимал прежде всего внутреннюю работу», непрерывность исторического развития.

Огарев же, нашедший столько принципиальных возражений против позиции Герцена, не согласен с Бакуниным, в сущности, только в одном: в идеализации последним разбойников, как революционеров, и разбоя, как революционной тактики.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Герцен, т. XXI, стр. 443.
2 Там же, стр. 451—453.
3 Там же, стр. 443.
4 Там же, стр. 448 и 435.
5 История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), стр. 109.
6 Герцен, т. XXI, стр. 437, 447.
7 История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), стр. 116.
8 Герцен, т. XXI, стр. 436.
9 Там же, стр. 451.
10 Там же.
11 Там же, стр. 434.
12 Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XV, стр. 187, 188.
13 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
14 Герцен, т. XXI, стр. 446, 447.
15 Там же, стр. 447.
16 Ленин, Сочинения, т. XXI, стр. 411.
17 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
18 Герцен, т. XXI, стр. 449.
19 Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 465.
20 Герцен, т. XXI, стр. 439, 444, 445.

VII. ЗАПИСИ СНОВ

Публикация Б. Козьмина

1

Сон

10 сент[ября 1873 г.], середа

Сегодня во сне мне пришел на ум вопрос: каким образом может устроиться коммуна? Какая разница между понятием коммуны и равенства? Каким средством уравнять владение почвой и всяким иным имуществом? Каким средством сплотить силы труда отдельных лиц в общинный труд? Можно ли дело кончать ровным разделом посемейно или поголовно, или разделить только труд, т. е. доход?

Вопрос не так легок, как кажется.

2

Сон

Я видел сон: я говорил в России с мужиками и помещиками на сходке. Я говорил им, что в России между этими двумя сословиями отношения так поставлены, что помещикам надо поделить свои земли с мужиками поровну и обрабатывать сообща. Для дележа доходов меры увидятся и по числу людей в семействе, и по участию в работе. Все выслушали и согласились.

3

Сон

11 ноября [1875 г.], четверг

Прошлой ночью я видел сон: я с Мери пошли садиться в автобус и сели. Там застали Элпидина, чрезвычайно встревоженного. «Что с тобою?» — говорю я ему.

— «Сейчас был при смерти сера Джона», — говорит он.

— «Кто такой сер Джон?» — спрашиваю я, — «Разве ты не знаешь? — говорит он, — это Роберт Овен». — «Вот видишь, — говорит мне Мери, — я вчера гадала на картах, и мне вышло, что я скоро услышу о чьей-то смерти... Оно и так». — Тут я и проснулся, не докончил всей интересности. Но записал, потому что меня видение услаждает.

4

Сон

18 января [1876 г.], с понедельника на вторник

Мой старый доктор, Ласковский, говорил мне: «Конечно, молодой человек учится и по направлению своего учения работает, но замечательно, что и старый человек, увидав, что учился вздору и делал вздор, начинает учиться сызнова и работать иначе, т. е. становится юношей и начинает творить новый мир».

Тут я проснулся и конца этому не изведал.

5

Сон

30 мая 1877, середа

Просыпаюсь в 5 часов утра записать мой сон, действительно, чтобы как-нибудь да не забыть его, он мне еще может пригодиться. Сей-

СТРАНИЦА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ОГАРЕВА 1868 г. С ЗАПИСЬЮ ЕГО СНА

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

час видел во сне, что я вернулся в Россию и приехал домой к себе в деревню, и усердно проповедую, что нам землю надобно обрабатывать сообща и жить посемейно (потягально), соразмерным с труда доходом, подворно (т. е. избами, определеннее назвать домами), что это в русской деревне заведено спокон-века, было испорчено правительством и помещиками и введется легче, чем в какой бы стране ни было, потому что введется естественно на существующих основаниях. Я поехал потолковать с старыми соседями помещиками, чтобы высмотреть, насколько они могут помешать и как следует обороняться. Помещики приняли меня не враждебно, но как старого знакомого, и сказали, что, хотя и не во всем со мной согласны, но мешать мне не станут, потому что сами видят, что иначе в судьбы русского мира действительно полезных переворотов не введется, что иных оснований для них нет ближе и очевиднее. Крестьяне же приняли меня совершенно дружелюбно и обещались способствовать всеми средствами, находящимися в их распоряжениях. Я проснулся совершенно довольный моим сном, а Гринвич увидал озаренным блестящим солнцем и под ясным небом, как их давно не припомню.

6

Сон

Я видел во сне девушку, которая мне сказала: «Вы знаете, что я уже не невинна, но умоляю вас — никому этого не сказывайте. Я еще могу выйти замуж, а мне теперь есть нечего; а если кто узнает, то не захочет на мне жениться». — «Поверьте, — я ей отвечал, — что никому не скажу. Я знаю слишком хорошо, что род людской еще не дорос до понятия, что дело не в том, что женщина невинна или

уже родила несколько ребят, а дело в том, чтоб она умела принимать участие в общественном деле, в общественном труде, в умственном смысле; а там невинна она или уже родила раз или больше — это все равно, было бы ей только свободно жить, как ей хочется». — Затем мы пожали друг другу руку и разошлись дружно.

В 70-х годах Огарев записывал наиболее интересные сны, приснившиеся ему. Одна такая запись опубликована в сборнике «Звенья», № 6, стр. 407. Мы публикуем еще шесть аналогичных записей. Все они заимствованы из записных книжек Огарева, хранящихся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Первая и вторая записи — в записной книжке № 16, третья и пятая — в № 32, четвертая и шестая — в № 35.

VIII. ОТРЫВКИ И НАБРОСКИ

Публикация Б. Козьмина

1

Для моей личной очистки необходимо мою личную долю из наследства после М. Л. употребить на уплату Ульяновой с тем (а не иначе), чтоб Ульянова, вступив во владение имением, освободила бы работников немедленно с утверждением за ними всей земли, строений, машин и всякого материала безвозмездно. Одна отдача строений в наймы под мельницы обеспечит им взнос подушных и даст способ образоваться общинному капиталу, который и прокормит их в дорогие года и даст возможность учредить со временем или фабрики, или мукомольные мельницы на общинный счет с дивидентом для каждого. На все продолжение времени найма мельниц и накопления капитала рабочие могут беспрепятственно зарабатывать свой прожиток, где угодно, не заботясь о взносе подушных, которые будут уплачиваться из суммы найма. На заведения общинно-мукомольных мельниц капитала нужно не более 6 т[ысяч] р[уб.] сер[ебром]. Наем мельниц в продолжении 2-х трехлетий может дать по 750 р[уб.] в год (500 в 1-е 3-летие и 1000 во 2-е). Подушных в год 250 р[уб.], следст[венно], на капитал 500 р[уб.] в год, что составит 3000 р[уб.], — в 3 лет[ие] крестьяне будут иметь фонд совершенно достаточный для учреждения общих мельниц на 4 плотинах. Прибавим и то, что устройство, сделанное наемщиком, остается на мельнице и следст[венно] учреждение общинного мельничного хозяйства потребует меньшей суммы, — можно надеяться, что общинные мельницы устроятся ранее. — Но для всего этого надо расплатиться с Ульяновой из моей доли наследства после М. Л. Я надеюсь, что против этого спора не будет, потому что это мое духовное завещание, которого оригинал хранится у моего брата, а копия посылается.

Настоящий документ извлечен из записной книжки Огарева № 38, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

Имение, о котором идет речь в этом письме, — с. Уручье, Трубчевского уезда, Орловской губ. с 603 «душами мужеска пола» (по IX ревизии). В 1851 г. Огарев передал это имение своей первой жене М. Л. Огаревой в погашение обязательства выплачивать ей на ее содержание ежегодно определенную сумму денег. В марте 1853 г. М. Л. Огарева умерла в Париже. Наследниками оставшегося после ее смерти имущества по тогдашним законам являлись Н. П. Огарев (в ¼ части) и ее племянник М. М. Каракозов (в остальных ¾ частях). В действительности же, как выяснилось впоследствии, с. Уручье по крепостным актам числилось собственностью не М. Л., а ее поверенного Н. С. Шаншиева, который ухитрился (с согласия А. Я. Панаевой, также имевшей доверенность от М. Л. Огаревой) записать это имение на свое имя, приняв на себя обязательство (им не выполненное) ежегодно выплачивать М. Л. Огаревой на прожитие 3000 руб.

Настоящий документ представляет большой интерес в том отношении, что он свидетельствует, насколько велико и постоянно было желание Огарева отпустить на волю всех своих крепостных и обеспечить, вместе с тем, их материальное благосостояние.

Упоминаемая в этом документе Ульянова — помещица Симбирской губ. Мария Александровна Ульянова, у которой Огарев в 1848 г. приобрел Тальскую писчебумажную фабрику. Брат, о котором говорится в конце этого документа, — побочный брат Огарева, купец 2-й гильдии Иван Иванович Маршев, вместе с которым Огарев приобрел Тальскую фабрику и который при этом обманул Огарева, употребив часть полученных от него на приобретение фабрики денег на свои надобности. Это надувательство Маршева, конечно, открылось, и лишь в 1851 г. Огарев урегулировал свои денежные отношения с ним. Однако, как можно судить по печатаемому нами документу, долг Огарева Ульяновой не был еще вполне покрыт, почему он и продолжал считать себя ее должником.

Время написания настоящего документа можно установить лишь приблизительно. О смерти своей первой жены Огарев, как видно из его письма А. А. Тучкову, напечатанного М. О. Гершензоном в т. IV «Русских Пропилеев», стр. 132, узнал в сентябре 1853 г. С другой стороны, 20 октября 1855 г. Огарев выдал Н. М. Сатину документ, которым удостоверял получение от последнего 12 тысяч руб., взамен чего Огарев передал ему свои права на наследство, оставшееся после М. Л. Огаревой.

Таким образом, настоящий документ мог быть написан не ранее осени 1853 г. и не позже начала осени 1855 г. Вернее, однако, что он был написан вскоре после получения известия о смерти М. Л. Огаревой, когда Огареву еще не была известна афера, учиненная с его орловским имением Шаншиевым.

2

Друг неизменный.

Ты подарил мне эту книжку для вписывания стихов, а я пишу в ней прозу, хотя ты моей прозы и не любишь. Как быть! Вопросы, которые теперь накипели в уме, просятся наружу, а высказать их в стихах невозможно. Ну! проза — так проза! Не сердись и слушай! Это моя исповедь, мои *записки*; но задача их не та, которую ты так искренне высказал в твоих записках. Я не могу писать исповедь сердца, жизни, поступков. Не могу — у меня на это не хватает храбрости. Я слишком уверен, что человек состоит из трех данных: он, во-первых, злодей, во-вторых, смешон, а в-третьих, приличен, т. е. прикрывает оба предыдущие данные боязнью общественного мнения и самооправданием. От этого я не могу писать сердечно искренних записок, а беру иную задачу, которая меня сильно тревожит. Это — умственное, теоретическое развитие, это история личного пути, по которому я искал верований, убеждений, истины, и, наконец, я хочу высказать результаты, к которым я пришел, общность, целое убеждений, которых я достигнул долгой работой мысли и жизни, понимания и опыта и которые мне теперь хочется привести в порядок. На эту исповедь у меня болезненная потребность и писать ее для меня самоудовлетворение. Весьма уважая системы, где философ, перестав быть человеком и сделавшись абстрактом, садится за письменный стол и схематизирует, — я все же не имею к ним сочувствия и невольно первое, что меня в них поражает — это прорехи, ошибки, уклонения от действительности. Я с ненавистью вижу, что в них мысль не выстрадана, а только человек с самодовольствием, взяв точку отправления, закусывает удила и решает все на свете, плюя на препятствия, и с пренебрежением отвергает факт, если он ему противуречит. Также мало имею я сочувствия к людям, которые ни с того ни с сего наблюдают факты и не требуют от них никакого теоретического понятия; или довольствуются фактами, с одной стороны, а с другой стороны, берегут для собственного удовольствия самые нелепые теоретические верования, не имея потребности замкнуть бездну, разделяющую обе стороны. Мне кажется, что трансцендентальная философия и точные науки

именно потому и не могут до сих пор популяризироваться, что ни то, ни другое не схвачено из жизни; и то, и другое носится или в неверных неприлагаемых отвлеченностях, или в плоских наблюдениях, не касающихся теоретических вопросов, и то, и другое не только не удовлетворяет, но и не затрагивает живого человека, страждущего жаждой теории, потому что эта жажда неотъемлемая функция человеческого мозга. Поэтому, мне кажется, рассказ о том, как развивалась умственная жизнь человека, принимавшего это развивание к сердцу, — не может быть бесполезен. А если бы и был бесполезен, то говорить об этом с тобою, с которым я всегда шел рука об руку, — для меня самоудовлетворение, огромное, хотя и мучительное наслаждение. Итак, вот тебе моя исповедь. Лгать я не стану, из своего теоретического развития ничего не утаю; но подноготной сердечных движений и поступков не скажу. Страшно!

Начать воспоминания с далеких или отроческих лет мудрено; тут все так сбивчиво и смутно. Но не могу не остановиться на некоторых выдающихся чертах, потому что и в отроческом мышлении помню минуты высокого наслаждения, которые имели влияние на все остальное мое развитие. Таким образом, я не могу забыть первые впечатления, которые сильно затронули меня (il soit dit en parenthèse и тебя) — это чтение Шиллера и Руссо и 14 декабря. Под этими тремя влияниями, очень родственными между собою, совершился наш переход из детства в отрочество.

Может быть, тебе покажется странным, если я скажу, что в этом влиянии лежал зародыш реализма, который впоследствии развился в нас без пощады к какому бы то ни было идеальному миру. Идеальный Шиллер, идеальный Руссо, юношеское движение 14 декабря — все это кажется так далеко от реализма!.. А между тем я прав; тут был зародыш реализма.

Что нам дал идеальный Шиллер? Благородство стремлений. Но это благородство стремлений наполнялось сомнением, отрицанием разумности и справедливости современного общества. В героях Шиллера и в его философских письмах важным для нас становилась не идеализация, не духовность понятий; это было преходящее; важным было то, что для оправдания идеализации и духовности — мы должны были пальцем дотронуться до действительного общества и указать ложь, указать рану, указать страдание. Руссо — сколько он ни фразер — дал еще более положительную точку зрения: l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Главное, что в этом поразило отроков — не то что l'homme est né libre — это принималось на веру, а то, что partout il est dans les fers. Это был факт, который мы осязали. Протест 14 декабря подтвердил этот факт. Эти влияния разом произвели то, что первый шаг наш в области мышления был не исканием абстракта, не начинанием с абсолюта, а был столкновением с действительным обществом и пробудил жажду анализа и критики. Таким образом, в 14, 15 и 16 лет, состоя под влиянием Шиллера, Руссо и 14 декабря, мы занимаемся математикой и естественными науками, мы хотим чего-то положительного, хотя оно для нас еще совершенно неясно. Тут важно не то, что именно мы тогда делали, умно или глупо работали; тут важна точка отправления, к которой после долгих шатаний мы должны были возвратиться при совершеннолетии. Эта точка отправления — реализм. Каким образом мы тогда мирили наш реализм с самыми крайними идеализациями и априорными построениями, это другой вопрос, к которому я сейчас возвращусь; но я только хочу тебе показать теперь, что точка отправления нашего отрочества был реализм и что он лежал в нас так глубоко, что после многих уклонений не

мог не возвратиться в наше сознание, как скоро мозг наш совершенно сложился.

Написано в 1856 г. в записной книжке, подаренной Герценом (Рукописное отделение Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, записная книжка № 17). Даря Огареву эту книжку, Герцен сделал в ней следующую надпись:

«Огареву — для того, чтобы до будущих именин исписать все и притом не прозой.

А. Герцен

6 декабря. 1856. Пикадили».

Ответом на эту надпись и является публикуемый нами выше набросок Огарева, представляющий собою начало его своеобразной «исповеди», к сожалению, оставшейся далеко не законченной.

3

Правительство учредило комитет под председательством гр. Блудова для рассмотрения вопроса об освобождении крепостных людей. Несколько проектов было представлено, на которые комитет не дал никакого ответа, и, наконец, сам комитет закрылся, ничего не сделав. Результатами его бесплодных заседаний были только кое-какие цензурные преследования.

Вот слухи, имеющие большое вероятие. Но что выше всякого вероятия, что не подвержено никакому сомнению — это то, что с вступления на престол Александра II, несмотря на все ожидания и надежды, правительство ничего не сделало для освобождения крепостного сословия и не подвинуло ни на шаг решения этого вопроса.

Что же оно делает? Некогда ему что ли? Или важное занятие формою военных и штатских мундиров до такой степени поглотило государственную мысль, что ни на какое дело не хватает времени? Или правительство довольствуется собственными слезами умиления, чувствуя себя не таким, как правительство незабвенного, и далее ничего не хочет делать? Или сквозь шум праздников и охотничьих труб псарей оно не умеет расслышать клич народный?

Приходится звонить в колокола и сказать этому правительству:

Стыдно! Проснись! Ты губишь себя и Россию. Проснись! Теперь еще время. Ты можешь мирным путем решить вопрос освобождения крепостных. Vivos voco! Или правительство уже такое мертвое, что никакая государственная нужда его не разбудит? Если оно не живое, зачем же оно бралось за управление государством? Отречься — было бы благороднее, чем подавать надежды, на исполнение которых у него сил нехватает. Стало, оно хвастало своей любовью к России? Оно нас обманывало? Или оно думало, что Россию можно спасти без государственной мысли, а только маленьким добродушием, доходящим до потачки государственным ворам? В таком случае оно только позорилось перед светом.

Проснись! Смотри: скоро будет поздно решать вопрос освобождения крепостных мирным путем. Мужики решат его по-своему, реки крови польются — и кто будет виноват в этом? Правительство!

Россия настрадается, а на правительство история наложит клеймо злонамеренности или бездарности, в обоих случаях позорное.

Проснись! Работай не над мертвечиной формалистики, а над живым государственным вопросом. Работай пока время не ушло.

Vivos voco!

Настоящая заметка заимствована из записной книжки Огарева № 22 хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

Поводом для написания послужили дошедшие до Герцена и Огарева слухи об учреждении негласного комитета для обсуждения и выработки крестьянской реформы. Как известно, этот комитет начал свои занятия 3 января 1857 г. Председателем его был не Блудов, как ошибочно сообщает Огарев, а председатель Государственного совета кн. Орлов. Блудов же был одним из его членов. Ошибочно также сообщение Огарева о том, что комитет уже «закрылся». Составленный в большинстве из упорных крепостников, стремившихся сохранить крепостное право в неприкосновенности, комитет всячески затягивал порученную ему работу. Это вызвало недовольство со стороны Александра II, который осенью 1857 г., желая активизировать работу комитета, сменил его председателя, назначив таковым вместо Орлова великого князя Константина Николаевича. Однако и эта перемена не привела к ускорению работы комитета. Так продолжалось до известных ноябрьских рескриптов царя, положивших начало гласному обсуждению крестьянской реформы. В связи с этим в январе 1858 г. негласный комитет был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу.

Настоящая заметка была напечатана в № 1 «Колокола» от 1 июля 1857 г. под названием «Что сделано для освобождения крепостных людей». До сих пор авторство ее ошибочно приписывалось Герцену (см. Герцен, т. VIII, стр. 541—542). Между текстом, напечатанным в «Колоколе», и воспроизводимым нами имеются некоторые расхождения.

4

ПИСЬМО БОЛЬНОГО РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Isle of Wight, август 185[9 г.?]

Наконец, любезный друг, я приехал купаться в море. Доктора говорят, что это мне поможет. А поможет ли? Бог их знает. Я думаю, что они врут. Вчера выкупался. Холодно как-то, лезть в воду неприятно; целый день после и знобит, и в жар бросает, и жутко становится, — а запор все продолжается. Посмотрелся в зеркало, — рожа такая же испитая, как и была. Врут они, доктора, не поможет купанье. Ведь эдакая беда: учился я всему на свете, а медицине не учился. Ничего не понимаю в жизни человеческого организма. Станешь думать — вот хоть о моем запоре — как он? отчего он? В какой связи с жизнью моего отца, с молоком моей матери, в какой связи с моим образом жизни, с пищей, с электричеством воздуха, с движением земли? Ничего не придумаешь! Немогута! О! если б я тут да что-нибудь понимал, то ли бы из меня вышло! Все знаю — историю и статистику, юриспруденцию и политическую экономию, немецкую философию знаю, все знаю достаточно, чтоб ничему этому не верить, а настоящая-то жизнь и проскальзывает мимо мозга. Ты опять скажешь: от чего же я не учусь? Уж куда мне! Поздно.

Я думаю, если что-нибудь мне здесь поможет, то это то, что я на Isle of Wight, а не в каком ином месте — не в Диэппе, не в Остенде, словом, не на континенте. Я проехал по Франции, знаю! Я думал, что я с ума сойду. Эти люди с узенькими бородками и усами, как у кота, так и смотрят на тебя: кто ты такой? что ты такое? что ты такое думаешь? А я вот у тебя выспрошу и отдам тебя полицейскому. Встретился с таким господином на улице, поворотил вправо... Глядишь, а он опять за тобой, поворотил влево, а он опять за тобой, а тут сержант навстречу: так сердце и замрет. А в Остенде — там все русские. Это еще хуже. Пожалуй, и бумаги подсмотрят; или как-нибудь проврешься, а они донесут. Вернешься домой, — а тебя упрячут куда-нибудь в Вятку. Я знаю, что ты опять скажешь — с чего я беру, что за мной всюду следят шпионы, что я за такая важная птица, чтобы за мною следить? Хорошо тебе говорить! Ты человек достаточный, да и здоровье-то у тебя дьявольское, точно из железа выкован; а я человек маленькой, узнай они, что захоти я только действовать, то им бы плохо пришлось — ну! и сошлют. А тут жена заплачет, да еще, пожалуй,

выбранит, дети разревутся... А как же им не знать, что я настоящим положением вещей не могу быть доволен?... Конечно, знают и следят. Стало, мое дело съежиться и прятаться.

Заимствовано из записной книжки № 34 Огарева, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

Написано, повидимому, в 1859 г., когда (в августе) Огарев ездил на морские купанья в город-курорт Вентнор на острове Уайте. Некоторые подробности, сообщаемые в «Письме» о «больном русском путешественнике» и расходящиеся с биографией Огарева (наличие у него детей, намерение его вернуться в Россию), заставляют рассматривать это «Письмо» не как эпистолярное, а как литературное произведение. Предназначалось ли оно для печати, неизвестно.

5

МЫСЛИ и ЗАМЕТКИ

1. Искусство — явление историческое, следственно содержание его общественное; форма же берется из форм природы. Для того, чтобы оправдать теорию «искусства для искусства» — надо доказать, что форма исчерпывает задачу, что форма все, а содержание равнодушно. Русско-немецкие мыслители очень напирают на общечеловеческое содержание в противуположность общественному. Тут опять название играет роль понятия и как всякое понятие выражает неопределенность и пустоту. Что такое общечеловеческое? Общее всем людям? т. е. просто человеческое. Да с знаменитого homo sum et nihil humanum a me alienum puto — все, что входит в человеческую деятельность, есть человеческое или общечеловеческое; под это название подходят равно явления и отношения общественные, и отношения лица к лицу и лица к природе и необходимости. Мысль и чувство совершенно общечеловеческие явления и совершенно общественные, потому что человек не в стаде немыслим; даже грустное чувство, возбуждаемое отшельничеством, основано на оторванности от стада. Отличительно человеческое это сознание, а сознание равно может проявляться и в искусстве, и в науке, и в жизни, т. е. в устройстве стада. Сознание есть понимание отношений, выраженное мыслью, т. е. словом; понятие отношений, будь оно понятие аналогии или разнородности предметов, всегда сводится на уравновешивание, на понятие меры, гармонизирование, и потому не обходится без количественной категории. Приведение в меру (гармонизирование) в науке есть отыскание закона известных отношений, будь это закон аналогии или разницы, совпадения или расторжения, жизни или смерти. В искусстве гармонизирование есть отыскание красоты отношений, будь это красота жизни или смерти, блаженства или ужаса. Сознание, не дошедшее до степени понятия мысли — есть чувство. В науке чувство не имеет места, потому что предмет и цель науки — понятие, теория. В искусстве чувство имеет место, потому что предмет и цель его красота, изящное, для которого достаточно впечатления, без теории. Наука — понятие о природе; искусство — подражание природе. Наука — воспроизведение действительности в понятии; искусство — воспроизведение действительности в подражании.

Но сознание, равно на степени понятия или чувства, совершается посредством чувств, есть явление физиологическое. Поэтому искусство имеет физиологические отделы: искусство слуха, искусство зрения, общее искусство, искусство мысли, слова, т. е. музыка, живопись и поэзия. Как все в природе, ни одно искусство не обходится без количественной категории, требует меры, изящного гармонизирования отношений. Отношения звуков — составляют собственно гармонию; отношение линии — образы; поэзия вмещает и то и другое+мысль — в слове.

Настоящий отрывок заимствован из записной книжки Огарева № 27, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

Подробнее свои взгляды на искусство и свое отношение к теории «искусство для искусства» Огарев изложил в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия», изданному в Лондоне в 1861 г.

К этому же приблизительно времени можно предположительно относить и настоящий отрывок.

6

ЗАМЕТКИ ДЛЯ СТАТЬИ ПРОТИВ КАВЕЛИНА

Италия доказывает, что род человеческий не дошел до возможности разумных реформ, т. е. до возможности безобидно столковаться. У самого мягкого француза, немца и даже англичанина докопаешься до лютого зверя. Предполагать совсем мирное [разрешение] русского вопроса довольно мудрено. Уже бездненское дело доказывает, что тут встречаются две силы. Надо, чтобы одна из них была очень слаба, чтоб не было восстания. Бояться восстания неизбежного — это такое чувство, которым ничему не пособить. Говорить, что все революции ни до чего не достигли, так же глупо, как говорить, что все достигли до цели. Реформация достигла до цели, потому что желала определенного; английская революция idem. Абстрактно французская революция не достигла, по неопределенности цели, что ясно сказалось в февральской революции. Стало дело не в боязни революции, а в определении цели и средств. Чем определеннее в данное время, тем мень...

Заимствовано из записной книжки Огарева № 9, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Книжка эта датирована 1862 г.

К этому времени относится разрыв Герцена с одним из ближайших его друзей — К. Д. Кавелиным, опубликовавшим в 1862 г. в Берлине брошюру «Дворянство и освобождение крестьян», в которой он резко нападал на конституционные тенденции, широко распространенные в то время не только среди либеральной части дворянства, но и среди крепостников, мечтавших компенсировать себя за уничтожение крепостного права олигархической конституцией. Кавелин высказывался за сохранение самодержавия при широком развитии местного самоуправления, которое, по его мнению, явится прекрасной школой, которая подготовит русское общество в будущем к введению конституции. Эта брошюра возмутила Герцена. К этому надо прибавить, что в своих письмах Герцену Кавелин не скрывал недовольства направлением, принятым «Колоколом». «Вы портите дело «Колокола», — писал он 6 августа 1862 г. — Чем решительнее, открытее будет он знаменем социальной революции в России, тем больше и больше он будет терять прежнее свое влияние» (Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену, Женева, 1892 г., стр. 80).

Огарев резко задел Кавелина в статье «Надгробное слово», напечатанной в № 162 «Колокола» от 1 мая 1862 г. В этой статье он писал: «Дворянство покончило всякую инициативу жизни. Оно ее покончило и в литературе. Не говоря уже об *отцах*, но большое число из его *детей*... ударились в чувство сохранения помещичьих прав, бессознательно-своекорыстно пошли по следам подкупных газетчиков, профессоров, вьющих гнилую паутинку своих высокомерно-крошечных идеек, *экс-профессоров, когда-то простодушных, а потом озлобленных, видя, что здоровая молодежь не может сочувствовать их золотушной мысли*».

Подчеркнутые слова были явно направлены против Кавелина, что последний прекрасно понял (см. его письмо Огареву от 31 мая 1863 г., там же, стр. 83—84).

Набросок Огарева интересен для характеристики его отношения в 1862—1863 гг. к революции.

7

Как-то неприятно взирается на воровство! Но все же все банки и прочее разжились на обкрадывании бедных рабочих посредством их труда и собирания пошлин. Отчего же кому-нибудь и не украсть у другого? И все это так и останется, пока люди не сострoятся в общину, где друг друга обкрадывать станет не нужно.

Заимствовано из записной книжки Огарева № 35, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

Набросок этот относится к 70-м годам, как и другие материалы, находящиеся в этой книжке. Более точная датировка его не представляется возможной.

8

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ

17 окт[ября], суббота [1874 г.]

Сегодня во сне писал к тебе это письмо, друг мой, и на яву стараюсь вспомнить. Смотря на английскую жизнь, т. е. на жизнь работников и буржуазии, и зная, что я живу в стране практической деятельности — мне все же кажется, что я живу в среде чада людского. Если разобрать всю деятельность труда, то едва ли мы удовлетворимся ее смыслом. А между тем потребность труда существует во всех сословиях, т. е. у иных ради заработка и продовольствия, у других ради наживы и обогащения.

Человек живет, т. е. ест, пьет, спит и двигается (в разных отношениях) смотря по возможностям мускулов, нервов etc. В чем же заключается его труд, т. е. его практическая деятельность? В приготовлении пищи и питья, в приготовлении жилья и постели, в приготовлении средств для ходьбы и езды по земле и по воде и даже по воздуху. Тут мы найдем земледелие и скотоводство, рыболовство и все, что относится к этому разряду; накапливание воды, приготовление жидкостей и вина и т. п.; далее постройка изб и деревень, домов и городов и пр., постройка телег и экипажей, паромов и кораблей и пр. Я не вижу надобности входить в подробности; достаточно показать сущность дела, которая практическую деятельность заключает в устройстве жизни. Таким образом, слагалась история: те личности, которые получше, устраивали свою жизнь (разумеется на счет других), из толпы производились в буржуазию или барство, в военную силу или императорство. Остальные оставались работниками, а лично цели имели все такие же, т. е. накопить до положения буржуа или барина, военного командира или повелителя. Если хорошенько присмотреться к истории, то ее гражданское, т. е. государственное развитие из этих пределов не выходило или повторялось в различных формах на тех же основных условиях, не выходило из тех же стремлений и целей, из подобных средств и порядков. Возьмем для примера хотя и самые, так называемые, передовые страны: Древняя Греция и Рим — сравните их с новыми республиками, королевствами (конституционными и неконституционными) и империями. Наиболее разницы мы найдем в религиях, что, впрочем, доказывает, что не религии действовали на устройство обществ, а напротив того, начала и движения обществ создавали религии. Дело удобопостижное: человеческие общества все одинакого покроя и подобных или одинаких отношений; а все же при этом фантазия может играть дело разного закала, смотря по породе, по почве, по климату и пр. *

Если бы мы ожидали человеческого направления, вообще (гуманного), то нам прежде всего следует отречься от всяких отдельных общественных фантазий, иначе мы ни до чего не дойдем. В отдельных фантазиях не только пружина какого-нибудь условия, а пружина меж-

* В сущности, мы в основе не отделим Юпитера от Саваофа; разница только останется в движениях и созданиях общественных. Сам Аполлон, Мессия древнего мира, создан не по той фантазии, по которой создан Мессия нашего мира; но все же по собственной общественной фантазии.

доусобных споров. История нам и показывает постоянное разрушение и возникновение.

Для того и другого можно принять, что природа, разрастаясь, произвела разные породы животных и, наконец, от обезьяны человека. Это до такой степени справедливо, что сам человек, дошедший до слова при своем развитии, дошел до балета, как самого искусственного проявления человеческой жизни; а это проявление сводилось на подобие обезьянным ухваткам, т. е. лишалось языка и сводилось на жесты.

Ведь, в сущности, все не в этом вопрос. Все это мелко или ничтожно. Тут мы опять ни до какого единичного труда не достигнем, а только поворачиваемся в блудодействе.

Политические средства, которые будут тут и там отличаться отдельным характером, но ни к какой действительной единичной цели не приведут.

Если мы возьмем хотя бы наших наиболее определенных писателей, напр[имер], хоть Карла Фогта, мы найдем,...

Печатается по незаконченному черновику, заимствованному из записной книжки Огарева № 32, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Годовая дата устанавливается печатаемым в № 41—42 «Литературного Наследства» письмом Огарева к Бакунину от 21 ноября 1874 г., в котором имеется упоминание об этом произведении Огарева.

9

В деле Дьякова надо обратить внимание на работников и мещан, которые, подпавшись под допросы тайной полиции, развращаются правительством до роли доносчиков и подлецов. Тут уже не то, чтоб толковать о мудрости или немудрости законодательства, а следует толковать о бедственном положении низших классов и предательском мероприятии правительства.

Заимствовано из записной книжки Огарева № 32, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.

17 июня 1875 г. в Сенате слушалось дело В. М. Дьякова, А. И. Сирякова и др., обвинявшихся в революционной пропаганде среди петербургских рабочих и солдат.

По этому делу было привлечено несколько распропагандированных рабочих; некоторые из них под влиянием угроз дали откровенные показания.

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА

I. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА А. И. ГЕРЦЕНУ. ПУБЛИКАЦИЯ А. АСКАРЯНЦ и З. КЕМЕНОВОЙ. ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИЙ Ю. КРАСОВСКОГО. — II. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА П. Л. ЛАВРОВУ. ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИЙ Ю. КРАСОВСКОГО. — III. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА Т. В. ПАССЕК. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА. — IV. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА Е. П. ПЛАУТИНОЙ. ПУБЛИКАЦИЯ С. ПЕРЕСЕЛЕНКОВА. — V. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА РАЗНЫМ ЛИЦАМ. ПУБЛИКАЦИЯ Б. КОЗЬМИНА и С. ПЕРЕСЕЛЕНКОВА

I. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА А. И. ГЕРЦЕНУ

Публикация А. Аскарянц и З. Кеменовой

Предисловие и комментарий Ю. Красовского

Данная публикация писем Н. П. Огарева к А. И. Герцену является самой большой по объему и наиболее значительной по содержанию из появившихся за последние 15—20 лет. Самой большой — потому что она содержит 151 письмо Огарева, — до сих пор такого количества писем Огарева еще не публиковалось; значительной — потому что эти письма в основном относятся к шестидесятым годам, т. е. к периоду совместной работы Герцена и Огарева в «Колоколе» — наиболее важному и плодотворному периоду их общественной жизни. Эти письма говорят также о богатой внутренним драматизмом личной жизни лондонских изгнанников; они рассказывают историю личных взаимоотношений Герцена, Огарева и Н. А. Тучковой-Огаревой и многих других «личных конфликтов» семейного гнезда Герцена — Огарева. Естественно, что эти письма, являясь исключительно ценным материалом для понимания личности и литературно-общественной деятельности Огарева, в то же время не в меньшей степени важны и для характеристики Герцена, поскольку и совместная работа и жизнь, и личные переживания их тесно переплетены друг с другом; тот или иной факт или та или иная ситуация у Огарева всегда получала то или иное отражение и в жизни Герцена. Сопоставление этих писем с письмами Герцена к Огареву показывает исключительно тесную взаимосвязь двух друзей, удивительную в своем постоянстве и дружеской близости даже в минуты политических расхождений или в моменты личных столкновений. Никакое сцепление личных обстоятельств, никакие серьезные принципиальные разногласия не могли всерьез нарушить эту замечательную дружбу двух людей, продолжавшуюся 40 лет. «Чувство боли, которое оставил мне твой отъезд, превосходит мое ожидание», — признается Огарев в одном из своих позднейших писем. Поэтому никак нельзя переоценить большое историко-литературное значение этого материала.

Публикуемые письма Огарева охватывают довольно большой по времени период: первое письмо датируется 1856 г., т. е. годом приезда Огарева в Лондон, последнее помечено серединой января 1870 г., т. е. оно написано за несколько дней до смерти Герцена. Но в распределении их по годам надо отметить большую неравномерность: так к 1856 г. относится 1 письмо, к 1857 г. — 1, к 1859 г. — 3, к 1860 г. — 12, к 1861 г. — 1, к 1862 г. — 1, к 1864 г. — 2, к 1865 г. — 7, к 1866 г. — 6, к 1867 г. — 43, к 1868 г. — 15, к 1869 г. — 59 и к 1870 г. — 3. Из этого перечня видно, что иногда к одному году относятся одно, два, три письма, а к другому году — больше десятка. Но это имеет свое объяснение и свою закономерность. До 1859—1860 гг. Герцен и Огарев жили вместе, и, естественно, что их переписка могла иметь случайный, эпизодический характер. В 1859 г. Герцен, как известно, ездил на континент, а затем осенью 1860 г. жил в Борнмаусе отдельно от Огарева. Это совпадает и с «обострением» отношений Герцена и Огарева в личном плане: Н. А. Тучкова-Огарева становится женой Герцена, Огарев сходится с Мэри Сетерлэнд — совместная жизнь становится фактически невозможной. К этому периоду относится довольно значительное количество писем Огарева. Кроме 11 писем, опубликованных в 1917 г. М. О. Гершензоном в четвертом томе «Русских Пропилеев» и потому не вошедших в нашу публикацию, имеется еще 16 писем этих же годов, что в общей сумме дает 27 писем, которые, повидимому, и составляют всю

сохранившуюся переписку за этот период. Годы 1861—1864 мало отражены в письмах: жизнь с Герценом в одном городе, некоторое ослабление драматических коллизий в личной жизни, повидимому, не вызывали необходимости письменных сообщений. Зато резко повышается количество писем с момента переезда в Женеву в 1865 г. и особенно с 1867 г. Огарев постоянно живет в Женеве, а Герцен переезжает с места на место: то он в Ницце, то во Флоренции, то в Париже, а поскольку издательско-литературная деятельность Герцена и Огарева, хотя и сильно уменьшившаяся, все-таки продолжалась, то естественна и большая переписка, как по деловым, так и по личным вопросам. Эти года (1867—1870) дают основную массу писем — более 76% общего их количества. Желание не нарушать общей картины этих лет продиктовало включение сюда 3 писем, в свое время опубликованных в «Архиве Огаревых». Но, конечно, едва ли можно сомневаться в том, что далеко не все письма Огарева 60-х годов оказались собранными в этой публикации: несомненно, существовали и другие, не дошедшие до нас письма (поскольку о них имеются упоминания и в письмах Герцена и в ответах Огарева), частично отправленные по почте, а частично с оказией», каковой большей частью являлся С. Тхоржевский; вполне возможно, что эти последние письма носили конспиративный характер, который не позволял доверить их почте.

В таком большом эпистолярии не может быть единой общей темы, если, конечно, не считать таковой всю совместную деятельность Герцена и Огарева; но, тем не менее, та или иная тема проходит по многим письмам, то исчезая, то снова появляясь; во всяком случае, намечаются они в публикуемых письмах достаточно четко и рельефно.

Наиболее интересной темой для нас, конечно, является тема совместной революционно-издательской деятельности Герцена и Огарева («Колокол», «Полярная Звезда», «Вольная Русская Типография» и т. п.), тема Огарева как верного соратника Герцена в их общей борьбе с русским самодержавием. Эта тема получила отражение в многочисленных указаниях и упоминаниях о подготовке того или иного номера «Колокола», о встречах и разговорах с теми или иными участниками лондонской эмиграции, в рассуждениях о тех или иных крупных политических событиях того времени (как, например, о т. н. «варшавском свидании трех императоров» в 1860 г. и т. п.). Мимо этих, иногда внешне, как будто, случайных, мимолетных упоминаний не может пройти ни один историк общественного движения 60-х годов, настолько они в общей сумме дают интересный и показательный итог. Но особенно подробно тема совместной работы над «Колоколом» проходит в женевских письмах Огарева. Когда в 1866—1867 гг. Герцен несколько «отошел» от редакторской работы над «Колоколом», Огарев писал ему 7 февраля 1867 г.: «...в твой такт для издания «Колокола» имею полную веру, а в свой такт ни на копейку... Я могу писать по известным вопросам и мог бы писать гораздо лучше, если б это было не в журнальной, а просто в диссертационной форме. Что я буду делать один?..» и усиленно звал Герцена снова с полной энергией взяться за издание «Колокола». Из огаревских писем видно, какую громадную работу проделали Герцен и Огарев в качестве редакторов, а потом, когда «Колокол» стал быстро клониться к упадку, и почти единственных сотрудников, целиком заполнявших страницы «Колокола» своими статьями и заметками.

Как известно, переезд в Женеву был вызван желанием поднять быстро падающую популярность «Колокола», «приблизиться» к новым революционным веяниям, новым революционным силам, которые, главным образом, сосредоточились в Женеве, ставшей к середине 60-х годов центром русской эмиграции. Но, как известно, этот переезд не возбудил «Колокол» к жизни, отношения с «молодой эмиграцией», возглавляемой А. А. Серно-Соловьевичем, сразу не наладились, а вскоре приняли острую форму: Герцен и Огарев оказались изолированными. И вот, теме «молодой эмиграции» довольно много места уделено в письмах Огарева: он усиленно настаивает на соглашении с ней, на «руководстве» ею, на выработке общей политической платформы. Уже в письме, относящемся к осени 1865 г., читаем:

«Как ты хочешь, но все же я не могу смотреть на здешнюю несчастную молодежь с твоей ригористической точки зрения. Я сам в себе не нахожу той чистоты, которая давала бы мне право на ригоризм... Заметь также, что большая доля из них способна трудиться. Об одном не стану спорить, что у них смысл ограничен. Следственно, что же нам оставалось делать относительно их — упорно воспитывать, а не отталкивать, не обижаться вздором — а вывести на настоящий путь...», на что Герцен отвечал саркастическими характеристиками низкого политического и интеллектуального уровня женевской «молодой эмиграции», заявляя, что ни в какую ее мало-мальски плодотворную работу он не верит. Отношения с «молодой эмиграцией», несмотря на примирительные тенденции Огарева, продолжали обостряться и закончились полным разрывом после известной брошюры Серно-Соловьевича. Мы не будем подробно касаться этой интереснейшей темы в письмах Огарева, поскольку ей посвящена специальная статья в № 41—42 «Литературного Наследства»; для нас важно отметить, что, в отличие от Герцена, Огарев с самого начала довольно твердо



ГЕРЦЕН, ОГАРЕВ И Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА

Фотография, 1850-е гг.

Институт литературы, Ленинград

взял курс на совместную работу с новыми революционными элементами, и эту свою направленность сохранил до конца. И в этом очень любопытная особенность политической физиономии Огарева. «Молодая эмиграция» была первым серьезным разногласием Герцена с Огаревым, разногласием, знаменующим дальнейшие расхождения их по целому ряду серьезных политических вопросов. Стремление Огарева к объединению выразилось, между прочим, и в участии в так называемой «Лиге мира и свободы», участвовать в которой Герцен категорически отказался. Правда, и Огарев в одном из своих писем, после подробного описания заседаний конгресса Лиги, вынужден был сознаться, что «конгресс все-таки не удался, были речи очень хорошие, но до дела не доходящие. Неопределенность конгресса навеяла на меня скуку» (письмо от 12 сентября 1867 г.). Но эти расхождения с Герценом не имели в конечном счете серьезного характера, гораздо значительнее они стали позднее, когда в Женеву переехал М. А. Бакунин. Настроенный вначале крайне настороженно по отношению к последнему («от приезда Бакунина не жду ничего хорошего» — в письме от 28 августа 1867 г.), Огарев постепенно стал склоняться на его сторону, видя в нем, несмотря на его громкую фразеологию, серьезную революционную силу, силу, способную к активным действиям, о которых он всегда так мечтал и думал. Это сближение с Бакуниным вызывало, естественно, достаточно резкую критику Герцена. В результате создавалась тяжелая психологическая обстановка для Огарева: с одной стороны — Герцен, его многолетняя дружба, его требования, с другой стороны — Бакунин, как крупная революционная сила, обещающая, как будто, так много. Этот момент отражен в письме от 5 мая 1869 г.: «Мне приходится, — читаем там, — стоять как-то по середине между элементом шума (т. е. Бакуниным. — *Ю. К.*) и элементом консервативного социализма (т. е. Герценом. — *Ю. К.*). Как это тяжело, мой во всяком случае страстно любимый брат — ты себе этого представить не можешь...». Студенческие волнения 1868—1869 гг., появление новых революционных кружков и вообще наметившийся подъем революционного движения всколыхнул Огарева. Он «забунтовал» по выражению Герцена. Он написал статью-воззвание к студентам и потребовал, чтоб Герцен это воззвание подписал. «Вижу в этом необходимость — поднятие молодых сил и воскресение (в скором времени) заграничной типографии... Она [статья] с подписями дело необходимости — и только!» (письмо от 19 апреля 1869 г.). Отказ Герцена произвел очень тяжелое впечатление на Огарева и еще более приблизил его к Бакунину. Он отвечал Герцену, что если сил на новую борьбу у него нехватит, «то молодому поколению мешать все же не стану». Интересно отметить, что в то время как Герцен не видел никаких перспектив для дальнейшего существования заграничных изданий и обнадеженный помещением одной из своих статей в легальной «Неделе», предлагал и Огареву пойти по его следам, Огарев 30 марта 1869 г. писал: «... не верю я, caro mia, чтоб мы могли продержаться в русской печати под какой бы то ни было фирмою, а заграничная пресса остается необходимостью...».

В 1869 г. одним из основных лейтмотивов огаревских писем является мысль, что «заграничная пресса скоро понадобится», что настал новый период борьбы. Первое упоминание о С. Г. Нечаеве находим в письме от 7 апреля 1869 г. («русский юноша приехал...»), затем упоминания о «русском мужичке» «воу» становятся все чаще; чувствуется, что Огарев серьезно заинтересовался Нечаевым. Герцен, как известно, сразу же по отношению Нечаева занял отрицательную позицию. Но нам кажется, что письма Огарева и его некоторые критические высказывания о Бакунине дают основание считать, что союз с Бакуниным и Нечаевым не являлся для него союзом политическим в полном смысле этого слова, а скорее союзом стратегического порядка: в Бакунине и Нечаеве Огарев видел выразителей активной революционной силы, возможность новой революционной борьбы, противопоставляя их революционную «действенность» скептицизму и революционному пессимизму Герцена. Эту установку Огарева нельзя не расценить, с одной стороны, как глубоко положительную, в плане стремления Огарева к активной революционной деятельности, но в то же время, с другой стороны, несомненно, союз с Нечаевым и Бакуниным являлся серьезной политической ошибкой Огарева, и Герцен в своем отрицании бакунинско-нечаевских принципов был более прав и дальновиден, чем Огарев. Но этой теме должна быть посвящена отдельная статья, и мы не можем подробно разбирать ее здесь.

В письмах Огарева, помимо Бакунина, Нечаева и Серно-Соловьевича проходят и другие крупные представители тогдашней эмиграции, как-то: известный «князь-республиканец» П. В. Долгоруков, В. И. Кельсиев, Н. И. Жуковский, В. И. Касаткин, В. Ф. Лугинин и др.; встречаются отзывы о М. П. Погодине, И. С. Аксакове, М. Н. Каткове и других «вождях» противоположного лагеря, а также многочисленные отзывы о журналах, газетах, о некоторых литературных произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. А. Гончарова, Гл. Успенского и т. п., разбор различных экономических теорий. Кстати, надо указать, что вопросы экономики, в частности различные аграрные и финансовые теории, всегда очень интересовали Огарева, и это получило, конечно, достаточное отражение и в его письмах, и надо думать, что страницы, посвященные анализу той или иной экономической теории, дадут воз-

можность подробно разработать вопрос об экономических взглядах Огарева, вопрос, до сих пор почти не затронутый в нашей литературе.

В письмах Огарева много материала, так или иначе характеризующего жизнь русской эмиграции 60-х годов: типография Л. Чернецкого и взаимоотношения с ним С. Тхоржевского, продажа долгоруковского литературного наследства III Отделению, в лице «издателя Постникова», забастовка женевских рабочих 1869 г. и т. п. Из обилия кажущихся мелочей и случайностей легко восстанавливается общая картина эпохи и на ее фоне — картина жизни двух замечательных русских людей, их замечательной деятельности.

Единственной темой, которая проходит почти через все письма Огарева, является тема личного порядка — тема взаимоотношений с Н. А. Тучковой-Огаревой и Герценом и связанная с этим тема детей, Мальвиды Мейзенбуг, Мэри Сетерлэнд и т. п. Эта драматическая сторона жизни Герцена и Огарева достаточно полно была освещена как в опубликованных М. О. Гершензоном письмах Н. А. Тучковой-Огаревой, так и в письмах самого Герцена, т. е. другими словами по этому вопросу полностью высказались два участника; ныне же выступает и третий участник этой драмы — Огарев, письма которого в этом отношении имеют очень большое значение для окончательного выяснения всех деталей. Письма Огарева вносят необходимые коррективы, тем более ценные, что Огарев был единственным участником драмы, действительно оставшимся на высоте и показавшим образцы исключительно высокого человечески-значительного отношения и к своему другу, и к той, которая стала его женой.

Собственно говоря, о самой драме личной жизни Герцена — Огарева и ее перипетиях непосредственно говорится мало, но почти все первые письма фактически полны ею, эта тема проходит в них хотя и скрыто, но в то же время и довольно явственно. В письме, приблизительно датируемом 1857—1858 гг., Огарев говорит о своем желании уехать, скрыться в «пустыню», об ощущении надвигающейся гибели. Он молит, «чтоб мир сошел в наши в сущности неозлобленные души...» (письмо от 17 августа 1859 г.). Повидимому, Герцен советовал своему другу как-то отойти, оставить их, из чувства самосохранения, на что Огарев отвечал: «Внутренняя потребность спасти Натали из любви к ней, из любви к Лизе, из любви к Алексею Алексеевичу [Тучкову, отцу Н. А. — *Ю. К.*] может будет безуспешна; но не иметь ее и не действовать по ее побуждению не придает мне никакой силы, кроме силы самопрезрения...». Эта мысль варьируется на разные лады в целом ряде писем. Принесение себя в жертву ради «спасения» другого человека, — является одной из самых характерных черт Огарева как идеалиста 40-х годов, как «кающегося дворянина». А с другой стороны, Огарев, который «не мог отстать от привычки любить Натали», хорошо видел и теневые стороны личной жизни Герцена. «От нее [Натали. — *Ю. К.*] я еще не получал писем, но из твоего мне сдается, что между тобой и ей лежит чувство ненависти, которое ты только иногда усиленно можешь победить, из чувства долга, гуманности», — читаем мы в письме от октября 1860 г. Сейчас личность Н. А. Тучковой-Огаревой обрисована в литературе достаточно для того, чтобы признать бесспорной ее резко отрицательную роль в жизни Герцена и Огарева. Человек больших страстей и пристрастий, человек «невыносимо-тяжелого характера» — по характеристике Н. А. Герцен, она внесла очень много тяжелого в их жизнь. Из писем Огарева мы видим, что даже у него, человека исключительно кроткого характера, измученного бесконечными терзаниями, иногда срываются резкие слова по отношению к Н. А. Тучковой-Огаревой, и он ставит ультимативное требование, чтобы она «приняла на себя всю ответственность» за свои поступки, угрожая отказаться «от всякого участия в чем бы то ни было...». Смерть двух близнецов Лели-boy и Лели-girl в 1864 г., как известно, была новым осложняющим моментом в жизни семейного гнезда Герцена — Огарева; Н. А. Тучкова-Огарева восприняла это как кару за свои преступления перед богом и людьми, жизнь Герцена становится совершенно невозможной. «Жить эдак дальше нельзя, — пишет Огарев в одном из своих писем этого периода, — надо чем-нибудь разрешать». «Я старался все это время быть настолько мягким, чтоб как-нибудь был возможен серьезный разговор. Но он решительно невозможен», — пишет он в другом письме. Объяснить Н. А. — «что она разрушила семью и никто кроме нее не виноват в этом — и если другие поступают глупо или нехорошо, то это только последствия ее начала» — безнадежно, поскольку она «в своей добродетели уверена». И тут же рядом обычное огаревское самообвинение, самобичевание: «Это болезнь — и, не говоря уже о ней самой, я думаю, что мы оба виноваты в этой болезни, именно потому, что мы вели дело не терапевтически, не психиатрически, а страстно...». Ко всему этому прибавлялось и отрицательное отношение старших детей Герцена к Н. А. Тучковой-Огаревой, обусловившее такое положение, при котором никакой общей семьи создать было нельзя. Регулярно повторяемые попытки Н. А. Тучковой-Огаревой уехать в Россию, куда ее звала ее сестра Е. А. Сатина, крайне нервировали и Герцена и Огарева, поскольку Н. А. собиралась увезти в Россию и Лизу, которую страстно любили оба («Лиза составляет мое наслаждение», «такой привязанности к ребенку как к ней, у меня с роду не было», — признается Огарев), и письма Огарева, подобно письмам Герцена, полны

резких высказываний по поводу неуместного вмешательства Сатиных в их личную жизнь.

Особое место занимает тема детей — Саши, Таты и Ольги, не говоря уж о Лизе, тема их воспитания, и естественно, что Мальвида Мейзенбуг, приглашенная Герценом в качестве воспитательницы, занимает также достаточно много места в письмах Огарева, как в связи с ее разногласиями с Н. А. Тучковой-Огаревой, так и в связи с Ольгой Герцен, из которой она целиком сделала иностранку, совершенно изолировав ее от остальной семьи Герцена, что очень было неприятно для последнего, точно так же, как и для Огарева. В письмах 1869 г. много об истории Пенизи — Таты, многими своими чертами напоминающей историю Н. А. Герцен с Гервегом.

И, наконец, еще одна большая тема — проходящая в письмах Огарева — это тема Мэри Сетерлэнд, долголетней подруги Огарева, с которой он сошелся в 1859 г. и прожил до последних дней своей жизни. Сближение Огарева с Мэри Сетерлэнд, его желание «спасти» ее, сделать из нее настоящего человека (Мэри Сетерлэнд, как известно, была обычной лондонской проституткой), встретило резкие возражения Герцена, видевшего в этом эпизоде просто слабоволие и мягкосердечие Огарева и, повидимому, даже на первых порах требовавшего прекращения этой связи. Но обычно кроткий и уступчивый Огарев в этом случае оказал упорное сопротивление, гневно обрушившись на своего друга. Огарев писал: «Итак, мало того, что я живу sur le qui vive, что вот не сегодня — завтра, являясь лгуном перед женщиной, которую я выучил понимать по-человечески, я сведу ее на отношение девки на содержании и столкну ее в грязь и отчаяние, что не сегодня — завтра расшибу собственным кулаком существо, которое собственной дружеской рукой спас... Надо отказаться и от женской ласки, от ласки и наблюдения за развитием заброшенного ребенка [Генри — сына Мэри. — *Ю. К.*], который мне дорог, потому что я его спас — это все не для меня; я не имею права на личность — и должен отказаться от этого права, не ради земского дела, а ради хора [общественного мнения — *Ю. К.*]. О, Герцен, каких ты нечеловеческих усилий от меня требуешь!» (письмо от 2 октября 1861 г.). Письма Огарева дают очень любопытную картину этой борьбы за Мэри Сетерлэнд: несмотря на сильный напор Герцена, Огарев не отступает ни на шаг, твердо защищая свое право на личное счастье, на самопожертвование и «спасение» «погибшего, но милого создания». История с Мэри Сетерлэнд — для обрисовки психологического образа Огарева — по его письмам дает исключительно яркий материал. Но письма Огарева не дают разгадки, что же собственно представляла из себя Мэри Сетерлэнд. Отзывы о ней очень противоречивы. Целый ряд свидетелей (Н. А. Тучкова-Огарева, Герцен и др.) отзываются о ней весьма отрицательно и оценивают ее влияние на Огарева как погубное. В то же время мы знаем исключительно человеческое, заботливое отношение Огарева к ней. Его чувство к Мэри Сетерлэнд удивляет нас редкой чистотой и красотой человеческого отношения. История с Мэри Сетерлэнд — этот «последний акт... траги-комической жизни» Огарева, является в высшей степени показательной для всего духовного облика Огарева, в его удивительной законченности и цельности, — в смысле соответствия психологии раннего Огарева — мечтателя и идеалиста 40-х годов и позднего Огарева — революционера 60-х годов.

Еще одну тему стоит отметить, поскольку она занимает довольно значительное место в письмах Огарева — это его тяжелые материальные условия жизни, его зависимость от субсидий Герцена и присылок из России от Сатиных, которые часто задерживались, что создавало для Огарева иногда крайне затруднительное положение. Богатейший русский помещик, освободивший восемь тысяч крепостных, раздававший своим друзьям деньги направо и налево, под конец жизни сильно нуждался, был принужден напоминать своим «должникам» о денежной помощи.

Подводя итоги всему сказанному, мы хотели бы еще раз подчеркнуть большое историко-литературное значение этих писем, глубокую психологическую насыщенность, делающие их настоящими человеческими документами, рисующими Огарева как писателя, политического деятеля и человека замечательной нравственной высоты, сумевшего пронести ее через все испытания времени. Огарев в этих своих письмах встает перед нами удивительным образом мечтателя-гуманиста, плоть от плоти, кровь от крови замечательной плеяды людей 40-х годов, но в то же время не остановившегося в своем росте, не свернувшего вправо, как сделали многие из его спутников юности, а ставшего борцом-революционером, достойным соратником Герцена, по праву занимающим в истории России место рядом с ним.

Письма публикуются по подлинникам, хранящимся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, полностью, без каких-либо купюр, с приведением посылаемых Огаревым стихотворений. Основные особенности орфографии оригиналов соблюдены, за исключением явных описок и тех случаев, когда точное следование оригиналу затрудняет правильное понимание смысла. В комментариях часто встречаются ссылки на полное собрание сочинений А. И. Герцена под редакцией М. К. Лемке — причем в целях экономии места оговариваются только номер тома и страницы.

1

[Апрель 1856 г.]

Натали[1] потребовала карандаш, а я взял перо. Положим, что писать легче; я думаю, что это и правда, по крайней мере, для меня, плохо говорящего, и очень правда. —

Во-первых, для меня нет жертвы в отношении к тебе, я готов пожертвовать не только жизнью, но совестью. Да тут нечего говорить о жертвах, тут просто трагическое положение, потому что оставить тебя я не в силах, а оставить патера[2] одного, окруженного враждебно — холодно, — страшно больно. Но что бы то ни было раз навсегда: во мне не сомневайся. Натали, может, вдвое больнее, но и в ней не сомневайся; она и для тебя и ради памяти нашей сестры[3] готова на все.

Но теперь выйдем из страстной постановки вопроса и поставим его логично, рассудительно.

Мы хотим составить семью; но тут является чуждый элемент. Возможно ли при этом условии составить семью? — Ответ прост: невозможно, как ни старайся. Так же невозможно, как составить nitrate d'argent в присутствии водохлорноты.

Мы хотим делать для детей что-то будто доброе, будто хотим дать им home. Да разве мы его составим в присутствии разъединяющего начала? Разве и теперь уже Оленька[4] не доведена, не знаю как, до того, что избегает здороваться и прощаться с Натали? Разве ты не видишь удвоенных стараний М[альвиды][5] привязать к себе исключительно детей и, таким образом, поставить преграду к сближению с нами? Разве ты не видишь, что с недавнего времени, в противуположность даже ее собственным принципиям не рассеивать Тату[6], чтобы не мешать ученью, — она спешит окружить ее удовольствиями, хотя бы и были манкированы уроки? Разве, наконец, Оленька предназначена быть чужою в нашей семье, что ты отданием ее М[альвиде] хочешь задобрить М[альвиду], чтоб не было никаких неприятностей? Разве ты думаешь, что с твоей стороны не благодарно сказать дружески и благородно, что тебе нельзя с целью составить семью раздвоить детей и навлечь на них самих все маленькие мученья домашней распри, ревности и противуположности стремлений в людях, от которых дети зависят? Она, т. е. М[альвида], конечно, настолько благородна, чтоб понять это и устраниться, хотя не настолько благородна, чтоб начать самой с того, чтобы отойти и сделать это действительно, а не так, как в ее 1-м письме, которое только усложнило, а не упростило вопрос. — М[альвида] поступает страстно (а потому и дурно) из любви к тебе и к Оле. Да дети-то чем же тут виноваты? Им-то за что готовить страдания дуализма домашнего? Как Оля ни мала, в ней скоро можно развить отвращение к нам, а переделать это будет трудно.

По моему мнению, допускать чувство благодарности до таких пределов, т. е. вне всяких пределов, и ставить его выше спокойствия и счастия детей и семьи — грешно! Было бы грешно, хотя бы М[альвида] и вдвое больше для тебя сделала.

Ты боишься, что M-me Engelssohn[7] и consorte обвинят тебя в неблагодарности? — Ты, который презираешь этих подлецов, ты хочешь жертвовать их мнению спокойствием семьи? — Не понимаю! Это безумие! Вдобавок хорошие люди из круга М[альвиды] — косо смотрят на ее поведение в этом случае, а тебя не обвинят в неблагодарности.

Ну! положим, что мы так все будем жить вместе. Ссор не будет, а двойство отзовется на детях. Натали пользы им принесет мало. Ре-

зультат был бы польза — вред, и, жертвуя спокойствием старика, Натали ничем не поможет ни тебе, ни детям. Il faut qu'une porte soir ouverte ou fermée.

Твое дело выйти из этого положения твердо, спокойно и благородно. Что за радость навести М[альвиду] посредством ссоры, ou en la trouvant en défaut, к тому, к чему можно придти чистым человеческим словом и решением?

Прочитай, подумай, пойми мою мысль и любовь к тебе, и давай еще переговорим. Но, не переговоривши со мною, — ни слова М[альвиде] — ни даже плечом. Не надо из чистого дела делать грязную сплетню. Не надо из важного вопроса семьи делать предмет празднoглагольствия.

Письма Н. П. Огарева и Герцена начала 60-х годов или так называемого «лондонского» периода их жизни довольно трудно поддаются точной датировке. Малое количество ответных писем Герцена, опубликованных в «Полном собрании сочинений» под ред. М. К. Лемке, и преобладание в письмах этого времени личных моментов и общефилософских тем, приводит к тому, что датировка производится часто на основании случайных фраз и данных, на основании созвучия психологической темы и т. п., что, конечно, не может служить абсолютно точным показателем. Поэтому в некоторых случаях приведенную датировку приходится считать условной, хотя указание на год, а в иных случаях и на месяц — дано с точностью, не вызывающей сомнений в ее правильности.

Первое письмо, которым начинается данная публикация, нужно ориентировочно датировать 1856 г., т. е. годом приезда Н. П. и Н. А. Огаревых в Лондон к Герцену. Оно целиком посвящено теме столкновения, возникшего в семье Герцена почти тотчас по приезде Огаревых. Это столкновение между Н. А. Тучковой-Огаревой и воспитательницей детей Герцена, — Мальвидой Мейзенбуг.

[1] Тучкова-Огарева Наталия Алексеевна (1829—1913) — с 1849 г. жена Огарева; в марте 1856 г. выехала вместе с ним в Англию; с 1857 г. жена Герцена.

[2] Повидимому, Тучков Алексей Алексеевич (1800—1879) — отец Н. А. Огаревой. Всегда поддерживал тесные связи с Герценом и Н. П. Огаревым. В 1857 г. был в Лондоне, а в 1865 г. виделся с ними в Женеве; помогал транспортировке герценовских изданий в Россию. В «Былом и думах» и в своей переписке Герцен очень положительно отзывается об А. А. Тучкове.

[3] Герцен (урожд. Захарьина) Наталия Александровна (1822—1852) — дочь старшего брата отца Герцена — А. А. Яковлева и Ксении Ивановны Захарьиной. С 1838 г. — жена Герцена.

[4] Герцен Ольга Александровна (род. в 1850 г.) — вторая дочь Герцена, впоследствии замужем за французским историком Габриэлем Моно.

[5] Мейзенбуг Мальвида-Амалия (1816—1906) — немецкая писательница. В 1852 г. эмигрировала в Англию. В апреле 1853 г. познакомилась с Герценом и 9 ноября 1853 г. переехала в его дом, где стала воспитательницей дочерей Герцена — Наталии (Таты) и Ольги, и «руководительницей» всего дома.

После приезда Огаревых была вынуждена в мае 1856 г. оставить семью Герцена. В 1859 г. сделала попытку вернуться. В 60-х годах была воспитательницей младшей дочери Герцена, Ольги, с которой она жила в Италии; у нее часто гостила и старшая — Тата. Переводчица «Былого и дум» на немецкий язык (Ганновер, 1856 г.) и автор ряда художественных произведений. Наибольший интерес представляют ее «Мемуары идеалистки», ч. I, — 1869 г., ч. II — 1875 г., ч. III — 1876 г. В русском переводе со значительными сокращениями — издание «Academia», Л. 1933 г., в переводе Н. А. Макшеевой. Несомненно, Мейзенбуг сыграла большую роль в жизни Герцена, хотя и не всегда положительную. Герцен высоко ценил Мейзенбуг как воспитательницу, хотя иногда и очень резко отзывался об ее «идеалистическом тупомудрии». Высказывания Н. П. Огарева в комментируемом письме несомненно, находятся в большой зависимости от отрицательного мнения Н. А. Тучковой-Огаревой, которой Мейзенбуг не понравилась с первого взгляда. В результате столкновения Н. А. Тучковой-Огаревой с Мейзенбуг Герцену пришлось выбирать кого-то одного из двух. Конечно, выбор был ясен, тем более, как мы здесь видим, этого требовал и Н. П. Огарев.

[6] Герцен Наталия Александровна (1844—1936) — старшая дочь Герцена.

[7] Engelssohn — Энгельсон (урожд. Штевен) Александра Христофоровна — жена В. А. Энгельсона, одного из первых русских эмигрантов. В 1850 г. вместе с мужем выехала за границу, где встретилась с Герценом. В ссоре Герцена с Энгельсоном сыграла хотя и маленькую, но достаточно неблаговидную роль. После смерти Энгельсона в 1857 г. дальнейшая ее судьба неизвестна.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ГЕРЦЕНА К ОГАРЕВУ ОТ АПРЕЛЯ 1856 г.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

2

Le 2 Septembre [1857—1858 гг.][1]

Я эти дни думал о другом. Этюду для поэмы я сделаю в прозе, т. е. напишу — исключительно для тебя — не мемуары, а мою исповедь[2]. Тяжелое дело, а я страстно в него вдумываюсь. Покончу две статьи, и еду на неделю. Я чувствую, что здесь я не могу настроиться как следует. Помоги мне сделать это гладко, т. е. отъезд. Я глубоко сознаю, что он будет полезен, а то я как-то гибну, без внутренней causae sufficiens — а гибну. Я думаю, что тут что-то патологическое — в этом бессилии сладить с обстоятельствами и надо несколько дней одиночества, чтоб собраться с духом. Ведь и Моисей и Иисус — посильней меня — а уходили в пустыню.

Четверг. Сегодня ты, вероятно, приедешь. Погода чудесная; с утра, т. е. теперь, хорошенький туман, а к полудню и до ночи — настоящее лето. Вчера несколько слов мы говорили с Нат[али]. Я объяснял ей, что я требую, что̀ меня огорчает, а тебя раздражает — т. е. жестокость и непонимание и неуважение к людям и жизни; объяснял, что я требую сознания и любви. Она говорит — откуда же взять любви; я объяснял, что как любовь приводит к сознанию, так и сознание приводит к любви, что эти два элемента совпадают etc. . . Она очень кротко слушала; ей хочется что-то исправить; с детьми она лучше, даже терпелива, а внутренно каждому детскому проявлению дает значение совершеннолетнего преступления. Вот отчего так трудно. Еще раз умоляю — попробуй не употреблять иронии ниже в шутку, будь осторожен до учтивости, может это, давши n дней покоя, — наведет на настоящую дорогу, — и из внешнего мира вырастет внутренний союз. Может быть!? — С Татой сегодня поговорю; в ней многое угловато.—

Сейчас иду пить кофе, бьет 9 час[ов] с колокол[ьни]. Я встаю рано, погода лучше и здоровье лучше, а от какой-то нравственной тягости я не могу избавиться и перейти к поэтической деятельности. Сомнение ли в себе — или вечная задняя мысль какого[-то] страха перед ежедневной жизнью — не знаю. Чувствую, что causae sufficiens — серьезно нет, а что-то мимоходно патологическое. Нужен отдых пустыни. Но надо прежде многое покончить для «Колокола». Под пустыней я понимаю не больше недели, и то, если бы это произвело дурное впечатление — не поеду, возьму всю внутреннюю силу и стану работать как случится.

P. S. С Татой не говорил.

[1] Датируется условно — по содержанию. Начало письма не сохранилось.

Письмо, повидимому, написано в самый разгар личного конфликта Герцена — Огарева — Н. Тучковой-Огаревой. Как известно, к концу 1856 г. относится сближение Герцена и Н. Тучковой-Огаревой, закончившееся их браком.

[2] О какой поэме пишет Огарев, неясно; всего вероятнее, речь идет о поэме «Ночь», посвященной Герцену и Н. А. Тучковой-Огаревой, или же об «Исповеди лишнего человека». Обе они относятся к 1857—1858 гг.

3

Середа [17 августа 1859 г.][1]

Park House — Fulham

Герцену

Получил твое письмо утром. Как горячо хочется, чтоб мир сошел в наши в сущности неозлобленные души! Жду еще письма или тебя. Марко Вовчок[2] будет в понедельник, для «Колокола» ты мне необхо-

дим: я отдал половину моей статьи [3], которая, кажется, займет вдвое более места, чем нужно. — Вчера обедали у меня Тхорж[евский] [4] и Кал[ечковский] [5], который славный человек, хотя мы в экономических началах с ним, очевидно, смотрим врозь. — Губернатор [6] уехал в Париж вследствие амнистии. Сегодня в газетах амнистия всем существующим журнальным амандам [7]. Тассин[ари] [8] очень сердится на все это. Я ему помогаю, но внутренно мне смешно. А ловкий господин император! [9] Captain Cotton [10] был у меня, убежден в честности садовника, но à contre coeur соглашается, чтоб мы его с квартиры согнали. Поехал в Шотландию стрелять тетеревей и оттуда тебе напишет о мебели; из Шотландии, должно быть, оценка всего удобнее. Прощай! пора на почту.

Середа

Наташе

Кажется, моя Наташа, у тебя светлей на сердце. Тебе хотелось бы, чтоб и я приехал. И мне бы хотелось, но я думаю, что нам лучше всем съехаться в Лондоне. Право, работы гибель; нельзя разъезжать. Мне случается работать от 10 час[ов] утра до 7 вечера, и все не поспеваешь. Статья, а тут три корректуры подъехали, насилу справился. О собственной работе (стихоплетной) и думать нечего. Вместо того, чтоб приехать мне, присылай мне Герцена, он для «Колокола» неизбежен. А порешим оный вопрос, может и рассудим съездить в Вентнор [11]. Посмотрим. Пока об одном сплю и вижу — чтоб в твоем сердце был мир любви и в твоем уме — ясное и спокойное и теплое понимание людей, детей и вещей. Крепко целую тебя и Лизу [12]. Что ж Б[лагосветлов] [13] любит Лизу?

Детей и Сашу [14] целую.

[1] Датируется по письмам Герцена к М. А. Маркович от 24 августа (т. X, стр. 84) и к Н. П. Огареву от 19 августа (т. X, стр. 79).

[2] Марко Вовчок (псевдоним Маркович Марии Александровны, 1834—1907) — известная писательница, в конце 50-х и начале 60-х годов жившая в Англии, Франции и Германии. В августе 1859 г. посетила Герцена. Об этом посещении см. «Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой». Герцен, как известно, высоко ценил ее литературный талант.

[3] Повидимому, статья Н. П. Огарева «Комиссии для составления положения о крестьянах», помещенная в «Колоколе» (51—54, 1859 г.).

[4] Тхоржевский Станислав — польский эмигрант с 1845 г., участник революции 1848 г. В начале 50-х годов поселился в Лондоне, где открыл книжную лавку, обслуживающую польских эмигрантов. Ближайший сотрудник Герцена по изданию и распространению его изданий. В 1865 г. вместе с Герценом переехал в Женеву, поселившись в доме Герцена, и до его последних дней был одним из ближайших друзей семьи Герцена.

[5] Калечковский — польский эмигрант.

[6] Губернатор — не выяснено, повидимому, какой-то французский эмигрант.

[7] В августе 1859 г. правительство Наполеона III, заигрывая с либеральной оппозицией, объявило амнистию журналистам, привлеченным по разным делам о печати.

[8] Тассинари — итальянец-эмигрант, повар Герцена, рекомендованный ему Мадзини.

[9] Наполеон III.

[10] Captain Cotton — лондонский домовладелец.

[11] Вентнор — городок около Лондона, летнее местопребывание семьи Герцена.

[12] Лиза Герцен — дочь Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой (1858—1875), окончившая жизнь самоубийством в 1875 г. См. «Архив Огаревых», ГИЗ, М. — Л., 1930 г., «Лиза Герцен и Летурно», стр. 129—247.

[13] Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — известный публицист и издатель. В 1857 г. уехал за границу, где сблизился с Герценом и даже одно время преподавал его детям. Принимал участие в «Колоколе». Из Англии переехал в Париж, где слушал лекции в Сорбонне. По возвращении в Россию с 1860 г. редактор «Русского Слова». С 1866 г. по 1880 г. редактировал «Дело».

[14] Герцен Александр Александрович (1839—1906), старший сын Герцена — известный физиолог, с 1877 г. — профессор физиологии во Флоренции, с 1881 г. — профессор в Лозанне.

4

Четверг вечером.
[Конец августа 1859 г.][1]

Надежды много, друг! так много, как я и не ожидал. Беру каждое жесткое слово назад. Наконец, я нашел опять то теплое, благородное и чистое существо[2], которое я знал прежде. Все усилия употреблю поддержать, поставить на настоящую высоту, на наш уровень — и надеюсь, может быть и верю. Прими эти строки к сердцу. —

Б[откин][3] здесь. И он скорбит о встрече с Гр[игоровичем][4]. — Он очень хорошо все понял, и ты клеплешь на него в последней записке. Давеча в 9-м часу утра на квартиру Натали (я забыл тебе написать) явился Куломз[ин][5] — я велел ему сказать: I am engaged. А он и прежде приходил к Натали спрашивать, когда приедет К[ельсиев][6]; на что Натали ему велела отвечать, что она никакого К[ельсиева] не знает. Он, говорят, рассердился, а все же явился искать меня в 9-м часу утра И откуда это пронюхал, что я тут, я только успел переночевать! Экие наглецы!

Жду в субботу, остаюсь до понедельника.

[1] Письмо датируется концом августа 1859 г. из сопоставления писем Герцена и Н. П. Огарева этого времени.

[2] Речь идет, повидимому, о встрече Н. П. Огарева с Мэри Сетерлэнд, лондонской проституткой, которую Огарев решил «спасти» с лондонского дна. Эта попытка происходила вскоре после расхождения с Н. А. Тучковой-Огаревой. В письме к Герцену от двадцатых чисел августа 1859 г. (см. «Русские Пропилеи», в. 4, М., 1917 г., стр. 210—211), Огарев писал:

«Оскорбленный и измученный я не знал, куда деваться, и чем жестче были отношения N[atalie] к тебе, к детям и скоро ко мне, тем сильнее хотелось хоть минуту побыть в какой-нибудь кроткой обстановке жизни, чтобы вздохнуть свободно. Fancy — вероятно, в смысле ложного — помогла и куда же, ты думаешь, меня выперло? Я, как дурак или Мельгунов, врезался в погибшее, но милое создание. И стыдно и смешно за самого себя: и когда подумаешь о возможных последствиях для N[atalie], если бы она догадалась, то становится страшно и больно, что вот тебя и прихлопнет трагический fatum. А между тем, мне хорошо: положим, что это все fancy и ложь, а у меня на сердце стало легче... на долго ли?». Далее Огарев подробно излагает историю своего знакомства с Мэри Сетерлэнд, анализируя свое отношение к ней и его перспективы. «Дал ли я погибшему, но милому созданию, — заканчивает он письмо, — моей нежностью повод к дружелюбному чувству, моим обращением с ней и с ее ребенком, которого она раз приводила мне показать, или дал ей этим повод думать, что я как-нибудь да пристрою ее с ребенком, и она ухватилась за эту доску спасения, — я и сам не разберу. Знаю только, что мне и страшно, и больно, и хорошо, и стыдно. Между тем, мы стали видеться почти ежедневно; это сделалось для меня какой-то горько-сладкой необходимостью...». Мэри Сетерлэнд осталась подругой Н. П. Огарева до самой его смерти.

[3] Боткин Василий Петрович (1810—1869) — литератор, автор «Писем из Испании», друг Белинского и Герцена в 40-х годах. В 50-х годах неоднократно приезжал в Лондон, где часто виделся с Герценом и Огаревым, но постепенно они расходились, и в 60-х годах всякие сношения между ними прекратились.

[4] Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — известный писатель, в 1859 г. был в Лондоне. В письме к М. К. Рейхель от 4 августа 1859 г. Герцен писал: «Теперь здесь Бот[кин] и Григорович; последнего советую лучше читать, чем смотреть и слушать...» (т. X, стр. 63).

[5] Куломзин — повидимому, Анатолий Николаевич (1838—1924), автор «Поземельной подати в Англии» (СПб., 1861 г.) и ряда статей по экономическим вопросам в «Вестнике Европы». Впоследствии товарищ министра государственных имуществ.

[6] Кельсиев Василий Иванович (1835—1872) — литературный и общественный деятель 60-х годов. В мае 1859 г. приехал в Лондон и вскоре примкнул к Герцену; помогал ему в издании «Колокола», изучал русский раскол, предполагая использовать его в революционных целях; издал «Сборник правительственных сведений о расколе». В марте 1862 г. ездил в Россию с паспортом турецкого подданного Василия Яни для объединения всех революционных сил. Вернувшись в Лондон, стал

главным сотрудником «Общего Веча». Заочно приговорен к изгнанию из России навсегда. Разойдясь во взглядах с Герценом и Н. П. Огаревым, осенью 1862 г. уехал в Константинополь, а затем в Тульчу и в Яссы. В мае 1867 г. добровольно отдался в руки русских пограничных властей, был арестован, написал подробную «Исповедь» (см. ее в № 41—42 «Литературного Наследства») и получил полное прощение со стороны царского правительства.

5

[Начало октября 1859 г.][1]

Для чего я, лежа в постели, взял лист бумаги и пишу к тебе — сам не знаю. Во 1-х, неудобно. Но, во 2-х, совершенно не хочется спать, М[альвида] ушла домой давно. Я был с ней очень любезен, но — inter



МЕСТО КЛЯТВЫ ГЕРЦЕНА И ОГАРЕВА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Фотография

Литературный музей, Москва

nos — ведь она набита не знаю чем, а в сущности глупа, как пробка. Но я ее люблю; она искреннее существо, заключившее свой кругозор в фразах, заученных от разных деятелей, но сердце у ней безыскусственное и немногосложное. Ольга — ничего себе — была весела; да ей, в самом деле, грустить не о чем, и отъезд Лизы уравновешивается чувством свободы, роздыха, того нервного наслаждения, которое я чувствую, когда грозно-сырая туча проходит, и я начинаю дышать по-человечески. Наташа — другое дело. Она грустна. Мне самому по горло тяжело, от этого я с ней невольно был очень нежен, и я чувствую, что она это поняла, хотя, оставшись одни, мы говорили о равнодушных предметах. Нет! тут сердце, и хорошее сердце чуется невольно. Из нее выйдет очень благородная и любящая женщина и далеко не глупая, несмотря на то, что формы еще не сложились, как у жеребенка.

Главная мысль у меня о Натали и о Лизе; но тут идет борьба: или я задушу эту мысль, или она меня задушит. У! как тяжело-то! А как она была мила на прощанье! Неужто Натали ничего не поймет? Что твое путешествие — надежда или каторга? Я в этом затерялся. Это одно из тех данных, вследствие которых мне не жалко умереть.

А, между тем, как я еще разбросанно юн. Сегодня я целую ночь видел во сне — кого бы ты думал? — Душеньку [2]. Боже ты мой! сколько юного чувства и юной любви вызвал во мне этот давно промелькнувший образ, красивый до бесконечности, так что мне не раз приходит в голову идеалистическая мысль, что я, в сущности, окромя никого не любил, а любил также ни за что ни про что. А чего ни было в этом бесконечно красивом образе — и магнитический взгляд, и каждое движение полное магнитизма нежности, кротости, грации, такта, благоволения — а вышло, наверно, барыня и архи-барыня, т. е. архибестия, на что также виднелись задатки. Чего же требовать от остальных? Ведь изящнее — кроме Наташи, я, ей богу, ничего не знавал.

Сколько глупостей вышло из меня, когда она окончательно вышла замуж — самому стыдно вспомнить. — А любила меня действительно в жизни, говорю по непосредственному убеждению, — одна женщина, и эта женщина была б . . . ., и ее я пожертвовал черт знает чему вместо того, чтоб помочь ей вздохнуть по-человечески. Фу! какая мерзость! — А теперь это все поздно. Тело, переходя в патологию старости, если и создает что-нибудь вроде любви, то это на минуту: страсть тотчас переходит в чувство очень тихой и светлой дружбы, может, с примесью самодовольствия нравственного покровительства. Это чувство, может, выше всего остального, но юности в этом нет. — Да я и не плачу о юности, бог с ней! Это только сон меня растревожил на эту тему. — А плачу я, как скоро перехожу на другую тему и вижу светлый образ ребенка, и чувствую, что его исказят до проклятия.

[1] Датируется условно, по совпадению темы с письмом Н. П. Огарева к Герцену от октября 1859 г. («Русские Пропилеи», в. 4, М., 1917 г., стр. 216).

Основная тема — взаимоотношения с Н. А. Тучковой-Огаревой и детьми Герцена: Ольгой, Татой (здесь Наташей) и Лизой, в связи с предполагаемой поездкой Н. А. Тучковой-Огаревой на континент. Повидимому, письмо адресовано в Брюссель, где тогда с 1 по 5 октября находился Герцен с сыном Александром.

[2] Сухово-Кобылина Евдокия Васильевна (ум. 1893 г.) — сестра известного драматурга А. В. Сухово-Кобылина и известной писательницы Евгении Тур; раннее увлечение Н. П. Огарева; впоследствии вышла замуж за Михаила Федоровича Петрово-Соловово.

6

Суббота [Сентябрь 1860 г.] [1]

Вот и Саша приехал и привез от тебя письмо. По твоему совету, что следует поправил в моей статье [2] сию минуту, и Колокол сегодня будет окончен. — Писем нет.

Что сказать тебе? Саша приехал — меня не было дома. Я ходил к Чернецкому, к Jozeau [3] и, совершив огромное путешествие, пришел домой около 10 час[ов]. Саша явился вскоре. Мы говорили о Тате и решили, что 2 кварт[иры] и Miss Reeve представляют наиболее шансов. Решили... это не то слово, а полагаем. Вопрос воспитания больше всего ставит в гамлетовское положение, где думаешь много, а решаешься ни на что. Много мы не могли поговорить серьезно. В продолжение этих дней я постараюсь поговорить. Боже ты мой — не чуждость, а невозможность, с одной стороны, убедить, а с другой — принять живое участие с его точки зрения, — вот что мешает. Выходит

какая-то смесь военно-дипломатического отношения, через которое пересадить в искреннее и разумное не хватает ловкости, да и только. Наша публицистическая и логическая специальность — делает то, что мы способны только учить и проповедывать, а стать на место пациента, принять участие в его боли и радости и aus ihm heraus вести его к самодеятельному развитию — нет уменья. Этого-то я боюсь и со стороны Miss Reeve. Проповедь надоест девочке, а она способна ли спуститься до жизни ребенка, чтоб вместе с ним развиваться до степени собственного штандпункта?.. вот в чем вопрос. Вся практическая задача воспитания в этом. Положим, что на 3 месяца куда ни шло. А потом?.. А потом надо приискивать соучастниц школы для 16-летних и 10-летн[их] девочек. Управлять школой — общим советом, каждая воспитательница должна иметь свою специальность, и предоставить ровесницам свободу саморазвития. По-моему, всякий другой выход более фантастический, чем этот.

Покой не возвращается к тебе. Ты боишься, что я толку воду и утрачу силы... На этот счет бабушка надвое сказала. Я вношу и сюда(?). Да не распущенность ли sui generis толковать об утрате сил, и не призрак ли это? Что я преследую мучительную задачу — может, невыполнимую, — быть может, а если б я ее не преследовал — это было бы подло и уронило бы мои силы в моих глазах. Да утрачиваю ли я силы? Тогда, когда я жил в большом покое — было ли их у меня больше? Факты говорят противное. Да возможен ли этот идеальный покой? Нет — стало, главное дело даже и из диссонантов жизни сделать элемент для деятельности, или употребляя их на усиление силы протеста, или принимая их в помощь. Равнодушное, или лучше — бездушное отталкивание личностей, с которыми судьба ставила близко, — скорее способна создать силу бессилия Печорина, чем действительную гуманную силу. Мне кажется, что собственно мои границы деятельности и труда — гораздо больше в организме, имеющем свои привычки и устали, — чем в трагедии жизни. Я не знаю, я не могу утвердительно сказать, чтобы я стал больше или лучше работать среди незыблемого покоя. По крайней мере — это больше остается в подозрении, чем на деле. Спроси себя — когда ты писал свои лучшие вещи? Подумай и отвечай сам себе. Это не значит, чтоб трагедия нужна была для развития силы; это значит только, что когда она есть, то от этого еще силы не пропадают, потому что, несмотря ни на что, сила убеждения и пропаганды поглощает все элементы, как здоровый желудок разрабатывает всякую лишнюю пищу, и нельзя сказать, чтоб особенная гигиена могла служить к развитию вкуса и живой деятельности человека. Да и в потребности покоя и равнодушия к личностям, яко к суете мирской, пожалуй, лежит такая доля устали, что от этого силы не поднимутся. Задача в том, чтоб уметь страдать, не теряя ни на волос бодрости.

Что касается до другой обузы[4]... Как знать, Герцен — страна на страну не приходится, и человек на человека не приходится. Может быть присутствие женской ласки для меня составляет одну из насущных потребностей, и отсутствие ее скорее бы уронило мои силы в грязь, чем бы подняло их. Мешать — до сих пор оно мне не мешало. Передвижению с места на место оно мне не помешает, потому что, когда будет нужно, я принесу эту жертву. Заброс же с моей стороны был бы равно подел и внутренно поставил бы меня в трагическое положение — бросить то, что любишь, и окончательно перестать уважать самого себя. Моя воля была бы неволей, если б я поступил противно желанию и убеждению. От отсутствия слепых и иных страстей до отсутствия сердечной жизни — еще бесконечно далеко.

Внутренняя потребность спасти Натали из любви к ней, из любви к Лизе, из любви к А[лексею] Ал[ексеевичу] — может будет безуспешна; но не иметь ее и не действовать по ее побуждению — не придаст мне никакой силы, кроме силы самопрезрения. В течение жизни этой силы накопилось довольно; иная сила заставляет меня прожевывать и проглатывать самопрезрение, бодрствовать и работать в общем деле; но придать еще величину к самопрезрению — это положить руки на самого себя. Я не отстану от Колокола, не отстану от выполнения затаенных планов по части искусства, — но я не отстану и от Лизы и Натали, ни от иной обузы, — и не верю, чтоб заброс их придал мне силу, и не верю, чтоб старание спасти и охранить их отняло у меня на волос — какой-нибудь человеческой силы.

Если что мне мешает и отнимает силу — это глубоко скрываемые мной дикие похоти, которые введены привычками жизни, мучат мысль и сны, и от которых не всегда хватает силы ускользнуть de facto. Я не аскетик — конечно, но есть доля во мне, которая исключительно грязь — и это д е й с т в и т е л ь н о мешает. Это составляет безумие, смешное по возрасту и оскорбительное по пониманию...

А все, в чем есть сторона благородства, поверь — как бы оно трагично поставлено ни было — оно не мешает развитию, не мешает силе, а только расширяет понимание, потому что холодный скептик-мыслитель все же остается и работает.

[1] Датируется условно по сопоставлению с другими письмами 1860 г. (приглашение miss Reeve для воспитания детей и пр.).

[2] Повидимому, статья Н. П. Огарева — «Труды комиссии для устройства земских банков» (напечатана в «Колоколе», л. 81).

[3] J o z e a u (Жозо) — француз, содержавший в Лондоне не то кабинет для чтения, не то кафэ, в котором можно было читать французские газеты.

[4] Речь идет о Мэри Сетерлэнд.

7

Четверг [Сентябрь 1860 г.] [1]

Час пополудни. Чернецкий до сих пор не получил от тебя корректуры. Это плохо, как бы не задержать Колокола! — Твою окончательную смесь [2] послал с стариком. — Напрасно ты нападаешь на меня за милосердие к M-me Tassin[ari] [3]. — Немилосердие хорошо, где есть надежда на исправление, а глупость неисправима. Одно, что следовало бы — избегать столкновений с нею. А это не всегда возможно, стало, надо subir.

Да... насчет Б[иггсов] [4] ты прав. Что же делать? Ума не приложу. Почему девочки [5] не сближаются — тоже не знаю. Школу в месяц не заведешь. В Италию в месяц не уедешь. Я вчера был у Miss Reeve [6] — показать ей стихи Агреньевой [7] (The book of my girlhood), не застал. Да и она... не слепец, конечно; ум положительный, а едва ли практический. Целый день стану думать. Уйду куда-нибудь. Простуда получше, но все не по себе.

Ты говоришь, отчего я теряюсь, что нет писем. Очень просто: 9-го они должны были уехать и разъехаться [8]. О чеке и посылках нет ответа. Для меня это довольно странно. Если ты хочешь меня этим утешить — то это лишнее, caro mio. Я так не надеюсь на утешения, что совершенно не ищу их; иметь достаточно силы, чтоб жить и работать, а в иной час безумно посмеяться — и sufficit. А на то внутреннее утешение — на развитие близких, на гармонию жизни, я отлагаю попечение. Будет с меня — тебя.

В этот «Колокол» об Австрии уже не поспеет [9].

Русские, т. е. Кас[аткин] [10], Ст[адницкий] [11], Чернец[кий] и Тхор[жевский] сбираются к тебе на той неделе и меня зовут. Может, и съезжу, не знаю. Если вгрызусь в проект банка — едва ли. Если почувствую, что это не мешает — поеду.

«Петербургская [в оригинале рисунок] — саранча» [12].

Середнего слова я решительно не разобрал, копирую его с фотографической точностью, но понять не могу.

Писал к Тур[геневу] и Кашп[ерову] [13]. — Продержу корректуру раскольников [14] и пойду — primo к миленькой Лугининой [15], а потом к поэтихе. Я хочу ее отговорить печататься; пусть созреет. Есть вещи



ВИД НА МОСКВУ С ВОРОБЬЕВЫХ ГОР

Литография по рисунку А. Дюрана, 1844 г.

Литературный музей, Москва

хорошие, а есть из рук вон плохие; надо побольше самокритики. Муж будет петь, а я послушаю.

Прощайте пока.

[1] Датируется условно по содержанию соответствующих писем Герцена 1860-го года (темы: приглашение miss Reeve и «австрийская» тема в «Колоколе».

[2] «Смесь»—специальный отдел в «Колоколе», содержащий мелкие заметки и статьи.

[3] M-me Tassinari — жена повара Герцена, с которой в 1860 г. возник ряд недоразумений, о чем, повидимому, и говорит здесь Огарев.

[4] Биггсы — богатая английская аристократическая семья, которую хорошо знал Герцен и у которых до приезда Огаревых в Лондон часто жил Саша Герцен и другие дети Герцена. Позднее, в 60-е гг., Герцен продолжал поддерживать дружеские отношения с Биггсами. О Биггсах см. «Былое и думы», гл. 16 «Роберт Оуэн».

[5] Девочки — Тата и Ольга Герцен.

[6] Miss Reeve (Рив), Эмилия — знакомая М. Мейзенбуг, рекомендованная ею Герцену в качестве воспитательницы Таты. В октябре, повидимому, вопрос был решен положительно — miss Reeve стала воспитательницей Таты. В письме Герцена к М. К. Рейхель от 6 сентября 1860 г. читаем: «При Тате, над Татой т. е., будет miss Reeve, женщина гениального ума» (т. X, стр. 411).

[7] Возможно Агреньева З. А., сотрудница «Голоса» и др. петербургских газет 1863—1877 гг.

[8] В мае 1860 г. Н. А. Тучкова-Огарева уехала из Лондона в Германию, вместе с Лизой и Татой, для свидания с приехавшими из России Н. М. Сатиным и его женой Еленой, родной сестрой Н. А. В Германии Н. А. пробыла вместе с Лизой до середины сентября, и только в декабре вернулась в Лондон. Это свидание знаменовало очень серьезный критический момент во взаимоотношениях Герцена, Огарева и Н. А. Тучковой-Огаревой. Это было одной из первых, серьезных попыток порвать с Герценом и уехать в Россию, попыток, неоднократно повторявшихся впоследствии. В «Русских Пропилеях» опубликован ряд писем Н. А. Тучковой-Огаревой к Е. А. Сатиной, подробно освещающих этот эпизод.

[9] В 1860 г. происходит сближение России с Австрией, результатом чего явилось так называемое «Варшавское свидание» (см. дальше). Естественно, что «Австрийский вопрос» занял достаточно большое место в «Колоколе» и в переписке Герцена и Н. П. Огарева. В «Колоколе» (л. 82 от 1 октября 1860 г.) была помещена первая статья на «австрийскую» тему: «Последний удар». Повидимому, об этой статье и пишет Огарев.

[10] Касаткин Виктор Иванович (1831—1867), участник революционного движения 60-х гг. С 1860 г. — эмигрант, помогал Герцену в издании «Колокола».

[11] Стадницкий — польский эмигрант, живший в 60-х годах в Лондоне.

[12] Статья Герцена «Бого-мокрицы и бого-саранча».

[13] Кашперов Владимир Николаевич (1827—1894) композитор 50—70-х гг., профессор Московской Консерватории. Знакомство его с Огаревым относится к половине 40-х гг. В 1849—50 гг. Огарев написал либретто к опере Кашперова «Цыгане». В 60-х гг. знакомство Огарева с Кашперовым продолжалось.

[14] Повидимому, корректура первого выпуска «Сборника правительственных сведений о раскольниках», составленного В. Кельсиевым и изданного в Лондоне в 1860 г.

[15] Лугинина — возможно, сестра В. Ф. Лугинина, Мария Федоровна Лугинина, позднее по мужу Безак.

8

[Сентябрь 1860 г.][1]

...невольно на дне всего и заставляет шире и верней понимать свои и чужие страдания, оценивать коллизии и, становясь выше собственной боли, записывать всему causa sufficiens и выводить из наблюдения — формулу жизни.

Я простужен. Кашель не давал спать. Лепешки ли Жизо или просто исход болезни, — но сегодня спал хорошо, и лихорадки почти нет. Стало, и это не мешает.

Писем нет. Если до четверга не будет, — я пошлю кого-нибудь на поиск. Напиши к Мар[ии] Касп[аровне][2], видела ли она Елену[3] при обратном проезде? В этой форме запрос сохранит тонкую дипломатичность, которая, если не скроет истины, то помешает неприглашенным расспрашивать о ней.

Вчера послал тебе предисловие к Голосам[4]. Жажду ответа. Если много надо поправлять — пришли не к Чернецкому[5], а ко мне. Пора Голоса в свет. Сегодня милое письмо от Сер[но]-Сол[овьевича][6]: кланяется тебе. Но милее всего письмо от Ан[ненкова][7], которое посылаю; а портрет пришлю в другой раз. Не могу с ним расстаться; он так смешон, что составляет мою отраду. Но не похож на Гарибальди, а, скорее, на Robert Macaire[8], когда он говорит: J'ai eu tort, mais je lui ai pardonné. Дай еще взгляну — ну просто прелесть: голова кверху, руки в штанах, штаны в складках... Ай да немцы! Новый способ карикатуры посредством фотографии.

Что-то я больно расписался. Прощай пока, обними детей и себя. Мальвиде посылаю Гернани[9]. Тебе Норд[10].

Касат[кин] внизу работает над стихами, т. е. приводит рукописи в порядок. Можно будет издать книгу бесцензурных стихотворений разн[ых] автор[ов][11] в хронологическом порядке.

Саша ушел по комиссиям и к Уриху[12].

Вечером пойду к Морд[винову?][13].

Лейпц[игские] книги посылаю. Revue des 2 mondes должно быть до понедельника. Библиотеку получил; с Сашей пришлю. Приеду ли с К° в субботу — сам не знаю.

Тассинари я выдал 3 лив[ра] для уплаты за уголь и 4 лив[ра] на дом. Посему взял у Тр[юбнера] [14] еще 10 ливр[ов]. Чорт знает, кажется, никуда не тратил, а деньги уходят. Я не знаю, как смотреть за расходами; ревизию книг не хочется принять на себя, пожалуй, навру. Но все же постараюсь сокращать.

[1] Датируется условно по содержанию соответствующих писем Герцена 1860 г. Начало письма не сохранилось.

[2] Рейхель Мария Каспаровна (1823—1916) — дочь К. И. Эрна, близкий друг Герцена с детских лет. Вместе с Герценом выехала за границу, разделяла все его скитания до 1849 г., когда вышла замуж за композитора А. Рейхеля. До приезда Огаревых была наиболее близким другом Герцена. С 1857 г. по 1867 г. жила в Дрездене, а с 1867 г. — в Берне. Между Герценом и М. К. Рейхель все время происходила оживленная переписка. В 1909 г. вышли ее мемуары: «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней Герцена».

[3] Сатина Елена Алексеевна — сестра Наталии Алексеевны Тучковой, вышедшая замуж за друга Огарева — Н. М. Сатина. В 1860 г., приехав в Германию, была у М. К. Рейхель, виделась с Н. А. Тучковой-Огаревой.

[4] Голоса — «Голоса из России», непериодическое издание, в котором Герценом публиковался различный материал, зачастую «дискуссионного» характера, присылаемый из России. Первый № вышел в 1856 г. Всего вышло девять книг. Огарев говорит о своем предисловии к VIII книге «Голосов», вышедшей в 1860 г.

[5] Чернецкий Людвиг — польский эмигрант, участник революционного движения. С самого основания «Вольной Русской Типографии» — ее заведующий. Вместе с С. Тхоржевским — ближайший помощник Герцена по издательским делам. В апреле 1865 г. переехал в Женеву, где в середине 1866 г. Герцен передал ему в собственность всю типографию, которая с 1867 г. стала называться «Типографией Чернецкого». В этой типографии печатались все герценовские издания. После смерти Герцена, в 1872 г. Чернецкий принужден был продать свою типографию.

[6] Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866) — участник революционного движения 60-х годов. В 1860 г. приезжал в Англию.

[7] Анненков Павел Васильевич (1813—1887) —известный литературный критик. В 1860 г. приезжал в Англию, где виделся с Герценом и Н. П. Огаревым.

[8] Robert Macaire — персонаж мелодрамы «L'auberge de Adrety» (1826 г.) и пьесы «Роберт Макэр» Бенжамена Антьера и Фредерика Леметре (1834 г. — тип разбойника-джентльмена.

[9] Гернани — «Эрнани» Виктора Гюго, одна из его ранних романтических драм (1829 г.).

[10] «Nord» («Север») — полуофициозный орган русского правительства, издававшийся на французском языке в Брюсселе, под ред. Н. П. Поггенполя. В его субсидировании принимал участие и известный откупщик Кокорев. Полное название: «Le Nord, journal quotidien. Edition de la poste». Первый номер вышел 1 июля 1855 г.

[11] Повидимому, речь идет об изданном в 1861 г. сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» с предисловием Огарева.

[12] Урих — муж дочери Филиппа-Фридриха-Вельгельма Фогта (1789—1861), профессора медицины Бернского университета, к которому был очень близок Герцен в бытность свою в Швейцарии. В его дочь — Эмму Урих — был в 1860 г. влюблен А. А. Герцен и хотел на ней жениться. Но отъезд Эммы в Америку расстроил этот брак. Герцен был против столь раннего брака сына, что видно из его переписки этого периода. Об увлечении А. А. Герцена Эммой Урих см. воспоминания Т. П. Пассек и Н. А. Тучковой-Огаревой.

[13] Морд[винов?] — не выяснено.

[14] Трюбнер Николай (1817—1884) — английский издатель; был издателем и распространителем изданий Герцена.

9

[Двадцатые числа сентября 1860 г.] [1]

Письма от тебя не было. Бени [2] хочет переводить Шервуда [3] и придет сегодня советоваться. Вчера был господин из Якутска, старичок; он говорил, что дело Беклемишева [4] у них понимают так, что,

вследствие публичных насмешек Неклюдова над связью Муравьева[5] с актрисою Дунькою — было такое киванье головой или пожатие плечом, или иной знак, по которому camarilla решилась извести его во чтоб ни стало. Петрашевский[6], на которого Мур[авьев] был сердит также за libell, по отъезде Мур[авьева] в Петербург, стало, в его отлучку, был схвачен, возим разными путями и сослан на поселение за Красноярском в захолустье, в 40 верстах от города Минусинска. — Бак[унин] служит в частной компании, потому что Мур[авьев], покровительствующий ему и обещавший отцу его жены — совершенное освобождение Бакун[ина], еще не имел права поместить его в казенную службу.

Вот тебе и все.

Погода мерзейшая.

Думая и работая — я натыкаюсь на соображения по моему вопросу, которые *n* научных наименований сводят на очень простые формы, кажется мне, очень ясные в упрощенном виде. Все это ужасно увлекательно. Я думал помузицировать в уединении, но и к клавиру не подхожу. И слава богу, а то бы сам себе помешал.

Я отделываюсь от сатириазиса просто собственной решимостью. Как ты от импотенции?

Вчера я заходил к одной женщине. Что это, Герцен! Комната в 2 ярда в подвале, с печью; темно и душно. Одна постель на полу и 2 стула. На постели сидят дети; старшей девочке лет 16, меньшой грудной мальчик. Всего 8 человек, мать 9-я. И все дети милы, и комната чиста. В тот день, когда М[эри][7] в 1-й раз к ним пришла, — семья была полтора дня не евши. Понимаю, отчего это называется у нас английской болезнью; у одной из девочек ноги согнуты, главная причина ее — недостаток пищи, стало, нищета, стало в Англии einheimisch[8].

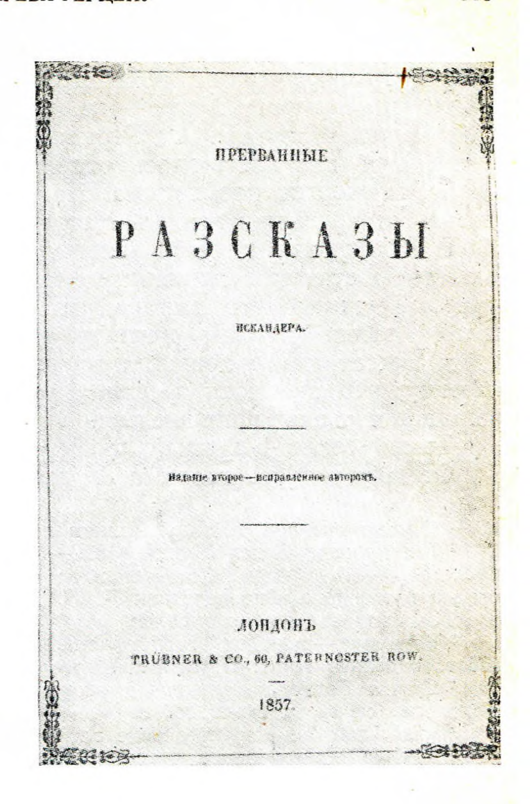
[1] Датируется по письму Н. П. Огарева к Герцену от 19 сентября 1860 г. («Русские Пропилеи», в. IV, стр. 240—246).

[2] Бен[н]и Артур-Вильям Иванович (1840—1867) — участник революционного движения 60-х годов. Поляк по национальности. В 1858 г. познакомился с Герценом. В 1861 г. выехал в Россию, как «эмиссар» Герцена, разошелся там с членами местных революционных кружков, был обвинен в шпионаже; в 1864 г. выслан из пределов России, участвовал в походе Гарибальди и умер от ран 27 декабря 1867 г.

[3] Шервуд Иван Васильевич (1798—1867) — провокатор в деле декабристов. В 1860 г. в Берлине у Ferdinand Schneider вышла книга «Шервуд — из записок генерал-майора Б. П.», принадлежащая перу И. П. Барк-Петровского. Бенни, повидимому, очень быстро перевел эту книгу на английский язык, так как в л. 83 «Колокола» от 15 октября 1860 г. имеется указание, что «Шервуд» переведен на английский язык и что издатель Трюбнер наметил его издать отдельной книгой.

[4] «Делу Беклемишева» отведена большая часть № 2 «Под суд» (от 15 ноября 1859 г.). Здесь помещено письмо из Иркутска о дуэли члена совета главного управления Восточной Сибири Ф. А. Беклемишева с чиновником особых поручений Неклюдовым, кончившейся смертью последнего. Автор корреспонденции рисует эту дуэль, как замаскированное убийство, организованное чиновничьей камарильей во главе с Беклемишевым, и говорит о темной роли в этом деле генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева. В защиту Беклемишева и Муравьева выступил М. А. Бакунин, находившийся тогда в Сибири и написавший длинное письмо к Герцену от 1 декабря 1860 г. (см. «Письма М. А. Бакунина к Герцену и Н. П. Огареву», Женева, 1896 г.). «Колокол» неоднократно обращался к делу Беклемишева, так, например, в л. 82 от 1 октября 1860 г. в «Смеси» имеется специальная заметка «Тиранство сибирского Муравьева», в которой читаем: «Дело Беклемишева и Неклюдова открыло нам такое обилие поклонников Сибирского Муравьева, что мы даем им новый случай показать свою преданность и если можно объяснить человечески— почему по отъезде Муравьева Петрашевский был схвачен и сослан на поселение за Красноярск, верст 40 от Минусинска...» Герцен не имел твердого и устойчивого мнения о деле Беклемишева, и в № 6 «Под суд» в июле

ОБЛОЖКА КНИГИ ГЕРЦЕНА «ПРЕРВАННЫЕ РАССКАЗЫ»


ПРЕРВАННЫЕ

РАЗСКАЗЫ

ИСКАНДЕРА.

Издание второе — исправленное автором.

ЛОНДОНЪ

TRÜBNER & CO., 60, PATERNOSTER ROW.

1857.

1860 г. появилось большое письмо в защиту Беклемишева. До сих пор дело Беклемишева полностью не выяснено, но, повидимому, точка зрения Н. А. Белоголового, доставившего Герцену обвинительный материал против Беклемишева и Муравьева, была более верна, чем мнение Бакунина.

[5] Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809—1881) — известный государственный деятель. С 1847 г. генерал-губернатор Восточной Сибири. В 1854 г. присоединил к России левый берег Амура и заключил в 1858 г. Айгунский договор. Покровительствовал М. А. Бакунину.

[6] Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866) — глава кружка «петрашевцев», находившийся тогда в ссылке в Иркутске.

[7] Мэри — Мэри Сетерлэнд.

[8] Об этом эпизоде упоминается в письме Н. П. Огарева к Герцену от 19 сентября 1860 г.: «Я перед вечером видел эту бедную женщину; она действительно образованная женщина, хотя с некоторым религиозным оттенком, выращенным страданием. У детей сегодня не было хлеба (что, впрочем, поправлено), живут они в подвальной кухне; обуви нет» и т. д. Эпизод крайне типичный для Н. П. Огарева.

10

Четверг [Начало октября 1860 г.][1]

Странное дело, ваше превосходительство, почему ж ты думаешь, что Пикулину[2] легко ехать в Борнмаус[3], надо в расчет взять его здоровье и карман. Я думал, что ты сегодня приедешь. Если Пик[улин] поедет в Борнмаус — посмотрю, может и приеду, чтоб, наконец, покончить эти вызывания, происходящие от непонимания краеугольного основания нравственности: «Не делай для ближнего больше, чем он сам для себя желает». Но все же я посмотрю: если состояние Пик[улина] такое, что его параличное расстройство будет сильно реагировать на мои нервы и фантазию, то не поеду; эдак можно в 4-х часовой дороге дойти до обморока, и своим обмороком испугать больного человека до

смерти, т. е. до нового удара. Если ж ничего — то поеду. Вероятно, вынесу, потому что, во всяком случае, напьюсь в полпьяна, иначе я на железную дорогу и бус — не решусь.

Письмы N[atalie]... О! Герцен, Герцен, может, и в самом деле лучше, чтоб она жила здесь отдельно, только чтоб не терять Лизы из виду. Эта жертва необходима. Но я еще надеюсь, потому что не могу отстать от привычки любить Натали.

В «Колокол» ничего больше не войдет. Чернец[кий] выбросил было твою статью о лошадях [4] для того, чтоб поместить статью о цензуре [5]. Я уж кой-что вымарал из крестьянской статьи [6], чтоб сделать место, потому что ты цензуру предписывал поместить непременно. А так как статью о лошадях позже печатать глупо, то я написал Чернецкому, что она хоть тресни, а полезай. Аминь, аминь глаголю — заочно вести типографию нельзя.

Темно стало — прощай, пойду погулять.

Стадниц[кий] сейчас был. У тебя статья Цебрикова? [7] или нет?

[1] Письмо датируется по указаниям на «Колокол» (л. 83 от 15 октября 1860 г.).

[2] Пикулин Павел Лукич (1822—1885) — врач, близкий приятель Т. Н. Грановского и его кружка; был женат на сестре В. П. Боткина. В 1855 г. посетил Герцена в Лондоне. Впоследствии П. Л. Пикулин несколько раз бывал за границей, но с Герценом больше не виделся.

[3] Борнмаус — городок около Лондона, в котором поселился Герцен, осенью 1860 г., отдельно от Н. П. Огарева.

[4] Статья Герцена «Александр второй Наполеону третьему — четыре лошади» в «Колоколе» от 15 октября 1860 г.

[5] «Еще цель и еще стеснение слова» (там же).

[6] Статья «Разграбление крестьян Архангельской палатою государственных имуществ посредством введения незаконного налога».

[7] О какой статье Цебрикова идет речь — неясно; но несомненно, что это Цебриков Николай Романович — декабрист, некролог которого был помещен в 1862 г. в л. 147 «Колокола».

11

8 окт[ября 1860 г.] [1]

Вот уже и «Норд» пришел, очень пустой, а писем из Лозанны нет [2]. Чорт знает что такое. Как-то страшно, чтоб еще чего по дороге не подвернулось. Судьба так же глупа, как Иегова. Что-то завтра!

Вчера работал отлично и утром и вечером; проснулся в 7-м часу и, лежа в постели, мысленно продолжал работу и заснул опять. В 8 проснулся с такой тяжелой дурацкой головой, что вот до сих пор (12½) не могу ничего делать да и только; пойду гулять и оставлю работу до после обеда. Пойду отыскивать Пикул[ина]. — Вот тебе записка, писанная внизу двумя господами, которые в 10 час[ов] приезжали в кабе. Что это его рука или нет? Квартиры не сказали. Глупо! Мне бы хотелось его видеть и обнять. Я привык его любить; ты его меньше знаешь, а я с ним с 47 года беспрерывно был вместе. Записку мне Тас[синари] принес, когда они опять сели в каб и поехали. Ну! он не виноват. А я в окно не мог разглядеть, как ни старался. Что-то не похоже на П[икулина].

Вчера был де Азарт [3]. Человек очень милый, родившийся в Одессе, но с 48 г[ода] остался за границей, потому что его обвинили в участии в Феврал[ьской] революции и в республиканском образе мыслей, потому что он к отцу писал на бумаге с красной бордюркой. Во избежание всех зол он и не поехал в Россию, имея достаточное состояние, чтоб жить всюду. А теперь уж отвык. Ему лет 30 с небольшим. Он, повидимому, принадлежит к фаланстеру. Не глуп и не Сологуб [4], но русское рождение оставило одно хорошее — отвращение от француз-

ского гения централизации и фразерства. Дело Одесское [5] приготовлю «Под суд». Оно превосходно нелепостью.

Милую Тату цалую и Ольгу милую. Да! вчера в 9 час[ов] утра приходил Боке [6] и, поговорив с Тас[синари] об итальянских делах, ушел, уверенный, что мы оба не в Лондоне. — Пошел гулять, встретил Ко̀рвина сына [7].

Вот и все.

Касат[кина] в субботу проводил, т. е. вечером был у него, посадил в каб и ушел.

Невыразимо я глуп сегодня. А досадно, потому что дело идет хорошо, т. е. работа. Прощай! —

Был еще Владим[ир] Шахов [8], какой-то дворянск[ий] предводитель и жалел что нас нет, но дал Тас[синари] свое имя под величайшим секретом. Что это такое? Не помнишь ли ты это имя в каком-нибудь из губернских протестов? Или наоборот — из дворянских притязаний?

[1] Датируется по октябрьским письмам Герцена 1860 г.

[2] В Лозанне в это время находилась Н. А. Тучкова-Огарева, приехавшая туда после свидания с сестрой Е. А. Сатиной.

[3] Де-Азарт — лицо, впервые упоминающееся в переписке Герцена и Н. П. Огарева; никаких сведений о нем найти нам не удалось.

[4] Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882) — известный писатель 40-х годов, автор «Тарантаса».

[5] Несомненно, речь идет о помещенной в № 10 «Под суд» (от 1 ноября 1860 г.) статье «Дело Гамалея, президента одесского коммерческого суда».

[6] Боке Жан Батист — участник революции 1848 г. в Париже, затем эмигрант в Лондоне; был близким человеком в семье Герцена, занимался с его детьми. Последний раз виделся с Герценом в Париже в 1870 г. за несколько дней до его смерти.

[7] Корвин-Вербицкий Отто-Юлий Бернгард (1812—1896) — немецкий политический деятель, участник революции 1848 г. В 1855 г. поселился в Лондоне.

[8] Кто такой Шахов — выяснить не удалось.

12

Окт[ября] 9-го [1860 г.] вечером [1]

Пишу наскоро, днем не успел.

Письмо от Nat[alie] получил. Я им не так доволен, как бы хотелось. Но тут выздоровление борется с болезнью. Из приписки я вижу, что оно писано прежде, но прежде чего — не знаю. Может, завтра будет другое. Один результат есть — это повиновение ко мне, но, вообще не то, чего ждалось. От этого я не посылаю тебе письма. Не надо. Я все же предвижу победу и пошлю тебе то письмо, которое ее вполне скажет. Может она к тебе особо писала. Не знаю.

С домом ты фантазируешь [2]. Кто ж его наймет? А между тем № 23 не годится; а хозяин 38 детей и себя выведет, только если ты возьмешь весь дом; иначе дети будут тут. — Разве в эти 4 комнаты поместить наших детей, а нам остаться в № 10? — Или решись пожертвовать 20 фунт[ов] за ноябрь и с ноября переехать в новый дом. Тхоржевского не видал; думал, что он придет вечером; но нет. — У Чернец[кого] был и статью отдал, будет напечатана.

Приедешь ли ты к пятнице для свидания с этим Н. С.? Не понимаю, кто такой. Все глупо, что за мистерии; давно можно было написать, что едет, мол, такой-то. А то initiales — вишь, как их Николай Павлыч [3] пробрал!

А между тем, министр финансов публично читал отчет о кредитных учреждениях за 1859 год.[4] Вот и на Неккера[5] сворачиваем, хотя и не совсем, потому что кредит[ные] финансы.

Шинель послана.

А. Долгорукий[6] сплетник и bornitr.

Статью об Овене[7] жду.

Свою пишу[8]; но вот что. Чем дальше в лес, тем больше дров. Может я ее к 1 ноября не кончу. Я только знаю, что она необходима в возможно скором времени, и потому усердствую; но опять испортить спехом не хочу. Рассчитывай так — что 2 Колокола будут без моей статьи, и мешать мне другой работой тоже будет не честно.

Озяб. Голове лучше. Пойду чай пить. Прощай!

Да будет над всеми вами благословение во имя приятного сна.

[1] Датируется по октябрьским письмам Герцена 1860 г.

[2] В октябре 1860 г. Герцен и Н. П. Огарев усиленно искали новую квартиру в Лондоне.

[3] Николай Павлыч — Николай I.

[4] В октябре 1860 г. тогдашний министр финансов, А. М. Княжевич, впервые публично читал отчет о кредитных учреждениях за 1859 г.

[5] Неккер Жан (1732—1804) — известный французский государственный деятель эпохи Людовика XVI; министр финансов, сторонник соглашения с «третьим сословием».

[6] Долгоруков Петр Владимирович (1816—1868) — публицист и историк-генеалог, эмигрант.

[7] Оуэн Роберт (1771—1858) — английский экономист-утопист; в данном случае речь идет, несомненно, о главе «Былого и дум», озаглавленной «Роберт Оуэн», которая была написана в октябре — ноябре 1860 г.

[8] Возможно, что Огарев говорит о статье «По поводу проекта положения о присяжных поверенных», помещенной в л. 93 «Колокола», а может быть, о статье «Финансовая реформа» — см. следующие письма.

13

Суббота [Октябрь 1860 г.][1]

4 часа. Никого не было. Зачем это Пик[улин] присылает таких скотов, которые боятся оставить имя и адрес! Эк их с детства жандарм пришиб, так что до сих пор пахнет дурью.

Посылаю письмо Бобор[ыкина][2]. Напиши прямо и я напишу прямо в Берлин... Или нет — пришли ко мне. Я спрошу у Стадниц[кого] адрес Касатк[ина] и тогда пошлю. Еще во вторник успеется.

Посылаю еще курьезное письмо — не письмо, а чорт знает что и без конца, присланное не знаю кем по городской почте. Это курьезно! Что случилось на этом месте с автором будущего трактата о Франц[узской] революции?

Посылаю курьезный приказ Игнатьева[3], который я приготовил к будущему Колоколу. Если что придумаешь лучше — то обделай. Надо эдак обухом тресануть.

Колокол вышел и послан к тебе.

Получил кучу материалов с разных сторон, но не успел пересмотреть. Что нужно — пришлю к понедельнику.

Собственную статью[4] подвинул далеко. Ничего не читаю, чтоб не портить логической нити, а как кончу — примусь за чтение. Мне кажется, что я действительно наткнулся на действительный анализ кредита и ergo на экономические основанья для данного времени и данной страны. Жажду кончить и показать тебе. Как это будет скоро — не знаю; кажется, близко...

От Н[атали] писем нет еще.

Всех вас целую.

[1] Датируется по октябрьским письмам Герцена 1860 г.

[2] Боборыкин Николай Николаевич (1812—1883). — С 1843 г. жил за границей, изучал иностранную литературу. Герцен был знаком с ним в Москве. Впоследствии — цензор.

[3] Игнатьев Павел Николаевич, граф (1797—1879) — петербургский генерал-губернатор с 1854 г. по 1861 г. Приказ № 169 от 19 сентября 1860 г. требовал ношения арестантами особых шапок, которые закрывали верхнюю часть лица — «для сбережения чувства стыда». Этот приказ Игнатьева высмеян Герценом в «Колоколе» от 1 ноября 1860 г. («Политические маскарады Игнатьева»).

[4] Повидимому, статья Н. Огарева «Финансовая реформа», опубликованная лишь в 1862 г.



ГЕРЦЕН

Гравюра М. Леммеля, 1860-е гг.

Литературный музей, Москва

14

Воскресенье [14 октября 1860 г.][1]

Завтра тебе пошлется IX кн[ига] голосов[2]. Я требую, чтоб ты как можно скорее и как можно с большим вниманием прочел ее и решил бы — с именем Унковск[ого][3] или без имени печатать обертку. Не глупо ли без имени, потому что слишком очевидно его; не опасно ли с именем? Но — очевидно, статью прислали в 2-х экземпл[ярах] не для секрета же. Подумай хорошенько, а я завтра же пришлю несколько слов: от редакции вместо предисловия, которые ты переправь как хочешь, сообразуясь с вопросом: с именем или без имени?

Я бы послал тебе многое из присланных вещей; но не успел пересмотреть. Вчера вечером такая головная боль поднялась, что едва мог справить корректуру и прочесть присланное Благосветл[овым], из которого посылаю его «Правда ли»[4] — очень глупо, и записку генерала Павловского[5] — прелесть! Потом он прислал стихи = 0. Остальных вещей не смотрел. Ходил сегодня к Девилю[6], но... он положительно за-

нят одним вопросом — руганьем англичан. Я к нему ходил и ради головы и ради ногтя; большие ногти на ногах принимают такое утолщение, что больно ходить. Ну! ногтю он помог. О голове поговорили — буду делать по его — до переписки с Фогтом[7], т. е. принимать цинк, что по моему = 0 и пр. и пр. Но это чорт знает что за чувство раздробленья черепа, так что в зноб, т. е. в лихорадку бросает. Куда тут ехать по железн[ой] дороге, душа моя, когда и в кабе больно... и думать нечего. — Но сегодня все же лучше, и очень, очень лучше. Кроме головной боли, потому не читал рукописей, что занят своею. Так близко подошел к важнеющей задаче, что вот маленький дифференциал и выеду на решение ясное, как 2 · 2 = 4. Задача именно в отношении меновых знаков к массе товаров, или к числу обменов произведений. Я пришел к заключению, что когда одна серия, т. е. обмен товара на товар (непосредственно), начинается с одного случая, следст[венно], с 1, то меновой знак не существует, т. е. = 0. Следст[венно], мы имеем две серии, одна, начинающаяся с 1, другая — с 0 и его ergo отношение логарифмическое. Вот развитие этого страшно трудно, я прекращаю занятия и иду гулять, ибо без вдохновения не поймешь.

Кельсиев привез свое предисловие[8]: *n* страниц. Тоже еще не читал. Страшно начать. Он ужасно хвалит Дубровина[9], говорит, что он очень умен и начитан, переводит с франц[узского] превосходно, гораздо лучше, чем он, Кельсиев, и принадлежит к здоровому поколению, где есть жаж[да] дел без самолюбия. На днях пойду смотреть его, но прежде надо прочесть предисловие.

Пикулинские скоты не были. Напиши к М[арии] Кас[паровне][10] — чтоб она известила Пук[улина], что, мол, за срам в Лондоне не давать ни имени ни адреса. — Еще кто-то подобный и многие подобные ходят. Тас[синари] не умнее Жюля[11] и своей жены в отношении приходящих. Я решился всех адресовать к Тхоржевск[ому] и оный приказ занатырю * Тас[синари] насколько могу, ибо он плохо понимает. — В № 38 дети будут иметь особый выход, стало, на 2 недели не велика важность нам ли, Тате ли там поместиться. Это ты реши, когда приедешь. Заранее нечего торговаться. —

Чтож еще — ничего. От N[atalie] ничего нет. Целую вас всех и иду гулять. Ужо Черн[ецкий], вероятно, будет. Дьякон[12] дал статью о монастыр[ском] крепостн[ом] праве. Это пойдет в дело.

[1] Датируется по октябрьским письмам Герцена 1860 г.

[2] IX книга «Голосов из России» вышла приблизительно 1 ноября 1860 г. В ней была помещена записка о крестьянской реформе, принадлежавшая А. М. Унковскому. В предисловии издателя сообщалось, что записку «приписывают Унковскому», и добавлялось: «Если это правда, то мы просим прощения у почтенного автора, что печатаем ее без его согласия».

[3] Унковский Алексей Михайлович (1828—1893) — известный общественный деятель, стоявший во время крестьянской реформы во главе левого либерального крыла земцев.

[4] Возможно, что это — заметка в «Смеси» («Колокол», л. 86, от 1 декабря 1860 г.) под заглавием «Крузенштерн, Нолькин, плюхи, линьки, обязьяна и Анкудинов», говорящая об издевательствах над матросами и заканчивающаяся вопросом «правда ли», обращенным к великому князю Константину Николаевичу и другим руководителям морского ведомства.

[5] Записка генерала Павловского была помещена в л. 84 «Колокола» — циркулярное распоряжение о порядке поздравления кадетами директора корпуса со днем рождения, подписанное генерал-майором Павловским. Дмитрий Михайлович Павловский — инспектор классов Константиновского кадетского корпуса.

[6] Девиль — английский врач, лечивший Герцена и Н. П. Огарева.

[7] Фогт — см. комментарий к письму № 8.

[8] Повидимому, к уже упоминавшемуся «Сборнику правительственных сведений о расколе».

* Так в тексте.

[9] Под этой фамилией в 1860 г. жил в Лондоне и работал в качестве наборщика в герценовской типографии участник революционного движения 60-х годов Михаил Степанович Бейдеман (ок. 1840—1887).

[10] Мария Каспаровна Рейхель.

[11] Слуга Герцена.

[12] Агапий Гончаренко. Одна из колоритнейших фигур лондонской эмиграции. До 1860 г. был дьяконом при русской посольской церкви в Афинах; корреспондировал в «Колокол». В 1860 г. появился в Лондоне; работал наборщиком в Вольной Русской Типографии. В сентябре 1861 г. уехал на Восток, а в начале 70-х гг. появился в Америке. В Сан-Франциско издавал журнал «Свобода». Огарев посвятил ему стихотворение «Издателю «Свободы» в Сан-Франциско» («Хотя я стих переменил немного...». Его статья «Монастырское крепостное право» напечатана в «Колоколе» от 1 октября 1860 г. (л. 86).

15

Понедельник [Середина октября 1860 г.][1]

Бессмертный Крупов, но не утешительный! Всего страшнее то, что, кроме безумных индивидов, есть безумная среда, подчиняясь которой, личные ненависти не могут разойтись, а личные привязанности иной раз не смеют сблизиться; эта безумная среда пародирует под названием долга, и что еще страшнее: отними это безумие, т. е. чувство долга, и безумие переходит в бред дикий, где все нипочем — нож и яд и т. д. От нее[2] я еще не получал писем, но из твоего мне сдается, что между тобой и ей — лежит чувство ненависти, которое ты только иногда усиленно можешь победить, из чувства долга, гуманности etc... А чувство ненависти, как и чувство любви (во всех видах, не исключая вида дружбы), гораздо глубже, чем просто разность или одинаковость образа мыслей, глубже, т. е. реальнее, — это физьологическое явление, которого пределы — радость поцалуя и отвращение от прикосновения. А побеждать физьологию трудно, или надо перейти в новое патологическое (физьологически) состояние безумия, чего достигали христиане, воздерживаясь от употребления женщин, несмотря на эрекцию, и евши г.... во имя господне. Не будь этого реального физьологического чувства, ты бы подождал, что скажут следующие письмы, и не призывал бы в воображении повторения сцен с детьми, чтоб тотчас разъехаться. С скорбью вижу из этого, что может лучше начать с какого-нибудь seven Oaks'a, чем подвергать разрушению даже возможный внешний мир; при физьологической основе он бессознательно разрушится. Только зачем же 7 Oaks? Надо выбрать место, куда бы мне было удобно ездить; я желаю следить за Лизой не столько из чувства долга, сколько из физьологического настроения любви. Бывают времена, когда мне легче, и я мог бы приехать даже в Борнмаус, и я этого не сделал просто потому, что моя работа была мне дороже поездки в Борнмаус; но иногда мне бывает так тяжело, что поездки становятся невозможными. Я у тебя просил прощенья, потому что писал записку с чувством рассерженности, а я это чувство считаю пошлым. Пожалуй, я зарублю, что надел на себя цепь, вероятно, моим образом жизни с раннего возраста, что обусловило известный вид болезни. Твои мигрени, напр[имер], наследственные, и ты не можешь сказать, что ты надел на себя цепь, — судьба надела. Но странно, что ты грубый патологический факт, как напр[имер], что человек без ног ходить не может, поймешь; а чуть патологическое явление потоньше, ты не можешь понять боли, которой сам не чувствуешь. Опять du gleichst dem Geist den du begreifst! Но милый мой мастер философии да «on ne peut pas petter plus haut que le cu» — тебе это уж стыдно; тем более, что спор наш об этом предмете может решиться только точ-

нейшим изучением патологических явлений нервной жизни, или вскрытием черепа, если б в нем нашелся эксудат между дурой-матерью и сорокой-матерью, что̀ не так невозможно, как с первого взгляда тебе покажется. А что я поеду на край света, если это для кого или для чего-нибудь нужно, да это не только в теперешнем положении болезни, но будь она в 40/т[ысяч] раз мучительнее, велю положить себя на носилки и нести куда нужно. — Теперь же болезнь если и не в 40/т[ысяч] раз, но порядком надоела. Эта постоянная ноша в мозгу, доходящая до положительной боли — скучна; но я пересилить ее могу, при всяком спокойном, не слишком быстром, движении и жить с ней можно, и думать можно, и работать с надлежащим отдыхом, что̀ я наблюдаю, несмотря на то, что от этого много времени уходит даром.

Зачем ты мне прислал Игнат[ьева] [3]? — Я и своим и твоим недоволен; я затем и послал, чтоб ты подержавши придумал что-нибудь хорошее. Твоим я недоволен, потому что не знаю, зачем впутывать Австрию? Об Австрии придется говорить серьезно, или оставить ее в стороне. Результат конференций [4] совершенно неизвестен, и я думаю, что они скорее делаются под влиянием Наполеона, чем что другое. Киселев [5] и Штакельберг [6] перед поездкой в Варшаву имели переговор с Наполеоном; русские газеты бранят Австрию, а «Норд» опровергает даже известие об отозвании Штакельберга из Турина [7], на том основании, что его в Турине давно нет и потому нельзя было его отозвать. Если же в виду какой-нибудь сент-альянец [8], то надо тебе приготовить не мимоходную заметку, а еще статью. — А если этого нет? Что же за ридикюлитет сражаться с несуществующим? Теперь можно сражаться только с дипломатической методой, из которой немцы тоже сделали eine politische Wissenschaft, и которое составляет артистическое упражнение в подборе карт, когда гораздо выгодней играть не вскрыту.

Формулы моей еще не нашел. Может заключение a priori и слишком торопливо и серии представляют только две прогрессии с разным ratio. Но зато пришлось перечесть кой-кого из экономистов; я убедился, что даже и у Кери [9] элоквенция заменяет логику, да еще как! Можно его книгу сократить в одну главу, и тогда все error'ы выйдут наружу. А уж Мак-Куллок [10] — такой дребеденщик, что и боже упаси. Стюарт Mill, пожалуй, всех умнее; но я пришел к странной мысли, что, пожалуй, всех умнее, и потому всех менее понятый — Адам Смит!

Я все не понимаю, кто от Пан[аева] [11], что за люди?

Иллюстр[ации] посмотрю. — У Гоголя — есть и «дурак», есть и «осел В. П.» * Надо посмотреть.

Насчет квартир — дай же еще дождаться одного письма; чай, не сегодня — завтра придет, и потому о квартире когда приедешь. — Я думал, что Чернец[кий] вчера придет за коррект[урой], но он не приходил. Пойду сам к нему. Я думаю — просто задержу IX книжку до твоего приезда. Это viva voce легче решить.

Милая Тата меня ждала, милая Ольга мне кланяется, а я так таки сиднем и сижу. И самому жаль, но теперь не могу приехать. Сильно голова болит, только не так, как 3-го дня. Целую вас обоих.

Дождь идет. — Голиц[ын] [12] выздоровел; он сделал некоторые новые вещи — прелесть! Талант-то все же замечательный. Посылаю «Nord» (письмо Маццини и указ о Павле 2-м [13]) и Espérance (статья Долгорукова).

---

* Так в тексте.

[1] Датируется по октябрьским письмам Герцена 1860 г.

[2] От Н. А. Тучковой-Огаревой.

[3] Повидимому, речь идет о статье Герцена «Полицейские маскарады Игнатьева».

[4] 10—14 октября 1860 г. в Варшаве состоялось свидание Александра II с австрийским императором и принцем регентом прусским. Целью «конференции» была выработка мер для предотвращения распространения революционной заразы. Опасаясь за Польшу, правительство Александра II выступило с предложением «всеобщего умиротворения», понимаемого как ликвидация революционных сил, как борьба с революционными настроениями. А с другой стороны — Варшавское свидание означало и охлаждение России к союзу с Францией, который стал намечаться в конце 50-х годов.

[5] Киселев Николай Дмитриевич (1800—1869) — дипломат; с 1855 г. по 1869 г. — русский посол в Италии.

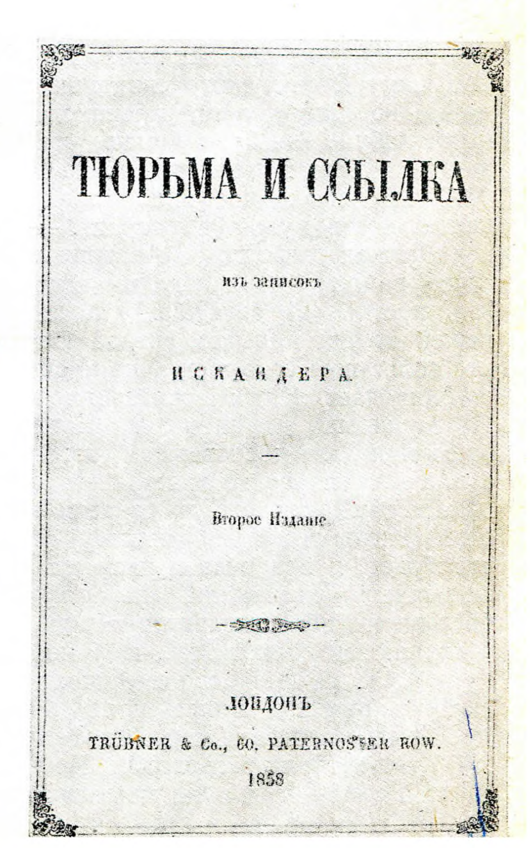
[6] Штакельберг Эрнст-Густав, граф (1814—1870) — дипломат; после Восточной войны возглавлял специальную дипломатическую миссию в Турине до 1861 г., когда был послан в Мадрид.

[7] Крайне отрицательно относясь к революционному движению в Италии, к борьбе за освобождение Италии, правительство Александра II требовало от сардинского правительства (Кавура) прекращения какой-либо поддержки Гарибальди. Когда же сардинские войска вторглись в Церковную область и Неаполитанское королевство, то по приказу Александра II русская миссия покинула Турин. Это отражено в «Колоколе» (от 1 ноября 1860 г.) в заметке «Самодержавная демонстрация»: «Невско-австрийский посол упрекнул Кавура, что он не слушался петербургских советов, отряс прах с ног своих и отправился во-свояси. С этим успехом мы поздравляем и Кавура и Горчакова. Надеемся, что Виктор-Эммануил примет с равнодушнейшим презрением самодержавную дерзость татаро-австрийской дипломатии»... и т. д.

[8] Сент-альянец — «Священный союз».

[9] Кери Генри-Шарль (1793—1879) — известный американский экономист и социолог.

[10] Мак-Куллок Джон-Рамзай (1789—1864) — английский экономист, профессор политической экономии в Лондоне.



ОБЛОЖКА КНИГИ ГЕРЦЕНА «ТЮРЬМА И ССЫЛКА»

[11] Панаев Валериан Александрович (1824—1899) — инженер, автор ряда работ по железнодорожным и экономическим вопросам. В 1858, 1859, 1861 и 1863 гг. посещал Герцена и участвовал в его изданиях.

[12] Голицын Юрий Николаевич, князь (1823—1872) — музыкант и дирижер. В 1858 г., во время заграничной поездки, познакомился с Герценом и стал корреспондентом «Колокола». В ноябре 1858 г. выслан под надзор полиции в г. Козлов, откуда эмигрировал в 1860 г. за границу. Отказался вернуться в Россию и был объявлен изгнанным навсегда.

В Лондоне давал концерты, имевшие большой успех. В августе 1862 г. вернулся в Россию и прожил до 1866 г. под надзором в Ярославле. Написал до шестидесяти пьес. Автор мемуаров «Прошедшее и настоящее» (СПб., 1870 г.). Ю. Н. Голицыну посвящена специальная глава (XVI) в «Былом и думах».

[13] Павел II — повидимому, П. Н. Игнатьев.

16

Вторник утром [16 октября 1860 г.][1]

Сейчас получаю твою записку и письмо к Боб[орыкину][2]. Это письмо останется у меня; я его не пошлю по 2-м причинам: 1) я боюсь, что поздно и что его как-нибудь скомпрометируешь; 2) если б это письмо, при совершенно удобных почтовых сношениях, попалось мне в руки, я счел бы долгом честного деятеля перехватить его. — С чего ты выдумал измученную душу измучить до тла? Что случилось? С чего ты белены объелся? Боб[орыкин] мог писать письмо в припадке горечи, но это не значит, что из его политических предположений что-нибудь верно и что-нибудь имеет смысл. Что случилось? спрашиваю я: Варшавское свидание? Да разве ты знаешь, что на нем происходило? Что оно глупо и неоткровенно — это другой вопрос; но говорить о нем серьезно как будто там был возобновлен S-te Alliance — мальчишество; надо прежде подождать, чем оно кончится, да потом и говорить дело. Колокол выйдет после Варшавского свиданья; как же говорить в нем об этом свиданьи, не зная, что там происходило? Не то, чтоб я имел надежды на какой-нибудь +, но я думаю, что там произойдет + — = 0, что докажет нелепость процедуры, но не подвинет и не отодвинет России ни на иоту. Из чего ж посылать людей на бездействие и отчаяние, когда их деятельность нужна и полезна? — В Journal de St. Petersbourg видно недоброжелательство к Австрии по Турецкому вопросу; в Московск[их] ведомостях я сегодня нахожу следующую фразу (Моск[овские] вед[омости] 21 сент[ября], т. е. 3 окт[ября]): «И теперь голос нашей армии, конечно, не за Австрию. Имеем основания надеяться, что голос наш есть голос, по крайней мере, большинства». Норд еще раз сегодня дает démenti отозванию русского посла из Турина. С чего же ты начинаешь до окончания Варшавск[ого] свидания бесноваться, как школьник, по достоверным известиям от Боб[орыкина], который, в сущности, ничего не знает и склонен к ипохондрии; а ты эту ипохондрию хочешь возвести до степени n? Это ни в общем деле, ни в дружеском отношении к Боб[орыкину] нехорошо. Успеем через неделю увидать, что будет, и при оказии написать к Боб[орыкину] — что делать (а оказия будет: Стадниц[кий]) не складывая рук и не запираясь в деревню, потому что обстоятельства пошли не по-нашему. Это было бы и гадко и глупо; вся соль в том, чтоб не терять сил, несмотря на препятствия. Ругать ты можешь его вел[ичество] как хочешь, оно хорошо; но ты, наверно, ругнешь лучше, когда будешь знать, за что именно ругаешь.

Сейчас принесли твою статью[3]. Набью трубку и стану читать.

Статья твоя превосходна. Но если б она явилась после Варшав[ского] свидания — тогда ты можешь сказать — Петербург так и так протянул руку Австрии. А если он ее не протянет? тогда это будет ридикюльно, между тем, как все остальное в статье верно. Подумай об этом;

так как ты послезавтра приедешь, то, я думаю, тогда и пошли ее в типографию. Может ты на меня за это и рассердишься, но я думаю, что скорость нужна блох ловить. Тем более она тут не нужна: телеграммы из Варшавы придут не позже 27 октября.

Голова сегодня лучше, а погода ужас; дождь проливнейший.

Всех вас цалую.

Мейзенбуг отправляется в Варшаву. Не отправить ли Fräulein Meise[nbug] туда от редакции «Колокола»? Спроси ее.

Получены рукописи: о южн[ых] славянах Погодина [4] и пр. и пр. по восточно-славянскому вопросу. Не посылаю, потому что ты сам собирался сюда. Получены книги...

А писем от N[atalie] нет. Страшно! — неужто опять пойдет прятанье? Не думаю. Но чем больше думаю, тем больше убежден, что ради Лизы надо выписать ее сюда, — и там в Семеродубке или Сиди на гамме *, где б то ни было поместить: но ребенка [5] из виду выпускать нельзя.

[1] Датируется по октябрьским письмам Герцена 1860 г.

[2] Какое письмо Герцена к Н. Н. Боборыкину имеет в виду Огарев — неясно; оно не сохранилось, и никаких сведений о нем в переписке Герцена нет.

[3] Статья Герцена, посвященная Варшавскому свиданию «Es reiten drei Reiter».

[4] Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк и публицист реакционного направления, профессор Московского университета.

[5] Лиза Герцен.

17

Вторник [Октябрь 1860 г.] [1]

Пишу тебе самую короткую записку. Отчего же ты не остановишься у меня? [2] — У Тх[оржевского] даже нехорошо, он говорит, ибо там живут русские. В Rose Cottage не знаю, какая свобода. У меня ты имеешь мою спальню достаточно большую для занятий. Я сплю возле в маленькой спальне и работаю внизу (где тебе было бы и неловко — но это сам увидишь и выберешь). М[ери], Г[енри] [3] и девочка, которая пришла, когда М[ери] была весьма страждуща, имеют три комнаты наверху и 2 кухни=гостиным. Чего же больше. Тревожить тебя никто не будет. Понравится — обедаем вместе дома вдвоем (что бывает и очень хорошо), — не понравится — пойдем, куда хочешь. Больше писать некогда. Писал Альтгаузу [4] (от него письмо) и Ос[ипу] Ив[ановичу] [5]. — От Нат[али] и Лизы вчера письмы, я вчера им писал.

Прощай пока. Ты что-то давно не пишешь.

[1] Датируется условно по октябрьским письмам Герцена 1860 г.

[2] В октябре 1860 г. Герцен должен был переехать из Борнмауса в Лондон, а квартира еще не была подыскана.

[3] Генри — сын Мэри Сетерлэнд (родился в 1851 г.).

[4] Вернее всего, что Огарев пишет о Фридрихе Альтгаузе, известном немецком публицисте, друге Герцена, авторе статьи «Герцен за границей». Семья Альтгаузов была очень близка к М. Мейзенбуг.

[5] Осип Иванович — шутливое прозвище Маццини (1805—1872).

18

2 окт[ября] 1861 г.

Решено — и я доволен и жду вас, и приготовлю вам поесть и Лизе шеколаду и игрушку. Спасибо, Натали, а за Астр[аковых] упрек [1].

Герцену секретно [2]. — Твое письмо точно ножем в грудь ме-

* Так в тексте.

ня ударило. — «Соображая, что ты De Morgan видел через неделю, я сам вижу, что это было и странно и не нужно...». Итак, мало того, что я живу sur le qui vive, что вот не сегодня — завтра, являясь лгуном перед женщиной, которую я выучил понимать по-человечески, я сведу ее на отношение девки на содержании и столкну ее в грязь и отчаяние, что не сегодня — завтра расшибу собственным кулаком существо, которое собственной дружеской рукой спас, — мало этого, мне сверх того не надо свободы передвижения, мне нельзя пожелать заглянуть в угол, где я перестаю быть публицистом, а делаюсь человеком со всеми человеческими слабостями и, след[ственно], отдыхаю; этот угол еще слишком светел, надо его сделать еще углее и темнее; надо отказаться и от женской ласки, от ласки и наблюдения за развитием заброшенного ребенка, который мне дорог, потому что я его спас — это все не для меня; я не имею права на личность — и должен отказаться от этого права, не ради земского дела, а ради хора.

О, Герцен, каких ты нечеловеческих усилий от меня требуешь!

Была не была — я к Шнейдеру[3] пустил записку, которая мне возвратится, если Серна[4] ускакала. Кажется, опасности нет. А мудрено! я думаю, это мечта; ему нельзя отказаться от возвращения, ибо подвиг закончился бы тем, что человек струсил. А куда бы хотелось, чтоб мечта осуществилась. Сколько работы можно бы пустить в ход, работы практичной, бьющей прямо по системе, по порядку вещей. Да мы бы его выучили писать вдвое лучше. У него есть только один недостаток, это отсутствие теоретического вопроса далее известного цикла предметов; есть предел, за которым у него вопроса нет. Может, это для практики и лучше. — Вот Ус[ов][5] дело другое — он идет до тла с совершенно положительным взглядом математика-натуралиста. Вчера я с ним простился и, несмотря на его холодную наружность, чувствовал, что он нас любит, чувствовал опять ту общественную связь с человеком, которая доходит, возвышается до личной привязанности. Без этого чувства было бы страшно жить. Я его имею и с Ус[овым] и с С[ерно]-С[оловьевичем]. Я их просто люблю. — Вечером был Панаев. Будет и сегодня; завтра едет в Ньюкастль, а там возвращается и, следст[венно], тебя увидит. Надо, чтоб он тебя видел. Над ним требуется работа, и определенно по одному предмету — привязать его к идее обществ. Он бессознательно на ней стоит и бессознательно ее отвергает; противуречие в его натуре чрезвычайно странно: резкая логичность до известного пункта, где он сворачивает в безумное непонимание. А над ним потрудиться стоит — ибо он способен сделаться фанатиком дела. Его обвиняют в излишнем самолюбии, — может быть — но и обвинители хромают на ту же ногу и, может, обвиняют потому, что в дорогом ему вопросе экономическом он глубже и логичнее их всех. Мы с ним просидели до 2-го часа над оным вопросом, и я не устал, даже головная боль от ужасной духоты дня прошла. Сегодня немногим лучше; но я держу себя крепко и не позволяю разбаливаться и изнеживаться в нервном страдании. У нас не дождь, а туман снедающий.

Тхор[жевский] уже хлопочет о Прудоне[6]. Чернец[кому] сообщу. Я Тхорж[евскому] вчера дал чек на 5 фунт[ов]. Из прежних десяти я дал 2 на расходы, да у меня еще около 3 остается. Стало, и этих 5 не потребуется, и твой чек останется нетронутым.

Колокол пошлю. — Посылаю Тате Ус[ова] с тем, чтоб она сделала снимок и подарила мне. — Гиллер[7] пристает. Увижу его завтра; он начинает быть для меня интересным. Славянофила-космополита[8], слава богу, не видал. Голиц[ынский] адвокат[9] говорит, что он ему подаст счет, от получения денег не отказывается, а сносит их по своему рас-

ходу, и стращает, что сделает ему процесс в 2 000 ф[унтов] за то, что Гол[ицын] считает его мошенником.

Сейчас телеграмма от Саши из Гласгова[10], будет в Лондоне около субботы.

[1] Это письмо является ответом на письмо Герцена от 1 октября 1861 г. (т. XI, стр. 242—243), в котором он писал: «Natalie едет в пятницу или в субботу; я провожу и потом возвращусь с Сашей в Devon и перевезу всех together». В этом же письме имеется и следующая фраза: «Nat[alie], несмотря на три соммации, не писала к Астр[акову]...» Астраковы — друзья юности Н. П. Огарева и Герцена; особенно Сергей Иванович Астраков, ее брат Николай Иванович и его жена Татьяна Алексеевна. С Астраковым лондонские изгнанники поддерживали переписку. Т. А. Астракова — автор нескольких повестей, а также воспоминаний, вошедших во II том воспоминаний Т. П. Пассек — «Из дальних лет». О каком «упреке» идет речь — неясно.

[2] «Секретная» часть письма посвящена Мэри Сетерлэнд. Н. П. Огарев в это время отделился от Герцена, поселившись с Мэри в Ричмонде. В уже цитированном письме Герцена читаем: «В три или четыре месяца Ричмонда должно решиться, можно ли жить вместе или нет. Я сделал все, что мог, теперь делай и ты. Ричмонд может выйти очень полезен, только будь немного осторожнее с хором, т. е. с публикой. Мне Мейз[енбуг] и Тата говорили: «как это странно, что О[гарев] так скоро уехал». Соображая, что ты di Torquay [так напечатано у М. Лемке. — *Ю. К.*] видел через неделю, я сам вижу что это было и странно и ненужно. Ты делаешь много, делай же и небольшую закраину для хора...». Ответом на это и является возмущенная тирада Огарева.

Ответное письмо Герцена от 3 октября 1861 г. (т. XI, стр. 245) тоже касалось главным образом отношений Н. П. Огарева к Мэри Сетерлэнд: «Письмо твое, — писал Герцен, — как ни больно было мне читать, но я потому не сержусь за него, что чувствую себя не виноватым. Мы à force понимания друг друга дошли до совершенных непониманий в частных случаях. Где же дальнейший намек на характер твоих отношений? Вольно выдумать чудовищность и рассердиться за нее... Помилуй, где же тень справедливости в твоих оскорбительных объяснениях? Тебе просто должно быть совестно. Я буду осторожнее выражаться, но не могу отречься от того, что сказал...»

[3] Шнейдер Фердинанд — немецкий издатель, издававший в 1861—1862 гг. русскую литературу либерально-оппозиционного характера. Был связан с Л. П. Блюмером и издавал его «Свободное Слово».

[4] Серна — уже упоминавшийся Н. А. Серно-Соловьевич, в 1861 г. издавший в Берлине брошюру «Окончательное решение крестьянского вопроса» и вскоре возвратившийся в Россию, где был арестован и сослан.

[5] Усов Степан Александрович — см. статью Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и молодая эмиграция» в № 41—42 «Литературного Наследства».

[6] В своем письме Герцен запрашивает: «что же за новое письмо Прудона в «Прессе»? Попроси Тхоржевского сыскать...»

[7] Гиллер — член Центрального польского комитета, в 1861 г. находившийся в Лондоне.

[8] Повидимому, здесь имеется в виду Н. А. Мельгунов (1804—1887) — писатель и публицист, друг П. Я. Чаадаева, пытавшийся «примирить» западничество и славянофильство; что речь идет именно о Н. А. Мельгунове, подтверждается и ответом Герцена. «Отдай мне Варавву на пропятие, и не жалей. Подари мне его... Кого? Мельгунова. Его письма в «Спб. Ведомостях» делаются плантаторской клеветой русского народа», — читаем мы там (т. XI, стр. 246).

[9] Кн. Ю. Н. Голицын (см. комментарий к письму 15). В 1860—1861 гг. запутался в долгах и имел несколько судебных процессов, об одном из которых, повидимому, идет речь.

[10] В 1861 г. А. А. Герцен вместе с известным натуралистом К. Фогтом ездил в экспедицию в Исландию. Телеграмма из Глазго (Шотландия) извещала о возвращении А. А. Герцена в Лондон.

19

Пятница вечером [1862 г.][1]

Герцену.

Вероятно, это письмо ты получишь, когда приедешь. Я теперь совсем не знаю, когда ты приедешь. Это письмо мало коснется до личных предметов, хотя и близко касается. Сегодня я написал предлинное

письмо Луи Блану[2] об эмансипации, потому что он мне прислал мою статью с похвалою. Главное дело — мне хочется во французские умы вдохнуть истину, что социализм начинается с земельной собственности. Я иногда в внутреннем безумии, думаю, что я могу об этом держать speech перед английскими работниками; но тотчас чувствую, что это фантазия, и молчу. А на Луи Блана, пожалуй, и подействуешь! Он честный человек, — толкнуть его — и чорт знает куда он выпрет.

Но дело не в том: я пошел домой и нелегкая меня подстрекнула идти в Gremorne garden часов около 9. В одной из плющевых буточек я спросил содовой воды с вином и сидел долго, наслаждаясь проходящими. Я пришел к чрезвычайно общему заключению: дикое животное стремится все уничтожить ради своей выгоды, а социальное животное, необходимо втолкнутое в некоторые границы, стремится, по внутреннему дикому органическому (едущему) элементу, — к власти. Это так ясно, что только беспристрастно посмотри: Проходит мужчина и женщина, гордый мужчина и тихая женщина; ты тотчас скажешь: он ее притесняет. Проходит тихонький мужчина и женщина так себе на уме, я, дескать, всё. Ты видишь, что женщина готова задушить целую семью ради своей личной власти. Проходят господа ни то ни сё, и ты чувствуешь: вот скоты!.. они не могут обуздать друг друга и живут в наипечальнейшей неопределенности. Кроме юношей, желающих за деньги п . . . ., и стариков idem, — нет иных казусов. Ты ясно видишь, что индивидуальное стремление — жажда власти. Границы власти, т. е. объем определяется обстоятельствами, но жажда одна и та же. Спроси себя откровенно: что же из этого может выйти?... $+ - = 0$, или еще больше шансов, что $+ \times - = -$. Что ты там ни говори, а это ясно, и роль человеческого рода хуже обезьянной, хотя совершенно подобна на иной степени мозгового развития.

Сколько откровенно злющих, сколько злобно-хитрых физьономий я встретил в обоих полах — это страшно! Сколько просто глупых, которые не знают как и на сколько употребить власть и от этого страдают!.. Нет, caro mio, физьология и патология так совпадают, что тут нет и демаркационной линии, да нет и надежды на будущее преуспеяние рода человеческого. Один процесс и есть — от зародыша к смерти, где зародыш произведен смертью и разложением известных элементов, а смерть произведена тем же разложением жизни. Мир — есть cercle vicieux. Вслух я не решусь этого сказать, а оно так правда, что если застрелиться — то не пожалеешь. Страх смерти одно спасение. А этот страх есть у всего живого. В разумных границах жертва жизнию — цивический поступок; в дуэли — это безумный поступок. Свести личный интерес на цивический опять дело социализма. — Но что бы ни было — не работать невозможно, так как Пушкин говорит, что он любит, потому что ему не любить невозможно.

[1] Письмо условно датируется 1862 г., исходя из предположения, что статья, посланная Н. П. Огаревым Луи Блану, повидимому, была его «Essai sur la situation Russe» (Лондон 1862 г.).

[2] Блан Луи-Жан-Жозеф (1811—1882) — известный французский историк, политический деятель, член временного правительства в 1848 г. С 1848 г. по 1870 г. в эмиграции.

20

[Август 1864 г.][1]

Герцен.

Понедельник день, в который решено решить будущее. Я требую (и обращаюсь к тебе), чтоб вопрос был поставлен так:

1) Хочет Натали ехать в ноябре, primo ехать нельзя иначе, как вам всем вместе, ибо иначе это одно из тех безобразий, которых я просто не допускаю. Но, кроме того, я замечу, что прежде Натали в Швейцарии не показала таланта жить одной, и мне достаточно одного доказательства, что Сер[но]-Сол[овьевич], после свиданья с ней[2], приезжал обвинять меня в том, что я ее преследую; достаточно этого, чтоб смотреть на ее поездку с очень скорбным взглядом. Я, по крайней мере, требую, чтоб она — если хочет ехать, чтоб приняла на себя всю ответственность и не сваливала бы с больной головы на здоровую. Не потому я этого требую, чтоб мне было больно вытерпеть что бы то ни было, а потому что я презираю неправду.



РИМ, АРЕНА КОЛИЗЕЯ

Акварель А. Брюллова из альбома Самариных

Литературный музей, Москва

2) Если же она не берет на себя человеческой ответственности прожить человечески от 3 до 6 месяцев, но надо остаться в Лондоне и нанять дом.

Я требую немедленно категорического ответа и иначе отказываюсь от всякого участия в чем бы то ни было.

[1] Датируется условно 1864 г., годом отъезда Н. А. Тучковой-Огаревой из Лондона в Швейцарию.

[2] В 1860 г. Н. А. Серно-Соловьевич, встретившись с Н. А. Тучковой-Огаревой во время ее путешествия на континенте, узнал от нее историю ее взаимоотношений к Н. П. Огареву и Герцену, и написал даже особое письмо Огареву на эту тему. В письме Н. А. Тучковой-Огаревой к Герцену от 3 декабря 1860 г. читаем: «Сер[но]-Сол[овьевич] будет у вас на-днях или он уже с вами, — не честно было бы с моей стороны не переслать его письма; вот оно, но, пожалуйста, прочти один; если бы ты знал, как мне больно печалить Огарева... Вмешательство Сер[но]-Сол[овьевича]

мне больно, но все-таки с ним нельзя поступать, как с посторонним...» («Русские Пропилеи», в. IV, стр. 261). См. также письмо Н. А. Серно-Соловьевича Огареву в № 41—42 «Литературного Наследства».

21

26 декабря [1864 г.][1]

Письмо от 23 получил. — Я уже тебе писал в Женеву к Фогту[2] (адресуя — profes[sor] à Genève). — Письмом Натали я глубоко доволен; но я в Женеву не стану тебе писать ничего, кроме делового, разве буду иметь положительный адрес. — 600 фр[анков] я получил, но еще д. с. п. не менял, ибо в Лондон не ездил. Тх[оржевского] не видел, а писать эти 2 дня нельзя за прекращением почт. На французском золоте потеря 3 пенсов (а по-настоящему 7-ми, ибо 20 фр[анков] = 16 ш[иллингам] 4 пенс[ам], а дают 15 ш[иллингов] 9 п[енсов]), а на бумаж[ные] деньги потеря будет больше. Чек был бы выгодней, но денег у Ротш[ильда][3] не получали. — 660-ю фр[анками] я распоряжусь сообразно твоей программе, т. е. пропорциональную долю отдам Чернец[кому] и Ш[арлотте] и пропорционально возьму себе[4]. — Ты на Петр[а] Вл[адимировича], кажется, напрасно сердишься[5]; видно, у него в самом деле свободных, не помещенных денег нет, а продать фонды ему невыгодно или надо было бы убыток взвалить на тебя. Он ужасно участлив со мной, насколько его натура способна, так что, пожалуй, он и взаправду не мог дать денег, а не то что не хотел. Но мне приходит в голову: если у тебя есть фонды, которые можно бы продать с выгодой, то не всего ли проще тебе без всякого залога занять у самого себя и самому себе заплатить, купивши потом выгодно другие фонды? Подумай-ка да поговори с Фази[6], напр[имер], который в этих делах очень практичен. Да поговори с ним и об Америке; английские журналы тут такую дичь порют, что ничего не поймешь. — Пиши что и как в Женеве. Не забудь справиться и о школах для Г[ен]ри. —

Не могу одного не сказать: я в натуру Лизы слишком верю[7], чтоб сомневаться, что она crescendo будет исправляться под влиянием терпеливой любви.

Кол[окол] полон, но надо статейку твою[8] поместить, исправивши, ибо ты в скорости иного но дописал так, что смысла нет, а вообще-то она очень хороша и полезна. Затрудняюсь я придумыванием заглавия и фразы в смеси. Это бы твоего ума дело. Но я еще надеюсь на собственное вдохновение злобы и жду его; авось, слажу.

Чтоб утешить тебя, расскажу вот что: корректовал я твою статью противнику и нахожу в наборе следующее: «... может у вас это чувство дерiя...» Чорт знает что такое! Смотрю в рукопись — тоже. Сроду не слыхивал — уж не латинское ли слово? Я в лексикон — нет! — Через 2 часа догадался, что это «чувство dépit»...!!

Ради бога — где Саша и куда к нему писать?[9]

Я лечусь пристально.

Обнимаю тебя. Прощай пока — дела куча. Жду письма из Женевы.

На л. 2 об.:

Для немедленной передачи Александру Ивановичу.

[1] Это письмо Н. А. Огарева — первое, направленное им из Парижа в Женеву, куда в конце 1864 г. переехал Герцен, а в начале 1865 г. последовал за ним и сам Огарев.

Датируется по письму Герцена к Н. П. Огареву от 23 декабря 1864 г. (т. XVII, стр. 429).

[2] Фогт Карл (1817—1895) — известный немецкий естествоиспытатель и философ. Участник революции 1848 г., заочно приговоренный к смертной казни и эмигрировавший в Швейцарию, где и прожил почти всю свою жизнь. Автор «Физиологических писем» и ряда работ по философии, зоологии, астрономии, геологии; профессор в Женеве и Лозанне. Идеи К. Фогта имели сильное влияние на наших шестидесятников, в частности на Д. И. Писарева. Фогт выступал против Маркса. Энгельс характеризовал Фогта и его последователей как «разносчиков дешевого материализма». Познакомившись с Герценом в 1847 г. в Париже, Фогт стал впоследствии его большим другом.

[3] Ротшильд Джемс, барон (1792—1868) — сын известного европейского банкира, крупнейший финансовый деятель Франции. Герцен держал свои деньги в конторе Ротшильда и пользовался его адресом для своей переписки.

[4] В конце 50-х годов А. А. Герцен сошелся с Шарлоттой Гетсон и имел от нее ребенка — сына Александра (Тутса). Вскоре они разошлись, и Шарлотта с Тутсом стала жить у Огарева, получая небольшое пособие от Герцена.

[5] Это ответ на фразу Герцена, что «дрянной принц подъел меня», повидимому, в смысле какого-то денежного займа, как можно судить по контексту письма. Петр Владимирович — Долгоруков.

[6] Фази Джемс (1796—1878) — швейцарский политический деятель, участник революции 1830 г. в Париже. Преследуемый полицией Луи-Филиппа, эмигрировал в Женеву, где в 1846 г. стал главой временного правительства и в течение 15 лет был руководителем Женевского правительства. Отказавшись от революционных воззрений юности, скоро стал откровенным реакционером и политическим демагогом. В 1853 г. был свергнут, а с 1855 г. снова занял президентское кресло. В 60-х годах политическое влияние Фази быстро падает, и вскоре он совсем сходит с политической арены.

[7] В своем письме Герцен писал: «Nat[alie] много мученья с Лизой (хоть она и поменьше шалит); ...Надобен труд, выдержка. Все дурное в Buornemouth'е и в Tunstall House в Лизе раздулось. Что за казнь, что за казнь!..».

[8] Повидимому, речь идет о № 193 «Колокола» от 1 января 1865 г., где имеется статья Герцена — «Письмо к противнику».

[9] А. А. Герцен жил в это время в Италии.

22

4 февраля [1865 г.][1]

Сегодня суббота, ergo, необходимо писать к тебе. П[етр] В[ладимирович][2] прислал индепенденцию[3] от 2 февр[аля], где французск[ий] текст адреса москов[ского] дворянст[ва][4]. Да! я уж об этом тебя извещал. Но хотя la glace est rompue, а адрес их показывает, что они скоты-олигархи; что — если б К[онстантин] Н[иколаевич][5] возымел намерение в пику им дать конституцию общую с бессословными выборами? выборами по-общинно? — Но некогда теперь обо всем этом; жду Нефтеля[6]. Здоровье хорошо, но ручаться за отсутствие припадка завтра или послезавтра — не могу. Хинину возобновил. Нефтель, говорят, тебе писал. Но и об этом после. — Вот и Ш[арлотта] пришла, а Нефтеля еще нет; наверно на train опоздает или забудет денег взять на дорогу и т. п. Удивительный человек! — Расскажу тебе о Тх[оржевском] и дам 2 комиссии. Тх[оржевский] вчера мне рассказывал свою встречу с Блюммером[7], в которой он сказал Блюммеру: «извините, я рефюжье, имею свои правила; я знаю, что про вас писано, что вы агент и мерзавец, и не могу иметь с вами дела, пока вы не очистились от обвинения». Блюммер пробормотал какое-то извинение, но несмотря на то, что Тх[оржевский] ему моего адреса не дал и сказал, что я болен и не принимаю, Блюммер все-таки мне прислал запрос о посещении. Но подумав, что 3 т[ысячи] фр[анков] ему дали на дело против П[етра] В[ладимировича] — дали — кто? не частный же человек, дали как? — 500 фр[анков] в руки съездить в Лондон, посмотреть можно ли начать дело — тогда пришлют остальные... Хорошо? — А он приехал в надежде сорвать с П[етра] В[ладимировича] 20 т[ысяч] фр[анков]. Подумав все это — я не отвечаю. — Чернец[кий] вчера не был; «Колок[ол»] еще не получал. — Теперь комиссии.

1) По прилагаемому диаметру возьми у Шарьера[8] штуки четыре каттров (у меня этого калибра не осталось), с тем чтоб концы были очень коничны и не искривлены; начало катерации для меня всего важнее, ибо оперированное место (вероятно) осталось очень раздражительно и искривленный или толстый конец мне не только не приятны, но вредны; а далее, чем скорей конус подходит к досто[до]лжному диаметру цилиндра, тем лучше. Ты не присылай, а привези с собой.

2) Ты, однако, привези мне Курно[9] приложение математики к политич[еской] экономии. Этого мне нельзя не знать; он мог не понять где фокус (foyer) всего дела в полит[ической] экономии, рассматриваемой с этого штандпункта, но попытку эту видеть я хочу и чем скорей, тем лучше. В приложении алгебр[ы] к геом[етрии] — Курно один из самых симпатичных умов, как редко француз бывает. Он, должно быть, отведал Конта[10].

К Нат[али] вчера коротенькое письмо писал. Сегодня, очевидно, некогда и это письмо пишу при криках Ал[ександра] III[11]. — А Нефт[еля] все еще нет.

Что твой дом и когда ты сюда собираешься? Письмо это отправляю теперь, ибо М[эри] должна идти: а до почты, т. е. до твоего письма, боюсь оставлять, еще опоздаешь, а сегодня суббота. — Addio пока.

[1] Датируется по февральским письмам Герцена 1865 г.

[2] Долгоруков Петр Владимирович — см. письмо № 12.

[3] Инденпенденция — газета «Indépendance Belge».

[4] 11 января 1865 г. московское дворянство большинством 270 против 36 приняло адрес, в котором ходатайствовало о созыве «Общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждения нужд, общих всему государству». Это выступление московского дворянства носило явно выраженный сословно-дворянский характер и сопровождалось пожеланиями об «укреплении дарованных прав дворянству». Указом Сената Московское дворянское собрание было закрыто.

[5] Константин Николаевич, великий князь (1827 — 1892) — второй сын Николая I, с 1853 г. по 1881 г. управлял морским министерством. С 1865 г. — председатель Государственного совета; сторонник «реформ».

[6] Нефта[е]ль — врач, еврей по происхождению, в 1861 г. приехавший с женой из России в Лондон. В 1864 г. уехал в Америку.

[7] Блюммер Леонид Петрович (1840—1888) — журналист. В ноябре 1861 г. выехал за границу. В 1862—1864 гг. издавал «Свободное Слово», «Весть», «Европеец» в Берлине, Брюсселе, Дрездене. Скоро возникли подозрения в том, что Блюммер — агент русского правительства, а в 1864 г. об этом громко было, заявлено П. В. Долгоруковым. В июле 1865 г. вернулся в Россию, выразив «раскаяние», и, после непродолжительной ссылки в Томскую губернию, целиком отдался журналистской и адвокатской деятельности.

[8] Шар[р]ер — парижская фирма, изготовлявшая хирургические инструменты.

[9] Курно Антуан (1801—1877) — известный французский экономист, родоначальник математического направления в политической экономии. Ректор академий в Гренобле и Дижоне.

[10] Конт Огюст (1798—1857) — известный французский философ и математик.

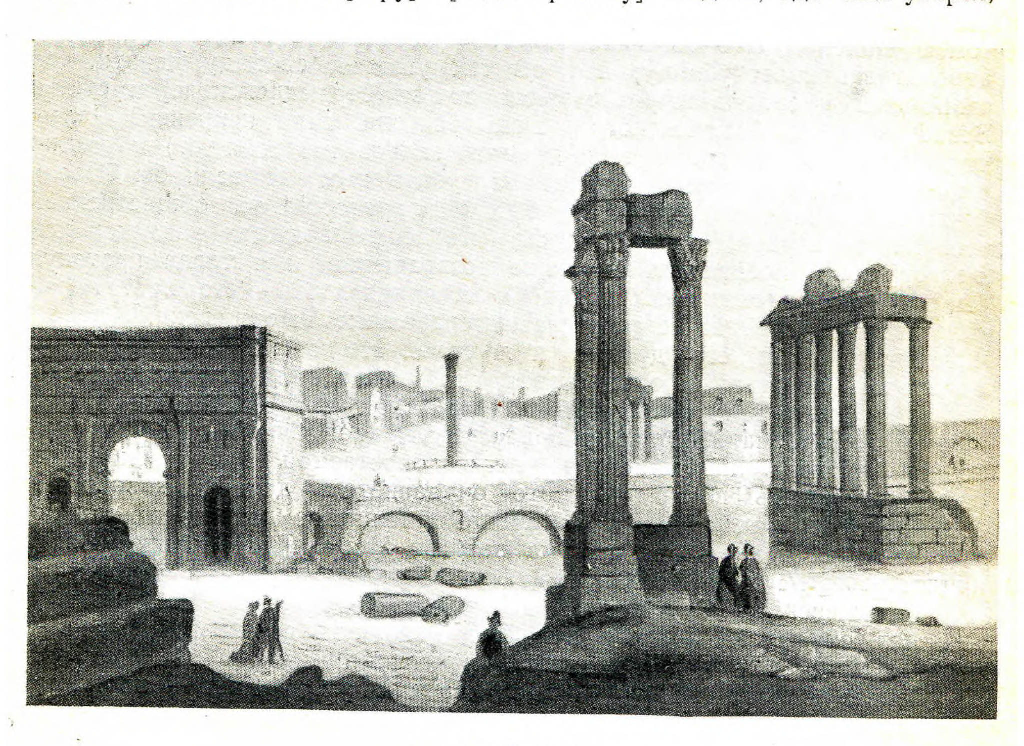
[11] Александр III — шутливое прозвище сына А. А. Герцена от Шарлотты Гетсон — Тутса.

23

Понедельник 6 февр[аля 1865 г.][1]

Опять плохо дело, Герцен! В субботу я говорил Нефтелю, что я гораздо крепче, но что все же чувствую помаргивания, которые приготовляют припадок[2]; но так как они слабее и реже, то, вероятно, не к воскресенью, а к понедельнику или вторнику. Я ошибся. Припадок пришел в воскресенье из часу в час как в предыдущее воскресенье. Точно так же, я вставал и умывался... Генри шел наверх и услыхал мой

припадок и позвал мать. Она рассказывает, что, отстранив вещи, о которые я мог ушибиться, она положила подушку под голову и покрыла меня одеялами. Я не вдруг очнулся и начал храпеть или хрипеть так, что внизу в кухне было слышно; где был конец обморока и начало сна — неизвестно. Может обморок был и дольше обычного; я совсем очнулся не ближе как через полчаса. Но в продолжение этого времени, М[эри] так была испугана необычным явлением, что послала девочку за Тх[оржевским], которого, разумеется, нельзя было найти и, если б я не был в обмороке, я помешал бы посылать. Потом я очнулся совершенно свежо и ходил к П[етру] В[ладимировичу] обедать, где был уверен,



РИМСКИЙ ФОРУМ

Гуашь из альбома Ховриных

Литературный музей, Москва

что встречу Тх[оржевского] и Дав[ыдова][3] и еще встретил гр[афа] Ильинского[4]. — Но, возвращаясь к припадку: вот и хинин, не в той небольшой дозе, как я писал, а в очень большой дозе, а, равно, и железо — все болезнь ни с места, и только больше входит в характер своей аккуратной периодичности. На другой день, напр[имер], сегодня, я всегда очень слаб, ушибы начинают болеть и пр.; завтра я буду чувствовать себя крепким, после завтра idem, но начнутся изредка помаргивания, в следующее воскресенье это будет помаргивание n = припадку. Потом сызнова то же. Замечательно, что периодичности еженедельной (вообще никакой) у меня не было до возвращения из Парижа[5].

Теперь еще плохая штука. Кол[окол] пришел сегодня. В пятницу я посылал нарочного, чтоб вычеркнуть рештучку и напечатать на маленьком alinea (для большого места не было) «А почему им так кручиниться и пр.» — Что ж ты думаешь? Черн[ецкий] рештучку вычеркнул, а то поместил внизу под Прудоном![6] Хоть бы уж он приезжал показы-

вать, если ничего не может (entre nous soit dit). Меня это ужасно оскорбляет. Мне больно видеть людей, которых я уважаю за их добросовестность и преданность своей вере (не скажу убеждению, а вере), не останавливающихся не то что перед глупостью или увлечением необдуманного поступка, а ни перед какой абракадаброй, как Громор[7] в переводах. Браниться — совестно, потому что браниться можно только за сознательное зло, а бешенство охватывает при корректурах ужас какое.

Я тебе писал, что Блюммер просил у меня свиданья, на что́ я не отвечал; вследствие этого получил письмо на 4-х страницах in folio. Это capo d'opera! Прочтешь, когда приедешь. Теперь скажу только два удивительные места, что мы не поняли различия между адвокатом и шпионом, что он правительство защищал не как шпион, а как адвокат защищает убийцу; что он так уважает свободу печати, что равно дает у себя в журнале место статье Черныш[евского] и статье Безобразова[8] и Асноченского[9], лишь бы они были искренни. Далее, что он теперь ненавидит тебя и меня (за что же тебя-то?) и только его отвращение от крови мешает ему убить нас; что если бы Россия была свободна и он, Блюммер, был бы оратором на общественной трибуне, то первое, что сделал бы (что он во враждах не таков как Долгор[уков]), предложил бы наше возвращение, и я тогда протянул бы руку, но он сказал бы поздно и отвернулся бы. — Хорошо? А начало его действий in re principis мизерабельно. Тх[оржевский], действительно, считает его дрянью и я тоже. Но о деньгах en principe я говорить не стану, ибо он сказал, что у него наличных не в достаче, а из фонда продавать убыток, ergo, идти на 2-й отказ — значит идти на ссору, на которую я пойду охотно из всякой другой достаточной причины не личной, но легко обретаемой. Мы с Тх[оржевским] условились вот о чем, что он начнет о деньгах говорить с Дав[ыдовым] и что тут гораздо проще и приятнее достать их можно.

От тебя еще сегодня письма нет; от Нат[али] и подавно. Почта придет через ½ часа. Посмотрим.

Тх[оржевскому] 5 ф. отдал, Ш[арлотте] 5 ф. отдал; Черн[ецкому] еще нет, отдам сегодня или завтра; у него есть от Шап.[10] 16 + 6 = = 22 ф. Стало, он не в затруднении на сию минуту.

Сейчас письмо твое и Нат[али]: но мне уж некогда — на почту!

[1] Датируется по февральским письмам Герцена.

[2] Как известно, Н. П. Огарев страдал эпилепсией, особенно обострившейся и принявший регулярный характер в 1864—1865 гг. В письме Герцена к сыну (от 24 января 1865 г.) читаем: «Здоровье Огарева все плохо, слабость, усталость и каждую неделю припадок...» (т. XVIII, стр. 21).

[3] Давыдов — знакомый Герцена, с которым последний имел какие-то денежные расчеты.

[4] Возможно, Ильинский Иван Августович, граф, член 1 департамента Сената, крупный польский магнат. Его имя встречается в герценовских изданиях, так например, в № 7 «Под суд!» (от 15 июля 1860 г.) в «Деле Лихачева» приводится его «особое мнение» в Сенате по этому делу.

[5] В конце 1864 г. Н. П. Огарев ездил в Париж, к Герцену, остановившемуся там со всей своей семьей, а затем вернулся в Англию.

[6] «Колокол», л. 194 от 1 февраля 1865 г., в котором помещен некролог Прудона и под ним заметка: «А от чего императрица так кручинится?..»

[7] Громор — французский анархист, друг и последователь Прудона; писатель и переводчик. Переводил, в частности, и с русского языка.

[8] Безобразов Николай Александрович (1816—1867) — лидер дворянской оппозиции в 60-х годах. В 1858—1863 гг. выпустил за границей ряд памфлетов, направленных в защиту интересов дворянства («Две записки по вотчинному вопросу», «О старом и новом порядке», «Предложения дворянству» и др.).

[9] Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813—1879) — редактор журнала «Домашняя Беседа»; клерикал и реакционер.

[10] Кто такой Шап. — выяснить не удалось.

24

Понедельник [5 июня 1865 г.][1]

Дождь с утра прошел. Теперь яркое солнце. Бродил по окрестности и сел в древесной тени. Больно хорошо — но и просто больно на сердце в то же время. Пришли сегодня утром все твои юмористические письмы. Я рад, что тебе весело и что ты отдыхаешь, хотя я с этим «Колоколом» не уверен, а с будущим совершенно не знаю, как сладить. У Н[иколадзе][2] есть статья или начало брошюры или книги, которое требует выработки и нейдет в «Колоколе», а разве в какой сборник. Я начну статью о судебной реформе, но мне торопиться в этой статье — все то же, что ее испортить, между тем как я ее содержанию придаю большое значение. А для нее чтения и работы чертова пропасть. Что касается до ныне выходящего «Колокола» — мне в статье и в смеси без тебя очень скверно, ибо я в этом случае к собственному такту не имею никакого доверия, а к твоему большое. Но об этом речь еще после.

Твоя маленькая записка меня очень удивила. Неужто ты думаешь, что я хотел именно намекнуть на трагедию, в которой я, может быть, больше виноват, чем кто-нибудь? Если я нахожу, что все образованные женщины от Швабины[3] до Мейзенбугаты[4] вселяют в меня отвращение, потому что все-таки в них самолюбие играет гораздо большую роль, чем понимание, которого, собственно, нет, то я в этом едва ли виноват. Почему ты вздумал меня тыкать сравнением покойной Наташи[5], к которой я имел религиозное уважение и любовь перенесенную мною на ее детей, — с m-me S[alias][6], которая относится к той категории, с m-me S[alias], к которой я мог иметь пристрастие во время оно, пристрастие, обусловленное разными внутренними обстоятельствами жизни — этого я с твоей стороны не понимаю. Неужели и твое самолюбие способно раздражаться всяким словом? Я начинаю полагать, что ты в чем-нибудь чувствуешь себя неправым, иначе бы ты не сердился. Потом же я и твой перспикаситет относительно m-me S[alias] не совсем признаю. В ней много благородства и преданности. Относительно меня она это доказала и своим отношением после того как я с ней мерзко поступил, и своим отношением к Лизе[7]. К Лизе теперь — ибо у ней к Лизе большая любовь. Мало ли дураков ты терпишь и уважаешь за преданность к тебе. Позволь же и мне иметь это право относительно себя. А потом вспомни поведение m-m S[alias] в Луденгенской истории! Что касается до моего последнего отношения к женщине то — хотя бы и лучше было, вообще, вести жизнь монашествующую науки ради (мысль, которая мне была бы всего ближе к сердцу) — но я ее все же не исполню по стечению обстоятельств. — А тут я не хочу оставить женщины, которую поднял — сколько потому, что просто не хочу, столько потому, что не хочу завершить последний акт моей траги-комической жизни аристократической подлостью.

Теперь перехожу к письмам Мейз[енбуг] и к моему отношению к Нат[али] в твое отсутствие.

Однако, я должен идти домой к обеду. Ergo, продолжение ужо ночью.

Ночь

Не много сегодня напишется — поздно. Ходил провожать в Paquis m-me S[alias], которая у нас обедала. Ходил провожать ее по двум причинам: во 1-х, потому что это ей сделало большое удовольствие, человеческое удовольствие; во 2-х, потому что ты ее в записочке ко мне разругал каким-то грубым слогом и мне хотелось перед собой за-

гладить это. — В первый раз я шел по Женеве в полночь один. Почти ни живой души на улицах. Все дома темны. Опрокинутый полумесяц вставал. Это очень хорошо и очень симпатично с моим собственным настроением, потому что ужасно безотрадно. Может быть, я любил это впечатление в иные года, когда я мог передавать его стихами, когда безотрадность вертелась около других мотивов, более музыкальных. Теперь это как-то тяжелее. Обстоятельства ли просто надоели, или чувство недалекой смерти иначе настраивает — не знаю, только тяжесть гуще, а поэтическая струнка жиже, но все же лучше, чем ничего, и все же эта ночная прогулка мне больше по сердцу, чем вся жизнь вообще. Но что же это я так разболтался о себе — ну меня к черту!

У меня лежит письмо к тебе от Мальвиды в *n* листов. Я его читал с большим вниманием и не послал к тебе, боясь чтоб как-нибудь не затерялось. В нем есть много правды, подмеченной обиженным самолюбием, и много основной лжи, происходящей из того же источника. Уверенная, что она может воспитывать, она сердится на неудачу и обвиняет тебя в разных колебаниях и нерешительностях. Последнее имеет свою долю правды, потому что несмотря на кажущуюся решительность, в тебе много нерешительности, мешающей и тебе и другим, но она не может заметить, что большая доля в неудачах воспитания относится к отсутствию у ней практического такта и таланта воспитательницы — и этого ты ей никогда не объяснишь. Но сверх того, мне кажется, что у ней в каждой строке или лучше сказать в каждой ее мысли — звучит обиженное чувство женщины, которую никогда никто не любил специальной любовью, а она этого до сих пор ищет. Поэтому она имеет зуб на Тату, а долею на Сашу за Грегоровиуса [8] и в письме к тебе обвиняет их в поверхностности. В этом обвинении тоже есть своя доля правды, а между тем основное побуждение дает этому вид, который скорее восстановляет против нее, потому что основное побуждение — обиженное самолюбие. Говорят, что она теперь написала к Тате чрезвычайно нежное письмо, в котором, однако, замечает, что Ольга теперь слишком много учится; а Ольга своей школой ужасно довольна и, кажется, чувствует себя совершенно в родной атмосфере.

Из всего этого возникает другой вопрос, на который обратить внимание я молю тебя коленопреклоненно. После истории с Грегоровиусом отправить Мальвиду с Татой в Италию как-то очень нестройно. Отправить в Италию Тату с одним Сашей — тоже как-то нестройно. Если ты поедешь с Татой в Италию, положим на 3 или 4 месяца — хорошо ли это для твоей деятельности? В общих обстоятельствах есть некоторое движение. Ну — ты уедешь и оставишь меня одного? Повторяю: я в твой такт для издания «Колокола» и пр. имею полную веру, а в свой такт — ни на копейку. Я могу писать по известным вопросам, и мог бы писать гораздо лучше, если б это не в журнальной, а просто в диссертационной форме. Что ж я буду один делать? А столкновения с людьми, к которым я также мало способен, — что ж я буду один делать? А работы, кажется, будет во всех отношениях больше. Один приезд Д[олгорукова] доказал мне это. — Оставить Тату в Женеве? Боже ты мой, милая моя, бедная моя Тата! Да где ж она найдет какое-нибудь удовлетворение? Если все вместе — то постоянная смесь желчевых отношений с одиночеством; если втроем — то только одиночество. Будешь ли ты уметь создать ей кружок ровесниц — девушек, без чего девушке жить — тоска? Едва ли тебя на это хватит, особенно в Женеве. Я сам уж тут представляю не только О[гарева]. — Ведь кончится тем, что она к отеческому дому возымеет — любовь за-

творника в тюрьме. А между тем, если у ней есть еще кой-какая поверхностность, то это потому, что она долго складывается, а в сущности это натура, в которой все человечески изящно. И эту-то натуру в лучшие годы жизни осудить на какое-то пассивное страдание — это черт знает что такое! Это преступление! Я об этом думаю, может, больше, чем о чем-нибудь; но проекта никакого не могу представить; а почему всего больше не могу, увидишь дальше. Теперь прошу, молю тебя коленопреклоненно обратить на этот вопрос все твои мозги. — Об остальном завтра. — Теперь устал, покурю и пойду спать. —

Вторник, ночь

Я тем более оставил вчера мое писанье, что мне сегодня хотелось выведать от Натали впечатление твоего письма к ней, которого я не знаю. Но она мне ничего о нем и не сказала, а повела ту же канитель обвинений на детей, т. е. С[ашу] и Т[ату], обвинений, где — если у них подчас встречаются бестактности, то они обращены в преступления, и мое несогласие, которое даже по моему специальному характеру выражать очень трудно (ибо я средины между молчанием и совершенной грубостью не могу схватить да и только) — мое несогласие вызвало с ее стороны объявление мне презрения. Ergo, вот на чем останавливаются наши отношения. Caro mio! что ж я могу тут сделать? Я старался все это время быть настолько мягким, чтоб как-нибудь был возможен серьезный разговор. Но он решительно невозможен. Ей объяснить, что она разрушила семью и никто кроме нее не виноват в этом — и если другие поступают глупо или нехорошо, то это только последствия ее начала — это ей объяснить еще труднее, чем Мальвиде объяснить, что у ней нет таланта воспитания. — На днях у меня с Нат[али] была такая встреча: она мне рассказывала историю Грегоровиуса (где Мальвида играет, конечно, глупейшую и нехорошую роль) и высказывала свое презрение к Мальвиде. Я молчал — я ждал, что она скажет о *своем* отношении к Мальвиде — ни слова! А она обиделась тем, что я молчал. Что ж мне делать? Я поставлен в положение, что я не могу — без твоего разрешения сказать: «а это вот мол что? и как и почему?» Ну! я и принужден молчать. Злобы и ненависти Нат[али] до такой степени бессознательны (физи- или патологические), что она притом в своей добродетели уверена и ее положение тоже страшное страдание. Жить эдак дальше нельзя, друг мой, надо чем-нибудь разрешать [9].

Остановился над этим и думаю — дай еще пройдусь по комнате — в голове трещит — я думаю тут никакие мышьяки не спасут. Но буду стараться превозмочь мои боли, тем больше, что все это время мне гораздо лучше было. Как ни трещи в голове от какого-то отчаяния, все же надо выдумать хоть проект развязки, который бы можно было потом обдумать и исправить.

Нат[али] все говорит о России. Признаюсь, прочитавши третьего дня продолжение «Трудного времени» Слепцова [10], где мне так и пахнуло отечеством, да еще вспомнивши различные частные обстоятельства — мне страшно за Лизу; а Нат[али] — страшно ее оставить здесь, ибо она считает Сашу и Тату ее врагами. Как она ни бредь, но ведь она в свой бред верит как в правду — что ж с этим делать? Мне кажется, что тут поможет только скорость. Дай мне сбегать сейчас в Лозанну, отыскать школу и квартиру и перевести туда Натали [11]. Это разом и вдруг изменит направление и даже может через некоторое время допустить сожитие, где Лиза останется на твоих глазах. Я надеюсь, что ты проживешь долго и что Лиза успеет вырасти под твоим надзором. Поверь мне, что я тут все сделаю, чтоб практически было

Нат[али] с Лизой удобно. Если б оказалось в Лозанне нехорошо — я пойду в другое место, о котором ты можешь подумать, ибо я Швейцарию недостаточно знаю. Но только это надо сделать сейчас. Иначе мы придем к такому результату, что надо будет отпускать в Россию да еще в невозможный сезон. Как приедешь тотчас и решай. Я даже рад бы был, чтоб у меня был припадок до твоего приезда, чтоб не заботиться его ожиданием впоследствии... Я думаю, что даже держать в настоящей совокупности Натали — род преступления, потому что урезонить ее нельзя, а это значит ставить ее в неимоверное страдальчество, которое — как оно ни ложно и ни безумно — а все же страдальчество — для всех бесполезное.

Больше я ничего не могу придумать.

Жду тебя с неимоверным нетерпением. Верю тебе, что передвижение вещь превосходная (сколько бы оно ни мешало переписке — не так как поездка, в определенное место), но наклонности к ней никакой не чувствую и не вижу резона, чтоб у всех людей желания были на один лад. Если я желаю твоего приезда, то это вовсе не для того, чтоб мешать твоему передвижению, а просто потому, что считаю твое присутствие здесь нравственной обязанностью.

Главным вопросом, который должен теперь быть между нами — это мое свидание с Домб[ровским][12]. — Это касается общего дела (которое для меня все же стоит на вершине) и касается так, что времени терять нельзя.

Не надеюсь на свою память — записываю, чтоб ты потребовал от меня тотчас же: 1) разговора о мисс Турнер[13] и 2) письма Долгорукова, с которым тоже надо порешить; 3) есть еще кое-какие письмы, которые передать тебе нужно, но дело не так важно; 4) также есть статья.

Сегодня был Саффи[14], а я заболтался с Майором[15] и последней корректурой «Колокола». Саффи обедал у нас. Он очень симпатичен, но Натали его ставит как противуположность «чужого» занимающегося ее горем, с своими (особенно С[ашей] и Т[атой]), которые не имеют сердца и на ее горе не обращают внимания. Что у ней выйдет с Саффи — не знаю. Мне бы уж хотелось, чтоб конфиденции шли этим благородным путем, чтоб не пошли иначе.

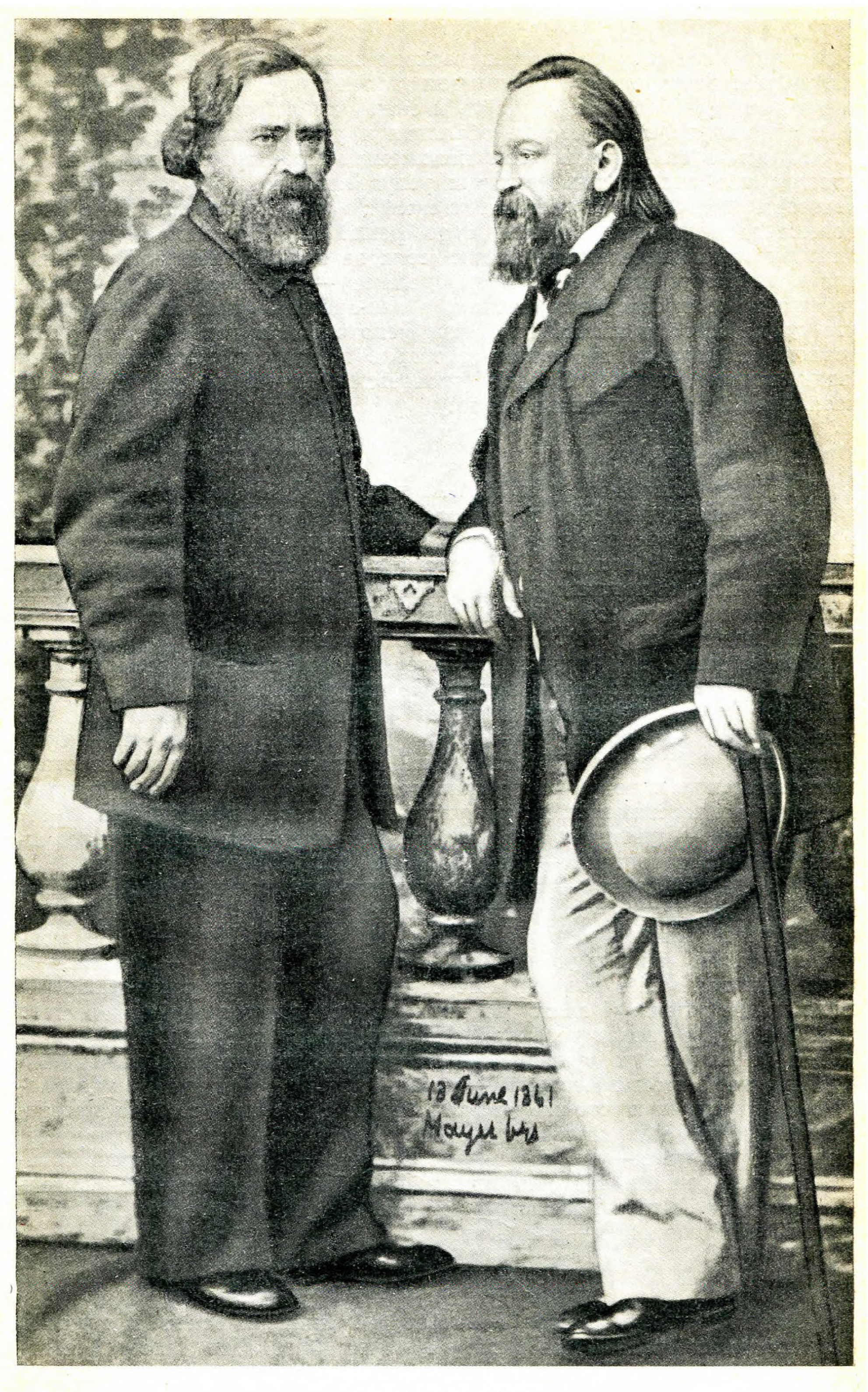
Ну! прощай, напишу ли еще — не знаю. Вероятно!

Сегодня встретился с Фогтом и обрадовались друг другу.

Еще напомни мне поговорить с тобой, личных дел ради, о Палерме и о России.

Середа

Не могу не написать еще. Сегодня еще хуже. Счастливо только, что я здоров как бык, несмотря на гнет жарко-дождливой погоды и внутреннюю разорванность. (Боюсь что это долго не продолжится.) Сегодня Нат[али] на меня в бешенстве, а, право, — если я что говорил, то слишком мало, больше молчал. Главное бешенство по делу с Касат[киным], о котором сказалось мимоходное слово. Я об одном умоляю тебя: не вырази ниже движением плеча, что я тебе о наших разговорах что-нибудь говорил, ибо она хочет с тобой говорить, а думает, что я имею на ваши разговоры дурное влияние. Я не давал слова не говорить тебе, но все же лучше, если ты не покажешь виду об этом. Меня внутренно сильно оскорбляли все переговоры, хотя не долгие, сегодня, и главное ее гнев на то, что будто бы я не имею к ней доверия и, след[ственно], думаю, что она лжет, и потому она имеет презрение ко мне, тем более, что я весь век мой в людях оши-



ОГАРЕВ И ГЕРЦЕН

Фотография, 1861 г.

Литературный музей, Москва

бался (это твоя теория, справедливая до известной границы); но меня оскорбляла не точка зрения на меня, а действительная неправда, так что я сказал мимоходом, «да ведь я знаю, что ты со мной неоткровенна», но далее ничего не объяснил и ушел. Так наши отношения и остались в самом натянутом положении. Проект мой, пожалуй, не удастся, ибо она от меня никаких услуг принимать не хочет, как от человека, будто бы ее ненавидящего. Но ты понимаешь сам, что дольше эдак дня жить нельзя. Ergo, решай же. Но я об одном умоляю: решась на переселение сейчас (если не я пойду искать в Лозанну или куда бы то ни было, то ты должен) — щади ее, ибо безумие дольше тоже преследовать нельзя, а как-нибудь успокоить. Я думаю, что одиночество и школа для Лизы успокоят. Но далее нечего употреблять ни упреков, ни споров, а только пощаду и факт переселения (ведь щадим же мы С[ерно]-С[оловьевича] [16]). — Будь же сам спокоен, мягок, но решителен в деле.

Ночь

Сегодня была дочь Пав[ла] Ал[ексеевича] Тучкова [17] — кн. Мещерская. Я не видел ее. Она в последнем градусе чахотки. Была с сыном. Нат[али] говорит, что похож совершенно на Лелю-boy [18]. Была Нат[али] у меня в полночь, страдает, плачет. Говорила о Лизе и о ее воспоминаниях о мертвых детях. Меня это самого растрогало. Но далее не было разговоров, о моем обвинении ее в неоткровенности — ни слова. След[ственно], не поняла на что я намекал.

Но на меня это произвело иное впечатление. — Я все думаю о Лизе. Да что же это такое будет? Сердце надрывается. Тоска страшная! Признаюсь, что сам не пожелел бы умереть хоть сейчас, но все еще кажется, что может чем-нибудь Лизе помогу, может чем-нибудь Генри помогу (о котором тоже думаю с ужасом; как же иначе стоят мои отношения к нему, но бывши столько времени близко поставлен, несмотря на рассказы столь заслуживающей доверия дамы, как M-me Черн[ецкая] [19] — чувствую, что все же без меня — это потерянное отроческое существование) — да, вдобавок, все кажется, что есть еще силы на общую работу — и потому умереть не хотелось бы; а между тем, жить так гадко, что лучше бы не жить.

Вообще, чувство, которое во мне возбуждает Лиза, — я не могу тебе выразить. Такой привязанности к ребенку как к ней — у меня сроду не бывало; может поэтому еще больше меня пугает какая-то безвыходность ее жизни. Я гляжу на нее и мне становится так тяжело, что если б я не чувствовал необходимости все что во мне скрывать от других, я бы взял ее на руки и стал бы плакать как нервная женщина.

При всем этом настроении — писать статью к будущему «Колоколу»! Я придумываю что-нибудь, что бы не требовало столько материальной работы, как статья о судебной реформе. Может и придумаю! Должен придумать — ну! так и надо сделать. — Прощай, Герцен, больше не стану писать. На сию минуту мне просто тебя хочется видеть для того, чтобы тебя видеть. Может мне без тебя тоска. Но все же — прощай. Спи спокойно — и все тут.

Пятница ночью

Сегодня был у Фогта. Говорили об экономических предметах. Страшно много мыслей вызывает, о которых Фогт и не думает, а написать их сейчас для «Колокола» нет возможности. — Есть еще господин, которого можно заставить работать. Жду тебя с нетерпением для испытания о нем. — Напомни мне рассказать тебе анекдот о Лизе и ниги-

листах. — Письмо твое и коррект[ура] пришли; но разговора с Нат[али] из этого у меня никакого не было. Я думаю, что это лучше — Addio! —

Смешного ради напомни мне рассказать анекдот о Тхорж[евском] и Жюле.

Суббота ночью

Еще немножко припишу. Сегодня встал совершенно здоровый, несмотря на зубную боль, которая мешает хорошо спать. Напился кофею и хотел подумать о статье. Вдруг Касатк[ин] прислал запрос — может ли он придти с другим господином. Конечно — да! — Ну — и пришел с Мечниковым[20] и еще одним господином очень интересным[21] (не могу упомнить его фамильи) — не думаю, чтоб он был очень умен, но бежал от каторги, добродушен и я думаю с твердым характером. Сидели они — но мне что-то становилось не весело, я думаю и на них это сделало дурное впечатление. Почему мне становилось не весело — понять не мог. А вскоре, после того как они ушли — был у меня припадок. Ну! теперь я на 20 дней свободен. Но вот что худо — я ушибаюсь — и мне без существа, которое следит за мной утром дома (ибо после завтрака уже ничего не бывает), что[бы] спасти меня от ушиба — без такого существа мне будет очень плохо. А здесь никого нет кто бы хотел и кого бы я хотел. — Все это не утешительно. — Обедала m-me S[alias] — ужасно много говорит, а все-таки честный и благородный человек. —

Ну — addio! Авось ли ты завтра приедешь.

[1] Датируется по письму Герцена от 15 июня 1865 г.

[2] Николадзе Николай Яковлевич (1843—1928) — журналист и общественный деятель, в начале 60-х годов сотрудничал в «Колоколе». В 1864 г. выехал за границу, где принял деятельное участие в эмигрантских изданиях. Вернулся в Россию в 70-х годах и продолжал журналистскую деятельность. Принимал в 1882 г. участие в переговорах «священной дружины» с народовольцами. Статья Николадзе, о которой пишет Огарев, по всей вероятности «Освобождение крестьян в Грузии», помещенная под псевдонимом Рио Нелли в л. 198 «Колокола».

[3] Швабе, вдова богатого банкира, друг Мальвиды Мейзенбуг.

[4] Мейзенбугата — шуточное прозвище Мальвиды Мейзенбуг.

[5] Н. А. Захарьина-Герцен.

[6] Салиас-де-Турнемир (Евгения Тур) Елизавета Васильевна, урож. Сухово-Кобылина (1815—1892) — известная писательница, родственница Огарева. Встречалась с Огаревым в начале 40-х гг. в Москве; гостила в Акшено в 1848 г. Ее разрыв с Огаревым послужил одним из поводов к разногласиям Огарева с его московскими друзьями (см. переписку Огарева с Грановским 1847—49 гг., «Звенья», сб. I, 1932). В 60-е гг. часто приезжала за границу, и их знакомство возобновилось. В 1865 г. посетила Огарева в Женеве.

[7] Е. В. Салиас была в Париже, когда неожиданно в декабре 1864 г. умерли дети Герцена Леля-girl и Леля-boy; она проявила очень большую заботу и внимание ко всей семье Герцена, в частности взяла к себе заболевшую Лизу Герцен и усиленно ухаживала за ней.

[8] Грегоровиус Фердинанд (1821—1891) — выдающийся немецкий историк, специализировавшийся преимущественно по истории Рима, хорошо знакомый М. Мейзенбуг. «История Грегоровиуса», о которой дальше пишет Огарев, носила «личный» характер.

[9] В 1865 г. разногласия между Герценом и Н. А. Тучковой-Огаревой особенно обострились. Н. А. хотела уехать в Россию, разойтись с Герценом, взять с собой Лизу. В письме от 5 июня 1865 г. Герцен писал Огареву: «Я не понимаю, что мне делать? Чего она хочет?.. Я кончу тем, что скажу: делай как знаешь. Двое погибли, бери третье дитя на твою ответственность...» С другой стороны, Н. А. Тучкова-Огарева писала Герцену 2 сентября 1865 г. «Дай же мне итти спокойно, по другой дороге, — здесь жизнь невозможна. ...Остаток жизни мы проведем в внутренней дали; я искренно тебе говорю, я не верю в твою любовь и не желаю никаких сближений»... («Русские Пропилеи», в IV, 290—292).

[10] Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878) — известный писатель; его лучшая вещь «Трудное время» печаталась в «Современнике» в майской, июньской и июльской книжках 1865 г.

[11] На это Герцен отвечал: «беглец с воинственной Женевы, не верится мне, чтоб ты дошел до Лозанны, да и не очень нужно...»

[12] Домбровский Ярослав Викторович — член Народного Центрального Комитета в Польше, русский офицер, арестован в Москве в августе 1862 г., бежал за границу в декабре 1864 г. В 1865 г. сотрудничал в «Колоколе». Впоследствии видный участник Парижской Коммуны.

[13] Мисс Турнер — англичанка, гувернантка дочерей Герцена: Таты и Ольги.

[14] Саффи Марк Аврелий (1819—1890) — участник итальянского революционного движения, публицист и историк литературы. Был министром внутренних дел первого республиканского правительства в Риме в 1848 г., затем вместе с Маццини и Армелини — членом «Триумвирата». Впоследствии эмигрант в Лондоне, близкий друг Герцена. В 1865 г. жил в Швейцарии и в 1867 г. вернулся в Италию.

[15] Маёр — врач, лечивший Герцена и Огарева, фигурирующий в их переписке под шутливым прозвищем «Майора».

[16] Серно-Соловьевич Александр Александрович (1838—1869) — участник революционного движения 60-х годов. В 1865 г. психически заболел.

[17] Тучков Павел Алексеевич (1803—1864) — брат отца Н. А. Тучковой-Огаревой; его дочь — Александра Павловна (1837—1881) была замужем за кн. Николаем Николаевичем Мещерским. В 1865—1866 гг. жила в Швейцарии.

[18] Леля-boy — сын Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой Алексей, умерший вместе с сестрой Еленой в декабре 1864 г. в Париже. Неожиданная смерть этих двух близнецов очень сильно повлияла на Н. А.

[19] M-me Чернецкая — жена Л. Чернецкого.

[20] Мечников Лев Ильич (1838—1888) — известный публицист, социолог и географ. Сначала служил в качестве переводчика в русских заграничных дипломатических миссиях. После увольнения за дуэль, жил в Италии, где сблизился с Гарибальди, став его адъютантом. Участвовал в войне за освобождение Италии и в октябре 1860 г. ранен. Переехав в Швейцарию, примкнул к Герцену и Н. П. Огареву, позднее был близок к М. А. Бакунину. В 1868 г. совместно с Николадзе издавал журнал «Современность». Один из ближайших сотрудников Элизе Реклю, которым и написана лучшая биография Л. И. Мечникова, помещенная в виде предисловия к книге «Цивилизация и великие исторические реки».

[21] Повидимому, с М. К. Элпидиным, летом 1865 г. приехавшим в Женеву.

25

Суббота, 24 [июня 1865 г.] [1]

(Вчера ошибся написал четверг вместо пятницы)

4 часа[а] пополуд[ни]

Твои письмы сегодня меня чрезвычайно обрадовали известиями о школе, об Ольге, [2] и ее детское письмо к Лизе меня усладило; но день принес иные результаты. Нет, Герцен, не под силу мне эта задача и эта жизнь — тут никакие мышьяки не помогут, потому специальный мышьяк уничтожает мозги. Дети сделали глупость, т. е. не только вчера вечером, но и сегодня утром не приехали. Разумеется жду их через полчаса или с пароходом в 7 час[ов] — но Нат[али] furiosa и ненависти к Тате и (долею) к Саше конца нет, больше, чем бывало к Ольге, к которой теперь дружба. Итак, только я успел наладить вопрос на диапазон, в котором звучали благородные струны, — как в минуту все опрокинуто и куда это поведет, не знаю. — Нат[али] пошла на железн[ую] дорогу (Тхор[жевский] пошел с ней) и сбирается ехать в Вёве. Я ей заметил, что если она хочет наделать беспокойства Лизе и отомстить за невольную неприятность другим — она может делать что хочет, но... и пр. — Я остался дома и с нетерпением жду результата к 6-ти час[ам]. Сердце трепещет, мозги дрожат, горе и зло охватывает все нервы. Нет! это становится невозможным.

А тут Кас[аткин] укоряет за то, что оставили фразу о «Будущности» [3], что это поведет к разрыву, что будь он Кас[аткин] на месте Дол[горукова], он бы побранился. Впрочем, у него n дней печень болит и он все сердится.

Надоели мне все.

Простодушный Тх[оржевский], несмотря на то, что подозревает в себе sui generis хитрость, ухаживает за злобами с преданностью пса. Может, это счастливо — а смотреть жалостно.

Пошлю ли я тебе это письмо — не знаю. Я написал от того, что сказать хотелось, может это кальмирует — и достаточно — а посылать не нужно.

[1] Датируется условно по содержанию письма (пребывание Герцена в Веве, а Н. А. Тучковой-Огаревой в Женеве, приезд детей и т. п.).

[2] В 1865 г. Ольга Герцен была помещена в пансион Фрелиха, но пробыла там недолго.

[3] «Будущность» — журнал П. В. Долгорукова.

26

Четверток [осень 1865 г.][1]

Сижу на скамейке в саду и пишу хотя оно и очень неловко. Бранись, как хочешь, Герцен, но я не могу сладить с моим неуменьем говорить, которое мне страшная помеха в жизни, и потому должен прибегнуть к письму — иначе не смогу. Сегодня же хорошо должно писаться, тепло как летом, даже трава и листья ароматичны и несмотря на некоторую грозовую тяжесть в воздухе, все-таки хорошо живется, и на память приходят стихи:

Когда б оставили меня
На воле — как бы резво я
Пустился в темный лес,
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез...

Но не в том дело. С ума все еще не сошел, хотя, вероятно и сойду (как Мальвида[2]) и потому перейдем к предметам, нас занимающим. Я начну с личных отношений и перейду постепенно к общим вопросам.

Личным делом первой важности, я считаю, что, несмотря на письмо Натали, надо съездить посмотреть эту барышню[3]. Тут может быть спасенье для Лизы и для самой оной барышни. Я это записываю тебе, потому что записанное больше помнится, чем сказанное. Суслову[4] же я не считаю великим талантом, а так неопределенным, но экзальтированным пониманием.

За сим перехожу к другим, долею общим, но все же личным вопросам, или вопросам личностей. Как ты хочешь, но все же я не могу смотреть на здешнюю несчастную молодежь с твоей ригористической точки зрения[5]. Я сам в себе не нахожу той чистоты, которая давала бы мне право на ригоризм. Кто же из них делал больше нечистого — хотя бы игранием относительно самого себя и относительно женщины, чем я делывал в их и не их возрасте? Заметь также, что большая доля из них способна трудиться. Об одном не стану спорить, что у них смысл ограничен. Следственно, что же нам оставалось делать относительно их — упорно воспитывать, а не отталкивать, не обижаться вздором — а вывести на настоящий путь Не могу я не считать этого положения за правду, от этого меня твое отношение к ним только глубоко печалит, доводит до неловкости в жизни и до всякой внутренней скорби.

Если между ними есть дурные люди, то не все же они дурные люди, и, следственно, есть люди, которым можно растолковать вещи, но которых нельзя топтать в грязь и прибавлять новый элемент к их гибели. По-моему, это не великодушно и ложно.

Теперь перейду к совсем общим вопросам. Читал и читал сегодня статью Соловьева[6] и чем больше читал, тем больше думаю, что это одно из самых вредных литературных произведений, которое бьет в руку правительству и реакции, ни чуть не уясняя какого бы то ни было научного пути, а притязание на это имеет сильное. Старо-воздвиженская

философия! Она хочет отделить способность понимания (разум) от способности чувствования, т. е. разного рода страстей, которые она возводит в теорию нравственности, **сердца** и принципов — как будто может быть принцип вне понимания. Сам не замечая, этот господин доходит до чего ему вовсе не хочется, что в природе есть степени (извини за выражение, но я думаю она нагляднее: a^2, a^3, a^m, a^m и так далее) есть sui generis **серии**, но из этого не следует, чтоб именно не нашлось корня, который только повышает в степени, но нисколько не приводит к особым эссенциальным основам, в роде принципов нравственности. Вся штука, в каких бы сериях и степенях ни находилась, все же имеет корнем **равновесие** или **стремление к равновесию**, к эквилибрации равно в мире физическом и мире историческом или общественном.

Отсюда только и можно вывести и физиологически человеческое стремление к гармонии, и необходимость ее; но, при невменяемости уклонений, все же нельзя вывести общественное право на кару, на жестокость, а только на устранение мешающих личностей и то только тогда, когда общество могло бы сказать, что оно достигло до равновесия, достигло до гармонии. А тогда и мешающие личности, кроме совершенно патологических, требующих медицинской помощи — немыслимы. К чему же приводит это, что общество во 1-х), должно само найти свое равновесие, а во 2-х), что общество на преступления имеет право смотреть только как на патологические явления, которым нужно искать медицинской помощи — а не виселицы.

Затем довольно. Посердись на это письмо, потом вникни в его правду — и прости.

Завтра, т. е. в пятницу, в 5 час[ов] загляну в post-café и в глобус и, если не найду тебя, то прямо отправлюсь к тебе.

1 Письмо датируется условно по содержанию.

2 **Мальвида** — М. Мейзенбуг.

3 О какой «барышне» идет речь, не выяснено, но в 1865 г. Герцен как раз усиленно искал воспитательницу для Лизы.

4 Несомненно, что Огарев пишет об Апполинарии Прокофьевне **Сусловой** (род. 1840) «цюрихской нигилистке», имя которой связано с Ф. М. Достоевским. Первая встреча А. П. Сусловой с Герценом, описанная ею в своих записках, была в феврале 1865 г., вторая — в июне 1865 г. В письме к дочерям от 17 июня Герцен писал: «была... нигилистка из Цюриха Суслова с сестрой, доктором медицины...», т. е. с Надеждой Прокофьевной **Сусловой** (1842—1910) — первой русской женщиной-врачом. В статье А. С. **Долинина**, Достоевский и Суслова (Сб. «Ф. М. Достоевский», Статьи и материалы, вып. II, Л. — М., 1924 г.) напечатано 5 писем Н. А. Тучковой-Огаревой к А. П. Сусловой, относящихся к марту — августу 1865 г., в которых как раз много говорится о воспитании Лизы. По сопоставлении этих писем с письмом Огарева, ясно, что А. П. Суслова намечалась воспитательницей Лизы, видимо, по предложению Натальи Алексеевны.

5 Речь идет о разногласиях Герцена с «молодой эмиграцией».

6 **Соловьев** Николай Иванович (1831—1874) — литературный критик 60-х гг. Выступал в «Отечественных Записках» и «Всемирном Труде» с статьями против Чернышевского и Писарева. Все его критические статьи были собраны в 1869 г. в трех томах и изданы под заглавием «Искусство и жизнь». О какой статье Н. Соловьева идет здесь речь, неясно, но всего вероятнее, что или о «Труде и наслаждении» или «Об отношении искусствоведения к искусству».

27

Chateau de la Boissiau Genève

С понедельника на вторник

[6 ноября 1865 г.][1]

Что за день, Герцен! что за странный, убийственный день! Если это мои нервы вынесут, то есть еще надежда на выздоровление.

Твое письмо, после которого я принимал трех давно знакомых юношей и, не умея быть разговорчивым, старался быть разговорчивым и, вероятно, был ужасно глуп. Это я только тебе предисловие строчу; стало, видишь, начал с нравственных усилий. — Тата целый день лежит с головной болью до тошноты и все насморк сильный. — Проводил гостей, сходил взглянуть на нее, пошел пройтись, в голове все твое письмо... Прихожу в 7 час[ов]. — Луг[инин][2]. — Сели мы обедать, (т. е. он так посидел) — Тата осталась наверху лежа. — Сели мы обедать — Тх[оржевский] мне дает письмо от Кельсиева. Руки у меня задрожали. Читаю... Если первое письмо было страшно, то это еще страшнее. Варвара Тим[офеевна][3] умерла. Он пишет о ее смерти и похоронах.



ЛИВОРНО

Гравюра

Литературный музей, Москва

Он в состоянии безумия, но которое я понимаю или уважаю получше этих дрянных безумий, которыми мы окружены. Но меня холод пробрал до мозга костей. — А ведь его надо спасти — это не С[ерно]-С[оловьевич]!! — С Луг[ининым] я не пробовал говорить серьезно. Он завтра придет. Но он хочет тебя видеть с разными совещаниями и если ты не раньше четверга приедешь, то он, вероятно, в среду будет у тебя в Монтрё, ибо он спешит в Париж застать У[тина][4], который едет в Россию. Что сегодня говорил с Луг[ининым] и что завтра буду — успеешь узнать. — Но под ударом кельсиевского письма — мне ничего не хотелось говорить. А тут явилось приглашение от Кас[аткина] непременно придти — день рожденья Лиз[аветы] Ал[ексеевны?][5]. — Луг[инин] ушел, я пошел к Кас[аткину] и сказал, чтоб мне приготовили чаю и затопили камин, который уже утром топили. — У Кас[аткина] — Долг[оруков] и еще один очень хороший господин, — да, Данич[6]. Но мне, признаться, было не до них. Насилу отсидел с час и пошел домой. Ну! думаю — satis, sufficit, отдохну сколько-нибудь сам с собой, заставлю себя читать

об Америке, сверну мысль на другой предмет и полегче станет. — Дома Тату уже не видал, она велела мне сказать, что легла в постель, а я только хотел наблюдать, чтоб не было шуму. — Франсуа [7] топил камин, огонь разгорелся, — немножко дыму... ну, думаю, ничего, пройдет. Чаю принес Франсуа и наслаждался, что камин хорошо горит. — Да, чорт возьми, что это за шум в камине? — Глядь, а из трубы уже искры, сажа в камине загорелась (трубы не чищены, Ступенель [8] хотел прислать сегодня трубочистов и не присылал; мне об этом ничего не сказывали, иначе я бы нигде не велел топить, не только у себя). Хорошо, что Жюль догадался засыпать трубу золой и залить потом, хорошо, что у него были в это время трое соседей приятелей, — а не будь этого — чорт знает, что бы вышло. Трубы не только не чищены, но, кажется, и не прочны — и опоздай затушить это четверть часа — труба треснула бы и пошел бы чесать пожар. Все это продолжалось больше часа, т. е. за полночь. Я жюлевых друзей велел угостить, но сам уже совершенно разбит от всего накопления тревог. Счастливо только то, что Тата * — [не]смотря на шум, не проснулась и, след[ственно], не была испугана со сна.

Вот и день прошел... Хорош день! — Но ergo — от пожара мы избавились — и то хорошо!

Две вещи у меня гвоздем сидят в мозгу — это смерть В[арвары] Т[имофеевны] и состояние Кельсиева, и ответ С[атиных] [9] с приглашением в Россию. Что же было писано, чтоб вызвать этот ответ! Боже ты мой — how sad seam to me all the uses of this world.

Жду от тебя послание завтра. Если не будет — то ты сам будешь. А если будет, то пусть Луг[инин] к тебе съездит. Я его остановить не вправе.

На обороте:

Герцену

Милый Папочка, вчера у меня была необыкновенная головная боль, целый день. Пора тебе вернуться. Лугинин приехал вечером, завтра опять уезжает. Прощай, всех цалую, Тхор[жевский] кланяется.

Ваша Тата

[1] Датируется по ответным письмам Герцена этого периода и по содержанию.

[2] Лугинин Владимир Федорович (1834—1911) — участник революционного движения 60-х годов. В 1861 г. член «Великорусса». В 1862 г. уехал за границу, сначала в Гейдельберг, где явился одним из организаторов русской читальни. Сблизился с Герценом и Н. П. Огаревым; одно время существовал проект его женитьбы на Тате. В 1865—1866 гг. жил в Париже. В августе 1867 г., получив разрешение, вернулся в Россию, где занялся научной работой. В 1890 г. — профессор химии Московского университета.

[3] Варвара Тимофеевна — жена В. И. Кельсиева; была вместе с ним в Лондоне, а затем переехала в Турцию. Умерла в Тульче в конце 1865 г. В статье «Две кончины», напечатанной в «Колоколе» л. 208 (15 ноября 1865 г.), Герцен писал: «В прошедшем месяце скончалась на границах Турции Варвара Тимофеевна Кельсиева, супруга известного В. И. Кельсиева. Безропотно, самоотверженно, кротко, без фраз вынесла эта твердая превосходная женщина добровольную ссылку, страшную бедность и всевозможные лишения... Ей едва ли было двадцать пять лет» (т. XVIII, стр. 249).

[4] Утин Евгений Исаакович (1843—1894) — известный адвокат и публицист.

[5] Лизавета Алексеевна — жена В. И. Касаткина.

[6] Данич — рабочий в типографии Герцена, поляк, эмигрант, ранее сидевший в австрийской тюрьме.

[7] Франсуа — слуга Герцена.

* Клочок с текстом оторван.

[8] Ступенель — владелец дома в Женеве, где жил Герцен со своей семьей и Огарев.

[9] Н. М. Сатин (1814—1873) — поэт и переводчик, член герценовского кружка; его жена Елена — сестра Н. А. Тучковой-Огаревой. В 1865 г., когда разногласия между Натальей Алексеевной и Герценом были особенно остры (см. их письма у М. Лемке и в «Новых Пропилеях», в. IV), Н. А. стала выражать желание возвратиться в Россию. В ответ на письма Н. А. Сатины стали усиленно приглашать ее приехать к ним.

28

Четверг, вечером [ноябрь 1865 г.][1]

Я хотел писать тебе сегодня поутру, но никак не успел — а это письмо не пойдет ближе завтра 2-х часов; к тем порам я успею осмотреть квартиры (на которые надежда плоха, потому что на горе для Нат[али] нельзя брать квартиру — это было бы доканать последнюю гигиену какая есть).

С чего же мне начать мою повесть? Да уже лучше с того, что я и сдержал себя, потому что так хотел, и сдержал себя потому, что мне ее страшно жаль. Во всяком случае, мы остаемся в самых дружеских отношениях. Я думаю, что это необходимо, потому что если теперь еще не удастся ничего поправить, то после, при дружеских отношениях, может удастся, а иначе — совсем нельзя ни на что рассчитывать. И эти дружеские отношения должны быть с моей стороны и еще более с твоей. Я убеждаюсь, что они необходимы для общего спасения и в особенности ее спасения — как гигиена или лекарство в болезни. Это болезнь — и, не говоря уже о ней самой, я думаю, что мы оба виноваты в этой болезни, именно потому, что мы вели дело не терапевтически, не психиатрически, а страстно.

Большую часть я расскажу тебе при свиданьи; теперь и поздно, и я устал с вчерашнего страшно. Все что я теперь скажу тебе — это то, что она меня выслушивает, но объяснить что-нибудь, втолковать что-нибудь, я еще не в состоянии. Что будет со временем — не знаю, я не отчаиваюсь. Теперь знаю только то, что она страдает нравственно неимоверно — и это болезненно, а не преднамеренно. Я одно рассчитывал, что мне надо являться, когда чувствительно нужно, т. е. в месяц или в неделю раз, и может я буду весьма полезен. Но тебе надо много работать — не только над ней, но даже над самим собой. Решительно в письме ничего не хочу писать определенно — и оставляю до свиданья.

Вчера я пришел домой поздно, измученный внутренно, думал, что лягу и усну, но лег и не спал, чувствую большую усталь. Вечером нарочно говорил только о посторонних предметах. Но утром разговор шел о детях. Боже ты мой — как она страдает воспоминанием о Леле — и чего не фантазирует о ее бывших отношениях к большим детям! Плачет, мучится... Я останавливал мягко-жестоко, т. е. говорил все, что думаю, но обидно — и разладу никакого не вышло. Впрочем, она все же была лучше, чем обычно.

Итак — сущность до свиданья. С Татой мне также много хочется потолковать.

Но что̀ меня глубоко оскорбляет, волнует, сверх всей сущности дела, это то, что я прихожу к убеждению, что все люди бессознательно (когда не преднамеренно) лгут, у каждого первая задача быть правым — и той глубокой честности (которая может быть положена задачей в христианской морали) — ни в ком, даже в нас нет. И разговор мне становится тем труднее, что я фактически не могу никому (может и не себе — у меня, впрочем, есть привычка таить, а не то что лгать) не

могу доказать, что он лжет. Одна и та же вещь способна быть рассказана разно двумя людьми — и у обоих с совершенной искренностью. Все это удручитель[но], Герцен; для меня, по крайней мере, так же удручительно, как самая злая физическая болезнь — и оно отнимает у меня возможный покой. Может и это с моей стороны безумие — а может и любовь? — Что бы то ни было, но я прихожу к такой неопределенности во взгляде на индивидуальные отношения, что у меня внутренний покой исчезает.

Лиза составляет мое наслаждение, несмотря на ее капризные стороны, и она меня детски ужасно любит. Она немножко гуляла с нами и все со мной, и читал я ей, и вместе мы с ней читали. У ней десны немножко болят, но я думаю, что это какая-нибудь случайная царапина. Были мы у английских детей (которых родители очень довольны продажей «Колокола» и других вещей и требуется Кельсиевск[ий] сборник) [2]. Дети очень милы, мальчик особенно ко мне привязался. Английская старуха, кажется, нашла кому сдать квартиру Натали.

Русская старуха была при смерти, но, кажется, ей лучше. А может она только продолжительно умирает. Афрос[инья] Мих[айловна], как мне с первого разу показалось, так и теперь оказывается — шельма. — Сходи сейчас к Винограду [3] и спроси его: когда иностранец умирает, без особенно засвидетельствованного завещания и без близких около себя, — что делается с имуществом? Опечатывается, отдается ли под надзор какой-нибудь инстанции и на какое время и кто может его требовать? А если есть завещание нигде не засвидетельствованное, какой оно имеет ход? Кто может адресоваться в инстанцию с объяснением или прошением? И сейчас меня извести. Это нужно. — Я уеду отсюда в воскресенье. — Я еще ничего не работал, только прочел Конта [4] в «Совр[еменнике»]. — Статья превосходная, лучше всех. — В «Моск[овских] Ведом[остях]» не нашел еще дело Потоц[кого] [5] — не отыщешь ли в каком № он означен.

Прилагаемую записку отдай Мери. Не могу вспомнить № 484 ten, или 482 Rue du petit [слово не разобрано]. Если она больна и ей что нужно — помоги. Она без языка.

Чтоб не запоздать и не смешить — что скажет Raisin [6] — напиши Натали.

Погода удивительная сегодня. Озеро при закате и при луне — превосходно.

[1] Датируется условно по ноябрьским письмам Герцена 1865 г.

[2] «Кельсиевский сборник» — повидимому, его известный «Сборник правительственных сведений о раскольниках», выпущенный еще в Лондоне.

[3] Виноград — шутливое прозвище какого-то женевского юриста или старожила (может быть, Фази?). Кто такие «русская старуха», «Афросинья Михайловна» — не выяснено.

[4] Статья Э. Ватсона «Огюст Конт и позитивная философия» в № 8 «Современника» за 1865 г.

[5] Повидимому, так называемое дело Синегуба и братьев Виктора и Леонида Андреевичей Потоцких по обвинению в возбуждении крестьян Киевской и Полтавской губерний к «возмутительным действиям» и в распространении среди них «золотой грамоты». Начавшееся еще в 1863 г. дело Потоцких-Синегуба окончилось в июне 1866 г.; братьям Потоцким было вменено в наказание двухлетнее содержание под стражей.

[6] Кто такой Raisin — не он же ли «Виноград» — не выяснено, повидимому опять-таки какой-то швейцарский юрист. В письме Герцена к Н. А. Тучковой-Огаревой от 28 ноября 1865 г. читаем: «у Raisin был; он говорит, что те, кто принимает участие в старушке, должны перед ее кончиной известить juge de paix (мирового судью) и объяснить ему, что, как родных нет налицо, то чтоб запечатали имущество и бумаги...» и т. д. (т. XVIII, стр. 255).

29

[26 февраля 1866 г.][1]

Письма еще от тебя нет. Но вот тебе письмо от Карла[2], которое, т. е. проект расписки — мне кажется удовлетворительным; но так как дело во всяком случае надо протянуть до известий, то тебе не худо дать ответ эвазивный, а между тем, поговорить с кем из здешних юристов, ибо, если что не так, то оборвется же по здешнему суду и закону.

Еще письмо от M-me Л[еон][3]. — Но я тебе один вопрос сделаю: Якоб[ий][4], может быть, весьма противный человек private, но при уроках она, вероятно, боится, что он сыну ее преподаст теолого-политические правила опасные, а что же он тут в самом деле может сде-



ЛИВОРНО
Акварель Морица, 1829 г.
Эрмитаж, Ленинград

лать человечески дурного? Сомнительно! Ведь это бы следовало ей уяснить.

Еще корреспонденция. Если можно из нее почерпнуть что̀ по части бюджета... и то с трудом за недостатком ясности, а то обличения очень обыкновенные. Я решился не посылать ее к тебе, ибо успеешь и здесь увидеть.

Тата здорова и поет, Линда[5] чешется и воет, Тхорж[евского] дома нет.

Жюль поговаривает о необходимости привести дом в порядок за несколько дней до сдачи.

Тата и Тх[оржевский] вчера смотрели два дома на Арве[6], говорят что хороши, но дороги.

У Огар[ева] плечо еще болит, усталь продолжается, но работать можно.

За сим обнимаю вас и перехожу к работе.

P. S. Еще письмо Б[акста][7], — Тх[оржевский] пришел от Стув[енеля], который дальше 1-го апр[еля] не может оставить дом, но оставляет сарай для склажи вещей даром. — Портос укусил руку сербу, который табаком торгует и нес табак К[асаткину?][8]. — К[асаткин?] еще не знает. Тх[оржевский] отправляется бунтовать ему печень.

[1] Датируется по ответному письму А. И. Герцена от 27 февраля 1866 г. из Монтрё (т. XVIII, стр. 337).

[2] Карл — К. Фогт, см. комментарий к письму 21. В письме к сыну от 10 февраля 1866 г. А. И. Герцен писал: «...К. Фогт хлопочет (и очень дельно) о наших деньгах в России (это секрет)...» (т. XVIII, стр. 329). Письмо К. Фогта, которое датировано 22 февраля 1866 г. и на обороте которого было написано настоящее письмо Н. П. Огарева, и явилось до некоторой степени первым отчетом об этих хлопотах и о его переговорах с Сатиными, которые, может быть, в связи с этим и собирались как раз в это время приехать за границу. Кроме того, в письме говорилось об издании в России повести Герцена «Кто виноват?».

«Кто виноват?» было издано В. О. Ковалевским в 1866 г. в Петербурге в количестве 22 000 экз. Об этом Герцен писал сыну еще 10 февраля 1866 г. «...Ты знаешь или нет, что в Петербурге вышло новое издание «Кто виноват?» и, говорят, было нарасхват куплено?» (т. XVIII, стр. 329). О русском издании «Кто виноват?» пишет он и в последующих письмах к сыну от 15 февраля и 2 марта 1866 г. (т. XVIII, 334—335 и 355—356).

[3] M-me Леон — знакомая Герцена, жившая в Берне, через которую, между прочим, шла переписка Герцена с Сатиным.

[4] Повидимому, Якобий Павел Иванович, эмигрант. См. комментарий к письму № 35.

[5] Линда — собака А. И. Герцена.

[6] Арва — река, протекающая через Женеву.

[7] Бакст Владимир Игнатьевич (1835—1894) — русский эмигрант; о нем см. в статье Б. Козьмина «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».

[8] К. — не выяснено: может быть Касаткин В. И., живший в это время в Женеве.

30

[Февраль 1866 г.][1]

Вот тебе письмо Фогта. — «Москов[ские] Вед[омости»] 4 дня не приходили, сегодня пришли 2 №; посмотрю и ужо отправлю к тебе. — Тх[оржевский] обещается дом найти на этой неделе непременно. Я вчера ходил и не попал в виллу Мальцов[2]. — День был вчера светлый. Сегодня скверно. — Я пойду искать между Колоньи[3] и городом. Мне кажется, что все представляемое до сих пор лишено настоящего вида и путей сообщения, так что не меня, а тебя приведет в уныние. Но соединить пути, удобства, вид и цену едва ли возможно, Villa Maltzoff — 5 000 фр[анков]. — Цалую Лизу. Прощай! — Тх[оржевский] идет на почту. — У Таты вчера голова болела.

[1] Датируется условно по связи с содержанием предыдущего письма, с которым настоящее непосредственно связано.

[2] Villa Maltzoff — вилла в окрестностях Женевы.

[3] Колоньи — местность около Женевы.

31

Пятница [6 апреля 1866 г.]. Утро.

... даже полдень. Ты уже, вероятно, в Монтрё. И тебе сегодня 54 года. Несмотря на все скорби, сил в тебе много, и ты увидишь полное совершеннолетие детей и лизин лучший возраст... и обо мне им помянешь. Дай покамест обнять тебя как водится...—Я чувствую себя не на пути долговечности, а на пути выздоровления[1]. Может и в этом оши-

баюсь, но не думаю. Мое выздоровление меня очень занимает: меня занимает определение доли, которую отнести ко льду, доли — которую отнести к гигиене и доли — которую отнести к внутреннему самоотрабатыванию организма в старость (твои мигрени уменьшились же!). Вообще, развитие последней со всеми абнормальностями страшно интересно и именно потому должно дать результаты, что самонаблюдение в полной силе, а развитие организма выходит из равновесия средних лет в те сальянтности, которые наводят на понимание явлений. Над этой задачей я рад похлопотать остальное время и, поправившись в довольно мощную старость, покончить ударом; этого я лучше бы желал, чем долговременного ослабления до невозможности самонаблюдения. Связь апоплексии и эпилепсии вопрос тоже не безынтересный. Одну штуку у тебя попрошу: чорт знает, куда я девал мой Handbuch анатомии, который мне (как все книги) был бы чрезвычайно важен для справок и облегчения памяти (а я еще мечтаю подправить её трудом не утомительным, но постоянным). Когда будешь у Георга [2], возьми, на мой счет, новейший, однотомный, с политипажами в тексте — Handbuch анатомии — иначе это будет для меня сильный недостаток.

Кстати (или нет)— вы не заметили в 78 № «Голоса», на 3-й стр[анице] 1 колон[ка] явления из эпидемических сумасшествий — дело самопризнания мещанина Железневского в поджогах [3]. Это один из самых сильных фактов.

Чтоб не забыть — сколько раз хочу спросить — как же решишь вопрос «Колокола» и Чернецк[ого] относительно меня. Сегодня 6-апреля, ergo к 15-му я статьи не приготовлю [4], ибо нет возможности и написать и набрать; а к 1-му могу приготовить хоть две. А остальное решай сам, потому что мне одному решение равно импоссибилитету. В понедельник реши.

Теперь о самом близком: подумай еще раз о предстоящих разговорах с S. [5]. Что ты намедни высказал мне — чем больше думаю, тем больше странно и чуждо. Чем же ты поправишь Л[изу] между *n* детьми, также избалованными? Иногда мне казалось, что отвращение отпустить ее туда — эгоизм. Но какой же тут с моей стороны эгоизм? Если б я думал о долголетии — может быть, было бы тут много и эгоизма; а иначе — это просто недоверие к тамошнему люду, след[ственно], опасение втолкнуть ее именно под влияние, подобное тому, которое тебя пугает. Подумай!.. Подумай и о том, что надо будет в предстоящих разговорах распорядиться материальным достоянием и привести в ясность, сколько моего может перейти к Л[изе] и может ли? Вопрос очень неприятный, но я думаю, что не говорить о нем нельзя.

Сегодня день полусеренький. Сижу один в своей комнате и смотрю в окно с наслаждением, которого не могу тебе описать: 1°) Я не вижу города, 2°) Я здесь узнаю деревню, и мне как-то шире дышится. Я думаю, опять начну писать стихи. За сим прощай. Хочу письмо отправить сегодня.

---

[1] В феврале и марте 1866 г. у Н. П. Огарева было несколько сильных припадков эпилепсии.

[2] Георг — женевский книгопродавец, участвовавший в распространении герценовских изданий.

[3] В № 78 «Голосов» (от 19 марта 1866 г.) было напечатно: «Егорьевский, Рязанской губернии мещанин Кирилл Степанов Железневский, явясь в Дедиковское волостное правление Зарайского уезда, заявил, что он желает очистить совесть свою сожалением в преступлении издавна терзавшим его... с полной откровенностью показал: в течение времени, с 1860 по 1865 год им было сделано четыре поджога в селе Дедикове... поджигал из любви к огню и тешился, бывало, когда поджог удавался...».

[4] Повидимому, Огарев имеет в виду свою статью «Частные письма об общем вопросе».

[5] S. — несомненно, Сатины. Из письма Герцена к сыну от 21 апреля 1866 г. (т. XVIII, стр. 371) узнаем, что «в мае будут Сатины, пробудут два месяца, июнь и, вероятно, часть июля...». В связи с приездом Сатиных снова встал, повидимому, вопрос о возвращении Н. А. Тучковой-Огаревой с Лизой в Россию. Приезд Сатиных должен был разрешить и другой не менее важный вопрос — о материальных ресурсах Н. П. Огарева и денежных расчетах его с Сатиным.

32

5 мая [1866 г.][1]

Я тебе говорил, что мне хотелось писать к тебе; вчера даже хотелось говорить с тобой, но это было невозможно. Добрейший пан[2] хотел, чтоб я шел с ним ночевать — это было бы уже решительно бесплодное отнятие ночного сна и утренней работы; а тут я все-таки был в одиннадцать часов в постели, натерт льдом, и спал до 7 часов, опять употребил лед и вот, несмотря на серую и мокрую погоду, свежее, чем бы даже ожидал. — Но к делу: во 1-х, частные предметы. Мне было вчера очень больно, когда получил твое письмо, что ты не напомнил мне 2-е мая...[3]. Отчего же такое жестокосердие к моей бедной памяти? А может и теперь ошибаюсь?.. Право, я, кроме моего дня рождения втиснутого в мозг с детства, ничего не помню. Я уверен в некоем расслаблении мозга, но, к сожалению, не только его патология, но и физьология неизвестны; в иных случаях мой мозг еще очень жив, а память замирает и путает впечатления былого... Я чувствую из твоего письма, что ты говоришь о дне смерти Наташи! Отчего же ты мне его не напомнил? Я не верю, чтоб я еще не мог отпраздновать с тобой печальной годовщины. Теперь я требую от тебя назначения дня и места — для перечтения ее писем и журнала. Сколько бы зла я ни принес тебе в жизни — но этот день воспоминаний ты мне подари. — В Лозанну я поеду когда хочешь[4] после 8-го мая; 8-го мая, если я останусь здоров, будет моему здоровью три недели с днем — и я не столько стану бояться припадка, которого приближение все же очень удручительно, — и поеду но только не один, а с тобой. Если я доведу здоровье до 3-х месяцев, только тогда разве этот внутренний, неодолимый испуг перед припадком пройдет; а до тех пор дайте мне то, что с виду может быть принято за каприз, а, в сущности, не лишено расчета quasi ипохондрического. — Но день, которого я требую, подари мне прежде всякой поездки; ведь можем же мы a duo сойтись от 3-х до 6 или 7 часов где бы то ни было. — Теперь далее: говорить я совершенно не умею; во мне сидит яд timidité, доходящий до трусости или до подлости. Следя прошлое, я нахожу, что я преодолевал это только выпивкой — когда она не переходила меру; поэтому мне на себя смотреть мучительно — и поэтому мое пристрастие к письму преимущественно перед живой речью. И не падение это у меня с горы, а штука, проходящая через всю жизнь. Есть стороны, прикрывающие этот элемент ничтожности, хорошие стороны — но что этот элемент есть — да чорт возьми — есть, и я им страдаю не меньше, как страхом перед припадками. Это мне нужно было тебе сказать, потому что ты мой духовник. Но теперь главное я хочу говорить о тебе; я еще имею утешение, а ты нет. Я с глубоким горем смотрю на возрастание твоей раздражительности. Может и она элемент, где натура помножена на обстоятельства, и он приходит в неодолимое состояние. Но мне кажется что ты возрастания в себе этого элемента не замечаешь, а оно в глаза бросается. Мне кажется, что своей раздражительностью ты много теряешь влияния кругом себя. Например — ты Тате не посвящаешь ни одного ласкового объяснения ее недостатков, а

сердишься и бранишься. Ведь ты этим ничего не достигнешь, а испортишь многое; через это она приходит к смирению перед тобой, а к пониманию не приходит, — а, между тем, иным путем ты мог бы привести ее к пониманию. Если ты можешь сделать над собой усилие, вопреки моей теории (впрочем, дурно объясненной) — сделай его. Я знаю, что в отношении к Натали раздражительность естественнее, и потому еще менее для самого тебя заметна; а может и тут надо попробовать другой путь — и этот путь — воскресить в ней все трагические воспоминания и ими поставить ее на другой диапазон, а действительные споры устранять. И это сделать можешь ты — я едва ли могу; мое подлое неуменье говорить как бы не привело к противоположному результату! Подумай об этом. Общие вопросы также сильно возводят твою раздражительность в ту степень, где ты страдаешь всем — и современной нелепостью, и подлостью, и бедностью мозга молодого поколения (что́, может быть, является только в частных случаях, которые слишком близко перед глазами), и собственным временным неуспехом — и страдаешь до того, что самая задача как будто теряется из виду, является каким-то делом отчаянным, потерянным, и ты только иногда натягиваешь в себе веру в нее, а, в сущности, всего больше звучит раздражительность. Твоя способность часто обращает ее в пользу и поэтическую борьбу с современным злом; но лично она опять усиливает раздражительность во всем. Я вижу тебя страдающим, мне хочется смягчить это страдание — словом, взглядом, рукожатием — и я чувствую в себе неспособность, и мне самому становится больно до взрыду. Да еще, пожалуй, вместо смягчения, я тебе прибавил раздражения и страдания — моим уходом в глушь! Может ты, помимо леченья, видишь в этом мое падение. Я на это смотрю немного иначе: я, кроме мезальянсов, ничего не вижу нигде, но думаю, что единственная поправка им, — это взаимное добродушное и потому преданное отношение, под влиянием которого может войти в жизнь элемент покоя, и этим полная воля роста той потребности, которая составляет у т е ш е н и е.

Для М[эри] это утешение business дома, которое иногда доходит до смешного, но занимает ее постоянно, хотя она, вообще, не так глупа, чтоб не понять и общего вопроса и не заинтересоваться им, но на втором плане. — Теперь я прихожу к м о е м у у т е ш е н и ю, которое здесь (по моему ли действительному сознанию или это мне только кажется?)— пошло в рост. Это утешение — в искании разрешения самых внутренних, самых любимых задач моего мозга. И в этом, мне кажется, мозг мой еще не замирает, а, скорее, оживает, несмотря на всю трудность, вносимую в работу бедностью памяти и страхом перед припадками, который часто заставляет меня прерывать самую работу — и мне все кажется слишком мало времени. Однако, я теперь безнаказанно могу работать от 7 или 8 часов утра до 12, потом час или два после обеда и долею во время прогулки, — я перестаю, скорее, из необходимости отдыха, чем по желанию. Об этом у т е ш е н и и — я хочу специально написать, и это переход моего письма к общим вопросам. На этот раз скажу очень сжато. Первое, что мне попалось в экономических вопросах, это старание Курно[5] поставить на ноги, яко истину, все существующее посредством объяснения его непрерывными функциями. Тут вводится формализм, который куда бы ни вышел, им можно все подтвердить, что̀ хочется, потому что он направлен с целью и исковеркан; да если б и не был исковеркан, то можно всякое явление представить в его непрерывной нити, нисколько не объяснив его, а только предположив такую-то точку отправления. Мне кажется, что тут есть разом извращение математики и извращение самих явлений. Действительно, непрерывную функцию явлений производительности можно искать только в ее физико-

химических отношениях, как напр[имер], отношение почвы к растительности, питания к скотоводству, тех и других органических и неорганических материалов к фабричной производительности; тут одно функция другого в таком же диференциальном (непрерывном) развитии, как и самая жизнь. Но как скоро мы входим в общественный мир, та же производительность или промышленность является нам в законченных группах, годных для обмена, т. е. представляет ряд определенных целых величин и их так или иначе прогрессивных отношений. Я разумею слово прогрессивный в смысле прогрессии, а не прогресса. Idem, в истории ты можешь проследить непрерывную функцию, но как скоро ты берешь известное общественное устройство в данный момент или его, положим, предполагаемую реформу — ты опять приходишь к постановке законченных групп, целых величин и их sui generis ряда прогрессий, к которому теория бесконечно малых если с другой целью, с другой точки зрения, и приложима, — но в данном случае не приложима и не нужна. Явление обменов в мире общественном или промышленном естественно, по своему смыслу и de facto, представляет ряд предложений и сочетаний законченных, целых величин (nombres entiers). На этом остановлюсь в этой постановке задачи. Математически я тут доработался покамест только до того, что ряд предложений представляет не что иное, как произведение членов нисходящей (как обычно пишется) арифметической прогрессии, которой разность = 1; а сочетания представляют произведение членов этой прогрессии, разделенное на произведение членов арифметической прогрессии в восходящем порядке, где 1-й член = 1, разность равна единице, а число членов = показателю переложений (т. е. по скольку вещей входит в каждое переложение; например, если n переложений по x, то число членов сочетаний = x). Из этого составления выводов предвидится много, о которых я теперь еще не в силах говорить, но самое приравнение переложений и сочетаний 2-м арифметическим прогрессиям в обратном порядке, с разностью = 1, и разделенным 1-я на 2-ю (разумеется, без всякого повода к остатку) — я готов математически доказать и теперь. Может, оно дело и известное, но я-то только теперь дошел и то с ужасным трудом. Но все это до другого раза. — Далее — немного уклоняясь от этих вопросов — Жуковский[6] намедня мне наговорил несколько социальных вопросов (доказывающих мне, что он серьезно занят ими и много работает) — так что я чуть не написал собственно ему целого письма к нему, а теперь оно меня преследует до глубины души. Но как ты думаешь — к нему писать или про себя писать? Пожалуй, я опять не увлекся ли им на этом основании? Скажи твое мнение.

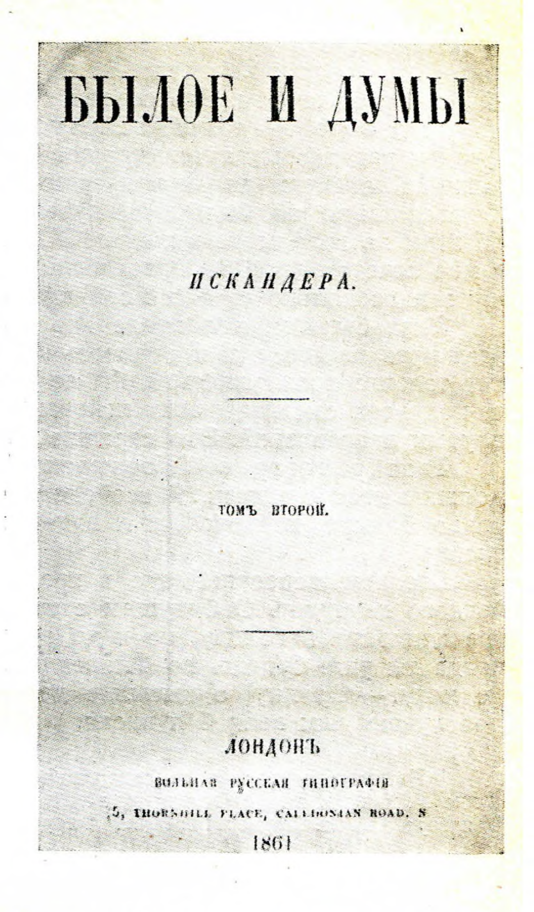
Ну будет. Оставляю письмо без настоящего конца и отдохну; да пора идти к тебе.

[1] Датируется условно по содержанию письма.
[2] Тхоржевский.
[3] 2 мая 1852 г. день смерти Н. А. Герцен-Захарьиной.
[4] В 1866 г. Герцен несколько раз бывал в Лозанне и, повидимому, усиленно звал туда Н. П. Огарева.
[5] Курно — см. комментарий к письму 22.
[6] Жуковский Николай Иванович (1833—1895) — участник революционного движения 60-х годов. См. о нем в статье Б. Козьмина «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».

33[1]

Вчера я во сне видел предвечный нуль, проснулся и продолжал следующее рассуждение: в мире существует вещество, которого форма — пространство, а функция движение, обусловленное отсутствием равно-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВТОРОГО ТОМА «БЫЛОГО И ДУМ»


БЫЛОЕ И ДУМЫ

ИСКАНДЕРА.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

ЛОНДОНЪ
ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ
5, THORNHILL PLACE, CALEDONIAN ROAD, N
1861

весия (ибо всякое движение есть не что иное как отсутствие равновесия). Каждое место в бесконечном пространстве есть конец какого-нибудь пространства или (что совершенно одно и то же) начало другого, есть математическая точка, равная нулю; таким образом, пространство и вещество составлены из ряда нулей. Движение, или нарушение равновесия, в мгновение начала этого нарушения также представляет границу покоя и движения и равно нулю. Всякое продолжительное движение разлагается на ряд таких нулей; толчок, как бы силен ни бы[л], выходит из границы покоя, и точка отправления равна нулю. Таким образом, все движение в мире есть ряд нулей. Таким образом, мир по всем направлениям, в форме и в функции, в пространстве и движении есть ряд нулей и формула вселенной $= 0 \times \infty$

Что же ты хочешь найти в жизни утешительного?

[1] Помещается вслед за письмом № 32 по некоторой созвучности темы, так как точной датировке не поддается.

34

18 декабря [1866 г.][1]

Du bist fort, mein Raphael! Что за светлое воспоминание в этих словах! Дай повторить их перед концом — и сказать тебе, что они остались такими же; может их оживила боль этого расставанья. Чувство боли, которое оставил мне твой отъезд, превосходит мое ожидание. В этом отъезде было что-то такое дикое, что я и выразить не могу. Его не-

нужность, безумство, обуявшее всех, начиная с меня и не исключая тебя, — все это так накопляется, что я не могу думать о твоем отъезде без глубокой скорби. Это совсем не то, если б ты просто съездил к детям; это было бы так естественно и так хорошо, что я, может быть, был бы рад твоему путешествию. Теперь это не то, теперь это мне все кажется тяжелым делом и праздным поступком. Пиши поскорей. Мне хочется знать, как было ваше путешествие, как и что́ устроится. Вопрос об этом из головы не выходит. У меня дома не было почтовой бумаги, а мне хочется, чтоб ты приехавши нашел мою записку; поэтому я и пишу эти несколько слов в моей книге и пошлю их сегодня.

Лиза была мила в последние минуты, мне так жаль, что не могу взглянуть на нее, что я стараюсь забыть это, но не могу. Зачем у меня нет таланта воспитывать, я бы ее отнял из-под всех жестких влияний, из-под всех самонадеянных игноранций, из-под всех праздных учений и крутых направлений. Это страшно больно.

Твой разговор о Тх[оржевском] и возможность его смерти не должны тебя смущать. Я все сделаю, что нужно. Но вероятностей гораздо больше, наоборот, и я надеюсь, что он сделает все, что я ему скажу.

Впрочем, вероятней, что в продолжение этого времени ничего особенного не будет. О будущем стану писать в следующем письме; многое приходит в голову, но надо обдумать и чуть ли не лучше писать, когда ты уже будешь во Флоренции. — Теперь прощай. Больше писать не могу. — С[атину] о высылке денег напиши ты непременно; это будет лучше, чем если б я писал.

[1] Датируется условно по содержанию письма. В конце 1866 г. происходит свидание Герцена с Н. П. Огаревым, кончившееся быстрым отъездом первого в Ниццу. В январе 1867 г. Герцен посещает Флоренцию.

35

25 января [1867 г.][1]

Твое сегодняшнее письмо опять обдало меня горем. Dio Santo! какой же я могу подать совет? Возвращаться на родину, по моему мнению, по многим причинам нелепо; даже подумай и ей напиши подумать об acte de naissance. — Школа?.. Да тут нужен капитал, который, по моему мнению, лучше же вытребовать оттуда. Но чем же виноваты дети, которые поступят в школу? — Что сказать на все это, друг мой? я теряюсь — это столкновение с темным царством, которое непроницаемо для понимания, как темное тело непроницаемо для луча света, который от него отскакивает в сторону. Дай еще дня два подумать. Случая писать здесь я решительно не найду, ибо кто знаком — тот не едет, а кто едет — тот незнаком.

Кол[окол] пришел к концу. Больше уже нет и места. — Поляков в смесь вставил[2] простой выпиской из Моск[овских] Вед[омостей]. — Одно место, которое ты выпустил в Б[елом] Т[ерроре][3], приславший умоляет оставить. Это чисто личное и лишнее рассуждение; но им кажется оно необходимым поучением для товарищей, и они настаивают. Спорить из этого не стоит того, место есть, а я даже не знаю, можно ли употреблять столько цензуры? Пускай их — оно никому не мешает.

Щ[ербаков][4] пишет из Берна, что встретился с Як[обием][5] и разошелся так, что больше не видаются.

Мер[чинский][6] предупреждал С[ерно]-С[оловьевича], что его объявление тупоумие и гадость[7] — и они тоже не видаются.

Даже несчастный Гул[евич] [8] взволнован негодованием от этого объявления. Он опять очень плох, и я сейчас иду к нему. Жена его также совсем с ног сбита — ибо ночей не спит.

Они живут в одном доме с надиной матерью, которая, кажется, должна ужасно надоедать им.

После иду править корректуру, а потом обедать к Долг[орукову].

Обнимаю вас всех.

Присылай остальные корректуры.

Газеты пошлю завтра, при оном замечательный фельетон Ив[ана] Жел[удкова] [9].

[1] Письмо является ответом на письмо А. И. Герцена от 19 января (т. XIX, стр. 191) и 22 января (т. XIX, стр. 193), в которых Герцен писал о желании Н. А. Тучковой-Огаревой ехать в Россию. Еще в письмах от начала января — тема возвращения Натальи Алексеевны, вместе с Лизой, на родину занимает достаточно большое место. «N[atalie] сегодня мне объявила, что она летом везет Лизу в Россию, что я — со стороны ее врагов» (письмо к Н. П. Огареву от 8 января 1867 г., т. XIX, стр. 183). «Дома так было мрачно, безвыходно и страшно; я сам начинаю себе ставить вопрос, не отдать ли Сат[иным] Лизу года на два? Все же лучше. На-днях N[atalie] сказала мне, что она была бы готова отдать Лизу в Кольмар (пансион. — *Ю. К.*), и, когда я согласился, она решительно объявила, что никогда не даст своего согласия, а уедет в Россию. Я напомнил обещание, клятву. «Вы все изменили обещаниям, так и я могу»... и т. д. (от 11 января, т. XIX, стр. 187). И, наконец, в письме 22 января: «N[atalie] пишет, чтобы я категорически решил, и притом сейчас, вопрос, ехать ли ей в Россию или начать покупку пансиона в Ницце, что она считает равняющимся поступлению в монастырь. Что я могу отвечать? Если б был уверен, что она сладит с пансионом, я не сказал бы ни слова, но, ведь, это больше чем сомнительно... Я смотрю с бесконечной грустью на свирепые результаты безумия и эгоизма...» (т. XIX, стр. 193—194).

[2] В «Колоколе» от 1 февраля 1867 г. в отделе «Смесь» была помещена заметка о военно-полевом суде в Иркутске над ссыльными поляками.

[3] Белый террор — большая статья, напечатанная в «Колоколе» в №№№ 231—232, 233—234, 235—236 от 1 января — 1 марта 1867 г.; в основном посвящена каракозовскому делу.

[4] Щербаков Алексей Яковлевич (род. ок. 1842) — студент Казанского университета, участник казанского заговора, эмигрант. О нем см. в статье Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».

[5] Якобий Павел Иванович — врач, русский эмигрант. О нем см. там же.

[6] Мерчинский — эмигрант, живший в Женеве в 1867—1868 гг.; был близок к Герцену, участвовал в «Колоколе».

[7] А. А. Серно-Соловьевич, как известно, возглавил оппозицию «молодой эмиграции» против Герцена, являясь его «главным противником», резко выступая против революционного панславизма Герцена. В 1867 г., когда отношения Герцена с «молодой эмиграцией» особенно обострились, Серно-Соловьевич выступил с брошюрой «Наши домашние дела. Ответ г. Герцену на статью «Порядок торжествует», а затем и против огаревской статьи «Продажа имений в Западном крае» (помещенной в л. 229 «Колокола»), с брошюрой «Question polonaise. Protestation d'un Russe Contra le Kolokol» (печатается в № 41—42 «Литературного Наследства»). В письме Огарева говорится о первой брошюре. Высказывание Огарева по этому вопросу — ответ на письмо Герцена от 19 января, где читаем: «С[ерно]-С[оловьевич] печатает, как ты видишь, брошюру против нас. Что же сделают остальные «эмигранты» и приятели? Это интересно для будущих сношений. Предложи-ка Мерч[инскому] протестовать и Мечникову. Не благодушничай. Я, с своей стороны, их молчание приму за согласие с С[ерно]-С[оловьевичем] и раззнакомлюсь. Ты можешь это сказать Мерчинс[кому]: быть с нами знакомым и пускать этого мошенника к себе в дом — двуличность. Якобий поступает лучше...»

[8] Гулевич Михаил Семенович, — участник революционного движения 60-х годов. Арестован в 1861 г. в связи со студенческими беспорядками, был членом петербургского общества «Земля и Воля», в 1863 г. обыскан по делу Утина и эмигрировал в Швейцарию. В апреле 1866 г. подал всеподданнейшее прошение о разрешении возвратиться в Россию, но такового не получил. В январе ездил в Италию, как «агент Герцена», как сообщали агентурные сведения. По тем же сведениям, вел переговоры с Н. П. Огаревым об организации революционной партии в России. Находился вместе с женой Марией Ардалионовной в очень тяжелом материальном положении. 2 мая 1874 г. окончил жизнь самоубийством. О нем см. в статье Б. Козьмина «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».

[9] Иван Желудков — псевдоним В. И. Кельсиева, в 1867 г. напечатавшего несколько фельетонов и статей в петербургских газетах.

36

28 января [1867 г.][1]

Сегодня от тебя письмо, такое же печальное внутренно и такое же нерешительное в жизнь. Мы можем обвинять себя в эгоизме и замене его трудом по общим вопросам — я об этом спорить не стану; еще, скорей, с тобой за тебя поспорю, чем за себя, потому что я, несмотря на телячью кротость, ничего не делал всю жизнь, кроме того, что хотел под влиянием такого или иного увлечения. Но к чему поможет, Герцен, вся наша гуманная гамлетовщина? Дело в деле. Я даже не хочу жаловаться на замену эгоизма работой по общим вопрос[ам], потому что вся общественная юстиция может только выйти из эквилибрации эгоизмов. До достижения этой эквилибрации — выходы, при частных столкновениях, мудрены, как частные случаи нерешенного общего дела.

Но как же я благодарен Шиффу[2] за заклание libre arbitre, который и ты часто поддерживаешь, не замечая, что я его желал бы втоптать в грязь — не ради самообвинения или самооправдания — а ради того, что пока этот несчастный принцип станет поддерживаться — воспитание лица и рода будет отталкиваемо на 2-й план, а при заклании оного принципа — оно становится на 1-й план, как единственная возможность регулировать поступки и как главная общественная потребность; далее — при этом принципе играет роль недостижимая *преданность*, а эквилибрация эгоизмов (как единственно возможная цель) теряется из виду; и, таким образом, с принципом libre arbitr'а — поддерживаются все (хотя бы красивенькие) абсурды и устраняются все созидательные элементы общественности.

Ну! «Кол[окол»] готов. Но я об нем тебе припишу ужо̀, по свидании с Черн[ецким]. — На мой взгляд — «Кол[окол»] превосходен, даже и 2 статейки в Смеси его сиятельства[3].

Теперь пойду к Гул[евичу]. Если ему еще можно читать, то на день оставлю ему газеты и пошлю их тебе только завтра; если же ему очень плохо — газеты пошлю тебе сегодня, а для него схожу за Майором.

Один из № Москвы, где указ о сокращении Минист[ерства] госуд[арственных] имуществ, оставлю себе дня на два.

Вечером.

Газеты отдал до завтра Гул[евичу], который немного поспокойнее, ночь не спит и читает сам или жена ему читает; а спит с 7 час[ов] утра, т. е. дремлет, а на вид все же плох.

«Кол[окол»] сейчас еще поправлял, но решительно теперь об этом писать поздно и оставляю до завтра.

Посылаю тебе взглянуть записку Нат[али] ко мне; она меня сильно оскорбляет. — Всех обнимаю.

[1] Датируется по письму Герцена к Н. П. Огареву от 25 января 1867 г. (т. XIX, стр. 194), в котором Герцен писал: «...Впрочем, я, вообще, в хандре... Меня мучит неумение устроить жизнь для себя, для нас, для некоторых близких лиц. Мне иногда сдается, что мы оба — ты и я — страшные эгоисты: ты с нежными, я с жесткими велеитетами, и оттого постоянно губим все около себя, себя и выкупаем нашу психическую антропофагию общими интересами... и талантом»... и т. д.

[2] *Шифф Мориц* (1798—1867) — известный немецкий ученый, физиолог, с 1863 г. профессор во Флоренции. В конце цитированного письма Герцен пишет несколько слов о том, что «вчера у Шиффа был rendez-vous для спора о libre arbitre с Доманже. Шифф был сплендиден; да, он — большой талант и большой логик. Разумеется он Доманже победил, и тот сдался, что в спорах бывает редко. Итак, libre arbitre принесен на заклание...».

[3] В февральском номере «Колокола» отдел «Смесь» был составлен П. В. Долгоруковым.

37

30 янв[аря 1867 г.][1]

Татенька, отдай
Папашеньке.

Вчера не поспел приписать, ибо торопился на почту. Да и сегодня не поспею, потому что не всё договорилось, о чем хотелось к тебе писать. — Но «Кол[окол»] готов — и даже не опоздает (разве одним днем). Ошибок, кажется, нет, и помощник в корректуре нашелся порядочный. Надеюсь, что ты не рассердишься за то, что бонатире уже я просто решил, ибо иначе, пожалуй, больше недели опоздалось бы. Надеюсь также, что тебе нечем будет остаться недовольным. — Сегодня только пишу тебе для того, чтоб послать сейчас полученный от Долг[орукова] отрывок из Индепенденции. Addio до послезавтра.

[1] Датируется по связи содержания с предыдущим письмом.

38

6 февраля [1867 г.]. Четверг[1]

Вчера получил твое письмо и хотел тотчас же отвечать обо всем, но твой запрос о тезисах насчет libre arbitre меня взорвал, как электрическая искра, и я уже ничего не мог делать окромя. Поэтому я вчера написал их по-русски в своей книжке, сегодня переработал по-французски и посылаю тебе. Насчет «Кол[окола»], войны и пр. напишу завтра, теперь поздно и устал. Погода ужасная, так что одно время свету божьего не было видно из-за мокрой метели. Теперь опять оная метель поднимается. Что твоя простуда? I hope — nothing.

Ergo — до завтра.

[1] Датируется по письмам Герцена от 3 и 13 февраля 1867 г. (т. XIX, стр. 201 и 210). День недели Н. П. Огаревым указан ошибочно. В письме от 3 февраля 1867 г. Герцен передавал свое впечатление от выступления известного немецкого физиолога Шиффа: «Второй коллоквиум Шиффа не был так удовлетворен, как первый...» и дальше излагал основные положения Шиффа, а в заключение предлагал Н. П. Огареву: «Попробуй написать, чего нет, — тезисы другого тона с некоторым различием...». В своем ответном письме от 13 февраля Герцен признавался, что «тезисы твои хороши, и я их всем прочел и читаю, но вполне они меня не удовлетворили...».

39

7 февраля [1867 г.]. (Пятница)[1]

Сегодня начинаю не тезисами, не ответом — а новостью, вчера полученною: Крузе[2] и кого-то другого (должно быть Платон[ова][3] или Корфа[4]) ссылают в Оренбург, а гр[афу] Шувалову[5] предложен выбор — ехать в Уфу или убираться за границу. Говорят, он принял последнее. Вот тебе и земские учреждения! Известие идет от аристократических путешественников и совершенно верно. (Писано со слов пана, который, к сожалению, забыл имя второго ссыльного.)

Не знаю, война или не война[6] — если тебе виднее, то пусть разрешится на первое — но я знаю одно, что теперь требование на заграничную прессу поднимется, потому что многого нельзя будет сказать дома, а сказать или видеть в печати будет хотеться. Поэтому, мне кажется, что, отказавшись от сборника, мы сделали большую ошибку и что продолжать ее было бы не только глупо, но дурно. Чем больше будет вселенских происшествий и домашних колебаний, тем больше «Кол[окол»] должен войти в надлежащую роль газеты с политическими статьями и обличительной смесью, и тем нужнее станет «Revue»[7] с научно-социальным направлением.

В образе мыслей нам мудрено разойтись и с оными юношами (я говорю о Мечн[икове][8] и Ут[ине][9]), так как они еще явились с предложением и желанием не выходить из-под нашего флага — то чего же еще? Для них является возможность работать, для нас является возможность издавать. И заметь, что «Revue» не в пику «Колоколу» пойдет, а, напротив того, поставит его как газету, а сам сосредоточит учение, т. е. тут является газета и книга. Я при этой мысли чувствую прибавление силы. — С каким же нетерпением я жду твоего ответа и думаю to be or not to be.

Ай да Мар[ия] К[аспаровна][10]! — а я думал, что она уже в Берне, и без того сбирался писать ей мой привет.

А вообрази, что я со времени записочки Нат[али], которую послал тебе, ни строки от Лизы и об Лизе не имею.

Твоя статейка об Акс[акове][11] набирается; она очень мила и в этом отношении справедлива; но смотри, Герцен, не промахнись — под этой риторикой, или лучше сказать возле этой риторики, идет правильная оппозиция, которую бить не годится.

Что за погода — это чорт знает что такое! Постоянная буря — дождь, град и снег. Дивлюсь, как я все же цел и прошел через время припадка без всяких страданий.

12 часов — postman — набор твоей статьи об Ак[сакове], куча газет и приглашение откушать в воскресенье. Больше ничего. Однако, разделение труда вещь не бесполезная; для меня прочесть за раз такую кучу газет — значит положить себя в лоск так, что я уже все под конец перестаю понимать и точно дурману объелся. От этого я на них смотрю с чувством любопытства и страха и боюсь прикоснуться, а посмотреть хочется.

Мне кажется, я вчера пропустил один из моих тезисов. На всякий случай вот он:... *

... Прощай. Иду есть.

Всех вас целую.

А что же ольгин портрет?

Получил Былое и думы т. IV [12].

Аксаковой «Москве» [13] первое предостережение. Это напечатано в «Вести», которую завтра тебе пошлю. И за что? Будто за вызов вражды между духовн[ым] и граждан[ским] ведомством.

Черн[ецкий] переделал «камни плачут» в «калеки плачут», я опять поставил «камни». Так ли?

[1] Ответ на письмо Герцена от 3 февраля 1867 г. (т. XIX, стр. 201). День недели Огаревым указан ошибочно.

[2] Фон Крузе Николай Федорович (1823—1901) — с 1855 г. по 1859 г. цензор, затем уволенный за либерализм. В 1868 г. — председатель земской управы Петербургской губернии. Довольно известный в 60-х и 70-х годах публицист.

[3] Платонов А. Н. — петербургский земец.

[4] Корф П. Л. — петербургский земец.

[5] Шувалов Андрей Павлович, граф (1816—1876) — петербургский губернский предводитель дворянства, автор нескольких работ по сельскому хозяйству.

Высылка Н. Ф. Крузе и А. П. Шувалова связана с известной резолюцией петербургского земства 10 января 1867 г. о желательности созыва выборных от земств для решения некоторых государственных вопросов. Эта «конституционная» попытка либеральных земцев немедленно вызвала правительственные репрессии. В л. 235—236 «Колокола» от 1 марта 1867 г. читаем такую характеристику Н. Ф. Крузе: «Председатель губернской управы Ник[олай] Фед[орович] Крузе — человек очень умный и вполне почтенный. Он был цензором лет десять тому назад, и уволен за то, что не притеснял писателей и не давил мысль человеческую... Это человек замечательный и по уму своему и по высоким качествам души...». По повелению Александра II земские учреждения в Петербургской губернии были временно упразднены, а Крузе и Обольянинов высланы на 3 года в Оренбургскую губернию; А. П. Шу-

* Пропуск; из текста вырезано несколько строк.

валов выслан за границу. Об этом эпизоде земского движения упоминает и В. И. Ленин в статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» (Сочинения, т. IV, стр. 132).

[6] «Войну натягивает Франция, — писал Герцен, — в этом не сомневайся. Дела Запада я здесь могу лучше знать, чем вы в Женеве. Если не в нынешнем, то в будущем году весной — sauf иных перемен — будет война...» (т. XIX, стр. 201). Как известно, Герцен ошибся на 3 года. Франко-прусская война вспыхнула в 1870 г.

[7] Это первое отражение в письмах Огарева возникшего в этот период проекта организации совместного (Герцена и «молодой эмиграции») журнала («Revue»). Н. П. Огарев явился одним из наиболее убежденных сторонников такого союза и такого журнала, в то время как Герцен отнесся к этому достаточно отрицательно.

[8] Мечников Л. И. — см. комментарии к письму 26.

[9] Утин Николай Исаакович (1845—1883) — участник революционного движения 60—70-х годов. О нем см. в статье «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».

[10] Рейхель Мария Каспаровна. Это восклицание относится к следующему абзацу в письме Герцена: «Вот тебе хорошая весть. Пока мы с тобой рассуждали насчет Сат[ина] и придумывали средства, все сделано. Что за славная m-me Reichel.



Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА С БЛИЗНЕЦАМИ НА ОСТРОВЕ УАЙТ

Рисунок пером из семейного альбома Герценов

Местонахождение оригинала неизвестно

Я ей писал месяца полтора тому назад: «найдите мне случай передать С[ати]ну слова два — здоровье Ог[арева] и в особенности болезненное состояние духа N[atalie] после смерти детей делают необходимым свидание». Мар[ия] Кас[паровна] отвечала, что на сию минуту нет ничего в виду, а вчера пишет: «случай имела, записочку написала сама и сегодня получила весть о том, что она доставлена». Молодец! Они через месяц (т. е. Рейхели) будут в Берне, если случится fatatua cortesia».

[11] «Об Аксак[ове] примите в «смесь» строк несколько, — читаем у Герцена, — что за бомбист, что за риторика времени Вадима Пассека и супруги его!» (т. XIX, стр. 201). В ответ на описания Огарева Герцен в письме от 18 февраля 1867 г. писал: «Аксакова не жалей, в нем надобно добиться до совести, двойство его безобразно...».

[12] IV том «Былого и дум» был напечатан отдельным изданием в начале 1867 г. в «Вольной Русской Типографии» в Женеве.

[13] «Москва» — газета, издаваемая И. С. Аксаковым в 1867—1868 гг., получившая в 1867 г. предостережение.

40

10 февраля [1867 г.]. (Воскресенье) [1]

Вчера получил твое письмо от 6-го. Написал Нат[али] записку рифмованную и пошел в Женеву, где передал Тх[оржевскому] его половину. Тх[оржевский] просил меня написать тебе, что он уверен, что банк

даст 2 т[ысячи] и больше на твой чек, но что все же не может отвечать тебе прежде понедельника (11 февраля), ибо вчера было уже поздно справляться в банке, а сегодня банки закупорены во имя господне.

Вчера же видел Черн[ецкого], который сильно болеет биеньем сердца и просил меня дать ему записку к Майору, которую я сегодня передам Тх[оржевскому] за обедом у Долг[орукова], у которого мы сегодня только двое.

Ссылка Крузе и Обольянинова [2] в Оренбург и высылка Шувалова за границу помечены в «Норде» и Индепенденции.

Твое письмо, где ты говоришь о Пьянчани [3], разумеется, я получил. Даже хотел писать и об этом, да как-то забыл. Сейчас перечел твое письмо, и что же тебе сказать? Я не знаю, почему ты видишь во мне какого-то особого защитника присутствия женщины. Что я во всю жизнь не мог обойтись без оного — это ничего не доказывает. Может теперь мне было бы всего мудренее обойтись по *n* условиям; счастливо только то, что ни я ни возле стоящее — не ощущают никакого давления, ибо М[эри] на него неспособна. Но я тут сделаю другой вопрос: почему Пьанч[ани] наказан, а я нет (в оном казусе, взятом отдельно)? Почему он наказан стыдом и горем — а я нет? Вот тут поди и суди связь причин и следствий и, переходя к другому, уже нераздельному вопросу нашей жизни, объясни мне, почему мы несчастны и почему это поделом? Нет, Герцен, не согласен я с этим. Такого уголовного кодекса, где было бы наказание поделом — не существует, а филиация обстоятельств идет себе без всякого притязания на нравственную закваску. Иногда становится еще оскорбительнее, что помилование или наказание именно не поделом... Но если б оно было и поделом — то was hilft uns das?

Я вчера перечитывал твое по поводу одной драмы. Оно меня глубоко заняло всей жизнью прошедшего. Как бы мне хотелось, чтоб ты сам перечел эту статью и переделал бы, устранив всю немецкую метафизику, с которой ты уже и тогда боролся, но победить еще не мог.

А кстати — ты все на меня взводишь какие-то поклепы: что такое значит математические фантазии и что за теория преданности в 1861 году? [4] Не понимаю, что ты хочешь сказать. Первое еще меньше понимаю, чем второе, потому что все же меня наименее оскорбляет человек развившийся (научно ли или инстинктивно) настолько, что не хочет есть все окружающее в свою пользу и скорее уступит свою пользу на долю другого, видя, что еще общее равноправство не достигнуто и что иначе не пособишь, как уступкой.

12½ часов. Postman'a не было. Стало, я имел полное право вчера послать стихи Нат[али] [5]. — Ни единой строчки ни о Лизиной болезни [6], ни о выздоровлении! Я только через твое посредство могу знать что-нибудь. Не забудь же написать мне сейчас, какие вести получишь. Поверь мне, что как бы поездка ни была тяжела, все же мне тяжелее оставаться, если б она была действительно больна, и что в таком случае я поехал бы в Ниццу. А что меня оскорбляет молчание Нат[али], несмотря на мою защиту отсутствия libr[e] arb[itre], — это не должно еще удивлять тебя. Все злое, все недоведенное до уравновешения эгоизмов, до безобидности должно оскорблять и в частной и в общей жизни.

Еще одну вещь напиши, пожалуйста: когда ты думаешь вернуться? Как и где и что̀ делать, когда вернешься. Кроме разных помышлений по случаю этого, — меня хозяин вчера спрашивал, остаюсь ли я после 1 апреля, ибо у него в марте есть наёмщик.

Что за удивительная погода сегодня. Солнце, блеск снегов на Юре

и тепло, как летом. Дочту кое-что и пойду гулять, прежде чем попаду к Долг[орукову]. А вдобавок ночи лунные.

Я рад, что Тата принялась за живопись, а жаль, если она бросит пение и не дойдет до ré forte.[7]

Addio, mii carissimi.

Вчера послали тебе кучу газет. Пожалуйста, пришли мне назад 20 и 21 № «Голоса», где отчет мин[истра] финансов. Долг[оруков], кажется, тебе предоставляет право вырезок для «Кол[окола»]. Впрочем, сегодня спрошу еще.

[1] Письмо — ответ на ряд писем Герцена от 29—31 января (XIX, стр. 196), от 3 и 6 февраля (т. XIX, стр. 201 и 204).

[2] Обольянинов Л. Н. — петербургский земец.

[3] Пьянчани или, вернее, Пианчани — итальянский революционер, эмигрант. В письме от 29 января Герцен писал: «О, карейший защитник прибавки женщин в жизнь, какой новый комментарий я нашел здесь в подтверждение моего взгляда. Пьанчани (отличившийся в последнюю войну, в которую пошел простым волонтером) изнемогает под бременем домашних пакостей, делаемых дрянной и состарившейся француженкой, которая еще жила у него в Лондоне. Он стареет, падает, стыдится и не может вынуть ноги из постромки. И эта женщина без образования, без ума, без детей давит его и все возле стоящее!..» (т. XIX, стр. 196).

[4] В письме от 31 января Герцен, касаясь своих отношений с Н. А. Тучковой-Огаревой, упоминает «теорию о преданности», которую усиленно выдвигал Огарев в 1861 г.

[5] Несомненно речь идет о стихотворении «Она была больна, а я не знал об этом» («Стихотворения», Л. 1937, т. I, стр. 255. Редактор этого издания С. А. Рейсер неверно датировал это стихотворение ноябрем 1867 года).

[6] «Дней пять я провел в несказанном ужасе, — писал Герцен 6 февраля, — не хотел тебе писать до окончания и именно потому и пишу теперь. В конце прошлой недели я получил от Н[атали] письмо, в котором она писала, что в Ницце круп, и дети мрут. Вслед затем, — что у Лизы лихорадка, дальше, — что у нее железы распухли. Я сказал, чтоб тотчас телеграфировали, и был готов с первым train после телеграммы скакать в Livorno и на первом пароходе ехать в Ниццу. ...Наконец, сегодня получил письмо, что никакой опасности нет, и что все это, кажется, легкая простуда...» (т. XIX, стр. 204).

[7] В письме Герцена от 7 февраля есть следующие строки: «Сегодня же известный живописец Ге приходил с требованием делать мой портрет «для потомства»... Завтра начнем, и Тата начала...» (т. XIX, стр. 205). Работы Таты по живописи долго сохранялись в семье Герцена.

41

3 марта [1867 г.]. Воскресенье

Сегодня пришло твое письмо от 28-го[1]. Первое, что меня поражает — это смерть С[ергея] И[вановича]. — Как долго мы были близки и как давно не переписывались! Как, чем он умер? Что Т[атьяна] Ал[ексеевна][2]? — Был он сердит на меня или что? Ведь никто ничего не скажет. Грустно прошла его жизнь; он на всех смотрел с сомненьем и негодованьем... Да и действительно верить было мудрено, встречаясь постоянно с pseudo-социализмом и настоящим консерватизмом (под вуальчиком). Но что его согнало в раннюю могилу — бедность, скорбь или особого рода болезнь. Напиши мне, если что знаешь. Не забуду я этого долго... А впрочем, может и пора перестать.

Я сегодня сбирался писать Тате, но получивши твое письмо — могу писать только к тебе.

Чтож это Сат[ин] ровно ничего не понимает?[3]. Что же тут делать? Сегодня не придумаю.

Жду сейчас Тх[оржевского] обедать. После обеда допишу и снесу на почту.

После обеда. Нет, решительно не хочу сегодня оканчивать письма, потому что так о многом надо писать подумавши, что на скорую руку делать этого не хочется.

Тх[оржевский] у меня и занят будущим приемом на станции желез[ной] дороги — M-lle Бердушек [4], приемом по словесному описанию!!

Я покамест здоров.

Постарайся вычеркнуть в последней статье Долг[орукова] [5] намек на его супругу и, вообще, этот alinea. Я и сам с ним об этом поговорю, но, я думаю, он сильно будет держаться за эту сплётню.

[1] В письме от 28 февраля 1867 г. (т. XIX, стр. 227) Герцен пишет: «Письмо получил здесь дурное, т. е. если не злое, то, действительно, помешанное и страшно дурное по вестям: бедный С. И. Астраков умер».

Астраков Сергей Иванович (умер 24 декабря 1866 г.) друг юности Н. П. Огарева, «человек замечательно умный и знающий, очень хороший математик». Преподавал математику в Александровском институте и других московских учебных заведениях. Н. П. Огарев посвятил ему стихотворение «Студент» («Он родился в бедной доле...»).

[2] Астракова Татьяна Алексеевна (1814—1892) — жена брата предыдущего — Николая Ивановича Астракова. Подруга Н. А. Герцен-Захарьиной.

[3] В том же письме Герцен пишет: «Сатины в Москве и сильно подбивают N[atalie] ехать в Россию». Ответом на что и является реплика Н. П. Огарева о Сатиных.

[4] M-lle Бердушек — знакомая М. Мейзенбуг.

[5] Статья П. В. Долгорукова «Письма из Петербурга», помещенная в очередном номере «Колокола».

42

4 марта [1867 г.]. Понедельник [1]

Даже еще во сне думал о том, что хотел тебе писать, и как бы чего не забыть.

1) Пришлешь ли ты какую смесь (не забывая свиньи с гусем). В Кол[околе] 15 март[а] места три колонны.

2) Объявлять ли о выходе за оным «Кол[околом»] 1-го апр[еля] или 15-го [2] (как ты писал)? У меня к апрелю хоть и 1-му будет готово окончание статьи [3], которое поллиста займет наверно; да ты что дашь.

3) Теперь, caro philosopho teoretico, объясню тебе, в чем ты ошибаешься в вопросе о «Revue» [4]. Я не могу считать, чтобы я попался в старую ловушку, потому что того, что *я* тебе предлагал, мне никто не предлагал. Напротив того, Меч[ников] хлопочет о добытии денег от кого-то, кто обещал. Дела в таком состоянии, что капиталист in spe, почти ничего не получая от родителя, меньше надеется на получение, чем двое остальных, т. е. Меч[ников] и Жук[овский] [5]. Вообще же, они имеют в предмете, чтоб каждый платил за напечатание своей статьи. Мне, при этом, показалось, что время уходит и, может, когда они найдут деньги — тогда будет поздно, ибо и выставка [6] и все покончится; на этом основании я тебе и предложил дать им взаймы (из Бах[метевских] денег [7], хотя и не говоря этого) 1 000 фр[анков] (что, вероятно, было бы достаточно), и если Ут[ин] тебе даст вексель или кому другому за твоим поручительством, то, я думаю, это совершенно равнозначительно. Одно только, что я хочу сказать — когда они были виноваты, тогда можно было взваливать на них грех; но когда во всем предложении виноват только *я*, делал я его только тебе, а не им, то я считаю обязанностью оправдать их перед тобою, что и делаю. Я знаю, что ты меня обвинишь в раздражительности, но и это будет несправедливо, потому что если меня огорчает твоя раздражительность относительно меня, да еще в таком казусе, где ни я, ни казус не заслуживают раздражительности, то мое огорчение слишком выходит естественно, чтоб принять его за пустую раздражительность характера. Мне просто больно, глубоко на сердце больно — и только.

Далее, так как я считаю самое дело вопросом, заслуживающим полного внимания, то мне хочется окончательно рассмотреть его. Да, я думаю, что издание «Revue» поднимет значение «Колокола». Потом, несмотря на уверение твоего соотечественника, о неполучении «Кол[окола»] в России — отсюда, по словам Тх[оржевского], посылается и там получается «Кол[окол»] sous bande. След[ственно], кто хочет выписывать — получает; а так, без заказа, книгопродавцы, действительно, не выписывают. Потом вот что: «Revue» внесет некоторую систематичность в изложение социологии, а «Колок[ол»] примет совершенно ежедневные вопросы в свое заведывание — и я думаю, да — это поднимет оба издания, особенно, во время выставки, и след[ственно] огромной миграции русских читателей. Должны мы сами хлопотать не о бессмертии, а о пропаганде, и если мы кому пособим, хоть не на даровых, но на кредитных прогонах — проехаться до бессмертия, лишь бы это было в помощь пропаганде — я думаю, беда не велика. Ведь и кредит важен для неимущих и тогда, когда приходит кстати. Меня ты дружбы ради вывез на даровых прогонах; я еще раз имею на это претензию, потому что мне кажется, что это мои последние прогоны. Если же те выедут на кредитных прогонах почти в первый раз — то ведь риску тут нет: или издание окупится, или они свое заплатят; или издание окупится частью, и неокупленное (т. е. свое) они приплатят, во всяком случае, я не предполагаю, чтоб платеж вышел слишком тяжел, ибо в это время бо́льшая доля не может не окупиться. Потом я и не предлагал тебе тревожить твои ходячие деньги, а только лежачие, которые, таким образом, и вернутся в кассу снова. Пожалуйста отвечай мне на все это без сердцов. Дело в деле, а не в раздражительности.

4) Извини меня также, что я начал писать не на надлежащей странице — совершенно ненарочно, и что пишу некрасиво: насилу пальцы двигаются — такой холод. Впрочем, это едва ли продержится, ибо сегодня биза решительно упала. Я рад твоему свиданию с Гар[ибальди] [8] и впечатлению, которое на тебя сделала Венеция. Из газет мне кажется, что он сильно действует на выборы.

5) Не попробовать ли через M-me L[eon] переслать Сат[иным] записку с некоторого рода надлежащим упреком? Я думаю, что это всего бы возможней. — Куплен сбор «Кол[окола»] за все годы и все Былое и Думы.

6) За сим я пойду в город и допишу к тебе вечером, а Тате напишу послезавтра. Окончание моей статьи меня сильно занимает. К тебе во Флоренцию писать, стало, до 8-го?

7) Одно очень прискорбное — это что W. просил меня, нельзя ли ему за статью назначить гонорарий, ибо он получил из дому такие печальные известия, что он через два месяца останется без копейки. Я ему сказал, что он права не имеет, но что я напишу к тебе, да что ты еще прежде того сам приедешь; теперь он решительно ничего не хочет ни из фонда, ни в гонорарий, а говорит, что ему только через два месяца будет плохо. Его же к тому времени доктора посылают на воды. Что тут сказать — я не знаю.

8) Посылаю кучу газет. Заметь все отмеченное ×.

[1] Датируется по письму Герцена от 27 февраля 1867 г. (т. XIX, стр. 226).

[2] В начале 1867 г. было выпущено 3 сдвоенных номера «Колокола» (январь, февраль, март), с апреля «Колокол» снова стал выходить каждые две недели.

[3] Повидимому, «Частные письма об общем вопросе» в л. 239 «Колокола» от 15 апреля 1867 г.

[4] Здесь речь идет о попытке организации совместного журнала Герцена—Огарева и «молодой эмиграции», о чем уже упоминалось в комментарии к письму № 39. Герцен в своем письме писал: «...итак caro philosopho prattico, старая шутка повторяется: revue будут издавать общими силами, но так, что деньги и статьи бу-

дут наши. Да ведь еслиб мы хотели издавать, зачем же нам было спрашивать или ждать Утина?... Где доказательства яростного желания читать заграничные издания? И если оно есть, как же не найдут капиталисты in spe, как Утин, кредиту помимо нас? Может и грех, но денег я не могу дать... Я всегда найду сотню человек, которые на даровых прогонах проедут в храм бессмертия и лавров, обернутые «Полярной Звездой»... См. статью «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».

[5] Мечников, Жуковский, Утин — см. комментарии к предыдущим письмам.

[6] Речь идет о 4-й Всемирной выставке в Париже в 1867 г., имевшей большой успех.

[7] Бахметевские деньги — капитал в 20 000 франков, пожертвованный П. А. Бахметевым А. И. Герцену в 1857 г. См. публикацию П. Анциферова в № 41/42 «Литературного Наследства».

[8] 27 февраля 1867 г. состоялась, третья по счету, встреча Герцена с Гарибальди. В письме от 26 февраля Герцен сообщал: «Сегодня в 4 часа приедет Гарибальди, и я остался единственно для него до завтра» (т. XIX, стр. 224). «Сегодня в шестом утра был у Гарибальди, — читаем в письме от 27 февраля, — он обрадовался мне и одного меня расцеловал. Он здоров, но не весел...».

43

7 марта [1867 г.]. Четверг[1]

Снег. Вчера затмение плохо можно было видеть минуты две — остальное все исчезло за облаками.

Экая досада — всю бумагу исписал, а хочется к вам писать; насилу отыскал остаточки, а купить вчера забыл. А как пальцы зябнут — это тоже чорт знает что такое, едва можно буквы формировать.

Итак, Астраков умер, позвав меня. Признаюсь, что это меня кольнуло и болью и удовлетворением. А почему же он умер, а я жив? Где тут юстиция и польза?

Жду от тебя как можно скорее смесей — пообстоятельнее, чем в письме от 3 марта. Ведь я уповаю на твой громадный талант, не надеюсь на свой и боюсь смесей долг[оруковск]их. Пойми ты это. Ты мой лучший сатирик, да еще вдобавок я согласен с венецианскими масками, что ты знаменитый русский поэт[2], хотя стихов и не писал; но для меня уже одно «С того берега» поэма.

12 час[ов]. Сейчас получил твое письмо от 4-го и корректуру корреспонденции. С этим совершенно согласен; ведь я поэтому и заставил Черн[ецкого] как можно скорее послать к тебе корректуру и тебе писал чтоб вымарать хотя бы штуку про княжескую супругу[3]. Я сегодня обедаю у Долг[орукова] один с Тх[оржевским] и потому отстою твои поправки с удовольствием, ибо я совершенно за них. Если я сам не вычеркивал, то это только потому, что я на твой такт больше полагаюсь, чем на свой.

Продолжаю далее начатое письмо.

С трепетом я жду твоего нового путешествия в Ниццу[4]. Ничего не могу сообразить и только чувствую, что это раздирательно. Пиши мне скорей по приезде. И на кой-чорт ты едешь морем — теперь должно быть скверно, ибо всё переменчивые бури.

С нетерпением жду твоего ответа на мое предложение о «Пол[ярной] Зв[езде»][5], ибо прежде твоего ответа я не могу ни уговориться, ни начать работать хотя бы с non possumus.

О чем же вы с Б[акстом][6] поспорили?

Мысль о физиологическом основании Истории принадлежит Конту. Я теперь недостаточно помню, как она у него проведена, но пересмотрю. Мое понятие о безнаказанности сводится вот на что (я даже, кажется, этим Долг[орукова] убедил): «общество имеет право защищать себя, но права наказания за грех и преступление не имеет; поэтому никакого иного наказания не может быть, как экстрадиция на

новое поселение, ибо тут граница самозащищения». Впрочем, и это не ново, — был же у греков остракизм; есть же у нас Сибирь, которую можно совершенно приспособить к этому тезису.

Время — координата движения. Поступок для сознательно-животной природы — название того, что для бессознательной природы, вообще, называется — событием, происшествием, фактом. Неужто можно факт рассматривать, как координату



PUNCH'S TWENTY-FIVE YEARS OF HISTORY.
1841 to 1865.
MESSRS. BRADBURY, EVANS, & Co. beg to call attention to their Announcement which appears in the Current No., respecting the price of COMPLETE SETS of "PUNCH."

PUNCH

No. 1345. VOLUME THE FIFTY-SECOND. APRIL 20, 1867.

PRICE THREEPENCE.

PUNCH OFFICE, 85, FLEET STREET, AND SOLD BY ALL BOOKSELLERS.

NEW NOVELS NOW PUBLISHING.
"JOYCE DORMER'S STORY." By JULIA GODDARD. At all the Libraries.
MADEMOISELLE MATHILDE. By HENRY KINGSLEY. In the GENTLEMAN'S MAGAZINE.
"SOONER OR LATER." By SHIRLEY BROOKS. In Shilling Monthly Parts.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА «PUNCH»

природы, а не просто видеть тут слово, имя, название, способ выражения?

Бедный Тур[генев] [7] — что ж это его кондрашка что ли хватил? Жаль его, а ведь, кажется, уже как смотрел за своим здоровьем!

Статья моя будет длинновата, но едва ли иначе возможно. Вот и это скорее бы дело «Пол[ярной] Зв[езды]», т. е. revue, а не газеты.

Из новостей только скажу тебе, что Деларов [8] ходил к Озерову [9] объяснять, что женевское общество очень жалеет, что не имеет законного права уничтожить «Кол[окол»] и выгнать нас. Сам Оз[еров] удивился. Не напечатать ли это? Впрочем, можно и в апреле.

Шув[аловские] речи[10] также теперь еще нельзя печатать, а после, вероятно, должно.

Твое письмо от 4-го пришло сегодня утром, ergo, мое письмо, отправившись завтра (т. е. положенное на почту сегодня), придет к тебе в воскресенье утром. Поэтому еще пишу во Флоренцию.

Прощай пока.

[1] Датируется по письмам Герцена от 26 февраля, 4 и 10 марта 1867 г.

[2] В письме от 26 февраля 1867 г. (т. XIX, стр. 225) Герцен писал о венецианском карнавале: «Карнавал во всём разгаре. Он дошел до таких колоссальных размеров, что, в самом деле, сделалось хорошо и оригинально. Все шутки и шалости времени республики возобновились; такого карнавала не было 71 год. Меня фетируют, как гостя, знакомого по наслышке. За одним обедом в ресторане масок двести потребовали меня налицо и прокричали мне три раза «eviva» с шампанским в руках, и до того уже зарапортовались, что кричали «all'illustro poeta russo». Я боялся попасть в pittore и scultore и потому ушел...».

[3] В письме от 4 марта (т. XIX, стр. 232) Герцен резко протестовал против статьи П. В. Долгорукова «Письма из Петербурга» и потребовал выбросить из нее ряд мест.

[4] В Ницце жила Н. А. Тучкова-Огарева с Лизой.

[5] Это продолжение тех же попыток Н. И. Утина и Л. И. Мечникова — издавать журнал при поддержке Н. П. Огарева. Герцен в письме от 10 марта 1867 г. (т. XIX, стр. 239) кратко отвечал: «В успех «Полярной Звезды» не верю: никто не будет читать гисториографию Мечникова и comico Утина...».

[6] Бакст Владимир Игнатьевич — эмигрант. В письме Герцена от 3 марта читаем: «Вчера Бакст уехал в Венецию. Он положительно зимой умнее, чем летом, хотя такой же охотник до спора и спорит самым бестолковым образом...».

[7] В марте 1867 г. разнеслись слухи о серьезном смертельном заболевании И. С. Тургенева, оказавшиеся ложными.

[8] Деларов или Деляров — эмигрант в Женеве, примыкавший к А. А. Серно-Соловьевичу и другим противникам Герцена из «молодой эмиграции».

[9] Озеров Владимир Александрович — офицер, участник польского восстания 1863 г., эмигрировавший в Швейцарию и примкнувший к М. А. Бакунину. Одно время занимался с Лизой Герцен математикой.

[10] Две речи петербургского земского деятеля графа А. П. Шувалова, произнесенные им в Петербургском земском собрании (см. комментарии к письму 39), были изданы отдельной брошюрой в 1867 г. в Берлине, откуда и были перепечатаны в л. 238 «Колокола» от 1 апреля 1867 г.

44

12 марта [1867 г.]. Кампанья[1]

Ну! где ты мой милый квасочек, на какой дороге? Я к тебе не писал три дня, потому что все не знаю куда. Теперь, вероятно, это письмо тебя найдет в Ницце. Ну! как, ну что? Что Лиза, что Натали? С нетерпением жду ответа.

Тх[оржевский] сговорился с банком, как тебе желалось. Мёбель всегда может переехать наверх за 9 фр[анков] в месяц. Сундук поедет к Черн[ецкому]. — Я к тебе приеду с удовольствием, но скажи пожалуйста — как ты сладишь без прислуги? Как я слажу без ухода?[2] А я теперь, хотя в две и в три недели раз болен, но все же болен, и не смотри за мной никто — плохо было бы. (Вот и вчера — в страшно душный день, только облился холодн[ой] водою, как из пистолета выстрелил припадок, и до сих пор устал от него, как давно не бывало. — Меч[ников] говорит, что ему доктора запретили обливаться водой, а велели только отираться губкой. — Черн[ецко]му Майор запретил тоже. Попробую и я губку). Далее вот что: постели только две. Что делать с Тх[оржевским], если я приду?

Я удивляюсь в твоей статье: почему ты выбрасываешь в статье Долг[орукова] бранные слова, а сам употребляешь в *n* раз хуже? Но мне она все же нравится[3].

Благодарю тебя de profundis — за «Поляр[ную] Звезду». Опыт тебе покажет, что я не вру. А до тех пор я стану молчать, ибо на словах тут ничего доказать нельзя.

Больше сегодня решительно писать не хочется. Кажется, будет гроза. И ветрено и душно. Дышать непомерно тяжело. Этот тот же широко, ни сколько не уже, но видоизмененный *.

Обнимаю тебя, цалую Лизу и Нат[али]. Но обстоятельно писать стану, только получивши от тебя письмо из Ниццы.

Насчет 35 n° «Моск[овских] вед[омостей»] ничего не мог сыскать. Завтра обедаю у Долг[орукова].

Ольгин портрет меня в восторг приводит [4].

Прощай пока.

[1] Датируется по письму Герцена от 8 марта 1867 г. (т. XIX, стр. 257).

[2] «...скажи Тхор[жевскому], — читаем там, — что письмо его получил. На весь апрель мне бы не хотелось оставлять квартиру, но если иначе нельзя, делать нечего. Куда же перевезет он мебель и, главное, железный сундук? Последний разве к Чернецкому?.. Если б ты на неделю времени переехал туда же, можно бы рискнуть до мая...».

[3] Повидимому, статья Герцена «Общество поджигателей», напечатанная в «Колоколе» от 15 марта (л. 237) — ответ на клевету об участии в известных петербургских поджогах. В письме от 15 марта Герцен отвечал Огареву: «Долгор[уков] ругается с посторонними и без причины; я хочу оскорбить клеветников, пусть делают процесс, я же отвечаю сам...» (т. XIX, стр. 242).

[4] В письме Герцена к С. Тхоржевскому от 5 марта 1867 г. (т. XIX, стр. 233) — находим несколько строк на эту тему: «...Вам, любезнейший Тхоржевский, посылаю первые удачные оттиски Ольги; портрет этот хорош, — она очень переменилась. Вы отдайте Ога[реву], себе...».

45

14 мар[та 1867 г.]. Типография [1]

Пишу несколько слов.

Твое письмо из Ниццы получил. Ну! слава богу! Даже рад, что старуха развеселила тебя на пароходе в 1-м часу ночи.

Ну ж — Черн[ецкий] задал мне таску своим впечатлением ad libitum без спросу — что и как. И я задал ему таску переменами.

Долг[оруков] посердился на твои помарки, но и пришел в милость. Говорит, что тебе всего лучше ехать в Лозанну, потому что там так скучно, что ты не выдержишь и будешь всякий день в Женеве, и, след[ственно], он тебя будет видеть каждый день; а если ты остановишься в Женеве, то спрячешься так, что он тебя не увидит.

Но он и все желают, чтоб «Кол[окол»] вышел 1-го апр[еля] и с шувал[овскими] речами. Поэтому я всякое объявление вычеркнул и жду твоего приказа. Я внутренно с ним согласен, и думаю, что именно это поднимет «Кол[окол»] на сию минуту. Подробно же напишу об этом завтра. «Кол[окол»] к 1-му апр[еля] я берусь приготовить отлично (даже без моей статьи, ибо ей не будет места).

Цверц[якевич] [2] мне вчера надоел до крайности. О Стелле [3] известий нет.

От Таты сейчас получил милое письмо.

Нат[али] и Лизе тоже стану писать завтра. Сегодня совершенно некогда, и мозг переворочен корректурами.

Ergo, прощай.

Погода отвратительная, но я здоров, как больной бык.

Тх[оржевский] тебе в Ниццу писал.

Ольг[ин] портрет производит восторг.

* Так в тексте.

[1] Датируется по письму Герцена от 12 марта 1867 г. из Ниццы (т. XIX, стр. 240), где имеется рассказ о старухе, забывшей закрыть иллюминатор в каюте во время бури.

[2] Цверцякевич Иосиф — польский эмигрант. В 1862—1863 гг. — представитель польского революционного правительства в Париже и Лондоне. Во второй половине 60-х годов жил в Женеве.

[3] Стелла — псевдоним Ивана Михайловича Савицкого, полковника генерального штаба, участника польского восстания 1863 г., командовавшего отрядом повстанцев. В конце 60-х годов жил в Страсбурге, где виделся с Герценом. Сотрудничал в «Колоколе».

46

15 мар[та 1867 г.]. Пятница[1]

Надо дописать тебе несколько вещей.

1) В последнем «Revue des 2 mondes» кроме Долг[оруки]м рекомендованной статьи о Пруссии и пр. — есть статья Jamin[2] о метрологии (Pluies et vents), которой изложение и понимание так хороши, как я давно не встречал. У вас, верно, найдется. Прочти.

2) Долг[оруков] звал еще завтра меня одного, хочет говорить о «Кол[околе»]. Он из кожи вон лезет, требуя, чтоб к 1 апр[еля] еще № был — с шувал[овскими] статьями. Я считаю этот вопрос очень серьезным — и пойду на совещание. Тх[оржевский] говорит, что «Кол[окол»] идет несравненно лучше. Я берусь составить № к 1 апрелю. Я уже писал это, но repetitio studiorum.

3) Ты напрасно думаешь, что я Шарл[отту][3] возьму в свою квартиру. Квартира есть в доме, которую она может занять — или я один могу занять. Но мне ни в каком случае никто мешать не будет. Впрочем, в низшем слое общества я не нахожу привычки мешать. Напротив того — привычка помогать, только когда нужно. А для мальчика переезд будет очень полезен. Шарл[отта] не умеет его держать, т. е. главное — аккуратно кормить, что̀ для него всего нужнее (заметь, что̀ он постоянно болен). За это Мери берется с полнейшей дружбой к ней и к ребенку. (А кроме того, дистракция — знакомый диалект). Если же ты хочешь остаться (что для «Кол[окола»] страшно нужно) и чтоб я к тебе переехал — они могут остаться на одной квартире.

4) Сегодня день был получше; я сей[час] плутал в лесу и выпачкался как пёс. А все же хорошо было.

5) Завтра или послезавтра (ибо надо кое-что списать) пошлю тебе «Голос», где статья В[асилия] Ив[ановича] Жел[удкова][4]. — Талант писателя развивается, но мысль не развивается и многое нехорошо.

6) Вчера с «Кол[околом»] я насилу сладил, хотел после зайти к Черн[ецкому], но, узнав, что там Цверцяк[евич] — ушел — так как он мне намедня у Долг[орукова] надоел, что я его видеть не могу без раздражения. Это величайший дурак.

7) От Ут[ина] еще не имею известий, кроме того, что он в Vevey читал лекцию с большим успехом.

8) Вот, кажется, и всё. Прощай пока.

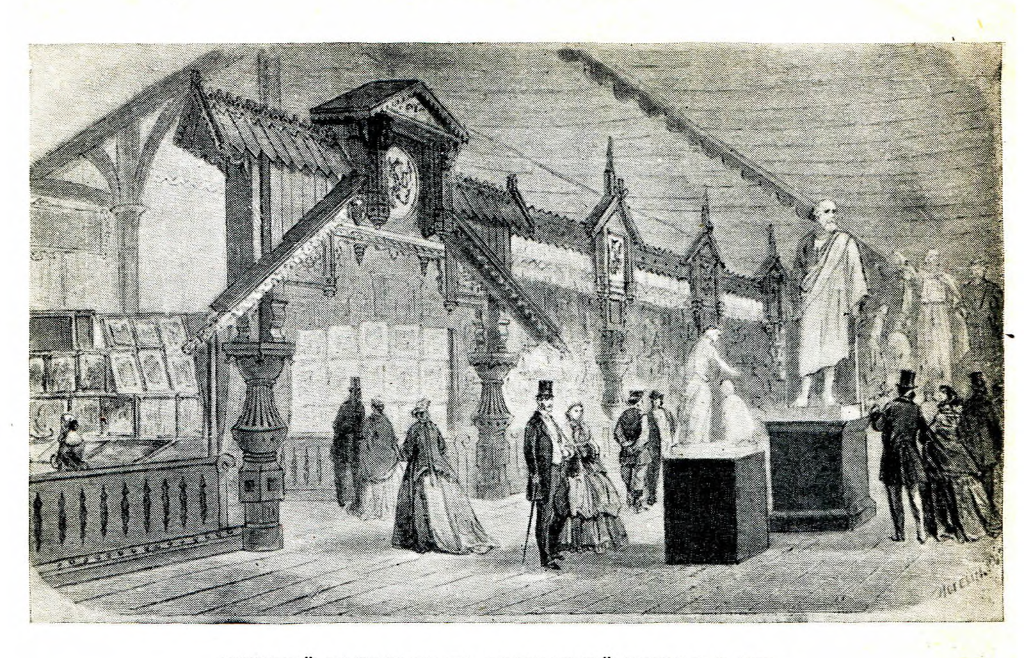
9) «Кол[окол»] сегодня вышел и, вероятно, тебе послан, я еще не получал.

10) Погода опять становится хуже. Вероятно, будет дождь. Прочти Jamin.

[1] Датируется по письму Герцена от 10 марта 1867 г. (т. XIX, стр. 239).

[2] Jamin (Жамен Юлий 1818—1886) — известный французский физик. С 1863 г. профессор Сорбонны, где преподавал более 20 лет. В 1858 г. избран в Академию.

[3] Шарлотта Гетсон — первая жена А. А. Герцена. В половине 1867 г. приехала в Женеву вместе с сыном Александром (Тутсом), чтобы быть поближе



РУССКИЙ ПАВИЛЬОН НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ 1867 г.
Гравюра из журнала «Illustration»

к А. А. Герцену, на возвращение которого к ней она все время надеялась. Шарлотта поселилась у Огарева. Накануне ее приезда Герцен писал Огареву — «Насчет Шарлотты делай как знаешь. Жить с двумя женщинами [М. Сетерлэнд и Ш. Гетсон. — *Ю. К.*], ребенком [Тутсом. — *Ю. К.*] и полуребенком [Генри. — *Ю. К.*] — это такой андреевский крест при небольших деньгах и крошечной квартире, который нести я бы себя не считал способным...» (т. XIX, стр. 239).

[4] Желудков — псевдоним В. И. Кельсиева, под которым он поместил несколько статей в «Голосе» А. А. Краевского. Первая его статья «Наблюдение над Яссами (к восточному вопросу)» появилась в № 54 «Голоса» от 23 февраля 1867 г. Затем была напечатана (в № 62) статья «К путешествию по Галичине (польские эмигранты)» и др. Огарев имеет в виду одну из этих статей. В 1868 г. все статьи и очерки В. И. Кельсиева были собраны в две книги: «Пережитое и продуманное» и «Галичина и Молдавия».

47

18 мар[та] 1867 г. Вторник [1]

Оба твои письма получил 3-го дня и очень ими растревожился, а все же вчера писать к тебе не успел, потому что утро проработал, потом ходил на минуту к прынцу [2], а потом было поздно.

Начну мою тревогу с «Колокола»:

1) Твое письмо к Ак[сакову] [3] дело возможное, но ты забыл помянуть, что и в «Москве» (этот № должен быть у тебя) напечатана та же штука из Варшав[ского] днев[ника], только перед твоим именем стоит (?), а перед именем Бак[унина] — ничего. Долг[оруков] говорит: Б[акунин] может сам за себя отвечать, но что ручаться за него нельзя. Но в чем и я с Дол[горуковым] согласен — это в том, что в «Колоколе» нельзя печатать твоего письма, прежде нежели уяснится: поместил его Ак[саков] или нет; в первом случае тогда надо будет в «Кол[околе»] напечатать с похвалой, а во втором с нахлобучкой. Мне это кажется совершенно справедливо — и потом не больше 15 дней разницы.

2) «Кол[окол»] идет лучше. Я решился издать 1-го апреля; мне кажется иначе опять подкузьмишь его.

3) Не забудь, что с июня (или июля?) надо выписывать газеты, без которых существовать нельзя, а Долг[оруков] уезжает.

4) О греческом вопросе [4] сказать надо; но что же ты не присылаешь? Ты хорошо знаешь, Герцен, что я на эти высказы ужасно неспособен. Я вот и теперь весь предан смеси, надеюсь, что она будет лучше прошлой; но в смеси, кроме иностранных вопросов — вопросы народные и обличения весьма нужные. Я исключительно работаю в оной по части земства; Долг[оруков] даст статейку об Алексее Столыпине [5], которого русские газеты оклеветали, что он после лермонтовск[ой] дуэли с Барант[ом], где был секундантом, принес повинную шефу жандармов. — Долг[оруков], зная всю подноготную, объясняет, как и что было. — Я Ал[ексея] Стол[ыпина] знал порядочно, и за одно ручаюсь, что он повинной никакому шефу, а еще менее Бенкендор[фу] не принес бы. Теперь он в могиле, ergo, восстановить это следует. Кстати, в последнем «Кол[околе»] выписка о Меншик[ове] делает большой эффект (ай да Д[олгоруков]!); а объявление о «Былом и думах» — указано т. VI вместо IV (ай да Черн[ецкий]!).

5) 1-я статья следующего № будут речи графа [6]. Затем присылай о греческом вопросе поскорее. Все остальное может быть и в этом и в другом №. Мне моей статьи [7] в этот №, собственно, не хотелось бы помещать, ибо придется разделить, да надо много переработать; но если был бы недостаток в материалах, то разделю и помещу. А мне кажется, особенно, если ты вернешься, то дважды в месяц издавать необходимо. Как это ты мое письмо получил так поздно, а послано оно днем раньше?

6) В В[е]в[е] с ума сошли. Ут[ин] не отвечает. — Мечн[иков] приходит в отчаяние, ибо он работает много и по всякому вопросу [8].

7) 3-го дня я корректировал евангелие Иоан[на], печатаемое у Черн[ецкого] Трюбнером — для ради парижск[ой] выставки, в числе 20.000 экземпляров, с переплетом. [9] (Каково!) Но что это за сумбур, caro mio! Давно не перечитывал и рад, что перечитал; это припадок С[ерно-]С[оловьевича]. — Давно не читал такого поронья дичи. — А Матвея Трюбнер хочет печатать в числе 60.000 экземпл[яров]. — Вчера же я приготовил для «Кол[окола»] долю смеси; от этого газет не могу еще тебе послать, ибо вырезаю и отдаю Черн[ецкому]. Но на днях все покончу. Только, пожалуста, о гречес[ком] огне — присылай скорее.

— Цверц[якевич] отдал мне вчера некий пакет послать Натали, что и посылаю.

Теперь о моей тревоге о твоих письмах: в письме от 14-го — у тебя ввернулись такие строки, что меня испугом обдало [10]. Писать дальше об этом не хочу, жду от тебя дальнейшего.

Лизин идеал — прелесть [11]. Цалую ее за это 40 раз.

Насчет квартиры я тебе уже писал, что так как в доме квартиры различные, то Шар[лотта] и Тутс мне ничем не помешают. Моя комната все же останется sanctus sanctorum, куда вход имеют по приглашению, или только М[эри], чтоб взглянуть, какой я имею вид больной или нет и затопить [печку] камин. А там будь я Вишну или Кирш [12], или Христос или [апостол] * — это все равно. Для Тутса (который постоянно болен) это будет хорошо. Погода уже сворачивает на весну; жаворонки высоко поют.

M-lle Роша [13] играла мне 7-ю симфонию. Очень хорошо! Меня опять утянуло в иные фантазии. Но некогда, и надо приниматься за смесь. — Старик, ее отец, славный человек; не везет ему что-то в жизни, а мастер своего дела... Вот тут и разбирай юстицию.

Далее — прощай, разве ужо что припишу, а теперь за газеты...

---

* В подлинном письме нарисован ребус.

[1] Датируется по письмам Герцена от 14 и 15 марта 1867 г. (т. XIX, стр. 241—242). День недели указан неверно.

[2] Прынц — П. В. Долгоруков.

[3] Письмо к Аксакову по поводу обвинения Герцена и М. Бакунина в участии в «поджигательстве» (большие пожары в Петербурге). Ряд русских газет поместил вздорные сообщения, перепечатанные И. С. Аксаковым в «Москве». В письме к сыну от 19 марта (т. XIX, стр. 247) Герцен писал: «...Аксаков, у которого остался ко мне фебль, поместил о зажигательстве, но у моей фамилии поставил большой ? в скобках, а у Бакунина нет. Я Аксакову прежде послал письмо и уверен, что он его напечатает. То же следует сделать Бакунину...». В письме к Н. П. Огареву от 17 марта (т. XIX, стр. 245) аксаковскому письму посвящен следующий абзац: «Посылаю прибавку к письму к Аксакову. Он напечатает мое письмо, это ясно, но теперь дело вышло неладно. Я не имел понятия, что и «Москва» повторила, да еще in extenso ту же новость, но при моем имени поставила сильный вопросительный знак. Таким образом, дело падает все на Бакунина. Неужели он в самом деле участвовал?» В ответ на данное письмо Н. П. Огарева, Герцен отвечал: «Я с тобой не согласен и прошу письмо к Аксакову напечатать в след[ующем] номере (т. е. 1 апреля). 25—26 мар[та] ты увидишь, будет у него или нет. Если будет, прибавь в скобках: «было помещено»; если нет, пусть знают. Это ясно. К Бакун[ину] писал; я сам его на свой страх не беру...». Само письмо Герцена к И. С. Аксакову, помеченное: «Флоренция, 10 марта 1867 г. (т. XIX, стр. 268) было напечатано в № 58 «Москвы» с незначительными купюрами, с примечанием от редакции.

[4] В 1867 г. произошло восстание на острове Крите против турок. В письме от 15 марта Герцен писал: «Я считаю необходимым заявить сочувствие «Колокола» к греческому делу и прошу сейчас написать твое мнение. Я сегодня же попробую написать». 17 марта Герцен извещал, что он посылает свой «манифест о греках». Это была статья «На площади св. Марка», напечатанная в «Колоколе» от 1 апреля (л. 238). В этой статье Герцен писал: «Мы вполне, безусловно, за греков, хотящих слиться с греками, за славян, стремящихся освободиться от чужого ярма. Мы также горячо и искренно желаем им успеха, как желали для католической не русской Польши отделения ее от России».

[5] Столыпин Алексей Аркадьевич (1816—1858) — родственник и друг М. Ю. Лермонтова, его секундант в 1840 г. в дуэли с Барантом.

[6] Две речи графа А. П. Шувалова.

[7] Статьи Н. П. Огарева «Частные письма об общем вопросе».

[8] Повидимому, речь идет о продолжающихся попытках организации «Revue» и каких-то задержках со стороны Утина, предполагавшего субсидировать это предприятие.

[9] В 1867 г., в связи с Парижской всемирной выставкой, типографией Чернецкого по заказу Трюбнера было напечатано евангелие большим тиражом.

[10] Строки касались Н. А. Тучковой-Огаревой и ее с новой силой вспыхнувшего желания ехать в Россию к Сатиным. «В два дня, проведенных здесь, было много говорено. Вообще, настроение лучше, но с порывами отчаяния. Хотелось бы сближения с детьми, но ни шагу для этого, потом — одна невозможность за другой...» (от 14 марта 1867 г., т. XIX, стр. 241). «Из России постоянно зовут Н[атали] с Лизой. Были минуты готовности с ее стороны все бросить и ехать...» (там же). «...От диких порывов любви до свирепых слов ненависти — все сумбур. Сегодня ужас и желание, чтобы я спас ее и Лизу, готовность звать детей, ехать в Кольмар, Лозанну.., а завтра неуважение ко мне, наискорейшие сборы в Россию, распоряжение, как быть с Лизой в случае смерти и обвинение во всем меня, тебя...» (от 15 марта 1867, т. XIX, стр. 243). «...Пришло опять письмо от Сат[иной]. Она просто приступает к горлу, чтоб N[atalie] ехала и везла Лизу; говорит, что все будет улажено, требует сейчас ответа, хочет прислать Ал[ексея] Ал[ексеевича] и деньги на дорогу, умоляет решиться. О нас ни полслова. Ясно, что Сат[ин]а знает все, и что она считает меня слабым человеком, а детей извергами (это не сказано)» (от 20 марта 1867 г., т. XIX, стр. 248). Эта тема проходит и в позднейших письмах Герцена.

[11] «Лизой я опять доволен, — писал Герцен 15 марта — очень умна и дивит меня памятью. Она говорит: «я, как Тата, не буду торопиться итти замуж, — tu comprends, — я буду три года смотреть, что за человек мой жених. Он должен быть хорош и заниматься большими делами, как ты и папа Ага; у него должна быть новая карета». Вот тебе и идеал» (т. XIX, стр. 243).

[12] В своем письме от 15 марта Герцен шутливо восклицает: «Ах, ты, Вишну, да и только!»

[13] M-lle Роша — знакомая пианистка Н. П. Огарева в Женеве.

48

10 июля [1867 г.][1]

Du bist fort mein Rayoul! Дай вспомнить эти былые годы, все же как-то легче становится на сердце. Чувствуется, что в жизни было пережито много хорошего. — Но сегодня все же длинно писать не буду.

Стану рассказывать только положительные вещи. Вчера Верезов[2] приходил к Виноград[ову] с этим дураком и мошенником Ридигером[3]. Начало продолжалось долго и глупо, а наконец, они съехали на то, чтоб предложить Чернец[кому] печатать за известную цену журнал — с переездом или без переезда и с его работниками. Это будет разочтено к завтрему, ergo, я завтра отправляюсь в Женеву. Это яснее и может придти к концу, лишь бы плата была гарантирована (годовая плата). Прежнее все было невозможно, несмотря на то, что сам Raisin ими на минуту увлекся. — Потом ходил к Петру Рыжему[4] — хороший, но жалкий господин. Ничего утешительного о нем сказать не могу, кроме того, что принял он меня с радушием бесконечным.—

Сейчас (5 час[ов]) был у Саффи[5] в Lancy. Он, мне кажется, сильно болен грудью; его вид, его голос совершенно подозрительны. Видел Катерину и все остальное. Детей водят босыми, и они все ходят в нашу речку мочить ноги, купаться там нельзя — мелко. У Отиллио были нарывы на шее, которые прорезаны. Вид у него тоже плох. Лечат их гомеопатически. Мне кажется, что они, кроме нелепостей, ничего не делают. — Тутс взял мою палку и переставил стенные часы. — «Вот теперь», говорит, «они совсем верны». Картами очень доволен. — Саше стану писать завтра, а тебе послезавтра. — Тате тоже послезавтра. Сегодня только цалую ее и благодарю за письмо. — Лизу поцалуй за меня и Натали тоже. — Погода удивительная, пойду ближе к Салеву. — Мр[очковскому][6] пишу теперь же и несу письмы в Каруж[7]. — Теперь прощай, пойду на почту и к горам.

На л. 2 об.:

Тата, передай папе.

[1] Датируется условно по содержанию письма.

[2] Верезов или Вересов — владелец книгопродавческой фирмы в Женеве. Речь идет о переговорах между Чернецким и некоторыми женевцами о легализации его типографии, об издании журнала и т. п. Эти переговоры затянулись на очень длительный период и в последующих письмах неоднократно будут встречаться упоминания о «деле Чернецкого», о переговорах Чернецкого с женевскими городскими властями и т. п.

[3] Ридигер — какой-то женевский знакомый Огарева.

[4] Петр Рыжий — Пьер Леру (1797—1871) — французский писатель, в молодости находился под сильным влиянием Сен-Симона. В 1848 г. — член Национального собрания, затем эмигрант. Вернулся на родину после амнистии 1869 г.

[5] Саффи — итальянский революционер, см. комментарии к письму 24. Катерина — его жена. Отиллио — повидимому, сын.

[6] Мрочковский Валериан, по прозвищу Острога (1840—1889) — эмигрант, бывший киевский студент, участник польского восстания 1863 г., соратник М. А. Бакунина, с которым познакомился в 1865 г., после приезда из Польши, где отбыл тюремное заключение.

[7] Каруж — предместье Женевы.

49

20 июля [1867 г.]. Суббота[1]

Твое печальное письмо от 17-го и две превосходных статейки сегодня получил[2]. Как бы я желал, чтоб Кольмар был правдою! Но на каких же это основаниях — напиши подробно. Кто там будет с Лизой? Будет ли она только ходить в школу или жить там? Напиши мне также — что же делает Тата? Поёт ли, рисует ли, учится ли? И как собственно поставлены отношения?

Статью я кончил[3]. Сегодня отдам набирать Черн[ецкому], который тебе корректуру тотчас же по наборе и вышлет. И ты, разумеется, поправь, как хочешь. В смесь завтра приготовлю кое-что. Выписываю из «Голоса» в Café du Nord, ибо Долгор[уков] хотя и поставил меня в

члены писового конгресса [4], а газет мне не присылает. На писовом конгрессе я с ним обошелся учтиво, но холодно. Говорили с ним о том о сём, словом, вражды ему не показал. Но дело в том, что он понял как и что — и внутренно озлоблен, хотя и скрывает. Конгресс покамест ужасно скучен, а, пожалуй, он дойдет не до мира, а до основания многочленной котерии вроде масонства, но с другим содержанием, и не тайной, а явной.



ГЕРЦЕН И ОГАРЕВ В КРУГУ ИХ СЕМЬИ

Слева направо: Герцен, его дочь Наталья Александровна (Тата), Н. А. Тучкова-Огарева с Ольгой Герцен на руках, сын Герцена Александр Александрович, Огарев

Фотография, 1860-е гг.

Сейчас жду Саффи, который у меня был уже 2 раза и я у него. Я пойду с ним к нему в Lancy, где он целый день у брата. Пойду проститься с M-me Саффи. Они завтра уезжают.

Мерч[инский] [5] у меня был и Чернец[кий] у меня был. Дело Черн[ецкого] медленно идет к концу. В условиях они согласились, но теперь город не позволяет заводить в доме импримерии, так что ему придется взять квартиру где-нибудь возле, ибо иначе этого журнала печатать нельзя. Впрочем, письмо докончу ужо в Женеве, где увижу Черн[ецкого] и Тх[оржевского].

Стихов еще не поправил, больно мудрено.

Тутс сделал прогресс — понял, что 1 и 1 два.
Г[енри] не совсем здоров у меня.
М[эри] кланяется тебе и Тате.
Я вас всех обнимаю.
Ergo — до вечера.

Вечером в Женеве.

Саффи у меня был, но их сегодня дома нет, уезжают в понедельник, и мой визит отложен до завтра.

Дело Черн[ецкого] тянется. Он был у президента муниципального совета, который обещал прислать инженера для обследования — сегодня, но сегодня не прислал. Черн[ецкий] тебя просит, по обещанию, прислать чек в 500 фр[анков] Тх[оржевскому], тогда он может и переехать, если дело покончится, и покончить французские работы и получить за них деньги.

Все это как-то нескладно, а может и пойдет в гору. Вероятности есть.

Твои статьи и мою отдал. В газетах ничего нет, кроме интересных судебных дел. Черн[ецкий] обещался мне прислать выписку из Днев[ника] Позн[анского], где говорится о слухах о возобновлении барщины в Польше, т. е. о даровании шляхетству права взимать подать и употреблять крестьян в зачет на работу. Это необходимо напечатать.

На л. 2 об.:

Милая моя Тата — передай папе (но не римскому).

[1] Письмо датируется по письму Герцена от 17 июля 1867 г. (т. XIX, стр. 400), в котором говорится о разногласиях с Н. А. Тучковой-Огаревой в вопросе о воспитании Лизы и предположении отдать Лизу в пансион в Кольмаре.

[2] Статьи Герцена: «Заметка о прекращении «Колокола» и «Суд в Париже и убийство в Петербурге».

[3] Повидимому, речь идет о статье Н. П. Огарева «Письмо к читателю «Колокола», напечатанная в «Прибавочном листе к первому десятилетию «Колокола» (1 августа 1867 г.).

[4] «Писс» — мир. 1-й конгресс «Лиги мира и свободы» собрался по инициативе главным образом итальянских демократов в сентябре 1867 г. в Женеве. В нем приняли участие представители самых разнообразных партий и направлений. В июле-августе шла подготовка конгресса, к участию в которой был привлечен и Н. П. Огарев.

[5] Польский эмигрант, имя которого часто фигурирует в переписке Герцена. Позднее бакунист.

50

23 июля [1867 г.][1]

Вчера получил твое письмо от 19-го и портрет Сергея[2], за который благодарю Натали из глубины сердца. Грановск[ий] для меня уже одно из тех воспоминаний, которые меня волнуют до мозга костей; а Сергей еще больше. С Гр[ановским] мы, может, разошлись бы, а с Сергеем никогда.

Сегодня у меня утро просидел Тхор[жевский], но я и без того ничего не мог бы работать, потому что вчера, несмотря на все старания, не мог встретить ни его ни Чернец[кого] и потому не знаю, что еще нужно для «Кол[окола»]. — Дело Чернец[кого], кажется, окончится благополучно, но я припишу об нем в Женеве вечером, ибо узнаю от Тх[оржевского] подробно.

О твоем мрачном взгляде на все наши отношения — я тебе напишу[3] особо, ибо я на него смотрю иначе — и не из самозащиты, до которой мне дела нет, а из простого чувства правды. Но теперь мне еще не хочется писать об этом; я это сделаю совсем на просторе, когда покончу «Колокол».

Гуляя встретил Барни[4] с новым журналом, который меня заинтересовал. Поэтому я у него вчера был и взял первые №. Это недельное Revue под заглавием «Le Pensée nouvelle». Советую тебе достать ее. Издается в Париже. Предшественники были приговорены к тюрьме, а это продолжение, и, право, оно весьма недурно, совершенно популярно и разумно. Пожалуй, вкрадется и вздор, но это уже судьба человеческая. Кстати, напиши мне — какие журналы русские ты там имеешь? Из последних ничего нет для «Кол[окола»], не знаю что сегодня. — Итак, покончу ужо.

Женева

Дело Черн[ецкого] официально еще не пришло к концу, но кажется, что придет. — Газеты читать в кафе решительно невозможно, ибо нельзя выписывать большие статьи, а есть интересные. Касат[кин] завладел Café du Nord и не хочет давать мне. Каково? — Хочешь ли за полцены получать «Весть» и «Моск[овские] Вед[омости»] из Café de la Couronne? Он на этом основании выпишет. Отвечай сейчас. Тх[оржевский] тебе и всем кланяется и спрашивает, получил ли ты его письмы и вещи.

Addio.

[1] Ответ на письмо Герцена от 19 июля 1867 г. (т. XIX, стр. 401).

[2] Портрет С. И. Астракова, см. комментарий к письму 41.

[3] Это ответ на следующие слова Герцена: «Безобразная triada наша или трирасщепление, делает все невозможным... Может, всего досаднее, что и наша-то жизнь, т. е. твоя и моя, не может итти вместе и сурово разведена так, что концов не свяжешь. Жаль, очень жаль, что все стало мечтой...» (т. XIX, стр. 401).

[4] Барни Жюль (1818—1878) — французский философ-кантианец и политический деятель; в 40-х годах доцент философии в Реймсе, Париже и Руане. После переворота Луи-Наполеона эмигрировал в Женеву. Один из организаторов конгресса «Лиги мира и свободы» в 1867 г. В 1870 г. вернулся во Францию. С 1876 г. депутат.

51

24 июля [1867 г.]. Середа[1]

Вот и еще пишу несколько слов. Получил сегодня корректуру моей статьи, вероятно, и ты ее получил; там есть такие бессмысленные ошибки, перед которыми и ты остановишься. Я не имею к ней большого уважения, но она все-таки выйдет полезна. Что и доказать надлежало.

Остается еще для «Приб[авлений»] к «Кол[околу»] — шесть колонн. В газетах ничего нет, а если что и есть — то только такие большие статьи о административных мерах, что переписывать их невозможно, а надо иметь на дому. Обивать пороги его сиятельства[2] я для этого не намерен; Кас[аткин] берет из «Норда» на другой день, поэтому «Норд» мне давать не может, а Кас[аткин] по злобе не хочет. Это положение невозможно. С Café de la Couronne можно сделаться на две газеты за полцены, ergo, это надо сделать; это будет стоить 60 фр[анков] на полгода.

Я хочу об статье в «Всемирном труде»[3] поместить статью весьма сжатую, колонны на две или три. Если у тебя есть еще что, присылай. Очень трудно пополнить этот №. Во всяком случае, он раньше 5 августа не выйдет. Может я и найду что в русских газетах; но какие же у тебя есть в Ницце и что̀ ты можешь сделать?

Тх[оржевский] мне сегодня принес размен твоего чека к 1-му августу. Я прожил бы и без этого, но с трудом, ибо было слишком много оплачиваний. Теперь мне весьма легко. Но написала ли Нат[али] кому следует о высылке денег? Около 15 августа они там будут

иметься, а без их присылки туго придется. Я думаю, что это короче просто совершить по почте, чем через какое посредство. Поэтому ни к кому для передачи не писал. Надо это повторить немедленно.

Писал ли я адрес Саффи? Если нет, то напишу в следующий раз, ибо теперь на прогулке его не имею. Но m-me Саффи велела сказать Нат[али], что она к ней писала недавно, а если прежде долго не писала, то потому, что были слишком трудные обстоятельства.

Она и он — хорошие, но скучные люди, так скучные — что это чорт знает что такое.

Завтра пойду на последнюю лекцию Петра Рыжего[4], желая его не обидеть. Но как же его отделал новый журнал «La Pensée nouvelle» — это просто прелесть. Нет — этот журнал (т. е. revu каждую неделю) — возрождение французской мысли. Я им ужасно доволен. Выпиши его себе.

А за сим прощай.

Всех обнимаю.

Пиши лучше на имя Мэри, я думаю скорей будет доходить.

Тутс удивительно мил и забавен, но часто шалит невыносимо. Напр[имер], бросил в нужник шляпу хозяйского мальчика и пр. Но сегодня объяснял, что когда он будет класть яйцы, то никак не позволит их брать хозяйке; а класть яйцы он будет как скоро будет курицей, а это будет очень скоро.

На л. 2 об.:

Милая моя, передай П а п е.

[1] Датируется по письму Герцена от 22 июля 1867 г. (т. XIX, стр. 403).
[2] П. В. Долгоруков.
[3] Статья во «Всемирном труде» — см. комментарий к следующему письму.
[4] Петр Рыжий — Пьер Леру. См. комментарий к письму 48.

52

25 июля [1867 г.][1]

И я тоже начну с общего. В своде я не отыскал оных статей. Может он и в 1-м томе, который у меня пропал при переезде из Лондона. А может они прибавлены в новом издании, которого у меня нет; но в издании части Николаевского свода 1857 г. оных статей нет. Решился же их перевести и поместить, потому что вчера нашел в Петерб[ургских] Вед[омостях] вскользь поминание о них, при довольно скверной статье о речи Араго[2].

А без газет нельзя жить, Герцен. Напр[имер], новый устав военного суда. Переписывать его в Café du Nord — это три-четыре часа. Ведь я не стенограф. Что же тут делать? Рад бы сказать что об этом уставе, но для этого надо иметь газеты в полном своем распоряжении. А все же я ни Долг[орукову] ни Кас[аткину] кланяться не пойду. Они же, по моему мнению, становятся все хуже и хуже. Напр[имер], Кас[аткин] отвечал Черн[ецкому] за уплату французского издания, взял с издателя книг на 700 фр[анков], а теперь ни издатель не платит Черн[ецкому], ни Кас[аткин] не хочет платить, говорят, что нет денег. Все же это мерзко.

В смесь набрал не мало статеек, даже статью о принципах жизни Соловьева[3], которая займет колонны полторы.

О заглавии и об Nicce Черн[ецкому] объяснил. Письмо Тх[оржевскому] передал.

Вчера был на лекции у Петра Рыжего. Что за чепуху он порол — просто позор. Было человек сто+Цверцякевич; иные аплодировали.

Но я все же смотрю на него не с отвращением, а с глубоким сожалением, как на помешанного.

Теперь о частных делах.

Мое предположенье, которое хочет сбыться — обдает меня ужасом. Неужели же и Лизу увезут туда? [4] С какою радостью я бы ее передал Тате! Неужли Нат[али] не поймет, что лучше прыгать в пучину морскую, чем быть под влиянием пяти нянек из холопства и Нат[алии] Ап[оллоновны] [5]?

Ал[ександр] III чрезвычайно забавен, хотя и пошаливает. Отношением М[эри] к нему и его к ней и ко мне — остаюсь попрежнему доволен. И с Тх[оржевским] он в величайшей дружбе.

Л[угинин] действительно с ума сошел. Как можно отодрать такую штуку, чтоб посылать тебе деньги для С[ерно]-С[оловьевича]? [6] Уж лучше бы прислал мне или Тх[оржевскому], хотя и то было бы нехорошо. Да разве нельзя было послать прямо? Но все же распорядись как следует, иначе это примется за маленькую мстительность.

Напрасно ты жалуешься на нейдение нашей переписки. Я даже дня бы не пропустил и только пропускал потому, что приходилось больно много читать и писать.

А вот надо поесть, да и опять идти в этот нелюбимый мною Генф, ибо надо там кой с кем повидаться. Если что будет нужно или интересно, то в Генфе припишу. — А сколько я ни не люблю Генф, мне кажется, что все же из него переезжать н е к у д а. Надо привыкнуть — вот и все.



КОЛОКОЛЬЧИК ГЕРЦЕНА

Литературный музей, Москва

Нет ничего нового. Тх[оржевский] кланяется и вчера послал роман Черныше[вского][7]. — Ответа от города по делу типографии еще нет, хотя и ожидается удовлетворительный.

Всех вас цалую.

На л. 2 об.:

Милая Тата, передай папе. —
Guide de Paris 2-я часть еще не пришла.

[1] Ответ на письмо Герцена от 22 июля 1867 г. (т. XIX, стр. 403).

[2] Араго Франсуа-Виктор-Эммануил (1812—1896) — известный французский адвокат и политический деятель. Активный участник революции 1848 г., член Национального собрания и генеральный комиссар в Лионе. Убежденный противник Третьей империи. В 1867 г. выступил защитником по делу польского эмигранта А. И. Березовского, 6 июня 1867 г. совершившего в Париже неудачное покушение на убийство Александра II, и добился смягчения приговора. В своей речи цитировал некоторые статьи русского свода законов, о чем и пишет Н. П. Огарев в начале своего письма. В 1870 г. — министр юстиции.

[3] В «Колоколе» от 1 августа был помещен разбор статьи Н. И. Соловьева «О принципах жизни», напечатанной во «Всемирном Труде».

[4] Герцен сообщал Огареву, что А. А. Тучков «узнал, что никаких препятствий на возвращение N[atalie] нет, и он зовет ее с Лизой на два года в Яхонтово за ним походить. Вот твое предположение-то и сбылось бы» (т. XIX, стр. 404).

[5] Тучкова Наталия Аполлоновна (ур. Жемчужникова) — мать Н. А. Тучковой-Огаревой.

[6] Это ответ на фразу Герцена: «Лугин[ин] сошел с ума: получил от Черкес[ова] 150 руб[лей] для Сер[но] Сол[овьевича] и пишет, что послал мне в Ниццу. 1-е ошибся в адресе, и я денег не получил, 2. Зачем же он меня мешает в эту грязь. Я его разругал как следует».

[7] Роман Чернышевского «Что делать?», отзывы о котором см. в августовских письмах Герцена. Первое впечатление, произведенное на Герцена этим романом, было двойственно: резко осуждая литературную манеру Чернышевского, Герцен отмечал всё же в романе «мысли... прекрасные, даже положения». Эта двойственность сохранилась и в позднейших герценовских оценках «Что делать?».

53

31 июля P[etit]. L[ancy] [1867 г.][1]

Еще два письма от тебя. Я два дня не писал по многим причинам. 1) В понедельник...

(Нет-с — позвольте-с — пришел Тх[оржевский], принес даже «Голос» и «Весть». Идём есть. — Из «Голоса» составлю конец для «Кол[окола]», а «Весть» сегодня же отправлю к тебе, ибо с этим я не совладаю, и мне кажется, что на это лучше плюнуть безответно, разве сказать, что в son ton, где с почетом упоминается имя Скар[ятина][2], нашим именам было бы позорно, или что в этом роде — но это ты лучше придумаешь, если будешь действовать скоро — может и поспеешь. Может, послать прямо Черн[ецкому] для набора. — После 31 июля ст[арого] ст[иля] его сиятельство тебе «Голоса» посылать не будет, ибо он нужен Стелле, который составляет корреспонденции и этим живет). —

Продолжаю:

1) В понедельник я был болен (17-й день) и так неожиданно, ибо чувствовал себя perfect (может и болен был с испугу, отнявши у Тутса тяжелейший топор, которым он рубил себе между ног — у меня с полчаса колени дрожали — чувствовал себя так perfect, как даже давно не бывало. Но дело в том, что, отворяя дверь из моей комнаты — упал и стукнулся о замок так, что на верхней веке есть подкожное кровоизлияние. Однако, через четверть часа после этого я написал 2-е длинное письмо к Саше, ибо он желал ответа на свое длинное idem.

2) Вчера был в Женеве, о которой скажу, когда будет интереснее. Видел и Черн[ецкого], которого дело, кажется, кончено; инженер только хочет смерить машину, но и тут не может быть остановки. Но хотя и был в Женеве, но чувствовал себя усталым от понедельника.

Впрочем, вот и всё. Сегодня совсем отдох[нул], только глаза еще не выздоровели, но и не болят — колорит нехорош — не больше. А кстати, намедня у Генри на рожденьи был у нас его товарищ, лет 14-ти. Прихрамывает. Штука вот в чем: он маленький упал и ушиб колено. Пять докторов, из которых один Бине, а другой Майор — сказали, что это внутренняя болезнь и что надо ставить фонтанель на колено. Один только неизвестный Dumier (или Doumier) сказал, что это ушиб и что лечить не надо. Но совет пяти одолел — и с тех пор у этого мальчика нога сохнет. Что за мерзость, caro mio! Я не могу равнодушно смотреть на это.

Теперь о твоем письме: — Черн[ецкому] я тотчас же сказал, что такое заглавие на задней странице невозможно. Но он мне сказал, что ты так приказал, а что страница так пришлась и иначе нельзя. Я и смолкнул до сегодня. А сегодня послал все твои приказания (переписав, конечно) с Тх[оржевским] в типографию. «Колок[ол»] не выйдет прежде 5-го, а если и 10-го, то, я думаю, не беда.

Ах да! чтоб не забыть. M-me [Бессо][3] преследует меня тем, что она писала к Нат[али] и не имеет ответа. А дело в том, кажется, что она сама хочет ехать в Ниццу или детей послать — все это было бы очень глупо. — Да еще вот что: вчера читаю «Голос» в Кафе дю нор — подъезжает коляска; в коляске кн. Сашенька Мещ[ерска]я.[4] «Не можете ли вы мне дать фр[анков] 30, у меня нечем с кучером расплатиться». — «Виноват, у меня со мной 10 нет. Хотите завтра принесу». —«О нет, мы живем в Вернее. Стало, делать нечего. Прощайте». — «Прощайте». — Засим shakehands и конец.

О деньгах С[ерно]-С[оловьевича] ничего не знаю. Я и не думал, что ты мне деньги дал до сентября[5]. Я думал и думаю, что С[атин] мне пришлет, ибо иначе это совсем мерзко.

Черн[ецкий] все хочет, чтоб я или Тх[оржевский] от тебя ему денег достали, а сам об этом тебе писать не хочет. Странный характер — чисто панский, где панство даже выше отношений приязни.

Что сказать о твоих внутренних делах? Успокоить они меня не могли. Надежд не подают. Хорошо, что Лиза в море бросается, но это все хорошо, как детскость или гимнастика[6]. Я бы хотел union во взрослых. Но это до взгляда и нечто, который пришлю только по окончании «Кол[окол»].

Посылаю тебе письмо, переданное его сиятельством Тх[оржевско]му. —

Роман Черныш[евского] я еще не перечитывал, но не помню так, чтоб говорить о нем[7]. Это тоже после «Кол[окола»].

Что за дело пермского Боборыкина?[8] Я его не читал, а Долг[оруков] прислал все имена.

За сим addio, вероятно, до завтра. Обнимаю всех.

Al padre tuo.

[1] Письмо датируется по письмам Герцена от 27 июля (т. XIX, стр. 405) и от 29 июля 1867 г. (т. XIX, стр. 408).

[2] Скарятин Владимир Дмитриевич — реакционный публицист, с 1863 г. по 1870 г. редактор газеты «Весть».

[3] Бессо — хозяйка дома, где жила Н. А. Тучкова-Огарева.

[4] Мещерская Александра Павловна — дочь П. А. Тучкова, жена кн. Н. Н. Мещерского. В 1867 г. жила в Женеве, училась в консерватории.

[5] В своем письме от 27 июля Герцен подробно писал о финансовом положении Огарева и предлагал последнему «наблюдать строгий бюджет».

[6] «Лиза сегодня первый раз бросилась с помоста в море одна, совершенно одна и очень гордится», — писал Герцен.

[7] В письме от 29 июля Герцен резко отрицательно отозвался о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и упрекал Огарева, что тот хвалил его.

[8] Боборыкин Константин Николаевич — пермский губернатор; его делу посвящена заметка Огарева в «Колоколе» от 1 августа 1867 г.

54

1 августа [1867 г.][1]

Взгляд и нечто[2]. Постараюсь сказать все как можно короче. Мысль моя не новость и не открытие — ни для тебя ни для меня. Только я с каждым днем больше и больше убеждался в ней и, наконец, при обвинении тебя в компрометации совершенно убедился. Наша мораль могла быть только искренность — равно при сознании ошибок, как и в высказывании правды. Скрывать ошибки, поступки, правду — это трусость перед общественным мнением, при которой можно приобрести врагов, а друзей приобрести нельзя. Искренность в жизни равна гласности в печати. Другой морали — нет. «Свет не карает заблуждений, но тайны требует для них» — пора бросить в хлам кладовых. Если нас что губит — это постоянная ложь. Иначе мы могли бы, хотя бы при разных хозяйствах, жить в одном доме, т. е. быть вместе. Без этого — не могу же я придти к тому, чтоб их бросить (не исключая Тутса). Это было бы подло. Раскаиваться я тоже не могу, потому что в этом отношении не чувствую за собою ничего ни дурного ни удручительного. Стало, что остается — это устроиться. А этого без искренности и свободы жизни — нельзя. Подумай — и вникни в это. Я думаю, что для твоего понимания не нужно ничего прибавлять.

— Сегодня небо серое, ни жарко ни холодно. Какая-то свинцовая щетка на голове. Вдобавок лихорадочное чувство и даже губа обметала. (Виноват — сидел в саду — дождь пошел — маленький, но мочит бумагу, ergo иду под крышу). — Впрочем, это мне не помешало составить из «Голоса», который теперь же тебе посылаю, дополнительные статьи для «Кол[окола»], а именно: приказ воен[ного] министр[а], циркуляр мин[истра] вн[утренних] дел и уфимское омерзительное происшествие, где Боборыкин отличился (в скверном смысле, разумеется). Сейчас несу их к Черн[ецкому]. Таким образом, дело будет кончено, если ты ничего не пришлешь о «Вести».

Впрочем в Женеве припишу.

Женева. Café du Nord. Наконец с Черн[ецким] сладили — белого листа вовсе не будет. «Благо есть место» начнется со 2-го листа просто. Промежуток будет беленькая полстраница; дело в расстановке. Видишь, что корректура твоя получена. Газеты еще могли бы служить, но теперь все полно (разве твои строки о «Вести»). Посмотри в mise en page «Письмо в ред[акцию] о Берге». Не поместить было нельзя, а оно мне не нравится. Впрочем я на Боб[орыкина] сам донос написал, нельзя эту шельму не приковать к позорному столбу. — При сём тебе письмо от кого-то. За сим addio. Иду на почту. Обнимаю всех. Лучше завтра напишу.

[1] Датируется по письму Герцена от 30 июля 1867 г. (т. XIX, стр. 409).

[2] Ответ на рассуждение Герцена о личном кризисе: «Не бойся отпора и пиши, — читаем в письме Герцена. — Я отнесусь без des arrières pensées и с уважением (внутреннего честного разбора) к твоей философии жизни. Не верю в нее, потому что знаю твою реконструкцию жизни и распространение амнистии на нас самих. Мы поступали, вообще, бесхарактерно и распущенно, в силу чего также распустили все вокруг. За это нас бьют следствия, и мы к концу жизней ведем дрянную,

узкую, неустроенную жизнь. Мы даже не умели устроить своей жизни вместе, а обстоятельства нас развели еще дальше: что ж, Огарев, можно сказать кроме этого?..».

В своем ответе на данное письмо Н. П. Огарева Герцен снова возвращается к этой теме: «Совершенно дружески прочел твою утопию и отвечаю сейчас. Я не того ожидал. Я говорил о законности или консеквентности Немезиды, а ты делаешь план будущему. Не знаю, что возможно через год, или годы, но теперь наша артель вряд возможна ли. Она даст место новым столкновениям и еще раз сгнетет и сузит нашу жизнь... Насчет раскаяний — ты и не можешь их иметь, ты и до сих пор сохранил юность и чистоту. Все зло в твоей жизни произошло от пьянства... Далее ты говоришь «Не бросить же мне их». А кто же это предлагает? Если бы я не знал, что тебя заставляет так говорить раздражительный фамилизм, я бы рассердился... И что ты говоришь о лжи и истине? Если ты говоришь о прежнем времени, это — панихида, а теперь и так все ясно...» (т. XIX, стр. 423, 424).

55

3 августа [1867 г.][1]

Пишу дорогой, возвращаясь из Женевы, где был с раннего утра (по делу о Шар[лотте][2], которую все-таки отыскать нельзя), обедал с Тх[оржевским], потом встретил большого доктора Л.[3], которого ты, верно, помнишь. Он ужасно жалеет, что тебя не застал; он очень хороший человек. Я его еще увижу и многое тогда напишу. — Потом мы ходили встречать на железн[ую] дорогу — ...Нефтеля[4], который, как кровно русский, разумеется, не приехал во-время. Ergo, я возвращаюсь домой, расставшись, наконец, даже с Цверц[якевичем]. — Твоя встреча с К[овалевским][5] меня удивляет. На кой чорт он в Ницце? Но все же я заключения никакого не могу вывести. На это надо доказательства, а не предположения. — «Кол[окол»] выйдет не прежде середы, т. е. 7 ав[густа] — так сообщил мне Тх[оржевский], видевший Чер[нецкого]. — Дело Черн[ецкого] с Вер[есовым] уладилось, но городское правление так медлит положительным ответом, что я перестаю верить в превосходство здешней администрации над русской.

Вот и все внешнее.

Насчет внутреннего начну с моих собственных произведений. Перечитывая мою франц[узскую] брошюру,[6] я признаюсь, что остаюсь ею доволен и даже доволен тем, что я от моей цели, от моей задачи — не отступил ни на шаг и проповедывал в разных видах те же основы, которые нашел в моей книге. Но дополнения необходимы. Теперь вот тебе запрос: как их сделать — изменением в тексте или прибавлением? Последнее, по моему мнению, легче и яснее; но если по каким-нибудь, даже книгопродавческим, причинам затруднительно, то я готов переделывать текст. Это займет много врем[ени] и не улучшит книги. Во всяком случае — мне было бы нужно несколько новых изданий, напр[имер], свод законов 1864 года, дополнительные узаконения до сего дня, кой-какие статистические издания нового времени и пр. Могу ли я распорядиться на этот счет, хотя бы он вошел в счет ожидаемой присылки от С[атина]? На это отвечай немедленно. Я готов все подготовить в самом непродолжительном времени. — Что же касается до моей той статьи — я настаиваю на ее напечатании, ибо это mon enfant de prédilection.

Что ты возишься с Жирарденом[7], почему не выпишешь «La pensée nouvelle»? Для меня более симпатичного явления нет.

Завтра после встречи с Нефтел[ем] еще напишу.

В з г л я д и н е ч т о (продолжение). Нат[али] трусит перед Ал[ексеем] Ал[ексеевичем][8], а не перед обществен[ным] мнением, хотя ни то ни другое не в ее характере. — Почему же она не трусила, когда мы ездили в Крым? И кто же в обществе тогда нас преследовал?.. Никто! — Преследовало правительство — с своей точки зрения и по

интригам губернатора — и только. В нынешней компрометации — даже и последнее преследование невозможно, а преследование обществ[енного] мнения немыслимо. Где же тут какой-нибудь грунт? Один каприз и злоба. — Ты боишься обществен[ного] мнения, несмотря на всю свою юркость. Я этому не могу сочувствовать. Пусть я останусь «христолюбивым человеком», но быть «христолюбивым воином» я не согласен, потому что это нелепость. Ergo, в чем же дело? — дело в искренности поступков. Дальше я ничего не могу сказать. В этом для меня завершение морального кодекса, будь он основан на «принципах» или просто на физиологии.

На л. 2 об.:

Виноват, что 3-го дня послал лишний стамп, ошибся цветом, а распечатывать не хотелось.

Милая моя Тата, передай патеру.

[1] Ответ на письмо Герцена от 30 июля 1867 г. (т. XIX, стр. 409).

[2] Шарлотта Гетсон с весны 1867 г. жила в Женеве у Огарева. В начале июня 1867 г. исчезла из дома и, как выяснилось впоследствии, утопилась в Женевском озере. Только через три года в июне 1870 г. ее труп был найден на берегу Роны.

[3] Кто такой «большой доктор Л.» — выяснить не удалось.

[4] Нефтель. См. комментарий к письму 22.

[5] Ковалевский Владимир Онуфриевич (1843—1883) — известный палеонтолог. В 1866—1867 гг. упорно ходили слухи о прикосновенности В. О. Ковалевского к III отделению. Об этом писал М. А. Бакунин к Герцену в письме от 28 сентября 1866 г., хотя никаких убедительных фактов не привел. В своем письме к Н. П. Огареву Герцен писал: «Отвратительная встреча... в дверях нос с носом встретился с Ковалевским, так что и разойтись нельзя было. Я руки не подал, но поклонился, сказал несколько слов. Глуп он был и дерзок, и сконфужен. Я очень недоволен. И зачем же этот человек в Ницце?..». В действительности же это были только слухи. В архиве III отделения не оказалось никаких данных, подтверждающих это подозрение.

[6] «Essai sur la situation russe». London, 1862. В 1867 г. предполагалось ее переиздание.

[7] Жирарден Эмиль (1806—1881) — французский журналист. Основал в 1836 г. газету «La Presse», имевшую большой успех. Часто менял свою политическую ориентацию, в зависимости от обстановки. После переворота 2 декабря 1852 г. некоторое время находился в эмиграции, но вскоре вернулся, и в своей журналистской деятельности начал поддерживать бонапартистский режим, окончательно став в ряды его защитников накануне франко-прусской войны.

[6] Алексей Алексеевич — Тучков.

56

[5 августа 1867 г.]. Понедельник [1]

Разные известия.— Неф[тель], как следует русскому человеку, написавши, что приедет 1-го августа — до сих пор не приехал и о причине задержки ничего не написал. — Тх[оржевский] даже не хочет больше ходить встречать его по 2 раза в день на железн[ую] дорогу. — Долг[оруков], как следует его сиятельству, узнавши о приезде Неф[теля], зовет его тотчас же обедать. На этом обеде и, вообще, на обедах его сият[ельства] я не буду. Он понял, в чем дело. Сегодня у него обедают Тх[оржевский] и Барни. — Тх[оржевский] у меня завтракал сегодня и показывал твое письмо к нему. Он пошел справиться в банк и потом переговорить с Черн[ецким]. — Но не ошибся ли ты? Не просит ли Черн[ецкий] поручительства в 1000 фр[анков] вместо 500, а не то чтоб 1500? — Во всяком случае, мы с Тх[оржевским] одинакового мнения, чтобы помочь ему поручительством в 1000 фр[анков], а 500 оставить до издания сборника (как плату), ибо иначе затруднит и тебя и его [2]. — 500 фр[анков] ему после могут быть гораздо полезнее. Ведь ему все же надо с Ге [3] или с Кас[аткина] по-

лучить 700 фр[анков] в конце августа. — Тх[оржевский] тебе завтра об этом подробно напишет. — Но Тх[оржевский] очень беспокоится о том — получил ли ты все его письмы, 4 «Пунша», газеты и пр. Все послано на имя Нат[али]. — «Весть» я тебе отправил, помнится, в тот же день (а, может, накануне) письмо Стеллы. Как же ты письмо получил, а «Вести» нет? «Голос» тоже тебе послал. — С Café de la Couronne сладились, пока с меня будет довольно, ибо маленькие вещи я могу выписывать в Норде из Голоса и Петерб[ургских] Вед[омостей], а больше — все те же, могу вырезать из «Вести» и Моск[овских] Вед[омостей]. — Кас[аткин] боится ходить в писсовый конгресс, потому что это его компрометирует! — Фази, которого там во 2-й раз президентом не выбрали, пишет в радикальной «Швейцарии» [4], что он отказался от президентства, потому что бóльшая часть членов масоны. —



СЫН ГЕРЦЕНА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Фотография, 1860-е гг.

Институт литературы, Ленинград

Не забудь же выписать себе «La pensée nouvelle»; там между слабенькими вещами есть и весьма хорошие, а, главное, хорошо — это целость, чистота и определенность направления. Стоит $1^1/_2$ фр[анка] три месяца + почтовый расход, т. е. 20 сант[имов], ибо 4 раза в месяц. Мне бы хотелось написать им мою симпатию. Напиши мне — как ты думаешь — хорошо это будет или нет? — И Реклю [5] там участвует, но плохо. — Ты писал Тх[оржевскому], что во всем со мной согласен; жду от тебя письма более определенного. — Черн[ецкий] мне внутренний лист прислал, а 1-го листа только корректуры, а не поправку. Он, кажется, все ждет городового ответа и ради своего объявления — отпечатает «Кол[окол»] позже. А дело застряло, потому что идет выбор нового правительственного члена, и до окончания оного — ничего решить нельзя. — В России, по рассказам и по газетам, самая живая струна судебные учреждения [6]. Мир[овые] суды и высшие суды — полны народа всех сословий — во время присутствий; направле-

ние судов превосходно. Прочти дело генерала Арбузова — в «Голосе»[7] или в другой газете — все равно — оно будет везде. — у Тх[оржевского] тоже понос.

Сегодня мое письмо все вертится на разных известиях. Жду твоих писем. А теперь пойду гулять. Погода двусмысленная и ужасно тяжелая. Я не болен. Глаза поправляются.

Лизу целую в шейку, а Тату в лоб. Нат[али] жму руку.

За сим addio — до завтра. Завтра увижу большого доктора и, вероятно, наконец, Нефтеля.

[1] Датируется по ответному письму Герцена от 8 августа 1867 г. (т. XIX, стр. 426); «Письмо от понедельника пришло».

[2] Речь идет о «деле Чернецкого» с городским управлением Женевы. В заключительной стадии возник вопрос о денежном и политическом поручительстве. В письме к С. Тхоржевскому от 10 августа Герцен сообщал о том, что он подписал поручительство за Чернецкого в 3 000 франков.

[3] Возможно, Ге Николай Николаевич — известный художник, часто встречавшийся с Герценом в 1867 г.

[4] «Швейцария» — женевская газета.

[5] Реклю Элизе (1830—1905) — известный французский географ, анархист. Член I Интернационала, участник Парижской Коммуны.

[6] Так называемая «судебная реформа» началась с указа 20 ноября 1864 г. об обнародовании новых судебных уставов. 17 апреля 1866 г. открылись новые суды в Петербурге, а затем и повсеместно.

[7] В № 210 «Голоса» от 1 августа 1867 г. помещено сообщение о деле «отставного контр-адмирала Арбузова», подавшего жалобу на мирового судью за то, что тот оскорбил его, поставив на одну доску с мещанином.

57

7 августа [1867 г.] Середа[1]

Патеру.

Дело Черн[ецкого] кончилось благополучно, т. е. город разрешил. О деньгах Тх[оржевский] тебе писал вчера, что Черн[ецкому] нужно поручительство в 1000 фр[анков] и тогда 500 уже не нужно; банк согласен на 3 года 3000.

Неф[тель], наконец, приехал; вчера был у него. Мальчик удивительный — 6 лет, больше Лизы, говорит на 4-х языках совершенно. Неф[тель] в Цинцинати разбогател, работая без устали, Сейчас жду его с Тх[оржевским] ко мне. Он непременно хочет видеть Тутса, ибо уверен, что во время оно спас ему жизнь. Княгиня[2] — ничего — так себе. Но жена Л. мне очень нравится, как (вероятно) очень добрая женщина. — Неф[тель] привез из Берлина № новой «Крейццейтунг» с статьей о тебе, которую тебе и посылаю для любопытства, но, право, отвечать не стоит. Плевать на них!

Теперь обращаюсь к более близкому. Читаю и перечитываю твои два последние письма и не вдруг могу сообразить, в чем и как мы расходимся. Ведь и ты говоришь о будущем, и я говорю о Немезиде. Только я немножко сержусь на причину этой Немезиды, которую также полагаю в бесхарактерности. А бесхарактерность я полагаю в неуменьи поставить уравнение между убеждением и жизнью. Это-то уравнение я и называю искренностью. Если хочешь — неуменье поставить это уравнение и есть основание распущенности, бесхарактерности — моей без-юркости, твоей при-юркости. Конечно, если я сержусь, то это не на самую Немезиду, которая просто необходимость последствия, а сержусь на причину и потому отнесся к прошедшему. Поставь вышесказанное уравнение спервоначала — и Нат[али] шла бы с нами, а не по капризу. Но мы все чего-то боялись, так что выучились и ее бояться.

(Тут пришел Неф[тель] и Тх[оржевский] — Неф[тель] очень мил и в восторге от Тутса, который в самом деле, выправляется и очень, т. е. даже чрезвычайно мил. — Неф[тель] меня осматривал и нашел, что мое здоровье весьма вожделенно. Говорит, что, даже несмотря на подкожное кровоизлияние век, вид у меня гораздо здоровее).

Возвращаюсь к теме. Мы умели чистое дело свести на запутанное. Я в моей связи ничего не вижу нечистого. Ты приписываешь это раздражительному фамилизму, а я приписываю тому, что женщина умела стать порядочной женщиной, несмотря на необразование — и участию ребенка в жизни, которое все же возбуждает самые лучшие движения человеческого чувства, и с моей стороны дает отношение человека к юноше, что я ставлю чуть ли не выше чувства pater familias. Бросить — я называю не денежно бросить, а развестись, и мне этого по многим внутренним и внешним причинам не хочется. С М[эри] я, конечно, обо всем этом никогда не говорил и надеюсь, что ты не заподозришь ее влияния. Лавочку заводить трудно; для этого надо капитал и какое-нибудь знание бухгалтерии. Праздности с ее стороны я не нахожу, ибо чистить комнаты, чистить платье, готовить обед и ужин, мыть белье и пр. и пр. — не значит праздность, тут весь день поглощен работой и довольно тяжелой, при весьма трудной болезни. Да еще теперь ходить за маленьким ребенком, мыть его, одевать, забавлять, останавливать и пр. — это работа довольно гуманная и не весьма легкая. А справляется она отлично. Что же еще тебе сказать? Что же мешало бы (положим, через год) жить под одной крышей — если все могли бы соединиться — хотя бы в разных этажах? — Я не понимаю. Для этого нужно только, чтоб Нат[али] сменила гнев на милость. Если это возможно — то все возможно. В Немезиде меня бесит моя бесхарактерность и твой призрачный характер. Испытать внешние преследования я всегда готов, но последствия каких-то колебаний — меня бесят [3]. О Генри и его школе— в другой раз.

Завтра иду с Неф[телем] снимать свою фотографию.

Очень мудрено рефондировать брошюру [4], ибо она имеет историческое содержание, а прибавление можно сделать (может, не меньше самой брошюры) весьма легко. Подумай еще раз об этом. — У Черн[ецкого] было напечатано «Almanach en russe». Я en russe вычеркнул, ибо не уверен, на каком языке, и вычеркнувши становится равнодушно. Я скорее же статью пошлю в «Pensée nouvelle» чем [неразобр.].

Тх[оржевский] тебе писал о деньгах Черн[ецкого], ergo, довольно. — Обнимаю вас всех. Addio.

Пишу на лавочке, очень неловко.

Неф[тель] обедает сегодня у Долг[орукова]. — Пакет взял у знакомых, ergo, и печать.

[1] Ответ на письмо Герцена от 4 августа 1867 г. (т. XIX, стр. 423).

[2] Княгиня — возможно А. П. Мещерская.

[3] В письме от 10 августа Герцен возражал на ряд положений, выдвинутых Н. П. Огаревым. «...Что касается твоих планов, caro mio, думаю, что все это — мечты. Подумай сам о всех столкновениях даже в двух этажах, и о характерах, и о всем остальном. В двух домах в одном городе — и довольно близко — это всего возможнее. Можно ли делать семью из таких гетерогенных экземпляров? Я написал N[atalie], но что-то толку не добился; ни отпора, ни симпатии к твоему плану. Теперь скажи мне, когда же мы с тобой договоримся до ясности во взгляде на жизнь и дойдем до общего одного убеждения? Я настоящее зло вижу в несчастном характере N[atalie] и его-то, а вовсе не фальшивое положение, и принимаю за последствия опрометчивого поступка... Я опять скажу, что как только речь доходит до твоих семейных отношений, ты теряешь понимание. Неужели это не печальный фамилизм? Послушай, я говорю: жить надобно тебе с нами (буде было бы воз-

можно), а для М[эри] нанять квартиру. Ты отвечаешь: «бросить их я считаю подлостью». Безумие — я тебе объясняю. Ты поясняешь мне, что «бросить» по-твоему, значит удалиться в другой дом. Второе, далее: тебя опыт мало учит и ты имел пример, что воспитывать юношей ты не можешь. В чем истина твоего отношения к молод[ому] человеку? Ты его портил и, может, не только распущенностью, но и примером (о чем не раз говорил М[эри]) нетрезвого поведения. Итак, говори просто, ты не можешь и не хочешь жить врозь. Это будет ясно» (т. XIX, стр. 429).

[4] В 1867 г, по инициативе Герцена, возник проект переработать и переиздать уже упоминавшуюся французскую брошюру Н. П. Огарева 1862 г. «Книжку твою «Situation» надобно очень и очень переделать, — писал Герцен 4 августа, — refondre et renouveller, rafraichir et colorier...» 6 августа: «Мысль моя та: издать франц[узскую] брошюру, не замыкая её, а оставляя себе право издать 2, 3 и т. д.» (т. XIX, стр. 425).

58

9 августа [1867 г.][1]

Писем от тебя нет. Сердишься ты что ли за какие-нибудь резкие слова — нет — этому не верю, думаю, что между нами подобные гневы невозможны. А жду от тебя письма с нетерпением, с тем чувством — как будто бы ты на время без вести пропал (хотя и без Скарятинской).

Сегодня пишу только разные известия — или глупости.

Эти дни я провел в какой-то суете, хотя очень дружеской, но я не мог бы жить эдак долго. Вчера день провел наполовину с Неф[телем], наполовину у М[эри] с большим доктором, который славный человек. Известий из дома хороших нет. Все ретроградно. Даже Мелюк[2] поступил в совершенные ретрограды. Есть вещи, которые я запишу для памяти и покажу тебе, когда ты приедешь. Утешительно только научное работание молодого поколения, т. е. чисто научное и прилежное. А, между тем, кухарка говорит про Кар[акозова][3] — «ведь это из ученых стрелял, а не наш брат».

У Неф[теля] вчера встретился с Долг[оруковым] — Ничего. — «От чего это, — говорит M-me Неф[тель], — он был очень любезен, а ужасно утомительно?» И прибавляет: «Я его боюсь».

Маленький принц[4] едет поступить в Медицин[скую] академию. — (Я только одним и потешил старого принца, что сказал, что Тх[оржевский] получил Станислава при рожденьи).

Неф[тель] был сегодня у меня около 12 час[ов] — это мне уже совсем расстроило работу, — но он сегодня же уезжает в Париж. Ergo, мы простились. Но он нам искренно предан; это одна из тех дружб, на которую я всегда готов положиться. К тебе он будет писать из Парижа, но все же просил написать тебе, что Северо-американ[ский] заем в 5/20, (5/20 bond), за который платится 6% золотом (во всякое время) так хорошо идет, что если-б у него был миллион, он весь бы на него употребил — и добавляет, что Европа может разориться, а Сев[ерные] Шт[аты] никогда. Ergo, если-б ты променял остальные америк[анские] бумаги на этот bond, или купил его променом европейских бумаг, то остался бы в чистом барыше[5]. — Для моих ног, на которых он нашел psoriasis (lepra vulgaris) прописал huile de Cade, нечто, имеющее вид и запах дегтя. Отлично! Так вот родной телегой и отзывается. — Неф[тель] мне советует остаться в Petit Lancy для здоровья, находя, что все условия климата и похода в Женеву для меня полезны.

«Кол[окол»] вышел вчера. Мне кажется, он очень недурен.

За сим прощай. Обнимаю тебя.

Жму руку Нат[али].

Тутс, как натуралист, рассматривая мертвую мышь под хвостом, говорит М[эри]: Mrss! Why has she this [неразоб.] for?

В «Jour[nal] de Genève» отрывок из статьи Шульца-Делича[6] против peace society — страшно и оскорбительно в немецко-прусском направлении.

[1] Датируется по связи с предыдущими письмами.

[2] Мелюк — может быть Милюков Александр Петрович (1817—1897) — критик и публицист, близкий к кружку петрашевцев.

[3] Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866) — студент Московского университета, неудачно покушавшийся на убийство Александра II 4 апреля 1866 г. и казненный 3 сентября 1866 г.

[4] Сын кн. П. В. Долгорукова — В. П. Долгоруков, приехавший в августе 1867 г. в Женеву.

[5] Герцен в это время усиленно интересовался помещением своих денежных средств в надежном месте.

[6] Шульц[е]-Делич Франц (1808—1883) — немецкий буржуазный экономист, пропагандист производственно-ремесленной кооперации.

59

11 августа [1867 г.][1]

Письмецо самое коротенькое. Второй день невралгия надглазного нерва, так что тяжело что-нибудь делать, смотреть тяжело. С утра обрабатывает часов до 6 вечера. Даже 15 гран хинины еще не оказали помощи. Но все же пишу, несмотря на боль, стало, это еще ничего.

Твое письмо от 8 получил вчера вечером. Жду Тх[оржевского]. — Покамест записываю, что в голову придет.

Долг[оруков] уехал провожать сына.

Адрес «La pensée nouvelle» (если я еще его не послал тебе): à Paris, rue des Noyers, 31 (boulevard S-t Germain) или bureau central de vente, Madre, 10, rue du Croissant. — Un an — 6 francs; 6 mois — 3 fr; 3 mois — 1,50 fr., l'étranger le port en sus. Adresser toutes les communications et correspondances à Mr Mulheim, administrateur.

Нет! Никакой возможности нет. Ужо припишу. Теперь больно.

Вечером, дорогой. Наконец, после обеда отлегло и к 5 час[ам] успокоилось. Продолжаю.

Барни «Новую мысль» присылают издатели — право, не знаю почему; он их не знает и совсем с ними не согласен. Он говорит, что он кантист. Что он под этим разумеет — это уже его дело. «Новая мысль» — наследница «Свободной мысли», которая была прекращена. — К Петру Рыжему[2] ужасно не хотелось бы идти. Он сумасшедший, и у нас ничего нет общего.

Тх[оржевскому] твои комиссии передал. Но с одной он так не согласен, что спорит. А, может, он и прав. Ergo, пишу к тебе. Он говорит, что уж если рассылать книгопродавцам annonce, то надо включить объявления и об альманахе, и о выходе «Колокола» на франц[узском] языке[3], и о книгах. Тогда это составит четвертушку и можно ее разослать sous band — экземпляров сто и повторять ежемесячно. А теперь надо напеча[та]ть annonca в «Jour[nal] de Genève» и в радикальной «Швейцарии»[4]. Это мы сделаем завтра, а на остальное жду еще раз твоего решения.

Брошюру мою Тх[оржевский] вышлет тебе завтра. Мне бы хотелось сделать два отдела: avant les rèformes и après les rèformes. Если ты согласен, тотчас же начну переписывать старую и писать новую. Но не лучше ли ее просто поместить в Альманахе[5], если он на франц[узском] языке? Почему моя сцентифич[еская] брошюра[6] не может войти в Альманах — не понимаю. Она порядочный Grund для борьбы?

Серьезного ничего писать не в силах. Поэтому прощай — и пойду на маленькую почту.

Спасибо Лизе за письмо. Напишу ей завтра.

Да!.. получил на твое имя стихи хорошего направления, но плоховатые. И где же их теперь печатать?

А в Альманах почему же стихи не войдут?

Ну! Addio. Всех вас обнимаю.

На л. 2 об.:

Патеру.

[1] Датируется по письмам Герцена от 8 и 14 августа 1867 г. (т. XIX, стр. 426, 433).

[2] Петр Рыжий — Пьер Леру, см. прим. к письму 48.

[3] Последний номер «Колокола» датирован 1 июля 1867 г. — С начала 1868 г. — предполагалось и было выпущено несколько номеров «Колокола» на французском языке и с русскими приложениями.

[4] В письме от 14 августа Герцен признает, что «Тхоржевский прав насчет объявления о типографии».

[5] «Полярной Звезде».

[6] Повидимому, речь идет о той же французской брошюре Н. Огарева, 1862 г.

60

15 августа [1867 г.][1]

И то дорогой, дома был не в силах писать. Погода все время чудесная, а мне тоска смертная, потому что исключительно занят невралгией. Сегодня 8-й день, с утра и часов до 4 или до 5 боль такая, что — бабочка летает — и это производит на глаз такое впечатление, что все идет ходнем в голове. Ни читать, ни писать, ни думать — невозможно. Но отчет о боли и леченьи — после. Теперь только вещи нужные.

Посылаю тебе первые два № «Русского»[2], присланные на твое имя Георгу[3]. Я их прочел вскользь — потому что не мог читать (теперь четвертый час и мне получше, поэтому я и пишу). Но все же мне кажется, в этих 2-х № толку мало.

После твоего письма от 10-го, которое пришло 12 вечером, я на другой день решил, что все равно страдать, дома или на улице — и пошел к Чернец[кому]. — Там узнал, что ты напрасно беспокоился, что банк не воображал такой штуки и что прежнее ручательство было уничтожено; а Тх[оржевский] вчера мне говорил, что не только возвращено и уничтожено, но что даже в новом ручательстве помянуто, что 2 + 1 = 3 всего-на-все. Пришедши вчера домой, нашел твое письмо от 12-го.

Я твои статьи в «Figar[o]» и «Temps» не застал в Женеве[4]. Дюшозаль говорил мне, что видел в «Figaro». А я не видал. Пришли хотя черновую.

На почте «Колок[ол»] в Россию не принимают, ибо русский почтамт прислал сведения, что он женевских газет под бандой принимать не станет. (Сведения Тх[оржевского]).

Об остальном в другой раз. Доля боли и усталь от нее кладут в лоск. Не могу писать.

Обнимаю всех.

Addio!

Сегодня письмо от Саши[5].

[1] Датируется по августовским письмам Герцена.

[2] В 1867 г. М. П. Погодин начал издавать свой новый журнал «Русский», который издавался им около двух лет (1867—1868).

[3] Георг — женевский книгопродавец.

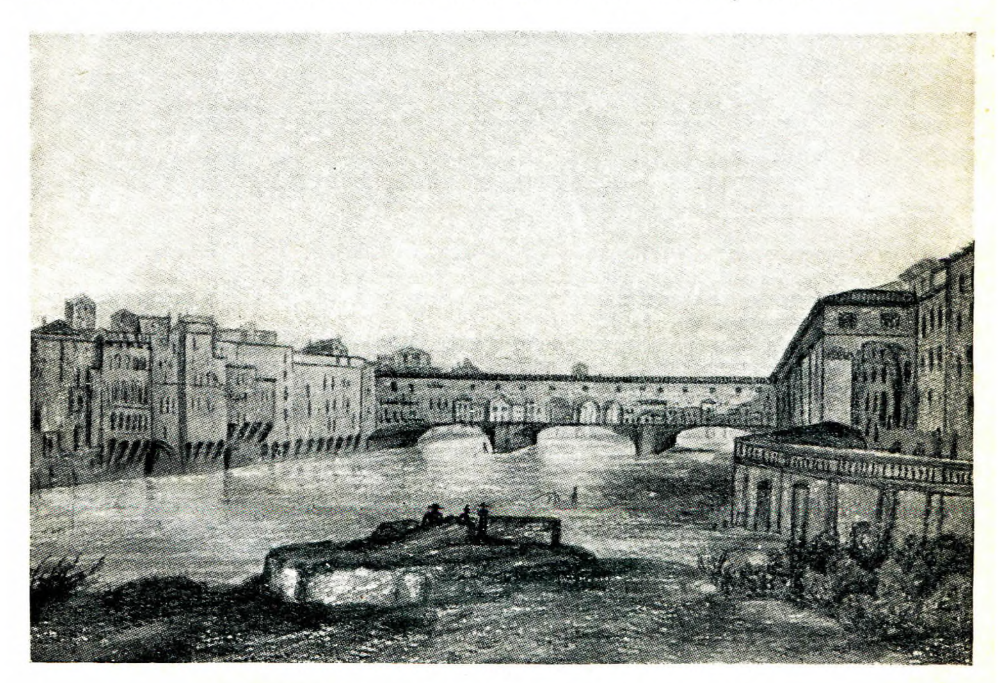
[4] В письме Герцена от 18 августа 1867 г. читаем: «Мое письмо в «Фигаро» и в «Zukunft» ничтожно, а также и стрски в «Temps». О каких письмах Герцена идет речь, до сих пор не выяснено. Кто такой Дюшозаль — установить не удалось.

[5] Саша — А. А. Герцен.

61

21 августа [1867 г.]. Дорóгой [1]

Сегодня пароксизм пришел слишком часом позже, т. е. в одиннадцать часов и ослабел в 2 часа вместо 5-ти. Стало, поправляется. Я окачиваюсь холодной водою. До 11-ти час[ов] я мог читать, но в 2 часа уже так устал, что оделся и ушел ходить — не в Женеву. Погода все чудесная. Жарко — но это мне не мешает. Только сегодня пасмурно при жаре — это немножко тяжеловесно, но и то нипочем. Если кто умеет выносить невралгию — для того все остальное нипочем. Вообрази себе свою головную боль, продолжающуюся по 7 часов в день, каждый день, 15 дней сряду. Не только о работе нечего было думать, но письма к тебе не мог написать. А сегодня читал и пишу письмо.



ФЛОРЕНЦИЯ, «СТАРЫЙ МОСТ» ЧЕРЕЗ РЕКУ АРНО

Акварель из альбома Бутурлиных

Литературный музей, Москва

Что же я читал? А читал книгу, присланную на твое имя не знаю кем: «Мнение Московского купеческого съезда о предложении Немецкого купеческого съезда об уничтожении тарифа между Россией и Немецким таможенным союзом». Книга эта для меня страшно интересна, но для того, чтоб дать тебе отчет об ней — надо дочесть и очень добросовестно продумать. Ergo, это до другого раза.

Два письма от тебя имею.

Первое, что скажу, да уезжай же с ними из Ниццы! [2] И всего бы лучше приехать на холерное время в Женеву, потому что холера постоянно минует Женеву. Причина, как водится, не известна — но о факте все в Женеве говорят. А таким образом, мы бы все встретились. Если-б можно было и Ольгу и Сашу выписать — вот моя утопия-то!

А я все же Нат[али] прошу написать еще и поскорее о высылке денег (minimum 1 500 фр[анков]). Чем же я виноват в этом случае.

И Вешн[яков] [3], по моему мнению, не виноват, он сделал все, что мог. Он весьма небогатый человек, да к тому же честный, следст[венно], не грабит, а пробивается кое-как. Если я в нем что уважаю — это огромное развитие мозга, — может, и не производительное; но тут вина и среды и обстоятельств. Во всяком случае, я не хочу на него нападать. Если он с тех пор испакостился — я этого еще не знаю, а верить этому не могу.

Объявление в «Temps» — плоходыровато. Может, Хоецкий [4] прав, и я становлюсь врагом Польши. Да как же быть иначе, когда все мозги съёжены — не то что на национальный — а просто на шляхетский принцип. Кроме ненависти, это во мне ничего не возбуждает.

Но тут я прекращаю письмо или записку, боюсь раздразнить глаз и прострадать еще часов несколько, а может быть и больше.

Поздравляю тебя и Лизу с бросаньем в воду и целую ее в шейку, а Тату в лоб.

Жму руку Нат[али] и обнимаю тебя. Addio!

У Черн[ецкого] все еще что-то не ладно. Пусть уже Тх[оржевский] тебе напишет.

Тутс действительно чрезвычайно мил. Тх[оржевский] его балует донельзя, находя в нем свой парадиз.

[1] Датируется по письму Герцена от 18 августа 1867 г. (т. XIX, стр. 438).

[2] В августе 1867 г. эпидемия холеры быстро распространилась по всей Италии и угрожала Ницце, о чем сообщал Герцен в своем письме, высказывая предположение, что придется уехать из Ниццы.

[3] Вешняков Федор Владимирович (род. 1828) — друг семьи Тучковых. Был связан с Сатиными; одно время был чем-то вроде управляющего их имениями.

[4] В своем письме от 18 августа 1867 г. Герцен пишет: «...Хоецкий пишет ко мне (теперь-то!) о твоей статье (об отдаче земель в Западном крае крестьянам) и считает тебя заклятым врагом Польши...». Хоецкий Карл-Эдмунд (1822—1899) — польский эмигрант (с 1844 г.). В 1851 г. жил в Ницце, одновременно с Герценом, В 1861 г. и в 1864 г. встречался с Герценом в Лондоне и Париже. В 60-х годах окончательно натурализировался во Франции, где в 1861 г. явился одним из основателей газеты «Temps». Впоследствии — директор библиотеки французского сената. 11 писем Герцена к Хоецкому опубликованы в сб. «Звенья», вып. 2, М.—Л., 1943 г., стр. 369—382.

62

24 августа [1867 г.] [1]

Еще раз коротенькая записочка. Трудно проходит моя невралгия. Хинина оказалась недействительной (а по мнению Serge Botkin [2], лекарства следует менять, ибо они перестают действовать, даже такое сильное средство, как arg[entum] nitr[icum] внутрь). Холодная вода, т. е. обливанья, будто бы помогают, т. е. пароксизм начинается часом позже ежедневно и уменьшается в продолжительности часом и даже больше. К сожалению, я не приписываю этого влияния холодной воде; а просто: около месяца тому назад был припадок, при чем я может ушибся, а может без всякого ушиба (мнение Нефтеля) произошло подкожное кровоизлияние век. 8 дней (около) началась невралгия nervi supra orbi talia с интермитентным характером — и проходит по мере того, как проходит (всасывается) подкожное кровоизлияние век. Пройдет одно — пройдет и другое. Лекарство — время. А болезнь, бывши привычною, является от разных причин — равно, от простуды, от ушиба, от кровоизлияния и пр. — и приходит с своею новою причиною. Извини за диссертацию — не могу воздержаться.

Но о наших вопросах еще не стану писать. Одно только спрошу — почему ты думаешь, что в Путнее дела хорошо шли? [3] Я этого не думаю.

Барни посылает тебе глупость, которая в этом пакете.

На «Моск[овские] Вед[омости]» с Café de la Couronne подписались с 1-го августа. Но два первые № кто-то украл. Ergo, посылаю тебе 1-й, который в моей власти.

Кто прислал «Русского»[4], я не знаю — и как же быть, если дальнейших № не присылают? Подписаться что ли? По одному выписывать нельзя.

Земским учреждениям дозволено печатать отчеты только с разрешения губернаторов.

Но вот тебе NB: Носятся слухи, что, вследствие наветов Кель[сиева], производятся в России многочисленные аресты[5].

За сим обнимаю вас всех и кончаю, ибо все-таки еще трудно, хотя вот три дня читаю.

Addio!

Мер[чинский] пишет превосходную арифметику, которую я переведу на француз[ский] язык.

Дело Черн[ецкого] все не ладится. Разин наврал.

Женева. Бак[унин] едет в Женеву[6].

«Москов[ские] Вед[омости»] в Café de la Couronne кто-то постоянно крадет. Дело Черн[ецкого] еще не кончено.

[1] Датируется по письмам Герцена к Н. П. Огареву от 10, 14, 18, 23, 24, 27 августа 1867 г.

[2] Serge Botkin — Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — выдающийся клиницист по внутренним болезням. С 1862 г. профессор Медико-хирургической академии.

[3] Путней — город в Англии, где жил Герцен в начале 60-х гг.

[4] В письме Герцена от 27 августа 1867 г. (т. XIX, стр. 445) находим ответ: «Русский» прислал Погодин, об этом я раза два писал...». В августе 1867 г. М. П. Погодин был за границей и обменялся с Герценом письмами.

[5] В. И. Кельсиев, добровольно отдавшийся в руки царских властей в 1867 г., написал свою известную «Исповедь», что дало повод обвинять его в даче «откровенных показаний».

[6] М. А. Бакунин выехал в Женеву в августе 1867 г. для того, чтобы выступить на первом конгрессе «Лиги мира и свободы», который должен был открыться в начале сентября 1867 г.

63

28 августа [1867 г.][1]

Твое вчера полученное письмо глубоко оцарапало меня. Что же это такая за злая белиберда?[2] Что за отношение ко мне и к детям, которое никто не заслужил? Что за жалкое отношение к Тате? Что за жалкий взгляд на Лизу? С нетерпением жду вести о последствиях твоего письма. Но мне кажется, что мы всё воду толчем. — Нашествие на Дрезден[3], даже с Десп[отом]-Зен[овичем][4], который давно свой бедный мозг поворотил на службу — вызвано оно что ли, или совершается не нарочно? That is the question. Я хочу это знать. — В Москве, вероятно, Ел[ена][5] с детьми, а С[атин] должен быть на торговле. Но его молчание и его оставление меня, без всякой нужды, на твои средства — меня сильно коробят. Мне только все еще не хочется говорить, все кажется не сегодня-завтра придет известие. — Одно мне по сердцу, что ты с Татой сюда приедешь.

Ну, а в здешнем мире тоже не лучше. Я уже писал тебе, что Б[акунин] будет здесь в начале сент[ября], с женою, хотел даже остановиться у тебя на квартире, но, стало, нельзя — если ты с Татой приедешь. — Долг[оруков], узнав, что Б[акунин] едет на писсовую конгрессовку, вскочил со стула и начал бегать по комнате в припадке бешенства и решил, что он сам уедет из Женевы до сентября (рассказ Тх[оржевского]). —

Я очень рад, что фюрст[6], наконец, убирается; но от приезда Б[а-

кунина] не жду ничего хорошего. Тем более не жду, что из писем Ст.[7] к фюрсту видно желание поднять меч, да еще чуть ли не под знаменем Австр[ии] и Турц[ии]. — Если и Б[акунин] туда же потянет, несмотря на писсовую конгрессовку, то я стану спорить — до разрыва. Не могу иначе; мне противоположное мнение дорого — и дорого досталось, потому что пришло через ряд ошибок и фразистых увлечений до простоты и ясности взгляда. Даже с Тх[оржевским] приходится немножко спорить, но у него взамен понимания есть чистота любви к народу — и это помогает. А вообще, я предчувствую тяжелое время трудной и прискорбной полемики. Но ничего — приступаю к ней может прямее и чище чем когда-нибудь.

Дело Черн[ецкого] все еще не пришло к концу. Да и он хорош! говорит не только мне, но даже им — приду тогда-то и не приходит.

О своем приезде напиши Тх[оржевскому] гораздо заранее, ибо надо, чтоб была кухарка и etc.

Вот как: скоро час, погода грозная и тяжелая, а у меня невралгия едва начинается. Проходит медленно и небывалой манерою, т. е. все отодвигается часом и продолжается все менее сильно и более короткое время. Вчера я уже мог почти до часу работать, idem, сегодня, вероятно, поработаю дольше. Один вопрос из русской жизни и идущий к продолжению книги, меня очень занял и своротил на алгебру, где я вчера проштудировал зады, да еще и сегодня придется. Но прежде пойду поесть, что обычно на коротенькое время, но все отводит невралгию.

Вчера посланы тебе 2 № «Моск[овских] Вед[омостей»]. Сегодня пошлю тебе «Совр[еменную] Лет[опись]».

— Поел. Теперь скоро два часа. Невралгии нет.

Addio, обнимаю всех и перехожу к работе.

P. S. Боль, вместо часу, началась в половине третьего. Пойду ходить — все же легче.

Еще P. S., 6 час[ов]. Женева. Боль прошла. О деле Черн[ецкого] ничего еще не знаю. Тх[оржевский] твое письмо получил и сегодня посылает тебе с «Совр[еменной] Лет[описью]» — «Весть», которую для тебя дал Долг[оруков]. — А вот еще aviso: лучше все американ[ские] дела вести через Ротшильда и по его совету. — Холеры ни в Женеве ни в окрестностях нет.

[1] Датируется по письму Герцена от 23 августа 1867 г. (т. XIX, стр. 441).

[2] В своем письме Герцен писал: «У нас тоже своя невралгия. Недели три тихой жизни надоели... Что это за нелепейшее существо, забивающее себе иголки под ногти, чтоб обвинять других в боли! Вчера говорил с Татой — вижу, что ей уже не очень втерпеж, она сильно обижена беспрерывными намеками, что «она чужая мне», что «у Лизы семья Сатины и больше ничего» — и я исключен... И все это чорт знает зачем... N[atalie] объявила мне, что везет Лизу в Кольмар — и это в половине сентября; хочет Лизу в пансион... я предложил ехать Женевой; ни под каким видом. Я заметил, что это озлобление против тебя и детей страшно безнравственно. Но это — предложение разрываю на том основании, что она, 1-е — не может примириться с тобой, 2, — полюбить детей, 3, — потому, что не может принципиально признать нашу жизнь и сказать Лизе, что она — дочь. Я считаю, что это душевредительство ребенка... Я написал письмо, строго и серьезно хочу попробовать coup d'état. Не знаю что будет» (т. XIX, стр. 441).

[3] Предполагаемый приезд в Германию Сатиных.

[4] Деспот-Зенович — Александр Иванович, троюродный брат Н. А. Тучковой-Огаревой. В 1867—1868 гг. ездил за границу в Дрезден с семьей и А. А. Тучковым.

[5] Елена — Е. А. Сатина, сестра Н. А. Тучковой-Огаревой.

[6] Фюрст — П. В. Долгоруков.

[7] Ст. — может быть Стелла (Иван Михайлович Савицкий) — см. комментарий к письму 45.

64

30 августа [1867 г.]. Дорогой [1]

Благодарю тебя за твое письмо и крепко цалую Тату за ее письмо с картинкой. Но писать ей и Лизе стану в воскресенье, ибо сегодня и завтра едва ли успею. Примо: сегодня утром был у меня Левье [2]-сын с Тх[оржевским] — Признаюсь, что я им остался очень доволен; у него мозг светлый. А он остался очень доволен Тутсом, даже нашел в нем сходство с Ольгой. Но Тутс все-таки похварывает — катар,



ДОЧЬ ГЕРЦЕНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Фотография, 1872 г.
Собрание С. Бернацкой, Москва

ушной нарыв. За сим и Мэри немножко похварывает, вероятно, оттого, что не спит с ним ночей: он все ночью кашляет. Тх[оржевский] страдает зубами. Моя невралгия проходит так, что остается только Nachweh; но есть маленькое чувство общей простуды (malaise). Это ничего. Мне кажется, в Женеве все простужены от перемен температуры. Зато сегодня день совершенно изящный.—Secondo: завтра иду рано обедать к старому знакомому в Паки, у которого мы обедали с Фогтом [3]. Расходиться мне с ним не хочется, а и сходиться близко не стану.

Далее—благодарю тебя за предложение 500 р[ублей]. Если можно,

пришли. Мне в сентябре надо заплатить за квартиру 250 фр[анков] и может быть перееду. Да хотелось бы очень рассчесться с Сорде[4] и переместить Генри. Нет — это рекомендация Патека[5] из своих расчетов.

Дело Черн[ецкого] не кончено; они, очевидно, хотят надуть, а он упирается — и прав.

Третьего дня встретил Барни, который непременно требует, чтоб ты приезжал на писсовую конгрессовку (она имеет быть 9 сентября) — говорит, что все твои друзья будут, даже Гарибальди[6].

Петр Вл[адимирович] прислал тебе вырезку из «Вести», которую прилагаю. Но он едва ли останется на конгрессовку и уезжает от Бак[унина].

История Лизы меня тронула до глубины сердца[7].

За сим перестаю писать. Хочется походить. Компанья сегодня блистательна.

«Моск[овские] Вед[омости»] посылаю сегодня же под бандой. Что за дураки, с одной стороны, и что за подлецы, с другой — это чорт знает что такое.

Роман Черн[ышевского] прочту, но не теперь, теперь занят другим[8].

Addio, друг мой. Когда же ты в Женеву заедешь?

А как Бак[унину] предложить квартиру? Ведь он приезжает с женой. Надо прислугу, надо корм. Всякий пансион лучше.

Всех вас обнимаю.

[1] Датируется по письмам Герцена от 27 августа 1867 г. (т. XIX, стр. 443) и от 3 сентября 1867 г. (т. XX, стр. 1).

[2] Левье — врач, лечивший Тутса в Женеве.

[3] Фогт — см. комментарий к письму 22.

[4] Сорде — вернее Сордей — содержатель пансиона-школы в Женеве.

[5] Патек — не выяснено.

[6] Открытие I конгресса «Лиги мира и свободы» состоялось 9 сентября 1867 г., в присутствии Гарибальди. С самого начала отношение Герцена к «Лиге» было очень настороженным. Он уклонился от участия в ней, и то же советовал сделать и Огареву. Так, в письме от 3 сентября Герцен писал: «Твое положение в «писсовке» не из приятнейших. Если Бакун[ин] с тобой согласен — ничего, если же вы будете не одного мнения, что ты сделаешь публично? Если Долг[оруков] будет от имени русских говорить вздор? ...Не занемочь ли тебе? Молчать нельзя, а публично собачиться ты не привык...» (т. XX, стр. 2).

[7] Повидимому, это ответ на сообщение Герцена о том, что Лиза, очень несдержанная последнее время с Татой, вдруг сделалась с ней «большим другом», что «она ведет себя очень мило» и т. п.

[8] В ряде своих писем Герцен настоятельно советует Огареву прочесть «Что делать?» Чернышевского. «Чернышевского роман читай — много хорошего. Он похож на Бакста: урод и мил...» (т. XIX, стр. 425). «Когда ты начнешь роман Чернышевского? Это очень замечательная вещь. В нем бездна отгадок и хорошей и дурной стороны ультра-нигилистов...» (т. XIX, стр. 427). «В нем много хорошего. Это — удивительный комментарий ко всему, что было в 66—67, и зачатки зла также тут. Прочти же его» (т. XIX, стр. 445) и т. д.

65

[2 сентября 1867 г.][1]

Герцену.

Статейка в будущий суплемент

Современная заметка

Если ты эпиграф не позволишь, то поправь глупое.

Б. вертит зад[ом] и пер[едом],
А дело идет своим чередом.

Русская печать полна обрусения Западного края, обрусением Западного края дышит правительство; а история, т. е. направление общественного движения из сложившихся обстоятельств, — тянет в дру-

гую сторону, она тянет к обездворянению Западного края. Действительно, польских панов удаляют, а русское «товарищество приобретения имений в Западном крае» закрыли, передав дело и даже миллионы непроцветающему «Обществу взаимного поземельного кредита».

Да не подумает юный читатель, чтобы нам тут было чего-нибудь жаль. Мы только одно думаем, что, начавшись с Западного края — обездворянение должно перейти в восточную Россию и дать земству бессословную постановку. Мы никак не можем понять — почему люди смотрят свысока на шляхту и с уважением на дворянство? Где же тут такое огромное различие? Мы не знаем. А в чью пользу различие — это еще вопрос.

Шляхта служит — и дворянство служит (да еще в лице представителей древнейших родов — служит по третьему отделению). Шляхта теснит крестьян — и дворянство теснит их, конечно, не меньше тяжеловесно. Шляхта верит в католичество — дворянство верит в православие; тут больше разницы обрядностей, чем различия понимания. Шляхта имеет идеал: национальность, и иногда умеет действовать в смысле своих совокупных побуждений и выгод; дворянство — самый идеал национальности свело на службу и никогда не умело действовать в смысле своих совокупных побуждений и выгод (в доказательство чего мы приведем, хотя бы, хромающий взаимный поземельный кредит и даже то, что дворянство не выступало вперед на защиту земских учреждений от цензурных притязаний правительства Александра II-го, руководимого Валуевым).

Но не в этом безразличии шляхты и дворянства — дело. Положим, что «Московские Ведомости» свое уважение к дворянству вывели из изучения латинского языка; положим, что «Весть» вывела его из мира феодального, — всё же едва ли можно найти сходство между нашим дворянством и римской или прирейнской аристократиями. Зато мы еще даже в «Голосе» найдем, как русский дворянин вешает мужика за палец до содрания мяса. Но все не в этом дело. Дело в том, что польское панство в Западном крае пропадает; товарищество русского панства для приобретения там имений — не состоялось. А теперь — всего возможнее то, что общество взаимного поземельного кредита — лопнет. Тогда что? Тогда великорусское дворянство само собой лопнуло и ему придется искать других средств, новых условий для труда и жизни.

Только это и доказать надлежало. По нашему убеждению, достаточно, чтобы оно лопнуло — для того, чтобы создалась новая жизнь в русском общественном мире.

СТИХИ (ЗАГЛАВИЯ НЕ ПРИДУМАЛ)

Возвышенный дом на верху крутизны,
В раскрытые окны все залы видны,
Из окон огонь многосвечный блестит,
И музыка дружно и громко звучит.
И в залах танцует народ молодой
И старый любуется резвой толпой.
И там, между юношей, виден один —
Красивый и ловкий, лихой господин.
Без устали в пляске до бела утра,
Он знает, что юности мчится пора,
И так ему нужно веселым пробыть —
Как будто б искал он о чём то забыть.
Внизу под горою — шумна и бойка,

Волна за волною катится река,
И звезд отдаленных средь темной ночи
По волнам скользят золотые лучи.
Волнами уносится труп молодой,
В одежде убогой, с размытой косой.
Погибла ты, женщина, в юности дней —
Под гнётом его мимоходных любвей.
Плыви, бездыханная, быстрым путем
С зародышем мертвым, во чреве твоем —
Пока не разбилась о груды камней,
Пока не исчезла в пучине морей.
Обоим на все будет тот же ответ:
Забвенье людское, исчезнувший след.

Нет, Герцен, письмо оставляю до завтра. Решительно наскоро не могу писать. Посылаем тебе 3 № «Моск[овских] Вед[омостей]» и 2 «Русского». Что за религиозный бред! — О Бакун[ине] ничего не знаем; он, вероятно, остановится у Клапареда [2]. — Скарят[ин] [3] приехал. До завтра.

[1] Датируется по ответному письму Герцена от 5 сентября 1867 г. (т. XX, стр. 2), где читаем отзыв о «Современной заметке» и стихах: «Эпиграф этот был употреблен нами несколько раз. Пожалуй, второй стих и можно... Тема твоей баллады больно допотопна. От «Бедной Лизы» Карамз[ина] до Ниобы и Шарлотты она была высказана во всех формах. Но это не резон, и все вместе недурно».

[2] Клапаред Эдуард (1832—1871) — известный швейцарский ученый, зоолог, с 1862 г. профессор Женевского университета, хороший знакомый М. А. Бакунина.

[3] Скарятин — редактор газеты «Весть».

66

3 сентября [1867 г.] [1]. Вторник. Дома

Прежде чем стану что́ говорить о твоих письмах, мой Герцен, скажу тебе, что как проснулся и до обеда все читал «Русского» [2]. Не мог остановиться. Но посылать ли его тебе, или оставить до приезда? Связка порядочная. Пошлю № два. Что это за дребедень! Мих[аил] Петр[ович] или дурак или подлец, или оба вместе. Направление бедного Мартьянова [3] в глупом виде, в каком-то юродивом виде. Мне кажется, он просто дурак, потому что много честных вещей, так что он вреден только бессознательно. И если его слушают и читают, то он страшно вреден — и тебе следует его отхлестать хоть в новом прибавлении. Кроме того, что он в этих 2-х № нас мимоходом задел, но различие, проведенное им между собой и Аксаков[ым] — гениально до безумия.

О твоих письмах большею частью не пишется, caro mio, потому что ужасно трудно что-нибудь сказать, так оно пришло к какой-то безвыходности [4]. Хорошо, если согласится на Кольмар, но я в этом сомневаюсь. Что же я могу предложить? Ничего. Тяжелым камнем это ложится на сердце, думаешь, думаешь, даже во сне думаешь, а выходит не только zero, но minus. От этого мне и пришло в голову: ну! если им написано — приезжайте, возьмите меня и Лизу в Россию? Что ж тут невозможного, и почему это комплот? Я нахожу, что это было бы скверно, а невозможности — не вижу. Если ошибаюсь — виноват! И тем лучше.

Сегодня пойду к Пьянжани [5].

Что меня чрезвычайно занимает — это спор москов[ского] купечества с новым тарифом. Меня занимает тут самый коренной экономический вопрос, и я ставлю только вопросительный знак — и не могу

решить его. Даже, переводя его на методу переложений и сочетаний, которая всего ближе подходит — мудрено решить в либеральном смысле, судя по общему положению вещей. Но это заставило меня протверживать алгебру. Не скажу, чтоб это не приносило мне удовольствия, но всё же придаточная работа, и всё же я не пришел еще к ясному результату, Но надеюсь, что приду, и это пригодится для продолжения моей русской ситуации.

Трюбнер [6] — скот. Георгу на комиссию изданий не присылает, а здесь постоянно спрашивают, и их нет, а в Лондоне никто не спрашивает, и они валяются в подвалах. Разве мыши требуют.

Заметь в «Русском» статью С. Колошиной о Маццини. Что за чепуха со всех сторон? Грустно! Неужели это Софья Кол[ошина], жена слепого декабриста? [7] Меня так и подернуло каким-то воздухом из давнопрошедшего.

А я во сне видел вчера, что на станции железной дороги ко мне подходит русский купец и говорит, что я потерял вещи и что он отдаст мне их, если я заплачу! Я ему говорю — откуда же он их достал? и повел его к тебе. А он говорит — ну! смотрите, там 1800 листов вашей рукописи. А ты говоришь: «1800 листов! И человек удивляется, что у него бывает 48 обмор[о]ков!» На этом я проснулся и вещей не достал.

Затем припишу в Женеве, после свидания с Пианж[ани] и с Тх[оржевским].

4 сентября. Середа. Не удалось вчера отправить письма. Пьянж[ани] застал поздно, и когда мы с Тх[оржевским] от него пошли, он непременно хотел меня проводить до мосту, так что приписать к тебе я отложил до другого дня. А он очень хороший человек Г-н полковник. Я им вполне остался доволен — и за дружбу его к тебе и даже ко мне и за верность и простоту взгляда. Нового он, однако, ничего не сказал, и сам только здесь узнал, что Гар[ибальди] сюда едет, ибо его адъютант уже готовит квартиру и находится в большом затруднении: многие из кафегаузников предлагают генералу квартиру, и никак не разберешь — из уважения и даром, или за деньги и за какие.

Бак[унин] приезжает завтра. Телеграфировал Чернец[кому], чтоб сказать одному господину о приискании квартиры, а господина этого год никто не видал, и никто не знает, где он.

Дело Чернец[кого], кажется, разойдется. Они хотят его надуть — это верно. Лучше же пробавляться тем, что есть, чем втюриться в обман. Журнал их нейдёт, так они хотели попробовать — нельзя ли его печатать quasi даром, все был бы барыш, и вели осаду Чернецкого довольно искусно; но он не поддался, и Тх[оржевский] в этом помог.

Барни на тебя бесится, что ты не едешь [8]. Да уж не приехать ли тебе? Может, ты отвлечешь от каких нелепостей? Я боюсь этого съезда. Я тут, конечно, ничего не сделаю. Меня никто не знает, и я не умею говорить.

Женева. Сейчас был у мертвого дома, который тебе кланяется. Бедное здоровье. Видел Тх[оржевского] — нового ничего. Гариб[альди] будет жить в доме Фази, в банке, приезжает в пятницу, — Бак[унин] выехал во вторник и когда приедет — неизвестно. Жюль Фавр [9] приедет в воскресенье.

Мы с М[эри] выпили по рюмке красного вина за здоровье Лизы. Поздравляю ее еще раз. Addio.

1 Датируется по письмам Герцена от 31 августа и 3 сентября 1867 г. (т. XIX, стр. 446 и т. XX, стр. 4).

2 «Русский» — журнал, издаваемый М. П. Погодиным. В письме от 3 сентября Герцен дает свой отзыв о «Русском»: «A propos, зачем или за что посылаешь

мне Погодина журнал? Я хотел только исключительно тот №, в котором статья обо мне. Он рассказал встречу верно, хотя и есть пропуски преднамеренные. Далее, я его журнал в руки брать не хочу. Это бред в духе холопской демократии, пропущенный через кишки попа и пузырь старой няньки, любящей Митрофанушку...».

[3] Мартьянов Петр Алексеевич (1834—1865) — участник революционного движения 60-х годов, по профессии приказчик. В 1861 г. жил в Лондоне, где сблизился с Герценом и Н. П. Огаревым В л. 132 «Колокола» (от 15 апреля 1862 г.) было напечатано его письмо к Александру II о необходимости созыва Земской Думы. В это же время им издана и отдельная книга «Народ и государство». Отрицательно относясь к поддержке Герценом польского восстания, в апреле 1863 г. вернулся в Россию, был арестован на границе и приговорен сенатом к ссылке на каторжные работы на 5 лет и вечному поселению в Сибири. Умер в Иркутской тюремной больнице.

[4] Августовские письма Герцена в значительной степени посвящены взаимоотношениям с Н. А. Тучковой-Огаревой, воспитанию Лизы, переговорам с Сатиным и т. п. «Совершенный хаос мешает всему, т. е. хаос в голове N[atalie]..» — признается Герцен в письме 8 сентября (т. XX, стр. 4).

[5] Пьянжани или Пьянчани — итальянский эмигрант, участник революции 1848 г.

[6] Трюбнер — лондонский книгопродавец.

[7] О каком из декабристов Колошиных — Павле Ивановиче или Петре Ивановиче — идет речь, не выяснено.

[8] Герцен, как мы уже указывали, отрицательно отнесся к созыву конгресса «Лиги мира и свободы». «Ты спрашиваешь, когда в Женеву? — писал он Огареву 3 сентября, — ну «писовкой»... не заманишь. На «писовку» приеду только в случае, если ты потребуешь» (т. XX, стр. 2). «... Мне нечего было делать на этой vanify faiz и есть случай объясниться, что мы не с ними. Я действую и по рассуждению, и по чутью» (т. XX, стр. 6).

По свидетельству Г. Н. Вырубова, Герцен хотя и «одобрял мысль этого сборища радикалов всех европейских стран и записался в число сочувствующих, но, несмотря на все мои просьбы и уверенья, в Женеву не приехал» («Вестник Европы», 1913 г., кн. 1).

[9] Фавр Жюль (1809—1880) — известный французский политический деятель, крупный адвокат; в 1870 г. возглавлял «Правительство национальной обороны». В 1868 г. был избран во Французскую академию, при вступлении в которую произнес речь, о которой Герцен 27 апреля 1868 г. писал: «Читал ли ты речь Ж. Фавра при вступлении в академию? Что это за махровые краснобаи и что за узколобые риторы!...».

67

12 сентября [1867 г.][1]. Четверг

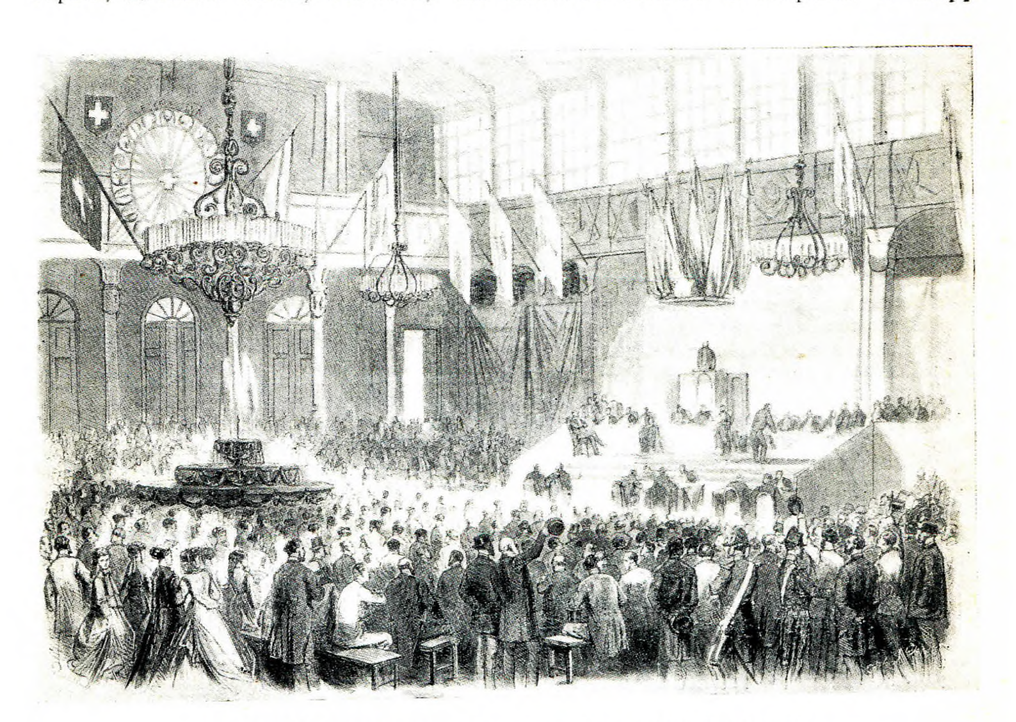
Плохой же я корреспондент! Два дня не мог собраться написать к тебе и два дня не мог отыскать Тх[оржевского], чтобы выслать тебе генвскую газету[2], которая дает совершенно искаженный отчет о заседаниях конгресса[3]. Тем не менее, перед этим Тх[оржевский] сомневался, чтоб газету пропустили к вам. Но к делу, не теряя слов! Конгресс все-таки не удался. Были речи очень хорошие, но до дела не доходящие. Таким образом, Эдг[ар] Кине[4] очень красноречиво говорил о печали изгнания; Гамбуцци[5] о разрушении папства; Бак[унин] о разрушении государства[6]. Какой-то немец (Бак[унин] говорит, что он от Маркса и Энгельса) сказал об Шульце Деличе, что это commis voyageur буржуазии; мне кажется, что тут еще нет ничего оскорбительного; но как ты думаешь — кто с бешенством закричал à l'ordre и не дал кончить речи оратору? Карл Фогт[7]. Я его после спрашивал — из чего он взбесился? «Нельзя», говорит, «допускать личностей».

Фази с бешенством возражал Гамбуцци, говоря, что отвергать папство — значит нарушать религиозную свободу. — Да! ты требуешь анекдотов — вот тебе лучший: перед конгрессом в комитете Фази и Барни чуть не подрались, их разводили; дело было из-за кресла.

На конгрессовке президентом выбран был Гарибальди, два дня был; раз говорил — тоже общие места, на 3-й день уехал. Слухи ходят, будто его швейцарское правительство просило уехать. Не знаю,

кто пустил это в ход по городу, но сомневаюсь в истине, ибо накануне сам Гар[ибальди] (у которого я был с m-me Бак[униной] [8]) говорил мне, что он просто не может дольше остаться, потому что некогда. — Я даже взял перчатки, чтоб идти с m-me Бак[униной] к Гар[ибальди] и ужасно раскаялся в такой чопорности, встретя там m-me Mario [9] — все такую же quasi нечесаную. Но я должен сознаться, что мы друг другу обрадовались.

На конгрессе каждая национальность имела своего вице-президента и секретаря. Меня выбрали вице-президентом от русских, а Выруб[ова] [10] секретарем. Меня уговорил Бак[унин] в пику Долг[орукову], который, должно быть, бесится, что остался совсем в стороне. С Выру-



ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА МИРА В ЖЕНЕВЕ 9 СЕНТЯБРЯ 1867 г.
Гравюра из журнала «Illustration», 1867 г.

б[овым] я очень сошелся. Но он, увидя на конгрессе, что действительно религиозного вопроса затронуть нельзя будет — отказался от участия и сегодня уезжает. Ergo, ты его найдешь в Париже. У него я познакомился и с Озер[овым]. — Также сошелся и с Реклю, с которым много говорил, и очень доволен. — Цверцяк[евич] играл на конгрессе роль гарсона — с красной лентой на рукаве все ходил взад и вперед около трибуны и подавал воду ораторам. — Однако, и он вознегодовал на статью Клачки [11], о которой я ему вчера рассказывал, но которой сам еще не читал, ибо не знаю, где добыть «Revue des 2 mondes».

Бак[унин] в восторге от двух делегатов английских работников. Действительно, у них вид чрезвычайно благороден. — Бак[унин] постоянно жучит Молинари [12], встречаясь с ним. И хорошо делает. Что это за подлая рожа — удивительно. Какой глупый протест он подал против употребления слов exploitants и exploités.

Фогт прочел с трибуны письмо Фанни Левальд [13] (m-me Стар),

письмо чрезвычайно умное, чрезвычайно милое, особенно в религиозном отношении. Но сам Фогт мне сильно не понравился.

На утренние, особые, комитетские заседания (в 9 часов) — я не ходил. Будет с того, что надо было идти в час, по палящему солнцу, чтоб поспеть на конгресс к 2-м часам. Неопределенность конгресса навеяла на меня скуку, а майоритет, отчасти искусственный, и разубеждение даже в хороших будто бы людях навели на меня тоску. Выруб[ов] прав, что ушел. — Сам Бак[унин] предложил вопрос: как лучше отретироваться от конгресса и Женевы? На что я ему сказал: по железной дороге — и привел этой глупостью Реклю и Гамбуцци в смех на четверть часа. — До ухода из дому эти два дня я занимался письмом Бак[унина] к тебе и возражением на него. Я не могу согласиться в некоторых основаниях. Дурного в письме, впрочем, ничего нет. Оно даже дружелюбно. Но об этом я тебе напишу особо, когда кончу свое возражение. — Далее напишу из Женевы.

Далее писать некогда до завтра. Конгресс кончился мизерабельно.

Наконец, нашел Тх[оржевского], который тебе кланяется, будет писать завтра, перешлет бюллетени, а «J[ournal] de Genève» решительно не пропускается.

[1] Датируется по сентябрьским письмам Герцена.

[2] Генвская газета — повидимому от слова Женева: «Journal de Genève».

[3] Конгресс «Лиги мира и свободы» открылся в Женеве 9 сентября 1867 г. под председательством Гарибальди.

[4] Кине Эдгар (1803—1875) — французский писатель и ученый, автор ряда работ по вопросам философии и истории. Его книга «Histoire de la Révolution française» была занесена в России в реестр запрещенных книг и пользовалась большой популярностью в радикальных кругах. Во время Третьей империи — эмигрант.

[5] Гамбуччи (Гамбуцци) Карло (1837—1899) — гарибальдиец, адвокат в Неаполе, участник 1 конгресса «Лиги мира и свободы» и один из организаторов бакунинского «Альянса».

[6] Речь М. А. Бакунина см. в сб. «Письма М. А. Бакунина к Герцену и Н. П. Огареву», под ред. М. П. Драгоманова (Женева, 1896 г.).

[7] Фогт, Фази, Барни, Реклю, Цверцякевич, Озеров и др. — участники конгресса, см. о них комментарии к предыдущим письмам.

[8] Бакунина Антонина Ксаверьевна (урожд. Квятковская) — дочь поляка-ссыльного; М. А. Бакунин женился на ней в Сибири.

[9] Марио — жена итальянского революционера Альберта Марио.

[10] Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913) — известный ученый и философ-позитивист. В 1864 г. уехал за границу и большую часть жизни прожил там. В Париже близко сошелся с Литтре и другими последователями О. Кона и организовал специальный философский журнал «Philosophie positive», первый номер которого вышел 1 июля 1867 г. (существовал до 1880 г.). Принимал участие в франко-прусской войне; воспоминания о защите Парижа и Парижской коммуне частично были опубликованы в разных журналах, а частично остались в рукописи, хранящейся ныне в Государственном литературном музее. В 1886 г. получил право защитить в Сорбонне докторскую диссертацию. В 60-х годах был близок к Герцену, был его душеприказчиком и издал в 1875—1879 гг. полное собрание сочинений Герцена в 10 томах.

[11] Клачка или вернее Клячко Юлиан (1828—1906) — польский критик и писатель, участник революционного движения 1848 г. в Познани. В 1849 г. поселился в Париже, напечатал много статей на политические и исторические темы.

[12] Молинари Густав — бельгийский буржуазный публицист, сотрудник «Русского Вестника» Каткова.

[13] Фанни Левальд — немецкая писательница «свободомыслящего» направления.

68

Женева, 14 сент[ября 1867 г.]. Суббота[1]

Сегодня был странный случай. Меня призывали к судебному следователю, чтобы спросить о побеге Шарлотты[2]. Разумеется, ничего, но все-таки скучно. Письмо твое получил вчера вечером. Отчет все-

возможный писал тебе уже. Сделай одолжение, пришли поскорей 500 или 700 фр[анков]. Пора переезжать, а без этого невозможно, надо расплатиться тут и заплатить там. Неужли С[атин] еще ничего не прислал? — Бак[унина] согнали с квартиры таким образом, что взяли за месяц вперед, а потом оказалось, что хозяйка обанкрутилась, его квартира пошла в распоряжение других, а денег ему не отдали, и хозяйка исчезла. И это недурно. Но хорошо также, что комитет напечатал и приклеил на стенах благодарность Швейцарии и Женеве за прием, которая не была вотирована[3]. — Выр[убов] сегодня уезжает. Ты его адрес в Пар[иже] знаешь, след[ственно], отыщи его; он очень стремится тебя видеть. Он хороший человек.

Сегодняшнее утро мне решительно помешало покончить возражение на бак[унинское] письмо[4] к тебе. Ergo, это впереди. Но он здесь остается с месяц и ждет тебя. Вел он себя все время превосходно со всеми. Он все-таки гораздо рассудительнее, чем прежде.

Меч[ников] обижен и бесится. Из этого, кажется, выйдет история. Я протестовал и советовал наплевать на все это. Кас[аткин] говорил о его отношениях с Скар[ятиным]. — Ему это перенесли. Он спросил Кас[аткина], который сказал, что это говорил Долг[оруков]. — Что за подлецы такие? Я понимаю, что Меч[ников] мог взбеситься, но все это мелкота и грязная сплетня трусов.

Но если Фогт и Фази (защищаемый теперь Женевским журналом) играют в свинец-свинец, то Барни играет в труса. Почему он ничего не сказал о твоем письме — не знаю[5]. Почему он прибавил благодарственный параграф Женеве — не знаю.

Ну! дело об учителе музыки[6] также мне падает свинцом на сердце. Что же тут поделаешь!

Завтра буду писать к Саше.

Теперь (третий час) отправляюсь к Бак[унину], которого надеюсь, наконец, увидеть одного. Его все осаждают, и пуще всех Цверцяк[евич].

В 5 час[ов] встречусь с Тх[оржевским] и тогда еще припишу.

6 час[ов] веч[ера]. Тх[оржевский] говорит, что о мебели он тебе напишет в понедельник, но что, вероятно, ее выгоднее продать здесь, чем пересылать, исключая кухню и твой стол.

Обедал у Бак[унина]. Ничего — он хорош и гораздо лучше, чем прежде. На твою заметку отвечает, что французы имеют гораздо более симпатии к нам, чем к полякам, и в основание этому есть две неизданные книги Прудона.

Сегодня комитет напечатал объявление, отличное от вчерашнего.

Затем иду домой, ибо устал как собака.

Всех вас обнимаю.

Жду известия о твоем отъезде.

[1] Датируется по письмам Герцена от 11 и 16 сентября 1867 г. (т. XX, стр. 7, 11).

[2] Исчезновение (самоубийство) Шарлотты Гетсон в августе 1867 г. См. письмо 55.

[3] Речь идет о комитете, выбранном на конгрессе «Лиги мира и свободы».

[4] О каком бакунинском письме пишет Огарев — неясно, может быть об известном письме от июня 1867 г., осуждающем нетерпимое отношение Герцена к «молодой эмиграции».

[5] О письме Герцена к Барни читаем в письме первого к сыну от 14 сентября 1867 г. (т. XX, стр. 9): «Я написал Барни объяснительное письмо, почему не приехал [на конгресс]... Я нахожу, что в ложном положении с запад[ными] демократами, и до объяснения работать вместе не можем» Г. Н. Вырубов подтверждает это сообщение: «Свое намеренное отсутствие он [Герцен. — *Ю. К.*] объяснил в письме к председателю учредительной комиссии Барни и пространнее в заглавной статье первого нумера французского «Колокола»... Он находил, что западная демократия, хотя и относилась весьма дружелюбно к некоторым русским, слишком презрительно смотрит на ее политический строй и слишком забывает собственные изъяны; он

требовал не терпимости, не снисхождения, а признания полного равенства России с другими европейскими странами...» («Воспоминания»).

[6] В своих письмах Герцен сообщал об обострении отношений между Н. А. Тучковой-Огаревой и учителем музыки, занимавшимся с Лизой.

69

23 сент[ября 1867 г.]. Понедельник [1]

Наконец, сегодня в 8 час[ов] утра получил твое письмо от 19-го. Почта что-то ходит дольше прежнего. Сажусь немедленно писать — следств[енно], уже в Париж. Вчера писал Тате и просил ее известить меня, что ты и где ты.

Каким образом моя записка пахла пачулями — не могу понять, ибо питаю к ним ненависть и далек от них, как от мыса Доброй Надежды. Каким образом мокрая половина записки стерлась — тоже не могу понять, ибо Тх[оржевский] взял всю записку в карман сухую и понес на почту.

Я не жду, друг мой, чтоб С[атин] присылал мне вообще больше, но жду, что он теперь пришлет. Сукны шли на ярмарке хорошо, как видно из газет. Ergo, прислать можно, и тогда мне устроиться, расплатившись со всеми должками, взять Г[енри] и съехать на minimum и на другую квартиру — легко. О С[атине] говорят (ох!), что будто он пьет, а Ел[ена] совершенно аристократка-помещица, но что именье в блестящем положении, и если я не удовлетворен, то вина их.

Бак[унин] пробивается, кажется, без недостатка; его удовлетворяют совершенно братски. Поэтому я ему о ста фр[анках] ничего не говорил, разве увижу, что ему плохо — то скажу. Видеть он тебя ужасно желает и поговорить и поспорить даже, но у него большое уважение к тебе и даже дружба. Ты уж не слишком ли его отрицаешь? А потом, если ты хотя бы проездом в Геную заехал, неужли ты думаешь, что тебе со мной не о чем говорить и даже нечего решить досконально о печати? Воля твоя, caro mio, при твоей любви к передвижению, тут есть какое-то старческое озлобление, которое меня глубоко печалит.

Также я не вижу, почему в тезисах отрицания у Ф. Левальд ты видишь детскость, а в плаче Кине не видишь риторики, а видишь последова[те]льность в восстановлении dio и популо. Положим, что конгрессовка похоронила 48 год (отчего же его и не похоронить?), но все же она стала иным началом, которое медленно, но проложит свои пути.

Долг[оруков] сердится, что его ни во что не выбрали, и пишет против Бак[унина], постоянно извиняясь перед Черн[ецким], что не у него печатает, ибо для него многое может быть неприятным насчет поляков. Поругался он с Кас[аткиным], т. е. обругал его, и Кас[аткин] все ходит спрашивать, как ему поступить. Меня поймали на улице и к Черн[ецкому] ходил спрашивать совета.

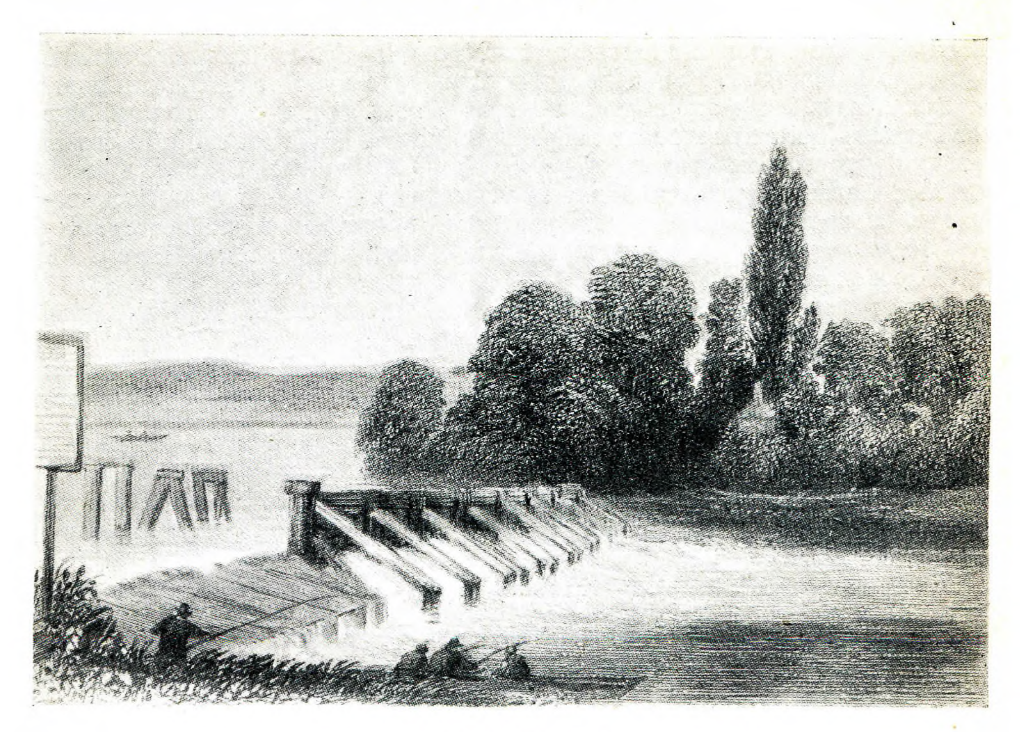
Возражение Бак[унину] я написал, письмо к тебе он кончает. Если приедешь — увидишь и то и другое. Полученные статьи в суплемент [2] не идут; но отдельно на счет издателя отчего не печатать. Многое умно, но длинно.

Жду письма из Парижа.

Не забудь сходить к Вырубову.

Допишу в Женеве.

Тх[оржевский] от тебя подарил мальчику маленький тромбон, на котором он играет, и, когда ходит к булочнику за хлебом, берет его с собой. Он с Тх[оржевским] в ужасной дружбе. — Еще о Бак[унине]



ТЕДДИНГТОН

Гравюра

Музей изобразительных искусств, Москва

скажу, что он очень опустился, страдая ногами; что̀ такое — ревматизм, подагра или водянка — решить не берусь.

Вот тебе записка. К сожалению, я с этим господином не встретился. Он уже уехал — Бак[унин] доставил Черн[ецко]му работу. — Кас[аткин] уехал. — Давеча работал над моей книгой[3] и русскими известиями. Работы ужасно много. Раньше половины ноября не кончишь. А поговорить об этом хотелось бы. Прощай друг мой.

Надеюсь, что у вас «Моск[овские] Вед[омости»] не истребляют. Они будут мне очень нужны.

[1] Ответ на письмо Герцена от 19 сентября 1867 г. (т. XX, стр. 12), в котором читаем: «...Как пробивается Бак[унин]? Тхор[жевский] пишет, что Долг[оруков] печатает против него артикул. Что тебе понравилось в его речи и в детских тезисах Фан-Левальда [Фанни Левальд]! Вы все были до драки Фази в благодушии и умилении. Пяти дельных слов не было сказано и, кроме плача Кинэ, все плохо. Это — fiasco и черта: 1848 год схоронен также, как Сазонов в Женеве. Vorwärts...». Тут же он советует Н. П. Огареву экономить и «ни в коем случае» не выходить из намеченного бюджета.

[2] Суплемент — русское приложение к «Колоколу» на французском языке, № 1 которого вышел 1 января 1868 г.

[3] Может быть «Лютня» — собрание свободных русских песен и стихотворений» (Лейпциг, 1869 г.) или может быть «Situation».

70

24 сент[ября 1867 г.]. Вторник[1]

Ну вот вы и в Париже, государь мой! А я вчера туда послал вам письмо на имя Бамбергера[2], как приказывали. (Что за отвратительные перья дал мне татин магазинщик!..). Иди к Тардьё[3] — это знаме-

нитость, даже в медицинской литературе. Но будто нет кого-нибудь посвежее и помоложе; он ведь давнишний, его курс терапии отзывается какой-то древностью времен Гризоля[4], т. е. сороковым годом. Мне вот Нефтель ноги вылечивает втираньем huile de Cade (ol[eum] Cadinum) и нашел, что это не лишаи, а psoriasis (lepra vulgaris), хотя я весь век был больше проказник, чем прокаженный. — Но сегодня мне что-то нездоровится — чувство лихорадочной простуды и нервности. Теперь 10½ час[ов]. Надо сильно работать — ничто так не помогает.

Женева.

Погода и перо ужасные. Дождь, холод, тяжесть. Тх[оржевский] собирается в Веве, но все страдает прозапилией.

Долг[оруков] издал брошюру против Бак[унина]. — Говорят, ужас что такое и в пользу Бак[унина]. Еще не читал. Напишу завтра. Теперь поздно. Тх[оржевский] спешит в ложу.

Прощай.

[1] Датируется по письму Герцена от 22 сентября 1867 г. (т. XX, стр. 13).

[2] Бамбергер Людвиг (1823—1899) — немецкий демократ, участник революции 1848 года. В 60-х годах жил в Париже, был знаком с Герценом, занимался переводами и книгоиздательством.

[3] Тардье Огюст-Амбруаз — известный французский врач-клиницист 60—70-х годов.

[4] Гризоль — знаменитый французский медик 40-х годов.

71

25 сентября [1867 г.]. Середа[1]

Сегодня утром получил письма от Ольги[2] и Мальвиды[3] из Fano от 22-го (октября[4], как пишет Ольга). Но письмо Ольги очень добродушное и милое; она в восторге от Венеции, а пишет по-немецки и стиль у ней очень мальвидин. Замечательно в их письмах для меня одно, о чем я и хочу черкнуть тебе. Мальвида, между прочим, пишет, что ты противишься урокам Панофки[5]. Я в этом сомневаюсь и удивляюсь, если так. На эти уроки следует пожертвовать, ибо из писем я также вижу, что голос у Ольги вот какой [в оригинале нотная запись], т. е. 2 октавы soprano, которых полноту и чистоту Панофка сравнивает с голосом m-lle Зонтаг и Малибран[6]. Что же худого, если Ольга будет певицей? Лучше чем $\pm = 0$. Подумай об этом серьезно.

Прочел брошюру Пет[ра] Вл[адимировича] против Бак[унина]. Писана против Бак[унина], а написана, мне кажется, в его пользу и против себя. Не понимаю, почему П[етр] Вл[адимирович] расположен к нам; его настоящая дружба — Катков.

Мальв[иде] и Ольге стану писать через 4 дня; они только что поедут во Флоренцию дней через 5 или 6.

Женева. Ольга спрашивает об Линде[7]. Тх[оржевский] не уехал сегодня, потому что биза ужасная, так что меня в лоск кладет, но все-таки брожу. — Тх[оржевский] тебе кланяется и все пишет в Ниццу. — Бак[унин] достал мне статью Клачки — на один день.

Больше новостей нет, кроме тех интересных, которые прочтешь сам в журналах.

За сим addio. — Что твое здоровье? Жду от тебя письма.

А переезжать все-таки не могу; без с[атинской] присылки — это пустяки.

[1] Датируется по письму Герцена от 24 сентября 1867 г. (т. XX, стр. 13).

[2] Ольга — младшая дочь Герцена.

[3] Мейзенбуг Мальвида — воспитательница Ольги (см. комментарии к письму № 1), с которой она в сентябре 1867 г. совершила поездку во Флоренцию и Венецию.

[4] Октябрь (как пишет Ольга) указан ошибочно, надо сентябрь.

[5] Панофка Генрих (1807—1887) — скрипач и учитель пения, пользовавшийся большой популярностью в 60-х годах; неоднократно давал концерты в Париже и Лондоне. Особенно славились его сочинения для скрипки и школы пения.

[6] Зонтаг Генриетта (1806—1854) и Малибран Мария (1808—1836) — знаменитые певицы первой половины XIX в.

[7] Линда — собака.

72

27 сент[ября 1867 г.]. Пятница[1]

Надеюсь, что это письмо тебя еще застанет в западном Вавилоне[2]. Я к тебе писал — раз через Бамб[ергера], 2 раза в отель де Бад; это четвертый раз.

Вчера получил твое письмо от 24, но писать вчера не успел. Читал статью Клачки. В ней много таланта, описание славянского съезда в России[3] умно и колко; но, вообще, все шито белыми нитками по темному фону, хитрость и злоба бросаются в глаза. От этого и вопрос не поставлен на настоящую точку зрения исторической гравитации, а только все прошедшее вызывается из мертвых. Я думал об ответе, но лучше попытаться просто написать о славян[ском] вопросе, т. е. развить мой ответ Бак[унину] (у которого, впрочем, с Клачкой ничего нет общего). Собственно, возражение Клачке тебе можно бы писать, а не мне. Для этого нужно твое остроумие. А писать просто о слав[янском] вопросе меня ужасно подмывает. Посмотрю. Сегодня я решительно буду в гостях. Встречусь с очень интересным человеком. Сверх того, приехал Фр.[4] и остановился в бергах, где теперь живет и Долг[оруков]. Но слава богу, я с ним не встречаюсь. Брошюра его против Бак[унина] совершенно глупа. Кстати, о Бак[унине] — не знаю, в каком издании ты читал его речь (не по долгор[уковской] брошюре же) — но не знаю, что же ты в ней нашел глупого?[5] Она вся заключается в том, что в основание возможного мира поставить надо социализм и федерацию и что иначе он невозможен. Эта мысль весьма верна, и не доставало только прибавить, что так как двух первых посылок нет, то конгрессовка может послужить попыткой собора, но на этот раз удасться не может. Сказать этого было нельзя, след[ственно], речь и осталась при своем основном силлогизме.

Получил Сашину речь о нервной системе[6], к сожалению, по-итальянски и овладеть оной не в состоянии.

Ну! мой бедный Герцен, кажется, Пар[иж] производит на тебя впечатление не то чтоб слишком светлое. Познакомься хотя с издателями «Новой Мысли». — Что касается до слухов, распускаемых о нас — пусть их тешат себя, меня это не трогает[7]. — Благодарю тебя за обещанные т[ысячу] фр[анков], но умоляю тебя не делить их на 2 чека, иначе я опять не справлюсь ни с уплатами, ни с жизнию, а без раздела — уверен, что справлюсь даже с переездом на другую квартиру — хотя о последнем подумаю со всех сторон и, если окажется трудноватым, лучше остаться, но расплатившись с Сорде — взять Г[енри] на дом и пусть себе ходит ежедневно на работу; если же чуть окажется возможным, за всеми расплатами, переехать в Женеву, лучше переехать по многим причинам. Еще теперь рассчитывал и на память пришел только стих: «чем больше думаю, тем меньше понимаю». Дам себе дня два на раздумье и потом скажу хозяину — уезжаю или остаюсь.

Наконец, речь о твоем приезде[8]. Я вижу, caro mio, что тебе ужасно не хочется. Делай как знаешь. Я боюсь, как бы приехавши не сказал, что незачем было. А боюсь тоже, что Бак[унин] подумает, что ты нарочно его мимо проехал; как бы то ни было — оно все же не-

приятно. Но рассуди сам и поступи in consequence. Секретно приезжать — ты сам не выдержишь.

Не забудь же все письмы мои к тебе достать.

Женева. Поздно, об остальном завтра напишу. Теперь пишу только, что сюда телеграфировал сегодня из Биарица какой-то Воартиано, спрашивая, где ты. Так как ответ был заплачен, мы ответили, что ты в Париже.

Тх[оржевский] пишет тебе рапорты в Ниццу. — Черн[ецкий] и все тебе кланяются и все беспокоятся о твоей болезни. Впрочем, она излечима; вероятно, тебе дают дигиталин.

[1] Датируется по письму Герцена от 24 сентября 1867 г. (т. XX, стр. 14).

[2] В Париже.

[3] В 1867 г. в Москве происходила этнографическая выставка, на которую приехало много представителей «западных славян».

[4] Кто такой Фр. — не выяснено.

[5] В своих письмах Герцен отрицательно расценил речь Бакунина на Женевском конгрессе («речью его я не доволен»).

[6] Лекция А. А. Герцена в университете во Флоренции была отпечатана отдельной брошюрой в 1867 г.

[7] В своем письме Герцен писал: «В Париже был слух, что мы разошлись за твою статью о Польше, и что я бросил «Колокол» по этой причине...».

[8] В сентябре 1867 г. Герцен предполагал заехать в Женеву, о чем и писал в своих письмах.

73

31 октября [1867 г.] Четверг — кажется, так [1].

Дòма.

Вчера, уверенный, что имею в портфёле стамп в 30 сант[имов] — не мог отправить письма: шел от Бак[унина], и почта была уже заперта.

Черн[ецкий] говорит, что ближе 1-го декабря отпечатать не может, а к 1-му дек[абря] будет готово. Объявление же уже отпечатано, т. е. набрано, сегодня будет готово. — Снес Черн[ецкому] новую работу, за которую будут деньги. — С Давид[ом?] [2] познакомлюсь на-днях. — Тх[оржевский] с Мар[ией] Касп[аровной] [3] в Берне не видался, не застал ее и Берном не так доволен, как Веве. — В Веве скоро едет Бак[унин]. — Его бернская статья очень хороша и содержанием стала подходить к твоей. — Щер[баков] [4] имел подкрепление особо. В фонде осталось 15 фр[анков].

Моя милая Тата уезжает. Обнимаю ее крепко. С кем же она едет — ты не пишешь.

О Бен[ни] [5] и обо всем я тебе писал. Удивляюсь, как ты не получил.

Майор отправляет Спир[идова] [6] в Монпелье. Вот бы ты дал референс. Он очень больной.

Кафе от короны. Тх[оржевского] еще нет, а уже половина 6-го. Как хочется уйти, скучно, все же надо подождать.

Если можешь прислать 400, то пришли. Лишними не будут, ибо мой фонд = 0.

Бак[унин] просит 100 фр[анков] обещанных. А у Тх[оржевского] не хватит.

Письмо твое мне вчера отдал почтальон на дороге. Будь моя воля или право вмешиваться, я Лизу не пустил бы к С[атиным] [7]. Причины для меня слишком очевидны, чтоб говорить о них. Зачем же непременно увозить в глушь тогда, когда воспитание всего нужнее. А потом разве въезд так легок?

Кстати — В[асилий] И[ванович] [8] никого не выдал, кроме тебя и

меня, и никто не пострадал (новейшие известия). Он одним плох, что переметнулся, но осторожно.

3 ноября. Какая нелепость! Я думал, что я отдал письмо Тх[оржевскому], а оно пролежало у меня в кармане другого пальто. Прости, пожалуйста.

[1] Ответ на письмо Герцена от 28 октября 1867 г. (т. XX, стр. 34). Письмо писалось в момент подготовки № 4 «Kolokol»; новая работа, о которой пишет Н. П. Огарев — возможно его статья «La Russie actuelle et son développement», помещенная в № 1.

[2] Давид — наборщик.

[3] Рейхель Мария Каспаровна, жившая тогда в Берне.

[4] Щербаков А. Я. — см. комментарии к предыдущим письмам.

[5] О Бен[н]и — см. комментарии к письму № 6. В своем письме Герцен пишет: «Я получил от него [Бенни — *Ю. К.*] из Женевы письмо — хочет рекомендательных писем в Италию», а в письме к М. Мейзенбуг (от 26 октября 1867 г., т. XX, стр. 32) читаем: «Вчера я получил письмо от Артура Бени. Он был в Женеве и на-днях явится во Флоренцию. Вы знаете, что он дулся на меня с 1861 г., хотя я поступал так, как должен был поступать серьезный человек. Я никогда не подозревал его, но так же не имел слишком большого желания поручиться за все, что он делал тогда в России. Теперь он желал бы получить несколько писем, чтобы облегчить себе корреспондирование... я полагаю, вы могли бы немного помочь ему...».

[6] Спиридов Петр Александрович — русский эмигрант с 1866 г., был близок к ишутинскому кружку.

[7] В октябре 1867 г. Н. А. Тучкова-Огарева снова подняла вопрос об отъезде в Россию, о чем Герцен писал в письме от 28 октября.

[8] Кельсиев Василий Иванович.

74

[Октябрь 1867][1]

Не понимаю, как ты от меня никакого ответа не получал? — Одно могу сказать: если я имею право, то я Лизу не отпускаю в Россию, именно потому, что это значит к людям, которые, зная меня в нужде и имея совсем устроенные именья, не присылают мне ничего. Я к таким людям Лизы послать не хочу.

Извини, что скверно пишу, ужасно темно.

Это я пишу ушедши от Бак[унина], простившись с Тх[оржевским] и пр. в конурке, где хоть и газ горит, а плохо чрезвычайно.

Статья Бак[унина] очень хороша... —

[1] Датируется по октябрьским письмам Герцена.

75

13-го дек[абря 1867 г.]. Пятница[1]

Твою печальную поэму[2] я получил сегодня. Прочел, поправил кое-какие грамматические ошибки и недописки. Ты так скверно стал писать, что неудивительно, что наборщики не понимают. Я, кажется, им облегчил дело. Вообще, ждут полемики. А против этой поэмы необходимо будут. Но нужды нет. И мне трезвону зададут—тоже нужды нет.

Писать и читать приходится так много, что я решился сказать Тх[оржевскоому], чтоб «Голоса» прямо посылал к тебе. Я ограничусь «Моск[овскими] Вед[омостями»] — разница небольшая. Только не истребляй «Голоса», а привези, особенно замечательные распоряжения и биржевые рецензии.

Поэму сейчас понесу в типографию и посмотрю, нет ли где полемики во франц[узских] газетах. Вырезку из Бунда Тх[оржевский] хотел тебе послать, но это касается до другой вещи.

О Мечн[икове] я уже писал тебе.

О Величк[?][3] припишу ужо.

Посылаю сегодня также и «Моск[овские] Вед[омости»], где стюпиднейшая статья Каткова о Филарете [4], да и корреспонденции пересмотри. На обороте моя поэма о Филарете. Если забавно — я доволен. Почти уверен, что письмо тебя еще застанет на месте.

Я сижу в раздумии —
Вот какой предмет:
Д[олгоруки]й сказывал —
Умер Филарет.

*

Кто же будет ноне́че
Наш митрополит?
Кто на нас туманное
Слово повалит?

*

Он пошел ли к господу
За души молить?
Или по природному
В сыру-землю гнить?

*

Я сижу в раздумии —
Так что руки врозь:
Нет ему преемника!
Всякий помысл брось!

*

Ухожу в раздумии —
Умер Филарет!..
Светопреставление —
Тут сомненья нет! [5]

[1] Датируется по декабрьским письмам Герцена 1867 г.

[2] Повидимому, статья Герцена «Личное дело», посвященная его отношению к конгрессу «Лиги мира и свободы» и западной демократии вообще.

[3] Не выяснено.

[4] Филарет — митрополит московский (1783—1867) один из крупнейших иерархов русской церкви. Хороший оратор — «московский златоуст». М. Н. Катков посвятил ему в одном из ноябрьских номеров «Московских Ведомостей» большую апологетическую статью.

[5] Впервые напечатано в «Вестнике Европы», 1907, № 5.

76

25 дек[абря 1867 г.]. Середа [1]

Ну вот, caro mio, на рождество пишу тебе и в Ниццу, ибо ты, вероятно, там. В Геную писал. — Невралгия, хотя послабее, но продолжается, мешая порядочно жить и работать. Если завтра не пройдет, то послезавтра пойду к Майору, ибо хинины принял уже достаточное количество, так что продолжать не дерзаю. Посмотрю — завтра четверг, ergo, Майор поехал к генералам; поневоле до послезавтра отложу спрос. Да и на него не надеюсь — мало ли они пичкали мой надбровный нерв; мне кажется, что боль проходила только сама по себе, несмотря на лекарство, или вопреки ему.

Сегодня у нас праздник: christmas pudding и Тхоржевский. Но Тх[оржевский] становится недовольным продажей «Кол[окола]», говорит, что мало расходится. Стало, только в Ланси он приобрел много почитателей.

Получил письмо от Лизы, на которое отвечаю. Получил письмо от Таты, милое и доброе, на которое стану отвечать завтра, чтоб не слишком много писать за раз, — ибо больно. Тате хотелось бы при-



ГЕРЦЕН

Фотография, 1860-е гг.

Институт литературы, Ленинград

ехать повидаться со мной. Это для меня было бы огромное утешение... в чем? спросишь ты. Да не знаю, ибо — если б не невралгия — мне жить покойно. Лучше, скажу, что была бы огромная отрада, потому что я ее люблю, как дочь и как очень хорошего человека. А уж и она знает про Терезину[2] и пишет, что Саша отложил на 1½ года. Знаешь ли что? Я настолько понимаю его характер, сильно сходный с бывшим моим, что почти убежден, что все кончится ничем — может и к лучшему.

А что же делается во Флоренции? Видел ты в последних газетах? Дай какую-нибудь разгадку.

Не худо, если ты что-нибудь сделаешь для французск[ой] смеси, хотя бы на одну страницу. С русским прибавлением на этот раз мы не совладаем, ибо у меня сил не хватает. Боль проходит только ввечеру — и я сплю спокойно; но с одиннадцати час[ов] утра опять начинается, и тогда мудрено что-нибудь делать. Последняя стран[ица] будет анонсы, предпоследняя была бы смесь. А с остальным слажу. Твоя статья 2 страницы.

Кончу, когда Тх[оржевский] придет; может, скажет что нового.

А, впрочем, сегодня боль все же несравненно легче, чем все прежние дни. Кажется, и пройдет раньше.

— Сейчас Тх[оржевский] принес твою записку. Что же это такое, мой бедный Герцен![3] Руки падают, голова кружится. А тут работа, работа... Пойду есть, вот что.

Тх[оржевский] принес письмо от Нефтеля, которое он диктовал своей жене, ибо почти ослеп; но надеется через 3 недели уехать в Америку и просит от тебя рекомендаций к тамошним друзьям. Пошли ему немедленно на следующий адрес в Англию: Doncester, Yorkshire, № 1 Belmont terraces.

Очень больно, несмотря на то, что пообедал хорошо.

Затем прощай, друг мой. Желаю лучшего нового года.

Деньги получил, благодарю, но Сашины 100 фр[анков] считаю в счет 900, которые были нужны. А впрочем, достаточно.

Тх[оржевский] за Бессониху[4] заплатил 180 фр[анков]. — Он тебе писал в Турин. Выручи его письмо.

[1] Датируется по письму Герцена от 22 декабря 1867 г. из Генуи (т. XX, стр. 122).

[2] Терезина Феличе — невеста А. А. Герцена, затем его жена; их брак довольно долго откладывался.

[3] «Почти тот же № и тот же коридор, в котором мы жили — Тесье, Саша и я после похорон в 1852..., — пишет здесь Герцен. — Когда поеду не знаю. Тон писем из Ниццы [от Н. А. Тучковой-Огаревой. — *Ю. К.*] убийственен, ни тени человечности, пощады. Что дальше? Что я сделаю, чтобы спасти, наконец, даже свое уважение к себе? — не знаю... Надобно было доносить траур 1852... как месть за бесхарактерность, меня преследует ненависть N[atalie] к детям покойницы... Ну, да, ведь, ты все это знаешь. Выхода нет... Работа, работа... и тут загвоздка. Я свое сделал. Платонически заниматься наукой не хочется, реально не можется. Наше слово сказано и даже услышано. Другого у нас нет. Мы, как Диккенс, повторяем одно и то же... Даже нет приюта. Разве остаться здесь на зиму в Генуе? Письмами все будет отравлено... Разве проситься в Ташкент или в Абиссинию?..» К этому и относится восклицание Н. П. Огарева: «Что же это такое, мой бедный Герцен!».

[4] Бессониха — см. Бессо, комментарии к предыдущим письмам.

77

29 дек[абря 1867 г.]. Воскресенье[1]

Письмо твое из Генуи получил. Все плохо! Вчера прихожу в café de la Couronne, там меня ждал пан и еще один господин, чтоб просить совета и сообщить известие. 3-го дня вечером, возвратясь до-

мой, умер скоропостижно Касаткин[2] разрывом сердца! Вот тут и проповедуй волю, вместо того, чтоб изучать связь патологии и жизни. — Жена его, говорят, совсем, как шальная. Пойду к ней сегодня с Тх[оржевским] — Но признаюсь в слабости: вчера у меня и невралгии не было, но эта штука меня так поразила, что шедши домой я был болен дорогой.

В Веве ехать было невозможно. Сам Тх[оржевский] сильно болен невралгией желудка. Но я надеюсь теперь выздороветь и не в Веве ехать, а сильно работать, чтоб возвратить время, потраченное на невралгию.

Вот тебе — еще длинное письмо от Тург[енева][3], в котором только и хороша, что «весенняя свежесть Бакунина». А впрочем, человек не понял, что мы проповедывали науку не хуже, чем Саша, да и самой науки-то не понял.

Что за глупая клевета на молокана[4] в шпионстве! Тени подходящего нет — это наивный фанатик.

Бакун[ин] выписал к новому году, через Тх[оржевского] из Женевы, трех поросят.

О деньгах я уже писал, что получил и благодарю.

Вот все, что могу написать сегодня. Поцалуй Лизу.

Жду Тх[оржевского], может что припишу, когда он придет.

Невралгии сегодня нет.

Идем с Тх[оржевским] к покойнику. Жене его лучше.

[1] Датируется по декабрьским письмам Герцена 1867 г.

[2] В. И. Касаткин умер скоропостижно в ночь на 28 декабря 1867 г.

[3] Письмо И. С. Тургенева к Герцену от 25 декабря 1867 г. — об идеализации последним общины и артели и его «славянофильстве», с пожеланием «позаняться» наукой.

[4] Первое упоминание о «Молоканине», авторе брошюры: «Русский глас к словакам», обвиненном в шпионаже.

78

1 января 1868 г. Середа

Вот два дня не писал к тебе, caro mio, хотя и просбирался. Третьего дня мы схоронили Касатк[ина]. — Элп[идин][1] и Ник[оладзе][2] подошли ко мне и поздоровались. Я не хотел быть с ними груб. Устин[ов][3] прочел дурно по-французски глупую речь над могилой. Добрый малый, но совсем дурак. Элп[идин], говорят, дома держал речь над трупом, таким образом: «Я вам говорил, В[иктор] И[ванович], съешьте бифстекс и умрете спокойно, так и вышло»... Что за удивительные нелепцы, а вглядись и увидишь, что, право, не дурные люди, т. е. не злые, благонамеренные, добродушные[4].

Третьего дня писал к Тате. Вчера ничего не делал, как-то было не по себе. Но невралгия прошла.

Жду теперь Тх[оржевского], который мне отдал твою записку. Ты ее уже так заклеил, что невозможно распечатать не оторвавши писаный клок.

— Вот и Тх[оржевский] был. Жду Чернец[кого]. Но все очень печально на новый год. Только Тутс в восторге от мячика и от конфет. Твои письма так же печальны, как и все остальное.

Вечером. Вот и Чернецкие были. Но мне еще остается выписать тебе из письма (прося немедленного ответа) следующее: «Корреспондентов имеется... Имеется в виду приобрести еще большое количество... Интересно было бы знать, согласитесь ли вы отделить в своем журнале часть, специально предназначенную для корреспонденций. Дело понятное, что во 1) тождественности во взглядах коррес-

пондентов быть не может, строгий подбор не возможен. Конечно, в случае несогласия редакции с мнениями корреспондента нужны оговорки; 2) видеть факты в том освещении, в каком они нам здесь представляются, вы не можете и часто вы почти не можете знать, какое факт имеет распространение в публике и как выгодно бы было осветить его в данную минуту. — На этом основании, кроме того, чтобы вы согласились дать отдел для корреспонденций, желательно было бы, чтобы вы сообщили нечто в роде программы, что именно вы можете допустить к печатанию. — Мы думаем, что возможно будет, кроме публицистических статей, присылать вам статьи беллетристического содержания»[5]. На это, пожалуйста, ответь поскорее. — Я из этого не понимаю, нужна ли какая плата. Обо всем напиши аккуратно. А ведь в Турин ты сам велел Тх[оржевскому] писать, что докажется отрывком из твоего письма.

Лизе купил брошку и Тх[оржевский] взялся переслать. Он сегодня привез кучу конфет от тебя.

Addio, caro mio. Happy new year тебе, Лизе и Натали.

DE MORTUIS AUT NIHIL AUT BENE.[6]

Мы в дружбе с ним давно не жили,
Разлад взошел меж мной и им,
Едва встречаясь говорили,
Почти не кланялися с ним.
Но мелочь ссор молчит мгновенно
Пред бледным телом мертвеца,
И остаются незабвенно
Черты знакомого лица.

[1] Элпидин Михаил Константинович (1835—1908) — участник революционного движения 60-х годов.

[2] Николадзе — см. комментарии к письму 24.

[3] Устинов Григорий Григорьевич — русский помещик, в конце 60-х годов живший в Женеве, близкий к эмигрантским кругам.

[4] На это Герцен в письме от 4 января 1868 г. отвечал: «В благонамеренность Никол[адзе] и его добродушие не верю; в том, что Элпидин нелеп, согласен...» (т. XX, стр. 128).

[5] От кого исходило предложение участвовать в «Колоколе», не выяснено. Во всяком случае, Герцен охотно откликнулся на него: «О корреспонденциях, разумеется, отвечать надобно положительно: да, можно сделать отдел; да, но нужно полное единство...».

[6] «De mortuis aut nihil aut bene» — впервые опубликовано в «Вестнике Европы» 1907 г., № 5. — Написано на смерть В. И. Касаткина.

79

6 янв[аря] 1868 г. Понедельник

Хотя сегодня и потеплее, но все же так холодно, что едва пальцы перо передвигают. Все покрыто снегом. Вода в графине мерзнет. Хорошо, что вы в Ницце.

Твое письмо от 31 дек[абря][1] получил 3-го дня, возвратясь домой вечером, ибо разошелся с почтальоном. Грустно твое письмо, и благородное письмо С[атина] немного представляет ручательств. Банки поземель[ного] кредита преобразовываются; поэтому дело пойдет, вероятно, долго — а если он, получив, поиграет — то еще дольше.

Здоровье мое опять лучше, несмотря не неотразимую нервозность.

Поздравь от меня Лизу не только с новым годом, но и с Сандрильоной. Брошка ее уложена, а переслать до сих пор не можем.

La Cloche est en Veine, т. е. «Колокол» хорошо пошел в Вене[2].

А между тем, твоей смесью я не доволен — слишком мало. Надо что-нибудь прибавить, думал целое утро, искал, искал — и все еще не решился. Впрочем, сейчас пойду к Чернецк[ому] посмотреть, сколько есть места; чуть ли моей статьей[3] и объявлениями не все пополнено. Справившись, припишу тебе что̀ и как. Вертятся кое-какие мысли для смеси, но вдруг не умею совладать. Особенно меня затрагивает преобразование поземельн[ого] кредита, и просьба в одном месте Киев[ской] губ[ернии] — крестьян о продаже им назначенного к продаже именья бывшего их помещика. И то и другое подходило бы к моим статьям; но главная статья будет в следующем № — новая; тоже не хочется её предупреждать. Подумаю до завтра.

У Тх[оржевского] катар сильный, а брюху легче.

Жду с нетерпением ответа на вопрос о корреспон[денциях].

Встречаю в кафе человека, страшно похожего на Касаткина, да еще не мёртвого. Человек должен быть ужасно болен, но чем? чахоткой или болезнью сердца? А вопрос интересен. Вообрази, что Бине[4] никогда не предполагал у Касат[кина] болезни сердца и все лечил его от гемороидальных шишек. — Едет Лиз[авета] Ал[ексеевна?][5] в Русь или нет — не знаю. На-днях к ней схожу. Там всё дамы сидят, а Данич[6] ночует.

Тутс преуспевает. Генри работает, патинирует и танцует.

Женева, вечером. Кажется, еще нужно 2 колонны смеси. Постараюсь завтра обделать. Чернец[кий] и Тх[оржевский] твои письма получили и будут писать завтра. Лиза пишет о присылке мне какого-то пакета, но не прислала.

Лиз[авета] Ал[ексеевна] в Русь, кажется, не едет.

Помнишь ты генеральшу Биб[икову][7], которая была в Лондоне с дочерьми? Напиши, что ты об ней помнишь.

Тх[оржевский] тебе кланяется. M-me Чернец[кая] нездорова.

Тх[оржевский] все страдает **животом**.

Я иду домой.

Addio, carissimi, всех вас обнимаю.

[1] Это письмо Герцена нам неизвестно.

[2] Герцен, наоборот, мало был склонен верить в успех французского «Колокола». Так, в письме от 9 января 1868 г. (являющемся ответом на это) писал: «Мы фурвуировались — дело ясное, что никто не хочет ни франц[узского] ни русского «Колок[ола]»... я не могу в этих условиях работать...» (т. XX, стр. 130).

[3] «La Russie actuelle et son devéloppement» в N. N. 1—4, 6, 8, 10 «Kolokol'a».

[4] Бине — врач.

[5] Лизавета Алексеевна — жена В. И. Касаткина.

[6] Данич — наборщик в типографии Чернецкого.

[7] Бибикова Мария Николаевна — жена генерала, мать писателя П. А. Бибикова, посещавшая Герцена в Лондоне.

80

21 янв[аря 1868 г.]. Вторник[1]

Только вчера мог видеться с Черн[ецким]. По *n* причинам прежде не был. Главная, — я не мог сообразить, что я стану с ним говорить и какое выдумаю предложение? Ты знаешь, как он мудрен, а дела его неисправимы. Ему хочется капитала. Я ему говорю, что его неоткуда взять. Он говорит, что тогда нельзя продолжать типографию, а что если ее не продолжать, то не может уплатить долгов, которых 4 000 фр[анков] (вероятно, с лишком). — Но ведь и продолжая ее нельзя их уплатить, если нет работы и она дает убыток. — Как же из этого извернуться?[2] — Я его уговариваю закрыть типографию и присоединиться к Пфеферу[3]. Он на это согласен, но это можно только в мае.

До тех пор нельзя не заплатить за него из бах[метевских] денег 1 000 фр[анков], что для него выгоднее, ибо надо платить 5 пр[оцентов], а не 6% как если б ты за него поручился в банке. Я не вижу, почему это помешает из бах[метевских] же денег издать «Пол[ярную] Звезду» [4]. Мне один русский сказывал, что «Пол[ярная] Звез-[да»] всегда покупалась и не переставала покупаться, что «Кол[окол»] последнее время шел плохо, но «Пол[ярная] Звезда» всегда шла хорошо. Ergo, есть надежда, что можно будет уплатить.

Об залоге я с ним не говорил. Каким образом ты дашь ему под залог? Типография всё же не уплатит. Продать вещи — за них почти ничего не дадут. Если можно заплатить за него и чтоб он уже непременно перешел к Пфеферу и не думал уже о дальнейшей любви к собственности — а выплачивал бы из нового образа работы, это, мне кажется, единственно возможное. Тх[оржевский] сегодня тоже хотел тебе писать. Черн[ецкий] сам к тебе сегодня пишет. Подумай и отвечай. Перепиской, я думаю, можно легче и мягче сладить с ним.

За твою присылку мне и за твое предложение сильно благодарю. Я не понимаю, зачем еще сашины деньги. Теперь я на Тутса почти ничего не трачу. Бедный Тутс несколько дней болен. Сначала я испугался, ходил в Lancy за доктором; но оказался простой катар, теперь ему лучше.

Присылки С[атина] всё же жду с нетерпением, ибо тогда могу переехать и жить дешевле, то-есть квартиры в Паки [5] дешевле и Тутса можно посылать в лучшую школу. Да и квартиры там лучше. Здесь всё дым. Все эти дни погода была ужасная — буря и дождь, слякоть страшная. Ходить далёко, топить нельзя.

Ты обвиняешь меня в белиберде; но ведь я не защищаю С[атина]; а ты говоришь, что социологически объяснить нельзя, ведь это тоже не ясно.

Сейчас получил твое письмо от 19-го. Я, право, не знаю, как разгонять, когда уже раз так началось печататься и потом на полуслове остановиться ужасно нелепо. Но да будет воля твоя.

Мне самому страшен вопрос об Лизе. Ее отпускать нельзя. Я об ней часто думаю и постоянно вижу ее во сне.

Спокойное письмо Мар[ии] Ал[ексеевны] [6] ничего не доказывает: это ее характер.

Молок[анину] не запирай двери: он кажется сомнителен, а между тем, вероятнее, что он только сумасшедший, но может быть и полезен.

Я свежую статью [7] дописываю в «Кол[окол]» для книги, и думаю, что ты ею будешь доволен.

Сегодня, хотя и ветер, но светло. Пойду к Тх[оржевскому] — там докончу письмо.

Ж е н е в а, в е ч е р о м. Тх[оржевского] не нашел. Твое письмо к нему отдал портьерке.

Получил письмо от Бак[унина], который выписывает из Илькорана Mahomet dit à la montagne: approche, et quandelle ne s'est pas approché, il est allé à elle. — Вследствие этого приезжает ко мне. Печатает 4-й лист своей статьи. —

Что за чушь заводить магазин в Женеве с M-me Черн[ецкой]? Я этого не понимаю. Во-первых, ни один субъект не способен руководствовать этим делом; а во-вторых, нужен капитал, иначе всё = 0 или —.

Тх[оржевский], вероятно, не приходил в курону, потому что всё занят делами Кас[аткина], ибо он о п е к у н. Кас[атки]на, разумеется, согласна на твои чтения; я уже, кажется, писал тебе об этом.

Почему ты думаешь, что не надо заниматься математикой и музыкой? Для меня это, кажется, больше моя сущность, чем что другое.

За сим прощай. Обнимаю тебя, Лизу и N[atalie].

[1] Датируется по январским письмам Герцена 1868 г.

[2] Чернецкий, получив типографию от Герцена, вскоре, вследствие большой бесхозяйственности, поставил ее в тяжелое положение; Герцен и Огарев всячески поддерживали Чернецкого, сделавшего ряд серьезных долгов. В данном письме как раз и дискуссируется вопрос о «спасении» типографии.

[3] Пфефер — женевский типограф.

[4] В 1869 г. был издан последний номер «Полярной Звезды» со стихами Н. П. Огарева и статьями Герцена.

[5] Lancy (Ланси), Паки — предместья Женевы.

[6] Мария Алексеевна — М. А. Тучкова, сестра отца Н. А. Тучковой-Огаревой.

[7] Повидимому, «La famine en Russie», напечатанную в № 4 «Колокола».

81

26 янв[аря 1868 г.]. Воскресенье [1]

Сегодня получил милое письмо от Таты. У Ольги новые фортопьяны, у Мальвиды старые головные боли. Жаль ее. Тата очень хвалит юного М[ещерского] [2] — и попомнила мне Анну Бор[исовну] [3]. — Эк! воскресают старые времена! Видно, что старость приходит: всё кажется так делёко, далёко, а вспоминается постоянно и во сне и на яву.

Тх[оржевский] вчера сказывал, что получил от тебя письмо. Твое последнее ко мне было от 19, т. е. ровно неделя. С неистовым нетерпением жду от тебя окончательной корректуры русск[ого] прибавл[ения] [4] или хотя слова об нем, и уже мороз по коже подирает, — на что решиться, чтоб набрать «Кол[окол»] во время? Франц[узский] готов, только mise en page и печатай. Для русск[ого] мне бы хотелось твоего одобрения. Я только и работал эти дни для «Кол[окола»], и, надеюсь, что ты моей новой статьею в книге (V) не останешься не-



ТУИКЕНХЭМ

Гравюра

Музей изобразительных искусств, Москва

доволен. Но все же наполнять почти 2 листа моей книгой — как-то неловко.

Напрасно ты не хочешь принять Мол[оканина]. Мы с ним больше познакомились; он сумасшедший и фанатик, но остальное все вздор. — Черн[ецкий] имеет от него работу. — Я имею статью, о которой еще припишу. Болтать с ним я много не стану, и сам он не болтлив; но отталкивать его было бы глупо.

Автору нелепейшей статьи против тебя и помещенной черт знает в каком журнале южной губернии — дали Станислава 3-й степени и хотят распустить ее в виде брошюры в 2000 экземпляр[ах]. Это можешь поместить в следующем №, если сочтешь нужным. При сем и статья.

Тх[оржевский] пришел, писать хочет тебе завтра.

Тутсу лучше гораздо.

Обнимаю тебя и N[atalie]. Цалую Лизу.

P. S. Тх[оржевский] ушел. Жду Черн[ецкого] и M-me Черн[ецкую], но поздно — видно не будут. Поэтому заканчиваю, и несу письмо на почту. Также посылаю тебе «Кооператив», с статьями Таландье[5].

P. P. S. — Чернецкие были. Плохи новости: надо завтра приготовить 5 колонн французского и 2 русского. Решительно не знаю, что придумать. Из книги, вероятно, нельзя; теперь пришла глава, которая требует бесконечной переделки. Но хоть тресни, да полезай. Ergo, может напишу особую статью, или еще смесь. «Кооператив» пришлю завтра.

[1] Датируется по январским письмам Герцена 1868 г.

[2] Мещерский Александр Николаевич — в 1868 г. жил в Италии; предполагалась его женитьба на Тате.

[3] Кто такая Анна Борисовна — не выяснено.

[4] К французскому «Kolokol'y» иногда давалось и русское прибавление. Всего за 1868 г. было издано 6 номеров русских прибавлений.

[5] Таландье Альфред (1822—1890) — французский политический деятель, участник революции 1848 г. В 1851 г. эмигрировал в Англию, где близко сошелся с Герценом и Н. П. Огаревым, с которым долгое время поддерживал дружественные отношения. Впоследствии член Палаты депутатов.

82

5 февр[аля 1868 г.]. Середа[1]

Тх[оржевский] приносил сегодня твою статью[2], которая очень мила; он отправился с ней в типографию. Поправлять буду я с Давидом, которого последними корректурами я очень доволен. Спасибо тебе, что прислал; ergo, я могу вздохнуть дня два-три — над стихоплетством, математикой и музыкой, т. е. всё же над тем, что составляет мою сущность, а там смейся надо мной как хочешь. Сердиться я не стану, особенно на тебя.

Объявлять о невыходе «Кол[окола»] прежде 1 марта — было поздно.

Вчера был, т. е. третьего дня и вчера (вчера уехал) Бак[унин] и Л[анкевич][3], один из отличнейших людей и наиболее знающий отечество. Он (то же, что я, подумал при первом пересмотре) сказал о письме (не для печати), что это писал чиновник, и взял его чтоб написать вместе с Бак[униным] ответ. Вот тебе даже и прибавление, да еще, вероятно, славное. — Бак[унин] чрезвычайно доволен твоей статьей против Фота[4] и рассказывает, что они там на него ужасно злятся, потому что он им доказывает, что они говорят только общие места и сами не чувствуют, что пахнут мертвечиной. Я думаю, что в этом и вся знаменитая интрига.

Твое письмо с портретом Сер[гея] Ив[ановича][5] получил вчера. Что за энергическое и болезненное лицо! Ты его меньше помнишь, чем я. Это один из людей, которого я любил наиболее fraternellement.

О «Голосе» и пр. и о письмах даже — надо поаккуратнее справиться, прежде чем что-нибудь решать.

Твое происшествие в Casino — превосходно; так бы и хотелось напечатать, если б можно.

У меня болит челюсть и висок. Простуда это или зубошатанье — не знаю; но боюсь невралгии.

Теперь стану писать статью о земских учреждениях.

Л[анкевич?] почти во всем со мной согласен, а он был в деле.

Не сердись на меня, что редко пишу. Право, так устал от «Кол[окола»], что вовсе ничего в голову не лезет для писем.

Лизу целую и благодарю за записочку. На-днях ей напишу.

Тате писал сегодня только. Герцен, она становится моим любимцем. Что это за милая натура, я ничего лучше не знаю.

За сим прощай! Пойду на почту. — Обнимаю тебя и N[atalie].

Получил письмо от сестры[6], да подумал: My goodness! ведь ей 60 лет!

P. S. О Громоре читал. Зачем ты рекомендуешь ему «Героя нашего времени»? Ведь это герой не нашего времени[7].

Пожалуйста, мне вырубовский журнал[8] привези, ибо мне статья Наке[9] необходима.

[1] Датируется по письму Герцена к С. Тхоржевскому от 3 февраля 1868 г. (т. XX, стр. 152).

[2] Повидимому, «Махровые цветы и цветы Минервы» — напечатанная в № 4 «Kolokol'a».

[3] О ком пишет Огарев — точно не выяснено; может быть Валентин Ланкевич, польский эмигрант, в 1868—1870 гг. живший в Италии, близкий друг М. А. Бакунина. Убит в 1870 г. на баррикадах, во время Парижской Коммуны.

[4] Статья против Фохта — «За войну ли мы?» — напечатана в № 3 «Kolokol'a».

[5] Астраков Сергей Иванович — см. комментарии к письму 41.

[6] Сестра Анна Платоновна — по мужу Плаутина.

[7] В письме к С. Тхоржевскому Герцен сообщал: «...Имею письмо от Громора. Он подрядился в библиотеку chemin de fer издать несколько томиков переводов с русского, это очень полезно. Я ему рекомендовал «Детство» Толстого, «Героя нашего времени», «Мертвый дом»... (т. XX, стр. 152). Громор — переводчик, о нем см. комментарии к предыдущим письмам.

[8] Вырубовский журнал — «Позитивная философия», издаваемый им совместно с Литтре.

[9] Накэ Альфред — буржуазный демократ, близкий к Бакунину, член Центрального комитета «Лиги мира и свободы».

83

5 июля [1868 г.]. Воскресенье[1]

Где ты, мой милый Герцен[2], мстящий мне за то, что мне некогда и мозготягостно и что я потому редко пишу; а вследствие этого мщения, я не знаю даже, куда писать и не знаю —

Ты в Люцерне или в Бале?
Чем в уме твоем полно?
Ты в каком избрал подвале
Многолетнее вино?

А между тем, спросить тебя и сообщить тебе нужно о многом, и начинаю по порядку, так чтоб чего не забыть.

1) Черн[ецкий] спрашивает — получил ли ты корректуру, которую он послал в Мюлуз 29 июня; он ее обратно не получал, а она ему нужна.

2) Мечн[иков] [3] вчера приехал из Немчины, где виделся с пéром и очень доволен, спрашивает: a) не хотим ли выписать пополам несколько журналов, даже губернских (как «Киевлянин» [4] и т. п.); он хотел составить программу и жаждет нашего согласия; b) не хочешь ли, чтоб он приготовил статью в «Полярн[ую] Звезду» — у него наберутся хорошие материалы; c) спрашивал о том, сколько эта статья уже заняла в «Колок[оле»] листов, ибо боится выйти за границу 4-листового размера, как ты хотел, и спрашивает, может ли немножко перешагнуть, чтоб не выпускать какой эпохи [5]. Я его вопрос об этом передал Черн[ецкому], который тотчас не мог отвечать и хочет сообразить и дать ответ. Мечн[иков] поздоровел.

3) Получил ли ты «Современность» и какого мнения о статье об эмиграции? [6] Подсказывать ничего не хочу, а знать твое мнение жажду.

4) Вчера был Майор. Доску снял, но сказал, что через 4 дня приедет посмотреть что̀ с ногой [7]. — Уретра в совершенной исправности; а о голове не успеваю порядком поговорить, ибо он все спешит; а что тут from the top мне не лучше, это, к сожалению, так, и весьма удручительно.

5) Статью в «Кол[окол»] [8], кажется, обделываю порядочно. Не знаю, как ты и публика? Боюсь и того и другого.

6) В этом отделе Базарова я ничего не нашел поправлять [9], кроме грамматических ничтожностей — и то не много.

7) Тата с тобой ли? К ней писать еще не собрался; скажи ей, что Генри 2 раза на почту ходил, но ему о ее письмах никаких извещений делать не хотят. Надо, чтоб она написала в почтамт, чтоб на ее имя письма отсылали ко мне.

8) Вследствие твоего последнего письма, адресую еще в Базель и при сем 3 «Голоса» и книжку о рукоделии (из Мюлуза или Страсбурга).

9) От Тх[оржевского] имею вчера письмо, завтра стану ему писать. А теперь...

Прощай! Крепко цалую Лизу.

---

[1] Датируется по письмам Герцена от 2 и 8 июля 1868 г. (т. XXI, стр. 9, 14).

[2] В июле 1868 г. Герцен часто переезжал из города в город (Базель, Берн, Люцерн и т. д.).

[3] Мечников Л. И. — см. комментарии к письму 24.

[4] «Киевлянин» — одна из крупнейших провинциальных газет, издававшаяся с 1864 г. В. Я. Шульгиным.

[5] В письме от 8 июня 1868 г. (с. XXI, стр. 14), Герцен писал: «... Очень рад, что Мечников даст пятый лист. Насчет «Полярной Звезды» спроси его, что (т. е. о каком предмете) будет его статья» и т. д.

[6] «Современность» — журнал, издававшийся в Женеве в 1868 г. Л. И. Мечниковым и Н. Я. Николадзе. Анонимная статья о русской эмиграции принадлежит последнему. Герцен в письме от 5 июля дал очень резкий отзыв об этом журнале: «...„Современность" читал. Пока ты защищаешь материнским крылом милых щенят псевдо-нигилизма, они сами себя начинают выводить на свежую воду... Итак, эта бездарная пена, эта гниль на корню развеет сама себя...» (т. XXI, стр. 11).

[7] В феврале 1868 г. Н. П. Огарев, во время припадка, сломал ногу и пролежал на улице целую ночь без помощи; потом долго лечился.

[8] Повидимому, «Les malheureux ou un monde à part», напечатанная в № 13 «Kolokol'а».

[9] Речь идет о статье Герцена «Еще раз Базаров», напечатанной в «Полярной Звезде», кн. VIII. В письме от 2 июля Герцен писал Огареву: «Вчера я послал Чернецкому... второе письмо о «Базарове», которое, пожалуйста, предварительно прочти. Вымарывай, что хочешь...» (т. XXI, стр. 9).

84

15 окт[ября 1868 г.]. Четверг [1]

Сегодня вечером был Майор — и вот его результат и рисунок. Посылаю тебе на усмотрение. Посылаю с вечера, чтоб с утра пошло на почту.

Тх[оржевскому] лучше. Жду его сегодня вечером еще раз.

Майор не видит перемены в ноге, но не противится заказать сапог с машинкой (т. е. с железной полоской с боку и кружочком) и хотел зайти к Демарету [2] поговорить и прислать его ко мне. — Теперь все остается за твоим решением.

Сейчас М[эри] принесла от Черн[ецкого] внутренний лист «Колокола». Поужинаю и примусь поправлять, завтра утром зайдут за ним. Вероятно, к послезавтра «Кол[окол]» поспеет. — О «Полярн[ой]



ДОЧЬ ГЕРЦЕНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Фотография, 1870-е гг.

Собрание С. Бернацкой, Москва

Зве[зде]» Тх[оржевский] писал тебе. — Еще не приходил — подожду запечатывать.

Тх[оржевского] нет. Поздно — надо послать на почту.

Цалую вас всех toguether, carissimi.

Майор не только был грубым швейцарцем, но объяснял насколько возможно, с большим тщанием.

1) Изломов было не один, а несколько. Ощупать всех было нельзя; но присутствие их несомненно.

2) Употребить сжимающий снаряд было нельзя, по причине слишком большой опухоли и перекровия ноги (от того, что я ночь пролежал без помощи). (appareil compressif)

3) Поэтому сделано что возможно и все что̀ возможно.

4) Майор считает попытку перевставления и всё мнение об оном — опасным безумием.

[1] Датируется по письму Герцена от 18 октября 1868 г. (т. XXI, стр. 196), в котором тот писал: «Письмо твое с иллюстрацией Майора получил... Если ты сколько-нибудь убежден в мнении Майора, если операция трудна, то следует ли начинать? Мне кажется, что ты с очень неприязненной точки смотришь на операцию и делаешь уступку; не проще ли же ее не делать?...».

[2] Демарет — женевский торговец протезами.

85

Четверг 26 ноября [1868 г.][1]

Я не писал к тебе сегодня, потому что ничего экстренного не усмотрел, а думал, что было бы что экстренное — ты заехал бы. — Теперь 7½ час[ов]. — Тх[оржевский] еще не приходил. Если что еще приписать случится, когда он придет — то припишу. — От Выр[убова] не было никаких известий. — Статья Колюп[анова][2] чрезвычайно фундаментальна, хотя ужасно тяжело написана. — Я в этот вопрос вклею и вопрос о рекрутстве. Особо статью писать по-французски не стоит; рекрутство, по расчету, приходится от 110 — до 120 000 человек. Количество большое, но оно на западе никого не устрашит; оно больше интересно манерами, которые интереснее взойдут в крестьянское освобождение. — Женщину присудили на 20 лет каторги. Генри говорит, что женевская толпа бесится; говорят, что надо было приговорить к казни, если она не сумасшедшая. — Самое удивительное для меня в «Колоколе»: как ты не велел давать без себя бон а тире, а издать велел к 1 декабря[3]; а сам приедешь 2-го? — Потом еще вопрос: когда годовщина детям?[4] Не написать ли мне что-нибудь Натали? Может это ее как-нибудь смягчит и урезонит?

10-й час. Тх[оржевский] был. Все принес. О бон а тире ничего не знает. Может Черн[ецкий] знает? Все завтра обделаю. Сегодня устал — нездоровится. Завтра напишу.

Благодарю за кассу.

[1] Датируется по письму Герцена от 28 ноября 1868 г. (т. XXI, стр. 179).

[2] Колюпанов Нил Петрович (1827—1894) — публицист и общественный деятель, сотрудник «Вестника Европы», автор ряда статей по вопросам земского и городского самоуправления. В 1868 г. в «Вестнике Европы» были помещены две его большие статьи: «Самарское земство» (кн. VII—VIII) и «Девятнадцатое февраля 1861 г.» (кн. X).

[3] 1 декабря должен был выйти последний номер французского «Kolokol'a», после чего он прекращал свое существование.

[4] День смерти близнецов Лели-boy и Лели-girl. «...Печальная годовщина 4 декабря, — отвечал Герцен. — Если ты хочешь писать, будь осторожен. Скажи, что я искренно (и это сущая правда) стремился ехать для воспитания Лизы, но что письма Natalie и ее замечания о «мести за гробом» глубоко огорчили меня: скажи, что ты пишешь, не показывая мне. До сей минуты из Ниццы ни строки...».

86

Понедельник 7-го декабря [1868 г.][1]
2 часа пополудни

Телеграмма твоя пришла к Тх[оржевскому] на квартиру в субб[оту] в 6 час[ов] вечера, где он ее случайно нашел в 8 час[ов] и принес ко мне.

Письмо твое от субб[оты] пришло сегодня в 8 час[ов] утра. Вчера Тх[оржевский] достать его не мог.

Varioloide называется в медицине летучая оспа. Имя придуманное очень хорошо, ибо летучих осп, которые все подходят к типу настоящей оспы, но отличаются безопасностью и неоставлением слишком важных рубцов, — несколько сортов. — Почему ты думаешь, что

это настоящая оспа? Как решить? Тх[оржевско]му, кроме Гор[чакова] [2], сказывали, что в Ницце часто и теперь эпидемия оспы. — Какой? — спрашивал я его. — Это он не знает. — Опять решить невозможно. Если б была эпидемия летучей оспы — то все бы ничего. — А если эпидемия настоящей оспы? И если это настоящая? O mein Herr Gott! Ни сна, ни покоя. Как быть? что делать? Одному ехать решительно нельзя, с кем-нибудь — ужасно противно. Да и с Тх[оржевским] — то опять только ему помешаешь. — Мой бедный Жюль! зачем его нет здесь, он просто дурак и слава богу! — А что? Тате хотелось бы, чтоб я был при ней? Однако этого достаточно, чтоб я приехал каким бы способом ни было. — Как же я стану ждать твоего письма! — Натали обещалась писать каждый день, а ты и этого не хочешь! Ну — да терпи казак — а там âne будешь!

Тх[оржевский] получил сегодня телеграмму о том, что нотариус завтра приедет выдать ему княжеское наследство [3]. — Ты что-то хотел писать о том, что печатать из Д[олгоруковских] бумаг в суплементе. Пиши же, если только можешь. А то, пожалуй, запоздаем с этой удивительной типографией. — Черн[ецкий] сейчас прислал за твоей рукописью (в первый раз, хотя я и ждал его ежедневно). Но пишет и спрашивает о Тате. Это, с другой стороны, заставляет меня все прощать ему; я ему отвечал.

А все же добрый пан [4] лучше всех, и я к нему имею нежность, несмотря на то, что он ужасно тяжел. Я ему, действительно, все прощаю.

Новая «Неделя» превосходна. Еще проштудирую кое-что и к концу недели пошлю тебе (если мне не надо ехать самому). Но «Неделя» сломит себе шею скоро, она дерзче «Кол[окола»]. — Что Пят[ковский] [5] там нагородил — просто удивляешься смелости — возможности.

Вчера мне было 55 лет. Satis — sufficit!

P. S. Цалую мою Лизу и жду от нее письма. Кстати: если в Ницце эпидемия, то не 6-й этаж и не отдельность от Таты (что очень скверно) спасут, а неподготовленность органической почвы — и только. Прощай! Пиши.

Я писал в субботу.

[1] Датируется по письму Герцена от 5 декабря 1868 г. (т. XXI, стр. 241), в котором говорится о внезапном заболевании Таты оспой. «Первый рапорт будет корсток, но не из веселых. У Таты, по-моему, просто о с п а, и слово varioloide — terme d'àrgot. Страдает она ужасно, ее узнать нельзя. Глаза почти закрыты, говорить не может от прыщей в горле, читать не может, слушать не может, а всё сыпь нарывает... Лизу перевели в шестой этаж с Лизаветой, я — в третьем... Опасности нет, говорит доктор. Осторожность соблюдается большая, лишь бы не осталось следов...».

[2] Г о р ч а к о в Николай Михайлович, князь — младший секретарь русского посольства в Париже. В письме от 9 декабря 1868 г. (т. XXI, стр. 243) Герцен пишет: «... Горчаков врет: никакой эпидемии здесь нет, а есть частные случаи, и притом редкие, тифа...».

[3] 17 августа 1868 г. в Берне умер П. В. Долгоруков, завещав большую часть своего наследства С. Тхоржевскому, ухаживавшему за ним во время предсмертной болезни. В руки Тхоржевскому попало и литературное наследство П. В. Долгорукова. «Князь Долгоруков, — писал Герцен в «Колоколе», — который, как неутомимый тореадор, дразнил без отдыха и пощады, точно быка, русское правительство и заставлял дрожать камарилью Зимнего дворца, скончался... Те, чью сомнительную совесть повергали в трепет его разоблачения, его замечательная память и богатые документы, могут вздохнуть теперь свободно. Да, но не совсем так свободно, как они надеются: князь Долгоруков не унес с собой своих бумаг и папок. Они в очень надежных руках!» (т. XX, стр. 89).

[4] Д о б р ы й п а н — С. Тхоржевский.

[5] П я т к о в с к и й Александр Петрович (1840—1902) — журналист и критик, издатель журнала «Наблюдатель», один из руководящих сотрудников «Недели».

87

[9 декабря 1868 г.][1]

Ну! вот видишь, caro mio, что вот тебе и новая форма осповидных болезней (varioloides), которая подходит под тот же тип, но далеко не так опасна. Надеюсь на той неделе получить известие как Тата ходит по комнате и как остатки болезни исчезают.

3-го дня я писал тебе о статье Вихерского[2] и послал его письмо к тебе. Я не навязывал ее Чернецкому, он сам предложил сделать на 3 месяца кредит от типографии, говоря, что это от 120 до 140 фр[анков]. — Вчера прислал мне расчет в 146 фр[анков] (с бумагой) и отказ печатать в кредит (точно он в понедельник меньше знал, что может делать, чем во вторник). Хорошо, что я еще не писал Вихерскому. — Даже Тх[оржевский] обиделся и взялся уладить, тем больше, что получил о Вихорском известие, как о человеке совершенно известном и состоятельном. Увижу, что̀ завтра будет и только когда что будет, верно, напишу Вих[орскому]. — Жаль, что это заставляет длить, ибо оно немножко грубо. Но еще было бы грубее написать какой-нибудь вздор.

Тх[оржевский] послал тебе (вероятно) «Отечест[венные] Записки», а я все виноват, что еще задержу на несколько дней — «Неделю», ибо нужно.

Принц-наследник[3] выделил маменьке 50/т[ысяч] фр[анков], на том и порешили. — С тех пор она все хочет свидания с Тх[оржевским], зачем — не знаю. Вероятно, боится, чтоб у него не осталось каких документов против нее. — О ее происках они знали. — Тх[оржевский] все встрюбарбер, чувствует себя здоровее, забегает на минуту поутру и потом все имеет свидания по делам.

За сим addio. Герцен, — Г[енри] скоро пойдет на лекцию и снесет письмо на почту, а я возвращаюсь к статье.

[1] Датируется условно по письмам Герцена к Н. П. Огареву и С. Тхоржевскому этого периода.

[2] Вихерский, вернее Вихорский — польский эмигрант; его статья «Письмо к генералу Ф. Ф. Трепову» была напечатана отдельной брошюрой в типографии Чернецкого в 1869 г. В письме от 17 декабря 1868 г. к Огареву Герцен пишет: «Брошюру поляка непременно печатать...» и в другом месте: «Польскую книгу, т. е. Вихерского, вели сейчас набирать. Он просит поправить язык — это уж ты сделай...».

[3] Принц-наследник — В. П. Долгоруков.

88

11 дек[абря 1868 г.]. Пятница[1]

Вчера твое письмо к Тх[оржевскому], сегодня в 8 час[ов] твое письмо (от 9-го) ко мне. Ну! Кажется, все пошло хорошо! Милая Тата! Как же она умеет страдать — честь ей и слава! Только ты меня и не сравнивай с ней в уменьи страдать: она страдает терпеливо от силы организма, а я просто мало страдаю от апатии организма. Ты, может, в то̀м усомнишься, а когда-нибудь увидишь наглядно, что это правда. — Только я все еще не совсем успокоился: теперь, действительно, малейшая неосторожность (застуда совершающегося патологического накожного выпотения) — и может явиться рецидива. (Ты объясни Натали разницу между этим состоянием и здоровыми органами, подвергшимися простой простуде, что̀, обыкновенно, сводится на катаральные раздражения). Тем страшнее, если это настоящая оспа, которая в исходах обманчива. Но̀, хотя бы и было не совсем сердце на месте, всё же кажется и верится в совершенно хороший исход. Целую мою милую Тату, а писать стану к ней дней через 5 или 7. — Да! чтоб не забыть — оспенная или вариолоидная эпидемия в Ницце подтверждает-



ШВЕЙЦАРСКИЙ ХУТОР
Гуашь из альбома Бутурлиных
Литературный музей, Москва

ся уже несколькими, с примечанием, что в Ницце население любит скрывать существование оной. — К Натали тоже еще не решаюсь писать; благо все устанавливается хорошо — как бы не повредить. Еще письмо другое от тебя — и тогда примусь за корреспонденцию. Что Саша и Ольга? —

Вчера Тх[оржевский] приводил мне юного государя-наследника [2]. По-моему, он вырос и похорошел и далеко не глуп. Мне кажется, что он слишком наблюдает за своими словами и поведением, поэтому большой веры к нему не имею. Желаю, чтоб это была с моей стороны ошибка из-за предубеждения... Тх[оржевский] теперь с ним проводит дни и ночи, кончая дела, так что почти исчез; но страсть ехать в Ниццу у него остается; наследник же дня через два уедет.

Твою статейку об убийцах [3] — отдам, как скоро получу корректуру 1-й рукописи; ужо поправлю в ней грамматические ошибки, которыми она изобильна. (Кстати: зачем ты пишешь quattre вместо quatre — нигде не ставишь знаков?) — Впрочем, никто не торопится; я ужасно благодарен, что ты не торопишь суплементом — обстоятельнее справлюсь с одним из ближайших к сердцу детенышей. Ну! а если ошибусь? Плохо будет!

О другом — в другой раз. Теперь не хочется и пора на почту.

Addio, frater!

Тутс цалует Тату и часто об ней говорит. Впрочем, и все... ибо и М[эри] и Г[енри] вспоминают об ней с великой дружбой и уважением.

В «Моск[овских] Вед[омостях]» лучше — это нагоняй министра юстиции прокурорам за противузаконное и ненужное арестование людей во время следствия.

1 Датируется по письму Герцена от 9 декабря 1868 г. (т. XXI, стр. 243), в котором говорится о начавшемся выздоровлении Таты, о претерпенных ею страданиях и т. п.

2 Государь-наследник — В. П. Долгоруков, которому С. Тхоржевский и передал наследство, оставшееся от его отца.

3 Статейка об убийцах — повидимому «Мой будущий убийца и его календарь», напечатанная в «Supplément du Kolokol» от 15 февраля 1869 г.

89

17 дек[абря 1868 г.][1]. Четверг
(9 час[ов] утра)

Вчера вечером Черн[ецкий] прислал с работником коррект[уру] твоей статейки об убийственном письме (которую я уже и отправил обратно сегодня в 8 час[ов]) и письмо Спиридова[2], присланное мне через типографию. Вот оно тебе целиком; отвечай как знаешь, или напиши мне, что отвечать. Но не оставляй его, пожалей его. Если я дохожу до блаженства безумия, то он доходит до отчаяния безумия. Представь себе, что Г[енри] и Тутс были бы идиоты — я бы чувствовал себя обязанным хлопотать о них вдесятеро больше.

А что я дохожу до блаженства безумия — это другого рода факт. Просыпаюсь сегодня в 8-м часу в большом волнении: полночи все видел во сне темы моей работы, и гораздо больше развил их чем мог вчера, работая до полуночи. Это мне не помешало распорядиться отсылкой коррек[тур] с Г[енри], который шел на работу; услыхать, еще в постели, шаги почтальона и прочесть твое письмо от 15-го, которое еще подбавило волнения. Но все же встаю в волнении от сна и хочется ничего не забыть. Отворяю окно — сегодня воздух чудесный, солнце; Салев так и блестит. Просто удивительно хорошо — ну! как же не блаженство безумия?

Твое письмо меня сильно покоробило. Но ты напрасно слагаешь вину Саши на брак[3]. Мудрено предположить, чтоб тут ему Терезина что-нибудь подсказала. Это просто его собственное, обычное легкомыслие. Тем не меньше оно меня огорчает. — Теперь я стану писать к Нат[али], но обдуманно и письмо пошлю к тебе, чтоб ты мог его уничтожить, если оно не нужно. Но писать стану не сегодня. Сегодня ужасно хочется сохранить блаженство безумия, о котором написать тебе не мог удержаться. Берегись переезда, не застуди сыпь. Теперь, вероятно, и у вас опять солнце, а не серая и сырая погода. Эта погода была это время везде; даже в Петерб[урге] и Москве была оттепель и туман. — Я хочу сегодня послать тебе это письмо, чтоб оно дошло завтра — прежде вашего переезда. Только подожду Тх[оржевского], который забегает в 12 час[ов]. — В «Моск[овских] Вед[омостях»] еще ничего нет о прекращении «Кол[окола»]. В Etats-unis тоже не видел, разве как пропустил; я обычно это ищу в них, а «остального» ничего не читаю — скучно. Может и «Моск[овские] Вед[омости]» и Et[ats-]un[is], по дружбе, решились пройти прекращение «Кол[окола]» обидным молчанием — «Rev[ue] de 2 mondes» и «Неделю» лучше уже отправлю с Тх[оржевским] — разве он слишком долго станет собираться, тогда отправлю по почте. Но я его и сбирать не стану прежде твоего предписания. Боюсь тебе еще прибавить заботы. Ну! а если это из эгоизма — и он мне нужен? А нужен он мне в самом деле, помимо всяких мелочей, уже потому, что он хочет оставить меня на попечение Чернецкого — а эта мысль действует уже совсем как кошемар.

Около 2-х часов. Был и Тх[оржевский], но не обедал со мной — всё приглашен на обеды к Марселю (польско-русский повар). Мы хотим уладить печатание письма к Трепову[4]. По моему убеждению,

Герцен, это штука, хотя и не экстраординарная, но для русской печати за границей — дело серьезное, дело вызывающее, дело пропаганды. В крайнем случае решись раскошелиться на 150 фр[анков] из Бахметевск[ого] капитала. С чего же он будет лежать праздно, когда может быть полезен? Но, по всем сведениям, риску никакого нет. Человек просит кредита, потому что только-что убежал и на сию минуту без гроша, пока не получит своего достояния, получением которого распорядится как человек ловкий (homo sapiens). Мне ужасно больно тебя об этом умолять, а ведь, между тем, без таких...

[1] Датируется по письму Герцена от 19 декабря 1868 г. (т. XXI, стр. 252—253).

[2] Спиридов — русский эмигрант. Герцен отвечал: «...Со Спиридовым делай что хочешь, но зачем ты присылаешь его автографы. Я не могу и не читаю даже того, что он пишет ко мне... А отчего же об идиотах обязанность больше хлопотать? Что за монополия? Их пристраивают, кормят, отдают под надзор, но отчего же больше. Уж не христианство ли сии теории воодушевляет. И эквилибрацию нарушает...».

[3] Речь идет о некотором охлаждении А. А. Герцена к семье отца. А. И. Герцен писал: «...Само собой разумеется, что я никогда не думал, что Терез[ина] советовала Саше не писать... Я в его приезд в Женеву видел, что температура дружбы к Тате понизилась. Терез[ина] не поднимет ее. Господи, да когда же ты будешь понимать мои резкие замечания с твоей светлостью, с твоей гуманностью! Если блажен человек, скоты милующий, то ведь, блажен вдвое милующий пониманием друзей...».

[4] Письмо к Трепову — уже упоминавшаяся выше брошюра Ф. Вихорского. Герцен отвечал по этому поводу. «Я не только не имел нужды в шпорах для польской брошюры, но тотчас написал, что б печатать. Ты не понимаешь, что у меня не капризы, не скупость, а просто границы извне и в силу их границы изнутри...

...Моя совесть чиста, и я, действительно, не знаю, кто из русских больше дает на общее дело, а между тем, все меня «винят в народе»...

90

24 дек[абря 1868 г.]. Четверг [1]

И дождь и буря — день ужасный!
Развеселиться — труд напрасный.
Всё приняло суровый взгляд —
Салёв, и улица и сад;
Не знает Мэри, томно струся,
Как к завтраму достать ей гуся;
Тхоржевский хмурится слегка
И кажет пальцем сверх пупка; *
Я сам, хоть занят, но немножко
Коснеет мозг, хворает ножка... [2]

Но первое вопрос: погода должна быть всюду ужасная — что Тата? Что M-me Rocca [3]? Последнее обстоятельство прискорбно.

Больше писать некогда, ибо посылается тебе Ета-юни [4]. Статья их о Выр[убове] глупа и относительно его (хотя он не виноват отчасти, да и по неразумию будет доволен) и относительно «Кол[окола]» и Бак[унина] глупа. Хочешь отвечай — еще есть время, особенно для нескольких резких строк. — Я лучше напишу завтра или послезавтра, ибо имею потребность много тебе написать...

Целую барышню больную и барышню здоровую [5]. Что Натали? Из школы получена была записка: Madame Tootz est priée de venir compter par l'écolage. Тх[оржевский] ужасно смеялся.

[1] Датируется по письму Герцена от 21 декабря 1868 г. (т. XXI, стр. 254).

[2] Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1908 г., № 5.

* Я на него клевещу; он ест рюбарбер и чувствует себя здоровым, кланяется тебе, ждет от тебя ответа и готовит отчет к новому году.

[3] M-me Rocca — старушка, ухаживавшая в Ницце за детьми Герцена. «Накануне старушка Рокка занемогла, оспа..., — читаем в письме Герцена. — Вот и награда за усердие...».

[4] Ета-юни — «Etats-unis», орган «Лиги мира и свободы». В ответном письме Герцена от 26 декабря 1868 г. М. Лемке ошибочно напечатал: «Отписочка получена с бессмысленным извещением, что тебе писать некогда, и с глупым отрывком из «Emayne», на который я и не думаю отвечать».

[5] Тата и Лиза.

91

26 дек[абря 1868 г.]. Суббота (вечером)[1]

Память 14 дек[абря][2], Герцен! Помяни всех, кого хочется. Я поминаю Астракова.

Но во 1) твое письмо от 22-го пришло сегодня в 8 ч[асов] утра, а письмо от 24-го сегодня в 12 — 2) Ergo, я не удивляюсь отвратительности почт, хотя я одно письмо писал, пропустя дня четыре.

А главное, в 3-х. — Что ж это у вас такое, что все становятся больны?[3] Разумеется — кроме моей милой и свежей Лизы. Увидишь, это там у вас эпидемическая эссенция, которая не попадает на невосприимчивую почву. — Но прошу об одном — извещай как можно чаще, хотя бы я и ленился иногда. У нас все попрежнему. Только Тх[оржевский] предполагает, что выздоровел. Я не пишу, право, потому, что ужасно надо сосредоточиться и торопиться с окончанием суплемента. Первый вопрос о нем: заглавие — «Голод и новый год» — можно ли поместить эпиграф: «Вот-те, бабушка, и Юрьев день!»? Отвечай мне на это.

Я все сбираюсь тебе длинно писать, чтоб ты не подумал, что я от ответа отвертываюсь, как Бак[унин] от меня. Честное слово, что нет и что я слажу ответ совершенно из костей моего мозга. Но, право, теперь и читание и писание так озабочивают, что сюжет ускользает до конца суплемента.

Тх[оржевский] не решает писать к Жук[овскому], ибо сам не знает, сколько ему получать с Бенды[4]. Да ты об каких книгах пишешь? Которые мне присланы?

Сегодня и у нас сворачивает на бизу и солнце. Все лучше всех этих дней, которые меня утомили туманом, дождем, сырым теплом в саду, холодом в комнатах и т. д. Я давно ничего такого мерзкого не видал. Но с улиц сегодня воняет еще больше. Все же у вас должно быть лучше, хотя об эпидемии советую хорошенько справиться и переехать хоть в Монпелье. Прихватите хоть Щерб[акова][5].

От тебя ждем ответов. Поручения будут исполнены.

Цалую Тату в больные пятны, Лизу в здоровые щечки. Надеюсь, что Нат[али] скоро совсем без болезни обойдется, после простого cold'а. А тебе нечего болеть, ты человек сладкий.

Запечатаю письмо и пойду спать.

Вчера вечером был Чернец[кий] с женою. Ничего, я не ссорился; но он меня отталкивает, а она не притягивает.

Addio, caro mio!

[1] Датируется по письмам Герцена от 22 и 24 декабря 1868 г. (т. XXI, стр. 256 и 259).

[2] 14 декабря — день восстания декабристов.

[3] В письме Герцена от 24 декабря читаем: «...У нас не водворяется покой и sécurite. Nat[alie] в лихорадке, с сильной рвотой, с сильной головной болью. Так началась болезнь Таты. Лиза со мной в другом этаже. Если я занемогу, то концерт будет на славу...» (т. XXI, стр. 259).

[4] Бенда Б. — книгопродавец в Вене.

[5] В конце 1868 г. А. Я. Щербаков стал заниматься с Лизой Герцен.

92

31 дек[абря 1868 г.]. Четверг вечером [1]

С новым годом, с новым счастьем, мои милые! Надеюсь, что на этот раз счастье у вас явится хотя бы просто в выздоровлении всех — и в продолжении Лизы быть попрежнему здоровой.

Сегодня получил два письма от тебя, Герцен. Одно пан принес от 28-го и прежде него принес постман от 29-го.

Idem получил сегодня письмо от Саши; а Тх[оржевский] получил себе и тебе письма от Нефтеля.

1869 г. (полдень)

Вот и в самом деле Neujahrstag. Вчера я прервал писание, пошел ужинать; Тх[оржевский] пришел, но он не ест и не пьет (по крайней мере, у меня), а так потолковали и он взял послать тебе присланный Нефтелем полурусский журнал из Сан-Франциско [2]. Это дает курьезную, но неопределенную идею о крае и об отношении русских и американцев. Если что̀ хочешь перепечатать (с английск[ого] Тата может перевести) — то присылай. Ты, кажется, желаешь, чтоб суплемент опоздал — в отместку, что газеты не обратили внимания на уничтожение «Колокола» [3]. Я против опоздания ничего не имею, потому что мне статьи вырабатывать ужасно трудно; для подготовки немногих строк надо читать кучу, а память плоха и приходится еще перечитывать и пересматривать. Но все же я тебе замечу о русских журналах, что близкие, даже мало близкие (как «Пет[ербургские] Вед[омости]») не посмеют помянуть о «Кол[околе]». А если Катков не подаст голоса, то это с их стороны будет очень ловко. Но суплемент едва ли они оставят без отзыва. Тогда придется



ЛОЗАННА

Гравюра

Литературный музей, Москва

им рипостировать отдельно. Если бы так, то худого ничего не будет — можно будет пустить в ход еще суплемент. Не пришлешь ли ты такую писульку, что мы, мол, не стеснимся суплементами и издадим сколько и когда захотим? Сегодня Черн[ецкий] прислал мне набор половины моей статьи. А вообрази, что статью Вихер[ского] он еще не начинал, потому что торопится с мальвидиной книгой [4], которая еще не готова, и опаздывает «по ее вине, потому что она предисловие поздно прислала» (?). — Я теперь этим уже не занимаюсь: она ли не хочет меня беспокоить корректурой или сердится за то, что не нашла во мне большого сочувствия к увражу; я все же бы никогда не отказался быть ей полезным корректором. Вихерский мне пишет большую благодарность тебе и ручается, что он как возможно скорее разочтется прямо с типографией; мне же присылает в дар кой-какие (ненужные) книги. Но письмы его очень любезны и умны. Вообще, он должен быть весьма порядочный человек. По моему мнению — об его книге надо напечатать annonce в Suplement — но как — с выставлением женевск[ой] типографии или нет? Чорт знает, caro mio, серьезно советоваться решительно не с кем, а сам я ужасно нерешителен. Но решаюсь тебе послать корректуру, сколько набрано, моей статьи. Если тебе решительно противно — то похерь и всё тут [5]. Продолжать я все же продолжаю и тороплюсь. Но эту половину посылаю, потому что не знаю — послал тебе или пошлет тебе Черн[ецкий]? Лучше же быть уверенным, что она послана. — При сем также посылаю объявление русского монитера, который, по моему мнению, нам иметь необходимо. Это выйдет 160 фр[анков]. — Из денег, которые мне Тх[оржевский] выдаст завтра или в понедельник — я могу уделить на подписку, если у Георга сборных денег уже нет. Но стану ждать твоего разрешения. — Жук[овскому] напишу завтра. Пока он ответит — узнается, есть ли у Бенды деньги или нет; если нет — я могу тоже выплатить из 1 100 фр[анков], за которые очень тебе благодарен и воспользуюсь ими, чтоб из них в зачет пошло на будущие месяцы. Посмотрим. — Тута из твоего пальто одет щегольски, вчера все пел о тебе (называя тебя Александр Иваныч) и о Тате, и вспомнил о Мейзенбуг. Она была очень довольна тем, что у него очень развивается ухо; но кроме того — он очень забавен и не глуп, хотя непозитивное понимание развивается туго — Генри принес мне свой finissage часов; работает он, в самом деле, хорошо. Сорде еще раз ему повторил, что в этом году он возьмет его в работники и что он сам может зарабатывать свой хлеб, чего ему, кажется, очень хочется, потому что прежде всего это натура честная.

Третьего дня я случайно взял в шкапу «Полярн[ую] Звезд[у]» 1824 г. — и остаюсь под ее влиянием. Даже мне все снится твоя маленькая комната под лестницей.

Ну, прощайте, carissimi. — Пора.

Саше стану писать завтра.

Вообще, я не доволен ничем, кроме лизиного портрета, который стоит на фортепьянах, и случается, что я не могу отстать ни от портрета ни от фортепьян.

Тх[оржевский] рассказывает разные тревоги. Но для меня самая противная моя тревога о том, что у них правительство и паны insigne начинают обирать крестьян и это будет universal и в России.

[1] Датируется по письмам Герцена от 28 и 29 декабря 1868 г. (т. XXI, стр. 262—263).

[2] Речь идет о журнале «Herald», издаваемом А. Гончаренко в Сан-Франциско в 1868—1869 гг. См. комментарии к предыдущим письмам.

[3] «...Жаль, если «Прибавл[ение]» выйдет прежде отзыва в «Голосе» и «Моск[овских] Вед[омостях]» о прекращении «Колокола», — писал Герцен. — Это молчание —

лучшее доказательство, что «Колокол» следовало прекратить: никому в России дела нет, выходит он, не выходит...».

[4] «Мемуары идеалистки» М. Мейзенбуг, изданные в 1869 г.

[5] «...Твоя статья превосходна, — отзывался о ней Герцен, — и ты сам это знаешь, но à la Boris Godounoff скромничаешь и кокетничаешь... Я жалею об этой статье, потому что «Приб[авление]» никто читать не станет...». Статья Н. П. Огарева «Голод и новый год» была напечатана в прибавлении к «Kolokol'у» 17 февраля 1869 г.

93

7 янв[аря 1869 г.][1] Четверг

Письма еще от тебя не приходило, но все равно хочется написать тебе несколько строк, хотя бы сказать, что я так себе — ничего — живу, здоровье весьма порядочно, хотя погода переменчивая и большей частью туманная, сильно располагает к простудам, но к маленьким, о которых не стоит говорить. Ушиб М[эри] — ничего, так только в самый момент немножко пугнул, она шла в темноте и наткнулась лбом на растворенную дверь; маленький синячок уже и прошел совершенно. В ваше выздоровление я имею какую-то веру, потому что после сильной острастки, уже минувшей, кажется, ничего серьезного не может быть; хотя все же не могу преодолеть какую-то внутреннюю дрожь в ожидании твоих писем.

Статья моя подвигается[2]. Черн[ецкий] пока занят набором статьи Вихерского. По правде сказать — она уже должна бы быть набрана; но с ним не сладишь, и он в самом деле в бедственном положении; я с ним спорить отказываюсь, потому что бесплодно. Он остался вдвоем с Даничем; других работников нет. Специально занят с Даничем (!) корректурой мальвидиных записок, торопится, не может ни с чем поспеть. Работы, которые под руку попадаются, пропускает. Страдает опять ревматизмом. Чорт знает что такое! Есть надежда на какую-то ассоциацию, которая, кажется, и выгодна, но все это вопрос. Для его осуществления, может, надо больше уменья, чем у него хватит. А в сущности, он и добрый человек, по крайней мере таким оказался в стараниях помочь двум польским мужикам, которые убежали от рекрутчины, чтоб ехать в Америку. Приехали в Лондон (не знают ни слова, кроме по-польски) с двумя евреями из своего края; евреи взялись достать им билеты на пароход в Америку (по 30 талеров на человека), взяли деньги, оставили их подождать на берегу, сами сели на пароход и уехали. Так они остались без гроша. Кой-с-какими помощами перебрались во Францию, где месяц работали на железной дороге в Лионе (по 3 фр[анка] в день); через месяц им сказали, что работы больше нет, чтоб искали в другом месте. Кто-то посоветовал им переехать в Галицию. Таким образом, они очутились в Женеве без гроша, без языка и без работы. Чернец[кий] хлопочет об них с благороднейшим усердием.

Ну! вот был и Тх[оржевский]. — Еще штука! Черн[ецкий] начал печат[ат]ь обёртку для мемуаров Мейзенбуг. На обёртке поставлено tome premier, — Георг не хочет принять, ибо неизвестно будет ли и когда будет последующий том, говорит, что он так взяться не может ни за какую продажу, кроме как на комиссию. Sta viator! Тх[оржевский] писал вчера вечером к Мейзенбуг, и теперь еще задержка издания, вероятно, на неделю. — Сверх всего, мне кажется, что у Чернецкого какие-то свои маленькие расчеты экономии на бумагу, на работу и пр., и если у него не будет associé, который вел бы дело — он, без сомнения, не может существовать.

Кстати, к моей статье. — Что значит твой Sta viator насчет моего примечания о Мартьянове? Все ли его похерить или что изменить — я не

понимаю? Мне кажется — что ж делать, что больно, лучше же пусть будет больно, но немножко воскресить память недюжинного человека. Но во всяком случае, я жду от тебя объяснения, ибо не понимаю.

За сим кладу письмо в пакет и посылаю на почту, и опять неугомонно возвращаюсь к моей статье.

Да! Я несколько прерывался, чтоб прочесть статью Скалдина[3] в «Отечест[венных] Записках», которой больше 100 страниц и с которой я готов враждовать, но в которой материалов куча. Все эти интересные вещи задерживаю до конца недели, ибо не могу обойтись без них. Тебе надо будет непременно осилить скуку и прочесть эту статью; кроме иной раз скуки и противности, есть слишком много симпатичного по пониманию и интересного по огромной работе. Там же статья Демерта[4] (Из недавней поездки), которая и интересна, и умна, и забавна. Там же статья о Кельсиеве[5] превосходнейшая. Из стихов разве стихотворение Пушкарева (С натуры), а то больно неизящно, а иной раз доходит до бессмыслицы.

Обнимаю вас всех, carissimi и addio!

[1] Датируется по письму Герцена от 3 января 1869 г. (т. XXI, стр. 269).

[2] Статья Н. П. Огарева «Голод и новый год» в «Kolokol'e» от 17 февраля 1869 г. Герцен давал такой отзыв о ней: «Твоя статья превосходна, и ты сам это знаешь... Я поставил × на sta viator при имени Мартьянова — как-то тяжело, и вымарал слово патриотизм, как больно приевшееся...».

[3] Статья Скалдина «В захолустьи и в столице» — в декабрьской книге «Отечественных Записок» 1868 г. Скалдин — псевдоним Ф. П. Еленова, члена совета Главного управления по делам печати. «Захолустье» необычайно интересно, — писал Герцен 24 января 1869 г. — Это поэма, от которой мороз дерет по коже».

[4] Статья Демерта «Из недавнего прошлого» там же.

[5] Статья о Кельсиеве Н. К. Михайловского, там же.

94

12 янв[аря 1869 г.][1]. Вторник

Я уж думал, caro mio, что ты начинаешь мне мстить — за то, что я реже пишу. Но вот пришло (сегодня в 1-м часу) твое письмецо от 9 янв[аря], а с тем вместе пришел и Тх[оржевский], которому я передал его половину твоего письма. — Я уж боялся, не хуже ли у вас, и ведь знаю, что будь хуже, ты бы поторопился писать, а все настолько изверился в жизнь, что ни с того ни [с] сего боюсь. Но вот у вас, кажется, все благополучно, только о татиных пятнах на лице ты ничего не пишешь.

Ты читаешь Бальзака! Оно, может, и хорошо, но все же должно быть скучно — и выработал ли Бальзак элемент, из которого развилось последующее — что-то сомнительно. Для этого надо в самом деле приняться перечитывать, но едва ли хватит терпенья. Все иное интереснее. А я перечитывал Гейне и увлекся до стихотворства и ужасно утомил себя, а результата не вышло; но еще раз примусь. Дай только суплемент покончить. Сейчас сдал еще отдел Даничу; надеюсь, дня в три все кончу. — Брошюра Вихер[ского] подходит к концу, но, как я тебе писал — мудрено концы сводить; у Черн[ецкого] только Данич; будь это порядочно устроено, давно бы было набрано. Тх[оржевский] говорит, что «Кол[окол»] (суплемент) с брошюрой одновременно пускать нельзя, что ни один книгопродавец не возьмет. Я, признаюсь, ничего в этом не понимаю. Во всяком случае, думаю, что брошюра должна быть готова, когда в «Кол[околе]» будет объявление о ней, чтобы тотчас желающий мог и купить ее. Корректуя ее, мне еще раз показалось, что публика русских путешественников станет ее читать с большим любопытством.

У Черн[ецкого], кажется, новая ассоциация налаживается. Посмотрим. —

Вырезываю тебе из № 275 «Моск[овских] Вед[омостей»] (20 дек[абря]) письмо Васильчикова о Погодине, [2] — только для того, чтоб тебя усладить деятельностью Мих[аила] Пет[ровича].

А старики вымирают — Снегирев [3] умер в Марьин[ской] больнице в Петербурге, в величайшей бедности. Кукольник [4] умер.

Тх[оржевский] приносил французский Клош. Посылать его тебе не годится, да не знаю, и за чем бы. Неужто только потому, что он воспользовался эпиграфом vivos voco и поместил страничку о шиллеровской глоке. А впрочем, это довольно ничтожное издание, даже с роялистским оттенком.



ВНУК ГЕРЦЕНА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (ТУТС)
Фотография, 1860-е гг.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

Жуков[ский] у меня был. Я ему заплатил (90 фр[анков] — 2 фр[анка] остался должен), а с Тх[оржевским] расчелся. — Ничего Жук[овский] не поглупел...

Ольге и Мал[ьвиде] я писал, Саше и Тер[езине] писал. Теперь обнимаю вас всех и посылаю письмо. М[эри] идет на почту и кличет: «Franceline, donnez du petit bois for the fire of Monsieur», и не удовлетворясь, подтверждает: «non! c'est trop large, donnez du petit shaving».

Тутсу она сама сшила еще 2 пары панталон и очень хорошо вышло, не хуже портного.

Пойду в сад походить. Нога с машинкой ничего, а без машинки никуда не годится.

[1] Датируется по январским письмам Герцена 1869 г.

[2] «Письмо к издателям» И. Васильчикова в № 275 «Моск. Ведомостей» от 20 декабря 1868 г.

[3] Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — профессор Московского универ-

ситета, знаток московских древностей, автор ряда работ по истории русской письменности и фольклору.

[4] Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — писатель; автор пользовавшейся большой популярностью в 30-х годах казенно-патриотической пьесы «Рука всевышнего отечество спасла». Герцен так характеризовал Н. В. Кукольника: «Такие цветы могли распускаться только у подножья императорского трона и под сенью Петропавловской крепости».

95

14 янв[аря 1869 г.]. Четверг [1]

Писем от тебя нет. Получил ли ты две мои записки? Тх[оржевский] не бывает у меня, на что-то сердится. Теперь скоро 3 часа, а его еще не было. Ради всех не святых, напиши хотя строчку.

Корреспонденции одна хуже другой. Писать обстоятельнее теперь я не хочу. А дела все-таки клеятся.

[1] Датируется по январским письмам Герцена 1869 г.

96

17 янв[аря 1869 г.] [1]. Воскресенье

Вчера получил твое письмо от 14-го с татиным письмом к Тх[оржевскому]. — Хотел вчера же писать, но отложил и кончил статью [2] в Суплемент. Прежде всего об этом: я все же — не как царь Борис или Алексей — а просто, как я сам, недоволен ею; иное вышло скомкано, другое длинно; но я не могу ее не поместить, потому что она все же plus ou moins кстати. Посмотрю — найдет ли читателей! Но она возбуждает другой вопрос: Суплемент выходит ½ французск[ий] и ½ русский. — Тх[оржевский] плачет об этом и говорит, что надо напечатать на 2-х разных листах, поставив русское прибавление особо, что иначе французск[ий] «Кол[окол]» убьёшь, что французских читателей не будет, что ни одна книжная лавка не возьмет ни на комиссию, ни в покупку. Я, caro mio, совсем этого не понимаю — и поэтому вынужден согласиться. Что ты скажешь?

Ждал вчера Черн[ецкого], но он не был. Его дело in spe, кажется, слаживается; но его дело теперь идет ужасно тихо. Вихерский остался в Брюсселе ждать высылки брошюры, я до сих пор корректуры 2-го листа не имею. Все это довольно неловко и скучновато, но, кажется мне, неисправимо, и потому надо вооружиться терпеньем.

Теперь жду Тх[оржевского] и отправлю тебе «Отеч[ественные] Зап[иски»] и «Вест[ник] Ев[ропы»] (2 части). Прочти (или перечти, если читал) статью Колюпанова, хотя бы и скучновато было; но таких коренных вещей пропускать нельзя. Ты из них увидишь — почему я мою статью, хотя и прискорбно недоволен ею, считаю кстати. — О других статьях я тебе, кажется, писал; заметь статью о мировых посредниках в «Вестн[ике] Ев[ропы»].

Вечером. Давеча ходил обедать, и Тх[оржевский] с нами обедал, и gigot был превосходный, и вино, которое мы берем боченком, превосходное и обходится вдвое дешевле. Тх[оржевский] поздоровел и пьет только вино, коньяку не пьет. Все возится с принцами. Вчера обедал с маленьким Долг[оруковым] [3] ужинал с полумаленьким Горч[аковым] et coetera. — Но я не поздоровел, Герцен, ибо лихорадка продолжается и обращается в невралгию надглазного нерва; этого я давно жду. Если завтра не будет лучше, то примусь за хинину, как единственное испытанное средство. Погода продолжается ужасная, полухолод, полутуман; света дневного настоящего не видать. — Вы, кажется, все поздоровели; Лиза толстеет, но что же она делает? Что давно не пишет?

Посылаю тебе вырезку из последней «Современной Летописи» (n. 46, декабр[я] 29). Я было хотел ее перепечатать с примечанием: «Да, да! и они правы, потому что тут действительное большинство невозможно». Но раздумал.

Занимаешься ли ты Востоком и конференциями? Я никак себя на это натянуть не могу. Все думается, что изменить в этом я ничего не могу; а узнаю — что̀ и как только по окончании, или когда-когда кто кого чем прихлопнет. Ну их... и т. д.

Черн[ецкого] все жду, жду. Вероятно, сегодня будет. Было бы странно, если-б не был и не принес никакой корректуры. В самом деле, заказчики не обязаны же знать, что у него рук нет.

Об Вихерск[ом] и моей переписке с ним напишу в другой раз. Мы полемизируем насчет Прудона. Мне он начинает казаться маленьким, хотя его письмо к Трепову, я думаю, найдет сбыт.

Теперь прощай. Напишу Тате важнейшую новость.

[1] Датируется по январским письмам Герцена 1869 г.

[2] Уже упоминавшаяся статья «Голод и новый год», напечатанная в приложении («суплементе») к французскому «Колоколу», вышедшему 17 февраля.

[3] В. П. Долгоруков.

[4] Н. М. Горчаков.

97

21 янв[аря 1869 г.][1]. Четверг
2, Petits Philosophes

(У нас полиция переменила все нумера для успеха цивилизации).

Сегодня пришло твое письмо от 17—19-го. Итак, Лиза не миновала[2]. Теперь твой черед. Экая напасть какая! Я рад, что ты нашел русского придворного доктора из немцев[3]. Я не галолюб, и потому мне кажется, что французская наука немножко падает. Счастливо, что все так тихо миновалось. Не знаю, насколько верить вашему с Щ[ербаковым] разложению мочи — но мне кажется, что тебе с весны еще раз надо посетить Виши. Не знаю, как у вас — мистраль или нет; у нас биза и холод до стучания зубов; целый день не могу согреться, хотя от этого ни ноге и ничему не хуже. Смотрите же теперь не застудите как-нибудь Лизу. Для меня совсем новость смесь и антиномия кори и вариоли. Эк я давно не следил за патологией! А ведь оно раскрывает глаза на вещи, хотя бы и не было специальным занятием. Примусь опять, погодя немного.

Твое письмо от 14 получил и тебе писал не позже 17-го или 18-го. — «Отечест[венные] Зап[иски»] тебе отправлены в понедельник, а затем 2 кн[иги] «Вестн[ика] Евр[опы»] — октябрь и декабрь. — Ноября у меня нет — у тебя он что-ли или нет? Майору их я не давал, но пользовался до окончания моей статьи, о которой я тебе писал, что недоволен — иное скомкано, другое длинно и слишком многое недосказано. — Черн[ецкий] обещался набрать дня через два, но вот уже, кажется, 5 и ничего нет — ни середины ни конца, и не могу добиться, как можно издать «Кол[окол]». Вихерского он, наконец, набрал, но еще не отпечатал. Обещался на этой неделе — но сомнительно. Даже еще мальвидины мемуары не покончены. Она пишет к Тх[оржевскому] и сердится. — Мне кажется, Черн[ецкий] находит, что ему дешевле работать вдвоем с Даничем, хоть эта манера и задерживает все и всех. — Ты хочешь его пристроить? Это мудрено; но делай как знаешь. Я могу и ошибаться от внутреннего неудовольствия. Об его новой ассоциации еще успеем списаться; все же еще недели три не скроится. Но будь ее — плохо; с его экономической работой он все заказы растеряет. — Теперь полдень, жду Тх[оржевского] — может что узнаю новое.

Вот и Тх[оржевский] был. Нового ничего нет, кроме того, что Гор[чаков] нездоров. Мне вдруг в голову пришло: вот и еще князь помрет и еще 30 т[ысяч] оставит Тх[оржевскому]. — Отчего же и нет? Ведь жить всем почти не для чего.

Что тебе за радость, что Выруб[ов] не враг? [4] Дружба demicompte non rendu не веселее вражды малоумных.

Мальв[идиных] мемуаров тебе Тх[оржевский] вчера отправил 2 экземпляра.

Кончивши статью, сдавши фортепиано to my old Mooser — я с горя принялся писать мои мемуары для Таты. Но вдруг меня прострелило стихоизвержением, и я стал писать «Панораму восточного вопроса» [5] в стиле, как у нас рассказывают панораму мужички на ярмарках. Думал, что поспею что-нибудь послать из этого сегодня; но нет — не так скоро дело делается. А на-днях, надеюсь, пошлю на имя Таты и Лизы. Штука выйдет злая — только боюсь, что не удастся; мудреней, чем казалось сначала. Спасибо тебе за грецкие орехи, постараюсь их попробовать.

А какова речь, caro mio? Что Вихерский хвастает мне красноречием в защите несправедливого дела? Вот это так красноречие! Куда им всем маленьким до такого огромного?

«Отеч[ественные] Зап[иски»] тебе посланы 17-го. — Тх[оржевский] говорит, что всегда на новый год есть задержка в газетах. А в России жалуются на новые исправленные почты. Вояжеры жалуются здесь, а «Моск[овские] Вед[омости»] даже жалуются на неверность в денежных расчетах новой исправленной почты.

От Черн[ецкого] сегодня еще ничего не получал. Плохо дело! — Сам буду теперь писать тебе чаще, потому что хочется. А теперь прощай. Посылаю на почту.

Мечник[ов] из Шпании воротился, ибо мало корреспонденции. — Тх[оржевского] он видел. У меня еще не был. Но желает писать статью в «Пол[ярную] Звезду».

[1] Датируется по письму Герцена от 24 января 1869 г. (т. XXI, стр. 274).

[2] В письме к М. К. Рейхель от 22 января 1869 г. (т. XXI, стр. 274) Герцен писал: «...После Нат[алии] Ал[ексеевны] занемогла Лиза. Болезнь, впрочем, все шла слабее; Тата лежала четыре недели, Нат[алия] Ал[ексеевна] — две, Лиза — одну, у нее была корь, смешанная с оспой...».

[3] Доктор Роберг Герард Альфредович, в 1868—1869 гг. живший в Ницце.

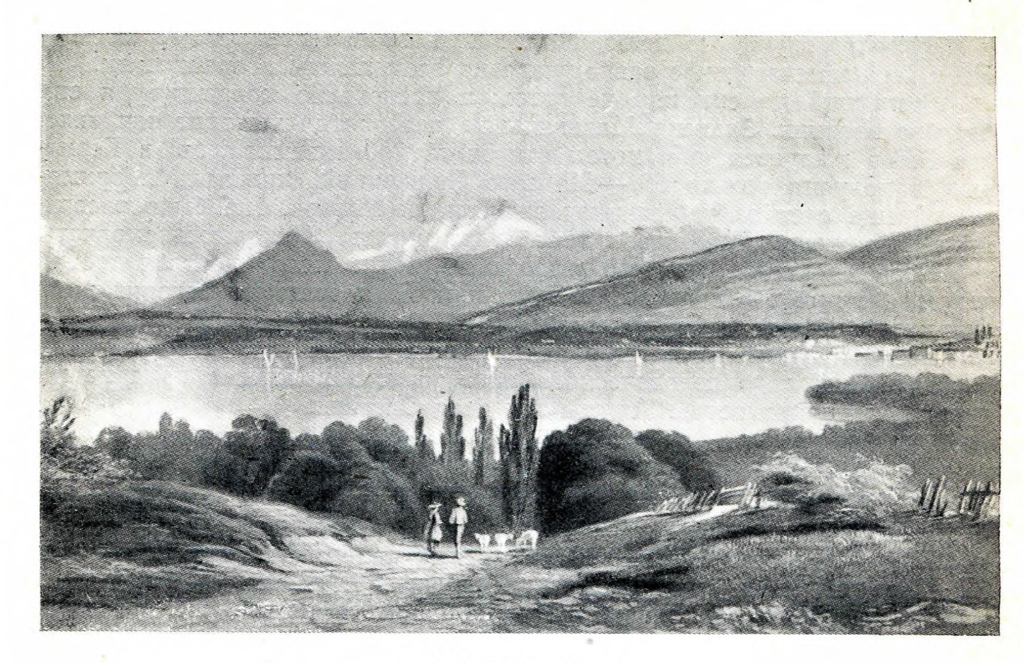
[4] Герцен отвечал: «...Выруб[ов] сегодня едет. Ты напрасно слишком нападаешь на него. Он даже гораздо добродушнее, чем кажется под доктринерской ваксой. Я не вижу необходимости отгонять людей чистых...» (т. XXI, стр. 274).

[5] «Панорама восточного вопроса» — поэма Н. П. Огарева, написанная в форме раешника.

98

28 янв[аря 1869 г.] [1]. Суббота. Вечером

Думал писать вчера и раздумал. Все читал. 3-го дня вечером получил «Неделю» от 4 n° до 52. — Вчера утром послал тебе с Тх[оржевским] n° 48. Ну вот и дождались. Но до 48 n° — мне все кажется уже читанное. Напиши мне, какие n° у тебя. Сегодня Тх[оржевский] тебе отправил от 49 до 52. Это, мне кажется, новые. Заметь 51 n°. Там разбор статьи «Рус[ского] Вест[ника]» о заграничной печати. Жиденько — да, видно, иначе нельзя. Также послал тебе два n° «Москов[ских] Вед[омостей»]. — Завтра пошлю еще, и буду посылать пока не получится «Голос», который Георг опоздал выпиской. — Но интересу особого и в «Моск[овских] Вед[омостях»] нет; даже, кажется, с нового года скучнее. А может, это так мое расположение и нелюбовь чи-



ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО
Акварель Г. Мотто
Эрмитаж, Ленинград

тать большие листы. Даже писать неловко, caro mio, руки от chillblains так распухли, что хожу в перчатках, которые до-смерти надоели, а снимать их на время чтения и письма тоже неловко.

Сегодня Тх[оржевский] принес записочку Лизы, письмецо Таты и твое письмо. Лизе и Тате стану писать на-днях. Теперь только свидетельствую мою сердечную благодарность Тате за ее письмецо Тутсу. Он покраснел от радости, когда Тх[оржевский] ему отдал его. Г[енри] ему читал его. Тутс все носит его в кармане и в школу с ним ходит и вечером еще заставлял читать. Давеча он только одним обиделся было, что это не совсем письмо, потому что только на полулистике, а не на целом листике — и чуть-чуть не расплакался. Тх[оржевский] ему дал какой-то бумажничек, куда положить письмо — он и утешился и прочел Тх[оржевско]му такую благодарственную спич, что есть задаток ораторства. Третьего дня — он решил, что ему необходимо учить Мэри по-французски и потому стал переводить ей английскую песню и перевел следующим образом.

Cheer, boys, cheer —
My mother has à got mangle,
Chaise, garçons, chaise.

Ну — и довольно об Тутсе.

Г[енри] третьего дня ходил к M-me Мерч[инской]. — Вообрази, что она больше месяца не имеет никаких известий ни от мужа ни от сына. Может и ничего особого, но все-таки это меня весьма беспокоит, и я с нетерпением жду известий.

Черн[ецкий] меня не мало беспокоит иным манером. Наконец — я корректуру моей статьи получил сегодня по почте. Эти несколько страниц он набирал с понедельника, а перед этим еще недели две тому 2-я доля статьи была у него, и набор тоже только пришел сегодня. А

я его просил оную, 2-ю долю, тотчас по набрании послать листки тебе. Но у него замечательное равнодушие ко всем нашим потребностям.

Вихерский до сих пор не готов, а последнюю корректуру я ему сдал во вторник. Записки Мальвиды из переплетни выходят так тихо, что Георг жалуется, ибо хотел отправить 200 экземпл[яров] в Германию, а получил только 50. — Но зато Черн[ецкий] прислал Тх[оржевскому] еще счет за мальвидины записки, на который не было рассчитано. Тх[оржевский] завтра к тебе будет писать. Я стараюсь смолчать, но боюсь, что кончу тем, что рассорюсь. Теперь, когда до тебя достигнет mise en page — я не знаю. Я последнюю корректуру сегодня же и отправил отбратно с Тх[оржевским].

Вот и я жалуюсь! А ты, мой милейший, все жалуешься — и на неблагодарность рода человеческого и на то, что холодные дома не искупают неподвижности... Ах, ты my dear Онегин...

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест —
Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест.

Герцен, Герцен! Неужто ты думаешь, что можно устроить жизнь без климатических, патологических и нравственных неприятностей? Этому, до некоторой степени, пора подчиниться и все же, уходя в свое внутреннее одиночество, разрабатывать свою живую жизнь. — Засим addio — amici.

Нет еще не addio —

Я все вожусь с моей поэмой. Ужасно мудрено. Не знаю, слажу ли. А ужасно хочется поскорей, а почему — об этом после.

Теперь в самом деле addio — руки просятся в перчатки.

[1] Датируется по письму Герцена от 27 января 1869 г. (т. XXI, стр. 277).

99

26 янв[аря 1869 г.][1]. Вторник

«Мороз и солнце! День чудесный!»

(Пушкин)

Не знаю, с чего, но я был уверен, что от тебя будет письмо. Ждал — и в полдень получил (при выдаче 70 сант[имов] affranche insuffisant). С тех пор обедал, и Тх[оржевский] у меня обедал. Теперь пишу, стараясь поспеть к последней сегодняшней почте ($3^1/_2$ часа). Пишу на чужой бумаге, потому что много чужого решился тебе послать. Бумага эта принадлежит сумасшедшему поляку, которого польское письмо тебе посылаю, наконец. Тх[оржевский] мне советовал отвечать ему, что тебя в Женеве нет. Но я сомневаюсь, ловко ли это, и потому посылаю тебе его письмы. Рассуди, что ему отвечать, или — как я думал — ничего не отвечать. Боюсь, что сумасшедший человек начнет писать дерзости. Я не решаюсь, на что решиться — и прошу твоего решения. Очевидно, этому дураку писать надо Цюрих p[oste] r[estante].

Фортепьян хорошо сделал, что сдал, ибо пора заплатить чортову пропасть, а теперь руки все в таком положении, что мудрено не только двигать их по клавишам, но даже письмо и пр. насилу пишу. И эта штука почти у всех, и у Мэри, и даже началась у Тх[оржевского]. — А пишу я, сколько производительности хватает. Панфлет[2] скоро вышлю, но ведь он вроде «Пунша», и так как задевает всех, то также спрашиваю твоего мнения — посылать — хоть на имя Лизы или оставить до путешествия пана. Мне ведь казалось, что можно будет прибавить к прибавлению «Кол[окола»], но, очевидно, не поспеет, да и не знаю, насколько тебе понравится. Понравится даже настолько, чтоб

посылать в «Пол[ярную] Зв[езду»]? Теперь скажи мне, посылать ли по почте в Ниццу? Оно, конечно, по-русски, и в последнее время письмы приходят хорошо. Вот газеты — другое дело. «Голос» пришел 8-й №. Это должно быть русские почты крадут. — Я рад, что ты доволен статьями Скалд[ина] и пр., и ужасно рад, что ты доволен моей статьей, хотя я все же выжидал отделать гораздо более. Твою корректуру Тх[оржевский] взял сейчас отдать Даничу, с которым встретится. Я ему указал на твои прибавления в анонсах. Mise en page будто бы сегодня поспеет, и Вихерский будто бы сегодня поспеет. Нет, Герцен, я не думаю, чтоб Черн[ецкий] хорошо сделал, что остался так, что уж нельзя ко времю работать. А работы он растерял, потому что никогда к сроку не готовил, или потому, что ему так хотелось. Он был у меня 3-го дня. Его ассоциация плохо слаживается[3]. Ландскрон дает 5 000 фр[анков]. — Но, по расчету Черн[ецкого], 4 000 выйдут на переезд и покупку новой машины, и требует 10 000. Даже сам хотел занять 5 000 у одного поляка (кажется, Кашперовск[ого]), но тот не дал. Ландскрон надеется завлечь Миллер-Дариана. Теперь, хочешь ты сам что-либо в этом помочь Черн[ецкому] — думай; я ему ничего не говорил о твоей готовности помочь. Очевидно, дело у них останавливается за 5 000. — Лучше, если будешь сам Черн[ецкого] спрашивать, а не хочешь — пожалуй, через меня. С Тх[оржевским] они едва ли сговорятся. — Мне это все весьма прискорбно и скучно. Скучнее даже того, что твою последнюю корректуру «Cogitate et visa», которую я помню, что Черн[ецкому] отдал, и он помнит, что я ему отдал, но найти у себя не может; а у меня решительно нет; я все перерыл и *п* старых корректур нашел, а этой нет. Но Черн[ецкий] говорит, что можно поправить в mise en page'е.

Тутс целые дни примеривает татины рубашечки и панталончики, которые принимает за колпачки, надевает на голову. — Г[енри] сильно простудился. — Я не могу жаловаться — кроме того, что дрогну от холода, как в лихорадке, и что руки в безобразнейшем положении. Оно немножко мешает, но уже не слишком.

Хорошо, что ваша санитарная часть поправляется. Цалую вас всех и посылаю на почту (25 м[инут] 4-го).

[1] Датируется по письму Герцена от 24 января 1869 г. (т. XXI, стр. 274—275), в которой читаем: «По санитарной части все исправно. Тебя поздравляю с N, зато нисколько не апробую, что ты себя лишил фортепьян. Ты их держал месяцев десять, не играл, и отдал, когда стал играть...».

[2] «Панфлет» — поэма Огарева «Панорама восточного вопроса».

[3] В 1869 г. Чернецкий запутался с своей типографией в долгах, пытался организовать «ассоциацию» — типографскую компанию, с привлечением некоторых женевских книгопродавцев, издателей и типографов, о чем и пишет в данном письме Огарев. Миллер-Дариан, Ландскрон и др. — повидимому женевские типографщики, с которыми Чернецкий вел переговоры.

100

28 янв[аря 1869 г.][1]. Четверг, вечером

Чудная страна —
Город наш Женева!
Светит мне луна
Справа да и слева.
И не в труд нисколько
Сладить штуку эту:
Обращайся только
Разным боком к свету[2].

Это писано 3-го дня, когда было чудесное лунное сияние; но сегодня английский туман, дождь и verglas такой, что Тх[оржевский] боится сломить ногу, и Г[енри], идя к Сорде, упал, но только похохотал. Я же сегодня весь день занимаюсь «Колоколом», типографией и Черн[ецким]. — Корректуры все справил, как мог, но не разрешил печатать без твоей корректуры, потому что во внутреннем листе «l'homme se sent en cadres unheimlich» как-то неловко. Давид говорит, что непонятно — может больше потому, что он по-немецки совсем не понимает. А твоя последняя корректура пропала — не знаю как — я ли виноват или Черн[ецкий] — чорт знает. — Для меня также чорт знает — почему мне Черн[ецкий] говорил постоянно, что не довольно рукописи для 2-х листов, так что я отдал даже маленькую франц[узскую] заметку нашего милого Л[угинина?] (которая мне то нравится, то нет), а в результате то, что нет места для объявлений. Я непременно требую сжать, чтоб осталось место для объявления о брошюре Вихерского, что̀ Черн[ецкий] находит возможным. Но все же без твоей корректуры mise en page — я не позволяю печатать. Всего выйдет дня два разницы. Я думаю, все равно — а пометить можно 31 янв[аря] — вот и все. Mise en page тебе послан без моего просмотра, лишь бы вышло поскорее. — А брошюра Вихерского вчера поспела, и ему послано 24 экземпл[яра], а тебе 4 послано сегодня. — Дело Черн[ецкого], кажется, не слаживается. Миллер-Дариан не хочет ничего, кроме своей особой типографии. — Ландскрон (т. е. associé in spe Чернецкого) не находит никого, кто бы ему дал взаймы, а капитала своего у него чуть ли не меньше 5 000. Ему же предлагают место в Германии — так едва ли что уладится. Но он еще до 1-го марта остается ассосье в Женеве. Стало, теперь — хочешь ты что̀ предложить Чернецкому, чтоб дело настроилось — это как знаешь. Черн[ецкий] чуть ли втайне не рассчитывает на это и со мной говорит ради того, чтоб я тебе писал. Но это, право — как знаешь. Что он без этого немедленно провалится — это несомненно. Почему им для начала 3-х или 4/т[ысяч] мало, почему необходима тотчас новая квартира и новая машина — я этого не понимаю, так же, как не понимаю, как можно было растерять работу, которая была. Но все же ты имеешь 10 или 15 дней на собственное рассуждение. Может, они и правы — я признаю себя некомпетентным. Я до сих пор старался подстрекать на ассоциацию, а от всяких иных требований или надежд отвертываться и отмалчиваться.

Тх[оржевский] нашел, что погода такая скверная, что хочет завтра съездить в Веве.

Что же еще, caro mio? Хотел писать что-то много, но уже 8-й час и перезабыл. Вот что — об разных твоих запросах еще не отвечал и лучше напишу послезавтра. Сегодня поздно, посылать никого не хочется, ибо в самом деле ужасно. Самому лучше, потому что немножко теплее, но руки все еще насилу двигаются и распухли и изранились. (Idem у Мэри и у Францелины [3] — стало, это что-то климатическое). — Одно помечу: «Народного дела» не видать [4]. Знаю, что Бак[унин] со всеми участвующими видится, но в каких они отношениях, знать не могу. С работниками они что-то много хлопочут и даже интернационально — но как и что̀ — мне знать не от кого. Даже Мечник[ов] у меня еще не был. — Я довольно одиноко работаю — и даже на это не жалуюсь, ибо когда кто приходит — то мне начинает быть скучно.

Сегодня с статьей Вих[ерского] посланы тебе «Моск[овские] Вед[омости»] (два n°), но в них, кажется, ничего нет. — В Календаре, тобой присланном, нашел Петер[бургские] Вед[омости], но еще не читал, а тобой ничего там не отмечено. — Послезавтра пошлю тебе новый (январ[ский]) «Вестн[ик] Евр[опы»], который меня

интересует и вместе с тем сердит. Но лучше об этом напишу при посылке.

Ну! Как вы? Надеюсь завтра получить письмо.

Обнимаю вас всех и перестаю писать, ибо просто дрожать начинаю — надо идти к камину и к перчаткам.

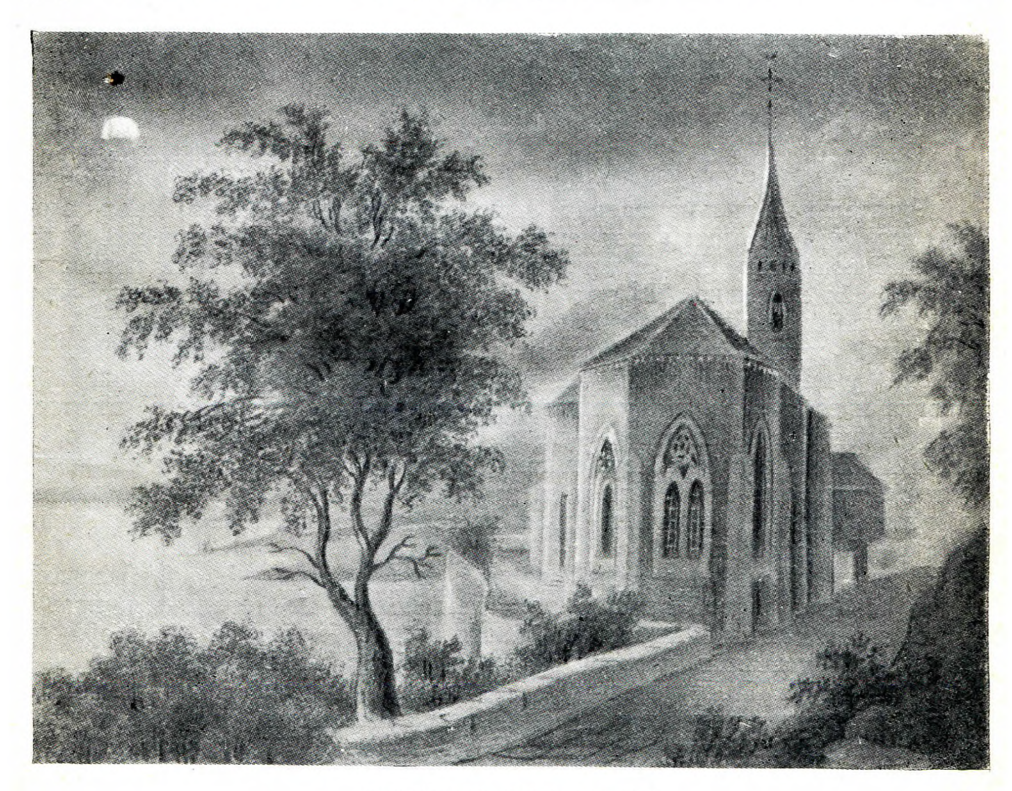
[1] Датируется по тому же письму Герцена, как и предыдущее.
[2] Впервые напечатано в «Вестнике Европы», 1907, № 5.
[3] Францелина — прислуга.
[4] Ответ на запрос Герцена: «Неужели вы не можете узнать, выходит или нет «Народное Дело» и почему не выходит. Интересно также знать: а) о деятельности Бакун[ина] с работниками, б) об его отношении к «Народн[ому] Делу»... (т. XXI, стр. 275).

101

Понедельник 1 февраля [1869 г.] [1]

Дяде.

Сегодня утром получил твое письмо и ждал до полудня Тх[оржевского]. — Но в полдень получил от него письмо из Martigny. Он воротился только сегодня вечером. Стало — ждать нечего и послать все сие в 3 час[а] на почту. — При сем тебе о чем я писал — и твое дело решить употребить это куда-нибудь в печать — или в камин. Возвращать мне, разумеется, не нужно, ибо оригинал у меня есть, а только написать что̀ и как. — Я ждал, что уже придет от тебя mise en page «Кол[окола»], но о нем и в помине нет, хотя твое письмо от 29-го янв[аря]. — Сегодня южный ветер, удушливый, а в комнатах все же не



ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО, МОНТРЕ
Рисунок карандашом из альбома Ховриных
Литературный музей, Москва

слишком тепло. Вчера был дождь и сегодня пахнет сыростью. Я был три недели здоров, а сегодня ужасно нервы взволнованы. А может это и от кашля, который мне невыносимо надоел. А вероятно и все ничего и так пройдет.

Пишущий из Цюриха — едва ли агент — а больше похож на то же лицо. Я тебе писал содержание письма польского: о переводе и издании на русский язык какого-то классического сочинения с латинского — для ниспровержения русского правительства. У тебя же Бернадский[2]. По-моему, этим людям можно только прямо отвечать: невозможно, или ничего не отвечать, ибо завязывание переписки к добру не приведет. От этого я и просил твоего совета. Pardon! — Посылаю тебе сегодня два «Голоса», одни «Моск[овские] Вед[омости»] и «Совр[еменную] Лет[опись»] — 7 и 8 n° «Моск[овских] Вед[омостей»], т. е. где доклад министра финанс[ов], пришли мне обратно; даже если можно, сегодня посылаемую «Совр[еменную] Лет[опись»], ибо иначе будет трудно иметь под рукою приходо-расход государственный.—Вчера была у меня M-me Мерч[инская]. Наконец, пришло известие, все благополучно; Петя помещен в пансион, арифметика продана. — Черн[едкого] я вижу редко, Жихоня[3] никогда, Мечн[иков] еще не был, Бак[унина] не вижу. — Затем прощай! Писать буду, вероятно завтра. — Напиши же о своем сахаре[4].

[1] Датируется по январским письмам Герцена 1869 г.

[2] Бернад[ц]ский — врач, поляк по происхождению, лечивший всю семью Герцена.

[3] Жихонь — польский эмигрант в Женеве.

[4] В начале 1869 г. болезнь Герцена (диабет) стала быстро прогрессировать и Герцен стал проходить курс лечения.

102

Вторник 2-го февруария [1869 г.][1]

Ругательное письмо вашего высокопревосходительства имел счастие получить сегодня утром еще в постели. Ждал Тх[оржевского] до 12, чтоб попросить его сходить в типографию и велеть мне показать, что̀ от тебя прислано. Но вот уже 3/4 второго, и Тх[оржевского] нет. Ergo, покамест примусь за письмо — может он еще и подойдет.

Мам[?] статью я не самодуром решил печатать. — Долг[оруковские] записки[2] у меня были только те, которые ты отобрал для «Кол[окола»]; и когда я из них половину выкинул — то получил от в[ашего] высокопревосходительства выговор — почему нет такой-то, такой-то и пр. — Тогда я их все передал Черн[ецкому], который все жаловался на недостаток оригинала. Но теперь и за это получаю выговор. Вот от этого-то я и не люблю заниматься оным ремеслом, которым иначе занимался бы с удовольствием.

Черн[ецкий] мне ничего не говорил, чтоб писать тебе о 5/т[ысячах]. Я это написал тебе в очистку всех разговоров. Но теперь — я, право, сам не знаю, как ты можешь его спасти и спасабель-ли он? — Тх[оржевско]му и мне кажется, что они могли бы начать ассоциацию с тем, что̀ есть. Но я тут Тх[оржевскому] не доверяю, потому что он как-то озлоблен, а вследствие этого и в собственном мнении сомневаюсь.

Что я читал корректуры все с самым величайшим вниманием — это я знаю; но что̀ помещать, чего не помещать, за это я на себя ответственности не брал, и впредь взять совершенно не согласен. Я не Тхоржевский.

2½ часа. Сию минуту был и Тх[оржевский] и Черн[ецкий]. —

Черн[ецкий] получил твою корректуру. О печати тебе нечего было беспокоиться; я тебе писал, что я до получения твоего разрешения не позволил печатать, стало, твоя коррект[ура] не могла опоздать. — Черн[ецкий] говорит, что поправить очень легко и, вероятно, к 10-му поспеет. Я все торопился к 31-му янв[аря] по твоему предписанию. Я очень рад, что ты выбросил почти все, что̀ мне хотелось выбросить. Письма Дуб[ельта][3] в отложенных бумагах нет, ибо ты дал его Тх[оржевскому] для продажи, он и продал маленькому принцу. — Ст[атья], которую ты вычеркнул, не Мам[?], а татиного жениха[4]. Заглавий я не ставил, ибо это довольно для меня мудрено; да я думал, что оно как отрывок из сборника сойдет с рук, без заглавий красивее.

Вчера мне Тх[оржевский], приехавши вечером из V. V. [Веве — *Ю. К.*] — принес твое письмо ко мне от 27-го, за которое я за все благодарен, начиная с рассказа о лизином мнении о записках Мальв[иды][5].

Писать больше некогда.

Тх[оржевский] тебе сегодня писал; писал и о том, что у Георг[а] нельзя продать нового изд[ания] «Былого и думы» по-фр[анцузски], а разве у Лакруа[6]. Я не всегда думаю, что он прав, но слишком мало знаю это дело. — Ну! presto, addio!

[1] Датируется по письму Герцена от 27 января 1869 г. (т. XXI, стр. 277).

[2] Различные записки и документы П. В. Долгорукова, оставшиеся после его смерти и только частично использованные Герценом в его «Колоколе».

[3] Речь идет о письме Л. В. Дубельта, — управляющего III отделением, — в архиве П. В. Долгорукова.

[4] Повидимому, А. Н. Мещерского.

[5] «Лиза совсем оправилась, — читаем в письме Герцена от 27 января. — Она читает с жаром «Записки» Мейз[енбуг] и сообщила мне, что, кажется, у нее был lover, потому что она какого-то пастора все называет apôtre и говорит, что он был très beau. Она находит, что «Былое и думы» лучше. «Tu as une manière gaie de raconter les choses, et chez Malvide on voit que c'est une dame sérieuse...».

[6] Лакруа — женевский книгопродавец.

103

6 февр[аля 1869 г.][1]. Суббота

Письмо твое от 4-го получил сегодня в 12 час[ов]. Обедал, передал письмо Тх[оржевскому] и теперь спешу сказать, сколько успеется.

Мне жаль, что Елисавета[2] ушла. Давно привычный человек все же хорош; против его недостатков можно оппонировать — разве уж чересчурны. Еще хуже выучиться бросать людей, как старые башмаки. Но —

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichniss.

Очень рад, что моя поэма[3] тебя насмешила. Я, кажется, тебе писал, что Георг ждет 4-го «Народ[ного] Дела», потому что еще за первые три счётов не сведено, а получать придется издателям. Но это тоже книгопродавчески-тхоржевское предположение. Наши могут быть беззаботней евтова. Выбрось в поэме первые 4 стиха и начинай просто: «Небось, небось, мои боярыне и баре» и пр. (Только введение о показывающем мужичке — сохрани).

Письмо Дуб[ельта] ты отложил, бывши в Женеве, с бумагами на продажу. Тх[оржевский] его тотчас и продал. Хорошо, если маленький князь вернется в Женеву; теперь же он уехал в Париж, а, может, и в Россию — стало, надежда плоха[4].

Жду твоей последней корректуры «Кол[окола»]. — Я не оправдываюсь, caro mio; но дело в том, что я прежде тебе писал, что̀ следовало бы выкинуть. Но будет об этом! Дело кончается и мир ему, точно так же, как и долготе Черн[ецкого], которая сведена на Данича и все-таки бесконечна. Намедня, когда я к тебе писал, и когда Черн[ецкий] с Тх[оржевским] ушли вместе — Тх[оржевский] ему заплатил 200 фр[анков] за Мейзенбуг и смотрит на его дело с отчаянием, а на ассоциацию не надеется. По моему мнению, если ты хотел ему дать 1 000 фр[анков], то сделал бы предложение около 15 фев[раля]. — Может, он увидит, что больше достать негде, да и удовлетворится для начала ассоциации? — А нет — так что же делать: тогда он решительно неспасабель.

Пишу татину статью, бываю часто недоволен, но она меня увлекает так, что едва на что̀ остальное ума хватает. Хочется поскорей кончить и отделаться от любимого дитяти.

А до «Пол[ярной] Зв[езды»] совсем не так долго, как ты думаешь; а дела еще ужасно много. Ты, пожалуй, станешь смеяться, но я убежден, что перед смертью надо так много написать, что едва времени хватит.

Погода — туман. Нога — иногда очень легко побаливает, но ходить можно. Мозги больше страдают в весенне-ясную погоду, которая ужасно захватывает нервы.

Посылаю тебе вырезку из «Жен[евской] газ[еты]», которая объяснит, как газеты пропадают. Тх[оржевский] никого не винит — кроме почт. Напиши мне, какие у тебя n° «Голоса». — Затем addio, всех вас цалую.

[1] Датируется по февральским письмам Герцена 1869 г. Письмо Герцена от 4 февраля не сохранилось.

[2] Елисавета — горничная у Герценов.

[3] Уже упоминавшаяся поэма Н. П. Огарева «Панорама восточного вопроса».

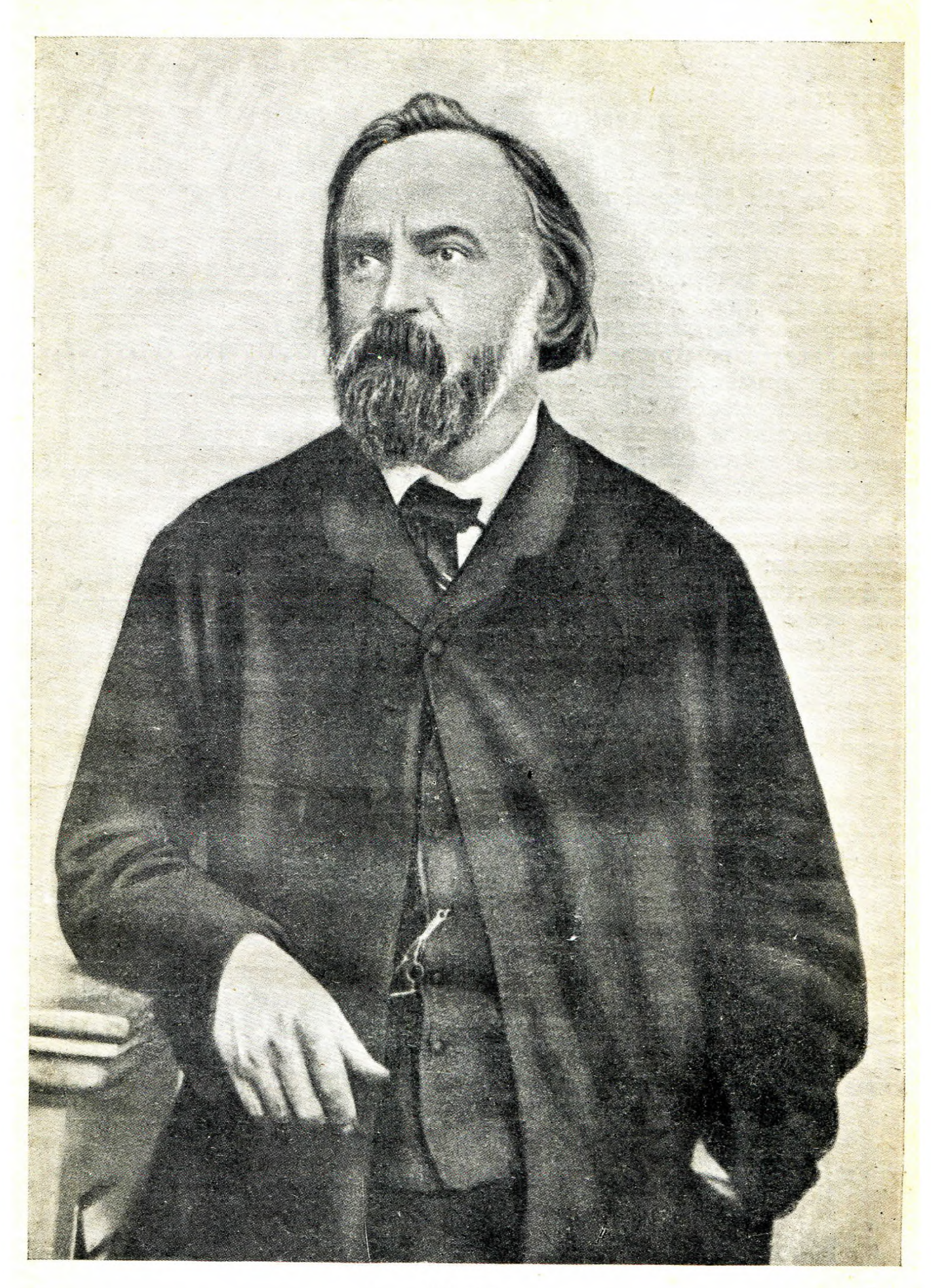
[4] О письме Дубельта см. комментарии к предыдущему письму; «маленький князь» — упоминавшийся выше В. П. Долгоруков.

104

9 февр[аля 1869 г.][1]. **Вторник**

Вчера был день чудесный, прорезавший постоянные лондонские и даже более вонючие туманы; сегодня смесь проливного дождя, солнца и тумана и какой[-то] недостаток кислорода в воздухе, так что дышать тяжело. Впрочем, я всю эту мерзость выношу порядочно и работаю насколько могу. Но часто пишу и рву — как-то не ладится. Татину статью я буду ей посылать, как скоро почтовый лист совсем обделан, по листу; она выйдет длинная. Не знаю, насколько она тебя удовлетворит, но меня она постоянно занимает; это, может, для препровождения времени чрезвычайно приятно.

Но вот что неприятно, что уже 9-е число, и даже послезавтра новолуние, а твоя корректура «Колокола» даже и сегодня ко мне не явилась из типографии. Теперь около двух часов. Я до трех подожду и пошлю на почту. Я уже боюсь, не пропала ли типографская посылка к тебе. — Тх[оржевский] уже был и пошел обедать. Сидит будто бы на диэте, будто бы вчера все после обеда просидел дома, составлял каталог долг[оруковским] бумагам[2], писал к тебе и в первый раз не был болен. Я как-то не могу серьезно смотреть на это; он сам себя чем-нибудь надувает. Лучше уже просто идти на боль и не финтить, потому что ужасно глупо. — Против его составления долг[оруковским] бумагам каталога — я возражать не могу. Надо было сказать: что ж вы в этом смыслите? Но, вероятно, ты заставишь его пересмотреть через



ГЕРЦЕН

Фотография, 1865 г.

Институт литературы, Ленинград

иное посредство; ergo, дело и поправлено. Всего больше, кажется, он начинает бояться печатать и хотел бы продать частным манером, поэтому его заключения сводятся на то, что в бумагах нет ничего достойного печати. Может, оно и правда — только на его решение полагаться трудновато. — Он принес мне особо завернутые и надписанные: Lettres de Mr. Nicolas Ogarew (l'émigré) мои письмы к Долг[орукову]. — Что я мог к нему писать? Я хотел отдать их, не развертывая, назад, но Тх[оржевский] этим бы обиделся. Я их сей[час] просмотрел. Всякие (с Лондона начиная) ответы на приглашения на обед и т. п. Но вот попадаются имена с заглавной буквой, которых не могу припомнить, и времена, которые захватывают за сердце. Я сберегу их до нашего свидания, вместе пересмотрим. Но должны быть позднейшие более ругательные письмы: этих его сиятельство не сберегло.

У Вихерск[ого] 200 экз[емпляров] на комиссию взял Класен, 200 экз[емпляров] Франк [3]. Денег он еще не платит и все ждет. Письмы его очень не глупы. Но теперь вот о нем новое мнение, принесенное Тх[оржевски]м. В польском трактире, хозяин (Марсель [4]) предложил русским посетителям прочесть брошюру. Русские посетители, как говорят, были князь Барят[инский] [5] (брат фельд[маршала]) и еще кто-то; они сказали: «как! этого шулера?» «Как шулера?» — «Да, его весь Петербург считает шулером, но никто не мог поймать на передергиваньи, хотя все с ним играют. Вероятно, его за это притянули в полицию». — Тут я совершенно расхожусь в мнении с Тх[оржевским]. Во 1-х, если он шулер большого полета, то он 150 фр[анков] непременно заплатит как можно скорее. Во 2-х, если б его притянули за игру, то он никогда не осмелился бы напечатать оной брошюры. Такую сумму упрятал бы шулер из уровня Ал[ексея] Пет[ровича] Кучина [6], и скорее улан — чем адвокат и публицист. А впрочем..., но надо взять еще предосторожности; только если положиться на комиссионные продажи, то, конечно, деньги получишь позже, чем прямо от него.

Да! ты еще раз писал о деньгах Сат[ина]. — Может, они не хотят лишний раз писать о них, чтоб почтовым образом не запутать денежных трансфертов? Это было бы самое выгодное для них предположение. Почему его не сделать по дружбе? Но вероятней то, что денег нет, или если были, то сплыли.

Я отдал Тх[оржевскому] послать тебе «Моск[овские] Вед[омости»], где анекдот из Вильны о облитии шубейки скипидаром. Я посылаю тебе, неравно в других газетах нет. Подумай над этим о положении страны, о настоящем направлении правительства и о продолжающейся, вопреки оному, ненависти народа к шляхетству.

Тате пошлю лист завтра или послезавтра.

3¼ часа. Черн[ецкого] еще нет. Стало, твоя корректура не приходила. Ждать нельзя.

Обнимаю вас всех, мои милые. Addio!

[1] Датируется по февральским письмам Герцена 1869 г.

[2] П. В. Долгоруков, умирая, завещал все свои бумаги, записки и документы С. Тхоржевскому с тем, чтобы их можно было издать, что и предполагалось сделать. В февральском приложении к «Колоколу» незначительная часть их была напечатана со следующим предисловием: «Князь П. Долгоруков оставил после себя довольно обширную коллекцию материалов, собранную им с большим усилием трудом нескольких лет. Эти материалы, как и его переписка, завещаны им Станиславу Тхоржевскому. С. Тхоржевский наметил обнародовать часть материалов, служащую продолжением «Записок» П. Долгорукова, напечатанных в Женеве в 1855 г. Любители «интимной» истории найдут в этом собрании в высшей степени интересные откровения, касающиеся различных эпизодов русской истории XVIII в. и отчасти нашего. Ниже мы печатаем несколько образчиков, любезно предоставленных нам г. Тхоржевским». Опасность опубликования наследства П. В. Долгорукова заставила русское

правительство принять свои меры для изъятия этих бумаг из рук Герцена и Тхоржевского (о чем см. комментарии к следующим письмам)

[3] Клас[с]ен, Франк — швейцарские книгопродавцы.

[4] Марсель — хозяин польской кофейни в Женеве.

[5] Повидимому, кн. Барятинский Анатолий Иванович (1820—1881) — брат генерал-фельдмаршала А-дра И. Барятинского.

[6] Кучин Алексей Петрович — двоюродный брат Герцена.

105

11 февраля 1869 г.][1]. Четверг

Патеру.

Как же быть? Все та же ридикюльная формула: спешу писать поскорей как можно больше всё. Теперь 2 часа.

1) Сегодня был Черн[ецкий] и принес твою корректуру. Ergo, теперь пошло в печать, только они еще дня три прокопаются, судя по обычаям. Спросить именно о сроке выхода помешало посещение, о котором после. Одно прибавлю, что Черн[ецкий] дал перевести объявление о типографии и ее буквах на французский и английский. А дела его, по словам Тх[оржевского], (сейчас) очень плохи. Одному Кесслону [Классену. — *Ю. К.*] должен 2/т[ысячи] франков.

2) Во время прихода Черн[ецкого] прибыли некто барон Врангель[2] и Бларамберг[3] (молодые люди, с виду совершенно благопристойные). Врангелю хочется издать в Петербурге твои прежние сочинения (Крупова, письмы об изуч[ении] пр[ироды] и пр., кроме «Кто виноват»). Ты дал право Бак[унину], который отказывается. Об этом у меня письмо, написанное на слишком толстой бумаге, чтоб посылать, и не от самого Б[акунина], а от господина, который ходил переговаривать с Ба[куниным]. Б[акунин] хотел об этом написать своему брату в Вену[4], который бы сообщил тебе. — Врангель предлагает процент, какой ты положишь с продажи, или какое иное условие? На этот счет отвечай мне как можно скорее, потому что я ответ могу дать не позже шести или семи дней. — В[рангель] привез Тате портрет Захар[ьина][5] и письмо, которые при сем прилагаются, и портрет К. — (Что за штука, что К. присылает свой лик?)[6] — Тх[оржевский] того мнения, чтоб ты взял меньше, но чистые деньги за право, в память К[овалевско]му. А я думаю, caro mio, что пусть напечатаются и разойдутся, как разошелся весь «Кто виноват», лишь бы оное было. Я так думаю, что возобновление там поможет и здесь, особенно теперь[7].

Самый гвалтный вопрос в России — это вражда к немцам, возбужденная книжкой Самарина[8]. Но теперь приходит в самое неловкое колебание, ибо свыше вражду запрещают даже великим князьям. Брошюру Самарина даже запретили продавать, кроме как людям, имеющим особые цензурные бланки от Минист[ерства] народн[ого] просвещ[ения]. — После статьи Милля о русск[их] женщинах, переведенной в «Петерб[ургских] Ведомостях», Минист[ерство] народн[ого] просв[ещения] дает гораздо больше швунга и льгот женщинам. Каково?

Теперь о Саше. Я ему уже писал об этом. Может и трудно выдержать, но надо быть убеждену в собственной самодеятельности для всякого другого начинания. Настоящее же я считаю не подчинением, а ассоциацией. Дальше этого я ничего не имею сказать, но и мешать человеку в 30 лет — мудрено[9]. Was willst du mehr. — Зах[арьин] и ему прислал свой портрет и Ольге; я их отошлю в другой день.

Тате больше листа готово, но не могу решиться переписать и послать. Всё мне кажется не то, чего хочется. Может, к завтра приготовлю[10].

Кажется, на сей раз тебе пишу все, что возможно успеть. Другое лучше не так торопко.

За сим прощай.

К Чернец[кому] из Ниццы писал m-r Basile (Rue Gioffrido 22) о буквах, заказах и т. п. — Справься, caro mio, кто этот господин. Чорн[ецкий] ему сегодня же отвечает; но должно быть reference очень нужен, ибо он меня просил 3 раза о том, чтоб не забыть тебя попросить справиться об этом дон-Базилио.

[1] Датируется по письму Герцена от 20 февраля 1869 г. (т. XXI, стр. 296—297), в котором много места уделено предложениям Бларамберга и Врангеля.

[2] Врангель Н., барон — отец известного деятеля контрреволюции П. Н. Врангеля.

[3] Бларамберг Павел Иванович (1844—1907). — В 1869 г. был командирован на Международный статистический конгресс в Гааге; впоследствии сотрудник «Русских Ведомостей» и известный композитор.

[4] Какому из своих многочисленных братьев писал Бакунин — не выяснено.

[5] Захарьин Петр Александрович — брат Наталии Александровны Герцен-Захарьиной.

[6] В ответных письмах Герцена этот человек тоже зашифрован под буквой К (Кетчер? Кавелин? Корш?).

[7] Повидимому, в результате переговоров Бларамберга и Врангеля с Герценом, в 1870 г. в Москве была издана книга «Раздумье» (Разные вариации на старые темы).

[8] Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — известный публицист и славянофил. В 40-х годах примыкал к кружку Н. В. Станкевича. Видный участник «крестьянской реформы» 1861 г. В 1864 г. виделся с Герценом, который затем резко выступил против этого «абсолютиста с фрондерскими наклонностями» в своих «Письмах к противнику». В 1867 г. напечатал первые два выпуска своих «Окраин России», вызвавших ожесточенную полемику, о чем и пишет Огарев.

[9] А. А. Герцен хотел оставить известного физиолога Шиффа, с которым он вместе работал, для того, чтобы быть самостоятельным. В письме к нему от 8 февраля Герцен советовал быть осмотрительнее и взвесить все шансы за и против.

[10] Речь идет о произведении Огарева «С утра до ночи», см. комментарии к письму 108.

106

15-е [февраля 1869 г.][1]. Понедельник

Сейчас получил твое письмо от 11—13-го. Теперь половина 2-го, Тх[оржевский] еще не был. Жду его, чтоб поговорить и написать тебе результат, и жду его, чтоб передать для пересылки тебе (он лучше меня су-бандирует) сейчас поконченные мною (во всем, что хотелось) «Отечеств[енные] Зап[иски»] январские. — Стало, они пойдут к тебе сегодня. Письмо начну к тебе с них. Читайте их внимательно. Это n° блестящий. На первом месте выставлю тебе статью, блестящую статью: «Когда благоденствовал русский мужик». — Далее заметь статью о Писареве[2] (против которой у меня есть за пазухой что-то, чего я сам еще не могу разобрать). — Далее — замечательны статьи Щедрина[3], но «Признаки времени» мне все же лучше нравятся, чем «История одного города». — «Обозрение 1868» одно из самых, по положению, талантливых и любопытных произведений. — Необычайно интересна и полезна статья Максимова[4] «Народные преступления и несчастия», — несмотря на то, что он мне кажется все больше и больше тяжелым и растянутым; но эту статью надо прилежно изучить. — Библиография хороша. — А затем я не читал ничего, чтоб поскорей отослать вам и потому что, право, если читать две таких книжки в месяц, то скоро придется отказаться от всякой собственной производительности. — А, может, оно и лучше?.. Покамест не могу, ибо так и подстегивает к собственной производительности, так, что не сладишь довольно скоро с сидящим в мозгах материалом.

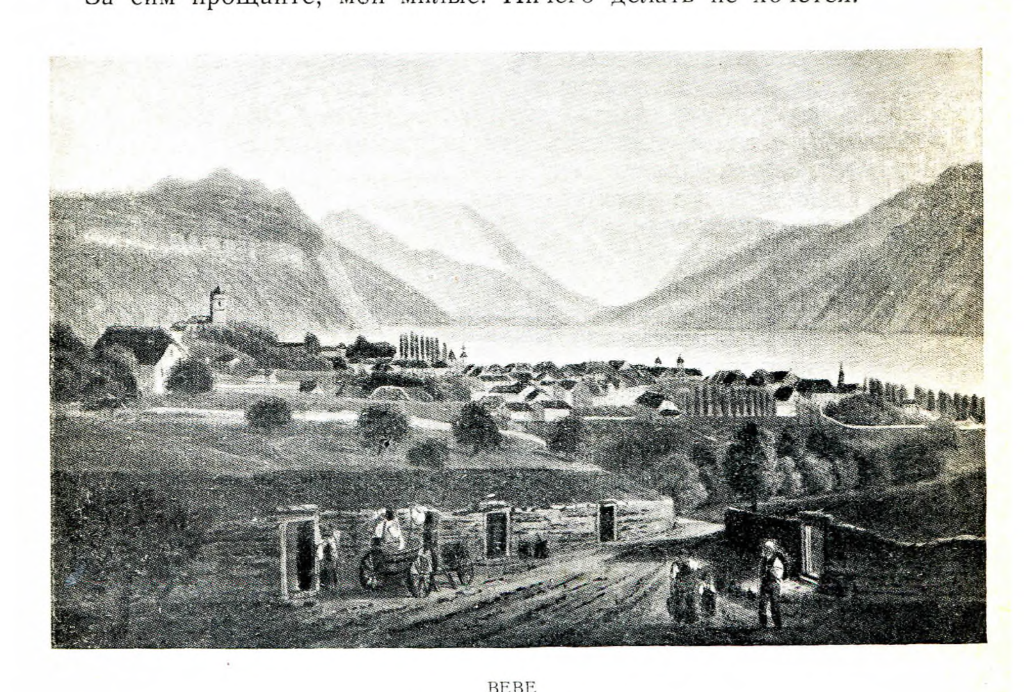
Вот уже 2 часа. — Тх[оржевского] все еще нет. — Отдохну немножко, т. е. похожу по комнате и покурю, ибо с утра и до обеда и с послеобеда час целый — всё проводил над чтением «От[ечественных] Зап[исок»], так что поприустал немножко.

Сегодня получил письмо от Саши и Терезины. — Тутс покамест здоров и больше толстеет, чем что другое. Учится писать с любопытством к делу и охотится учиться по-немецки и по-русски.

¾ третьего. Тх[оржевский] не был. Видно, пупок болит. Ergo, ответ об Черн[ецком] и пр. оставлю до завтра, а «Отечест[венные] Зап[иски»] и эту записку посылаю на почту с М[эри].

Погода солнечная, удивительная. Биза маленькая, почти нечувствительная. Пойду сидеть в сад. Соседка сегодня поет не дурно.

За сим прощайте, мои милые. Ничего делать не хочется.



ВЕВЕ
Цветная литография
Музей изобразительных искусств, Москва

Тате послал начало промемории — 3-го дня.

Молодого челов[ека][5] за ответом о «Сороке-Воровке» жду не сегодня — завтра.

[1] Датируется по февральским письмам Герцена 1869 г.

[2] Статья А. Скабичевского «Д. И. Писарев, его критическая деятельность в связи с характером его умственного развития», в № 1 «Отечественных Записок» за 1869 г.

[3] В № 1 «Отечественных Записок» за 1869 г. были напечатаны очерки из циклов М. Е. Салтыкова-Щедрина — «Признаки времени» и «История одного города».

[4] Статья С. В. Максимова. «Народные преступления и несчастия», напечатана в №№ 1—5, 8—10 «Отечественных Записок» за 1869 г.

[5] Повидимому, имеется в виду П. Бларамберг или Н. Врангель.

107

16-го ф[евраля 1869 г.][1]. Вторник

Вчера я тебе послал мою личную тоненькую записку и толстые «Отечественные Записки».

Тх[оржевский] пришел вчера в 4 часа; он целое утро консультировал Фокона[2], который у него желудочного катара не нашел, заключил

о существовании невралгии желудка, позволил пить великодушные вины (vins généreux), т. е. бургонское, а не бордо, и через несколько дней начнет ему электризовать желудок. Несмотря на такой поворот к гальвановинизму, я решился сказать ему о твоем предложении насчет Чернец[кого] [3]. Мне казалось, что если б я, по внутреннему убеждению и несогласный с этим предложением, скрыл бы его от Тх[оржевского] — то, может, я этим повредил бы Чернецкому. Но в Тх[оржевском] я нашел убеждение против твоего предложения, гораздо больше экзальтированное, чем мое. Он замахал руками и ногами и говорил с полчаса без умолку. Но дело в том, что мы все-таки сходимся на том, что грабить тебя, не принося никакой действительной пользы Черн[ецкому] — бесплодно; польза была бы призрачная, и через год Черн[ецкий] очутился бы в том же положении, как теперь. Его надо своротить на работу, где он работал бы в самом деле под чьим-нибудь руководством. Иначе все помощи бесполезны. Предложение Тх[оржевского], о котором он тебе писал, об ассоциации с Мрочков[ским] — несравненно лучше, и ты можешь помочь взятием акций (хоть на 1 000 фр[анков], если хочешь), а также отделываешься от опеки. Мрочк[овский] же и К° будут, вероятно, искать работы и находить ее, вследствие разных знакомств, не à la Черн[ецкий], который убегает от работы. Для примера расскажу тебе следующее. Вчера Тх[оржевский] принес мне три n° недельной газеты: «Egalité», [4] издаваемой здешним рабочим обществом. Я ничего не могу сказать против газеты; она издается благонамеренно, умно, резко. Такого чего необычайного, чтоб послать тебе вырезку или целый n° с риском, что его во Фран[цию] не пропустят, я не нахожу. Я даже думаю, что пропустят, но что издатели толкуют о затруднениях больше для самоудовлетворения. Одним из главных издателей Бакун[ин]. Вследствие этого, печатание было предложено Чернецкому, который отказался. Газета в лист величины — помнишь — старого «Journal de St. Petersb[ourg]», т. е. небольшой лист в 3 колонны страница. — Тх[оржевский] спрашивал Данича, почему Черн[ецкий] отказался? Сомневается ли в уплате или в цене не сошелся? — «О! нет! Но мы в неделю такого листа напечатать не успеем». — А Бланшар [5] печатает и деньги получает все же около 100 фр[анков] в неделю, если не больше. — Что же ты хочешь после этого? Разумеется, Черн[ецкий] хозяином быть неспособен; а под другим руководством, как человек, обязанный делать то-то и то-то — жить будет в состоянии. В этом вся штука.

Ну! И довольно об этой материи. Странное дело, Герцен, и не могу сказать, чтоб оно с меня сходило, как с гуся вода. Нет! мне от этого глубоко больно — вероятно, я от этого так и расписался. Дело в том, что я стараюсь елико возможно сохранять самые дружеские отношения, но любви я не имею ни к тому ни к другому. В моем мозгу постоянно рисуются фигура шляхтича шляхетствующего и фигура шляхтича прихолопствующего — и обе мне ненавистны. Это я говорю только тебе; а насколько это мне больно — сам пойми.

Тх[оржевский] был вчера у Бакун[ина], который собирается ко мне, но боится, что я его прогоню. — Конечно, я его не прогоню. Мне все же разрываться с ним очень и очень прискорбно. Но что визит его мне будет тяжел, а не вкусен — в этом нет сомнения [6].

Не ошибся ли ты n° m-r Basile? — Rue Gioffrido 22.

«Неделя» уже an sich одно предостережение имела. Жду от тебя известий тоже не без волнения. Пошлю еще к m-me М[ерчинской]. Не знает ли она чего? Я все жду ее визита. Но видно к ней уже чересчур редко пишут.

Бак[унин], Мрочк[овский] и, кажется, Жук[овский] не участвуют

более в «Народн[ом] Деле»; да и оно не является. Напишу к Жук[овскому].

Заключение твоей страницы от 11 февр[аля][7] горько, Герцен, хотя я и не надеюсь на перемену.

Соседка поет. Мне как-то плакать хочется. Но, кстати, сейчас 12 часов и скоро пора есть. Ergo, откладываю письмо до после обеда. Может, в это время придет Тх[оржевский] и принесет какие новости.

Тутс сбирается писать тебе письмо. Он преуморительный. Встает с рассветом и будит весь дом. Мэри дает ему поручение убирать постели — и он в восторге, и когда думает, что делает дело, то не капризничает и никому не мешает. Вот и весь фокус, который не всегда под рукою. А без работы — он невыносимо капризен и напоминает постоянным хныканьем маленького Сашу.

Обедал — и имел визит Тх[оржевского]. — Вот и опять к сплётне, и действительно, я вместе с Тх[оржевским] вхожу в фурор, и шляхетство шляхетствующее становится для меня всего больше ненавистным.— Тх[оржевский] был вчера в типографии и напомнил Черн[ецкому] о том, что он хотел ассоциироваться с Мрочк[овским] в Веве. — «Как?, — говорит Черн[ецкий], — ты думаешь, что я поеду жить в деревню? Да там же опасно — католичество и протестанство могут преследовать. Да и кроме того, я в деревню жить не поеду. Если они хотят ассоциироваться в Женеве — другое дело». — Даже Данич не согласен ехать жить в деревню! — Действительно, caro mio, что ж после этого? Дай им пропасть прежде, да потом и спасай, если возможно. Это возмутительно. — Завтра есть нечего — а m-me Черн[ецкая] покупает туфли в 25 франк[ов][8]. Это все между нами, Герцен, — не наделай сплетней. Но ты видишь, что если я хладнокровно сержусь, то Тх[оржевскому] позволительнее горячекровно впадать в фурор. Он все же человек работящий и торговый и не считает торговлю за унижение благородного шляхетства. — «Кол[окол]» я еще не получал и не знаю, получу ли сегодня; вероятнее, завтра.

Вот и все исписано. — Посылаю тебе «Моск[овские] Вед[омости]», где отметил официальную пошлость и катковскую нелепость.

За сим addio, carissimi. — Вероятно, сегодня примусь опять за писание. Вчера все трудился над собственным лечением, и опять Майора помянул добрейшим добром, ибо все боялся, что плохо пойдет, а пошло превосходно.

Погода превосходная.

Обнимаю вас всех.

[1] Датируется по письму Герцена от 20 февраля 1869 г. (т. XXI, стр. 296—297).

[2] Фокон — женевский врач.

[3] Речь идет об уже упоминавшихся проектах «спасти» Чернецкого из его тяжелого материального положения.

[4] «Egalité» — орган женевской секции I Интернационала — издавалась в Женеве в 1869 г. под ред. Шарля Перрона, при ближайшем участии М. А. Бакунина, Элизе Реклю, Ж. Гильома, а позже, после изгнания Бакунина, — под ред. Н. И. Утина.

[5] Бланшар — женевский издатель.

[6] «Отчего же тебе его визит тяжел? — спрашивал Герцен в письме от 20 февраля — non capisco. А то все Чернец[кий] — Тхор[жевский], Тхор[жевский] — Чернец[кий] zu langweilig, и ты там как ни тяни из себя брильянтовую паутину, а иногда надобно и на людях освежиться...».

[7] Письмо Герцена от 11 февраля не сохранилось.

[8] Герцен, отвечая на все сказанное о Чернецком, писал: «Над Чернецким ломаю шпагу. История об Эгалите и Вевэ ужасна, только ты вздору не верь, т. е. тратам m-me Чернец[кой]. Это — сплетня, и ты Тхорж[евскому] такую чушь не позволяй говорить...».

108

18-е [февраля 1869 г.][1] Четверг. Вечером

Я с утра сбирался написать какие-нибудь новости, но никаких нет особенных. Ждал, наконец, сегодня появления «Колок[ола]», но и его нет.

Одно меня заставляет писать тебе сегодня, чтоб спросить ответа немедленно. Был у меня сегодня товарищ Вр[ангеля][2]. — Я ему читал «Восточный вопрос в панораме». Он говорит (да это, вдобавок, мое мнение), что это надо напечатать сейчас, или никогда[3]. А по новейшим известиям, «Народн[ое] Дело» — рухнуло. Хотя отец Утина и не разорялся, а только продал один дом, потому что продажа была выгодна. Но «Народн[ое] Дело», кажется, разошлось оттого, что люди между собой разошлись. Как это ни жалко, а все же, нам тем паче, этого нельзя поправить[4]. — Товарищ Вр[ангеля], который и не знает об этом, de prime abord, советовал напечатать отдельно (по моему, in 8° или in 16°). Что́ — ты на это согласен или нет? Вот на это и спрашиваю твое скорейшее разрешение.

Вр[ангель] уже уехал домой. Ему все будет написано. Но вопрос, еще скорейшего ответа: когда ты можешь прислать комментарий к «Пис[ьмам] об из[учении] пр[ироды]»? — Можно ли остальное начинать, покамест, печатать? — Если бы вышли затруднения в Петер[бурге] сыскать оригинал — можно ли от нас достать? В[рангель] хочет печатать без имени автора, но с именем: автора «Кто виноват». — Или ты захочешь какой особый псевдоним? На это на все также пиши как можно скорее, ибо оному господину приходится пробыть с неделю — не больше, или, в крайности, дней 10.

Ну! вот тебе и все. — Портрет Петруши[5] Саше... немножко другой. Посылаю его Тате для пересылки. Портрет, назначенный Ольге, такой же, как Татин. Но посылаю его тоже, пусть Тата перешлет.

Теперь четверть десятого — и я поскорей пошлю на почту, чтоб не затруднять прислуги. — Мэри страдает головой до обессиления. — Тх[оржевский] сегодня раз был. Черн[ецкий] вовсе не ходит и «Кол[окол]» не приносит. — Тутс сегодня необычайно забавен.

За сим прощайте, мои милые.

Продолжаю писать «С утра до ночи».

[1] Датируется по письму Герцена от 21 февраля 1869 г. (т. XXI, стр. 297).

[2] П. И. Бларамберг.

[3] «Разумеется, твои стихи надобно печатать теперь или не печатать, — писал А. Герцен, — даже и теперь поздновато (An reste, я тебе это писал и прежде, и мнение В[рангеля] ничего не прибавило). Печатай, si piace...».

[4] Герцен отнесся к этому спокойно: «Мне совсем не жаль, что «Народное Дело» лопнуло, и не жаль, что «нам нечем помочь», — писал он. — Бездарные прыщи самолюбия, гной, сопровождавший благодетельную горячку 1856—1862 годов; кантонисты революции, сделавшие себя генералами... Я не вижу, чего же ты жалеешь? Бакунин может жалеть, — ему одним диктаторством меньше... ...В «Колоколе» я их и «Современность» приветствовал с иронией, рассчитывая на падение, а ты наивно кручинишься...».

[5] Петруша — П. И. Захарьин.

109

22 ф[евраля 1869 г.][1]. Понедельник

Получил «Голос» и «Совр[еменную] Лет[опись]» с государственными счетами. Письма никакого. Сам лучше бы не писал, потому что завтра, вероятно, пошлю еще листок «С утра до ночи» Тате и стану писать; но, кажется, так давно не писал к тебе, что не могу удержаться.

Февральский «Вестн[ик] Евр[опы]» пришел. Беру смелость удержать его дня на три, потому что теперь читать совсем не способен; только

писать хочется. А на то и другое разом, право, сил не хватает. В «Вестнике» должны быть интересные вещи, начиная с статьи Костомарова. Но знаменитый «Обрыв» Гончарова — не стану читать; как ни развертывал — всё мне кажется утомительно скучно, не меньше самой личности Гончарова, — или я отчасти начинаю с ума сходить...[2] Но читать все-таки не стану.

Конради[3] давно редактор «Недели». Пятк[овский] был только сотрудником. Как и что̀ — не знаю и судить не могу. Во всяком случае, если б ты помещал даже у Стасюлев[ича][4] в «Вестнике» или в Revue des 2 Mondes — все равно, лишь бы помещалось и читалось. Ужасно желаю узнать твоего доктора.

Бак[унин] у меня еще не был. Я, может, через несколько дней, если он не явится, сделаю первый шаг к примирению. Разрыв меня тя-



ВЕВЕ
Рисунок карандашом из альбома Ховриных
Литературный музей, Москва

готит — а сближение не обрадует — вон оно пошло в какую дичь! Почему же мне не думать, что я с ума схожу?

Погода отвратительная, сырость — и тяжесть неимоверная! Стихоплетничанье меня увлекает и все вместе делает нервы ужасно раздражительными. Удивляюсь, что еще не болен. Посмотрю, как и что и почему, и напишу.

Хуже стихоплетничанья — простое сплетничанье. К этому относится — дело Черн[ецкого]. — Он, наконец, у меня вчера был (с Мадамой). У него ничего ни с кем не сладится. Мне кажется, потому, что ему самому ни на что̀ труда употребить не хочется. Schwung'а нет никакого и все ждет каких благодеяний судьбы. Тут никакие попихивания не помогут. Русские завели особую типографию для «Народного Дела» (Жуков[ский], Ут[ин] и два неизвестных эмигранта) — расставшись с Эльпидиным и взявши себе свои буквы. — Мрочк[овский] хотел печатать польский журнал у Чернец[кого] — но состоится ли оный — это (?). — Черн[ецкий] доканчивает на-днях Гея,[5] а там у него уже ничего не

будет. Если ты разрешишь мой «восточный вопрос», то, может, он до первых дней марта продержится, а там, может, сойдется с Ландскроном, что также ужасно сомнительно. — Черн[ецкий] и Тх[оржевский] смотрят друг на друга косо, и не мудрено. — Тх[оржевский] большей частью прав, а Черн[ецкий] никогда не признает себя виноватым (это шляхетская замашка). Но и Тх[оржевский] подчас не понимает, перевирает, что для него необъяснимо. Все это только скучно — и больше ничего.

Я рад, что я один и могу работать что и когда хочу. Даже все эти неискренние сближения, к которым я подчас стремлюсь, пугают меня. Кажется — много пропадет удобств, а выигрыша не будет. Теперь я большей частью один, а когда устаю — то перехожу к детям, к которым причисляю М[эри], Г[енри] и Т[утса], а когда отдохнул — опять ухожу к себе на работу, так что я $^3/_4$ дня за работой.

3 часа.

Прощайте, мои милые — до завтра.

P. S. Тх[оржевский] все говорит, что французское «Былое и думы» нельзя печатать, начиная с 4-го тома, а надо все четыре тома; что иначе никто не будет продавать. И что не будет ли эта работа только самообольщение для Черн[ецкого], если он, кроме этого, никакой работы не будет иметь? —

Подумай об этом. Я, право, «чем больше думаю, тем меньше понимаю». Мне бы хотелось, чтоб ты продумал, решил и приказал. Иначе с ними ничего не сделаешь. Я же на это не имею ни уменья, ни права.

Получил ли письмо Тутса?

1 Датируется по февральским письмам Герцена 1869 г.

2 «Обрыв» Гончарова первоначально печатался в «Вестнике Европы», 1869 г., кн. 1—5. Со второй книги началась печататься большая работа Н. И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой», о которой и пишет Огарев.

3 С января 1869 г. редактором «Недели» стала Е. И. Конради при ближайшем участии П. А. Гайдебурова. А. П. Пятковский отошел в сторону.

4 Стасюлевич М. М. (1826—1911) — редактор «Вестника Европы», известный публицист и журналист.

5 Гей — не выяснено.

110

23-го фев[раля 1869 г.][1]. Вторник

Твое письмо от 20-го получил сегодня в 12 часов. Год моего перелома ноги сошел благополучно. Я легко хожу раза 4 кругом по саду, но потом надо отдохнуть; от этого по улице ходить невозможно, в гору трудно, и эта едва ли когда исправится. Ломать и вправлять все же не хочу — не стоит того. Ну! их к чорту.

С Майором на-днях опять несчастие: M-me Stephany, после *n* лет супружества, родила. Майор, во время ее беременности, говорил — что она не в состоянии разродиться счастливо и не переживет родин ни в каком случае. Но принимал он. Ребенок выходил рукой и ногой; Майор был вынужден сломать его, чтоб вынуть, и отдал повивальной бабке растирать. Мать через несколько минут обессилела и умерла. А ребенок ожил — и Майор говорит, что он вынесет все и выправится (?). M-r Stephany[2] не хочет видеть ребенка, как единую (?) причину смерти матери — а сам хотел застрелиться. Барни и К° около него и не покидают его, чтоб остановить покушение на самоубийство и успокоить. — Это сегодня рассказывал Тх[оржевский].

Панфлет мой сегодня отдам печатать, ибо уверен, что он даже так нелеп, что разойдется, потому что все еще, кстати — не хуже «Фонаря»[3].

Пишу к тебе, а не к милой моей Тате, которую благодарю за божью коровку Тутса, и посылаю 2-й листок «С утра до ночи». Продолжение никак не мог сам с собой решить — что именно прежде, что

после. Об «Неделе» подумаю, но едва ли это будет возможно[4]. Нет, Герцен, видно, мне придется заглохнуть про самого себя. Так что же? Das ist auch etwas.

В[рангель] зайдет не сегодня — завтра, следст[венно], о всех статьях переговорю. — «Писем об из[учении] пр[ироды]» поищу — но что-то не надеюсь. А мне бы хотелось твоего комментария.

Тутс был в волнении восторга от твоего письма. Одно только замечание сделал, немножко обидевшись: отчего на другой стороне ничего не написано. Но ходил к Францелине посмотреть, не может ли она заставить божью коровку летать. Вчера он стал рассказывать, как один мальчик, который был уж совсем человеком, был обвинен дамой, где жил в услужении, что нехорошо себя ведет и что они посадили его в тюрьму... и т. д. Я никак ничего не мог понять, если б Генри не вмешался и не узнал, что это история Иосифа прекрасного! Эк они в фребелевской школе-то чему учат семилетних детей! (Или я уже это писал вчера? В таком случае — pardon!)

Под конец берегу тебе только сказать, что я жду (душа не на месте) разгадки всей истории или сплетни о М[ейзенбуг?] — Мне это больно, не знаю как и сказать[5].

За сим прощай. Пора! Всех вас целую.

P. S. А насчет сплетней, т. е. насчет туфлей, я не мог возражать Тх[оржевскому], потому что это она сама показывала и рассказывала.

Бак[унин] еще не был. Я сам решусь, но не ближе 2 дней. В 2 дня проделаю «Вестн[ик] Евр[опы]». —

[1] Датируется по письму Герцена от 20 февраля 1869 г. (т. XXI, стр. 296—297).

[2] Стефани — венгерский эмигрант.

[3] «Панфлет» — «Восточный вопрос в панораме». Говоря о «Фонаре», Огарев, повидимому, имеет в виду знаменитую рошфоровскую газету «Фонарь», как раз в это время имевшую колоссальный успех во Франции.

[4] Ответ на вопрос Герцена «не хочешь ли твою эпистолу к Тате в «Неделю»? (т. XXI, стр. 297).

[5] В письме Герцена М. Мейзенбуг посвящен следующий абзац:

«Тата получила от Ольги длинное письмо. В нем есть загадки и намеки до того ужасные, что я боюсь их комментировать. Тут систематическая интрига Мейз[енбуг], имеющая целью ее отвязать от всех, а главное — от меня; интрига, не лишенная (если подтвердится) клеветы. Что тут скажешь?..».

Взаимоотношения Герцена с М. Мейзенбуг к концу 1860 г. вылились для первого в достаточно тяжелую форму. М. Мейзенбуг, ненавидя Н. А. Тучкову-Огареву, не хотела, чтобы Ольга (ее воспитанница) жила вместе с ней, т. е., другими словами, со всей семьей Герцена. И постепенно Ольга отходила от семьи отца. Письмо Герцена к М. Мейзенбуг от 14 февраля 1869 г. дает некоторое представление об этой новой трагедии Герцена. Герцен просил о приезде Ольги к нему хоть на месяц, чему М. Мейзенбуг противилась:

«Я ей [Ольге. — *Ю. К.*] сказал, — пишет Герцен М. Мейзенбуг, — что она должна видеть в вас вторую мать, но из-за этого не следует не знать своего отца, и я на самом деле не понимаю, почему нельзя на месяц расстаться с матерью. Ольга находится в исключительном положении; она не говорит на моем языке; значит, даже читая, она не будет знать, чем был я. Меня она, конечно, не забудет... но и знать меня не будет. Согласитесь, что заслуженно или не заслуженно, но это тяжело... Я уверен, вы никогда не думали, что возьмете на себя часть обязанностей Немезиды по отношению ко мне. Клянусь, что я не сержусь на вас, я слишком справедлив к себе, я стремился иначе повернуть свою жизнь, но потерял слишком много времени, и искупление наступило раньше чем я ожидал...» (т. XXI, стр. 283).

111

26 ф[евраля 1869 г.][1]. Пятница

Патеру.

Сегодня получил письмо от Ольги. Она, кажется, больше всего занимается музыкой и всего больше ей хочется продолжать уроки с Панофкой. Если она может сделаться певицей, я не вижу в этом худого;

напротив того, это было бы всего лучше. Но чтоб в ее письме было что-нибудь достаточно определенное, этого я не могу сказать. Мне кажется, слишком много искания чего-то и неясности, чего-то, напоминающего мне немецкого студента, который мне жаловался, что «er kann nicht mit sich selbst ins klare kommen». Я бы желал, чтоб она была поближе к тебе, но и это едва ли удобно!.. К какому это все результату придет, caro mio, не могу сообразить; одно только могу сказать, что всё вместе оставляет весьма тяжелое чувство неясного положения в настоящем и совершенно смутного исхода впереди. — К Саше целую неделю сбираюсь писать, но еще не собрался; должно быть завтра напишу.

От тебя сегодня ничего не получил, но мне хочется тебе сказать, что я дня на два-на три — немножко изменил мои занятия и отсрочил idem отсылку тебе «Вестника Евр[опы]». — Мне так понадобилось написать маленькую статейку об его статьях.

27 ф[евраля]. Суббота [1]

На оном пункте вчерашнего письма меня прервал Шев[елев] и просидел целый день (моя невозможность выходить теперь меня лишает средства отделываться от людей). Он очень зол на тебя, потому что будто бы ты Клапке [2] (который в Ницце) говорил, что он, Ш[евелев] — шпион, что Клапка об этом писал в Венгрию, где он был и имеет много дела и т. д. — Он тут находит, что ты отсутствие всяких фактов выставляешь доказательством, и что это преступно [3]. — Потом, он сердится на Тх[оржевского] и на Бак[унина]. (Тут разные причины). Но, право, больше не могу сегодня сплетничать; еще от вчерашнего устал. — Посылаю письмо Тате, которое прочтите вместе и напомни мне, что такое, я не надеюсь ничего найти и ничего вспомнить. — Твои Письма о природе вчера тебе посланы. Пиши на всякий случай примечания. В[рангель] у меня еще не был (теперь 1 час) — но может и будет. Пиши и пришли мне. — Мое посвященное Тате стану писать до конца, а выправлять после — вместе с тобою. Теперь напишу, что хотел о статье «Вестника» и пошлю тебе. — «Недели» я не получал.

Сегодня погода лучше, и я здоров и воспользуюсь для писанья, а не для чего другого. Стало, тут я завершаю. — Тх[оржевский] ушел прежде, чем я получил твое письмо от 25-го. Твою записку передам ему только завтра, ибо сегодня его не отыщешь.

Об Ольге еще в другой раз поговорю. — «Вестник» постараюсь послать и никак не позже послезавтра. — Addio, carissimi. —

[1] Датируется по февральским письмам Герцена 1869 г.

[2] Клапка — польский публицист, см. комментарии к письмам 1867 г.

[3] Шевелев Николай Александрович — участник революционного движения 60—70-х годов. Два раза бежал из-под стражи: из Спасской полицейской части СПБ и из Курской больницы; эмигрировал за границу, где проживал сначала в Венгрии, в Будапеште, помещая статьи в местной газете «Новина». Издал в 1868 г. вместе с Л. И. Мечниковым и Н. П. Огаревым «Землеописание для народа». В 1868—1869 гг. жил в Женеве. Арестован в 1871 г. в Париже и выдан в феврале 1872 г. русским властям. По приговору особого присутствия Сената 24 февраля 1876 г. приговорен к 10 годам крепости. В 1876—1881 гг. содержался в Николаевской больнице для душевнобольных.

В письме Герцена к Н. П. Огареву от 1 марта 1869 г. (т. XXI, стр. 309) находим следующие строки: «Кто Шев[елев] — не знаю (что за мания писать вкратце). Догадываюсь, что речь идет о Леливе. Но самое лучшее в том, что Клапку не видел и не хотел видеть, к нему не писал, не телеграфировал и ни одного венгерца не видел также, а после выезда из Швейцарии имени Леливы не упоминал. Ergo, что это за новая гадость? пусть же этот господин (шпион он или нет, все равно) назовет, кто ему сообщил венгерские утки. Это скучно и гадко». Шевелева упорно обвиняли в шпионстве.

112

1 марта [1869 г.][1]. Понедельник

Сегодня к 3-м час[ам] не отделался и письмо пишу вечером, все же довольный тем, что М[эри] принесла перья, которыми писать можно. — Твое письмо от 27 фев[раля]. — Благодарю за известие о деньгах[2]. Прошу N[atalie] написать Ел[ене] мою благодарность. Присылка же Тх[оржевскому] для меня будет кстати, ибо придется кое-что поуплатить, а с остальным очень хорошо справлюсь. — Но что ты пишешь Тх[оржевскому] о фортепьяно? Мне кажется, что теперь этот расход не кстати, хотя ты и жалуешься, что я не отвечаю на то — где осесть?[3] До оно и было бы слишком мудрено. «Где ж лучше? — где нас нет».



Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА С ДОЧЕРЬЮ ГЕРЦЕНА ЛИЗОЙ

Фотография, 1870-е гг.

Литературный музей, Москва

А для меня это совершенно напротив. Мне нигде не лучше — и я везде готов поселиться. Мне по моему соображению около полугодия надо остаться в Женеве — всех вопросов ради — от ноги до Генри. Мне кажется, что нога все-таки продолжает крепнуть и что через полгода будет, вероятно, гораздо способнее к перевозу, а Генри кончит ученье и поступит на работу. Мне бы хотелось быть тут. Далее — мне бы хотелось поселиться близ тебя; вместе — я боюсь, Герцен — и едва ли ты захочешь, ибо я М[эри] не брошу (пусть я у ней, или она у меня на руках умрет, ибо она человек более больной, чем я). Но вдали от тебя жить я не хочу — мне это и скучно и прискорбно. Но где поселиться? Это решай ты, ибо я еще меньше знаю; но я готов всюду — мне все равно, куда переехать или где остаться. Но прежде, чем это решить — я не думал заводить клавир. Куда с ним возиться? Ольге я послал ге-

нералбас, который она желала, но писать стану только завтра, idem и Саше.

Тебе сегодня послал (в 3 час[а]) «Вестник Европы»; а при сем прилагаю маленькое замечание, которое еще может разрастись, но мне прежде нужно твое одобрение и указание, куда его девать? Разве на еще прибавление к «Кол[околу]»? Черн[ецкий] еще месяца полтора (или до мая) просидит на месте. (А вообрази, что мой «Восточн[ый] вопрос» вот уже целую неделю не готов). Так ты это реши — и продолжать ли? — Да напиши, именно что тебе кажется неясным в статье, посвященной Тате. А за сим я возвращусь к оной статье.

Сегодня получил из Кларанса брошюрку о излечении эпилепсии, т. е. annonce с рекомендациями, д-ра Квантс. По надписи, по записочке карандашом — сколько ни отгадываю — должно быть Утин. — Весьма благодарен, но, воспользоваться не намерен; я ужасно боюсь подобных аптекарских объявлений.

Недельная история пробирает немножко морозцем по коже. Погоди — еще не знаешь, кого в самом деле винить и за что. Надо присмотреться. — Но нам печатать все же следует где б то ни было[4]. —

Тутса в школе учат молиться. Но других школ — нет.

Addio! carissimi. Всех вас лобызаю.

Сегодня умер и сегодня хоронили процессией мимо нас—моего соседа, хромоногого католическ[ого] попа, которого я все звал товарищем по ноге. — В проливной дождь мальчишек одели в кисею; хорошо, что матери вступились и упросили попов одеть их, как следует в дождь, а не в церемонию.

КАЗНОВЛАСТИЕ[5]

(ПИСЬМА К ГЕРЦЕНУ)

Письмо первое.

Ты, вероятно, не подозреваешь, что я большой охотник читать журналы с доктринерским оттенком (только не подлые, в которых даже интерес противности до такой степени противен, что читать можно разве по обязанности). Благородные журналы с доктринерским оттенком я большой охотник читать, потому что в них есть возможность натолкнуться на что-нибудь существенное, с чем приходится поспорить. А это вещь чрезвычайно важная — и для полемики и для поверки собственного мнения.

К одному из таких журналов* я причисляю «Вестник Европы». Поэтому, получивши февральскую книжку, я тотчас раскрыл «Внутреннее обозрение», которое меня всего больше интересует — и тотчас наткнулся на несколько строк, которые невольно вытягивают из меня целую сеть полемики.

Меня всего больше поражает в этих строках, что императорская российская гласность — не может состояться; она не гласность, а призрак дозволения человеку высказывать свою мысль; она не гласность, а обман.

Вследствие этого человек, который желает только указать на то, что̀ делается худо, и не желает сказать лжи, — вдруг начинает говорить страшнейшую путаницу, прикрытие чего-то — чего он не хочет скрыть, защиту вещей, которых

Хотя бы был и ум высокий —

оправдать нет никакой возможности.

---

* Почему они называются журналами, а не месяцесловами — я не знаю: французское слово journal — значит ежедневник [Примечание Н. П. Огарева].

«Почему же», — говорит пишущий господин, — цифра сметного дефицита... (см. «Внутр[еннее] обозр[ение], стр. 901—902 между двумя отметками карандашом).

Очевидно, что пишущему господину хочется защитить земледельческое сословие от совершенно обычной клеветы, возводимой проповедниками из смоленских дворян вроде Скарятина; но также очевидно, что пишущий господин не смеет сказать своей защиты просто, полным человеческим языком, желающим сказать правду; не смеет, потому что правительству до защиты мужиков (нравственной или иной), в сущности, никакого дела нет, а что оно само скорее держит сторону Скарятиных, чем мужиков, да еще вдобавок — в деле возвышения и сбора податей — должно признать себя виноватым.

Каким образом пишущий в «Вестнике Европы» нашел в неурожайный год развитие экономических сил в русском народе — это уже остается на его совести. Кто не знает, что правительства, особенно правительства, действующие помимо представительных собраний, увеличивают казенные доходы по своей правительственной надобности, а вовсе не спрашивают, увеличилось или уменьшилось экономическое благосостояние народа? И кто же не знает, что для сбирания увеличенных подушных и оброчных — местные управительства (администрации) не только без всякого расспроса о благосостоянии, но даже без всякого исследования нищеты и голода, употребляли розгу и распродавали у крестьян все — и скот и последнюю курицу?

Кто станет в таком сбирании податей искать доказательства благосостояния, добропоря[до]чности, экономических способностей и, тем паче, самостоятельности нашего крестьянства — в пользу ли, или в отрицание означенных качеств и означенного положения? Каждому слишком резко бросается в глаза, что в таком сбирании податей — никакого иного доказательства нельзя найти, кроме доказательства мерзости нашего управительства (работающего корысти ради в пользу правительства) и мерзости самого правительства (поддерживающего, на высеченные из народа доходы, свое тухлое управительство).

Если означенный способ взимания податей удержался, несмотря на освобождение крестьянства, это еще не доказывает экономического развития народа. Это только указывает на одну из сторон, которой народ попрежнему остался закрепощенным, и что эта одна из закрепощающих сторон — к а з н а. Точно так же, как сборы в уплату помещикам доказывают не освобождение и преуспеяние крестьянства, а только указывают на остаток его закабаления и закрепощения. А там, насколько преуспеяние крестьянства действительно бы совершилось, если бы не случилось неурожая и убийственного голода — это надо взвесить своим чередом и расчетом, и тогда, пожалуй, выводите заслугу освобождения; а не подсовывайте под освобождение дела, относящиеся к остаткам закрепощения. Это всегда останется ложью, усердием перед правительством, выдавание[м] черного за белое — и никому не поможет.

Если такое управительство, которое взимало подати розгами и распродажей крестьянского имущества, сохранилось — даже несмотря на судебную реформу — то можно ли этим доказывать экономическое развитие народа? — Этим можно доказывать только крайнее бессилие народа, который не может отстоять себя от такого управительства — ни просто своей собственной силой, ни своими новыми земскими учреждениями (потому что они барственные), ни своими новыми судами, которым правительство не дает права разбирательства крестьян против управительства. Какую же вы хотите, чтоб в самом деле могли делать

оппозицию — люди, сдавленные до такого нуля, и какого вы ждете от них развития — экономического или иного? Если не все умерли с голоду, а заплатили подати — по распродаже последней курицы — это еще мало доказывает в пользу развития.

Я знаю, что найдутся господа, которые скажут, что это все — валуевщина, тимашевщина, шуваловщина и пр. и пр.; а что его величество про это ничего не знают. Так зачем же его величество про это ничего не знают? Пора бы задать ему себе серьезный, человечный вопрос à la Hamlet: «быть или не быть»? Ведь человечное еще не все в том, чтоб быть для того, чтоб хорошо пообедать!

Что касается до нападок на крестьянство (à la Скарятин), что оно спилось с кругу со времени учреждения акцизного питейного сбора, то его защищать, конечно, нельзя развитием его экономического благосостояния, которого нет. Его можно защищать тем, что в других европейских странах — пьют не меньше, если не больше, а еще от этого благосостояние не теряется; а если теряется — так от чего другого. Да и тут нельзя не указать, что если управительство и правительство признают, что слишком большое увеличение кабаков гибельно действуют на народ, кто же мешает правительству уменьшить их число, если не нужда в деньгах, для добывания которых оно способно на всякую наглость, не хуже контрабандиста?

На этот раз я остановлюсь. В другом письме придется говорить о гораздо больших подробностях.

[1] Датируется по письму Герцена от 27 февраля 1869 г. (т. XXI, стр. 308).

[2] «Сат[ин] вам прислал 2550 фр[анков], — писал Герцен, — так что с прежними наверняка almeno до нового года — в[аше] прев[осходительство] обеспечены, даже с обычными передержками. На-днях пришлю Тх[оржевскому] чек в 1000 фр[анков] для твоих расходов на март и апрель...».

[3] Этот вопрос был поднят в письме Герцена. «Надобно где-нибудь осесть, а где? Вопрос до того мудреный, что ты на него и не отвечаешь, да и я тоже...». В ответном письме от 4 марта 1869 г. Герцен писал (т. XXI, стр. 312): «...Об общей жизни я и не думал: она невозможна...»

[4] Повидимому, Огарев пишет о напечатанной в «Неделе» статье Герцена под псевдонимом Нионского. В письме Герцена имеются следующие строки: «...Получил письмо от Марко Вовчка; опять о корреспонденции в «Неделю». Много шумят, как бы не наварили каши. Вероятно, весь Петербург знает».

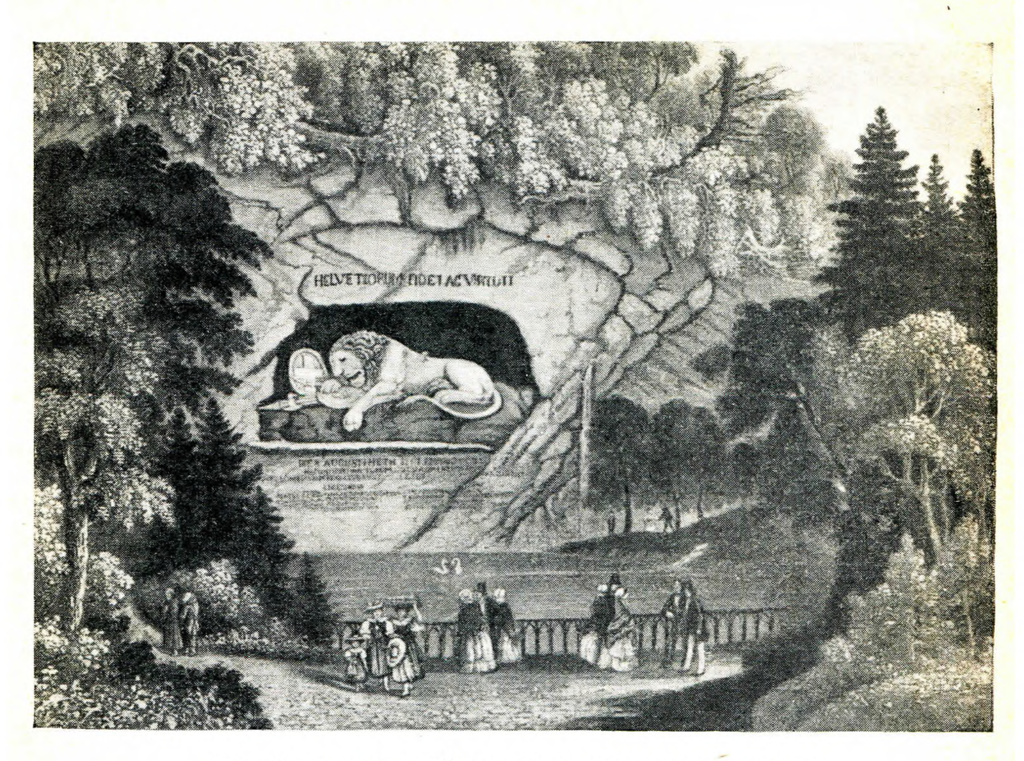
[5] Герцен дал отрицательную оценку этой статье Огарева:

«...Теперь о самой статье. Я часто нападаю на форму у тебя. Она шероховата, тяжела местами, и от этого мысль тускнеет. Чтоб показать тебе разницу, я сошлюсь на статью в «Приб[авлении]» о голоде. По-моему, она превосходна и написана хорошо. О новом письме я не могу сказать того же. Затем тяжелый приступ о подлых и не подлых доктринерских журналах: зачем развлекать подстрочным замечанием? И зачем там сям брани, Скарятины, не звучные слова? Ну, кто в наше время серьезно думает, что это валуевщина, шуваловщина и что госуд[арь] не знает? и что за старый оборот насчет «быть или не быть». Вся система, все сплетенье обществ и правительств виновато, и само собой разумеется, тот, кто во главе стоит... Ну, а затем, само собой разумеется, что фондовая мысль справедлива и ясна, и что, изменивши тон, можно продолжать...»

113

Пятница 5 марта [1869 г.][1]. Вечером

Нет, не дождешься их! Все жду Черн[ецкого] с напечатанным моим «Восточным вопросом», но еще до сих пор не готово. Где тут наладить какую-нибудь ассоциацию! Очевидно, сам себе человек подрезывает возможности: ведь на него смотрят. — Я еще вчера хотел тебе писать, получивши твое письмо; но подумал: подожду день — напишу как кончится моя попытка. Но, видно, и сегодня она еще у Черн[ецкого] не кончится. Ergo, похороним ее и давай толковать о другом.



ЛЮЦЕРН. УМИРАЮЩИЙ ЛЕВ, СКУЛЬПТУРА ТОРВАЛЬДСЕНА

Гравюра Вебера по рисунку Винтермана

Литературный музей, Москва

Эк! тебя прорвало — смешать Шевелева с Леливой! Разве забыл квакера, который печатал брошюру, заказанную Мечникову [2]. Рассчитался он со всеми честно. Книги в ход не пустил; жалуется, что она для народа слишком мудрено написана. Жалуется, будто там сказано, что освобождение крестьян произведено нами, и что это русских очень сердит. Я уверен, что он не шпион, но он немножко тронут, или никогда не мог сложиться мозгом. Написал венгерскую брошюру, которую здесь венгерцы чрезвычайно хвалят, выставляя ее как произведение совершенно социальное. Я не мог никого найти — кто бы мне ее прочел texte en regard. Если у тебя есть знакомый венгерец — пожалуй пришли. — Он уверяет, будто Клапка сообщил в Венгрию, что от тебя о нем слышал, что он шпион, чрезвычайно этим оскорблен и говорит, что его уже в Венгрии настолько знали, что этому не поверили и это ему не повредило. Теперь, на сколько он врет, или не врет, — за это ручаться не могу, потому что у него в языке есть что-то похожее на водоворот или на мельницу; но все же шпионских замашек нет ни малейших. Живет он не в Женеве, очень уединенно — и, если уже на что смахивает, то скорей всего на контрабандиста!

Вот тебе и отчет об Шевелеве. Но все же он мне кажется добрым человеком. О том, что ты Клапки не видал, я ему напишу завтра и спрошу, от кого он это слышал.

Тх[оржевскому] все, что следует, передал. Он сегодня получил от тебя чеки, за которые я приношу благодарность.

Доктора твоего жду и твою Женеву. Получил ли ты письмо, которое я послал на имя Таты?

Сегодня получил «Отечест[венные] Записки» февральс[кие]. Чья это там поездка в Испанию очень не...[3].

6 м[арта] суббота. 12 час. — Вчера на той странице я приостановился и пошел ужинать. Вдруг приходит Жуковский, ужинал со мной и просидел до половины 12-го. — Затем я пошел спать. — Ничего, в Жуковском много хорошего, и работает он усердно; вероятно и «Народно[е] Дело» поставит на ноги. К унынию моему, я ничего не хотел намекать об ассоциации с Черн[ецким], прежде чем он сам заикнется. Но он об этом не говорил, хотя о своих хлопотах и заговаривал; да это и едва ли возможно, ибо прежде всего Чернецкий заламливает цены... Вдобавок, Жуковского прорвало ко мне придти то, что он пришел прямо из типографии, где ему Черн[ецкий] дал «Восточн[ый] вопрос», который производит впечатление; стало, об ассоциации они могли бы уже говорить, если бы это было возможно; но, сомневаюсь, и не хочу вступиться. — Жуковский много рассказывал, много интересного; я был очень доволен его визитом. Тебе он просил непременно написать, что твой ответ Вырубову производит восторг[4]. — Из разговоров теперь помяну только, что следовало бы нам выписать «Космос», revue издав[аемое] Антоновичем[5], Елисеевым[6], Ю. Жуковским[7], и пр., где должно быть много интересного. — Сегодня с утра читал «Отечест[венные] Зап[иски»]. — Они мне кажутся на этот раз жидки; но я еще немного прочел. Любопытно мне знать твое мнение о рассказе Успенского (Разоренье)[8]. Тут есть промахи, но чрезвычайно оригинально, хотя и аляповато; а притом оно полезно. Начало хуже, но потом живее и резче. Очень желаю, чтоб ты прочел это, и пришлю «Отечест[венные] Зап[иски]» как можно скорее.

Теперь подожду Тхорж[евского]. — Может, что придется еще сказать.

Сию минуту пришло твое письмо от 4-го мар[та]. Merci за клавир, который у меня; для меня он и достаточен; 14 фр[анков] за него с радостию стану я платить. Но покупать его не стоит того, он и своих 500 фр[анков] не стоит. Жуковский пробовал и того же мнения. Если уже купить, то надо купить такое pianino, которое было бы полезно и Тате, и Ольге, и Лизе, т. е. pianino Плейеля в Париже за 1 200 фр[анков]. Иначе не стоит покупать. А я теперь с клавиром и бываю очень счастлив.

О моем «Восточн[ом] вопросе» — могу только сказать, что теперь половина первого, и что он еще из типографии в свет не выпущен; сегодня суббота, завтра воскресенье; ergo, дело остается до понедельника. Вот тебе и ассоциация.

Я тебе один вопрос на обдумание задаю: мне кажется, что, вообще, переезд наилучший в Брюссель. По крайней мере, там больше научных условий, чем в Италии и условия свободы прочнее?

После обеда. Тх[оржевский] пришел. «Восточн[ый] вопро[с»] вышел. Деньги получаю. Напишу завтра. —

[1] Датируется по письмам Герцена от 1, 4, 6 марта 1869 г. (т. XXI, стр. 309, 312, 317).

[2] Этот абзац о Шевелеве позволяет установить тождество Шевелева с автором брошюры, изданной под псевдонимом «Молоканин» (см. комментарии к письмам 77 и 111).

[3] «Поездка в Испанию» подписана инициалами Э. Д., см. комментарии к письму 122.

[4] Речь идет о статье Герцена «Ответ г. Вырубову», напечатанной в февральском прибавлении к «Колоколу».

[5] Антонович Максим Алексеевич (1835—1918) — литературный критик, после смерти Добролюбова заведывал критическим отделом «Современника».

[6] Елисеев Григорий Захарович (1821—1881) — критик и публицист, сотрудник «Современника», «Русского Слова». С 1868 г. один из редакторов «Отечественных Записок».

[7] Жуковский Юлий Галактионович (1822—1907) — известный публицист, сотрудник «Современника».

[8] Повесть «Разоренье» Г. И. Успенского, печаталась в кн. 2, 3, 4 «Отечественных Записок», 1869 г.

114

9 мар[та 1869 г][1]. Вторник

Второй день собираюсь писать к тебе и послать «Отечест[венные] Записки». Все думал их дочесть, но ближе сегодня вечером не одолеешь. Этот n° слишком богат. Я не могу оставить его не доконченным. Еще две статьи осталось докончить, а ведь читаю почти целый день. — Прочти Успенского — «Разоренье», как ни аляповато, но сильно меня волнует. — Прочел из любопытства комедью Потехина[2]: тема чрезвычайно ловкая, тенденция чрезвычайно хорошая, а лицы — по моему мнению — бледны, и можно было бы из этого сделать что-нибудь пошире. — Статью о Спенсере[3] советую прочесть Тате с тобой; может, потребуется и терпение, но она все-таки очень хороша. — Стихи Некрасова очень топорны[4] — стихи М. (К родине) хороши. Библиографию, «Наши общественные дела» etc., не пропусти.

В[рангель] насчет переговоров о твоих старых статьях больше у меня не был, и здесь ли он и следует ли его найти — не знаю.

Тх[оржевский] послал тебе мою брошюру, но хорошо ли сделал — не знаю. О получении напиши. Твое письмо от 4 мар[та] я перечитываю несколько раз — все насчет переездов, и, право, ума не приложу. Я не боюсь ни тепла, ни холода, но ужасно боюсь несвободного помещения. Подумай об этом. А все вместе оставляет тяжелое чувство, от которого трудно отделаться[5].

Если я тебе писал о Мэри, то не потому, что думал, чтоб она недолго прожила; а потому, что она больна серьезно и неизлечимо. Что же касается до меня, то я теперь ее посылаю на почту, а сам обращаюсь к «Отечест[венным] Запискам».

Тх[оржевский] был. — Черн[ецкий] не был; если уже ему очень нужно — я ему отдам за Вихерского. Но Черн[ецкий] у меня еще не спрашивал, и я не напрашиваюсь. Деньги я взял все, потому что расплачусь легко, а на остальные два месяца проживу.

Цалую вас всех, мои милые.

От тебя сегодня писем не было.

А что твой диабет?

[1] Датируется по письмам Герцена от 4 и 14 марта 1869 г. (т. XXI, стр. 312, 320).

[2] В письме от 14 марта 1869 г. Герцен писал о февральской книге «Отечественных Записок»: «...«От[ечественные] Зап[иски]» читаю. Комедия Потехина — сущая дрянь, и дрянь подлая по времени — теперь ругать немцев гадко; будто русские помещицы и пройдохи лучше? Характеры грубы, завязка пошлая, все экзажерировано, что же хорошего? Береги твой вкус...» (т. XXI, стр. 321).

Комедия А. А. Потехина, о которой пишет Огарев и Герцен, — «Рыцари нашего времени».

[3] Статья Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?».

[4] Речь идет о первых главах поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

[5] Почти все письмо Герцена от 4 марта 1869 г. посвящено этой теме: «Жить следовало бы в Париже, если там гадко, то нет причины, бежать от беды; можно затем, но уже мелководно, жить в Брюсселе или Женеве. Затем я вижу одно уединение в теплом климате, и, конечно, не в Ницце. Мы едем на месяц в Геную. Изучу и посмотрю. Если что можно, к зиме решим, и тогда твои полгода bon poids остаются. Еще, caro mio, ты отчисли себя из умирающих и еще больше Мэри. К таким шуткам легко привыкает воображение. Было время, напр[имер], в конце 63... 65 и до

твоей ноги, когда я ждал ежедневно страшного результата твоего питья. Мой последний приезд в октябре убедил меня, что перелом твой спас тебя, и что ты от смерти дальше, чем в Буасьере. Но с чего же М[эри] ты зачислил по вениеринскому легиону бессменно умирающих? Сомнения нет, что все родившиеся имеют шанс умереть, но шанс этот ставится вне игры, или игру придется забастовать» (т. XXI, стр. 313).

115

15 мар[та 1869 г.][1]. Понедельник

Вчера был Щерб[аков] и привез твою статью[2], которую я уже вчера прочел и сегодня перечитывал. В ней чрезвычайно много хорошего; но и с ней я не могу (пока) согласиться, как и с неопределенностью Бакунина. Главное, я одно тебе замечу, что вооруженное восстание обусловливается существующим войском, которое до сделки никогда не допустит. Едва ли ты в этом найдешь что-нибудь unpraktisch. Тут ничего теоретического нет, а история-то с этой дороги сойти не может. Но все же я сегодня писать об этом усиленно не буду, ибо имею сообщить тебе частный запрос Чернецкого, а времени уже не много.

Частный запрос Чернец[кого] в том, что точно ли ты будешь печатать мемуары, взявши дозволение де Лаво, а также и 4-ю часть. Черн[ецкий] говорит, что с мемуарами и «Полярн[ой] Звездой» — он еще год просуществует, что он ждал от тебя ответа и еще не получал. — Прежде всего, если ты можешь печатать, надо его спросить — как скоро будет напечатано. — Тх[оржевский] говорит, что ты ему писал, что не будешь печатать (ибо это = 12/т[ысячам] фр[анков]) и что он говорил об этом уже прежде с Чернец[ким]. Но Тх[оржевский] и Черн[ецкий] в таких отношениях, что эти отношения скорее мешают мне иметь собственное мнение, а не помогают. Дело в том, что Черн[ецкому] надо через пять недель покончить и потому он жаждет от тебя немедленного ответа. От ассоциаций он, кажется, уклоняется а не то что ищет в них спасения; мне тут многое не нравится, но я не хочу теперь говорить, чтобы ты остался без всякого влияния и решил сам по себе: можно его поддержать давши ему работу — или пусть сейчас распродается (что будет также совсем в убыток)? — Напиши ему, что знаешь, или напиши мне так, чтоб я ему сказал — это omni casu будет лучше. Но сделай это тотчас, ибо ему в самом деле узлом пришло и ждать нечего.

Вот тебе история! Право, устал даже от писанья ее; вдобавок, руки так гадко болят от chillblains'ов, что просто трудно писать; а охота большая.

Вчера Щерб[аков] был вечером; ужинать не остался (сегодня куда-то едет). Поэтому я ужинал после его ухода весьма вплотную; потом лег спать и видел во сне следующее: «Молитву православного чиновника богородице — на голос «Здравствуй милая хорошая моя». — Целое утро она меня не отпускала от тетради; я ее кончил, но еще слишком на-черно; а потом надо написать голос с аккомпанементом. К отъезду Щербак[ова] надеюсь слажу — а тогда пошлю тебе и посмотрю — что ты ругнешь или только посмеешься.

Сегодня здесь Ант[он] Рубинштейн[3] дает концерт.

Самое печальное известие получил сегодня через Тх[оржевского] от Веньера[4] (который сбирается ко мне): Мерч[инский] в Петербурге заболел холерой и лежал в клинике у Ботк[ина]. Но в последнее время стал вставать и курить. — Но каково-то это для него при всех скудных делах?

Ну! теперь до другого раза. Пора на почту. Целую вас всех.

[1] Датируется по письмам Герцена от 11, 14 и 17 марта 1869 г. (т. XXI, стр. 320, 328).

[2] «Посылаю тебе, — читаем в письме Герцена от 11 марта, — статью по поводу Бак[унина]. Прочти ее со вниманием» (т. XXI, стр. 320). Статья, о которой пишет Герцен — «К старому товарищу». В другом месте Герцен снова обращается к своей статье. «Сегодня, вероятно, у тебя будет Щербак[ов]. Я с ним послал статью о контроверзе с Бакуниным и письмо, в котором говорил о том, что баланс склоняется на Брюссель...» В ответном письме Герцен соглашается с замечанием Огарева: «Ты прав насчет замечания о войске, помешающем сделке — но где же сила против войска? Опять в пропаганде, учении и экономическом устройстве коммунного труда» (т. XXI, стр. 328).

[3] Рубинштейн Антон Григорьевич (1828—1894) — знаменитый композитор и дирижер, много гастролировавший по Европе, и, в частности, в 1869 г. в Швейцарии.

[4] Веньер, вернее Веньери — врач.

116

17 м[арта 1869 г.][1] Середа

Сегодня погода превосходная, quasi лето; несмотря на то, у меня cold, затылок болит и голова кружится, но не в такой степени, чтобы мешало жить. Всего больше мне хотелось бы писать о твоей статье о Бак[унине]. — Но и то едва решусь. Она меня поглотила так, что все собственные работы с ней сливаются и отвечать я могу только или очень сознательно и разработанно, или вовсе нет. Я даже второй день перелистывал Прудона, с которым у тебя всего больше симпатий, хотя ты, может, этого и не знаешь. Словом, я так с взмаху о твоей статье говорить не хочу; дай лучше время на сколько мне его нужно. Так оставить я не могу ни твоей статьи, ни того, над чем сам работаю; но



ЦЮРИХ

Гравюра

Музей изобразительных искусств, Москва

оно так сливается для меня в одни итоги, что торопиться значило бы врать, — а это мне всего меньше хочется.

«Биржевые Вед[омости]» — Тх[оржевский] тебе сегодня отправил обратно. В «Моск[овских] Ведо[мостях]» еще не мог отыскать и сомневаюсь, чтоб там было помещено; скорее в «Голосе». — В «Петерб[ургских] Вед[омостях]» говорят есть ответ, что все это mistake и что это только Саша спрашивал у Венского попа[2] — может ли он получить паспорт в Россию, где ему нужно быть для получения какого-то наследства (?). — Это мне сказывал Тх[оржевский], но № «Петерб[ургских] Вед[омостей]» определить не умел. — Что же ты будешь отвечать, caro mio? Ведь тут нужно затрещину, пущенную во французские и английск[ие], даже и в немецкие журналы, наиболее ходячие, как на[пример], «Times» и т. п.

Тх[оржевский] мне принес посылку Тате, для отправки с Щерб[аковым] (который будет у меня завтра или послезавтра). Но Щерб[аков] мне говорил о каких-то книгах для Таты, а тут только посылка с платьями. — Поцалуй за меня Тату и Лизу. Желаю им такого же милого солнца, как сегодня здесь.

Тх[оржевский] взял у меня 140 фр[анков] для Черн[ецкого] в счет Вихерского — и пошел есть блины к Касаткиной, которая едет во Флоренцию и хочет видеть Ольгу.

Здесь Рубинштейн всех пианистов и Прокеша[3] idem приводит в восторг и отчаяние. На концертах толпа, так что места нет и если он не даст концерта в реформацион[ном] зале, то мне невозможно побывать.

В заключение вот тебе нелепость, которая может идти только в потаенную литературу. Музыку писать — больно долго; это со временем, если оно тебе все-таки выйдет не противно comisch — а если противно, то я уничтожу.

МОЛИТВА РУССКОГО ЧИНОВНИКА БОГОРОДИЦЕ[4]

(на голос «Здравст[вуй] милая хорошая моя»)

Дева чистая и с платьем,
Со бессемянным зачатьем,
Богородица, заступница моя,
Помолися и вступися за меня!
У почтенного супруга
Попроси мне дом с прислугой,
У возлюбленного сына —
Генеральского мне чина,
А у голубя свят-духа —
Фунтик золота с осьмухой,
Чтоб я золотом громазден
Вышел сыт, и пьян и празден;
И тогда я обещаю,
Что тебя возвеличаю!

Самому сомнительно; а все же твой приговор мне необходим.

Когда я тебе хвалил комедь Потехина, я писал, что заставил себя прочесть из любопытства, но что в ней ни одного обделанного лица нет. — Пока addio! М[эри] идет на почту.

[1] Датируется по письму Герцена от 14 и 20 марта 1869 г. (т. XXI, стр. 320, 329).

[2] Раевский — священник русского посольства в Вене. В марте 1869 г. распространились слухи о некоторых шагах, предпринятых Герценом с целью возвратиться в Россию, о его, якобы, хлопотах через Раевского. Сначала в «Kölnische Zeitung», «Neue Freie Presse», а затем в № 44 «Биржевых Ведомостей» и в № 39

«Московских Ведомостей» появились печатные заметки. «Отовсюду меня осыпают вопросами, правда ли, что я и ты едем в Россию, — писал Герцен Огареву 14 марта. — Мало что спрашивают, — получаю второе письмо от Марка Вовчка и второе от Тургенева с теми же вопросами... Это — целая интрига. Без ответа оставить нельзя...». В письме к И. С. Тургеневу Герцен просил: «Сделай одолжение, оборони меня языком, пером, негодованием, авторитетом от уморительного нарекания, что я хлопочу через Раевского, попа в Вене, о возвращении. В «Биржевых Ведомостях» целая статья с нравственными рассуждениями и ободрениями. Что я им за Кельсиев II достался. Разумеется, я в Россию ехать хочу и когда можно будет туда ехать без каудинских фуркул, поеду, но в Вене я не был, ни Краевского, ни Раевского, ни Евского не просил. Откуда это?» (т. XXI, стр. 324).

[3] Прокеш — известный пианист.

[4] Герцен так отозвался о ней: «...Молитву получил. Конечно, смешно, но perhé? Т. е. как Талейрана спрашивали: «mais que gagne tu à cela?». Нов будет старый напев, а мотив и пародия не новы. Мне кажется, это не наш род и не наш аж».

117

23 март[а 1869 г.][1]. Вторник

Еще вчера хотел к тебе писать, но с обеда и до ночи были гости. Тх[оржевский], потом Шевел[ев], потом Веньери. — Шев[елев] остается странною личностью (inter nos — все непременно), но не могу я его заподозревать, как другие господа; он мне скорее кажется торгашем. Он был вчера с 4-летним сыном; очень милая русская физиономия. А впрочем, чорт его знает; а разузнать постараемся. Но всего курьезнее, что вчера вечером Чернецкий с супругой приходил к воротам, но узнавши, что я не один, просил Тутса не сказывать, что он его видел, сказал, что он, вероятно, один зайдет сегодня. Я ему твое письмо послал и приписал приглашение потолковать; но кажется, ему не хочется и он вчера увернулся. Я сделал, что мог, дальше я навязываться не стану. Также не стану навязываться Бакун[ину] и пр. — Вот В. [2] пришел — ну и милости просим; а ухаживать, как бы прося прощения, безо всякой вины — слишком глупо. Бак[унин] имеет горазо более повода ухаживать; он старался как-нибудь унизить — и если не придет, тем хуже для него.

Получил на-днях дружеское письмо Мальвиды, о просьбою о пересылке мемуаров. Пишет, что Саша читает прощальную лекцию. Не могу сказать, чтоб это мне нравилось и мало верю, чтоб он сделал больше в науке — отдельно про себя и без кафедры, которая всегда составляет сильный stimulant. Впрочем, он в возрасте действовать свободно — не то что Тутс.

О твоей статье против Бакун[ина] еще не решаюсь писать. Во 1-х, она меня слишком серьезно занимает; во 2-х очень занят в моем дне стихотворением, и оно — кажется — ладится, но не быстро. Надо немножко терпенья.

Теперь имею «Вестн[ик] Европы». Едва ли найдется что-нибудь очень замечательное; но хочется прочесть так, чтоб завтра тебе послать и написать свой отчет. — Посмотри хорошенько в «Голосе» дело Плотицына [3]. Оно мне кажется безобразно разыгрывается. Катков, разумеется, держит сторону процедуры.

Вообще, как-то все обстоятельства смотрят печально. Или у меня такое настроение, потому что нездоровится — что грудь болит — простуда. И все были простужены — Генри был три дня в лихорадке; М[эри] нездорова. Только Тутс выдержал; чрезвычайно забавен и здоров, но шалит жестоко; мудрено ладить.

Вчера узнал, что Мерч[инский] совсем выздоровел, поступил на место и месяца через три приедет сюда.

Ну! Что Тата с Лизой? Что-то давно от них ничего нет и никаких

подробностей. Щербаков еще не возвращался. От Вихерск[ого] не имею известий и не знаю куда к нему писать.

Тх[оржевский] наелся вчера черного хлеба и опять был болен.

Фурор здесь производит Рубинштейн. (Сегодня последний концерт; я хотел идти, но зала маленькая, а толпа непроходимая; так что это будет невозможно). Прокеш говорит, что под его руками фортепьяно танцует. Тх[оржевский] это рассказывал — а Тутс пришел в пассию, чтоб непременно ему показать, что он никогда не видал как фортепьяно танцует.

Я не верю, чтоб в Брюсселе климат был хуже, чем в Женеве. Ergo, сам сообрази.

Я буду очень рад, если С[атины] вычтут с меня для Тат[ьяны] Ал[ексеевны][4]. — Я после тебя, ни к кому не был так привязан как к Серг[ею] Ив[ановичу] — со всеми его странностями. Последнее время я об нем ужасно часто вспоминал и грезил.

Прощайте, мои милые!

[1] Датируется по письму Герцена от 24 марта 1869 г. (т. XXI, стр. 332), из которого видно, что дата написания поставлена не верно. «...Хотя я сильно подозреваю, что твое письмо, полученное вчера, написано не 23, и не во вторник, но все же, я его получил и за то посылаю вырезку из «Nord»...». В этом же письме Герцен объясняет смысл своей статьи против Бакунина. «...Смысл моей статьи против Бакун[ина] прост. Мне хотелось бы, что б ты или я написали ему другое, т. е. допрос (не лично, а общий) для того, чтоб вытянуть от него определение, в чем его идеал, если бы я имел его речи или что другое, я сделал бы. Говорят, что он проповедует совершенное уничтожение собственности и семьи. Но ведь это вздор. И это было бы, действительно, превращение в обезьяны и в скуку однообразия, которую человечество, по своему фантастическому элементу, не вынесет. Как же он развивает это?..»

[2] Кто такой В., не выяснено.

[3] «Дело» Максима Плотицына по обвинению в организации скопческой секты, подробно освещалось на страницах почти всех русских газет в марте — апреле 1869 г.

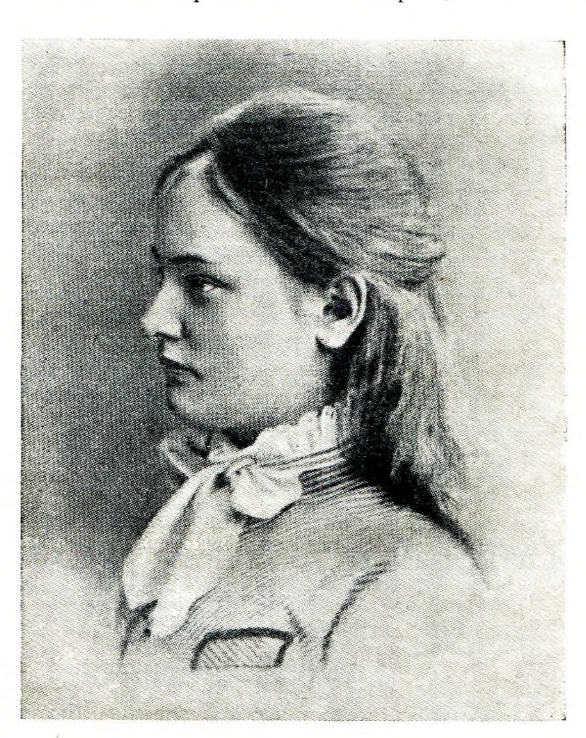
[4] Т. А. Астракова.

118

25 м[арта 1869 г.][1]. Четверг

День благовещенья! Но я тебе ничего особого благовестить не стану. Все эти дни не писал, потому что, то ждал кой-кого (на[пример], Чернецкого, который не был — но о нем после), то мешал этот дурак Шевелев, приходивший за советом как и где ему давать ответ по делу об огромном фальшивом завещании в России, при котором он был свидетелем и может дать все показания (говорит, что дело страшного варварства). Он вызван здесь для ответа. Но он ужасно много врет — и, мне кажется, что он должен быть помешан и что у него что-нибудь неловкое в жизни. Тебя он действительно не знает, но только знает в лицо, потому что Строганов[2] тебя ему показывал на железной дороге. Если бы случилось, что этот Шев[елев] к тебе явится в Ниццу, то прими его так, что тебе некогда, и если он не уйдет, то уйди сам и уведи и брось его где-нибудь, ибо скука невыносимая, и нашему брату — которому уйти нельзя — ужасно трудно отделаться от продолжительности визита; а говорит этот господин всякую чушь без умолку. Что он такое — я решительно определить не могу. Поступают с ним все ужасно глупо. Доказать, чтоб он был шпион — нельзя; довести подозрение до его сведения — было совсем нелепо. Я думал, что все это канет в озеро, потому что он сегодня уезжает (дети у него миленькие, жена — родственница покойника Касаткина и Солдатенкова[3]). Если тебе случится что̀ об нем узнать — не дурно бы было; надо же causa sufficiens чтоб его отбоярить — иначе это нехорошо и бесчеловечно; а якшаться

с ним утомительно. Но я думал, что это покончено, а между тем, другая штука — нето что надоедает, а просто огорчает меня. Чернецкий (как ты мог видеть из «Journ[al] de Gen[ève]», посылаемого тебе Тх[оржевски]м) контролировал рабочий тариф в типографском обществе, а вотировал он и Данич с меньшинством, и, сверх, того, Чернецкий вотировал с хозяевами (хозяин — бо). Сверх ридикюльства вотирования с хозяевами человека, которого заведение состоит из него самого и из Данича, это, разумеется, помешало делу работников (которое, кажется, кончится ничем) и работники имеют право сердиться на Чернецкого [4]. — Тх[оржевский], который все эти дни нападал на него, сегодня защищает его. — Ну — мы и поспорили тем манером, как он обычно спорит,



ДОЧЬ ГЕРЦЕНА ЛИЗА
Фотография, 1870-е гг.
Институт литературы, Ленинград

когда ничего не понимает. Пожалуй, пришлет ко мне еще Чернецкого самого спорить (чего мне вовсе не надо — но как угодно). Все это ужасно утомительно и не по моему здоровью. Разумеется, вынесу, но скучно страшно и мешает работать. Я очень рад, что остальные ко мне не ходят; будет и с этих — ведь и те не меньше из мемуаров Д-ра Крупова, только мешали бы работать!

Однако, Тх[оржевский] обещался постараться достать мне «Temps» и «Пет[ербургские] Вед[омости], но наперед уверен, что не достанет.

Как видишь — мне, собственно, никого из них не нужно — и намеренно я с Бак[униным] опять не сближаюсь (а история Луг[инина] еще лучше! [5]).

Тх[оржевский] тебе сегодня посылает «Штутгартскую газету», где из «Кельнской газеты» поправка, повторение «Пет[ербургских] Вед[о-

мостей]»[6]. — Вчера послан тебе «Вестн[ик] Евр[опы]», где прочти статью Костомарова — непременно; это почти интерес романа.

А тут еще Тутс шалит так, что вчера маленькая гувернантка из школы приходила жаловаться. Посмотрю еще и тогда напишу в чем дело.

Затем пора на почту. Прощайте, мои милые.

Здесь погода — это чорт знает что такое. Я хуже нигде ничего не помню. Надеюсь, однако, что я по крайней [мере] выдержу без больших неприятных влияний.

«Недели» я не получал. Ergo, пришли.

[1] Датируется по письмам Герцена от конца марта 1869 г.

[2] О каком Строганове пишет Огарев — неясно; в Швейцарии в эти годы часто бывал С. Г. Строганов.

[3] Солдатенков К. Т. (1818—1898) — известный книгоиздатель.

[4] В январе 1869 г. женевские рабочие предъявили своим хозяевам ряд требований (о сокращении рабочего дня на 2 часа, увеличение заработной платы на 20% и т. п.). В виду отказа хозяев удовлетворить эти требования, 24 марта вспыхнула всеобщая забастовка, которая продолжалась около 3 недель. Эта стачка проходила под руководством Женевской секции I Интернационала; большую роль в ней играл А. А. Серно-Соловьевич. Стачка кончилась незначительными уступками со стороны хозяев, но моральная победа женевских рабочих была несомненна. Это была первая большая стачка общеевропейского значения, проведенная I Интернационалом. Маркс и Энгельс оценивали ее как большую победу рабочего класса. История этой стачки довольно точно изложена в статье П. И. Якобия «Больные места Швейцарии», — помещенной в 1869 г., в «Деле». Чернецкий, как хозяин типографии, был вовлечен в этот конфликт и, как видно из этого письма Огарева, голосовал с хозяевами. Герцен писал по этому поводу: «...Какую глупость сделал Чернецкий, подписав со стороны хозяев типографов свое имя в деле гревы...» (т. XXI, стр. 347). В следующих письмах Н. П. Огарев неоднократно касается «гревы» (забастовки).

[5] В письме Герцена к Н. П. Огареву от 27 марта 1869 г. имеется объяснение характера этой истории: «Когда Лугинин отправился за границу, отец его провожал и, расставаясь, снял с него клятву, что он не будет иметь сношения с нами, ни жить в одном городе и он дал ее...» (т. XXI, стр. 330 от 22 марта 1869 г.).

[6] В «Петербургских Ведомостях» появилось опровержение слуха о возвращении Герцена в Россию, которое было перепечатано некоторыми европейскими газетами, в частности «Кельнской газетой».

119

26 [марта 1869 г.][1]. Суббота

Действительно, я ошибся, написав 23, вторник; было 22, понедельник. Простите великодушно! — Погода сегодня ужаснейшая: холод и биза, поднимающая пыль столбом. Я скорей болен, чем здоров; так ко сну и клонит, несмотря на то, что насилу проснулся давеча. — Тх[оржевский], вероятно, сейчас придет (12½ час.), передам ему твою записку и распоряжение послать письмо во «Время» (ах! бишь в «Норд») в «Конфедере» и в «Бунд». Постараюсь приписать, хотя это для меня самые мудреные штуки. Конец твой записки в «Норд» мне не нравится: если было отвечать не плевком, а холодно и презрительно, то к чему выставлять им чувство любви к отечеству и желание возвратиться на родину? Дураки, пожалуй, примут за намек и попытку. Неужели ты в самом деле думаешь, что есть возможность возвратиться? Это был бы и риск слишком огромный; а что̀ вознаградит этот риск? Вид полей и Старой Конюшенной? Люди или слишком новы и чужды, или слишком стары и враждебны. Не верю я в возможность и нужду возвращения, Герцен! — Дети — другое дело — это вопрос, который предстоит решить им самим.

Как это Лиза пишет, что ты упал? Точно ли не ушибся? Напиши.

Dio santo! Четверть второго — а Тх[оржевского] еще нет. Пойду пообедать и после обеда докончу письмо. — Вчера мы с ним не спорили,

но я об Черн[ецком] и не разговаривал, чтоб не привести к спорному пункту. — Сейчас пришел и идет в город. О письме в «Конфедере» завтра распорядимся.

2¼ часа. Вот и Тх[оржевский] ушел. Ничего — мы опять приятели. — Ты ему чек пришли на 140 фр[анков], а если можно также и на 500 фр[анков] для мая месяца, потому что мне без Тх[оржевско]го получать будет мудрено, а он через 12 дней едет к вам; да оно, во всяком случае, уравновесит все мои делишки, и будет совершенно ловко и обойдется без кредитов — я же себе заказал платье, за которое иначе не расплатишься.

Бойни хозяин у нас, по моему требованию, не дозволил, и мясник, кажется, переезжает.

О бак[унинских] идеалах напишу завтра. Но ты, впрочем, не верь всякому вздору, который об нем говорят. Буржуазия, конечно, отчасти испугана, но это не резон обвинять интернациональное движение (которое кончается ничем) и защищать много помешавших великих буржуа — Чернецкого и Данича! Не подумай, чтоб я это говорил.

(Помешали — портной приходил примеривать весеннее платье — превосходное; кое-что немного взял опять поправить. Да еще старый пиджак вычистил — точно новый. Это портной Тх[оржевско]го).

Не подумай, чтоб я это говорил по какой-нибудь инсинуации — я никого не видал. Это заключение, которое я вывожу из враждебного рабочему движению Женевского журнала.

Теперь — addio!

Целую мою Лизу за ее мушку с письмом и напишу ей завтра.

Сейчас Мэри жалуется, что со двора вонь непроходимая — и, должно быть, еще продолжается бойня. Посмотрим, что делать. —

Тутс ведет себя умнее. У меня никого не бывает — и мне легче жить.

[1] Датируется по письму Герцена от 24 марта 1869 г. (т. XXI, стр. 332), в котором читаем: «Если ты думаешь полезным, пошли мое письмо «нордовское» в «Bund» или другую газету, в «Confédéré de Fribourg», и прибавь строку вроде: «comme mon nom a été mentionné dans la même correspondance, le m'associe à la déclaration de monsieur H... etc...». Конец письма Герцена, по поводу слухов об его возвращении в Россию, опубликованного в № 71 «Биржевых Ведомостей», звучит так: «...никаких шагов, чтобы возвратиться в Россию, я не предпринимал, несмотря на то, что возвращение на родину для меня, как для всякого человека, находящегося в моем положении, было бы одним из счастливейших событий в жизни...»

День недели указан ошибочно — нужно пятница.

120

27 [марта 1869 г.][1]. Вечером

Вот тебе и новости: сегодня, после обеда (т. е. перед вечером) был у меня Бакунин, а вечером был Чернецкий.

Что̀ я ни писал прежде, но когда я увидал Бак[унина], я был внутренно так рад, что даже старался как можно меньше показать это[2]. Твою статью он взял прочесть и принесет на-днях; я взял честное слово, что сбережет аккуратно. Я, между тем, перечту и мои письмы к нему, и когда он на-днях придет, сверх того, предложу ему вопрос об его идеалах — и после разговора напишу тебе, и будет легче писать тебе ли, мне ли. Теперь, из его слов, я вижу, что очень работает против гревы, которую считает очень опасною, особенно примыкающую греву каменщиков; типографщики еще отчасти поддержаны иностранными ассоциациями, а каменщики ничем; но и типографщики, кажется, перейдут к меньшинству и грева лопнет; а каменщики так пострадают сильно, если сделают греву, хотя права на нее имеют еще больше (это даже

по словам Чернец[кого]). Ergo, Бакун[ин], в сущности, должен быть ближе к нам, чем сам думает. Но говорить сегодня я не пробовал, потому что он приходил не на довольно долгое время. Мне кажется, он боялся ко мне придти — и приходил попробовать — может ли он остаться попрежнему в отношении старичков. Хотя мы так это и не постановили — но что ж я могу иметь против этого? Полемика не должна быть враждой, если она не проистекает из личной вражды.

С Чернецким я тоже не поссорился: он приходил сказать мне, что сам сознает, что сделал ошибку и больше потому, что не понимает хорошо по-французски. По наущению ли Тх[оржевско]го он это сделал, или сам по себе — этого не знаю; но во всяком случае, когда человек говор[ит] — я виноват, тут и ссориться нельзя. Тебя он благодарит за письмо, но еще не писал, потому что ждет каких-то здесь объяснений и результатов по своим делишкам (каких не знаю) и ждет их на-днях, и тогда тебе напишет — на что решается.

Я писал тебе сегодня вечером, чтоб успеть еще больше написать завтра. Но теперь скоро 12 часов и потому иду спать, а то устанешь. Bonne nuit, mes enfants.

А Тх[оржевский] не был вечером, и письмо в «Конфедере» до завтра.

28, утром

Проснулся в 7 час[ов]. Все кругом бело. Снег валит как в России. Прелесть! Салев, Юра, крыши, деревья, улицы все под самым пушистым снегом. Но возвращаюсь к вчерашней истории, а покуда и снег стает.

Черн[ецкий] приходил вчера также советоваться о вновь предлагаемой ему компании на кооперативных началах: известный процент на капитал, а остальной барыш разделяется между рабочими. Компания выбрала своим предводителем некоего Перрон, который пользуется славою человека коммерчески ловкого, и который берет на себя руководство заведения и ответственность за капитал в 15 т[ысяч] фр[анков], который предложил Серн[о]-Сол[овьевич], недавно его получивший. Это мне сказывал Черн[ецкий], говоря, что он ожидает более подробного устава, чтоб присоединиться с своими вещами по оценке; но что его больше всего отталкивает то, что это диктатура и что он не может войти в компань, не имея хозяйского голоса. Я ему говорил, что определенный устав узнать следует, но о голосе едва ли ему очень нужно беспокоиться. Что из этого выйдет — не знаю. А Бак[унин] рассказывал мне, что Черн[ецкий] (которого он очень уважает) кобенится как хозяин вступить в компанию, между тем, как это для него здесь — наилучший исход. Но Бак[унин] от меня утаил, что деньги Сер[но]-Сол[овьевича] (нам-то, caro mio, какое дело до того чьи они). — Оттенок из круповщины сильно отзывается в этих утайках: Бак[унин] боится, что мне ненавистны деньги Сер[но]-Сол[овьевича]; а Черн[ецкий] — я убежден — в самом деле кобенится из хозяйской посадки, но передо мной он это скроет, и найдет другой резон; а между тем, этим наш разговор будет пресечен, а дело останется без результатов [3].

Скоро жду Тх[оржевского] и тогда докончу. Читай Женевск[ие] газеты и «Эгалите». Вопрос стал действительно интересно.

У вас в Вятской губернии, с возвышением податей, распространяется секта немолельщиков; к ней присоединяются много из мужиков, которым объясняют наказание господне за неплатеж.

Бак[унин] позаполемизировался с Реклю и «Fraternité». Каким путем не знаю. Но знаю, что у меня был прежде пробный № «Fraternité»; я еще и не знал, что в нем участвует Реклю, но он мне показался ужасно

туп. Как это опять (после Прудона?) свести социологию на чувствительность сердца? Мне это совершенно непонятно и противно, ибо из этого ничего не сделаешь, доказательство 1869 лет чувствительного празднословия.

Тх[оржевский] обедал; писать к тебе будет во вторник. Мне сегодня с журналами больше некогда. Лизе завтра особо. Со всеми по обычаю христосуюсь.

[1] Датируется по письму Герцена от 31 марта 1869 г. (т. XXI, стр. 350).

[2] Герцен радостно ответил: «Я знал, что свидание с Бакун[иным] тебе будет и весело и полезно...»



ВИШИ. ИСТОЧНИК СВ. ЦЕЛЕСТИНА

Автолитография Г. Клерже

Литературный музей, Москва

[3] «Употреби все, — писал Герцен, — лесть, подкуп, богу свечку, молитву, чтобы Чернецкого уткнуть в кооперацию, а там не только Серно-Солов[ьевич], но если Соловей-разбойник даст капитал. И отчего же он не будет иметь голос, внося типографией» (там же).

121

30 м[арта 1869 г.][1]. Вторник

Хотел было писать вчера с вечера, но подумал, что тут разницы мало и вчера все время отдал «Космосу», и многое хочется сказать. — Тх[оржевский] вчера уехал в деревню к Кашперовскому; вероятно, сейчас придёт ко мне обратно — а если что есть нового, я припишу после обеда. Также жду «Конфед[ере]» и пр., где поместится наш ответ. Вчера не было, видно, не поспело. Сегодня посылаю тебе «Москов[ские] Вед[омости]», где такие чудеса рассказаны о Чарторижских, что я подумал лучше всего тебе послать, чтоб ты передал кому следует

или пропустил без внимания. Там же еще предостережение «Неделе»! Не верю я, caro mio, чтоб мы могли продержаться в русской печати под какой бы то ни было фирмою [2]; а заграничная пресса останется необходимостью — то пореже, то почаще, то много, то мало, то совсем молчание, но уничтожать возможности заграничной печати нельзя. Что касается до свободного возвращения в Русь [3], о котором ты говоришь в каждом письме, чем больше об нем думаю, тем больше нахожу, что мы так поставлены, что худшего наказания для нас найти невозможно. — Что касается до Брюсселя, я понимаю, что Мальвида боится климата (который, однако, должен быть не хуже женевского), понимаю также, что Саша едва ли захочет основаться там, если будет искать специальной деятельности; но воспитывать итальянский народ (и в этом я не могу согласиться с Мальвидой) едва ли приведет к чему-нибудь, кроме некоего эффекта и аплодисмента — а потом и придется куда-нибудь уехать, чтоб иметь, действительно, полезное научное влияние. Я верю в красоту, хотя и не флорентинскую, а напр[имер], романскую — но в эдюкабельность понимания того и другого племени или итальянского народа — плохо верю. — Тх[оржевский] был, принес новые «Отеч[ественные] Записки», взял послать тебе «Моск[овские] Вед[омости]», но нового ничего, кроме того, что Цверцякевич [4] убежал из больницы; Сер[но]-Сол[овьевич] его встретил, приютил в отель, дал знать его дяде; но он и из отели убежал. А для меня самая важная новость, что мне сейчас мой бандажист принес новые сапоги, по моему плану, — просто прелесть — могу жить и ходить без боли; только проработал он за ними по-женевски — месяца два, и счета не прислал. — Возвращаюсь к «Космосу»: полемические статьи о Некрасове [5] и пр., по-моему, превосходны. Но статьей Антоновича, которую я успел прочесть (о единстве Космоса) я далеко не доволен. На сколько в 1-м № она хорошо выцежена, на столько во 2-м завралась до огромнейших противоречий, переполненных иностранными выражениями quasi недоступными массе русских читателей. — Но теперь ½ третьего, и я все же кончаю. — Бак[унин] еще не был; должно быть, сегодня или завтра придет. — Тх[оржевский] посмотрит «Bund»; я и забыл, что он не получается в книжных лавках. А «Confédéré» придет завтра.

День сегодня чудесный и я пойду в сад читать. Солнце греет лучше камина. Биза своротила на южный ветер.

Что вы все — как здоровы?

Я простужен сильно, но, вообще, недурно.

[1] Датируется по письмам Герцена от 20 марта и 3 апреля 1869 г. (т. XXI, стр. 330 и 354).

[2] В № 48 «Недели» была напечатана статья Герцена «Скуки ради» под псевдонимом И. Нионского, в связи с чем Герцен строил довольно широкие планы участия в русской легальной прессе под тем или иным псевдонимом. Огарев сомневался в возможности этого. И действительно: больше статьи Герцена в России не печатались.

«Может и в самом деле время печати в России не пришло, — отвечал Герцен. — Но что заграничной печати время прошло, — это тоже ясно. Если ты можешь поставить на ноги утячий журнал старыми «Московскими Вед[омостями]» это хорошо. Но как сделать чтоб утятам передать гусиный ум и лебединую белизну? Мне кажется, что все они представляют помойную яму самолюбия и бездарности...».

[3] Поскольку письма Герцена сохранились за этот период не полностью, трудно судить о характере высказываний Герцена по этому вопросу. Повидимому, эта тема возникла у Герцена в связи с вымышленной историей с Раевским.

[4] Цверцякевич — польский эмигрант; в 1868 г. заболел психически и находился на излечении в больнице.

[5] Анонимные статьи «Вопрос, представляемый на разрешение легкой литературе» и «По поводу письма Белинского» в №№ 1 и 4 «Космоса», по всем данным принадлежат перу М. А. Антоновича. Точное заглавие статьи Антоновича: «Единство физического и нравственного космоса» (№№ 1, 2).

122

1 апреля [1869 г.][1] Четверг

Не подумай, чтоб это была шутка; присягаю, что взаправду:

Сегодня едет или уже уехал к тебе Мечников и везет, вместо Щерб[акова], платье Тате и «Отечест[венные] Записки». Какой-то господин там у вас выиграл в рулетку 65 т[ысяч] фр[анков][2] и выписал его в качестве cicerone для путешествия по Италии. Ergo, ты его получишь, вероятно, вслед за сим письмом.

Его поездка в Испанию (в «Отечест[венных] Записках»)[3] очень хороша; если стихотворение (signé Дуров) его же — оно превосходно. Честь ему и слава.

Грева[4] здесь идет мерзко. Мне кажется, что Бак[унин] хорошо работает и теперь дела много, но сделать ничего нельзя. Статью твою он принес. Чувствительно из разговора, что он внутренне сердится, но показать этого не хочет; даже старается показать, что он к нам стоит наиближе. С «Народным Делом» он в разладе, ибо не признает, чтоб «оные господа могли позировать народными учителями и воспитателями, что таких господ нет, что есть только люди, могущие вести результаты из народной жизни и понимания». Это quasi его слова.

Он был у меня 3-го дня; всего переговорить (особенно при моей неспособности и при его непрерывной способности говорить) было невозможно и осталось до другого раза; вероятно, он на-днях придет.

Вчера пришло на твое имя письмо с просьбой напечатать послание к студентам от одного студента[5], только что удравшего из Петропавл[овской] крепости. Послание, может, немножко экзальтировано, но не печатать нельзя; по моему глубокому убеждению оно, во всяком случае, поворачивает на воскресение заграничной прессы. Через некоторое время можно будет его напечатать в новом прибавлении к «Колоколу». В печать я отдам сегодня, а подробности лучше сообщу с Тх[оржевским]. — Мне так что-то страшно.

Твой доктор — изящен[6], только печатают они плоховато. Все же я его читал два раза.

Заметь в «Отечест[венных] Записках» Щедрина — «Дикого помещика»[7] — это совершенство. Да заметь статью Костомарова о молоканах[8]. И в остальных вещах много хорошего, но это два перла.

«Москов[ские] Вед[омости]» с своей перебранкой с «Вестью» — ужасно надоели: один другого гаже; просто взял бы да отшлепал по физиономии.

После обеда. Был Тх[оржевский], которому я поручил отдать студенческое послание в печать. Он сказывал, что в 2 час[а] (а теперь без 10 м[инут] два) придет Утин, который желает снять за ½ цены «Моск[овские] Вед[омости]», чтоб я посылал их по прочтении 2 раза в неделю. Издание «Народного Дела», кажется, принадлежит ему. Почему же не согласиться? Если что̀ слишком интересно, я всегда могу тебе о том писать; а им это помощь, потому что средств у них все же, кажется, не много. Если они лопнут, то потому только, что никому не интересны, а мешать им пробовать силы не следует.

Сегодняшний «Journal de Genève» ужасен. Грева кончается гнусно. Вероятно, Тх[оржевский] тебе его послал — увидишь сам. Не могу не придти к заключению, что Черн[ецкий] уронил себя в общем мнении и упек бедного Данича. Да я думаю он и сам это чувствует.

Ужасно оскорбительно!

Однако, едва ли кто-нибудь будет нас в этом обвинять — разве скоты. Но, конечно, не Бак[унин], которого я теперь желаю видеть и для подробностей.

Confédéré напечатал наше заявление. Но Тх[оржевский] мне не велел его посылать; он у вас не приходит.

Теперь цалую вас всех, мои милые, и прощайте.

Боюсь как бы У[тин] не пришел и тогда только не поспеешь на почту.

[1] Датируется по письмам Герцена от 3 и 5 апреля 1869 г. (т. XXI, стр. 354, 355).

[2] Речь идет о В. О. Ковалевском. В письме Герцена от 5 апреля 1869 г. сказано: «Вчера я был с Мечник[овым] и его макаронами в Монако. Его приятель, выигравший 65 000, отправил 50 т[ысяч] в Россию» и т. п.

[3] В «Отечественных Записках», 1869 г., №№ 1—4 были помещены очерки «Поездка в Испанию» под инициалами Э. Д.

[4] Грева — стачка.

[5] Это прокламация петербургских студентов «К обществу», помеченная 20 марта 1869 г., начинающаяся словами: «Мы, студенты Медицинской Академии...» — напечатана в драгомановском сборнике «Писем М. А. Бакунина к Герцену и Н. П. Огареву» (Женева, 1896 г., стр. 460).

[6] Повидимому, Огарев пишет о статье Герцена «Aphorismata, по поводу психиатрической теории д-ра Крупова», напечатанной в VIII книге «Полярной Звезды».

[7] «Дикий помещик» М. Е. Салтыкова-Щедрина напечатан в №№ 2 и 3 «Отечественных Записок» за 1869 г.

[8] «Воспоминание о молоканах» Н. И. Костомарова в «Отечественных Записках», 1869, № 3.

123

[3 апреля 1869 г.][1]

...Я подожду от тебя извещения о содержании его [Чернецкого] письма: тогда стану уговаривать и слаживать изо всех сил, но за успех не ручаюсь, его не скоро своротишь с чего-то, чего я не понимаю[2]. — Благодарю тебя за деньги, которые получу сегодня. Все же надо стараться как можно постесниться; и Сат[ина] нельзя прижимать; вероятно, доходы трудны, а детей, кажется, четверо, да еще все растут и требуют с каждым годом больше. — Деньги же за Тутса я, право, получаю с большим нежеланием, хотя он поздоровел и ест отлично; но ведь — был бы он мой — ты не давал бы мне за него денег? А почему ж он не мой? Я этого не знаю; он даже больше мой чем Сашин. — Тх[оржевский] едет к тебе через неделю ровно.

...Ergo, о греве и о твоей статье в другой раз, а теперь мало места и много веса, да и Бак[унин] еще не высказался.

Я запер в столовой ставню от Шевел[ева], чтоб он меня не увидал и чтоб можно было сказываться больным.

Чернецкий спрашивал, получил ли ты его каталог (Spécimen des caractères de l'imprimerie russe etc.)? Ему это нужно знать, ибо из Ниццы кто-то спрашивает.

А студентское послание, caro mio, очень юно, очень юно, — не менее напоминает и свою молодость и подает надежду на новые силы.

А что Мечник[ов]?

[1] Датируется по письму Герцена от 31 марта, 3 и 5 апреля 1869 г. (т. XXI, стр. 350, 354, 355).

[2] Как видно из предыдущих писем, вопрос о вовлечении Чернецкого в какую-нибудь компанию, для спасения его от окончательного разорения, усиленно дебатировался в переписке Герцена и Огарева. Особенно на этом настаивал Герцен.

124

7 апреля [1869 г.][1]. Середа

Пишу к тебе несколько строк, мой новорожденный. — Русский юноша[2] приехал — на несколько дней. Вчера я его передал Бак[унину]. — Не думаю, чтоб было что очень широкоразвитое, но развита

энергия и много узнается и увидится нового — в этом я почти уверен; с Тх[оржевским] напишу тебе все категорично. — Бак[унин] издает в Интернационале еще сверх «Егалите» — новый журнал: «Прогре[сс]» и просил вчера чтоб ты и я подписались (4 фр[анка] в год). Их цель собрать 500 подписчиков и тогда можно издавать без особой сборки пожертвований и затрат. Я взял на свою ответственность твое согласие, потому что нахожу этот «Прогре[сс]» триумфом Бак[унина] и



С. ТХОРЖЕВСКИЙ

Фотография

Литературный музей, Москва

работника Гильом[а] [3], который, кажется, главный редактор. Издание 2 раза в месяц (с марта). При 1-й оказии тебе пришлю все, что̀ вышло. Бак[унин] к тебе ныне относится очень дружески, но о статье твоей против говорит, что она несправедлива, просит не печатать и хочет отвечать на рукопись, но просит дать время пройти работничьим смутам, ибо в самом деле у него не может быть возможного времени, хотя жена его уехала к умирающей подруге в Италию. — Поэтому у него лишнее место и он юношу взял к себе ночевать; предварял его остеречься знакомства с Эльп[идиным], о котором тут премерзкие факты [4]. — Бакунин также сильно не доволен Ут[иным] и тем, что их, вследствие самолюбий, связать нельзя. Впрочем, это только inter nos

до времени. — Из слов приезжего, из теперешнего преследования студентов, закрытия Мед[ико]-хир[ургической] академии, преследования «Недели» (которую я сегодня получил) и пр., очевидно, что заграничная печать скоро понадобится — но обо всем в следующий раз. — Получил ли ты странно набранную корректуру? — Я получил вчера деньги от Тх[оржевского] и весьма благодарен. — Тх[оржевский] сегодня пошел опять есть блины к Лизав[ете] Алекс[еевне][5], которая прислала мне превосходнейшей икры и сбирается привести свою Ольгу и варенья. — Ну, теперь пора на почту, боюсь, чтоб кто не помешал. Обнимаю вас всех. — О Шевелеве все хуже слухи; я от него отделываюсь болезнию. Пожалуй, прими его (если он поедет в Ниццу) осторожно, на короткое время для проверки; или вовсе не пускай. Как хочешь.

[1] Датируется по письмам Герцена от начала апреля 1869 г.
[2] С. Г. Нечаев.
[3] Гильом Джемс (1844—1917) — известный сподвижник М. А. Бакунина, автор истории I Интернационала, написанной с бакунинской точки зрения.
[4] В Женеве в 1869 г. ходили упорные слухи о шпионаже Элпидина.
[5] Е. А. Касаткина; Ольга, повидимому, её дочь.

125

[12 апреля 1869 г.][1]

Caro mio, вот тебе копия с моей статейки, написанной по уговору. Подробности объясню, когда возможно. Она написана по случаю 82 n° «Голоса»[2], который прошу сохранить, а если можно, — прислать. Копию же я тебе посылаю с запросом или требованием подписать твое имя, мое имя и вытребованное idem мною имя Бак[унина]. Продаваться она здесь и распространяться не будет; но о твоем согласии прошу мне телеграфировать тотчас словом: oui. — Я не думаю, чтоб ты имел что против; она сегодня пошла в печать. Письмо это будет у тебя в середу; мне и телеграм[ма] нужна в середу.

Младшими я больше доволен. Они, пускай, еще диче, но только потому, что мужики; но отнюдь не самолюбивы, видят своих отцов в декабр[иста]х, говорят не много, а работают честнее и решительнее.

Тх[оржевский] едет завтра. Он будет у вас в субботу. Мне ждать некогда. Писать с ним стану еще. А Кас[атки]на говорит, что карманы шарят беспощадно.

От стариков молодым друзьям. — Русские студенты.

Полиция вас бьет, но этого «бдительному, умудренному опытностью» начальству показалось мало: казённая литература принялась вас надувать. Вас хотят уверить, что в Европе нет ни одной живой народной потребности и всё застыло. Вас хотят уверить, что вы не вы, а поляки. Вас хотят уверить, что для вас требование права помогать бедным товарищам лишено основания, и требование права сходок неестественный мотив. Рассмотримте же, как люди неминуемо дружные, все эти казённые уверения, выработанные воровским умом, который выдает себя за здравый. — Случалось не раз нам самим указывать на Европу, которая замирает. Да! Но какая Европа? Европа императорская, Европа папская, Европа королевская, поповская, дворянская, буржуазная, Европа политическая, государственная. — Поднимается, домогается, надеется, верит в свою будущность [та (?) Европа] соединяется, перерабатывает — Европа экономическая, угнетенная, голодающая, Европа труда, бессословная, безгосударственная. — Кто же это вам говорит, что в Европе нет живых элементов? — Это вам говорит нажившийся, исподлившийся литератор-чиновник. Как будто между

вами, юношами, кто-нибудь найдется, кто пойдет вослед такому холопскому голосу? Мы, старики, этому не верим. — Вам говорят, что для вас немыслимо помогать бедным товарищам, потому что про то знает умудренное начальство, да монаршая милость во сто тысяч серебром. — Литераторы-чиновники забывают несчастную повесть всякой казённой тысячи в России: выжатая из народного труда нагайкою, она ниспадает с великодушного верха под названием монаршей милости и расходится по разным боковым карманам, даже не достигая своего назначения. — Как же у студентов всех учебных заведений не родиться желанию спасать своих бедных товарищей, помогать им общими силами — прямо — помимо верхобокового начальства, а если можно — и помимо денег, выжатых нагайкою из народного труда? — К чему для этого польская интрига, когда для этого достаточно неиспорченное человеческое чувство и неиспорченный человеческий смысл? — Вам говорят, что для вас не нужно сходок? Про то знает то же умудренное начальство, а для вас это неестественный мотив (который, может, в самом деле казаться неестественным разным генералам Треповым, потому что им, сколько они между собою ни хитрят и ни лицемерят, а встречаться гадко). А вам, студентам, между собой встречаться не то что гадко, а просто необходимо, потому что мало ли о чём перетолковать и по теоретическому и по практическому вопросу. — Неужто у вас потребность сходок не просто человеческий мотив (русский, прусский, польский, английский, американский и пр.)? К чему же тут влияние какой-нибудь Польщизны? — Если бы у вас такие потребности родились не из собственно[й потребности]го сознания, а чуждого влияния ради — вы были бы дураки, или были бы подкуплены. Да впрочем в этой казённой клевете все до такой степени глупо, что ее могут наклеветать только какие-нибудь жидовские уста за рубль серебром перешедшие в православие. — Нельзя к этому не присовокупить несколько слов о Польщизне, чтобы — насколько возможно теперь — отрезать этот вопрос от захвата казённой литературы. — Шляхетская Польша и шляхетская Литва сгубили народную Польшу и Литву — так как дворянская, чиновничья, казённая Россия губит народную Русь. Но из этого не следует, чтобы казённая Польша, казённая Литва, казённая Русь — были народною Польшею, народною Литвою, народною Русью. Кто станет доказывать такое тожество казённого и народного, влопается в грязь (конечно, не без казённого подарочка) и только. — Подробно о польском и литовском вопросе мы будем говорить в другой раз; также как в другой раз разберем отношения казённой литературы к студентам.

А теперь к вам, молодые друзья, последнее слово: учить вас мы не станем. Вы, собственно, для себя ничего не ищете и ничего не хотите помимо народных потребностей и движения народного. Мы это знаем и видим, и потому в ваше движение верим [3].

Вот и все. Пришли мне свое «да» немедленно, друг мой, иначе поздно.

Сегодня еще стану писать, но получишь ergo в субботу. — Теперь отдохну — устал до-смерти. А погода чудесная, но похоже на грозу.

[1] Датируется по письму Герцена от 16 апреля 1869 г. (т. XXI, стр. 365).

[2] В «Голосе» № 82 была помещена клеветническая статья о студенческих беспорядках в Петербурге.

[3] Прокламация «От стариков молодым друзьям», адресованная русским студентам, считалась принадлежавшей перу М. А. Бакунина. См. драгомановское издание, где она помещена на стр. 461; благодаря данному письму можно считать установленным бесспорное авторство Огарева.

Герцен так отвечал Огареву: «Что же сказать о статье? Если вы порешили и сделали, так и быть; если же нет, пусти ее вовсе без подписей. Верь, Огарев, моему такту: статья эта — журнальная диатриба comporte pas — трех подписей, трех старых бойцов... Может, воззвание к юношам было бы хорошо, но уже, конечно, не это. Наш голос издали и из другого поколения опять-таки должен раздаться благовестом широким, сильным, а не «благосветловским» тоном. Действительно, ты подделался даже к их тону: «облопаться», «верхобокое начальство», «воровской ум», «жидовские уста» etc. etc. И потом старая фикция о шляхетной и нешляхетной Польше, где народная Литва? Да и что сделает сама по себе народная Россия? Это жаргон 1863 и Бакунина...» (т. XXI, стр. 365).

126

13 апр[еля 1869 г.][1] Вторник

В день отъезда пана
Для купанья в море —
Утром, но не рано,
Я пишу о вздоре[2]

Сегодня у chanteur célebre наверху — родился сын.

Сегодня получил твое письмо от 10—11 апр[еля]. Если я тороплюсь, то потому, что почта отходит в известный час, а писать принимаешься всегда незадолго до оного. Но из этого не следует, что послание студентам было печатано с печатного. Печатано оно с писаного и деньги получены. Корректуру я тебе и послал вместо писаного.

В чем Бак[унин] расходится это только разве в том, что подчас лишне волнуется. Сер[но]-Сол[овьевич] разве 15-ю т[ысячами] (в которых Черн[ецкий] сомневается) уже так велик, а то я ничего не знаю, кроме того, что, говорят, он принимает большое участие в работничьих интересах. Но в великой роли он, вероятно, хвастает. А что маленький Черкес?[3] Об Э[льпидине] говорят о затратах по типогр[афии] и о том, что сколько его ни просили не писать в отечество, он все-таки добился до сгубления многих. Это меня Б[акунин] просил не рассказывать. — Вчера с вечера я тебе послал письмо на имя Лизы и жду ответа. Видишь, каким образом случается, что длинного письма о многом ином и не подготовишь.

Вчера же вечером я поругался с Шевелевым, который меня полчаса с лишком промучил, так что я долго не мог успокоиться; думал даже, что буду болен, но при чудеснейшей погоде с рук сошло. А потом был Черн[ецкий], о котором, вероятно, сегодня надо будет писать тебе по почте. Также уж сегодня к вечеру приготовлю сцену моего ругательства с Шев[елевым]. Надо хорошенько припомнить. Это до такой степени было смешно, что я после, когда поуспокоился, хохотал до упаду — (т. е. в кресло, а не в обморок). Во всяком случае, теперь просьба: ты этого господина, если б он явился, к себе вовсе не пускай.

Теперь одиннадц[ать] час[ов], а Тх[оржевский] придет в 12-ть, а потом пойдет докончить укладки и поедет. К сожалению, я не могу писать без перерывов, все требуется ногу расходить по комнате (иначе неловко, т. е. больновато) и подумать. Вот и это много мешает. Но, впрочем, caro mio, смейся надо мной, если хочешь — это иногда даже весело обоюдно. А часто надо, чтоб было весело. Об этом я поговорю в статье, посвященной Тате; но теперь переписывать написанное не могу. Много стихов, которые все же треб.. interruptie... уют поправок.

Иезуитская школа идет и останавливается перед моим окном. Безобразнейший учитель иезуит ищет между мальчишками, кто не так шел

в строю, и требует, чтоб ему дети сделали донос. Дети молчат и хохочут. Такого ослиного голоса, как у иезуита, я давно не слыхал. Наконец, ушли.

А почему, впрочем, часто невесело? Да мало ли почему? Напр[имер], какое мне дело до Боке и до В. Гюго? До нелепости одного и до извращенного самолюбия другого? А вот когда «Бирж[евые] Вед[омости]» стараются основать целую гнусную статью на твоем заявлении о желании возвращения [4] и указать будто ты можешь решиться просить милости — мне больно и я до такой степени взбешен, что желал бы отомстить за тебя, позоря их прямо во всех газетах — если только позволишь: но мою способность к спокойной веселости и это отнимает. И не худо бы, если б ты мне добыл газеты (кроме «Моск[овских] Вед[омостей]», т. е. «Голос», «Бирж[евые] Вед[омости]»), «Петерб[ургские] Вед[омости]» и «Весть» 22-й №, где она перепечатала студентские листки целиком и дала повод другим газетам все движение учебн[ых] заведений выдавать за польскую интригу, так что даже «Петер[бургские] Вед[омости]» объявили известия и скрытия и искажения фактов в «Голос[е], «Моск[овских] Вед[омостях]» и пр. вздором — не худо бы, если б ты постарался собрать и прислать мне все это (потому что здесь никак не достанешь) да поскорее, ибо можно сделать очень хорошую вещь. В «Моск[овских] Вед[омостях]» вчера в подражание статье «Голоса» (23 марта, № 82) преподлейшая статья, также полная клевет [5]. Тх[оржевский] у меня позавтракал и пошел ехать. Мы решили так, что письмо пойдет по почте, ибо он будет только в субботу в Ницце: он останавливается в Лионе и в Марселе, он путешествует.

Вот видишь, таким образом, дошло до 3/4 третьего. — Черн[ецкий] хотел мне прислать что-то, чтоб тебе сообщить. Я 1/4 часа еще подожду, да и пошлю на почту, ибо позже 3-х поздно. А пришлет что позже — я пошлю вечером, и со всей сценой с Ш[евелевым] — оно пойдет завтра в 6 час. утра, или подожду до завтра до 3-х же час. А теперь пока, addio!

[1] Датируется по апрельским письмам Герцена 1869 г.

[2] Это четверостишие опубликовано в «Вестнике Европы» 1907, № 5, стр. 276.

[3] Не выяснено; может быть Николадзе.

[4] Огарев имеет в виду статью в № 71 «Биржевых Ведомостей», сопроводительную к письму Герцена.

[5] Студенческим волнениям 1869 г. в Петербурге большинство русских газет посвятило отдельные статьи, а «Весть» в № от 22 марта даже перепечатала студенческие прокламации. Особенно много места студенческим волнениям уделяли катковские «Московские Ведомости» (в № 64, 65, 66 и др.), выступив с рядом огульных клеветнических обвинений по адресу русского студенчества.

127

14 апр[еля 1869 г.] [1]. Середа

Как ни торопился, не мог дописать моей забавной сцены с Ш[евелевым]. Должно быть, к уж[ин]у покончу. От Черн[ецкого] тоже ничего нет. От тебя тоже ничего. В «Моск[овских] Вед[омостях]» послание профессоров к студентам, которое должно быть и в «Голосе» в 1-х 80 №-ах (прежде 87, который ничего; и есть в «Петерб[ургских] Вед[омостях]» не знаю в которых. Все эти дни и вчера в особенности сбирался отдать Тх[оржевскому] статью Нионского [2], да так и забыл; ergo, теперь же ее тебе и посылаю. — Нет ли у тебя какого порядочного знакомого в Марселе?

Еще я вчера забыл тебе написать, т. е. просто не поспел уже, о вашем поезде в Брюссель. Почему ты думаешь, имея целью жить в одном

месте, чтоб мне равнодушно было остаться в Женеве? Из чего же тогда все хлопоты? Или уже всем съехаться в Женеве, хотя бы на нескольких квартирах? Мой главный запрос в том, чтоб было — совершенно свободно и безопасно для здоровья, для кармана и для всего, и возможно для учения детей; а тут, кроме Брюсселя, чистого, спокойного, ровнотемпературного и со многими школами, и Женевы — я не знаю. Что касается до личных неприятностей, их нигде не оберешься.

Жду от тебя ответа и принимаюсь опять докончить мою сценку [3].

Да еще, кстати, надо бы написать отдельно о деле учебных заведений в каком-нибудь французском журнале коротенькую сухую статейку. Мне бы хотелось, чтоб оно пошло от редакции. Куда бы адресоваться?

Стало, писать стану ужо или завтра.

Погода чудесная и пока действует на меня хорошо.

[1] Датируется по письму Герцена от 16 апреля 1869 г. (т. XXI, стр. 365).
[2] Статья Герцена, помещенная в «Неделе».
[3] «Мне можно заехать в Женеву до Брюсселя и осмотревши его, — писал Герцен. — Думаю, что второе рациональнее, потому что, если Брюссель окажется не того, а тебе все равно, то еще чего же и переезжать? Тогда надобно придумать другую комбинацию. Женева мудрена, но я готов подчинить маленькие шероховатости и углы близости...»

128

Воскресенье 18 апр[еля 1869 г.] [1]

Терпежу не хватает. От тебя письма нет, а от Тх[оржевского] из Марселя от 16-го есть. Ты меня совсем осадил, не приславши своего согласия подписать свое имя под моей статьей. Я в этом вижу необходимость благородного влияния и воскресение твоей печати. Насколько мог — я объяснил. Но все нет и нет. Это совершенно обухом по голове.

За то тебе проект Чернецкого, на который никто не согласится, потому что нельзя. Может, он с этим намерением и тянет канитель. Он мне прислал (совета ради) первую французск[ую] рукопись. Я ему отвечал, что надо поставить в контракте — ясные доказательства, что Перрон имеет капитал в 15 т[ысяч], а затем не о чем спорить. Своей типографии Чернец[кий] не имеет права ценить в 10 т[ысяч]: ее оценить должны с обеих сторон равное число экспертов. Что же касается до его, Чернецкого, шефства, то оно только вводит его в лишнюю и невозможную ответственность. Я ему писал, что лучше бросить все маленькие ванитеты, и именно войти в согласие, где можно жить сыто и спокойно. Он мне отвечал, что мы увидим, что этих 15 т[ысяч] нет. Да разве он не понимает, что если их в контракте (как я говорил) доказать нельзя, то нечего ему и вступать в ассоциацию; а если можно — то он врет. — И прислал мне еще копию своего контракта для пересылки на твой совет, отбросив в сторону все мои замечания — как небывалые. Из чего же он хочет со мной разговаривать?

Мне бы ужасно хотелось подальше.

Вчера письмо от Саши и Терезины, очень милые. Тутс немножко кашляет, но милее и забавен чрезвычайно.

Теперь жду кой-кого и кончаю.

Посылаю еще два подлейших «Голоса». Есть и объявление о «Вестн[ике] Ев[ропы]», где статья Тургенева о Белинском [2]. Но «Вестника» еще нет.

[1] Датируется по письму Герцена от 16 апреля 1869 г. (т. XXI, стр. 365).
[2] «Воспоминания о Белинском» в «Вестнике Европы», № 4 за 1869 г.

129

19 апр[еля 1869 г.][1]. Понедельник

Сегодня, наконец, пришло твое письмо от 16-го. Конечно, я сделал глупость, телеграфируя. Но «Ich kann nicht mehr zurück, weil ich es gewollt» — как Валленштейн. Поэтому пользуюсь твоим так и быть, потому что вижу в этом необходимость поднятия молодых сил и воскресение (в скором времени) заграничной типографии. Вот все, что могу тебе сказать. Гнева я не могу иметь, да и любви особой к моей статье не имею. Но она с подписями дело необходимости — и только! Бакунинская статья, которую завтра тебе пошлю, гораздо лучше[2]. Но эту надо отпечатать сегодня. C'est tout. Сегодня посылаю тебе «Голоса», «Прогре[сс]» и пр. В одном «Голосе» несчастное предательство жен-



ПАРИЖ, УЛИЦА РИВОЛИ, НА КОТОРОЙ ПОМЕЩАЛСЯ ДОМ, ГДЕ УМЕР ГЕРЦЕН
Литография
Литературный музей, Москва

щиной (да, кажется, солгано Краевским). Впрочем, юноши самолюбием не страдают, на манер Утина (который с компанией в фуроре, что к нам, а не к ним обращение и лезет на всякие клеветы); но 3-е поколение верит в успех самопожертвования и всякую беду считает успехом. Это хотя и неистинно, но благородно — и потому — чорт знает — пожалуй и правда.

Позволь мне сегодня ничего специально не писать, а в другой раз — когда мне покажется более удобным. Это требует досуга. — В «Голосе» прочти статью Соллогуба[3] — экая все та же скотина! Напиши что-нибудь колкое ему в отместку. — Прочти в «Прогрессе» статью о Прудоне. Вот талантливый работник-то! Да и не уреклюживается как те. — Вчера я тебе тоже послал мои сцены. Если придется тебе 30 сентября приплатить — делать нечего. День воскресный и посылка была затруднительна, потому что мальчики представляли феатр.—

А письмо Тх[оржевского] из Марселя пришло вчера. Все это не больно утешительно.

Оставаться в Женеве или переезжать в Брюссель — мне все равно; даже лучше не двигаться. Но одно необходимо — это быть с тобою в одном городе. Иначе становится невозможно: И скучно, и грустно, и некому руку подать.

Мэри представляет мою Fidèle и я ей все больше и больше доволен; но в том, что страстно составляет мое дело — она помочь не может. — Ergo, решай как хочешь: Бак[унин] о Брюсселе дурного мнения — будто там преследуют; сказать это тебе я должен; а верить прямо не могу. Узнай поподробнее.

2 ч[аса] 20 м[инут]. Сейчас пришла телеграмма. Но я уже все ордера послал в 10 час[ов], вследствие твоего так и быть.

Мне больше останавливать нельзя, потому что некогда. —

[1] Датируется по письму Герцена от 16 и 24 апреля 1869 г. (т. XXI, стр. 365, 368.).
[2] Повидимому, статья Бакунина «Несколько слов дорогим братьям в России».
[3] «Молодежь и будущность», — «Голос», № 91, 1869 г.

130

30 апр[еля 1869 г.][1]. Середа

На сон грядущий

Сколько ни старался послать письмо давеча, нет — не в силах был написать; надо было покончить другие работы. Мне хотелось даже с тобой немножко побраниться; но, получивши твое письмо от воскресенья вечера — никакой охоты к полемике не оказывается. Я слишком чувствую, что все скверно, и слишком тебя люблю. Какая тут к чорту полемика!

Татино путешествие[2] и Тх[оржевского] промахи — довольно забавны; но все остальное вовсе не забавно. А если ты с «Голосами» и пр. получил № Егалитета, где напечатано, как солдат в Бельгии, преследуя бегущую женщину, спрятавшуюся за дверь, пырнул штыком в дверь, так что проткнул и дверь и женщину (это все по случаю гревы) — то едва ли тебе захочется искать приюта в Брюсселе, и остается Генф или Лондон, а все остальное нелепость.

Статью мою покончил я только сегодня[3]. Мне становится жаль, что ты не подписал моей прежней статьи из-за чувства изящной словесности. Тут была нужна скорость. Теперь моя статья имеет лучший тон. Умоляю тебя прислать согласие на подпись, ибо иначе — по моему мнению — это будет просто позор; ибо вместо вызова значит обессилить юношество. Содержание моей статьи следующее: «Пусть себе закрывают академии, или подчиняют их военному министерству (что̀ совершается de facto) — рассыльное юношество и по науке и по симпатии должно соединиться с народом. Заметь, что в Архангельской губернии 600 000 (т. е. полгубернии) взбунтовалось с голода. Пришли солдаты, и был карнаж. Неужто юношество не должно принимать участия? А это не одно место, а происходит повсюду. Если мы не поднимем словом дух юношества — это будет просто подло. Неужели же ты и тут не дашь подписи?

Я послал сегодня статью набирать, так чтоб 1-го мая послать тебе корректуры. А прислал бы ты просто согласие печатать с твоей подписью было бы гораздо лучше.

Чтоб мой внучек[4] с тобой встретился — мне необходимо. Нельзя ли сделать это 7-го мая в Лионе? Или ты приедешь сюда вместо Брюсселя; но отвечай немедленно, ибо иначе невозможно.

[1] Датируется по письму Герцена от 27 апреля 1869 г. (т. XXI, стр. 370).
[2] В апреле 1869 г. Н. А. Герцен переехала во Флоренцию, где жил А. А. Герцен.
[3] Герцен писал об огаревском «Воззвании к студентам»: «Перечитывая статью, с грустью вижу, что не могу сделать ничего. Отчего ты — поэт и музыкант, — потерял чутье формы и меры? Зачем искусственное vulgar в словах и выражениях? Что за битая вещь о Трепове и о том, что им гадко сходиться?.. Нет, caro mio, это не те звуки, которыми юный «Колокол» потрясал молодежь...»
[4] Повидимому С. Г. Нечаев.

131

2 мая [1869 г][1]. Воскресенье

Ergo, в последний раз пишу тебе в celebrated town Nizza, и, действительно, жду тебя к 10-му. Да! Оно необходимо. Найди пока в Ницце то, чего я не могу найти здесь — ибо у меня ног и от этого рук нет. (Иной не знает как найти, иной не хочет, Генри лежал в ревматической лихорадке и только вчера встал, я его еще не выпускаю. А журналы приходят скверно — и мне кажется, что виновата не почта, а хозяйка Тх[оржевско]го; наприм[ер], сегодня «Голос» 105 № пришел от хозяйки в 9 час[ов] утра, а «Journ[al] de Genève» пришел от нее в 1 час пополудня без bande, т. е. она дает его читать кому-нибудь прежде, а может и русскими газетами распоряжается — чорт ее знает. Я это оставляю до приезда Тх[оржевского] — пусть распорядится как знает). Но дело в том — найди же «Indep[ena] belge», которая сюда пришла в пятницу, стало 29 или 30 апр[еля], где говорится об открытии в России огромного заговора. Стало, дела пойдут плохо, но, caro mio, carissimo mio, если мы тут не заявим ни помощи, ни сочувствия — это будет гнусно. Ergo — да, я жду тебя к 10-му. Жду с искреннейшей преданностью тебе и общему делу. — Писать, стало, теперь больше нечего, все ставит меня в страшное утомление. Дай вздохнуть свободно, тем больше, что погода чудесная. А свидимся — обо всем столкуемся. — Между тем, не сердись, если я у тебя попрошу 500 фр[анков] до 1 июля — это мне легче чем что другое. — Три «Голоса» тебе посылаю: 103—4—5. Отметь, если что пропало; но не истребляй, а, сохрани — если кой-какие указы необходимые. Küsse die Hände.

[1] Датируется по письму Герцена от 4 мая 1869 г. (т. XXI, стр. 374), в котором сообщается о получении данного письма.

132

5 мая [1869 г.][1]. Середа
9 час[ов] утра

Итак, вы, вероятно, сегодня выезжаете.

Я жду тебя, когда зефир игривый
Листочки роз в час утра шевелит,
Я жду тебя в час ночи молчаливый
Когда луна окрестность серебрит.
Я жду тебя (bis)

(Старый романс в воспоминание Марьи Павловны)

Сегодня от тебя письма не было. Два прошедших письма меня глубоко потрясли. Слезы душат, и, действительно, чувствуется, что самое реальное было бы околеть. — Выскажусь как можно короче. — Если ты находишь ошибки — можно поправить, можно полемизировать, но на них еще с высокомерием, которое не заменяет убеждения, отзываться нельзя. — Ты видишь какие-то влияния Бак[унина], который мне до-

лею напоминает тему «Шумим, братец, шумим», но которого я не стану обвинять, просто из личной несовместимости, в том, чтоб он поступал не так как бельгийская интернациональ (о которой ты говоришь). Здесь он в этом случае поступал совершенно так же и останавливал, и скорее боится несвоевременных волнений. В русском вопросе он, может, пошел дальше; я не могу сойтись, но и мешать не стану, ибо вред останавливания, мне кажется, в тысячу раз вреднее чего бы то ни было. Пусть Катков ругает за ошибку — беда не велика; беда была бы, если б похвалил. Как же вновь примирившийся с тобою кавказский сын[2], который будто бы постоянно имеет корреспонденцию, не понял из «Голоса» или иных газет — хотя бы одесское происшествие, что газеты врут по своему, а что юное движение в большинстве живо, и что если бы даже вело к несчастиям, все же останавливать грешно и позорно, и вреднее чем все, что может случиться. На кой-же чорт мы выставили пять голов на «Полярной Звезде», Герцен? — (Я поправил цифру, которая относится до Северо-восточн[ого] края). — Ехать в Архан[гельскую] губернию я скорей готов, чем в какой бы то ни было рай земной; но если на это сил уже не хватит — то я молодому поколению мешать все же не стану. — Мой мужичек[3] тебе с первого взгляда, пожалуй, не понравится; мы с ним и сблизились только весьма постепенно; манеры у него уже совсем мужицкие. Но ведь выносили же мы бурмистров Плат[она] Богд[ановича][4], Ив[ана] Ал[ексеевича][5], Ал[ексея] Ал[ексеевича][6] — почему же не вынести мужика-юношу, который, вероятно, не уцелеет. А останавливать его я, без сомнения, не стану. Посылаю тебе корректуру статьи, которая до твоего приезда или приказания отпечатана не будет; я поправил все, что нужно; но я не могу понять в чем ты с ней не согласишься — и печатать хочу не самолюбия ради, а ради того, что в ее правде я убежден и убеждением также не пожертвую. — Бак[унин] подписываться не желает, боясь разойтись в убеждениях. — Мне приходится стоять как-то по середине между элементом шума и элементом консервативного социализма. Как это тяжело, мой, во всяком случае, страшно любимый брат, — ты себе этого представить не можешь. Вот, кстати, подвернулись на столе стихотворения Рылеева...

Не сбылись мой друг пророчества
Пылкой юности моей...

Почта сейчас приносит газеты, позитивную ревю — но прочесть успел только письмо «Journal des femmes», который извиняется, что не может теперь выходить, а только через некоторое время; письмо адресовано Madame Tchorzewski. Вот жуирующий пан обрадуется узнавши, что женат! — А от него вчера было письмо ко мне из Флорен[ции] — жуирует да и только — и слава богу! — До скорого свиданья, Герцен.

[1] Писем Герцена, непосредственно относящихся к этому периоду, не сохранилось; датируется по упоминаниям в письмах Герцена к другим лицам.

Письмо знаменует собою момент резкого расхождения Герцена и Огарева в оценке новой политической обстановки, в связи с усилением бакунинского влияния на Огарева и приездом С. Г. Нечаева. Как видно из этого письма, а также и из соседних писем, Огарев довольно быстро перешел на позиции Бакунина — Нечаева. Он радостно приветствовал наметившийся подъем революционного движения в России, не понимая скептицизма Герцена, видевшего слабые стороны нового движения.

«Огарев все шалит. Закусил удила да и только — шумит, бранится, еще написал манифест. Что с ним это? Ведает бог да Бакунин», — писал Герцен сыну 2 мая 1869 г. (т. XXI, стр. 372). Об огаревской статье Герцен отзывался тоже довольно холодно и отказался подписаться под ней. «Твоя статья, разумеется, лучше манифеста, но эта статья и может быть подписана только одним: она субъективна по языку, по форме, потому что она — вовсе не воззвание и не манифест. Я думаю, лучше к ней приписать мою adhésion, что я и сделаю, чем подписываться à la F. Pyat с своими — все это битый путь. Я буду непременно писать и печатать» (т. XXI, стр. 374).

Сближение Огарева с Бакуниным и Нечаевым весьма не нравилось Герцену: он не мог разделить взглядов ни Бакунина, ни тем более Нечаева. Уже по приезде в Женеву, он писал Н. А. Тучковой-Огаревой, что Бакунин: «совсем закусил удила, и я привезу его новую статью, которая наделает страшных бед. Я буду протестовать и снимаю всякую солидарность...

...Бакунин, как старые нянюшки и попы всех возрастов, любит пугать букой, сам очень хорошо зная, что бука не придет. Для чего все это делается, non lo so... Бакун[ин] хотел за пояс заткнуть утячий клоповник и пустить такую дрожь на всю Россию, что там за университетом закроют типографии... О сущности я не говорю. Разумеется, я совершенно не согласен...»

[2] Повидимому, Николадзе.

[3] С. Г. Нечаев.

[4] Отец Огарева — П. Б. Огарев.

[5] Отец Герцена — И. А. Яковлев.

[6] Отец Наталии Алексеевны Тучковой-Огаревой.



ГЕРЦЕН НА СМЕРТНОМ ОДРЕ

Рисунок карандашом А. Спринка, 1870 г.

Институт литературы, Ленинград

133

Четверг 27 мая [1869 г.] [1]

Вчера воротился домой и не мог уснуть почти до утра. Как я ни ворочал вопросы в моем мозгу — прихожу к одному результату, Герцен — положения так натянуты, покой так мудрен, что всего проще, чище и лучше, чтоб я с тобой сказали Лизе теперь, чем чтоб она услыхала что̀ окольным путем, который нас перед нею поставит в дурном свете. Окольным путем я называю первого встречного — а ты думаешь, что охотников на это не найдется везде — в Женеве, в Брюсселе, в Париже, в Казани, в Пекине? Теперь же это на Лизу произведет впечатление как на ребенка, нас любящего, но все же как на ребенка — проходящее, не жестокое. Желание Натали было бы исполнено — и все могли бы остаться malme, чего иначе достигнуть невозможно. Что касается до того, каким образом узнают развязку узла посторонние — ну их! Даже если бы это пало на нас ридикюлитетом — ну и чорт

с ним! В глазах порядочных людей оно отразится иначе. Как и кто узнает в России — и об этом я не вижу нужды беспокоиться. Но теперь, друг мой, мне кажется, что вопрос поставлен так, и именно относительно Лизы (которая — заметь это — ни прежде ни после какого бы то ни было разговора о Лондоне, бывши у меня, ни разу не назвала меня папа), что если б Натали и захотела откладывать объяснения, то надо ее уговорить, чтоб она согласилась. Иначе вы никогда не достигните до спокойной жизни, и весь вопрос всегда останется спорным пунктом, который и тебя и Натали в прах разрушит. Теперь же, если мы скажем Лизе — пожалуй, уезжайте в Брюссель, пожалуй, оставайтесь здесь — но только раз навсегда не делайте себе из людских пересудов такого огромного призрака, который в сущности ein gar nichts.

Покажи это письмо Натали, если хочешь; я бы скорее желал этого. Но вызови в самом себе решение, увидите оба, что после станет легче всем.

P. S. Уж, конечно, Ольге-то сказать не затруднительно; она же узнает и без вашего желания.

[1] Датируется по майским письмам Герцена 1869 г.

Это письмо посвящено одной из наиболее острых тем в жизни Герцена и Н. П. Огарева — теме детей и их официальному оформлению. Как известно, Лиза носила официально фамилию Огарева и считалась его дочерью. В мае 1869 г. решено было урегулировать внутренние взаимоотношения и открыть Лизе и остальным детям семейную тайну. В письме к Ольге от 13 июня Герцен писал: «Годы целые тяготит меня бремя, — твой возраст и некоторые мелкие соображения, которые все портят, заставили меня держать от тебя в секрете, что Лиза — твоя сестра, и что Натали, вы и Лиза составляете одну семью, в которой как брат и отец, как друг и близкий родственник остается Огарев, любящий вас всех, как он любил меня и вашу мать... Мы все трое долго обсуждали в Женеве этот вопрос, и Натали взяла на себя инициативу открыть тебе тайну, тяготившую нас всех... Моим идеалом было бы, чтобы никогда не уменьшалась взаимная любовь Огарева и Лизы. Лиза должна соединить оба наших имени и называться Герцен-Огаревой. Она должна проникнуть сквозь все наше существование...» (т. XXI, стр. 396).

134

[28 мая 1869 г.][1]

1) Странно, Герцен, как ты спрашиваешь меня — выкупает ли твое удовольствие жить со мною в одном городе, твою невыгоду нанять довольно далеко дорогую дачу? При этой даче должна быть также дорогая прислуга? Что же я тут могу рассчитывать? — Я думаю, нанял бы здесь хороший пансион — да и увидел бы по опыту — хорошо иль дурно.

2) Если тебе хочется ездить — что же я могу против этого сказать? De gustibus non disputardum.

3) Переселяться мне не легко; но не такое же это непреодолимое обстоятельство, чтоб я не плюнул бы на него и не поехал бы туда, где тебе лучше (уже на юг мне бы вовсе не хотелось, т. е. просто коробит). Об одном я думаю положительно: а) мы вместе могли бы еще что-нибудь сделать; б) типографию мы или вовсе не должны бросать и сделать ее средством для поддержки русских сношений, или в) при переезде вовсе отбросить типографию Чернецкого и соединиться с русской типографией (хотя в Брюсселе).

[1] Повидимому, это письмо является ответом на письмо Герцена от 26 мая 1869 г. (т. XXI, стр. 387).

«Прежде, чем я пойду в дом Жеребцовой, мне необходимо иметь с тобой конференцию и прошу тебя приготовить ответы по совести и по *мудрости* и беспристрастия.

1. Выкупается ли выгода и удовольствия жизни в Женеве, т. е. вблизи с тобой, на 6 месяцев большими невыгодами?

2. Не лучше ли ехать в Брюссель на лето и Женевой к зиме куда-нибудь на юг?

3. Не следует ли вовсе оставить мысль тебе переселяться куда бы то ни было, а мне поселяться где бы то ни было. Напиши обдуманно и поговорим...»

135

29 [июня 1869 г.][1]. Вторник

Хотя и не бывает тройки в корню[2], caro mio, но я думаю, что есть и четверка, если присоединить Чернец[кого]. Поэтому будь уверен, что я копейки не пропущу, чтоб держать дело на ногах. Теперь поправляю все, что нужно. В последнее время я три ночи не мог спать от волнений и (ergo) ждал припадка с обычным отвращением и боязливостью. Наконец, он вчера разрешился и теперь мне легче. Я стану работать как вол. — Тутс и Генри оба здоровы. По-моему, это незначительные катары и, кажется, я повел дело хорошо, так что обоим лучше. — Милая моя Лиза — стало, она дорогу переносит как следует. Да у ней весь habitus здоровый. Не знаю, как ты и Натали переносите дорогу — я решительно бы не мог и на будущее время предприму ее только с расстановками. — Завтра стану писать во Флоренцию. Герцен, Герцен! Для меня ни одного чужого ребенка нет. Пансионами же я не доволен. Хочет Натали где-нибудь завести пансион — Мэри берется быть надсмотрщицей по чистоте. Она больше добрый человек, чем ты думаешь. Рассудите, мои милые! Тогда бы можно и Тутса поместить без страха[3].

Обнимаю вас всех.

Ваш Огарев

Одно хорошо, что вчера был детский праздник на Plain-palais. Барышня выиграла в лоттерею урыльник — и семейство ее пило из него красное вино.

Сестрица уехала.

[1] Датируется по письму Герцена от 2 июля 1869 г. (т. XXI, стр. 403).

[2] Смысл этого абзаца ясен из письма Герцена, писавшего: «...Обязан протестовать, 1-ое против непризнания коренной в тройке. Considérant, что тройки без коренной не бывает; considérant, что ямщики кричат: «по всем, по трем, коренной не тронь», — я же сказал: «такую тройку, в которой ты коренной, стоит изучить». Протестую, что ты отнес и это к фонду и потому пристегнул Черницкого. Я же говорил о «психе» — Бакунин, Нечаев на пристежку и о тебе в корню».

[3] На это Герцен отвечал: «Настоящий ты мой Робеспьер — с одной стороны грозный, с другой пасторальный и сантиментальный... Это насчет фантазии о фамильном пансионе. Я привык от N[atalie] слышать такого рода проекты — без базы и фундамента...».

136

2-е октяб[ря 1869 г.][1]. Суббота

Погода переменилась, небольшой дождь с громом. Это мне довольно тяжело. — Тх[оржевский] очень беспокоится о княжеских бумагах[2], и будет, вероятно, тебе писать. — Чернец[кий] беспокоится о том, чтоб оставить типографию и тоже, вероятно, будет к тебе писать; кажется хотел бы поместиться у Тессье[3]. Его мнение, что наша работа ему недостаточна, а иной он найти не может. В таком случае, мое мнение было бы поручить дело Даничу — может оно и пойдет лучше. Он глуп, но может быть деятелен. — Я беспокоюсь о переезде и об устройстве всего осторожно и аккуратно[4]. Это мне дает не мало забот и хлопот; надо все обделать sain et sauf. — Мэри беспокоится о чистке и о помощи мне и работает без отдыха. — Генри беспокоится о том, что ты ему обещал свою фотографию и ждет ее; потом беспокоится об окончании целых часов к ноябрю; он работает очень хорошо, да и в жизнь вдумывается не глупо; сегодня он отправился в vilette на обед, который Сордэ задает всем своим ученикам. Впрочем, я Сордэ не люблю — это такая буржуазная скотина, как нельзя хуже. — Тутс беспокоится об игрушках; он очень мил и неглуп, но шалит так, что мудрено его унять. — Я также беспокоюсь о писании стихов, которые, когда

обделаю, пришлю тебе. — О чем же вы беспокоитесь, мои милые, что-то уж ты давно не пишешь — хотя бы не длинное, а коротенькое письмецо.

За сим прощай — схожу на почту и примусь за укладку.

Мне так хотелось написать тебе немножко, хоть бы только перекликнуться, что не вытерпел и написал всякий вздор.

В «Моск[овских] Вед[омостях]» ничего особенного интересного нет, а пошлости отвратительные.

[1] Датируется по письму Герцена от 29 сентября 1869 г. (т. XXI, стр. 490).

[2] Бумаги, оставшиеся после П. В. Долгорукова у С. Тхоржевского. В письме Герцена по этому вопросу имеется следующее место: «Получил письмо Тхоржевского. Передай ему, что я безусловно советую ему продать бумаги Долгор[укова] или даже уничтожить». С. Тхоржевский поступил согласно совету Герцена и вступил в переговоры о продаже долгоруковского литературного наследства.

[3] Тессье — заведующий химической лабораторией в Париже.

[4] К этому времени Герцен обосновался в Париже, куда предполагал переехать Огарев, а также и Чернецкий со своей типографией.

137

Четверг 7 окт[ября 1869 г.][1]

Route de Carouge, Maison Schuh

Твое вчерашнее письмо Тх[оржевский] принес сегодня. Я переехал вчера. Здесь очень хорошо — воздух чист и комнаты просторны. — Желаю успеха «Былому и думам»[2] и надеюсь, что ты — не как Черн[ецкий] — если что̀ подвертывается — будешь хлопотать и сквозь пальцы не пропустишь. A propos — мы с ним согласились — заплатить 124 фр[анка] за Бакста и пользоваться шрифтом. Я думаю, что всякая другая штука вгонит в большой расход. Положим, что Черн[ецкий] пошел бы надбивать цену на аукционе и надбил бы за 400 фр[анков] и осталось бы за ним: для шрифта это дешево, а для типографии дорого. Бакст, вероятно, шрифта назад не потребует, а при расчете разных помещений — обоюдный долг уравновесится.

Саша мне прислал № «l'Italie» с своей статьей о селезенке.

О крестьянстве напишу тебе, но дня через три, четыре. Задача весьма нелегкая.

Напиши мне что-нибудь обстоятельное о друзьях Вырубова.

8 октября. Пятница

Вчера не успел справить почты, был болен и занят квартирой. По свидании с старой m-lle Schuh[3], оказалось, что адрес и № квартиры: — 249, Route de Carouge (Maison Schuh). Так и следует писать. Квартирой я очень доволен; но старуха должна быть чисто женевская скряга и надо с ней в расчетах быть осторожным; в инвентаре даже помечено, что решетка в огороде (т. е. месте для огорода) — сломана.

Тх[оржевский] принес мне сегодня твою записочку о Ег[оре] Ива[новиче][4] и костр[омском] имении[5]. Для меня тут самое замечательное, что правительство хочет тебя подкупить, но в успех его намерения я глубоко не верю.

Тх[оржевско]му, очевидно, хотелось бы очень продать бумаги за 20 или 25 т[ысяч]. Но он очень занят своим практическим смыслом и всерасчетом. — Не знаю, успеешь ли ты достигнуть для места Чрн[ецко]му у Тессье; но мне кажется, что наконец, всего лучше остаться в Женеве с Даничем, который просто хороший работник и делал бы все по приказу.

Бак[унин] на три дня выехал; все мне говорил написать тебе, чтоб

ты не забыл повидаться с Хоецким, через которого можно знать всякую нужную мелочь.

Посылаю тебе один из листков. Время сегодня прошло страшно



ПАМЯТНИК ГЕРЦЕНУ НА ЕГО МОГИЛЕ В НИЦЦЕ
Фотография
Литературный музей, Москва

скоро и подвинулось к почтовому часу. — Холодно! Камин топится превосходно; моя комната просто прелесть.

[1] Датируется по письму Герцена от 6 октября 1869 г. (т. XXI, стр. 498).

[2] По приезде в Париж Герцен повел переговоры об издании на французском языке «Былого и дум»: «Вчера был у Таксиль Делора [французский журналист, один из редакторов «Le siècle]» и, кажется, всего ближе и вернее, что я почти целиком IV т. «Былого и дум» напечатаю в «Siècle», — сообщал Герцен Огареву в письме от 6 октября.

[3] M-lle Schuh — хозяйка дома в Женеве, в который в октябре 1869 г. переехал Огарев.

[4] Герцен Егор Иванович (1803—1882) — брат Герцена, жил в Москве, последние годы жизни сильно нуждался, ослеп. Похоронен за счет приходского попечительства.

[5] Герцену досталось от отца имение в Костромской губ., конфискованное правительством в 1852 г. после того, как Герцен стал эмигрантом. Записка Герцена о костромском имении не сохранилась, и потому трудно сказать, в чем выразилось желание правительства «подкупить» Герцена. Но, повидимому, предполагалась выдача некоторой денежной суммы за это взятое в казну имение.

138

11 окт[ября 1869 г.][1]. Понедельник
249, Route de Carouge, maison Schuh

Что Тату надо оттуда выписать — в этом я не сомневаюсь[2]; она увлекается добросердечием; но важного, кажется, ничего не может случиться, кроме того, что вся Geschichte для нее должна быть мучительна. Остальные (кроме Левье[3], который лечит Пенизи) никто ничего не знает и ни в чем не участвует. Тата умоляет никому и из них не упоминать ни слова. Я третьего дня получил от нее письмо с обещанием скоро ко мне приехать и с присылкой своего очень милого портрета (т. е. карточки). Я к ней вчера писал.

Так это Мрочк[овский] у тебя еще не был? Бак[унин] в Нефшат[еле] — Перрон получил деньги или нет — я не знаю и никогда Тх[оржевский] не говорил, что Мрочк[овский] ему отдал деньги; он только дал ему право получения, а мне говорил о том, что получил из Италии известие о высылке денег. — К тебе завтра едет m-me Бар[ятинская], которая была у меня вчера с детьми. Разговор с нею меня привел еще в большее недоумение насчет дела Обол[енской][4]. — Может долею Ут[ин] прав в подожданье; но это все так туманно, что, несмотря на записку Мроч[ковского], отшибает охоту что-нибудь сделать. — Бак[унин], вероятно, вернется сегодня; поговорю еще с ним.

Тх[оржевский] у меня еще не был сегодня. Он все странствует по обедам в Буасиере. Женить бы его на вдове! Дум[аю] и без нее обойдется.

Что мне страшно посылать кого-нибудь из вас в Россию костром[ских] денег ради — я не могу скрыть этого, потому что уверен, что потом ни человека ни денег не выпустят. Но советов, caro mio, давать не стану, ибо боюсь ошибиться и [по] привязанности и по ненависти.

Твою записку Черн[ецкому] пошлю по почте, ибо он у меня почти вовсе не бывает; а Тх[оржевский], видно, сегодня не придет (а то бывает всякий день). — Что за чепуху Черн[ецкий] тебе пишет о моем мнении насчет Эльп[идина] и Ут[ина] — я не понимаю; я говорил о недопущении букв до аукциона (который может взвести их в тридорого) уплатою 125 фр[анков], которые конечно выгодно заплатить и из фонда. Вот что я говорил — стало он не понял.

Целую Лизу в шейку, обнимаю вас всех и addio до завтра.

Квартирой продолжаю быть очень доволен. Здесь есть спокойствие.

[1] Датируется по октябрьским письмам Герцена 1869 г.

[2] Здесь впервые возникает тема Пенизи — Таты, получившая свое дальнейшее развитие в следующих письмах. Пенизи появляется в письмах Герцена еще в 1867 году. Так в письме от 8 февраля 1867 года к Н. А. Тучковой-Огаревой и Лизе, читаем: «Я здесь познакомился с одним молодым человеком из Сицилии; он очень богат и граф или что-то такое. У него, когда ему было четыре года, была скарлатина, бросилась в глаза, и он совершенно ослеп и слепой жил в деревне у своего дяди, ему лет 25. Слушай же: он композитор, играет превосходно на фортепиано и поэт. Говорит, сверх своего языка, совсем свободно на французском, немецком и по-английски пишет (т. е. диктует) стихи и статьи, знает все на свете: естественные науки

и пр. Я еще такого чуда не видывал... Фамилия его Penisi...» (т. XIX, 204). К сентябрю — октябрю 1869 г. относится осложнение во взаимоотношениях Таты и Пенизи; чувство Таты, повидимому, питалось состраданием.

[3] Левье — врач, лечивший Пенизи.

[4] Оболенская Зоя Сергеевна (род. 1828) — дочь графа С. П. Сумарокова, вскоре после замужества разошлась с мужем. Жила в Швейцарии. Была близка к русским эмигрантам, долго поддерживала М. А. Бакунина материально. Была фактической женой В. Мрочковского. В июле 1869 г. ее муж князь А. В. Оболенский при помощи швейцарской полиции отобрал у нее ее детей, что вызвало протесты русской эмигрантской колонии в Женеве. О какой Бартинской идет речь — выяснить не удалось.

139

22 окт[ября 1869 г.][1]. Пятница

Получил твое милейшее длинное письмо, друг мой, сегодня в 12 час[ов]. Но отвечать могу только коротко, ибо решительно некогда.

Тх[оржевский] сейчас только ушел. Его дело[2], по моему мнению, несомненно. Надо было кое-что подчистить в условии — но не важное. Статься может, что и Черн[ецкий] доставит работу.

Бак[унина] сегодня не увижу, а только завтра. Я о пассе[3] тебе отвечал, что если этот идет — он очень рад. А покамест — от чего же с Кап[пом] не списаться, ведь за ответом пройдет год.

Благодарю за 500 фр[анков], но они теперь не нужны. Ура! 3-го дня Перрон принес вечером 500 фр[анков] за Мр[очковского].

Вот все, что мне хотелось тебе сказать, но в самом деле, сегодня совершенно некогда писать, так много счетов сводить пришлось, что голова трещит.

За сим обнимаю вас и addio!

А что же Лиза и Реклю[4]?

[1] Датируется по «длинному» письму Герцена от 21 октября 1869 г. (т. XXI, стр. 504—505).

[2] Его дело — Тхоржевского. «Сейчас получил весть от Тхоржевского, — пишет Герцен, — что он бумаги Дол[горукова] продал, — очень рад за него...».

История продажи долгоруковских бумаг издателю «Николаю Васильевичу Постникову», якобы предполагавшему «издать» их, а в действительности — агенту III отделения К. П. Роману, освещена в работе Р. М. Кантора «В погоне за Нечаевым» П. 1922 г. Это, несомненно, был блестящий ход III отделения, опасавшегося новых разоблачений, опубликования нежелательных документов, находившихся в богатейшем долгоруковском архиве. Дальнейшая судьба этих бумаг неизвестна, повидимому, они были уничтожены. Герцен всячески форсировал это дело, советуя Тхоржевскому не медлить. «Ну что Тхорж[евский] с бумагами? Этот Постников меня мучил, как кошмар. Брал бы Т[хоржевский] деньги, благо дают — и баста» (Письмо от 17 октября 1869 г., т. XXI, стр. 504).

[3] Пасс — паспорт. В 1869 г. возник проект поездки Герцена в Америку, и даже переезда туда на жительство, в связи с чем в письмах Герцена и Огарева и возникает вопрос о получении паспорта, говорится о переписке с знакомыми (Каппом) в Америке и т. п.

[4] В октябре 1869 г. Элизе Реклю дал несколько уроков Лизе Герцен.

140

31 окт[ября 1869 г.][1]. Воскресенье

Твое вчерашнее письмо, полученное сегодня утром, меня ошеломило. Мне стало дурно, но я в первый раз пересилил себя — и припадка не было.

Но не обо мне речь, а дело в том, что Тату надо увезти из Флоренции, хотя бы никто оттуда не уезжал. Во-первых, перемена местности для излечения необходима, во 2-х — оставаться там же опасно.

Я уже об этом писал и ей и тебе прежде. Жаль, что ты не хочешь понимать, что говорит другой.

Тх[оржевский] кончает дело, кажется, завтра. Он сейчас был у меня. Он хочет по окончании и по получении от вас известий — ехать куда б то ни было — во Флоренцию, в Париж etc. — Я сам бы поехал, но не знаю хватит ли ноги на поезд. Дело мудреное.

Посылаю тебе письмо Нефтеля, полученное Тх[оржевским] сегодня.

Письмо Саши ко мне, которое я послал тебе в Париж — совсем не то, что его телеграмма и твое письмо ко мне. К чему все эти пощады? Я не требую никакой. Я сумею вытерпеть и распорядиться как смогу — гораздо лучше когда мне пишут правду, а не маленькие обманчики. Я думаю, что я их не заслуживаю.

Конечно, я люблю Тату как мою старшую дочь, и потому хочу знать в чем дело и как вы распорядитесь.

P. S. Вчера встретил К. Фогта и Щербакова.

[1] Письма Герцена от 30 октября 1869 г. не сохранилось, но, повидимому, оно касалось нервного состояния Таты, вскоре перешедшего в кратковременное психическое помешательство. С этого письма в переписке Герцена и Н. П. Огарева начинает превалировать тема — болезнь Таты в связи с историей с Пенизи.

141

4 ноября [1869 г.][1]. Четверг
249, Route de Carouge, maison Schuh

Вчера получил телеграмму от Саши ко мне, сегодня телеграмму Натали к Тх[оржевскому] и твое письмо от 2 ноября. — Вчера же я телеграфировал Саше известить меня о твоем приезде — мне показалось что-то долго ничего не знать о тебе. — Теперь мне надо поскорее знать, что же правда — что Тате надо остаться до 15 ноября во Флоренции (от 3-го 12-ть дней — по телеграмме Натали) или Шифф действительно берется за излечение там во Флоренции[2]? Последнее и гальванизм для меня сильно сомнительны. Смотри в оба, Герцен. Со времени болезни моей бедной Таты мне все кажутся подлецы, и я бы охотно поехал придушить хотя одного. — Но если болезнь — последствие оспы, то, мне кажется, необходимы: перемена места, выжидание, успокоение и никакого лечения, которым я, вообще, не верю, Они физико-химического отношения мозговой патологии не знают, и лекарств у них на это нет. Чорт ли в их педантизме, хотя бы он теоретически был чрезвычайно либерален!

Когда я, по просьбе Саши и Таты, писал для Пинези статью по-французски, Бакун[ин] мне говорил: «Из чего ты хлопочешь? Пинези подлец и скотина».

Жду сегодня кое-кого, поэтому посылаю сейчас Г[енри] на почту. Ужо или завтра напишу. Вот Тр[оржевский] пришел, что-то скажет?

Ничего нового.

Прощай, Герцен!

[1] Письма Герцена к Н. П. Огареву от 2 ноября не сохранилось; датируется по смежным письмам.

[2] Вот что Герцен сообщал Н. А. Тучковой-Огаревой о своем выезде во Флоренцию, по получении телеграммы о заболевании Таты и о том, что он там нашел:

«Положение Таты тише, но страшно. Меня она узнала и рада была бесконечно, но спросила только о Долгоруком и Стелле. Она Пен[изи] не любит, но он ее застращал до того, что она везде боится убийц и его самого. Связи в разговоре никакой.

Ее лечит Шифф, с которым я говорил сейчас. Он думает, что дней десять ей надобно прожить во Флоренции для гальванического лечения, которое он еще не начинал. Он надеется.

Я до того сломан и устал, что ничего не скажу больше, кроме того, что Саша и Мальвида ни в чем не виноваты. Зато Левье — ужасный скот или злодей, да и Пенизи — презрительная бестия... (письмо от 2 ноября 1869 г., т. XXI, стр. 513).

142

5 ноября [1869 г.][1]. Пятница

Твое письмо и Сашину приписку от 3 ноября получил сегодня утром. Признаюсь, Герцен, что я тем более расстроен, что я не верю ни в какие леченья, особенно, если они химически неопределенны.



М. К. РЕЙХЕЛЬ и Н. А. ГЕРЦЕН

Фотография, 1890-е гг.

Собрание С. Бернацкой, Москва

Что во мне происходит — это ты можешь понять по себе самому. Меня спасает, наперекор всех болезней, огромная физическая сила. Вот и все. Иначе я сам сошел бы с ума. Но к делу: выпиши Biffi [2] из Милана и после серьезной консультации, — поезжай прямо в Париж, где наиболее сумасшедших и психиатров. Можешь даже проехать через Милан, но совещание Biffi с Шиффом было бы для меня гораздо серьезнее. А потребность мщения меня все-таки не покидает [3].

Бак[унин] в Локарно [4] (Мессино) — он больше всего отправился из семейных причин, где поступает совершенно благородно (это между нами исключительно).

Саше не пишу сегодня, а также и Натали, потому что просто сил нет. Хорошо что нет припадка. Обнимаю вас всех.

[1] Напечатано в «Архиве Огаревых», ГИЗ, М. — Л., 1930 г., стр. 69—70; здесь дается для связи.

[2] (Biffi) Биффи — миланский психиатр. «Консультации с Биффи, по совету Шиффа еще не делали...», — писал Герцен 11 ноября 1869 г. (т. XXI, стр. 517).

[3] Об истории с Пенизи мы находим сведения и в других источниках. «Пенизи тот самый слепой итальянец, который желал жениться на Тате, а она, видя, что отец ее против такого брака, и опасаясь, по словам доктора Левье, что Пенизи отравится, сошла с ума. Пенизи не сделал себе никакого вреда, а, узнав о кончине Герцена, вложил в газету записку: «Вот плоды вашего кокетства, вы убили вашего отца». Она, прочитав это, сказала мне: «И я нашла своего Гервега» (Из письма Н. А. Огаревой к Е. С. Некрасовой. «Архив Огаревых», М. — Л., 1930 г., стр. 20).

[4] В октябре 1869 г. М. А. Бакунин неожиданно уехал из Женевы в Локарно, что вызвало недоумение многих, в том числе и Герцена, спрашивавшего Н. Огарева в письме от 12 октября: «Отчего же Бакунин вдруг едет на покой?» В Локарно находилась А. К. Бакунина, к которой Бакунин относился с большой нежностью и вниманием, несмотря на то, что она уже давно была фактической женой К. Гамбуцци и как раз в это время ожидала от него второго ребенка.

143

6 ноября [1869 г.] [1]. Суббота

Твое письмо от 4-го получил сегодня. Лучше? Лучше? Не утешай меня и не утешайся. А добиться надо до того, чтоб вывезти ее из этого проклятого места. И, конечно, я больше верю в психиатрию в Париже, чем в Como. Там нет италиянских преследований и больше человеческих развлечений. Но только обсуди хорошенько — можно ли везти ее морем; а если нельзя — то завези ее ко мне; а если можно — то выпиши меня в Париж, куда мне переезд все же легче, чем в Италию. Чувство мести я, caro mio, не забуду; но только теперь, с этой проклятой ногой, пускаться в путь трудно, если не невозможно. Каким образом я все это время уцелел от припадков — я не понимаю, но жду с часа на час, по крайней мере, поутру; а как дошел до того, что пообедал, то и спасен до утра. Вот тебе и мораль.

Какая бы там мораль ни была, Герцен, увези Тату из Италии — как только можно скорее. Тут все — и напоминания и сами злодеи. Увези ее ради всего святого.

Может, мое письмо сегодня запоздает. Я слишком был встревожен, а потому у меня Тх[оржевский] сидел долго, так что я опоздал на почту. Добрейший человек! А многое я в нем не люблю, но охотно все ему прощаю за любовь к тебе. Больше прощаю, чем Чер[нецкому], у которого нет любви, да нет и трудолюбия.

Сегодня корректировал последний лист статьи Энгельс[она] [2], которую мой молодой друг [3] непременно хотел напечатать отдельно. Признаюсь, несмотря на всю ее метафизику, я к ней получил сильнейшее пристрастие. Как этот человек погиб? Как это ты с ним разошелся? Самолюбие, конечно, порок; но он также имел и некоторое право на самолюбие.

Бак[унин] уехал. Адрес его: Canton Tessin Suisse, Locarno, al egreggio Signor Angelo Bettoli armajolo, per la Signora Stefania. Он поступает совершенно благородно. Но я ничего не хочу о нем писать, поняв, наконец, кто такое Шпёкин. Если вы будете близко, то приголубь его немножко. Он хотя и в восторге от природы и климата, но уже слишком одинок и без обычного движения. Робен [4] теперь издатель «Егалите» и едва ли оставит это занятие. Я постараюсь его увидать и разузнать, но сомневаюсь, чтоб он переехал, хотя бы была и выгода.

Биза прошла, южный ветер с туманом, мелким дождем etc. удушающий. У Мери, кажется, разовьется чахотка. Чорт знает к кому

обратиться — я здесь (после моей ноги) ни в Маиора, ни в полковника не верю.

Натали и Лизе буду писать как скоро ты известишь о ее приезде. В Геную я не писал, потому после твоего известия о ее переезде во Флоренцию, не из чего было писать в poste restante.

За сим прощай до завтра, мой бе[дный] старый друг.

Завтра кое-что пошлю тебе.

Поцалуй за меня мою бесподобную Ольгу.

Чорт знает! Слезы так и хлещут, не могу сам с собою справиться.

[1] Датируется по ноябрьским письмам Герцена 1869 г.

[2] Энгельсон Владимир Аристович (1821—1857) — один из первых русских политических эмигрантов. Привлекался по делу петрашевцев. В 1850 г. выехал за границу, где в Ницце встретился с Герценом и очень близко сошелся с ним. В 1853 г. между ними произошел разрыв, потом несколько смягчившийся, но в мае 1855 г. все отношения были окончательно прерваны. Об Энгельсоне много в «Былом и думах». Его статья, о которой говорит Н. Огарев «Что такое государство», изданная отдельной брошюрой в 1870 г. в типографии Чернецкого. Издание было осуществлено С. Г. Нечаевым при помощи Огарева.

[3] С. Г. Нечаев.

[4] Робен Поль — французский бакунист, член генерального совета I Интернационала, впоследствии исключенный из его состава.

144

9 ноября [1869 г.][1]. Вторник

2 часа. Сегодня от тебя еще письма нет. Тх[оржевского] тоже еще нет. Жду доктора для М[эри]. — Сам перетерпел покамест все и остался здоров (кроме ноги).

Неужели же сегодня не придет никакой вести о Тате?

Тутс здоров. Все те же маленькие недостатки и все тот же достолюбезный ребенок.

Как ты думаешь, Герцен — шильца в мешке не утаишь — дашь ли ты мне право написать старому другу Квадрио[2], от которого вчера получил письмо о Пенизи? Ведь скорей нас они его доконают — а я дела без отместки не оставлю.

Сейчас был доктор, которого прислал Тх[оржевский]. — Я им очень доволен, он умен и чрезвычайно старателен.

Ну — addio, carissimo. — Сегодня писать больше не хочется.

XLI[3]

ИЗ ГЕЙНЕ

Во сне мне приснилась она
И робкий, встревоженный образ имела,
Худое и дряхлое стало у ней
Когда-то роскошное тело.

Ребенка несла одного на руках,
Другого вела за собою за руку;
Одежда и поступь, и взор у нее
Являли и бедность и муку.

И так она шла, вся дрожа, через рынок —
И тут повстречалась со мной,
Взглянула... Тогда ей спокойно
Сказал я с глубокой тоской:

Пойдем ты со мною, ко мне на квартиру —
За тем, что ведь ты и худа и больна,
А я же работой моей и стараньем
Достану тебе и обед и вина.

А также, увидишь, вскормлю, воспитаю —
Вот этих двоих я детенок,
А пуще всего я тебя успокою,
Мой бедный, несчастный ребенок.

Я даже тебе никогда не скажу,
С какою любил тебя страстною силой,
А если помрешь — то я плакать пойду
Над тихой твоею могилой.

[1] Датируется по письмам Герцена от 12 и 13 ноября 1869 г. (т. XXI, стр. 517, 522).

[2] Квадрио Маурицио (ум. 1877) — итальянский революционер, один из деятельнейших сподвижников Мацциии. Участвовал в пьемонтской революции 1821 г., в польском восстании 1830 г.; в революцию 1848 г. — военный комиссар и секретарь римского триумвирата. В течение тринадцати лет редактировал «Единую Италию». Большой поклонник и друг Герцена и Н. П. Огарева, переписывавшийся с ними в 60-х годах. Принимал участие в истории с Гервегом. В ответ на желание Огарева написать Квадрио, Герцен писал:

«Квадрио написать можно и какая же это тайна, когда человек сто знают. Но что же он сделает. Помни, что если Пенизи виноват, то Тата не права, — это очень важно...».

Во втором письме Герцен опять возвращается к вопросу о Квадрио:

«Теперь на досуге скажу несколько слов о твоем намерении писать к Кв[адрио]. Что он может сделать? То же, что он и Ос[ип] Ив[анович] (т. е. Маццини. — *Ю. К.*) сделали с Гервегом, т. е. ничего. Такой человек от слов не покраснеет, а от дел спасен слепотой. Глубже вникая, особенно в груду писем, я полагаю, что он, действительно, был увлечен, и сначала склонял угрозой самоубийства, а когда не удалось — угрозой скандала, клеветы и мести. Так, вообще, поступают подлые натуры. Заметь, что это — совершенное повторение истории Гервега. У них своя логика. Наказывать их платоническими оружиями невозможно. Стоит ему переехать из Флоренции в Венецию, в Неаполь — и все кончено, но он и этого не сделает. Я даже остановил Сашу от некоторых демаршей. Позорное поведение Левье гораздо легче учитывается, и он сам потерял голову от расскаяния и от положения, в котором очутился, отталкиваемый близкими ему людьми. Он ездил к Пен[изи] и в глаза сказал ему, что он «подлый комедиант»; вероятно, тот похохотал и назвал его «подлый идиот». Я, Огарев, холодно и с пассивностью смотрю на жизнь. Как тут мстить на выбор, когда виноваты все...

...Последней истории вовсе не было бы, если б Саша выждал свой год (обещанный мне). Ни в каком доме, где есть серьезная женщина, все случившееся с Пен[изи] было бы невозможно. Терезина — милая проказка, которая, конечно, меньше Мэри знает пределы, грани; Тата к ней не могла иметь доверия; невнимательность Саши ее оскорбляла (все это я тебе предсказывал письменно). Идеалистическое тупоумие Мейзенбуг, ее нравственная слепота и хватание звезд сделало легкими притворство и ложь. Тата решилась сказать Саше правду, когда оборвалась, когда испугалась, видя, что из уступок и игры в великодушное потворство вырастает чудовище с угрозами. Она постоянно говорила Пен[изи], что ни на что не решилась, что подождет еще год и два и тогда скажет ответ, что она не равнодушна к его страданию и любви. Мои письма заставили ее одуматься. Пен[изи], видя сборы в Париж, потребовал прямого ответа; она отказала. Кандидат в самоубийцы явился холодным палачем и злодеем...».

[3] Напечатано в «Вестнике Европы», 1907 г., № 5, стр. 274.

145

[11 ноября 1869 г.][1]

Здравствуй, моя старая Натали. Я уверен, что ты хочешь спасти больную: увозите же ее даже из этого места. Дальше! дальше! Шагом в карете, но лишь бы была перемена места и лиц.

Письмо твое, Герцен, получил сегодня в 9-м часу утра (письмо от

8-го). Уж не Шпёкин ли в чем участвует, что из разных местностей, где следует почте приходить на другой день, она приходит через три или четыре дня. Во-первых, заметь мою записочку к Натали еще раз; я уже об этом вопросе писал и не верю, чтоб ее нельзя было увезти — конечно, не по железной дороге и не морем — но ведь пути земные бесчисленны.

Во-вторых, Тх[оржевский] готов тебе передать деньги и помнит о 7% ломбардных билетах.

В 3-х, Чернец[кий] и его супруга свидетельствуют вам всем свое почтение и сочувствие. Но он все же просит меня напомнить тебе, что не имеет от тебя никакого ответа далее — как, что ты был согласен на



БРАТ ГЕРЦЕНА, ЕГОР ИВАНОВИЧ
Фотография, 1870-е гг.
Литературный музей, Москва

приобретение типографии, в уменьшенном виде, а теперь и у Черн[ецкого] нет работы, и Данич уже 2 недели без работы. Успеешь — напиши к нему; не успеешь — напиши мне, что ему сказать.

Вчера у меня был новый хороший человек и привез тебе от прошлогоднего книги: биографию Грановского [2] (Станкевича) — Стихи Никитина [3] — и перевод Макиавелли [4]. Я ничего к тебе не пошлю без приказа, ибо тебе должно быть не до того. — Биографию Грановского читал и вчера и сегодня. Это ужасная книга, классическая, идеалистическая, с каким-то казенным слогом мемуаров, унижающая память Грановского при желании возвысить. Но дочту ее до конца.

Черн[ецкий] так меня задержал, что не знаю поспею ли на почту. Постараюсь.

Прощайте, все мне близкие!

P. S. Доктор прописал Мэри мышьячно-кислое железо. Вид у ней становится плоше и плоше.

[1] Датируется по письму Герцена от 14 ноября 1869 г. (т. XXI, стр. 525), в котором читаем: «Письмо твое от 11 получил сейчас, 14-го, в 9 утра. Я полагаю, задержка от дороги, снега и таких вещей. Да полноте же писать о нелепом путешествии в карете. Где же останавливаться, где же ночевать...

...Типографии покупать не хочу; я просил пока Тхор[жевского] дать Чернецк[ому] авансу 500 фр[анков], потом увидим. Да пусть он продаст, если может, все за 4000...»

[2] Биография Грановского — книга Александра Владимировича Станкевича (р. 1821) — брата Н. В. Станкевича — «Т. Н. Грановский», СПб., 1869 г.

«Читали ли вы книгу Станк[евича] о Грановском, — писал А. И. Герцен М. К. Рейхель 28 ноября. — Плох он, т. е. Станк[евич], и плохо написал и много напутал, но мне напомнил время лекций и светлые годы 45, 46. Но не такого биографа нужно было Грановскому» (т. XXI, стр. 527).

[3] Никитин И. С., Сочинения, изд. А. Р. Михайлова, Воронеж, 1869 г.

[4] В 1869 г. в Петербурге почти одновременно вышло два перевода Макиавелли: Н. Курочкина «Государь и рассуждения на первые три декады ливия» и Фед. Затлера «Монарх». Какой из этих двух переводов имел Н. П. Огарев, не ясно.

146

2 часа. Вторник 23 н[оября 1869 г.][1]

Телеграмму и письмо от 20-го получил сегодня. Тх[оржевский] только что сейчас приходил. — Перестанем спорить, Герцен, это меня слишком обижает и слишком лишает покоя и приводит во что-то болезненное.

Пишу тебе несколько слов, чтоб они еще застали тебя в Генуе. Адреса по телеграмме не могу разобрать. Пишу р. г. — Вчера уже писал р. г. в Геную. Что же писать во Францию — это только отдалит получение писем. Еще раз повторяю, что лучше быть в Париже, чем долго оставаться в Ницце. Ницца не может не произвести худого впечатления на Тату. Да и, кажется, ты со всем с этим согласен. — Если бы было мудрено ужиться с Мальв[идой][2] — лучше же иметь две квартиры, цена выйдет почти одна и та же. А занятий и развлечения в Париже все же больше, чем где-нибудь; только будь осторожен. — Черн[ецкий] обижался, что ты не прямо к нему пишешь и Тх[оржевский] настаивает, что б ты прямо к нему писал. — Я пока все же довольно здоров, несмотря на ужаснейшую погоду. Обнимаю тебя, Тате пишу на след[ующей] странице.

[1] Напечатано с Сб. «Архив Огаревых», М. — Л., 1930 г., стр. 70; дается здесь для связи.

Письмо Герцена от 20 ноября не сохранилось; датируется по смежным письмам.

[2] В письме от 13 ноября 1869 г. Герцен писал: «Кстати, спасать надобно Ольгу: какое доверие к глазам Мейз[енбуг] можно иметь после бывшего и какое доверие к Саше. Я, с божией споспешествующей милостью и с молитвами святых отец, это и сделаю. Наконец, пора и мне платить старые долги...» (т. XXI, стр. 524).

147

8 дек[абря 1869 г.][1]
Середа — ¾ второго

Вчера Черн[ецкий] принес твое письмо к нему, которое было почти равно твоему предшествующему письму ко мне. Сегодня в 12 часов пришло твое письмо от понедельника. Ну! caro mio — спасибо. Теперь отлегло — и я буду способен усиленно работать. — Итак, она выздоровеет, моя милая Тата. Скажи ей, что если я хотел, чтоб она мне написала, хотя бы свое имя, — это потому, что тогда я получаю уверенность, что начинается выздоровление; это было бы доказательство силы возрождающейся. Теперь, кроме твоего письма, я имею ее две строки — и мне становится спокойнее, я тоже прихожу сам в себя.

А я все же сегодня ночью был болен, и от этого есть сегодня немного устали. Припадок повторился на 13-й день. А причину я тебе

объясню, чтоб и о моем здоровье дать тебе утешительность. Я вчера производил операцию, которая сошла с рук очень легко, несмотря на всю мою неловкость. Но я устал от оного упражнения и ждал чего-нибудь. Я, вообще, сомневаюсь в зависимости припадка от уретры, т. е. это составляет для меня далеко не решенный вопрос; но усталь от занятия операцией весьма располагает к припадку. Только к вечеру мне стало гораздо легче — и я ничего не ждал, а между тем случилось внезапно (но в постели). Вот видишь ли — насчет Майора: как он сладил с моей ногой — не знаю; но после Девил[евской] операции, он один поставил лечение структуры на путь. Честь ему и слава! Да! забыл сказать — я на этот раз операцию производил через шесть (если не семь) недель; а производилось все превосходно! Вот тебе и о моем здоровье. Нога все так же, ходить могу даже без палки (при новых сапогах), но очень недолго. Вот это мне всего затруднительнее для переездов, ибо я до Ниццы едва ли могу доехать ближе недели. Теперь лучше уже это совершить — как-нибудь весной. — Тх[оржевский] хочет непременно теперь ехать. Ему нужно прокатиться. Наследство он вчера получил и дня в два дела покончит. Милейший он человек; я, однако, вижу, что и болезнь Таты и желание ехать к вам, да и дела, может быть — его восстановили так, что он эти два дня был совершенно здоров. Но о его делах после, теперь пора на почту. Дела его хороши—вот и все.

А для меня, если б вы куда поближе приехали — была бы огромная разница!

Ты говоришь о переезде на юг [2], и тебе, как будто, Тутс и Генри мешают. Не знаю, насколько последнее правда, Герцен. Но об этом напишу завтра, теперь боюсь запоздать. Также и о Бак[унине], где с твоим мнением никак согласиться не могу, а как и почему, о том в следующем письме будут следовать пункты.

Лизу обнимаю за ее письмецо. Писать ей стану завтра, теперь некогда. Тате стану писать, когда, по моему чутью, она будет читать в силах. — Нат[али] скажи, что эпидемия и прилипчивость столько же имеют общего с простудой — как мышьяк. Надеюсь это ясно. — Прощай — пока. —

[1] Письма Герцена от 6 декабря не сохранилось: датируется по письму Герцена от 13 декабря 1869 г. (т. XXI, стр. 534), в котором последний сообщил, что 15-го он со всей семьей выезжает в Париж.

[2] «Спорить с тобой, — писал Герцен, — caro mio, не хочу и не буду. И возражал тебе сильно не потому, что Тутс в школе или нет, а чтоб положить предел грубому поклепу, что я советую изгнание твоих измаилов в степи аравийские, тогда когда я стремлюсь их выгнать на чистый воздух и работу, на ту новую жизнь, о которой ты так рьяно проповедуешь с Бакун[иным], о выводе из Содома и Гоморры нашей жизни. Я их хочу спасти от страшнейшей беды — полубарского воспитания, идущего навстречу нищете, нужде — от размягчения слабых нерв, сентиментальной старости. Оцени раз мужественно мой простой взгляд, а затем кладу судьбу их в твои руки, и делай, что знаешь. У меня своей заботы через голову и силы. Только о Париже и не думай, пока ты не освободишься от измаилов. Вот и финал...».

148

22 дек[абря 1869 г.] [1]. Середа

Вот сбирался писать много писем, но не собрался. Почему ты мне пишешь и не отвечаешь на последние два письма [2]. Здоров ли ты сам? Что Тата? — За полученные деньги весьма благодарю, но остальные дела больно плохи. Я даже послал Жука [3] за Женеву осведомиться что и как случилось, какие аресты в Петерб[урге, что за обыск у Черкес[ова] [4] в лавке и т. д. Если ты что услышишь в Париже — сообщи немедленно.

Больше писать не хочется, caro mio. Прощай. Тх[оржевский] сегодня не приходил еще, а уже 2 часа. Он обычно приходит в 12. Только что я написал это — Тх[оржевский] пришел. Но нового ничего.

[1] Датируется по письму Герцена от 23 декабря 1869 г. (т. XXI, стр. 540). Напечатано в сб. «Архив Огаревых». М.—Л., 1930 г., стр. 70; дается здесь для связи.

[2] Герцен отвечал: «Что вы это, батюшка Николай Платонович, в гнев изволили взойти за то, что не пишу о здравиях Таты и родителя ее, в то время, как пишу и много...

...Вчера был Брока, сидел более получаса, — писал Герцен. — Тата с ним была очень мила; его заключение такое, что мозг явным образом был поражен; что глаза до сих пор ясно обозначают, что болезнь не совсем прошла. Он находит ее в полном выздоровлении, но следует бояться всякого сильного потрясения и даже умственной работы, читать вздор и писать вздор, пока мозг укрепится..».

Брока Поль — известный французский хирург.

[3] Жук — Н. И. Жуковский.

[4] Черкесов Александр Александрович — участник революционного движения 60-х годов. В 1862 г., находясь за границей, участвовал в попытках организации объединенного эмигрантского издательства. По возвращении из-за границы был арестован по обвинению в сношении с эмигрантами. Имел книжную лавку в Петербурге, ставшую центром «неблагонадежных» элементов. Вторично был арестован в связи с нечаевским делом в конце 1869 г.

«Черкесов арестован, об этом я читал в тобою присланном «Голосе». Если что узнаю, сообщу; я еще не видел ни Выр[убова], ни Боборык[ина]...» — писал Герцен.

149

3 янв[аря 1870 г.][1]. Понедельник

Письмо твое и письмо Натали от 1-го янв[аря] получил сегодня. Ждал Тх[оржевского], читал Стюарта Милля и математику (вот и смейся надо мной!) — и, наконец, хочу написать тебе несколько строк. Тх[оржевский] — премилый человек, но — inter nos — какой у него характер банкира или дворецкого — это меня иногда поражает. Он теперь преследуем мыслью о дешевизне и выгоде, ergo, о переезде не знаю куда — в Брюссель, в Дрезден etc. Денег здесь, кажется, на твои распоряжения не хватит после посылки 300 фр[анков] Бак[унину]. — Тх[оржевский] сейчас пошел в банк справляться. — Я почти здоров, кроме кашля и одышки. Зато Рейнах[2], которому в Париже полъязыка отрезали (с канцером), умирает от канцера в животе. — «Зачем ты хочешь дать Тате итальян[скую] грамматику, от которой ее следует удалить?» (Замечание Тх[оржевского]).— Лизу мою целую. Натали благодарю за письмо и напишу и ей и тебе к завтраму. А теперь хочется, чтоб эта записка поспела на почту. Да и погода превосходная, хочу пройтись.

Получаешь ли ты «Егалите?» Прочти речь Перрона над могилой Сер[но]-Сол[овьевича][3].

[1] Письма Герцена от 1 января не сохранилось.

[2] Рейнах — повидимому, Жак Рейнах, известный парижский финансист.

[3] А. А. Серно-Соловьевич покончил жизнь самоубийством 16 августа 1869 г. в Женеве. На похоронах с речью выступил Шарль Перрон — редактор «Egalité» и один из ближайших сподвижников Бакунина.

150

5 янв[аря 1870 г.][1]
Середа — вечером

Хотел писать тебе сегодня до 3-х часов, но не успел по *n* причинам. Разные известия с разных сторон. Но прежде всего, чтоб не забыть — Тх[оржевский] ждет от тебя письма и думает, что дешевле купить итальян[скую] грамматику и лексикон в Париже, чем купить здесь и переслать; а распаковывать уже запакованные ящики, где ему итал[ьянской] гр[амматики] не помнится, еще труднее. Он ждет от

тебя приказа, что переслать, что перевести к Чернец[кому], который, во всяком случае, остается здесь до мая. — Сам же он, кажется, собирается в Париж, и хотел бы все вещи сбыть с рук. Вот в чем и его дело. Но, вероятно, он ближе 2-х недель или месяца не уедет. Деньги я получил — спасибо. У нас продолжается самый удушливый туман, так что дышать трудно; вот уже 4 дня.

Теперь к делу. Я получил письмо от my boy[2] от 20 дек[абря]; а по другим известиям my boy тоже в тюрьме. Что из этого заключить, совершенно не знаю. Всего арестовано до 70 челов[ек] в Петербур[ге] да в Москве 10, а в провинции сколько-то. Говорить о my boy никому не нужно. Он если не в тюрьме, то умер — и будет здесь *. Хочется видеть тебя и Б[акунина]. А точно ли он свободен — ничего не знаю.

В Женеву будто бы прислано 5 челов[ек] р[усских] шпионов и несколько дам. Я до сих пор никого не встречал; но рекомендуют осторожность. — В Париже есть очень хороший человек — Озеров. Отыщи его непременно и тотчас, и скажи ему, что я его письмо получил, но раньше двух недель отвечать не буду. Адрес: rue Bria, 19. — Прими его отечески. Впрочем, я думаю ты его знаешь. —

«Егалите» тебе был послан с «Голосом» — напиши, получил ли?

Как ни скверно положение, но мне работать хочется, и задач так много, что не знаю как и сладить.

Почему ты не хочешь выписывать «Моск[овские] Вед[омости»]? Мне кажется, они чрезвычайно нужны, как своего склада противники. Да я уверен, что надо опять придти к изданию «Кол[окола»] и съехаться, где и как тебе угодно[3].

Итак, у тебя Жан-Батист[4]; а я послал тебе его письма. Получил ли?

Больше теперь писать не стану. Устал и спать пора. Прощай! Ужасно жутко на сердце.

Письмо твое Ж[уковскому] послал, но я уже и прежде ему говорил в том же духе. Увижу его в субботу. Боюсь предложить ему заем у Тх[оржевского], может Тх[оржевский] не захочет дать. Увидим. Но Ж[уковский] писал тебе, потому что не мог поступить иначе; а сам он понимает, что ты в затруднении и понимает, что из фонда никакой заем невозможен, тем более, что, пожалуй, понадобится скоро для совсем реальных помощей.

[1] Датируется по письму Герцена от 7 января 1870 г. (т. XXI, стр. 548), в котором Герцен сообщал: «Получил твое письмо от 5-го...».

[2] Воу — прозвище С. Г. Нечаева. Под этим псевдонимом Нечаев фигурирует в переписке М. А. Бакунина с Герценом и Н. П. Огаревым. Аресты, о которых пишет Огарев, — разгром нечаевской организации в связи с убийством студента Иванова.

[3] Герцен отвечал: «На счет «Колокола» еще не знаю... Для возобновления «Колокола нужна программа, даже для нас. На таком двойстве воззрений, которое мы имеем о главном вопросе, нельзя создать журнала. Читать нас никто не хочет. Сделаем опыт издать «Полярную Звезду».

[4] Жан-Батист-Боке — см. комментарии к предыдущим письмам.

151

15 янв[аря 1870 г.][1]

Письмо твое получил, caro mio! Надо будет дать 5 т[ысяч] фр[анков]. — Я с твоим мнением не согласен, да во многом и с ним не согласен; но мешать нельзя. Из этих денег надо будет заплатить за работу Черн[ецкому], что можно будет вычесть, так же как и 300 фр[анков], если я их займу у Тх[оржевского]. — Вот и всё покамест. А деньги ты на днях приготовь, т. е. чем скорей, тем лучше. Завтра пошлю тебе «Голос».

[1] Датируется предположительно по упоминаниям Герцена о какой-то выплате 5 тысяч франков в январских письмах 1870 г.

* Так в тексте.

II. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА П. Л. ЛАВРОВУ

Предисловие и комментарии Ю. Красовского

Последний период жизни Н. П. Огарева, особенно 70-е годы, до сих пор остается сравнительно малоизвестным и малоисследованным. Кроме нескольких желчных и явно пристрастных строк в воспоминаниях Н. А. Тучковой-Огаревой, кроме воспоминаний Е. Ф. Литвиновой, а частично и Т. П. Пассек, об этом периоде жизни Огарева почти ничего нет в нашей мемуарной литературе. Но воспоминания, как известно, вещь очень субъективная, и к тому же, они касаются преимущественно жизни Н. П. Огарева в личном плане и очень мало говорят об общественном лице Огарева в последние годы его жизни. Некоторую поправку в этом отношении вносит публикация огаревских материалов, хранившихся в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина («Герцен и Огарев. Новые материалы», — «Звенья», сб. 6, стр. 338—412). Но материалы этой публикации настолько отрывочны и не полны, что не позволяют сделать каких-либо выводов. Данная публикация, таким образом, является фактически первой большой публикацией на тему об общественно-политической физиономии Огарева во второй половине 70-х годов; 48 писем Н. П. Огарева к П. Л. Лаврову за 1875—1877 гг. дают в этом отношении достаточно богатый и интересный материал.

Образ Н. П. Огарева 70-х годов зафиксирован в нашей исторической литературе в очень определенном, традиционно-канонизированном виде. Представление об Огареве этих лет неизменно ассоциируется с образом усталого и сломленного борца-революционера, отошедшего от всякой революционной работы и целиком ушедшего в свою личную жизнь, отгородившегося в своем гринвичском отшельничестве от всего мира и медленно умирающего, вдали от революционных бурь и подлинной живой жизни. Историю жизни Огарева этих лет обычно рассматривают, как историю его взаимоотношений с Мэри Сэтерленд, с которой он сошелся еще в 1859 г. и которую он решил спасти от лондонского дна, «возвысить», как он выражается в одном из писем к Герцену, и с которой он прожил до самой смерти. Несомненно, что после смерти А. И. Герцена, после разрыва с С. Г. Нечаевым Огарев силой обстоятельств оказался вне политической борьбы. Воспоминания А. Баулер «Одна из дорогих теней» («Минувшие годы», 1908 г., IV, стр. 108—115) о посещении ею совместно с П. Л. Лавровым гринвичского отшельника в 1877 г., т. е. незадолго до его смерти, как раз и дают умирающего Огарева, целиком погруженного в прошлое. «Какой тяжелый конец жизни, — как ему, должно-быть, тяжело жить так одному среди своих, мертвых», — так передает А. Баулер впечатление П. Л. Лаврова от посещения ими Огарева. Но тем не менее было бы неверно целиком и полностью стать на эту точку зрения. Публикуемые письма показывают нам Огарева в несколько ином освещении, пусть усталого, больного, умирающего, но в то же время живо интересующегося всеми общественными и политическими вопросами, Огарева, еще не утратившего темперамента борца и политика-мыслителя. Эти письма позволяют выяснить взаимоотношения Н. П. Огарева и П. Л. Лаврова и степень участия Н. П. Огарева в лавровском «Вперед» — факт значительный и знаменательный.

Наша публикация дает точную дату личного знакомства П. Л. Лаврова с Н. П. Огаревым — май 1875 г., т. е. почти тотчас по переезде Огарева в Англию. Обращение П. Л. Лаврова с призывом принять участие во «Вперед» было встречено Огаревым, как видно из его писем, очень сочувственно и было воспринято им как начало нового периода общественной деятельности. В первом же письме Огарев указывает, что посещение Лаврова и его предложение сотрудничества «снова дает надежды на деятельность». В последующих письмах много положительных отзывов о «Вперед», а в письме от 28 мая 1875 г. Огарев пишет: «Вашим «Вперед» я совершенно удовлетворен и, насколько понадобится и хватит сил, приму в нем деятельное участие, а мне необходимо участие — иначе существование становится тяжело». Почти в каждом письме имеются упоминания о подготовляемых для «Вперед» стихах и статьях на самые разнообразные политические темы.

Первое посланное стихотворение «Свидание» П. Л. Лавров поместил сейчас же, но в дальнейшем стал воздерживаться от помещения огаревских стихов, находившихся на низком художественном уровне. Стихи Огарева этих лет нельзя считать стихами в полном смысле этого слова, это скорее рифмованная проза без соблюдения ритма и размера. Характерно, что сам Огарев понимал и чувствовал слабость своих стихов. Так, в письме от 8 марта 1876 г. он пишет. «А все же не могу не послать вам последних стихов, хотя не знаю, успешны или нет, потому что, вообще, моих последних стихов не люблю» [разрядка моя. — *Ю. К.*]. Но, помимо стихов и статей, участие Огарева во «Вперед» выражалось в самых разнообразных формах. То он присылает Лаврову «объявление об открытии (химическом) сына Герцена. Может, оно всем нам пригодится», то шлет тот или иной иностранный журнал, где отмечает крестиком интересную статью, то трогательно переписывает из

«Daily Telegraph» телеграммы о России, то хлопочет о переводе статей «Вперед» на английский язык.

Мы попытались проследить степень публикации посылаемого Огаревым материала, — полностью огаревский материал П. Л. Лавров помещал очень редко; большей частью он использовал присылаемые материалы в своих передовицах. Это, повидимому, не всегда удовлетворяло Огарева (иногда в письмах в связи с этим как будто проскальзывают пессимистические нотки); тем не менее, он до самых последних дней усиленно снабжает Лаврова материалом, мы бы сказали, очень «держится» и ценит свою связь с «Вперед». Он, повидимому, боится снова остаться один. Он болезненно реагирует на отсутствие писем от Лаврова. «Но, прежде всего, пришлите хоть строчку, доходят ли до вас мои письма», — читаем мы в письме от 28 июля 1876 г.



ЛОНДОН, ОБЩИЙ ВИД

Цветная литография

Исторический музей, Москва

Но было бы совершенно неверно считать роль Огарева во «Вперед» незначительной, исходя из количества напечатанного материала. Надо учесть то, что Огарев передал Лаврову ряд статей, названия которых нам неизвестны, а потому отыскать их во «Вперед» не удалось. А таковые, несомненно, были. Затем следует указать еще на роль Огарева, как «друга» и, в какой-то степени, «вдохновителя» лавровского «Вперед». В своих письмах Огарев отзывается, хоть и весьма кратко, на многие серьезные вопросы, высказывает свои мнения и пожелания, например, о герценовском издании 1875 г., о деле Дьякова и т. п., причем в этих случаях мы должны констатировать совпадение высказываний Огарева со многими положениями лавровских статей.

Если публикуемые письма и не дают исчерпывающего представления о политических взглядах Огарева в 70-х годах, то, во всяком случае, они говорят о том, что Огарев в значительной степени остался тем же борцом-революционером, каким он был в расцвете своей политической деятельности, во времена «Колокола». Его отзывы о новом социалистическом элементе, который он видит в России, его непогасшая ненависть к деспотизму, к царским тюремщикам — все это дает прекрасный образ борца и мыслителя, хоть и надломленного болезнью и несчастьями личной жизни, но не сломленного. Об этом в его письмах говорит многое, и прежде всего большое внимание к вопросам революционной пропаганды и агитации. Огарев очень настойчиво указывает на огромное значение языка, неоднократно говорит о необходимости простоты и «народности» в языке, видя в этом залог успеха всякой пропаганды. «Я опять возвращаюсь к моему газетному вопросу, — читаем мы в одном из писем к Лаврову, опубликованном в «Звеньях», — как нам дойти до слога понятного

вообще для простолюдина». «Нельзя ли почти все иностранные слова, — читаем мы в другом письме, — ...перевести на русский?». Поэтому понятно, что Огарев крайне отрицательно относится ко всякой подделке «под народность», ко всякому революционному «пейзанству». «Я не могу сойтись с его диалектом», — пишет он Лаврову 15 ноября 1875 г. о женевском журнале «Работник». «Признаюсь, Лавров, — читаем мы в письме от 11 мая 1876 г., — все еще сил или терпения нехватает дочитать. Эта подделка под народный язык ни к чему не приведет. Мужик не поймет... Это не в помощь ему».

Точно так же Огарев-революционер ярко сказывается и в его отзыве об историческом журнале Моно. «Наше дело разрушать современное, а благоговение перед историей помешает будущему» (письмо от 4 апреля 1876 г.).

Из других интересных моментов, которые следует отметить в письмах Огарева, — это указание на его постоянную переписку с Озеровым, связь с Моно и, повидимому, с И. С. Тургеневым. Это опять-таки до некоторой степени разрушает общепринятое представление о полной изоляции Огарева. Любопытно сообщение о попытке писать мемуары, по настоянию П. Л. Лаврова. Но, конечно, помимо общественной стороны, наиболее интересующей нас, в письмах Огарева немало о личной жизни, о настроениях и т. п.; есть и кое-какие новые биографические данные.

В общем, надо считать, что, несмотря на то, что публикуемые письма Огарева не отличаются обширностью, — последний период жизни Огарева рисуется в них достаточно полно, и, таким образом, биография Огарева наконец-то получает свою необходимую законченность и четкость.

Публикация писем Огарева к Лаврову сделана по подлинникам, хранящимся в ИМЭЛ, в фонде Лаврова. Нами опущены некоторые письма, не имеющие значения ни в общественном, ни в биографическом плане: главным образом, мелкие и незначительные записки. Точно так же мы опустили все стихотворения, приложенные или входившие в состав писем, так как в 1939 г. вышло в свет полное собрание стихотворений Н. П. Огарева под редакцией С. А. Рейсера, в серии «Библиотека поэта», на которое мы всюду и ссылаемся.

Свои письма Огарев обычно датирует только числом и днем недели. Сопоставление этих данных с содержанием писем позволило датировать письма более или менее точно.

1

Greenwich. 16 мая [1875 г.] Воскресенье
Ashburnham road, № 35

Истинное спасибо вам за посещение, Лавров [1]. Оно мне снова дает надежды на деятельность. Тотчас после вашего посещения, кажется, совладал с поэмкой, которую вам и посылаю. Если думаете, что можно напечатать, напечатайте; если думаете, что надо кое-что исправить, скажите. Изданий ваших еще не получал, должно-быть, придут завтра. Сегодня ночью мне нездоровилось, но, как обычно после припадка, здоровье свежее и крепче. Оно странно под старость лет, но успокоительно.

Итак, жду с нетерпением ваших изданий, а сам надеюсь быть в Лондоне в конце недели.

Ваш новый старый друг Огарев

[1] Это — первое письмо Н. П. Огарева к П. Л. Лаврову, позволяющее точно установить время их личного знакомства — середина мая 1875 г. «Поэмка», о которой говорится в письме, — стихотворение «Свидание», напечатанное в № 10 «Вперед», от 1 июня 1875 г., стр. 298, см. «Стихотворения», под ред. С. А. Рейсера, т. I, стр. 271.

2

Вторник 18 мая [1875 г.]

Любезный Лавров, если «Вперед» не пришел в субботу, то в воскресенье не мог придти по англиканской религиозности; поэтому и опоздал. Теперь я его имею и читаю с большим удовольствием, находя в нем больше необходимых фактов, чем многосложного красноречия. По-

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ОГАРЕВА П. Л. ЛАВРОВУ ОТ 16 МАЯ 1875 г.
Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва

следнего я немножко боюсь, как произведения теорий, которые мудрено разузнать, а говорить в них можно что угодно и никуда не придешь. Это прием, который портит социализм. А как дойти до определения чего-либо серьезного в социальном направлении, — это другой, более серьезный вопрос. Покамест, кажется, остается (что я и нахожу в «Вперед») перечень фактов, т. е. той дребедени, которая истинному направлению мешает. А это теперь необходимо.

Мне кажется, этой мере «Вперед» истинно поможет.

Но вот уже и вечер наступает. Спешу вам записать еще гринвичские стихи, так [как] вам «Свидание» понравилось.

Ваш Огарев[1]

[1] К письму были приложены два стихотворения — «На улице» (Играл котенок — так себе дитя) и «Послание к соседнему псу» (С утра ты лаешь, бедный пес, до ночи). — «Стихотворения», т. II, стр. 408—409.

3

Greenwich. 28 мая [1875 г.]. Пятница
Ashburnham Road, № 35

Думал быть у вас на сей неделе, любезный Лавров, но, во-первых, у меня Мэри[1] была больна так, что с трудом могла двигаться; а вчера я был болен обычной болезнью. Мне же вообще одному ездить

опасно, да и старуху мою больную одну оставить не хотелось. Поневоле поезд[ку] в Лондон отложил до начала июня. Вашим «Вперед» я совершенно удовлетворен и, насколько понадобится и хватит сил, приму в нем деятельное участие, а мне необходимо участие в журнале, иначе существование становится тяжело. Недеятельность сбивает с толку.

Скажите, пожалуйста: не знаете ли вы, где находится Благосветлов[2] и в каком он отношении в нашей отчизне?

Преданный вам Огарев

Прилагаю еще недавние маленькие стихи[3].

P. S. Одно бы еще хотел заметить: если русские мужики читают кое-где «Вперед», нельзя ли почти все иностранные слова, даже слово «эксплуатация», перевести на русский? Иначе оно будет непонятно. Я сколько ни старался, прежде известных книжных средств, не могу *.

[1] Мэри, или «старуха», как шутливо называл ее Огарев, — Мэри Сэтерленд, подруга Огарева.

[2] Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — известный публицист и редактор «Русского Слова» и «Дела».

[3] О каких стихах идет речь, не ясно.

4

1 июня 1875 г.
Ashburnham Road, № 35

Вчера получил ваше письмо, многоуважаемый Лавров, а сегодня июньский «Вперед». Приезжайте когда хотите и с товарищем. Я на этой неделе, вероятно, не выеду. До двух часов и вечером я — всегда дома; между двумя и семью часами в неопределенное время выхожу подышать воздухом. На будущей неделе мне все-таки непременно нужно быть в Лондоне.

А «Что делается на родине» меня приводит в восторг омерзения[1].

Не имеете ли известий об Озерове? Я так давно не получал, что мне страшно за его здоровье[2].

Ваш друг Н. Огарев

[1] «Что делается на родине» — так назывался в «Вперед» отдел, где помещались корреспонденции из России. В частности, в №№ 9 и 10, в этом отделе были помещены статьи: «Народ и студенчество», «Из жизни рабочего люда», «Из жизни села Павлова» и др., особенно подробно останавливавшиеся на репрессиях и гонениях царского правительства.

[2] Озеров Владимир Александрович — в эмиграции Шаховской, бывший офицер, участник польского восстания 1863 г. Был близок к М. А. Бакунину.

5

Greenwich, 7 июня [1875 г.]. Понедельник
Ashburnham Road, № 35

Почтеннейший Лавров!

Здоровье еще куда бы ни шло, но вижу, что по всем иным обстоятельствам ближе пятницы в Лондон съездить не могу. Последний

* Так в оригинале.

«Вперед» перечитывал не раз с искренним удовольствием. Посылаю вам на поклон «Муху» [1].

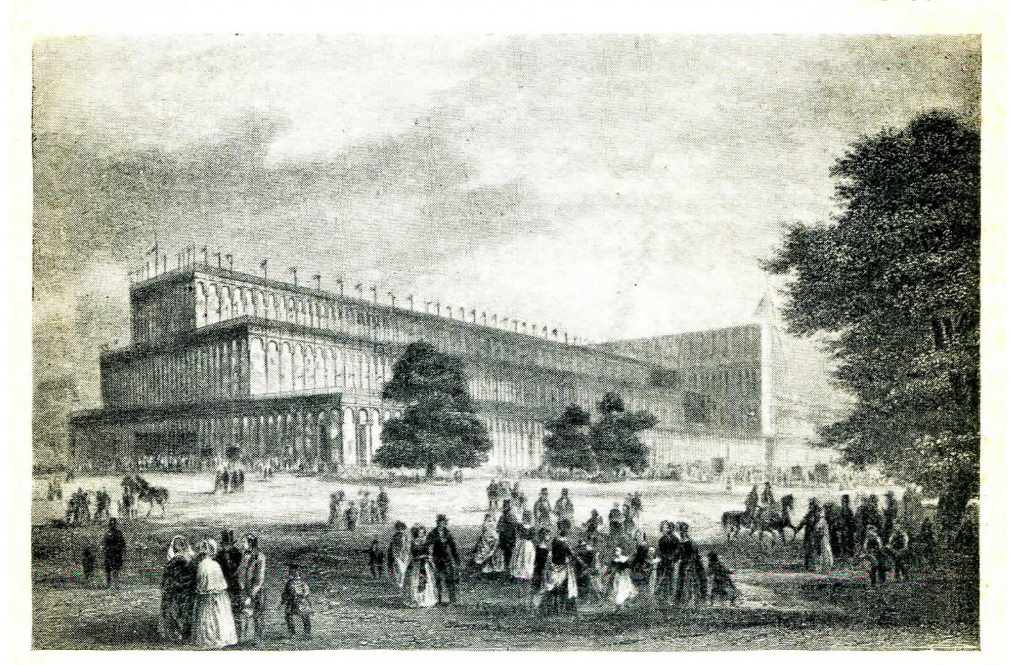
Ваш преданный Огарев

[1] К письму было приложено стихотворение «Муха» (Жужжащую муху к окну привлекло. — «Стихотворения», т. II, стр. 410).

6

17 июня [1875 г.], середа [1]

Вчера получил 11 № «Вперед», за который искренно благодарен вам, почтеннейший Лавров, а в особенности за статью из Петербурга [2].



ЛОНДОН. ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

Гравюра, 1860-е гг.

Музей изобразительных искусств, Москва

В Лондон все не было средства съездить, но дальше пятницы или субботы откладывать не могу. Готовлю статью во «Вперед»; хотя и трудновато, но надеюсь, что скоро поспею.

Писал вам два раза, но помнится, на ваши отдельные адреса.

Ваш старый Огарев

[1] День недели указан неверно — в действительности четверг.
[2] № 11 «Вперед» вышел 15 июня 1875 г.; в отделе «Что делается на родине» была помещена корреспонденция «Из Петербурга» — о нарастании революционного подъема и кружке долгушинцев (стр. 327—330).

7

21 июня [1875 г.]

Понедельник. Вечером

Сейчас получил ваше письмо, почтеннейший Лавров. Хотел приехать к вам в субботу, да нездоровилось. Так жизнь и идет под ста-

рость, — то нездоровится, то обстоятельства мешают. От этого и остался дома. Жду вас завтра, если же не будете, надеюсь поехать в Лондон после. Кажется, старческое здоровье лучше. На всякий случай посылаю вам теперь же объявление об открытии (химическом) сына Герцена [1]. Может, оно всем нам пригодится.

Теперь тороплюсь. Ваш старый друг Огарев.

[1] Сын Герцена — Александр Александрович Герцен (1839—1906), известный физиолог, с 1877 г. — профессор физиологии во Флоренции; автор «Anaeisi fisiologici del libero arbitrioumano» и «Zezioni sulla digestione». О каком объявлении говорит Огарев, не ясно.

8

1 июля [1875 г.]. Четверг

Сейчас получил вашу записку, любезный Лавров. В Лондон не приезжал, потому что не мог сладить с обстоятельствами; теперь жду со дня на день возможностей. А эти дни я чрезвычайно доволен, что имею письмо от Озерова, который жив и здоров, во Флоренции и читает «Вперед». Я готовлю еще несколько стихотворений; не знаю, как удастся. Во всяком случае, скоро увидимся.

Ваш старый Огарев

9

7 июля [1875 г.]. Середа

Вот и опять, милый Лавров, ежедневно сбирался в Лондон и не собрался. И это по двум причинам: 1) пустота кармана, которой жду поправки каждый день, и 2) после припадка обычной болезни боль в плече; ходить могу и даже бренчать на клавире, а ехать ни на каком инструменте не решаюсь.

Получили ли вы № «Morning Advertiser», где я отметил крестиком статью о предполагающейся войне между Англией и Россией, и, отметив статью крестиком, послал № вам [1].

Преданный Н. Огарев

[1] «Morning Advertiser» — английская газета; Лавров не использовал указанную Огаревым статью.

10

10 июля [1875 г.]. Суббота

Вот и опять, почтеннейший Лавров, не попал в Лондон, сколько ни нуждаюсь. Плечо болит так, что не могу решиться влезать в вагон или в карету. Все, что остается, — пройтись пешком до почты или до парка. Это, как обычно, возможно между двумя и шестью часами — как случится, а к вечеру опять дома.

Телеграммы в журналах очень тоскливы.

Стараюсь писать, что возможно. Увидим.

Ваш друг Огарев

11

13 июля [1875 г.]. Вторник

В Лондон все еще по нездоровью не попаду, почтеннейший Лавров, но писать вам спешу, может сия вещь еще попадет в ближайший №; я думаю, это было бы полезно. Я оное встретил в сегодняшнем №



ОГАРЕВ

Фотография, 1870-е гг.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

«Daily Telegraph», переписал в свою книжку и перевожу для вас, чтоб уже не было никаких хлопот. Если вам придумается какое примечание, или если имеете какие дальнейшие известия — это было бы очень хорошо, но этого так в стороне оставить нельзя. Сами увидите.

«Daily Telegraph. July 13 Thesday. Russian socialism. (From our own correspondent) St.-Petersbourgh, July 8».

«Дознание в русском социальном заговоре прошедшей осени—сейчас покончено, и министр юстиции составил свой рапорт. 788 человек обвинены. Мое сообщение было во время оно показано ложным в официальных телеграммах. Но министр народного просвещения издал теперь циркуляр, предписывающий воздерживать юношество от коммунистических учений и признающий коммунистические заговоры в 37 губерниях. Это обнародование произвело великое впечатление. Правительство открыло революционные пропаганды в Московском полку, в конной гвардии и в саперном батальоне, все в гвардии его величества».

Вот и вся телеграмма из России в «Daily Telegraph» [1]. Боюсь, что уже поздно; но тороплюсь, может, это придет к вам завтра рано утром. Я думаю, подобную вещь из рук выпускать не следует.

Ваш старый Огарев

[1] Телеграмма «Daily Telegraph» была помещена в № 13 «Вперед», от 15 июля 1875 г., в сокращенном виде.

12

Ashburnham Road, 35, Greenwich
19 июля [1875 г.]. Понедельник

Много спасибо вам, многоуважаемый Лавров, за «Вперед» 15 июля, в особенности за русские корреспонденции. При свидании обо всем оном потолкуем. Теперь моим плечам лучше, но все же я не могу решиться на поездку в Лондон прежде начала августа, и все же конец июля мне остается только пройтись пешком короткое время. Хотя на мой последний припадок Мэри и прибежала тотчас поднять меня и уложить на отдых, но, вероятно, я зашиб плечо при падении; хорошо еще, что все цело как следует и я тотчас могу работать. Напишите мне свое мнение о русской корреспонденции в «Daily Telegraph».—От Озерова в субботу вечером получил милое письмо. Действительно люблю этого искреннего и преданного делу человека. Ergo, до свиданья.

Ваш старый Огарев

13

28 июля [1875 г.]. Середа

Посылаю вам, почтенный Лавров, № вчерашнего журнала, где заметьте статью о тирании в воспитании [1]. Она меня весьма заинтересовала, но не могу решиться, что́ из нее сделать.

— Как идет «Forwards»? Мое здоровье плоховато.

Преданный вам Огарев

[1] О каком журнале идет речь, не выяснено; Лавров не использовал этой статьи в своей газете.

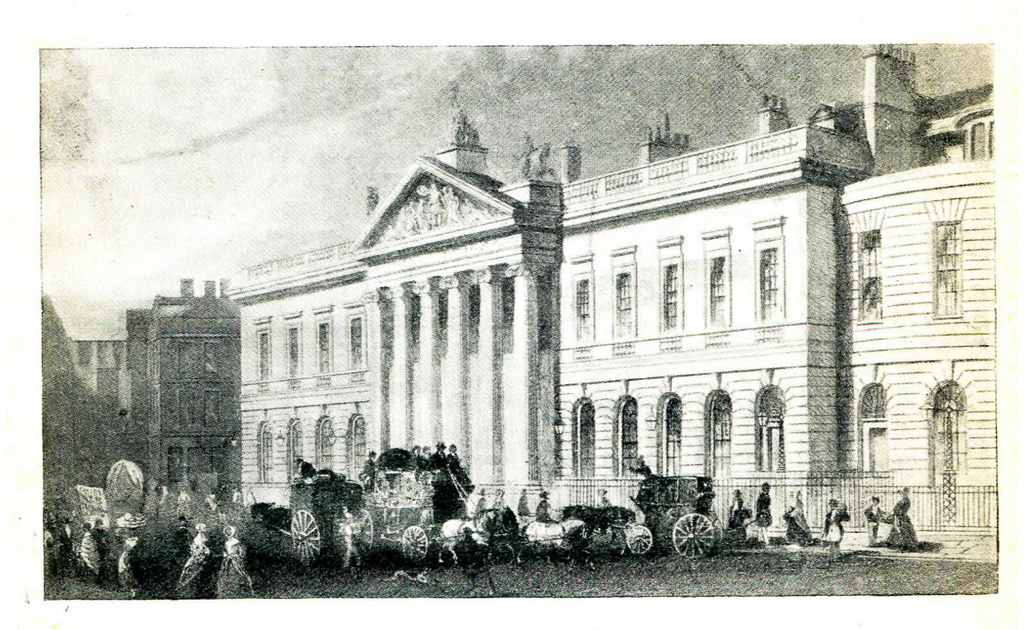
14

2 авг[уста 1875 г.]. Понедельник

Много и много благодарю за 14 № «Вперед» [1], любезный Лавров! Известия из России великолепно составлены и горьки. Сегодня читаю

в «Daily Telegraph» следующую телеграмму из Рейтера (от 31 июля, из Питера, под заглавием «The rupian conspiracy»): «Следующее решение сегодня прошло в сенате над людьми, сужденными под обвинением в высочайшей измене: два студента и два гражданина (cit. zens?) приговорены к каторжной работе на сроки от 6 до 10 лет; два солдата к военному заключению на 21 месяц; а два студента на 6 и 10 дней ареста». — В чем же дело и как достать имена?

А как вам нравится тюремное дело в Италии? Скоро ли же это мы этих господ, хоть бы с мягкосердием французского офицера, примем в штыки?



ЛОНДОН. ДОМ ВЕСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ

Гравюра, 1860-е гг.

Музей изобразительных искусств, Москва

Сбираю, т. е. приготовляю, разную коллекцию писаний для «Вперед». — Здоровье все плохо, и по обычному недугу и по простуде.

Надеюсь все нужные известия получить на сей неделе и на следующей быть в Лондоне, слишком необходимо.

Ваш искренний друг Огарев

Я писал к вам недавно.

[1] № 14 «Вперед», от 1 августа 1875 г., был, главным образом, посвящен долгушинскому делу: было помещено несколько корреспонденций из Петербурга.

15

14 августа [1875 г.]

В деле Дьякова [1] надо обратить внимание на работников и мещан, которые, подпавшись под допросы тайной полиции, развращаются правительством до роли доносчиков и подлецов. Тут уже не то, чтоб толковать о мудрости или немудрости законодательства, а следует толковать о бедственном положении низших классов и предательских мероприятиях правительства.

Н. Огарев

P. S. Хотел сегодня к вам ехать, но нет возможности, отлагаю до понедельника.

Оставшиеся у меня ведомости сегодня же вам посылаю, тороплюсь.

[1] Дело Дьякова — процесс Вячеслава Михайловича Дьякова, активного участника «хождения в народ», ведшего пропаганду среди петербургских рабочих и арестованного 12 апреля 1875 г., а 17 июня 1875 г. приговоренного к каторжным работам. В процессе Дьякова фигурировали двое рабочих: Н. Кондратьев и М. Тарасов, оказавшиеся предателями и шпионами. «Вперед» посвятил много места дьяковскому процессу, в частности, заострил вопрос на организации царской полицией шпионства среди неустойчивых рабочих и мещанских элементов. Так, в № 18, от 1 октября 1875 г., была помещена большая статья «По поводу Дьяковского дела».

17

17 августа [1875 г.]. Вторник
New Ashburnham Road, 35

Читаю «Самарский голод»[1] с полнейшим сочувствием, друг Лавров, но сегодня более ничего об этом не успею сказать. Пишу только, чтоб сказать вам, что от субботы до вторника к нам не ездите. Я нахожусь в необходимости съездить взглянуть на младшего брата Мэри, которого знал тому 20 лет. Добрый моряк работник; теперь уж умирает в чахотке, и доктор объявил его в безнадежном положении. А в субботу к нам особый дешевый поезд по железной дороге. Я воротился вчера, жив и здоров. Жму вам и всей семье руку.

Преданный Огарев

[1] «Самарский голод» — брошюра П. Л. Лаврова, изданная 2-м изданием в 1875 г. и являвшаяся перепечаткой из второго тома журнала «Вперед», на тему о голоде в Самарской губ. — житнице Поволжья — и причинах этого голода.

18

26 августа [1875 г.]. Четверг

Вот и опять, Лавров, не могу остановиться чтоб не написать вам, по случаю корреспонденций «Daily Telegraph'а». Может, вам удастся написать кое-что об этом, т.-е. о том, как великие правительства играют в дети. Вырезываю вам статью из «Daily Telegraph'а», посылаю. Хотя теперь уже вечер, но, вероятно, завтра рано к вам пойдет.

Ваш Огарев

19

Пятница 10 сентября [1875 г.]

Вот, друг мой Лавров, статейка: «После чтения «Знания»[1]. Если найдете ее полезною, поместите. Если что захотите изменить или откинуть, поступите, как заблагорассудите. Мне самому мудрено что-то, а, между тем, кажется, вещь не без пользы.

Ваш старый Огарев

[1] «Знание» — еженедельный научный и критико-библиографический журнал, издававшийся в Петербурге в 1870—1877 гг. И. А. Гольдсмитом.

16

Greenwich, Ashburnham Road, 35
8 октября [1875 г.]. Пятница

Собирался к вам сегодня, дражайший Лавров, но не могу решиться на езду по железной дороге или в каком бы то ни было экипаже. Все, что могу, — похромать по парку и даже там отдохнуть с записной книжкой. Читаю неустанно последний № «Вперед» и повторяю по поводу «Самарского голода». Хотелось бы послать его Озерову, но вот

в чем вопрос: не найдется ли ему работа в Лондоне? Во Флоренции ему на два урока не прожить и тоска одолевает. Остановиться он, конечно, может у меня, но вопрос — в возможности работы.

Пожалуйста, дайте ответ поскорее.

Ваш друг Огарев

20

13 окт[ября 1875 г]. Середа

Вот уже три дня, дражайший Лавров, сбираюсь к вам писать в ответ на ваше субботнее письмо и наконец решаюсь. Я перечел предисловие к женевскому изданию Герцена и рад, но оно меня все меньше и меньше удовлетворяет. Может-быть, автор оного не заметил, что он умаляет память Герцена для того, чтоб поговорить в общих фразах, даже не всегда ясных. К этому заключению прихожу невольно и с огорчением. Отвечать на предисловие еще не могу, потому что не знаю всей обстановки издания. Но перечту и еще и еще. Надо решиться сказать несколько строк или страниц. Но, что вы называете второй статьей о Герцене, ищу, ищу и не нахожу да и только[1].

Грустно мне ваше мнение об Озерове. Я думал, что он мог бы поселиться у нас, и даже климат для его расширения сердца был бы получше юга. Это человек, которого я очень люблю и уважаю. Подумаю еще и на-днях стану ему писать.

Дружески жму вам руку.

Ваш Огарев

[1] В 1875—1879 гг. в Женеве были изданы сочинения Герцена в 10 томах с предисловием Г. Н. Вырубова. В трех номерах «Вперед» — 18, 19 и 22 — была помещена подробная рецензия, дающая критическую оценку этого издания. Особенно подробно П. Л. Лавров остановился на предисловии в заключительной части своей рецензии, где, в своих утверждениях, он в значительной степени повторил высказывания Огарева.

21

Понедельник 15 ноября [1875 г.]. Вечером

Сегодня, друг Лавров, получил ваше доброе письмо. Мое письмо пошлю завтра, а также и «Знание». Одна из самых замечательных статей в «Знании», на мой взгляд — это в IV № перевод с английского, под заглавием «Состояние умственных способностей при обыкновенных болезнях» (ст. Дж. Миллльнера Фотерджиля). Если вы в Лондоне встретите английское заглавие и кто такой Дж. Миллльнер Фотерджиль, сообщите мне. Мне бы хотелось статью проштудировать получше. Сегодня получил женевский «Работник», № 10[1]. В нем много лучшего, и все же я не могу сойтись с его диалектом — тут что-то есть кашеваренное, с которым не могу сойтись, да и только, а между тем много есть хорошего. Я ваш новый «Вперед» жду с большим нетерпением и уважением, но все мне кажется, что работа и жизнь людская сворачивает с толку, да и только.

По вашему внушению я старался писать мои воспоминания, но толку выходило мало. Вдруг добился до мысли о драме и прихожу к следующей программе: «Трагедия моей жизни (из моих воспоминаний). Комедия в пяти действиях. Действие 1-е — Детство; действие 2-е — Юность; действие 3-е — Зрелые годы; действие 4-е — Старость; действие 5-е — Перед смертью». Вот что еще вам скажу: прадед мой умер 63 лет, дед мой умер 63 лет, отец мой умер 63 лет, мне теперь 62 года. Ужасно хочется, чтобы моя комедия удалась хорошо и скоро, но боюсь, чтоб не удалось. А удастся — вам предоставлю.

Сегодня мне было плохо, т.-е. был припадок. Конечно, Мэри присматривает, когда предполагает, что у меня может быть припадок, для того, чтобы меня поддержать и чтоб я не ушибся. [Не разобр.]

(т. е. эпилепсия) у меня с 17-летнего возраста, а теперь 62 года. С Мэри мы живем 20 лет, и она постоянно наблюдает за моими припадками. А все же есть друзья, которые становятся нам врагами. Плохо!

Не помню, послал ли вам стихи, которые, может быть, покажутся возможными; лучше напишу еще раз.

Засим, на сегодняшний день кончаю, друг Лавров, и иду спать, усталь страшная.

Ваш Огарев [2]

[1] «Работник» — газета, издававшаяся в Женеве в 1875—1877 гг. группой народников под ред. Н. И. Жуковского, З. К. Ралли и Э. Л. Эльсница.

[2] В письме было стихотворение «На улице» (С телегою лошадь в ворота вошла). («Звенья», VI, стр. 407).

22

Вторник, 16 ноября [1875 г.]

Сегодня здоров, кроме затылка, который проболит дня два-три.

Посылаю вам при «Знании» № 10-й «Работника», — может, у вас его нет.

Вам преданный Н. Огарев

Мне пишут о России, что там дочери Остен-Сакена арестованы и посажены в тюрьму за то, что пели с крестьянками народные песни [1].

[1] Никаких указаний на этот факт в исторической литературе мы не нашли. В частности ничего нет и в «Био-библиографическом словаре революционных деятелей в России».

23

2 дек[абря 1875 г.]. Четверг

Друг Лавров,

Вчера вечером получил от вас № 22, дек[абря] 1-го, где с восхищением прочел 3-ю статью о Герцене, которая великолепна. Много раз спасибо вам за нее.

Ваш друг Огарев

24

11 дек[абря 1875 г.]. Суббота

На всякий случай, друг Лавров, посылаю телеграммы о России в «Daily Telegraph» [1]. Мне вещи кажутся достаточно нелепы, что вам захочется сказать о них два слова к новому году. А у меня при сегоднешнем свете глаза ужасно утомлены.

Ваш друг Огарев

[1] К письму были приложены четыре выписки из «Daily Telegraph» о России.

25 [1]

1876. Вторник 4 генваря

С новым годом, друг Лавров! № 24 «Вперед» читаю радостно. Он умно создан. Я против него ничего не имею, а все за все. Но личная жизнь приводит к другому концу: свои болезни и много близких умирающих, так что уже не пособишь.

Но возвратимся к «Впереду». Вы упоминаете о Петре Бибикове [2]. Мне кажется, что я его давно помню, да и вас в оное время. Может, я ошибаюсь, а стараюсь о нем вспомнить с искренней дружбой. Он, кажется, был чистосердечный человек. Хорошо, что вы о нем вспомнили. Просто отрадно.

Что же тут делать, Лавров! Поневоле память как-нибудь собьется: спина расстроена с 17-летнего возраста, а теперь 62 года, тюрьма и ссылка и падучая болезнь. А заграничное житье, сколько ни сладостно, я все же считаю ссылкой, и, сам не знаю, как и почему, хотелось бы на Русь. В самом деле, я новый социальный элемент вижу там, и только там. Поместите ли во «Вперед» об этом статью? Все, что я теперь



ЛОНДОНСКАЯ СУЕТА

Гравюра Г. Дорэ

Музей новой западной живописи, Москва

при моих силах могу сделать, вышло бы довольно верно. Это уже сами оцените.

Ваш Огарев

P. S. О какой «Думе» говорится в журнале? То ли, что я послал, или что другое? [3].

[1] Письмо опубликовано в № 6 «Звеньев», повидимому, по невыправленному черновику; помещаем его здесь для связи.

[2] В передовой № 24 «Вперед» от 1 января 1876 г. о смерти Петра Алексеевича Бибикова (1832—1875), радикального журналиста и критика 60-х годов, сотрудника «Искры» и «Русского Слова», писалось: «Занесем на наши страницы с почетом и имя не столь крупного погибшего борца, но который тоже честно сделал свое скромное дело и тоже никогда не служил враждебным силам, — это имя Петра Бибикова».

[3] В почтовом ящике № 24 «Вперед» есть ответ некоему X. Y. Z.: «Стихотворение «Дума» и корреспонденция о технологическом институте получены». Повидимому, этот ответ не относится к огаревской «Думе».

26

[5 января], Бристоль
«Daily Telegraph» № 5. Середа. 1876

Сегодня магистраторы приговорили вдову (Анну Слай) к трехмесячному тюремному заключению за жестокосердное обращение с детьми 3, 5 и 7 лет от роду, содержание их без надлежащей одежды и пищи. Полиция заявила, что комната, где они жили, была без мебели и отопления и они спали на связках из тряпок, как бы погода ни была, сырая или теплая.

Подумавши, на всякий случай посылаю вам и перевод с английских строк из «Daily Telegraph» [1]. Я, вероятно, к английск[ому] языку привычнее всех, — говорил в детстве и говорю под старость.

[1] К письму были приложены выписка из «Daily Telegraph» и стихотворение «Вдова кормить детей средств не имела...». («Стихотворения», т. II, стр. 404.)

27

16 января [1876 г.]. Воскресенье

Еще вчера хотел отвечать на ваше доброе письмо, Лавров, да не смог, — шибко нездоровилось припадком. А сегодня постараюсь положить письмо в почтовый ящик, но пойдет оно, во всяком случае, только завтра, потому что сегодня в здешней стране день господу богу твоему. Впрочем, ведь надо же дать работнику отдых, но как бы приладить это к другому резону? Не знаю, успеем ли мы? А вы хотите, чтоб я бросал более светлый взгляд на вещи? С чего же?

17 янв[аря 1876 г.]. Понедельник

Вчера не дописал и не послал письма, — все равно пошло бы сегодня. А сегодня меня занимает «Daily Telegraph», извещая из России, что вчера умер адмирал Краббе и на его место назначен адмирал Лесковский [1]. Конечно, я от этого более светлый взгляд на отечество не бросил, но и не плакал. Я так давно от отечества далеко, что об этих людях понятия не имею. Если вам что известно, все же скажите.

Да! Сберетесь ко мне приехать, накануне напишите строку — день и час, я так и останусь дома ждать вас, в какое бы время дня ни было. А то, пожалуй, хоть и на короткое время, а выйдешь подышать воздухом именно в то время, когда вы захотите повидаться, а уже этого мне бы не хотелось.

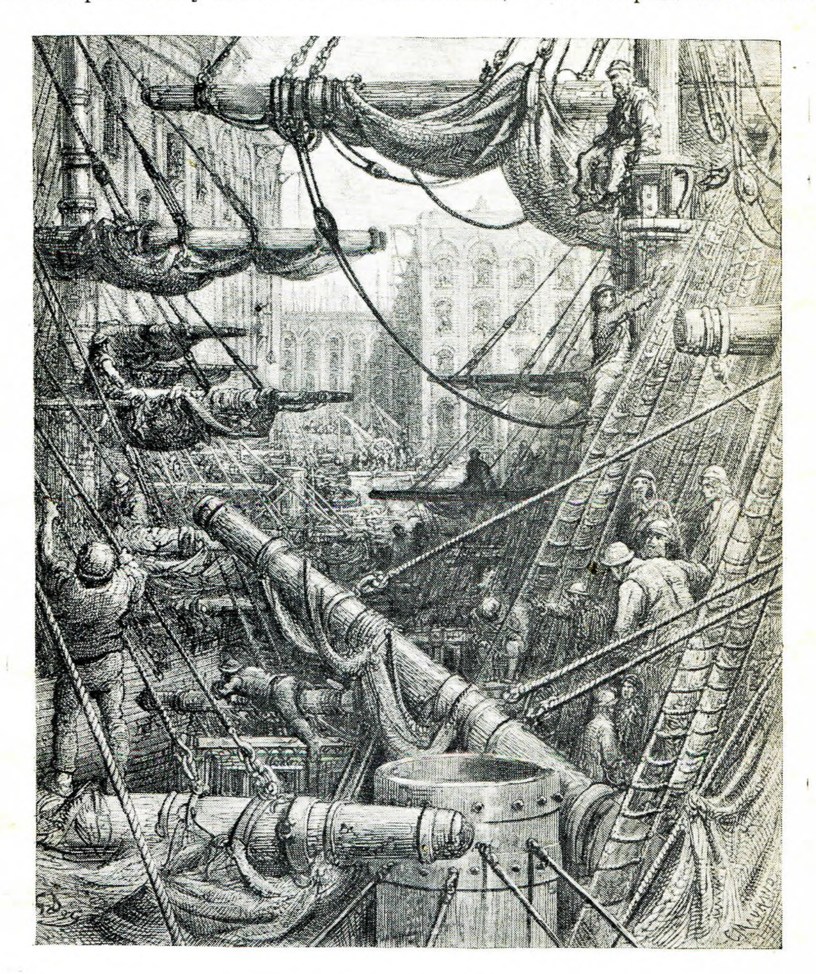
Искренно вам преданный старый Огарев

[1] Управляющий морским министерством Н. К. Краббе умер 3 января 1876 г.; его заменил вице-адмирал С. С. Лесовский (а не Лесковский, как ошибочно пишет Огарев).

28

26 февр[аля 1876 г.]. Суббота

Не могу не написать хоть несколько строк, друг Лавров. Вчера поздно вечером получил 2 № «Работника», 2 № Народных: «Слово на



ЛОНДОНСКИЕ ДОКИ

Гравюра Г. Дорэ

Музей новой западной живописи, Москва

великий пяток» — 1 книжку «Правды и кривды» [1]. До сих пор всего больше увлекаюсь одним № Народного (первые века христианства). Более еще прочесть не успел (теперь полдень субботний). Но на будущей неделе поделюсь с вами, если вы еще не имеете.

Ваш старый Огарев

[1] «Слово на великий пяток преосвященного Тихона Задонского» с подзаголовком «О правде и кривде», — брошюра, написанная С. М. Кравчинским и изданная в 1875 г. в Женеве, в типографии газеты «Работник».

29

2 марта [1876 г.] Четверг

Получил и читал «Вперед», друг Лавров, и, хотя и поздно вечером, не могу остановиться, чтоб не сказать несколько слов. Все же

статьи о родине написаны превосходным русским языком, а передовые совершенно foreign. Уже не собраться ли нам, чтоб определить русский язык по части социологии, а то право будет для читателя непонятно? Жду на этот вопрос ответа.

Ваш Огарев

30

8 марта [1876 г.]. Середа

Получивши ваше пятничное письмо, друг Лавров, в субботу, в субботу же хотел и писать вам, но думал, что уже поздно, а воскресенье все же господу богу твоему, а не почте. В понедельник и вторник нездоровилось простудой, то ли это последние зубы болели, то ли томился отсутствием старческих зубов, уж не знаю; но сегодня лучше. Тяжело только одно: недели три тому назад приезжал из Лондона англичанин, который мне очень нравился и казался умницей и нам сочувствующим. Мы и подумали, почему же не дать комнату; может, даже будет a risi in position. Он комнату искал для жены, с которой прожил 20 лет и развелся. А ведь не сказал нам, что она больная женщина и больна такою же болезнью, как я, т.-е. падучкой; и вот теперь лежит в постеле без принимания пищи и без всякого понимания. Мэри, конечно, не оставляет ее без попечения, но от этого сама утомлена так, что я боюсь, чтоб не стала больна.

А все ж не могу не послать вам последних стихов, хотя не знаю, успешны или нет, потому что, вообще, моих последних стихов не люблю [1].

Ваш друг Огарев

Написано сбоку 1 листа:

Вот и весь успех.

[1] К письму было приложено стихотворение «Мартовская песня» (По небу звезды безвестно летающие. — «Стихотворения», т. II, стр. 405).

31

Понедельник 13 марта [1876 г.]

Друг Лавров,

Субботний № «Daily Telegraph», где начало прилагаемого происшествия, никак не могу у себя отыскать, кому-то отдал. Сегодняшнюю вырезку вам посылаю и несколько строк к оной [1].

Ваш друг Огарев

«Как-то неприятно взирается на воровство. Но все же все банки и прочее разжились на обкрадывании бедных рабочих посредством их труда и собиранием пошлин. Отчего же кому-нибудь и не украсть у другого? А все это так и останется, пока люди не состроются в общину».

[1] К письму была приложена газетная вырезка из «Daily Telegraph» от 11 марта 1876 г. о банковых спекуляциях.

32

29 марта [1876 г.]. Середа
Greenwich, Ashburnham Road, 35

Вот, друг Лавров, хотя вы меня и забросили, но тороплюсь послать вам вырезку из сегодняшнего «Daily Telegraph», чтоб вы как-нибудь не пропустили [1]. Не забудьте, что этот г-н цесаревич только что украл 7 миллионов рублей из кассы. Оно, видно, царскому брату позволено а человеку победнее, которому есть нечего, и украсть нельзя! Эка жизнь какая, друг мой! А уж в регенты не попадешь даже к оркестру.

Ваш старый Огарев

[1] К письму была приложена вырезка из «Daily Telegraph» о предполагаемом регентстве цесаревича.



П. Л. ЛАВРОВ

Фотография, 1860-е гг.

Институт литературы, Ленинград

33

4 апр[еля 1876 г.]. Вторник

В обеих телеграммах, друг Лавров, мне бы не хотелось, чтоб вы пропустили великороссийские путешествия. Я давно ничего не видывал более забавного и менее интересного для публики.

Получил 1 апр[еля] «Revue Historique» Моно [1]. Есть ли оно у вас? Может, и найдется что интересное. Только мудрено натянуть на себя сочувствие к истории! Наше дело разрушить современное, а благоговение перед историей помешает будущему. Может, я и ошибаюсь, только кажется, что так.

Первое апреля «Вперед» читаю и перечитываю.

Ваш старый Огарев

[1] «Revue Historique» — исторический журнал, основанный в 1876 г. известным французским историком и педагогом Габриэлем Моно (1844—1912). Моно — муж дочери Герцена, Ольги; сочувствовал деятельности Герцена и после его смерти поддерживал связь с Огаревым.

34

8 апр[еля 1876 г.]. Суббота

«Revue» Моно послал вам 3-го дня, друг Лавров. Впрочем, это мой единый экземпляр, ergo по прочтении возвратите. Но самому Моно писал вчера, получив от него письмо, в котором он меня извещает, что вы были в Париже и навестили Тату [1]. У самого Моно, кажется, издание удесятерилось, и он в Лондоне ближе октября побывать не может. У нас, в Гринвиче, погода установилась чудная и парк распустился. А, между тем, мой приятель, старик в параличе, который всегда стоял на углу улицы, исчез; должно быть, его хватил третий и до конца.

Про себя же скажу, что

Стар, но живу довольно здраво [2]

Крепко жму вам руку, добрый друг.

Ваш старый Огарев

[1] Тата — дочь Герцена, Наталья Александровна, жившая в 1876 г. в Париже.
[2] Далее помещено четверостишие «Стар, но живу довольно здраво...».

35

На почту посылаю в четв[ерг]
11 мая [1876 г.]

Собирался писать к вам еще в понедельник, друг Лавров, да вот не написалось до середы, все был занят письмами, а левая рука все же не развилась, так что правая, сломанная, мне напоминает запад, а левая, неразвитая, восток. Ни с которой стороны ничего порядочного и не выходит. Получили ли мое письмо и пр., посланное на адрес «Forward» (помнится) в субботу? На-днях получил 14 и 15 № (февраль и март) «Работника». Признаюсь, Лавров, все еще сил или терпения нехватает дочесть. Эта подделка под народный язык ни к чему не приведет. Мужик не поймет, начиная с картинки, а пальтошнику надоест. Это между нами. Цели хороши, камня бросать не хочется, но жаль до смерти. Это не в помощь делу.

Записки Тани вам пришлю обратно на-днях [1]. От них сердце помолодело. Перечитайте в «Посмертных сочинениях Герцена» статьи о Кетчере и Боткине [2]. Это так цельно, что тут память ничего не прибавит к характеристике.

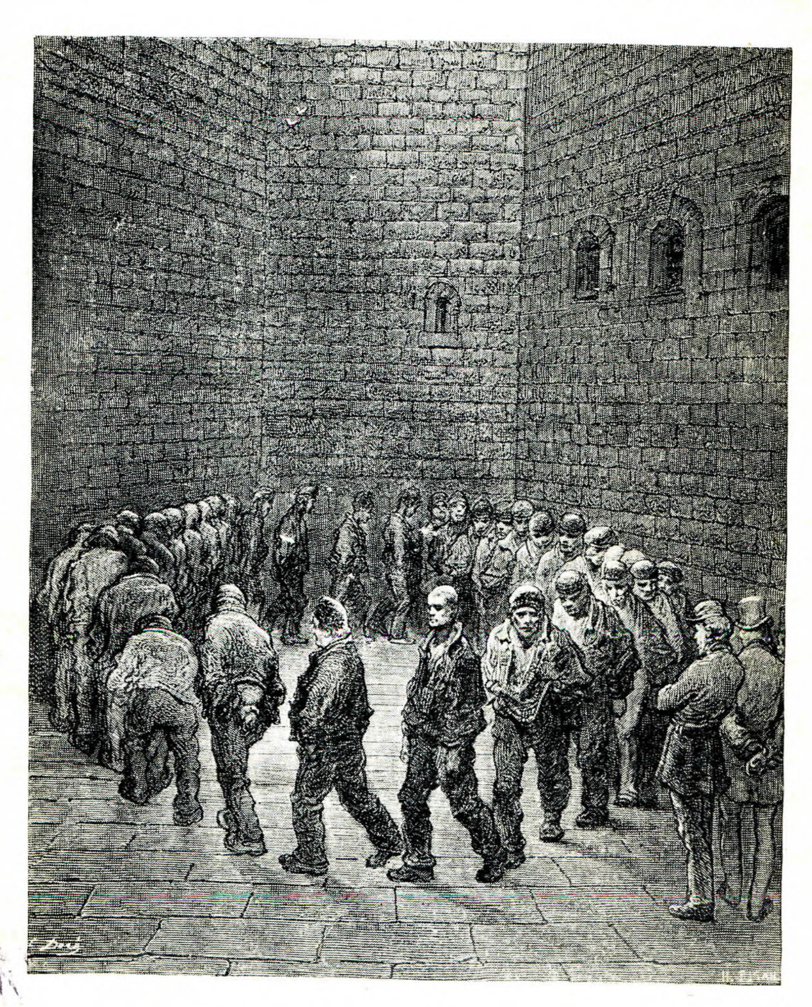
В Гринвиче тихо, и этим я доволен, только на прошлой неделе нам слух и голову утомил церковный звон с двух часов пополудни до одиннадцати вечера. Это с четверга до субботы звонарь звонил для

практики на мотив первых 4-х такт[ов] из песни «здравствуй, милая хорошая моя», а в воскресенье звонил уже пореже, но во славу господню.

Левая рука еще чернилами писать не может. Теперь устала. До другого раза, друг Лавров.

Телегр[амма] 9 мая: Андра[ши [3]] на съезд с Горчак[овым [4]] и Бисмар[ком [5]].

Ваш Огарев



ТЮРЕМНЫЙ ДВОР

Гравюра Г. Дорэ

Музей новой западной живописи, Москва

[1] Записки Тани — записки Т. П. Пассек «Из дальних лет», публиковавшиеся в «Русской Старине» в 1872—1879 гг.

[2] Огарев имеет в виду соответствующие главы «Былого и дум».

[3] Андраши Юлий (1823—1890), австро-венгерский дипломат, с 1871 г. — министр иностранных дел.

[4] Горчаков Александр Михайлович (1823—1890) — министр иностранных дел, а с 1867 г. государственный канцлер.

[5] Бисмарк Отто (1815—1898) — «железный канцлер», знаменитый германский государственный деятель.

36

19 мая [1876 г.]. Пятница

Вот в чем вопрос: не перевести ли из «Forward'a» какие из русских корреспонденций на английский для поставки в английскую ежедневную или еженедельную газету? Статьи и газету мы бы выбрали, за перевод я бы взялся; кажется, к языку довольно привык? А, ведь, польза для «Вперед» была бы.

Пишу еще левой, но правая поправляется превосходно. За то Мэри у меня захворала сериозно.

Ваш Огарев

37

Понедельник 29 мая [1876 г.]

Вашу записку, друг Лавров, в пятницу получил. Вчера пересматривал «Reynold»[1]. Лучше бы найти ежедневную газету, очень распространенную; главное дело — русские корреспонденции из «Вперед». Многие газеты примут охотно, по вражде к России, и у нас отсюда возникли бы полемики со всякой катковщиной.

Ваш старый Ник[2].

[1] «Reynold» — английский журнал.

[2] В письме — четверостишие «Я в королеве видел не злодейку...».

38

5 июля [1876 г.]. Середа

Сейчас получил 36 «Вперед» с известием о смерти Бакунина[1]. Он умер 62 лет, мне будет 63 года в декабре. Обнимаю вас в его воспоминание.

Теперь пишу «Пустынника».

Ваш старый Ник.

[1] М. А. Бакунин умер 1 июля 1876 г. в Берне.

39

19 июля [1876 г.]. Середа

Друг Лавров,

С нетерпением ждал нового «Forward» и до сих пор не имею, так что решился напомнить вам о моем хотя и выздоравливающем, но все еще болезненном существовании. Правая рука разбинтована и даже могу ею писать, но еще с трудом. Теперь пишу «Пустынника»[1], хотел посвятить памяти Бакунина, но еще не решился. А что это как мне европо-славяно-турецкие дела кажутся гадки! И вражды и нейтралитеты — все отвратительно.

Не забудьте же «Вперед» по старой дружбе.

Ваш старый Огарев

[1] Благодаря этому письму, мы можем точно установить дату написания «Пустынника» — июль 1876 г. До сих пор это стихотворение ошибочно датировалось 1873 г.

40

28 июля [1876 г.]. Пятница

Второй день сбираюсь к вам писать, добрый друг Лавров, но все еще локоть побаливает, хотя уже и пишу правой рукой. Да, сверх то-

го, боюсь, не перевираю ли я вашего адреса и доходят ли до вас мои письма? От вас не получаю ни строчки, только «Вперед» доходит аккуратно. Последний № вчера послал в Швейцарию новому незнакомому корреспонденту, который мне прислал письмо и фотограф[ию] старого (юного) русского друга. Все мне пришлось по сердцу. Из письма я вижу, что царь хотел отказаться от престола — по устали, но наследник не согласился. А из вчерашнего «Daily Telegraph» вижу военно-казацкий бунт в Киеве, требующий войны против Турции и зовущий покровительство наследника. Что вы об этом знаете и ду-



ЛОНДОН. УЛИЦА В РАБОЧЕМ КВАРТАЛЕ

Гравюра Г. Дорэ

Музей новой западной живописи, Москва

маете? В письме же есть два известия из России, которые к 15 авг[уста] надо напечатать. Но, прежде всего, пришлите хоть строчку, доходят ли до вас мои письма!

Ваш старый Огарев

41

11 авг[уста 1876 г.]. Пятница

Из хорошего письма из Питера от 11 июня н. с.

Дошли ли до вас вести о бывших тут похоронах политических? В следственной тюрьме помер политический арестант Чернышев от чахотки. Ему устроили похороны, за которыми шли 800 человек. Поп струсил и сбежал. Толпа взяла гроб на плечи, снесла на кладбище, по-

хоронили рядом с Добролюбовым, поставили крест с надписью: «борцу за правду и свободу». Конечно это случилось потому, что полиция прозевала. Но такого ничего и в 60-х годах не было. У нас смелости больше становится[1].

Пригодится ли вам, друг Лавров, сами подумайте и решите.

Что в вашей стороне за пожар был вчера?

Что это за штука из сегодняшних телеграмм «D[aily] Tel[egraph»]?

Ваш Огарев

[1] Похороны активного участника «хождения в народ», П. Ф. Чернышева, привлекавшегося по процессу 193-х — 30 марта 1876 г., вылились в большую антиправительственную демонстрацию. «Вперед» уделило очень много внимания этому крупному факту революционного движения 70-х годов, — в №№ 32, 33, 34 было помещено несколько корреспонденций и статей; в частности, было использовано и упоминаемое письмо к Огареву. К письму была приложена вырезка из «Daily Telegraph».

42

17 авг[уста 1876 г.]
Четверг вечером

Вчера вечером получил и «Вперед» 15 ав[густа] и «Государст[венный] элемент в будущем»[1]. Искренно благодарен вам, друг Лавров, и за присылку и за дружеский привет. Хотел еще поутру сегодня писать к вам, да больная рука уставала до вечера. А теперь вечером пишу, чтоб послать писание завтра утром. На обороте найдете стихи[2], только, должно-быть, придется их исправить.

Ваш верный Огарев

[1] «Государственный элемент в будущем» появился сначала в IV томе журнала «Вперед», а затем, в 1876 г., был выпущен отдельным изданием.

[2] На обороте письма — стихотворение «Война» (Странное, странное дело...). («Стихотворения», т. II, стр. 398).

43

6 октября [1876 г.], пятница

Вчера получил № 42, за что много и много благодарю, друг Лавров. Первую статью прочел тотчас же и не радовался ею[1]. Выходит дело, что мы во всем согласны! Третьего дня получил октябродекабрьскую «Revue Historique», которую завтра пошлю вам, — она в ваших руках полезнее, чем в моих. Сегодня кое-что пересмотрю из любопытства и не без интереса, но удерживать долго не стану.

Ваш old Nick

[1] Передовая № 42 «Вперед» была посвящена «восточному вопросу» и допустимости участия социалистов «в освобождении славян».

44

23 окт[ября 1876 г]. Понедельник

Дражайший Лавров,

№ 43 получен в субботу вечером. Горячее спасибо. По моему мнению, все превосходно: и обе статьи о Бутовской, и корреспонденция из Орла, и за две недели, и все остальное. Это будет, несомненно, читано и принесет пользу[1].

Ну! как вы? Здоровы ли? Я еще живу крепко, хотя и прихожу под конец.

Ваш старый Ник.

[1] В № 43 «Вперед», от 15 октября 1876 г., были помещены две статьи об участнице революционного движения 70-х годов Александре Андреевне Бутовской, арестованной в Одессе в 1874 г. и приговоренной 23 сентября 1876 г. к четырем годам каторжных работ, — под заглавием «Суд над А. Бутовской» и корреспонденция «Из Орла» (письмо третье).

45

14 ноября [1876 г.]. Вторник

Вчера получил стихотворение, дражайший Лавров[1]! На пакете — Holloway[2] и рукопись, несомнительно, ваша. Читаю его и перечитываю, и слезы навертываются на глаза на старые. Оно меня трогает, и юная дружба меня трогает. Спасибо вам!

Ваш старый Огарев

[1] Повидимому, речь идет о стихотворении П. Л. Лаврова, посвященном Огареву, «Поклон борцу минувших лет», впервые опубликованном в «Новом сборнике революционных песен и стихотворений», Париж, 1899.

[2] Holloway — предместье Лондона.

46

1877, январь 11. Четверг

Вчера вечером пришел «Вперед» 31 дек[абря], друг Лавров. Много спасибо, но прочесть еще успел только первые страницы. Вчера обычный припадок (днем) заставил идти на отдых тогда именно, когда «Forward» пришел вечером. Первыми страницами вообще я глубоко доволен, но до смысла, лучше сказать — формы, новой формы издания еще не добрался. Хотелось бы знать ясно да еще вперед.

Сегодня несколько строк от Озерова. У него головные боли. Адрес его: Fierenze, Via della Piarra, 2, piano 2.

Тороплюсь (на обороте) написать вам последние стихи[1] (5 янв[аря] 1877) и снести письмо на почту, ибо вижу, что до запирания почты весьма не долго. Ваш Огарев.

[1] На обороте письма известное стихотворение «Сон» (Вот сон: Въезжаю с Мэри в край родной...).

47

Воскресенье, 4 марта [1877 г.]

Глаза ужасно болят, друг Лавров, но все же прочел «Новь» Тургенева и хотел ее вам послать; но в письме из Парижа увидел, что мне этот экземпляр надо возвратить, потому что Тургенев его кому-то обещал. Во всяком случае, произведение замечательное, и прочесть его необходимо. Читали ли вы его и можно ли его достать в Лондоне? Во всяком случае, ответьте поскорее.

Ваш Огарев[1]

Записку посылаю 5 марта.

[1] В начале письма было написано шестистишие, начинающееся словами: «На Гринвич облако нашло...» («Стихотворения», т. II, стр. 411).

Это письмо интересно указанием на какую-то связь Огарева с И. С. Тургеневым, существовавшую в 1877 г.

48

22 апреля [1877 г.]. Воскресенье

Сегодня, друг Лавров, зима, кажется, действительно своротила на лето. Можно будет ходить без шинели и жаловаться на тепло и на его влияние на нервы. Посылаю вам стихи, смороженные 3-го дня. Пожалуйста, напишите, как придутся по вкусу и по сердцу и что поправить. Подлаживаю к ним музыку. Удастся ли, увижу, или все придется бросить[1].

[1] Это — последнее сохранившееся письмо Огарева к Лаврову; до самого дня смерти Огарева — 12 июня 1877 г. — мы не имеем больше ни одного письма.

В письме — стихотворение «Моя улица в Гринвиче» (Старик, параличом хваченный, «Стихотворения», т. II, стр. 273).

III. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА Т. П. ПАССЕК

Публикация Б. Козьмина

Татьяна Петровна Пассек, урожденная Кучина (1810—1889), — двоюродная сестра Герцена, друг его детства, автор известных воспоминаний «Из дальних лет». В 1873 г. она с семьей сына поехала в Вену, на всемирную выставку. Оттуда она послала Н. П. Огареву письмо с приглашением приехать в Вену для свидания с нею. В ответ на это Огарев уведомил ее, что болезненное состояние не позволяет ему выехать из Женевы. Так между Пассек и Огаревым завязалась переписка, продолжавшаяся в течение всего пребывания Пассек за границей, за исключением короткого промежутка, когда Пассек, находясь в Швейцарии, специально заехала в Женеву для



Т. П. ПАССЕК

Картина маслом неизвестного художника, 1880-е гг.

Институт литературы, Ленинград

свидания с Огаревым. 22 письма, полученные ею от Огарева, она напечатала в своих воспоминаниях «Из дальних лет» (изд. 1905 г., т. I, стр. 234, т. III, стр. 16—19) и в журнале «Полярная Звезда» (1881 г., № 3, стр. 69—76; № 4, стр. 124—128, 132, № 5, стр. 134—136). Однако, оказывается, что письма, полученные Пассек от Огарева во время ее пребывания за границей, не исчерпываются этими 22 письмами, опубликованными в названных изданиях.

В Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи (Москва) хранится 9 писем Огарева к Пассек, из коих до сих пор было опубликовано лишь одно (от 29 декабря 1873 г.) и притом с значительными искажениями. Эти письма и публикуются нами ниже.

1

24 февр[аля 1873 г.]. Воскресенье
Rue de Conseil général, 20

Вот, мой старый друг Таня, пишу тебе еще записочку. С сею же почтою посылаю тебе том моих стихов[1]. Последнее относится к моим воспоминаниям[2]. Если ты можешь оным воспользоваться, тем лучше, Если нет — то я во всяком случае желаю, чтобы ты имела их для себя. Поэтому выписал экземпляр из Лондона, и милый Трюбнер пометил его мне в 11 шиллинг[гов] 10 пенсов. Я думаю их никогда не заплатить. Каково! Он половины не стоит. — Но не все еще: действительно русская работа начинается в Цюрихе[3], а может быть и здесь начнется. Я жажду работы, ибо без оной смерть. А я же теперь шибко болен, да это все ничего и пройдет. —

Напиши мне тотчас — получила ли sous bande * том моих стихов. Февральской книжки «Р[усской] С[тарины]»[4] я получил два экземпляра. Хорошо было бы, если б они присылали (все на имя моего Генри[5]) по два экземпляра, я один посылал бы в Цюрихскую русскую библиотеку, которая очень полезна.

Странное, странное дело,
Жить мне давно надоело,
Смерть же как будто беда,
Нет в ней нужды никогда.
Я же в бессмертье не верю,
Где тут бессмертие зверю,
Будь он пожалуй двурог,
Или хоть просто двуног.
Я же не верю и в бога,
Мне, знать, иная дорога:
Как бы к свободе людской
Шаг хоть подвинуть какой.
Хватит иль нет до могилы
Нужной для этого силы,
Тут вот и смерть то страшна,
Тут вот и жизнь то скушна[6].

Твой Ага

Приписка:

Посылаю тебе обратно письмо, боясь, что оно тебе нужно.
Какие у вас понятия о Нечаеве?[7].

[1] Имеется в виду сборник стихотворений Огарева, изданный в 1858 г. в Лондоне Н. Трюбнером и К⁰.

[2] Т. П. Пассек настойчиво убеждала Огарева заняться писанием воспоминаний.

[3] В начале 70-х годов в Цюрихе образовалась многочисленная колония русской учащейся молодежи, завязавшей связи с эмигрантами, основавшей русскую читальню и организовывавшей диспуты на политические темы в связи с происходившей в то время борьбою между «бакунистами» и «лавристами». Как приверженцы Бакунина, так и сторонники Лаврова были заняты налаживанием издания русского революционного органа. «Бакунистам» наладить его не удалось; Лавров же с 1873 г. начал издавать журнал «Вперед».

[4] Этот журнал интересовал Огарева потому, что в нем печатались в то время воспоминания Т. П. Пассек «Из далекой старины».

[5] Генри Сэтерленд — сын Мэри Сэтерленд.

[6] Это стихотворение впервые было напечатано Т. П. Пассек в ее «Из дальних лет», но с цензурными сокращениями и искажениями; полностью — в т. II стихотворений и поэм Огарева в серии «Библиотека поэта», Л., 1938 г., стр. 393—394 под заглавием «Вопрос».

[7] Огарев поставил этот вопрос в связи с тем, что 8 января 1873 г. в Московском окружном суде рассматривалось дело по обвинению выданного России швейцарским правительством С. Г. Нечаева в убийстве студента Иванова, причем Нечаев был приговорен к каторжным работам на 20 лет.

* Бандеролью.

2

Пятница вечером 7 марта [1873 г.]
Rue de Conseil général, 20

Сегодня утром, старый друг Таня, получил твое письмо от 4-го м[арта]. Хотел было тотчас же отвечать, но как-то [не]здоровилось, поэтому отложил писать до вечера, а письмо могу отправить только завтра. Надеюсь, что оно еще застанет тебя в Дрездене. О том, что ты получила том моих стихов, я уже тебе отвечал. Неужто ты моего ответа не получила? В том и дело тогда, Таня, что надо быть весьма осторожными. Я ни направо, ни налево доверия не имею, т. е. ни во Фр[анции] [1], ни в Рос[сии]. Может дело от этого становится не успешнее, а затруднительнее. Но что же делать? Что имеет свое время выживки, то изменить трудно, а хлопотать надо со всех концов со всевозможными силами и способами.

Жду от Ипполита [2] «В[естник] Е[вропы]», которого еще не получал. — Что это такому человеку, как Ип[полит], вздумалось служить по такому министерству, как оное? Ведь умел же Володя [3] проложить себе путь механика.

Жду тебя и твоих.

Адрес Натали [4] вот где: France. Basses Pyrénées, Pau. M-me Herzen.

Ольга [5] сегодня вышла замуж за Monod.

Тата [6] воспитывает во Флоренции Kindergarten.

Саша [7] совсем ученый.

А я все такой же недовольный собою добрый малый — как и прежде.

Твой Ага

Сегодня воспоминание о н е м [8] так сильно во сне и на яву, что слеза навертывается.

[1] Огарев не решался поселиться во Франции в виду реакции, господствовавшей там после подавления Парижской Коммуны.

[2] И п п о л и т — Пассек Ипполит Диомидович — племянник Т. П. Пассек.

[3] В о л о д я — сын Т. П. Пассек, Владимир Вадимович Пассек, служил в департаменте неокладных сборов Министерства финансов.

[4] Н а т а л и — Наталья Алексеевна О г а р е в а, урожд. Тучкова, жившая в то время во Франции под фамилией Герцен.

[5] О л ь г а — дочь Герцена, Ольга Александровна, по мужу Моно. В настоящее время живет во Франции, в Версале.

[6] Т а т а — дочь Герцена, Наталья Александровна.

[7] С а ш а — сын Герцена, Александр Александрович.

[8] О Герцене.

3

26 авг[уста 1873 г.]. Вторник

Спасибо тебе за твое доброе письмо, старый друг Таня.

Твоя дружба ко мне и к моей старой Мэри и моему Генри меня трогает до глубины сердца. Я твое письмо перечитывал несколько раз со слезами на глазах. Стар я становлюсь, Таня, но теперь здоровье еще получше. Я рад, что в октябре перееду на тихую квартиру; здесь уличный шум совершенно мне кружит голову. — Генрих [1] хотел мне написать из Вены, но еще не писал. А тебе не след идти к нему с визитом; он у меня был два раза; раз, чтобы дать прочесть свои брошюры, другой раз, чтобы взять их обратно — и уехал. Вот все, что̀ я о нем знаю. Но если встретишься на улице или в кабачке, то познакомься. Вот и всё.

Мы с Генри уже решились принять киевское предложение [2], а

Вх. [illegible] 1918 №351

24 Февр. воскресенье

Rue du Conseil général, 20.

Вотъ, мой старый другъ Таня, пишу тебѣ еще записочку съ [illegible] и посылаю тебѣ томъ моихъ стиховъ. Послѣднiе относятся къ моимъ воспоминанiямъ. Если ты можешь ими воспользоваться, тѣмъ лучше. Если нѣтъ — то я во всякомъ случаѣ желаю, чтобы ты имѣла ихъ для себя. Поэтому выписалъ экземпляръ изъ Лондона, и мистеръ Трюбнеръ помѣтилъ его мнѣ въ 11 шиллинговъ 10 пенсовъ. (Я думаю ихъ никогда не разберутъ.) Каково? Оно половины не стоитъ. — Но не все еще: дѣло въ томъ, что русская работа начинается въ Цюрихѣ, а можетъ быть и здѣсь начнется. Я жду работы, ибо безъ оной смерть. А я уже теперь только болѣю, да это все ничего и пройдетъ.

[illegible]

ПИСЬМО ОГАРЕВА Т. П. ПАССЕК ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1873 г.
Государственный архив феодально-крепостнической эпохи, Москва

если там будет не удобно, дай мне адрес Менделеева[3] — он и поможет.

Мэри и я тебя цалуем и Генри тебя обнимает, а я обнимаю твоих юношей. Напиши, что̀ Ипполит делает в Яссах. Это интересно по обеим причинам — и по делу, и по моей дружбе к нему.

Прощай, моя милая, надеюсь до близкого свиданья. Все же устал: кроме всех шумов, кто-то напротив учится на флейте. Просто мозги трепещат.

Твой старый Ага

Действительно у меня друзей только осталось двое: ты да Мэри *.

Это письмо написано после того, как Т. П. Пассек посетила Огарева в Женеве и познакомилась с Мэри и Генри Сэтерленд. Своею заботливостью об Огареве Мэри понравилась Пассек, хотя последняя понимала, что Мэри не могла «разделять интересов его интеллектуальной жизни» (Т. П. Пассек, «Из дальних лет», т. III, СПб., 1889 г., стр. 18).

[1] Личность не установлена.

[2] Г. Сэтерленд получил предложение поступить воспитателем в семью киевского помещика Янковского и, приняв его, вскоре уехал в Россию.

[3] Повидимому, знаменитый химик Дмитрий Иванович Менделеев, с которым Т. П. Пассек была знакома с 1859 г., когда они встретились в Гейдельберге.

4

28 сент[ября 1873 г.]. Воскресенье

Вчера вечером получил твою добрую записку, старый друг Таня, и спешу сказать тебе несколько слов.

Я тебе писал на днях, но моя Мэри полагает, что я писал тебе какой-нибудь вздор, потому что у меня во время оно был припадок[1] и Мэри, как обычно, привела меня в чувство и нашла у меня в руке твое старое письмо, на которое я, вероятно, и отвечал. Впрочем, мое здоровье не дурно, я не могу пожаловаться, ем, пью, сплю и хожу хорошо. Читаю теперь отличную книгу[2] по-русски (т. е. переделка из Erckmann-Chatriann). Она недавно здесь издана, если у тебя нет, я достану и пришлю, если в Вену можно послать (?)[3]. Отвечай мне на это. Свои записки я сообразил как продолжить и коекакие стихи пришлю на днях. 3 дня тому назад мы хоронили старого Жихоня[4], corefugié. Все как-то на душе не ладно, Таня. Затем сегодня и кончаю. М[эри] и Г[енри] тебя обнимают. Ген[ри] еще здесь. О нем напишу в следующем письме.

Твой Ага

[1] Огарев страдал эпилепсией.

[2] Огарев имеет в виду изданную в 1873 г. в Женеве в типографии кружка чайковцев книгу «История одного французского крестьянина». Книга сия написана французским крестьянином в знак братской любви к русским крестьянам. Это издание являлось переделкой известного романа Эркмана Шатриана «Histoire d'un paysan 1789» и предназначалось для пропагандистских целей. Автор этой переработки в точности неизвестен: по одним сведениям — Д. А. Клеменц, по другим — Л. А. Тихомиров, и по третьим — П. В. Засодимский.

[3] Т. П. Пассек жила в то время в Вене у сына Владимира, находившегося там в служебной командировке.

[4] Жихонь — поляк, эмигрант, друг С. Тхоржевского, помогавший ему в деле распространения герценовских изданий.

---

* Приписка карандашом под началом письма. — Ред.

5

30 сент[ября 1873 г.]. Вторник

Наконец-то, от тебя два милые письма, старый друг Таня! Они меня воскресили, и я принялся за чтение переписок[1]. Но прежде недели едва ли что-нибудь отыщу. Из той переписки ничего нельзя послать; кроме дел семейных и разладов с соотечественниками, ничего не найдешь; а из этого ничего теперь нельзя печатать. Сегодня пишу запрос к Натали, а завтра к Саше и к Тате. Может что и найдется. — У меня ничего нет. Стихотворений несколько к тому же времени переправлю и приготовлю. — Сам я ни здоров, ни болен; это неважно. — Мэри тебя благодарит за дружбу, которую сама имеет к тебе и обнимает тебя. Генри надеется получить место (это только между нами) и шлет тебе дружеский shakehands. Это, вероятно, случится во второй половине октября, и тогда я с Мэри перееду и сообщу тебе настоящий адрес. А покамест пиши по-прежнему. Крепко обнимаю тебя и юношей.

Твой друг Ага

[1] Своей переписки с Герценом, часть которой он впоследствии передал Пассек.

6

18 окт[ября 1873 г.]. Суббота
Rue de Conseil général. 20

Сегодня, старый друг Таня, получил от Саши посылку. Это мои старые письма к нему[1], а не его ко мне. Но все же они настолько воскрешают юность, что и работа воскреснет. Вот все, что сегодня могу сказать.

Твой Ага

На новую квартиру (10 Rue Villereuse) мы вероятно переедем 25-го окт[ября] и я тотчас извещу. Мы — т. е. я и Мэри, а у Генри дело, но все еще неопределенно и сегодня сказать ничего не могу.

[1] Письма Огарева к Герцену, полученные Огаревым от А. А. Герцена.

7

23 дек[абря 1873 г.]. Вторник

Наконец, вчера пришло твое письмо, старый друг Таня. Я к тебе давно не писал не только по лени, но боялся, что мое письмо тебя не застанет. А после контракта об экстрадиции между Швейцарией и Россией[1] — надо быть поосторожнее. Не пиши больше на имя Мэри, а пиши в Женеву на имя M-me Jaillet (наша хозяйка), chemin Villereuse № 16. Моего имени на конверте совсем не поминай, а внутри поставь: Pr. mr Nicolas. Вот все что нужно; это и из России дойдет. Адрес Генри: Киевской губернии, Канёвского уезда, в деревне Хлодове, у помещика Янковского. Я его письмом и положением очень доволен. Вероятно, отправляясь на юг, вы там проедете. Заезжайте к нему, осведомьтесь, что нужно и что и как идет, и напишите мне. Это будет истинно дружеское одолжение. Он славный человек.

Ты, кажется, славянофильствуешь, старый друг[2]! Я и не славянофильствую и не европейстую. Все порядочно опротивело. Остаюсь почти один (кроме Мэри). Даже последний друг Озеров[3] уехал лечиться от расширения сердца. А мне уже 60 лет.

Мэри тебя цалует и поздравляет с новым годом. Я же тебя с новым годом поздравляю, но не цалую, потому что ты меня поцаловать не хотела.

Записки помещика продолжаю[4]. Чтобы им напечатать первую главу; силы воскреснут.

Твой старый друг Ага

Обнимаю твоих.....

[1] В 1873 г. между Россией и Швейцарией был заключен договор о взаимной выдаче уголовных преступников. В действительности под понятие «уголовных преступников» иногда подводили политических эмигрантов, как это было с С. Г. Нечаевым, которого Швейцария выдала русскому правительству еще задолго до заключения договора.

[2] В этот период своей жизни и последующий Т. П. Пассек по своим политическим воззрениям была близка к лагерю М. Н. Каткова.

[3] Озеров — см. прим. на стр. 579.

[4] Уступая настояниям Т. П. Пассек, Огарев принялся за воспоминания, озаглавив их «Записки русского помещика», но скоро бросил эту работу. Написанная им часть воспоминаний была использована Пассек в ее «Из дальних лет». Полностью «Записки русского помещика» опубликованы в журнале «Былое», 1925 г., № 27—28.

8

14 генваря [1874 г.]. Середа

Сейчас получил твое письмо, старый друг Таня, и тороплюсь отвечать, может еще эти строки и застанут. Не беспокойся — письма твои получены исправно. Поэма мне нравится[1]. Я думал, что я уже отвечал; это моя вина, если я ошибся. Ты знаешь, что я безобразнейший из смертных. Жить может не долго, а сделать надо еще много.

Действительных друзей у меня остались ты да Мэри. У меня тоже катар, и она за мной ухаживает. Пиши мне просто на имя M-me Jaillet, а внутри Pr. mr Nicolas или pr. M-me Mary. Больше ничего не нужно. Обнимаю тебя и твоих и тороплюсь кончить, чтоб не опоздать.

Твой Ник[олай]

Мэри тебе жмет руку и желает счастливого пути, и просит тепло одеваться.

[1] Какую и чью поэму имеет в виду Огарев, определить трудно — возможно, свою поэму «Матвей Радеев», опубликованную Т. П. Пассек с многочисленными цензурными изъятиями в ее «Из дальних лет», т. III, СПб., 1889 г., стр. 46—63.

9

13 июля [1874 г.]. Понедельник
Chemin Villereuse, № 16

Милый мой старый друг Таня. Спасибо тебе за твое добрейшее и милейшее письмо! Я к тебе до сих пор не писал из какой-то боязни, которую не мог преодолеть. Мне предстоит из Женевы выехать[1]. По вызову русского правительства женевским эмигрантам возвратиться — женевское правительство нам прислало предписание выехать. Как тебе это понравится? Если бы даже такое предписание и не состоялось, но я после оного оставаться здесь не хочу, потому что это слишком скверно. В Россию, сколько бы ни хотелось, я не возвращусь по недоверию. После 60 лет отправиться на каторгу не желательно. А стало быть здесь всякое новое печатание прижмут.

Вдобавок, здесь от тепла и света разболелись глаза — у Мэри немножко, а у меня невыносимо, так что писать трудно, а читать без увеличительного стекла невозможно, но все еще труднее чем писать. Жду на днях Сашу, и также вскоре Генри, к которому ты, моя милая, была так добра. Он своим положением очень доволен. А потом куда же ехать? Тата мне предлагает переехать во Флоренцию или в Париж. Но в Италии мне тепло и свет были бы еще невыносимее, да язык итальянский я совсем забыл. Французский народ мне надоел, и я жду

шамборства [2]. Конечно, я к Тате заеду, если там не будет междоусобной драки. Но мне одно остается — возвратиться в Лондон.

Мне более холодный климат для здоровья необходим. Да там я могу начать работу и никто мне не помешает.

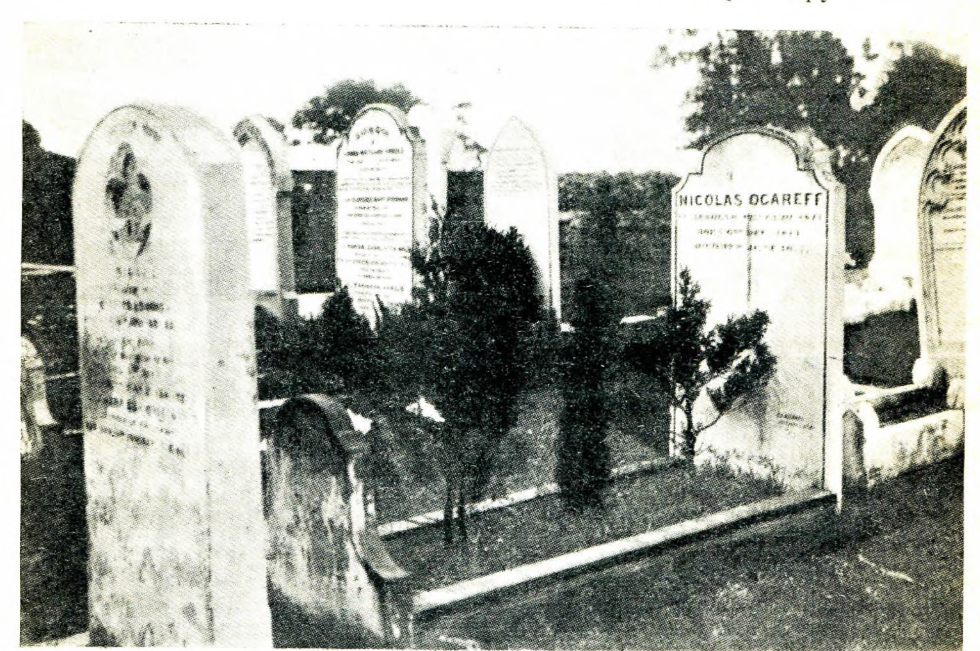
Вот тебе моя Биография [3].

Напиваясь брагой кроткой,
Напиваяся вином,
Напиваясь просто водкой,
Шёл я жизненным путем.
И сломал себе я ногу,
И хромающий поэт
Все же дожил понемногу
До шестидесяти лет.

Прощай, мой старый друг.

Мэри тебя цалует и любит больше чем кого-нибудь.

Твой старый друг



МОГИЛА ОГАРЕВА В ГРИНВИЧЕ

Фотография
Всесоюзная библиотека им. Ленина Москва

[1] 5 мая 1874 г. русское правительство опубликовало предложение 19 политическим эмигрантам, в том числе Огареву, в течение шести месяцев возвратиться в Россию. Стремившееся поддерживать хорошие отношения с Россией швейцарское правительство потребовало от русских эмигрантов оставить пределы Швейцарии. Хотя вскоре это требование было отменено, Огарев решил расстаться со Швейцарией и переехал в Англию.

[2] Шамбор, граф (1820—1883) — последний представитель старшей линии династии Бурбонов, претендент на французской престол под именем Генриха V. В условиях политической реакции, восторжествовавшей во Франции после подавления Парижской Коммуны, восстановление монархии во Франции представлялось весьма вероятным.

[3] Это стихотворение Огарева впервые было опубликовано в воспоминаниях Т. П. Пассек, напечатанных в журнале «Полярная Звезда», 1881 г., № 4, стр. 131.

IV. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА А. П. ПЛАУТИНОЙ

Публикация С. Переселенкова

I

Анна Платоновна Плаутина (1808—1886), родная сестра Огарева, получила светское образование, типичное для детей русских аристократических фамилий первой четверти XIX столетия. Насколько можно судить по немногим сохранившимся данным, она обладала, повидимому, незаурядным развитием и знаниями, но, по собственному ее признанию, за свою долгую жизнь не могла преодолеть трудности родного языка, и до конца дней своих предпочитала вести переписку с родными и знакомыми по-французски.

Муж ее, Сергей Федорович (1798—1881), помещик Костромской губернии, обучался первоначально в пансионе при Московском университете, а затем в ярославском Демидовском высших наук училище. Не окончив там полного курса, он поступил на военную службу, где состоял по кавалерии и некоторое время числился в Комиссариатском штате. В марте 1850 г. Плаутин, в чине полковника, за болезнью был уволен в отставку и поселился в своем имении.

У Плаутиных было девять человек детей — два сына и семь дочерей.

Отношения между Огаревым и его сестрой все время были дружеские. Их не могли охладить ни разница в философских и общественных их взглядах, ни многолетняя разлука.

Такие же отношения установились между Огаревым и молодым поколением Плаутиных, с которым он имел возможность сблизиться еще до отъезда своего в 1856 г. за границу.

За границу, в Лондон, в 1862 г. к нему приезжали оба племянника — Платон [1] и Федор, а в 1873 г. или 1874 г. посетила его в Женеве племянница Варвара, с которой Огарев переписывался, пока та жила в Италии, где она лечилась и, кажется, училась пению. Переписка с Огаревым после того, как он навсегда покинул Россию, была чрезвычайно затруднительна — письма с той и другой стороны пересылались большей частью с оказией, и это, вероятно, главная причина, почему их дошло до нас так мало [2].

Публикуемые нами письма Огарева к сестре были известны Е. С. Некрасовой, которая, не всегда точно, цитировала их в своей статье «О последних годах жизни Н. П. Огарева» («Русская Мысль», 1902 г., № V, стр. 205—215). Печатаются они по подлинникам черновиков (из архива А. А. Герцена).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] По агентским сведениям он ошибочно именуется Сергеем. См. Герцен, т. XV, стр. 379—381, 384 и т. XII, стр. 323.

[2] Напечатаны они в «Архиве Огаревых», стр. 98—99 и в сборнике «Звенья», кн. VI, стр. 399—406.

1

18 марта [1874 г.] Середа

Наконец я собрался, старый друг, отвечать на твое письмо от 15 ф[евраля]. Давно хотелось, да много было забот и хлопот и нездоровье, т. е. бронхит — если теперь еще не теснит — но все утомляет порядком; но это бронхит, который при теперешней теплой погоде, вероятно, пройдет. Мэри [1] за мной ходит с перевязывания больных ног до всех подробностей жизни. Сына ее [2] я воспитал с его пятилетнего возраста; теперь он приискал себе положение, но об этом напишу в другой раз. Я им чрезвычайно доволен за верность моему направлению и благородство характера. Со временем, т. е. вскоре, не забудьте взглянуть на него. Но об этом напишу еще раз.

Итак, бедный М[ихаил] Ф[едорович] [3] умер. Понимаю все горе, но как быть, друг мой, нас всех туда тянет: «что за странное, странное дело, жить мне давно надоело, смерть же как будто беда, нет в ней нужды никогда!» Он из потомства или из семейства, стало, никого в бедность не оставил на гибель; так умирать легче [4], а умереть все же надо, это закон хоть не литературы, а природы — не отбояришься.

Вот я к тебе еще обращаюсь с просьбою: не можешь ли выслать мне фр[анков] 400? Мне надо съездить поговорить с юношами — больными в чахотке — поговорить о моих делах. Съездить недалеко— на юг страны[5], но сколько будет стоить—не знаю; конечно, я не один поеду, потому что один не слажу с путешествием. Разреши мне помощью этот узел, который меня держит.

Ногам моим сегодня лучше, а грудь еще сильно страдает; но это все ничего и еще проживется, больше чем нужно; но близких жаль и надо взять меры. Обнимаю тебя и всех твоих.

Твой друг Н.

Нина была и я ею очень доволен, это доброе и довольно интеллигентное существо. — Мэри тебе кланяется.

[1] Мэри Сэтерленд. Переписка Огарева с М. Сэтерленд напечатана в «Архиве Огаревых» (1930 г., ГИЗ, М. — Л.). См. также А. В. Баулер. «Одна из дорогих теней» («Минувшие Годы», 1908 г., апрель, стр. 108—115).

[2] Сын Мэри — Генри Сэтерленд.

[3] Плаутин Михаил Федорович — родной брат Сергея Федоровича, родился в 1799 г. Участвовал в 1828 г. в Турецкой кампании и в 1831 г. в подавлении Польского восстания. В начале 1840 г. вышел в отставку с чином генерал-майора. Умер в Петербурге 10 февраля 1874 г. «Голос», 1874 г., № 42.

[4] Огареву не давала покоя мысль о том, что, умирая, он «оставляет на плохую долю подругу нищую преклонных лет» (Стихотворение «Проклятие»). Одно из его стихотворений, написанных в последние годы жизни, заканчивается такими строками, обращенными к друзьям:

«Умру-то я скоро, но после меня
Не забудьте же вы моей преданной Мэри».

(Сборник «Литература», 1931 г., Изд. Академии Наук СССР, стр. 192).

[5] Вероятно, в Давос, где в то время лечились больные чахоткой 20-летний Алексей Николаевич и 16-летняя Мария Николаевна Сатины, дети Николая Михайловича, друга Огарева, и Елены Алексеевны, урожденной Тучковой, родной сестры Н. А. Огаревой. См. И. [Е. Ф. Литвинова]. «Нелегальная семья» — «Наблюдатель», 1901 г., № IX, стр. 248—294. А если так, то Огарев, очевидно, имел намерение поговорить с юношами «о задолженности ему покойного их отца за село Старое Акшино».

2

26 марта. [1874 г.] Четверг

Спасибо тебе, старый друг, за доброе и милое письмо, которое пришло вчера, и за все твои хлопоты обо мне. Я писал 18 марта и M-me L. должна была писать. Вероятно, ты уже письмо получила. Как же я рад, что у вас все, кажется, дома идет хорошо и что Н[ина] была и даже привезла пудинг. Конечно, смерть М[ихаила] Ф[едоровича] не забудется, но что же тут поделаешь. Мне после смерти Г[ерцена] так и осталось трудно, и дела нет, и многое плохо. Хорошо еще, что есть юноши, которые меня любят. Еще хочется прожить дольше, не знаю — насколько сил хватит. Теперь здоровье поправилось, благодаря усердному уходу. Напиши мне, чем заняты Пл[атон] и Федя; я порядочно не знаю, а знать хочется. По получении писем напиши скоро, в особенности сегодняшнего. Я сегодня пишу коротко, чтобы знать, что ничего не пропало.

Еще раз благодарю тебя и крепко обнимаю тебя и всех твоих. М[эри] тебе кланяется.

Твой старый друг

3

10 Maí [1874 г.] Dimanche

Вот уже несколько дней собираюсь писать к тебе, мой добрый старый друг. С твоею помощью я совершил поездку благополучно (конечно, не один). Мне кажется, что больные юноши мне искренне преданы и что обстоятельства поправятся [1], но все же мне хотелось бы знать, как дела идут в старом доме [2]. Пишу тебе эти несколько строк, чтоб не отлагать далее. Вот все, что могу сказать сегодня. Твой старый друг и брат.

Обнимаю вас всех. Май у нас так скверен, что я фотографию должен отложить до июня. Иначе мне это дело трудное по здоровью.

[1] Повидимому, неопытные «юноши», не имеющие представления о том, в каком плачевном состоянии находились их хозяйственные и денежные дела, дали обещание Огареву в ближайшее время начать ликвидацию задолженности своего отца, и Огареву, измученному нуждой, стало казаться, что обстоятельства его поправляются.

[2] В селе «Старое Акшино», в доме, где он рос и где прожиты наиболее счастливые годы его юности. В этом доме теперь жили Сатины.

4

9 ф[евраля 1876 г.]

Твое письмо от 1 ф[евраля], добрый старый друг, пришло благополучно 5 ф[евраля], стало пути благонадежны. Рад я видеть из твоего письма, что несмотря на холода, вы все же скорее здоровы, чем что иное. Только что же такое с Варей? Напиши мне пояснее. Да напиши, как и что̀ и где старшие? Желал бы я иметь фотогр[афии] Платона и Лизы; лица их я помню, как были давно тому назад, а с тех пор чай много изменилось. И С[ергея] Ф[едоровича] фотографии у меня нет. — Моя грудь здорова; причиною кашля было давление желудка на грудобрюшину; во время оно, этого рода кашель назывался желудочным. Но теперь у меня и он прошел, и насморк имел свое существование, но и тот исчез. Сегодня у нас снег, и я рад, глядя на почву, que je vois tout en blanc [1]. Известия из наших сторон для меня, конечно, прискорбны, друг мой, по всем человеческим и мирским причинам; но документов у меня нет, и, вероятно, там ничего не выкроишь, так что едва ли не лучше не хлопотать [2]. Если можно, не стесняя себя, прислать небольшую толику — это было бы очень хорошо, ибо я предчувствую или просто чувствую безотменные надобности. — Счастливо еще, что я здесь поселился за ¼ часа от столицы по железной дороге [3], так что я всегда могу по делам съездить, как только чувствую себя достаточно здоровым и при обычном попечении. Дома я теперь хочу писать свой «Much ado about nothing» [4]; не знаю как удастся. Обнимаю тебя, друг мой, и всех твоих, друзей моих. Жду от тебя известий во всяком случае.

Твой верный друг Ник.

[1] Что я вижу все в белом.

[2] Это ответ Огарева на предложение его сестры о взыскании задолженности Н. М. Сатина судебным порядком. См. в книге Я. З. Черняка, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. «Academia», М. — Л., 1933 г.

[3] В Гринвиче.

[4] «Much ado about nothing» — «Много шуму из ничего», известная комедия Шекспира.

[1877 г.]

5

Милый друг и сестра! Вот уже много дней сбираюсь писать к тебе после твоего доброго письма, которому был рад бесконечно. Но все хворалось так, что трудно было приняться особенно за что-нибудь сердце глубоко движущее. Руки и ноги еще ничего бы, но нервы мешают. Теперь же дожди и насморк! Что ж тут делать, друзья! Всякая вещь ждет кончины. Хорошо еще, что есть попечение и силы все же хранятся. Но вот, по здешнему 6 декабря, мне минет 64 года, а давнишние болезни не уменьшаются, а увеличиваются. Ну!.. да что об этом! Бери свой венец, да и неси до конца. — Все же еще пишу «Железнодорожную симфонию»... Не знаю, удастся ли? Вот бы хотелось, наконец, чтоб то оказалось не нелепостью.

Газеты читаю ежедневно, но результата не предвижу. Кажется, больше дойдут до драки, чем до мира. Чем все кончится? Опять все тем же: концом [1]. Хотелось бы взглянуть на вас всех. Прощай, милый друг! Обнимаю вас всех и Полину. Твой старый друг.

У меня осталась кошка, которая меня любит с человеческой привязанностью [2].

[1] Очевидно, что настоящее письмо написано не позже 12(24) апреля (день объявления Русско-турецкой войны 1877—1878 г.). О том, как реагировало общественное мнение Западной Европы на события, совершающиеся тогда на Балканском полуострове, богатейший материал имеется в переписке К. Маркса с Ф. Энгельсом. Об отношении современной русской периодической печати к этим событиям см. книгу Г. А. Бялого, В. М. Гаршин и литературная борьба восьмидесятых годов, изд. Академии Наук СССР, М.—Л., 1937 г.

[2] Этой кошке посвящено стихотворение Огарева «Моей кошке».

II

В дополнение к пяти письмам Н. П. Огарева к А. П. Плаутиной, опубликованным выше, печатаем еще три письма к тому же адресату, по черновикам, находящимся в записных книжках Огарева, хранящихся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина. Эти три письма относятся к последним годам жизни Огарева. Точная датировка их затруднительна.

Редакция

1

Вот я и нашел другую квартиру у русского приятеля, который переезжает в Париж. Она попросторнее и поудобнее, даже по лестницам мне ходить не тяжело. Но надо заплатить вперед за наем. Можешь ли ты прислать мне франков двести прежде 1-го мая, потому что Звездаков должен уехать и сдать квартиру прежде 1-го мая. Если это возможно, то пособи мне немедленно и пришли мне 200 фр., иначе для меня это станет невозможно. А после мы сочтемся во всем.

2

10 августа

Писал к тебе старый друг, и давно жду известий. Ужасно тягостно не получать их, не знаешь, насколько можно писать. Поэтому пишу несколько строк. Дай о себе весточку. У нас дела не плохи. Мое здоровье, конечно, старческое, а Мэри хоть и поможе, страдает грудью, и тут не мало забот, а работает она все же неутомимо. Вот все, что могу тебе сказать, и жду от тебя известия, иначе писать трудно.

3

Все, что могу сказать о себе в этих положениях: «Стар, но живу довольно здраво, или не то чтоб болен, это уж поверьте, и как бы люди жизнь мне ни томили, а все же проживу до смерти». Хорошо еще, что Мэри наблюдает за моими припадками, так что поддерживает, и я, падая, не ушибаюсь. Пишу теперь комедию, начиная с эпиграфа, что «У человека два возраста, один где он до ума не достиг, а другой где он из ума выжил». Не знаешь ли что-нибудь о моем приятеле Кашперове[1], который был чиновником особых поручений, когда я был в Симбирске, но под моим влиянием удалился от службы и обратился к музыке, к которой имел талант, и поставил оперу (помнится в Москве), обещался прислать, но давно известий от него не имею. Если что узнаешь о нем — напиши.

[1] Кашперов Владимир Никитич (1827—1894) — композитор. Огарев познакомился и подружился с ним в начале 1850-х гг. в Симбирской губ. По его просьбе Огарев написал либретто к его опере «Цыганы», оставшейся незаконченной. Письма Огарева к Кашперову опубликованы в «Звеньях», сб. 6, стр. 364—377. В 1861—1872 гг. Кашперов был профессором Московской консерватории.

V. ПИСЬМА Н. П. ОГАРЕВА РАЗНЫМ ЛИЦАМ*

Публикация Б. Козьмина и С. Переселенкова

1. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА А. В. ГОЛОВНИНУ

[Июнь — июль 1858 г.]

Милостивый Государь Александр Васильевич,

Посылаю вам проект об освобождении от крепостного состояния, покорнейше вас прошу представить его его высочеству в. кн. Конст[антину] Ник[олаевичу].

Я не знал, что вы путешествуете с его выс[очество]м, и уже посылал этот проект вместе с проектами о преобразовании чиновничества прямо на имя его выс[очества] в Ниццу с надписью: Confié aux soins du Consulat Russe. Этот пакет по странному случаю не дошел до назначения.

Но мое терпение выше этой случайности, и я теперь обращаюсь к вам с моим проектом. Я хлопочу не из пустого самолюбия, а потому что убежден в истине и современной прилагаемости моего проекта.

Уверенный в вашей любви к благу общему, я не сомневаюсь, что мой проект найдет в вас благородного ходатая.

Но я умоляю вас — отвечайте мне откровенно: как принял в. кн. мой проект, желает ли, чтобы я прислал проек о преобразовании чиновничества и еще проект о учреждении народных школ, и если желает, куда мне выслать эти проекты?

Если же мой проект не нравится в. к., и в. к. не желает иметь его продолжение, то равно умоляю вас отвечайте мне откровенно. По моему болезненному состоянию мой труд мне не легко достается и трудиться напрасно было бы горько.

Не желая вввериться какому-нибудь писарю, я переписывал мой проект как умел.

Надеюсь, что искренность моего обращения к вам найдет в вас сочувствие, с истинным почтением имею быть, м[илостивый] г[осударь] ваш п[окорный] с[луга].

Адрес мой: London, City... Имя мое Николай Платонович, чин мой — коллежский регистратор.

* Комментарии к письмам №№ 1, 3 и 5 принадлежат Б. Козьмичу, к письмам №№ 2 и 4 — С. Переселенкову.

Печатается по черновику, находящемуся в одной из записных книжек Н. П. Огарева, хранящихся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки имени Ленина (записная книжка № 22).

Письмо это относится к 1858 г., когда Огарев составил проект об освобождении помещичьих крестьян от крепостного права с обеспечением их земельными наделами. Этот проект он отправил на имя великого князя Константина Николаевича, который был известен, как сторонник отмены крепостного права, и который в это время находился за границей, куда он был вынужден отправиться по настоянию своего брата, императора Александра II, удалившего Константина Николаевича на время из Петербурга для успокоения заядлых крепостников, считавших Константина Николаевича инициатором и главным вдохновителем постановки вопроса об уничтожении крепостного права. Как видно из настоящего письма, проект Огарева, посланный через русское консульство в Ницце, до адресата почему-то не дошел. Тогда Огарев решил сделать вторичную попытку ознакомить великого князя со своим проектом, прибегнув для этого к помощи А. В. Головнина, одного из виднейших представителей петербургской либеральной бюрократии того времени, впоследствии (в 1861—1866 гг.) министра народного просвещения, а в то время — личного секретаря Константина Николаевича, сопровождавшего последнего в его заграничной поездке. 3 июня 1858 г. Герцен писал П. В. Анненкову: «Нельзя ли узнать двух вещей: 1, Огар[еву] еще хотелось бы переслать проект Конст[антину] Ник[олаевичу], то как лучше. 2, не возьмется ли Т[ургенев] переслать через Головнина или просто пусть даст адрес Гол[овнина]» («Звенья», № 3—4, М., 1934 г., стр. 393). Как видно из дальнейших писем Герцена к тому же Анненкову (там же, стр. 398, 400, 408), ни Анненков, ни Тургенев адреса Головнина почему-то не сообщили. Таким образом, повидимому, письмо Огарева Головнину, черновик которого мы печатаем, послано не было.

Недошедший до Константина Николаевича проект Огарева, в несколько «исправленном» виде был опубликован в № 14 «Колокола», от 1 мая 1858 г., под заголовком «Еще об освобождении крестьян».

Письмо Огарева Головнину датируется приблизительно по датам цитированных выше писем Герцена к Анненкову.

2. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА А. А. ТУЧКОВУ

Любезный друг Алексей Алексеевич

Сделай одолжение, друг мой, покончи мои дела с Бодмером, если Ник[олай] Мих[айлович] Сатин их еще не покончил. Бодмер передал здесь кому-то мое заемное письмо, по которому, как ты знаешь, из Казани послана уплата. Бодмер дал на меня вексель в 1768 р. 63 к., по счету, с которым я не согласен, и потому векселя не принимаю на Лондон. Я прошу Бодмера, если Сатина нет в Москве, адресоваться к тебе. Рассуди нас и покончи это дело. Во всяком случае, какую бы ты ни присудил сумму, платеж надо сделать на месте, потому что теперь курс на Лондон дает 300 убытку. Если же вы не сойдетесь, извести меня, какую мне прислать доверенность для иска о неправильном требовании, или я прямо отсюда пошлю прошение в надлежащее присутственное место в Москву.

Прости меня, что я тебя беспокою, но мне иначе делать нечего. Мы здоровы.

Тучков Алексей Алексеевич (1800—1879) — пензенский помещик, сосед по имению Огарева и отец второй его жены. Получил образование в Муравьевской школе для колоновожатых, а затем слушал лекции в Московском университете. Служил в свите е. и. в. квартирмейстерской части. В 1818 г., отправленный в Одоевский уезд Тульской губернии для собирания топографических и статистических сведений, вел дневник (напечатан в «Вестнике Европы», 1900 г., № 8), в котором указывал на целый ряд фактов, свидетельствующих о тяжелом положении крепостных. Горячо возмущаясь беззащитностью последних, он приходил к заключению, что «ни раба, ни господина быть не должно», и что только «рабы любят иметь рабов, ибо они не ищут своей собственной свободы, а довольствуются тем, что могут угнетать других». Восемнадцати лет от роду Тучков вступил в Союз Благоденствия. В январе 1826 г. он был арестован. В середине апреля того же года, по докладу Комиссии, «высочайше повелено его, продержав месяц под арестом, выпустить» (Центр. архив. «Восстание декабристов», т. VIII, Л., 1925 г.). Поселившись после этого в своем имении Яхонтово, Инсарского уезда Пензенской губернии, он «жил не так,

как жили помещики того времени, а как-то по иному, не по-русски». Даже его деревенский дом совсем не был похож на обыкновенные помещичьи дома. Никто никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из крепостных людей его враждебно к нему относился, а, напротив, все любили его и отзывались о нем, как о самом «простом» барине (И. А. Салов, «Умчавшиеся годы». — «Русская Мысль», 1897 г., VII—VIII).

С середины тридцатых годов, в течение пятнадцати лет, он служил по выборам, уездным предводителем дворянства до тех пор, пока в 1850 г., по проискам крепостников и местных чиновников, с которыми все время вел ожесточенную борьбу из-за интересов крестьян, не был арестован, вместе с Огаревым, Сатиным и Селивановым, по обвинению в принадлежности «к коммунистической секте». Однако, после кратковременного заключения при III отделении, был освобожден, но отставлен от должности, с запрещением в течение двух лет возвращаться в имение, и отдачей под секретный надзор. С Огаревым связывали Тучкова не только дружеские и родственные отношения, но и отношения чисто делового характера. «Необыкновенно развитой, практический ум» Тучкова, за который так высоко ценил Герцен последнего, все время помогал Огареву разбираться в его делах по устройству крестьян и в его промышленных предприятиях. С 1841 г. по 1846 г., когда Огарев находился за границей, Тучков управлял его имениями.

Автограф — черновик, с которого печатается настоящее письмо, — находится в тетради с такою надписью: «Ник. Платоновичу для писания, нам для читания. 22 июля 1859 г. А. Герцен» (Лозаннский архив Герценов).

Вернее всего, что написано оно во вторую половину 1859 г., так как в конце этого года началось, согласно высочайшему повелению, дело о предании Огарева суду за отказ возвратиться, по требованию русского правительства, на родину, т. е., иначе говоря, сложились условия, при которых немыслимо было ни посылать доверенности Тучкову, ни подавать прошения «в надлежащее присутственное место в Москву».

3. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА И. И. КЕЛЬСИЕВУ

[Апрель 1864 г.]

Любезный И[ван] И[ванович]

Наши друзья из великоруссов поручили нам избрать из наших общих друзей за границей человека, который мог бы явиться на съезд славянских деятелей и участвовать в нем от нашего общего имени. Для нас всего удобнее просить вас взять на себя это поручение, объяснить на съезде славянских деятелей содержание этого письма и просить их с своей стороны сказать нам — как и в чем мы им можем быть полезны; все что в наших силах мы, за границей живущие, и наши друзья в России будем готовы исполнить с полным сочувствием и искренней преданностью.

Мы, великоруссы, считаем себя братьями всех племен славянских. Мы убеждены, что это чувство братства таится и во всем нашем народе. Мы и наши друзья видели с ужасом и отвращением действие нашего правительства в Польше. Но, между тем, мы не можем не признать, что на эту минуту польское восстание возбудило, особенно в наших высших сословиях, такую реакцию против всего свободномыслящегося, что практически теперь наши действия связаны...

Настоящее письмо печатается по черновику, находящемуся в записной книжке Огарева № 12, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки имени Ленина. Конец письма не сохранился.

Из неопубликованных писем Н. И. Утина к Н. П. Огареву, фотокопии которых имеются в Государственном литературном музее, выясняется, что весной 1864 г. в Константинополе предполагался всеславянский съезд, на который ожидались представители революционных партий всех славянских народностей. По поручению русской эмиграции в этом съезде в качестве делегата русских революционеров должен был принять участие И. И. Кельсиев. И. И. Кельсиев, видный участник московских революционных кружков и студенческого движения в Москве в 1861 г., весной 1863 г. бежал из-под ареста за границу. В 1864 г. он вместе со своим старшим братом В. И. Кельсиевым жил в Тульче, где, по поручению русской эмиграции, должен был наладить переправу в Россию русских заграничных революционных изданий. Состоялся ли предполагаемый съезд и участвовал ли в нем Кельсиев, выяснить не удалось.

Письмо Огарева датируется по вышеупомянутым письмам Н. И. Утина.

4. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА А. А. ГЕРЦЕНУ

Середа 5 мая [1876 г.]

Вчера еще хотел писать к тебе, друг мой Саша, так давно не писавши к тебе и не получавши от тебя писем. Но нездоровилось и не решился, а просидел в нашем саду, который Мэри развела на нашем дворике, и отдохнул. Хорошо еще, что болезнь все реже и реже, и, при наблюдении, я, падая, не ушибаюсь, как прежде. Погода все же сохранилась весною дышащей, несмотря на солнечное затмение и туман. Парк все же бесподобен и есть стороны в Гринвиче, где уединение меня удовлетворяет.



А. А. ТУЧКОВ

Фотография, 1850-е гг.

Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

Герцен Александр Александрович (1839—1906) — старший сын Александра Ивановича. Профессор физиологии в университетах, сначала во Флоренции, а затем в Лозанне. После смерти отца, вместе с сестрами, материально поддерживал Огарева, к которому всегда питал дружеское расположение. Принадлежавший ему архив Огарева в начале нынешнего столетия почти целиком был передан им в дар Румянцевскому музею в Москве (ныне Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина).

5. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА НЕИЗВЕСТНОМУ

Главный вопрос учреждение общины. Главный путь к тому уничтожение властей повсюдное, чтобы потом община могла учредиться народным смыслом и соглашением. Может, прийти к подобному пере-

вороту в какой-нибудь местности — начала ради, было бы полезнее всякой печати, читаемой не народом, а полуиностранцами. Немец полатыни seit, а русский человек seit по-русски, говорил мой друг Герцен.

Теперь я более ничего не могу прибавить.

Ваш старый Огарев.

Печатается по черновику, заимствованному из записной книжки Огарева № 33, хранящейся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. Ленина. Начало письма не сохранилось, и это затрудняет датировку его. Ясно только, что оно написано после смерти Герцена, т. е. в 70-х годах.

Отв. редактор *П. И. Лебедев-Полянский* Зав. редакцией *И. С. Зильберштейн*

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ГЕРЦЕНОВСКОГО ТОМА

В ТОМЕ 153 ИЛЛЮСТРАЦИИ

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар 11, тел. К 3-61-80.

Подписано к печати 12/V 1941 г. Рисо № 1188—546. А37317. Объем 39 печ. л., 57,4 уч.-изд. л. Заказ № 834.
Тираж 7000 экз. Цена книги 35 руб.

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига". Москва, Валовая, 28.

Цена 35 руб.